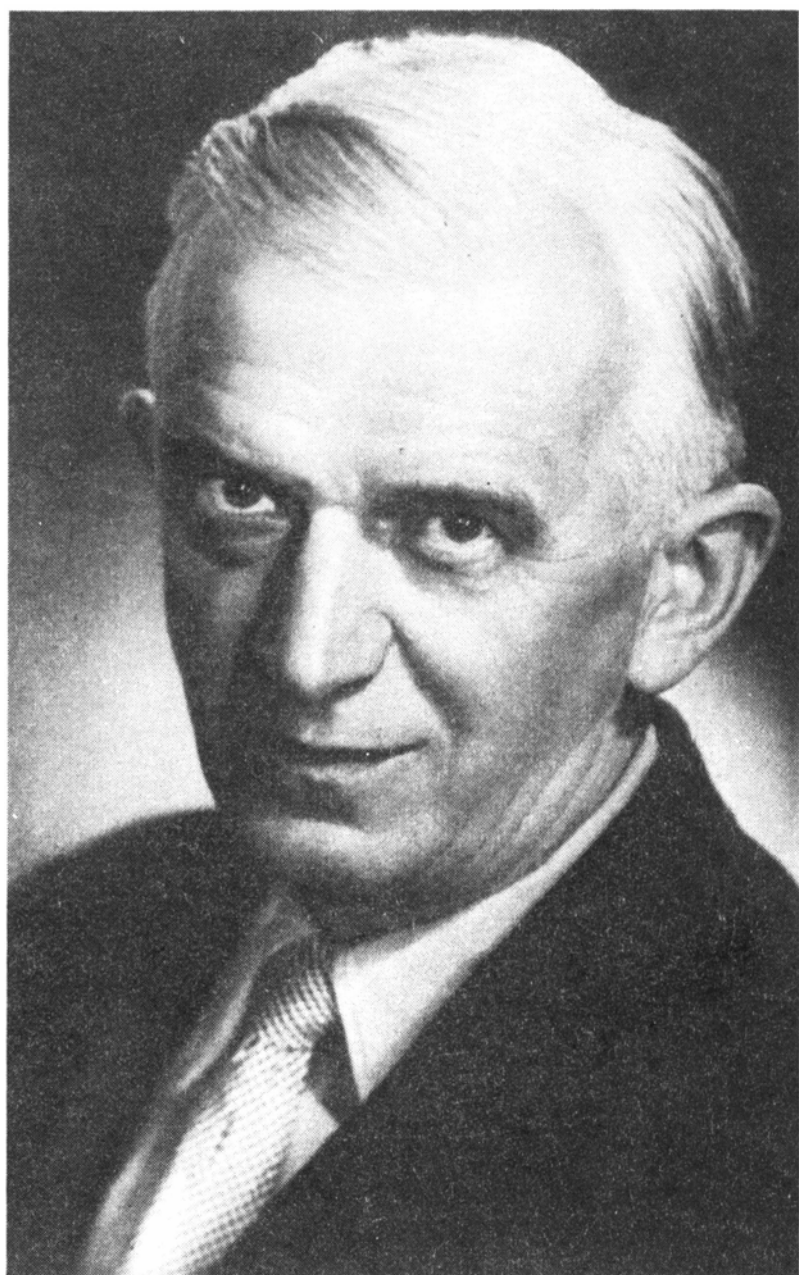


Ант.  
Ладыжский

ИСТО-  
РИЧЕС-  
КИЕ  
РОМА-  
НЫ





**Ант.  
Ладнинский**

**ИСТО-  
РИЧЕС-  
КИЕ  
РОМА-  
НЫ**

Когда  
пал  
Херсонес...

Анна  
Ярославна  
Королева  
Франции

Последний  
путь  
Владимира  
Мономаха

Ант.  
Ладинский

---

ИСТО  
РИЧЕС  
КИЕ  
РОМА  
НЫ



Москва  
Советский писатель  
1984



ББК 84. Р7  
Л15

*Художники  
Евгений Капустин  
и Юлия Алексеева*

Л  $\frac{4702010200-379}{083(02)-84}$  76—84

© Послесловие. Издательство «Советский писатель», 1984 г.  
© Издательство «Советский писатель», 1973 г.

Когда  
пал  
Херсонес...









## Когда в предместьях св. Мамы пропоют

**К** третьи петухи, отойдет зауренья в константинопольских церквах и во мраке едва лишь начинается первый час дня <sup>1</sup>, в Священном дворце великий ключарь и этериарх дворцовой стражи приступают к отпиранию дверей. Прежде всего открывается сделанная из слоновой кости дверь, ведущая в Лавзиах, куда можно подняться по улиткообразной лестнице. В этом помещении великий ключарь и этериарх сменяют свои обычные одежды на серебряные скарамангии. Отсюда путь лежит через другие залы и переходы в Золотую палату. Затем отпираются прочие двери. После этого веститоры, или облачатели, отправляются в Ризницу и берут там царский скарамангий, в который в этот день надлежит облачиться василевсу. Он бывает золотым или серебряным, из материи цвета персика или из чистого пурпура, присвоенного только царственным особам. Веститоры кладут одеяние со всей требуемой в данном случае осторожностью и благоговением на скамью перед серебряной дверью, ведущей во внутренние покои, и ждут знака.

В это время по тихим еще улицам города уже спешат, направляясь к Ипподрому, пешком или на мулах, в одиночестве или в сопровождении слуг чины синклита, невыспавшиеся патрикии и магистры, доместики и комиты, по случаю праздника в красных плащах. Во дворце просыпается жизнь. У дверей стоят, опираясь на свои страшные секиры, хмурые после бессонной ночи варяги. Служители гасят в покоях светильники и лампы. В руках великого ключаря позвякивают ключи, как бы напоминая, что надлежит спешить и готовиться к царскому выходу.

Гражданские и военные чины, приглашенные на прием или вызванные по какому-нибудь государственному делу, собираются на Ипподроме и приветствуют друг друга церемонными поклонами. Военачальники в подобных случаях являются при мечах, присвоенных их званию. Потом всех приглашают пройти во дворец, каждого чина в особо предназначенный для этого зал, и когда они размещаются по местам на пути предстоящего шествия и силенциарии устанавливают тишину среди присутствующих, к серебряным

<sup>1</sup> По современному счету приблизительно в пятом часу утра.

дверям подходит великий ключарь и трижды ударяет в нее согнутым указательным перстом. Дверь тотчас же открывается, и облачатели вносят во внутренние покои приготовленный царский скарамангий, чтобы надеть его с положенными церемониями на василевса. Облачившись, благочестивый император появляется в дверях...

Ромейское царство — как некий огромный улей или полный трудов муравейник. Все в нашем государстве должны трудиться, и каждому назначены определенное место, обязанности и права. Однажды я проходил мимо муравьиной кучи и некоторое время с любопытством наблюдал, как эти неутомимые труженики суетились, стараясь доставить в подземные кладовые мертвую осу, и я изумлялся их терпению и упорству. На пасеке в имении магистра Леонтия Хрисокефала я неоднократно имел случай наблюдать, как собирают цветочную сладость трудолюбивые пчелы. Такова и наша жизнь, и все в ней установлено на вечные времена законом.

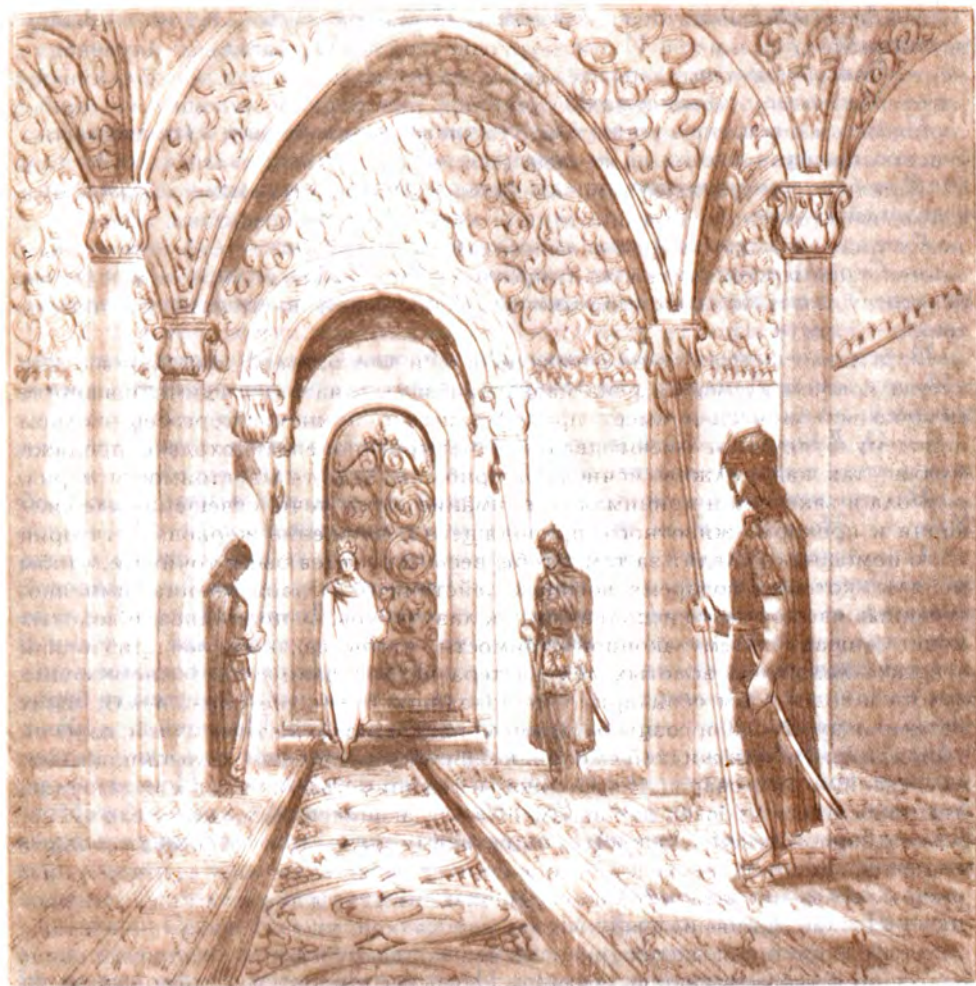
Каждый шаг василевса определяют древним римским церемониалом, который нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах. Даже последний табулярый, удостоверяющий своею подписью и печатью торговые договоры, занимает на иерархической лестнице определенное место и должен сделать навстречу посетителю установленные обычаем три шага, а не два или четыре.

В «Книге эпарха» точно указано, как и где разрешается производить куплю и продажу, какая цена назначена за барана или мидимн пшеницы, сколько милиарисснев имеет право нажать с номисмы торговец шелком и почему булочники имеют двадцать четыре процента дохода с продажи хлеба, так как должны исчислять прибыль, исходя из стоимости зерна, размола и закваски и принимая во внимание топку печи, освещение хлебопекарни и прокорм животного, приводящего в движение жернов. Легаторий и его помощники следят за тем, чтобы весы торговцев были точными, чтобы менялы, которых во время военных действий благодаря знанию ими иностранных языков часто используют как лазутчиков, не подпиливали золотых монет, лишая их тем законной стоимости, чтобы свечники не прибавляли в воск сало, чтобы золотых дел мастера не покупали более одного фунта золота в год, чтобы серикарий, производящий шелк, не окрашивали своих материй в пурпур. Торговцы бальзамом, пшеничной и житной мукой, соленой рыбой, твердой или жидкой смолой, коноплей или гвоздями, свечники, менялы, мясники, мыловары, башмачники и пекари объединены в содружества, подчиняющиеся строгим правилам и облегчающие надзор за трудом и податным обложением. Каждому торгующему назначено особое место для торговли. Золотых дел мастера продают свои изделия на Месе, восточные товары можно продавать только в Эмволах, торговцы ароматами выставляют сосуды с благовониями между Милием и Халкой, чтобы благоухание амбры долетало до дворцовых портиков. Здесь продаются амбра, мирра и прочие благовония из Счастливой Аравии, перец из Индии, нард из Лаодикии, корица с острова Цейлона. Но мироварам строжайше запрещено продавать цикуту, мандрагору, употребляемую для усыпления, и другие халдейские снадобья.

Среди торгующих благовониями много сарацин, египтян, армян, иудеев, эфиопов и персов. От их криков и зазываний кружится голова. Они макают пальцы в сосуды с ароматами, мажут у проходящих ладони или бороды и расхваливают свои товары:

- Купи мускус для своей возлюбленной!
- За один милиариссий — климат рая!
- Благовонные притирания! Благовонные притирания!

Отсюда путь лежит в другие залы и переходы в Золотую палату.



Кеститоры кладут одеяние со всей  
Требуемой в данном случае осторожностью

Горбоносый человек в огромном тюрбане, склонив голову набок, шевеля тонкими пальцами перед темным лицом, уговаривает покупателя:

— Что тебе скажет возлюбленная? А вот что скажет она, достопочтенный: «Не надо мне драгоценных украшений, принеси мне лучше амбру или мускус, потому что от ароматов у меня приятно кружится голова...»

Бродячий монах выкрикивает:

— Камушки из Иордана! Иорданские камушки, без запроса!..

Персидский купец предлагает:

— Душистое мыло под названием «Тайна красоты». Купите «Тайну красоты»!..

— Благовонные притирания!..

— Миосотис, новый запах!..

Но здесь я встречал также благочестивых паломников и путешественников, посещающих наш город по торговым делам, разговаривал с Сулейманом ибн Вахабом, совершившим трижды путешествие в Иерусалим и побывавшим в далекой Индии.

Растирая в ладонях каплю амбры, он говорил мне:

— Страсть к путешествиям подобна любви. Новые страны — как новые встречи. Так мы смотрим на красивых рабынь и открываем у них неведомые доселе прелести...

Избегая легкомысленных разговоров, я просил Сулеймана рассказать мне о Иерусалиме и Дамаске, и он закатывал глаза от прилива приятных воспоминаний.

— О, Дамаск!.. Если может быть на земле рай, то это — там. Дамаск — жемчужина мира, вечная весна...

Передо мной стоял враг, сарацин, один из тех, кто отнял у нас гроб Христа... Но ведь мы же были с ним не на поле сражения!

С незапамятных времен бараны продаются на площади Стратигия, а ягнята, от Пасхи до Троицы, — на площади Тавра и рабы — на Амастридской площади, которая поэтому называется в народе «Долина слез». Здесь по лицу продаваемой молодой рабыни текут слезы, крупные, как горошины, детский плач умолкает лишь тогда, когда надсмотрщик грозит бичом маленьким пленникам и пленницам, и, может быть, на этом рынке мы сеем ту бурю, которая когда-нибудь разрушит ромейское государство. Но люди не думают о будущем. На базарах толпятся праздные люди, здесь, как в деревне, пахнет навозом, покупатели спорят о статях коня или о мышцах раба. И всюду — на форумах, на базарах, на рыбных рынках, у цирюльников или хлеботорговцев — споры о догмате святой Троицы мешаются с неизменными разговорами о житейских делах.

— Сколько стоит рыба? — спрашивает покупатель.

— По три фолла за рыбу.

— А в прошлую пятницу я платил по два фолла.

— То было в прошлую пятницу. Цены поднимаются. Потом еще не то будет.

— А что же будет? — удивляется покупатель.

— Разве ты не слышал? Евнух послал василевсу отравленное вино... — шепчет продавец знакомцу.

Но из-за плеча покупателя высовывается чей-то длинный нос и с любопытством обоняет рыбный запах. Больше, оттопыренные уши ловят каждое неосторожно сказанное слово.

— О чем ты тут говоришь, дружок?

— Я говорю, что моя рыба самая лучшая в Константинополе, — отвечает со страхом продавец.

Согласно постановлениям владельцы харчевен имеют право открывать свои заведения с восьми часов утра до двух часов ночи, когда им предписано гасить огонь, чтобы те, кто сидит целыми днями в кабаке, не проводили там и ночь и не устраивали бы драк. Предержавшие власти неукоснительно следят также за исполнением постов и посещением богослужений, особенно когда в церкви присутствует василевс. За нарушение предписаний положены плети, острижение волос, темница, отобрание имущества, отсечение руки и даже ослепление и смертная казнь. Все, от василевса до последнего человека, подчиняются установленным законам. Но что значит наша бременная жизнь в сравнении со славой ромейского государства? И вот мы трудимся, несем бремя налогов и проливаем кровь на полях сражений, потому что лишь способные на лишения и страдания достойны бессмертия в памяти потомков.

Среди этой трудной жизни и житейской суеты взоры невольно обращаются к величественной громаде св. Софии. Создание ромейского гения служит нам вечным утешением и надеждой, и, когда смотришь на совершенный купол, понимаешь, почему люди приписывали его построение ангелам. Невозможно без волнения читать в поэме Павла Силенциария о том, как приступали к строительству храма, приобретали землю у какого-то неведомого внука, у бедного сапожника, у привратника по имени Антиох и у вдовы Анны, и о том, каких трудов стоило Юстиниану уговорить этих невежественных людей, неспособных на высокие взлеты мысли, продать свои земельные участки и жалкие жилища. Сам император, в простой одежде, лишая себя послеобеденного отдыха, потому что остальное время было посвящено государственным делам, ежедневно осматривал с палкой в руке постройку и ободрял каменщиков. Такого храма не было на земле даже в дни Соломона. Внутренность его с беспримерной расточительностью украшена мозаикой, и огромное количество золота, серебра, слоновой кости и дерева редких африканских пород потрачено на устройство алтарей, врат и шести тысяч висящих на цепях лампад, изготовленных искусными медниками в виде виноградных гроздий. Они наполняют храм в ночное время морем огня. В притворе находится фонтан с бассейном из яшмы и извергающими воду медными львами, так как всякий вступающий в храм обязан совершить омовение рук и ног.

Куда бы я ни шел, я неизменно останавливаюсь, если мой путь лежит поблизости от св. Софии, захожу в церковь и любуюсь этим огромным пространством, ограниченным камнем.

Но разве это единственное чудо? Вот форум Августа. На нем привлекает взоры проходящих конная статуя Юстиниана. В левой руке он держит земной шар, а десницу простер по направлению к востоку. На голове у него пышная диадема. Если стать лицом к св. Софии, то справа расположен Ипподром, а налево — Сенат. Над императорской кафизмой, тем помещением, где василевсы присутствуют во время ристаний или игр, летят четыре коня Лисиппа. Не хватило бы многих книг, чтобы описать все эти сокровища, церкви, колонны, портики, рынки, нимфеи и статуи.

Одно из этих чудес также дворец василевсов. Это целый лабиринт зал, переходов, церквей и благоуханных садов, спускающихся к Пропонтиде. Василевсы могут присутствовать на литургии в св. Софии или на ипподромных играх, ни на один шаг не покидая свой дворец.

Однако солнце медленно склоняется к западу, и вечерняя тишина нисходит на город Константина, на его форумы и сады. В окне, разделенном тонкой колонкой, в голубоватой дымке городских испарений виден из моего жилища купол св. Софии, черепичные крыши, кресты церквей, колонны портиков, зелень деревьев. Если сейчас пройти к Золотому Рогу, то увидишь там ита-

лийские и критские корабли, доставившие нам мрамор и пшеницу. На набережных, заваленных большими глиняными сосудами с соленой рыбой из Херсонеса, козьими мехами с вином, амфорами с оливковым маслом и кошницами с виноградом, еще бродят гуляки. Иногда тишину нарушает шум случайной драки или песня пьяного корабельщика, направляющегося в квартал Зевмы, над воротами которого еще сохранилась от языческих времен мраморная статуя Афродиты. Там, среди пороков, находится ее последнее прибежище, и в заплеванных тавернах и вонючих лупанарах люди пьют вино и предаются разврату.

Слышали вы легкомысленную песенку:

Подойди, дружок,  
И сорви цветок...

Ее здесь распевают хриплыми голосами венецианские корабельщики, беспутные юнцы. О чем помышляют эти люди? О любви? Нет, о похоти. Не посещайте этих мест, юноши, если не хотите запятнать себя грехом!

Меса — главная улица города — начинается от Ипподрома и идет к форумам Константина и Феодосия, а возле площади Быка и форума Аркадия разделяется на два пути. Один идет к Студийскому монастырю и Золотым воротам, другой — к церкви Апостолов. Когда в городе наступает ночь, на этой улице, около бань Зевскипа, торговцы шелковыми материями зажигают в «Доме света» светильники, и огонь горит там до полуночи...

Что еще сказать о нашем великом городе? Дворцы и хижины строились в Константинополе по соседству. Дома богатых людей прячут свою хозяйственную жизнь во внутренних дворах, выставляя на улицы только глухие каменные стены или скудные окошки, из которых безопасно обозревать народные волнения. Форумы, триумфальные арки, базилики, термы, квадриги, увенчанные ангелами колонны, библиотеки, статуи — все сокровища древнего мира, собранные за прочной оградой крепостных стен, делают наш город похожим на Рим.

А на полке лежат любимые книги, утешающие в минуты сомнения и в одинокие ночи. Назову среди них «Хронику» Георгия Амартола, «Минологий» одноименного мне Симеона Метафраста, украшенный драгоценной живописью труд Дионисия Ареопагита, стиль которого так радует человеческое сердце, и гимны божественного поэта Иоанна Дамаскина. Рядом с ними «Тайная история» Прокопия Кесарийского и другие книги, и среди них спрятаны от нескромного взгляда диалоги Платона и произведения Плотина, а также собственноручно переписанные мною стихи Иоанна Геометра, с которым мне привелось встретиться на жизненном пути. И я, Ираклий Метафраст, друнгарий царских кораблей, патрикий и приближенный василевса, рожденный в хижине, но возвеличенный до дворцов, осмеливаюсь писать среди этих прекрасных книг о том, что случилось мне видеть и пережить в гибельные годы царствования Василия Болгаробойцы...

Прикроем глаза рукой и умозрительно представим себе мир: солнце и луну, материк и моря, блистающие по ночам звезды над ними, соловьиные рощи и усыпанные цветами лужайки — и в то же время все несовершенство его: погибающие в пучинах корабли, сожженные варварами христианские города, морских рыб, пожирающих мелких рыбешек, и наши грехи, корыстолюбие и алчность людей. Богач пирует в мраморном дворце, в то время как несправедливый судья отнимает у бедного поселянина последнего вола, а у вдовицы нет даже фолла, чтобы купить голодным детям кусок хлеба. Представим себе чревоугодие, болезни, язвы и гноящиеся раны, наполняющие внутренности человека нечистоты, его животные страсти, неопрятность

и злобу! Всякий раз, когда я вспоминал какого-нибудь преуспевающего и самодовольного глупца, или бесстыдного льстеца, ползающего на брюхе перед сильными мира сего, или грубого обидчика сирот, или чревоугодника, или мелкого интригана, наделенного по милости слепого случая властью, мир казался мне черным как ночь. Только маленькие делишки, мелкая суета, льстивый смешок, затаенная на дне души жестокость! Но приходил разделить мое одиночество Димитрий Ангел, стихотворец и строитель церквей, поверял свои величественные планы, показывал чертежи прекрасных белых и розовых зданий, которые ему хотелось осуществить в камне, или читал мне свои стихи о розе, распутившейся утром в росистом вертограде, о мимолетном беге оленя, о деловитом скрипе повозок на деревенской дороге, о запахе свежее испеченного хлеба, о терпком вкусе вина, о смехе загорелых женщин — и я готов был благодарить небо, что мне дана возможность вкушать от радостей и страданий жизни. Наш вдохновенный поэт учился писать стихи у Иоанна Геометра. С пятнами лихорадочного румянца на щеках, покручивая завитки черной бороды, только что появившейся на этом еще юном лице, он рассказывал мне с сияющими глазами о своей возлюбленной, лучше которой, разумеется, ничего не было на свете, и я не мог не улыбнуться ему в ответ. Или мы читали вместе с ним какой-нибудь диалог Платона и изумлялись полетам мысли у философа, хотя и знали, что это ложная, опасная и греховная мудрость.

Димитрий говорил:

— Как прекрасен мир! Корабли плывут по морю, нагруженные пшеницей или произведениями горшечников, и путь их лежит в Африку, в далекие гавани блаженных эфиопов. Звезды вращаются над морями, указывая путь корабельщикам. В Багдаде перед розовыми и полосатыми дворцами калифов плещут фонтаны, и солнечный свет переливается радугой на водяных каплях, а на зеленых лужайках красуются павлины. Караваны верблюдов уходят в далекую пустыню за благовониями. За Танаисом ржут кобылицы варваров. А здесь парит в воздухе, как бы подвешенный на золотых цепях, совершенный купол Софии, порт полон кораблей, и буря рукоплесканий наполняет праздничный Ипподром. Всюду жизнь! Всюду красота! И женские глаза, увиденные украдкой в церкви, прекраснее звезд...

Болезнь клочотала в его груди, он задыхался от кашля, но потом, успокоившись, мечтательно смотрел куда-то вдаль, весь во власти своих видений, колоннад, архитравов, куполов и строительных расчетов, построенных на правиле золотого деления.

Да, корабли плывут по морю, но аквилоны и борен вздувают свирепым дыханием морские пучины, и жалкие создания человеческой жадности и беспокойства трепещут и погибают. Весь мир наполнен беспокойством и бурей. Раскроем книгу, в которой Константин Багрянородный с таким умом писал о фемах, — и мы увидим залитые кровью Армениак, Фракисийскую фему, Анатолик и Опсикий, горы Тавра, совсем недавно возвращенные из-под ига сарацин силою христоролюбивого оружия Эдессу и Антиохию, завоеванный Никифором Фокою остров Крит, побежденный патриkiem Никитой Халкуци остров Кипр, дивные владения ромеев в Италии — Неаполь и гору Везувий, извергающую серу, огонь и пепел, и другие наши земли.

Еще мы увидим Херсонес в Таврике, его поруганные церкви и потоптанные виноградники, Борисфен, который руссы называют Днепром, такую же великую реку, как Нил, и еще более обильную рыбой и сладостной для питья водой, а на берегу ее далекий город Киев, над которым уже занимается северная аврора. Весь мир полон движения и перемен. Но подобно двум солнцам сияет над ним слава василевсов Василия и Константина. Бремя

государственного правления взял на себя Василий. Мужественный и неутомимый, он крепко держит в руках кормило ромейского корабля. Содрогается земля от толчков, рушатся небесные купола храмов, со всех сторон теснят нас враги, народ вопиет от голода, дитя напрасно мнет материнские сосцы, ибо нет в них ни единой капли молока. Мы родились в годы бурь и потрясений, в дуб, под которым спасаются во время грозы, ударила небесная молния, и вот женщины трепещут в гинекее, опасаясь за своих мужей и сыновей. Но василевс умеряет жадность богатых, считающих, что им все позволено, сокрушает ярость врагов, угрожающих нам гибелью, и награждает достойных.

В печальное время посетила землю моя душа. Что я? Червь, рожденный во мраке. И в то же время меня озарила необыкновенная любовь, моя мысль, как орлица, взлетает на высочайшие горы, откуда открывается зрению вся земля, где становятся близкими звезды и рождается надежда, что среди этих рек крови когда-нибудь возникнет иная, лучшая жизнь.

Тот день я провел с друзьями в долине Ликоса, на винограднике магистра Леонтия Хрисокефала. Нас было пятеро: историограф Лев Диакон, спафарий Никифор Ксифий, мужественный человек, уши которого, как у волка, заросли волосами, стихотворец Димитрий Ангел, сам магистр Леонтий и я. Некогда Ксифий служил в «бессмертных», как называют закованных с головы до ног в железо катафрактов, отличился в сражениях и получил звание спафария. Он был несведущим человеком, но мы делили с ним военные труды, и я ценил его верное сердце.

Мы отправились в путь на мулах и в сопровождении слуг задолго до восхода солнца. День был праздничный, свободный от трудов, и мы решили провести время в отдохновении и дружеской беседе.

Зима приходила к концу, серебристые хребты окрестных гор уже начали покрываться зеленью, среди кипарисов, дубов и олив веял зефир, и на его крыльях к нам прилетела весна, осыпая лужайки цветами и наполняя приятным волнением человеческое сердце. Мы выехали из Меландизийских ворот, поднялись на горбатый каменный мост и направились по вымощенной камнем дороге Игнатия в имение магистра. Разгоралась заря. Ромейские девушки выходили из города легкими стопами, чтобы собирать на лугах фиалки. Все было кругом в цвету, и аромат розовых миндальных деревьев наполнял долину.

Виноградник был расположен на щебнистом солнечном холме, и у его подножия находился круглый каменный колодец. Немного далее стояла хижина, сложенная из грубых полевых камней. В ней мы имели обыкновение с Димитрием Ангелом и Львом Диаконом читать диалоги Платона, и от бедности хижины почему-то особенно печальными казались слова философа о небесной любви. Под влиянием этих строк Димитрий написал впоследствии стихи о возвышенном любовном чувстве в мире грубых страстей, и я с большим тщанием переписал их для себя. Здесь, в таком укромном и безлюдном месте, было удобно спорить о мире платоновских идей, так как из благоразумия следовало опасаться, чтобы слухи о таком времяпрепровождении не достигли ушей патриарха и не навлекли бы на нас гнев василевса. Василий не любил поэтов и соблазнительных философских рассуждений, патриарх же грозил, что чтением подобных книг мы можем погубить наши бессмертные души. Однако теперь все читают тайком Платона.

Магистр Леонтий, богатый человек, посещал время от времени имение, чтобы проверять надзирающих над рабами и виноградниками, а Никифора Ксифия влекли сюда смешливые белозубые поселанки.



Незадолго до этого магистр получил известие от управителя именем, что рабы и кабальные работники, приставленные возделывать нивы и пасти хозяйский скот, выражают недовольство своей участью и даже осмеливаются на угрозы. Поэтому он и отправился в свои владения, захватив с собою около дюжины слуг, вооруженных мечами, и твердо решив наказать виновных.

По прибытии мы были встречены управителем, весьма льстивым человеком, который прислуживал нам за трапезой, вынимал из плетеной корзины лучшие хлебцы, разрезал пополам, чтобы удобнее было класть на них куски мяса, и самолично наливал нам в чаши красное вино, разбавленное ключевой водой. Обедали мы в сельском каменном доме Леонтия, расположенном среди тенистых деревьев, и во время еды не говорили о хозяйственных делах, а вели благопристойную беседу о мученике Агапите, память которого праздновалась церковью в тот день, и лишь по окончании трапезы Леонтий вышел под арку, которой была увенчана дверь дома, и велел привести во двор непокорных.

Их было четверо — старик и трое молодых, — и вид этих людей мог бы вызвать жалость у самого жестокосердого человека. Они обращали на себя внимание необыкновенной худобой тела и грязью рук, были босы, в жалких непрепоясанных вретисах, и к их ногам прилип коровий навоз. Рабы упали на колени, и старик поклонился хозяину, касаясь лбом земли, а молодые мрачно посмотрели на нас и потом опустили глаза. Управитель стоял рядом, держа подобострастно в руке опущенный заячьим мехом колпак.

— Что я слышу? — грозно начал магистр. — Вы оказываете неповиновение и небрежно выполняете работу? Мне донесли, что вы даже стали способны на угрозы и готовы к возмущению? Но известно ли вам, что я могу присудить вас к тысяче палочных ударов? И даже если вы умрете во время наказания, я не отвечаю за ваши жалкие души, и все это предусмотрено мудрым законом...

Вдруг старик поднял руки к небесам и воскликнул, шамкая беззубым ртом:

— Господин! Не знаю, что хуже — жизнь ли, какую мы влачим, или смерть под палками. Мы работаем от зари до зари, а пищу получаем в самом ограниченном количестве, и терпим нещадные побои, и зимой нам не дают ни обуви, ни плаща, чтобы прикрыть тело от холода, и когда мы обращаемся с просьбой отпустить нас в церковь в праздничный день, нам говорят, что мы не выполнили назначенный урок, и заставляют работать даже в день воскресения Христа...

Леонтий нахмурил брови и посмотрел на управителя. У того забегали глазки.

— Так я поступаю исключительно потому, что радею о твоей пользе, превосходительный. Не слушай этих ленивцев и разбойников. Посмотри на их упитанные щеки, и ты поймешь, что они живут в твоём доме как в раю.

Я отлично знал Леонтия, его жадность и скопидомство, и не удивился, что он якобы поверил словам управителя и приказал наказать ослушников. В глубине двора стояли кучкой приехавшие с ним слуги и конюхи, и старший конюх, по имени Фома, ждал, скрестив руки, когда его позовут, чтобы привести в исполнение приказ магистра. Леонтий поманил его пальцем, и немедленно дюжие слуги потащили несчастных на расправу.

Я никогда не был любителем подобных сцен и поспешил с Димитрием Ангелом и Львом Диаконом на виноградник, расположенный за горой, но слышал, как магистр сказал Льву, точно оправдывая свое распоряжение:

— Не знаю, как поступить. Полагаю, что более соответствует христианскому учению и выгоднее также отпустить рабов на свободу, наделить землей и обязать трудиться на ней и отдавать господину половину снопов и припло-

да. Так поступают теперь многие и освобождают себя от неприятных забот.

Закончив свою речь, он погрозил пальцем управителю.

— А если я замечу, что ты уворовываешь то, что дается работающим в имении, я и тебя накажу плетьюми. Ты должен питать раба, ибо только тогда он будет в состоянии выполнить возложенную на него работу, а я не хочу нести ущерб в своем хозяйстве...

Я знал, что управитель был тоже человеком рабского состояния, но возвысился над другими лишь благодаря низкопоклонству и наущничеству.

Когда мы спустились по тропинке к винограднику, чтобы отдохнуть там после принятия пищи и в тени лоз побеседовать о возвышенных вещах, мы услышали крики и стоны подвергнутых наказанию. Я сказал:

— Разве у нас с ними не один бог, не одно крещение?

Лев Диакон, привыкший взирать на все с холодным равнодушием историка, пожал плечами.

— Мысли раба надо направлять жезлом.

Но я был рад, что мы уже удалились на достаточное расстояние от того места, где происходило бичевание, и крики перестали терзать наши уши.

Отдохнув среди лоз, все отправились в другой конец владения, в селение, где Леонтий покупал у разорившегося крестьянина небольшой участок земли, думая поселить на нем одного из своих рабов. Я тоже последовал за ними, чтобы не оставаться одному на винограднике.

Когда мы пришли на указанное место, там нас уже дожидались владелец участка, свидетели, выбранные из обитателей этой деревни, и явившийся для заключения купчей сделки местный табулярый, сгорбившийся под бременем лет старичок с жалкой бородачкой. Собравшиеся низко поклонились магистру и ждали, что он им скажет. За продающим землю стояла жена с ребенком на руках. Другой мальчик прижимался к матери и теребил ее юбку, с любопытством глядя на красиво одетых людей. Никто из них не имел обуви, и глаза у женщины были заплаканы.

— Приступи! — коротко сказал Леонтий табулярию.

Прежде всего предстояло измерить участок. Один из поселян взял веревку, зажал конец ее между пальцами правой ноги, а другой конец поднял на высоту вытянутой руки.

— Нет, — сказал магистр, — надо использовать для этой цели тростник. Потому что веревка изгибается во время измерения и покажет больше земли, чем есть на самом деле, а я не буду платить лишнее.

Тогда поселянин принес длинную жердь, и табулярый, отложив на ней двадцать семь раз руку, отрубил палку в этом месте. Так получилась мера для определения площади участка. Теперь оставалось только обойти с жердью вокруг поля.

— Но почему не царская сажень, а малая? — спросил Леонтий.

Сладко улыбаясь, может быть с целью смягчить свои слова, так как он не мог поступить иначе как по закону, табулярый объяснил:

— Царской саженью предписано пользоваться только при покупке крестьянином земли, а при продаже — малой. Так гласит новелла.

— Ты правильно говоришь, — подтвердил поселянин, — так повелел василевс.

— Считается, что это делается для оказания помощи бедным. Ибо тем самым, что он продает, продающий уже рассматривается как более бедный человек, чем покупающий. Хе-хе!

Табулярый потирал руки, как бы извиняясь за такой неблагоприятный для магистра закон.

— Это мне известно,— махнул рукой Леонтий.

Началось измерение участка. Видно было, что крестьянин не очень-то доверяет табулярию и следит за каждым его движением. Но участок был небольшой, и площадь его скоро была вычислена. Пахотная земля, как известно, измеряется на модии жита, потребные для обсеменения.

Табулярий подсчитывал вслух, глядя куда-то в небеса, точно там он находил все нужные ему данные:

— Итак, сосчитав число сажен и отбросив одно измерение из каждых десяти на ручей, протекающий в этом владении, и на каменистую почву, неудобную для обработки...

— Земля здесь медомлечная, чернозем,— пытался отстаивать свои интересы продающий.

— Есть и супесчаная. Смотри, какой камень, щебень,— возражал Леонтий.

— Продолжаем,— опять возвел очи горе табулярий, подсчитывая на пальцах.— Тридцать шесть... Остаток разделим на четыре или отбросим число сажен и разделим полученное на два. Получится ширина и длина. Перемножив ширину на длину и разделив сумму на два, мы получим число модиев. Их будет восемнадцать.

— Как же так? — почесал затылок поселянин.

— А так. Скольким мерам равняется сторона твоего участка? Шести. Помножим ширину на длину. Тридцать шесть сажен.

— Тридцать шесть...— повторил поселянин.

— Это будет площадь. Теперь разделим ее на два. Вот и получается восемнадцать модиев.

Я и сам не очень-то схватывал эти вычисления, а крестьянин только растерянно переводил взгляд с одного на другого. Но Леонтий был доволен. Он брал с париков, обрабатывающих его землю, четвертую, а то и третью часть урожая и, вероятно, успел подсчитать в уме будущий доход с участка.

Табулярий уже писал на вынесенном из хижины колченогом столе купчую: такого-то числа, такого-то индикта и года...

Мне захотелось вернуться на виноградник.

— И я с тобой,— окликнул меня Димитрий Ангел.

В дальнейшем время незаметно прошло в беседе о текущих событиях, а к вечеру мы пустились в обратный путь, подгоняя мулов, чтобы попасть в город до закрытия ворот и не иметь пререканий с городской стражей. Мы спешили и перегнали в пути того самого поселянина, который покинул жилище и куда-то брел с семьей, нагрузив на осла все свое имущество и отдав, вероятно, значительную сумму вырученных денег в уплату долга магистру. Однако темнота застигла нас еще в пути, и тогда мы неожиданно увидели на черном небе комету, которая была подобна огненному мечу архангела и тихо плыла в небесных просторах.

Потрясенные страшным зрелищем, мы вздыхали. Но вдруг земля под нашими ногами заколебалась, и мулы в страхе остановились. Мне показалось, что наступает конец мира. Глухой и тяжкий грохот донесся до нашего слуха. Димитрий Ангел схватил меня за руку.

— Неужели это рухнул купол Софии?

В душевном смятении ему никто не ответил. Каждый опасался за жизнь, за судьбу близких, за участь своих жилищ. Но падение купола такого храма было бы равносильно мировой катастрофе. Этого не мог охватить человеческий разум.

Лев Диакон произнес:

— На земле должно случиться нечто страшное! Сама природа возвещает

нам о каком-то важном событии. Может быть, предсказывает падение Херсонеса...

В тот день мы много говорили о Херсонесе. Город находился в крайне стесненном положении, и в призывах херсонесского стратига о помощи слышалось отчаяние.

— Что же теперь будет с нами? — спросил стихотворец, готовый заплакать от волнения. — Разве этот город не оплот наш, не новый Иллион?

Димитрий писал стихи, легко впадал в преувеличения, опьянял себя красивыми словами.

Магистр вздохнул.

— А главное — кто будет доставлять нам соль с борисфенских солеварен и дешевую соленую рыбу для константинопольского населения?

Лев Диакон показал рукой на комету, неумолимо плывшую, как челн, в мировом пространстве. Историк считал себя знатоком в области предвещаний.

— Видите? Не без причины посетила нас небесная гостья.

Я неоднократно бывал в Херсонесе и хорошо знаю этот шумный торговый город. Жители его коварны, туги на веру, лгуны, легко поддаются влечению всякого ветра, как писал о них еще епископ Елифангий. Они жалкие торгаши и неспособны на великое. Торжище — их душа, нажива — смысл жизни и цель всех трудов. Нельзя доверять им ни в чем. Разве не нашелся среди них изменник, как я выяснил это потом, — тот самый пресвитер Анастас, что пустил в лагерь руссов стрелу с указанием, в каком месте надо перекопать трубы подземного акведука, чтобы лишить осажденных воды. Впрочем, теперь я уже спокойно смотрю на события и понимаю, что он действовал так потому, что был варвар по рождению или ждал награды от Владимира, но в те дни мое сердце кипело от негодования.

Расположенный на берегу Понта, на пересечении важных торговых путей из Скифии и Хазарии в Константинополь, обнесенный стенами из прочного желтоватого камня, укрепленный башнями и военными машинами, счастливый обладатель бесподобной гавани, Херсонес сделал себе богом золотого тельца. Его белые корабли, освобожденные от пошлин, доставляют нам рыбу и соль. В устье Борисфена жители Херсонеса владеют значительными рыбными промыслами и солеварнями. Права на них оговорены в особых соглашениях с руссами. Через рынки Херсонеса проходят товары из Скифии — меха, рабы, кожи и кони, которых продают там дикие кочевники, а с Востока — благовония и пряности. Мы же доставляем туда вино, материи и прочие изделия искусных греческих ремесленников. Но жадный и беспокойный город был всегда склонен к возмущениям и неоднократно убивал своих епископов и стратигов. Дальновидные василевсы, заключая договоры с варварами, неизменно упоминали в них, что в случае восстания херсонитов они обязаны подавить мятеж и привести их к повиновению власти, поставленной от бога. Об этом упоминается в сочинении об управлении империей. Константин Багрянородный, царственный автор, советует своему сыну Роману, для которого была написана книга, как надо действовать в случае отпадения Херсонеса. Для этого достаточно захватить в столице и в гаванях Пафлагонии херсонесские корабли, запретить продавать в Херсонесе пшеницу и прекратить всякое сообщение с полуостровом. Предоставленные собственной участи, херсониты должны погибнуть.

Во всяком случае, все в этом городе зиждется на прибыли, и когда вспоминаешь о Херсонесе, видишь, что ничему не предаются люди с таким прилежанием, как торговле. По Борисфену и по далекой русской реке, впада-

ющей в Хазарское море, плывут многочисленные ладьи с товарами. Встречаясь в пути с другими ладьями, купцы перекликаются:

— Откуда вы плывете?

— Из Самакуша.

— Не видели ли вы в Фулах хазарского купца Исаака Самана?

— Видели. Закупает меха и воловьей кожи.

— В какой цене теперь кожи?

— Цены на кожи поднимаются.

Но торговцы пользуются не только кораблями. В хазарских солончаках движутся караваны верблюдов. Люди идут, неделями не встречая человеческого жилья. Но вот впереди поднимается пыль над дорогой и скрипят колеса встречного каравана. Волы тащат огромные повозки с товарами. Купцы останавливаются, с опасением осматривая друг друга. Потом завязываются разговоры:

— Точно ли, что в Таматархе чума?

— О чуме мы не слышали, но верно, что люди страдают там желудком и многие умирают.

— Не встретили ли вы на своем пути кочевников?

— Не встретили.

— А что происходит в Херсонесе?

— Беличьей шкурки идут хорошо, в большом спросе перец, цена на кожи поднимается.

— Не видели ли вы в Фулах хазарского купца Исаака Самана?

— Видели. Покупает воловьей кожи...

Сколько раз я ходил по улицам Херсонеса, бродил по его торжищам, с удивлением взирая на торговую суету...

Уже на рассвете продающие стекаются на городской рынок, где между колоннами висят перекошенные разновесами железные весы, а на каменных прилавках лежат пахучие кожи, зловонные сырые меха, серебряные чаши, мешочки с янтарем, женские украшения, амфоры с перцем, сосуды с мускусом, расшитые грифонами и цветами греческие материи. У базилики св. Богородицы в меняльных лавках разжиревших скопцов звенят номисмы и миллариссии. Люди самого различного облика — ромей и варвары, иудей и персиане, хазары, армяне и жители далеких сарацинских городов — бродят среди этих товаров, спрашивают о ценах, торгуются, клянутся всеми святыми, Перуном и мечом Магомета, продают и покупают. На рынке у Кентарийской башни торгуют вином, пшеницей и оливковым маслом, а у башни Синагры продаются кони и ослы, рогатый скот и жирные бараны. Верблюды торжественно входят в городские ворота. С тяжелыми вьюками на горбах, гордо подняв маленькие головы, позванивая колокольцами и амулетами, они идут один за другим на базарную площадь. В порту торговые корабли нагружаются рыбой и мехами, чтобы при первом же попутном ветре плыть в Константинополь или в порты Азии. Всюду разговоры о наживе, о прибыли, об удачном ловле, о ценах на беличьей шкурки, доставленные из холодной Скифии русскими купцами. Продавец обманывает покупателя, а покупающий, может быть, платит серебром, похищенным из церковной сокровищницы! Зернохранилища, солеварни, склады и масляные точила важнее здесь, чем базилика. Разве способны эти жадные и живые люди на великие деяния?

Но магистр Леонтий Хрисокефал, лукавый старик, поблескивая черными, полными ума глазами, говорил, когда речь заходила о Херсонесе:

— Хороша херсонесская рыба! Любят ромей рыбку! Что может быть приятнее рыбной похлебки с чесноком и перцем?

Для него все ясно и просто в мире. Херсонесская соленая рыба — дешевая

пища для черни и воинов. Чтобы покупать ее, нужны деньги. Деньги достает государство взиманием налогов и пошлин. Всю жизнь шуршит магистр бумагами, макает тростник в чернильницу, пишет доклады и списки. Все это — для пользы ромеев.

Египетский монах Косьма Индикоплов, совершивший в дни императора Юстина путешествие в Эфиопию и написавший ужасным слогом «Христианскую топографию», в своей книге уподобил мир скинии завета. Земля четырехугольная и представляет собою плоскую равнину, подобную горнице, в которой свод — небеса. Землю со всех сторон окружает океан. По ту сторону его жили в раю Адам и Ева. Солнце, раскаленный шар, возникший из небытия в четвертый день творения, освещает мир днем, луна — ночью. В час заката солнце прячется за коническую гору, расположенную на далеком западе.

Мы все живем в этом ограниченном океаном мире: василевс, патриарх, патрикии, стратиги, епископы, простые башмачники и овчары, Димитрий Ангел и Никифор Ксифий, Лев Диакон и я. Люди привыкли к незначительному пространству. А меня это низкое небо сковывает, как железом. Порой хотелось бы разорвать его руками, прободать трезубцем, посмотреть, что скрывается за его голубой прелестью. Где конец земли? Существует ли еще за океаном тот материк, на котором жили наши праотцы? Что было бы, если бы плыть на корабле на запад до тех пор, пока не покажется земля? Что там?

Магистр Леонтий посмеивался надо мной:

— Умрешь — тогда узнаешь. А пока едва хватает времени управиться с земными делами. Откуда у тебя такое беспокойство? Смотри, чтобы тебя не отлучили от церкви. Зачем ты читаешь, патрикий, богохульные книги?

Сам он плывал в земных делах, как рыба в воде, был большим стяжателем, покупал земли и виноградники, содержал в порядке свой дом, выгодно выдавал дочерей замуж, неоднократно исполнял ответственные государственные поручения, мечтал, что со временем его сделают логофетом дрома, как называется в Священном дворце императорский чин, ведающий сношениями с другими государствами, и пока мы с Димитрием читали божественные строки о Психее, он играл с Ксифием в кости или осматривал лозы и порицал за нерадивость работающих на нивах...

Мы снова двинулись в путь. Но наши взоры непрестанно обращались к комете. В этом тягостном молчании я ехал на муле и размышлял о своей необыкновенной судьбе.

Земная деятельность Ираклия Метафраста, патрикия и друнгария ромейских кораблей, какового сарацины называют адмиралом, началась в бедной хижине, а закончилась в мизийских ущельях, где благочестивый ослепил пятнадцать тысяч болгарских воинов. Тогда я вложил меч в ножны и решил, что напишу эту хронику, рассказав в ней обо всем, что видели мои глаза.

Говоря простым языком, как в разговоре с приятелем, без метафор и украшений, я мог бы заплывать жиром и сытое существование предпочесть очищающим нас трудам и страданиям и, как многие другие, стремиться к земному благополучию, пресмыкаться, ползать на брюхе, льстить сильным мира сего, откладывая в глиняный горшок милиариссий за милиариссием. Однако во мраке земной ночи меня вел свет неразделенной любви. Она спасала меня от ничтожных устремлений, от чревоугодия и грубого смеха. Какая польза была мне в богатстве, если то, к чему я стремился, нельзя было приобрести ни за какие богатства мира? Голубка не захотела променять небеса на курятник.

В те годы любовь наполнила все мое существование. Руководимый ею,

я пересекал житейское море, как ромейские корабли пересекают в бурю Понт, и равнодушно взирал на опасности и кипение пучин.

Я не хочу обелять себя, как тот фарисей, что с такой самоуверенностью обращался к богу. Я последний из христиан. Я проливал человеческую кровь, и язык мой изрыгал на людей злобу и хулу. Как часто, предаваясь бессмысленному гневу, я презирал их, хотя сам, может быть, был ничтожнее всех. Сколько раз я видел, как они метались, спасая свое жалкое достояние, и мое сердце оставалось холодным и недоступным для жалости. Люди полагают, что весь мировой порядок существует только для того, чтобы жить в тепле и довольстве, и не хотят помыслить о высоком. «Пусть гибнут в смятении, — думал я, — какая от них польза?» Только отдающий свою жизнь за других заслуживает сожаления и слез, и только погибающий ради высокой цели достоин бессмертия. А ромеи копошатся среди маленьких дел, трусливо прячутся от непогоды, закрывают уши от шума бурь. Спросите их: жаль им героя, который борется за спасение их ленивых и дрожащих от страха душ? Им все равно. Если случится катастрофа, они предадутся унынию. Злобу возбуждает во мне нежелание этих торговцев, стяжателей, судей, писателей хроник и гимнослугателей загореться ревностью к общему делу.

Одни говорят:

— Мы соблюдаем посты, платим налоги и подчиняемся законам. Пусть все останется как есть.

А другие уверяют:

— Мы пишем стихи, форма которых совершенна. Мы можем из гекзаметров «Илиады» составить новую поэму. Мы объяснили у Платона каждую строку и подсчитали число букв и придыханий в его диалогах. Чего вы еще хотите, любители прекрасного?

Ромеи живут как на вулкане, и каждый день нас могут затопить волны варварского моря, а эти люди не хотят расстаться с теплом супружеских постелей. Но сколько раз мы с василевсом поднимали их среди ночи, гнали жезлом на поля сражений, однако они не могли понять, что назначение человека — жить и умереть ради прекрасного, а не цепляться за ничтожную жизнь. Они плакали и жаловались на невыносимую тяжесть возложенного на их слабые плечи бремени. Не плакать надо, а пылать, как свеча среди ночного мрака, стоять непоколебимо среди бури! Только то прекрасно, ради чего человек согласен отдать свою жизнь, не имея от этого никакой личной выгоды. Иначе как вы проверите ценность вещи? Посмотрите на русских и берите пример с них! Бесстрашно они идут на смерть в сражениях, презирая щиты и всякие военные ухищрения и считая, что умирают ради счастья своей земли.

Дни текли. Мрачные предсказания Льва Диакона сбывались. Как потом историк написал в своей книге, северная аврора возвестила ромеям о падении Херсонеса. Буря негодования возмутила душу благочестивого. А в это печальное время, как будто ничто не случилось и как будто не угрожала нам со всех сторон гибель, Константин, его брат и соправитель, беззаботно охотился с друзьями среди холмов Месемврии на диких ослов. На константинопольских базарах в те дни говорили: «Побрякушка и крест делаются из одного куска дерева».

Огненные столбы вставали на северной стороне неба, наводя ужас на городскую чернь. Страшная комета пыла в небесном пространстве, может быть предвещая гибель мира. Мы были свидетелями того, как рушились с ужасным грохотом дивные купола церквей — непрочные создания человеческих рук. Потом полевая мышь пожрала посевы, и нашу державу посетил голод. Люди платили по номисме за медимн пшеницы. В бурном море погибло множество кораблей, и земля обильно оросилась кровью христиан.

Взятие варварами Херсонеса довершило наши бедствия. Падение этого города горным эхом отозвалось в кавказских ущельях, в тишине гинекеев, в бедных жилищах дровосеков, в становищах доителей кобылиц и даже в далекой Антиохии. Торговцы на сарацинских базарах, корабельщики в портовых кабаках, путники на далеких караванных дорогах или на ночлеге в придорожных гостиницах рассказывали друг другу о событиях в Таврике. Странный ветер веял из скифских степей. Судьбы человечества решались ныне не в Риме, а на берегах Борисфена, и символ власти над миром, хрустальный, увенчанный крестом шар, трепетал в руке василевса.

Но послушайте, о чем беспокоятся эти люди!

— Правда ли, что цена на хлеб поднялась на два фолла? — печалится табулярий.

— Кухарь, принес ли истец на поварню обещанного ягненка? — спрашивает судья.

— Церковный служитель, уплатила ли вдова положенную мзду за панихиду? — допытывается пресвитер.

Городские ворота были уже заперты, когда мы приблизились к башне, но мы выкрикнули свои имена стражам, и в исключение из правил они впустили нас в город, осветив факелами наши лица. Затем тяжелые ворота снова со скрежетом, медленно повернулись на медных упорах. На мгновение огонь блеснул на меди оружия, и мы снова очутились в темноте. На пустынной улице подковы мулов гулко цокали о камни. Видно было, что в некоторых домах еще были зажжены светильники. Пахло жареной рыбой. Люди оставили свои дела и вернулись к домашним очагам, принимали пищу, готовились отойти ко сну. Я распрощался с друзьями и повернул мула к форуму Быка, а оттуда на улицу Благоденствия, где стоял мой дом, недалеко от церкви св. Акакия. Со стороны Пропонтиды веяло прохладой.

Служитель разоблачил меня, и я опустился на ложе, но ночь провел в бессоннице: в голове теснились мрачные мысли, и предчувствия не давали мне покоя. Видя, что сон бежит от меня, я зажег свечу и взял с полки первую попавшуюся под руку книгу; она оказалась сочинением, в котором Феофан Продолженный пишет о восстании Фомы Славянина. Вероятно, это был такой же молодой раб, как те, что мы видели сегодня в имении Леонтия. У меня самого было некоторое число слуг, ибо и тогда, несмотря на мое скромное звание спафария, василевс осыпал меня милостями. Однако стихи Иоанна Геометра растревожили мое сердце, и я всегда соболезную участи бедных и поработенных. Может быть, рабы и теперь готовы восстать на нас, и мы живем как на вулкане, но откуда мне знать, о чем они замышляют: ведь при моем приближении они неизменно умолкают и потупляют глаза.

Я написал эту книгу на греческом языке, но, чтобы явственнее стала для читателя логическая связь последующего, должен напомнить, что я в совершенстве изучил язык руссов. Этим я обязан тому обстоятельству, что провел детство в предместье св. Мамы, где останавливаются приезжающие в столицу ромеев русские купцы. Согласно существующим договорам, руссам отводится здесь помещение в странноприимных домах и в течение трех месяцев выдаются съестные припасы — мясо, рыба, вино и овощи. Они также имеют право бесплатно мыться в общественных термах, что они и делают с большим удовольствием.

Руссы привозят меха, воск, мед и порою закованных в железо рабов — пленниц и пленников или обращенных в рабство жестокими заимодавцами бедняков, продающих себя в годы неурожаев. Наймиты тоже легко попадают



на положение раба: всякая порча плуга или падеж хозяйского вола ставится им в вину, и они платят за все, и эти пени надевают на них петлю рабства. А при случае господин продает их купцам, плывущим в Константинополь. Потом они кончают свои дни евнухами, или гребут до последнего вздоха на хеландиях, или погибают в медных рудниках.

Русских купцов в Константинополе встречает легаторий, на обязанности которого — следить за иноземцами, и табулярии. Одним из последних был мой отец.

В предместье св. Мамы эти служители закона заверяют подписи в письменных документах и составляют договоры торгующих. Это весьма ответственная служба, и всякий табулярий должен владеть гибким слогом и уметь точно выражать свои мысли, чтобы совершающие куплю и продажу не могли вставить в текст двусмысленные выражения, которые потом возможно было бы истолковать во вред противной стороне. Впрочем, отец рассказывал мне, что руссы не прибегали к таким ухищрениям и строго соблюдали клятвы, принесенные на обнаженных мечах.

Получение звания табулярия обусловлено многими требованиями. Необходимо, чтобы человека единодушно избрали для выполнения этой должности все другие табулярии и проверили его в знании законов Прохирина и шестидесяти книг Василиков. Кандидат не должен быть болтливым и высокомерным или распутником. Требуется, чтобы он был добропорядочных нравов и благочестивым в церковных делах. После же принесения со стороны избирающих клятвенных обещаний здравием императора, что они принимают в свою среду нового товарища не из лицепрятия или по родству, а за его добродетели, все направляются в дом к градодержцу, где происходит церемония возведения в сан. Затем табулярии идут в ближайшую по месту жительства церковь. Сняв плащ и оставшись в одной белой фелони, новый табулярий получает благословение от священника. Примикерий же, то есть старшина табуляриев, берет в руки кадило и совершает перед новоизбранным каждение, а один из присутствующих держит Евангелие. Этим воскурением показывается, что мысли табулярия должны возноситься перед господом, как фимиам. Потом все возвращаются торжественным образом домой, пируют и веселятся.

Отец неоднократно рассказывал об этом обряде и о том, что по своему званию должен был находиться во время императорских выходов в Ипподроме, и как однажды он опоздал и уплатил пени в размере четырех кератиев, о чем очень сожалел.

Пережил отец и другие неприятности. Был такой случай, что он заверил подпись какого-то константинопольского купца в документе, в котором была незначительная ошибка, что-то вроде пропуска значка, означающего придыхание, и другая договаривающаяся сторона опротестовала действительность соглашения, и только суд признал его силу.

Случилось, однако, что отец захворал горячкой, и его лечил врач Никита, проживающий поблизости, и иногда дочь лекаря Ирина приходила, чтобы дать питье больному, и благодаря встрече сделалась потом женою табулярия, хотя Никита, весьма состоятельный человек, лечивший даже высокопоставленных людей, и противился неравному браку. Таким образом, суждено было, что я родился в предместье, где часто слышится русская речь. Кроме того, дед приставил ко мне свою старую служанку по имени Цвета. Девушкой пленили ее хазары и продали в рабство в Херсонес, где ее купил мой дед. Она не могла до старости забыть свою страну, томилась и плакала в плену, рассказывала мне русские сказки о добродушных медведях и хитрых лисицах. На улице я тоже часто разговаривал с руссами на их языке, и среди них у меня

был большой приятель, научивший меня многим полезным вещам и даже стрельбе из лука. Впоследствии я научился у него вскакивать на всем скаку на коня, ухватившись рукою за гриву. Иванко, как звали моего друга, родился в Плескове, в одном из тех бревенчатых городов, что стоят на севере, на берегах богатых рыбой рек и во тьме непроходимых лесов. Когда ему исполнилось двадцать лет и юноша по обычаю своего племени получил право носить оружие, он нанялся в охранную дружину богатого купца, возившего вместе с другими княжескими людьми в Константинополь меха и воск. Ежегодно они приплывали в наш город, а когда руссы распродавали товары и приобретали необходимые им греческие материи, пряности, вино и сушеные плоды, они возвращались в свою страну, получив от ромейских властей необходимые им в пути мореходные снасти, парусину и якоря. Иванко, румяный и светловолосый воин, был большим любителем виноградного вина и чувствовал себя хорошо при всяких обстоятельствах, будь то в константинопольской таверне или в сражении с печенегами, часто подстерегающими руссов на порогах. Теперь я с благодарностью вспоминаю этого человека, но мне неизвестно, что стало с ним с тех пор. Тысячи людей встречаем мы на своем жизненном пути и потом теряем навеки из виду среди житейского моря.

Я с удовольствием проводил время на улице, в самой гуще ромейской жизни, пока пресвитер Иоанн, учивший меня чтению и письму, не усаживал своего непоседливого ученика за Псалтирь. Но уже приближалось время, когда я должен был начать учение в школе при церкви Сорока мучеников, где вместе с сыновьями богатых родителей я в течение нескольких лет с прилежанием изучал риторику.

Эта школа была славной наследницей древних Афин. В ней некогда учились патриарх Фотий, проповедники Кирилл и Мефодий и многие другие знаменитые люди, и я не могу без слез вспоминать те счастливые годы, когда мы внимали в ее стенах обучающим нас истине. Лекарь Никита был просвещенным человеком и хотел, чтобы я постиг не только священное писание, но и светские науки. Полнота образования требует того и другого, но наши учителя неизменно и скучно настаивали на том, что нельзя ставить рядом человеческие познания и божественную мудрость, ибо никогда служанка не делается госпожой.

Во всяком случае, окончив школу, я научился многому, в том числе безошибочно определять размер стихов, хотя сам никогда не занимался стихосложением, а также искусству точно выражать мысли и украшать свой слог примерами из поэтов и цветами риторики. Затем я усвоил математическую четверицу — астрономию, которая изучает величины движущиеся, геометрию с ее постоянными величинами, музыку с соотношением величин, а также безотносительные величины арифметики. И только тогда я перешел к философии, познавая, что такое подлежащее и сказуемое, относятся ли они к целому или к части, сколько видов суждений, силлогизмов и фигур, все ли можно доказать сведением к невозможному, что такое аксиома, сколько видов тождества, непрерывна ли цепь причинности и прочее. И лишь потом я приступил к чтению Гомера и тайком, пряча книгу под подушкой, зачитывался при тусклом мерцании светильника Платоном, к которому нужно приближаться с большой осторожностью, чтобы не попасть в греховные тенета его очарования.

У лекаря Никиты был брат, астроном при прославленной Трапезундской школе. Дед, ставший уже человеком преклонного возраста, хотел, чтобы я там закончил свое образование. В те годы этот город был важным центром по торговле с Востоком, в нем были прекрасные здания и церкви, а на его улицах толпились арабские купцы и армяне, персиане и иверы; властители

последних хвалятся тем, что ведут свой род от жены воина Урии — Вирсавии, на которой самовольно женился царь Давид, и поэтому считают себя родственниками не только псалмопевца, но и богородицы, так как она происходила из семени Давида, и утверждают, что венец его перешел в Иерусалиме к Навуходоносору, а от него к иверийским царям. Известно, что иверийская знать женится только на родственниках, чтобы не терять чистоту крови.

Для меня это было первое далекое путешествие, и я никогда не забуду плавания на морском корабле в Трапезунд, слезы матери при расставании и потом прохладные ночи на плоской крыше, небо, усеянное звездами, и костлявый палец астронома Никона, показывавший мне Стрельца, Кассиопею или какое-нибудь другое созвездие. Трепет охватывал сердце, когда вдруг раскрывались передо мною тайны небес и светила, плывущие в эфирном океане, располагались в стройном порядке в хрустальных сферах. Седая борода Никона, аскета и терпеливейшего из учителей, щекотала мне шею. Звездные небеса медленно кружились вокруг Полярной звезды. Тихим голосом астроном сказал мне однажды:

— Прочел я в одном древнем трактате, что земля круглая, как шар, и не солнце совершает путь над нею, а земля вращается вокруг солнца. Но это ересь, осужденная церковью.

Я взглянул на него с волнением. Лицо старика было освещено слабым светом звездного неба. Мне показалось, что в глазах у него блеснула лукавая искорка, и мне стало страшно. У меня было то чувство, которое испытывает ходящий по краю пропасти. Вот еще одно небольшое усилие — и все станет понятным. Но мне трудно было превозмочь тайный ужас перед опасностью заблудиться в этих глубинах и погубить себя навеки. А между тем я предполагал, что Никон относится с большим доверием к утверждению древнего мудреца, и при одной этой мысли сомнения рождались в моем сердце, все меняло свои места во вселенной, верх становился низом, а низ верхом, но я опасался спросить о разъяснениях, потому что подобное знание противоречило священному писанию.

Однако вскоре я отыскал в библиотеке Никона тот трактат, о котором он говорил. Это было сочинение Аристарха Самосского, весьма ветхий список. На нем с большим трудом можно было разбирать отдельные слова, и в свитке не было конца. Земля — шар? Не солнце плывет по небу с востока на запад, а наша планета вращается вокруг небесного огня?

Тысячи раз задавал я себе подобные вопросы и не решался на них ответить. Тайна осталась скрытой навеки. Теперь я жалею, что у меня не хватило смелости откровенно побеседовать с Никонном. Теперь уже никто не ответит на мои недоуменные вопросы — астроном давно лежит на трапезундском кладбище под высокими кипарисами. С собой он унес и тайну небес, а свиток затерялся.

Не меньше, чем звезды, я полюбил книги. Забывал о времени и пище, с упоением читая Платона, который так замечательно умел говорить о любви. Равного ему в этой области не было и не будет на земле. Отраженная в душе, как в некоем божественно тихом море, любовь очищается от всего плотского и нечистого. Та же, но совсем иная. Неудовлетворенная, но счастливая, ликующая даже в страдании.

Потом прочел я Плотина и Прокла и поражался их гению, увлекался некотороме время Дионисием Ареопагитом. В этих книгах мир был совсем другим, не грубым, как наше тело со всеми его низменными желаниями, а легким, лишенным неприятных запахов и слишком резких цветов, и я блаженно вдыхал его прохладный, разреженный воздух и только впоследствии познал на жизненном опыте, что подобные рассуждения бесплодны. Необхо-

димо вспахать землю, чтобы на ней колосилась пшеница, нужны искусные человеческие руки, чтобы построить корабль или мельницу для зерна, и во всем требуется труд.

Но годы шли. Из Трапезунда я возвратился домой уже не на корабле, а в повозке, пересек Пафлагонию и Вифинию, посетил многие города, а ночуя в гостиницах или останавливаясь на постоянных дворах, встретил тысячи людей.

По возвращении в Константинополь я поселился в доме деда, лекаря Никиты, который искал благоприятного случая получить для меня какую-нибудь должность. Жизнь протекала без больших потрясений и была полна приятных переживаний. Я наслаждался стихами Иоанна Геометра и в большие праздники посещал вместе с другими Ипподром и там в тумане-журений старался разглядеть в императорской кафизме василевса.

Однажды я встретил Иоанна, прославленного поэта, на площади около св. Софии. Мы шли с дедом к ранней литургии. Придворные чины направлялись в сопровождении слуг к Священному дворцу. Дед сказал мне, указывая перстом на бледного, задумчивого человека в придворной красной хламиде:

— Смотри, вот стихотворец Иоанн. Говорят, у некоторых его стихи вызывают слезы на глазах...

Я удивился могуществу поэзии.

Событием в предместье св. Мамы по-прежнему было прибытие из Понта Эвксинского русских купцов, привозивших товары из Скифии. Сначала они распродавали меха и шкурки и прятали деньги в кожаные пояса. Потом значительная часть денег уходила на покупку тканей, на вино и развлечения.

Из любопытства я иногда сопровождал варваров в город. Мне было интересно наблюдать, как они с изумлением смотрели на великолепие нашей столицы. Их, как детей, поражала величина триумфальных колонн и храмов. В храм св. Софии язычников не впускали, но они могли вдоволь наглядеться на красоту наших дворцов, на статуи и водометы. Потом варвары возвращались в предместье св. Мамы, пили в тавернах вино, шумели, хватались за мечи, и тогда являлись присланные градодержцем отряды городской стражи с привычным к таким делам кандидатом. Он прикладывал руку к сердцу, уверял, старался уладить ссору миром, не прибегая к оружию, чтобы не затруднять отношений с варварами в будущем. Три месяца спустя варвары покидали ромейские пределы.

Кроме Иванка, у меня было много других друзей среди руссов. Это были рослые и красивые люди, искусные в употреблении меча и секиры, и многие из них превосходные наездники. От них я научился умению владеть оружием, ездить верхом без седла. Беседуя с ними, я совершенствовался в русском языке, и впоследствии его знание мне пригодилось.

Но однажды лекарь Никита вернулся из дворца и заявил, что теперь мы можем надеяться на исполнение наших желаний. Оказалось, что ему удалось излечить от бессонницы какого-то важного придворного чина и тот обещал в благодарность за это оказать содействие в прискании для меня подходящего места в Священном дворце. Надежды наши вскоре оправдались, и спустя несколько дней дед сообщил, что меня принимают на службу.

— И не в звании кандидата, как это обычно делается,— ликовал старый лекарь,— а спафарием, то есть меченосцем. Кто знает, может быть, настанет время и ты будешь протоспафарием?

О лучшем нельзя было и мечтать.

В назначенный день мне надлежало надеть праздничную одежду и отправиться во дворец. Исцеленный сановник просил за меня хранителя императорской печати Василия, всесильного в те дни евнуха, чтобы я был при-

ставлен к юным сыновьям покойного императора Романа, еще не вступившим на престол.

При этом известии мать всплеснула руками и заплакала не то от счастья, не то от горя.

— Куда ты вознесся, сын мой! Теперь ты и взглянуть не захочешь на наше ничтожество!

А я и не знал в тот вечер, что отныне судьба моя будет связана с судьбою василевсов.

Время было тревожное. Над ромейским миром сгустились черные тучи. Все труднее и труднее становилось отражать удары многочисленных врагов. Но чтобы понять положение, в каком очутилось ромейское государство, надо оглянуться на некоторые события, среди которых прошло детство Василия и Константина.

Когда почил блаженной памяти император Константин, автор замечательных книг, трудолюбивый, как пчела, писатель, на престол василевсов вступил его сын Роман, двадцатилетний юноша, любимец Ипподрома и черни, белокурый красавец, как все представители македонской династии. Он предпочитал государственным делам конские ристания и охоту. За спиной мужественного и сурового Никифора Фоки, носившего под пурпуром власяницу, не снимавшего много лет панциря, Роман мог расточать поцелуи черноглазым ромейским красавицам. Это Никифор Фока повел на Крит драконы и хеландии с метательными приспособлениями для огня Каллиника и лучшими воинами империи, славянскими и армянскими наемниками, чтобы изгнать с острова нечестивых агарян. Из гавани Фиголы, около Эфеса, вместе с флотом в море вышла ромейская слава. Агаряне были разгромлены, и христианские церкви на Крите вновь огласились пением. Победы были одержаны также в Сирии, и Алеппо подвергся разграблению, но события в городе Константина побудили Никифора Фоку вернуться с Востока в столицу.

Роман был женат на Феофано, дочери простого трактирщика, пленившей легкомысленного кесаря изумительной красотой. История их встречи похожа на сказку.

Но бывает на земле, что любовь разит человека как молния, и, увы, я сам испытал подобное.

Магистр Леонтий Хрисокефал, бывший в те дни юным кандидатом, рассказывал мне об этой истории.

Шел дождь. Охота была удачной — на повозках лежали туши черных вепрей. В деревушке, которая попалась по дороге, охотники решили остановиться на ночлег. Деревню наполнил лай охотничьих псов, и с ними медленно вязались в драку деревенские овчарки. Псаря и ловчие разместились по хижинам. Для василевса нашли помещение в придорожной харчевне. Над ее воротами висел на шесте сноп житной соломы — символ приятного для путника ложа.

Постель готовила Роману молоденькая дочь трактирщика. Она принесла охапку свежей соломы и, стоя на коленях, взбивала ее усердно. Василевс любовался ее проворными руками.

— Как тебя зовут, дитя? — спросил он.

— Феофано, господин, — ответила девушка и опустила необыкновенные ресницы.

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцать, господин.

— Какие у тебя длинные ресницы... Сними с моих ног обувь, красавица!

— Я сделаю, как ты повелишь...

Леонтий только что прибыл из Константинополя с важным посланием, трясся весь день в почтовой тележке.

— Выйди,— сказал ему василевс, даже не взглянув на государственную печать красного воска с изображением павлина.

Ночью в деревне лаяли псы, шел дождь, пахло сыростью и навозом...

Прошли немногие месяцы, и прекрасная Феофано, дочь трактирщика, стала августой. Ее красота покорила всех ромеев, и льстецы называли ее второй Еленой. Но на базарах и в тавернах шепотом говорили, что это она дала яд своему легкомысленному супругу. Роман умер. Вернувшийся с Востока Никифор Фока привел из Каппадокии войска азийских фем, и ничто не помешало ему сменить меч, увитый лаврами, на скипетр. Новый василевс женился на Феофано и объявил, что считает себя только опекуном Константина и Василия — малолетних детей покойного Романа.

Надев пурпурные кампагии, Никифор продолжал походы, вернул ромеям Адану, Мопсуэстию, Тарс, а из сирийских городов — Лаодикию, Йераполь, Арку, Эмессу и даже Антиохию, где в числе добычи оказался меч Магомета. Патрикий Никита Халкуди завоевал Кипр.

Затем разыгрались известные всем события на Дунае, прекращение дани болгарам, посольство Калокира в Киев, появление Святослава. Император решил сокрушить Болгарию силами русского князя, которому было послано из Константинополя тысяча пятьсот фунтов золота. Святослав появился со своей дружиной и печенегами на берегах Дуная и быстро завоевал северную Болгарию. Русскому князю понравились горы и долины Дуная. Но это был бы слишком опасный сосед. Ромеям снова пришлось вести войну. Однако походы и лишения сломили силы василевса, тем более что, несмотря на блистательные победы, положение государства было тяжелым. Никифор не пользовался любовью населения. В его наружности не было ничего такого, что мило народу, — ни величия, ни приятного взгляда. Низкорослый, коротконогий, с большой головой на толстой шее, темнолицый, с глубоко сидящими в орбитах жестокими глазами, он больше походил на мясника, чем на императора. Победы его стоили слишком дорого. Народ изнывал под бременем налогов, воины роптали на невыносимую тяжесть службы. Кроме того, он был слишком стар для прекрасной Феофано. В одну страшную зимнюю ночь, с ведома коварной августы, Иоанн Цимисхий, пахнувший духами щеголь и необузданный честолюбец, ворвался во дворец и предательски убил в постели безоружного героя Антиохии и Аданы.

Цимисхий, ловкий и обаятельный, начал с того, что отправил в монастырь влюбленную в него без памяти сообщницу и тем обелил себя в глазах христиан. Во главе государства был поставлен евнух Василий. Сам василевс поспешил на поля сражений. Ведь Святослав захватывал на Дунае, в союзе с болгарам, один город за другим. Предоставив болгарскому владыке Борису носить царские инсигнии, сам русский лев сражался как простой воин. Руссы перевалили Балканские горы и ворвались в Филиппополь, где они предали мечу двадцать тысяч человек. Но под Адрианополем, можно сказать, уже под самыми стенами столицы, Варда Склир, лучший полководец ромеев, с крайним напряжением всех сил нанес первое поражение северным варварам, ряды которых значительно поредели к тому времени от болезней, и вынудил их уйти обратно за Балканы. В это время на театр военных действий прибыл Иоанн Цимисхий.

Флот из трехсот дромонов был послан к устьям Дуная, чтобы преградить врагам путь к отступлению. Окруженные со всех сторон в Доростоле, испытывая крайний недостаток в съестных припасах, с одними мечами против метательных машин и огня Каллиника, руссы бесстрашно шли против зако-

ванных в железо катафрактос и погибали героями. Святославу ничего не оставалось, как предложить мир. Предложение было принято с радостью, ибо всякий мир лучше войны, а двадцать тысяч варваров еще могли причинить ромеям немало вреда.

Уступая желанию русского князя, Иоанн согласился на свидание с ним. Сияя металлом панциря, в пурпуре и в осыпанной жемчужинами диадеме на голове, завитый и надушенный, в окружении придворных и телохранителей, василевс спустился верхом на коне к Дунаю. Святослав прибыл в условленный час на ладье. Он был в белой рубахе и штанах, босой, и его одежда отличалась от других воинов только чистотой. В одном ухе он носил золотую серьгу с двумя жемчужинами и яхонтом. У него были длинные светлые усы, голова выбрита, и только сбоку оставлен длинный локон, как это в обычае у некоторых варварских народов. Князь сидел с веслом в руке и греб наравне с воинами.

Иоанн сошел с коня и приблизился к ладье, обворожительно улыбаясь, поблескивая красивыми глазами. Святослав молча смотрел на него. За смелость, благородство и, может быть, за легкую походку или быстроту передвижения руссы называли своего князя барсом. Когда Святослав шел на врага, он предупреждал: «Иду на вас!» В этом сердце не было места предательству. Князь доверчиво протянул руку императору, но не потрудился встать со скамьи. Побеседовав некоторое время о мире, они расстались. Писатель Лев Диакон, мой друг, который присутствовал при этой сцене и рассказывал о событиях болгарской войны, уверял меня, что никогда в жизни он не видел более достойного воина, чем Святослав.

В конце концов нам удалось закончить войну. Получив по кошнице хлеба на война, руссы ушли из Болгарии и поплыли в свою страну. Но на порогах, где им пришлось зимовать в ужасных условиях, на них напали печенег, вероятно брошенные на руссов коварным Иоанном Цимисхием. Святослав погиб, и лишь немногие вернулись домой и рассказали о том, что случилось. На некоторое время опасность со стороны руссов была устранена.

Удалось достичь некоторых успехов и на западе. Выдав замуж племянницу, благонравную Феофану, названную этим именем в честь августы, за Оттона, незаконно именующего себя императором, Иоанн прекратил войну в Италии. Апулия, Калабрия, Салерно и Неаполь остались в руках ромеев. На востоке стратиг Николай продолжал громить сарацин, завоевал Амиду и Нисибис, памятный сражениями древности. Апамя, Эдесса и Бейрут вернулись в лоно империи. Множество святых было вырвано из рук несчастных агарян. Уже василевсу мерещились холмы Иерусалима...

Среди этих потрясений прошли мое детство и юность. О победах мы слышали из уст глашатаев, с амвонов церквей, на форумах и на базарах. Но хлеб был дорог, и все реже приходили в предместье св. Мамы русские купцы. Жить бедным людям было тяжело. Никогда в городе не было такого количества нищих, калек, безруких, безногих и слепцов, как в те годы. При таких обстоятельствах для меня начиналась новая жизнь.

С бьющимся сердцем я прошел под аркой огромных, сделанных из меди дворцовых ворот, под которой гулко отдавались шаги. Меня сопровождал какой-то воинский чин в синем плаще, с красным украшением на груди. Мы вошли в залу ожидания. Зала была круглая, и вдоль стены стояли обитые полосатой и довольно потрепанной материей скамьи. На них скромно сидели явившиеся сюда по делам люди — поставщики минерального масла для светильников, торговцы мясом и овощами, просители. Какой-то чернобородый человек несколько раз пробежал мимо нас с пачкой бумаг в руке. Мой провожатый обратился к нему, и тот осмотрел меня с ног до головы. Некоторое

время, скривив рот, он ковырял пальцем в ухе, а мы почтительно смотрели на это занятие. Потом чернобородый внимательно посмотрел на палец и сказал:

— Юноша! Сейчас ты будешь лицезреть Багрянородных!

Он рассказал подробно, как я должен вести себя, начиная с тройного земного поклона и кончая тем, каким голосом отвечать, если меня соблаговолит спросить о чем-нибудь. Втроем мы двинулись в глубину мрачного дворца. Сопровождающего меня чернобородый называл кандидатом, а тот его спафарием, и я понял, что это низшие придворные служители.

В полутемных переходах и галереях, опираясь на страшные секиры, стояли огромные варяги. Чем больше приближались мы к внутренним покоям, тем сильнее было мое волнение. Наконец чернобородый остановился перед обитой металлом дверью и шепнул нам:

— Подождите здесь...

Мы остались ждать с кандидатом у двери, и я с любопытством рассматривал на стенах изображения морских сражений. На них ромейские дромоны метали огонь на врагов, и сарацинские корабли пылали, как костры. В потемневшей от времени и копоти морской воде на картинах плавали серебряные и красные рыбы. Вдруг дверь отворилась, и незнакомый человек, в желтой одежде до пят, судя по лицу — евнух, поманил меня пальцем. Чернобородый выглядывал из-за его плеча. С биением сердца я переступил порог. Чернобородый поклонился и вышел, а я направился с евнухом дальше.

— Как тебя зову? — спросил он, справляясь с восковой табличкой.

— Ираклий Метафраст.

Скрипучим голосом он тоже стал наставлять меня по поводу троекратных земных поклонов.

В конце перехода была низенькая, судя по литью — серебряная дверь.

— Во имя отца, и сына, и святого духа... — постучал евнух.

Служитель отворил дверь. Едва сдерживая волнение, я переступил порог, и моему зрению представилось обширное помещение с узкими окнами в непомерно толстых стенах. Перед глазами пыл туман, но евнух подталкивал меня, и я увидел, что на пурпурной скамье сидят два юноши. Это были сыновья покойного василевса, Василий и Константин, в легких домашних одеждах и обшитых жемчугом шапочках. Один — постарше, с мрачно насупленными бровями, другой — совсем еще мальчик, с любопытством уставившийся на меня голубыми глазами. Около них стоял тучный злой человек, евнух, с лишенным растительности лицом. Он тоже рассматривал меня заплывшими, маленькими глазками, не говоря ни слова. Потом я узнал, что это был всеильный паракимомен Василий.

Помня о наставлениях сопровождавших меня, я упал троекратно ниц.

— Приблизься, — услышал я голос евнуха.

Я подошел.

— Отныне ты будешь служить здесь, — опять сказал евнух, — но смотри, чтобы не было на тебя нареканий. Или попробуешь плетей!

Я стоял, не смея поднять глаз. Сюда я вошел как в храм, а мне говорили о плетях! Но все-таки я успел рассмотреть, что братья отличаются большим сходством, оба светловолосые и голубоглазые. Василий все так же угрюмо смотрел на меня, а Константин беззаботно показывал в детской улыбке белые зубы.

На столе, покрытом зеленой материей с золотыми узорами, можно было видеть письменные принадлежности — глиняную чернильницу, тростник для писания, прекрасно отполированный пемзой пергамент, красный воск для печатей. Тут же лежала раскрытая на титульном листе книга. Скосив глаза, я прочел ее заглавие. Это был «Стратегикон» — сочинение о воинских пред-



приятнях, написанное императором Львом. Очевидно, юные кесари только что закончили утренние занятия.

Евнух сказал:

— Ты будешь являться сюда ежедневно в положенное время и исполнять то, что тебе скажут. Тебе выдадут приличествующую твоему званию одежду и возведут в чин спафария, как это положено в подобных случаях...

Так началась моя служба в императорском дворце. Но я не обманывал себя и не забывал, что это произошло не по моим личным заслугам, а по ходатайству высоких особ, которых успешно лечил мой дед. Для входа во дворец мне был выдан соответствующий пропуск; на красной печати был изображен павлин. Каждый день, на рассвете, я являлся к медным воротам, слушал утреню и обедню в одной из дворцовых церквей, а потом выполнял различные поручения юных василевсов и нес службу наравне с сыновьями благородных родителей. Обязанности мои не были очень трудными, и, помня о словах деда, что пути к преуспеванию в жизни не на полях сражения, а в огромных царских залах, я пользовался каждым удобным случаем, чтобы привыкнуть к дворцовым порядкам. Впрочем, большая часть времени проходила в ожидании повелений, в игре в кости, которой тайком занимались от скуки молодые кандидаты, или в пустой болтовне.

Начальником моим в те дни был протоспафарий Иоанн Кириот, по прозвищу Геометр, тот самый, стихами которого я увлекался. Он действительно усердно изучал геометрию и в свое время даже преподавал эту науку Никифору Фоке, но с особенным блеском проявил он свои поэтические способности и написал немало стихов. В этих двустушиях он то прославлял богородицу и христианские праздники, то воспевал любовь, хотя свою знаменитую элегию о девушке, у которой юноша просит воды у колодца, он тоже заканчивает словами о Христе — подателе истинной воды, утоляющей человеческую жажду. Был Иоанн Геометр сыном дворцового сановника и сам получил высокое звание, но любил писать о заботах и трудах простого народа, бедных земледельцев, как он это сделал, например, в звучных стихах, описывающих его путешествие из Константинополя в Селиврию. Впрочем, он обладал неиссякаемым богатством тем, и стихи сыпались у него как из рога изобилия — о пренестинском вине, о красной императорской печати, о красивом молодом человеке, о Каллиопе и Урании. Он много читал. Платон и Аристотель, Ливаний и Василий Великий были его знакомцами с самых ранних лет, но во дворце он не пользовался большим влиянием, ибо Василий, как я уже говорил, недолюбливал поэтов и философов и, зная это, многие дворцовые чины подсмеивались над научными занятиями Иоанна, хотя он и был верным слугой отечества, проявлял неоднократно воинскую доблесть и воспел ее у Никифора Фоки.

Я счастлив, что встретил на жизненном пути людей, подобных Иоанну, а тогда смотрел на него как на чудо. Может быть, протоспафарий заметил это, потому что однажды, после какого-то неприятного объяснения с евнухом Василием, сказал мне, качая головой:

— Удались, юноша, от тех, кто презирает истину. Полагаю, что ты не похож на этих бездельников, что толпятся у трона в ожидании подачек!

Этими словами Иоанн дал мне понять, что отметил меня среди прочих служителей. Иногда он беседовал со мною о стихах, удивляясь, почему я не посвящаю свой досуг поэзии. Но я довольствовался тем, что переписывал его произведения, никогда не расставался с ними и черпал в них мысли для понимания мира и людей. Впоследствии, когда жизненный опыт дал мне возможность взирать спокойно на человеческие деяния, я понял, что в стихах Иоанна Геометра было много искусственности и что от них веял порой холо-

док, но то, что поэт пережил лично, он живо изобразил в своих творениях, и я уверен, что они переживут века. Порой Иоанн забавлялся аллитерациями или совпадением собственных имен и содержащихся в них понятий — Комитопула соединял с кометой или Константина, что значит постоянный, с постоянством, иногда жалил в своих эпиграммах, как пчела, но в жизни это был любезнейший и полный благожелательности человек, и можно было позабавиваться богатству его души.

Иногда целый день проходил в томительном бездействии. В толпе служителей, евнухов и кандидатов я ждал часами, когда меня позовут, чтобы читать вслух Василию «Стратегикон». Но у меня было много случаев, чтобы присмотреться к моему господину. Василий был мрачного характера, молчалив, угрюм. К наукам относился с нескрываемым презрением, читал с удовольствием только Плутарха и с жадностью набрасывался на военные трактаты. Часто он покидал дворец, садился на коня, укреплял тело на дворцовом Ипподроме упражнениями, расспрашивал опытных воинов, как лучше наносить удары мечом или как надо отражать щитом стрелы и копья врагов. Константин предпочитал воинским упражнениям пирушки.

Во дворце было скучно и тихо. Мать Багрянородных, прекрасная Феофано, томилась в заточении, в далеком монастыре на армянской границе; Феодора, на которой женился Иоанн, почти не показывалась из своих покоев. Другая Феофано была в далекой Саксонии. Сестра Василия и Константина, Анна, как потаенный цветок, неслышно жила в тишине гинекея. Василевс Иоанн воевал в Исаврии. Во дворце царил всемогущий евнух. Все говорили шепотом, боялись сказать лишнее слово. Что-то страшное висело в воздухе. Казалось, самые стены дворцовых покоев были пропитаны ядом, интригами, заговорами, тайнами и кровью.

По городу ходили тревожные слухи о положении на восточных границах. Люди с опаской шептались, что василевс страдает неизлечимым недугом. На базарах откровенно говорили о яде, якобы посланном евнухом в императорскую ставку. Но всюду шныряли соглядатаи и доносчики. Все трепетали. Я сам, возвращаясь под родной кров, боялся говорить о том, что мне приходилось слышать и видеть во время церемоний.

Наконец император возвратился, оставив воинские предприятия незаконченными. Увенчанный лаврами побед, но изнуренный лишениями и снедаемый страшной болезнью, он походил на живого мертвеца. Его встречали патриарх, епископы, весь синклит, народ, и я видел, как василевс улыбался искаженной улыбкой в ответ на приветственные клики.

Вступление василевса в город происходило, как это было освящено обычаем, через Золотые ворота. Потом шествие направилось по Триумфальной улице к Августеону. Было заметно, что Иоанн с трудом держится в седле.

Но умолкли приветственные клики — и в Священном дворце стало еще тише, еще страшнее.

Однажды, проходя мимо опочивальни императора, я почувствовал в воздухе запах лекарственных снадобий. Василевс умирал. Серебряная дверь бесшумно открылась, на пороге показался евнух Василий, задержался на мгновение, и тогда мы услышали заглушенные, но звероподобные вопли больного.

В ту зимнюю жуткую ночь над городом шел снег. Казалось, что вся Скифия опрокинулась на ромейские форумы и стогны. В дворцовых залах до утра горели светильники. В отблеске разноцветных лампад странно взирали огромные и печальные глаза икон. И вот распространилась весть:

— Ромей! Василевс Иоанн в бозе почил! Ромей, умер наш герой!

В гинекее слышались рыдания и вопли.

Какой-то просто одетый старик, может быть истопник, плакал у камары Феодора:

— Скончался наш лев! Что будет с нами, грешными? Мы веруем в Троицу, и было у нас три василевса — Иоанн, Василий и Константин. А теперь мы погибнем...

Во дворце люди метались по залам, как в час землетрясения.

Вдруг знакомый спафарий коснулся моего плеча и шепнул:

— Тебя требует Порфиригенит.

В смятении я поспешил к Василию. В знакомом покое находились друзья юного василевса: Никифор Ксифий, Лев Пакиан, Феофилакт Вотаниат, Евсевий Ангел — в те дни domestик дворцовых телохранителей. Мне показалось, что под плащами они прячут мечи. Василий стоял взволнованный и мрачный. Все посмотрели на меня.

Василий подошел ко мне и сказал:

— Верен ты мне или неверен?

В слезах я ответил, что готов жизнь отдать ради его спасения. Василий положил руку мне на плечо, и сердце мое наполнилось ликованием.

— Доставь это письмо, — зашептал он, — доместику Запада. Пусть он немедленно явится сюда! Пусть окружит дворец схоляриями и экскувиторами!.. Тебя он знает и поверит тебе. Спеш!

Василий всегда говорил отрывистым и резким голосом. Так говорят непросвещенные поселяне или простые воины. Но по его шепоту я понял, что жизни Порфиригенитов угрожает опасность. Брат его, отрок Константин, плакал в углу. Василий толкнул меня к дверям.

— Смотри, чтобы никто не остановил тебя! Торопись! Иначе враги возмутят воинов!

Я спрятал письмо в складках плаща и бросился вон из покоя.

Никто не остановил меня, потому что все знали мое скромное положение во дворце и никому в голову не могло прийти, что мне доверено важное государственное поручение.

Стояла тихая ночь. На улице медленно летали хлопья снега. В городе было пустынно. Но где-то вдали слышался глухой ропот человеческих голов. Оказалось, что то спешил со своими войнами Варда Склир, назначенный три дня тому назад доместиком Запада. Я побежал навстречу шуму, прижимая к груди послание Василия.

Весть о смерти василевса распространялась по городу с быстротою молнии. Уже со всех сторон ко дворцу бежал народ. Свечники, чеканщики, торговцы, корабельщики, шерстобиты, водоносы бежали толпами. За падающим снегом пылали адским огнем смоляные факелы. Все ближе слышался мерный топот ног и звон оружия. Приближались схолярии. Впереди ехал на коне великий доместик. Я поспешил к нему и протянул послание.

Доместик остановил коня.

— Кто ты? — спросил он.

— Спафарий Ираклий! Я из дворца. Вот послание тебе от Василия.

— Дайте мне свету! — крикнул он.

Несколько воинов приблизили факелы. При этом чадном и смоляном огне Варда Склир прочел письмо и крикнул, подняв руку:

— За мной, схолярии!

Мы все побежали за его конем. На бегу воины выкрикивали ругательства. Несколько раз до моих ушей долетало имя евнуха, сопровождаемое самыми нелицеприятными эпитетами.

— Лиса! Жирная свинья! Отравитель! — кричали воины.

Другие ругательства были слишком площадными, чтобы их можно было

здесь привести. Я еще раз убедился, что ненависть народа к богатым была велика, и люди искали защиты у василевса, потому что молитвы их не доходили до небес, а больше им некуда было обращаться со своими нуждами.

Дворец наполнился народом. Скандинавские варяги пропустили схолариев и, оттиснутые к стене, мрачно стояли, опираясь на секиры. В прекрасных залах чадили факелы. На одно мгновение я увидел растерянного евнуха. Как Иуда, он целовал domestика, плакал у него на груди. Вырвавшись из иудиних объятий, Склир кинулся во внутренние покои и, гремя латами, упал ниц на мраморный пол перед лицом нового господина. Василий пылающими глазами смотрел на нас. Вокруг василевса стояли его преданные друзья. Уже льстецы взирали на юношу как на бога, теснились к нему, чтобы лобзать край его одежды, плакали от умиления. Тело блаженнопочившего Иоанна остывало, покинутое всеми.

— Патриарх! Патриарх! — слышались голоса.

Патриарх, ведомый под руки иподиаконами, в лиловой длинной мантии, появился среди оружия и факелов и преклонился перед новым господином мира, касаясь рукой земли. Воины грубыми непривычными к пению голосами затянули:

— Многая лета! Многая лета, автократор ромейский!..

Был ли то пустой случай или воля providения? Но с этой памятной ночи я вошел в доверие к Василию. Василевс приблизил меня к себе, и я стал делить его воинские предприятия. Я полюбил эту жизнь, полную перемен, волнений, глубокого дыхания на полях сражений и незабываемого привкуса конского пота. Мое сердце не отвращалось от крови, пролитой в битве, от гор трупов после победы, и рука у меня не дрожала, когда требовалось обнажить меч. Но не хочу возомнить себя героем. Одно дело — стоять в первых рядах и рубить секирой, другое — принимать участие в военном совете или сидеть на коне за непоколебимой стеной воинов, прикрывающих тебя щитами, и с каждым истекшим годом я все больше и больше постигал, что пролитие крови противно христианскому сознанию. Пришлось мне читать в житии Андрея Юродивого предсказания о том, что Египет снова принесет свою дань ромеям, и я знаю, что победы любезны константинопольской черни, так как отмечаются раздачей денег и съестных припасов. Но не вздыхал ли сам Андрей, подобно пророку Исае, о том времени, когда мечи превратятся в серпы, копыя — в полезные в сельском хозяйстве шесты или в орудия для возделывания почвы?

Евнух Василий уцелел, зубами цеплялся за власть, лукавил, всячески ублажал юных василевсов и соблазнял их молоденькими иверийскими наложницами. Константин подрастал и вполне удовлетворялся охотой, а Василий с каждым годом все больше мрачнел, все чаще метал молнии из голубых глаз, все крепче сжимал в руках кормило ромейского корабля. Свое внимание он направил на борьбу с самоволием стратигов, на воинские предприятия и приготовления к походам, предоставив ведение запутанных государственных дел евнуху Василию, хранителю государственной печати.

Но ради чего, спрашивал я себя иногда, цепляется за власть этот человек? Не ради же одного корыстолюбия? Должно быть, вкусившему власти уже трудно оторваться от этой сладостной чаши, и каждый мнит себя спасителем отечества.

Сколько событий совершилось в эти годы! Когда евнух заподозрил в противогосударственных замыслах Варду Склира, героя победы под Адрианополем, победителя варваров, прекрасного тактика, но мужа с беспокойным

характером, он лишил его звания доместика и сделал стратигом отдаленной Месопотамской фемы. Обиженный полководец поднял восстание. Тогда пришлось вызвать из тихого хиосского монастыря его личного врага и соперника Варду Фоку. На Павкалийской равнине разыгралось решительное сражение, в котором с обеих сторон лилась кровь ромеев. В это же время сарацины вторгались в наши италийские владения, а Мизия глухо волновалась.

После смерти Иоанна Цимисхия болгары снова вышли из горных берлог и отнимали у нас город за городом. Самуил завоевал Ларису и даже похитил мощи св. Ахиллия, ревнителя православия на Никейском соборе. Затем он двинулся на Коринф, но здесь ему преградил путь стратиг Василий Апокавк. Сам василевс впервые в этой войне попробовал свои львиные когти. Желая оттянуть от Коринфа полчища Самуила, он изнурительными переходами привел ромеев к Сардики и осадил этот крепкий город. Двадцать два дня мы стояли под его бревенчатыми стенами.

Я был вместе с Василием под Сардикой. Этот город расположен среди живописных гор, по которым вьются тропы, известные только пастухам. Среди диких скал прыгают горные козлы и серны. Воздух здесь полон горной бодрости, приятно дышать таким воздухом путнику.

Обложив со всех сторон крепость и надеясь осадой принудить болгар к сдаче, мы укрепили свой лагерь палисадами, разорили соседние селения, с нетерпением ожидая, когда у осажденных иссякнут съестные припасы. Каждое утро василевс выходил из бревенчатой хижины, которую ему срубили и где он спал, как простой воин, на овечьей шкуре, и смотрел на крепость, грозно стоящую на возвышенном месте. Мы окружали его, как птенцы орла, — Никифор Ксифий, Феофилакт Вотаниат, Лев Пакиан, Василий Трахомотий, Константин Диоген, протоспафарий Иоанн Геометр и другие. Василевс хмуро взирал на городские башни. Слышно было, как осажденные кричали со стен и осыпали василевса оскорблениями, надругаясь над его священной особой. Василий в гневе щипал завитки русской бороды.

С утра военные машины начинали метать в осажденный город камни. Но ромейские баллистриарии не отличались большой опытностью, и наш обстрел не причинял врагу большого вреда, а осажденные отвечали тучей стрел.

Слышали ли вы, как поет стрела над головой, когда, оторвавшись от тугой тетивы и описав в воздухе красивую кривую, она летит, оперенная, втыкается в землю и дрожит, вся еще в нетерпении полета? Дышали ли вы этим воздухом, насыщенным яростью, криками воинов, конским потом, вонью греческого огня, запахом свежесрубленного дерева на осадных сооружениях и вкусом металла? Видели ли вы, как плачет от бессилия в своем шатре мужественный, но побежденный вождь? Я был под Сардикой, дышал воздухом поражения, слышал пение вражеских стрел и видел слезы героя.

Когда наступал вечер и прекращались военные действия, мы собирались вокруг василевса. В хижине тускло горели светильники, пахло овчиной, а в лагере ржали кони, догорали дымные костры. Стояла осень, часто шли дожди, закрывая туманом горы.

Василия терзали мысли о будущем. Его сопровождал в походе историограф Лев Диакон. Лев захватил с собою редкий список «Последнего видения Даниила». По вечерам, покончив с трапезой, мы читали вслух эту страшную книгу и пытались найти в ее темных словах намеки на судьбу ромеев.

Будущее покоилось во мраке. Уже истекало первое тысячелетие с того дня, когда родился в яслях спаситель мира. Последние годы были полны таинственных событий. Прошлой зимой в Месемврии родился младенец, у которого было три глаза, а руки росли из горба на спине. В Константинопо-

ле на императорской псарне каждую ночь выли псы, и псарни не могли заставить их умолкнуть даже плетью. Затерянные во мраке гор, мы трепетали. Василевс, подпирая рукой усталую голову, забыв о торжественных церемониях, сидел с нами, как равный среди равных, смотрел на пламя светильника, и его голубые глаза становились совсем черными.

Как сейчас я слышу монотонный голос Льва, прерываемый иногда вздохом кого-нибудь из присутствующих:

— «В третье лето царствования Кира Персидского послан был архангел Гавриил к пророку Даниилу. И сказал ему архангел: «Муж, преклони ухо твое, ибо я открою тебе все, что совершается на земле, до самых последних дней...»

Мы не отрывали глаз от шевелящихся губ чтеца. Со всех сторон нас окружала черная ночь. Мы знали трудности, которые стояли перед нами. В воздухе явственно чувствовалась трагедия.

— «Пошлет господь огонь с небес, — читал Лев Диакон, — земля покроется водою, а Седмихолмный будет окружен врагами! Горе тебе, Седмихолмие! Увы тебе, Вавилон! Вода потопит высокие твои стены, и не останется в тебе ни одной колонны, и возрыдают о тебе приплывшие к твоим башням корабли...»

Кто-то вздохнул за спиной василевса:

— Господи, спаси наши души!

— «Стены его падут, и будет царствовать в нем юноша, который наложит руки свои на священные жертвы. Тогда восстанет спящий змей и убьет юношу и будет царствовать пять или шесть лет. После него воцарится дикий волк, и поднимутся народы севера, которые приступят к великой реке...»

С перекошенным лицом, с глазами, наполненными безумием, василевс протянул руку.

— Остановись!

Лев прекратил чтение. Мы с замиранием сердца обратили свои лица к благочестивому. Простирая руки в ту сторону, где был осажденный город, Василий звал:

— Какие стены падут? Какой юноша будет царствовать? Какие народы севера придут? Руссы?

Голос василевса звенел, поднимался с каждым словом, поражал наш слух, как звон кимвала.

— К какой реке приступят народы севера?

Мне было не по себе. В воспаленной голове теснились мысли. В самом деле — какие стены падут? Эти стены, перед которыми мы стояли? Кому грозит гибель? Может ли человеческий ум верить в эти пророческие слова или все это жалкий бред? Но как иначе предвидеть то, чему суждено случиться? В самом деле — какие народы севера? Руссы? Это им уготовлены мы в жертву?

Василий сжимал голову руками, вперив взляд в пространство, точно пытаясь проникнуть в тайны будущего.

— Продолжай, Лев!

Лев снова склонился над страшной книгой.

— «Восстанет великий Филипп с шестнадцатью языками, и будет битва. Но глас с небес остановит сражение. Тогда перст судьбы укажет человека. Ангел возьмет его в святую Софию и скажет ему: «Мужайся!»

— Читай, читай!

Но Лев хотел перевести дух и остановился.

— Читай!

Лев продолжал:

— «Тогда настанет изобилие плодов и мир на земле. Тогда лоза будет приносить тысячу гроздий, а жатва даст неисчислимое множество колосьев, но зубы у антихриста будут железные, и скоро во всем мире останется одна мера пшеницы...»

В лагере послышался шум, топот коней, крики воинов. Ксифий вышел посмотреть, что там происходило.

— «Десница его будет медная, а когти в два локтя длиной. И будет он долгонос, глаза его будут как звезды, что сияют утром. И на челе его будут написаны стихи...»

При этих словах вернулся Ксифий. Он вошел в хижину, даже не сделал положенного земного преклонения перед василевсом. Лицо его слегка побледнело. Лев невольно прекратил чтение, повернув лицо в сторону вошедшего, и так и остался с открытым ртом.

— Что случилось? — с раздражением спросил Василий.

— Благодетельный...

Присутствующие в волнении встали. Ксифий едва мог говорить.

Сигнальные огни сообщали о приближении Самуила. Мы были окружены.

Василий немедленно снял осаду, ибо был способен принимать быстрые решения, но болгары настигли нас в ущельях и нанесли страшное поражение...

Помню, что в пути, когда мы поспешно и в беспорядке отходили с остатками сил на Филиппополь, была остановка на ночлег в каком-то разоренном селении. Наши разгромленные фемы устремились на восток. Душераздирающе скрипели возы. Дорога была усеяна трупами людей и тушами животных. К ним уже слетались вороны. Этого невозможно забыть: страшная заря на западе, скрип возов, а на пламенеющем небосклоне тучи черных птиц...

Толпы беглецов поспешно уходили под покровом ночной темноты. В селении, через которое мы проходили, стояла скромная каменная церковь с круглым куполом, а вокруг нее раскинулись крытые соломой хижины. Только дом священника был под черепицей. В нем устроили постель для василевса, затопили очаг, потому что ночь была холодная, и к дверям приставили стражу.

Остальные разместились где пришлось. Воины спали на земле, положив под голову щит, укрывшись плащом или зарывшись в солому. В деревне нельзя было найти ни горсти муки, ни одного куска хлеба. Все было разграблено нашими же воинами, не пощадившими даже церковь. Жители, может быть тайные богомилы, убежали в соседние леса, захватив с собой скот и все имущество. Мы расположились в покинутых хижинах.

Среди этого невероятного беспорядка не могло быть и речи о том, чтобы устроить лагерь так, как этого требуют римские воинские обычаи, и укрепить его валом и рвом. Лагерь должен занимать четырехугольное поле, на котором пересекаются две дороги с воротами. В центре его помещают императорское знамя, шатер василевса и другой шатер — так называемый архонтарий, в котором пребывают военачальники. Вокруг размещаются гетерии бессмертных, телохранители и конные тагмы, а затем ополчения фем. Для каждого чина, для стольника или domestика, в лагере предназначено раз навсегда установленное место. Но в тот день даже патрикии и стратиги расположились там, где им привелось. Однако я настоял, чтобы вокруг селения была протянута прикрепленная на низких колышках веревка с привешенными на ней колокольцами — на тот случай, если вражеские лазутчики попытаются проникнуть в селение, чтобы узнать положение вещей. Такая веревка служит

в ночное время прекрасным средством для предупреждения неожиданных нападений.

Сердце мое было полно стыда и отчаяния. Я видел бегущих ромеев, бросивших оружие, растерявших воинские отличия, ни о чем другом не мыслявших, кроме спасения своей жизни. Сам василевс сменил пурпурные кампагии, которые положено носить только василевсам и царям Персии, на обыкновенные башмаки, чтобы не быть узнанным в случае пленения. И ты, лев!..

Отборные воины, гетерия закованных в железо «бесмертных», знаменитый легион Сорока мучеников, еще при Августе прозванный Молниеметательным и оправдавший это название во время войны с квадами, когда буря и гром, вызванные молитвами христианских воинов, устрашили врагов, бежали под стенами Триадицы, как овцы, гонимые жезлом пастыря. Прославленные вукелларии, как назывался другой легион, или, по-гречески, фема, потеряли покрытые лаврами знамена.

Только армянские пешие воины отходили непоколебимым строем, огрызались, как волки, когда на них наседали враги. Но разве я сам не трепетал, не наклонял голову, когда слышал пронзительное пение стрелы, и не бледнел, когда блистал перед моими глазами ослепительный меч?..

Лагерь понемногу затих. Была надежда, что мы ушли от преследования врагов. Ко мне явились посланцы и сказали, что меня желает видеть благочестивый.

Василевс сидел на жалкой постели священнослужителя, уронив голову на грудь. Никого около него не было. Я сделал преклонение и стоял, ожидая, когда мне скажут о том, для чего меня позвали. Василий поднял глаза и спросил:

— Что ты смотришь на мою обувь? Я сделал это не из страха. Я не хотел умножать торжество врагов. Они не должны были знать, кого поражают.

Я видел, что по щеке василевса скатилась слеза. Поймав мой изумленный взгляд, Василий смутился и сказал:

— Никому не говори об этом. Я плачу не от слабости, а от злобы. Бежали, как овцы... С тех пор как я живу, я не встретил в своей жизни ни самой малейшей удачи, и напротив, кажется, не осталось такого несчастья, которое не выпало бы на мою долю...

Он говорил со мной, как простой смертный, и я понял, как тяжело переживает он наше поражение.

Василевс сказал мне, что нужно сделать, и, получив приказание, я оставил его наедине с мрачными мыслями.

Мне надо было найти великого domestika. В поисках этого человека я ходил от одной хижины к другой, шагая через спящих и натываясь на распряженные везы. На повозках стонали обмотанные кровавыми тряпицами раненые. Тысячи их мы бросили во время панического бегства. Кое-где догорали костры, около которых грелись люди. На дороге еще слышался скрип везов, шелканье бичей. Измученные везы ревели.

Наконец я разыскал хижину, в которой нашел себе ночлег великий domestик Георгий Лаханодрокон. Проходя мимо овечьего загона, я услышал в темноте человеческие вопли. Кто-то стонал за плетнем, проклинал мир и василевса, хулил бога. Хотя голос был искажен страданием, мне показалось, что я знаю несчастного. Но сердце мое окаменело. Не обращая внимания на стоны раненого, я вошел в хижину.

На грубо сколоченном столе горел глиняный светильник. В его мигающем свете я мог рассмотреть несколько человек в воинских одеяниях. Кроме domestika, тут были Давид Нарфик, Феофилакт Вотаниат, Лев Пакиан,



Никифор Ксифий и брат domestика, по имени Андроник. Сидя за убогим столом, они подкреплялись хлебом, так как не было времени зарезать вола и приготовить ужин. Я видел, как эти знаменитые мужи брали пальцами из деревянной солонки щепотки соли. Доместик уронил голову на стол и, видимо, дремал. Рядом с ним сидели Лев Диакон, положив на стол худые белые руки, и протоспафарий Иоанн Геометр. Протоспафарий Никифор Ксифий протянул мне кусок хлеба и сказал:

— Утоли хоть немного голод, Ираклий!

Я взял кусок деревенского хлеба и стал его есть, орошая ломоть слезами, которые как бы заменяли соль. Уже два дня, как у меня во рту не было ни крошки пищи.

В хижине стояла тишина. Ее лишь порой прерывали вздохи, кашель, ругательства. Чтобы нарушить тягостное молчание, я спросил:

— А где же патрикий Иоанн?

Доместик поднял голову и посмотрел на меня воспаленными глазами.

— Благочестивый повелел его ослепить.

Так это патрикий Иоанн стонал в загородке для овец, гордый муж, владетель такого богатства, домов и виноградников! Еще вчера он был всемогущ, а сегодня лежал на овечьем навозе, ослепленный, оставленный льстецами, покинутый друзьями из страха, что оказанное ему внимание может возбудить гнев в сердце благочестивого.

Все сидели мрачные, подавленные несчастьем последних дней. Только Никифор Ксифий, стоя на коленях и расстилая в углу овчину для ночного ложа, хотя через два часа мы снова должны были двинуться в путь, не удерживая негодования:

— Сегодня ты сидишь на коне, а завтра тебя карают, как разбойника. За что ослепили Иоанна?

— Власть василевса подобна секире, лежащей у корня дерева, — вздохнул Лаханодракон.

— Секира? Лицемерие! — продолжал распалтаться Ксифий. — Пришлось мне видеть в Италии, как живут лангобардские бароны. Поистине они патрикий, а не рабы, как мы. У нас...

Никифор Ксифий был мужественным человеком. Уши у него заросли волосами, как у волка. Он воевал в Италии, защищая ромейские владения от сарацин, и любил рассказывать о том, как в Риме в обществе красивых женщин пируют бароны, под музыку виол и охотничьих рогов. Пусть пируют! Зато гореть еретикам и латинянам в геенне огненной!

Все еще стоя на коленях и отстегивая меч от пояса, Ксифий негодовал:

— А у нас? Ползают, как пресмыкающиеся. Ходишь осторожными ногами, опустив глаза долу.

— Замолчи! — крикнул я ему.

Доместик заткнул пальцами уши, чтобы не слышать предосудительные речи.

— Благочестивый один отвечает за наши поступки. Твое дело — сражаться и умереть, а не богохульствовать и осуждать установленные порядки. Положи предел твоему безумию! — удерживал от греха Никифора патрикий Феофилакт Вотаниат, человек большой осторожности и много претерпевший в жизни.

— Иоанн получил по заслугам, — сказал Лев Диакон.

Никифор Ксифий укрылся с головой плащом, но слышно было, как он скрежетал зубами. Да, он слыл храбрецом, плащ его был в крови врагов, и он сам получил ранение в этом сражении. А патрикий Иоанн, как я узнал потом, первым покинул поле битвы и во время отступления велел зарезать вола,

тащившего метательную машину, чтобы насытить свое чрево, поэтому баллиста досталась врагу.

Я переговорил с domestikом и сообщил ему то, что мне было сказано василевсом.

Подражая Ксифию, присутствующие стали укладываться на земляном полу, расстилая свои одежды. Я вышел, чтобы выполнить еще одно повеление — проверить заставы. Лев Диакон и Иоанн Геометр присоединились ко мне. На обязанности историка лежало записывать все достойное запоминания, хотя он и не любил писать о поражениях, но, во всяком случае, ему надо было взглянуть на картину ночного лагеря. Протоспафарий же был крайне потрясен событиями и не захотел оставаться в хижине. Лагерь спал. В воздухе пахло гарью затухающих костров. Если бы враги настигли нас, никто не оказал бы им сопротивления, и тогда последние остатки ромейского войска погибли бы во главе с василевсом. Люди устали безмерно и забылись в тяжелом сне. Многих мучили сонные видения, судя по стонам. А ведь через два часа мы снова собирались поднять их и вести на восток, чтобы успеть запереться в Филиппополе. В этом хаосе моя душа, уже привыкшая к благоговейной тишине дворцов, испытывала смятение.

На заставе у дороги стояли армянские воины. Среди общей растерянности они одни сохранили спокойствие духа, равнодушно переживая наши победы и поражения. Что для них была слава ромеев! Но это они провели по горным тропам и спасли от смерти василевса и всех нас.

Один из воинов, уже седобородый и со следами старых ран на лице, сказал товарищу, сидевшему на придорожном камне с копьем в руках:

— Смотри, друг, вот пришли храбрые патрикии.

Взглянув на меня еще раз, он прибавил:

— Этого, большеглазого, черного, как сатана, я где-то видел...

Я немного изучил армянский язык в бытность свою в Трапезунде, но сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит, и по-гречески спросил, не заметил ли он чего-нибудь подозрительного. Он ответил дерзко:

— Медведь никогда не догонит бегущего зайца.

Мы пошли прочь. Чтобы перевести разговор на постороннюю тему, я спросил историка:

— Откуда ты родом?

Лев вздохнул.

— Отечество мое — Калоя. Тихое селение среди холмов Тмола, на берегу Калистра, впадающего в море недалеко от Эфеса. Дивная там природа!

В это время где-то в отдалении послышалось петушиное пение.

— Слышишь? Вторые петухи! Вот так же они поют в этот час и в моей Калое. Но как там все дышит миром! А здесь я едва не сделался жертвой скифского меча...

Ни для кого не было тайной, что в этой войне вместе с болгарями действовали против нас и отряды скифов, которые Владимир тайно послал на Дунай, чтобы издалека добиться осуществления своих планов. Теперь я понял, откуда возникли разговоры о браке Анны с Владимиром. Дело в том, что ее руки добивался Самуил. Но к нему отправили не Порфиrogenиту, а простую девицу, выбранную потому, что она походила лицом на Анну. Однако болгары немедленно раскрыли обман и в наказание сожгли митрополита Севастийского, который привез им подложную царевну. Об этом событии было много разговоров, но мое внимание в данное время привлекают другие и более важные события. Скажу только, что именно тогда в Священном дворце и подумали о браке русского князя с Порфиrogenитой, чтобы возбудить его ненависть к Самуилу. А вместо этого Владимир послал ему на помощь своих

воинов! Можно подумать, что он обучался в Магнаврской школе, откуда выходят наши хитроумные логофеты.

Осмотрев заставы, мы повернули назад и шли некоторое время молча. Иоанн Геометр вздыхал, обуреваемый какими-то печальными мыслями. Впрочем, они были понятны. Потом Лев Диакон продолжал свой рассказ:

— Отца моего звали Василием. Когда решено было послать меня в царственный город, чтобы я вкусил там от плодов просвещения, твой покорный слуга отправился в путь на корабле, нагруженном быками. Это был сущий хлев под парусами! В Константинополь я прибыл в тот самый день, когда происходил триумф императора Никифора. Спокойно он ехал на коне среди всеобщего ликования и улыбался. Это был титан! Сражался, как лев, а под пурпуром носил власяницу. Но как он притеснял церковь, разорял монастыри, гнал митрополитов и епископов!

— А зачем им богатство? Стяжание мешает спасению души. Легче верблюду.

— Знаю, знаю...

— А они строят пышные дома, имеют табуны коней и множество скота. Вспомни, как жили святые в египетских киновиях и в других обителях, как будто бы уже достигая бесплотности ангелов; у нас епископ говорит, что не надо пещись о завтрашнем дне, а у самого лари набиты номисмами...

— Это Ксифий заразил тебя богохульством,— сказал Лев,— смотри, погубишь себя дружбой с этим человеком.

— Благочестивому известно мое рвение.

— А длинные языки? Подлые уста, нашептывающие в совете про приятеля?

В темноте мы не без труда нашли хижину. На пороге спала стража. Лев остановился и прислушался.

— Слышишь ли ты в воздухе веяние катастрофы?

Я тоже напряг внимание. Да, это была катастрофа.

Но историк, может быть, видел далее меня и говорил:

— Не следует забывать, что эту войну василевс начал не столько движимый благоразумными расчетами, сколько пламенным гневом. И вот расплата. Мы проводили время под стенами Триадицы Сардики в бездействии и гадали на священном писании, а болгары сражаются за свою свободу.

Вдруг произошло невероятное. Над лагерем возникла огромная звезда, озарила светом шатры, хижины, церковь и даже отдаленные горы и, упав на землю с западной стороны, рассыпалась на мелкие искры и погасла.

Я никогда не видел ничего подобного и окаменел.

Лев Диакон произнес:

— Боже!..

Но он первым пришел в себя и прибавил:

— Это означает всеобщее истребление...

Я не понял толком, что он хотел этим сказать, но я знал, что историк хорошо знаком с небесными явлениями, и мне стало не по себе. На земле происходили необъяснимые вещи.

Большинство людей в лагере продолжали спать, а те, что проснулись, потрясенные случившимся, громко обсуждали необыкновенное явление.

Мне было неизвестно, как отнестся к тому, что произошло, василевс, который, конечно, всю ночь не сомкнул глаз. Но историк был подавлен. Сделав неопределенный жест рукою, он ушел куда-то в темноту. Мы остались с поэтом вдвоем.

Всю дорогу Иоанн Геометр молчал. Может быть, в его сердце уже рождались те горькие стихи о гибели ромеев в ущелье Родопских гор, кото-

рые мы потом прочли, обливая строки слезами. Но я не знал тогда, о чем он думает, и спросил протоспафария, бывшего некогда моим начальником, а теперь все более и более отдалявшегося от милостей василевса, не хочет ли он отдохнуть в моей хижине. Иоанн был уже в годах, и первые седые нити блистали в его бороде, но живые глаза сверкали по-прежнему любопытством к жизни. Он поблагодарил меня и охотно согласился. Однако мы не уснули с ним и проговорили до зари.

В ту ночь я рассказал ему о ветхом трактате Аристарха Самосского, который мне пришлось держать в руках в библиотеке Никона, и о странных утверждениях этого философа, но Иоанн покачал головой и сказал:

— Ты настоящий эллин. Вокруг нас смятение и гибель, а ты говоришь об Аристархе.

— Не попадалось ли тебе в руки это сочинение?

— Вероятно, ты видел очень редкий список, и я не читал такой книги, но слышал о ней. Полагаю, что этот человек прав.

— Прав? И земля, как шар, вращается вокруг центрального светила?

— Не приходилось ли тебе, едуци на корабле, видеть, как мимо обманно двигаются берега, в то время как корабль якобы стоит на месте? То же самое можно сказать и о солнце. Нам представляется, что оно движется, а в действительности стоит на одном месте, и доказательством этому служит то обстоятельство, что другие планеты кружатся вокруг солнца. Ты знаешь это не хуже меня. Почему же исключение должно быть для земли?

Никон учил меня всему, что положено знать астроному, но не посягал на области, запрещенные церковью, а в словах Иоанна блеснула некая надежда среди мрака нашей ночи, и я запомнил этот разговор на всю жизнь. К сожалению, вскоре наши жизненные пути разошлись. Этот глубоко верующий человек принял сан священника и позднее постригся в монахи, оставив навсегда суету дворцовой жизни. Только изредка я встречался с ним, когда он приходил ко мне из Студийского монастыря, пешком через весь город, и мы беседовали с ним о поэзии, так как и в монашеском чине он сохранил интерес к книгам.

На земле медленно разгоралась заря. До выступления в путь осталось ждать уже недолго. Но я все-таки прилегло на несколько минут, чтобы дать отдых измученному телу. Протоспафарий Иоанн умолк и лежал, заложив руки под голову. Меня не покидали мысли о василевсе. Что он делает в этот час? Мы могли поучиться у него твердости в несчастьях.

Лежавшие рядом со мной на соломе стонали и метались во сне. Воздух был испорчен человеческим зловонием, и даже сюда доносился вопли ослепленного патрикия.

На полу спали, как простые поселяне, богатейшие люди, представители древних фамилий, имеющие власть судить и разрешать, блистающие разумом магистры и доблестные доместики, разделяющие помыслы василевса в Сенате. Повозки с нашим достоянием, одеждами и серебряными чашами были брошены во время бегства или захвачены неприятелем, слуги разбежались, воины часто отказывали в повиновении, и первые стали последними, а некоторые военачальники изменили василевсу.

Течет неуловимое время, увлекая в небытие людей, их важные и пустячные дела, трагедии героев и жалкие иллюзии глупцов. Среди этих перемен иногда казалось, что государство ромеев уже на краю гибели. Внутри Василию приходилось бороться с надменными магнатами, собравшими в своих

руках огромные богатства и окруженными тысячами слуг, а на границах — сражаться с внешними врагами.

Василий пытался обуздать своеволие гордых, но спустя два года после трагических событий под Триадицей поднял мятеж Варда Фока. Заговорщики собрались в отдаленной Харсианской феме, в доме одного из влиятельных людей, по имени Евстафий Малейн, и провозгласили Фоку василевсом, избрав его орудием своих черных замыслов. Пожар восстания быстро распространился по всему Востоку. К счастью для Василия, он мог поставить во главе оставшихся верными ромейских войск Варду Склира, неожиданно превратившегося из беглеца в великого domestika. Но Фока вероломством захватил Склира и уже без всякой помехи двинулся на Константинополь.

Это был полный сил и весьма предприимчивый человек. Мятежника озаряла слава почившего Никифора, и у него нашлись деятельные помощники. Брат узурпатора Никифор и Калокир Дельфина взяли Хрисополь. Остальные восставшие войска под начальством Льва Мелисена осадили Авидос, расположенный на азиатской стороне Геллеспонта. В то же время мятежный флот отрезал подвоз продовольствия в столицу.

Ничто, казалось, уже не могло остановить победоносного шествия Фоки. Что оставалось делать среди таких испытаний? Пришлось униженно, с улыбками и дарами, просить помощи у варваров.

Именно в те дни было получено взволновавшее всех нас известие, что князь руссов Владимир принял крещение. К нему отправили незамедлительно посольство с богатыми подарками, чтобы заключить с ним договор. Выполнив условия подписанного соглашения, киевский князь прислал нам на помощь шесть тысяч руссов и варягов, которые разгромили под Хрисополем войско Фоки и освободили осажденный Авидос. Мятежник умер на поле сражения под Лампсаком, пораженный апоплексическим ударом. Дельфина попал в плен и кончил свою жизнь в ужасных мучениях, так как Василий не знал пощады, а войско мятежников разбежалось. Однако Владимир настаивал на выполнении заключенного с ним договора.

Это время было наполнено страшными потрясениями. Ходили слухи, что Владимир сам водил своих варягов на Хрисополь, но это не соответствует действительности: князь руссов был слишком гордым, чтобы снизойти до роли наемника.

Но нельзя винить в отсутствии гордости и Василия. В тот час, когда на ромеев разгневались небеса, доведенный до отчаяния несчастьями, так выразительно описанными Иоанном Геометром, он согласился принести неслыханную жертву и отдать русскому князю Анну. Когда же обстановка несколько изменилась к лучшему, было решено повременить с выполнением данного обещания. Василевсу казалось, что еще не поздно исправить ошибку слишком поспешного решения, принятого в таких трагических обстоятельствах. Однако вдова Варды Фоки возобновила преступное предприятие мужа. Теперь восставших повел против василевса Варда Склир. Снова в Азии запылал пожар мятежа. А в это время болгары обрушились на Веррею, шеститысячный отряд варягов отказался выполнять наши приказания и готов был сокрушить все на свете за одну какую-нибудь охапку сена, как это случилось впоследствии, и в довершение всех бедствий Владимир, рассерженный невыполнением договора, осадил Херсонес.

По словам магистра Леонтия, это был исключительно одаренный вождь, в юности предававшийся страстям, а в зрелом возрасте посвятивший все свои силы государственным делам. Я еще не знал тогда, что скоро судьба столкнет меня на узком пути с этим человеком.

Началом к этому послужил вызов меня логофетом Фомой Амартолом во дворец. Я направился туда на рассвете. На востоке едва занималась заря, но лавки уже были отперты и с Месы доносился вкусный запах свежее испеченного хлеба. Накануне происходил silentий, как называются тайные заседания Сената, когда были приняты какие-то важные решения в присутствии василевса. Со всех сторон по улицам спешили сановники, церемонно приветствуя друг друга и спрашивая о здоровье или о том, хорошо ли преславный провел ночь, и потом продолжали путь, чтобы ожидать в Ипподроме приглашения в Священный дворец. Некоторые ехали на мулах в сопровождении друзей и слугителей. Еще с вечера улицы были украшены гирляндами лавра и оливковыми ветвями и посыпаны древесными опилками, так как предстоял царский выход. В утреннем воздухе было слышно, как невдалеке гремела карруха эпарха, который один имел право езды по городу в повозке.

Маяк строителя Льва еще блистал мутным светом на высокой башне над храмом богородицы Фаросской. Это был последний светоч в длинной цепи сигнальных огней, устроенных на всем протяжении от столицы ромеев до сараинской границы. Всякий раз, когда в Азии или в Сирии совершается какое-нибудь примечательное событие или на границах происходит вторжение неприятеля, эти огни передают с холма на холм и потом по берегу моря весть о случившемся в Константинополь.

Еще спали в предутренней свежести константинопольские сады, а во дворце уже начиналась церемониальная суэта. Служители гасили лампы, накрывая светильники медными колпачками на длинных тростях. Как в церкви, всюду пахло гарью фитилей. У серебряной двери, по преданию сделанной по рисунку самого Константина Багрянородного, ведущей во внутренние покои, стояли светлоусые варяги, все так же небрежно опираясь на страшные секиры. Неоднократно я видел на полях сражений ужасные ранения, нанесенные этим варварским оружием, отсеченные головы и раскрытые груди: кровь из таких ран мешается с розовыми пузырьками воздуха. Варвары равнодушно смотрели на нас, позевывая после бессонной ночи.

Великий ключарь, ведавший дворцовым распорядком, позвякивая связкой серебряных ключей, открывал двери в сопровождении начальника стражи, которого только и признавали варяги. Кивком головы внух отвечал на наши приветствия. Веститоры, или облачатели, уже приступили к исполнению своих обязанностей и шептались с озабоченным видом. Одни из них отправились в камару св. Феодора, чтобы взять там жезл Моисея и другие реликвии, остальные принесли пурпуровый императорский скарамангий и положили его, как некое сокровище, на дубовую скамью, поставленную здесь для этой цели. Веститоры со страхом косили глаза на церемониария, ожидая, когда тот тремя установленными ударами постучит в серебряную дверь и можно будет приступить к первому облачению автократора. Уже здесь собрались все, кому надлежит находиться перед серебряной дверью. Люди, прикрывая рот рукой, шепотом переговаривались между собой, передавая новости. Несколько раз я слышал:

— Херсонес... Херсонес... Анна... Анна...

За серебряной дверью послышался утренний кашель. Тогда наступила тишина, нарушаемая только шорохом парчовых царских одежд, приготовляемых для василевса. У меня забилось сердце. Мне было известно, зачем меня вызвали во дворец. Убедившись в моем знакомстве с морским делом, василевс решил назначить меня дунгарием царских кораблей и возвести в сан патрикия, чтобы я мог выполнить то ответственное поручение, о котором говорилось на последнем заседании Сената.

Выполнявший обязанности великого ключаря внух Роман, маленький,

заплывший жиром, с неприятными глазами, строго оглядывал присутствующих. Увидев меня, он тихо побряцал ключами. К нему тотчас склонился один из служителей.

— Проводи спафария Ираклия в камару Феодора,— сказал евнух, указывая на меня пальцем, украшенным золотым перстнем.

Служитель поцеловал руку евнуха и подошел ко мне с поклоном. Вместе с ним мы вошли в лабиринт зал и церквей. В Илиаке и в Хрисотриклине, изящнейшей зале с такими же аркадами, как и в церкви Сергия и Вакха, стояли чины синклита в ожидании, когда здесь появится василевс. В этой зале особенно прекрасны широкие окна, из которых в покой в изобилии льется свет. На золотом фоне мозаики сияли широкие глаза спасителя мира, скорбные от грехов человечества. На возвышенном месте были поставлены в симметрии три золотых трона, а под куполом необыкновенной легкости стоял круглый, украшенный искусной инкрустацией стол, чудо трудолюбивого ремесла.

Служитель поднял занавеску, и я очутился в камаре. На мягких, обитых алым шелком скамьях сидели сановники, которым по церемониалу полагалось встречать здесь василевса. Среди них я увидел знакомое лицо — магистр Леонтий Хрисокефал улыбался мне и кивал головой. Он еще не потерял надежды выдать за меня последнюю из своих многочисленных некрасивых дочерей.

Я сел рядом с ним, но мы едва осмеливались обменяться словом. Где-то далеко в глубине дворцовых зал уже началось торжественное шествие, и время от времени до нас долетали глухие приветственные клики. Василевс, облаченный в пурпуровый скарамангий, со свечой в руке, окруженный телохранителями, шествовал из залы в залу.

— Говорят, опять не спал всю ночь, писал...— шепнул мне магистр Леонтий.

Я сочувственно покачал головой.

— А братец охотится в Месември... Вот уж поистине побрякушка и крест делают из одного дерева!

Вошел озабоченный папий и движением руки пригласил нас соблюдать тишину. Приветственный шум приближался, усиливался. Вместе с ним приближалась для меня торжественная минута посвящения в сан патрикия, или хиротония. Мне стало трудно дышать. По выражению лиц соседей я мог судить, что и они разделяют мое волнение.

Вдруг служители отпахнули тяжелую завесу из золотой парчи, вышитую черными орлами в зеленых кругах, в симметричном порядке перемежающихся с красными крестами. Бронзовые кольца со скрежетом скользнули по металлу, и в арке появился автократор ромеев. Мы пали ниц.

Я часто имел возможность встречать василевса во внутренних покоях, получал от него приказания на полях сражений, видел, как он вкушал пищу, подставляя чашу виночерпию и рыгал, поев рыбы. Сколько его посланий domestikам и стратигам читал в свое время, в которых говорилось о самых житейских вещах! А теперь я лежал на прохладном мраморном полу, едва дыша от волнения, и мне казалось, что над нами, распростертыми во прахе в земном преклонении, совершается какая-то тайна.

— Встаньте! — услышал я знакомый голос, и все снова стало обычной жизнью.

Мы поднялись. Папий, обернув краем красной хламиды руку, поднял ее, как диакон поднимает перед царскими вратами орарь при чтении великой ектеньи, и возгласил пискливым голоском:

— Веститоры!

Препозит повторил этот возглас громоподобным голосом:

— Веститоры!

Роман был смешон в своей красной хламиде, маленький, большеротый, тучный.

Облачатели приблизились, держа в руках небесной голубизны дивитиссий, украшенный золотыми розами. Облачателей было четверо, в белых плащах, откинутых за плечи, чтобы одежда не мешала движениям рук. Руки у них заметно дрожали.

— Приступим! — опять пропел папий, подняв руку.

— Веститоры, приступите! — повторил препозит.

Веститоры стали облачать василевса. Торопясь и волнуясь, они подали василевсу сосуд для омовения рук и золотой кувшин. Из этого кувшина ему полили над сосудом воды на руки, и кто-то вытер их полотенцем, которое было на плече у одного из облачателей. Потом они накинули на господина вселенной тяжкую от жемчуга и золотого шитья хламиду и возложили на него лор — узкое одеяние, обвивающее шею и грудь и ниспадающее на правую руку. Оно должно изображать собою те пелены, в какие был обернут в гробу Христос.

Лицо Василия было по обыкновению мрачным. Он терпеть не мог этих пышных церемоний, и брови его хмурились. Но василевса уверили, что все это необходимо, и он выполнял церемониал, только старался попутно передать какое-нибудь повеление, выслушать доклад, если это было возможно, или совершить хиротонию, которая как бы входила в обряд шествия.

Желая использовать время, пока его облачают, Василий сказал, ни на кого не глядя:

— Елевферий!

Протасикрит Елевферий Харон приблизился с поклоном. Облачатели все еще сутились над широко разведенными руками василевса, завязывая золотые поручи.

— Что у тебя есть для оглашения? — спросил василевс Елевферия.

— Письмо епископа Мелетия, ваша святость.

— Огласи!

Развернув трепетными руками послание, Харон быстро стал читать письмо, но тем медовым голосом, какие бывают только у протасикритов, ведающих перепиской императоров. Как из далекого тумана до меня доносились скорбные жалобы епископа:

— «Злоба их замышляла отнять наше достояние, ибо они говорили: «Языком нашим пересилим». И вот, изблевав яд аспидов, враги возбудили против нас горечь в сердце благочестивого. Они переписывают каждую лозу наших виноградников и уменьшают длину измерительного вервья, ибо какая им забота о геометрии! Прекраснейшие храмы наши остались без церковного пения, уподобившись тому винограднику Давида, который сначала пышно расцвел, а потом стал добычей для хищения всех мимоходящих...»

Я видел, что в душе василевса накалилась горечь. Еще дымились развалины Верреи, агаряне опустошали италийские владения, Варда Склир двигался снова на Авидос, князь руссов осаждал Херсонес и из Таврики приходили тревожные известия, а во внутренних делах царил беспорядок, всюду имели место самоволие, хищения, вымогательства и издомство, и епископы, стратеги и евнухи не давали покоя василевсу кляузами и жалобами. Манием руки Василий велел прекратить чтение. Таких жалоб были сотни. Сладкий голос протасикрита умолк.

— Потом, потом! — сказал Василий.

У него не было свободного времени. Надо было урвать несколько минут



и для рукоположения меня в сан патрикия и друнгария императорских кораблей, ибо только через хиротонию, или рукоположение, могла излиться на меня благодать святого духа, без которой ничто не совершается в государстве ромеев.

Скосив в мою сторону взгляд, Василий поманил меня пальцем.

— Сколько кораблей готово к отплытию?

Едва сдерживая волнение, под взглядами многих людей, в эту минуту завидовавших моему возвышению, я объяснил благочестивому, сколько дромонов стоит в Буколеонте, сколько хеландий грузится сосудами с огненным составом Каллиника, сколько закуплено итальянских кораблей для перевозки в Херсонес пшеницы и оружия.

— Когда ты можешь отплыть?

— Через три дня, с помощью пресвятой девы, мы можем поднять паруса.

— Торопись, торопись! Каждый час дорог для меня...

Больше говорить не пришлось. И так уже священный церемониал нарушался житейскими заботами. Папий возводил глаза горе, вздыхал и даже слегка пожимал плечами, недовольный задержкой, так как на нем лежала обязанность соблюдать тысячелетний порядок. А поговорить хотелось о многом, особенно о преступном небрежении лукавого Евсевия Маврокатакалона, но я понимал, что сейчас не время и не место докучать благочестивому.

Владимир, разоритель вертограда божьего, сей волк, похищающий лучших овец нашего стада, сильно теснил в Херсонесе стратига Стефана. Об этом рассказывал нам вчера на винограднике Лев Диакон, присутствовавший как писатель истории на сиентии.

Уже были разрушены десятки цветущих селений, а Херсонес, владеющий быстроходными кораблями, ценными солеварнями и обильными рыбными промыслами, изнывал в осаде. Было необходимо подать Херсонесу руку помощи, а почти весь ромейский флот перешел на сторону Варды Склира, подкупленный золотом вдовы Фоки. Но Василий все-таки решил снарядить оставшиеся верными корабли и спешно послать их в Готские Климаты. Согласно его плану, флот должен был прорваться в херсонесскую гавань и доставить туда припасы, оружие и некоторое число воинов. Во главе этого рискованного предприятия благочестивый поставил меня.

Тут же была совершена моя хиротония с сокращенным церемониалом. В соседних залах, полных людьми, которым полагалось ожидать там появления василевса, стоял глухой ропот.

— Препозит! — сказал Василий.

Препозит подошел, совершил земное преклонение и поцеловал край священной хламиды. А потом смиренно стал ждать распоряжений.

— Подведи ко мне спафария Ираклия!

Сердце у меня снова забилось. Я приблизился, упал на колени, припал к пурпуровым башмакам, на которых жемчугом были вышиты кресты. Василевс поднял полу хламиды. Мою щеку оцарапало золотое шитье. Василевс накрыл меня полою, как на исповеди священник накрывает епитрахилью верующего, и в золотой тесноте я обонял запах парчи, пахнувшей металлом и духами.

Благочестивый возложил мне на голову костлявую руку и произнес:

— Во имя отца, и сына, и святого духа... Властью, данной мне от бога, посвящает тебя наша царственность в друнгарию ромейского флота и патрикии. Встань, патрикий Ираклий! Аксиос!

— Аксиос! Аксиос! — хором нестройных голосов повторили присутствующие.

Шествие продолжалось. По новому моему званию мне надлежало наход-

диться в зале, которая называется Онопод, чтобы приветствовать там василевса вместе с воинскими чинами и оруженосцами. В моих ушах еще звенели клики: «Аксиос! Аксиос!» Мне очень хотелось хоть раз в жизни испытать это и приветствовать василевса со стратигами и domestиками. А так как папий тоже спешил в Онопод, чтобы устранить там какое-то упущение, то мы отправились туда вместе по переходам и улиткообразным лестницам, чтобы сократить путь и опередить шествие.

Мы торопились, и Роман, казавшийся мне в эти торжественные минуты, когда я был полон восторженных переживаний, любезным и приятным человеком, задыхался от быстрого передвижения. Но вдруг мы услышали в одной из зал женский смех. Роман в изумлении остановился и раскрыл рыбий рот. По мраморному полу к нам навстречу бежал черный пушистый котенок, играя с золотым шариком. С хищной грацией он сгибал бархатную лапку и ударял шарик. Позолота игрушки казалась особенно яркой рядом с его чернотой. Шарик летел в сторону, и котенок стрелой бросался за ним. Однако спустя мгновение мы увидели, что за маленьким проказником бежали с радостными восклицаниями две молодые женщины. На одной из них был пурпур, присвоенный только рожденным в Порфире, как называется древний дворец Константина. Другая была, по-видимому, прислужницей, но из благородных дев, дочь какого-нибудь стратига.

— Порфирогенита! — в ужасе всплеснул пухлыми ручками евнух.

Это была Анна, Багрянородная сестра василевсов! Но какая причина побудила ее выйти из укромого гинекея? Может быть, она возвращалась от утрени в одной из дворцовых церквей? Возможно, что этот проказливый зверек, на поиски которого она отправилась с прислужницей, был причиной того, что она заблудилась в лабиринте зал.

В тот день я впервые увидел Анну. Опомнившись, мы упали ниц. А когда поднялись, Порфирогенита все еще стояла перед нами и широко раскрытыми глазами смотрела то на евнуха, то на меня. Эти глаза были ослепительны! Глаза, унаследованные от прекрасной Феофано! Никогда в жизни, нигде и ни при каких обстоятельствах, я не видел таких огромных, глубоких, немигающих глаз. Только однажды по делам службы пришлось мне побывать на короткое время в Равенне, и там в одной из церквей я видел мозаику, изображающую императрицу Феодору. В этих устремленных на зрителей глазах есть некое подобие Анны. Они ослепили меня, закрыли своим сиянием пышную залу, малахитовые колонны, мозаики Юстиниановых побед, всю вселенную! Мгновения бежали, а мне хотелось, чтобы они остановились. Как сладко было стоять и смотреть на Анну!

Прислужница, красивая девушка с лукавыми глазами и румянцем на щеках, поймала котенка и принесла госпоже. Тогда лицо сестры василевсов озарилось смущенной улыбкой.

— Порфирогенита! — опять воздел ручки евнух. — Пристойно ли твоей особе находиться в сем месте?

Анна ничего не ответила, еще раз взглянула на меня, повернулась и ушла, наклоня голову с женственным изяществом, как бы говоря этим жестом: «Ах, не докучайте мне вашими скучными правилами! Я знаю, что делаю!»

Она скрылась за малахитовыми колоннами, с нежностью прижимая к своей груди котенка.

Прошло еще мгновение, и Анна растаяла, как видение. Так два корабля, затерянные в пустынном море, вдруг встречаются в один прекрасный день и расходятся навеки. Шумят снасти, волнуется беспокойная стихия, а корабли неумолимо удаляются друг от друга. Уменьшается их величина,

и корабельщики с волнением смотрят вслед уплывающим товарищам. Но я не знал, что отныне жизнь моя до конца дней связана с судьбою Анны.

— Скорей! Скорей! — торопил папий. — Как бы нам не опоздать к выходу.

Василевс шествовал, облаченный в пурпур и в голубой дивитиссий, неся бремя жемчугов на золотой хламиде. Препозит уже возложил на его чело диадему императоров. Под сводами гремели слова древнего латинского гимна:

Annos vitae...  
Deus multiplicet feliciter...

Обширной залой Дафны, Августеоном и Октогоном, Триклином кандидатов, залой Девятнадцати экскувиторов, мимо икон, триумфальных мозаик, светильников и знамен, со свечой в руке, в облаках фимиамного дыма, в ропоте восторженных голосов и под музыку органа василевс шествовал в Лихны. Особый чин, посланный патриархом, возвестил василевсу, что приближается малый выход. Вдоль шествия рядами стояли воины. Церемониарии с позолоченными жезлами в руках вводили в залы магистров, патрикиев и стратигов. Время от времени слышался густой голос препозита:

— Повелите!

Шествие приближалось. В следующей зале, которую называют Онопод, полагается находиться друнгарии городской стражи, друнгарии императорских кораблей и спафариям, на обязанности которых нести оружие василевса. Уже слышен был волнующий шорох башмаков о мраморные плиты. И вдруг мы увидели над толпою пурпуровый балдахин, на котором покачивались пышные страусовые перья, розовые и белые. Перед василевсом несли жезл Моисея, чтобы пасти народы, и крест Константина, чтобы просвещать вселенную истинной христианской верой. Уже присоединился к шествию со своими скрибами и нотариями заведующий письменной службой во дворце, оруженосцы и другие дворцовые чины. Силенциарии в нужное время поднимали свои жезлы, сделанные из палисандрового дерева, с серебряными шарами, и тогда восстанавливалась тишина и люди с удвоенным вниманием ждали торжественной минуты. Раздавался медленный, тяжкий голос препозита:

— Повелите!

В ответ на возглас василевс благословлял свечой присутствующих...

Захватывало дыхание от этой пышности и великолепия. Из Триклина Девятнадцати экскувиторов уже несли древние, покрытые римской славой велумы. Одни из них были увенчаны золотыми статуэтками Фортуны, другие — серебряными орлами или раскрытой в благословении рукой, приносящей счастье на полях сражений. За римскими орлами следовали пышные знамена протекторов, так называемые драконы и лабарумы.

Подчиненные хранителя императорской печати запели латинский гимн. Окруженный синклитом и воинством, с лабарумом Константина над головой, в сияющей диадеме, с которой свешивались жемчужные нити, особенно оттеняющие суровость лица Василия, император показался наконец в Трибунале наряду.

Здесь его приветствовали представители партии Голубых. Великий доместик, обернув руку полой белой хламиды и обратившись лицом к василевсу, трижды медленно осенил его в воздухе широким крестом. Сливаясь с музыкой органов, хоры пели:

Annos vitae...

Под сводами гремел хорал:

Многая лета!  
Многая лета тебе,  
Автократор ромеев,  
Служитель господа...

Эпарх и все, кто зависел от него, а также множество народа, представители различных ремесел — свечники, серикарии, торговцы рыбой, водоносы, виноградари из долины Ликоса, каменщики, булочники, корабельщики — и находившиеся в те дни в городе иноземцы подхватили торжественный напев.

Великий domestik еще раз поднял руку для крестного благословения.  
Хор пел:

Взирайте, как утренняя звезда восходит  
и затмевает свет солнца!..  
Се грядет Василий, бледная смерть сарацин...

Мелодично и четко звякали кадила, взлетая в воздух на тонких серебряных цепочках. Впереди лежал усыпанный цветами путь в храм св. Софии. Василевсу еще предстояла длительная церемония каждения престола и прикладывания к св. Кладезю, к тому самому, у которого Христос беседовал с евангельской самаритянкой. Священные камни перевезли в храм из Самарии. Потом следовало целование любви с патриархом и другие обряды. Я их знал наизусть...

Я шел, по своему новому званию, совсем близко от василевса, и мне было грустно, что среди присутствующих на Ипподроме уже нет моего отца. Как рады были бы они с матерью, видя такое возвышение сына!

В св. Софии насыпали в кадило фимиамные зерна, чтобы благочестивый император мог совершать в алтаре каждение престола. Толпы народа — Голубые и Зеленые, Красные и Белые — поочередно приветствовали василевса кликами. Трудно было представить себе что-нибудь более величественное, чем это зрелище. У меня в сердце был праздник, но среди орлов и лабарумов неотступно сияли глаза Анны! Я понял, что теперь не будет для меня покоя на земле до конца дней, что дромоны и огонь Каллиника и оружие фем существуют только для того, чтобы служить ей.

В тот день была Троица. Священный гимн, положенный для этого праздника, начинался так:

Да возрадуется вся вселенная, ибо победа  
И радость царствуют у Ромеев... Слава богу,  
Венчавшему тебя на наше спасение...

В этот момент с василевса снимали одну диадему и надевали другую, еще более пышную. Возложив ее, патриарх вручал императору просфору и пузырек с благовонным розовым маслом, а от него получал в дар пурпуровый мешок с золотыми монетами. Все имело свой смысл и значение. Лор означал погребальные пелены, крест на скипетре — победу над адом, акакия, или киса с землею, — смертность человека, обертывание ног льняной материей, как это в обычае у поселян, и расшитая золотом обувь — смирение и блеск империи...

Впрочем, мне скоро пришлось покинуть шествие, потому что меня ждали в гавани самые неотложные дела в связи с оснасткой кораблей и приготовлением к отплытию. Бросив последний взгляд на василевса и как бы испросив его позволения, я незаметно вышел из рядов патрикиев, и когда пробирался

сквозь толпу к тому условленному месту, где меня должен был ждать с мулом слуга, я вдруг увидел среди любопытных стихотворца Иоанна Геометра. Он уже несколько лет тому назад покинул Священный дворец и удалился в Студийский монастырь, где принял монашеский сан. Теперь он был не в красной хламиде, а в черном одеянии, и борода его стала длинной и запущенной. Но Иоанн с видимым интересом смотрел на шествие.

— Здравствуй, отче,— сказал я со всем возможным уважением.— Не правда ли, какое великолепиие?

Иоанн горестно покачал головой.

— Опиши все это в звучных стихах!

Но он ответил:

— Я уже не пишу о земном. Ты говоришь — великолепиие... Но посмотри вокруг себя со вниманием, и ты увидишь рубища и бедность.

Я последовал его совету и окинул взором толпу, что была передо мной, и мое праздничное настроение во мгновение ока растаяло. Я действительно увидел тысячи бедняков, вероятно пришедших сюда в надежде на бесплатную раздачу хлеба и вина. За пурпуром и парчой царственных одеяний, за шелком знамен и дымом кадил я не заметил их раньше.

«Ты испортил мне радость сегодняшнего торжества»,— хотел я сказать поэту, из смирения облачившемуся в монашеское одеяние, но он уже исчез в толпе.

Это происходило в те дни, когда пал Херсонес...

Некоторое время ушло на приготовление к отплытию в Понт. Необходимо было спешить, а драгоценное время приходилось тратить на препирательства с медлительным префектом арсенала, на волокиту и переписку с великим domestikом. Оказалось, что ничего не было готово — ни сосуды с огненным составом, ни метательные машины. Большинство кораблей было в руках Варды Склира, не хватало рабочих рук, чтобы приготовить состав Каллиника, и Василий не знал предела своему гневу. Многие в те дни были наказаны и ползали, как побитые псы, у пурпурных кампаний василевса.

У меня не было ни одного свободного часа. На рассвете я уже отправлялся в порт, к Влахернам, где смолели корабли. Там стучали молоты и топоры, пахло смолой, коноплей, холстом новых парусов. С божьей помощью наш флот, вопреки всем препятствиям, снаряжался в путь, и я с удовольствием глядел на громады дромонгов, на которых возможно поместить значительное число воинов и два ряда прикованных цепями гребцов.

На носу и на корме таких судов возвышаются башни, откуда лучники мечут стрелы. Мачты стояли, как непоколебимые дубы. На хеландиях — кораблях меньшего размера — уже были установлены и прикрыты кожами от любопытных глаз соглядатаев медные трубы для метания греческого огня, как варвары называют состав Каллиника. Я взирал на корабли и спрашивал себя: неужели может погибнуть в море подобное искусство человеческих рук?

В Мангале, как называют в Константинополе арсенал, у ворот днем и ночью стояла неусыпная стража — там хранились оружие и всякого рода военные припасы. В низких помещениях со сводчатыми потолками пахло невыносимой для дыхания серой. Глухонемые рабы (им отрезали языки, чтобы они не могли выдать тайну ромеев врагам) толкли в огромных каменных ступах секретные составы, растирали на ручных мельницах селитру, доставляли сосуды с горной смолой. Лишенные в молодости языка, они здесь быстро глохли и не слышали грохота медных пестов о каменные ступы. Как в безмолвном аду, они готовили для василевса огонь Каллиника, а по ночам им не давал спать мучительный кашель, и жизнь их была недолговечной.

Новый куратор арсенала Игнатий Нарфик, армянин по происхождению, бледный человек с черной бородой и охрипшим от зловредных испарений голосом, даже ко мне относился с недоверием. Пуще всего он хранил тайну огня Каллиника. Но у меня был пропуск в арсенал, и, являясь туда по повелению василевса, я узнал этот состав. В него входят сера, селитра, древесный уголь и горная смола в строго определенных количествах. Достаточно на одно измерение нарушить пропорцию — и огонь уже не будет приносить вреда. Однако ни одного слова я не могу прибавить к сказанному.

Удостоверившись, что работы в Мангале идут полным ходом, я отправился к великому domestiку, чтобы узнать, как обстоит дело относительно тех воинов, которых я должен был взять на корабли. Евсевий Маврокатакалон, обжора и стяжатель, медлил, вздыхал и жаловался на болезни.

— Поменьше бы думал о брюхе,— говорил я ему.

Но он отвечал, отдуваясь после еды, ковывая в зубах зубочисткой из гусяного пера:

— Все будет во благовремени. Судьба наша в руках господа. Покров богородицы охранит нас вернее всех стен и кораблей.

Самые неприятные разговоры приходилось вести с Агафием — государственным казначеем, от которого во многом зависело получение денежных средств для нашего предприятия. В противоположность Евсевию, он был худ и суетлив. Этот способный на всякое зло интриган, возомнивший о своем уме и весьма завистливый человек, с низким недоброежелательством смотрел на мое возвышение и вредил при всяком удобном и неудобном случае. К счастью, василевс обратил в прах все его происки и сослал его на остров Хиос, когда обнаружилось, что отчеты государственной сокровищницы не соответствуют действительности. Принимал участие в подготовке экспедиции в Таврику также Исидор Антропон — логофет дрома, по своей должности ведавший сношениями с иностранными государствами и варварами, хотя он и был ничтожеством,— но с ним имел дело магистр Леонтий Хрисокефал, а не я.

У меня было достаточно забот и без логофета. Целыми днями я метался из Вуколеонфа в арсенал, из арсенала во дворец, а оттуда снова в порт, едва успевая проглотить кусок хлеба, как будто бы я был не патрикий, а простой поденщик. Василий мне говорил:

— Бей их жезлом! Сокруши их, но не медли!

Но однажды он сердито посмотрел на меня и постучал пальцем по мраморному столу.

— Мне известно о тебе... Читаешь стихи и диалоги Платона. Не до стихов теперь. Ногами растопчу риторику Демосфена и силлогизмы Аристотеля! Брошу в огонь легкомысленные произведения поэтов! Мне нужны воины, а не музы! Закрою школы, усмирю болтунов, но научу ромеев сражаться! Трусливых псов, возвращающихся на свою блевотину!

И я заушал, грозил ссылкой на острова или темницей, не зная покоя ни днем, ни ночью. Но иногда вдруг представлял на мгновение залу малахитовых колонн, сияющие глаза Анны — и останавливался, прерывая речь на полуслове.

— Что с тобой? — спрашивали меня.

— Ничего.

Люди многозначительно покашливали и переглядывались. Агафий уже шипел, нашептывая что-то влиятельным друзьям,— змея, ползущая у ног господина. Даже Никифор Ксифий, с которым я в те дни делил труды, подружески спросил меня:

— Что с тобою, патрикий? Станный ты человек! Муж, наделенный крепостью в мышцах и разумом, осыпанный милостями благочестивого, а презираешь радости жизни. Другие имеют жен, потомство, приобрели имена, а ты тратишь средства на переписку книг, как будто они могут заменить человеку земные блага. Почему ты не хочешь быть таким, как все?

— В книгах и есть настоящая жизнь.

Но Никифор неодобительно относился к моему поведению.

— А вчера тебя опять видели с этим агарянином. Неприлично!

— С Сулейманом?

— С Сулейманом.

— В чем же дело?

— Что тебе надо от этого врага христиан?

— Мы беседовали с ним о путешествиях. Сулейман хорошо знает греческий язык, любит Аристотеля. Он рассказывал мне о Дамаске и Иерусалиме. Даже об Индии. Это — путешественник, астроном, любитель красивых вещей. Он как-то сказал мне, что мы плохие наследники Платона. Но на это я ответил, что мы, однако, блестяще разрешили проблему купола..: Сулейман в юности совершил путешествие в страну шелка. Там живет странный народ, отличающийся необыкновенной вежливостью, и очень мудрый.

Ксифий смотрел на меня как на безумного.

— Все-таки он враг. Тебе лгут, а ты внимаешь подобным вещам, — сказал он, и я понял, что не стоит метать бисер перед свиньями.

Работы по оснастке и вооружению кораблей приближались к благополучному окончанию. Однажды я был в порту, наблюдая за смоловарами. Опять явился Никифор Ксифий в сопровождении каких-то иноземцев. Я старался припомнить, где я их видел. Потом вспомнил. Это было во время шествия в Трибунале. Один из них, юноша с красным пером на шляпе, похожей на колпачок, сказал тогда своим соотечественникам по-итальянски, очевидно по поводу наших воинов: «Оружие у них плохойковки и легковесное. Больше знамен, чем копий...»

Подойдя ко мне, Ксифий шепнул:

— Это латыняне, прибывшие из Флоренции по торговым делам.

Итальянцев было трое. Самый молодой из них, Лука Сфорти, происходил, вероятно, из патрицианской семьи. Он был в зеленой тунике и в черном коротком плаще. Голени его были обтянуты, как у плясуна, сырыми тувиями, а на ногах прихотливо загибались острые носки желтых итальянских башмаков. На поясе у него висел кошелек из черного шелка, полный серебряных монет, как потом я узнал. Маленькая черная шляпа с красным длинным пером довершала этот красивый, но не очень благопристойный для наших глаз наряд. Сфорти был молод, румян, беззаботно улыбался среди чужих людей, красивый юноша с черными кудрями до плеч. По всему было видно, что это расточитель отцовского богатства, блудный сын. Остальные двое были значительно старше его и одеты не так нарядно, но с такими же кошельками у пояса. Они были кушцы.

Юноша снял шляпу и непринужденно поклонился мне. Ксифий смотрел на него с таким видом, как будто гордился своим гостем.

Я стоял на потрепанном коврикe, который мне постлали на грязном помосте пристани, патрикию и друнгарию императорских кораблей. На моих плечах была старая хламида, которую не жаль было носить в порту, где всегда можно испачкать одежду смолой. Не до красоты было в такое время! Меня занимали государственные заботы. Я наблюдал, как корабельщики смолили огромный корабль. Он назывался «Жезл Аарона».

Ксифий, любитель греховного времяпрепровождения, бывавший в Италии, хорошо знавший тамошние обычаи, тихо сказал мне:

— Надо показать гостям наши элачные места. Они люди молодые и не откажутся от чаши вина.

Сфорти слышал его слова и улыбался. Великолепные зубы его сверкали.

— Пойдем сегодня в Зевгму, Ираклий,— предложил Ксифий.

Я отстранил его рукой.

— Как тебе не стыдно думать о подобных вещах! И в такое время! В нашем ли звании посещать кабаки? Предоставь это грубым корабельщикам...

Но дьявол бродит не в пустынных местах, а во дворцах, поблизости от церквей и монастырей, там, где высокие помышления.

Когда стемнело, мы надели плащи с куколями и, как воры, пробрались в запретный квартал, над воротами которого сохранилась статуя Афродиты. Здесь часто происходили драки, убийства и ограбления.

— Сюда, сюда! — показывал нам путь Никифор Ксифий, очевидно хорошо знавший эти места.

Нагибаясь, мы вошли в низкую дверь какой-то таверны. В помещении пол был густо посыпан опилками. Чадили вонючие светильники. Самого разнообразного вида люди — корабельщики и наемники дворцовой стражи, гуляки и портовые грузчики — сидели за столами и пили вино из глиняных чаш. Им прислуживали растрепанные женщины. Смуглые, белокурые, рыжие, толстые и худошавые, на все вкусы. Они охотно смеялись.

Мы уселись за свободный стол, с которого одна из женщин лениво смахнула тряпичей остатки пиши и хлебные крошки. Мне показалось, что эти глаза я тоже видел однажды, но не мог припомнить, где и когда. Она равнодушно молчала, глядя куда-то в сторону, пока мы требовали принести нам хорошего вина. А потом, не произнеся ни единого слова, ушла, и в ее худобе было что-то трогательное, хотя это была блудница, каких тысячи в портовых кварталах.

Старуха, только что подсчитывавшая медные монеты, подошла к Ксифию и стала ему о чем-то шептать.

— Таких красавиц и у багдадского калифа нет,— сказала она в заключение и прищелкнула языком.

— Потом, потом! — отмахнулся от ее назойливых предложений Ксифий, с опасением поглядывая на меня.— Сначала пусть нам подадут вина. И не какую-нибудь кислятину, а из старой амфоры.

— Ладно,— согласилась старуха.

Я знал, что мой друг был легкомысленным человеком и любил всякого рода приключения. Молодые итальянцы тоже с любопытством осматривали помещение и находившихся в нем людей. Женщины, оценив молодость и богатый наряд иноземцев, умильно им улыбаались. Судя по всему, Сфорти понравилась полная белокурая женщина с серыми и как бы сонными глазами. Свои обильные волосы она стянула красным платком. Сфорти попробовал завязать с нею знакомство, что было нетрудно сделать, но Ксифий остановил пылкого юношу:

— Сначала выпьем вина.

Итальянец покорился, осушил, не отрываясь, кубок, хотя и поморщился.

— Что за манера подмешивать в вино вонючую смолу!

— Это полезно для здоровья,— пояснил Ксифий.

— Но отвратительно на вкус.

— Да,— заметил один из купцов, по имени Марко, тот, что был, кажется, самым рассудительным среди них и скромным по своим выражени-



ям, — если говорить откровенно и никого не обижая, то мое небо не привыкло к таким напиткам.

— А рыбный соус! — поднял обе руки Бенедетто, второй купец, полный человек с бритым желтоватым лицом и тяжелыми веками. — Ваша кухня наполняет зловонием весь город. Как вы можете есть такую гадость? Нас угощали у епарха — баранина в рыбном соусе, с чесноком и луком!

— У вас тоже любят острые приправы, — отозвался Ксифий. — Но это еще ничего, а вот жить у нас действительно скучновато. Хорошо в Италии! Музыка, за столом пьют вино, и тут же сидят синьоры! Красавица бросает цветок с балкона, и влюбленный юноша прижимает его к устам. А у нас женщины томятся, как в тюрьме, в гинекеях. Скучная жизнь! Плети свистят в воздухе. За любую вину — ослепление... И еще падение ниц, ползаешь у пурпурных башмаков...

— Смотри, не ослепили бы тебя за такие речи, — предостерег я друга.

— Плети и у нас свистят, — рассмеялся Марко.

— Может быть, для смердов, а не для людей благородного звания, — сказал Ксифий и потыкал в воздухе пальцем.

Молодой итальянец, которого звали Сфорти, уже выпил несколько кубков вина. Вино было крепкое, с острова Хиоса, и юноша опьянел. Стукнув кулаком по столу, он надменно заявил:

— Никто не посмеет у нас ударить плетью человека благородного происхождения!

Марко, очевидно, более здраво смотрел на вещи и пожал плечами:

— Всякое бывает.

— Мы терпим многое, — заметил я, — потому что служим великой цели. Вот почему мы переносим лишения и сражаемся с мечом в руках.

— Вам псалмы петь, а не носить меч! — разразился пьяным смехом Сфорти. — Золотом и лукавством вы поднимаете на свою защиту варваров, воюете оружием наемников.

Ксифий нахмурился, а мне пришло в голову, что не так уж далек Сфорти от истины.

— Поражали и мы полчища сарацин, варваров, лангобардов и прочих, — сказал Ксифий.

— Поражали греческим огнем, — не унимался юноша, — а попробуйте сразиться с варварами в открытом поле! Вам не устоять против их натиска, и вы побежите, как овцы.

Ксифий вскочил и с ненавистью посмотрел на Сфорти. Разговор готов был превратиться в пьяную ссору. Мы и заметить не успели, как вино отуманило наши головы. Ксифий кричал:

— Не важно, какими способами добывается победа — оружием или хитроумием логофетов!

— Важно, ради чего проливается кровь, — поддержал я его.

— Ромеи проливают ее ради истинных догматов. Мы — ромеи, что значит римляне! — наступал Ксифий на итальянца.

Соседи, корабельщики или люди из предместий, тоже готовы были вмешаться в драку. Раздавались выкрики:

— Латыняне! Причащаются опресноками!

— Какие вы римляне? — не уступал итальянец. — Вы греки. Это мы римляне, и наш господин есть император священной Римской империи!

— Вы не римляне, а франки, ломбарды, саксы. То есть варвары. Рим находится в запустении. На форуме бродят козы. Я видел. Всюду развалины и поляны. И у вас неправильно совершают крестное знамение.

— А вы совершаете великий выход против солнца! От вас все ереси.

— Вы же будете гореть в геенне огненной.

— Это вам придется в аду щелкать зубами, глядя, как мы наслаждаемся в раю. Ваш патриарх носит палий по милости папы. Пожелает римский папа...

— Ну, заткни глотку, молокосос! — не выдержал Ксифий и схватил молодого итальянца за одежду. — Скажу одно слово кому следует, и тебя бросят в темницу за оскорбление величества и патриарха.

— Герои! — издевался Сфорти. — Любому варвару продают своих принцесс!

Очевидно, он намекал на переговоры с русским князем. Об этом говорили в порту, на рынках и в тавернах.

— Этого не будет! — воскликнул я.

— А болгарам вы разве не отдали дочь Христофора?

— Во-первых, — пытался я спорить, — дочь Христофора не была Порфирогенитой. Во-вторых...

— Во-вторых, все вы лжецы...

Я был пьян, как последний корабельщик. Обняв голову руками, я сидел за столом в каком-то блаженном забытьи и не находил слов, чтобы достойно ответить заносчивому мальчишке. Что ему известно о римлянах? Разве он может понять величие нового Рима?! Не станет нашего града — и на земле наступит мрак.

Прислушивавшиеся к ссоре простолюдины окружили нас толпой. Какой-то пьяненький человек с красным носом, судя по внешнему виду скриба или церковный прислужник, подзадоривал огромного рыжеусого наемника:

— Как можешь ты терпеть такую хулу на ромеев! Пойди и ударь его твоей десницей!

Марко, по-видимому очень осмотрительный человек, пытался успокоить Ксифия и Сфорти, готовых пустить в ход кулаки. Опытная в таких делах трактирщица тоже принимала меры, чтобы предотвратить драку: она видела, что мы не простые корабельщики и с нами были иностранцы, а повреждение тела в подобном случае могло вызвать неприятности. Она что-то шептала своим девочкам, показывая на нас пальцем. Полная белокурая женщина подошла и обняла за шею Сфорти.

— К чему эти пустые споры, юноша! — привлекла она его к себе.

Ее короткая одежда оставляла обнаженными белые, нежные ноги. Она была голубоглазая и с синеватым румянцем на щеках. Такие женщины приезжают к нам из страны франков.

Ксифий тоже улыбался ей. Но итальянский юноша не хотел уступить, отталкивал спафария, плакал пьяными слезами. Я смотрел на эту суету угасающими глазами и шептал:

— Анна! Анна!

Ко мне подошла служанка, подававшая вино, почти девочка, смугловатая, и эта смуглота оттеняла блеск ее зубов. Она отличалась худобой, и в ней ничего не было привлекательного, но ее огромные глаза и ресницы мне что-то напоминали.

— Анна! Анна! — повторял я.

— Что ты говоришь? — удивилась она. — Меня зовут не Анной. Мое имя — Тамар.

— Тамар означает на каком-то языке пальму. Тамар!..

Мне было грустно от вина и оттого, что я губил свою душу, оттого, что уже, видимо, не было никакой надежды на спасение. Казалось, что опьянение сняло с меня все то, что опутывало меня в ромейской жизни. Тоненькая Тамар напоминала мне о прекрасных глазах Анны. Вокруг шумели и игорлани-

ли пьяные. Брошенный кем-то в драке кувшин с грохотом ударился в стену и разбился на мелкие черепки. Я слышал, как Тамар сказала буяну:

— Осел!

Но, обращая ко мне, прибавила шепотом;

— Здесь для тебя не безопасно. Пойдем со мной!

Под утро я покинул Тамар. Ксифий и итальянцы исчезли. Но я не стал разыскивать их, вышел на улицу, огляделся, как вор, по сторонам и быстро направился домой.

Посадив на корабли шестьсот воинов — это было все, что мог дать мне великий domestik, — погрузив военные припасы, сосуды с огнем Каллиника и двенадцать тысяч медимнов пшеницы на тот случай, если бы оказались пустыми зернохранилища осажденного города, и вознеся хвалу господу, сотворившему небо, землю и морские пучины, мы подняли паруса и проливом Георгия вышли в Понт Эвксинский. Четырнадцать дромонов, семь хеландий и два торговых корабля, приобретенных у генуэзских купцов, отплыли на одоление врагов.

Нас провожали напутственными речами и благословениями. Накануне отплытия василевс принял меня втайне и разъяснил, как я должен был поступить во всех вероятных случаях. Пришел на пристань, чтобы пожелать мне счастливого пути, и Димитрий Ангел. В минуты расставания, весь в мире своих мечтаний, он говорил мне что-то о споре с маститым стихотворцем Иоанном Геометром, но я пропустил его слова мимо ушей, так как был занят более важными делами. В лицо нам уже веял морской ветерок. Озаренный зарей купол Софии, розоватый и совершенный по форме, стал медленно уплывать в облака. Одна за другой скрывались крепостные башни; церкви, сады и дворцовые здания плыли мимо и кружились за кормой.

Соблюдая всяческую осторожность, корабли медленно прошли мимо Диплоциония, и вдруг свежий ветер Понта наполнил упругим дыханием огромные красные паруса.

Я находился на головном корабле «Двенадцать апостолов». На корме трепетала пурпурная хоругвь с изображением богородицы — охранительницы города Константина. Над ее главой сиял полумесяц со звездой внутри — знак Артемиды-звероловицы, богини луны. Однажды она спасла Византию от нашествия Филиппа, и в благодарность жители называли в честь богини залив Золотым Рогом.

Рядом со мной на помосте стояли мои спутники — магистр Леонтий Хрисокефал, с которым не разлучала меня судьба, и протоспафарий Никифор Ксифий. Я спросил послать этого воина в Херсонес, чтобы заменить меня в случае, если мне суждено было погибнуть преждевременно.

Корабельщики грубыми голосами нестройно затынули: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

Позади шли в походном порядке остальные суда, напоминая стаю гигантских птиц. В ответ на наши молитвы оттуда тоже доносилось церковное пение. Следуя за кормой моего дромона, величественные корабли один за другим огибали пустынный мыс. Первым сделал широкий поворот «Жезл Аарона», за ним последовали «Святой Иов» и «Победоносец Ромейский». Остальные скрывались в утреннем тумане.

Так плыли мы два дня и две ночи.

В пути мы часто беседовали с магистром Леонтием и Никифором о трагическом положении в мире. Леонтий, посевший на ромейской службе, хорошо знал состояние дел в Таврике, Скифии и соседних странах. Всего год

тому назад он возглавлял посольство, отправленное в тяжелую минуту к русскому князю. Пройдя пороги и избежав опасности со стороны кочевников, магистр Леонтий поднялся по Борисфену в Киев, который хазары называют Самбатом, подсчитал силы русских, осмотрел их города и склады товаров, и теперь мы с большим интересом расспрашивали магистра о его путешествии, князе Владимире и Херсонесе.

В данное время этот город сделался центром мировых событий и поэтому был главной темой наших разговоров. В существовании ромейского государства Херсонес всегда играл огромную роль. Отсюда мы получаем в большом количестве дешевую соленую рыбу, которой кормится бедное население столицы, соль и необходимых для наших войск коней. Херсонес является местом, где скрещиваются торговые пути из Азии в Скифию, а из Скифии к берегам Понта. Этими путями с необыкновенной предприимчивостью пользуются русские, хазарские, греческие и даже сарацинские купцы. Ладьи, караваны верблюдов или запряженные медлительными волами повозки везут в Херсонес самые различные товары. Из глубины Азии сюда доставляют шелк и индийские специи, особенно перец, а потом переправляют в Константинополь или на Запад. Отсюда важная торговая дорога лежит в Киев, в другой славянский город — Фрагу, где много каменных зданий, в Саксонию и города на Рейне. На обратном пути торговцы останавливаются в Самакуше или поднимаются по Танаису в хазарский город, где среди шатров из верблюжьей шерсти стоит дворец кагана, платят ему десятину и проникают в Хазарское море. Переплыв его, они выходят на персидский берег, грузят товары на верблюдов и доставляют в Багдад меха. Из Багдада они везут в Скифию цветные материи, финики, сушеные смоквы и рожцы.

Но в последние годы этоговековой кругооборот золота и товаров превращается в хаос. В необозримых степных пространствах передвигаются огромные орды кочевников, ищущих новых пастбищ и лучшей участи. Номады не сеют и не жнут, а разводят крупный и мелкий скот и питаются мясом и молоком животных, а из шкур изготовляют огромные повозки, в которых они передвигаются с женами, детьми и рабами и со всем домашним скарбом. Жизнь их полна перемен и движения, и иногда я спрашиваю себя: не счастливее ли они нас, запертых в каменных городах?

Кочевники часто нападают на купеческие караваны — поэтому торговля в последние годы терпит большой ущерб, и в связи с этим беднеют приморские города. Понимая важность торговых сношений с греческим миром и с Багдадом, Владимир прилагает все усилия, чтобы сделать степные пути безопасными. Его владения огромны и полны богатств всякого рода. На берегах русских рек стоят многочисленные города, где живут искусные ремесленники. Русские пахари сеют жито или пшеницу, охотники занимаются звериными ловами, а бортники ищут в лесах мед диких пчел. Но знатные люди промышляют торговлей, однако приобретают и села, и смерды обрабатывают их нивы.

В зимнее время, когда замерзают реки и установившийся санный путь позволяет привезти в Киев меха с погостов Древлянской земли и других областей, он собирает дань, продает меха и на эти деньги содержит воинов.

О том, что происходит в русских лесах и болотах, мы отчасти знаем из описаний Константина Багрянородного, хотя сведения эти в значительной степени устарели.

Вот что писал об этом царственный автор.

В месяце, который называется сечень, прекрасные северные леса наполняются стуком секир. Это жители тех областей — кривичи, лутичи и остальные славяне — рубят в зимних рощах деревья, главным образом ивы и липы, так

как они легче поддаются обработке, и выдалбливают из них однодревки, как руссы называют изготовленные из одного ствола лодки. А когда начинается таяние снегов и освобождаются ото льда реки, они выводят эти утлые челны в ближайшие заводы. Но так как эти реки впадают в Борисфен, то возможно провести водою однодревки до Киева, где лесорубы продают их местным купцам, которые снимают со старых, пришедших в негодность ладей весла, мачты, кормила, железные уключины и другие снасти и снаряжают купленные однодревки. В месяце, когда уже поют кузнечики, купцы плывут до города Витичева, а оттуда, когда соберутся все лады, отправляются через пороги в Понт Эвксинский и, укрепив свои неустойчивые лады досками или связками сухого тростника, поставив мачты и подняв паруса, бесстрашно плывут в Константинополь.

Но не всегда они были мирными гостями. Неоднократно, подобно хищным волкам, руссы спускались на тысячах челнов в Понт, разоряли Амастриду, появлялись даже под самыми стенами Константинополя, как это было, например, в дни Олега, и тогда приходилось откупаться от них золотом. Однако с помощью мидийского огня ромен обычно отражали варваров, а бури топили их неприспособленные для морского плавания лады. Но вот теперь снова народы с изумлением повторяют имя Владимира.

Леонтий рассказывал нам о нем любопытные подробности. Князь был сыном Святослава, того скифского героя, с которым сражались Варда Склир и Иоанн Цимисхий, как мы рассказывали в свое время. Русский герой погиб на порогах во время предательского нападения кочевников. Они оковали его череп серебром и сделали из него чудовищную чашу, из которой пили во время пиров хмельное молоко степных кобылиц. Матерью Владимира была, по слухам, некая женщина по имени Малуша, прислужница Ольги. О приеме Ольги, замечательной и мудрой правительницы, приходившейся Владимиру бабкой, я читал в «Книге церемоний» и о ней существует много легенд, вроде хитроумной истории о том древлянском городе, который она сожгла, взяв с горожан дань по голубю и воробью от дома, чтобы привязать к их хвостам зажигательный состав и таким образом сжечь непокорный город, так как птицы возвратились в свои гнезда.

Под свист ветра в корабельных снастях магистр рассказывал нам о событиях, которые совсем недавно происходили в Скифии, как мы привыкли называть страну руссов. Осторожный, ненавидящий латынян и опасавшийся варваров, магистр не без тревоги говорил о планах Владимира. Мы спрашивали:

— Не от латынян ли принял крещение русский князь?

— С какой целью посылает римский папа посольство в Киев?

Магистр ничего не мог ответить на эти вопросы.

Жизнь Владимира была полна превратностей. После Святослава, погибшего на Борисфене, осталось три сына. Ярополк сидел в Киеве, Олег — в дикой стране древлян, Владимир — в богатом и торговом городе Новгороде, в котором было много варягов.

Дальнейшие события разыгрались таким образом. Ярополк пошел войной на Олега и захватил его земли. Олег погиб. Это происходило в Овруче. Олега столкнули с моста в ров, когда он хотел спастись в городе, и его задавили трупы коней и людей. Ярополк заплакал, когда нашли тело брата, и сказал варягу Свенельду, уговорившему его на войну: «Этого ты хотел?»

Опасаясь за свою участь, Владимир бежал в страну Олафа, чтобы нанять там большой отряд варягов, используя золото, которое собрали для него новгородцы. Вернувшись с наемниками в Новгород и вооружив большое новгородское войско, он напал на Полоцк. В Полоцке правил Ро-

гвольд. Владимиру хотелось взять в жены его дочь Рогнеду, просватанную уже за Ярополка.

Отец красавицы заперся в городе и сказал:

— Не боюсь новгородских плотников!

А на предложение выйти замуж Рогнеда ответила с городской стены:

— Не хочу развязать обувь у сына рабыни!

У руссов существует обычай, по которому в первую брачную ночь жена развязывает ремни на обуви мужа, чтобы показать свою покорность его воле.

Слушая Леонтия, я представлял себе эту необузданную скифскую любовь, дикую страну, где шумят дубы и кукуют кукушки, белокурую красавицу на бревенчатой стене, а под стеной новгородский лагерь и звон гуслей — и понимал, что это совсем другой мир, чем наше ромейское государство, и что страсти пылают здесь, как в трагедиях Софокла.

Любовь Владимира или, вернее, новгородское войско оказались сильнее городских укреплений. Полоцк был взят, Рогвольд зарублен, а гордая девушка развязала обувь у сына Малуши. Затем двинулся Владимир с Добрыней на Ярополка, которому изменили собственные воеводы, осадил брата в Родне, и во время осады в этом городе людям было так тяжело, что у руссов до сего дня существует поговорка: «Худо, как в Родне». Ярополка убили мечами два варяга, Владимир сделался единовластным господином Русской земли.

Но он не успокоился на этом, воевал с ляхами, присоединил к своим владениям многие города у подножия Карпат, ходил войной на восточных болгар. В своих походах воинов он переправлял на ладьях, а конницу, которая играет все большую и большую роль на полях сражений, водил берегом. Потом он помогал дунайским болгарам в войне против ромеев. Теперь осадил Херсонес.

Беременную жену Ярополка, гречанку родом, Владимир взял себе ради красоты ее лица. Она родила сына, которого называли Святополк. Но у Владимира было много других жен и наложниц, и по женолюбию, рассказывал Леонтий, это был второй Соломон.

Погода была тихая, на море почти не наблюдалось волнения. Корабельщики расстилали на помосте ковер, и мы беседовали о судьбах мира. Обычно моими собеседниками были магистр Леонтий, Никифор Ксифий и библиотекарь херсонесского епископа, монах Феофилакт, великий книголюб, кроткий человек, испортивший свое зрение чтением и перепиской книг. Он был застигнут событиями в Константинополе, но, опасаясь за библиотеку, воспользовался удобным случаем и бесстрашно возвращался в осажденный город.

Леонтий, сложив руки на животе, говорил:

— Все человеческие дела имеют своим побуждением выгоду. Золото — кумир всех людей. Оно не знает ни границ, ни религии. Сегодня оно в золотохранилище василевса, завтра в руках у хазарских каганов, потом в Багдаде. Это оно заставляет людей вставать на заре, отправляться в дурную погоду в дальний путь, где человека, может быть, поджидают разбойники и воры. Но золото необходимо государству. Вот почему так тяжки налоги.

Ксифий смеялся от души:

— Да, что касается налогов, то их у нас немало.

В ответ Феофилакт стал загибать пальцы:

— Поземельный, подушный, подымный, мытный, налог с пастбищ, налог на скот, на пчел...

Но пальцев не хватало, и он прекратил подсчитывать.

— Золото — двигатель торговли и государственной машины. Все осталь-

ное — химеры, — произнес с горькой усмешкой Леонтий. — Такова жизнь, и на песке нельзя строить здания...

Я вспомнил, с какой настойчивостью собирает деньги в государственную сокровищницу Василий, но не выдержал и прервал магистра:

— Ты, конечно, прав, такова жизнь... Но есть нечто более высокое, чем золото, расчеты торговцев и нажива.

Вспомни, сколько раз ромеи проливали кровь ради высоких целей. Читай у Георгия Амартола, какая радость овладела сердцами людей, когда удалось вырвать из рук неверных хитон Христа! Только тот народ достоин славы, который ставит перед собой великие задачи, а не заботится о брюхе.

Леонтий поморщился.

— Ты, может быть, прав, но если покопаться хорошенько, то всюду ты найдешь стремление к пользе.

Феофилакт, бородатый, как древний мудрец, произнес с печалью:

— Богатые думают о наживе, строят дворцы, а бедняки умирают от голода.

— Как же обойтись без купцов? — простодушно заметил Ксифий. — У одних есть рыба и нет соли, чтобы ее посолить, у других есть бобы, но нет горшка, чтобы сварить пищу...

Феофилакт перебил его:

— Посмотрите, что творится в мире. Помните, у Иоанна Геометра:

Весь урожай погиб на поле,  
Как уплатить теперь мой долг  
Жестокому заимодавцу?  
Как прокормлю детей, жену?  
Кто подати теперь внесет  
В сокровищницу василевса?

Я знал эти стихи — они назывались «На разлуку с родиной», в них стихотворец изображал страдания бедных и угнетенных.

Феофилакт говорил.

— Сборщик податей, пользуясь простотой поселянина, берет с него неполагающиеся фоллы, и люди ослепли от слез.

Подпирая голову, тяжелую от сомнений, я не знал, что ответить Феофилактору. Люди уходят в тихие монастыри, чтобы спасти душу постом и молитвами. Уйти туда? Но не значит ли это покинуть в трудную минуту василевса и товарищей по оружию? Нет, будем тянуть ярмо, пока хватает сил. Я знаю, не так-то легко сделать мир справедливым и удобным для жизни. Пусть жадные думают о наживе, а рабелепные ползают на брюхе! Когда-нибудь и их поразит гнев небес.

— Не ради временных благ мы страдаем, а для того, чтобы небеса озарили светом землю, грубую и жалкую, — сказал я.

— Ты начитался Платона, мой друг, — заметил магистр.

— Наша цель — преуспевание ромейского государства. Нельзя без страданий служить великому делу...

— А где же завещанная нам милость к падшим и убогим? — спросил с мягкой улыбкой Феофилакт.

У меня закипало на сердце.

— Пусть страдают! — крикнул я. — Сейчас не до страждущих. Ты видишь, все рушится у нас под ногами. Сама земля колеблется. Люди жрут, спят, удовлетворяют свои естественные надобности и воображают, что они венец творения.

— Жестокое сердце у тебя, патрикий, — покачал головой Феофилакт.

— А почему они не хотят оторваться от корыта? Почему они не хотят стать в наши ряды? Только воины в эти дни достойны преклонения. Помнишь, Никифор Фока требовал от церкви, чтобы были причислены к лику святых все павшие на поле брани? Ему отказали. Патриарх говорил, что среди павших могут быть грешники и даже еретики. А по-моему, кровь воина смывает все грехи и все заблуждения. Подвиг его, отдавшего свою жизнь за других, выше, чем молитвы епископа. Слишком высока цель, за которую они умирают.

— Какая цель? — спросил тихо Феофилакт.

— Я не привык принимать участие в спорах, был плохим диалектиком и не знал, как высказать словами то, что я чувствовал всем своим существом. Феофилакт ждал ответа. Я ему сказал:

— Понимаешь? Мы страдаем, чтобы на земле не угас светильник.

— Светильник есть церковь, — с убеждением ответил монах.

— Не только церковь, но и другое. Диалоги Платона, которые ты сам читаешь тайком от епископа. А разве ты не будешь жалеть, если погибнет в Херсонесе твоя библиотека?

Я затронул большое место у собеседника. Теперь лицо его выражало беспокойство.

— Ты думаешь, книги могли погибнуть?

— Все может быть, когда свирепствует война.

— Какие книги! — схватился руками за голову Феофилакт. — «Шестоднев» Василия Великого! С изумительными украшениями! Золотом и красками. «Трактат о постройках» и «Тайная история» Прокопия Кесарийского... Павел Силенциарий, воспевший красоты Софии... Фукидид и Аристотель...

— А Платон?

— Есть и Платон и Прокл...

— Вот видишь! Погибнет государство ромеев, и некому будет защищать твоего Прокла...

Магистр Леонтий с его обычной улыбочкой произнес:

— Мы погибнем, но будут другие светильники на земле. У тебя много гордыни, Иракий. Вспомни, какие государства погибали. Всему свой черед.

— И никого не хочет пожалеть патрикий, — прибавил монах.

— А они нас жалят, когда мы погибаем? — ответил я ему.

Как обычно, разговор снова вернулся к рассказам о Владимире. Меня удивляло, как мог этот непросвещенный человек, варвар, может быть еще совсем недавно приносивший человеческие жертвы своим скифским богам, совершить предприятие, начатое им с таким успехом. Библиотекарь Феофилакт рассеял мои недоумения.

— У вас в константинопольских оффициях имеют довольно смутное представление о стране руссов. Вас интересует только, какую пользу вы можете извлечь из их оружия. А я родом из Херсонеса, где по торговым делам бывает много руссов, сорок лет прожил в этом городе, отлично знаю пресвитера Анастаса, который переписывал книги для богатых русских купцов, принявших крещение. В епископской библиотеке хранится Псалтирь, написанный русскими письменами. Сам Владимир читает книги. Подумай: как мог бы властитель такой обширной страны править многими народами, издавать законы и заключать договоры, не зная грамоты? Уже его бабка была христианкой и собирала книги, и я своими собственными глазами видел, как русские торговцы мехами и перцем заключают в Херсонесе торговые сделки в письменном виде. В Киеве — тысячи иноземных купцов, из многих стран, и там отлично знают о Константинополе, Херсонесе, Ани и других городах и любят слушать рассказы странников. Русские торговые люди



охотно совершают путешествия вплоть до Багдада и не уступают никому в производстве оружия или украшений, но еще не научились строить каменные здания, так как их страна обильна лесными материалами.

Этот человек говорил убедительно и разумно, и я с удовольствием слушал его.

Никифор Ксифий, потягиваясь и собираясь отойти ко сну, сказал:

— Хотел бы я знать, что происходит сейчас под стенами Херсонеса...

По словам Феофилакта, русская страна переживала в настоящее время большие перемены. Первоначально Владимир пытался возвысить древних славянских богов и укрепить веру в них, поставив недалеко от своего дворца идолов и принося им жертвы. Но вскоре его внимание привлекли к себе другие боги. По этому поводу ходят любопытные рассказы. Говорят, что русского князя пытались склонить в свою веру болгарские мусульмане с реки Камы и будто бы описание магометанского рая с гуриями весьма понравилось женолюбивому князю, но, узнав, что закон Магомета запрещает вкушать вино, он ответил болгарам: «Руси есть веселие пити!» Властелины хазар уже давно приняли иудейскую веру. Будто бы пытались и они обратить Владимира в иудейство. Но он отверг и это, так как иудеи находятся в рассеянии. Затем якобы князю пришлось беседовать с греческим философом, который рассказал ему историю сотворения мира, жизнь и страдания Христа и в заключение показал картину Страшного суда, на которой были красочно изображены праведники, идущие в светлый рай, и грешники, претерпевающие ужасные муки в аду, и будто бы эта картина произвела на князя сильное впечатление, что вполне возможно, так как у варваров есть что-то от детей.

Были, вероятно, у русского князя и более веские соображения, которые склоняли его к принятию христианства. Он не мог не видеть, что христианскую религию исповедуют самые могущественные и богатые народы и что язычникам грозит участь остаться в стороне от мирового потока жизни. Однако Владимир советуется во всех важных государственных делах с городскими старейшинами и боярами, и те сказали ему:

— Господин, каждый хвалит свою веру. Если ты хочешь узнать, какая из них самая лучшая, пошли разумных людей в разные земли, и пусть они исследуют, какой народ достойнее поклоняется божеству.

Владимир отправил послов. Они побывали в различных странах — у болгар, у немецких католиков, даже в Риме. Но больше всего им понравились храм Софии в Константинополе и греческая литургия, которую для них служил сам патриарх. Великолепие храма, богатые облачения, убранство алтарей, красота живописи и мозаик, благоухание фимиама и сладостное пение пленили варваров. Вернувшись в Киев, они рассказывали князю:

— Мы не знали, где находимся, на небе или на земле. Всякий человек, вкусив сладкого, не захочет горького. Так и мы. Не хотим иной веры, кроме греческой.

Вспоминая роскошь Софии, я охотно верил восторгу варваров. Необыкновенное волнение охватывает человека, когда он поднимает взоры к куполу, наполняющему храм светом и воздухом, ибо ничего подобного этому храму нет и не было на земле...

Так мы плыли два дня и две ночи. На третью ночь я решился на смелое предприятие. Отправляясь в Таврику, мы не придерживались обычной торговых кораблей идти мимо Месемврии, а затем вдоль мизийского берега, но по выходе в Понт повернули на восток, миновали Гераклею и Амастриду, которую мореходы называют оком Пафлагонии, и у мыса Карамбиса пошли на полночь, оставив землю за кормою.

Перевал через Понт Эвксинский совершается определенным образом.

Как известно было еще Страбону, особенность этого моря заключается в том, что на нем существуют неизменные зефиры, днем они дуют с моря на материк, ночью — с берега в сторону моря. Чтобы использовать эту особенность природы, мы и повернули от берегов Пафлагонии ночью, чтобы плыть с попутным ветром и дойти с его помощью до середины Понта, где с наступлением дня другой ветер продолжал бы нести нас в Таврику. Расчет был точным и предусмотренным в мореходном трактате Птолемея, но простые корабельщики и воины, не знакомые с наукой о кораблевождении, оставляя позади земную твердь и пускаясь в опасное плавание, трепетали за свою жизнь. Не удалось выяснить, кто был зачинщиком этого дела, но они столпились в большом числе передо мной и вопили:

— Ты погубишь наши души! Молим тебя повернуть назад!

Как умел, я увещевал неразумных и доказывал им, что такое плавание не представляет собою никакой опасности и что завтра же они увидят противоположный берег Понта.

Недовольные разошлись, но ворчали, что я кудесник и веду корабли с помощью магии, и слабодушные плакали, как дети.

Небо было в звездах. Я без труда находил среди них Большую и Малую Колесницу. Проводя умозрительную линию по небу, я определял Полярную звезду. Она стояла над Херсонесом и указывала нам путь. А я спрашивал себя: что двигает моими поступками? Корысть? Честолюбие? Или помыслы о вечном спасении? Даже наедине с собой я не находил ответа, но мне казалось, что я, как вол, влеку некое ярмо.

Вместе со звездами сияли глаза Анны, и я не знал, и я не знал, несчастье или радость я нашел на земле, увидев эти глаза. Я потерял покой навеки. Но была какая-то сладость в беспокойстве, что овладело всем моим существом с тех пор, как ее встретил, и я готов был благодарить судьбу за свои муки.

Но мы уже приближались к цели нашего путешествия. Ночью все плывущие стояли на помосте и со страхом смотрели на звездное небо. Думал ли я, изучая астрономию в Трапезунде, что это послужит мне на пользу для кораблевождения?

Я тоже не сомкнул глаз, так как настроение на корабле было тревожное и я знал, что корабельщики всегда готовы к возмущению, и опасался неповиновения.

Ночь казалась необычайно длинной. И хотя звезды вполне убеждали меня в правильности взятого кораблями направления и ветер продолжал быть благоприятным, на душе у меня было беспокойно.

С наступлением рассвета ветер, дувший нам в корму, стал ослабевать. Однако я знал, что с его помощью мы уже дошли до середины Понта и что скоро начнет дуть ветер, веющий в дневное время в сторону Таврики, и, таким образом, мы благополучно будем продолжать наше плавание. Действительно, вскоре корабельщики увидели вдали узкую полоску земли и возблагодарили небо за спасение, а пафлагонский берег как бы растаял в тумане...

Я был в этот час в своей каюте и услышал топот босых ног на помосте. На лесенке, что вела в мое помещение, вдруг показались сначала знакомые желтые башмаки протоспафария Никифора, потом появился он сам и стал кричать, наклоняясь ко мне:

— Поднимись скорее, виден берег Таврики!

Я поспешил наверх в крайнем волнении. Корабли пересекли Понт! На помосте люди тоже волновались и указывали руками в ту сторону, где находился Херсонес. Некоторые влезли на мачты и кричали, что уже появился мыс Парфений.

Земля медленно приближалась. Мы смотрели на нее с надеждой в сердце.

Уже возможно было рассмотреть некоторые подробности береговых очертаний. По-видимому, в своем движении мы несколько отклонились на восток. Можно было предположить, что скалы, которые мы явственно видели перед собой, возвышались недалеко от гавани Символов. Херсонес должен был находиться значительно левее. Города еще мы не могли увидеть в утреннем тумане.

Вскоре остров Климента как бы поплыл нам навстречу. Мыс Парфений далеко выступал в море, и можно было разглядеть в утренней морской дымке развалины на нем. Это блистали мрамором колонны древнего храма Артемиды-звероловицы, покровительницы Херсонеса. Может быть, именно сюда приплыли мореходы из Гераклеи и с острова Делос и привезли священный огонь, не угасавший в этом храме в течение веков. Жрицей в нем была Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Царь поразил на охоте лань, посвященную Артемиде, и богиня послала ахейским кораблям безветрие, когда они плыли под Трою. Прорицатель Калхас настоял, чтобы в жертву принесли дочь царя Ифигению. Но богиня сжалась над несчастной и заменила ее ланью, а девушку унесла в облаке в Таврику. Здесь Ифигения перед деревянной статуей богини умерщвляла корабельщиков, занесенных к этим берегам бурей. Здесь ее нашел брат Орест. Что случилось с нею? Некоторые утверждают, что она до сих пор обитает где-то в полуночной стране вместе с Ахиллесом, ибо боги даровали им обоим бессмертие...

Невольно хочется улыбнуться подобным вымыслам. Но мое внимание уже привлекли новые очертания берега. И вдруг мы увидели базилики и башни Херсонеса! Город стоял на возвышенном месте, обнесенный крепостной стеною. Когда наши корабли обогнули его с востока на запад, мы явственно различили вход в гавань и каменную лестницу, спускающуюся к морю.

Но увы, мы опоздали! Над городом медленно поднимался к голубым небесам черный столб дыма. Наделенные пронзительным зрением мореходы спорили о том, что горит. Потом оказалось, что это догорали западные кварталы города. Там жили главным образом ремесленники, земледельцы, виноградари, и поэтому много было деревянных домов и бедных хижин, ставших легкой добычей огня, когда руссы стали пускать в город стрелы с паклей, пропитанной зажигательным составом. Этому они научились от кочевников, в свою очередь перенявших такой способ боя из далекой хинской страны. Глядя на пожар, мы поняли, что прекрасный и сильный город, как его называли древние авторы, с неприступными стенами, протянувшимися на протяжении шестидесяти стадий, уже во власти руссов.

Пока я, подобно пророку Даниилу, обличавшему сильных мира сего, препирался по поводу сосудов с огнем Каллиника с Евсевием Маврокатакалоном, с этим нерадивым и невежественным человеком, не умеющим отличить йоту от ипсилона, пока я разбивал козни интригана Агафия, готового всячески оклеветать меня перед василевсом, Херсонес пал. О подробностях этого события я узнал потом от монахов острова Климента и от жителей Таврического побережья.

Руссы приплыли к Херсонесу от устьев Борисфена, который на их языке называется Днепр. От реки до Херсонеса триста миль. На этом обширном пространстве находятся многочисленные озера и лиманы, где херсониты вываривают соль. На восток от города лежат многие другие селения и находится Боспорский пролив. Он ведет в Мэотийское озеро, которое по причине его величины называют также морем. В упомянутое море впадает множество

полноводных рек. Эта область называется Готскими Климатами. Поблизости от нее обитают хазары и печенеги. Чтобы эти варвары не нападали на Херсонес, приходится платить им ежегодную дань и брать у них заложников. Мне приходилось видеть таких в Константинополе. Заложники являлись к нам пахнущие конским потом, но быстро перенимали греческие нравы, и больше всего им нравился в городе ромеев Ипподром, где они не пропускали ни одного ристания, хотя подобные развлечения бывают у нас все реже и реже.

Как меняется лицо земли! Некогда Херсонесу угрожала Хазария. На берегу Мэотиды стояли хазарские города, которые вели торговлю со степными кочевниками. Готские Климаты платили дань кагану. Бывали случаи, что хазарские принцессы выходили замуж за василевсов, пока хазары не обратились в иудейство. Смуглые красавицы привозили к нам азиатские одежды, золото и дурные манеры. Но хазар со всех сторон теснили кочевники. В царствование императора Феофила хазарский каган Иосиф обратился к ромеям с просьбой прислать ему искусных строителей, чтобы поставить на Танаисе каменную крепость для защиты торговых дорог от кочевников. Василевс послал известного протоспафария Петрона Каматира с некоторым числом каменщиков. Такое предприятие было к нашей выгоде, так как за строительство укреплений возможно получить большие преимущества в торговле. На обратном пути из Хазарии протоспафарий побывал в Херсонесе, а по возвращении к василевсу рассказал о положении вещей в Таврике и дал совет не доверять херсонесским архонтам и учредить в Херсонесе фему. Фема была создана. Первым стратигом ее был назначен сам Петрона Каматира. Таврика, освободившаяся из-под власти хазар, вошла в состав фемы под названием Готских Климатов. Но могущество хазар погибло под русскими мечами. Крепость, построенная Каматиром, вскоре была разрушена. Столица государства Итиль — восточный город с дворцом кагана среди войлочных шатров, синагог, мечетей и базаров — доживала последние дни.

Около ста лет тому назад, когда в здешних местах побывал философ Константин, посланный в Хазарию на прение о вере, на острове Климента был построен небольшой монастырь. Выбрав удобное место, мы бросили якорь в шестидесяти стадиях от этого острова, и я отправился в челноке с Никифором Ксифием и несколькими воинами обследовать киновию. Когда мы высадились на берег, то поняли, что здесь уже побывали варвары. Монастырь был оставлен монахами, и в скромной церкви, сложенной из античных плит или простых камней, не было ни пения, ни фимиадного дыма. Священные предметы, потиры и кадильницы, а также серебряный ковчег, в котором хранилась глава св. Климента, исчезли. Я думал, что их унесли в безопасное место иноки, но потом оказалось, что все это взяли руссы, чтобы увезти в свой северный город.

В бессилии мы грозили кулаками варварам, спускавшимся из города и собиравшимся все в большем числе на берегу. Но, не желая рисковать своей жизнью, мы оставили остров и отплыли в сторону кораблей, так как было необходимо не мешкая обсудить на военном совете план действий.

Отправляя меня в путь, василевс, положив мне руки на плечи и глядя в глаза, сказал:

— Ты сделаешь все, чтобы оказать помощь осажденным. А если Херсонес падет еще до твоего прибытия, возвратись ко мне. Впрочем, не отвергай варваров, коль скоро представится случай завязать переговоры. Леонтий знает, о чем надо с ними говорить.

Я догадывался, какое тайное поручение было доверено магистру. Речь шла о том, чтобы ради спасения государства отдать Владимиру Порфирогениту и пойти на уступки по целому ряду других вопросов.

Теперь в падении города сомневаться не приходилось. Одна из наших легких хеландий побывала у самого берега, и корабельщики видели там множество русских воинов, разорителей вертограда божьего. Они толпами входили в городские ворота и вновь выходили из них, так как продолжали жить за городской стеной, около церкви Влахернской богородицы, где были колодцы питьевой воды и вдоль бухты тянулись каменные усыпальницы богатых херсонитов. Здесь руссы жили в шатрах и кое-как устроенных среди виноградников шалашах из тростника, но дневные часы проводили обычно в Херсонесе, любуясь его зданиями и статуями и совершая омовения в термах, до чего эти люди, как я уже имел случай сказать, были большие охотники.

Уже давно Херсонес находился в упадке. Его разорили хазары и кочевники. Русские владения были близко. На севере они простирались до устья Борисфена, а на востоке много руссов поселилось за Боспорским проливом. Прочные городские стены, сложенные из желтоватого камня, что дало повод хазарам называть эту твердыню «Желтым городом», стояли нерушимо. Но воинов в его ограде насчитывалось мало, и прославленные метательные машины давно пришли в негодность, и около них не было опытных баллистариев. Жители Херсонеса считали всегда, что они живут не в городе, а в темнице, потому что за стенами было небезопасно. Даже некоторая часть собственно городского населения была варварского происхождения. Здесь насчитывалось много пришлых людей и среди них даже руссов, которых забросили сюда торговые дела или страсть к перемене мест. Но за последние годы в Херсонесе снова стала расцветать торговля, и до таких размеров, что потребовалось вновь учредить монетный двор, чеканивший свою собственную серебряную и медную монету с монограммой василевсов. Увы, она уже не отличалась тем искусством чеканки, каким славились древние херсонесские драхмы. Я видел случайно одну такую драхму. На ней была изображена коленопреклоненная Артемида в коротком хитоне, поражающая копьем оленя, а на оборотной стороне — бодающий бык, атрибут Геракла, и, судя по чудесной работе, можно было сказать, что чеканщик был большим художником.

Уже за несколько дней до того, как варварские ладьи приплыли к берегам Таврии, в Херсонесе появились беглецы с солеварен и рыбных ловов и предупредили о грозившей опасности. Считая, что необходимо принять меры против предстоящего нападения, стратиг Стефан Эротик, в распоряжении которого была горсть воинов, роздал жителям оружие из городского хранилища и решил запереть ворота, надеясь, что руссы не обладают воинским искусством осаждать укрепленные города. Главные ворота выходили на север. Они были укреплены четырехугольной башней, но почему-то справа, а не слева, что позволило бы обстреливать неприятельских воинов при нападении с той стороны, где у них нет щитов. Но проход был достаточно узок, чтобы в этой каменной ловушке остановить нападающих, и, кроме деревянных ворот, обитых медью, снабжен еще так называемой катарактой, или огромной железной решеткой, опускаемой с грохотом в решительный момент.

В те дни только что расцвели миндальные деревья, зазеленели лозы на виноградниках и корабли смолились к открытию навигации.

Однажды на море показалось огромное количество русских ладей. Потом заплыли дальние дороги, и ночью вспыхнуло зарево над каким-то захваченным селением. Пользуясь темнотой, русские челны проскользнули в гавань, и здесь варвары в полной безопасности высадились на берег. На востоке от города высадка была произведена в гавани Символов. Скрипели возы, ржали кони. В русском лагере загорелись первые костры.

Ту трагическую ночь херсониты провели без сна. Церкви были переполнены молящимися, а утром жители, стоя в безопасности на стенах, увидели варваров. Руссы подошли к городу на расстояние стрелы, но ничего не предпринимали. С удивлением они смотрели на каменные башни, которые казались им огромными в сравнении с их жалкими бревенчатыми оградами. Ни в одном ромейском городе, кроме Константинополя и Салоник, не было таких мощных крепостных укреплений. Вход в порт тоже был некогда защищен высокими башнями и прегражден железными цепями, но теперь русские челны свободно проникли в гавань и захватили там торговые пафлагонские корабли.

В тот же день Владимир послал к стратигу пленных ромеев с предложением сдать город. Стефан ответил отказом. Жители кричали руссам со стен: — Уходите, пока мы вас всех не истребили! Знайте, что скоро придут ромейские корабли с воинами благочестивого!

Варвары пытались разбить окованные железом ворота тараном, и эти глухие удары тяжело отдались в сердцах христиан, но скифов отогнали стрелами и некоторых убили.

Начались тревожные дни осады. С городских стен было видно, как в лагере варваров горели костры, как они жарили под открытым небом туши быков, пировали, пели гимны и поднимали роги с вином. Но скоро все вино было выпито, и варварам стало скучно. В городе же было достаточно соленой рыбы, чтобы продержаться три года.

Тогда Владимир решил взять город, заваливая ров землей и присыпая к стенам холм, чтобы по этой насыпи можно было подняться на стены. Русские применяют этот способ осады с древних времен. Впрочем, не говорит ли пророк Иеремия: «Рубите деревья и возводите насыпь вокруг Иерусалима!» Руссы тоже валили в рвы все, что попадалось под руку, — камни, хворост, лозы и даже туши павших животных.

Воины Владимира вели осадные работы неискусно: работали только днем, под стрелами, а ночью уходили спать в лагерь. И херсониты, сделав под стеною тайный подкоп, стараясь соблюдать тишину, уносили в кошницах землю в город. На городской площади с каждым днем все выше и выше рос земляной курган. Утром скифы просыпались, смотрели на город и не могли понять, почему насыпь не может достигнуть крепостных зубцов. Христиане в их рядах говорили:

— Это христианский бог помогает грекам!

Но Владимир грозил:

— Буду стоять под стенами три года, но возьму город!

Однако для него нашлись в городе неожиданные союзники. Это были варяг Жадберн, служивший раньше в войсках русского князя, и пресвитер Анастас, родом русс. В сообщничестве с каким-то херсонитом, имя которого мне не удалось установить, хотя по этому поводу я и производил тайное расследование, они решили войти в сношения с Владимиром. Эти достойные секиры богоотступники пустили в лагерь руссов стрелу с посланием. В нем было указано, где проходили трубы подземного акведука и на какой глубине. Анастас советовал Владимиру разбить трубы и перенять воду, чтобы принудить жителей сдаться по причине жажды.

Я отчетливо представлял себе, как это случилось.

Над сонным городом стояла звездная ночь. Анастас и его сообщник в плащах с куколями пробрались по безлюдным улицам на городскую стену. Воины на башнях спали, склонившись на копья. В тишине плескалось море. Послышался взволнованный шепот. Дрожащая рука натянула тетиву тугого лука...

III  
Що еще до Переговоров екифы Борва  
лишь в горах. Многие тогда погибли..



В Херсонесе агора и базилика напол-  
нились барварскими головами..

Стрела оторвалась со свистом и полетела в ночную темноту, в ту сторону, где был расположен лагерь варваров, на месте разоренного виноградника. Она вонзилась в землю, затрепетала и осталась до утра на грядке с растоптанными лозами, оперенная птичьим пером, окованная железом легкая тростинка, символ страшного поворота в нашей жизни. Казалось, не будь ее — и стояли бы нерушимо крепкие стены ромейского города. Но одна обыкновенная стрела повернула огромное колесо истории.

Два человека, крадучись и прижимаясь к стене, спустились в город. У Кентарийской башни они расстались и разошлись в разные стороны. А утром молодой варвар, потягиваясь после короткой ночи, увидел стрелу, поднял ее, чтобы положить в свой колчан, и заметил кусок пергамента, на котором были написаны непонятные для него знаки. Не зная, как поступить, он отнес стрелу к своему князю. Княжеский белый шатер стоял среди оливковых деревьев. Какой-нибудь пленный ромей, которого держали в лагере для выполнения различных работ, прочел руссам греческое письмо. Может быть, оно даже было на русском языке. Но почему в ту ночь я не находился там? Воины не спали бы, если бы я был начальником стражи в Херсонесе!

Акведук шел с восточной стороны. На расстоянии двадцати стадий от города находился источник, из которого вода струилась по глиняным подземным трубам в херсонесские цистерны. Найти трубы по указаниям в записке Анастаса большого труда не представляло.

С ужасом увидели херсониты, что вода перестала наполнять городские водохранилища. Теперь спасти их мог только василевс. Но напрасно они смотрели в сторону Понта — ромейские корабли не приходили.

Прошло три дня. Люди в Херсонесе стали походить на путников в Аравийской пустыне. Жители питались главным образом соленой рыбой и невыносимо страдали от жажды. Не выдержав мук женщин и детей, они решили сдать город.

На городской площади хриплые голоса зывали:

— Лучше смерть от секиры, чем от жажды!

Человеческие голоса стали как рев зверей. Гортани пылали.

— Воды! Воды! — умоляли женщины.

Плакали дети. Мычал скот.

А варвары в лагере показывали херсонитам горшки с водою, выливая ее со смехом на песок, и мукам христиан не было конца. Доведенные до крайности, они произносили пересохшими устами слово «мир».

Но еще до переговоров скифы ворвались в город. Многие тогда погибли. Стратиг Стефан Эротик был изрублен мечами. Вся Таврика, Готские Климаты, Киммерий, Лагира, Нимфей и целый ряд других селений были в руках варваров. В Херсонесе агора и базилика наполнились варварскими голосами. Мы же стояли в отдалении и не знали, что предпринимать. А надо было подумать о судьбе плененного ромейского города.

С наступлением темноты решено было послать хеландию в гавань Символов с поручением спустить на берег лазутчиков. Чтобы тайна огня Каллиника не попала в руки врагов, я велел снять с хеландии медные трубы и сосуды с огненным составом, так как русские однодревки могли окружить наше судно и захватить огнеметательные машины. В полной тишине стройный корабль отошел, и вскоре плеск весел затих в темноте.

С волнением мы ожидали его возвращения. Ничего не было видно во мраке безлунной ночи. Только в стороне Херсонеса поблескивали огоньки. Может быть, то были огни лагерных костров. Часы казались столетиями. Никто в ту ночь не ложился спать.



Вдруг послышались крики. Мы поняли, что это возвращается хеландия, а за нею, как волки, гонятся русские ладьи.

Я отдал распоряжение, чтобы корабли приготовились к бою. Затрубили трубы. Корабельщики поспешно подняли якоря. Люди стали у огнеметательных машин, зазвенело оружие. Паруса надулись ветром, однако прошло некоторое время, прежде чем мы двинулись на помощь погибающей хеландии.

Ее уже настигли враги. В темноте трудно было рассмотреть, что там происходит, но, судя по крикам, можно было предположить, что скифы избивали корабельщиков. Стоявший впереди других корабль открыл огонь. Ослепительным светом блеснуло пламя и озарило высокие дромоны, черные воды моря и там, откуда доносился шум сражения, трепетавшую в агонии хеландию. С ромейских кораблей раздались вопли негодования.

Никифор Ксифий заскрежетал зубами.

— Теперь уже можно молиться о спасении их душ...

Я понял его. Единственное спасение в битвах с русскими однодревками надо искать в огне Каллиника. В тот час, когда руссы поднимаются на корабль, уже ничто не может противостоять их ярости. Ободренные успехом, опьяненные легкой победой, скифские ладьи неслись на дромоны, рассчитывая захватить нас врасплох.

Но трепещите, варвары, я уже принял меры! Тактика морского сражения учит, что в таких случаях лучше всего построить боевую линию в виде полу-месяца, чтобы охватить врагов железным кольцом. Однако в темноте кораблям трудно было занять указанные им места. Напрасно я кричал, приложив ладони ко рту. Дромоны натыкались друг на друга, как неуклюжие животные. Наконец с большим трудом они развернулись и выстроились полукругом. Два дромона я отрядил для охраны неповоротливых торговых кораблей, нагруженных пшеницей.

Корабль «Двенадцать апостолов» находился за первой линией, чтобы мне удобнее было управлять ходом сражения. Иерею и диакону, которые чувствовали себя в этой обстановке как в аду, я велел служить молебен о ниспослании победы. Они облачились в ризы и затаили молитву, но голоса их прерывались от волнения.

Стоявший со мной на кормовой башне Никифор Ксифий шепнул:

— Слышишь, какого козла пускают? Страх ради иудейского!

— Замолчи, грешник, — ответил я.

Уже на кораблях ревели огнеметательные трубы. Звук, с которым огонь вырывается из медного жерла, можно уподобить нечеловеческому вздоху гиганта. Людям казалось в темноте, что именно на их корабль несутся скифские ладьи, и они металы огонь. Во мраке ночи поминутно возникали столбы пламени. Несмотря на ветер, в воздухе стояло удушливое зловоние горящей серы.

Дрожащими голосами священнослужители продолжали тянуть псалом, потом умолкли. Магистр Леонтий мучительно вдавливал в лоб пальцы, сложенные для крестного знамения. Он страшился исхода сражения. Это было не его дело — принимать участие в морских битвах.

Из мрака донеслись дикие вопли обожженных. Должно быть, одна из хеландий с помощью божьей удачно метнула огонь в какую-нибудь варварскую ладью. Так воют люди, когда с них сдирают заживо кожу. Жидкое пламя причиняло невыносимые ожоги, выжигало глаза, обваривало огромные куски кожи. Ничто так не чувствительно к страданию, как тонкая и болезненная кожа человека.

— Жарко? В другой жизни будет еще жарче! — кричал в темноту Никифор Ксифий и рукоплескал.

Сражение во мраке ночи можно было уподобить картине Страшного суда. Огонь адскими языками возникал в темноте и с треском горел на воде, как неопалимая купина. Тяжкие вздохи труб наполнили воздух зловонием серы. Как громом небесным поражали мы варваров. Вновь и вновь трубы изрыгали всепожирающий огонь, а с хеландий метали в ладьи руссов глиняные сосуды, наполненные тем же горючим составом. Когда такие горшки ударяются о ладьи и разбиваются, от удара состав Каллиника воспламеняется и вспыхивает нестерпимым пламенем. Скифы корчились и выли, как грешники в геенне огненной. Напрасно они бросались в воду, чтобы спастись от мучительных ожогов. Огонь пылал и на воде, потому что его можно погасить только песком или мочой. Затем к месту сражения медленно подходил дромон, и лучники, находившиеся на высоких кормовых башнях или в мачтовых кошницах, засыпали освещенное пространство стрелами, убивая врагов.

С мужеством отчаяния скифы еще раз сделали попытку овладеть нашими кораблями. Тщетно! Всюду их встречал огонь. Только дромон «Жезл Аарона» очутился в затруднительном положении. Ветром его отнесло на несколько стадий от того места, на котором действовали хеландии. Догадавшись, что на этом дромоне нет губительных труб, варвары окружили его и, подсаживая друг друга, пытались взобраться на высокий корабль. Поняв по крикам, долетавшим с корабля, что ему угрожает опасность, две хеландии кинулись на помощь. В суматохе, разгоняя огнем однодревки, с одной из хеландий метнули сосуд с огненным составом на помост корабля. Пламя вспыхнуло с невероятной силой. Крики двухсот человек поразили наш слух. Еще мгновение — и «Жезл Аарона» запылал среди ночи гигантским смоляным факелом. Мы видели, как люди бросались с корабельного помоста в море и погибали в черной воде...

Убедившись, что ничего нельзя сделать против ромейского огня, однодревки рассыпались в разных направлениях и ушли под покровом ночной темноты. Кое-где еще догорали на воде языки пламени. Но я велел трубить в трубу. Это означало приказ прекратить битву. Необходимо было беречь драгоценный состав, и мы не преследовали врагов, чтобы не попасть в западню.

Так, заступничеством св. Димитрия, мы отбились от врагов, и я еще раз помолился об упокоении души раба божьего Каллиника, который из обыкновенной серы и безопасной селитры создал и дал в руки ромеев такое страшное оружие.

На востоке уже брезжил рассвет. Над водой возникал утренний туман. Тогда мы запели на корабле громкими голосами псалмы, благодаря небо за спасение от врагов.

Но бесполезной была наша победа. Произвести высадку мы не могли, так как на суше теряли единственное свое преимущество над врагами — силу греческого огня. В мгновение ока варвары смяли бы моих шестьсот схоляриев, из которых многие были еще больны от непривычного морского пути. Таким образом, мы ничем не могли помочь пленному городу и кружились в море на виду у Херсонеса, иногда подходили на расстояние десяти стадий к берегу, вызывая на бой ладьи скифов, но наученные горьким опытом варвары не хотели нападать на ромейские корабли. Руссы стояли толпами на берегу и грозили нам мечами и секирами. Это ужасное оружие напоминало нам о том, какая участь ожидала бы нас, если бы мы вздумали расстаться с неприступным убежищем кораблей.

Опираясь на перила помоста, я смотрел в ночной мрак, и в голову мне приходили самые различные мысли. Какой отчет я дам василевсу в том, что произошло? Сколько дней я должен оставаться в этих водах? Почему василевс сказал мне, что в обратный путь мы должны пуститься только по указанию Леонтия, после того, как он закончит переговоры с варварами?

Ночь была темной, и небо усыпано звездами. Морская свежесть была сладостна для дыхания. Почему-то мне вспомнился рассказ Константина Багрянородного о Гикии.

Это произошло в глубокой древности. В Херсонесе в те годы градодержцем был Ламах, враждовавший с боспорскими царями. Но Асандр, царь Боспора Киммерийского, сказал ему: «У меня есть сыновья, у тебя — дочь. Пусть один из моих сыновей возьмет ее себе в жены, и тогда между нами воцарится навеки мир». Херсониты ответили: «Мы согласны взять в зятя твоего сына, но с условием, что он никогда уже не покинет наш город и не вернется в Боспор для беседы с отцом. Или он умрет в тот же час!»

Ламах по справедливости считался богатым человеком. Ему принадлежало много рабов и рабынь, многочисленный скот и имения. Дом Ламаха занимал четыре квартала в городе и был расположен в том месте, которое херсониты называют Сусы. Там он пользовался отдельными воротами в городской стене и четырьмя малыми, через которые возвращались с пастбищ его кони и кобылицы, быки и коровы, овцы и ослы, шли в предназначенные для них стойла, особые для каждой породы скота. Сын Асандра приплыл в Херсонес и стал мужем Гикии, дочери Ламаха, а по прошествии двух лет старый Ламах умер. Гикия справила поминки и обещала, что каждый год будет повторять их с такой же щедростью, предлагая, чтобы все жители, с детьми и домочадцами, угощались в этот день ее хлебом и мясом, рыбой и елеем, пили вино, веселились и плясали. Но коварный муж послал сказать боспорцам: «Мы легко можем завладеть городом. Присылайте мне тайно каждый месяц по десять вооруженных юношей». Так продолжалось в течение двух лет. Боспорцы небольшими отрядами проникали в город и прятались в подземных помещениях дома. Обычно они приплывали в гавань Символов, а оттуда являлись под покровом ночной темноты в Сусы, и боспорские рабы мужа Гикии заботились о них и приносили им пищу. Хитрец решил, что во время ежегодных поминок, когда жители утомятся от плясок и уснут, он выпустит юношей и те перебьют спящих и завладеют городом. Но однажды служанка, ткавшая в гинекее лен, уронила веретено, и оно закатилось в щель. Чтобы достать его, ей пришлось вынуть кирпич в полу, и тогда она увидела в подземелье множество воинов. Служанка поведала обо всем госпоже, и та поспешила к городским старейшинам и сказала им: «У нас в доме творятся подозрительные дела! Поклянитесь мне, что похороните меня не за городской стеной, а в самом городе, и я открою вам важную тайну». Старейшины поклялись. Тогда Гикия сообщила им о том, что увидела служанка. Решено было в день ближайших поминок сделать вид, что никто ничего не знает, и веселиться, но пить не вино, а воду из пурпурных чаш, и потом разойтись по домам. Однако не лечь спать, а снова собраться с факелами и хворостом и, обложив горючим материалом дом Гикии, сжечь его и всех находящихся в нем боспорцев.

Когда все было готово и муж Гикии, решив подкрепиться сном перед ночным предприятием, уснул, она взяла из ларца свои драгоценности и увела преданных служанок. Дом подожгли, и когда боспорцы стали выскакивать из огня, херсониты перебили их и тем избавили город от грозившей ему опасности. В память этого события в городе водрузили две позолоченные статуи. На одной Гикия была изображена в богатой одежде, рассказывающей о ковар-

ном замысле мужа, на другой — сражающейся с боспорскими юношами. На постаментах было начертано повествование о ее подвиге. Но чтобы проверить нерушимость клятвы старейшин, Гикия сделала вид, что умерла. И действительно, херсониты нарушили клятву и решили, что можно умершую похоронить и за городскими стенами. Гикия встала из гроба и сказала: «Горе тому, кто поверит херсониту!» Жители устыдились и поставили Гикии еще одну статую, на месте ее будущей гробницы...

Как эта героическая повесть не походила на наши скудные времена! Но непостоянный характер херсонитов был передан в легенде достаточно точно...

На следующую ночь снова ужас овладел корабельщиками. Во мраке слышались крики:

— Плывут руссы! Скифы нападают на нас!

С хеландии «Великомученица Варвара» полыхнул огонь. Однако тревога оказалась напрасной. Скифов не было. Но при вспышке огня можно было увидеть в море ладью, которая приближалась к кораблям, стоявшим в ту ночь на якоре у острова св. Климента. В ночной тишине мы услышали диалог:

— Кто вы? — кричали с кораблей плывущим в ладье.

— Монахи из киновии святого Климента.

— Куда плывете?

— На пепелище.

— Сколько вас?

— Трое.

Дрожащие от страха монахи поднялись по веревочной лестнице на корабль «Двенадцать апостолов». Обманув бдительность скифов, они вышли с наступлением сумерек из херсонесской гавани и пустились в опасное странствие с целью достичь ромейских кораблей. Им хотелось посмотреть, что осталось от монастыря на острове. Монахов привели ко мне, и они упали на колени.

— Что происходит в Херсонесе? — был мой первый вопрос.

Они стали вопить, перебивая друг друга:

— Погиб Херсонес! Разорен прекрасный город! Скифы наводнили его, как волны морские. Многих жителей убивают... Стратиг погиб от русских мечей...

От них-то я и узнал о том, что произошло за последние дни в Херсонесе. Монахи подтвердили, что некоторая часть города сгорела. Базары были разграблены, и в городе не осталось ни одной амфоры вина. Владимир занял со своими близкими дом стратига, и каждый день там происходят пиры. Руссы любят пить вино, может быть в связи с суровым климатом своей страны. Но князь запретил воинам осквернять церкви и наносить ущерб домам и имению священнослужителей. Якобы епископ уже дважды совещался с князем. Монахи уверяли нас, что на этих совещаниях речь шла не о чем ином, как о мирных переговорах с василевсами.

Дальнейшее подтвердило их слова. На другой день утром мы увидели, что из херсонесской гавани отплывает ладья, украшенная коврами. Это был христианский корабль, потому что солнце поблескивало на его крестах и хоругвях. К нашему удивлению, в ладье оказался сам херсонесский епископ Иаков с пресвитерами в золотых и серебряных облачениях. Заплаканный мальчик держал в руках икону богородицы. Диакон бряцал кадиллом. За священниками стояли скифы в красных и голубых плащах, но без оружия. Судя по одежде, это были знатные воины, посланцы князя. Мы смотрели на них изумленными глазами и не знали, что все это значит. Поразительны были красота этих людей, их спокойствие, их мощь и соразмерность всех членов.

Прежде чем ладья пристала к «Двенадцати апостолам», я успел надеть на себя воинские доспехи — панцирь, поножи и меч — и накинул на плечи вышитый золотыми орлами черный сагий. Леонтий тоже надел присвоенную его званию белую хламиду с золотым тавлием.

Корабельщики, свесившись за борт, с любопытством смотрели на приплывших в ладье. Епископ держал в руках дикирий и трикирий и крестообразно осенял ромейский корабль. Священники пели стихиры. Высокий, взволнованный голос мальчика звенел в хоре гнусавых басов. Епископ был тучным человеком, с лицом, заросшим до глаз черной бородой. Иподиаконы, повязавшие себя крест-накрест ораями, казались в сравнении с ним пигмеями.

Странно меняется жизнь, когда военные обстоятельства вдруг нарушают ее мирное течение. Подобное зрелище не могло бы представиться и во сне. Но я собственными глазами видел, как епископ в сияющем облачении, с осыпанной жемчугами митрой на голове поднимался на корабль по веревочной лестнице, а корабельщики протягивали ему с помоста мозолистые руки, предлагая сыновью помощь. Слабосильный иподиакон поддерживал его, как будто бы он мог справиться с тяжестью огромного архиерейского тела. За епископом поднялись на корабельный помост остальные. Вокруг расстилалось сияющее море. Солнце ослепительным шаром всходило над головой. Вдали были видны на херсонесском берегу городские желтоватые башни. Черные ромейские корабли неподвижно стояли на якоре.

На помосте постлали красный ковер. Мы встали на него, Леонтий и я: он — представитель гражданской власти, я — воинской. Заспанный Никифор Ксифий поспешно застегивал фибулу хламиды. Нас окружали схолярии в панцирях из медной чешуи.

Епископ тяжко дышал. Опираясь на посох, иерарх молча стоял перед нами и смотрел мученическими глазами на ромейских воинов. Мы тоже молчали, потому что он прибыл на корабль в сопровождении врагов христиан. Наконец епископ скосил глаза на восковую табличку.

— Во имя отца, и сына, и святого духа... Приветствуем прибытие ромеев в сии воды. Да продлит господь дни христоролюбивых василевсов наших Василия и Константина, а над врагами дарует им победу и одоление и во всем благое поспешение...

Небо сделало меня свидетелем величайших событий, ужасных войн, несчастий и катастроф. При одной из таких катастроф я присутствовал на помосте «Двенадцати апостолов». Необычайное действо разыгрывалось перед нами. Владимир предлагал мир, обещал вернуть ромеям захваченный город и всю Таврику, предлагал помощь в борьбе с азийскими мятежниками, но требовал соблюдения обещаний, данных василевсами. Они ни для кого не были тайной. За шесть тысяч варягов против Варды Фоки василевсы обещали отдать варвару руку своей сестры. Теперь он требовал соблюдения договора. В противном случае угрожал, что пошлет воинов на Дунай, сотрет с лица земли несчастный Херсонес.

Маленькие глазки Леонтия забегали. Это не ночной бой, теперь он был в привычной для него атмосфере. Уже его служители несли бронзовую чернильницу, папирус и трости для писания, как будто теперь что-нибудь зависело от тростника, а не от меча. Несдержанный на язык Никифор Ксифий шепнул мне:

— Шушит папирусом, как мышь.

А мне казалось, что это только страшный сон. Вот все рассеется, как дым, и ничего не будет. Но все было по-прежнему. Море сияло. Черные ромейские корабли стояли на якоре. Иподиакон высыпал в море горячие угольки из

кадила. Думая, что это пища, к ним подплыла стая серебристых рыбок.

На другой день переговоры продолжались в Херсонесе. Как обычно, ими руководил по всем правилам ромейской премудрости магистр Леонтий Хрисокефал. Дело было весьма ответственным. Теперь я понял, почему василевс послал в Херсонес этого опытного и ловкого человека. Сам я со своим вспыльчивым характером не был бы пригоден для такого предприятия.

Встречи с руссами происходили в белом доме покойного стратига. Владимир, окруженный самыми знатными воинами, руссами и варягами, сидел на короткой и обшитой золотой материей скамье, на которой раньше восседал в торжественные моменты стратиг Стефан Эротик. Князь широко расставил мощные колени, опираясь подбородком на тонкую, красивую руку. Пальцы его были украшены перстнями. Это была рука человека, возвращенного в холе. Но на князе была простая белая рубаха и такие же штаны с зелеными ремнями обуви. Один из воинов держал над его головой голубое знамя с изображением, которое напоминало мне лилию. Кажется, оно было знаком того рода, из которого происходил русский князь.

Я смотрел на князя с большим любопытством. Это был человек лет тридцати пяти, довольно высокого роста, стройный, с широкими плечами, но с тонкой талией. Под рубахой чувствовались сильные мышцы. У него были голубые глаза, над которыми нависали дуги густых рыжеватых бровей, и несколько плоский нос. На щеках играл легкий румянец. Как и его отец, он брил подбородок, но оставлял длинные усы. Они были у него такие же светлые, как у Святослава. Копну русских волос не украшала никакая диадема.

Да, это был русский герой, человек с жестоким сердцем, колебавший теперь самые основы нашего государства. Лев Диакон доказывает, что один из предков Владимира — Ахиллес. Такое заключение историограф сделал потому, что, подобно гомеровским мирмидонянам, руссы сражаются в пешем строю и что у них мирмидонские погребальные обычаи. Лев убеждал меня:

— Вспомни! Подобно Владимиру, Ахиллес тоже был голубоглазым и русым и, по мнению Агамемнона, отличался вспыльчивым характером. И разве не носил он плащ с застежкой на правом плече, как это в обычае у руссов?

Еще я заметил, что в левом ухе у русского князя была серьга. Но почему он не хотел носить бороды, которая так украшает мужа и христианина?

Ненависть к этому человеку в те дни наполняла мое сердце до края. Но пусть она никогда не ослепляет мой разум и не ослабляет мое суждение.

Мы стояли перед ним полукругом — Леонтий, я, Никифор Ксифий, херсонесский епископ Иаков со своими пресвитерами и нотарию — в ожидании, когда нам предложат сесть. Для ромеев были приготовлены скамьи, покрытые красивыми материями, и, когда мы расселись, Леонтий с привычной торжественностью стал раскладывать на небольшом мраморном столе, позолоченные ножки которого были сделаны в виде когтистых лап, письменные принадлежности, папирус, копии договоров. Он улыбался, употребляя в речи изысканные метафоры, которые казались мне в этой обстановке неуместными. Владимира он называл то «новым Моисеем», то «вторым Константином», уверяя, что он «равноапостольный», ибо ныне выводит свой народ из языческого мрака и идолопоклонства в свет истинной православной церкви. А еще не так давно сам рассказывал нам, что русский князь ставил идолов на одном из киевских холмов и недалеко от своего дворца устроил капище, где приносились богу грома и молнии человеческие жертвы. И вот на наших глазах все менялось теперь на земле.

Но напрасно плел магистр, лучший выученик Магнаврской школы, сети неопровержимых силлогизмов или ссылался на благоприятные для нас параграфы прежних договоров. Победа сделала варваров неуступчивыми. Владимир требовал руку Порфиригениты. Иногда к его уху склонялся пресвитер Анастас, исполнявший роль переводчика, и что-то шептал ему, глядя преданными глазами на нового господина. Владимир сердито дергал ус, и я понял, что русский князь требует не только руки Анны, но целый ряд привилегий и отмены невыгодных торговых соглашений. Мало того — он хотел получить титул кесаря, который давал бы ему право носить диадему с жемчужными украшениями. Слава ромейского государства была еще высока, и варвары считали, что только василевс полномочен раздавать такие награды. Вдруг один из военачальников, уже старик с седой бородой, новгородец, по имени Велемир, сказал:

— Князь, эти люди хитрят, как лисы. Веди нас на Дунай!

Владимир нахмурил брови. Леонтий, плохо понимая язык руссов, вопросительно посмотрел на меня. Я перевел ему фразу, и руки магистра стали заметно дрожать.

Какие унижения приходилось испытывать ромеям! Я вспомнил, что писал Фотий, величайший из патриархов, об этом народе, называя руссов варварами, и вот ныне они вознеслись на такую высоту. «Помните ли вы рыдания, коим предавался город в ту страшную ночь, когда к нам приплыли варварские корабли?»

Владимир сидел, подпирая рукой подбородок, задумчиво смотрел перед собой. Он, казалось, ничего не слышал из того, что говорили вокруг. За князем стояли в своих живописных одеждах или белых варварских рубахах воины, сподвижники его дел. У некоторых была высокая обувь из желтой или зеленой кожи, у других ноги были перевиты ремнями. Магистр шуршал папирусом, разворачивал хартии, доказывал, что брак сестры василевсов даже с таким блистательным владетелем нарушил бы все благочестивые традиции Священного дворца, а русские воины спокойно стояли и ждали, и видно было, что они могут ждать еще тысячу лет. Как сейчас я слышу медоточивый голос магистра Леонтия:

— Позволь тебе сказать, достопочтенный архонт, что блаженной памяти император Константин Великий оставил нам грозное и ненарушимое запрещение. Оно хранится на престоле христианской церкви святой Софии и гласит, что василевсы не могут заключать брачные союзы с народами, нравы которых несходны с ромейскими. Особенно же возбраняется родниться им с не принявшими святое крещение. Кроме одних только франков.

Анастас перевел князю, и тот спросил:

— Спроси у грека, почему кроме франков.

— Потому, что сам великий Константин был в родственных отношениях с франкскими королями,— пояснил магистр.

— Мы ни в чем не уступаем франкам! — сказал Владимир.

— Совершенно согласен с тобой, достопочтенный архонт,— продолжал Леонтий,— вы даже превосходите их во многих отношениях, но таков ромейский обычай. И нарушители его подвергнутся анафеме, то есть вечному проклятию во всех ромейских церквах. Тебя не должно оскорблять это. Василевсы весьма хотели бы этого брака и считают родство с тобой большой честью, но они вынуждены отвергнуть твое лестное предложение и не могут поступить иначе. Ведь несколько лет тому назад даже франкский король Гуго Капет, сватавший Порфиригениту, тогда еще отроковицу, для своего сына Роберта, получил самый решительный отказ и, насколько мне известно, весьма огорчился по этому поводу. Повторяю, сие невозможно...

— А когда им угрожала гибель, они считали это возможным? — тихо произнес Владимир, и я увидел, что в гневе он был ужасен.

Через широкие окна, разделенные пополам изящными колонками, с улицы доносился конский топот. Это варвары, напоминая кентавров своим искусством ездить верхом, вели лошадей на водопой.

Но зачем Владимиру нужна красота Анны? — спрашивал я себя. Разве мало было ему красивых рабынь и пленниц? Ходили рассказы, что у него в Киеве был гарем и что в гареме вздыхают сотни наложниц и само место поэтому называется Вздыхальницей. Но, видно, ему захотелось теперь озарить свою страну славы ромеев, породниться с наследницей Рима, возвысить в глазах народов темноту своего происхождения. Этого варвара вдруг обуяла ревность к христианской вере! Или у него возникли в мозгу какие-то гениальные планы? Мне передали о его любопытстве к тому, что происходит в мире. Его интересовали Рим, Багдад, Константинополь. Он расспрашивал путешественников о нравах и обычаях чужих стран. Якобы огромное впечатление производят на него рассказы о великолепии наших зданий, о пышности ромейской литургии и ипподромных ристаниях.

Его ум и ясность мысли необычайны. Как орел, он окидывает умственным взглядом огромные пространства и морские побережья, не имея перед собой никаких путеводителей. Он взвешивает все обстоятельства и с необыкновенной быстротой разбирается в хаосе современного политического положения. Владимир прекрасно понимает важность водных и караванных дорог, по которым товары и золото совершают мировой оборот. Он отлично знает о всех затруднениях, которые испытывало в данный момент ромейское государство, и всегда искусно пользовался этими обстоятельствами. Сейчас он имел возможность настаивать на своих требованиях, потому что за его спиной стояли тысячи воинов, и магистр Леонтий не один раз вынимал красный шелковый платок, чтобы утереть пот с чела. Но и в Константинополе догадывались, что перед Владимиром стоят огромные трудности, связанные со все усиливающимся передвижением кочевников.

С тех пор как я стал принимать участие в государственных трудах, я постиг, насколько сложна мировая политика. Жена скрибы, приготавливая для мужа скудную похлебку из соленой рыбы, или императорские кухари, сдабривая специями огромную рыбину к столу василевса, и не подозревают о тех усилиях, которые приходится проявлять, чтобы получить своевременно это богатство морей или обыкновенный кухонный перец.

Нужны золото, воины, быстроходные дромоны, сосуды с греческим огнем, чтобы охранять пропахнувшие специями караванные дороги. Требуются также государственный ум правителя, накопленная веками мудрость Сената и все хитроумие логофетов, чтобы сохранить на земле свет всемирной империи. И вот в эти дни, когда колеблется мир, на арену истории выходят русские племена. Что их толкает? Почему они так яростно стучатся в наши ворота? Какая сила влечет их к южным морям? Чрезмерное число их или мечта о чем-то прекрасном, чего еще никому до сих пор не удалось осуществить на земле?

Такие мысли приходили мне в голову, когда я надевал торжественные одежды, собираясь на очередное собрание в доме стратига.

Служитель подавал мне с поклоном красный скарамангий. Я надевал его, и эта длинная одежда сразу же отделяла мое тело со всеми его слабостями от внешнего мира. Вместе с тем она защищала меня от холода и от всех влияний атмосферы, а также от тех опасных эманаций, что излучают люди и некоторые животные. Я опоясывался, и мое тело приобретало в золотом поясе опору, необходимую для мужа во всех его предприятиях. Поверх скарамангия



я набрасывал на плечи черную хламиду с вышитым на левой поле золотым орлом, и эта одежда, украшенная серебряными бубенцами, указывала на занимаемое мною в ромейском мире место. Золотая цепь на шее и украшенная золотым шитьем черная обувь, в которой я мягко ступал по дворцовым лестницам и по корабельным помостам, довершала мое одеяние. Уже не было жалкого тела, подверженного недугам и страстям; оно укрылось в пышных складках материи, в золоте инсигний. Это шел не обыкновенный смертный, как всякий другой человек, а друнгарий императорских кораблей и патрикий. Бубенцы символизировали мою ревность в непрестанном труде. Всюду, куда бы меня ни послала судьба, они возвещали тихим серебряным звоном о моей готовности служить василевсу.

Когда я смотрел на Анну, я видел только пышность ее одеяния и глаза — выражение ее бессмертной души. А все низменное и физическое было скрыто от меня шелком, пурпуром и золототканой парчой. Так несовершенство и грубость человеческой фигуры прикрывают красиво накинутым плащом. Один плащ называется «море», другой — «орел», в зависимости от его покроя и складок, но смысл всякого одеяния один и тот же: во-первых, укрыть нас от холода и, во-вторых, отвлечь наши мысли от плотского.

Мы являлись на переговоры красиво одетыми, с высоко поднятыми головами, благоухающие духами и розовым маслом. Но сердца наши не были спокойны. Дромон «Двенадцать апостолов» стоял на якоре в порту, как униженный проситель.

Трудно было в таких условиях сохранить твердость духа и быть неуступчивым, хотя в доме стратига велись только предварительные переговоры, а участь Анны должна была решиться в Священном дворце. Но я понял, что благочестивый, вручая мне судьбу ромейских кораблей, еще большие полномочия дал магистру Леонтию Хрисокефалу. Впрочем, все уже было решено историей. Торговля, которую вели за красоту Порфирогениты, была последним актом нашей трагедии. Однако странно звучало для меня ее имя, произносимое в этой сводчатой зале во время переговоров, в присутствии скифов, предлагающих за нее рыбные промыслы и солеварни.

Шел третий день переговоров. Магистр пытался выиграть время, шуршал папирусными свитками. Вдруг Владимир встал, подошел к столу и, водя пальцем по строкам злополучного договора, сказал:

— Здесь написано все, в чем василевсы обязались перед нами и клятвенно обещали выполнить. Время не терпит. Или вы выполните все условия, или мы идем на Дунай и вместе с болгарами уничтожим ваше царство навеки.

— А как же ты обещал возвратить василевсам Херсонес? — уже пристально сложил руки магистр.

— Когда прибудет сестра царей, я возвращу вам город.

У меня пересохло в гортани, а Леонтий тяжело вздохнул и еще раз вынул красный шелковый платок. Глаза его забегали как бы в поисках предлога, за который можно было бы ухватиться, чтобы с новой энергией продолжать препирательства. Но ухватиться было не за что. Вокруг стояли равнодушные к его риторике варвары, а на улице шумели собравшиеся под окнами дворца толпы воинов.

— О чем они? — спросил меня шепотом магистр.

Я перевел:

— Они кричат, что надо убить греков.

— В каких выражениях?

— «Смерть лукавым грекам! Слава нашему ясному солнцу!»

Леонтий вздохнул и со сладкой улыбочкой произнес:

— Нам нечего прибавить к тому, что мы изложили. Но наши переговоры требуют утверждения благочестивых василевсов...

После благополучного окончания прений был устроен пир. В той же самой обширной зале со сводчатым потолком, где мы боролись за участь Порфирогениты, по обычаю руссов пол был посыпан соломой, а длинные столы завалены яствами. За ними сидели в белых рубахах самые знаменитые воины Владимира. Оружие они сложили у стен, так как никогда с ним не расставались. Отроки, прислуживавшие старшим воинам, приносили огромные куски жареного мяса и сосуды с вином.

Этот пир не был похож на благочестивые трапезы христиан, с пением псалмов и чтением житий святых и мучеников. Руссы ели с большим аппетитом, смеялись, разрывали мясо пальцами или отрезали куски ножами, и отроки едва успевали наполнять кубки вином. Надо сказать, что все было благопристойно и полно веселия, но мы сидели за столом как приговоренные к смерти.

Молодой русский военачальник, по имени Всеслав, один из немногих знавших наш язык, усердно угощал меня.

— Пей, грек, — ведь теперь мы братья! Вчера меня крестили в церкви. Принесли туда огромный сосуд. Говорят, в нем совершала омовения дочь стратига. Тридцать я окунулся. Неужели достаточно трех омовений, чтобы попасть после смерти в рай? А что такое рай? Странно! А знаешь, какое я теперь ношу имя? Илия. Говорят, что так зовется христианский Перун.

— Как можешь ты сравнивать пророка с Перуном? — возмутился я.

— Мне все равно. Я стал христианином, чтобы сделать приятное князю. А вдруг ваш священник говорит правду? И существует ад и рай? Страшно гореть в вечном огне...

Я неоднократно видел, с каким страхом рассматривали варвары картину, на которой был изображен ад — муки грешников среди пламени, на которых взирали с облаков праведники. Видно было, что и душа молодого варвара потрясена. За время пира он не один раз обращался ко мне с недоуменными вопросами. Это было понятно. Ему трудно было оторваться от старого и привычного и постичь, что существует единый бог в трех ипостасях.

Он повторял в раздумье:

— Отец, сын и святой дух...

Но пир, конечно, не место для богословских бесед, и мы заговорили о другом.

Владимир и его дядя, гигант с белокурой бородой, с мало подходящим для него именем Добрыня, что на языке руссов означает «добрый человек», сидели за общим столом со всеми и пили из одного турьего рога. Глаза князя выражали явное удовольствие. По всему было видно, что он большой любитель всякого веселия.

Насытившись, варвары пожелали слушать музыку. Отроки привели в залу слепцов в таких же белых одеждах, расшитых на груди красными и синими вышивками, как и у воинов. Их было трое, двое из них были стариками, третий — совсем юным. Они сели и положили перед собою варварские арфы, на которых множество струн. Руссы называют их «гуслями». В зале воцарилась тишина. Только какой-то воин, выпивший вина в неумеренном количестве, икал и тем нарушал торжественность ожидания.

Нахмутив косматые брови, слепцы рванули сухими когтистыми пальцами струны, и они сладостно зазвенели. Эти звуки необыкновенно приятны для слуха и напоминают музыку Эола. Некоторое время старцы перебирали струны, потом запели, и им вторил своим свежим голосом слепой юноша, стоявший подле них и смотревший в потолок ничего не видящими глазами.

Они пели песню о том, как десять соколов настигали десять лебедей. Но это были не лебеди, а струны, и не соколы, а десять пальцев певца... Слепцы пели о том, как Олег ставил свои ладьи на колеса и они двигались на парусах по суше, как по морю, под стены Константинополя...

Некоторые воины плакали, слушая пение. У моего соседа, который вчера стал христианином, тоже катилась слеза за слезой. Он мне сказал:

— Видишь этих старцев? Их ослепили греки после одного сражения, когда они попали в плен.

Я покашлял от смущения в кулак и ничего ему не ответил.

Опьяненный вином и музыкой, Владимир подпер рукою голову и о чем-то думал. В своей ревности я представил себе, что он мечтает об Анне.

У руссов нет гинекеев. У них женщины не опускают глаз при встрече с мужчинами и участвуют во всех общественных делах, открыто выражают свое мнение на собраниях, а при случае даже сражаются рядом с Мужьями и братьями на городских стенах. Они также принимают участие в пирах. Но русские жены были далеко.

К нашему ужасу, на пире появилась дочь убитого стратига, семнадцатилетняя девица, еще не успевшая осушить сиротские слезы. Ее посадили за стол рядом с князем, простодушно ухаживали за ней и утешали, и отрок принес ей серебряную чашу с вином. Дрожащими руками заплаканная девушка взяла тяжелый кубок, но отвернулась от него... Сколько испытаний в водовороте военных событий выпадает иногда на долю ни в чем не повинных людей!

— Пей, греческая красавица! — кричали ей воины.

Появились другие женщины. Среди них были случайно схваченные на улице служанки, может быть похищенные из семейных домов добродетельные матроны. Но много было также блудниц из портовых кабачков. Однако я не заметил никакого бесчинства. Воины пили с женщинами вино, дарили им ожерелья, с необыкновенной щедростью сыпали им в пригоршни серебряные монеты.

Мой сосед говорил какой-то женщине, может быть жене местного торговца:

— Полюби меня!..

Справедливость требует отметить, что, по-видимому, красавица была не прочь полюбить этого щедрого человека. Но некоторые воины под влиянием вина готовы были схватиться за мечи, не поделив греческих поцелуев. В зале было шумно, и уже легкомысленные женщины смеялись пьяным смехом. Только слепцы, забытые всеми, сидели безучастно и смотрели незрячими глазами куда-то вдаль, созерцая среди вечной ночи свои величественные образы.

Видя, что до нас уже нет никому дела, мы с Никифором Ксифием и Леонтием Хрисокефалом встали из-за стола и незаметно покинули собрание.

Дорогой, когда мы пробирались по ночным улицам в порт, где нас ждал дромон, Ксифий рассмеялся и похлопал магистра по плечу.

— И с кем только наш достопочтенный магистр не сравнивал варвара! Как ты изволил сказать? Новый Моисей! Равноапостольный Константин! Леонтий угрюмо молчал.

— Если бы у меня были схолярии в достаточном количестве,— продолжал Ксифий,— легко можно было бы перебить их всех на пиру.

Настала очередь торжествовать магистру. Обернувшись к спутнику, он не без ехидства заметил:

— Верю, что господь наделил тебя воинскими способностями, но сомневаюсь в том, чтобы он отпустил тебе много ума. Подумай сам! Ты хочешь

перебить скифов... А кто же тогда будет помогать благочестивому в его борьбе с Вардой Склиром и другими мятежниками? Обдумай это на досуге — может быть, и поймешь со временем...

Не зная, что ответить на это, Ксифий передразнивал магистра, подражая его елейному голосу:

— Кому уподоблю тебя? Второму Моисею уподоблю! С кем сравню твоё великолепие? С великолепием Юстиниана...

Он выпил лишнее на пиру.

— С кем ты его еще не сравнивал, отец? Кажется, с Ахиллесом? «Еще уподоблю тебя герою, разрушившему Илион». Так и сказал, клянусь святым Димитрием Солунским... Золотые у тебя уста...

— Осел! — не выдержал Хрисокефал. — Не клянись именем святого!

— Прекратите вашу ссору, — сказал я, — лучше будем скорбеть, что мы отдали Порфирогениту варварам.

— А по-твоему, лучше погибнуть ромейскому государству? — обратился ко мне магистр.

— Что стоит государство, которое торгует женской красотой.

— Замолчи! — оборвал меня магистр. — Знай свои корабли! А остальное поручено мне. Тебе приличнее стихи писать, как Димитрию Ангелу, а не заниматься государственными делами.

В эти дни я успел хорошо познакомиться с городом. За исключением немногих сторевших во время осады кварталов, где еще пахло гарью пожарищ и погорельцы не переставали рыться в развалинах, отыскивая остатки своего имущества, все сохранилось в неприкосновенности. Мощеные улицы, продольные и поперечные, — некоторые из них спускались красивыми лестницами к морю, — содержались в порядке и были снабжены водостоками. Дома в Херсонесе строятся из камня; они двухэтажные, покрыты красной черепицей и на улицы обращены своими глухими стенами. Вход в такое жилище обычно со стороны внутреннего двора, куда можно попасть через узкий переулок. На площадях стоят многочисленные церкви, общественные бани, а иногда и фонтаны, где струи истекают из львиных пастей. Здесь местные хозяйки берут воду для приготовления пищи.

Двери часто полукруглые, с украшениями над ними или с выбитыми в камне крестами, охраняющими обитателей от козней дьявола. Иногда попадаются на глаза цистерны, оставшиеся в городе еще со времен римского императора Феодосия.

Мы заходили с магистром Леонтием в церкви и базилики. Многие были переделаны из языческих капищ. Особенно мне понравилась древняя базилика на высоком берегу моря. Ее прежде всего видят мореходы с кораблей.

Мы перешагнули мраморный, стертый ногами молящихся порог и вступили в обширное, полное воздуха и света помещение. Базилика эта трехнефная, и на каждой стороне ее стоят по одиннадцать мраморных колонн, украшенных капителями с монограммами Христа, крестами и листьями аканта. На колоннах греческие надписи с именами благодетелей святого храма. Но имена римские. Я прочел: «Валериан, сын Валерия». И дальше: «Маркиан, сын Гая»... Эти мраморные столпы как бы ведут мысли верных к абсиде, где совершается жертва. Пол в базилике из белых мраморных плит, а по бокам покрыт богатой стеклянкой мозаикой — черные круги по желтому фону, с белыми квадратами в центре их пересечения.

Осмотрели мы и достопримечательности храма. В стену его вделана мраморная плита, на которой изображен возлежащий муж с венком в руке, а рядом с ним сидящая в печальной позе женщина, с лицом, закрытым покры-

валом, и около нее мальчик-раб. На камне надпись на плохом греческом языке гласит: «Господи, помоги всему этому дому! Аминь!»

Рядом с базиликой стоит крещальня — небольших размеров строение с основанием в виде креста. Пол здесь тоже мозаичный, с рисунком, составленным из лоз с красными и черными гроздьями; в другом месте — из кругов, в каждом из которых помещена птица, а в центральном круге павлин с распушенным хвостом, как символ вечности.

Посреди крещальни помещается круглая мраморная купель. Мы рассмотрели, что вода в нее подается по глиняной трубе, а отсюда истекает в колодец. Диаметр купели — восемь локтей.

Мы вышли из базилики и поднялись на городскую стену, чтобы полюбоваться морем. Оно было прекрасно в этот утренний час, а справа лиловели дивные берега Евпатории. Базилика в языческие времена была посвящена Афродите, и трудно было бы найти в городе более соблазнительное место для постройки храма богини любви...

В центре города стоят другие храмы. Многие из них с усыпальницами, богато украшены мозаикой и стеной живописью. Это — церкви Двенадцати апостолов, Софии, св. Прокопия, св. Иакова. Последний храм стоит на площади, где в Херсонесе происходит торг и где в те дни еще стояла квадрига на триумфальной арке Феодосия. На противоположной стороне площади расположены термы, и однажды мы посетили их, чтобы омыть свои тела от дорожного праха.

Это весьма древнее каменное здание, состоявшее из двух помещений: в одном люди раздеваются, в другом совершают омовение. Рядом находится пристройка с топкой, откуда в мыльню по трубам поступает горячая вода и раскаленный воздух, потребный для вызывания пота у моющихся и согревания бани в зимнее время.

В бане, среди суеты, плеска воды и в облаках пара, мы познакомились с человеком, которого в нагом виде трудно было чем-нибудь отличить от простых смертных. Но в одеянии он оказался местным коммеркиарием, то есть смотрителем мыта, и даже в сане спафарокандидата. Его звали Фотин. В обязанности такого чина входит надзор за таможей, государственными складами и хранилищами всякого рода, а также за подачами натурой. Фотин оказался очень любезным человеком и по нашей просьбе согласился показать камень с прославленной присягой херсонитов. Мы шли по довольно широкой улице, вымощенной плитами, чувствовали приятную легкость во всех членах тела после бани и слушали нашего проводника. Играя присвоенной ему печатью с изображением креста среди двух произрастающих лоз, он уверенно вел нас по кривым переулкам к древнему храму, тоже некогда посвященному какому-нибудь языческому ложному богу. На маленькой площади росли три огромных дуба. Возможно, что здесь некогда была палестра, судя по выщербленным непогодой мраморным скамьям.

— Вот мы и у цели нашего пути, — показал Фотин на мраморную плиту у стены храма.

Мы склонились над нею, и Леонтий стал разбирать надпись, уже пострадавшую от времени. Он читал ее вслух, и даже в его произношении слова наполнили воздух аттической музыкой.

— «Клянусь Зевсом, Солнцем, Девой, всеми олимпийскими богами, богинями и героями, кои владеют городом, страной и укреплениями...»

Он остановился.

— В чем дело? — спросил я, тоже почтительно склонясь к плите, хотя она была свидетельницей иных времен, когда люди еще не знали истинного бога.

— Здесь запачкано голубиным пометом,— объяснил Леонтий.

Потом он стал читать:

— «Клянусь, что буду единокорен со всеми гражданами в защите благосостояния и свободы города и не предам Херсонес, ни Киркинитиды, ни Прекрасную гавань, ни другие укрепленные места, коими владеют херсониты, ни варварам, ни элинам, но буду охранять все это для народа херсонитов и не нарушу демократии...»

Леонтий опять умолк.

— Нельзя сказать, что современные нам херсониты достойны своих предков,— рассмеялся он.

Фотин благоразумно пояснил:

— Меняются времена, и вместе с ними изменяются обстоятельства.

Однако видно было, что клятва мало интересовала моих спутников. Я сам дочитал ее текст:

— «И не передам на словах ничего тайного ни эллину, ни варвару, что может принести ущерб нашему городу, и никакого дара не дам и не приму ко вреду его граждан, и хлеба, вывозного с равнины, не буду продавать нигде, кроме как в Херсонесе...»

Фотин вдруг заторопился и покинул нас, может быть из бережливости не желая пригласить в свой дом чужих людей и потратиться на угощение, хотя мы и были в этом городе представителями самого василевса, или действительно будучи по горло занят мытными делами, и мы пошли прочь. Леонтий по обыкновению зевал, устав от бани и прогулки, и по дворцовой привычке прикрывал рот рукою. А я испытывал почему-то печаль, вспоминая только что прочитанные слова на камне, и на некоторое время даже забыл о действительности. Считаю, что я истинный христианин. Я соблюдаю все церковные правила. Но странно — каждый раз, когда я читаю языческого философа, или смотрю на мрамор статуи, или просто касаюсь рукой древних камней, мне почему-то становится грустно, и точно какая-то заря начинает тогда мерцать мне во мраке. Боюсь, что такие мысли греховны и их надо всячески избегать...

Начиная со следующего дня, мы стали готовиться к отплытию в обратный путь. В порту воины грузили на корабль, под наблюдением Ксифия, баранов и хлеба, а мы с Леонтием, без слуг и без телохранителей, бродили по-прежнему по улицам, и люди видели наше унижение. Выход в море был назначен на полночь, чтобы использовать благоприятный ветер, неизменно начинающий дуть в этот час в сторону моря, поэтому у нас еще было достаточно времени для прогулок.

На базаре толпились херсониты. Мирная жизнь понемногу вступала в свои права. Уже кое-где открылись лавки, в которых руссы покупали материи и женские украшения, и торговец показывал им цену вещи на пальцах.

Иногда до нас долетали обрывки разговоров. На главной улице города, которая называется Аракса и вдоль которой с одной стороны шел водосток, некий житель говорил слушателю, указывая на нас перстом:

— Посланцы василевса. В порту стоит ромейский корабль. А прочие — в гавани Символов...

Однажды из толпы нам крикнули:

— Предали нас варварам!

В группе людей, сидевших на ступеньках храма в ожидании, когда откроют его для богослужения, шел оживленный спор.

— Каган руссов принял крещение от латынян,— утверждал один из споривших,— поэтому папа и присылает посольство из Рима.

— Не от латынян, а из рук нашего епископа Павла, что сопровождал варяга Олафа в Киев. Это мне доподлинно известно.

— А я говорю,— вмешался третий,— что его крестили болгарские пресвитеры.

— Не болгарские, а русские!

Мы торопились, времени у нас было мало, и нам так и не удалось узнать, на чем порешили спорившие. Меня мучила жажда, и я решил попросить воды в первом же доме.

На улице стояла тишина, потому что вся хозяйственная жизнь происходит на внутренних дворах, куда надо пройти узким переулком. Когда мы вошли через низкую дверь во дворик, мы увидели дом, каких сотни и тысячи в Херсонесе: он был в два жилья, к нему теснились пристройки, и под сенью орехового дерева три курицы искали пищи под строгим наблюдением черно-зеленого петуха с красным гребнем. В углу молодая девушка сидела на корточках и молола на ручных жерновах пшеницу, наполняя воздух теплым мучным запахом. Около нее был врыт в землю глиняный пифос, где хранилось зерно. Дверь в кладовку была открыта и позволяла видеть амфоры с вином и маслом. Тут же была сложенная из кирпичей печь для выпекания хлеба. На стене висела рыболовная снасть с каменными грузилами.

В дом вела каменная лестница, так как нижнее жилье было отведено под столярную мастерскую, судя по стружкам у широкой двери.

Я приветствовал девицу, орудовавшую жерновами с таким прилежанием, что звякало ее ожерелье из серебряных монет. Она была, очевидно, служанкой или дочерью хозяина. Когда я попросил ее дать мне напиток, она встала, поправила рукой упавшие на лицо волосы, сверкнула черными глазами и сказала просто:

— Пойдемте!

Мы с Леонтием поднялись за нею по наружной лестнице с перилами и очутились в довольно низком и скромном помещении, отличавшемся большой опрятностью. Стены горницы были окрашены в розовый цвет, в углу висела резная деревянная икона с изображением трех ангелов под дубом Мамврийским, а на полке была расставлена в порядке чисто вымытая глиняная посуда, в которой обитатели дома принимали пищу. На столе лежал каравай хлеба. Нам навстречу поднялся благообразный человек. Белозубая служанка объяснила ему, что мы просим напоить нас, и он велел ей исполнить наше желание. Девушка побежала и тотчас принесла в кувшине немного тепловатой воды, а в другом сосуде вино, и мы утолили жажду. Чаша в форме древней патеры, без ручки и ножки, была сделана из красноватого стекла, с надписью по-гречески: «Пей и живи!»

Трубы акведука уже починили, и в городе снова было изобилие воды, но наученные горьким опытом люди берегли ее, и служанка снова вылила остаток питья из кувшина в амфору.

— Почему вы не отразили скифов и не дождались помощи от нас? — спросил я.

Человек погладил степенно бороду.

— Если бы варвары не разрушили акведук, мы не пустили бы язычников в город.

Явилась из другой горницы старуха с палкой в руке и прибавила, шамкая беззубым ртом:

— Три дня мы употребляли в пищу только соленую рыбу, а воды не было уже ни капли. Нечем было омочить язык. Жили как в аду... А теперь что будет с нами?

— Какие настали времена! — сокрушался старик.— Не знаешь, будешь ли дышать завтра земным воздухом...

Я поблагодарил еще раз за воду, пожелал людям благополучия, и мы покинули этот гостеприимный дом и спустились в порт. Дромон все так же торжественно стоял в заветрии, ожидая нашего возвращения.

На другой день к вечеру на корабль явились Жадберн, молодой военачальник по имени Всеслав и еще два знатных русса, чтобы плыть в Константинополь. Владимир поручил этим людям отвезти послание василевсам.

Над Понтом Эвксинским садилось солнце, прекрасное, как в четвертый день творения. Паруса медленно всползали на мачты. Корабли один за другим вышли из гавани Символов. Пользуясь благоприятным ветром, мы отплыли к василевсу. Знала ли Анна, вышивая в тишине гинекея воздух для церковного потира или читая стихи Иоанна Геометра, что участь ее уже была решена? А мне хотелось броситься в море, на съедение рыбам. Ничто не радовало меня в тот день — ни солнце, ни возвращение в город ромеев, ни предстоящая встреча с Димитрием Ангелом. С тяжестью на сердце я жил в этом несовершенном мире, который сгорит когда-нибудь в мгновение ока за свои грехи.

Мы совершили обратный путь без событий, достойных упоминания, благоразумно не удаляясь от берегов и не теряя землю из виду, и благополучно прибыли в Константинополь.

Первой новостью, которая поразила нас, было известие о гибели хранителя печати Василия. Мы узнали, что всемогущий евнух, державший в своих руках все нити управления, чем-то разгневал благочестивого и без всякого судебного рассмотрения был смещен, сослан в отдаленный монастырь, где вскорости и умер, не выдержав свалившихся на него несчастий. Дом его был разграблен городской чернью, а огромные имения взяты в пользу государства. Всего нескольких дней было достаточно, чтобы погибло такое могущество! Совершив то, что ему положено было совершить, и пройдя на земле назначенное время, евнух покинул этот мир, в котором столько людей он сделал несчастными.

Одним из первых, кого я встретил по возвращении в город, был Димитрий Ангел. Он принадлежал к богатой и знатной семье. Брат его был некогда domestikом схол, другой брат — стратигом Опсикия. А он уклонялся от служения во дворце или на поле битвы и проводил время в ничегонеделании, посвящая свои дни чертежам трудноосуществимых храмов, крепостей и дворцов. Теперь он носился с мыслью построить церковь, еще более прекрасную, чем Неа, удивляющую мир совершенством своих линий. Сотрясаясь от кашля, он говорил мне:

— Понимаешь, мой друг! Обширный, наполненный воздухом атриум, в котором шумят фонтаны. Очень много воды. Вода струится из бронзовых львиных пастей, из клювов павлинов, из труб, из тюльпанов и лилий. Колонны окружают атриум мраморным лесом... Купол... ах, если бы ты знал, какой легчайший купол я вычертил для этой церкви! А на сводах ее, среди пальм и пасущихся на лужайках агнцев, рано утром, на фоне золотых небес и розовой зари, василевс поклоняется Христу, симметрично окруженный епископами и патрикиями...

— Прекрасно, — отвечал я рассеянно.

— О, это будет лучше, чем базилика святого Луки, которую мы построили недавно в Фокиде! Природа богата, но в ней много случайного. Надо собрать все единичные положения листьев, чтобы создать одно, составленное из многих, совершенное, созданное дуновением умозрительного ветерка.



Листьями такого аканта я украшу капители атриума. Надо, чтобы душа чувствовала не движение грубого земного ветра, а дыхание небесного Иерусалима...

В другое время я слушал бы его с удовольствием, но теперь мой ум был полон забот и огорчений.

— Надо, чтобы каменные стены покрылись лужайками райских цветов, чтобы они заполнили скучное пространство кирпичной кладки...

Мне было не до цветов. Молодой русский военачальник Всеслав, которого я привез из Херсонеса, был поручен моим заботам. Руссы с нетерпением ждали, когда им будет позволено видеть василевсов.

Прием послов состоялся по традиции в Магнавской зале. Ради такого случая возлюбленный брат василевса даже покинул долину Ликоса, где в те дни начинался сбор винограда, что давало ему возможность любоваться смуглыми прелестями поселянок, срезавших пурпурные гроздья.

Большой дворец гудел, как улей. Я доставил туда в указанное время русских посланцев, и, задирая головы к золотому потолку залы, они с удивлением осматривали в Пантеоне пышные мозаики побед. В свою очередь и руссы привлекали к себе всеобщее внимание, так как людям хотелось взглянуть на покорителей Херсонеса.

Явился препозит, ведавший приемом послов. Подъемные механизмы тронов были заблаговременно проверены, обильно смазаны маслом, чтобы по возможности не скрипели. Магнавскую залу по обыкновению украсили паникадилами, коврами и хоругвями. Уже курились кадильницы, наполняя запахом благовоний залы и смежные помещения.

Варвары с удовольствием помыслили в термах, потому что руссы весьма опрятны. Впоследствии я узнал, что у них в Новгороде, Плескове, Ладоге и других северных городах большое количество бревенчатых бань, где в облаках горячего пара они имеют обыкновение бить себя березовыми ветвями, чтобы усилить выделение пота.

Мы подвели руссов к двери в тронную залу и еще раз напомнили им о троекратном земном поклонении, без которого не могло состояться торжество приема. Адмиссионалий, придворный чин, на обязанности которого лежало вводить послов, не скрывая своего удовольствия, что принимает участие в таком важном событии, отворил дверь и ввел руссов в зал. Но от зрелища, которое должно было несколько мгновений спустя представиться их глазам, скифов еще отделяла пурпуровая завеса. Она медленно стала раздвигаться, и тогда они увидели василевсов, сидящих на низких золотых тронах. Заиграли органы. Такой музыки никогда не слышали грубые варварские уши.

Перед тронами стояло позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы, сделанные из чистого золота и серебра,— павлины, соловьи, голуби и орлы. Незримый механизм был приведен в действие. Птицы запели механическими голосами: трещал заводной соловей, кричали павлины, ворковали голуби, клетотали орлы. Около трона ожили два золотых льва. Спрятанные в их телах пружины и мехи работали без заминки. Животные раскрывали страшные пасти, рычали, высовывали языки, били себя хвостами. Послы стояли растерянные, позабыв о всех наставлениях. Однако я видел, что все это не устрашает их, а только кажется любопытным.

— Падайте! Падайте ниц! — шептал я.

Но они стояли, а в это время механизмы уже подняли на некоторую высоту подвешенные на цепях троны.

Я знал, что за стеной люди с огромным напряжением вращают скрипучее колесо, приводящее в движение механизмы. Это напоминало представление

в театре. Я наблюдал за руссами, так как мне хотелось знать, какое впечатление производит на них это зрелище. Руссы молча стояли.

Потом я расспрашивал их. Они говорили, что больше всего им понравилась музыка.

— А троны и рычащие львы? — спросил я.

Они сказали:

— Разве мы дети?

Новый возглас препозита и новое возвышение тронов. После третьего возгласа послы с удивлением увидели, что василевсы уже вознеслись, как на небеса, под самые своды залы, витали там в клубах фииманного дыма. Стратиги, domestici, патрикии, евнухи смотрели на пораженных необыкновенным зрелищем варваров. В глубине залы блистали оружием протекторы и драконари. Органы ревели во всю силу гидравлических мехов. Фиимам туманил зрение.

Наконец музыка умолкла. Послы все так же молча озирались по сторонам.

Никаких земных метаний! Мы с магистром Леонтием растерянно смотрели друг на друга. Церемониал был нарушен. Леонтий мне шепнул:

— А Ольга? Разве она не кивнула едва головой на приветствие августы? Невежи!

Препозит, обернув руку полой хламиды, произнес традиционное приветствие:

— Благочестивые василевсы Василий и Константин выражают радость по поводу благополучного прибытия послов их любимого брата во Христе Владимира в сей город...

Я перевел приветствие. Василевсы сидели на тронах, как изваяния. Василий был явно недоволен. В глазах Константина мелькал лукавый огонек. Ему было смешно. Но уже клубы фииманного дыма скрывали от взоров смертных лица боголюбивых государей...

Обстоятельства торопили нас. Судьбы ромеев висели на волоске. Как хрустальный шар, вращался в руке ромейского автократора мир, порученный его заботам. Но судьбе было угодно, чтобы именно я отвез Анну варварам, своими собственными руками вручил жестокому волку наше лучшее сокровище.

Никогда не забуду того черного в моей жизни дня, когда был назначен час отплытия в Таврику. Как убивалась Анна, покидая гинекей, осыпая поцелуями близких! Зачем в ней расцвела нежным цветком смуглая красота Теофано! Зачем мы не уберегли ее! Но спросите сердце и разум: что было делать нам, прогневавшим господа? На Дунае снова поднимались мизяне и готовы были вторгнуться в пределы фракийской фемы. В Азии положение оставалось катастрофическим, и мятежники могли каждый день получить помощь от безбожных агарян.

Мне рассказывали, что Анна плакала, заламывая руки:

— Лучше бы мне умереть, чем ехать в Скифию!

Константин обнимал ее и плакал вместе с нею. Василий в гневе теребил бороду. По его суровому лицу тоже катились слезы, слезы сурового мужа, редкие и драгоценные, как алмазы.

Константин рыдал:

— Прощай, сестра! Как в гроб я кладу твою красоту! Да не погубит тебя гиперборейский климат!

В третий раз за короткое время я отправлялся в далекое морское путешествие. Снова поднимал парус старый корабль, выдержавший столько бурь, снова поплыли мимо нас голубоватые берега.

За несколько дней до отплытия я беседовал с василевсом во внутренних покоях. Он сказал:

— Ты пересекал Понт по звездам небесным. Но теперь ты пойдешь мимо Месемврии, вдоль мизийских берегов, как обычно плавают ромейские корабли. Нельзя испытывать провидение.

— Все будет, как повелит твоя святость.

— Возьми лучший корабль, которому я мог бы доверить такое поручение. Проверь внимательно снасти и паруса и выбери самых опытных корабельщиков, на рвение которых ты можешь положиться. Рассчитай все заранее, чтобы не было неприятных неожиданностей. Не упускай из виду никакой случайности. Все должно быть предусмотрено.

Я стоял перед ним, опустив глаза.

— Какой дромон ты выбираешь для Порфирогениты?

— Позволь мне взять «Двенадцать апостолов». Это крепкий корабль, хорошо слушающийся руля и легко выдерживающий качку во время бури. Путешествие в это время года сопряжено с опасностями. Но на нем Порфирогените будет спокойно.

Василий развернул пергамент и стал просматривать корабельные списки. Скосив глаза, я увидел столбик названий:

«Двенадцать апостолов»

«Жезл Аарона»

«Победоносец Ромейский»

«Св. Димитрий Воин»

«Феодосий Великий»

«Дракон»

«Святой Иов»...

Обмакнув тростник в золотую чернильницу (военная добыча, напоминание о победе под Антиохией), василевс с искаженным лицом вычеркнул из списка «Жезл Аарона», уничтоженный пожаром у берегов Таврики. Чернила были пурпурного цвета.

За несколько месяцев Василий постарел на десять лет. В его русой бороде появились в большом количестве седые волоски. Глаза василевса покраснели от бессонных ночей, веки опухли.

— Пусть два других корабля сопровождают Порфирогениту до конца пути, — прибавил Василий.

Теперь три корабля шли, не упуская из виду берег. Жертва вечерняя, Анна плыла навстречу своей печальной судьбе.

С нею был магистр Леонтий Хрисокефал, не в первый раз выполнявший ответственные поручения василевсов, и другой магистр, Дионисий Сподион, а также domestик Евсевий Маврокатакалон, митрополит Антиохийский Фома, пресвитеры, и евнухи, и прислужницы. Они берегли сестру василевсов, как драгоценную жемчужину. Евнухи и дворцовые женщины (некоторые из них были лоратные патрикианки) укутывали ее в шерстяные одежды, оберегали от непогоды и морского ветра, прятали от посторонних глаз. Но корабль не гинекей. Я видел иногда по утрам, как Анна стояла на помосте с кем-нибудь из своих женщин и смотрела на море. Я видел, как слезы туманили ее божественное зрение. Когда я думал, что скоро руки варвара будут ласкать эту смугловатую красоту, мое сердце сжималось от горя и ревности.

Иногда поднимался на верхний помост боязливый Евсевий Маврокатакалон. Раскрыв, как некая огромная рыба, рот, он озирался со страхом по сторонам, не очень, должно быть, доверяя прочности корабля. Ветер развевал его пышную бороду, величию которой он так гордился на собраниях. Но теперь ему было не до бороды. Жалкими устами он шептал:

— Погибнем мы, как фараон с колесницами, в пучинах...

Как ничтожна человеческая душа, когда она не буруеваема великими страстями! Какая забота этому человеку до прекрасного! Как свиньям, таким нужны не страшные небесные громы, не бури, а спокойное житие, корыто, теплая постель. Не героическая стихия морей, а грязная лужа... Каким грузом висят эти люди на рвущейся к небесам душе. Они — плевелы, засоряющие поле с пшеницей господя, сорные травы, достойные быть вверженными в печь. Они не холодны и не горячи и не способны ни на какое прекрасное дело.

Колесниц фараоновых и коней не было. Зато на корме, в деревянной загородке, находились бараны, предназначенные в пищу корабельщикам во время долгого пути. Каждый день приходил к ним с ножом кухарь, зверского вида человек с ладанками и крестиками на волосатой груди, и резал одного барана. Остальные покорно ждали своей очереди, пожирая припасенные для них сухие травы, не беспокоясь о завтрашнем дне. Для них не было в мировом порядке ни вечной жизни, ни славы, кроме славы наполнить пищей наши желудки. Зато не дано им и страданий, которые испытывает человек. Чем возвышеннее стремления человека, тем больше суждено ему вкусить печали.

Однажды Порфирогенита стояла на помосте корабля и смотрела на взволнованное море. Корабль покачивался на волнах, и снасти скрипели. Мы уже повернули от мизийских берегов на восток и находились недалеко от Таврики... Со всех сторон окружала нас морская стихия, только слева, вдали, виден был берег. Кроме Анны, никого на помосте не было. Насытившись бараниной, люди отдыхали внизу. Кормчие стояли на кормовых веслах, направляя ход корабля, да сторожевой корабельщик высоко, в мачтовой кошнице, пел псалом, чтобы не уснуть под мерное качание корабля. Паруса прекрасно наполнились морским ветром. Корабельщик пел:

Блажен муж, не идущий на совет нечестивых...

Далеко позади, в мгlistом тумане, шли другие два корабля: «Феодосий Великий» и «Победоносец Ромейский».

Глаза Анны были печальны. От слез и бессонных ночей их красота стала еще страшнее. Они были огромны, эти никогда не мигающие глаза. Брови над ними взлетали еще выше, придавая что-то нечеловеческое бледному лицу. На нем отражалось внутреннее страдание. Это была не обыкновенная смертная, а дочь и сестра василевсов, которая живет, повинувшись иным законам, чем судьбы женщин в обычных домах.

На черных волосах, разделенных пробором, не было ни покрывала, ни диадемы, ни простой нитки жемчуга. До жемчуга ли в морском путешествии? Прижимая руку к груди, а другой держась за веревочную снасть, в зеленом шелковом одеянии, которое развевалось от ветра, Анна не отрываясь смотрела на море. Никого около нее в эту минуту не было. Опасаясь, что разум ее мог помутиться от горя, я приблизился. Ведь за бортом колыхалась страшная стихия.

Почему мой язык не прилип к гортани? Почему я не удержал своей дерзости? Но, оглянувшись и видя, что никто не мог наблюдать за нами, так как от корабельщика в кошнице нас скрывал парус, кормчие были на корме, а гребцы под помостом, я сказал:

— Порфирогенита!

Она обернулась ко мне с удивлением.

Это было страшнее, чем секиры руссов или стрелы болгар на поле сражения. Я чувствовал, что под моими ногами разверзается бездна, готовая

Глаза Анны были печальны. От слез и весенних  
почей их красота еще страшней...



На черных волосах, разделенных пробором,  
не было покрывала и диадемы ни простой...

поглотить меня, корабль, весь мир. Я понимал, что погибаю. Но я уже был бессилён удержать свои чувства. В эту минуту я не боялся ни гибели, ни гнева автократора, ни вечных мучений. Анна подняла на меня свои глаза, наполненные до краёв изумлением.

Задыхаясь от волнения, я стал говорить:

— Госпожа! Я вижу твои слезы. Я слышу, как ты плачешь по ночам. Как пес, я брожу около тебя, никому не доверяя. Хочешь, я направлю корабль к берегам Иверии? Я опытный мореходец. Мы дойдем туда в три дня. Никто не догадается ни о чем, пока мы не пристанем. Там ты найдешь безопасное убежище. Что значат судьбы ромеев в сравнении с твоим счастьем?

Анна смотрела на меня как на безумца.

— Что ты говоришь? — прошептала она и сжала руки на груди, как мученица. — Что ты говоришь? Опомнись!

— Я вижу слезы твои, госпожа, — упал я на колени перед нею, — а с тех пор как я тебя увидел там, во дворце, в зале с малахитовыми колоннами, я ни о чем другом не могу думать, кроме тебя.

— Когда ты видел меня?

— Помнишь, ты бежала за котенком и смеялась?

— Теперь я вспоминаю. Это был ты?

— Это был я.

Анна улыбнулась горько, всматриваясь в даль, может быть в тот гремевший гимнами день, когда она беззаботно резвилась в гинекее.

— Да, теперь я вспомнила. Припоминаю твоё лицо. Сколько у нас было разговоров по этому поводу.

Не в силах сдержать своей страсти, я припал к ее ногам, покрывая поцелуями жемчужные крестики обуви. Но в это время парус заполоскал, прилип к мачте, и кормчие стали звать корабельщиков, чтобы подтянуть снасти.

— Встань, встань! — ужаснулась она. — Ты потерял разум...

Я встал. Теперь мне казалось, что все случившееся происходит как в бреду. Я, простой смертный, волею случая вознесенный до звания патрикия, осмелился сказать такие слова сестре василевсов! Я уже чувствовал, как расплавленный металл вливается в мою гортань, сжигая внутренности. В голове мелькнуло: не пройдет и трех дней — и меня ослепят, забьют насмерть плетью или бросят в темницу и отлучат от церкви...

Грудь Анны вздымалась от сильного дыхания. Ветер играл зеленым шелком ее длинной одежды.

В это мгновение отворилась дверца камары, и оттуда показалось опухшее от сна бабье лицо евнуха Романа, бывшего папия, а теперь куропалата, которому василевс поручил свою возлюбленную сестру. Я услышал пискливый голосок:

— Госпожа! Солнце приближается к закату. Опасаюсь, что морская сырость может повредить твоему здоровью. Внемли твоему рабу и спустись вниз!

За евнухом прибежали прислужницы. Одна из них держала в руках белый шерстяной плащ. Она накинула его на плечи госпожи, и Анна, прижимая плащ у шеи тонкими пальцами, удалилась, а ветер раздувал белое одеяние, как крылья голубя. Она была спасительницей государства ромеев, и красота ее оказалась сильнее нашего оружия и даже греческого огня.

Корабельщик пел псалом:

Охраняет господь путь праведных,  
И путь нечестивых погибнет...

Голос у него был пронзительный и мерзкий, но пел он с увлечением, вполне довольный своими музыкальными способностями.

Анна спустилась по ступенькам в темное чрево корабля. Потирая руки и позевывая, евнух подошел и с подозрением посмотрел мне в глаза.

— Что случилось, патрикий Иракий? Ты, кажется, говорил с Порфиrogenитой? О чем же вы беседовали, хотел бы я знать?

— Ты ошибаешься, достопочтенный,— оправдывался я и отстранял от себя руками воздух.

— А вот мы сейчас узнаем. Эй, любезный,— крикнул он корабельщику в кошнице,— спустись-ка к нам с твоих небесных высот!

Корабельщик прекратил пение, приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Евнух показал ему знаками, что надо спуститься на помост. Когда тот сполз с мачты, Роман спросил:

— Ты ведь видел, как патрикий разговаривал с Порфиrogenитой?

Корабельщик замотал головой. Это был человек с нелепой бородой, с копной нечесаных волос, лопухий. Вероятно, он опасался впутаться в опасную историю и предпочитал все отрицать. Роман махнул рукой, не надеясь узнать что-либо от этого несильного разумом человека. Корабельщик снова полез на мачту. Мгновение спустя опять послышался его мерзкий голос...

— Что за сладкоголосый соловей! — не выдержал евнух.

Я пошел к кормчим, делая вид, что мне надо проверить направление корабельного пути. Несколько корабельщиков лежали у кормовой башни и вели разговор. Один из них, с отрубленными в сарацинском плену ушами, над чем всегда потешались его товарищи, рассказывал:

— Взjali сарацины город. Пленили всех ромеев и решили их оскопить. Но городские женщины возмутились. Приходят к сарацинскому эмиру и говорят: «Разве ты воюешь с женщинами?» — «Нет, говорит, мы не воюем с женщинами». — «Так за что же ты хочешь наказать нас?»

От хохота приятели хватались за животы.

На девятый день путешествия мы приблизились к берегам Готских Климатов. Когда сторожевой корабельщик увидел из кошницы башни Херсонеса, я велел украсить корабль пурпуром и вывесить хоругвь с изображением пречистой девы, хранившей нас среди опасностей. Все поднялись вверх. Утро было свежее, но солнечное, радостное. Ветер нес корабли в мягких и упругих объятиях к Херсонесу.

Берег приближался с каждым мгновением. Стадия за стадией уменьшалось пространство между кораблями и землей.

— Вот и миновали страшный Понт! — радовался Евсевий Маврокатакалон.

— Слава Иисусу Христу во веки веков! — поддержал его митрополит, ни разу не поднявшийся на помост, проболевший все путешествие.

— И ныне, и присно... — перекрестился Евсевий.

Уже можно было отчетливо рассмотреть городские башни, вход в порт, белые ступени спускающейся к морю лестницы, запруженной народом. С каждым мгновением все выше и выше вырастали перед нами башни. Наконец мы тихо прошли мимо их каменного величия. Кормчие с искаженными лицами налегали на кормила. Паруса падали с мачт... Весла замерли...

С волнением мы смотрели на город. Толпы народа ждали нашего прибытия. Солнце блистало на крестах хоругвей, на серебряных украшениях огромной иконы, покачивающейся над морем человеческих голов, на золотых стихарях. Анна стояла на корабельном помосте, в клубах фиаманного дыма, окруженная магистрами, патрикиями и пресвитерами, ведомая на закляние,

оплаканная и отпетая. Жемчужные нити свешивались с ее диадемы, колыхались у обезумевших глаз. Лицо Анны было нарумянено, и это особенно подчеркивало ее бледность. Глаза, глубокие и никогда не мигающие, уставились в небеса. Смывая румяна, по щеке катилась слеза. В этот час она была подобна какому-то языческому божеству. А на берегу хоры пели: «Гряди, голубица...»

Бородатые и светлоусые воины, в остроконечных шлемах, но без оружия, стояли бесконечными рядами. Владимир ждал свою невесту, прекрасную дочь василевса, совершившую ради него длительное и опасное путешествие. Окруженный херсонитами, он как бы простирал к кораблю руки. С его широких плеч тяжелой парчой свисала хламида, и драгоценные камни переливались на аграфе. На голове сияла золотая диадема, положенная ему по сану кесаря. И вот новая Ифигения, превозмогая слезы, едва-едва коснулась похолодевшими устами румяной щеки варвара, еще вчера приносившего человеческие жертвы русскому Зевсу, а ныне собиравшегося приять вместе с этим цветком императорских гинекеев царство небесное и, может быть, апостольскую славу.

Волосы зашевелились у меня на голове, когда я увидел на ногах варвара пурпурную обувь, какой не подобает носить, кроме автократора ромеев и повелителя Персии, ни одному человеку на земле. Я не знал, в чем горшее унижение для ромеев: в том ли, что мы отдавали ему Багрянородную дочь василевса, или в этих пурпурных кампаниях?

Вокруг смотрели на нас любопытные голубые и серые варварские глаза. Леонтий, всхлипывая, шепнул мне:

— Ну что ж! Утаим слезы и порадуемся, что богохранимое государство ромеев вышло невредимым из таких испытаний...

Как в тумане ходил я по улицам Херсонеса в тот день, когда с триумфальной арки императора Феодосия варвары совлекли вервиями бронзовую квадригу — летящих в воздухе коней и героя, увенчанного остриями солнечного сияния. С необыкновенным искусством они опустили на землю огромную тяжесть, не повредив прекрасного произведения художника. На площади, отмахиваясь хвостами от насекомых, волы спокойно ожидали, когда нужно будет тащить груз, как будто они стояли не на агоре, где народу оглашали новеллы василевсов и постановления вселенских соборов, а перед обыкновенной житницей. Соединенные попарно ярмом, животные вытянулись длинной вереницей, и великолепный серый вол в первой паре смотрел выпуклыми глазами на красный плащ Никифора Ксифия. Чудовищная колесница была сбита грубо, но прочно. Привыкшие перетаскивать свои ладьи через катаракты, руссы двигали к ней тяжелую квадригу, подкладывая на пути круглые катки. Квадрига медленно ползла, скрип катков оглашал воздух, люди суетились вокруг нее, как муравьи около мертвого насекомого. Некоторые обнажили себя по пояс и в одних белых штанах, босые, как на страницах Льва Диакона, толкали крупы бронзовых коней. Владимир, в ромейском плаще, в обшитой мехом шапке, наблюдал за работой. Около него стоял презренный Анастас. Я слышал своими ушами, как он сказал варвару:

— Повели литейщикам отлить голову по твоему подобию, поставь ее на место кесаревой, воздвигни квадригу в твоём городе, и она будет века возвещать людям о твоей славе. Ибо металл не боится ни дождевой сырости, ни зимы, ни времени.

Владимир крутил светлый ус, ничего не отвечая. Теперь он в самом деле, может быть, воображал себя новым Феодосием.



Наконец квадригу водрузили на колесницу. Защелкали бичи. Опустив рога, быки повлекли тяжелый груз в порт, вздымая пыль, с нестерпимым скрипом варварских колес. Квадрига непонятным образом медленно двигалась мимо домов, и люди смотрели на нее и крестились. Зрелище было страшное и непривычное для человеческих глаз. В порту добычу должны были погрузить на ладью, чтобы везти по Борисфену в Киев. Казалось, не было предприятия, которое не удавалось бы руссам.

В порту я видел, как в ладьях лежали на ворохе соломы древние статуи, может быть произведения Лисиппа или Праксителя, а рядом с ними хрупкие вазы, богослужебные сосуды и хрупкие изделия из стекла. Молодые скифы заботливо передавали из рук в руки амфору с благовониями. Нагая богиня улыбалась на соломенном ложе, собираясь в далекий путь к северным варварам. Рядом покоился бронзовый Ахиллес. Лопухий ослик нес по обоим бокам тугого лохматого брюха кошницы, набитые книгами и свитками писания. Переговоры были закончены, и руссы собирались в обратный путь. Впервые их князь клялся в тексте договора не мечом, не языческими богами, а Троицей.

Перед отъездом руссы ходили толпами по городу, в котором снова кипела торговая жизнь. Жадность заставляла торговцев открывать разграбленные лавки, вытаскивать на свет припрятанные товары. Опять на Готской улице запахло миррой и мускусом, а на ступеньках базилик появились продавцы крестиков, четок и восковых свечей. Только виноторговцам не было чем торговать — вино было выпито до капли, а нового запаса еще не успели подвезти. Но уже доставили из Хазарии полосатые материи, женские украшения из серебра и бирюзы, золотые цепочки и разноцветную обувь. Даже менялы, худые иудеи или жирные греческие скопцы, выползли из своих нор и звенели монетами, взвешивая на весах номисмы. Награбленное золото текло рекой.

Один раз я видел, как по базару проезжал в сопровождении друзей Владимир. Воины оставили свои торговые дела и кричали:

— Слава нашему прекрасному солнцу!

Так можно было перевести эти крики на наш язык с языка руссов.

Городские дети бежали за княжеским конем. Иногда Владимир бросал им пригоршнями серебряные монеты.

Князь ликовал, и в глазах его можно было прочесть довольство. На днях в базилике св. Апостолов состоялось, по древнему ромейскому обряду, венчание его с Порфирогенитой. Сколько было пышности и торжества, сколько было сказано по этому поводу пустых и фарисейских слов! Венчание совершал митрополит Эфесский и Антиохийский, родом славянин, прибывший сюда накануне со всей возможной поспешностью. Два епископа кадили перед лицом варвара, гремели хоры, мешки серебряных монет были розданы нищим и убогим.

Владимир добился всего, чего желал. Но во исполнение договора он возвращал ромеям Херсонес, все прилежащие к нему земли, рыбные промыслы и солеварни, посылал на помощь василевсу новые отряды воинов.

В те дни в городе было много ромеев из Константинополя. Одни явились для сопровождения Порфирогениты, другие — чтобы оформить договор и следить за его исполнением, третьи — по торговым делам. Можно сказать, что со мною были все мои друзья и враги: жадный и невежественный Евсевий Маврокатакалон, интриган Агафий, назначенный по моей просьбе стратигом Готских Климатов на место убитого Стефана Никифор Ксифий, магистр Леонтий Хрисокефал, которому было поручено сопровождать сестру василевса до Киева и убедиться в ее безопасности. Даже Димитрий Ангел был

в Херсонесе. Владимир пригласил на службу многих художников, чеканщиков монет и переписчиков. Воспламененный своими строительными мечтами, Димитрий тоже пустился в далекую дорогу. Сотрясаясь от кашля — ужасный недуг не покидал его, — Димитрий Ангел делился со мной своими проектами, набрасывая худыми руками в воздухе округленность куполов, придумывал условную растительность капителей.

— Чтобы почтить север, я возьму для капителей не классический лист аканта, как принято строителями, а листья дуба, вырезанные с таким изяществом природой. Резец запечатлеет в них трепет борея, воздух степных пространств. По условиям сурового климата окна придется сделать узкими и скупко дающими свет. Ничего! Я украшу их снаружи барельефами. Внутри скудость света возместится размером храма, золотым фоном мозаик и люстрами. Побольше свечей! Воска в этой стране горы! Мы научим руссов делать свечи...

У него кружилась голова от грандиозных планов.

— Вокруг города мы построим каменные стены. Башни должны быть высокими, чтобы с них удобно было следить за передвижением кочевников. В Киеве выпадает много снега, и мы возведем на башнях высокие крыши, увенчаем их для украшения фигурами зверей. Над городскими воротами мы установим квадригу Феодосия с головой Владимира.

— Тебе не стыдно поднять руку на великого императора?

— Подвиги Феодосия сохранит история, а слава Владимира только возникает.

— Но где же ты возьмешь камень для таких построек?

— Камень? Все предусмотрено. Ты знаешь, как строил в Хазарии патрикий Петрона Каматира?

— Не знаю.

— Когда он прибыл с помощниками на берега Танаиса, то увидел, что в этой стране нет ни извести, ни камня. Тогда Каматира построил огнеобжигательные печи и стал делать кирпичи. Известь он заменил речной галькой, размолотой в порошок на мельничных жерновах. Так будем строить и мы.

Я смотрел на него с завистью. Сколько огня было в этом болезненном человеке!

Иногда мы собирались у Леонтия Хрисокефала, обсуждая события. Больше всего на таких собраниях говорили о Владимире. Вопросы и новости о нем сыпались со всех сторон.

— Владимир принимал сегодня послов из Рима. Не знаете, что пишет ему римский папа?

— Владимир расспрашивал сарацинских купцов о Иерусалиме.

— Владимир осматривал ромейские корабли и любопытствовал об их устройстве.

— Не думает ли он посетить Константинополь?

Случалось, что к нам являлся пресвитер Анастас и сообщал о том, что делается в доме бывшего стратига.

В тот вечер он тоже принимал участие в нашей беседе. Магистр Леонтий уживался около него, пытаясь пронюхать о планах скифов. На рынке ходили слухи, что тысячи русских воинов отплыли прошлой ночью в ладьях в неизвестном направлении. Куда? Мы терялись в догадках. Но Анастас был нем как рыба, хотя в глазах его я читал скрытое торжество.

Вдруг вошел Никифор Ксифий, взволнованный и мрачный. Мы посмотрели на него.

— Владимир занял Таматарху! — сказал он.

Многие вскочили со своих мест. Магистр схватил его за плечи.

— Таматарху? Этого не может быть!

Анастас тоже встал, потягиваясь с притворной зевотой.

— Время отойти ко сну...

Но мы обступили его со всех сторон, требуя объяснений:

— Что это значит?

— Вы предали нас!

Анастас развел руками:

— Что вы, отцы! Волноваться причин нет. Чем вы недовольны? Соблюден договор во всех подробностях или не соблюден? Соблюден. Получаете вы Херсонес в свое владение? Получаете. Посылает князь варягов на помощь василевсам? Посылает. Возвращает он вам солеварни и рыбные ловы? Возвращает. О Таматархе же в договоре никаких упоминаний не было...

Таматарха лежала по ту сторону Боспорского пролива. Этот город, очень важный в торговом и военном отношении, был населен скифами и всяким торгующим людом, среди которого было много руссов. Город никому не принадлежал, как-то управляясь в своей вечной анархии. Теперь Владимир тайно переправил туда воинов и наложил на город тяжелую руку. Мы понимали, что, обладая Таматархой, он всегда может, даже не имея военных сил в Херсонесе, оказывать давление на нашу политику в Таврике. Там он оставил как бы свое око, которое могло наблюдать за Таврическим берегом. Варвар обошел наших пронизательных магистров. Договор соблюден, но над Херсонесом на вечные времена повисла в воздухе русская секира.

Агафий, писавший текст договора, частыми ударами кулака стучал по столу, скрипя зубами от злости. Леонтий Хрисокефал, сжимая голову руками, бежал из угла в угол, бормоча непонятное.

— Право, вам нет причин волноваться, отцы,— успокаивал Анастас.— Таматарха никогда не принадлежала ромеям. Зачем вам этот город? А каган (иногда русского князя называют здесь каган, в подражание хазарам, и меня не удивит, если его скоро станут называть василевсом) нашел там своих людей, бежавших от его суда и не желающих платить судебной пени, беспоконных бродяг и непокорных всякого рода.

— Я понимаю твою игру! — многозначительно поднял палец Леонтий.

Анастас приложил ладони обеих рук к груди и сказал:

— Верьте, что мы теперя с ромеями как братья. Все ваши торговые права в Таматархе будут сохранены.

Уже ничего нельзя было изменить в нашем незавидном положении. Порфирогенита была в руках варвара. О Таматархе же хитрые, как змеи, магистры не подумали во время составления договора.

— Если бы вы знали, отцы, какие у нас замыслы! — потирал руки Анастас, радуясь, что он тоже принимает участие в составлении этих грандиозных предприятий.

— Господь низринет вознесшихся...

— Все в руках всевышнего. Это ты справедливо сказал. Но наш царь...

— Кесарь,— поправил его наставительно магистр Леонтий.

— Царь! — упорствовал Анастас.

— Кесарь! — воскликнул магистр и даже вскочил со скамьи.

— Царь! — не уступал священник и поднял вразумительно палец.

Никто больше не возражал ему. Впрочем, Анастас сказал в духе примирения:

— Царь, кесарь, князь — какое это имеет значение? Важнее, что Владимир обладает великим умом. Это мудрый правитель. А всякий мудрый правитель побеждает врагов, но предпочитает мир войне, объединяет народы, а не разделяет их, собирает в житницы, а не расхищает, любит мирную

торговлю, обо всем помышляет и заботится о том, чтобы поселянин получил пользу от своих трудов. Если бы вы знали, какие замыслы у него! Он хочет строить школы и академии, перекинуть мосты через реки и устроить дороги, чтобы укрепить наше обширное государство. Он хочет знать, как живут люди в других странах, отправляет посланцев в Рим, Иерусалим, Багдад, Ани, Александрию, и путешествующие рассказывают ему обо всем, что они видели и слышали в этих городах. Чего вы хотите от него? С греками он живет в дружбе, с болгарями заключил вечный мир. Мы не нарушим его, пока не будет камень плавать, а хмель — в воде тонуть. А когда это будет? Никогда. Он не гордец, хотя породнился с ромейскими василевсами. Самых простых людей он делает участниками своего совета. Так поступил он, например, с Яном Кожемякой, сыном бедного человека. Церкви он отдает десятую часть от своих имений. Нет, ему надо помогать по мере сил, ибо он доброе творит для народа...

Он подошел к магистру, сел рядом с ним на скамью и зашептал:

— Продайте нам тайну греческого огня! Тысячи номисм за один медный снаряд для огнеметания! Горы мехов за один горшок состава! Научите нас, как приготавливается сей огонь! Что вы хотите за него?

Мы содрогнулись. Я с радостью вспомнил, что на ромейских кораблях, что стояли в херсонесском порту, не было ни одной огнеметательной машины, ни одного сосуда с огненным составом Каллиника. По приказанию василевса их оставили предусмотрительно в Константинополе. Пусть попробуют узнать тайну ромеев!

Леонтий замахал на него руками:

— Что ты говоришь! Нам и самим неизвестна тайна приготовления огня. Даже сам василевс или патриарх, если бы они выдали эту тайну чужеземцам, врагам или кому бы то ни было, подлежат анафеме и смерти...

Анастас встал, явно разочарованный.

— Жаль, — сказал он. — Нам это пригодилось бы в борьбе с кочевниками.

— Ничего мы не можем сделать, — ответил Леонтий, — рады бы услужить вам.

— Смотрите, — погрозил пальцем пресвитер, — не прогадайте! Сомнут нас кочевники — будет плохо и вам. Мы можем защитить вас от врагов, а без нашей помощи вы не охраните ромейское государство. Какие вы воины!

— Победы не покидали нас! — сверкнул глазами Никифор Ксифий.

— Знаю, кто стяжал вам победы! — не уступал Анастас. — Разве дело в победах? У нас тоже были победы. Тысяча русских воинов разгромит все ваши гетерии, только пыль поднимется облаком! На Дунае руссы сражались с ничем не прикрытой грудью, нагие, бросив щиты и сорвав с себя рубахи, и побеждали ваших закованных в железо катафрактов. Дайте нам железо и греческий огонь. Вот этого нам и не хватает. Не хотите дать — сами возьмем! Построим корабли, мечущие пламя!

Он прибавил:

— Только бы нам не помешали обстоятельства...

Подумать только! Давно ли он упоминал в молитвах за литургией благочестивых ромейских государей и христолюбивое воинство, а теперь «мы» и «нам»!

— Не будьте близорукими, ромей! — взывал он. — Ведь теперь мы ваши союзники. Будем помогать друг другу! Или — смотрите! Не так уж трудно переплыть Понт!

В дверях, обернувшись к нам, он сказал:

— Прощайте, отцы...

Только один раз имел я случай взглянуть на Анну. Наши корабли должны были вернуться в Константинополь. На них возвращались домой ромеи, провожавшие Порфиригениту в ее путешествии. Сопровождать ее до Киева остались только прислужницы, мы с Леонтием Хрисокефалом, Дмитрий Ангел, священнослужители и наши писцы. На кораблях отплывали также в Константинополь варяги, поступившие на службу к василевсам. Меня посылали в Киев, как знающего язык варваров. По поводу варягов Леонтий говорил мне на ухо:

— Кажется, Владимир весьма не прочь отделаться от этих разбойников.

Возможно, что и в самом деле Владимир не питал особой нежности к скандинавским наемникам, с которыми у него всегда было много хлопот. Но он явился вместе с Порфиригеной в порт в день отплытия, чтобы пожелать ромеям и варягам благополучного плавания. Ведь как-никак они отплывали к братьям нежно любимой супруги.

Князь шел с Анной под пурпуровым навесом, который держали на тростях четыре мальчика в серебряных стихарях. Впереди шествовали епископы и многочисленные пресвитеры. Множество народу направлялось по узким и холмистым, но мощеным улицам в порт, где корабли были уже готовы поднять якорь. Я видел, как Анна сходила по крутому спуску, осторожно ставила маленькую ногу в обшитой жемчужинами обуви на грубые камни дороги. Ковры постлать на пути шествия не догадались или не имели времени. С застывшей улыбкой на лице Анна спускалась с камня на камень, и над ее головой покачивались розовые страусовые перья пурпурного навеса.

Корабли один за другим подняли паруса, медленно вышли из гавани в море. Внизу сиял уже почерневший от непогод Понт. Волны разбивались о берег. Варяги на кораблях, хлебнув вина, размахивали мечами и секирами, что-то кричали оставшимся на берегу — должно быть, обещали сокрушать врагов и побеждать. Владимир с довольной улыбкой смотрел им вслед. Пусть уплывают! Зачем ему эти беспокойные люди, когда у него сколько угодно смелых и послушных воинов! Анна стояла рядом, бледная, как всегда, и взволнованная. Она с грустью смотрела на корабли, уплывающие к братьям. Глаза ее никогда не мигали, такие же огромные и глубокие, как глаза на церковных изображениях. Но было что-то новое в ее лице. Как будто бы оно было опалено каким-то внутренним огнем. Губы ее запеклись, припухли, под глазами легли голубоватые тени. Все было понятно — впервые страсть прошумела над нею и опалила эти уста.

— Тяжкое бремя мы несем... — не выдержав, сказал я сквозь зубы.

— Что с тобой, друг? Чем ты опечален? — спросил Никифор Ксифий. — Не хочешь ли и ты вернуться вместе с ними?

— Будем и мы там.

— Уж не оставил ли ты в городе какой-нибудь вдовицы? — намекнул он на вдову логофета.

— Патрикию Ираклию надо обзавестись очагом, — вздохнул Леонтий, — нехорошо быть человеку одному...

Я вспомнил лицо его последней, еще не выданной замуж дочери, унылой и преждевременно увядшей.

Корабли удалялись. Голоса воинов затихали. Чайки с криками кружились над портовыми башнями.

Что я мог сказать друзьям? У меня не было ни жены, ни любовницы. Фелицитата, вдова покойного логофета, принимавшая тайно меня в своей увешанной иконами опочивальне, ничего не вызывала в памяти, кроме отвращения. Грузная женская плоть, вскормленная жирными пирогами. Тамар? Я старался не думать о ее смуглом теле, с которым в моей жизни были связа-

ны такие греховные воспоминания. Не один раз я пробирался тайком в квартал Зевгмы, в тот грязный лупанар, где обитала Тамар. Я приходил, закрыв лицо куколом плаща. Старуха шамкала:

— Девочка уже вспоминала сегодня про тебя. Говорит: «Что-то не приходит мой патрикий?»

— Откуда тебе известно, что я патрикий?

— Хм... Корабельщики сказали.

После этого я не ходил туда. Еще много дней я содрогался, вспоминая смугловатые маленькие перси Тамар. Но я бежал из этого непотребного места, оставив ее на произвол судьбы.

Почему она плакала, целуя меня? Страшно жить в нашем мире! Может быть, я оставил там сестру свою? Не такие ли у нее глаза и ресницы, как и у другой? Почему же одна в пурпуре, а эта продает свои ласки за медную монету? Обоем господь дал бессмертные души, а судьба у них не одна...

Мы возвращались из порта усталые и хмурые. Над толпою все так же покачивался пурпурный навес. На завтра было назначено оставление Херсонеса. Анна уезжала в холодную страну гипербореев.

На другой день, на рассвете, Анна поднялась на малый корабль, украшенный сарацинскими коврами, который должен был доставить ее в Киев. На других ладьях Владимир увозил военную добычу, статуи, мощи св. Фивы, ковчежец с нетленной главой св. Климента. Останки его покоились в Риме, глава досталась руссам. Они поделили с Римом драгоценное сокровище.

Солнце сияло трагическое и ослепительное. Паруса всползали на мачты, наполнялись дыханием понтийского ветра. Среди радостных кликов, мычания волов, ржания коней и криков верблюдов руссы покидали город. Анна стояла на помосте корабля тоже готовая оставить навеки ромейские пределы. Я опасался за нее. Разве не мог суровый скифский климат погубить ее взлелеянную в пурпуре красоту? Но странно — мне показалось, что ее глаза блистали счастьем...

Путешествие наше напоминало переселение народа — такое множество людей, коней, ладей, волов двигалось в гавань Символов, чтобы плыть к устью Борисфена. Русская конница, бряцающая оружием, ушла вдоль берега. Много воннов осталось в Таматархе. Когда из Херсонеса удалился последний варвар, стратиг Никифор Ксифий велел запереть городские ворота. С продолжительным скрипом затворились огромные створки, тяжело обитые железом. В течение многих месяцев ворота не запирались, и всякий мог в любое время входить в город или уходить из него, и ворота с большим трудом удавалось повернуть на заржавевших упорах.

Я был одним из последних покинувших Херсонес и наблюдал все это, когда мы попрощались с Никифором, и я пожелал ему счастья на новом поприще. Потом нас разделила стена. После пронесшейся бури в городе наступила странная тишина. Херсонес снова стал жить куплей и продажей...

Теперь мы с магистром Леонтием должны были сопровождать Порфирогениту в далекий гиперборейский город, как пленницу. Хуже! Как погребенную при жизни.

Прошло десять дней с того часа, как мы покинули Херсонес. Огибая мысы, мы приплыли к острову Георгия, где Владимир, невзирая на ропот недовольных язычников, хотел срубить священный дуб, которому поклонялись руссы с незапамятных времен. В течение часа раздавался железный звон секир, рубивших гиганта. Но воины упростили оставить дерево расти на земле, и оно не рухнуло, хотя в новом, христианском мире для него уже не

было места. На широких ветвях дуба вили гнезда многочисленные птицы, теперь они кружились над ним с печальными криками.

Потом мы поплыли вверх по Борисфену. На одной из ладей, украшенной коврами, ехала в далекое изгнание Порфиrogenита. На другой стояла квадрига, снятая с триумфальной арки Феодосия. В остриях солнечной короны триумфатор все так же невозмутимо держал в руках бразды, а кони навеки застыли в прекрасном полете, сгибая в воздухе легкие ноги.

От Крарийской переправы, где река Борисфен не шире константинопольского Ипподрома, мы стали подниматься к порогам, как руссы называют катараки. Конница шла берегом, готовая отразить кочевников, которые нападают неожиданно, пускают тучи стрел и снова исчезают в степных пространствах, чтобы вернуться в благоприятную минуту и пустить в ход свои страшные кривые мечи.

Однажды мы услышали вдали глухой шум падающей воды. Это и были с такой точностью описанные Багрянородным автором пороги.

Мы восходили все выше и выше по реке, и мимо бесконечной лентой двигались покрытые густою растительностью берега. Иногда плакучие ивы опускали к самой воде свои печальные ветви, иногда на берегу зеленели рощи дубов, откуда к нам прилетали лесные запахи. В воздухе слышалось пение бесчисленных птиц. Трепетали в лазури жаворонки, свистели дрозды и скворцы, ворковали горлинки, стучали дятлы. Говорят, что весной здесь шелкают по ночам и рассыпают бисер соловьи.

Порой на многие тысячи стадий тянулись ровные пространства, покрытые серебристой и странной для наших глаз травой, которая при малейшем движении ветерка колыхалась, как море. Все было иным на берегах Борисфена, чем у нас,— растительность, воздух, полный незнакомых ароматов, даже самое небо.

От Киева нас отделяли семь порогов. Первый назывался «Малым», так как проход через него наименее труден. Здесь русские покидают ладьи, оставляя в них только груз, и, нагие, нащупывают ногами дно, чтобы ладьи не наткнулись на какой-нибудь подводный камень. Затем они толкают лодки через это опасное место. Ширина этого порога равна приблизительно тому зданию, в котором василевсы упражняются в конной езде.

Второй носит название «Бурление воды», и река образует здесь страшный водоворот. За камнями третьего порога стоит тихая заводь, кишущая множеством рыб. Варвары ловили их сетями, а потом варили на берегу водянистую похлебку, заправив ее солью, лавровым листом и перцем.

Отсюда руссы поднимаются к четвертому порогу, который называется «Пеликан», потому что в его утесах в большом количестве гнездятся эти прожорливые птицы. Здесь нападают на путешественников кочевники, и этот порог очень труден для перехода. Руссы вытаскивают здесь ладьи на берег и волокут их по земле, а легкие лодки несут на плечах на протяжении пятидесяти стадий. Плавание это — многострадальное, трудное и страшное предприятие.

Пятый порог носит название «Шум». Вода его производит ужасный грохот, за которым трудно слышать людскую речь. Шестой называется «Остров». Седьмой, за которым уже лежит свободный путь в Киев, руссы называют «Не спи!».

Помню, как я сидел однажды на берегу варварской реки, под сенью русских дубов, и, раскрыв книгу Иоанна Геометра, пытался читать стихи, но не мог насладиться ими. Перед глазами стояли события последнего времени. Морское сражение у берегов Таврики и пылающий во мраке корабль... Падение Херсонеса... Путешествие Анны... Мои безумные слова о любви...

Я пытался читать стихи, написанные с такою любовью к бедным и обиженным судьбою, но меня отвлекали крики руссов, падение воды, наполняющее воздух непрерывным шумом, и вся необычайная обстановка переправы через порог.

В этом месте порог представляет собою скалистый гребень. Вода низвергается со скал бурным водопадом, и воздух полон сырости от мельчайших водяных частиц, создающих радужное сияние. Страшно смотреть, как водная стихия обрушивается на камни и ревет в узких проходах среди скал.

Скифы выгрузили товары, вытащили на берег челны и каким-то чудом сняли квадригу Феодосия с ладьи. Небольшие ладьи они подняли на плечи и понесли вдоль берега, нагибая головы, как атланты. Под большие ладьи руссы подкладывали катки и волокли их, как обыкновенные повозки. Так же они поступили и с тяжелой квадригой. Полуголые люди тянули эту огромную тяжесть и выкрикивали метрические слова, чтобы соразмерить и согласовать общие усилия. Я видел, как напрягались мышцы на обнаженных спинах и на мощных руках. Выгибая сильные выи, руссы иногда топтались на одном месте, не будучи в силах сдвинуть квадригу, потом с криком делали еще одно усилие и продвигали груз на один локоть. В это время другие подкладывали новые вальки, и квадрига медленно ползла вперед. И все так же невозмутимо улыбался триумфатор, протянув перед собою руки, в которых уже не было бронзовых лент, изображавших бразды, так как в пути они пришли в негодность и оборвались.

Конница ушла далеко в поле. Оттуда к реке прилетал степной ветер, пахнувший травами, мятой, горьковатым запахом полевой полыни.

На берегу росли дубы, и над ними часто пролетали лебеди. Воины пускали в них стрелы, и пронзенные птицы падали на землю, широко раскинув огромные крылья. Владимир в голубом воинском плаще, скрестив руки на груди, наблюдал за этой забавой.

Я сидел на камне под прибрежным деревом, с раскрытой книгой Иоанна Геометра в руках, и смотрел на быстрое течение воды, символизирующее у поэтов бrenную человеческую жизнь, на голубоватые дали, и взгляд мой легко предвставлял в темной листве дуба желуди, творимые природой осенью с таким изяществом, но служащие пищей свиньям. Однако всюду глаза мои искали Владимира.

О чем он думал в эти минуты? Вспоминал запекшийся от поцелуев рот Анны и ее нежные руки? Сколько любовниц он целовал по праву победителя! Смуглых пленниц из шатров, сделанных из верблюжьей шерсти, сероглазых славянских дев, холодных варяжских дочерей, черноглазых хазарок, христианок из Херсонеса... Чем была для него женщина? Добычей войны. Но, увидев наши преклонения перед Порфиригенитой и услышав почтительный шепот ромеев в ее присутствии, он понял, что Анна не такая, как другие. Князь смотрел на нее любящими глазами, и она улыбалась ему в ответ с нежностью. Неужели она забыла в его объятиях о ромейской гордости?

Мы только что перешли последний порог. Ниже по течению еще был слышен его шум, похожий на отдаленный ропот моря. Ладьи стояли у берега, уткнувшись птицеобразной грудью в песок. Вечернее солнце уже покрывало речные струи пурпуром. На фоне заката отчетливо застыли в воздухе черные кони квадриги, и их тонкие ноги, красиво согнутые в легком порыве, бросали в пространство восемь подков, и было видно каждое острие на солнечной короне героя. На берегу дымились костры, на которых руссы жарили добычу лесной охоты — огромных черных вепрей. Запах жареного мяса мешался с дымом, с вечерней свежестью воды. Мимо прошла группа воинов со смехом простодушных людей. Мне рассказывали, что, оставляя свой дом, они ни-



когда не запирают дверей на замок и оставляют на столе хлеб и молоко, чтобы случайный путник, постучавшийся в дверь в их отсутствие, мог утолить свой голод. Мне приходило в голову, что это, может быть, и есть тот золотой век, о котором мечтает человечество. Я уже не был юношей и знал, что всюду есть страдания и заботы о насущном хлебе.

Подперев рукой голову, откинув полы простого дорожного плаща, который мне посоветовали взять в далекий путь в Херсонесе, я сидел на круглом камне и смотрел на полуголых воинов, напоминавших мне тех варваров, которых я случайно видел в далеком Риме на какой-то колонне. Они рассекали туши животных, чтобы приготовить ужин. Листва дубов была в слоистой голубой дымке от костров. Когда мой взор находил на реке небольшой ромейский корабль, доставленный с такими усилиями в русские пределы, я отворачивался, чтобы не терзать себя. На том месте, где стояла хеландия, на берегу были разостланы ковры, и Владимир сидел рядом с Анной, окруженный друзьями, с которыми он делил сражения и пиры. По заведенному обычаю они пили вино из рогов или глиняных чаш. Слепцы, те самые, что пели во дворце стратига, опустив на грудь седые бороды, перебирали струны гуслей. В тихом вечернем воздухе до меня явственно доносился звон струн, голоса, бульканье излившегося из сосуда вина. Владимир крикнул лирникам:

— Спойте нам песнь про синий Дунай!

Слепцы рванули струны... Князь слушал их, закрыв глаза, позабыв о турьем роге, который друзья предлагали ему осушить. Когда слепцы начали строфу о великом русском герое, всю жизнь мечтавшем о синем море, о далеких странах и южных плодах и погибшем где-то недалеко от здешних мест, на берегах Борисфена, Владимир опустил голову. Анна смотрела на него сострадающими глазами, как будто она была не Порфиrogenита, а самая обыкновенная женщина, стирающая на портомойне одежду своего мужа.

На широкой реке стояла необыкновенная тишина, нарушаемая только шумом далекого порога. Угмонились птицы. Сильнее запахло речной сыростью. Далеко в степях ржали скифские кони. В этой тишине особенно звонко рокотали струны и звучали голоса слепцов. Они пели:

Тогда Святослав воззрел на солнце,  
В последний раз вздохнул он и рухнул, как дуб...

Проходивший мимо пресвитер Анастас сказал мне по-гречески:

— Патрикий чтением улаживает душу?

Я не пожелал ответить ему и отвернулся. Вид этого изменника был мне ненавистен. Но Анастас продолжал:

— Книжные слова утешают нас среди горестей...

— Каких горестей? — не выдержал я.

— Разве мало огорчений выпало на долю ромеев в последние годы?

— Ромеи непобедимы, — сказал я, — а тебя, предавшего христиан, ждет геенна огненная.

Анастас постучал пальцем по лбу.

— Ромеи хитры, как змеи, но разум их мал. Почему ты, ослепленный злобой, называешь меня предателем? Я не предатель, а служитель Русской земли.

Пользуясь надежной защитой от кочевников, вместе с русскими воинами в Киев направлялись из Херсонеса и других таврических городов многие купцы. Среди них был иудей по имени Авраам. Он ехал с тремя сыновьями в Киев по торговым делам. Хотя он был израильтянином, но я не пренебрегал

беседами с человеком, видевшим столько на земле, и расспрашивал его о стране Владимира.

— Славян много, как песчинок на морском берегу, — говорил Авраам, — если найдется человек, который объединит их и положит конец их распрям, они будут непобедимы.

По обычаю хазарских купцов Авраам носил меховую шапку, длинный кафтан, опоясанный пестрым платком, широкие штаны. Борода у него была как у библейского патриарха.

— Удастся ли это Владимиру? — спросил я.

Авраам пожал плечами.

— Никому не известно, какая судьба приготовлена для руссов. Хазары рассказывают, что первого русского воина родила псица, оттого-то они и бросаются с такою яростью на врагов. Страшные люди! Посмотри на эти мышцы! Кто может противостоять такому народу? Была Хазария, страна, полная золота, и нет теперь Хазарии. А они — как песок морской. Сегодня неприятель сожжет их город, а завтра они построят новый. Они неуязвимы в своих огромных пространствах.

Рассказ о собаке поразил меня. В свое время я читал, что первого ромея вскормила волчица. Совпадение или подражание?

Я снова пошел к тому месту, где пировали воины, хотя в последнее время избегал вина по причине слабого здоровья. Слепцы кончали песню:

Не забудем мы твоих великих дел,  
Твоих трудов за Русскую землю...

Русская земля! Откуда она родилась в этих пространствах? Откуда возникла громоподобная музыка этого нового мира? Из ледяного небытия? Увы, мы не внимали, мы проглядели, а теперь уже ничто не может остановить бег истории!

Ночь путешественники провели под открытым небом, одни — на берегу, другие — в ладьях, завернувшись в плащи и овчины. Над Борисфеном стояли звезды. В прибрежной роще фыркал какой-то дикий зверь. Я решил провести ночь в ладье. Она покачивалась на воде, как колыбель, но я не мог уснуть, хотя долгое путешествие утомило меня. Все было спокойно вокруг. И один раз я услышал с той стороны, где стояла ладья Владимира, счастливый женский смех.

Рядом со мной лежал магистр Леонтий. Было нелегко в его годы предпринимать такое утомительное путешествие. Но он мужественно переносил все тягости, выполняя волю благочестивого. Под другой овчиной кашлял Дмитрий Ангел. Слышно было, как иногда в воде плескались огромные рыбы.

Чувствуя, что мне все равно не уснуть, я стал перебирать в памяти события и картины путешествия. Оно было странно, как сон. Вепри, выбегающие из дубовых рощ на водопой к реке, горы рыб, уловленных сетями, квадрига, ползущая на катках по берегу Борисфена!

Больше всего мой ум занимал Владимир. Князь стоял передо мной как живой. Этот человек может решиться на самое трудное, обратиться к своей стране в христианство, пойти войной на Константинополь. Казалось, ничего нет на земле, что могло бы остановить его. В его голубых глазах пылала прекрасная решимость. С каким искусством он обошел все козни наших хваленых магистров! И есть в нем какая-то завидная легкость, великодушие. Я слышал однажды, как он говорил на пиру:

— Что мне серебро! Серебром я не куплю себе друзей, а с ними найду

достаточно серебра и золота. Не пейте из рогов и глиняных кубков, а пейте из серебряных чаш!

По его приказанию отроки принесли из ладей серебряные чаши, и князь дарил их воинам. В тот вечер пировали до полуночи. Я с большим трудом добрался с магистром и Димитрием Ангелом до своей ладьи, хотя тайком и выплескивал вино из чаши на землю. А Владимир, как будто бы и не было пира, потребовал коня и уехал в ночное поле. С ним отправились другие воины. Когда взошло солнце, они вернулись, звеня оружием, пахнущие зверем, росой, конским потом.

Снова мы двинулись в путь, и опять мимо поплыли блаженные берега Борисфена. Владимир спешил вернуться в Киев, торопились и гребцы, стосковавшиеся по оставленным семьям. Уже руки их покрылись мозолями, но они неустанно гребли, и мускулы играли на обнаженных спинах.

Была последняя остановка в пути на ночлег. По обыкновению руссы развели костры, чтобы приготовить пищу. Как всегда, Владимир куда-то ускакал со своими воинами. Я видел, как серый в яблоках конь, перебирая высоко ногами и выгибая шею, взбирался боком на береговую кручу и ветер развевал его белую гриву. Длинный меч бряцал о позолоченное стремя. Грызя удила, конь побеждал крутизну. Вероятно, они отправились на очередную звериную охоту или разведать, все ли спокойно в поlynных степях.

Анна сошла на берег со своими патрикианками и греческими прислужницами. Утомленные путешествием, ее приближенные женщины с радостью ступили на берег, бродили у воды, лукаво переглядываясь с северными воинами.

Я стоял у дуба, когда Анна проходила мимо. Под ее зелеными башмачками хрустели камешки. У меня сильно забилося сердце.

— Здравствуй, патрикий,— сказала она тихо, и в ее глазах мелькнул женский огонек.

Она очень изменилась за последние дни, стала радостной и спокойной, и грудь ее дышала мерно и глубоко.

Порфиrogenита улыбнулась мне. Может быть, она вспомнила о моих безумных словах во время путешествия в Херсонес.

Я поклонился ей, как положено высокому званию Порфиrogenиты, и сказал:

— Скоро мы прибудем в Киев, госпожа. По прибытии в этот город мы оставим тебя и возвратимся в ромейские пределы. Повели рабу твоему!

Я осмелился взглянуть на нее. Ее лицо было похоже на неправдоподобный сон. Нарушался благочестивый порядок жизни. Вот дочь василевса не в благоговейной тишине гинекея, а на берегу древней реки руссов, и я, простой смертный, обращаюсь к ней с докучными словами!

Листья дуба прошелестели от прилетевшего вестерка. Анна глубоко вздохнула. Уже вокруг веяло северной свежестью. И вдруг она прошептала:

— Как хорошо здесь!

Ноздри ее трепетали. Увы, Багрянородная променяла славу Рима на скифское царство, а сердце ее веселилось. Она опять улыбнулась и закрыла на мгновение глаза. Вспомнила руки князя, ласкавшего ее смуглые плечи? Едва взглянув на меня, она пошла дальше, кивнув мне головой.

От ладей ко мне приближался Анастас. Не желая встретиться с ним, я отошел. Но пресвитер крикнул:

— Устал, патрикий? Ромей привыкли к мягкому ложу.

Не глядя на него, я ответил:

— За тридцать скифских сребреников ты продал христиан.

К счастью, ко мне спешил Димитрий Ангел. Уставший от путешествий, больной, но с необыкновенной жадностью воспринимавший все новое, он был взволнован открывшимся ему миром.

— Какая прекрасная река! Какое обилие рыбы! Думал ли я, когда читал у Багрянородного о Борисфене, что поплыву по его водам?

— К чему все это, Димитрий, когда на душе так печально?

— Выпей чашу вина или вспомни что-нибудь забавное. Нет, как благодарен я небесам, что посетил русский мир! Какие храмы я построю в Киеве! Сколько здесь богатства, скота, меда, мехов, золота!

Он был прав. На берегах этой реки цвела жизнь, полная изобилия. Над Русской землей веял совсем иной воздух, чем на наших форумах. С какой радостью вдыхала его Анна! А мне был милее наш строгий ромейский мир с его канонами и правилами, литургиями и церемониями. Он был совершенен, как купол Софии, и в центре его сиял василевс, хранитель вселенских соборов. Русский воздух был не для меня. Он волновал, манил в туманные дали, где сероглазые девы пели грудными, теплыми голосами и среди польнных полей ржали скифские кони.

В одно раннее утро, когда еще стлался над рекою туман, мы приплыли в Киев. Последний переход руссы гребли даже ночью, потому что сгорали от нетерпения увидеть поскорее родные очаги. Протерев глаза, мы рассмотрели на высоком берегу странный бревенчатый город. На земляных валах стоял частокол. Над ним занималась холодная гиперборейская заря.

— Проснись, магистр,— разбудил я Леонтия,— вот и конец нашего путешествия.

После сна утренний воздух леденил кровь. Кутаясь в плащ, магистр отогнал сонные видения и стал шептать положенную молитву. Так он начал свой день; даже совершенно изнуренный путешествием, он не забывал об этом. А я с любопытством смотрел на легендарный русский город. Над стрехами его домов поднимались утренние дымы. На берегу нас ждали толпы народа, а из раскрытых настежь ворот в приземистой бревенчатой башне выбегали все новые и новые толпы и устремлялись к реке.

Лады с разбегу приставали к берегу, и воины, по колено в воде, вытаскивали их на песок. Люди весело перекликались по поводу благополучного прибытия. Воины бросали из ладей на землю охапки материй, оружие, одежду.

Тысячи женщин сбежали с горы с радостными криками. Они были в белых рубахах, расшитых узорами около шеи и на рукавах, и в разноцветных сарафанах. На шее у них звенели ожерелья из серебряных монет или зеленые и синие бусы, у которых был какой-то особенно радостный вид. Мужья, братья, сыны протягивали им навстречу руки.

Среди шума и радостной суеты воины вручали женам подарки. Один развернул перед возлюбленной вышитую грифонами материю, и она стыдливо отворачивалась от подарка, как будто бы страшась той награды, которую от нее потребуют. Другой показывал жене шитые жемчугом греческие башмачки, и жена с восхищением смотрела на них, сжимая руки. Но не всем суждено было вернуться. Старуха плакала, обняв голову руками. Должно быть, сын ее остался в ромейской земле. Молодая женщина с лицом необыкновенной нежности, увешанная бусами и монетами, заламывала руки, билась в рыданиях на земле, а седоусый воин, хмуря брови, держал перед нею в руках меч убитого мужа, его секиру, обшитую мехом шапку. Глядя на мать, дети кричали и размазывали кулачками слезы. А рядом другая женщина прижимала к груди высокого воина, и тот смеялся и обнимал ее обезумевшую

от счастья, растрепанную голову. Дальше еще одна царапала лицо ногтями, срывала с себя ожерелья.

Она сидела на берегу и точно на поле битвы, точно над милым телом сына причитала:

Темный лес к земле клонится,  
Никнут травы от жалости...

Но здесь магистр приблизился ко мне и со вздохом сказал:

— Скоро расстанемся с нашей голубкой навеки...

В порыве любви и радости женщины и быстроногие дети обогнали старцев, которые с медлительной торжественностью спускались с горы с посохами в руках, чтобы приветствовать князя по случаю его возвращения. Это были те из княжеских советников, которые из-за преклонного возраста не могли уйти в поход. Они были в чистых белых одеяниях, поверх которых некоторые накинули синие или красные плащи, застегнутые на правом плече запоной. У некоторых были серебряные бороды, у других длинные усы. С большим достоинством старцы приблизились к Владимиру, обнимали и целовали его, как сына, с отеческой любовью. Потом с улыбкой смотрели на сестру василевса. Но не падали перед нею ниц, так как этот народ полон гордости и ни перед кем не склоняет выю.

Киев, представившийся накануне нашему зрению в такой красоте, при ближайшем ознакомлении оказался обыкновенным варварским городом с бедными хижинами, наполовину вырытыми в земле и покрытыми тростником или соломой, так как руссы усердно занимаются земледелием. Впрочем, дома богатых людей построены здесь из дерева, и особенно искусными плотниками у руссов считаются жители Новгорода. Окошки в таких строениях скудны, небольших размеров и обычно затянуты бычьим пузырем, пропускающим мало света, но украшены наличниками, на которых резец изобразил птиц и зверей и всевозможные узоры. Как во всех северных городах, в Киеве не знают камнестроения, потому что дерево в этой богатой лесами стране самый удобный и дешевый строительный материал и жилища, построенные таким способом, хорошо держат тепло, что очень важно, принимая во внимание суровый русский климат. Здесь все делают из дерева — посуду и ложки, а также возводят мосты и даже прокладывают мостовые и трубы для воды и стока нечистот. Однако на площади, которую называют Бабиным торжищем, стоит посреди обширного двора кирпичное здание, с большой роскошью построенное еще княгиней Ольгой, той самой архонтиссой, о которой писал Константин Багрянородный в книге о церемониях. Но, кажется, пока это единственное каменное строение в городе, и даже христианская церковь, стоящая под горой, где мы помолились с Леонтием по приезде, построена из бревен, с красивыми надстройками.

На холмистых улицах Киева дома построены в беспорядке, и каждый житель селится так, как ему вздумалось, без общего плана. Некоторые жилища имеют дымоходы, в других дым выходит наружу сквозь щели в соломенной крыше, превращая жилище в своего рода огромную курильницу. Таким образом руссы копят подвешенные под стрехами куски говядины или медвежатины, жирных гусей и пойманную в Днепре рыбу. Рядом с жилищем за плетнем или загородкой помещаются домашние животные. На заре пастухи звонко играют на свирелях, собирая скот, и выгоняют коров и овец за городские ворота, где начинаются превосходные луга.

По приезде в Киев мы поселились с магистром Леонтием у Добрыни, в одном из тех бревенчатых больших домов, которые руссы называют палатами, то есть дворцами. Нам отвели пахнущую деревом, опрятную горницу с зеленоватыми стеклами в виде кружков в свинцовой оправе, с низенькой, обитой железом дверью. Все убранство ее состояло из низкого, но широкого ложа с пышным пуховиком и сшитым из беличьих шкурок покрывалом и деревянного стола на четырех ножках. В соседней светелке была приготовлена большая чаша для умывания, и во время мытья воду лила нам на руки из кувшина молодая рабыня с печальными глазами. На спине у нее лежали две тугие черные косички.

Сам хозяин обитал в другом помещении, обставленном более богато и увешанном дорогими персидскими коврами, с золотой и серебряной посудой на столах. По всему было видно, что знатные руссы уже приобрели привычку к роскоши и ценным вещам. В доме Добрыни я видел тяжелые серебряные подсвечники с восковыми свечами и в горницах часто курились аравийские благовония. Еда у нашего хозяина отличалась обилием. Но к пище подавали не вино, которое здесь пьют только на пирах, а русский хлебный напиток, сладковатый на вкус и приятно пощипывающий ноздри при питье. Жена Добрыни была дородная, румяная и светловолосая женщина с золотым ожерельем на очень белой шее. Оба были рады, что я изъясняюсь на их языке, и непрестанно расспрашивали меня о том, как живут люди в других странах. Хозяйку особенно интересовали одеяния наших лоратных патрикианок и различные женские украшения, а Добрыня больше любопытствовал относительно торговли и военного дела, но тут я остерегался сказать лишнее.

Однако мне пришлось побывать и в бедных хижинах, и я имел неоднократно случай наблюдать здесь бедность и недостаток пищи. Свое жилище небогатые люди выкапывают прямо в земле, вынимая также почву для ступенек и скамей у стены, и вырывают глубокие ямы для хранения зерна и других продуктов. Верх своей хижины они строят из дерева или прутьев, обмазанных глиной, а крышу покрывают соломой.

На другое же утро, разбуженный свирелями пастухов, я вышел из дому, чтобы побродить по городу, и люди с любопытством смотрели на чужестранца, и некоторые радушно приветствовали меня и желали доброго утра. Предварительно я умылся. Опустив длинные ресницы, все та же молодая рабыня лила мне воду на руки, и я освежил лицо. Потом девушка протянула мне расшитое узорами полотенце. Края его были украшены красными и синими птицами по бокам широкого дерева. Я заметил, что у здешних людей есть желание все свои вещи украсить узором или краской.

— Как тебя зовут? — спросил я рабыню.

— Азара.

Я понял, что так прозвали девушку хозяева, когда ее привезли сюда после какого-нибудь удачного похода в степи. Я сказал, что хочу есть, и она принесла глиняную чашу с молоком и кусок еще теплого пшеничного хлеба, приятно пахнувшего подгоревшей мукой, и я съел все это с большим удовольствием.

Леонтий еще спал, так как вчера налег на свинину за столом и всю ночь страдал желудком, стонал и охал, а я отправился в город, сгорая от нетерпения поскорее познакомиться со здешней жизнью.

Отправляя нас с Леонтием в далекое путешествие, василевс напомнил, что нам надлежит не упускать никакого удобного случая для того, чтобы разведать силы варваров, количество и способ изготовления у них оружия и получить прочие важные с военной точки зрения сведения. Поэтому, очутившись

в городе, я немедленно направился разыскивать кузницы и домницы, в которых плавят металл. В трактате «О проводниках и лазутчиках» подробно описывается, как надо собирать такие данные.

Многое я уже услышал от спутников во время путешествия по Борисфену, поэтому мне нетрудно было найти то, что меня интересовало. Подобного рода мастерские находятся обычно у городских ворот, где в город въезжают возы и конные путники и часто требуется кузнец, чтобы подковать коня или починить повозку.

Вскоре я действительно обнаружил около крепостного вала одну домницу. Она была построена в закрытом помещении и, очевидно, принадлежала сравнительно богатому человеку, потому что в его распоряжении находилось два помощника, из которых один, судя по всему, был рабского состояния.

Я спустился по земляным ступенькам в литейную и вежливо поздоровался. Хозяин, занятый работой, повернул ко мне лицо и ответил:

— Будь здоров и ты!

Один из молодых помощников с любопытством рассматривал меня, а тот, которого приходилось считать рабом по его жалкой одежде, все с тем же ожесточением продолжал свой труд, беспреданно и мерно разводя и сжимая рукоятки кузнечного меха. Домница была сделана из обожженной глины, в виде закругленного наверху конуса, со стоками внизу для стекания жидкого шлака. Как и везде это делается, в такую печь закладывают слоями руду и древесный уголь и силой мехов раздувают внутри большой огонь для плавления.

Кузнецам было не до меня. Я понял, что металл уже выплавлен и что сейчас они приступят к выниманию железной крицы, и решил присутствовать при этой операции. Хозяин взломал железным шестом верх печки и достал оттуда клещами довольно большой кусок сплава, величиной с баранью голову, а подручный не мешкая положил эту крицу на наковальню, укрепленную на огромном обручке дерева, и стал бить по ней тяжким молотом, наполнив небольшое помещение железным грохотом и звоном.

Я все-таки спросил:

— Где же вы добываете руду?

Хозяин отер тыльной стороной руки пот со лба и неопределенно ответил:

— На болоте, в папоротниках.

Широко улыбаясь, подручный добавил, оставив на минуту молот:

— Там, где медвежьи следы.

— Где зайцы и лисы бегают, — так же весело пояснил хозяин.

— А правда ли, — спросил я опять, — что руссы примешивают маленькие куски металла в пищу для гусей, и домашние птицы поглощают это месиво, и якобы в птичьих зобах металл обрабатывается таким образом, что приобретает особую крепость и превращается в чрезвычайно прочную сталь, из которой вы куете свои знаменитые мечи?

Хозяин и подручный переглянулись.

— Мечи наши добрые, — уклончиво ответил старый кузнец, а подручный рассмеялся. Видимо, ни тот, ни другой не имели большой охоты открывать свои тайны чужеземцу, догадавшись по моему выговору и одеянию, что перед ними грек, и, может быть, даже приметив меня, когда мы вчера с князем явились в город.

Всюду валялись лемехи, светцы, остроги, удила, секиры. Здесь не только добывали железо, но производили различные хозяйственные изделия. Я видел потом русские мечи. Они двухсторонние и ничем не уступают прославленным франкским, но имеют то преимущество, что поперечина на них опуска-

ется с обеих сторон, что дает возможность руке более свободно пользоваться оружием, и я подумал, что непременно надо будет сообщить об этой подробности начальнику императорского арсенала.

Ножны у русских мечей обычно сделаны из кожи или прочной материи, набитой на деревянную основу, и богатые воины украшают их серебряными наконечниками с красивыми узорами, изображающими прихотливые растения или зверей. В одной из хижин я наблюдал, как оружейник чинил такой меч. Хижина его мало чем отличалась от других. Глиняный пол и такие же стены, жалкое оконце, очаг в углу, ручные жернова и еще кое-какие хозяйственные принадлежности и горшки. Но бросились в глаза многочисленные тигли, в которых плавится металл, и каменные формы для отливки различных женских украшений. Тут же лежал длинный меч в ножнах из зеленой персидской кожи, покрытой серебряными бляхами в виде звезд и розеток. Здесь хозяин работал без помощников. Но около окошка сидела его дочь и, скромно опустив глаза, вышивала убрus. Я посмотрел на узор. На нем были все те же петухи по обеим сторонам дерева и ладьи на море, изображенном волнистыми линиями. В своих сказках, или вот на таких узорах, или в песнях руссы часто упоминают о море, которое они неизменно называют синим. Может быть, девушкам, поющим песни, рассказывали о нем молодые купцы и путники, побывавшие в Константинополе и Херсонесе или в других греческих городах?

Я попробовал на ногте клинок и похвалил работу оружейника.

— Русские мечи хорошие, — сказал он ту же фразу, что и литейщик.

Всюду встречали меня приветливо, если не были заняты работой, и я уже неоднократно имел случай убедиться, что все это были сильные и трудолюбивые люди. Умеренный и даже холодный климат полнощных стран благоприятствует крепости мышц, в то время как обитатель юга более отдыхает, чем трудится. Здесь любят движение, пляски и верховую езду. Руссы выносливы и быстры в передвижении и отличаются большой телесной красотой. В бою они не знают, что такое страх, и бросаются в самую гущу врагов без всякой осторожности. Им также ничего не стоит подкрасться к вражескому лагерю и взять неприятелей живьем. С рабами они обращаются с большой мягкостью и по истечении некоторого времени отпускают на свободу. Теперь я убедился, что и у руссов есть богатые и бедные; одни из них живут во дворцах, а другие в жалких хижинах. У них нет замков, и только в самое последнее время, рассказывали мне, богатые люди завели такие приспособления, потому что опасаются за свои сокровища. Русские жены и девы славятся целомудрием, и это засвидетельствовано рассказами многих древних писателей.

Первые дни по приезде в Киев проходили в вынужденном безделье. Но я наблюдал, что в княжеском дворце царила необыкновенная суета. Он стоит на возвышенном месте и виден со всех сторон, и было заметно, что в ворота широкого двора непрестанно входили и выходили плотники, неся длинные доски на плечах, а рабы приносили лари, бочки и какие-то тюки. Может быть, Анна устраивала и украшала свое новое жилище, где ей суждено было закончить земные дни. Я частенько приходил на площадь перед дворцом, куда меня влекла непоборимая сила, и мне казалось иногда, что я вижу в окне мимолетный образ Порфирогениты, но, вероятно, я просто обманывал самого себя. К князю нас с Леонтием не вызывали, а Анна как будто забыла о нашем существовании, точно растаяла в русском воздухе. Однако от Добрыни нам хорошо было известно, что во дворце происходят важные совещания,



на которых присутствует рядом со своим супругом и Анна. Сам не знаю почему, но мне было томительно и невообразимо грустно, когда я представлял себе Анну в этом совете, и я был рад, когда однажды Добрыня сказал:

— Завтра собираюсь в Будятин. Там опытные ловчие. Охота веселит сердце мужа. В будятинских займищах водятся лисицы и лоси, а на воде бобры. Почему бы вам, друзья, не поехать со мною?

Леонтий со всякими благодарениями, которые он просил меня перевести руссу точно, от поездки отказался, а я с удовольствием отправился с Добрыней и в сопровождении его вооруженных слуг на заманчивую охоту. Как выяснилось во время этого разговора, селение, куда мы направлялись, принадлежало сестре Добрыни и матери Владимира по имени Малуша. В свое время она была пленницей или рабыней у княгини Ольги и чем-то покорила Святослава. Другие же утверждают, что она происходила из рода того самого древлянского князя Мала, город которого сожгла хитрая русская княгиня. Но когда я уезжал, Леонтий отозвал меня в сторону и зашептал:

— Смотри, будь осторожен! Ты едешь в дом, где господствуют темные силы. Мне доподлинно известно от варягов, что мать князя чародейка.

— Меня охранит крест.

— Крест — прибежище для всякого христианина. Но не забывай, что в этих темных лесах сильны демоны.

Наутро, когда еще только занималась за рекою заря, мы сели на коней и выехали шумной толпой из ворот бревенчатой городской башни, направляясь к цели нашего путешествия. Уже приближалась осень. Утро было солнечное, но прохладное, и над полями лежал ночной туман. По обеим сторонам дороги далеко простирались сжатые нивы, и я имел случай убедиться, что руссы природные земледельцы. Жнивье было покрыто скромными полевыми цветами — то голубыми колокольчиками, то розовой повиликой, то мелкой ромашкой, — и на нем паслись кое-где отары овец, вдруг передвигаясь с шорохом с одного места на другое.

Дорогой я спросил Добрыню:

— Почему вы не продаете пшеницу в Херсонес?

— Пшеницу трудно везти через пороги. У нас есть другие товары. Меха и воск. Ими выгоднее торговать.

Добрыня выражался короткими фразами, и по всему было видно, что это очень властный и вспыльчивый человек, пользовавшийся, говорят, некогда большим влиянием на Владимира, который не отличался храбростью, зато обладал дальновидным умом и теперь прибрал к рукам даже этого неукротимого человека.

Мы проехали мимо оврагов, поросших дубами, и спустились в долину, однообразие которой нарушали только дубовые рощи и могильные холмы, на вершине которых обычно стояли каменные статуи, сделанные очень грубо, но производящие на путника большое впечатление своими резкими чертами и выпученными глазами.

Вдали заголубели леса. Добрыня сказал мне, что там находятся княжеские ловы. Иногда на пути попадались бедные селения, пара волов, запряженных ярмом в неуклюжую повозку. Воздух отличается здесь необыкновенной прозрачностью.

Когда мы переезжали вброд речку Лебедь и вода запенилась и зашумела под конскими ногами, Добрыня показал рукой в сторону, и, взглянув туда, я различил в отдалении селение.

— Предславино. Там живет Рогнеда.

Так вот, оказывается, где жила эта женщина, о красоте которой говорили даже в Константинополе и, может быть, в Риме. Я хорошо знал ее печальную историю от руссов, с которыми совершил путешествие через пороги, и почему-то испытывал жалость к этой гордой красавице, на голову которой несчастья сыпались, как из рога изобилия.

Солнце было уже довольно высоко над дубами, когда мы приехали в Будятин, где Добрыня чувствовал себя господином. Это был укрепленный прочным бревенчатым частоколом замок с крепкими воротами в башенном строении, напоминавшем воинское укрепление. Мы проехали с грохотом по деревянному мосту и очутились на обширном дворе, в глубине которого виднелся дом с прихотливыми надстройками на крыше. Рядом стояла высокая башня, может быть для наблюдения за тем, что творится на дороге и в соседнем селе, где жили смерды, обрабатывавшие княжеские поля. Тут же были расположены в беспорядке житницы и коровники, медуши и бани и еще какие-то довольно жалкие строения, в которых, очевидно, обитала челядь. У ворот никаких сторожей не оказалось, но на дворе к нам подбежал управитель, одетый, как и все земледельцы, в домотканые штаны и длинную белую рубаху, застегнутую у ворота. Он был в обуви, какую носят поселяне, но в руке держал палку. Среди оглушительного лая псов, бросившихся к нам со всех сторон, управитель низким поклоном приветствовал господина, что меня удивило, так как тут не очень любят гнуть спину.

— И ты здравствуй,— сказал Добрыня, остановив коня.— Что скажешь?

Глаза управителя выражали тревогу.

— Несчастье случилось!

— Несчастье? Если бы меньше пил меда, то не было бы несчастья!

— Ночью захватили воров у скотницы.

— Сколько их было?

— Двое.

— Рассказывай, кто!

— Неизвестные. Одного убили, а второй скрылся.

Я знал, что по здешним законам в княжеском владении вора можно безнаказанно убить на месте преступления.

— А еще что?

— Убежал холоп.

— Какой холоп?

— Горазд.

— Разбойник! — погрозил плетью в воздухе Добрыня.

Я не понял, кого он называл разбойником — скрывшегося холопа или управителя.

В доме Малуши стояла какая-то особенная тишина. Но на дворе уже началась суета. Я видел, как поварахи бегали с ножами в руках за петухами, улепетывавшими от них во всю прыть своих голенастых птичьих ног. В ожидании обеда мы отправились с Добрыней осматривать хозяйство. Всюду пахло навозом, в загонах стояли коровы, свиньи и бараны, а в темных конюшнях хрустели овсом кони и в темноте косили на нас лиловыми глазами. Собаки, утихомирившись, спокойно лежали на лужайке.

Затем последовало посещение житниц, заваленных зерном, и пахучих медуш. Тут готовили и хранили в кадях мед, весьма хмельной напиток. Но Добрыня, изрядно хлебнув его из ковша, сказал, почмокав губами:

— Крепче варите!

И вытер рукавом рот.

На дворе босоногая девушка шла с кадушкой, полной серебристой рыбы. Увидев нас, она невинно-доверчиво улыbnулась. В ее скучной жизни это было событие, и она с любопытством оборачивалась на людей в красивых плащах. Блеснули ослепительные зубы. Девушка была очень хороша собой, круглолицая и с нежным румянцем на щеках.

Добрыня посмотрел вслед ее гибкой походке и спросил управителя:

— Кто она?

— Потвора, дочь конюха Пуща.

— Пусть она после обеда придет постелить мне,— сказал Добрыня.

Когда мы сидели в горнице и разговаривали и Добрыня рассказывал мне о Рогнеде, пришел управитель и доложил, что смерды просят милости.

— Кто такие? — заранее нахмурил брови Добрыня.

— Из Дубровы.

— Что им нужно?

— Хотят видеть тебя.

Добрыня недовольно крякнул, поднял с кресла свое дородное тело и направился на крыльцо, от нечего делать и я пошел за ним.

На дворе его дожидалась кучка поселян. Белые полотняные рубахи с косой застежкой на плече, такие же порты, на ногах обувь из лыка. Почти у всех косматые, нечесанные бороды, у других по неделе не бритые щеки. Некоторые были в колпаках, другие простоволосые.

— Ну, что скажете, труднички? — подбоченился Добрыня.

— Милости просим у тебя,— покорно, но без раболепства сказал старший из поселян.— Не можем уплатить долг. Подожди до будущего года. Сам знаешь, град побил ниву.

— Тогда отработать надо.

— Отработаем.

— Вот и хорошо.

— Жито тебе будем молотить.

— Это и мои холопы сделают. Землю пахать будете.

Поселяне опустили головы.

Но один из них, высокий и с копной непокорных рыжих волос, возразил:

— Не хочу на чужой земле за плугом ходить. Лучше в разбойники уйти.

— Смотри,— сверкнул глазами Добрыня,— у моих конюхов длинные плети... Говорить нам больше не о чем. Дорядитесь с управителем. А ты, рыжий, на глаза мне больше не попадайся!

Когда мы снова вернулись в покои, все такие же безлюдные и наполненные деревянной тишиной, Добрыня исчез, а я из любопытства поднялся по деревянной скрипучей лесенке, чтобы посмотреть, что находится наверху. Там оказался длинный переход, и одна дверь в нем была открыта. Я заглянул в нее. В горенке лежала на пуховом ложе длинноносая старуха, с космами белых волос и высохшая, как лист пергамена в трактате о стихосложении. Она лежала на куче красных и желтых подушек, положив на покрывало безжизненные руки, и неподвижно смотрела прямо перед собой в одну точку, что-то шепча по-старчески узким ртом. На стенах висели пучки лекарственных трав, запах которых чувствовался даже на пороге. Я догадался, что это была мать Владимира, о которой народная молва передавала, что она занимается волшебством и водится с кудесниками. Так кончала в забвении свои дни родительница гениального повелителя! Стараясь не производить шума, я снова спустился по лестнице.

У ворот, озираясь по сторонам, золотоволосый отрок рассказывал мне о Малуше:

— В молодости ходила по болотам и дубравам, собирала приворотные травы. Говорят, это она своими чарами помогла сыну взять Корсунь.

За обедом Добрыня, выпив большое количество меда, тоже разоткровенничался и стал рассказывать семейные истории.

— В те дни я был посадником в Новгороде. Святослав посадил Ярополка в Киеве, Олегу дал древлянскую землю. Владимиру ничего не хотел дать.

Я спросил, почему так плохо относился к своему сыну старый князь. Добрыня уклончиво ответил:

— Не любил его. Но я сказал новгородским мужам: «Просите себе князем Владимира». И они просили.

— И тогда он дал им сына в князья?

— Сказал: «Берите».

Я представлял себе русского льва, которому были чужды всякие ухищрения и эта необыкновенная ловкость в государственных делах, способно видеть за сто лет вперед, какой был наделен Владимир, и я понимал, что теперь наступили иные времена. Теперь мало было умения вести воинов на смерть. Пора легенд миновала. На берегах Борисфена и в далеком Новгороде родилось русское государство.

После обеда я прилег отдохнуть, а вечером увидел, что за частоколом, на лужайке, под стройными березами недалеко рощи, происходит какое-то народное празднество. Туда спешили из соседнего селения юноши и девушки. Сумрак уже падал на землю, и вдруг на лужайке заблестел огонь.

Добрыня в ответ на мои недоуменные вопросы сказал:

— Или ты не знаешь, что сегодня день жатвы?

Но я не знал, что это за праздник.

— Девушки собираются с парнями, всю ночь водят хороводы и веселятся.

Действительно, до нас доносились звонкие девичьи голоса. Девушки пели:

Радуйтесь, березы,  
Радуйтесь, белые,  
К вам девушки идут,  
Пироги несут...

Я выглянул в окно. На лужайке, взявшись за руки, девушки медленно водили хоровод вокруг костра, и на них смотрели молодые люди, точно выбирая себе возлюбленную. Добрыня был чем-то недоволен, хмур, прекратил разговор. А я решил посмотреть на эти игры, куда меня влекла сладостная печаль. Ее будили в моей душе девичьи голоса. Опять радостно звенело:

Радуйтесь, девушки,  
Радуйтесь, красивые...

Я знал, что эти люди чтут языческих богов, поклоняются Перуну и верят, что во время грозы он несется по небу в колеснице на огненных конях, считают, что гром и есть грохот ее колес. Руссы посвящают ему петухов, возвещающих приход солнца, и дубы, которые он разит своими молниями. Они украшают дубовые ветки вышитыми убрусами. Бог любви у них Ярило, и вот, оказывается, в честь этого бога солнца, любви и плодородия они и устраивали

сегодня игры и пляски. Напоющая землю дождем туча для них женское существо, питающее мир материнскими сосцами. Перун соединяется с нею молнией, поэтому как огонь страшна любовь. От подобных богов, по мнению не просвещенных христианским учением людей, зависят погода, урожай нив, счастье и благосостояние смертных. Добрыня объяснил мне, что сегодня вечером решаются втайне многие брачные союзы. Жатва была убрана, теперь настало время справлять свадьбы, как это в обычае делать после окончания полевых работ у всех земледельческих народов.

Но вдруг песни умолкли. Я даже явственно услышал женский плач. Сомнений быть не могло — песни смилились воплями. Я снова поспешил к воротам, у которых здесь вечно толпились бездельники и лентяи и могли рассказать мне, что происходит на лужайке.

Костер под березами догорал, оставленный девушками без всякого внимания. Они уже не водили хороводы, а стояли кучками и о чем-то оживленно переговаривались, припадая друг к дружке головой на плечо. Некоторые плакали, закрыв лицо рукавом вышитой рубашки. Все они были в пестрых сарафанах, оставлявших открытыми пышные полотняные рукава.

— Почему они плачут? — спросил я какого-то человека, стоявшего у ворот, может быть ночного сторожа, потому что в руках у него была крепкая палка.

— Потвора удавилась, — ответил он.

Я вспомнил милые девические глаза, которые сияли еще сегодня утром, а к вечеру погасли.

Незадолго до наступления сумерек прибыл гонец из Киева, поспешно привязал скакуна к железному кольцу, ввинченному в столетний дуб, росший посреди двора, и ловко взбежал на крыльцо. Маленькая, опущенная мехом шапочка у гонца была лихо сдвинута на одно ухо и только каким-то чудом держалась на голове. Он сообщил, что князь Владимир завтра чуть свет приезжает на охоту. Час спустя, выпив ковш пенистого хлебного напитка, посланец ускакал назад, в темноту наступающей ночи, и за его плечами плащ развевался, как крылья огромной птицы.

Князь приехал на заре, в сопровождении друзей и охотников. Среди них обращали на себя внимание два скандинавских ярла, с трудом говорившие по-русски. Князь объяснялся с ними на их языке. Охотники привели с собою шесть борзых собак, присланных в подарок князю мусульманским эмиром из далекого Багдада. Их было отправлено десять, но четыре околели в пути. У таких псов почти нет паха, зато необыкновенно мощная грудь и сердце приспособлено для неутомимого бега за зверем. Длинные зябкие тела упруго покачивались на длинных ногах, когда псари вели животных, и собачьи морды были вытянуты вперед, как бы в поисках добычи.

В пути как-то случилось, что князь позвал меня. Это было впервые, что я очутился с ним вместе не во время переговоров, а в дружеской беседе. Князь расспрашивал меня по обыкновению руссов о василевсах, и о том, предаются ли они с увлечением охоте, и каким образом охотятся в нашей стране. Я рассказал ему об охотничьей страсти Константина, который часто отправляется с прирученными барсами на диких ослов в окрестности Месемврии. Но прибавил к этому, что Василий, занятый ежечасно государственными делами, не может посвящать время охоте на зверей или птиц и считает такое времяпрепровождение пустым занятием.

— Твой царь неправ, — сказал Владимир. — Охота укрепляет мышцы человека. Ловы дают меха, чтобы наполнить скотницу.

Скотницей у руссов называется государственная сокровищница, в которой они хранят свои богатства, а богатство этой страны — меха.

Потом речь зашла о ярлах, ехавших позади. Помня повеление василевса, чтобы были приняты меры для приглашения возможно большего количества варягов на императорскую службу, я спросил Владимира, не будет ли он иметь что-либо против, если я переговорю в этом духе с ярлами. Владимир ответил в явном раздражении:

— Это твоё дело. Я в них не нуждаюсь. Сегодня они в Киеве, завтра в Царьграде, потом ещё где-нибудь. У меня теперь довольно своих воинов. А с варягами слишком много беспокойства. Мне нужны не разбойники, а люди, которые просветили бы нас книжным учением. Чему доброму могут научить нас эти бродяги? А между прочим, я не видел людей более жадных до золота и серебра, чем им подобные.

Я вспомнил некоторых этериархов и подумал, что он, пожалуй, не далек от истины.

Потом опять разговор перешел на Константинополь, и Владимир сказал, что хотел бы повидать такой замечательный город.

— Я видел Херсонес, и настанет день, когда наш город также будет украшен каменными церквями и зданиями. Но сразу нельзя всего сделать.

— Василевсы будут счастливы видеть тебя в своей столице.

— Если они согласны принять меня как равного. А дожидаться вместе с просителями у ворот царского дворца я не намерен. Мне рассказывала бабка о ваших евнухах...

Иоанн Геометр, бывший в те годы юным кандидатом, тоже говорил мне о посещении Ольгой Константинополя и о возмущении княгини, когда ее заставили прождать во дворце выхода василевса лишних полчаса.

Так мы добрались до большой поляны, на которой должна была произойти охота. Ловчие сказали нам, что олени скрывались в молодом дубняке. Не без пререканий удалось в конце концов расставить охотников по своим местам. Они были вооружены луками и стрелами. Псаря приготовились спустить собак. Когда был дан знак рогом, загонщики ответили трубными звуками и начали выгонять из роши зверей.

Не прошло и нескольких минут, как на поляну выскочило стадо оленей. Прекрасные животные остолбенели на мгновение, остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону, и потом рванулись, словно подхваченные ветром, и понеслись по поляне, через овраги и кустарник, ища спасения от страшной смерти.

Псы с лаем кинулись за зверями, расплываясь по земле. Всадники помчались вслед за ними, и, увлеченный общим волнением, поскакал и я, и ветер свистел у меня в ушах, бил упруго в лицо, развевал плащ. Охотники пускали в бегущих оленей стрелы, но они не настигали их.

Может быть, для того, чтобы спасти свою подругу, один из оленей, крупный самец с особенно ветвистыми рогами, вдруг метнулся в сторону и скрылся в кустах. Я видел, что Владимир повернул за ним, и так как я в это мгновение был ближе к нему, чем к другим, то тоже поскакал за старым оленем.

Его рога мелькнули перед нами в листве. Мне показалось, что он обернулся и посмотрел на своих преследователей прекрасными и точно обезумевшими от страха глазами. Можно было различить его черную влажную морду и трепетные ноздри. Но олень снова сделал огромный прыжок и помчался, гордо закидывая голову, увенчанную царственными рогами.

Так повторялось несколько раз. Владимир и я гнались за оленем, точно зачарованные. Не рассуждая, не отдавая себе отчета, что едва ли наши кони

смогут загнать до последнего вздоха это легкое, как зефир, животное, мы неслись по рытвинам и ямам, мимо деревьев, ветви которых хлестали нас по лицу, преодолевая вместе с конями все препятствия, возникавшие на пути, и я, летя за зверем, в каком-то восторге произносил вслух имя Анны.

Олень все так же грациозно и легко вел нас дальше и дальше, и казалось чудесным, что эти тонкие ноги, вдруг выброшенные в молниеносном движении в воздух, могут выдержать такое страшное напряжение.

Я мчался за ним и шептал:

— Анна! Анна!

Наши кони стали уставать и уже не с такой легкостью перескакивали через поваленные бурей деревья или колючий кустарник. И вот мы с досадой увидели, что упускаем добычу.

Олень ушел. Когда мы поняли, что более нет смысла мучить коней, мы остановились. С железных удил на землю падала хлопьями желтоватая пена, и конские бока стали темными от пота. Владимир был крайне недоволен случившимся. Может быть, он надеялся похвастать перед Анной своей охотничьей удачей? Мы прислушались. Некоторое время был слышен отдаленный лай собак, потом все затихло. Вокруг стояла торжественная тишина.

Место было глухое. Среди пустынных и дикий полей, на которых увядала осенняя трава, кое-где высились вековые дубы. Еще дальше начинались рощи. На горизонте синел лес. Нигде не было видно ни жилья, ни стад, ни всадников. Но вдруг за дубами послышались звуки рога. Мы повернули коней и поехали в ту сторону.

Владимир, мрачный и молчаливый, ехал впереди на своем любимом вороном коне, шедшем легко, но уже не изгибавшем гордо лебедину шею. У князя висел на бедре меч — на тот случай, если пришлось бы прикончить затравленного зверя. Может быть, были у него и какие-нибудь другие причины не расставаться с оружием. Я заметил, что рукоятка меча украшена яхонтом величиной с голубиное яйцо. При мне тоже был меч, так как я толком не знал, с какими зверями нам придется иметь дело на охоте. Ехать двум всадникам рядом по узкой тропинке, шедшей среди дубов, было неудобно, хотя по своему положению я не мог бы этого сделать и на широкой дороге.

Солнце уже склонялось к закату. Увлеченный преследованием зверя, мы забыли обо всем на свете, а теперь мне смертельно захотелось пить. Необходимо было найти ручей, но никаких признаков воды поблизости не было. Оставалось скорее соединиться с охотниками, так как отроки привезли на охоту кувшины с медом и водой. Звуки рогов раздавались все в том же направлении. Но для того, чтобы поспешить на эти призывы, необходимо было пересечь дубовую рощу, возникшую на нашем пути, и мы углубились в мир бесшумных и как бы застывших в созерцании высоких и ветвистых деревьев. Где-то печально стонала лесная горлянка. Воздух был здесь упоительный. Пахло грибной сыростью. Иногда до нас долетало благоухание того цветка, который руссы называют ночной красавицей. От этого запаха слегка кружилась голова. Порой солнце радужно поблескивало на лесной паутинке. Иногда я видел под дубом грибы, из которых в дни моего детства покойная мать варила такую вкусную похлебку.

Мы ехали некоторое время молча, по-прежнему князь впереди, а я за ним, и прислушивались, не журчит ли где лесной ручеек. Справедливость требует заметить, что воду искал главным образом я, так как эти люди, от князя до последнего воина, отличаются необыкновенной выносливостью и легко переносят всякого рода лишения. Губы у князя пересохли, иногда он невольно облизывал их языком, но когда я жаловался на огненную жажду, отвечал мне равнодушным взглядом.

В голове у меня мешались самые разнообразные мысли, в которых на мгновение возникал образ Анны и вновь исчезал. Я думал то о ее будущей судьбе, то о предстоящем возвращении к василевсу и еще о многом другом. Однако мне в голову не приходило, что Владимир был в этот час в моей власти, если бы я захотел убить его. Даже было странно, что этот такой осторожный и предусмотрительный человек решился пуститься в путь в обществе чужестранца, без преданных телохранителей. Впрочем, все произошло случайно, и, кроме того, откуда он мог знать, что в моем сердце его имя тесно переплелось с именем Анны?

Дальнейшее совершилось в течение каких-то мгновений. Вдруг огромный зверь молниеносно упал с придорожного дуба на круп княжеского коня и когтистой лапой вцепился в плащ Владимира. Конь поднялся на дыбы, и я увидел повернутое назад лицо князя, искаженное от страха. Он изо всех сил натянул поводья и удержался на коне, сжимая его бока ногами, но не успел обнажить меч, висевший под плащом, и зверь уже готов был вцепиться ему в шею. Но в это же мгновение я выхватил меч и поразил зверя, не помедлив ни одной секунды и без всякого размышления. К счастью, я был близко от княжеского коня, и мне не надо было тратить время на то, чтобы приблизиться к нему.

Я едва не поранил князя. Зверь, рыжий, косматый, со странными кисточками волос на ушах и с чудовищными усами, получил удар мечом и бессильно повис, судорожно цепляясь одной лапой за плащ, а другой за расшитый золотыми лозами бархатный чепрак, и потом рухнул на землю. Плащ был разорван, и такая же участь постигла и драгоценный чепрак, но князь остался невредимым, и его конь уже снова стоял на четырех ногах, дрожа всем своим прекрасным телом и кося глаз на поверженного хищника.

Как я сказал, на все понадобилось только несколько мгновений. И когда они пролетели, как стрела, мы посмотрели, тяжело дыша, друг на друга и после этого на зверя.

— Рысь! — сказал князь.

От волнения рот у него был судорожно перекошен. Но, видимо, князь не считал нужным благодарить меня за спасение, уже почитая себя отмеченным перстом божьим. Разве не долг каждого смертного охранять помазанников? Однако он слез с коня, улыбнулся мне и подошел к лежащему зверю. Его конь, которого он держал на поводу, перебирал в крайнем возбуждении стройными ногами, точно собирался совершить стремительный прыжок в пространство. Мой серый в яблоках только насторожил уши, — очевидно, это был боевой конь, выдавший виды.

— Рысь! — повторил князь, внимательно рассматривая тушу зверя, показывавшего в бесстыдной позе свое белое пушистое брюхо.

Зверь был почти таким же огромным, как барс. Можно было считать от головы до хвоста по меньшей мере шесть локтей. Вся морда его была в крови, и от этого особенно хищными казались клыкастые зубы. Не имея желаний замарать свою нарядную одежду и почитая неприличным нагрузить добычу на коня гостя, Владимир произнес, снова улыбнувшись мне:

— Пришлем за ним отроков. Поедем, патрикий! Ты спас мне жизнь! Смотри, что случилось с моим корзном.

Я был тоже взволнован происшедшим, и мое сердце все еще стучало, как молот. Ведь не каждый день происходят подобные вещи. Но, может быть, не следовало бы в наше время, когда человеческая жизнь стала такой дешевой, преувеличивать значение моего подвига.

Мы снова поехали по тропинке. Я уже вложил меч в ножны, и теперь другие мысли приходили мне в голову. А что, думал я, если бы помедлить



одну лишь секунду? Зверь вцепился бы в горло князя и прокусил его, и конь понес бы всадника, разбивая тело о дубы, и все было бы кончено, и никогда рука Владимира не коснулась бы Анны... Спасло князя то обстоятельство, что зверь не рассчитал прыжка и запутался когтями в прочной материи. Только это дало мне возможность в мгновение ока обнажить меч, замахнуться и нанести удар. Поистине я мог считать себя спасителем князя. Но мои чувства и мое отношение к нему и Анне были такими сложными, так же как и моя ответственность перед сестрой василевса, что я не мог еще сообразить, правильно ли я поступил. Что скажет благочестивый, когда ему станет известно, что я спас от смерти Владимира, разорителя ромейской славы? Но разве он не был теперь супругом Анны? Во всяком случае, я знал, что иначе поступить не мог. Как бы в ответ на мои мысли князь обернулся еще раз ко мне, лицо его озарилось очаровательной улыбкой, которая одинаково пленяла женщин и суровых мужей, и сказал:

— А неплохо ты ударил его, друг! Я у тебя в долгу.

Я поспешил изобразить на своем лице полное достоинства спокойствие, означавшее, что никакой благодарности в данном случае не требуется. Мы были вместе на охоте, одинаково подвергались опасности, и я тоже мог очутиться в его положении, и я был уверен, что князь тоже спас бы меня от разъяренного медведя или лютого барса. Или смотрел бы, как я погибаю, и не пришел мне на помощь? Этот правитель был полон для меня загадок. Даже для малонаблюдательного человека было видно, что варварские навыки, жестокость и необузданное женолюбие перемешались в нем со стремлением к великому. А как ясно он смотрел в грядущее! Помню, как во время пути он сказал:

— С Царьградом, с Римом, с ляхами, моравами или немцами мы договоримся. А пока нам надо оградить наши нивы от кочевников. Вот задача на многие годы!

И Добрыня, ехавший с другой стороны князя, подтвердил:

— Ты сказал как мудрый правитель. Наши нивы обширны. Пусть спокойно трудится на них смерд и несет пшеницу в наши житницы. За это мы охраняем его от врагов.

Я вспоминаю, с каким вниманием рассматривал князь в Херсонесе здания и каменные храмы, статуи и мозаику, точно примеривал все это для своей столицы. У него был врожденный вкус к прекрасным вещам. Глядя на квадригу императора Феодосия, он покачал головой.

— Летят, как живые. И это запечатлела рука художника на вечные времена!

Остаток пути мы ехали молча. Звуки рогов приближались. Видимо, охотники были обеспокоены отсутствием князя и разыскивали нас в дубовой роще. Когда мы выехали из дубов на поляну, то перед нами вдруг открылся охотничий лагерь. Там пылали костры, на которых жарили туши убитых зверей, лежали уложенные в ряд олени, вепри, дикие косули, зайцы и гуси. Кони были привязаны к деревьям или вбитым в землю кольям.

Люди вскочили с лужайки, где отдыхали от охотничьих трудов, и смотрели на нас с тревогой и недоумением, видя разорванный плащ на князе. Добрыня, сидевший на коне, помчался нам навстречу.

— Княже, — спросил он, осаживая коня, — что с тобою приключилось? Или ты с коня упал? Кто тебе разорвал корзно?

В роще, видимо, еще продолжали нас разыскивать, потому что там не умолкали глухие звуки рогов.

— Пить! — произнес князь одно только слово.

Добрыня крикнул отрокам, и двое из них побежали за водой, хранившей-

ся в глиняном кувшине в прохладном месте, под развесистой рябиной, уже покрытой красными ягодами.

Утолив жажду, князь протянул сосуд мне. Потом сказал, вытирая светлые усы рукой:

— Если бы не патрикий, мне было бы плохо.

— И чепрак разорван! — изумлялся Добрыня.

— Рьсь бросилась на меня с дуба. Но патрикий поразил ее мечом.

Отроки смотрели на нас широко раскрытыми глазами.

Обращаясь ко мне, Владимир сказал:

— Когда мы возвратимся в город — лучший мех тебе, и в серебряных ножнах меч, и конь, и золотая чаша. Всегда пей из нее за мое здоровье.

Я, как приличествует в подобных случаях и ни на минуту не забывая, что передо мною супруг Анны, данный ей волей небес, поклонился придворным поклоном, касаясь рукою земли, и благодарил в немногих словах за щедрую награду.

Турьи рога уже были полны пенного меда, который не казался мне теперь варварским напитком, так как веселит человеческое сердце. Нет ничего приятнее, как вкусить зажаренного на вертеле под открытым небом мяса, когда усталость и свежий воздух служат лучшей приправой для пищи. Впрочем, ловчие оказались неплохими кухарями, и мясо было сочным и чрезвычайно нежным на вкус. Мы сидели на разостланном ковре и насыщались. Ни на минуту не умолкали разговоры и рассказы о сраженных оленях. Князь был весел, любезен и говорил мне лестные слова, а у меня, как обычно это бывает от хмеля у людей, которые редко держат в руках чашу с вином, родилась опять неисторжимая, но приятная грусть. Добрыня обнажил мой меч, примерил его в руке и похвалил дамасский черный клинок, хотя сказал, что для него он слишком легок. Сквозь винные пары, которые очень быстро овладели усталым телом, я видел перед собой Анну, и мне казалось, что она благодарила меня за спасение супруга. Разве могло быть иначе? Не раб ли я ее до конца своих дней?

Поев, мы отправились в обратный путь, и позади отроки везли добычу охоты — вепрей и оленей. На свежесрубленном шесте показывалась туша рыси, привязанная за передние и задние лапы. Клыкастая морда трагически повисла, и капельки крови падали иногда из разверстой пасти на дорогу. Я попросил князя, чтобы он позволил мне увезти эту шкуру в Константинополь.

Вечером, едва я вернулся домой и хотел прилечь, чтобы отдохнуть после всего, что пережил в этот день, и еще раз перебрать в памяти все подробности сцены под дубами, как явился золотоволосый княжеский отрок и, сверкая белыми зубами, объявил, что князь зовет греков на пир. Леонтий закричал и стал жаловаться на недуги, но все-таки решил облачиться и надел поверх домашнего хитона магистерский серебряный скарамангий и красный плащ. Я тоже набросил на плечи присвоенную моему званию друнгария царских кораблей черную хламиду с вышитым на ней золотым орлом, красотой которой я некогда так гордился, а с летами понял, что блистающая украшениями одежда часто скрывает под собою печаль, душевную неудовлетворенность и сомнения. Так было теперь и со мной. Впрочем, нам ничего не оставалось, как поспешить на пир, потому что всем был известен вспыльчивый и не терпящий возражений характер русского князя.

В тот вечер я впервые побывал в княжеском доме. Конечно, по сравнению с Большим константинопольским дворцом он представлял собою

довольно скромное здание, но возвышался среди хижин, как некий храм. В первом зале, в котором мы очутились, довольно обширном и украшенном фресками, изображавшими всадников и охотников на туров и медведей, находились княжеские мечники, несшие охранную службу. Особого внимания они на нас не обратили, так как были заняты рассматриванием какого-то меча, но один из них охотно показал, как пройти в пиршественную залу. Она была значительно больше первой, потолок ее поддерживался двумя рядами деревянных столбов, а все стены покрыты прихотливой резьбой по дереву. Освещение составляли многочисленные свечи в железных паникадилах под потолком и факелы в углах, стоявшие в светцах.

Один стол находился на некотором возвышении, очевидно предназначенный для князя и его супруги, а три другие — внизу. За ними уже сидели люди, а другие гости все время входили в залу, и среди этой шумной толпы суетились отроки, заканчивая приготовления к пиру. На полу была набросана пшеничная солома, тихо шуршавшая под ногами, что придавало зале сельский вид. Так было и на пиру в Херсонесе, потому что таков обычай в северных странах.

Никого за княжеским столом еще не было. Я спрашивал себя с волнением, увижу ли сегодня Анну.

Все было просто вокруг: украшенные резьбой деревянные стены, накрытые грубыми скатертями столы и длинные скамьи. Отроки ходили между ними и со звоном ставили одну за другой тяжелые серебряные чаши. Но, очевидно, и в этом уже было новшество, потому что какой-то седоусый воин ворчал:

— Раньше было просто. Пировали как братья. Теперь княжеский стол в стороне. Посуда всякая! Приходилось мне бывать в Царьграде. Это все оттуда идет. Где князь?

Приглашенные рассаживались на скамьях, стараясь сесть поближе к княжескому столу.

— Подожди, скоро придет с царицей, — успокоил его один из них.

Анну здесь все называли царицей, а к новому титулу своего князя еще не привыкли. Но, получив звание кесаря во время бракосочетания, Владимир стал также называть себя царем, что было равно императорскому титулу и являлось явным нарушением самых основных положений Священного дворца. Но что мы могли сделать с этими варварами, которые не признавали никаких традиций и забавлялись титулами и инсигниями, как детскими игрушками?

Я подумал, что, может быть, и Анна старалась научить мужа ромейскому этикету и придать жизни в киевском дворце некоторое благолепие. Кажется, я не ошибался.

Некоторых из руссов, сидевших за столами, я знал еще по Херсонесу или по совместному путешествию через пороги. Но вокруг меня было много и незнакомых лиц, княжеских мужей и старцев, не принимавших участия в походе на Херсонес. Тут собрались военачальники, мечники, вирники, княжеские дружинники. Одному было доверено хранение княжеской печати, другой ведал княжескими конями, третий собирал мыто на торжище. Рядом со мной сидел человек, в котором я не мог не признать вкусившего от просвещения. В ожидании начала пира он первый обратился ко мне с каким-то вопросом, и я узнал, что это врач Владимира, по имени Иванец Смер, изучавший медицину у арабов и армян, родом половчанин. Мне везло на таких людей. Еще раз я встретил на своем жизненном пути человека, который много путешествовал, бывал в Иерусалиме и Антиохии, жил одно время в Александрии. Попал он туда чуть ли не по поручению

князя Владимира, который отличается необыкновенным любопытством и посылает всюду, в Рим и в Багдад, своих людей, чтобы узнать из их рассказов, как живут там люди. За столом князя вообще сидело немало иноземцев, торговых людей всякого рода и бродяг. Так оно и должно было быть в этом городе, где перекрещиваются торговые пути и куда со всех сторон стекаются путешественники и наемники. Среди них я узнал ярла Сигурда, сына Эрика, и его племянника Олафа, с которыми встретился на охоте. Были тут и другие скандинавы, искатели золота и удачи в стране руссов.

В зале было шумно от разговоров и смеха. Потрескивали в паникадилах восковые свечи. Присутствующие выражали нетерпение. Наконец явился Добрыня, и его засыпали вопросами. Где князь и царица? Почему не начинают пир? Почему не подают вино? Люди кричали, что у них уже пересохло в горле. Добрыня заявил, что князь сейчас появится. Действительно, вскоре вышел к гостям и Владимир. Он надел на этот раз лазоревый скарамангий и пурпурную, вышитую жемчугом хламиду. Однако диадемы на его голове не было. За ним шествовала с большим достоинством Анна, в серебряном парчовом наряде, опоясанная лором, но тоже без диадемы, простоволосая, со сложной прической, украшенной жемчужными нитями. Потом мы увидели Анастаса в епископском домашнем облачении, с множеством маленьких пуговиц на черном длинном одеянии, и за ним пять или шесть приближенных женщин Анны, из которых одна носила звание магистриссы, а две были лоратными патрикианками. С ними сел за стол Добрыня.

Мы с Леонтием встали, когда появились Владимир и Анна, и остальные невольно последовали нашему примеру, хотя такое здесь, видимо, было не в обычае. Но это выражение почтения явно понравилось Анне, потому что она окинула пиршественную залу благосклонным взглядом, и мне показалось, что на мгновение ее глаза остановились на мне. Добрыня велел, чтобы отроки начали разносить яства и питья.

Как всегда в таких случаях у руссов, столы были завалены мясом домашних и диких животных. На вчерашней охоте Добрыня затравил двух вепрей, отроки — нескольких зайцев, а другие убили стрелами множество уток и гусей. Пища была обильно приправлена перцем и какими-то ароматическими травами, растущими на здешних полях. За столом много пили из серебряных чаш и окованных серебром турьих рогов, которые невозможно поставить на стол и поэтому приходилось выпивать до конца, если человек не хотел обидеть угощающего. Надо было проявлять очень много ловкости и лукавства, чтобы уклоняться от этих потоков хмеля. Леонтий, человек скупой, даже скаредный, не прочь был на чужих пирах съесть и выпить лишнее и потом хворал. Я старался незаметно выливать вино, чтобы не опьянеть и не потерять ясность мысли и твердость воли, так как состязаться с руссами в этом предприятии мне было не под силу.

Украдкой я наблюдал за Анной. Порфиригенита держала себя за столом с большим достоинством, но я заметил, что порой она улыбалась застенчиво Владимиру и даже пыталась иногда коснуться его руки. Что же! Очевидно, судьба ей ниспослала счастье! Пусть радуется и долго живет на земле!

Меня удивило, что на пиру было и несколько русских женщин. Некоторые пришли во дворец со своими женами, бряцающими ожерельями из золотых и серебряных монет, а молодые воины кое-где сидели парами с девушками из знатных семейств и, что меня особенно поразило, пили с ними из одной чаши. Люди ели в большом количестве мясо, отроки едва

Меня удивило что на пиру былои несколько  
русских женщин. Некоторые пришли ко двору



Пирующие чаше. Поднимали рог, с привет  
ственными обращениями к князю и Анне...

успевали наливать мед. Повсюду слышались веселые разговоры, шутки и смех. Пирующие часто поднимали роги с приветствиями, обращенными к князю и Анне, пили за их здоровье.

Леонтий, уже совсем упившийся вином, шептал мне:

— Разве это христианский пир? Многие из сидящих с нами христиане, но что-то не слышно здесь благочестивых разговоров. Сам пресвитер Анастас пьет вино, кревоугодничает и смеется вместе со всеми.

— А ты?

— Что я? Я — великий грешник.

— Он тоже грешник.

— На Анастасе священнический сан.

Но странно — руссы, принимавшие святое крещение, действительно оставались такими же, как и раньше. Они по-прежнему любили мед, веселье, музыку. Леонтий меда не пил, но когда отроки разносили вино, неизменно подставлял чашу. Он не мог успокоиться:

— Или взгляни — вот юноша и девушка пьют из одной чаши. Разве это благопристойно? Разве не требует самое обыкновенное благоприличие, чтобы девица не посещала такие пиры?

Впрочем, женщины, которых я видел вокруг себя, не походили на тех девушек, что водили хороводы в Будятине и стыдливо закрывали лицо рукавом вышитой рубашки, когда я приближался к ним, чтобы посмотреть на их уборы. В этом обществе жены знатных воинов чувствовали себя полноправными с мужчинами, пили вино и принимали участие в шутках и разговорах. Их мужья, дружинники, как здесь называют приближенных воинов князя, отличаются большой надменностью и за малейшее оскорбление готовы ударить соседа чашей, рогом, даже мечом. Удар меча плащом считается здесь самым страшным оскорблением, и за него провинившийся платит по приговору князя двенадцать гривен. Это — огромное количество серебра, из которого можно сделать паникадило.

Мой сосед, врач, учился в далекой Бухаре, а также в Ани — знаменитом армянском городе, который он мне очень хвалил.

— Город стоит на реке Арпач, недалеко от горы Арарат. Там, как тебе известно, остановился Ноев ковчег после потопа. Армянского царя зовут Ашот. Он построил в Ани великолепный дворец, много общественных зданий и церквей и обнес город каменной стеною...

Но я слушал рассеянно. Мои взоры неизменно обращались к Анне. Она милостиво разговаривала с приближенными женщинами, ела и пила и, по-видимому, чувствовала себя на новом месте превосходно. Какое ей было дело, что у ее ног лежал человек, исполненный безнадежного поклонения! Да она, вероятно, и забыла уже о нашем разговоре на корабле, когда я в своем безумии предложил ей бежать к иверам, или почла меня за безумца. Как я уже сказал, я сам содрогался всегда при одном воспоминании о том утре.

Врач показал мне на одного воина, которого звали Яном, и рассказал его историю:

— Руссы много воюют с печенегами. Они строят города по реке Трубежу и реке Суле, чтобы защититься от неожиданных нападений кочевников. У богатых руссов огромные имения, и они хотя спокойно собирать урожай. Однажды появились печенеги...

Мне и в голову не приходило, что Добрыня, этот жестокий и надменный человек, великолепно играет на гусях, как руссы называют арфу. Ее положили перед ним на столе, и он вдруг стал перебирать струны, и присутствующие просили его петь, но Добрыня медлил выполнить их

желание и только перебирал струны, и под эту музыку врач рассказывал мне:

— Однажды пришли печенеги. Печенежский великан выехал перед строем и стал вызывать на единоборство какого-нибудь русского великана. Но такого не оказалось. Печенег уехал, дав сроку до завтра. Владимир был огорчен. Вечером явился к нему один старый воин и сказал: «Я вышел в поле с четырьмя сыновьями, а самый юный остался дома. Он у меня кожемяка. С детских лет никто не может одолеть его. Как-то в сердцах на меня сын разорвал руками толстую воловью кожу. Повели ему бороться с печенегом».

Добрыня по-прежнему перебирал струны, и они звенели, то уподобляясь ручейку, текущему по камушкам, то звучали томительно.

— Испытали юношу, — рассказывал Иванец Смер. — Дикого быка, обезумевшего от раскаленного железа, Ян схватил за бок, когда животное бежало мимо, и вырвал у него кусок мяса с кожей!

Я с изумлением посмотрел на скромного на вид воина, который в эту минуту спокойно пил из чаши вино.

— На другое утро печенег рассмеялся, увидев невысокого ростом русса. Ты сам видишь — ничего примечательного в его наружности нет. Но это были новые Давид и Голиаф.

— И что же?

— Русс сдвинул печенег и мертвым ударил его о землю.

Видно было, как под рубахой у Яна переливались железные мышцы.

— Ну как там у вас, на Трубеже? — крикнул ему белобородый старик, раскрасневшийся от вина.

— Стоит тишина, — ответил Ян.

— А помнишь, как мы рубились с печенегами под Белгородом?

— Помню, — ответил Ян. — Славное было время.

— Руссы не только строят города, — пояснил мне врач, — но и выходят далеко в степь встречать кочевников. В степях важное значение имеет быстрота передвижения. Поэтому руссы создали легкую конницу, вооруженную саблями. Если они настигают печенегов, происходит сеча, и тогда горько плачут по убитым печенежские и русские жены.

— А помнишь, Ян, как мы печенегов в Белгороде перехитрили?

— Помню, — спокойно ответил кожемяка.

Видно было, что это был весьма известный среди воинов человек.

— А как руссы перехитрили печенегов в Белгороде? — спросил я всезнающего врача.

— Печенеги неожиданно подошли к Белгороду и осадили город, решив взять его измором. Горожане погибали от голода. Тогда один старый белгородец сказал: «Наскребите немного муки в закромах и поищите хоть малость меда». Жители сделали, как он требовал, и вырыли по его указанию два колодца. В один они поставили кадь с тестом, в другой — с медом. Печенеги явились вести переговоры о сдаче. Но руссы показали им колодцы и даже дали меду попробовать. Печенеги попробовали и рассказали все своему князю. Ночью кочевники снялись и ушли в степи, потеряв надежду взять город. Таков сказ про белгородский кисель...

Седобородый воин — мне удалось рассмотреть, что одно ухо у него было отрублено, должно быть печенежской саблей, — рассмеялся, внимая рассказчику.

— Всего бывало. Три лета тому назад вышли мы с малой дружиной против печенегов. Едва успели уйти. Мы с князем под мостом укрылись. По

бревнам грохот от конской погони, а мы сидим и ждем своего конца. Но настала ночь и нас своим крылом покрыла. Так мы и спаслись.

Мы сидели с Леонтием на почетных местах, предназначенных для чужестранных гостей, недалеко от княжеского стола, и я мог рассмотреть в прическе Анны каждую жемчужину. Тут же были посажены скандинавские ярлы, купцы из Моравии и немецкого города Регенсбурга и арабские купцы — красивые смуглые люди с черными бородами, благоухающими розовым маслом, и с голубой тенью под жгучими глазами. Они приезжают сюда за мехами из Багдада и даже Александрии. Один из них, по имени Мохамед, отлично говорил на языке руссов. Хотя вера запрещает сарацинам употребление вина, но я слышал, как он сказал, поднимая чашу и лукаво поблескивая глазами:

— Пророк запретил пить сок от лозы, но он ничего не упомянул о меде...

Мохамед вообще был здесь душою общества, рассказывал руссам всякие восточные истории. Я как сейчас слышу его медоточивый голос:

— Это было в Дамаске. Или, может быть, в другом каком-нибудь городе. К судьбе пришел человек с жалобой на соседа. В чем он его обвинял? Он сказал: «Я купил у соседа участок земли, чтобы построить дом, и когда стал рыть почву, чтобы положить каменное основание, нашел в земле сокровище — тысячу золотых диргемов. Вели соседу, чтобы он взял этот клад, потому что я купил только землю и монеты по праву принадлежат ему». Но второй возражал: «Я продал ему землю, и, значит, все, что в ней содержится, — говорил он, — принадлежит ему». Судья стал думать, как разрешить эту тяжбу. «У тебя есть сын?» — спросил он жалобщика. «Есть». — «А у тебя, может быть, есть дочь?» — «Есть», — ответил продавший участок. «Пусть они поженятся, и отдайте им диргемы», — решил судья.

У нас подобный рассказ вызвал бы хохот своей нелепостью, но руссы отнеслись к поступку жалобщика и его соседа с одобрением и почли все это в порядке вещей.

Словоохотливый Мохамед, который ценил, очевидно, славу рассказчика в обществе, начал другую историю. Я понял, что это был неизвестный мне вариант «Александрии».

Руссы прекратили разговоры, шум утих, и я заметил, что сам князь стал прислушиваться к словам рассказчика. Только Анна была погружена в свои счастливые мысли, а ее патрикианки улыбались с видом красивых женщин, которые уверены, что рано или поздно настанет и их час.

— Друзья, я расскажу вам теперь о подвигах и приключениях Александра Македонянина и о всем, что он совершил на земле. Все это было записано египетскими мудрецами, которые исследовали начало всякого существа, живущего и прозябающего...

Я не раз читал эту книгу, полную всяких небывлиц, но неизменно привлекающую к себе любопытство читателей. Мохамед, красиво двигая пальцами, украшенными золотыми перстнями, рассказал, как Олимпиада родила необыкновенного сына. Он явился на свет среди грома и молний, рыча львиным голосом. Аристотель обучал его звездочетству и магии. Когда Александр вырос и стал царем, персидский владыка Дарий послал ему мешок мака, намекая тем на множество своих воинов. В ответ Александр отправил ему горсть перцу. Все это было мне хорошо известно, но и меня увлек звонкий голос рассказчика.

Мохамед с видимым удовольствием перечислял войско Александра:

— Двадцать пять тысяч копейщиков, восемьдесят тысяч лучников, двадцать тысяч меченосцев и сто железных колесниц.

Потом начались странствования. Африка, Италия, Египет и Дамаск.



Океан... Река Тигр, река Ганг... Но особенного напряжения достигло внимание слушателей, когда Александр перевалил через горы Тьмы и очутился в Индии.

— Александру пришлось воевать с народом, который сражается в битвах с помощью ученых слонов. На каждом слоне была башня, и в ней сидели пятьдесят стрелков, метавших страшные стрелы. Здесь Александр встретил мудрых людей. Они живут нагими и питаются только плодами. Александр спросил их: «Скажите мне, кто мудрее всех?» — «Звери». — «В чем господство человека?» — был второй его вопрос. «У вас — в войне, у нас — в мудрости и в мире», — отвечали ему эти люди.

Подпирая головы руками, руссы слушали рассказ с затаенным вниманием. Когда кто-то попросил у отрока вина, юноша долго не откликнулся на его призывы — так он был поглощен приключениями Александра.

— Потом Александр перевалил другие снежные горы и очутился в стране, где протекает река Евфрат. Однажды случилось, что царский птицелов поймал несколько птиц, задушил их и хотел омыть в реке, и когда он опустил их в воду, птицы вдруг захлопали крыльями, ожили и улетели, и тогда все поняли, что это райская река. Всякий, кто пьет эту воду, получает бессмертие. Александру предсказывал старец, питавшийся ладаном и елеем, что он умрет молодым, и царю очень хотелось напиться такой воды, но река исчезла. Целый день искал он ее напрасно в пустыне и с печалью возвратился в Македонию.

Я пил чашу за чашей, и сквозь туман опьянения до меня долетали слова Мохамеда о подвигах Александра:

— Тогда царь пришел в страну, где в лесах жили люди ростом в один локоть, обросшие волосами и лающие по-собачьи. Воины Александра стали пускать в них стрелы, но они хватали их руками на лету, и македонское оружие не причиняло им никакого вреда.

Я слушал и думал, что жизнь и деяния Александра могут служить для нас примером, что война — самое бесполезное и безумное занятие.

— Александр не только путешествовал по горам и равнинам, но и спускался в стеклянном сосуде на дно океана и там наблюдал различных рыб и чудовищ. Однажды он построил ковчег, запяг его голодными птицами и, показывая им кусок мяса, заставил лететь к облакам. Эти птицы называются грифонами. Они подняли Александра на такую высоту, что весь мир представился ему в виде шара, а океан стал подобен чаше...

Но тут пирующие почувствовали жажду, и снова зазвенели чаши.

Владимир тоже не выдержал и пересел к седоусым воинам, пил с ними вместе из одного рога. Видно, он рассказывал что-то обо мне, потому что взоры сидящих рядом с ним обратились в мою сторону, мощные руки подняли роги, полные пенистого меда, и старые воины пили за мое здоровье. Вдруг подошел ко мне отрок и сказал, что царица хочет говорить со мною. Не веря своим ушам, я посмотрел на Анну. Она улыбалась мне, печально склонив голову набок. Я встал и приблизился к ее столу, поклонившись, как это положено делать в Священном дворце. Анна сказала тихо:

— Спасибо тебе, патрикий Ираклий!

Это было все, и я возвратился на свое место.

Из событий тех дней запомнилась мне также поездка в село Предславино, где горестно жила с сыновьями княгиня Рогнеда.

По словам Добрыни, князь Владимир отправлялся туда для переговоров со своей бывшей супругой и велел передать мне о своем желании, чтобы и я при-

нял участие в этой поездке. Мне трудно было понять, зачем я понадобился в таком семейном деле, но потом я догадался, что мое присутствие требовалось как лишнее доказательство, что к старому нет возврата.

Предславино — красивое селение, расположенное на берегу поэтической речки Лебедь, названной так, может быть, потому, что она во многих местах изгибается, как лебединая шея. На возвышенном месте стоит княжеский двор, обнесенный дубовым частоколом, а посреди двора бревенчатый дом, окруженный многочисленными хозяйственными постройками. Во всем здесь была видна домовитость и чувствовался строгий порядок.

Когда мы через широко распахнутые ворота въехали во двор, я увидел, что какая-то высокая и белокурая женщина в белом платье на голове, повязанном как диадема, кормила домашнюю птицу, бросая курам и индейкам пригоршни проса. Даже издали было видно, что у женщины породистые руки с длинными пальцами, которые плохо вязались с этим прозаическим занятием, достойным какой-нибудь ключницы или рабыни. Заметив въезжавших всадников, женщина выпрямилась и с удивлением посмотрела на нас. Но когда мы подъехали к ней, она нахмурила брови и произнесла, сурово оглядывая Владимира:

— Не ждала гостей в такой час.

Я понял, что это и была Рогнеда.

— Есть нужда поговорить с тобой, — сказал Владимир.

Рогнеда сказала:

— Не жду услышать от тебя что-нибудь хорошее.

Она повернулась и пошла в дом, а мы отдали коней подбежавшим отрокам. По-видимому, у Рогнеды были свои собственные отроки, телохранители и воины, преданные ей до гроба.

Вслед за Владимиром мы с Добрыней тоже направились к дому. На Рогнеде был простой красный сарафан, а белый плат на голове обшит золотой тесьмой. Но даже в этом сельском наряде ее красота была примечательной. Она шла не оборачиваясь, и ее полный стан грациозно колыхался.

На крыльце дома стоял бледный мальчик, к моему удивлению — с книгой в руках: подобные вещи видеть в этой стране приходилось не часто. Он был в зеленом кафтоне, подпоясанном красным кушаком, и в зеленых сапожках. На голове у него поблескивала парчой опущенная белым мехом шапочка. Мальчик хмуро смотрел на пришедших, — может быть, мы мешали ему читать книгу.

— Будь здоров, сын, — сказал ему Владимир.

Мальчик ответил тихо, сняв шапочку:

— Будь здоров и ты.

Рогнеда быстро обернулась, чтобы посмотреть на эту сцену, и в глазах ее на мгновение мелькнула нежность. К мужу? К сыну?

Мальчик тоже пошел вслед за нами, и я заметил, что он был хром.

— А где твои братья, Ярослав? — спросил князь.

— В поле.

— Поехали на лов?

— У смердов оброк собирают.

— Как жито?

— Уродилось добро.

Даже с первого взгляда было видно, что этот двенадцатилетний, судя по росту, ребенок не по летам рассудителен и отличается большим умом. Ум светился в его холодных не по-детски глазах. На отца он смотрел как на чужого, но был с ним обходителен. Трудно было угадать, какие мысли скрывались за этим высоким лбом.

Мы уселись за столом на тяжких дубовых скамьях. Рогнеда положила белые руки на столешницу и вопросительно смотрела на князя. Потом, не обращая никакого внимания на присутствие Добрыни, как будто бы его и не было здесь, сказала мне:

— А тебя я никогда не видала. Видно, ты из греческой земли?

— Да, он грек, — пояснил Владимир, — зовут его Ираклий.

— Привез царскую сестру на Русь? — опять спросила она меня, зло блеснув глазами.

Они у нее были удивительной голубизны. Под их взглядом я чувствовал себя как бы связанным, но объяснил, что приехал в Киев вместе с другими сопровождающими царицу чинами.

Рогнеда вздохнула и сказала:

— Слышала.

Ярослав стоял у стены, не снимая опушенную мехом шапочку, и все так же грустно смотрел на нас. По-видимому, его внимание особенно привлекала моя одежда, покрой которой был для него незнакомым.

— Поведай, зачем приехал, — сказала Рогнеда, по-прежнему не обращая ни малейшего внимания на Добрыню, которого это мало смущало.

— Сначала накорми гостей.

Рогнеда молча встала и ушла из горницы. Вероятно, чтобы распорядиться о пище для нас. Владимир обратился к сыну:

— На ловы ездешь?

— Один раз ездил.

— Нога мешает?

— На коне я не хромой.

Неожиданно для себя я попал в семью, в дом, полный трагических воспоминаний. Меня даже удивляло, как осмелился войти сюда Добрыня и смотреть Рогнеде в глаза. Ни для кого не было тайной, что это по его наущению Владимир так по-варварски обошелся с Рогнедой и ее родителями, когда взял Полоцк. Было что-то затаенное в глазах Рогнеды, когда она смотрела на князя Владимира, и я не мог понять, светилась ли в них ненависть или пылала ревность и глубоко спрятанная любовь. Мне представлялось, что это скрещиваются два меча в смертельной схватке, потому что глаза Владимира тоже выражали в эти мгновения нечто сложное, может быть тоже затаенную страсть. Но и Рогнеда должна была переживать очень сильно все то, что случилось на Руси. Она не ждала пощады, да и сама никого не пожалела бы на своем пути.

Владимир продолжал разговор с сыном:

— Слышал, книжному чтению посвящаешь многие дни?

Ярослав опустил глаза и ничего не ответил.

— Какую книжицу читаешь?

— «Сказание о Вавилонском царстве».

— Не приходилось читать. Почитай нам немного. Пусть патрикий послушает тебя.

Ярослав в смущении смотрел в сторону.

— Что же ты не исполняешь волю отца? — резко обратился к мальчику Добрыня.

Ярослав вздрогнул, стал перебирать худенькими, детскими пальцами книгу, раскрыл ее и, откашлявшись, прочел высоким, неустановившимся голосом, нарочито отделяя одно слово от другого, первую страницу:

— «Бысть в царстве Вавилонском царь Аксеркс, славою и величеством превыше многих великих царей. Много лет в Вавилоне процарствовав, имел

он в сердце своем такое правило: аще у кого у вельможи увидит одяние красивое или у убогого рубище, то велел тех людей в лес изгонять, растущий в двенадцати поприщах от града...»

Владимир напряженно слушал, подпирая рукой голову. Он воспринимал чтение всем своим существом, потому что я видел в его глазах жадное внимание. Ярослав читал медленно, спотыкаясь на некоторых словах, но эти слова рождали здесь странные и не похожие на русскую жизнь образы.

— «Пусть там живут,— рек царь,— а если помрут, то кому печаль?» Но родственники изгнанников приносили в лес еду для своих близких и клали ее на пнях. И вот умер однажды царь Аксеркс. Услышав об этом, живущие в лесу захотели вернуться в град и в пути обрели под деревом младенца, коего питала своим млеком коза, а на дереве сидела вещая сова...»

— Какие бывают чудеса на земле! — не выдержал князь и доверчиво искал взглядом сочувствия у меня.

Но мальчик, сам уже увлеченный чтением, с нежным румянцем на щеках от волнения, продолжал:

— «И нарекли младенцу имя Находоносор, ибо его нашли, и был тот младенец ликом как лев...»

При этих словах Рогнеда вернулась в горницу, все такая же суровая и печальная, и, прервав чтение, Владимир сказал сыну:

— Оставь нас.

Мальчик растерянно опустил книгу, испытующе посмотрел на отца и на мать, задержался на мгновение, но не произнес ни слова и тихо вышел, осторожно притворив за собою дверь, окованную железными разводами.

Владимир помолчал некоторое время и сказал:

— Рогнеда, слышала, что случилось на Руси?

— Все слышали.

— Большие перемены произошли на Руси.

— Может быть, и так.

— Трудно тебе это понять, Рогнеда.

— Тогда зачем ты говоришь мне об этом?

— Говорю потому, что новый век настал на Руси и жизнь наша переменялась.

— А я так мыслю, что все так же девушки поют на Руси, пахарь возделывает ниву и солнце всходит и заходит над миром.

— Солнце всходит и заходит. Но жизнь стала другой, и теперь и нам с тобой надо жить по-иному.

— В чем же перемена?

Рогнеда стояла перед мужем, скрестив руки на высокой груди. Она была уже не молода и все же сумела каким-то чудом сохранить блеск в глазах, золотистость волос и нежность щек. Косы ее были закручены вокруг головы. Взгляд ее глаз разил теперь, как холодная сталь.

Владимир повторил, точно не находя других слов:

— Люди стали другими и будут жить по-иному. Христианин имеет одну жену...

Но он не успел закончить фразу. Рогнеда подошла к нему и оперлась руками о стол.

— Чего ты хочешь от меня? Зачем ты пришел мучить меня и этих людей привел? Я жила спокойно, а ты явился — и мой покой исчез. Хочешь хвалиться передо мною твоей царицей? Грека привел в свидетели? Чтобы он

засвидетельствовал твоей красавице, что я уже не жена тебе больше? Для этого привел его в мой дом?

Разгневанная женщина вызывающе смотрела на князя. Очевидно, она отгадала затаенные мысли Владимира, потому что он произнес растерянно:

— Язык твой как нож. Но я хочу нечто сказать тебе.

— Так говори.

— Ты истину сказала. Анна должна знать, что я оставил все старое. Патрикий скажет ей об этом. Царица поможет мне в моем трудном предприятии. Одно ее присутствие рядом со мной служит мне поддержкой. Я не хочу ссориться с ее братьями, греческими царями. У меня большие планы. Но твоя красота беспокоит Анну. Потому возьми себе в мужья кого-нибудь из моих знатных и богатых воинов, и тогда мы расстанемся с тобой как друзья.

Рогнеда надменно закинула голову.

— Я тоже была царицей и не хочу быть рабой.

— Твоя воля,— сказал со вздохом князь.

Отворилась дверь, и отроки стали вносить яства. Но обед был скучный, никто за едой не сказал ни слова, и мне самому кусок не лез в горло. После обеда Владимир прилег в соседней горнице. Воспользовавшись его сном, пришла Рогнеда и смотрела на спящего. Потом подняла нож, который она прятала за спиной, и хотела ударить князя в сердце, но он проснулся, так как сон у него был чуткий, и отвел руку обезумевшей женщины.

Мы с Добрыней находились в соседней горнице. Вдруг послышались глухие крики за бревенчатой стеной:

— Отроки! Где вы? Или вы покинули вашего князя?

Раздался топот ног на лестнице. Мы тоже поспешили на призывы Владимира, и в дверях, через головы отроков, я увидел, что Рогнеда стояла у ложа, заломив руки и глядя высоко над собою. Добрыня растолкал людей и подошел к князю.

Владимир сидел на постели, опираясь о нее руками. Он был в белой рубахе и бос. Расстегнутый ворот позволял видеть золотой крест с частицей мощей, который Анна надела на супруга еще в Херсонесе.

Он спросил хрипло Рогнеду, тяжело дыша:

— Зачем ты хотела убить меня?

— Горько мне стало. Отца моего ты убил и братьев. И теперь ты не любишь меня. И сыновей своих не любишь.

— Уйди,— произнес князь сквозь сжатые зубы,— и жди моего решения.

Без единого слова, закрыв лицо руками, Рогнеда удалилась, и мы расступились перед нею, как перед роком.

Решение князя было суровым.

— Скажите ей,— велел он отрокам,— чтобы она надела свое княжеское одеяние, в каком она была в день свадьбы. И пусть ожидает своей участи на богато убранной постели.

Мы не сомневались, что Владимир прикажет убить ее ударом меча или задушить. Но уже вернулся с лова Изяслав. Это был шестнадцатилетний, не по годам высокий юноша, с такими же огромными и красивыми глазами, как у матери, стройный, как пальма. Она сказала сыну:

— Когда войдет в горницу отец, ты обнажишь этот меч и скажешь: «Разве ты думаешь, что ты один здесь?» Этим мечом сражался еще твой дед.

Владимир вошел в покой. Рогнеда, послушная его приказу, лежала

в парчовом одеянии. Изяслав преградил путь отцу, и Владимир отступил. В это мгновение отворилась дверь, и появился Ярослав, бледный как смерть. Он припал к матери и сказал:

— Поистине, мать, ты царица царицам и госпожа господам!

Владимир вышел, хлопнув в сердцах дверью...

Конечно, я ничего не видел этого, но мне обо всем подробно рассказал во время обратного пути Добрыня, доверявший мне все свои тайны. Я же чувствовал себя тогда лишним в этой драме и вышел в сад, чтобы не дышать душным воздухом предславинского дома. Это был скорее огород, на котором среди гряд с капустой и огурцами росли отягощенные плодами яблоки. Я сорвал одно яблоко и откусил его. Плод оказался сочным и пахучим, а раскушенное нечаянно спелое зернышко — горьковатым, как миндаль.

Вдруг я заметил среди яблонь Ярослава. Мальчик сидел на камне и плакал, закрыв лицо руками. Я подошел и сказал с участием:

— Успокойся, дружок!

Ярослав отнял от лица руки и сквозь слезы выкрикнул:

— Где же правда? Почему он хотел убить ее?

Я подумал, что и Рогнеда, его мать, тоже покушалась на жизнь человека, но вслух произнес:

— Ты хорошо делаешь, что читаешь книги. Они облегчают человеческие горести. Я сам поступаю так.

Мы еще побеседовали с ним о житейских делах, как будто это был не двенадцатилетний юнец, а прошедший трудную школу человек. Успокоившись несколько, он стал спрашивать меня о Константинополе, о василевсах и о том, как живут люди в греческой земле. Потом, по моей просьбе, повел меня показывать свои книжные сокровища. Он объяснил мне, что книги остались от княгини Ольги. В его горнице в окованном железом ларе я увидел Псалтирь, «Хронику» Георгия Амартола, «Александрию» и другие сочинения. Мальчик перебирал их с большой любовью...

Когда мы потом, в сопровождении отроков, двинулись в обратный путь, я видел, что князь был в самом мрачном настроении. Привыкший во дворце трепетать пред гневом помазанников, я с опасением поглядывал на Владимира, ехавшего далеко впереди, но руссы бесечно говорили о самых обыденных вещах — об удачном улове рыбы в Лебеди, о покупке нового меча... Добрыня рассказал мне во всех подробностях о том, что случилось под крышей предславинского дома, и об участии Рогнеды.

— Как поступают в подобных случаях с женщинами в греческой земле? — спросил он.

Что я мог сказать ему? Я подтвердил, что отравительниц или неверных жен василевсы посылают в дальние монастыри на вечные времена. Но в Киеве еще не было монастырей.

Горькая слава Рогнеды не давала мне покоя. Несколько дней спустя я узнал, что Владимир хотел предать ее казни. Я спрашивал себя: неужели причиной была ревность Анны? Неужели Порфиригенита способна на такую женскую жестокость? Эти события освещали ее образ новым, страшным светом. В ее груди тоже билось неукротимое сердце, она была достойной сестрой Василия, никогда не щадившего врагов. Но от этих мыслей моя любовь к ней не уменьшилась. Наоборот, я понял, что живу в трагическом мире, в котором простому смертному неоткуда ждать помощи, и что так будет со мной до конца жизни.

В дело вмешались княжеские советники. Они просили князя:

— Пожалей Рогнеду хотя бы ради маленького Ярослава!

Об остальном я узнал значительно позднее, от руссов, явившихся в Константинополь с очередным посольством. Они рассказали мне, что Владимир сослал Рогнеду в далекую область и построил ей там городок, который в честь старшего сына назвал Изяславем. В нем красавица кончила свои дни. А красоту этой женщины воспевали на пирах русские гуслиры и скандинавские скальды. Ее сравнивали в песнях с лебедем, розовой зарей, цветущей яблоней. Я созерцал очарование Анны, читал рассуждения о прекрасном Платона и знаю, что такое красота. Когда Рогнеда метала молнии из своих голубых глаз на неверного супруга, она была подобна Елене Троянской. Недаром воспынала к ней ревностью Порфиrogenита.

Иногда, в одинокие, тихие вечера, я вспоминаю образы, возникавшие на моем жизненном пути, людей, которых я встретил или с которыми делил хлеб и дружбу или просто созерцал их жизнь и поступки. Многих из них уже нет на земле. Но все равно, живут ли они под солнцем или покинули жизнь, я общался с ними, и они сделали мое существование богатым впечатлениями. Конечно, в моем сердце уже не было места для новой любви. Но и Рогнеда нашла в нем пристанище не только благодаря своей красоте, но из-за горестной своей судьбы. Недаром русский народ прозвал ее Гориславной, что на языке руссов значит «дочь горя».

Скоро под этим языческим небом должны были совершиться великие события. Я проснулся и услышал, что город наполнен гулом взволнованных человеческих голосов, женским плачем и криками пререканий. Накануне мы узнали от Добрыни, что на княжеском дворе произошло столкновение между приверженцами русских богов и христианскими воинами Владимира. Пролилась человеческая кровь. Поэтому Анна якобы просила супруга, чтобы ради безопасности всех ромеев, в том числе Леонтия и меня, поместили на некоторое время во дворце, так как в раздражении язычники могли поднять руку на ненавистных им греков, и в глубине души мне была приятна такая заботливость Порфиrogenиты, хотя я отлично понимал, что это объяснялось только ее христианским чувством к ближнему. Но, как всегда снедаемый любопытством, я вышел на улицу, накинув на себя простой дорожный плащ, чтобы не привлекать к себе внимания.

Народу в городе было много. Всюду слышались разговоры. Я направился по улицам, если можно так назвать эти кривые переулки между построенными в беспорядке хижинами, на городскую площадь. До моего слуха донеслось:

— Нашего князя околдовали греки!

Другой человек грозил:

— Не отдадим на поругание светлых богов!

Светлоусый мужчина в высоком красном колпаке и в длинной белой рубахе простодушно заявлял:

— Нам все равно, Перун или Илья. Лишь бы хлеб был в житных ямах. Крестись! Почему же не сделать князю приятное!

Возможно, что этот добряк уже был христианином. Под горой стояла деревянная церковь, где собирались на молитву местные христиане и даже греческие торговцы и путешественники, хотя богослужение в ней совершалось на славянском языке русским пресвитером.

В одном месте происходило уличное прение о вере. Кучка жителей и среди них несколько женщин приступили к трем воинам, как можно было судить по их плащам, застегнутым на правом плече, и мечам на бедре. Один из них говорил горожанам:

— Ваши боги не боги, а дерево. Сегодня оно есть, а завтра сгниет. Ваши боги сделаны человеческими руками, секирой.

— А кто гремит в небесах? — с отчаянием крикнула женщина с младенцем на руках.

— Гром гремит по воле божьей.

— Нет, это Перун гремит! Испокон веков было так.

— Перун ваш — истукан. Истинный же бог — тот, которому поклоняются греки. Он создал небо и землю, солнце и звезды. Потом сотворил человека и дал ему бытие на земле.

Я удивлялся умению этого случайного проповедника. Откуда были такие богословские знания у простого воина? Но яростная почитательница Перуна выкрикнула:

— Ваши боги намалеваны краской!

Воин не нашелся что ответить на такое утверждение и растерянно переводил взгляд с одного лица на другое. Я подошел и по возможности мягче сказал:

— Добрые люди! Христианский бог не намалеван. Это только изображение, символ, напоминающий о телесной оболочке Христа и святых...

Я считал, что мой долг говорить так, и хотел обосновать свои слова, но женщины вдруг закричали:

— Уходи, уходи! И без тебя тут не знаем, как быть...

Они были возбуждены происходящим и готовы на всякую крайность. В глазах у женщин можно было прочитать смятение, даже ужас перед тем, что совершалось в те дни в Киеве. Кончался привычный уклад, рушились верования, с которыми были связаны счастливые детские воспоминания. Перун был жесток, но дарил им сильные радости любви, обильные жатвы и богатые уловы рыбы. И они спрашивали себя, эти неразумные люди, будет ли и впредь так продолжаться в русской жизни.

Но было ясно, что Владимир захотел воспринять славу нового Константина.

Леонтий ликовал:

— Поверь, патрикий, что это событие важнее для нас многих побед, одержанных на полях сражений.

От Добрыни мы знали, что вопрос о всенародном крещении обсуждался на княжеском совете. На одном из таких собраний присутствовали и мы с Леонтием. Старейшины, опустив головы, слушали доводы Анастаса, но по всему было видно, что им тоже трудно отрываться от старой жизни. Впрочем, некоторые из них уже были христианами, хотя хранили свою веру в тайне.

Один из старых воинов встал и сказал:

— Князь, трудное ты предлагаешь нам дело. Но вот и бабка твоя Ольга жила в греческой вере. А это была мудрая женщина. Видно, новая вера лучше старой...

Меня очень занимали русские боги. Я видел на острове Георгия священное дерево язычников. В листве огромного дуба гнездились птицы, наполняя воздух щебетом и хлопаньем крыльев. Идолопоклонники считали, что в этом шуме выражается воля божества, и старались услышать в нем веление небес. Как малые дети, они ищут присутствия божественных сил в таинственных рощах, в тишине вековых лесов или там, где струятся священные источники.

Владимир долгое время тоже придерживался этих верований. Желая объединить свое государство в единой вере, он воздвиг капище недалеко от



города и поставил в нем идолов. По приезде в Киев я побывал там, хотя и со страхом пришел на это проклятое место. Вокруг холма торчали на высоких шестах конские черепа, побелевшие от дождей и солнца. Огромный плоский камень изображал собой жертвенник; на нем жрецы приносили в жертву животных и петухов, и мне казалось, что я еще вижу на нем следы крови. Лучшие куски мяса они, само собою разумеется, брали себе, всякую требуху сжигали на камне, остатки выбрасывали у подножия холма, и ночью все это поедали бездомные псы, и тогда суеверные люди считали, что жертва была угодна богам.

На почетном месте стоял Перун — бог грома и молний, русский Зевс. На огромном деревянном туловище, грубо сделанном секирой, была укреплена серебряная голова, тоже отлитая неискусно, а усы бога были из золота. Мне показалось, что круглые глаза истукана смотрят на меня с дьявольской злобой. В кое-как вырезанных из дерева руках ложный громовержец сжимал пучок молний. Вместе со мной на холм пришли магистр Леонтий и Димитрий Ангел. Мы с любопытством смотрели на кумиров, но мысленно отплевывались с омерзением, так как на этом месте, по словам некоторых, еще недавно приносились человеческие жертвы.

К великому своему удивлению, мы увидели среди идолов и древнюю статую прекрасного Аполлона. Сомнений быть не могло, перед нами был бог Эллады, и отлитая из бронзы, позеленевшая от гиперборейских дождей статуя вызвала восхищение Димитрия. Олимпийский бог держал в руках кифару, весь в помете диких голубей, обитавших поблизости, на соседних дубах. Странно, что холм, на котором находилось капище, здешние обитатели называли Волчьей горой, точно знали, что один из эпитетов олимпийца — Ликофрос, то есть убивающий волков. Каким образом попала эта статуя в скифскую глушь, мне выяснить не удалось. Однако напрасно искал он убежища в таких отдаленных пределах — и здесь уже слышалось церковное пение.

Только Димитрий восхищался:

— Какие божественные пропорции!

А магистр Леонтий, всегда строго блюдуший все, что касалось христианской жизни, выговаривал ему:

— Спасение души важнее, чем пропорции человеческого тела.

Да, судьба сделала меня свидетелем многих необыкновенных событий. Но, может быть, самым важным из них было низвержение идолов и крещение русского народа.

Из разговоров с князем Владимиром я вынес убеждение, что его охватывает порой беспокойство. Безусловно, он видел и понимал превосходство мира христиан, культурных людей, над прозябанием язычников. Жизнь греков, с которыми он сталкивался, и тех руссов, которые побывали в Константинополе и приняли христианскую веру, была несравненно богаче и сложнее, чем жизнь какого-нибудь доителя кобылиц. Мало того — новая вера казалась ему необходимой, чтобы скрепить, как обручем, русское государство; он хотел использовать ее в своих собственных целях. Но новые понятия уже проникали в русскую жизнь: любовь к ближнему, единый бог на небесах, история сотворения мира, евангельская история. Анна тоже пришла к нему из этого мира. От княгини Ольги остались во дворце книги, по которым она научила внука читать. Правда, его душу обуревали порой страсти, порой жизнь была сильнее этих душеспасительных книг, неслась куда-то, как Борисфен, со всеми человеческими радостями и печальями, но в разговорах с Анной или с этими лукавыми, но благопристойно улыбающимися людьми, какими мы были в его глазах, князю хотелось быть равным нам, жить с нами

в одном мире, говорить с нами на одном языке. Владимир не раз говорил мне, что ему очень бы хотелось увидеть все эти чудесные города, о которых он слышал от путешественников и своих посланцев. Один варяг говорил мне, что Владимир, спасаясь от Ярополка, два года провел в Скандинавии и участвовал в варяжских набегах на землю франков и на Италию, но когда я спросил его об этом, он покачал головой.

Однажды, в припадке откровенности, он сказал мне на пиру:

— Тянет меня в греческую землю. Но как покину такое хозяйство, нивы и звериные перевесы?

Да, он не мог противиться тому жизненному потоку, что увлекал Русскую землю к ее новой судьбе. Жизнь, творившаяся вокруг истуканов с выпученными глазами, не могла противостоять порывам ветра, дувшего с Понта. Владимир, уже некоторое время тому назад, подражая многим своим воинам и юному скандинавскому ярлу Олафу, принявший христианство, неоднократно приходил на холм, где стояло капище, смотрел на идолов и размышлял, и чем дальше, тем больше соблазняла его полная прелести греческая жизнь.

А между тем бирючи, как здесь называют городских глашатаев, звали народ явиться на речку Почайну, которой суждено было сделаться северным Иорданом. Я видел, что толпы людей спускались к реке. Мы тоже присутствовали на торжестве, и я наблюдал все собственными глазами.

Наступило солнечное утро. Весь берег был заполнен народом. Окруженный знатными воинами и старейшинами, Владимир вместе с Анной стоял на разостланном на лужайке ковре. На нем был золотой скарамангий и на плечах пурпурная хламида, слитком щедро осыпанная жемчугом и излишне богато вышитая золотыми узорами, на которых с геометрической точностью чередовались орлы и кресты. Еще вкус варвара не отличался большой изысканностью, и все это можно было легко понять и объяснить. На голове у князя сияла диадема с жемчужными подвесками у висков, или так называемыми пропендулиями. Как у василевса, корона была увенчана крестом. При каждом движении князя подвески трепетали, вызывая любопытство киевлян. На Анне, одетой в белые и зеленые одежды, тоже была диадема, но без пропендулий. Ее стан обвивал лор. Как в часы императорских выходов, отроки держали над княжеской четой навес, украшенный розовыми страусовыми перьями, и это непривычное занятие, видимо, занимало русских юношей.

Я находился совсем близко около Анны и еще раз мог видеть подведенные глаза Порфирогениты и нежные румяна на ее щеках, похудевших в последнее время от волнений. Ничего особенного, на наш взгляд, в этих женских ухищрениях не было, но простодушные киевские женщины, никогда не выдавшие ничего подобного, смотрели на Анну со страхом, как на ожившего идола.

Анастас, епископ херсонесский Иаков и священники стояли в сияющих облачениях у самой воды и читали положенные молитвы. Руссы садились на землю, снимали обувь и входили в воду. Хотя многие делали это явно с недовольным видом, особенно женщины, которые не удерживались от ругательств, держа на руках плачущих младенцев. Их плач мешался с женскими воплями. Но фимиамный дым тихо поднимался из брядающих кадил к небесам, и всюду я видел любопытствующие, широко раскрытые глаза. Видно было также, что руссы не понимали, что происходит с ними, но они не осмеливались нарушить волю князя, за спиной которого стояли вооруженные мечами воины.

После знаменательного события на площади перед дворцом был устроен всенародный пир. Всякий желающий мог прийти сюда и есть мясо, хлеб, овощи и пить хмельное питье. На соседнем пустыре княжеские кухари жарили на кострах целых баранов и даже быков, варили в котлах похлебку из рыб, а отроки едва успевали приносить из погребов мед и пиво. Никогда в жизни я не видел подобного! Сам князь, все в том же одеянии, но уже без диадемы на челе, которая, очевидно, с непривычки стесняла его, стоял на высоком крыльце и улыбался народу.

Для тех, кто не мог явиться на пир по болезни, яства развозили по городу на повозках, и возницы громко приглашали желающих отведать княжеского угощения. Леонтий подсчитал, что все это обошлось не в одну тысячу миаириссиев. Но в Киеве еще не было чеканных монет, а люди рассчитывались кусками серебра, которые они рубили в установленном весе, или мехами.

Даже на пиру не прекращалось прение о новой вере. Но колесо истории повернулось безвозвратно. Я помню, что на том совещании, на котором я присутствовал, один из воинов рассказывал о своем посещении Константинополя:

— Мы не знали, где находимся, на небе или на земле.

Это он изумлялся патриаршему богослужению.

Когда настроение на пиру поднялось, приверженцы новой веры бросились к холму, где стояли истуканы, и повергли их на землю. Анастас кричал в исступлении:

— Смотрите, вот идолы лежат во прахе и ничего не могут сделать в свою защиту, ибо они дерево и металл, а не истинные боги!

Но женщины дико завопили, когда тяжело рухнул и колодой покатился с горы огромный Перун.

Чтобы лишний раз доказать народу бессилие старых богов, по повелению князя истукана привязали к хвостам косяка диких коней, и они далеко умчали его в поля. Надругавшись над Перуном, его бросили в Днепр. Кумир покачивался на воде и упрямо приплывал к берегу, и женщины кричали, простирая к нему руки:

— Выплывай, выплывай, светлый бог!

Но княжеские воины отталкивали идола от берега, и, подхваченный течением, он поплыл вниз по реке, к порогам, и вскоре скрылся из виду. Однако многие не хотели расстаться со своим ложным божеством, плакали, и им казалось, что вот-вот загремит гром и молния поразит нечестивцев, поднявших руку на бога. А впереди еще были страхи за урожай, за приплод скота, за удачу на звериных ловах. В простодушном человеке царит тьма, и нужны годы, чтобы просвещение озарило его светом.

Но приближался день нашего отъезда в Константинополь. Солнце находилось уже недалеко от поворота к зиме. Ночи становились прохладными и звезды высыпали на северном небе, как жемчуг. Листья берез сделались золотыми. С дубов падали на землю тяжкие желуди...

На реке стучали топоры. Там приводили в исправность ладьи, на которых мы должны были пуститься в обратный путь. В Киеве собирался большой торговый караван, чтобы успеть отвезти товары в Херсонес под надежной охраной до наступления зимы, и мы с Леонтием и другими ромеями решили воспользоваться представившимся случаем, чтобы поскорее вернуться к василевсу, не дожидаясь весны. Уже над головами пролетали стаи лебедей, направляясь к Понту. Ночью было слышно, как высоко в небе музыкально

курлыкали журавли, крякали утки, гоготали гуси. Птицы спешили уйти от суровой зимы, и мы тоже страшились ее и поэтому ускорили отправление к пенатам.

Перед отъездом я иногда бродил по городу, поднимался на крепостной вал, всходил по скрипучей лесенке на бревенчатую башню. Там, под высокой крышей, где водились голуби и ласточки, среди балок и перекрытий, гудел степной ветер. Но с башни открывался изумительный вид на величественный Борисфен, кативший далеко внизу свои широкие голубые воды.

На том месте, где раньше стояли идолы, Владимир велел построить церковь. Это поручил он Димитрию Ангелу. Тяжело перенесший трудное путешествие и страдавший от своего недуга, который еще более усилился в суровом климате Скифии, Димитрий таял, как свеча. А его строительные планы еще не были воплощены в действительность. Владимир спешил с возведением христианского храма. Об этом умоляла его Анна, желавшая слушать литургию. Поэтому требовалось построить хотя бы небольшую церковь с кафизмой для князя и Анны, где они могли бы молиться о спасении своих душ. Но строить каменное здание было трудно. В Киеве еще не было опытных мастеров, ощущался недостаток в камне и кирпиче. Димитрий искал способы ускорить строительство.

Иногда я приходил взглянуть на работы. Поблизости, на берегу реки, дымились обжигательные печи для кирпичей, на которых ставили княжескую метку, каменщики прилежно тесали каменные глыбы, а другие строители замешивали известь. Уже приступили к возведению стен, присыпая к ним землю, чтобы каменщики могли подниматься все выше и выше по мере роста здания. Греческий язык мешался на строительстве с русским.

Димитрий печально улыбался.

— Начнем с малого. Надо сообразоваться с условиями здешнего климата. Руссы строят из дерева легкие и изящные башни. Так им хочется строить и из камня. Что ж, они быстро перенимают искусство возводить свод, а это самое трудное в архитектуре. Но вскоре мы приступим к постройке большого храма, которому позавидует любой город. Я украшу его фресками и мозаикой. Мы выпишем художников из Афин. Я знаю их манеру. Они подражают древним образцам, и поэтому наши епископы не дают им заказов, но здесь они будут на своем месте. Ты видел, как работают здешние серебряных дел мастера и те, что украшают оружие? Обрати внимание! В рисунке у них много наивной, детской радости, близости к природе. На оконных украшениях и на вышивках убрисов они охотно изображают замысловатые узоры, а также зверей и птиц. Иногда целые сцены. Они любят радовать свое зрение красками. Поэтому я решил облицевать внутри церковь зелеными или голубоватыми изразцами. Снаружи будут простые кирпичные стены, и человек, пожелавший бы удалиться в храм от будничных забот, даже не будет подозревать о том, какая красота его ждет. И вдруг ему представляется красота мозаик, мрамор, паникадила! Это должно производить на людей большое впечатление, а нам нужно завоевать варварские души...

Проверяя точность возведения стены, он держал в руке отвес, и свинцовый грузик раскачивался на нитке от припадка его убийственного кашля.

— Хотелось бы построить что-нибудь грандиозное, прежде чем умереть,— сказал он.

Я понимал его томление. Сколько раз я думал о том, что не стоит жить на земле ради маленьких дел. Только великие деяния могут оправдать смысл

существования. Счастлив тот, кто в смертный час свой может сказать: «Я трудился и творил». Впрочем, каждый вносит свою лепту в строительство прекрасного — зодчий, и простой каменщик, и тот, кто терпеливо замешивает известь. Но церковь, которую строил Димитрий, представлялась мне в будущем прекрасной.

Димитрий Ангел мог спокойно закрыть глаза: после него останутся стихи и церкви, которые он успел построить, несмотря на свою молодость, и среди этих церквей белый храм в Фокиде, не менее изящный, чем Неа в Константинополе, — с аркадами внутреннего двора и фонтанами, где вода обильно и с прекрасным шумом изливается из широко разверстых львиных пастьей. Может быть, он успел бы построить такой же храм и в Киеве, если бы не его болезнь. Князь уже обещал Анастасу отделить десятину своих доходов в пользу этого храма. А что останется от меня? Горсть праха, который развеет ветер, да недолговечная память в сердцах друзей. По мере сил трудился и я. Другие сидели у огня, спали в теплых постелях, ублажали чрево, а я разделял с василевсом воинские труды и лишения, его бессонные ночи и опасности на полях сражений.

Теперь мне часто приходилось иметь дело с пресвитером Анастасом, которого князь сделал первым русским епископом. Я в конце концов примирился с этим человеком, увидев, с какой ревностью он трудится для просвещения. Немедленно же по возвращении в Киев из-под Херсонеса Владимир решил, по его совету, устроить училище для русских детей. На совете, на котором и мы с Леонтием принимали участие, Анастас объяснял хмурым старейшинам:

— Нам нужны пресвитеры, умеющие читать священное писание. И не только пресвитеры. Большая нужда в княжеских слугах, которые могли бы писать договоры с другими народами, переписывать судебники и книги для чтения и духовного утешения. Везде в государстве нужны люди, владеющие тростником для писания.

Но неразумные матери плакали, когда в дом приходили княжеские люди и отнимали детей от медовых лепешек для книжного учения. Этим простодушным женщинам казалось, что они теряют своих детей навеки. Однажды во время своей ежедневной прогулки по городу я зашел в школу. Она помещалась на княжеском дворе, в помещении, где сам Анастас, с лозой в руке, обучал юных киевлян грамоте. Дети смотрели на учителя не без страха, но я заметил, что некоторые уже старались постичь книжную премудрость и крепко сжимали в маленьких руках азбуку. Я спросил одного из них, белоголового мальчика с горящими от волнения глазами:

— Как твое имя?

Он ответил:

— Илларион.

— Хочешь ли вкусить учения, Илларион?

Мальчик посмотрел куда-то далеко перед собою и ответил шепотом:

— Хочу.

— Учись, Илларион. Но здесь еще не конец твоему учению. Потом ты поедешь в город Константина и там постигнешь сладость риторики, и, кто знает, может быть, ты сам будешь писать книги для твоего народа!

На коленях у Иллариона лежала азбука, привезенная, вероятно, из Болгарии. На первую букву стих начинался так: «Аз есмь червь...» Нелегко было детям этих гордых воинов перестраивать струны своей души и научиться мыслить о бренности всего земного. Впоследствии я убедил-

ся, что, помышляя о смерти, варвары еще больше начинают ценить жизнь.

Илларион беззвучно шевелил губами, стараясь запомнить что-то. Его детской душе было страшно в этих книжных странах, в которых она неожиданно очутилась.

— А как твое христианское имя? — спросил я его соседа, мальчика с очень любопытными глазами и такого же белокурого, как Илларион.

— Иаков.

— Давно ли ты христианин?

— От рождения.

— Кто же твои родители?

— Отец мой воин.

— Может быть, твой отец крестился в Константинополе?

Отрок недоумевающе смотрел на меня.

— В Царьграде?

— Нет, в Корсуні.

Я присел рядом с ним на скамью и, вспоминая безвозвратно ушедшие школьные годы, слушал, как Анастас учил своих питомцев и наставительно читал в «Алфавитаре»:

— «Когда добро плаваешь, паче всего помни о буре!»

Дети смотрели на него широко раскрытыми глазами. Их юные умы были полны кипения. Мир раздвигался перед ними до бесконечных пределов, до самого синего моря, до греческих пределов, холмов Иерусалима, пальм Египта...

Чтобы не мешать больше учению, я покинул школу, мысленно пожелав отрокам успеха в науках.

Ладьи уже были готовы к отплытию, но поджидали каких-то замешкавшихся в пути древлянских торговцев, которые должны были везти в Херсонес мед и воск. Спрос на эти товары неожиданно увеличился. Как мне объяснили, эти товары добывались в области, богатой липами. Невероятное множество пчел трудится там, и этот мед отличается особенно ценными вкусовыми и целебными качествами.

Перед отъездом я удостоился видеть Порфирогениту. В тот день Леонтий Хрисокефал со своими нотариями составлял список подарков, которые Владимир посылал в Константинополь. Анна сидела рядом с супругом на скамье, покрытой серебряной парчой. Епископ Анастас и Леонтий стояли у стола, на котором лежали письма для василевсов и дары — мешочки с драгоценными яхонтами, с янтарем и жемчужинами. На полу были навалены кучей меха черных лис и соболей. Над ними сутились служители, увязывая товары в тюки. Все было еще просто в этом варварском государстве. Несложен был и церемониал прощания с Порфирогенитой.

Леонтий и Анастас тщательно записывали дары на папирусе и пересчитывали каждую жемчужину. Один из нотариев проверял предметы и тюки по списку. Леонтий Хрисокефал высыпал жемчужины из очередного холщового мешочка, держа его за концы, как за уши. Одна жемчужина прекрасной формы упала и покатила по полу. Нотарий с зажегшимися от алчности глазами поднял ее и подобострастно протянул магистру. Леонтий стал считать жемчужины, с опаской поглядывая на нотарию и шепотом проверяя счет.

— Запиши, — сказал он, закончив подсчитывания: — Тридцать две жемчужины средней величины.

Нотарий обмакнул тростник в чернильницу.

Приходили и уходили воины и отроки. В помещении была суета. Анна

сидела с усталым видом. Владимиру тоже стало скучно. Он спросил Анастаса:

— Скоро ли вы кончите? Поспешите, ведь есть и другие дела.

Мне тоже надоело это занятие. Точно мы были в меняльной лавке. Но я стоял и думал о своей жизни, спрашивая себя мысленно, чем бы она была, если бы моя судьба походила на участь тысяч других людей. Я мог легко представить себе это. Спокойное существование, добродетельная супруга, отпрыск какой-нибудь почтенной семьи, а вместе с нею имение и теплый вместительный дом, где пахнет амброй и кипарисом, потом дети, утешение на старости лет, и на склоне жизни красная хламида магистра или даже, может быть, звание великого domestika...

Когда все было закончено и списки проверены, мы стали перед Порфирогенитой, чтобы отдать ей последнее поклонение, как перед покойницей, и пали ниц. Поднявшись, я увидел, что лицо Анны стало печальным. А у меня мелькнуло в мыслях, что уже ничего не будет в моей жизни, прошедшей в военной суеде и одиночестве, кроме этих мук и воспоминаний об этой разлуке.

Мы отступили на три шага и снова поверглись ниц. Опустив лоб к полу, я повторил про себя:

«Прощай! Прощай навеки!»

Но почему даже в минуту расставания моя душа испытывала нечто похожее на блаженство? В нашем ромейском мире, где все установлено неизблемо на вечные времена, нельзя изменить судьбу человека. Один рождается во дворце, другой — в хижине. Небо послало мне испытание неразделенной любви. Но я не ропщу. Эта мука была лучше, чем многие блага земные и довольство своим существованием.

Анна все так же печально смотрела на нас, отбывающих в ромейские пределы, оставляющих ее в стране скифов. А я мысленно говорил перед нею:

«Благодарю судьбу, что мне суждено было взглянуть на твое лицо, сказать тебе несколько слов, услышать твой голос в ответ и очутиться в поле зрения твоих прекрасных глаз! Благодарю небо, что моя душа посетила этот мир в те годы, когда и ты жила на земле, что я ступал там, где и ты ступала, молился в церквах, где и ты молилась! Легко могло случиться, что мы не встретились бы в море жизни. Однако я нашел тебя в земной суеде, и мне суждено было полюбить тебя!»

На голове у Анны был белый убрус, который сжимало украшение в виде золотой диадемы. Из-под края зеленой шелковой одежды виднелись пурпурные башмачки, усыпанные мелкими жемчужинами.

Я знал, что где бы мне ни суждено было умереть — на постели от болезни, на поле сражения от меча или на погибающем в буре корабле, — моя последняя мысль будет о ней.

Отроки подняли связки мехов, чтобы грузить их на ладьи. Нотарии несли под бдительным надзором Леонтия мешочки с жемчужинами и золотыми солидами. Мы тоже спустились к реке, чтобы узнать, готова ли наша ладья к отплытию. Многие руссы выходили из хижин, чтобы посмотреть на греков, хотя в городе всегда было много иноземцев. Мы спустились по крутому спуску к реке. На Борисфене стояли ладьи, изгибаемые высокие птичьи шеи с фантастическими головами грифонов и зверей. Нас должны были сопровождать, как мы условились с Владимиром, четыреста воинов под начальством моего старого знакомого Веслава. В Херсонесе уже поджидал посланцев василевса ромейский корабль, чтобы увезти нас в Константинополь. Надо было торопиться, так как с приближением зимнего времени плавание в Понте становится небезопасным.

На другой день, на рассвете, мы тронулись в путь. Река вздулась от осенних дождей и бурлила. Ладьи стремительно понеслись одна за другой вниз по течению. Я поднял глаза, чтобы посмотреть на высокий берег. На горе все так же непоколебимо стояли бревенчатые башни. На верхней галерее одной из них можно было рассмотреть группу женщин. Может быть, это была Анна со своими приближенными женщинами, поднявшаяся рано, чтобы посмотреть на уезжающих к братьям? Одна из женщин махала голубым платом. Она желала нам счастливого пути. Может быть, это Анна прощалась с нами в последний раз? Но течение влекло нас с невероятной быстротой к порогам, и скоро Киев исчез в утреннем тумане. Мы были счастливы, что в точности выполнили волю благочестивого, и теперь спешили, чтобы вовремя прибыть в Константинополь и дать отчет в том, что мы видели и слышали в стране руссов.

Немного еще осталось прибавить к этой хронике. Как волны, изнемогающие под тяжким ярмом и отгоняющие ударами хвоста злых насекомых, мы влекли колесницу тысячелетнего ромейского государства. Она со страшным скрипом двигалась медленно в темноте мировой ночи. Всюду царит мрак. Священные холмы Рима представляют взорам путника руины, увешанные диким плющом, и уже сделались прибежищем для коз и невежественных пастухов. Франкские бароны, точно разбойники, живут вместе с конями и псами в построенных из необделанного камня замках и даже не гнушаются нападать на торговые караваны. Латинская церковь отошла от апостольских правил. И только в ромейском государстве истинная вера не угасает, как вечный светильник, и процветают искусства. Даже в наши трудные времена живописцы Панталеон и Мена удивляют весь мир своим искусством, склоняясь трудолюбиво над книгами патриарха. Не будем предаваться отчаянию. Эллинские семена, посеянные на русской почве, упали не на камень и в свое время принесут обильную жатву. Как засохшая земля жадно впитывает потоки дождя, так и варварская душа жаждет, чтобы ее напоили книжные реки.

Влекомый ненасытным любопытством ко всему, что происходит в жизни, я явился однажды в мастерскую, где работали Панталеон и Мена. Это происходило во дворце, в довольно низкой горнице со сводчатым потолком и двумя широкими окнами. Около них стояли наклонные дубовые столы. За ближайшим сидел Панталеон, за другим — Мена. Около художников можно было видеть на полу и на скамьях множество глиняных горшочков с красками. Когда я вошел, Панталеон растирал на мраморной доске киноварь, а Мена, склонившись к столу, что-то чертил. Я произнес положенные в подобных случаях приветствия и подошел к художнику, занятому с кистью в руке. Он улыбнулся, смущенный тем, что кто-то будет наблюдать за его работой, или, может быть, польщенный моим вниманием, но продолжал тщательно вырисовывать кистью орнамент в виде виноградной лозы с геометрическим повторением листьев и гроздий. В этой рамке был изображен Василий. Я сразу же узнал его. Коротко подстриженная борода, жесткая и колючая, пронзительные глаза и впалые щеки. В одной руке он держал меч, в другой — символическое копьё. Два ангела венчали его диадемой, на которой был изображен каждый драгоценный камень. У подножия василевса склонились плененные варвары и мятежники. Как я сказал, сходство было большое, но в рисунке чувствовалась сухость и одеревенелость, и василевс напоминал Димитрия Солунского, как его изображают на иконах. И на дру-



гих листах движения людей были связанными, как бы застыли в одном, избранном этим живописцем мгновении.

— Извини меня, художник,— обратился я к Мене,— но меня удивляет, что ты удаляешься от природы и не изображаешь предметы и людей так, как это делает, например, Лука Влахерит. Я видел его картину, которая называется «Давид, пасущий свои стада». Псалмопевец играет на лире, и короткая одежда не закрывает его мускулистые ноги. Это голени юноши и пастуха, знакомого с горными тропами. Около Давида сидит муза и вдохновляет его. Внизу другая женщина, с обнаженными сосцами, полными молока, символизирует плодородие, а рядом с нею пес, слушающий музыку,— так звери внимали некогда Орфею. Собака стережет овец и коз, пасущихся на лужайке. Не кажется ли тебе, что именно так надо воспроизводить мир и все, что мы наблюдаем в нем?

Мена прекратил работу и стал задумчиво поглаживать бороду, а Панталеон, с которым мы и раньше встречались, так как он украшал орнаментом некоторые книги моей библиотеки, услышал разговор и поддержал меня:

— Лука подражает не только природе, но и древним образцам, в которых столько жизни.

— Так в чем же дело? Почему вы не берете их за образец? — удивился я.

Мена вздохнул с явным огорчением.

— Почему ты вздыхаешь так горестно, Мена?

— Недавно я выполнял одну работу для патриарха. Святейший заказал мне украсить сочинение Феофана Продолженного. Читал ли ты эту книгу, патрикий?.. Читал. Там есть такая сцена. Император смотрит на корабль, нагруженный пшеницей и елеем, которыми хотела торговать августа, без ведома супруга и презрев свое высокое звание...

— Отлично помню.

— Я изобразил корабль, мачты, паруса, полные упругого ветра, и веселых корабельщиков. Ведь они всегда любят вино и приключения. На берегу я поместил императора. Он уперся кулаками в бедра, так как был разгневан, что его супруга занимается торговыми предприятиями. А патриарх взглянул на рисунок и угрозил мне перстом.

— Чем же был недоволен святейший?

— Патриарх сказал: «В изображении важна идея, а не земные подробности. Канон, а не воображение легковесного ума». Он негодовал, что я изобразил василевса не представителем божественной власти на земле, с золотым сиянием вокруг головы, как у святых, а обыкновенным человеком, рассердившимся на жадную жену. Между тем именно так изображали древних героев «Илиады» или хитроумного мореплавателя Одиссея, хотя он тоже был царем.

Панталеон передал прислуживающему мальчику доску с киноварью и наставительно сказал:

— Продолжай растирать краску! Но делай это медленно и равномерно, а не рывками и без грубого нажима. Такая краска употребляется для заглавных букв и при рисовании пурпура и поэтому должна быть особенно хорошо протерта.

Живописец подошел к нам, может быть надеясь, что я скажу что-нибудь достойное внимания по поводу рассказа Мены, но мое положение обязывало меня. Я не мог в присутствии малознакомых людей порицать патриарха, хотя и не был согласен с ним, и, сказав несколько незначительных слов в похвалу художников, покинул мастерскую.

Нет надобности подробно останавливаться на событиях тех лет — они общеизвестны. Упомянем только о самом существенном, чтобы создать рамки для повествования. Итак, с помощью руссов мы разгромили восстание Варды Склира, возглавившего надменных стратигов восточных фем, уже чувствовавших себя в отдаленных областях независимыми государями, и смирили их гордыню. Огромное число мятежников было убито, остальные рассеялись и скрывались, как дикие звери, в лесах Тмола. Сам Склир попал в наши руки. Пленника привезли к василевсу прямо из грохота битвы, даже не успев снять с него пурпуровых кампагий, право ношения которых он осмелился себе присвоить.

При виде мятежника, тучного и жалкого человека с мешками под глазами и с трясущимися от волнения руками, Василий воскликнул:

— И перед таким стариком мы еще вчера трепетали!

Помня о прежних заслугах Склира, Василий не предал его мучительной смерти, а сослал в отдаленный монастырь. Там он мог до конца своих дней предаваться размышлениям о своей бурной и полной превратностей жизни.

Мне запомнился разговор благочестивого со Склиром в час пленения.

Склир стоял перед ним и тяжело дышал, будучи уже на склоне лет. У него было кровотечение из носа. Возможно, что кто-нибудь из наших воинов ударил его по лицу. Склир вытирал кровь рукою и смотрел на пальцы с удивлением, как бы пораженный, что он, проливший столько чужой крови, видит собственную. Она запачкала ему седую бороду, одежду и панцирь. Василевс пронзительными глазами глядел на пленника, потом произнес с осуждением:

— Конец, Варда? Теперь уже никогда не услышать тебе шум битвы...

— Конец, — прохрипел старик.

— Чего бы хотел сейчас?

— Смерти... Устал безмерно...

— Ах, Варда, Варда! Если бы не ты, не пришлось бы мне унижаться перед руссами. Я послал бы тебя защищать Херсонес. С твоим умом и пониманием вещей и решиться на такое безумие — поднять руку на василевса! Ты ведь отлично знаешь, что только я один способен вывести ромеев из затруднений. У меня все есть, а мои враги стремятся к обогащению и власти. Войны, уведите его!

Склира увели. Три варяга остались в его шатре, чтобы провести там ночь и стеречь пленника. Я поднял парусиновую полу палатки, чтобы посмотреть на мятежника при свете факела, который держал в руках один из моих служителей. Склир сидел на земле, опустив руки. По дороге с него уже сняли кампагии, босые ноги старика, искривленные болезнями, были в грязи. Шел дождь. Склира так и вели без всякой предосторожности по лужам...

Так кончилась деятельность Варды Склира. Так изливается в небытие быстротекущее время.

Покончив с мятежом на востоке, Василий все свое внимание обратил на запад, где надлежало предотвратить опасность, грозившую со стороны болгар и богмилов.

Двадцать пять лет жизни василевса прошли в непрестанных походах. Василий метался, как лев, заключенный в клетку, двадцать пять лет не снимал панциря. Когда положение становилось невыносимым, выступал шеститысячный отряд варягов, присланный Владимиром, и тогда эти тысячи ме-

чей обрушивались на врагов. Так серпы жнут пшеницу в дни знойной жатвы.

Давид Арианит и Константин Диоген опустошили Пелагонию. Третья часть военной добычи была отдана варягам, две другие поделили между собою василевс и ромейские воины.

Сколько битв, сколько горящих городов встает в моей памяти! Кастория и Ларисса, Диррахий и Веррея...

В один знаменательный день мы получили из осажденного болгарями Дористола на Дунае послание от сына патрикия Феодота Ивира. Мы стали поспешно собираться в поход и вскоре осадили Сетену, где находились житницы царя Самуила. Враг уже чувствовал, что его силы иссякают. В распоряжении Василия были многочисленные наемники, золото, воины фем и непобедимые гетерии «бессмертных». Сражаться с таким могуществом было трудно, и драма приближалась к развязке.

Июня пятнадцатого дня, третьего индикта, 6522 года от сотворения мира благочестивый вновь повел нас на врагов. Воины пошли за ним с пением псалмов и рукоплесканиями, потому что смерть воина на поле сражения подобна смерти мучеников. Так мы двинулись в неприступные горы Македонии.

Вздыхая пыль на дорогах, впереди гарцевала конница мужественного и осторожного Феофилакта Вотаниата. За нею шли воины фемы Оптиматов и испытанный в сражениях отряд варягов. Я с изумлением смотрел всегда на этих воинов.

Конюхи вели попарно коней василевса. Арабские и каппадокийские жеребцы, покрытые пурпуровыми чепраками с вышитыми на них орлами и крестными знаками, танцевали от полноты жизни. На поводах у псарей рвались в поле борзые. Над челками коней трепетно покачивались розовые и белые страусовые перья.

Василий ехал верхом, в простом воинском плаще, под которым блистал панцирь. Как изменилось его лицо за эти годы! Но запавшие от бессонных ночей и огорчений голубые глаза и гневно поднятые дуги бровей по-прежнему выражали непреклонность воли. Борода василевса поседела, на лице легли морщины. Ради спасения ромеев он с одинаковым терпением переносил зной сарацинских пустынь и стужу фракийских зим.

По-прежнему висел в воздухе купол св. Софии, символ небес на земле. Как орлица, он укрывал своими крыльями всю нашу жизнь. Но в страшное время жили христиане. Уже нечестивые агаряне завоевали гроб Христа, уже ускользали из рук василевса наши дивные владения в Италии, и со всех сторон ромеев теснили враги. Василий решил сокрушить ярость болгар, чтобы развязать себе руки для военных действий в других концах государства. Я вспоминал стихи Иоанна Геометра:

Рычи, о лев!  
Пусть прячутся лисицы в норы,  
Услышав твой могучий рев...

Поэт написал пророческие стихи! Сколько раз рычал наш лев, и враги прятались в свои трущобы. Самуил укрылся в горах. Но будем справедливы даже к врагам. Не трусливая лисица пряталась в Немиде, а воин, тоже львиной породы, жестокий соперник василевса. Когда раздавался среди горных вершин его голос, стены нашего города содрогались. Выходили на единоборство два титана. Но силы их были неравными. У одного было множество воинов, коней и камнеметательных машин, у другого — отряды плохо воору-

женных поселян и пастухов, хотя и готовых умереть за свою свободу, однако еще не постигших, что в единении сила.

Мы продвигались по разоренной стране, мимо селений, покинутых жителями, среди которых было много манихейн. Непостижимо было, как могли существовать люди в такое звериное время. Казалось, что на людей низринулись с небес все воображаемые несчастья. Всюду, куда ни падал взор, видны были пепелища, руины, оставленные пахарями нивы, и стаи черных птиц кружились над трупами людей и раздутыми тушами животных.

Наступали сумерки. Голубые горы стали совсем темными, подул холодный ветер. Зазвенели трубы, подавая воинам знак остановиться и готовиться к ночлегу. Вozy перестали скрипеть. Я стал осматривать местность, чтобы выбрать подходящую поляну для лагеря. Но место было неблагоприятное для возведения лагеря: с обеих сторон возвышались горы, а у дороги лежало селение, превращенное пожаром в груды углей и пепла. Неизвестно было, что случилось с его жителями. Вероятно, несчастные спрашивали судьбу, за что обрушились на них такие испытания, и не находили ответа.

Василий осторожно сошел с коня. Конюх поцеловал ему руку, принимая позолоченный повод. Василевс сказал:

— Здесь ждет нас отдых.

Было отдано распоряжение ставить шатры. Запахло привычным для меня дымом лагерных костров. Приняв положенные меры предосторожности, воины приступили к изготовлению пищи. Но вежды их смыкал свинцовый сон. Положив на землю щиты, служившие им в походе постелью и подушкой, христолобивые воины уснули. Только в шатре василевса еще долго блистал огонь светильника.

Когда на востоке занялась заря, нежнейшая, как роза, мы снова двинулись в путь, оставив после себя золу костров, обглоданные кости и конский навоз. Войска шли с большой осторожностью, и в дороге было время подумать о многих вещах.

Однажды наши воины схватили в придорожной роще лазутчика. Под плетью он сознался, что его прислал Самуил. Ему было поручено разведать о численности наших сил. На допросе выяснилось, что соглядатай — богомил. Я пошел посмотреть на него.

Еретик лежал на земле, истерзанный, в жалких лохмотьях, сквозь которые просвечивало худое и грязное тело. Судя по его виду, это был поселянин, еще не старый человек. Два воина, стерегшие его, играли в кости и переругивались между собою, третий занимался починкой обуви, пришедшей в негодность во время переходов по щербнистым горным дорогам. Я спустился в погреб и склонился над пленником.

— Ты богомил? — спросил я.

Он ничего не отвечал.

— В кого ты веруешь? — опять задал я вопрос.

Пленник продолжал лежать, не отвечая мне ни единым словом, и только стонал, когда делал какое-нибудь движение.

— В кого ты веруешь — в дьявола или в бога?

Он перестал стонать, повернул ко мне лицо, все в ужасных кровоподтеках, и с невыразимым страданием произнес пересохшими губами:

— Не мучай меня перед смертью.

— Ты умрешь, когда придет твой час. Но покайся перед концом жизни. Ее ты уже погубил. Спаси хотя бы свою душу. Отрекись от дьявола!

— Это вы служители дьявола, — вдруг дерзко прошептал он, — заковали бога в серебро и золото, опьянили себя языческим фимиамом, подобно идолопоклонникам...

— Как ты осмеливаешься произнести подобное?! — в гневе воскликнул я. — Ты лжешь!

— Нет, я говорю истину. Вы живете в мире сатаны, а мы вздыхаем по другой земле, созданной не сатаной, а богом для счастья всех людей, бедных и богатых.

— Ты еретик, — сказал я. — В писании сказано, что мир был создан в шесть дней, а падший ангел низринут с небес. Он ничего не творил, а только разрушал.

— А я верю так, как нас учил отец Иеремия.

Еретик поднялся с трудом на локте и продолжал, глядя на меня лихорадочно блестящими глазами:

— Все видимое — землю, растения, камни, человека — создал сатана. Поэтому мир и погибает, как в блевотине. Не мог бог создать такой мерзостный мир!.. Боже мой, как я страдаю!

Он погладил лицо рукой и умолк.

Воины по-прежнему метали кости и ссорились, так как один из них предполагал, что товарищ обманывает его. Тот, что чинил башмак, с тупым видом смотрел то на меня, то на пленника, которого он стерег.

Два мира! Один — созданный сатаной, другой — богом. В этом воззрении чувствовалось нечто от платоновской философии, от учения гностиков. В каком мире жил я сам? Я вспомнил пышное, горячее тело Фелицитаты, с которой у меня была встреча в жизни, ее полные руки, разгоряченное любовью дыхание. А красота Зои, любившей меня в Трапезунде, когда я был поглощен звездами, или печальная любовь Евпраксии, пошедшей ради меня на прелюбодеяние, худоба Тамар, случайно встреченной в константинопольском предместье? Другие тени проплывали передо мною. Неужели все это только тлен и гниение? Или красота другой, облеченной в пурпур? Впрочем, чем же отличается тело августы от простонародной женщины? Значит, все зависит от того, какими глазами мы смотрим на женскую красоту, на мир. Но откуда у этого невежественного по внешнему виду человека такие сложные представления о мире? Мир наш создан дьяволом? У меня мороз пробежал по коже. Мир, наполненный церковным пением и фимиамом!

На шестой день мы подошли к болгарским засекам. За ними лежали плодородные долины Стримона, цель нашего похода. Непреодолимые трудности еще ждали впереди на нашем пути. Но василевс пылал огнем мщения. Этот человек незначительного роста и мало чем примечательный по внешности обладал душою героя.

Перед нами одна за другой вставали горы. Взвизывая на эти неприступные кручи, мы думали со страхом о предстоящем сражении. Как птенцы во время бури, мы окружали Василия и шептали молитвы. Здесь были все делившие с ним в течение стольких лет опасности воинских трудов: Константин Диоген, Василий Трахомотий, Феофилакт Вотаниат, Давид Арианит, Лев Пакиан, Никифор Ксифий, ставший некоторое время тому назад domestиком, и посевшие на войне Николай Апокавк и Никифор Уран, руки которого уже дрожали от бремени лет. С нами не было Варды Склира, великого тактика. Но не было также и многих сребролюбцев и лизоблюдов. Над нами пронеслась буря истории, ее тяжкие крылья потрясали воздух, и этим лыстцам нечего было делать в македонских ущельях.

Перед тем как повести фемы на врагов, Василий взял из моих рук трость и стал чертить на песке план сражения. Мы обступили его со всех сторон.

Старик Никифор Уран тоже смотрел воспаленными глазами на линии, начертанные на песке, и бормотал:

— Разве возможно все предвидеть? Захочет господь и ангелов пошлет...

Ксифий толкнул его локтем.

— Помолчи, отец!

Василий пояснял:

— Здесь расположены засеки... Здесь течет Стримон... По этой дороге пройдут воины...

Никифор Уран внимательно слушал, распутив по-старчески влажные губы, но видно было, что он не улавливал мысль василевса. Это был представитель старой тактики, когда на полях сражений больше всего ценился сильный лобовой удар, а не охват левым или правым крылом.

К сожалению, в гористой местности конница «бессмертных» оказалась бесполезной. Эти закованные в железо всадники не могли продвигаться по узким тропам. Вся надежда была на пеших воинов. Приходилось использовать опыт армянской войны и сделать попытку обойти засеки, одновременно поднимаясь на кручи перед лицом врага, хотя это движение и было связано с большими потерями. Но, взволнованный своими соображениями, Василий сказал:

— Приступите!

По знаку трубы первая фема пошла на верную смерть. Другие фемы должны были произвести обход, но наткнулись на упорное сопротивление болгар и отхлынули назад, неся большие потери. Царская власть подобна секире, лежащей у корней дерева. Царь волен послать людей на гибель. Пусть будет так, как он нашел нужным сделать, хранитель постановлений вселенских соборов и защитник сирых и убогих. Не напрасно его возненавидели владетели богатых имений.

Сражение на засеках разгоралось. Болгары обрушили на головы ромеев тучи стрел и сбрасывали заранее приготовленные камни. Сила их падения с горы невероятна. Огромные глыбы, неуклюже вращаясь, сокрушали человеческие кости, как былинки. В воздухе стоял гул криков и стонов. Василевс тронул коня рукой и подъехал к месту битвы. Мы последовали за ним.

Глазам нашим представилось ужасное зрелище. Люди с перебитыми ногами сползали с воем с горы и умоляли о помощи. Тела убитых лежали сотнями. С засек на нас летели со свистом стрелы. Христолюбивых воинов уже готово было охватить смятение — настолько неприступными представлялись эти горы.

Болгары с мужеством отчаяния защищали свою свободу, свои очаги и житницы. Высоко над валом мы увидели вдали Самуила. Ветер развевал его бороду. Он что-то кричал воинам и показывал рукой в нашу сторону.

— Не в человеческих силах взять подобные высоты,— качал головой Уран.

Василевс услышал и взглянул на старика орлиным взглядом. У нас замерли сердца. Но благочестивый ничего не сказал.

— Разрешите мне сказать тебе нечто,— приблизился к василевсу Уран и стал ждать.

— Говори,— был ответ.

— Не губи ромеев, благочестивый! Что будет с нами, если болгары спустятся вниз? Нам не выдержать их напора. Ты ведь знаешь, воин, спускающийся с горы, равен трем воинам на равнине.

Василий гневно теребил бороду, глядя вперед с таким видом, точно он ничего не слышал.

Несколько раз ромей пытались взойти на гору, и каждый раз болгары с большими потерями заставляли нас скатываться вспять. В четвертый раз ромейские воины почти дошли до гребня, но варвары снова сбросили их вниз. Потери наши были очень велики. Ромей уже начинали роптать, ложились на землю, так как у них не хватало дыхания, и некоторые бросали в отчаянии оружие, и таких на месте расстреливали безжалостно стрелами. Только такими мерами можно было заставить воинов подниматься на убийственные кручи. Ни для кого не тайна, что это сражение мы выиграли только благодаря случайности, но отчасти и вследствие огромного напряжения всех наших сил.

На другое утро смертоубийство возобновилось. Мы со страхом смотрели на василевса. Тогда к нему приблизился Никифор Ксифий, domestик схол:

— Повели рабу твоему...

— Говори,— бросил Василий.

— Позволь мне взять отборных воинов, пастухов по роду своей работы, и попытаться пробраться с ними горными тропами в тыл врага. За ночь мы успеем обойти горы.

Мы стали ждать ночи. Под покровом темноты, прикрытые ею, как плащом святого Димитрия Солунского, Никифор и его воины пошли в обход горы Беласицы. Пробираясь сквозь тернии, над зияющими пропастями, переходя во мраке страшные высоты, теряя людей в бездонных провалах, Ксифий медленно всходил, подобно новому Ганнибалу, на вершины.

На рассвете, когда только занялась заря, Василий снова начал битву. И вот мы заметили, что в рядах врагов происходит большое движение. До нас донеслись крики:

— Бегите! Ромей окружают нас!

Тогда мы поняли, что это Никифор Ксифий вонзил, как ромейский орел, когти в тело жертвы. Болгарские воины оставили в замешательстве засеки и метались в горных ущельях, не зная, с какой стороны последует нападение. Василий, сияющий, как в пасхальный день, кричал экскувиторам, которых вел в битву патрикий Феофилакт Вотаниат:

— Поражайте врагов, экскувиторы, поражайте!

И, не выдержав, сам помчался впереди воинов в гущу сражения.

Ужасное избиение врагов продолжалось весь день. Сам Самуил едва не попал в наши руки. Но мужественный сын бросился к отцу на помощь и вырвал его из когтей смерти. Понимая, что в этом сражении уже нельзя ждать возврата воинского счастья, Самуил покинул поле битвы и с остатками своих отрядов скрылся в наступающей темноте. Он нашел прибежище за неприступными стенами Прилепа. Опустошив все вокруг, Василий не решился преследовать врагов, так как опасно нападать на раненого медведя в его берлоге.

Это был еще не конец. На другое утро взошло солнце, осветившее красоту мира, а василевс запяtnал свою победу неслыханной жестокостью. По его приказанию пересчитали пленников. Их оказалось четырнадцать тысяч человек, многие из которых были ранены в сражении. Пленных загнали в ущелье, чтобы безопаснее стеречь.

Потом мы увидели страшные приготовления к казни. На соседней равнине были зажжены костры, на которых воины стали обжигать заостренные колья и раскалять на огне железные путья. Когда все было готово,

схоларии извлекли из теснины несколько безоружных пленников и повели к кострам. Для несчастных готовилось нечто ужасное, но они еще не знали о том, какая их ждет участь, и покорно шли, куда им было приказано. И вот нечеловеческий вопль огласил равнину. То ослепили первого пленника.

Ослепленный бился на земле, умолял о смерти, царапал ногтями лицо, залитое кровью из глазниц, а потом стал на колени и простирал руки к небесам, как бы взывая к ним всем своим страданием. Но уже к кострам тащили других варваров. Даже закаленные в битвах воины боялись за свой разум при подобном зрелище.

Тысячи слепцов, ползающих во прахе, вопли, стоны, кровавые глазницы, а над всем этим каменное лицо Василия. Я отвел глаза в сторону и не смотрел на него. Пусть он даст ответ в этом на последнем суде, а моя христианская душа не могла принять такую жестокосердность. Лицемеры! Мы произносим в церквах проповеди о милосердии, а сами способны на всякую жестокость и коварство, когда дело касается нашей выгоды.

Догадавшись о том, что происходит на равнине, пленники в ущелье заволновались. В ответ на вой ослепляемых раздался рев запертых в теснине, как звери в клетке, тысяч людей. Они бросались на стражей, предпочитая умереть, чем потерять зрение. Некоторые погибли от меча, а прочих смирили и повлекли к кострам.

По повелению василевса, на каждых сто ослепленных одному пленнику оставляли один глаз, чтобы кривые могли привести товарищей к Самуилу и поразить его сердце ужасом. Страшными вереницами, цепляясь друг за друга, ведомые одноглазыми поводырями, слепцы пустились в путь по трудным горным дорогам. Они спотыкались с непривычки, падали, плакали кровавыми слезами, проклиная немилосердные небеса, допустившие такое злодеяние. Многие погибли в пути или уморили себя голодом, других разорвали волки. Остальные с трудом добрались до болгарских селений. Жители выходили на дорогу и выносили слепцам воду, козье молоко и всякую пищу, утешали несчастных, а ведь эти люди напоминали им о проигранной войне. А когда слепцы пришли наконец в Прилеп и наполнили весь двор перед дворцом Самуила, старый лев заплакал. Тысячи слепых взывали к нему:

— Самуил! Смотри, что сделал с нами Василий! Отомсти ему за наши муки!

Тысячи глаз, с такой радостью взиравшие на мир, погасли навеки...

Болгарскому царю дали чашу с водой. Он сделал несколько глотков и выронил ее из рук. Царь уже не мог отомстить. Дни его были сочтены. Он ждал появления страшного врага на ложе смерти, но Василий опасался войти к нему в берлогу. А сын сказал отцу:

— Не скорби! Сильных духом испытания только закаляют. Василий умрет, и много других василевсов придут царствовать и снова уйдут в небытие, а болгарский поселянин по-прежнему будет пахать свое поле и македонский виноградарь возделывать лозы...

Погруженные во мрак вечной ночи слепцы вспоминали гору Беласицу, где они сражались за свободу, а в мире по-прежнему сияло солнце, козы прыгали по горным крутизнам и на виноградниках наливались тяжкие гроздья. Но разве мы сами не слепцы? Тьма покрывает нашу землю, поля заглушаются сорными травами, и волки появляются в предместьях некогда цветущих городов.

После победы, не опасаясь больше нападений со стороны потрясенных



врагов, Василий совершил со своими военачальниками, воинами, конями и мулами паломничество в Элладу, чтобы возблагодарить в превращенном в христианскую церковь Парфеноне деву Марию, охраняющую своим покровом ромейское государство.

Помню, что во время этого пути я задержался в каком-то селении. Пока слуги поили моих коней, я присел у колодца и слушал разговоры поселян. Принимая меня в сером дорожном плаще за обыкновенного воина, они не стеснялись и рассказывали о своих делах. Это были люди, которые в прошении называют себя обычно убогими. Одетые в рубище, с ногами, обмотанными грязными тряпицами, они почесывали время от времени заскорузлыми руками косматые головы и с любопытством слушали, о чем рассказывали проезжие люди, выдавшие столько городов на земле.

У колодца, где для водопоя животных был использован древний саркофаг из розового мрамора, с амурами и гирляндами мирта, сидел монах, бородатый и тучный человек. Рядом с ним, опираясь на дорожный посох, стоял какой-то путник в плаще из грубой материи. Монах шарил в сумке и показывал изумленным пахарям различные костяшки.

— Это, — заявил он торжественно, веером распуская черную бороду, — зубы великомученицы Пульхерии. Помогают при зубной боли и других болезнях. Тридцать восемь зубков осталось.

Поселяне стали креститься, взирая на священные реликвии. Однако один из них, весьма словоохотливый и, видимо, более смысленный, чем остальные, усомнился:

— Тридцать восемь зубов! А ты не обманываешь нас, почтеннейший? Откуда у человека, даже великомученицы, может быть столько зубов?

Захваченный врасплох, инок растерялся, но попытался выпутаться из затруднительного положения:

— Это же зубы мученицы! Захочет господь — у благочестивого человека и сто зубов вырастут. Сказано: «Верьте — и по вашему хотению сдвинутся горы».

— Насчет гор, может быть, и так, а с зубками как-то неловко получается, — продолжал сомневаться доморощенный скептик, почесывая голову.

— Тогда приобрети волосы младенцев, убиенных нечестивым Иродом в Вифлееме. По пять фоллов за волос, — предложил монах.

Недоверчивый снова почесал в затылке.

— Волосики-то как будто длинноваты для младенцев...

— Значит, выросли.

— Младенцы?

— А ты не из богомилов будешь? — угрожающе спросил монах.

— Нет, мы чтим святую православную церковь, — растерянно ответил поселянин и раскрыл рот от страха.

Но, почувствовав, что на этот раз он пересолил, рассчитывая на крайнюю доверчивость простых людей, монах стал поспешно собирать свои сокровища. Путник спросил его:

— Из какого монастыря, святой отец?

— Из монастыря святого Георгия под Коринфом. Но убежище наше разрушили враги, и иноки скитаются теперь по всей стране. Кто занимается торговлей, кто продает крестики и другие священные предметы. Вот и я брожу из одного селения в другое в поисках пропитания. Но отряхну прах сего поселения от ног своих, ибо здесь обитают павликиане и манихеи.

Монах ушел, и пахари со страхом смотрели ему вслед, очевидно опасаясь, как бы его проклятия не принесли им несчастье.

Продолжая прерванный разговор, путник спросил словоохотливого поселянина:

— Значит, и вам плохо живется на земле?

— Суди сам, милостивец: как можно жить в довольстве бедным и убогим? Мы платим подати — житную и зевгаратикий, то есть за упряжку волов. Потом подымная, по три фолла с дыма. Еще пастбищная — энномий. Да десятина меда, приплода свиней и овец. Да еще подушная подать...

— За право дышать воздухом, — горько сострил другой поселянин, с седою бородой.

— Вот именно, что за воздух. Что наша душа? Воздух! А если случится землетрясение, опять надо платить. На возведение стен. Да еще погонное сборщику за ногоутомление...

— Да, податей у нас немало, — вздохнул путник.

— Вот так и живем. Слепли от слез.

Поселянин продолжал:

— А что на земле творится! Рассказывали воины, василевс четырнадцать тысяч людей ослепил.

— Так им и надо, еретикам, — произнес путник.

— Да ведь они такие же люди, как и мы с тобой, — возразил, к моему изумлению, поселянин. — Лучше убить человека. Как же они будут теперь пахать свои нивы?

— Это, конечно, так, — согласился путник.

— А куда ты направляешь стопы? — спросил его поселянин.

— В Солунь. Оттуда двинусь на гору Афон и там буду спасать грешную душу в монастыре.

— А вклад у тебя есть?

— Может быть, и есть, а может быть, и нет его, — осторожно ответил путник.

— Так, — опять почесался словоохотливый пахарь. — Значит, ты покинул жену и дом?

— Жена у меня умерла в прошлом году.

— А дети?

— И дети погибли от морового поветрия.

— Кем же ты был раньше?

— Пахарем, как и ты.

— И оставил свою землю?

— Оставил. А дом и имущество продал богатому соседу.

— Так... А кто же будет пахать землю, если все мы в монастыри разброемся?

— Душа важнее всего.

— Это ты истину сказал, друг, — промолвил поселянин. Но видно было, что он размышлял, глядя себе под ноги, и в чем-то сомневался.

Я более внимательно оглядел поселянина. У него было обыкновенное деревенское лицо, огрубевшее от дождей, солнца и ветра. Над низким лбом поднималась копна рыжих нечесаных волос. Нос у него был длинный, и на подбородке росла жиденькая борода. Вероятно, покосившаяся хижина у дороги принадлежала ему, так как бедно одетая женщина, стоявшая на пороге, кричала оттуда:

— Алексей, иди есть похлебку!

Но он махнул в ее сторону рукой и продолжал разговор:

— Непонятно.  
 — О чем ты говоришь? — не сообразил путник.  
 — Земельный участок принадлежал тебе по праву?  
 — Принадлежал мне по праву.  
 — И ты продал его?  
 — Продал.  
 — И волов?  
 — И волов.  
 — Если бы у меня была своя земля! А то мы сеем и жнем на господской земле, — сказал поселянин.  
 — Парики?  
 — Парики.  
 — Сколько же берет господин?  
 — Отдаем половину с жатвы и приплода.  
 — Это много. Довольно было бы владельцу и трети.  
 — Нелегко жить на свете бедняку, — сказал поселянин.  
 — Трудно.  
 — Желаю тебе счастливого пути, — сказал на прощание поселянин и поплелся в хижину.

Путник тоже двинулся в дорогу, остальные стали расходиться. Один из моих служителей сказал мне почтительно, с презрением глядя вслед поселянам:

— Разве они способны что-нибудь понять?

Самих себя слуги богатых господ мнят способными понимать самые сложные вещи. Им известны все константинопольские сплетни и тайны императорской опочивальни. Богатых они почитают, подражая порокам своих господ, и живут подачками и воровством, а бедных презируют.

Я вскочил на коня, хотя и не с той уже ловкостью, как в молодые годы, и поскакал туда, где слышались приветственные клики. Воины и повозки двигались непрерывным потоком на юг. Впереди, подобно отдаленному грому, слышен был глухой рев человеческих криков. Это воины приветствовали василевса:

— Многая лета, автократор ромейский!

Страшно было подумать о том, что мог переживать в эти часы победитель. Он достиг своей цели, сломил упорство врагов, наполнил государственную сокровищницу золотом и раздвинул пределы государства до Евфрата. Но разве может быть человек уверенным в том, что все останется так, как он устроил на земле? Ведь все в мире непрочно и подлежит непрестанному изменению, как учили древние философы. Вчерашняя победа может смениться поражением, и надо быть бдительным каждое мгновение.

Мы дорого заплатили за свою победу. Лучшие пали на поле битвы. Уже не было с нами ставшего мне братом Никифора Ксифия, погибшего с мечом в руках на горном перевале. Рядом с ним упали Вотаниат и Апокавк и многие другие. Но те, кому еще суждено жить, быстро забывают ушедших. Я уже думал о том, как теперь по-другому устрою свою жизнь.

Я нашел василевса на перекрестке двух дорог. Под сенью ромейских знамен, сидя на коне, он смотрел на проходившие войска, а воины приветствовали его криками и рукоплесканиями. У Василия был вид больного человека, борода его стала совсем седой за эти дни, и глаза еще глубже запали.

Я пробрался к сопровождавшим василевса лицам, увидел среди них

Леонтия Акрита и направил коня к нему, так как этот человек крайне интересовал меня.

Акрит был стратигом Евфратской фемы. Его вызвали недавно в Константинополь для доклада, но события задержали стратига, и неожиданно для самого себя он очутился в Македонии. Впрочем, он выражал по этому поводу свое полное удовлетворение. Это был красивый и надменный человек, осмеливавшийся давать советы самому василевсу. Черную бороду он красиво завивал, по восточному обычаю, и душил амброй, а поверх положенного по званию стратига красного плаща носил еще сарацинское покрывало, завязанное под подбородком, и, кроме меча на бедре, у него висел спереди кривой кинжал, усыпанный драгоценными камнями. Седло и уздечка его коня тоже были устроены по-восточному, с различными украшениями и золотыми кистями. Сначала мы косились на такое убранство, потом привыкли. Василевс тоже посмотрел на наряд Акрита с недовольным видом, но ничего не сказал. Стратиг начальствовал пограничной фемой, его родственник стоял во главе Харсианской фемы, и, вспоминая неприятности с Фокой и Склиром, Василий не хотел сориться с этим влиятельным вельможей. Рассказывали, что у Леонтия Акрита в Кесарии был великолепный дворец с садами и водоемами, с павлинами на лужайках и с персидскими благоуханными розами. С юных лет он сражался в Каппадокии с сарацинами и, еще будучи юным спафарием, влюбился в дочь стратига Георгия Дуки и похитил ее, чтобы жениться на ней, при самых необыкновенных обстоятельствах. Может быть, это его жизнь, полная военных событий и любовных приключений, вдохновила автора романа о Дивгенисе, которым в наши дни стали зачитываться в Константинополе. Человек, полный страстей, он в то же время был способен на нежные чувства, сравнивал женщину то с розой, то с голубкой и любил книги. На почве книголюбия мы и завязали наше знакомство.

Когда я подъехал к нему, он приветливо улыбнулся и спросил:

— Скажи, патрикий, какое отношение имеет к тебе Симеон Метафраст?

Я объяснил, что моим отцом был скромный табулярый в предместье св. Мамы, а не этот прославленный писатель, который жил в прекрасном доме, со множеством слуг и серебряной утвари, диктуя свои произведения скорописцам, чтобы потом каллиграфы могли переписывать их с красивыми заглавными буквами на пергамене.

— Я не любитель его елейных сочинений, говоря между нами,— рассмеялся Акрит и показал очень белые зубы.— Но моя возлюбленная супруга очарована его стилем, соответствующим величию предмета. Впрочем, надо сказать, что он достаточно красноречиво описывает жестокость тиранов и мудрость, с какой отвечали им мученики.

Хотя Акрит почти не знал меня, но выражался без стеснения и совершенно независимо и жену свою вспоминал с нежностью влюбленного юноши. А наши магистры и доместики смотрят на своих жен как на служанок.

Я спросил его, желая вызвать на откровенность:

— Итак, твоя супруга изволит читать Симеона Метафраста?

— С большим увлечением. Лично я предпочитаю диалоги вроде «Филопатриса» или романы о приключениях счастливых любовников.

— Но достойно ли это твоего высокого положения? — вежливо спросил я его.

— Над житиями святых я засыпаю. У нас там, на Евфрате, и в Харсианской феме, совсем другая жизнь, чем здесь,— ответил он, смеясь.— Вы привыкли посещать храмы, нежиться в теплых постелях, а мы проводим

жизнь в непрестанных пограничных столкновениях с сарацинами или в борьбе с апелатами, как у нас называют разбойников, скрывающихся в горах. И чтение у нас не церковного характера, а такое, которое услаждает душевные чувства. Мы любим веселые пиры, вино, женщин, войну. Приезжай ко мне, патрикий, в Кесарию, и ты увидишь, как приятно мы живем.

Я обещал ему, что при первом же удобном случае воспользуюсь его приглашением. Без знакомства с Востоком жизнь моя была бы не полной.

— Но разве не является женщина орудием соблазна? — с улыбкой спросил я, давая ему понять, что я отнюдь не согласен с этим.

— Орудием соблазна? — переспросил он.

— По крайней мере так учат нас отцы церкви.

— Может быть, женщина и орудие соблазна, — в тон мне ответил Акрит, показывая тем самым, что понял мою иронию, — но пусть они соблазняют меня до конца моих дней. Женщина создана для любви. Все в ней гармония и нега.

— А что такое, по-твоему, любовь?

Акрит задумался на мгновение и сказал:

— Любовь — обладание.

Как это было не похоже на мои чувства к Анне и на историю моей любви к ней!

Наша беседа прервалась тогда, потому что василевс прислал к Акриту спафария, сообщая, что желает с ним о чем-то посоветоваться, но я некоторое время размышлял над этим разговором. Потом мне пришли на ум простодушные слова поселянина у колодца, и в моей памяти возникло страшное лицо богомила. Я решил, что по возвращении в Константинополь воспользуюсь первым же представившимся случаем, чтобы просить василевса отпустить меня, и тогда посвящу жизнь писанию книги о своей судьбе. Весьма заманчиво было и предложение Акрита. Но не пристойнее ли христианину совершить сначала трудное путешествие в Иерусалим, к гробу Христа, чем скитаться в поисках развлечений? На душе у меня было грустно, но спокойно. Страсти угасали. Образ Анны представлялся мне теперь как смутное видение, как сон, приснившийся среди земной суеты. Все проходит в жизни человека, как дым.

Незадолго до начала событий в Македонии возвратился из Киева отвозивший туда дары патрикий Калокир. От него я услышал о переменах в северном городе. Там уже возвышались прекрасные каменные церкви. В одной из них, украшенной мозаиками и золотом, которую зовут Десятиной, он видел мраморную гробницу. Резец каменотеса украсил ее пальмовыми ветками и крестами. В ней покоился прах Анны, закончившей свой земной путь. Калокир показывал мне золотую монету русской чеканки. На ней был изображен Владимир в одеянии василевса, и я еще раз удивился его надменности. Может быть, настанет день и мне представится случай снова совершить путешествие через пороги и поклониться гробу той, которую я любил. Там же лежал в скромной могиле, поросшей злаками, Димитрий Ангел, подаривший меня своей дружбой и участвовавший в строении киевских церквей. Там жила Мария, дочь Анны...

Страхнув груз воспоминаний, я поспешил вместе с другими за василевсом. Вокруг нас пробуждалась природа. После стольких страшных лет пахари снова выходили на поле, и быки тащили благодетельные плуги. Жизнь неистребима, и невозможно никакими жестокостями остановить ее.

Из окрестных селений на дорогу выходили толпы народа, чтобы посмотреть на наше триумфальное шествие, на блистающее оружие ромейских воинов, на императорских коней, покрытых пурпуром, но я слышал, как люди в ужасе шептали:

— Болгаробойца! Болгаробойца!

Василия, возможно, будут прославлять в веках историки, но простые пахари не могли восхищаться его жестокостью, хотя бы совершенной и над врагами, и это преступление не только не поколебало болгар, но еще больше укрепило их душевные силы.

Временно враги были сокрушены. Леонтий Акрит одобрял ослепление варваров, считая это печальной необходимостью. А мое сердце впервые не наполнялось при слове «победа» ликованием. После того, что я видел и пережил, достаточно было нескольких фраз, случайно услышанных у дорожного колодца, чтобы чаша переполнилась до края. Такая жизнь не может продолжаться до бесконечности. Разве не мечтали лучшие умы человечества о золотом веке? Может быть, мои дни пресекутся еще задолго до этого счастливого времени, но настанет день, когда люди перекуют мечи на орала и народы станут жить между собою в мире.

*Париж — Москва*  
1937—1958



Анна  
Ярославна  
Королева  
Франции









## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

## ШЕМОТУРЯ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАДЕРЖКИ

в пути и огромные расстояния от Парижа до русских пределов, послы короля Франции благополучно прибыли в Киев. Посольство возглавлял епископ шалонский Роже. Он ехал впереди на муле, худой, горбоносый, со старческой синевою на бритых впалых щеках. Аскетическую худобу его лица еще больше подчеркивали глубокие морщины по обеим сторонам плотно сжатого рта, как бы самой природой предназначенного изъясняться по-латыни, а не на языке простых смертных.

Пока посольство медленно приближается к Золотым воротам, следует воспользоваться удобным случаем, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, жизнь которого весьма показательна для той темной эпохи, куда мы, со всей осторожностью благоразумного путника, вступаем ныне, как в некий черный лес, полный волков и страшных видений.

Даже на лопухом муле епископ сидел с таким достоинством, что одной посадкой доказывал свое благородное происхождение. Отцом его был Герман, граф Намюрский. Чтобы не дробить владения между наследниками, граф посвятил младшего сына церкви в надежде, что благодаря знатности рода молодой монах рано или поздно получит епископскую митру. Вот почему Роже не пришлось прославить себя на полях сражений. Однако и на винограднике божьем он проявил блестящие способности управителя, сначала в сане аббата в монастыре Сен-Пьер, а позднее сделавшись пастырем Шалона. Отличаясь умом практического склада, сей светильник церкви в бытность свою аббатом одного из самых бедных французских монастырей добился для него многих королевских щедрот. Ему удалось выпросить у короля в кормление монахам соседний городок с его ежегодной ярмаркой, на которую купцы приезжали не только из Шампани и Бургундии, но даже из отдаленных немецких земель. Кроме того, аббатству были предоставлены важные привилегии, в том числе исключительное право топить общественную печь для выпекания хлеба и позволение ловить сетями рыбу в Марне. По ходатайству Роже монастырь получил несколько селений с сервами и пашнями, а также мельницу, пчельник и обширные виноградники. Аббату даже удалось завести монастырскую меняльную лавку, где производились различные денежные операции и при случае ссужались под верные заклады деньги в рост, ибо все это служило к вящей пользе

святой церкви. В те же годы Роже построил в аббатстве новую базилику, возложив на ее алтарь серебряный ковчежец с останками св. Люмбера. К сожалению, от этого почитаемого мученика остался нетленным один только левый глаз, но и такая реликвия привлекала в монастырь значительное число паломников, что весьма увеличивало его годовой доход.

Незадолго до утомительного и не лишнего опасностей путешествия в Киев епископ Роже совершил благочестивое паломничество в Рим, и Вечный город произвел на него тягостное впечатление своими обветшалыми церквями и заросшими плющом руинами, по которым бродили пастухи в широкополых соломенных шляпах и прыгали дьявологлазые козы. В Латеранском дворце жил папа. О его непотребстве много рассказывали смешливые простолюдины в римских тавернах. Впрочем, Роже утешал себя тем, что в каждом человеке живут две натуры, божественная и животная, и что рано или поздно первая превозможет вторую.

По возвращении из Рима Роже возглавил шалонскую епархию, где тотчас же занялся искоренением манихейской ереси, получившей в то время большое распространение во Франции, и суровыми мерами пытался с корнем вырвать это гибельное зло. Но по-прежнему лучше удавались епископу всякого рода земные предприятия, и, цenia его дипломатические способности, король Генрих неоднократно посылал Роже с ответственными поручениями в Нормандию и даже к германскому императору. Когда же король, после смерти королевы, стал вновь помышлять о женитьбе, он не мог найти лучшего посредника в таком деле, чем шалонский епископ.

Однако Роже не отличался глубокими познаниями в богословии, а во время переговоров в Киеве предстояло затронуть и некоторые церковные вопросы, в частности о приобретении мощей святого Климента, поэтому вторым послом в Руссию отправился Готье Савейер, епископ города Мо, человек совершенно другого склада, малопригодный для хозяйственных дел, но весьма ученый муж, прозванный за свою начитанность Всезнайкой. Если не говорить о склонности прелата к чревоугодию, к чаше золотистого вина и к некоторым другим греховным удовольствиям, вроде чтения латинских поэтов или, может быть, даже допросов под пыткой полунагих ведьм, обвиняемых в сношении с дьяволом, когда в человеческой душе вдруг разверзаются черные бездны, то это был вполне достойный клирик, изучивший в молодости не только теологию, но и семь свободных искусств.

Насколько епископ Роже представлялся худощавым, настолько Готье Савейер отличался, напротив, дородностью. Его широкое, сиявшее вечной улыбкой лицо заканчивалось двойным подбородком, а плотоядные губы и довольно неуклюжий нос свидетельствовали о любви к жизни. Маленькие, заплявшие жиром глаза епископа стетились умом.

Сопровождавший посольство сеньор Гослен де Шони, получивший повеление защищать епископов от разбойных нападений на глухих франкских дорогах, был рыцарем до мозга костей. Не очень высокий, но широкий в плечах, уже несколько отяжелевший и, как подлинный представитель знатного рода, белокурый и светлоглазый, де Шони, несмотря на сорокалетний возраст, со страстью предавался охоте и не ленился в воинских упражнениях, поэтому сохранил подвижность и ловкость. Его красноватое, обветренное лицо украшали длинные усы, а во взгляде у рыцаря явственно выразились ненасытная жадность и чувство превосходства над людьми, не обладающими рыцарским званием. Гослен де Шони надменно смотрел перед собой, не утруждая себя никакими размышлениями; по его мнению, всякая умственная работа более приличествовала духовным особам, чем рыцарю, понимающему толк в конях и охотничьих псах. Однако Гослен де Шони отличался многими

достоинствами: отлично владел мечом, метко стрелял из арбалета и считался самым неутомимым охотником в королевских владениях. В молодости он состоял оруженосцем при графе Вермандуа, получил от него за заслуги небольшое поместье с двумя десятками сервов, был произведен в рыцари и принес сюзерену положенную клятву. Несколько позже граф разрешил ему перейти на службу к королю. Одновременно Гослен де Шони удачно женился на соседке и получил за ней, единственной дочерью старого сеньора, вскоре отдавшего богу душу, еще одно селение и различные угодья. Жена родила ему трех таких же голубоглазых, как и он, сыновей, и у рыцаря были связаны с потомством самые радужные надежды относительно округления своих владений. Получив королевский приказ сопровождать епископов в далекую Руссию, славившуюся, если верить менестрелям, золотом, мехами и красивыми девушками, Гослен де Шони из этого путешествия также надеялся извлечь немалые выгоды, и в частности привезти для супруги несколько соболей, какие ему приходилось видеть на ярмарке в Сен-Дени. Как известно, меха весьма украшают женщин, хотя справедливость требует отметить, что рыцарь мечтал о приобретении мехов не столько из нежности к своей Элеоноре, сколько из тех соображений, что ее наряды будут свидетельствовать перед людьми о богатстве фамилии. Жене, преждевременно располневшей, с багровым румянцем на щеках, с искусно наложенными белилами и с большими, почти мужскими руками, он предпочитал юных поселянок, застигнутых случайно где-нибудь на укромной лесной тропинке во время охоты на оленей. В свою очередь и супруга, огрубевшая в ежедневных заботах о птичнике и скотном дворе, давно забыла о нежных чувствах к своему господину и порой, разгоряченная на пиру чашей вина, вздыхала неизвестно почему, бросая затуманенные взоры на литые торсы молодых оруженосцев, прислуживавших ей за столом. От них пахло мужским потом и кожей колетов!

Будучи страстным охотником, Гослен де Шони рассчитывал принять участие в прославленных на весь мир русских ловах и в пути настойчиво расспрашивал переводчика Людовикуса, на каких зверей охотятся в Руссии.

Переводчик объяснял:

— О, эта страна покрыта дремучими лесами.

— Какие же звери водятся там?

— Олени, лоси, вепри. В степях носятся табунами дикие кони. Но князья предпочитают охотиться на лисиц, енотов и бобров.

— На бобров? — смаковал название редкой дичи Шони.

— Их очень много живет там на реках.

— Еще на каких зверей охотятся русские рыцари?

— На выдр и соболей. Меха находят большой спрос в Константинополе.

Поэтому Ярослав собирает дань с покоренных племен шкурами зверей.

— На кого охотятся его сыновья, чтобы показать рыцарские достоинства?

— На медведей. Однако самой благородной забавой в Руссии считается охота на диких быков, которых называют турамы. Она требует от охотника большой отваги, и князья предаются ей при всяком удобном случае.

— Хотелось бы принять участие в подобной охоте, — произнес Шони не без зависти.

— О, я уверен, что русские воины убедятся в твоей прославленной храбрости!

Людовикус хорошо изучил слабости человеческой природы и затронул слабую струнку Шони. В ответ на слова переводчика рыцарь горделиво

разгладил усы. Он был в темно-красном плаще, застегнутом на груди серебряной пряжкой, которую снял в одной счастливой стычке с убитого нормандского рыцаря под замком Тийер.

После разговора с переводчиком сеньор искренне пожалел, что его охотничьи псы остались в родовом шонийском замке, построенном из грубых полевых камней и бревен. Собаки теперь находились под присмотром жены, в нижнем помещении башни, служившем одновременно поварней и жилищем для слуг. Здесь псы вечно грызлись из-за брошенных им костей.

Однако необходимо сказать несколько слов и об этом таинственном человеке, каким представлялся окружающим Людовикус. По обстоятельствам своей жизни то торговец, то переводчик, то посредник, он с юных лет странствовал и переезжал с одного места на другое и поэтому хорошо знал все большие города, расположенные на торговых дорогах, в том числе Регенсбург, Киев и Херсонес. Людовикус успел также побывать в Константинополе, сарацинской Антиохии и даже в Новгороде, изучив во время этих скитаний несколько языков. Но никто не знал, откуда он однажды появился в парижской харчевне «Под золотой чашей», да и сам этот бродяга уже позабыл, из какого города он родом, считая, что родина там, где лучше живется. Этот человек отличался житейской ловкостью, хотя ему и не везло в торговых предприятиях. В Париже Людовикус случайно повстречался с послами, собиравшимися в далекую Руссию, и епископ Роже нанял его переводчиком, как знающего русский язык. С той поры он не переставал оказывать ценные услуги посольству во время трудного путешествия.

Может быть, следует упомянуть и двух ирландских монахов, Брунона и Люпуса, отличавшихся гортанным выговором и рыжими волосами. Последний, кроме того, был известен неудержимой болтливостью. Они плелись в задних рядах на мулах и тоже вдоль и поперек исколесили Европу, проповедуя слово божье и приторговывая христианскими реликвиями, пользуясь тем, что аббаты охотно закрывали глаза на обман, приобретая по дешевке какой-нибудь сомнительный голгофский гвоздь. Монахи выполняли также всевозможные поручения, добывали хлеб насущный перепиской книг или даже собирая подаяние. Впрочем, подобные люди возили из одной страны в другую не только кости мучеников, которых никто не мучил, но и украшенные драгоценными миниатюрами Псалтири или еретические трактаты, попутно передавая сообщения о рождении младенцев с двумя головами, что, как известно, предвещает войну, или известие о смерти императора. В Германии у ирландцев находились многочисленные подворья, но таким бродягам, как Брунон и Люпус, было скучно сидеть на одном месте, и они с удовольствием пристали к французскому посольству, чтобы побывать в знаменитом городе.

Послов сопровождали мало чем примечательные рыцари, оруженосцы, конюхи. Воины ехали в длинных кожаных панцирях с медными бляхами и в таких же штанах ниже колен, в кованых шлемах с прямыми наносниками, прикрывающими от удара нос, эту самую благородную часть рыцарского лица. Копья у франкских воинов были тяжелые, а щиты таких размеров, что хорошо защищали все тело.

Епископских мулов вели под уздцы — скорее для большей торжественности, чем по необходимости, так как это были животные весьма мирного нрава, — два конюха, веселые румяные парни в коротких плащах, в серых тувях<sup>1</sup>, перевитых ремнями обуви, и в коричневых колетах. У одного из них

---

<sup>1</sup> Узкие штаны в обтяжку.

на поясе висел деревянный гребень, чтобы время от времени расчесывать космы и в благопристойном виде прислуживать господам, у другого — окованный медью рог и нож с костяной рукояткой.

Послы покинули Париж ранней весной. Это произошло на рассвете, когда над Секваной, как латинисты называли Сену, еще стлался туман и в воздухе стояла ночная сырость. Едва епископы выбрались из городской тесноты и под подковами прогремел настил крепостного моста, как парижское зловоние сменилось свежестью весеннего утра, в тишине которого уже пробуждались и щебетали птицы...

Оставив пределы Франции, послы пустились в путь по той проторенной торговой дороге, по которой издавна восточные купцы привозили из Херсонеса и Киева в Регенсбург и Майнц, а оттуда на прославленные ярмарки в Сен-Дени и Париж всевозможные товары, в том числе перец, пряности, греческие миткали и русские меха, а на восток везли знаменитые франкские мечи, вино, серебряные изделия, фландрские сукна. По этой дороге порой гнали табуны длинногривых венгерских коней.

Добравшись до Регенсбурга, послы вынуждены были остановиться в этом богатом городе на продолжительное время и воспользоваться гостеприимством приора монастыря св. Эммерама, так как епископ Роже неожиданно заболел опасной семидневной лихорадкой. Когда он выздоровел, посольство со всей поспешностью снова двинулось в путь, заменив на Дунае вьючных животных ладьями. Проплыв мимо Линца, Эмса и Пассавского леса, путешественники очутились в Эстергомe, чтобы отсюда уже направиться через Прагу и Краков в русские пределы. Это не был кратчайший путь в Киев, но зато самый удобный и безопасный для торговцев и паломников, и епископ Роже решил, что благоразумнее воспользоваться именно этой дорогой, тем более что Людовикус знал здесь каждую корчму.

Замедляли передвижение посольства также повозки с дарами, посланными Генрихом королю Руссии, и со всякими припасами, так как передвижение на свежем воздухе вызывает у людей особенную потребность в пище. Роже, которому были доверены деньги на путевые расходы, без большого удовольствия развязывал кожаный кошель, чтобы платить за мясо, хлеба, сыры и пиво для своих спутников, за ячмень и сено для животных. Он предпочитал пользоваться бесплатным угощением в каком-нибудь богатом придорожном монастыре или в замке, где житницы ломились от запасов.

Как было сказано, епископы совершали путешествие на мулах, что более приличествует лицам духовного звания, а сопровождавшие послов рыцари и оруженосцы — на жеребцах, считая недостойным для себя садиться на кобылиц. Конюхи, погонщики, повара и прочие слуги ехали на кобылах, тряслись на повозках или бежали рядом с конем господина, держась за его стремяна. Они с любопытством смотрели по сторонам и убеждались, что повсюду в мире установлен один и тот же порядок: бедняки жили в лачугах и питались ячменным хлебом да вареной репой, а сеньоры обитали в замках, выезжали с соколами на охоту или вдруг мчались куда-то среди ночи, освещенные тревожным заревом пожаров, и в переполохе женских воплей и детского плача не без удовлетворения смотрели, как их войны поджигают факелами хижины поселян и топчут посевы, чтобы причинить врагу, обычно соседнему барону или епископу, возможно больший ущерб. Везде, где бы ни проезжало посольство, крестьяне чаще возделывали землю мотыгами, чем плугом, запряженным волами.

В пути произошел такой случай. Среди челяди, сопровождавшей повозки

с кладью, были двое конюхов из Шалона, по имени Жако и Бартолеми. Однажды, возвращаясь с реки, куда их послали за водой, сервы стали предрезо-стно рассуждать о самом господом установленной на земле иерархии. Не подозревая, что за кустом сидели на лужайке и завтракали господа, отды-хавшие после тяжелого подъема в гору, хотя с телегами возились, конечно, не епископы, а погонщики, Жако говорил приятелю:

— Бартолеми, куда бы мы ни пришли, всюду богатые живут в свое удовольствие, а бедняки страдают.

Другой конюх, не мучивший себя подобными вопросами, лениво ответил: — Значит, так уж устроено, чтобы нам страдать до самой смерти.

Епископ Готье Савейер, отправляя в рот куски жирной колбасы, только вздохнул с прискорбием при этих словах, удивляясь грубости простолюди-нов, а с другой стороны, признавая в глубине души, что не все на земле подчиняется принципу справедливости. Но рыцарь Гослен де Шони тотчас вскочил на ноги, готовый покарать сервов, осмелившихся произносить по-добные речи. Однако, поняв свою оплошность, конюхи убежали, бросив ведра и с шумом раздвигая кусты. Поиски крамольников ни к чему не привели. В дальнейшем, догадываясь, какая их ждет участь, они уже не вернулись к исполнению своих обязанностей, и никто больше ничего не слышал, что с ними случилось. Когда же справедливое возмущение от этих нечестивых высказываний несколько утихло и завтрак возобновился, епископ Роже с горечью произнес:

— Откуда им знать, что не все люди имеют одинаковое назначение. Рыцарь сражается за догматы церкви и охраняет труд поселянина, епископ молится пред престолом всевышнего, а крестьянин трудится на ниве, чтобы пропитать их. Иначе в мире не было бы гармонии и никто не мог бы выпол-нять своих священных обязанностей.

— Твоими устами, святой отец, говорит сама истина,— с жаром заявил Шони, обсасывая жир на пальцах,— однако жаль все-таки, что не успели схватить этих негодяев, чтобы расправиться с ними, как они этого заслужива-ют. Впрочем, рано или поздно я спущу с них три шкуры!

Вспомнив, что писал достопочтенный Пьер, приор прославленного аббат-ства в Клюни, о судьбе бедняков, епископ Готье Савейер опять сокрушенно пожевал губами. Ведь у просвещенных людей сердце не закрыто на ключ для человеческих страданий. Епископ даже хотел привести несколько строк из этого нашумевшего в свое время сочинения, но раздумал и ограничился сму-щенным покашливанием, так как давала себя знать приятная тяжесть в желудке.

Роже был другого мнения.

— Эти ленивцы только и думают о том, как бы избавиться от работы, и бегут куда глаза глядят,— ворчал пастырь.— Они воображают, что новые господа будут лучше старых.

— Твоими устами, святой отец, говорит сама истина,— повторил рыцарь, пережевывая колбасу.

Возмущение епископа Роже можно было понять по-человечески: бе-жавшие погонщики принадлежали к его сервам, и поэтому он огорчался вдвойне. Что касается Готье, то этот образованный человек уже думал о дру-гих вещах. После сытной еды толстяк любил припоминать латинские вирши и засыпал под их сладостные словосочетания...

Как бы то ни было, посольство приближалось к своей цели. По обоим сторонам дороги проплывали рощи, засеянные пшеницей поля, зеленые лужайки, холмы; порой показывалась на реке водяная мельница с большим неуклюжим колесом и склоненными к воде дуплистыми ивами; в ярмарочный

день шумел на пути торговый город; или вдруг возникал за дубравой обнесенный частоколом замок местного барона, более похожий на логово разбойника, чем на жилище защитника вдов и сирот. У подножия мрачного сооружения ютились хижины крепостных. Время от времени у дороги попадались аббатства, где, как муравьи, хлопотали многочисленные монахи. Порой путники встречали караван восточных купцов, спешивших добраться до захода солнца в соседний городок, за стенами которого их товары находились в относительной безопасности, хотя за убежище приходилось платить пошлину у городских ворот, как, впрочем, и на всех мостах, у переправ и просто на дорогах, и еще благодарить судьбу, что удалось избежать разбоя и грабежа.

И вот в одно прекрасное утро, даже не заметив, что пересекает какую-то государственную границу, посольство очутилось в русских пределах. Никаких пограничных знаков там не оказалось, если не считать выбитого на камне креста. Проехав еще две мили, франки увидели непривычные бревенчатые избушки, в беспорядке разбросанные подле дубовой рощи. Одна из них, более значительная по размерам и с деревянной дымницей, служила жилищем мытнику. У стены его дома виднелось беззаботно прислоненное копье.

Ведал заставой упитанный человек с окладистой белокурой бородой. Судя по тому, как проворно бежали у мытника глаза, можно было предположить, что от него ничего нельзя скрыть ни в одном мешке. Переговорив с этим представителем власти, Людовикус объяснил епископам, что им предлагают отдохнуть, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Подобное приглашение вполне совпадало с планами Роже, желавшего привести в надлежащий вид людей и животных, поэтому возражений с его стороны не последовало.

Здесьние жители, как на подбор рослые, с длинными усами или такими же светлыми бородами, как у мытника, смотрели на чужестранцев необыкновенного вида с любопытством, но миролюбиво, хотя многие франки имели при себе мечи. В свою очередь толстый Готье с интересом наблюдал окружающий мир. Епископ вспомнил, как перед отъездом посольства из Парижа король Генрих, по обыкновению хмурый и вечно чем-то недовольный, спросил, что представляет собою страна, куда едут за его невестой. Откашлявшись в кулак и приняв надлежащий вид, он объяснял королю:

— Руссия, или Рабасция, — огромное царство. У Птоломея упоминается народ, называвший себя рабасциями. Возможно, что это предки русских. В их стране находится город Синтона, а к востоку возвышаются Рифейские горы. Но зимою в тех пределах выпадает так много снега, что для путника затруднительно попасть в северные области. Некоторые писатели предполагают, что дальше уже обитают люди с песьими головами, а также амазонки.

В ответ на объяснения король погладил бороду. Генрих не очень интересовался латинскими хрониками, однако до него дошли слухи о плодovitости русских принцесс. Когда умерла королева, по рождению своему дочь германского императора, французский король решил найти себе новую подругу. Между тем почти все соседние монархи уже состояли с домом Гуго Капета в кровном родстве, а церковь сурово карала за брак на родственниках до седьмого колена. Тогда Генриху пришла в голову счастливая мысль обратиться в поисках невесты к далекому русскому властителю, о котором во Франции стало известно, что он уже выдал одну дочь за норвежского короля, а другую — за венгерского. Кроме того, Генриха уверяли, что у русского короля лари набиты золотыми монетами, и это обстоятельство еще более усилило влечение к далекой русской красавице.

В тот день, беседуя с королем, епископ Готье очень гордился своими географическими познаниями. Теперь он убедился, что в русской стране нет ни амазонок, ни людей с песьими головами, ни циклопов, сведения о которых

он черпал в пыльных фолиантах знаменитой Реймской библиотеки. Все вокруг дышало миром. Над лужайками высоко в воздухе пели жаворонки, такие же, как во Франции, и с такими же волшебными горошинами в маленьких птичьих горлышках. Но русские оказались весьма любопытными людьми, и Людовикус едва успевал переводить их вопросы и ответы епископов. В свою очередь франки хотели знать, сколько дней пути осталось до Киева, где в настоящее время находится король Ярослав, и в добром ли здравии его прекрасная дочь. Готье интересовали другие вопросы: подчиняются ли здешние жители в церковном отношении Константинополю и читают ли греческие книги, хотя отлично понимал, что бесполезно спрашивать об этом простодушных мытников. Роже больше занимали житейские дела. В частности, ему захотелось узнать, какое содержание получает мытник, и тот деловито объяснил Людовикусу:

— Ежедневно две курицы, а на неделю — семь ведер солода и половину говяжьей туши или барана. Или же деньгами, сколько все стоит. Еще хлеба и пшено. А в среду и пятницу — по сыру...

Из этих слов епископ понял, что служители киевского владыки живут неплохо.

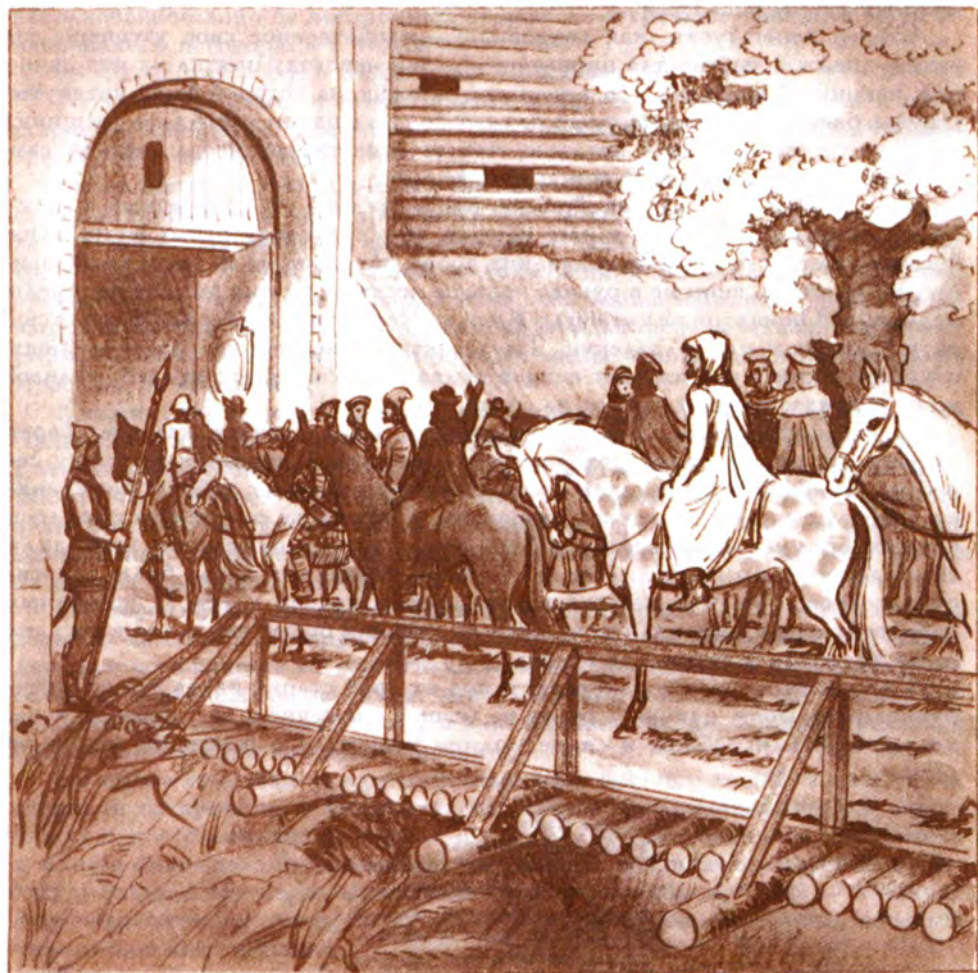
Мытник тоже полюбопытствовал насчет того, что путешественники везли на возах, и, когда ему показали дары, которые франкский король слал своему будущему тестю, белокурый великан похвалил великолепные мечи, со знанием дела пощупал сукна и взвесил в опытной руке серебряные чаши, с большим искусством сработанные парижским мастером. Епископы не знали, что в Киев уже ускакал гонец, чтобы сообщить о прибытии послов. Поплотнее надев на золотую голову шапку из греческого миткала, отрок помчался на сером гривастом коньке по щебнистой дороге, то спускаясь в овраги, где еще журчали весенние ручьи, то поднимаясь на бугры, то пересекая зеленые луга, щедро осыпанные желтыми цветами. Дубравы встречали его прохладой, вечером в роще зашелкал соловей, а когда на небе высоко поднялся серп полумесяца, гонец уже подъезжал к спящему Киеву.

Когда регенсбургские купцы прибывали в Киев и, задрав носы и придерживая обеими руками суконные шляпы, обшитые лисьими хвостами, смотрели на великолепное сооружение Золотых ворот, они изумлялись, что человеческие руки способны поднять тяжкий камень на такую высоту. По сравнению с хижинами предместья воротная башня казалась огромной, и, чтобы еще более усилить впечатление величия и в то же время легкости, хитроумный строитель несколько сузил ее кверху, так что построенная на высоком забрале церковь уже как бы висела в воздухе, витала в облаках, медленно проплывавших по небу. Башня была из розового кирпича, церковь сияла на солнце белизной стен, на куполе блистал золотой архангел. Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, приводили в восхищение диких печенегов, считавших, что это — чистое золото. Никогда еще не видели люди ничего подобного в полуночных странах, и казалось удивительным, что внизу все оставалось простым и обычным: лужайки, одуванчики, пыльная дорога, выбоины от колес, свидетельствовавшие об оживленной торговле.

Под гулким сводом ворот, вдруг нависавшим над головою, беспрестанно проходили путники и с грохотом проезжали колесницы. На одних повозках доставляли в Киев солому или бревна, на других — горшки, глиняные корчаги с медом и дубовые бочки с солодом. Горделиво поглаживая светлые усы, ехал на горячем коне варяжский наемник в красном плаще на желтой подкладке. Смиранный дровосек нес на спине вязанку хвороста, чтобы продать



Когда регенбургские купцы прибыли в Киев и задрожав носы и придерживая руками



смотрели на великое сооружение Золотых ворот, они изумлялись...

топливо на торжище и купить хлеба. Обожженный солнцем и с длинным посохом в руках, усталый паломник возвращался из далекого странствия в свое отечество. Еще на одном возу немецкие купцы везли дорогие товары. Жизнь была ключом.

Среди этой суеты, недалеко от городских ворот, широко раздвинув ноги, оплетенные ремнями обуви, сидел на земле седобородый слепец и, перебирая когтистыми пальцами струны, пел дрожащим голосом о битве под Лиственном, прославляя подвиги Мстислава, как будто с тех пор не случилось ничего примечательного на Руси.

Старец берег гусли, как сокровище, — единственное свое утешение на закате дней и средство для пропитания, — и в непогоду прятал их под овчиной, накинутой на плечи. Но почерневшая доска, на которой были натянута струны, блестела от многолетнего пользования и в одном месте дала трещину. Слушатели вспоминали с печалью, что на этих гусях играл некогда сам великий Боян, ныне уже покинувший землю.

Прислонившись к каменной стене, подле гусяря стоял румяный и голубоглазый отрок; на голове у него ветерок шевелил копну русских волос, а на босых ногах еще остался прах дальних дорог. На странниках были холщовые рубахи до колен, вшитые в рукава повыше локтей красные полосы выгорели от солнца. Юноша привел слепца в Киев из Чернигова, чтобы вести его отсюда в Смоленск или в далекую Тмутаракань — всюду, где русские люди слушают песни и награждают певцов пенязями, усаживают за стол, полный яств, и предоставляют ночлег на душистой соломе.

Певец не протягивал руку за подаванием, а брал деньги, как орел берет добычу когтями, однако прохожие редко бросали в деревянную чашку серебряные монеты и чаще кляли кусок ячменной лепешки с добрым пожеланием. Голос у певца с годами стал немощным, у отрока же еще не чувствовалось сладостного умения в повторях, и богатые люди, постояв немного, проходили своей дорогой; им приходилось слышать на княжеских пирах более голосистых певцов, а бедняк мог только поделиться куском хлеба. С церковных папертей слепца прогоняли за призывы к древним богам, ему остались в удел лишь торжища и городские ворота.

Струны переливчато рокотали, и под их звон старик начал песню, которую сложил Боян, взирая с холма на ночное сражение в ту грозную ночь, когда созревали рябины и синие молнии непрестанно освещали жестокую сечу:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная,  
Шумела битва под Лиственном,  
Гроза грохотала на небесах.  
Когда синие молнии озаряли  
Мечи, поднятые в сраженье,  
Неподвижными они казались  
На мгновение ока...

Эту песню не любили в киевских палатах. Листвен был связан для Ярослава с воспоминаниями о страшном поражении, когда князь, спасая брэнную жизнь, бежал в Новгород, а ярл Якун потерял на поле битвы свой знаменитый золотой плащ. Боян воспевал храбрость Мстислава, но наступили новые времена, и ныне певцы, если у них в груди билось русское сердце и трепетало в горле соловьиное дыхание, прославляли не победителей в княжеских усобицах, а победы над печенегами. Ведь сегодня один князь сидел на златокованом киевском столе, завтра — другой, а Русская земля будет вечно стоять под солнцем. В борьбе за великое княжение одержали победу разум

и терпение Ярослава; песню, сложенную о подвигах храброго черниговского князя, забыли, и только монастырский книжник взял из нее несколько строк, чтобы украсить риторическим цветком летописное повествование о братоубийственном сражении:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная...

Обманув бдительный материнский надзор, Анна поспешила к Золотым воротам. Она накинула на голову зеленый шелковый плат, чтобы спрятать взволнованное лицо от нескромных взоров, но встречные узнавали ее, оставались и говорили с улыбкой:

— Здравствуй! Будь счастливой, Ярославна!

Люди охотно разговаривали с Анной, и она всегда ласково отвечала им — старикам, женщинам, мужам; но сегодня княжна была в смущении и торопилась пройти незамеченной.

Киевляне никому не улыбались так при встрече — ни мудрому ее отцу, ни ее горделивой матери, ни ее красивому брату Изяславу, ни другим братьям — заносчивому Святославу и благочестивому постнику Всеволоду, а только трем сестрам — Елизавете, Анне и Анастасии. Но надменная Елизавета, прозванная за тонкий стан Шелковинкой, уже была в холодной Скандинавии, замужем за норвежским королем Гаральдом; Анастасия уехала жить в страну угров, на синем Дунае. А теперь приехали послы, чтобы увезти третью дочь Ярослава во Францию.

Княжну сопровождали подруги, участницы ее детских игр, — Елена, дочь Чудина, и Добросвета, племянница ослепленного греками воеводы Вышаты. Елена была светловолосая девушка с зелеными глазами и белыми ресницами, как это часто бывает у женщин, что живут у Варяжского моря; Добросвету отличали темные лукавые глаза и пушок на верхней губе. Девушки тоже волновались, им не терпелось подняться на забрало, чтобы смотреть оттуда на приезд франкских послов.

От торопливых движений плат Ярославны упал на плечи и открыл золотистые косы, за которые скандинавские скальды называли в своих стихах дочь русского конунга Рыжей. Но косы Анны не висели за спиной, как у поселянок, и не лежали на груди, как у знатных подруг, а, по заморскому обычаю, были уложены на голове в виде высокого венца. С такой прической приезжали на Русь греческие царевны.

По обеим сторонам улицы рубленые дома богатых людей, с красивыми вышками на кровлях и петушками на оконных наличниках, стояли вперемежку с построенными из дерева и глины лачугами бедняков. Толкались и шли по своим делам киевляне и чужестранцы. Здешние жители были в белых рубахах с красными полосами на рукавах, арабы и персы — в чалмах и пестрых одеждах, немецкие купцы — в широких лисьих шапках, кочевники — в заячьих колпаках.

Когда Анна и ее смешливые подруги прибежали к воротам, до них донеслись звуки гуслей. Слепец, отрешенный среди своей вечной ночи от светного мира, пел:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная...

Но, почувствовав вокруг себя какие-то перемены и людское волнение, он умолк.

В длинном проезде под воротами воздух был гулок, как в пустой бочке. В стене виднелась небольшая дубовая дверь, за которой лесенка вела наверх,

в церковь Благовещенья. Черный монах, выполнявший обязанности привратника, отпер дверцу огромным ключом. Железо заскрежетало на крюках, и Анна, едва сдерживая волнение, взбежала по скрипучим деревянным ступенькам на забрало. Над головой прошумела стая спугнутых голубей. Взволнованно дыша и предвкушая необычное зрелище, вслед за Ярославной на башню поднялись подруги и несколько знатных женщин, сгоравших от нетерпения увидеть посланцев далекого короля. Случилось так, что и пресвитер Илларион тоже взошел с медлительностью зрелого возраста на забрало. У него имелись свои причины для любопытства. Гонец, прискакавший с пограничной мытницы, сообщил, что на этот раз едут не купцы, а латинские епископы. Иллариону было хорошо известно, что латыняне совершают евхаристию на опресноках и причащаются облатками, а не из чаши, но его сердце наполнялось гордостью при мысли, что слава русского государства достигла самых отдаленных пределов земли, долетела до Рима и франкского королевства, доказательством чего служил приезд посольства.

Илларион был великий постник, и продолжительное сидение за перепиской книг, с чернильницей в одной руке и заостренным тростником в другой, повредило его здоровью и сделало дыхание затрудненным. Когда пресвитер поднялся наконец на вымощенную каменными плитами площадку, женщины уже сгрудились у забрала, наполняя воздух звоном золотых ожерелий. Но Анна смотрела не туда, где пылила дорога, а вниз. У въезда в воротную башню сидел на белом жеребце молодой ярл Филипп, в красной русской шапке с меховой опушкой и в голубом плаще, падавшем широкими складками на круп коня. Дорога к Золотым воротам, выходя из дубравы, постепенно поднималась мимо городского вала и капустников. Вскоре из-за дубов показался конный отряд. Впереди ехали три всадника, за ними — другие, а позади двигались повозки. Кони и колеса поднимали пыль, и ветер относил ее в сторону; наверху он порывисто играл шелковыми женскими одеждами.

Анне хотелось крикнуть Филиппу:

«Посмотри же на меня!»

Но ярл не отрываясь глядел в ту сторону, откуда приближались франки. Опечаленная Анна тоже перевела туда свой взгляд и увидела, что всадник, ехавший между двумя епископами, был ее брат Всеволод. Епископы сидели на странного вида ушастых животных, оба в черных монашеских одеждах и серых плащах с куколями, оба бритые, с венчиками седых волос вокруг розоватых губенцев.

Перед величественными воротами послы невольно остановили мулов, и Всеволод не без гордости пояснил:

— Золотые врата... Наподобие константинопольских...

Готье удивленно посмотрел на мощное сооружение, а рыцарь Шони не преминул заметить, что у въезда в город стоят, опираясь на копыя, многочисленные русские воины в железных кольчугах и остроконечных шлемах, с красными щитами. Некоторые из них выглядели совсем юными, другие, наоборот, гордились седыми бородами. Их предводитель — судя по длинным белокурым волосам, падавшим на плечи, молодой знатный скандинав — гордо сидел на белом жеребце. Спокойное и на редкость красивое лицо его ничего не выражало. Это был наемник, который верно служит всякому, кто щедро платит. Но воины взирали на франков любопытствующими глазами. С не меньшим любопытством разглядывали чужестранцев светлоглазые женщины в красных и синих сарафанах, с пышными полотняными рукавами, расшитыми в долгие зимние вечера пестрыми узорами. Был праздничный день. На груди у киевлянок позвякивали от каждого движения тяжкие

мониста из сребреников. Эти драхмы или денарии лежали на прилавке у менялы, ими платили за мех или мед, награждали за службу, ради них проливалась человеческая кровь, а теперь они украшали русских красавиц. Со всех сторон к воротам сбегались стаи белоголовых босоногих ребятишек.

Поучительно и любопытно попасть в чужую страну и наблюдать там иные нравы. Некоторое время епископы обсуждали величие и прочность киевских ворот и одобрительно кивали головами. Не в каждом городе они видели подобное. Всеволод смотрел на них с понимающей улыбкой. Потом всадники стали один за другим въезжать в ворота.

Молодой большеглазый русский воин сказал другому, с широкой рыжей бородой:

— Смотри, Братило, доспехи у них не такие, как наши. Закрывают все ноги кожей и железом.

Старый воин рассудительно ответил:

— Нам такие не подходят. Нам надо быть легкими как птица. А такой доспех — большая тяжесть для коня. Если конь устанет в поле, как ты догонишь печенега?

Но посольство уже направлялось по кривой улице, кое-где вымощенной бревнами. Весело стучали подковы. Впереди показались два монастыря, обнесенные каменной оградой.

Всеволод все с той же благодатной улыбкой, перенятой у греческих царедворцев, с которыми ему часто приходится иметь дело, объяснял:

— Конвентум<sup>1</sup> святого Георгия... Конвентум святой Ирины...

Илларион называл Всеволода пятиязычным чудом, но без привычки молодому князю было трудно изъясняться по-латыни, и он старался составлять возможно короткие фразы. Епископы понимали его и одобрительно кивали головой.

По сравнению с Готье Савейером Всеволод казался хрупким, как девушка. Это был княжич с юношеской рыжеватой бородкой, орлиным носом и красивыми, широко расставленными, как у всех Ярославичей, глазами. Одежние его составляли — воинский плащ малинового цвета, под которым виднелась голубая рубаха с золотым оплечьем и штаны из красного скарлата<sup>2</sup>, засунутые в мягкие сапоги из зеленой багдадской кожи. На бедре у Всеволода висел и слегка покачивался от мерного шага коня прямой длинный меч в ножнах с серебряными украшениями. Этот яркий наряд и парчовая шапка с бобровой опушкой, надетая слегка на правое ухо, говорили о богатстве и желании покрасоваться, и, как бы чувствуя это, княжеский конь вдруг стал гарцевать, косясь на спокойных длинноухих мулов, на которых без торжественности восседали епископы.

Народу на улице собиралось все больше и больше, но люди особого удивления при виде проезжавших чужестранцев не выражали. Здесь уже не раз смотрели на латинских священнослужителей в плащах с куколями, греческих посланцев в скарлатных скуфьях, а кроме того, немецких и арабских купцов, моравов, хазар, евреев и жителей Персиды. Впрочем, ушастые мулы вызвали некоторое веселие.

Наконец посольство очутилось на площади, с одной стороны которой стояла огромная розовая кирпичная церковь, а с другой — виднелось несколько каменных зданий. На некотором подобии триумфальной арки, вроде тех, что Роже видел в Риме, взлетала ввысь четверка бронзовых коней. На мраморных колоннах стояли статуи, запачканные голубиным пометом.

<sup>1</sup> Монастырь (лат.).

<sup>2</sup> Род византийской материи ярко-красного цвета.

— Откуда попали сюда эти великолепные кони? — спросил епископ Готье Всеволода.— Вероятно, из Константинополя?

— Из Херсонеса... Военная добыча...— ответил княжич.

— А статуи?

— Из того же города. Одна из них изображает греческую богиню Афродиту. Так объяснили мне приезжие греки. Две другие — какую-то древнюю женщину. Она считалась покровительницей Херсонеса.

— Если мне не изменяет память, это Гикия,— вспомнил всезнающий Готье.

— Гикия? — переспросил Роже.— Такой мученицы я не знаю.

— Этим именем звали не мученицу, а языческую женщину, спасшую Херсонес от боспорцев.

— От боспорцев?

Обстоятельства мешали епископу Готье рассказать о прославленной античной героине, хотя Всеволод с большим вниманием слушал его латинскую речь. Молодой княжич был любителем подобных повествований. Однако впереди уже выплывала навстречу розовая громада Софии.

## II

Великий князь Ярослав спускался иногда из своих покоев, стуча жезлом по каменным ступеням лестницы. Это происходило в дни совета с дружиной или когда он совершал паломничество в Вышгород, чтобы поклониться гробницам мучеников Бориса и Глеба. Но в день приезда послов старик не пожелал покинуть свои палаты. Ему приходилось слышать от лукавых греков, что владыка, таящийся в молчаливом дворце и появляющийся перед народом только в особо торжественной обстановке, при звуках труб и органов или пении церковных псалмов, производит на людей более сильное впечатление, чем доступный для всякого правитель, что бродит по торжищам, как простой смертный. Кроме того, в связи с приездом послов необходимо было предварительно посоветоваться с пресвитером Илларионом.

Когда посланный мытником гонец прискакал к Лядским воротам, в городе только что пропели первые петухи. Известие, доставленное с рубежа, вызвало в доме воеводы ночной переполох. Дело не допускало промедления. Старый князь требовал, чтобы обо всех важных событиях ему докладывали немедленно, не считаясь ни с поздним вечером, ни с расстоянием, ни с дурной погодой. А посольства приезжают не каждый день.

Седоусый воевода, ленивый дородный варяг, разжиревший на русских хлебах, мучительно чесал волосатую грудь, и в расстегнутом вороте белой рубахи при свете свечи, которую держал в руках отрок, поблескивал золотой крест с синей финифтью. Рядом с мужем, разметав на розовой подушке русые косы и широко раскинув нагие горячие руки, спала на пуховой постели боярыня, такая же дородная, но молодая и нежная, и стыдливо улыбалась какому-то приятному сонному видению. От стука в дверь, от ночного разговора она проснулась, подняла заспанные, ничего не понимающие глаза, посмотрела на свечу, на гонда, на супруга, вздохнула и снова уронила тяжелую голову на шелк подушки, прикрывая беличьим одеялом круглое теплое плечо, чтобы собласты женскую стыдливость и не вводить в напрасное искушение отрока, уже невпопад отвечавшего на вопросы.

Воевода морщился, почесывался, с неудовольствием думая, что ничего не остается, как покинуть супружеское ложе, чтобы поспешить в княжеский дворец, и стал натягивать на длинные ноги красные штаны.

— Коня! Поедем к конунгу Ярославу среди ночи! — сказал он в сердцах отроку. Воевода считал ниже своего достоинства даже на близкое расстояние ходить пешком, да в ночное время и городские псы могли повредить одежду или разбойник подстеречь в темном переулке с ножом в руке. Старый муж не видел, что жена наблюдала за ним с женским притворством сквозь лукаво опущенные ресницы.

Подковы глухо зацокали. Воевода громко зевнул и равнодушно посмотрел на прекрасные небеса. На небе сияли звезды. То дружно принимались лаять, то вдруг умолкали собаки. Уже начинало светать. Позади ехал молчаливый отрок.

В княжеском дворце воеводе прежде всего пришлось разбудить дворецкого. Этот константинопольский евнух, родом тоже варяг, но попавший в плен к грекам и оскотенный по жестокой прихоти василевса, долго крестился и шептал молитвы, прежде чем сообразил, что от него требуют. На Русь он приехал недавно с дочерью Мономаха, ставшей супругой княжича Всеволода, и по совету Иллариона великий князь взял скопца к себе на службу, из тех соображений, что он хорошо знает греческие дворцовые порядки.

Итак, некоторое время ушло на совещание с евнухом. Воевода хмуро объяснил ему в конце концов, что случилось. Уже давно по киевскому торжищу ходили всякие слухи, но послов в Киеве еще не ждали, и никто толком не знал о цели посольства, хотя немецкие купцы и русские путешественники, побывавшие в Регенсбурге с мехами, уверяли, что франки едут за Ярославной и мечами святого Климента.

Зная привычки старого князя, воевода спросил:

— Бодрствует?

— Читает даже в ночи, — отвечал шепотом скопец, прикрывая рот рукою, как будто бы сообщая некую важную государственную тайну.

— Как нам поступить?

— Передать эпистолию. Иначе будет гневен.

— Тогда поднимемся в опочивальню.

Ярослав страдал бессонницей и, чтобы скоротать ночные часы, читал книги, лежа в постели, и это вошло у него в привычку. Ведь столько хотелось узнать повестей, что на это не хватило бы времени днем, когда нужно советоваться о государственных делах, разбирать тяжбы, присутствовать на богослужениях, выезжать на звериные ловы. Так он полюбил книжное чтение паче жизни и часто говорил сыновьям:

— Книжные словеса суть реки, напоющие вселенную...

В тихой княжеской ложнице потрескивала в серебряном подсвечнике толстая восковая свеча, наполнивину сгоревшая, и ее трепетный свет казался человеку, еще помнившему о лучине в светце, вполне достаточным, чтобы разбирать письма. Ложе было узкое, почти монашеское, но под навесом из тяжелой парчи на четырех точеных позолоченных столбиках. У одной из стен, обитых желтой материей, стоял раскрытый ларь, наполненный книгами в переплетах из кожи, из алого или синего, как васильки, сукна. Каждая такая книга, иногда украшенная разноцветными камнями, осыпанная жемчужинами, с серебряными коваными застежками, представляла собою целое сокровище, но люди бережно брали ее в руки не столько ради высокой цены жемчужин и серебра, сколько из уважения к искусству писца. Труд переписчика считался таким же святым, как труд пахаря. Следующее можно сказать о книгописании: бывает доволен купец, получив прибыль, и кормчий,

пристав с кораблем в затишье, и странник, вернувшись в милое отечество; так же радуется переписчик, доведя до конца свое предприятие.

При всей бережливости Ярослав тратил огромные деньги на покупку и переписку славянских и греческих книг, и не мудрено, что ларь оковали железом и устроили в нем хитроумный замок.

На скамье лежала одежда князя и поверх — боевой меч в потертых кожаных ножнах с серебряным наконечником. Так он мог спокойнее спать на случай народных возмущений или вероломства со стороны бояр.

В углу висела икона, написанная молодым киевским художником. Лик богоматери живописец изобразил не таким темным и суровым, как это делали обычно в далеком Царьграде, а как бы освещенным нежной зарей. Она склоняла голову к своему младенцу, прижимая его к груди... Всякий раз при виде этой иконы Ярослав вспоминал странные глаза художника, как бы ищущие в мире некую скрытую прелесть. Такое же беспокойство о красоте светилось в них и тогда, когда живописец писал в Софии лики княжеской семьи и с какой-то тайной тревогой смотрел, стоя на высоком помосте, с кистью в руке, то на Анну, пришедшую подвигаться труду его, то на сияющее красками изображение дочери Ярослава.

Лежа на боку, чтобы удобнее было больной ноге, которая все больше и больше стала напоминать о себе при перемене погоды, Ярослав одной рукой подпирал голову, в другой держал раскрытую книгу. Он читал «Притчи Соломона».

Вглядываясь в красные буквы, четко написанные рукою писца Григория и украшенные цветами и прихотливыми знаками юным художником, кому, казалось, сами ангелы подарили это необыкновенное искусство, Ярослав шептал, едва двигая губами:

— «Не премудрость ли зывает и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенном месте, при дорогах и на распутьях. Она зывает у городских ворот, при входе в город и у дверей дома...»

Ярославу послышались какие-то шорохи за дверью или на лестнице, ведущей в опочивальню. Князь перестал читать и прислушался. Нет, все было тихо среди ночи, и он знал, что у двери стоят на страже преданные отроки с мечами на бедра, бодрствуют и, может быть, приглушенными головами переговариваются между собою.

Эти странные слова, не похожие на обычную человеческую речь, напоминали звон гуслей. Но они открывали сердцу, что мир не застыл в оцепенении, а полон жизни и движения.

— «Не разум ли возвышает голос свой?..» — со вздохом повторил старый князь.

Ярослав оторвался от книги. Где родились люди, писавшие подобное? Но разве Илларион не рождал в тишине кельи такие же сладостные слова, украшая свои мысли книжными цветами? Князь знал греческий язык, ему объяснили еще в юности, что такое метафора, и он умел оценить великолепие слога и мудрость писательского замысла.

— «Когда был дан устав морю, чтобы волны не преступили пределы его, и положено основание земли, и тогда я уже трудилась художницей на земле и была радостью каждый день...»

Все представлялось смутным в этих строках, однако сквозь туман древних слов, опьяняющих, как церковный фимиам, светилась мысль, что мир полон неизъяснимой красоты. Какими возвышенными казались эти строки по сравнению с ежедневными маленькими заботами, отвлекающими человека от помышлений о величии мироздания.

Но чтение утомило глаза, заглавные буквы из красных сделались голубы-



ми. Ярослав отложил книгу, и тогда мысли князя, цепляясь одна за другую, возвратили его к действительности, к жизни, прошедшей в большой тревоге. Горница наполнилась видениями.

Уже достигнув преклонного возраста, отец, великий царь Владимир, захворал и лежал на одре болезни в своем любимом берестовском дворце. Ярослав сидел посадником в Новгороде, в том северном городе, который так удивлял греков бревенчатыми банями, где люди бичевали себя березовыми ветвями, хотя делали это не для мучения, а для омовения. Любимцами старого князя считались самые младшие сыновья — Борис и Глеб. К Ярославу отец особой нежности не питал. Еще с тех дней, когда в лучших своих чувствах была оскорблена мать, гордая Рогнеда, он тоже затаил в сердце зло против родителя. Отец возвратился из Корсуни с греческой царицей, красота которой заключалась не в нежности румянца на щеках, не в соболиных бровях, а в белнах, в шуршащем шелке одежд, в жемчугах. Она привезла с собою драгоценные скляницы, полные благовоний и притираний, и ради всего этого Владимир забыл о Рогнеде. Но мать с презрением отвергла предложение выйти замуж за какого-нибудь знатного дружинника, заявив с гневом, что, будучи госпожой, она не желает стать женою раба, и маленький Ярослав воскликнул, рукоплеская:

— Поистине ты царица царицам и госпожа господам!

Когда Ярослав подрос, отец отослал его подальше от себя, и молодой князь жил на новгородском дворе, как в осажденной крепости, под охраной варяжских наемников. Время от времени свободолюбивые новгородцы избивали их, если те совершали какое-нибудь насилие. Молодой посадник старался жить в мире со всеми: варяги охраняли его покой, а у новгородских купцов в ларях звенели серебряные и даже золотые монеты. Но когда однажды жители перебили варягов на дворе некоего Парамона, он разгневался и лукаво велел сказать горожанам:

— Ну что ж, мне их уже не воскресить!

Лучшие мужи явились к нему, а он предательски казнил их, мстя за своих наемников. И в ту же ночь пришла весть о смерти великого князя.

Уже некоторое время тому назад Ярослав, не ладивший с отцом, построил новый дворец в Новгороде. Затратив на него немало денег и понимая, что городские доходы ему на пользу, он отказался посылать в Киев ежегодную дань в размере двух тысяч гривен. Там это почли за явное неповиновение отцовской воле, и начитанные люди вздыхали при мысли, что еще раз повторилась на земле история с Авессаломом, проявившим непокорство отцу своему Давиду. Охваченный гневом, не терпевший никаких противоречий, старый князь решил наказать мятежного сына вооруженной рукой и отдал приказ готовиться к походу на Новгород.

— Чините дороги и мостите мосты!

Уже смерды приступили к наведению путей, стали рубить деревья и класть гати в непроходимых болотах, чтобы киевское войско могло пройти в новгородские пределы, но во время военных приготовлений Владимир совсем расхворался и умер в Берестове.

Ярослав, только что избивший новгородцев, собрал вече и сказал, вытирая слезы:

— О, милая моя дружина! Вчера я ее перебил, а сегодня она оказалась мне нужна. Отец мой умер, Святополк сидит в Киеве и убивает братьев моих.

Новгородцы, наделенные государственным разумом, ответили:

— Хоть ты и иссек наших братьев, но будем бороться за тебя.

Борис, предполагаемый преемник отца на золотом киевском столе, находился в те дни в далеких печенежских степях, гоняясь с дружиной за

кочевниками, осмелившимися вновь нападать на русские пограничные селения. Бояре совещались втайне, не зная, как поступить при таких обстоятельствах, и не объявляли о смерти князя, опасаясь потрясений. Однако трудно было скрыть печальное событие от народа в продолжение длительного времени, и тогда они решили предать усопшего земле.

По русскому обычаю тело князя не вынесли из опочивальни в дверь, а спустили на двор, разобрав крышу дома. Также во исполнение другого древнего обряда, мертвеца повезли в Киев не на конях и на телеге, а на санях, запряженных волами, хотя было летнее время. Но известно, что волы самые чистые и мирные животные в вертеле и не способны потревожить последний сон человека брыканьем.

Когда гроб привезли в город, со всех сторон стали сбегаться люди, чтобы в последний раз взглянуть на великого князя, и горько плакали, ударяя себя в грудь. Монахи же утверждали, что отныне вдовы и сироты остались без покровителя. Под рыдание всего народа и пение псалмов старого князя Владимира Святославича похоронили в каменной гробнице, в прекрасной Десятинной церкви, недалеко от гроба греческой царицы Анны, его супруги.

У Владимира было много сыновей. Но Борис замешкался в степях в тщетных поисках печенежских становищ; Ярослав выжидал событий в Новгороде; Мстислав сидел в далекой Тмутаракани, Святослав — в Деревях, Глеб — в богатом пушным зверем лесном Муроме, где часто смущали народ волхвы; Судислав правил в рыбном и грибном Плескове, на берегах реки Великой. В Киеве в те дни оказался лишь Святополк, сын той пленной гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял на свое ложе после смерти брата ради красоты ее лица. Воспользовавшись отсутствием братьев, Святополк захватил власть в Киеве, окружил себя легкомысленными отроками, упивался на пирах греческим вином, услаждал свой слух музыкой.

Борис, еще безбородый юноша, красавец с огромными глазами, с тонким станом, как у девушки, любимец отца, возвращался с дружиной из печенежских степей, ничего еще не зная о том, что произошло в столице. Святополк же явился ночью в Вышгород, где у него нашлись приверженцы, и велел им убить брата. Имена этих дружинников такие: Путша, Толец, Олович и Ляшко. А отец им — сатана.

Борис остановился на ночлег, поставив воинские вежи<sup>1</sup> на реке Альте. Злодеи поспешили туда и услышали, как княжич, один в шатре, пел ночью часы, так как даже в походы брал с собою богослужебные книги. Подождав, когда Борис кончил молиться и лег спать, завернувшись в овчину, убийцы ворвались к нему с обнаженными мечами в руках. Никто не оказал им сопротивления; многие воины Бориса, не желая жертвовать своею жизнью ради княжеских усобиц, разбежались, другие крепко спали в шатрах, и только некоторые отроки пытались прийти на помощь княжичу. Среди них был любимый оруженосец Бориса, по имени Георгий, родом угр. Видя, как враги пронзили Бориса мечом, и слыша его предсмертные стоны, он воскликнул:

— Если погибает мой князь, пусть умру и я!

В ночном переполохе вышгородцы убили и оруженосца, а потом отрубили ему голову, чтобы удобнее было снять с шеи золотое ожерелье, которое Борис подарил этому преданному воину. Самого княжича, который еще дышал, злодеи завернули в рядно, положили на повозку и под покровом темноты повезли в Вышгород. Но, узнав, что брат только тяжело ранен, Святополк послал двух варягов с приказом прикончить Бориса. Они так и сделали.

<sup>1</sup> Воинские палатки.

Когда вновь наступила ночь, окровавленное тело несчастного княжича привезли в город и тайно похоронили около церкви.

Глеб был в это время далеко, в муромских лесах. Святополк отправил к нему гонца со словами: «Приезжай не мешкая, ибо отец твой умирает!»

Не подозревая, что за этими словами кроется предательство, Глеб поспешно и с малой дружиной отправился в Киев. В Смоленске он оставил коня и поплыл в ладье. Но здесь Глеба встретил посланец Ярослава и открыл ему глаза на истинное положение вещей. Узнав о кознях Святополка, княжич решил искать спасения в бегстве, однако убийцы уже настигали свою жертву, и собственный кухарь, подкупленный Святополком, убил Глеба тем самым ножом, которым резал к обеду петухов и барашков.

— Как агнца невинного,— вздохнул Ярослав, вспоминая страшные дни.— Месяца сентября в пятый день, в понедельник. В тот час над Русской землей зажглись два дивных светильника.

Но горницу уже посетили другие кровавые призраки. Ярослав вспомнил о своих тогдашних волнениях и страхах. Сестра его Предслава уведомляла в предостерегающих письмах обо всем, что происходило в Киеве. Ярославу оставалось выбирать: или бежать к варягам, как некогда поступил при таких же обстоятельствах отец, и спастись за морем, где жила семнадцатилетняя Ингигерда, о которой молодой князь неоднократно слышал от скандинавских скальдов, воспевавших ее красоту и хозяйственность, или же начать братоубийственную войну.

Ярослав знал, что варяги обвиняли его в скопидомстве, хотя и уважали за ум и представительную наружность. Но теперь не приходилось жалеть денег, чтобы прибегнуть к помощи наемников. Как раз в те дни в Новгороде очутился ярл Эдмунд, тоже бежавший от грозившей ему опасности, когда конунг Олаф, по прозванию Святой, стал истреблять своих соперников. Слепив самого опасного врага, ярла Рерика, он сделался единовластным господином страны, и Эдмунд опасался, что и с ним будет поступлено так же. Слепленню варяги научились у греков, у которых этот обычай считался чуть ли не человеколюбивым, так как лишение возможности видеть мир обычно заменяло в Константинополе смертную казнь. Ярл покинул Скандинавию и, по примеру многих других товарищей по несчастью, поспешил в Гардарик, или страну городов, как варяги называли Русь.

Беглецы были радушно приняты в теплом дворце новгородского посадника. На первом же пиру в их честь, за чашей меда, среди подогретых хмельными парами повествований о подвигах и любовных приключениях, начался торг с наемниками. Но Ярослав хотел точно знать, на каких условиях Эдмунд предложит в его распоряжение мечи своих храбрых воинов.

Ярослав запомнил мельчайшие подробности разговора. Ведь речь шла тогда не о пустячных вещах, а о жизни и смерти. Вдали сияли синие глаза Ингигерды. Судя по рассказам варягов, приходивших в Новгород, молодой князь считал, что эта северная красавица могла бы стать для него достойной супругой и что не лишне породниться с ее влиятельным семейством, чтобы во всякое время получать помощь от варяжских ярлов. Он чувствовал себя полным сил, хотел бороться за свое будущее, хотя с детства не отличался крепостью мышц, был хром и напор сердечных чувств привык сдерживать и проверять разумом, действовал всегда с осторожностью, свойственной дальновидным людям.

Заметив, что воск обильно стекает на серебро светильника, Ярослав послунил пальцы и снял со свечи нагар. Воспоминания теснились в его душе... В обширной, но низкой горнице пахло тогда гарью факелов и перебродившим медом. На столах стояли деревянные блюда с огромными кусками

говядины. Желаящие отрезали острым ножом сколько нужно, клали мясо на ломоть хлеба, солили по вкусу, опуская персты в солонку, и насыщались, прерывая еду только для того, чтобы послушать очередного скальда. Певцов было несколько, русских и скандинавских, и перед тем, как петь, они долго перебирали струны арфы или гуслей, точно в ожидании вдохновения, а потом улаживали слух гостей сильными и красивыми голосами, за какие одинаково ценят певцов воины и женщины.

Лишь два человека оторвались на время от этого песенного мира и держали себя как настоящие купцы, ведущие трудный торг.

Ярослав был очень осторожен в выборе выражений, зная, что каждое сказанное слово будет принято как написанное в грамоте с семью печатями. Кроме того, рядом с ним сидел на пиру седобородый новгородец, тысяцкий Гюрята, с которым приходилось считаться, потому что он предводительствовал сильным новгородским ополчением и в его распоряжении была богатая городская казна.

Эдмунд прилично обратился к Ярославу и сказал:

— Мы хотели бы сделаться защитниками твоего дела. Нам ведь известно, что произошло в Киеве. Нельзя сказать, чтобы жизнь твоя находилась в безопасности, а мои товарищи — опытные воины и способны оказать тебе большие услуги в трудную минуту.

— Не думай, что я так уж нуждаюсь в вашей помощи, — ответил со смехом Ярослав. — У меня тысячи новгородских воинов.

— Не спорю, они неплохо владеют боевыми топорами, но ведь мирные плотники и хлебопашцы не любят покидать свои нивы. А мы готовы служить тебе, пока ты не справишься со всеми врагами.

— Я знаю, что вы храбрые воины. Но все зависит от того, сколько вы потребуете за службу.

У Ярослава была круглая, темная, подстриженная по константинопольской моде борода. Так ее носили греческие цари и те патрикии и магистры, что приезжали иногда на Русь с посольскими поручениями, Эдмунд же, по старому обычаю, отпускал длинные усы и брил подбородок.

Торг продолжался. Ярл подумал немного и заявил:

— Во-первых, — загнул он мизинец на левой руке указательным пальцем правой, — ты пожалуешь нам с Рагнаром и всем нашим спутникам подходящие помещения и не откажешь ни в каком добре из своих запасов.

— На такое иждивение я согласен, — ответил Ярослав, переглянувшись с Гюрятой. Старик раскраснелся от меда, но неизвестно, о чем думал в этот час.

— Сверх того, — загнул Эдмунд еще один палец, — согласен ли ты платить по унции серебра в месяц каждому воину, а начальникам ладей назначить двойную плату? На таких условиях мы согласны сражаться впереди твоего знамени. И позволю тебя уверить, что за нашими щитами ты будешь чувствовать себя в полной безопасности.

Варяг не очень высоко ставил воинские качества Ярослава, еще не проявившего себя на полях сражений, и считал, что предлагает очень выгодную сделку, но молодой князь, наделенный более тонким восприятием человеческих отношений, чем грубоватый наемник, нахмурился. Он не собирался прятаться за чужими щитами! Кроме того, условия варягов показались ему малопримлемыми. Ярослав посмотрел на Гюряту, как бы прося у него поддержки, и ответил:

— На это я не могу согласиться.

Однако Эдмунд вел себя так, как будто бы всю жизнь занимался торговыми делишками, что было недалеко от истины.

Он вздохнул.

— Жаль... Впрочем, если тебе затруднительно сейчас платить деньгами,— сказал варяг после некоторого размышления,— то мы согласны принять плату за службу мехами. А если у нас случится военная добыча, ты заплатишь серебром.

Молодой посадник обдумывал выгодность соглашения. Ценные меха бобров и соболей он мог и сам с выгодой переправить в греческую землю, где зябкие красавицы кутались в соболиные шубки... Но требовалась помощь наемников. С одними новгородцами рассчитывать на успех не приходилось. Особой нежности к своему князю они не испытывали. Эдмунд прав. Эти миролюбивые люди брались за оружие только в случае крайней нужды, когда на них нападали. А богатым купцам, как Гюрята, нужен только свободный путь от Новгорода до Царьграда...

Ярослав стучал пальцами по столу. Гюрята протянул чашу отроку, чтобы тот налил меду.

— Пожалуй, на такие условия мы можем согласиться? — вопрошающе посмотрел на него князь.

Польщенный, что молодой Владимирович ничего не предпринимает без его совета, старый тысяцкий погладил степенно бороду и ответил:

— Ты мудро решил. Новгород поможет тебе.

Соглашение было заключено. Варяги вытащили свои птицеобразные ладьи на берег, чтобы зимовать в Новгороде. Ярослав велел предоставить им хорошо натопленные дома, а горницу, в которой поселились Эдмунд и Рагнар, его седоусый сподвижник, обить красной материей. Воины стали немедленно вносить в нее оружие, меха, железные уключины, весла, неводы для ловли рыбы — все, что могло пропасть без присмотра, и вскоре это жилище превратилось в обжитое логово воинов, где топится очаг, пахнет овчиной и железом, куда днем рабы носят мед в глиняных кувшинах, а ночью приводят женщин.

В течение всей зимы никаких военных действий не предпринималось. Наступила весна. Снова выглянуло солнце, и быстрые ручейки побежали вдоль холмистых новгородских улиц, изливаясь с веселым журчанием в Волхов. Ярослав по-прежнему выжидал, а Святополк продолжал свое каиновое дело. Святослав, княживший в Деревях, ближе всех к Киеву, узнав, что и ему угрожает опасность со стороны немилосердного брата, надумал бежать в Угорщину, но где-то уже у самых голубых Карпатских гор его настигли посланные вдогонку печенеги и безжалостно убили.

В конце концов Ярославу ничего не оставалось, как выступить с оружием в руках.

Встреча новгородцев с войсками Святополка произошла несколько позже, когда уже стал замерзать Днепр. Это случилось у города Любечь, где противники расположили свои станы на разных берегах реки. Однако время проходило в бездействии. Ни Ярослав, ни Святополк не решались переправиться через реку. Дружинники Святополка, большие любители пенного меда и веселья, кричали с противоположного берега, надсмехаясь над новгородцами:

— Эй, плотники! Зачем пришли сюда с вашим хромцом? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!

Ярослав в детстве покалечил себе ногу, слегка припадал на нее. Но новгородцам подобные шутки были не по душе. Они стали требовать от своего князя:

— Чего ты ждешь? Перейдем на ту сторону! А кто не пойдет с нами, того мы убьем.

В лагере Святополка находился тайный друг Ярослава, и осторожный князь послал к нему соглядатая спросить:

— Что нам делать? Меду мало, а дружины много...

Благожелатель велел передать князю:

— Настал час поить дружину медом!

Святополк впервые на Руси привел против христиан печенегов. Он стоял со своей конницей между двух озер, не давая себе отчета, что всадникам трудно действовать в болотистой местности. Повязав головы белыми убррусами, чтобы можно было отличить в темноте своих от врагов, новгородцы в полночь переправились на противоположный берег, а ладьи оттолкнули, отрезая путь отступления малодушным. Началась ночная битва. Эдмунд с варягами сражался на другом крыле. Впоследствии он уверял конунга, что это его храбрецы, а не новгородские мужики решили участь сражения. Но, вспоминая с книгой в руках ту страшную битву, Ярослав видел все, как было. Перед его умственным взором вновь возникла суматоха сражения. Ярл пререкался с Гюрятой и убеждал его поставить стражу у ладей, а не stalkивать их в реку. Но ладьи все быстрее скользили по черной воде в темноту ночи. Варяги негодовали на такую опрометчивость, и новгородцы осыпали наемников обидными словами.

— Какое войско так поступает! — зывал Эдмунд.

— А ты за что служишь? За гривну в месяц? — смеялись над ним новгородцы, вдруг превратившись из мирных плотников в кровожадных барсов.

Благодаря их мужеству Святополк потерпел жестокое поражение и бежал с остатками своих союзников в степи, а оттуда темными окольными дорогами перебрался в Польшу, Ярослав же отпраздновал победу и сел на киевском столе.

Но русского князя ждали новые затруднения и опасности. Святополку удалось завязать союзнические отношения с польским королем Болеславом, и по их наущению печенеги в огромном числе напали на Киев. Кочевников этот город манил сказочным богатством, горами мехов и серебряными ожерельями киевлянок, и они рвались к городским воротам. Только к вечеру Ярослав одолел печенегов, погнал в степь и там рассеял, как прах. А вскоре другие бедствия обрушились на Русскую землю. Киев опустошали чудовищные пожары. Угроза со стороны польского короля не исчезла, а срок договора с варягами кончался. Жалованье им часто задерживалось по несколько месяцев, и однажды Эдмунд спросил конунга, желает ли он возобновить соглашение. Надеясь, что полученные в Киеве известия о смерти Святополка соответствуют истине, и зная о неладах поляков с немцами, Ярослав отвечал уклончиво. Но ярл настаивал на определенном ответе.

Тогда князь сказал:

— Полагаю, что в настоящее время у меня уже нет необходимости в твоих людях.

— Как знаешь, — ответил ярл, кусая ус.

— А если бы я вновь захотел прибегнуть к вашей помощи, то какие твои условия?

— Мы требуем теперь по унции золота на человека, не считая платы начальникам ладей, — развязно заявил Эдмунд.

— Тогда ты можешь считать наш договор оконченным.

— Это в твоей власти, конунг.

Великий хитрец и дальновидный человек, Ярослав только делал вид, что может обойтись без варягов, чтобы подешевле заплатить за их услуги. Однако ярл тоже понимал толк в торговых сделках. Он ехидно спросил:

— Но действительно ли ты уверен, что Святополка нет в живых? Тогда мы знали бы все подробности о таком важном событии. А между тем где же его могила? Приличные ли были устроены ему похороны? Что-то ничего не слышно о поминках.

— Может быть, мы еще услышим,— пробормотал князь.

— А люди, наверное, знали бы о местоположении могилы знаменитого воина,— не унимался Эдмунд.— Купцы, что приходят из Польши, рассказывают много всяких историй, но об этом не говорят ни слова. Не правда ли, странно, конунг? Боюсь, что твои люди только из раболепства убеждают тебя, что Святополк умер, чтобы сделать приятное своему господину, а на самом деле тут происходит нечто иное.

— Тебе известно что-нибудь? — не выдержал Ярослав.

Настало время вести игру ярлу. С деланным равнодушием он стал рассказывать:

— Я сам ничего не видел, но люди говорят разное. Осведомленные путешественники, которым я вполне доверяю, передавали, что твой брат жив и зиму провел в степях, собирая там воинов. А ты сам отлично понимаешь, для чего они нужны ему.

Положение Ярослава оставалось еще весьма непрочным, поэтому приходилось считаться с этими жадными до золота наемниками, и договор был возобновлен. Ярослав даже постарался завязать отношения с немецким императором Генрихом и заключил с ним союз, но польский король и Святополк разбили немцев. Позднее оба напали с поляками, уграми и печенегами на Русь. Летом они расположились на реке Буге. Туда пришли и полки Ярослава. Но он, по своему обыкновению, медлил начать военные действия, не стремясь проливать человеческую кровь. В этом сказывался его русский характер: никогда не начинать драку первым.

Зато варяжский воевода Блуд, дядька Ярослава, известный задира и насмешник, развезжая на коне по берегу, издевался над непомерно толстым польским королем:

— Вот мы тебе скоро проткнем копием брюхо!

Такая похвальба не нравилась русским воинам, в большинстве своем хлебопашцам. Они любили сражаться в открытом поле, строй на строй, и уважали врага, чуждого вероломства, но битву горестно сравнивали с жатвой или с сельскими работами на гумне, где цепи стучат по снопам. Так и война веет душу от тела.

Повода для войны не было. Ярослав читал книги и предавался рыбной ловле. Однажды он оставил войско и удил на реке щук, радуясь счастливому улову. Воспользовавшись этим, Болеслав по наущению Святополка напал на киевское войско, и сам Ярослав едва спасся после этого разгрома. С немногими воинами, бросив все на произвол судьбы, он опять бежал в Новгород. Дорога на Киев была теперь открыта для врагов, и поляки вступили во главе со своим тучным королем и Святополком в притихшую столицу. Короля встретил у ворот и передал ему в виде добычи церковные сосуды тот самый Анастас, что некогда послал из Херсонеса стрелу в русский лагерь с указанием, где надо перекопать подземные трубы, доставлявшие в осажденный город воду. Владимир сделал Анастаса епископом и поручил ему Десятинную церковь, и вот он изменил Русской земле, как Иуда.

Ярослав уже считал, что все теперь потеряно, и в полном отчаянии собирался плыть за море, но упрямые новгородцы порубили секирами княже-

ский корабль, снаряжавшийся в морское путешествие, и решительно заявили князю:

— Хотим еще биться с Болеславом!

К счастью, скоро обстоятельства изменились в пользу Ярослава. Вражеские отряды, стоявшие в русских городах, вели себя разнузданно и были один за другим перебиты восставшими жителями. Болеслав поспешил уйти в Польшу. Святополк остался в Киеве с одними печенегами, и от него все отвернулись, так как русские люди не любили этого князя, зачатого в прелюбодеянии и пришедшего в Киев с иноплемениками.

Между тем богатые новгородцы снова собрали необходимые средства, чтобы нанять в помощь себе варягов, и двинулись на освобождение Киева. Знаменитая битва, о которой долго говорили в самых отдаленных краях Русской земли и после которой многие жены плакали в печенежских степях, произошла на реке Альте. Сеча была ужасной. Наступила пятница, и всходило солнце, когда обе стороны начали бой. Сходились трижды, воины рубились, хватали друг друга за руки, и кровь ручьями текла по оврагам. К вечеру Святополковы знамена пали, и новгородские воины отерли с чела трудовой пот, точно закончили обильную жатву. Святополк бежал с остатками печенежских войск, и Ярослав вступил в Киев...

Свеча догорала, и в полумраке стали выползать из темных углов опочивальни страшные тени. Ярославу припомнилась еще одна беседа с Эдмундом. Дело происходило так...

Однажды ярл спросил его в явном смущении:

— Скажи, конунг, как нам поступить с твоим братом, если он случайно попадет в наши руки? Не разумнее ли убить его? Ведь никогда не настанет тишина в государстве, пока он будет жить на земле и замышлять против тебя всякие козни.

Ярослав вздрогнул. Он знал, что Эдмунд прав, что Святополк — брат лишь по отцу, а может быть, и не брат — много зла сотворил на Руси и не перестанет и впредь проливать христианскую кровь ради своего честолюбия. Но все-таки они были с ним из одного гнезда. Уклоняясь от прямого ответа и глядя в сторону, князь сказал сквозь зубы:

— Не могу никого подговаривать на убийство Святополка.

Он ушел поспешно в опочивальню, чтобы прервать неприятный разговор. Ах, почему память так цепко хранит проклятые подробности былых деяний? Есть ли прощение в будущей жизни за братоубийство?

А ярл Эдмунд подумал, что разгадал тайные мысли и опасения русского конунга. Вскоре после этого, рано утром, Эдмунд позвал своего побратима по оружию Рагнара и еще десять отборных воинов, среди которых оказались оба Торда, Бьерк и другие храбрецы, и велел им седлать коней. Всем было приказано одеться в платье торговых людей. Двенадцать всадников, позевывая на утреннем холодке, отправились в дубовый лес очередной скандинавской саги.

Позднее варяги рассказывали Ярославу всякие небылицы. Якобы, нацепив бороды из пакли, они проникли в лагерь Святополка, скрывавшегося в те дни с остатками своего войска в далеких степях. Выдав себя за купцов, Эдмунд с товарищами ворвались ночью в шатер князя и убили его предательским образом. Затем поспешили обратно в Киев, и у одного из всадников болтался притороченный к седлу мешок с головой Святополка. Настало утро. Эдмунд явился в княжеский дворец. Этот наемник, для которого убить человека, даже не такого презренного, как Святополк, было так же просто, как раздавить муху, спросил Ярослава, довольный своей ловкостью и удачей:

— Узнаешь?



И вытряхнул из мешка страшную мертвую голову, упавшую на пол с непереносимым стуком.

Ярослав затрепетал и закрыл лицо обеими руками. От волнения оно налилось кровью...

Даже теперь, спустя много лет, князь выронил книгу из рук и застонал. Будучи ребенком, он жалел птенцов, выпадавших из гнезда, порой ему становилось жаль до слез слепцов и убогих. И вот столько крови пролилось на земле ради него! Когда же настанет конец человекоубийству?

Впрочем, мысли о мире стали приходить в голову Ярославу уже после того, как он упрочил свое положение. О мире говорилось в книгах, которые князь прочел. Но в те дни он еще находился весь в ожесточении борьбы за власть. И все-таки сердце его тогда мучительно жгалось. А Эдмунд, как будто речь шла о самых обыденных вещах, спокойно сказал:

— Прикажи похоронить эту главу с подобающими почестями!

— Опрометчиво ты поступил, — прошептал князь, и слезы полились у него из глаз.

Голова человека, которого книжники называли Окаянным, являла собою ужасное зрелище: искаженное лицо с оскаленными зубами, борода в запекшейся крови, сведенный на сторону рот; одно тусклое око было приоткрыто, точно мертвец подмигивал своим врагам и убийцам. Впрочем, присутствовавшие при этой беседе воевода и бояре смотрели на страшный трофей без большого волнения. Даже испытывали некоторое христианское удовлетворение: бог еще раз покарал зло! Чтобы лучше рассмотреть, воевода повернул голову ногой в зеленом сапоге...

Однако на этом еще не кончилась междоусобная война. В Тмутаракани сидел другой брат Ярослава, храбрый и веселый Мстислав, любимец своей, набранной из всяких бродяг, дружины.

Тмутаракань, таинственный город, лежала в далеком краю Русской земли, у подножия Кавказских гор. Удобное сообщение по морю связывало его с Херсонесом и Константинополем и весьма благоприятствовало торговле. В этом разнородном поселении обитали русские и греки, восточные купцы и хазары; сюда стекались беспокойные люди и беглые рабы; здесь рекой лилось доступное всякому вино, потому что на холмах, со всех сторон обступивших город, росли тучные виноградные лозы; на улицах часто слышалась греческая речь, и на базарах продавались странные для северян южные плоды — дыни, финики и рожки. Здесь уже веял с моря свежий ветер, надувая паруса больших торговых кораблей, и еще от тех времен, когда в этих местах обитал сильный, но исчезнувший с лица земли народ, в Тмутаракани остались вымощенные плитами улицы, кирпичные дома с внутренними двориками и глубокие каменные водоемы, а на городской площади возвышалась огромная статуя, искусно высеченная из мрамора рукой каменотеса, однако не пощаженная временем. Некий философ, случайно попавший сюда, рассказывал на пиру Мстиславу, что этот памятник воздвигла в честь своего мужа, боспорского царя Перисада, некогда владевшего областью, его верная супруга, оставшаяся вдовицей. Разговор происходил за чашей вина, и присутствовавший за столом русский певец внимательно слушал грека, с трудом объяснявшегося по-славянски, а потом использовал рассказ в одной из своих песен, и позднее другой певец заимствовал у него упоминание о тмутараканской статуе, освещая нам черную ночь давних времен.

Жизнь в Тмутаракани, приятная и полная перемен, так нравилась Мстиславу, что он не желал перебираться в Киев. Это был человек, который

холил свое сильное тело и больше всего на свете любил свою дружину. Воины тоже почитали князя за храбрость в бою и щедрость на пирах. На дворе у него годами жил великий Боян, русский соловей. Певец назвал Мстислава Храбрым, воспел подвиги победителя Редеди и порой подсмеивался в своих песнях над хромоногим Ярославом, так как в Киеве скупались на пенязи, не любили тратиться на пиры. А потом книжники предали эти песни забвению и прославили Ярослава, наделив его образ благородными чертами и приписав ему христианские добродетели за любовь к церковным людям.

Мстислав отличался красотой, огромными глазами и не знал страха смерти. Однажды он пошел войной на соседних косогов, чтобы наказать их за ночные набеги, во время которых эти разбойники часто убивали жителей Тмутаракани и угоняли скот. Услышав об этом, косожский князь Редедя прислал сказать ему:

— Зачем мы будем проливать кровь наших воинов? Хочешь, сразимся друг с другом, и если ты одолеешь, то возьмешь мои сокровища и моих жен, а если я одолею тебя, то ты отдашь мне все, что тебе принадлежит.

Мстиславу понравилось такое предложение, и он крикнул через поле, разделявшее два воинских строя:

— Выходи на единоборство!

Редедя был великан с мощными руками и бычьей шеей. Надеясь на свою непомерную силу, он предложил русскому князю не биться на мечах, а бороться врукопашную. Мстислав согласился и на это, хотя был тонок станом и не такого роста, как косог. Они схватились посреди поля, и Редедя стал одолевать, а косожские воины поощряли своего предводителя дикими криками, но Мстислав напруг в последнем усилии мышцы, стиснул противника железными руками и ударил о землю, вызвав бурю криков на русской стороне. Выхватив нож, он зарезал Редедю. Тогда косоги побежали, и княжеская дружина далеко преследовала их в поле.

Так была избавлена Тмутаракань от опасности.

В память этого события Мстислав построил в городе каменную церковь, которая стоит до сего дня.

Сражение, которое должно было решить, кто сядет в конце концов на золотом киевском столе, произошло под Лиственном. Мстислав поставил в чело свой полк северян, как обычно называли жителей Чернигова, а дружину, набранную из ясов и косогов, — на правом и левом крылах. Воины Ярослава вышли на поле широким строем, развернули голубое княжеское знамя с изображением архангела, предводителя небесных сил, и с железным ляггом обнажили мечи. В воздухе стояла тишина, как перед грозой.

Битва началась по звуку певучей серебряной трубы. Ярл Якун, военачальник Ярослава, высокий белоусый воин в привлекавшем все взоры золототканом плаще, величественно сидел на белом коне. Он махнул рукой в железной перчатке, и варяги мерным шагом пошли на смерть. Им заплатили за два месяца вперед. Это были как на подбор храбрые воины, предпочитавшие гибель в бою медленному умиранию в болезни на соломе. Ярл ехал позади строя, чтобы удобнее наблюдать за ходом сражения. В какой-то давней стычке под Антиохией, когда он еще служил греческому царю, сардинская стрела пронзила ему левый глаз, и с тех пор Якун носил черную повязку на лице, и его прозвали за это Слепым.

Была осень, стояли воробьиные ночи. На высоких рябинах уже поспевали красные ягоды, низкие тучи ползли по небу, весь день шел дождь, освежавший разгоряченные тела воинов. Но битва не прекращалась даже ночью,

когда вдруг разразилась гроза и ветвистые синие молнии стали беспрестанно ударять в землю, а на небесах не умолкая гремел гром.

При вспышках небесного огня поднятые для удара мечи казались в это мгновение неподвижными в ослепительном сиянии. Знамена намокли от дождевой воды и беспомощно повисли на деревьях.

Всю ночь варяги рубились с черниговцами. Но в минуту, подстереженную с большим воинским разумением, когда уже стало видно, что наемники изнемогают, Мстислав обрушил на врагов всю свою конницу. Скандинавы не выдержали стремительного натиска, сопровождаемого диким воем, и побежали, устилая под ударами кривых сабель мертвыми телами землю. Когда воинский строй превращается в беспорядочное стадо, нет ничего страшнее для пешего воина, чем блеск клинка в руке вражеского всадника.

Понимая, что битва проиграна, Ярослав искал спасения в бегстве. Вслед за ним помчался Ярл Якун, оставив на поле сражения свой знаменитый плащ, производивший такое впечатление на молодых воинов и русских летописцев. Потом этот прославленный воин уплыл за море и вскоре умер там, не перенеся позора поражения и гибели товарищей по оружию...

Ярослав закрыл книгу и тяжело вздохнул, вспоминая слова Мстислава, о которых ему передавали впоследствии, не без насмешки над его жалким бегством. Будто бы Мстислав, объезжая под утро поле битвы, сказал:

— Ну как мне не радоваться! Вот лежит северянин, а вот — варяг... Моя же дружина цела.

Ярослав смотрел на догоравшую свечу и ясно представлял себе веселие тмутараканского князя. Что значили для этого легкомысленного любителя пиров и блудниц заботы о государстве? Мстислав думал не о Русской земле, а лишь о своем приятном житии, об охотах на туров и о блестящих, хотя и бесполезных, победах. Между тем наступили иные времена. Илларион вразумительно объяснил всем в своих сочинениях, что земля, и люди, и все, что стоит на земле, — города, погосты, церкви, гумна, все произрастающее на ней — составляют государство, и за это придется дать ответ перед судом потомков.

Ярослав сел, опираясь руками о постель, и еще раз увидел то осеннее утро, когда он, спасая свою жизнь, как безумный, проскакал в тумане мимо Листвена. Если бы князь оглянулся, то увидел бы, как над полем сражения уже кружатся черные птицы, готовясь сесть на трупы и выклевать глаза у мертвецов. Победители, как это везде было в обычае, стягивали с убитых кольчуги, одежду и обувь, собирали уроненное оружие и стрелы и весело перекликались на поле, радуясь добыче. Ярослав не оборачивался. Он спешил в Новгород. Новгородские мужи понимали, что сила государства в единении всех русских областей, и могли с одинаковым упорством сражаться за Киев и Тмутаракань, как и за свой город и его торговые пути.

Но Мстислава не тянуло на берега Днепра. Он велел сказать Ярославу: — Садись в Киеве, ты старший брат, а мне будет та сторона.

Границей между двумя владениями стал Днепр. К Ярославу отошли Киев, Новгород, Ладога, Смоленск, Полоцк и многие другие города, к Мстиславу — Чернигов, Любечь, Переяславль и милая его сердцу Тмутаракань, где уже плескалось теплое море. Окончательный мир был подписан в Городце.

Никто не мог оспаривать великолепную победу Мстислава. В упоении своим величием, окруженный певцами и тоненькими, как тростинки, кавказскими красавицами, молодой князь весело пировал, и его подвиги под

Лиственном воспел седоусый певец с косматыми бровями и цепкими, как у орла, пальцами, рвавшими струны на княжеских пирах. В ту ночь, когда происходила битва под Лиственном, Боян стоял под дубом на соседнем холме и видел, что при вспышках молний поднятые для удара мечи казались на мгновение неподвижными.

Была осень,  
Стояли ночи рябиные...

На пиру присутствовал константинопольский царедворец, прибывший в Тмутаракань с тайным поручением от греческого царя, и, поблескивая черными ласковыми глазами, пил небольшими глотками вино из чаши, чтобы продлить удовольствие, вместе с другими внимая певцу. Патрикий знал русский язык, так как по матери он происходил из знатного болгарского рода Николицы. Его звали Кевкамен Катакалон. Потрясенный песнью Бояна, он сказал:

— Поистине это русский Гомер!

Грек, в нарядном красном плаще с золотым украшением на груди, хвалился белыми холеными руками, тяжелыми перстнями, унизовавшими его пальцы. Он говорил вкрадчивым голосом, но больше слушал. В Константинополе хорошо знали о недоброжелательном отношении Ярослава к ромеям, и патрикия Катакалона послали в Тмутаракань с повелением еще раз поднять Мстислава против брата. В Священном дворце решили, что легче иметь дело с этим падким на удовольствия молодым князем, чем с расчетливым и недоверчивым Ярославом. Патрикию казалось, что песня о победе подогрела мечты амфитриона о подвигах и что наступил благоприятный момент завести речь о борьбе за первородство. Улучив минуту, когда старый певец подкреплялся чашей пенного меда, грек шепнул князю:

— Вот ты пируешь, а не имеешь никакого представления о том, что происходит в Киеве!

— Какое мне дело до того, что творится в Киеве?

Князь нахмурился, недовольный, что с ним заводят серьезные разговоры на пиру, в час веселия.

— А между тем твой брат собирает воинов, чтобы захватить Чернигов.

— Кто тебе это сказал?

— Так рассказывали греческие купцы, пришедшие из Киева в Херсонес.

— Брат не любит войну.

— Но желает быть единовластным во всей вашей стране.

— Он клялся на кресте.

— Клятву часто нарушают, если она не выгодна.

— Не верю, чтобы Ярослав стал клятвopеступником.

— Но почему ты не хочешь предупредить события?

Мстислав скривил губы, казавшиеся еще более яркими от белокурой бороды. Он презирал соглядатаев и наушников. К чему утруждать себя заботами, когда за столом сидят друзья и глаза женщин полны неги. Патрикий понял, что поторопился, и, по-змеиному облизнув губы, поднял чашу, звякнув о нее золотыми перстнями...

Но вскоре в Тмутаракани умер сын князя Евстафий, а некоторое время спустя, протрудившись на охоте, преставился и сам Мстислав. Его положили в церкви Спаса, стены которой тогда были выведены на такую высоту, сколько можно достать рукою, сидя на коне. Теперь уже ничто не мешало Ярославу объединить русские земли от Тмутаракани до Карпат. Снова Русская земля стала единой.

Происходили и другие события в жизни Ярослава. Было столкновение с неразумным племянником Брячиславом, осмелившимся напасть на Новгород и похитить в св. Софии золотые церковные сосуды, светильники и облачения. Но на реке Судомири его настигла карающая десница Ярослава, пленные и добыча были возвращены в Новгород. Позднее Ярослав ходил войною на поляков, ятвягов и литовцев и неизменно возвращался с победой. Польскому королю Казимиру он помог подавить восстание язычников и посадил его в Гнезно на престол.

Короткая ночь проходила за книжным чтением и в воспоминаниях. За окном пропели вторые петухи. Князю снова послышался шум шагов, приглушенный разговор.

У дверей княжеской ложницы в ту ночь стояли на страже отроки Янко и Волец. Они то дремали, сидя на полу, то шепотом рассказывали друг другу разные небылицы. Оба были сильные безбородые юноши, их клонило ко сну в этой дворцовой тишине. Но каждую минуту мог явиться ярл Филипп, начальник охранной стражи, и спать они опасались.

Волец шептал о том, как у них в клети чудил однажды домовый.

— Каков же он собою? — со страхом спрашивал Янко.

— Весь волосами оброс, мукой осыпан.

— Ты видел?

— Нет, не видел. Мать видела.

— Говорил что-нибудь?

— Домовой?

— Он.

— Шипел добродушно.

— А еще что?

— Ничего больше не случилось в тот час.

В свою очередь Янко стал рассказывать, как на реке в лунную ночь смеются и плачут русалки.

— Луна светила, как днем. Дерево склонилось к воде. На его суку сидела нагая дева, качалась, расчесывала волосы зеленого цвета.

— Нагая?

— Звала меня, лаская свои нежные перси.

— А ты?

— Мне страшно стало. Русалка звала, обещая лобзання, но я знал, что она в омут манила. Это было на реке Сетомле.

У Янко кипела молодая кровь, отроку не терпелось жениться на румяной боярской дочери, всюду ему мерещились девические лики. Он родился сыном знатного дружинника, по возмужании ему предстояло сидеть в княжеском совете.

Волец же случайно попал в отроки: его взяли в дружину по просьбе пресвитера Иллариона, которому князь ни в чем не мог отказать. Отец отрока был простым плотником из Курска, усердно работал по церковному строению и этим снискал себе любовь священника, и это он устроил юношу в дружину. Но курянин еще не привык к дворцовой тишине, и ему казалось, что сапоги его слишком громко стучат по лестницам и переходам. Вольда часто обижали боярские сыновья, хвалившиеся своей знатностью и богатством, и тогда ему хотелось уйти в один из тех городов на реке Роси, что защищают русские пределы от печенегов, или в Тмутаракань.

Он мечтательно говорил об этом городе:

— Рассказывают, там свобода. Всякий человек волен, как ветер. Вот почему туда бегут рабы.

— Ты же не раб,— заметил Янко.

— Не раб, и мой отец свободный, и дед. Потому мы и бережем свободу.

— Здесь легче снискать милости.

— Здесь смеются над моей бедностью. Лучше бы я был плотником, как отец...

Приятели умолкли и схватились за мечи. По лестнице кто-то осторожно поднимался. Оба вздохнули с облегчением, когда увидели, что это скопец и с ним ярл Филипп и толстый воевода...

Ярослав стал прислушиваться. Теперь у двери явственно слышались голоса, звон оружия.

— Отроки, кто там? — крикнул князь, протягивая руку, чтобы взять меч.

Но за дверью раздался знакомый голос скопца. Как в Священном константинопольском дворце, он гнусаво забормотал благочестивой скороговоркой:

— Во имя отца, и сына, и святого духа...

— Аминь,— сказал князь.

— Беспokoим тебя, светлый князь.

— Что тебе?

— Важные вести.

Ярослав опустил ноги на пол и босой, отчего еще больше хромал, подошел к двери и отодвинул дубовый, прочный, как железо, засов.

Слабый свет свечи, которую он держал в руке, озарил желтое, морщинистое лицо дворского Дионисия, напоминавшее увядшее яблоко, а за ним седые усы воеводы и необычайную красоту ярла Филиппа, волосы которого напоминали об архистратиге Михаиле. Позади стояли державшие ночную стражу отроки, взволнованные, но довольные, что нечто произошло во время их службы, о чем можно будет рассказать приятелям.

— Что случилось? — повторил князь, по привычке хмурясь, когда говорил с людьми, зависевшими от него.

— Эпистолия!

Евнух протянул ему кусок бересты, на которой было кое-как нацарапано несколько слов. Князь поднес послание к свече и не без труда прочитал его. Мытник сообщал, что шлет гонца, и упомянул его имя.

— Гонца зовут Лестник? — спросил князь.

Скопец посмотрел на воеводу, и тот ответил поспешно:

— Лестник.

— Что говорил?

— Прибыли послы от франкского короля.

Послы от франкского короля! Отпустив людей, Ярослав бережно положил книгу в ларь и запер его. Ключ со звоном повернулся в искусно сработанном замке. В окне уже занималось утро. Наступило время умыть руки и пройти по деревянному переходу на каменное гульбище, шедшее вокруг св. Софии, а оттуда через дверцу — в кафизму, чтобы слушать утреню. Ярослав с удовольствием вспомнил, что сегодня должен служить пресвитер Иларийон. С ним надо будет посоветоваться о многих вещах. Митрополит Феопемпт, изнемогая от недугов, в этот час еще нежилась в постели и, по своему высокому церковному званию, совершал богослужение только в особые дни.

Ярослав не любил этого человека с дурным дыханием изо рта, хотя в глаза называл святым отцом и верил, что от его молитв зависит спасение

души. Как это ни странно, но немощный митрополит обладал огромной властью над людьми, потому что за ним стояли вселенские соборы и апостолы. Без епископов невозможно создать христианскую церковь на Руси, и князь чувствовал себя как в духовном плену. Разорвать эти цепи еще не пришло время. Но пусть греческий царь не простирает руки на Русскую землю.

Теперь приходилось подумать о многом: какие выгоды можно извлечь из нового брачного союза и не даст ли родство с франкским королем возможность завязать сношения с далеким Римом, чтобы при случае оказывать давление на заносчивый Царьград? Как поступить? Поскорее послать за Всеволодом, чтобы подготовиться к приему послов, а пока сообщить Ирине, как назвал князь жену, о полученном известии. Меньше всего Ярослав думал о том, чтобы обо всем уведомить дочь. Участь всякой девицы — подчиняться родительской воле, жить в послушании.

Одеваясь с помощью внуха, великий князь перебирал в памяти, сколько волнений он испытал, когда отправил послов к немецкому кесарю Генриху, в город, который называется Гослар, с предложением заключить союз и жениться на Анне, и как он негодовал, когда посланцы привезли обидный отказ и сообщили об этом, потупив глаза. Теперь обида будет отомщена. Утешало также, что и другие браки совершены достойным образом. Любимый сын Всеволод женат на дочери греческого царя Константина Мономаха. Она недавно приехала на Русь, и было сладко принять в своем отеческом сердце такую нежную женскую красоту, озаренную ласковой улыбкой. Святослав уже много лет тому назад женился на Оде, дочери графа Штадского, родственника Бурхарда, епископа трирского и ближайшего советника кесаря Генриха; Изяслав — на Гертруде, дочери маркграфа Саксонского; сестра Доброгнева стала польской королевой, выйдя замуж за Казимира, который в вено за нею отдал восемьсот пленников, захваченных Болеславом в несчастном сражении на Буге; дочь Елизавета была за норвежским королем Гаральдом, другая дочь, Анастасия, — за венгерским королем. Эти браки укрепляли дружбу и мир, а тишина и мирное житие благоприятствуют сельским работам и переписке книг. Когда война, пахарю не до плуга, а книжнику не до тростника для писания.

### III

Ингигерда, при крещении нареченная Ириной, выбрала для опочивальни горницу, соединенную с ложницей Ярослава низенькой дверцей. В тот год, когда старый муж оставил все земные помышления, княгиня перебралась сюда со своими подушками, а после отъезда сестер и Анна спустилась к матери из девичьего терема, где ей стало скучно и страшно в одиночестве, и теперь спала вместе с родительницей на широкой постели под беличьим покрывалом.

Отцом Ингигерды был конунг свевов, а мать — дочь храброго ободритского князя, поэтому княгиня с детства знала славянский язык. В юности она получила скандинавское воспитание и до конца жизни тосковала по далекому северу, где стоят голубые ели. В те дни она была влюблена в норвежского ярла Олафа, которого потом стали называть святым в награду за услуги, оказанные церкви, и за деятельную борьбу с язычниками. Но красивую, статную девушку предназначили выдать замуж за богатого русского конунга, хромоногого Ярослава. Он дал ей в вено Ладогу, и молодая княгиня назначила в этот тихий город посадником своего родственника, ярла Рагнвальда. При таких обстоятельствах, в слезах, но покорная родительской

воле, Ингигерда стала госпожой Гардарика, как скандинавы называли Русь, хотя ей порой казалось, что она не господствует в этой стране, а кто-то другой распоряжается ее жизнью и она лишь несется в потоке событий, не зная, куда и с какой целью.

Это произошло вскоре после того, как ярл Эдмунд прибыл вместе с верным побратимом Рагнарором и многочисленными товарищами в Новгород, где они нашли применение своим воинским талантам. Но варяжские ярлы считали, что если не было войны, то следовало возможно приятнее проводить время за пиршественным столом, с чашей греческого вина в руке, или в объятиях красивой и пламенной женщины, потому что жизнь человека коротка и нужно ловить ее сладостные мгновения. Эту жизнь украшали песни скальдов, воспевавших подвиги героев и морские путешествия. В некоторых занимательных сагах упоминалось о хозяйственных способностях и твердости духа Ингигерды. Правда, уже прилетел с юга теплый ветер, и все стало хрупко в этом скандинавском мире, напоминавшем ледяные узоры на зимних окошках. Уже не представлялись такими убедительными блаженства Валгаллы, и порой эти бродяги, служившие то русскому конунгу, то византийскому императору и вообще всем, кто мог заплатить по унции золота в месяц на человека, кончали жизнь, если им удавалось избежать сарацинской стрелы или печенежской сабли, благочестивым путешествием в Иерусалим и даже монастырем.

Однажды Олаф, конунг Норвегии, гостил в Киеве у Ярослава и Ингигерды. Вместе с Олафом приехал его сводный брат Гаральд, по прозвищу Смелый, в тот год впервые увидевший гордую Елизавету. Анне тогда исполнилось двенадцать лет.

Киевский князь, может быть желая поскорее избавиться от слишком красивого гостя, присутствие которого явно волновало Ингигерду (разве не слышали люди ее женские вздохи?), помог Олафу вернуться на родину, где тогда взяла верх язычники, и норвежский конунг начал борьбу за свои права на престол. Однако в морской битве при Стиклестеде Олафа сразила вражеская стрела. Гаральд, тоже принимавший участие в этом сражении на одном корабле, с убитым, еще раз отправился в Киев и привез туда Магнуса, малолетнего сына конунга. Юный ярл нашел радушный прием во дворце, где хозяйкой стала близкая ему по крови Ингигерда, взявшая на себя заботы о воспитании мальчика. Воспользовавшись этим случаем, Гаральд просил руки Елизаветы, но Ярослав не испытывал большого желания отдать красивую дочь замуж за бродягу, у которого не было ни двора ни кола, а надменная девушка в ответ на слова любви только еще выше подняла соболиные брови. Отвергнутый жених некоторое время начальствовал над княжеской сторожевой дружиной, а затем отправился в Константинополь, в надежде, что сердце неприступной русской девы, знавшей цену своей красоте и с большим достоинством носившей наряд препоясанной патрикианки, смягчится, если он прославит свое имя подвигами, достойными героя...

Ингигерда тяжело ворочалась на постели, и ее ставшее уже грузным тело утопало в жаркой лебяжьей перине. В ту ночь княгиня тоже не могла сомкнуть глаз. А рядом крепко спала Анна, уткнувшись лицом в розовую шелковую подушку. В углу горницы, на подостланной рогоже, глубоко дыша во сне, лежала служанка по имени Инга, пятнадцатилетняя девушка из северной страны, рабыня, готовая вскочить каждое мгновение с жесткого ложа и бежать, куда ее пошлют. Ингигерда часто поднимала ее среди ночи за хлебным питьем или за сладостями, от которых женское тело становится ленивым в движениях. Бедняжке приходилось тогда бегать в кладовую по темному переходу, где на полу лежали и сидели отроки, охранявшие ложницу старого



князя. Они хватали Ингу за крепкие икры, а девушка отбивалась и напрягала все силы, чтобы не вскрикнуть. За нарушение тишины и недостойное поведение рабыню могли отослать на поварню и заставить до конца дней молоть пшеницу на ручных жерновах.

Когда благополучно закончилась война за Киев и солнце вновь взошло над Русской землей, Ингигерда перебралась из Ладоги на берег Днепра. Однажды Ярослав показывал молодой супруге свой каменный дворец, каких она никогда не видела, проводя молодость в скромных бревенчатых домах скандинавских ярлов. Дворец был построен еще при княгине Ольге, матери Святослава, которую книжники называли денницей, утренней зарей новой жизни. Пиршественную залу украшала живопись, и греческий художник изобразил на стенах не только христианские праздники, но и различные сцены охоты, корабли на море и пальмы. Ингигерде стало обидно, что ни у ее отца, ни у Олафа, — а она все еще не могла забыть свою первую любовь — не было ничего подобного. Из гордости она сказала в ответ на хвастливые речи мужа:

— Та зала, где принимал гостей Олаф, хотя и устроена на деревянных столбах, но украшена приятнее и больше мне по вкусу.

— Такие слова обидны для меня, — нахмурившись, воскликнул Ярослав. — Они доказывают, что ты до сих пор думаешь о норвежском конунге.

В гневе князь даже замахнулся на жену, но, опомнившись, отвел руку. Это возмутило Ингигерду. Она прошептала:

— Между тобой и Олафом такая же разница, как между землей и небом.

Ингигерда долго помнила эту обиду, и Ярослав тоже любил ее без нежности, ревнуя к конунгу. Но время дарит забвение и залечивает сердечные раны, и княгиня рожала мужу одного за другим здоровых детей. Сначала появился на свет Владимир, потом Изяслав, Святослав, Всеволод и Вячеслав, и всем сыновьям были даны русские имена, а при крещении — греческие, о которых княжичи вспоминали только во время причастия, когда подходили с трепетом к митрополиту, державшему в немощных руках тяжкую золотую чашу. В те годы родились и три дочери: Елизавета, Анна и Анастасия. И вот дети подросли и стали взрослыми, и у каждого из них была теперь своя жизнь. Они говорили между собою о непонятных для матери вещах, но эта властная женщина, привыкшая на севере к другому укладу жизни, чем это житие с трогательными разговорами, считала, что назначение мужей — война и охота, а участь женского пола — деторождение. Между тем что она видела! Не расставался с книгой ни днем, ни ночью старый супруг, сыну Владимиру переписывал пророческие книги в Новгороде некий поп, по имени Упырь Лихой, странный человек, неизвестно откуда взявшийся и говоривший как жидовин; был полон книг дом Святослава; читает славянские и греческие книги Всеволод; и даже Анна, вместо того чтобы заниматься рукоделием или хозяйственными делами, как это надлежит делать каждой благонравной деве, проводит часы за книжным чтением, а потом смотрит куда-то вдаль ничего не видящими глазами и не отзывается на свое имя, когда мать зовет ее.

Ингигерда видела, что наступили иные времена. Теперь князья не стремятся на поля сражений, а предпочитают битвам беседы с греческим митрополитом или чтению Псалтири; люди не заботятся о том, чтобы убить возможно большее число врагов, захватить богатую добычу и продать ее с выгодой или разделить между товарищами по оружию, а помышляют о приобретении сел. Она сама слушала утрени и обедни, раздавала милостыню убогим и нищим, ибо так полагается поступать супруге конунга в христианской стране, но сердце ее было чуждо милосердия. Ведь под солнцем ни на

один час не прекращалась борьба за власть и богатство, и каждый воин должен был думать о славе.

Ингигерда огорчалась при мысли, что ее сын Всеволод не наделен крепким здоровьем, не любит ездить на ловы, травит лишь жалких зайцев, а Изяслав не имеет склонности к воинским трудам. Только Святослав живет как воин: считает войну привычным делом, устраивает часто пиры. Книги не мешают ему радовать свое сердце охотой. Это он научил Анну гоняться за оленями, глубоко дышать лесным воздухом и проводить время с охотниками у костра, на огне которого жарят тушу убитого зверя. Пламенная, беспокойная душа дочери напоминала Ингигерде безвозвратно ушедшую молодость.

Но по ночам старую княгиню посещали страшные думы. Что ждет ее за гробом, ад или рай? Илларион грозил, что адский пламень неугасим, и она не раз созерцала в церкви картину Страшного суда: на ней праведники веселились, грешников пожирал огромный зеленый сатана, и у него из розовой пасти вырывались желто-красное пламя и дым; другие крошечные человечки мучались в котле с кипящей смолой, некоторых пронзали трезубцами хвостатые черти. С наступлением утра детские страхи отлетали прочь...

Княгиня вспомнила, как супруг сказал ей однажды:

— Неужели ты не в состоянии постигнуть это?

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Бог поручил мне Русскую землю, чтобы я и мои сыновья хранили все, что на ней. Ее процветание и нам с тобой на пользу.

Княгиня знала, что подобные мысли внушает мужу пресвитер Илларион, вышедший из черного народа.

— И смердов тебе поручил бог? — усмехнулась она.

— И смердов, и коней их, и крестьянские нивы и гумна.

Ингигерда мысленно пожимала плечами. Стоило ли сокрушаться и не спать ночи напролет по поводу смердов, которые не желают трудиться на своего князя и знатных дружинников, проливающих за них кровь?

Ее воспитывали по-иному. В ранней юности она принимала участие в деятельном труде, хозяйничая в оставленном на ее попечение доме, возясь с коровами и овцами. Судьба наделила ее смелым сердцем и сильными руками. Приходилось ей бывать и в опасных положениях. Порой она усердно помогала мужу, была его советчицей в трудную минуту, когда речь шла о житейских вещах.

Однажды варяги покинули Ярослава и отказались служить ему, недовольные тем, что конунг стал скуп на жалованье. Ярослав считал, что наемники уже не нужны ему, и равнодушно отнесся к их отъезду. Теперь он мог рассчитывать на русскую дружину и на ополчение, в рядах которого храбро сражались смерды, защищая от врагов государство и свое достоинство. Но одна из прислужниц Ингигерды, красивая и болтливая девушка из Уплаандии, была наложницей Эдмунда, и от нее княгиня узнала, что варяги собираются плыть в Полоцк, в тот самый город, который при некоторых обстоятельствах мог стать киевскому князю поперек дороги.

— Уверен ты, что тебе не придется и впредь столкнуться с Эдмундом в какой-нибудь битве? — спросила Ингигерда своего мужа.

Действительно, варяги уже снаряжали ладьи, названные именами любимых женщин или благородных птиц и зверей, готовясь к отплытию и намереваясь добраться по рекам и волокам до Полоцка, чтобы поступить на службу к Брячиславу, неоднократно проявлявшему непокорство воле киевского конунга.

Ярослав размышлял, получив неприятное известие. Эдмунд обманул его, уверяя, что вкладывает меч в ножны и возвращается в свой оставленный дом.

Оказывается, он направлялся в Полоцк! Этот город легко мог стать соперником Киева; оттуда рукой подать до Варяжского моря и удобно везти товары в Поморие и Скандинавию, минуя Новгород.

Он спросил жену:

— Может быть, еще не поздно вернуть Эдмунда?

— Попробуем перехитрить его.

— Но как это сделать?

— Позволь мне взяться за это.

— Хорошо, ведь они твои сородичи.

— Во всяком случае, они почитают меня и не опасаются, что им может грозить что-либо с моей стороны.

— Это ты хорошо надумала,— сказал Ярослав.

Ингигерда ошибалась, варяги считали ее способной на всякие козни, но она была милее им, чем этот вечно нахмуренный русский конунг, который рассчитывает на сто лет вперед, когда жизнь так коротка.

Между тем Ингигерда не мешкая спустилась со своим двоюродным братом Рагнвальдом, сыном Ульфа, с которым ее связывала прочная дружба, к варяжским ладьям. Она заметила, что Эдмунд сидел у реки на большом камне, вдали от своих, погруженный в глубокую задумчивость, может быть размышляя, не прогадал ли он, оставив конунга. Ингигерда поспешила к нему. По всему было видно, что ладьи с носами в виде птичьих клювов или звериных пастей готовы отчалить от берега, а воины уже заканчивали последние приготовления к отплытию. Однако под ногами в той части берега расплзлась вязкая глина и мешала Ингигерде и Рагнвальду быстрее идти.

Только что начало светать. Эдмунд все так же продолжал сидеть на камне, и его дорожный плащ с тесемками вместо дорожной запонки напомунал о том, что он покидает Киев.

— Здравствуй, ярл,— сказала Ингигерда.

— Здравствуй, госпожа,— ответил Эдмунд, удивленный, что жена конунга спустилась в такой час к реке.

Ингигерда и Рагнвальд уселись рядом с варягом и повели лукавую беседу, притворно расспрашивая ярла, не передумал ли он и не хочет ли опять поступить на службу к Ярославу. Скандинавские воины суетились далеко у ладей, близости никого не было, кто мог бы рассказать, что здесь произошло.

Но скальды придумали потом, что Ингигерда пыталась с помощью Рагнвальда пленить Эдмунда, запутав его в складках плаща. На самом деле все представляется проще. Ярл увидел, что с высокого берега уже спускались русские воины, увязая в глине, чего не предвидела супруга конунга, и побежал к своим, оставив, как новый Иосиф, плащ в руках Ингигерды, и, воспользовавшись тем, что княжеские отроки были еще далеко, Эдмунд и его товарищи оттолкнули ладьи и уплыли на средину реки.

Рагнар спросил Эдмунда:

— Хочешь, мы вернемся и попытаемся захватить Ингигерду?

Но ярл понимал, что за такой поступок Ярослав найдет его на дне моря, и покачал головой:

— Не хочу нарушить дружбу с госпожой.

— А как поступила она с тобой?

— Женщины коварны от рождения. Коварство — их сила.

— Как знаешь,— сказал Рагнар.— Но откуда им стало известно, что мы отплываем в Полоцк?

— От Хелги.

— Разве она не возлюбленная твоя?

— Я обещал подарить ей золотое ожерелье.

— И не подарил?

— Проиграл его в кости Феодору, греческому патрикию, что привез Ярослав дары из Константинополя.

— Погубят тебя когда-нибудь кости,— рассмеялся Рагнар.— Или женщины...

Варяжские корабли уплыли в северном направлении. Ингигерда видела, как спутники Эдмунда поставили мачты и подняли паруса — четырехугольные, с огромными изображениями звезд, или трех поджарых львов, или птиц с коронами на голове. Потом издали донеслась песня:

Я поднял парус на ладье,  
Прощай, красавица, прощай,  
Навеки расстанемся мы...

Вот в каких предприятиях осмеливалась принимать участие Ингигерда, когда у нее еще было глубокое дыхание и она могла не хуже любого воина держать в руке боевую секиру. Но этой знатной женщине не доставало той широты ума, что позволяет охватить как бы орлиным взором все происходящее в мире: посевы и жатвы, круговорот золота в торговле и заботы о грядущих поколениях. Ее удивляло, что муж не ищет славы. Он говорил:

— Из пустого славословия не сошью себе даже шапку. А моя задача — наполнить богатством духовные житницы. За это меня будут прославлять в грядущие века певцы и книжники...

Сон не приходил к Ингигерде. Заложив руки за голову, она лежала, перебирая в памяти прошедшее. Рядом спокойно дышала Анна и не слышала даже, как мать позвала рабыню:

— Инга! Проснись!

Служанка вскочила со вздохом, в котором выразился весь ее детский страх перед строгой госпожой и усталость молодого тела, требовавшего отдыха после хлопотливого дня, полного трудов и суеты.

— Я здесь! Я здесь! — лепетала бедняжка спросонья, поправляя по привычке одежду, протирая кулачками глаза, чтобы они открылись.

На девушке белела рубашка из грубого полотна, поверх Инга носила синий сарафан, в котором и спала, никогда не раздеваясь, чтобы каждую минуту быть готовой выполнить любое приказание госпожи. Ничьи ноги не бегали так проворно по лестницам, она летала, как пушинка, из горницы в горницу, а госпожа считала, что Инга ленивица.

По племени своему рабыня была из какого-то северного края, на границе с Югрой, где люди объясняются знаками и за один железный нож дают кучу великолепных мехов. Ее еще девочкой привезли вместе с полонянками в Ладугу, когда новгородские воины усмиряли в лесной глуши возмущение, поднятое волхвами против христианской веры. Эта черноволосая и белоzubая девочка случайно попала на глаза Ингигерде, и она взяла ее к себе в услужение. С той поры маленькая Инга стала жить в киевском дворце, удивляя всех своим трудолюбием и проворством. Только старая княгиня была недовольна ею.

— Побеги в кладовую,— сказала Ингигерда,— и принеси горсть фиников. Ты знаешь, что это такое. Но не вздумай полакомиться чем-нибудь, или я накажу тебя.

Девушка бросилась вон из горницы. Проскользнув мимо сторожевых отроков, она побежала в дальний конец перехода, и вскоре ее босые ноги затопали по лестнице. Инга легко находила дорогу в дворцовых закоулках даже во мраке. В пахучей кладовой она знала каждую полку, каждый бочонок. Там хранились сладковатые, с блестящими семечками рожки, сушеные

и нанизанные на мочалу смоквы, мед в деревянных кадушках, обыкновенные лесные орехи и те, что растут в греческой земле, и прочие сладости. Инга сняла с полки глиняную корчагу с финиками, которую нашла на ощупь, взяла полную горсть редкого лакомства, положила липкие плоды в деревянную миску и поспешила назад, едва удерживаясь от искушения съесть хотя бы один финик и испытать, в чем же заключается эта сладость, за которую платят так дорого. Она знала, что другая прислужница, по имени Предслава, часто брала всякое добро и ела, и, когда однажды Инга увидела это и затрепетала от страха, дерзкая прошептала:

— Им не съесть всего до самой смерти, а наша жизнь горька, как полынь.

Уже на обратном пути, пробегая переходом, Инга увидела при тусклом свете лампы, висевшей под потолком, что у двери княжеской ложницы стоит кучка людей. Кроме сторожевых отроков здесь еще появились дворский, толстый, как боров, воевода и ярл Филипп. На красавца в Киеве засматривались все женщины, от боярынь до простых рабынь.

Прижимаясь к стене, Инга старалась незаметно пройти мимо и слышала, как скопец, о котором рассказывали ужасно смешное и неправдоподобное, объяснял ярлу, очевидно поднявшемуся сюда позднее других:

— Гонец прискакал среди ночи. Послы прибыли на заставу.

— От кесаря? — спросил ярл, позевывая.

— От короля Франкской земли.

— От короля Франкской земли? — с тревогой переспросил Филипп.

— Это очень далеко, — неопределенно махнул рукой скопец. — За морями и за горами.

— Зачем приехали?

— Разве не знаешь? За Ярославной.

— Кто сказал?

— Гонец.

Инга успела рассмотреть, что на освещенном лампадой лице молодого ярла отразилось при этих словах изумление, потом оно стало печальным, как будто этот человек переживал горе. Но скопец уже стучал согнутым перстом в дверь княжеской опочивальни, и рабыня со всех ног кинулась в горницу, где ее с нетерпением ждала госпожа.

Рабыня протянула княгине финики, и та взяла один из плодов, которые привозили в Киев на горбатых животных, называемых верльблудами, из далекой аравийской земли. Укладываясь снова на свою жалкую подстилку, Инга сказала тихим голосом, чтобы не разбудить спящую Анну:

— Говорят, послы приехали.

— Какие послы? — приподнялась княгиня, забывая даже о финиках. В голове у нее мелькнула мысль о сватовстве франкского короля. Об этом зимою принесли весть приезжие купцы.

— Не знаю, — замотала головой Инга. — Дворский сказал. Когда проходила мимо отроков, притаилась и слышала. Там был воевода и ярл Филипп стоял. Дворский ему говорил о послах.

— Что говорил?

— Говорил, что послы приехали за Ярославной.

Княгиня не могла больше выдержать и стала тормошить дочь за плечо. По сравнению с ее опухшими пальцами это обнаженное плечо олицетворяло девичью нежность. Вокруг жили неискушенные люди, а если бы глаза у них были более внимательными, такими, как у художника, который изобразил на обыкновенной доске трогательную богоматерь и ее страдание, они сравнили бы красоту Анны со статуей Афродиты, стоявшей на торжище.

Иногда живописец тайне любовался этим мраморным видением. Но ему не суждено было увидеть Ярославну во всей ее прекрасной нагоде.

Княжна открыла глаза. В опочивальне стоял мрак, и девушка не понимала, почему прервали ее сладкий сон. Она спросила:

— Почему ты разбудила меня? Печенегии напали на нас?

— Не печенегии напали. Важное случилось в твоей жизни.

Голова Анны снова клонилась на подушку. Но мать настаивала:

— Проснись же скорей!

— Скажи, что случилось?

— Послы приехали из далекого королевства.

— Из какого королевства?

Спросенок Ярославна плохо соображала, но, когда мать объяснила ей, что это сваты прибыли из франкского королевства, княжна проснулась окончательно, точно она не спала, и схватилась со вздохом за то место под маленькой грудью, где билось у нее сердце.

— Из франкского королевства?

— Инга слышала, как дворский Филиппу говорил.

— Филиппу?

При упоминании этого имени Ярославна села на постели и сжала руки.

— Ярлу Филиппу? — прошептала она.

— Что с тобой? — изумилась княгиня. — Разве ты не знаешь ярла Филиппа, начальника стражи?

Анна ничего ей не ответила.

— Что же ты молчишь?

— Что я могу сказать тебе, мать?

— Радуйся, ты будешь королевой!

Ингигерда, в крайнем нетерпении, уже поспешила босыми ногами к двери, которая вела в опочивальню мужа, чтобы из его уст услышать обо всем, что сообщил воевода.

Когда Анна поднялась с подругами на забрало Золотых ворот, чтобы наблюдать оттуда, как франкские послы будут въезжать в город, первое, что она увидела, взглянув вниз, был ярл Филипп. Красная шапка, голубой плащ...

Анна пыталась привлечь на себя его взгляд, но молодой воин не отрываясь смотрел на дорогу, над которой поднималось легкое облако пыли, и ей стало невыразимо грустно, что недогадливый не поднимет свои прекрасные глаза к забралу. Ярославне казалось, что никакими словами нельзя передать ее боль и печаль, и слезы стали застилать зрение.

Когда посольство въехало в ворота, Филипп повернул коня и поехал впереди, как бы показывая посылам путь. Девушки перебежали на другую сторону башни, и перед ними, среди крыш, деревянных церквей и деревьев, заблестали вдали золотые купола Софии. Ярл все так же горделиво ехал, ни разу не оглянувшись, и белый конь, покачивая крупом, мерно стегал себя жестким длинным хвостом. Слепца у ворот уже не было. Должно быть, отрок увел его на торжище, где они часто пели свои песни.

Анна родилась в Новгороде, в один из тех годов, когда Ярослав, опасаясь брата Мстислава, хоронился за крепкими бревенчатыми стенами гордого своим богатством города. Но когда был подписан братский мир, стало ясно, что Мстислав не добивается киевского княжения, и Ярослав перебрался со

всей семьей и дружиной на берег Днепра. Анне было мало лет, и она едва помнила новгородские бревенчатые мостовые и выдолбленные из дерева трубы, по которым обильно лилась вода на княжеском дворе. Смутно запомнился шум на торговой площади, оживление на волховской пристани и теплый утренний звон белых и золотоглавых церквей.

Детские ее годы прошли в Вышгороде, среди прекрасных дубовых рощ, или в Берестове, любимом селении Ярослава, где он построил церковь во имя Апостолов. Там она училась вместе с братьями, Святославом и Всеволодом, у священника Иллариона и прочла первую книгу, которая называется Псалтирь. С такими книгами она не расставалась потом ни на один день, потому что в них были волнующие душу слова.

На всю жизнь запали ей страшные стихи детской азбуки:

Аз словом сим молюся богу,  
Боже вся тверди и зиждителю  
Видимым и невидимым,  
Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Илларион часто говорил о грехах, о милосердии, об адских муках. Но Анне совсем не хотелось думать о смерти и о гробовых червях. Жить было сладко. Она росла в холе и довольстве, дышала чистым воздухом, пила прозрачную воду, питалась здоровой пищей, в которой было много целительного русского меда и пшеничного хлеба, и ее вкус услаждали то грибы, то серебристая рыба, то упоительно пахнущая и собранная на пригретых солнцем лужайках земляника.

Порой ласковая рука отца ложилась на ее детскую голову, иногда порицали ее строгим взглядом холодные глаза матери. Запомнились долгие богослужения в св. Софии. Анне становилось жутко, когда священники закрывали ей грудь малиновым причастным платом и черный, как ночь, греческий епископ осторожно брал на ложечку немного вина и несколько крошек хлеба из тяжелой золотой чаши и давал ей проглотить, шепча молитву на непонятном языке. Илларион объяснял ей, что это не вино и не хлеб, а кровь и плоть Христа, и все было так странно и непонятно, что она радовалась, когда покидала храм и вновь видела над головой сияющее солнце.

Юность Анны тоже была связана с Вышгородом. Брат Всеволод говорил ей, что об этом городе даже упоминал в каком-то сочинении греческий царь, а Илларион называл Вышгород святым, честным и блаженным. Но этот книжник плохо разбирался в земных делах, и его мало интересовала вещественная жизнь, а у Ярослава в Вышгороде находилось большое княжеское хозяйство, стояли многочисленные житницы и медуши, погреба и голубицы, и под бревенчатыми городскими стенами широко раскинулись огороды с яблонями и пахучие капустники, полные белых бабочек.

Когда Анна подросла, князья стали брать ее с собой на охоту, и она научилась ездить верхом, но во время ловов княжну привлекала не столько богатая добыча и охотничья удача, сколько переживания, что вызывают в сердце захватывающее преследование зверя или погоня за оленем, когда ветер шумит в ушах, дубовые ветки хлещут по лицу и хочется всей грудью вдыхать осенний воздух, полный грибных запахов и тления вянущей листвы. Весной дубраву наполняли другие ароматы, и среди них Ярославна ничего не знала более прекрасного и упоительного, чем благоухание ландышей, которое напоминает девушкам о счастье.

Анна стала ловкой наездницей, полюбила коней и охотничьих соколов. У нее были длинные ноги и маленькие груди, и однажды приезжий грек,

царедворец, надушенный, как женщина, патрикий, глядя на возвращавшуюся с лова Анну, сказал, красиво разводя руками:

— Артемида!

Она услышала это слово и потом спросила у Всеволода, знавшего все написанное в книгах, что оно означает. Брат объяснил, что так называли древнюю греческую богиню охот.

Но как эти благородные забавы, восхищение иноземцев и ожидание необыкновенного счастья не были похожи на унылые школьные стихи:

Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Выезжая в поле, Анна забывала обо всем, даже о книгах. Она запрокидывала голову, с увлечением следя за полетом сокола, настигавшего в далекой синеве ширококрылую лебедицу, и рыжие волосы Ярославны принимали на солнце блеск полноценного красного золота. Сердце начинало учащенно биться. В нем просыпалась жестокость предков, воинов и охотников, не знавших пощады ни к врагу на поле сражения, ни к зверю во время лова. Но вокруг сладостно пахло дубовыми листьями, грудь наполняло глубокое дыхание, и в душе рождалось смешанное чувство, в котором выражались радость жизни и сострадание к прекрасной растерзанной птице.

Осенью в оврагах поспевали красные ягоды рябин. Когда охотники возвращались домой, с пажитей летели липкие паутинки, радужные в лучах заходящего солнца, и слышалось, как на гумнах соседнего селения смерды мерно ударяли цепями, молотя ячмень. Было сладко и в то же время грустно жить на земле. Но таилась в душе Анны и гордыня. Разве не принадлежала она к роду, который вел свое начало от героев? Разве не из ее семьи явились мученики, стоявшие у престола всевышнего? А Илларион говорил при всяком удобном случае о ложном благополучии сего мира и о тщете человеческого существования...

Анне немало пришлось пережить под кровлей родительского дома, но ее еще не было на земле, когда Русь потрясали страшные события междоусобной войны и произошло вероломное убийство Бориса и Глеба. Княжичей объявили Христовыми мучениками, во имя их стали строить церкви, и даже в константинопольских церквях убиенных изображали на иконах с поднятыми горé глазами, хотя патриарх с неудовольствием утвердил новоявленных святых. Однако Ярославу хотелось, чтобы в сонме небесных угодников находилось хотя бы несколько мучеников, говоривших по-русски. Впрочем, князь Святослав Владимирович, убитый при таких же обстоятельствах, не удостоился подобной чести, может быть потому, что его христианство находилось под великим сомнением.

Анна знала об этих событиях только по рассказам старших. Семья собиралась в зимние вечера у очага, и, глядя на огонь, люди вспоминали прошлое. Но Анне было уже двенадцать лет, когда к Киеву подступили печенеги, и ей на всю жизнь запомнилось, как горожане переругивались на стенах с врагами и грозили им секирами. Под валами кружили тысячи кочевников. Они стреляли в русских, и стрелы летели, как туча, затемняя солнце, но по большей части втыкались в частоколы без всякого вреда и потом наполняли колчаны княжеских отроков.

Далеко на другом берегу Днепра пылили степные дороги и ржали мохнатые печенежские кобылицы. То двигались на Русь новые орды, ханы спешили в скрипучих повозках за добычей. С башен было видно, что там, где небо сходилось с землею, поднимались черные столбы дыма. Это горели



Анна стала лобкой наездницей,  
полюбила коней охотничьих соколов...



Патрикый, глядя на возвращающуюся сло-  
ва Анну, сказал красиво разводя руками:  
Артемиде!

селения хлебопашцев. Они стекались со своих пепелищ под защиту городских укреплений и в справедливом гневѣ рассказывали о постигшем их несчастьѣ. Подобные слова накаляли воздух. На валу стоял гул взволнованных человеческих голосов, и в этом сплошном шуме от криков, ржания коней, скрипа колес и верблюжьего рева люди с трудом слышали друг друга.

Косматый монах, стоявший на стене, кричал, указывая перстом на печенегов:

— Злодеи! Исчадие ада! Будете вы ввержены, как плевелы, в огненную пещь!

Отец казался Анне величественным в своей железной кольчуге, в сияющем шлеме. Он грузно сидел в седле под голубым шелковым стягом, и конь не слушался поводыев. День был бурный, на знаменном полотнище трепетал архангел с желто-красным огненным мечом в руке. Под крышами бревенчатых башен завывал ветер. Анна прижималась к матери, вышедшей на крыльцо, чтобы проводить князя на битву, но душа девочки сгорала от любопытства к тому, что происходит в городе и за его стенами, и совсем не испытывала страха.

Дождавшись часа, когда распаленные жадностью печенеги с воем бросились на городские валы, киевляне отворили дубовые ворота и вышли с мечами и секирами на широкое поле. Началась сеча, молчаливая и беспощадная. Из окна высокого терема виднелась часть равнины, на которой происходило сражение, и Анна могла рассмотреть, как над русским полком покачивается голубое знамя. Там сражался ее отец. Даже на княжеский двор доносился гул далекой битвы.

На валах, укрепленных частоколом, стояли женщины в серебряных монистах и смотрели на сечу, в которой рубились их мужья и сыны. А когда солнце стало склоняться к западу, непривычные к долгим сражениям в пешем порядке печенеги не выдержали и побежали, и русские воины далеко гнали их в степь. Многих они изрубили секирами, других потопили в реке Сетомле или взяли в плен. Уже в полночной темноте Ярослав вернулся в город, в котором в ту ночь никто не спал. Воины несли убитых товарищей, и женщины встречали их с плачем, а некоторые бежали в поле и там искали трупы близких.

Анна не раз видела сборы братьев в полюдье, когда они надевали теплые бобровые шубы и уезжали за данью, кто — в Деревя, кто — в Муром, кто — к вятичам. А однажды русское войско уплыло на ладьях в греческие пределы, в синее море, на страшные медные трубы, что выхаркивают огонь, горящий, как адский пламень, даже на воде.

В те полные событий годы навеки уходила простая жизнь, когда князь и рядовой воин жили как братья, спали в походе под одной овчиной, ели мясо от одного вепря и одинаково думали о том, что происходит в мире; в любой час дня и ночи каждый мог войти в княжеские хоромы и просить суда. Теперь у ворот дворца стояли вооруженные и легкие на издевку отроки, и князя стало так же трудно увидеть, как солнце в дождливую погоду за облаками. Его окружали теперь разодетые пышно бояре, епископы, дворские, мечники и вирники. В Киеве появилось много людей, каких раньше никто не видел на его улицах, — монахи и свечегасы, писцы и учителя церковного пения. На глазах у Анны все чаще появлялись в родительском доме не виданные раньше вещи — мыло, издающее приятный запах, золотая и серебряная посуда, книги, чернила, свечи, пергамент, лекарственные снадобья, сладкое греческое вино. Мир, лежащий за пределами Русской земли, уже не казался таким неведомым, как прежде, и многие из тех людей, которых ежедневно видела Анна, успели побывать в Константинополе и даже в Иерусалиме.

Событием в жизни Анны было каждое посещение св. Софии. Княжеская

семья слушала обедню в кафизме. Так называлось устроенное наверху по образцу константинопольской Софии помещение, забранное решеткой и закрытое пурпуровой завесой. Ярославна смотрела отсюда украдкой на стоявших в церкви людей. Внизу молился простой народ. Но впереди обычно занимали места богатые люди с женами в золотых ожерельях. Они приходили в церковь, чтобы показывать людям свои наряды, приобретенные у греческих купцов.

Анна часто наблюдала, как внук приводил к вечерне седоусого воеводу Вышату, ослепленного царем во время неудачного похода за море. Рядом с ним некогда стоял певец Боян. Сюда приходили румяные новгородские торговцы и приезжие греки в красных плащах. Потом для знатных устроили по их просьбе особую галерею, чтобы они могли молиться богу, не смешиваясь с чернью.

Однажды, отведя рукой шелковую завесу и бросив по обыкновению любопытный взгляд туда, где стояли молящиеся, Анна увидела незнакомого воина. Его волосы цвета спелой пшеницы, по скандинавскому обычаю, падали ему на плечи длинными локонами; так носили их молодые ярылы или северные скальды. Можно было догадаться, что это знатный человек, стоявший даже в храме с гордо поднятой головой. На нем был красивый голубой плащ, из-под которого виднелись желтые сапоги. Анна не могла видеть лица воина, обращенного туда, где находился алтарь, но как бы предчувствовала его красоту, угадывала в девических мыслях, что под широким плащом незнакомец строен, как те пальмы, с которыми сравнивают воинов в книгах. Это было все, что она рассмотрела из кафизмы, но ее сердце почему-то забилося тревожно, как голубка, неожиданно попавшая в сети птицелова. А между тем в ту весну ноги Анны красиво округлились, наметились под полотном рубашки маленькие груди, и она томилась в лунные ночи, сама не зная почему...

Мать и Гертруда, жена брата Изяслава, и Мария, жена Всеволода, вместе с Елизаветой и Анастасией сидели на обитой золотой парчою скамье, устроенной вдоль стены, так как на клиросе читались бесконечные часы и по церковным правилам в это время разрешалось отдыхать от стояния. Поэтому никто из близких не видел, на кого смотрела Анна с таким вниманием. Только немного спустя, может быть для того, чтобы лучше слышать чтение, к завесе бесшумно, как кошка, подошел в мягких сапогах брат Всеволод. По его лицу было видно, что он погружен в благочестивые мысли. Молодой князь стоял с закрытыми глазами и слушал унылые слова о смерти и тщете человеческого существования. Потом просветлел лицом и, оторвавшись от своих горестных размышлений, вынул из-за пояса синий шелковый платок и стал вытирать влажный лоб. Анна знала этот платок: на нем привлекало взор золотое солдце, окруженное красными пылающими языками. Она шепотом спросила у брата:

— Кто этот воин, что стоит там, около слепого Вышаты?

Всеволод, с неохотой спускаясь из благолепия молитвенных помыслов, переспросил:

— В голубом плаще?

— В голубом плаще.

— Ярл Филипп.

— Откуда он прибыл к нам?

— Из-за моря. А ныне отправляется с Гаральдом в Царьград.

Чтение долгих часов окончилось. Все поднялись со скамьи. По другую сторону от Анны молился брат Изяслав, высокий человек с широко расставленными большими глазами, но с угнетенным выражением лица, точно он

ежечасно ждал и опасался ударов судьбы, и рядом с ним другой брат, Святослав. Это был щеголь, любитель хорошо переписанных книг и всяких драгоценностей, статный воин. На нем и в тот день был обычный его наряд: синий плащ на красной подкладке, малинового цвета рубаха, черные штаны. Блюдя древний обычай, князь носил не бороду, а длинные усы. Святослав почитал просвещенных людей и беседовал с греками на философские темы, но любил также веселые пиры и охоту. Он отличался громоподобным голосом, рычал, как лев, когда какой-нибудь игумен осмеливался порицать его греховное времяпрепровождение, рвал в гневе обличительные эпистолии и топтал их зелеными сапогами, украшенными жемчугом.

Старшего брата, Владимира, в Киеве не было, он сидел посадником в Новгороде. Вячеслав в те дни охранял с дружиной пороги. Отец тоже находился в отъезде — строил города на реке Руси.

Анне хотелось еще многое узнать о красивом скандинаве, но разговор пришлось прекратить, потому что наступило время совершения таинства. Алтарь отделялся от молящихся только мраморной оградой, и Ярославна могла видеть, как священники, взявшись за углы малинового платя, который назывался «воздухом», поднимали и опускали его над золотой чашей. Это походило на волшебство, и девушке становилось жутко. Вся жизнь теперь наполнялась фимиамом, церковным пением, молитвами.

Анна снова взглянула вниз, но молодой ярл исчез, — очевидно, ему наскучило стоять в церкви. Ярославне стало грустно... А снизу, с амвона, как из тумана, доносился глуховатый, но торжественный голос Иллариона. Пресвитер не упускал ни единого случая, чтобы наставлять людей в христианских добродетелях, хотя это было весьма нелегким предприятием: богатые поргязли в грехах; бедные не хотели забыть языческих богов.

Но Анне показалось, что слова Иллариона обращены к ней, и она прислушалась. Священник взывал:

— Не хвались своим происхождением, благородный! Не говори: отец у меня боярин, братья мои — Христовы мученики, а мать знатного рода. Сказано: овцы пойдут одесную, а козлища ошуюю, ибо коза не приносит доброго плода, овца же творит волну и все потребное для человека...

Анна заметила, что при этих словах Святослав дернул в гневе ус и сказал Изяславу:

— Уже довольно мне этих упреков. Я не монах, чтобы жить в смирении. Как ты полагаешь?

На лице Изяслава ничего не отразилось. Тихий Всеволод сокрушенно вздохнул. Оглянувшись на мгновение, Анна увидела, что мать с каменным лицом смотрит прямо перед собой, а Мария, жена Всеволода, улыбается неизменно счастливой улыбкой и шепотом переговаривается о чем-то с сияющей красотой Елизаветой.

Как опытный оратор, Илларион возвысил голос в том месте, где это требовалось по правилам риторики:

— И дуб высок величием своим и прекрасен лиственным, но без полезного плода для человека, ибо желуди потребны лишь для свиней, а малый злак, едва видимый на земле, родит нам зерно. Это — сильные мира сего, если они не творят добрых дел, и трудящиеся в поте лица...

Святослав опять с раздражением посмотрел на Изяслава, и под тонкой кожей у него заходили на щеках желваки. Но брат по-прежнему уныло смотрел перед собою, точно не понимал немого вопроса.

Илларион вздымал руки в патетическом жесте, будто перед ним стояли не простые воины и простодушные горожане, а воспитанники риторских школ. Этот русский книжник бывал в Константинополе, посещал училище

при церкви Сорока Мучеников, встречался со знаменитым греческим писателем Михаилом Пселлом. Он громил богатых и возгордившихся:

— Были двое возниц, мытарь и фарисей. Последний запряг двух скакунов — добродетель и гордость, но гордыня помешала добродетели, колесница его разбилась, и сам он погиб. Мытарь запряг других коней — свои грешные дела и смирение — и не отчаяние получил, а спасение...

Илларион вспоминал, может быть, в эти минуты константинопольский Ипподром, где однажды на его глазах разбился насмерть возница. Святослав цедил сквозь зубы в княжеском высокомерии:

— Смирение! Смирение!

Анне эти слова священника тоже казались досадными. Она нахмурила соболиные брови, точно не понимая, чего от нее требуют. Кто может отнять у нее право хвалиться своим происхождением, родством с греческими царями? Впрочем, все было смутно в тот день в ее душе. Илларион жаловался:

— О богатый, ты зажег свечу на свечиле! Но придет обиженная тобой вдовица, вздохнет и вздохом своим погасит свечу...

Бедная вдовица!

На сердце у Анны пели жаворонки, она испытывала благожелательство ко всему миру. Но странно... Ей казалось, что это чувство родили не выпренные слова Иллариона, а красота воина, что стоял в церкви. Пусть все люди живут в радости!

Молодого яра в голубом плаще уже не было внизу, а где-то в таинственных глубинах женского сердца рождалась любовь, древняя, как пробуждение природы, как вешняя гроза, когда Перун мечет молнии и потрясает небеса громом, орошает землю теплым дождем и она вздыхает о жатве...

#### IV

Гаральд и Филипп и многие другие варяжские воины уплыли в Царьград. Вскоре после этого Анну сватали за немецкого кесаря, но в жизни ее не произошло никаких перемен, и она часто вспоминала молодого яра в голубом плаще. Однако годы текут, как вода, и в один прекрасный день Гаральд возвратился с богатой добычей и победой в Киев. Вместе с ним вернулся Филипп. В честь их приезда в княжеской гряднице был устроен пир.

Гаральд, сын Сигурда Сира, брат Олафа, по прозванию Смелый, поэт и воин, сражался с пятнадцати лет, и его жизнь была полна приключений. Но в ней не случилось ничего примечательного, пока он не встретил Елизавету. С тех пор не было на всем пространстве от варяжских фиордов до счастливой Сицилии ни одного знатного воина, ни одного скальды, который не знал бы, что молодой герой влюблен в дочь русского конунга, отвергшую его любовь. В крайнем огорчении Гаральд отправился в Константинополь и поступил на императорскую службу, чтобы снискать себе воинскую славу или погибнуть на поле сражения... Так пели о нем скальды, ибо иначе песни их не были бы достойны внимания слушателей. Им полагалось воспевать только высокие чувства — пламенную любовь и готовность ее заслужить, мужество и верность до гроба.

Гаральд водил корабли в Эгейское море, сражался с сарацинами на берегах Евфрата и под Мирами Ликийскими, принимал участие в походе протоспафария Текнея в Нильскую долину, а также в военных действиях в солнечной Сицилии, под начальством прославленного полководца Георгия Маниака. За эту войну Гаральд получил от императора почетное звание спафарокандидата. В Сицилии он встретился с патрикием Кевкаменом Ката-

калоном, который впоследствии был послан на Русь. Когда императору удалось установить длительное перемирие с египетским халифом, владевшим тогда Палестиной, по совету Катакалона Гаральда послали с многочисленными рабочими в Иерусалим для восстановления храма Христа. Но по возвращении в Константинополь он был обвинен в сокрытии военной добычи и заключен в темницу.

В Киеве утайка от греческого царя сокровищ, захваченных у врагов, не могла рассматриваться как особенно тяжкое преступление, и когда Гаральду во время трагических событий, связанных с ослеплением Михаила Калафата, удалось покинуть Константинополь и вернуться в город, где жила гордая Елизавета, его встретили там с почетом и пиршество в его честь устроили на скандинавский лад. Пол обильно посыпали соломой, но залу осветили уже не древними смолистыми факелами, наполнявшими некогда помещение дымом и копотью, а восковыми свечами. Они горели в трех паникадилах, как три солнца висевших под потолком. Чтобы капли расплавленного воска не падали на сидящих за столами и не обжигали нежных красавиц, свечи были вставлены в серебряные чашечки, сделанные в виде раскрывшихся райских цветов. Это было чудо серебрушечной работы, и ее выполнил знаменитый в те дни киевский художник, имя которого затерялось, к сожалению, во мраке времен.

На пир позвали только самых знатных людей и самых богатых чужеземцев. По примеру царского константинопольского дворца, пиршественные столы, как некие церковные престолы, были покрыты драгоценными парчовыми скатертями и уставлены серебряной посудой.

Анне исполнилось тогда восемнадцать лет, и в тот день она впервые приняла участие в пире, рядом с сестрой Елизаветой. А еще не отошел в область предания древний северный обычай, когда женщины сидели за столом попарно с мужчинами и воин пил вино из одной чаши с соседкой, если он был мил ее сердцу, хотя греческие епископы и боролись всячески с такой распущенностью, требуя, чтобы на трапезах читались жития святых, а не распевались грешные песни о прелюбодеяниях и пролитии человеческой крови.

Ярослав избегал ссориться с митрополитом и побаивался суровых обличений Иллариона, но на этот раз князь удалось убедить устроить празднество так, как это делалось в дни Святослава и великого Владимира, когда на Руси еще не было ни церквей, ни фимиамного дыма.

Анну облачили на пиршество в греческий наряд, привезенный из Константинополя, и сама Мария учила ее, как надо приподнимать подол длинной одежды, чтобы она не мешала ногам при ходьбе или на ступеньках высоких лестниц. Щеки Анны впервые нарумянили, а косы уложили вокруг головы и украсили ниткой жемчуга. Когда девушка в смущении появилась в шумной гряднице, какой-то седоусый дружинник воскликнул:

— Ярославна, ты как утренняя заря!

За столами надменно сидели знатные люди, которых Анна часто видела в церкви: Никифор, Перенег, Чудин, Братислав, тучный воевода Микула из Новгорода. Гаральда посадили рядом с Елизаветой. Всеволод, как всегда, не разлучался с супругой. Мария, по своему обыкновению улыбаясь и щуря глаза, переводила любопытные взоры с одного гостя на другого, а он пожимал ей укладкой под столом маленькую горячую руку. Возле Ярослава тяжело опустилась на скамью его величественная супруга, которую Илларион в проповедях называл благоверной. Впрочем, так неизменно называли всех греческих цариц, даже прелюбодеек и отравительниц. По лицу княгини люди могли судить, что ее уже не занимают подобные собрания.

Но все были полны веселия, шумно усаживались за столы. Только Ярослав хмурился, поглощенный важными мыслями. Для него этот праздник

и предстоящий брак дочери являлись государственными делами. Немного огорчали расходы, связанные с устройством праздника, однако пиры и женские прелести иногда могут сделать больше для укрепления мира, чем мужской ум, золото, тысячи воинов, закованных в железо. Ярослав с гордостью посмотрел на Елизавету. Ей шел двадцатый год, красота ее была в полном расцвете. Так стоит весной бело-розовая яблоня в ожидании золотых пчел. На нежной шее у дочери блистало тяжелое ожерелье, привезенное Гаральдом из Царьграда. Ярл уверял, что его носила императрица Зоя. Как оно могло попасть ему в руки? Но пусть будет так, и никто не посмеет подумывать, что сподвижник Олафа похитил эту драгоценную вещь.

С пылающим лицом, опустив ресницы, рядом с Елизаветой сидела Анна. Девушку волновало, что возле нее случайно оказался человек, которого она некогда увидела из кафизмы, и теперь в ее чистом и доверчивом сердце вновь вспыхнули волнующие чувства. Анне в голову не приходило, что за эти два года молодой ярл держал в своих объятиях продажных распутниц и неверных жен.

Ярл Филипп мог выгодно жениться на любой богатой константинопольской вдове и даже на дочери самого логофета, которую однажды ему пришлось переносить через ручей, когда обрушился каменный мост на дороге во Влахернский монастырь. Девушка прижималась к воину и не сводила с него глаз. Но, увы, была худощава и длинноноса. Одним словом, ярл ни на ком не женился, хотя ему уже стукнуло двадцать восемь лет. За эти годы Филипп никого не полюбил, сердце его осталось свободным, и Анна могла стать его царицей, если бы пожелала, а она не смела поднять взора на соседа, чувствуя всем существом своим, что рядом с нею сидит человек, о красоте которого шепотом переговариваются женщины за столом. Наконец, чуть скосив глаза, Ярославна увидела снившееся ей порой лицо, все такие же золотистые локоны, как бы в беспорядке упавшие на плечи зеленой рубахи. Ярл возмужал, у него резче стали выступать сильные скулы и более четко обрисовался крепкий бритый подбородок. Светлые усы падали вниз.

Филипп тоже бросал украдкой взгляды на княжну. Впрочем, он знал суровый характер Ярослава и не решался заговорить с Анной, а она молчала. Ярлу очень хотелось сделаться воеводой охранной дружины в Киеве, что дало бы ему много денег, села, рабов. Но неудовольствие киевского конунга можно было вызвать одним неосторожным словом.

Ярослав, его сыновья и многие гости сидели на пиру в красивых русских рубахах — красных, голубых, синих — с золотыми или серебряными оплечьями, а другие дружинники, по старому обычаю, — в белых. Замужние женщины пришли в шелковых убрусах, в парчовых сарафанах, красуясь дорогими ожерельями. Все это были румяные, белозубые красавицы, и только у некоторых славянская белизна уже смешалась со степной смугловатостью; у таких глаза стали чуть скошенными, казались лукавыми, и эти женщины особенно нравились северным ярлам...

Гаральд не спускал влюбленных глаз с Елизаветы, и по ее улыбке можно было предполагать, что на этот раз она не отвергнет его любовь. Всем сделалось известным, что в ближайшее время ярл отправлялся в сопровождении многочисленных воинов завоевывать принадлежащий ему по праву норвежский трон.

Гости ели мясо, в изобилии лежавшее на столе, и вытирали руки о расширенные полотенца, которые им подавал проворный отрок, а когда насытились и утолили жажду медом, стали разговорчивее. Только Ярослав все так же грустно-снисходительно оглядывал сидевших за столом людей, легко забывающих во время пиршества о том, о чем надлежит помышлять христианину.

Ингигерда по-прежнему сжимала властные губы. Всеволод, отпив половину вина из чаши, угощал супругу и влюбленно смотрел на нее. Глаза Марии стали еще таинственнее и темнее от блистания восковых свеч. По другую сторону от молодого князя сидели Гаральд и Елизавета, а за ними Анна и Филипп. Это был стол конунга, полный яств. Напротив находились Изяслав и Гертруда, Святослав и Ода, пресвитер Илларион, а рядом с ним — поп Иван из церкви, построенной в Чернигове Святославом, беспутный человек, но тоже великий книжник.

Филипп много пил, и вино разогрело даже его холодное сердце: вдруг у него проснулась нежность к этой прекрасной деве с рыжими косами. Но Анна ни разу не подняла на него глаза, боясь осуждения матери, сидевшей поблизости, а он думал, что дочь конунга не удостаивает его своим вниманием, и пил чашу за чашей.

Ярослава интересовали события, которые произошли в последние годы в Царьграде, и Гаральд рассказывал ему со всеми подробностями о том, как один царь сменял в Священном дворце другого царя. По словам ярла, он лично принимал участие в этих кровавых событиях, и слушать его было занимательно.

Держа обеими руками прохладную серебряную чашу, Гаральд осушил ее и тотчас протянул отроку, чтобы тот снова наполнил сосуд вином. В Константинополе ярл тоже стал носить небольшую бороду, хотя и оставил длинные усы. На бритье подбородков в Священном дворце косились, считая это варварским обычаем, недостойным христиан. Но ношение бороды или безбородые лица — это только вопрос переменчивой моды: сам великий Константин был брит, как цирковой плясун.

— Что же случилось тогда в царском дворце? — торопил рассказчика Ярослав.

— Послушай мою повесть, конунг! Обо всем расскажу по порядку. Ведь я наблюдал это своими собственными глазами и видел, как царь Роман лежал на смертном одре, в последний раз облаченный в пурпур. Лицо у него было распухшее и почерневшее. Дворцовые служители рассказывали мне шепотом, что он утонул в бане. Но люди не тонут в купели без особой причины. Я много другого слышал во дворце, отчего волосы станвятся дыбом даже у смелого человека. Преемником Романа был Михаил, любовник царицы Зои. Он еще продолжал разыгрывать из себя влюбленного, пока толпы народа не встретили его приветствиями на Ипподроме как нового императора, но, добившись того, к чему стремился, честолюбец показал себя во всей своей низости. Впрочем, спустя непродолжительное время умер и Михаил, и на престол взшел его племянник. Об этом царе ходили недобрые слухи. Его прозвали Калафатом. Так по-гречески называют на пристанях тех людей, что смоят корабли. Тогда я был этериархом. Под моим начальством служил ярл Филипп, и он поправит меня, если я в чем-нибудь буду не совсем точным.

Молодой ярл закивал головой в знак согласия. Филипп благоговел перед своим удачливым начальником.

— Новый василевс, — продолжал Гаральд, — возненавидел Зою, не знаю, за что, и обвинил царицу в попытке отравить его. Госпожу сослали, как преступницу, в сопровождении одной только служанки, на отдаленный остров, где заточили в монастырь, и по повелению императора ей остригли волосы. Помнишь, Филипп? Они еще и тогда казались золотыми. Как у тебя, милая Елизавета!

О, сколь приятно было слушать такого любезного рассказчика!

Сидевший за дальним столом седоусый варяг, верный сподвижник Гаральда, рассказывал своим соседям:



— Это было на Ипподроме... Но еще до того, как свергли Зою. Мы смотрели на представление. На арене плясали ученые медведи. Трудно придумать что-либо забавнее этого зрелища. Они поднимали то одну лапу, то другую и потом приседали, ударяя в бубен... В это время мимо нас прошла царица, почему-то покидавшая праздник. Откуда мне это знать! Может быть, у нее заболел живот? И что же? Увидев еще раз длинные волосы Гаральда, она заявила, что хотела бы получить прядь на память о таком знаменитом воине...

Рассказчик прыснул со смеху и закрыл рот рукой.

— А Гаральд? Как же он поступил тогда? — спрашивали слушатели.

— А он...

Седоусый не мог продолжать от душившего его смеха.

— А он...

— Что же он ответил?

— Мы все выпили изрядно вина... Гаральд ответил... Ха-ха!

Должно быть, это была какая-нибудь очень грубая шутка, потому что воины, сидевшие за столом, разразились громовым хохотом.

Ярослав взглянул в ту сторону, и смех мало-помалу прекратился.

Впрочем, ненадолго. В гриднице делалось все шумнее и шумнее. Мед развязывал языки.

— И что же? — спросил опять старый князь.

Гаральд, разглаживая светлые усы, смотрел куда-то себе под ноги...

— Мне привелось присутствовать при отплытии корабля, так как во дворце опасались народного возмущения, и нам приказали, чтобы мы охраняли доступ к морю. Императрица поднялась на корабль, протянула руки к видневшемуся за кипарисами дворцу и промолвила сквозь рыдания: «Мою главу еще в колыбели украсили знаками царственного достоинства, меня некогда держал на коленях великий Василий, и я надеялась, что буду жить для счастья. Но увы, ошиблась. И теперь страшусь людей и моря». И другие слова говорила. Помнишь, Филипп?

— Она говорила, что живой ложится в гроб, — подхватил Филипп. — В тот день мы испытали немало волнений. Народные толпы бушевали и готовы были ворваться во дворец и все предать огню. Мы едва сдерживали их напор...

— А царица надула губы, точно избалованный ребенок, — прибавил Гаральд.

Анна тоже слушала с большим вниманием рассказ о царьградских событиях. Судьба этой женщины не могла не взволновать ее. А Гаральд, в приподнятом настроении, чувствуя, что на него обращены взоры всех присутствующих, вдохновенно описывал сцены дворцового переворота.

— Но Зоя была любимицей народа. В Константинополе вспыхнул мятеж. Все были в отчаянье, что императрица томится в изгнании, и проливали слезы. Даже простые ремесленники и корабельщики. Особенно негодовали женщины. Они вопили на улицах: «Где-то она теперь, единственная благородная душа в стане злодеев?»

Ярослав усмехнулся в бороду:

— Я слышал другое.

— Да, Зоя была способна на все. Слепляла, не очень-то разбираясь, кто прав, кто виноват. И все-таки чернь любила ее. Мне передавал об этом некий патрикий Катакалон. Мы с ним вместе воевали в Сицилии. И еще я слышал кое-что от одного царедворца. Его имя — Михаил Пселл. Так что все, что я рассказываю, вполне соответствует истине.

— Тебе приходилось встречаться с Михаилом Пселлом? — удивился Илларион, смущавшийся немало на этом собрании вельмож, которых он часто обличал в греховном поведении.

— Я имел случай беседовать с протоспафарием, — не без удовольствия произнес трудный титул Гаральд, довольно знавший греческий язык, чтобы объясняться не только с простыми воинами, но и с придворными чинами. — Но позволь, конунг, продолжать повествование. Итак, Зоя уплыла на корабле в изгнание, и тогда в столице возмущился народ. Дома многих советников царя были разграблены. Филипп хорошо помнит эти беспорядки.

Молодой ярл кивнул головой, и Анна позавидовала варягам, испытавшим столько приключений, видевшим Царьград и Иерусалим и этот, похожий на сон, остров Сицилию, о котором Гаральд рассказывал Елизавете.

Филипп добавил, может быть желая обратить на себя внимание Ярославны:

— В тот день мои воины стояли на страже в Священном дворце. Он был пуст, все разбежалось. Император спрятался в своей опочивальне и дрожал от страха. Я хотел...

Но Ярослав желал слушать Гаральда. Не подобает молодым перебивать старших, и князь приказал:

— Продолжай, Гаральд!

Филипп умолк. Он привык к повиновению, однако на лице у него выступили красные пятна. Гаральд продолжал прерванный рассказ:

— Помню, что в тот день был понедельник. Я вышел из дворцовых ворот посмотреть, что же происходит на улицах. Вижу, мимо скачет на коне знакомый протоспафарий. Тот самый Михаил Пселл, о котором я упоминал...

Илларион знал Михаила Пселла по его писаниям и даже два или три раза слышал, как знаменитый писатель говорил в их школе о риторических красотах Демосфена.

— Я окликнул его, и протоспафарий остановил коня. Я спросил, куда он стремится с такой поспешностью, и Михаил ответил, что на Ипподроме бушуют толпы и он хочет увидеть все воочию, чтобы потом описать события в своей хронике. И ускакал. Когда же я вернулся в притихший дворец, мне сказали, что к императору прибыл через потайную дверь его дядя Константин, по рассказам мужественный человек. Позднее мне представился случай убедиться в этом. По совету магистра Зою немедленно вернули из монастыря в Константинополь и показали на Ипподроме живой и невредимой народу. Я близко видел царицу. Бедняжка дрожала от страха. Однако послушайте, что произошло дальше. Ее появление еще больше распалило гнев людей. Мятежники вообразили, что между ненавистным Калафатом и Зоей произошел сговор, и отвернулись от любимицы. Все устремились в монастырь, где жила в тишине ее сестра Феодора, не ждавшая, что судьба готовит ей такие перемены.

— Ты хорошо рассказываешь, — заметил Ярослав, — и внимать твоему рассказу поучительно.

— Но чтобы вам стало яснее положение, — заметил польщенный ярл, — надо сказать, что у Зои две сестры. Одну зовут Евдокией. Она прокаженная и навеки спрятала свое несчастье в монастыре. Вторую, как я уже говорил, зовут Феодорой. Она тоже была монахиней. Но насколько Зоя привлекательна по внешности, даже теперь, когда ей шестьдесят лет, настолько Феодора некрасива, худа, с предлинным, как у ослицы, лицом, с неуклюжим телом. Кроме того, она скупа, а болтлива, как сорока. Но послушайте, что произошло потом! Феодору извлекли из кельи и потащили в монашеском одеянии в храм Софии, чтобы провозгласить там под клики народа импе-

ратрицей. Воспользовавшись тем, что его на время оставили в покое, Михаил Калафат бежал вместе со своим родственником Константином в монастырь, называемый Студион. Но Георгий Маниак, который всем распоряжался во дворце от имени перепуганной Феодоры, послал вдогонку воинов с приказанием доставить беглецов в Священный дворец.

— Он меня отправил за ними, — с удовольствием пояснил Филипп, что дало повод Анне поднять на него глаза.

— Да, сначала туда поспешил с малым отрядом мой молодой друг. А когда во дворце стало известно, что к Студиону движутся огромные толпы народа, я сам отправился в монастырь, и за мною увязался этот сочинитель хроник, что всюду сует свой нос. В руках у него была навошенная табличка и красивая палочка из слоновой кости. Он ею записывал что-то...

Михаил Пселл действительно всюду хотел быть и все видеть. Это таилось в его характере. Нетрудно догадаться, почему протоспафарий водил дружбу с дворцовыми варягами и часто угощал их вином.

Гаральд рассказывал:

— Писатель надеялся, что мы будем сообщать ему обо всем, что видим в Священном дворце. Но я сам больше узнал от этого болтуна, чем рассказал ему, хотя протоспафарий вечно что-то записывает на восковых дощечках. Между тем я уже явился в Студион, и Филипп сказал мне, что Михаил и Константин нашли прибежище в алтаре церкви. По греческим обычаям, никто не может схватить человека и вести его в темницу или на казнь, если он успеет войти в алтарь. Даже если это преступник. Мы видели с Филиппом, как оба они трясущимися руками срывали с себя царские инсигнии и поспешно облачались в черное монашеское одеяние, которое постарались принести монахи. Михаил цеплялся дрожащими руками за витые колонки престола. В Студийской церкви он сделан из литого серебра. И что же мы увидели? Подле согбенного царя стоял Константин и с презрением смотрел на нас. Я хотел войти в алтарь и увести обоих во дворец, однако монахи воспротивились этому, уверяя, что за подобное святотатство нас покарают небеса. Я уступил и стал ждать распоряжений. Ожидать пришлось недолго. Вскоре в церкви появился запыхавшийся эпарх. Так называется вельможа, которому поручено ведать городом. Его звали Никифор Кампанар. Он привез повеление, подписанное рукой Феодоры пурпуровыми чернилами, в коем предписывалось, чтобы царь и его дядя немедленно покинули храм. Тогда мы выволокли обоих на монастырский двор...

— И у тебя поднялась рука на помазанника? — спросил Всеволод, слушавший рассказ о константинопольских событиях в крайнем волнении. Это был единственный человек в семье, не считая Марии, который полагал, что надлежит быть в хороших отношениях с Царьградом. Странно, что, невзирая на такие взгляды, отец любил его больше всех других сыновей.

Гаральд смутился. Он мог бы умолчать о своем участии в этом деле, но вино развязало ему язык и породило желание рассказывать о тех потрясающих событиях. Ярл сказал в свое оправдание:

— Мы только исполняли то, что нам было приказано. Если ты, светлый конунг, повелишь своим воинам сделать что-либо, они обязаны выполнить это немедленно, иначе за что же они получают от тебя награду?

Однако слушателям не терпелось узнать, что происходило дальше, и слышались голоса, требовавшие продолжать. Гаральд посмотрел на Ярослава и, получив от него молчаливое разрешение, но не желая восстанавливать против себя этого святошу Всеволода, продолжал уже с меньшим увлечением:

— Потом произошло ужасное. Мы с Филиппом только присутствовали при этом и были не в силах помешать казни.

— Что же случилось? — спросил Ярослав.

— Когда мы вели схваченных по улице, нас сопровождали монахи, которым епарх Никифор дал слово, что ничего плохого не сделают с царем и Константином... Но едва мы достигли площади, называемой Сигма, как встретили посланных из дворца палачей с орудиями ослепления. Они быстро развели огонь в переносном горне и раскалили на нем страшное железо. Василевс бился в руках мятежников, но палач спокойно продолжал под рыдания Михаила приготовления к казни. Какой-то сенатор, не опасаясь того, что может поплатиться за свое милосердие собственной головой, утешал несчастного. Когда василевсу связали цепью руки и раскаленное железо коснулось его зениц, он завыл, как зверь. Слепленный стал биться на земле и царапать лицо. Константин держал себя мужественнее. Он сказал палачу, указывая на обступивших его людей, не желавших ничего упустить из такого зрелища: «Разгони эту чернь, чтобы все добропорядочные видели, как я перенесу казнь». И отказался от цепей, которыми обычно связывают ослепляемых, чтобы они не бились и не причиняли себе напрасных страданий. Затем Константин лег на землю. Он перенес казнь без единого стога! Помню, что рядом со мной стоял Пселл. Он шептал мне за плечом: «Утром еще они повелевали всем миром, а вечером стали жалкими слепцами!»

Гаральд был певцом, поэтом, играл на арфе и поэтому умел красиво рассказывать о том, что ему привелось увидеть во время своих странствий.

— И вот тогда-то, — воскликнул ярл, — и взошла на греческие небеса звезда Константина Мономаха!

Он знал, что Мария была дочерью василевса от первой жены, уже покинувшей мир. В этом месте рассказа требовались пышные хвалебные выражения: речь шла не только о том, чтобы получить в награду прелестную улыбку греческой красавицы, но и снискать расположение Всеволода, который имел большое влияние на отца. Кроме того, не лишним было и пробудить ревность Елизаветы. Как опытный соблазнитель, Гаральд знал цену этому страшному чувству. Мария же достаточно понимала русский язык, чтобы оценить панегирик отцу.

— Василевс, ныне царствующий в Константинополе, происходит из Далассы. Красота его напоминает статую...

Анна представила себе Константина Мономаха в образе Филиппа и затаив дыхание слушала рассказ.

— Семь долгих лет героя держали в ссылке. Семь лет он прозябал в изгнании, потому что при его появлении на улицах Константинополя народ приходил в неистовство. Но Пселл говорил правду, когда уверял меня, что природа сделала у этого царя крепость мышц только основанием здания. Потому что мощь василевса Константина не в мышцах, а где-то в глубине сердца. Однако десница его тоже отличается необычайной силой. Помню, однажды он с увлечением пожал мне руку за какую-то оказанную услугу, и я потом чувствовал это рукопожатие несколько дней, а ведь никто не может сказать, что я хилый человек. Но, кроме того, как он умеет очаровывать одинаково и мужчин и женщин своими улыбками!

От удовольствия Мария тоже улыбнулась рассказчику. На мгновение на смугловатом лице блеснули чудесные, как жемчужины, зубы. На правой щеке темнела родинка...

— Против таких улыбок не может устоять самое каменное сердце. И вот ради пользы государства этот красавец стал супругом стареющей Зои.

Анна внимала, не пропуская ни одного слова. Зоя уже старуха! А сколько

она слышала об этой необыкновенной женщине, об ее умении пользоваться благовониями и притираниями! Как бы хотелось посетить Царьград, о красоте которого столько рассказывали брат Всеволод, и Илларион, и другие люди, побывавшие там. Недаром она и сестры одевались подражая знатым гречанкам, а торговцы привозили им из Константинополя редкостные вещи. Но Анну вывел из задумчивости громоподобный голос брата Святослава:

— Отец, не довольно ли уже об убийствах и ослеплениях! Посмотри вокруг себя! Гостям хочется послушать певцов. Пусть Гаральд поет ту песню, которую он пел вчера за моим столом! Гаральд!

Святослав был в красной шелковой рубаше с богатым золотым оплечьем. Он поднялся со скамьи и счастливыми пьяными глазами, позабыв о своих болячках и скучной жене, оглядывал сидевших за столом, и все отвечали ему веселыми улыбками и шутками. От горящих свеч, медленно оплывавших на серебряные чашечки светильников, от разгоряченного вином человеческого дыхания в пиршественной зале становилось жарко. Перебродивший мед напоминал о пчельнике. Почтенные бояре, уже упившиеся вином, ослобелыми глазами поглядывали на соседей. Те, что помоложе, шумели, вскакивали со скамей и, поднимая турий рог, полный пенистого меда, были готовы под любым предлогом затеять драку, вырвать у соперника клочок бороды. Но их белотелые жены звенели золотыми ожерельями, раздумянулись и похорошели на пиру. Им хотелось веселиться, слушать музыку. Гаральд окинул взглядом собрание, точно спрашивал себя, оценят ли здесь его песню, сложенную с таким волнением в честь любимой русской девы. Потом поманил рукой одного из отроков. Прислонившись к притолоке двери, скрестив руки на груди, тот задумчиво смотрел на пирующих. Но юноша уловил знак и пошел к Гаральду, с полной готовностью служить такому знаменитому мужу.

— Друг, принеси арфу! — сказал ярл.

Когда Гаральду вручили ее, изогнутую как лебединая шея, он стал настраивать золоченые струны опытной рукой, точно поджидая вдохновение, которое посещает певца в счастливые минуты. Мало-помалу наступила тишина. Елизавета, зная, что сейчас будет прославлена ее красота, отвернулась и опустила глаза. Но все другие устремили взоры на скальда. Теперь ярл носил кроме длинных усов коротко подстриженную бороду. Левая бровь у него взлетела выше, чем правая. Большие белые руки с редким искусством перебирали струны. Он был сложен как Тор, бог войны, в которого еще верили старики и старухи в глухих селениях Упландии, где весной является на заре в березовых рощах зеленоглазая Фрейя.

Гаральд подбирал на арфе мелодию, и вдруг его сильный, но мягкий голос пропел знаменитые стихи о корабле, миновавшем Сицилию...

Наш корабль миновал Сицилию,  
мы были в красивых одеждах,  
как подобает воинам.  
Быстроходный корабль с высокой кормою  
нес воинов к славе.  
Не думаю, чтоб малодушный  
решился уплыть так далеко.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Гаральд перестал петь, печально склонил голову набок и смотрел вдаль, точно вспоминая минувшие годы и еще раз переживая свою любовную тоску. Некоторое время он перебирал среди мертвой тишины звонкие струны, потом вздохнул, посмотрел на Елизавету и, запрокинув голову, продолжал:

Мы смело построились перед трандами,  
хотя было их больше числом, нежели нас.

Поистине там разыгралась ужасная битва,  
с нх королем бился я в единоборстве  
и убил его в этом сраженьи.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Снова раздался рокот арфы. Послышался чей-то женский вздох. Лицо Гаральда стало суровым, но он уже не смотрел на Елизавету и не видел, как высоко вздымалась ее грудь от взволнованного дыхания, которое вызывается любовью.

Шестнадцать нас было, милая дева!  
Средь бури мы черпали воду в ладье,  
волны тяжелый корабль заливали.  
Не думаю, чтоб малодушный  
решился заплыть так далеко.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Теперь Елизавета не постыдилась повернуть свое лицо к певцу и, подарив его сияющей улыбкой, прошептала:

— Гаральд, я не пренебрегаю тобой...

Обращаясь к ней, он пропел:

Я родился там, где упландцы натягивают луки.  
Теперь я правлю боевым кораблем среди скал,  
гроза сарацин...

Наградой воину за стихи были восторженные восклицания. Слушатели поднимали за его здоровье рога, наполненные медом, женщины улыбались, а некоторые рукоплескали, научившись этому у приезжих греков, которые имеют обыкновение так выражать одобрение певцам и музыкантам. Лицо Елизаветы пылало.

Тогда арфу взял из рук Гаральда скальд Теодульф, чтобы прославить его своей песней:

Смелым, Гаральд,  
тебя называют,  
ты в тишине  
не умрешь на соломе,  
ты среди битвы  
паришь, как орел...

Ярослав был доволен пиром. Но Ингигерда, устав от шума и духоты, покинула собрание в сопровождении прислужниц. Тогда старый князь предложил Гаральду пересесть поближе к нему. Он решил, что Елизавета еще успеет наговориться со своим возлюбленным, а ему хотелось расспросить ярла о некоторых благочестивых предметах.

— Слышал я, что ты был в Иерусалиме? — спросил старый князь.

— Я был в этом святом, а ныне несчастном городе.

— Что же ты видел там?

— Я видел страшное запустение. После войны греков с сарацинами Иерусалим лежит в развалинах. Храм, построенный на Голгофе, разрушен до основания. Василевс послал меня в Иерусалим, чтобы восстановить рухнувшие стены этого здания, и каменщики трудились много месяцев, прежде чем удалось выполнить повеление.

— И сарацины не чинили препятствий?

— Даже помогали нам, доставляя строительные материалы. А сам халиф

присылал мне прохладительные напитки, так как в той стране в летнее время стоит невыносимая жара.

— Пришлось ли тебе видеть Иордан?

— Я искупался в этой реке, чтобы омыть грехи. В том месте проходит дорога в город Иерихон. На ней разбойники безнаказанно нападали на путников, отнимая у них ослов и одежду. Но халиф дал мне воинов, и я очистил путь от разбойников. Теперь все желающие могут направляться туда в полной безопасности.

— А еще что видел ты? — любопытствовал Ярослав.

— Еще я видел Мертвое море. Воды его полны серы, упавшей с небес, когда были истреблены Содом и Гоморра, и в этой черной воде не может жить никакая рыба.

— Много видели твои глаза, — с грустью сказал Ярослав.

Когда за столом уже началось целование между мужчинами и женщинами, Илларион поспешил уйти из гридницы, как того требовал церковный устав, и вслед за ним удалились Ярослав и Всеволод с Марией. Повинуясь знаку отца, Елизавета и Анна тоже встали из-за стола. Анна видела, что все были сыты и веселы. Женщины громко смеялись. Перед тем как покинуть пиршественную залу, она посмотрела с нежностью на молодого яра. От этого взгляда его лицо залилось румянцем. Девушка улыбнулась ему и, еще не отдавая себе отчета в том счастье, которое вдруг наполнило ее сердце, с горестным сожалением оставила пир.

Заметив, что Илларион удалился, поп Иван пустился в пляс, при всеобщем одобрении и смехе.

Позднее, когда Анна расплетала наверху косы, в тихой горнице, где спали сестры, появилась сердитая мать, поговорила с Елизаветой, а потом пронзительно посмотрела на другую дочь и сказала:

— Хотела бы я знать, почему ты так смущалась за столом, медлила прикоснуться к пище?

Анна взглянула на мать с волнением, страшась, что тайна ее будет открыта.

— Почему же ты молчишь? — настаивала княгиня.

— Я не знаю, о чем ты говоришь. Мне нездоровилось.

— Нездоровилось? Вот почему так горело твое лицо? И теперь горит. А не потому ли, что ты лжешь матери?

— Я не лгу тебе.

Но мать не верила ей.

## V

Едва умолк шум пира, как была устроена большая охота на вепрей. Эти звери водятся в большом количестве там, где растут дубы, дающие диким свиньям обильную пищу в виде желудей, а Киев со всех сторон окружали дубравы. В приготовлениях к забаве деятельное участие принимал Святослав, как всегда довольный собою, своим богатством, конями и оружием, хотя по-прежнему весьма страдавший от болячек на шее, от которых его не могли излечить лучшие армянские и сирийские врачи.

Всеволод, по обыкновению, от этого лова уклонился, ссылаясь на недомогание, а другие братья находились в отъезде. Зато Гаральд и Филипп приняли приглашение на охоту с восторгом, предвкушая удовольствие вознзить копье в ошетилившегося вепря и вдохнуть ноздрями острую, мускусную теплоту звериной крови. Никогда человек, казалось им, не чувствует так

явственно жизнь, как наблюдая смерть врага или зверя. Пожелали отправиться на лов и обе сестрицы, Елизавета и Анна. По просьбе матери, Святослав должен был позаботиться, чтобы с ними не случилось чего-нибудь худого.

Накануне отправления на охоту, услышав, что брат действительно занемог, Анна навестила болящего. Молодой князь обитал с супругой в ограде княжеского дворища, но в отдельных хоромах. У него были свои вооруженные отроки и отдельный домоуправитель. Анна направилась в дальний конец двора, занимавшего такое обширное пространство, что на нем иногда собиралось народное вече и устраивались конские ристания. Сейчас на нем стояла тишина, все заросло крапивой. На траве лежали собаки и щелкали зубами, ловя злых осенних мух. Псы вежливо помахали хвостами, когда Анна проходила мимо. Кое-где рабы лениво выполняли ежедневные работы — один колот дрова у поварни, другой нес воду в ведрах на коромысле, некоторые проветривали меха. Над колючими цветами, которые называются лепками, кружились белые мотыльки. Хвосты у собак были полны этих шишек, и Анна вспомнила, что в детстве играла с братьями, бросая эти колючки, легко прилипавшие к одежде.

Мария, жена Всеволода, встретила свойственницу радостными поцелуями. Ярославна тоже с удовольствием прижалась щекой к ее прохладной щеке, спрашивая о брате. С улыбкой, стесняясь своего произношения, гречанка ответила, что у больного врач.

Привыкшая к пышности Священного дворца и общению с воспитанными людьми, дочь царя, приехав в страшную скифскую страну, воображала, что мужем ее будет какой-нибудь огромный варвар, в объятиях которого ей придется трепетать, как птичке в пасти зверя, а он оказался тонким и болезненным юношей. С первых же дней Мария привязалась к нему со всей женской нежностью, возвращенной в гинекее. Когда Всеволод хворал, она сама готовила для него отвары, какие предписывал врач, и проводила ночи у его изголовья. Но болезнь проходила, и тогда большой дом наполнялся смехом влюбленных супругов.

Молодой князь страдал печенью и всякий раз, как выпивал на пиру слишком много меду, болел.

Когда Анна появилась на пороге горницы, Всеволод улыбнулся ей. Он лежал на широкой деревянной кровати, под меховым покрывалом, невзирая на теплую погоду. У одра болящего стояли двое врачей.

Один из них, красивый, чернобородый, но предрасположенный к полноте человек, был армянин по имени Саргис, по каким-то причинам покинувший город Ани, вероятно спасаясь от неверных, и поселившийся в Киеве, где лечил всю княжескую семью: Ярослава от бессонницы, Святослава от нарывов, Ингигерду от сердечного томления, а Всеволода от колотья в боку. В умных глазах лекаря можно было прочесть гордость своей великой наукой, дававшей ему возможность взирать с аристотелевских высот на простых смертных, считавших, что недуги — лишь наказание, посылаемое за грехи, тогда как все объясняется сухостью или влажностью человеческого организма, обилием слизи или слабостью почек и прочими естественными причинами. Некогда врач изучал медицину в знаменитой Муфаргинской школе, которую прославили на весь мир два армянских врача — Бусайд и Иессе. Саргис хорошо говорил по-гречески и по-арабски, изучал Аристотеля и привез из Армении трактат Немесия «О природе человека», переведенный на арабский язык. Имена великого Гиппократы и Галена не были для



него пустыми звуками, но в среде знатных людей он остерегался прибегать к сильнодействующим средствам, ограничиваясь рвотными снадобьями, кровопусканием и приятными отварами, от которых не могло произойти в таинственных недрах тела опасных изменений.

Увы, приходилось быть осторожным с гневливыми воинами, хотя русские дружелюбно относились ко всем чужестранцам.

Когда Анна вошла в горницу, Саргис стоял у постели и держал двумя пальцами запястье князя, точно прислушиваясь к чему-то, доступному только его слуху. Рядом находился другой врач, родом грек, по имени Евлампий, привезенный в Киев митрополитом Феопемптом. Этот человек, хотя и лечивший других, сам имел весьма болезненный вид, с неопрятной всклокоченной бородой, в монашеском одеянии. В течение многих лет Евлампий врачевал русских купцов в предместье св. Мамы и научился их языку.

Может быть, для того чтобы посрамить грека своим глубоким знанием врачебных тайн, Саргис бережно опустил руку Всеволода на одеяло и сказал:

— Что такое тело человека? Повозка, запряженная теплом, холодом, сухостью и влажностью. Это те же четыре элемента. Огонь, вода, воздух, земля. Поэтому лечить болезни нужно, сообразуясь с природой человека.

Женщины ничего не поняли из того, что сказал врач. Только Всеволод улавливал в его словах некоторые мысли, так как привык читать греческие книги, в которых говорится о подобных вещах. Но грек, лечивший митрополита и прочих духовных особ освященным елеем, не признавал гиппократовских тонкостей. Он возразил Саргису:

— Болезни надо изгонять из человеческого тела постом и молитвою или помазанием елеем. Ибо всякий недуг — зловерный дух.

— Не спорю, — благоразумно ответил Саргис.

— К чему эти ухищрения? — негодовал грек. — Если господь не поможет совладать с недугом, не исцелят никакие снадобья.

— Не спорю, — дипломатично повторил армянин, — но что говорит об этом Гиппократ?

— Гиппократ! — презрительно поморщился Евлампий.

— Да, Гиппократ! Неугасающее светило! Он, например, говорит, что зевота или потягивание происходят отнюдь не от влияния нечистой силы, а от усталости тела. Конечно, бывает, что злые духи овладевают человеком, особенно во сне, принимая в сонном видении образ соблазнительной женщины или даже крылатого чудовища. Однако чаще всего это объясняется слишком обильной пищей, принятой во время позднего ужина...

Всеволод не без удовольствия выслушивал важные разглагольствования врачей, хотя и морщился от покаявания в боку.

— Тебе больно? — в крайнем огорчении спрашивала мужа Мария.

Князь застонал в ответ. Но Анна догадалась, что так он поступал для того, чтоб лишний раз вызвать в сердце любимой супруги нежность.

— Молись святому Пантелеймону и будешь здоров. Господь лучше знает, какая у тебя болезнь.

Грек ушел. Проводив его взглядом, Саргис сказал:

— Для чего же нам дан разум? Не для того ли, чтобы распознавать болезни и лечить больных травами, произрастающими на земле? Что мы лечим у тебя? Болезнь печени. Ее признаки налицо. Боли в боку, в спине и правом плече. Правая рука у тебя отяжелела? Отяжелела. Как обычно бывает у тебя в таких случаях. Судя по биению жилы, тебя лихорадит. Причина всему — вино, поглощенное свыше меры. Я уже тебе говорил. Пьянство — не для тебя.

Всеволод терпеливо выслушивал советы врача, в надежде, что он и на этот раз избавит его от ноющей боли...

— Что предписывает в подобных случаях искусство врачевания? Покой, полынные отвары. Хорошо также пить настой из барбарисовых ягод или питье, приготовленное из меда с небольшим количеством уксуса.

— Князь не спал всю ночь,— пожаловалась Мария.

— И от бессонницы существуют средства. Вот что давай больному. Возьми головки мака, положи их в сосуд, налей в него воды, чтобы все было покрыто жидкостью, и вари на медленном огне, как похлебку. Затем процеди варено через чистое полотно. Храни этот отвар в глиняном горшке и давай выпить князю перед сном небольшое количество, предварительно разведя снадобье наполовину водой. Но ни в коем случае не позволяй больному вкушать ни жирного мяса, ни перцу.

— А вино? — спросил Всеволод.

— Разрешается, но в небольшом количестве. Оно пламенем сжигает человеку печень. Еще Иоаннес, выдающийся врач, писал, что у пьяниц сердце и печень ослабевают и находятся в состоянии угнетения. Вино вызывает тяжесть в желудке и гнилую отрыжку. Не говоря уже о том, что душа у опьяненного человека не способна приобщиться ни к чему разумному и как бы находится во мраке.

Всеволод вздохнул. Он подумал о том, что его братья пьют на пирах мед и вино и потом не испытывают ни малейшего страдания, а он прикован к постели за лишнюю чашу.

Саргис развел руками, как бы намекая на ограниченность человеческих сил.

— Ты знаешь, светлый князь, о моей готовности служить тебе. Если меня зовут к одру болящего, я спешу, не спрашивая, богат он или беден и может ли заплатить мне. Для меня безразлично, рубище на нем или золотое покрывало. Я лечу. Надеюсь, что тебе и на этот раз поможет полынное питье.

Анна видела, что эти врачи, приехавшие из Армении или Сирии, берут в свою руку кисть больного и определяют таким образом болезнь.

— Как ты можешь по биению жилки распознать недуг? — с уважением спросила она врача.

Армянин, потирая пухлые, опрятные руки, стал объяснять:

— Чем чаще бьется жилка, тем больше жар у человека. В юности я учился в далеком городе Муфаргине, неподалеку от Эдессы...

Названия этих далеких городов ничего не говорили Анне.

— Там я постиг арабскую науку врачевания. Потом я слушал в городе Ани учение о лекарственных травах. Один ученый человек, по имени Григорий, изучавший философию в Константинополе, основал с разрешения нашего царя школу, и от него я тоже узнал много полезных вещей. Но еще более я научился врачевать у некоего Кириака. Однажды я слышал, как он сказал Григорию, что его интересуют не звезды, не их влияние на судьбу человека, не движение небесных светил в зодиаках, а вопрос, каким образом соки пищи превращаются в кровь. Эта мысль так поразила меня, что с тех пор я стал задумываться над состояниями человеческого тела. Если мы откроем эту тайну, то возможно будет излечивать все недуги.

Врач получил мзду и удалился. Анна села на край постели. Мария же вынула засунутый за пояс белый платочек и с нежностью отерла пот со лба мужа.

— Скоро ты покинешь нас,— сказал Всеволод сестре.

Анна ничего не ответила. Мария смотрела на нее понимающими глазами.

Охотники пробудились задолго до рассвета. В городе пели охрипшие петухи. Поеживаясь от предутреннего холода, Святослав, Гаральд, Елизавета и Анна проехали по темным, кривым улицам. В хижинах уже просыпались трудолюбивые люди. Пастухи гнали коров к городским воротам. Горластые псы лаяли на всадников, и кони с умной предосторожностью косили на собак прекрасные глаза.

Святослав выехал на охоту в своем неизменном синем плаще на красной подкладке. От князя пахло потом и константинопольскими духами, которые привозили ему в подарок греки из Херсонеса, зная слабость русского князя к благовониям. Вместо меча на бедре у Святослава висела кривая печенежская сабля в простых кожаных ножнах с медными бляхами. Князь снял ее с убитого печенег после какого-то счастливого сражения и уверял, что никто не может выдержать молниеносного удара этим оружием.

Никогда еще Анна не испытывала такого волнения во время сборов на охоту, как в тот день. Она была уверена, что встретится сегодня с Филиппом.

После пира, разгоряченная впервые выпитой чашей греческого сладкого вина, а еще больше посетившим ее чувством, Анна без сил бросилась в постель, в своей неопытности не подозревая, что в тот вечер уже пришла к ней любовь. Она долго думала о прекрасном ярле, а потом уснула, сжимая в руках пуховую подушку. Наутро ее разбудил голос Елизаветы:

— Анна! Анна!

Ярославна проснулась, и первое, что ей пришло на ум, было вчерашнее пиршество, когда рядом с нею сидел за столом Филипп. В одно мгновение вспомнив все мельчайшие подробности, она так и осталась сидеть на постели с блаженной улыбкой на устах.

Сестра спрашивала ее со смехом:

— Что с тобой?

— Ничего,— ответила Анна, погруженная в свои сладкие воспоминания.

Она размышляла о том, что рассказывали вчера о царице Зое. Потом снова Филипп встал перед ней как живой, в широкой зеленой рубахе, сияющий, как крылатый архангел. Она повторила шепотом:

— Ничего.

Елизавета погрозила ей пальцем...

И вот по пути на охоту, в тусклом рассвете прохладного утра, Анна иногда оборачивалась или тайком смотрела в ту сторону, где рядом с Гаральдом ехал Филипп, и ей казалось, что она ловила на себе его взгляды. При мысли об этом у нее несколько раз щемило в груди. Она еще не знала, что бедное женское сердце способно так сладко замирать. И вдруг неожиданная радость наполняла все ее существо. Ей хотелось смеяться, неизвестно почему, так, без всякой причины, а потом вдруг становилось грустно до слез.

Когда охотники переправлялись вброд через неглубокую серебристую речку, извивавшуюся по долине, Анна улыбнулась Филиппу в ответ на его тревогу, с какой он посмотрел на нее, когда серая кобылица неловко поставила ногу на камень и поскользнулась. Анна едва не упала в воду. В этот миг ярл невольно подался вперед, широко раскрыл глаза, как бы в ужасе от того, что видел перед собою, и положил руку на сердце. Это движение выдало его с головой.

Анна догадалась, что Филипп любит ее, и в порыве бессознательного лукавства подняла руки и стала поправлять на голове зеленый шелковый плат, под которым, как золото, лежали закрученные вокруг головы рыжие косы. Она была в широком сарафане из синего миткаля, с золотыми позументами, сшитом для охот и верховой езды, чтобы в случае нужды удобнее сидеть в седле по-мужски и чтобы ничей нескромный взгляд не увидел ее

белые девичьи ноги... Из-под золотой каймы подола виднелись красные сафьяновые сапожки.

Ярославна чувствовала себя молодой, красивой, способной покорить весь мир.

Переправившись через речку, свернули с дороги к дальним курганам, за которыми на расстоянии нескольких поприщ уже начинались дубравы, обильные крупной дичью. Там водились лоси, олени, косули, вепри. Псы весело бежали впереди, принюхиваясь к крепким осенним запахам, довольные своим существованием, предчувствуя опьяняющую борьбу с клыкастыми зверями. Загонщики своевременно сообщили, что в дубраве за старым мостом замечен большой выводок диких свиней. Охота обещала богатую добычу. Мясо вепря, вскормленного горькими желудями, — прекрасная еда. Искусные повара сдабривают эту пищу перцем, шафраном, имбирем. Но охотники знали, что загнанный в трущобы кабан яростно защищает свое звериное существование, и поэтому все, кроме Елизаветы и Анны, выехали в поле с оружием. На вепрей обычно охотятся с копьями в руках.

Когда над туманным Днепром забрезжил рассвет, охотники стали трубить в рога, и псы, как безумные, бросились выгонять кабанов из чащи. Звери искали спасения в густых зарослях папоротника, но собаки с радостным заливистым и злым лаем, захлебываясь от нетерпения, помчали их в овраги, как будто бы понимая, что там охотникам будет легче всего настигнуть добычу. Кони сами неслись вдогонку за стадом злобно хрюкающих вепрей. Непрестанно слышались волнующие звуки охотничьего рога. В опьянении погони людям хотелось трубить, кричать бессмысленно, мчаться через препятствия, настигать зверя и пронзать его копьем.

Анна скакала вместе со всеми. Сидя по-мужски на небольшой, но быстроходной кобылице с плавным степным бегом, она вдыхала всем своим существом упругий осенний воздух, бивший в лицо, и запах лесной свежести. Ветер шумел в ушах, и от его шума сердце наполнялось ликованием. Порой нежная паутина прилипала к щеке. Рядом мчалась Елизавета и улыбалась сестре, разделяя ее радость. Святослав кричал им издали, оборачиваясь и сверкая глазами:

— Ликует стрелец, настигающий зверя! Так и я!

И они махали ему рукой.

Как и надеялись охотники, псы загнали несколько вепрей в глубокий овраг, где приходилось скакать с осторожностью, из опасения покалечить коням ноги. Анна заметила, что брат Святослав не расстался с Гаральдом, с которым он подружился в последние дни, покоренный его щедрыми дарами в виде двух огромных серебряных блюд. На одном полунагая женщина высыпала из рога изобилия плоды и цветы, на другом юный Давид пас овец и играл на кифаре. Тяжкое серебро мелькнуло в памяти Анны, но блеск металла тотчас погас: Святослав очутился перед огромным черным кабаном. Перед другим, таким же клыкастым, стоял Гаральд. Оба они в охотничьем порыве соскочили с коней и обнажили мечи, не имея копий, которыми лучше всего поражать этих зверей.

— Святослав! — крикнула Анна, не подумав, что может отвлечь внимание брата. К счастью, опытный охотник не обернулся на окрик.

В эти мгновения Ярославна находилась на самом краю оврага, едва сдерживая свою Ветрицу, под копытами которой осыпались комья земли, и хорошо видела все, что происходило внизу. Рядом с усилием натягивал поводья Филипп, чтобы не свалиться вместе с конем в глубокий провал.

... И прославна чувствовала себя молодой,  
красивой, способной покорить весь мир



Переправившись через речку свернули  
с дороги к дальним курганам за которыми

Вепри, если они не ранены и не боятся за своих детенышей, предпочитают обычно искать спасения в бегстве, но стены оврага оказались слишком обрывистыми, чтобы им возможно было взобраться наверх, и загнанным зверям ничего не оставалось, как вступить в смертный бой. Псы с громким, но уже хриплым лаем, не прекращающимся ни на одно мгновение, и в остервенении, ничего равного которому нет на земле, смело бросились на добычу. Вепри выставляли страшные клыки; из мокрых разверстых пастей исходило огненно-зловонное дыхание... Вот один из особенно неистовых псов уже завыл и покатился с распоротым брюхом, обагрив кровью траву. Остальные собаки отшатнулись, умолкли на миг и потом с новой яростью продолжили драку. Среди этого смятения охотники ждали удобного случая, чтобы расправиться с опасными животными в заманчивом единоборстве. Но вдруг один из кабанов, черный, как бы опаленный адским огнем, покрытый невероятной щетиной, расшвыряв в последнем усилии собак, летевших от него в разные стороны, как жалкие щенки, изловчился и, понуждаемый ужасом смерти, прыгнул на торчавшее корневище, послужившее для него мостом, чтобы выбраться из оврага. Ни Святослав, ни Гаральд не могли помешать ему, так как обоим пришлось сражаться с другим свирепым зверем. А выбравшийся из оврага вепрь, неожиданно почувствовав себя на свободе, уже помчался с торжествующим хрюканьем в соседний орешник. Пока Гаральд убивал мечом второго кабана, собаки прыгали и пытались взобраться на корневище, но оно обрушилось, засыпая псов землею... Уже запахло мускусной кабаньей кровью. Оставленные без присмотра кони, встревоженные этим запахом, умчались, закусив удила, в другой конец оврага, вызвав всеобщий переполох и сердитую брань Святослава.

Едва вепрь очутился в орешнике, как Анна, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, тут же повернула Ветрицу и кинулась за зверем в погоню. С нею не было ни оружия, ни псов, и охотница вспомнила об этом уже во время преследования кабана. Он мчался теперь к дубовой роще, и кобылица, легко выбрасывая ноги, скакала за ним сквозь ореховые кусты. Иногда Ярославна видела среди низкорослых папоротников подпрыгивающую спину зверя. Вепрь то скрывался в кустах, то вновь появлялся на очередной лужайке.

Однако Анне стала мешать неровность почвы, и расстояние между нею и кабаном увеличивалось с каждым мгновением, а впереди уже манила дубрава, где зверь жаждал найти спасение. Лишь теперь девушка услышала, что кто-то скачет позади. Она обернулась на миг. Это был Филипп. Ярл мчался на расстоянии полета стрелы...

Анна даже успела рассмотреть оскаленные желтые зубы белого жеребца. Филипп скакал, несколько склонившись набок, чтобы лучше видеть Ярославну, и голубой плащ развевался над ним, как крылья огромной птицы. Дева еще раз оглянулась, и ей показалось, что она прочла в глазах ярла любовь. От этого взгляда, полного мужского любования, ее сердце возликовало. Во время скачки Анна потеряла зеленый плат, которым были повязаны закрученные косы, и теперь волосы рассыпались у нее по плечам, вздымаясь от встречного ветра золотым руном, и если бы Филипп находился поближе, она могла бы слышать, как ярл шепчет пересохшими от волнения губами:

— Валькирия! Валькирия!

Вепрь стремительно бежал к роще, и приходилось удивляться, что его короткие ноги способны на такую быстроту и столь неутомимы, но потом вдруг бросился в сторону, спустился в ложину и пропал из поля зрения. Когда Анна выехала на открытое место, зверь уже исчез. В то же мгновение ее догнал Филипп.

— Где вепрь? — спросила Анна, едва справляясь со своим дыханием. Ярл придержал коня.

— Разве найдешь его теперь среди дубов?

Лошади их очутились рядом. Белый жеребец почувствовал нежность к молодой серой кобылице и стал кусать розовыми губами ее холку. Должно быть, он ощущал сладостный запах пота Ветрицы, потому что неожиданно заржал от обуревавших его чувств. Но Филипп безжалостно вздыбил его и, изо всех сил натягивая поводья, заставил повернуться несколько раз на одном месте, и тогда скакун снова подчинился власти человека. Анна с невольной улыбкой восхищения смотрела на ловкого всадника.

Не тревожась более об ушедшем вепре и уже не думая о наслаждениях охоты, Ярославна ехала, сама не зная куда, без всякой цели, по тропинке, едва видной среди редких и поэтому казавшихся особенно величественными дубов. Красота каждого из них была создана природой по особому замыслу, как красота человека. Деревья застыли в солнечной тишине; они созерцали мироздание, в котором существовали сотни лет. Им не было дела до того, что происходит в мимолетном времени людской жизни.

В мире людей все казалось хрупким и бранным и не могло устоять против бури. Анна тоже чувствовала себя былинкой, что несется в потоке неизвестно в какое море. Ее душу наполняли неведомые доселе ощущения, каких она еще никогда не испытывала в жизни, самые радостные, какие только существуют на земле, и самые печальные, когда хочется умереть. Она не могла бы выразить их на скудном человеческом языке. Это все возможно передать только первым поцелуем, молчаливым взглядом, шепотом в лунную ночь.

Филипп тихо ехал позади, на расстоянии полета стрелы. Хотя он и был всего лишь варяжский наемник, смотривший на женщин как на временную утеху воина, но чувствовал сейчас, что ему не надо приближаться к Ярославне. И вдали от него Анна спрашивала себя: что же она делает? Разве она не дочь могущественного князя? Что ей до этого варяга, который сегодня служит здесь, а завтра в другой стране? Она повела плечом. Но оглянувшись, и снова ее охватила сладкая грусть.

После погони за вепрем, когда порой захватывало дыхание, во рту у Анны пересохло, и ей захотелось пить. Это родилась огненная, ни с чем не сравнимая жажда. По некоторым признакам можно было догадаться, что где-то поблизости протекает ручей: там, где долина понижалась, росли ракиты, любящие близость влаги. Анна, даже не спросив, желает ли ярл следовать за нею, повернула коня в ту сторону. Вскоре она с радостью заметила прозрачную струйку воды, торопливо бежавшую по белым камушкам, как это часто бывает в местах, где растут дубы. Трава в ложбине, по которой протекал ручей, еще оставалась зеленой, и из нее с криканьем вылетали дикие утки, в отчаянье вытягивая длинные шеи, но на лужках и под дубами злаки уже поблекли и все было усеяно желудями — привольное пастбище для диких свиней. Кое-где последние цветы, колокольчики и еще какие-то, названия которых Анна не знала, робко поднимали синие и розовые головки. Над ними хлопотали вялые осенние пчелы, осторожно опускались на цветы, счастливо склонявшиеся от этой ноши, и, неловко перебирая лапками, точно сердясь на свою немощь, собирали остатки летней сладости. Листья на ореховых кустах совсем пожелтели, и по сравнению с ними дубы казались покрытыми великолепной зеленью. С них шумно падали желуди и порой тихо слетал побуревший лист. Золотые и розоватые осины трепетали в предчувствии зимы.

Анна, держа коня за повод, спустилась к ручью. В одном месте вода лилась через камень и казалась особенно прозрачной. Девушка стала черпать ее рукою, пила из горсти и так делала до тех пор, пока не утолила жажду.

Рядом наклонился к струе Филипп. Но он не черпал воду, а лег на землю и жадно пил, как зверь, — прямо из ручья.

Вероятно, им обоим было здесь хорошо. Ни она, ни он не беспокоились о том, чтобы предпринять поиски дороги, вовремя вернуться к охотникам. Известно, что влюбленные — как дети, а звуки рогов, очевидно, не долетали в эти чащи. Филипп ушел в орешник, и Анна видела, как он рвал с кустов орехи, и потом принес их полную шапку.

В нерешительности, не зная, что сказать друг другу, они сидели под дубом, и рядом лежала красная шапка с орехами. Филипп срывал только самые крупные гроздья. Анна вынимала орех из побуревшего гнезда, клала в рот, зажмуривалась на мгновение и с сухим треском разгрызала скорлупу молодыми зубами, чтобы вынуть из нее шершавый спелый орешек.

— Может быть, мы услышим звуки рогов? — спросила она.

Но вокруг стояла благостная тишина. Ярл сидел рядом и молчал. Вспомнив рассказ Гаральда о Царьграде, Анна сказала ему:

— Расскажи мне еще о царице Зое.

Благодаря родству с Гаральдом и своему знатному происхождению Филипп уже двадцати лет от роду сделался начальником отряда дворцовой стражи, набранной из северных варягов, из которых многие были седоусыми воинами. В те дни взшел на престол Константин Мономах.

— О царице Зое мне известно не многое, — ответил Филипп.

— Расскажи мне о ее красоте.

Однажды Филипп стоял на страже в Священном дворце, и мимо прошла с приближенными женщинами и евнухами императрица, ставшая уже старухой. Она посмотрела на красивого варяга, стоявшего у двери, как статуя, выставив вперед правую ногу в высоком желтом сапоге. Императрица вздохнула и проследовала дальше, оставляя за собой легкое облако благовоний. Кто знает, если бы эта короткая встреча произошла двадцать лет тому назад, Филипп, может быть, надел бы на голову императорскую диадему? Но после дворцовых нарядов его поджидала в своей опочивальне пылкая жена старого патрикия, посланного с важным государственным поручением в далекую Армению, и молодой варяг не думал ни о каких диадемах.

— О царице я знаю не многое, — повторил он.

— Все говорят, что она красавица.

Ярл стал припоминать черты лица Зои.

— Она белокура и голубоглаза. Не очень высокого роста. Скорее это приятная полнота, чем худоба. Даже теперь у царицы сохранилась нежная и белая кожа, но от волнений сгорбилась спина и трясутся руки.

— Ты часто видел ее?

— Я видел ее иногда во дворце или на Ипподроме, во время торжественных выходов.

— Что такое Ипподром?

— Ипподром — место, где происходят конские ристания и всякого рода развлечения. В этом огромном здании помещаются сто тысяч зрителей. Люди сидят на каменных скамьях и смотрят на колесницы, на плясунов, на ученых медведей. Когда же на трибуне появляется император, все приветствуют его рукоплесканиями и громкими криками. Потом народу раздадут хлеб и вино.

— А что такое трибуна?

— Ответить на твой вопрос могу так. Трибуна походит на то помещение с шелковой завесой, где ты слушаешь с братьями церковные службы.

Анна уловила легкий шум и, подняв голову, увидела, что на соседнем дубе прыгает с ветки на ветку проворная белка. Не опасаясь людей, она спокойно уселась на суку и, держа орех в лапках, с уморительным старанием принялась



грызть его, чтобы полакомиться вкусным плодом. Анна помахала рукой, желая спугнуть зверюшку, чтобы полюбоваться на ее легкие прыжки в воздухе. Белка, оставив орешек, внимательно посмотрела вниз маленьким, черным и блестящим, как бусинка глазом, но преспокойно продолжала заниматься своим делом, может быть убедившись, что у этих пришельцев нет тех страшных орудий, что посылают смерть в виде пернатых стрел. Угадав мысль Анны и желая сделать ей приятное, ярл громко крикнул, и лесной зверек, уронив в испуге орех, молниеносно исчез среди листвы.

Ярл молчал, переводя глаза с Анны на дуб и обратно, а потом видя ее вопрошающий взгляд, затуманенный мечтами об этом далеком городе, в котором живут прекрасные царицы в жемчужных диадемах, продолжал свой рассказ:

— Мне передавала жена одного патрикия, что Зоя в молодости не любила пышных облачений из парчи, как у епископов, а предпочитала носить легкие шелковые одежды, приятно обрисовывающие тело. С малых лет все у нее было направлено на то, чтобы нравиться. Ее опочивальня до сих пор напоминает лавочку торговца восточными ароматами. Одна рабыня месит какое-нибудь миндальное тесто для притираний, другая варит в медовом соку пшеничные хлопья для освежения лица, третья prepares в медном тазу новую смесь благовоний.

— И ты видел все это?

Ярл пожал плечами.

— Видел, когда приходилось проверять стражу у покоев императрицы. Но о многом я узнал от жены патрикия.

— Кто эта женщина?

Ярл в смущении пояснил:

— Одна патрикианка... Живущая там...

— Приближенная царицы?

— По положению своего мужа ее неоднократно приглашали к царскому столу. Эта женщина рассказывала мне, что Зоя всегда была очень зябкой и больше всего на свете любила тепло, меха и жаровни с раскаленными угольями, на которые в Константинополе льют аравийские благовония. Император оказался желчным человеком. Зое стало скучно с ним, и она влюбилась в юношу, которого звали Михаил... Говорят, он краснел, как девочка, когда влюбленная до безумия императрица, забавляясь, усаживала молодого человека на трон и украшала его чело диадемой. Однажды Гаральд видел такую картину. И многие другие воины.

— А ты?

— Нет, я этого не видел.

— Что же было потом?

— Потом? Вскоре император Роман умер, утонув в купели. Кто знает, может быть, его утопили по приказанию Зои? И тогда Михаил сделался императором. Достигнув же высшей власти, он резко переменился в своем отношении к любовнице. Ведь Зое уже перевалило за пятьдесят лет. А этот баловень судьбы был молод. Справедливость требует сказать, что он отличался и некоторым величием духа. Прошло немного времени, и Михаил опасно захворал. Но перед тем, как окончить свой жизненный путь, пожелал принять монашеский чин. Когда уже настал час зажигать светильники и петь стихиры, чтобы постригать его, оказалось, что иноческая обувь еще не сработана башмачником. И можешь себе представить! Василевс не захотел идти к богу в пурпуровых кампагиях. Это такие высокие башмаки, присвоенные царскому званию. Он предпочел пойти босыми ногами по каменному полу, изнемогая от лихорадки. Очевидцы рассказывали мне, что в монастырь

явилась и Зоя. Пешком, в покаянной одежде. Она пожелала еще раз взглянуть на того, кто вызвал в ее душе такую бурю.

Сочинять стихи Филипп учился у Гаральда. Но он не обладал даром певца. Зато рассказывать ярл умел не хуже своего начальника и видел во время своих странствий немало.

— Еще я узнал о Зое от того царедворца, о котором Гаральд говорил на пиру. Этот человек намного старше меня. Он писатель, занимает высокое положение во дворце, но мой руководитель верно заметил, что любопытство Пселла не знает границ. Поэтому он водит дружбу не только с важными людьми, а даже с простыми воинами, в надежде узнать от них о том, что происходит в священных палатах во время ночной стражи. Он и со мной был всегда любезен. Впрочем, сам не скупился на всякие истории. О Зое однажды царедворец выразился так... Это происходило в цирке... Позволь, как же он сказал тогда? Да, будто бы характер царицы напоминает бурное море, волны которого то поднимают корабль к небесам, то низвергают в морские пучины. Запомни эти слова. Он прав... Зоя никогда не знала предела своим страстям. Во всяком случае, всем известна ее расточительность. В один день царица способна потратить на женские украшения или шелковые одежды целый кошель золота.

— Теперь она стала женой Константина?

— Да, ведь ты слышала, как Гаральд рассказывал об этом на пиру. Хотя входы и выходы во дворце охраняются днем и ночью воинами с оружием в руках, но смерть проникает туда безвозбранно, и юный Михаил тоже умер, пораженный болезнью, как мечом. Царскую корону возложил на свое чело другой Михаил, по прозвищу Калафат. Тогда на престол взошел Константин, и Зоя в третий раз сделалась императрицей. Впрочем, это не принесло ей счастья. У нее оказалась соперница...

— Склирина!

Мария рассказывала Анне об этой любимице отца, но ограничивалась пристойными словами или намеками, чтобы не унижить его царственное достоинство.

— Склирина. Он сделал любовницей племянницу, из знатного рода Склиров. Ее сопротивление Константин победил подарками, а также своей красотой. Это случилось, когда царь был еще простым смертным и томился в изгнании, где она разделила его участь и утешала в несчастье.

— Разве эта женщина красивее Зои?

— Может быть, Склирину нельзя назвать красавицей... Но Пселл уверяет, что в ней бездна очарования. Так однажды он разглагольствовал перед всеми. Будто бы она любит читать стихи, и особенно того певца, который прославил подвиги некоего воина по имени... Ахиллес или как-то в этом роде. Пселл даже называл имя того скальда, но я забыл. Знаю только, что он был слепец. Он воспел красоту одной гречанки... Ее звали Елена. Из-за этой жены в отдаленные времена вспыхнула какая-то ужасная война.

— Троянская война. Разве ты не читал в книге?

— Я не читаю книг.

— Что же произошло?

— Когда Константин стал императором, он женился на Зое, чтобы укрепить свои права на престол, но все его помыслы были направлены на возлюбленную. Сначала он поселил Склирину в загородном доме. Затем решил построить великолепный дворец для нее, а потом переселил к себе, и Склирина появляется теперь на всех церковных выходах рядом с ним и императрицей.

— И Зоя терпит это?

— Перемены судьбы так утомили царицу, что она уже относится ко всему с полным равнодушием.

— Разве возможно подобное во дворце? — изумилась Анна.

— Многие сначала негодовали, потом привыкли. Кроме того, у Склирины такая благородная душа, что люди охотно прощают ей грехи. Теперь эту наложницу в глаза и за глаза называют царицей. Жена патрикия...

Анна с недоумением посмотрела на Филиппа:

— Все та же самая? Почему ты так часто вспоминаешь эту женщину? Как ее зовут?

— Феодора... Она относилась ко мне... как сестра или как благодетельница. И вот рассказывала, что во время одного выхода Пселл, отличающийся большой ловкостью в придворном поведении, назвал Склирину Еленой, намекая на красавицу, которую прославил слепец...

— Елену Троянскую?

— Кажется, так. Склирина услышала и улыбнулась царедворцу. За это он получил от Константина очередное звание и кожаный мешочек, полный золотых монет. Но я опасаясь, что Склирина поражена каким-то недугом.

— Откуда тебе известно это?

— Об этом тоже мы узнали от Пселла. «Посмотрите, — сказал он как-то Гаральду и мне, когда мы явились, чтобы приступить к запираанию дворцовых дверей, а он в тот вечер почему-то задержался в Священном дворце, — посмотрите, как пылают у Склирины ланиты! Это недобрый знак!» В это время Склирина, скромно потупив глаза, прошла мимо нас.

Между тем погода неожиданно изменилась. Начавшийся таким блистательным утром, сияющий день потемнел, и солнце спряталось за облаками. С запада напозлали низкие черные тучи. Анна посмотрела на них и подумала, что может пойти дождь. Только теперь она вспомнила о Святославе, о сестре и стала прислушиваться, не трубят ли рога. Нет, вокруг стояла та зловещая тишина, что бывает перед бурей. Ярославна как бы очнулась, заторопилась и в тревоге спрашивала ярла, что им теперь делать. Филиппу хотелось побыть наедине с дочерью конунга, однако, повинувшись ее желанию, он старался сообразить, в какую сторону надо ехать, чтобы присоединиться к охотничьему стану. Поглядывая время от времени на небо, ярл и Анна сели на коней и поднялись из ложбины. Им казалось, что стоит только пересечь дубраву, и за нею уже будет тот овраг, где убили вепря. Теперь отроки, вероятно, зажгли там костры и жарили его мясо. После охоты требовалось накормить людей и псов. Но, очевидно, зеленоглазая Фрейя, покровительница влюбленных, желала, чтобы Анна и Филипп заблудились. Когда они наконец выбрались из дубравы, перед ними неожиданно выросла другая роща! А листья дубов уже зашумели под крупными каплями дождя. И вдруг налетела гроза. В мире стало совсем темно, тотчас синяя молния сверкнула среди деревьев и раскатистый гром наполнил на несколько мгновений страшным грохотом гулкое лесное пространство, хотя начиналась осень и время Перуна миновало.

— Милый Филипп! Что с нами будет! — вскрикнула Анна.

Кони прибавили ходу. В поисках спасения от бури всадники углубились в рощу, под сень величественных дубов. И тогда, как это бывает только в книжных повествованиях, Ярославна увидела перед собой бревенчатую избушку.

— Здесь кто-то живет! — с тревогой произнесла Ярославна.

Опережая Анну и успокаивая ее улыбкой, в которой блеснули его белые

зубы, Филипп подъехал к хижине. Два передних зуба у ярла были крупнее других, и это придавало его лицу несколько хищное выражение, даже когда он улыбался.

У избушки, глядя в черную дыру раскрытой двери, грубо сколоченной из нетесаных досок и перекладин, ярл крикнул:

— Эй, кто тут прячется от людей?

В ответ на голос из хижины вышел бедно одетый простолюдин, в длинной холщовой рубахе без всяких вышивок и в таких же домотканых портах с заплатами на коленях. У человека была всклокоченная борода, а руки почернели от копоти. В искривленных от труда пальцах он держал секиру и с недоумением смотрел подслеповатыми глазами на неожиданно явившихся к нему незнакомцев, осторожно проводя пальцем по острию топора. Но, увидев, что молодой воин при мече и в нарядном плаще, а девица в красных сапожках, понял, что это знатные люди, каким-то чудом занесенные в лесную трущобу, где никого не было, кроме диких зверей.

— Кто ты? — строго спросил ярл. — Или ты волхв?

Как многие скандинавы, Филипп хорошо говорил по-русски.

— Я не волхв, — ответил, нахмурившись, поселянин.

— Добро. Ты разбойник?

— Нет, я не разбойник.

— Тогда что же ты делаешь в дубраве?

Всякая бедная одежда, заплаты, босые ноги немедленно вызывали в душе у этого знатного человека подозрение, недоверие и вместе с тем желание повелевать.

— Я добываю себе пропитание рубкой дерев, — отвечал поселянин.

— Это княжеская дубрава, и здесь никому не позволено рубить деревья.

— Я рублю только сухие деревья или поваленные бурей.

Филипп привык разговаривать со смердами с высоты, сидя в седле, однако почел, что уже достаточно проявил себя, и слез с коня. Анна тоже последовала его примеру, так как дождь пошел сильнее.

Она сказала дровосеку:

— Нам надо укрыться у тебя от бури.

— Да, начинается непогода, — почесал голову лесной человек. — Только в моей хижине темно и дымно.

Анна с опаской заглянула в дверь. В маленькой избушке было действительно темно от копоти, хотя и чисто; в ней едва могли бы поместиться три человека. В углу виднелся сложенный из грубых камней очаг, и на нем, в котле, подвешенном на железном крюку, готовилось грибное варево; в другом углу дровосек устроил из свежих веток подобие ложа; перед очагом стоял чурбан. Это составляло все убранство избушки, если не считать ларя с причудливой резьбой, за которой хозяин хижины, вероятно, коротал долгие зимние вечера при свете лучины.

Дым из очага уходил в отверстие, проделанное в тростниковой крыше. Дыру зимой приходилось затыкать. В хижине было тепло. Еще Анна заметила, что на деревянном гвозде висела сеть для ловли птиц.

— Ты — красавица, — неожиданно сказал дровосек, разглядывая Анну.

Она рассмеялась, и этот смех пробил лед между страшным человеком с секирой в руке, у которого бог знает какие были мысли на уме, и дочью могущественного князя.

— Для чего ты рубишь деревья? — спросила Анна.

— Дрова готовлю.

— Где же дрова?

— Ношу каждое утро вязанку в город и там продаю, а на полученные медные деньги покупаю пшено и хлеб и так живу.

— Где твоя жена? — опять спросила Анна.

— Жену мою застрелил стрелой злой печенег.

— А дом?

— Дом сгорел, а когда был мор, умерли и дети, и их похоронили в скудельнице.

— И ты остался один?

— Один.

Потом с видимым страхом прибавил, подняв корявый палец и прислушиваясь:

— Слышишь, как Перун гневается? Найдите в моей хижине приют, пока не отшумит буря, а коней я привяжу к дубку.

— До Киева отсюда далеко? — спросил Филипп.

— Если выйти в путь, когда солнце еще не поднялось над лесом, то придешь в святой Киев до того, как оно станет на полдень. Сколько это будет, я не считал.

— Когда перестанет дождь, покажешь нам дорогу, — сказал ярл.

— Сделаю все, что ты мне повелишь, — согласился смерд.

— Как тебя зовут? — полюбопытствовал на всякий случай Филипп.

— Анастас.

— Крещен ли ты? — спросила в свою очередь Анна.

— Верую в святую троицу.

— Почему же ты Перуна вспоминал, языческого бога?

— Так осталось у нас от прошлого. Гроза — Перун, молния — его семя.

Но, желая из благоразумия переменить разговор, дровосек прибавил:

— Если хотите утолить голод, то у меня варится грибная похлебка. А вот хлеб. Похлебка же моя сварена с душистыми травами.

— Есть ли ложки у тебя?

— Две ложки.

Дровосек засуетился у очага, где огонь уже угасал. Смерд налил поварешкой варева в деревянную миску и достал две таких же ложки с искусно вырезанными ручками в виде птичьих голов с раскрытыми клювами.

Анна проголодалась и стала есть из одной миски с Филиппом грибы, и никому из них не пришло на ум предложить поесть и Анастасу. Дровосек взял секиру и вышел на дождь, может быть не желая мешать молодым людям забавляться любовью. Вид у этого человека был такой дикий, что его в самом деле можно было легко принять за волхва. Анастас оброс волосами, руки его огрубели и стали похожи на корневища. Но в этой дикости таилась добрая человеческая душа, испытывавшая страдание. Однако Анна подумала об этом лишь много лет спустя, когда уже ничем нельзя было отблагодарить хозяина хижины за те блаженные минуты...

Обжигаясь, Анна стала есть похлебку, и вместе с нею, держа в одной руке ложку, а в другой кусок ячменного хлеба, пристойно утолял голод Филипп. За едой Ярославна вспомнила историю некоей книжной красавицы. Оставленная мужем и жестокосердно изгнанная из родительского города к лесным зверям, она воспитывала сына в такой же бедной хижине, по соседству с медведями и волками.

Гроза утихла, но дождь не прекращался. Его шум как бы отделил избушку от всего мира. Дровосек пропал в лесу, и Анна чувствовала себя на краю света. Горьковато пахло дымком. Ярославна явственно ощущала вещи, что находились вокруг, но ею постепенно овладевала какая-то истома. Все ее существо тянулось к воину, с которым она очутилась наедине. А ярл строго

смотрел в сторону, опустив голову, точно страшился того, что должно было совершиться. Оба молчали некоторое время, прислушиваясь к дождю, и, чтобы нарушить эту тишину, Анна попросила Филиппа:

— Расскажи мне еще что-нибудь!

Ярл вздрогнул и погладил рукою лоб. Его холодное северное сердце медленно разгоралось в любви, но даже оно теперь закипело.

— Что тебе рассказать?

— О себе.

— Могу удостоверить, что наш род древний. Я сын упландского ярла Эрика, сына Ульфа.

— Жив твой отец?

— Нет, он рано погиб в одном морском сражении, а мать не вынесла разлуки с ним и умерла, когда я еще был ребенком, и меня воспитала старая Элла. Старуха верила в древних богов и учила меня в детстве, что выше всех на небе бог Один и его сын Тор, воитель. У него есть другой сын, которого зовут Тир: Это — бог воинской мудрости. Элла говорила, что самое счастливое для всякого воина — умереть на поле битвы, чтобы попасть в Валгаллу.

— Я не знаю, что такое Валгалла, — покачала головой Анна.

— Я объясню тебе. Это — небесный дворец, где пируют умершие с оружием в руках. Хотя в нем пятьсот дверей, но в них происходит вечная давка. Столько воинов погибает на полях сражений ежедневно! И тогда Один посылает за их душами прекрасных Валькирий. Они сидят рядом с пирующими в Валгалле. Те же, что умирают на постели, идут в мрачное царство Геллы. Так называется богиня смерти. Но у Одина много детей. Среди них — Бальдер, бог милосердия, и Фрейя, богиня любви. Вот что рассказывала мне старая Элла. Говорят, она была колдуньей.

— Но разве боги существуют? Есть только христианский бог! — воскликнула Анна.

— Не знаю, что выдумка и что правда в словах Эллы. Но так она говорила. Будто бы боги враждуют между собою, и, когда они сразятся друг с другом, весь мир погибнет в огне. Солнце потускнеет, земля уйдет в море, блестящие звезды упадут с небес, и все будет снова как при сотворении мира, когда ничего не было. А что существовало, то нельзя назвать ни землей, ни морем, ни песком, ни ветром, ни бурей.

— Никогда не видела моря, — вздохнула Анна.

— Придет час, и увидишь.

— Почему я увижу море?

Филипп усмехнулся:

— Может быть, станешь женой датского короля? Или короля Британии? Путь к ним — на корабле.

Но Анне не хотелось думать в эти минуты о королях. Ей ничего не надо, кроме этой бедной хижинки!

— Расскажи мне еще о том, что тебе говорила Элла, — просила она.

— Я узнал от нее много любопытного. Как первая травка пробилась на земле. Солнце бросало свои левые лучи на луну, а правые на зеленую лужайку. Тогда боги разделили день на утро, полдень и вечер, а мраку дали название ночи. Уже тогда люди жили на земле. Она постепенно устраивалась. На ней шумело огромное дерево. Под ним рождались и умирали азы.

— Азы?

— Предки всех людей.

— Так верят в твоей стране?

— О, теперь многие уже стали христианами. К нам приходят проповедни-

ки из Рима. Те же, кому не хочется расстаться со старыми верованиями, уплывают на отдаленный остров льдов. Там холодно, но нет церквей.

— Еще расскажи мне что-нибудь!

Анна взяла в свою руку пальцы Филиппа, длинные и белые, чтобы лучше рассмотреть золотой перстень. На кольце не было никакого камня, но его украшало изображение какого-то крошечного зверька.

— Что это? — спросила она.

— Выдра... Хочешь послушать об этом кольце?

— Хочу.

Рассматривая свой перстень, как будто бы увидев его впервые, Филипп стал рассказывать:

— Это случилось очень давно, когда боги еще жили на земле как простые охотники.

— Как могут быть боги охотниками?

— Так говорила старая Элла.

— Хорошо... Это случилось, когда боги были охотниками...

— Когда боги были охотниками. Пришлось как-то Одину и еще другому богу, которого звали Локки, проходить мимо водопада. Может быть, мимо того, что шумит в стране Карелы. У воды лежала выдра и, зажмурив глаза, пожирала пойманную рыбу. Локки метнул камень из пращи и убил ее. Довольные охотничьей удачей, боги пошли дальше и к вечеру добрались до хижины одного прославленного чародея, у которого попросили ночлега. Перед тем, как сесть за стол, они показали хозяину убитую выдру; кудесник узнал в ней своего сына, знаменитого охотника, что обладал способностью превращаться в различных зверей и в таком виде охотился на зайцев или ловил рыб. Разгневанный хозяин хотел предать гостей смерти, но Один упрямил его не делать этого и обещал уплатить столько золота, сколько можно положить на шкуру выдры. Локки отправился в лес, поймал карлика, которому была известна тайна клада, спрятанного на дне реки, и с его помощью нашел сокровище. Он отдал все золото волшебнику, а себе оставил только одно-единственное кольцо. Оно приносило счастье всем, кто его носил. Но чародей узнал об утаенном перстне и наложил на него заклятие. С тех пор кольцо приносит смерть.

— Это самое? — показала Анна пальцем.

— Говорят, кольцо принадлежало Локки. Мне оно досталось от отца, а отец получил его от своего отца... Все они погибли на поле битвы.

— Почему ты носишь перстень, если он означает смерть?

— Разве не все люди смертны? Лучше погибнуть в сражении, чем от мучительной болезни.

— Брось его в глубокую реку! — убеждала Анна ярла. — Или лучше — отдай мне!

— Зачем тебе кольцо?

— Я брошу его в Днепр.

— Не хочу, чтобы ты прикасалась к нему. Этот перстень принесет тебе несчастье.

— Но ты же сказал, что все люди смертны.

— Мое кольцо приносит человеку смерть еще задолго до того, как его волосы станут серебряными.

— Я не хочу, чтобы ты умер до того, как твои волосы станут серебряными!

Филипп с удивлением посмотрел на Анну. От этих слов на него повеяло непривычной теплотой. Точно он почувствовал очень близко женское дыхание. Так сказать могла только русская дева!

Ярославна сидела на обрубке дерева, ярл — на ложе из березовых веток. Дровосек стерег коней или бродил в лесу с секирой в руке. Гроза уже отшумела, дождь стал понемногу стихать, время приближалось к вечеру. Когда молодые люди насытились и еда перестала занимать их, и Филипп рассказал все, что хранила его память, оба умолкли. Это было страшное молчание. Филипп слышал, как взволнованно дышала Анна, и от сознания, что девушка в его власти, все наполнялось в мире сладостным туманом. Такие встречи бывают только в сагах.

Жизнь скитальца, какую ему приходилось вести, помешала Филиппу обзавестись семьей. В Константинополе ненасытная в похоти Феодора научила его всем тайнам греческой любви. Но он расстался с нею без сожаления. Ведь в каждом завоеванном городе или в том, который варягам поручали охранять от нападения врагов, можно было без затруднения найти красивую рабыню. А нежность Анны хотелось сравнить с розой, что он видел однажды в императорском саду. Но разве дочь конунга создана для того, чтобы стать чьей-нибудь наложницей. За прикосновение к ней грозила смерть. Это означало бы нарушение клятвы, данной на обнаженном мече, а клятвopеступнику нет пощады ни от небесного, ни от человеческого суда. Сердце у него билось так сильно, что он слышал его удары в ушах, как грохот молота о наковальню. И вдруг Анна увидела, что Филипп смотрит такими глазами, какими еще никто никогда не смотрел на нее... Ей стало страшно и сладко, как тогда, когда она ехала на коне и ярл любовался ею... Еще слаще! И хотелось, чтобы эта волна счастья поднималась все выше и выше, чтобы так продолжалось бесконечно. Но она была неопытна в любви, не знала, что любовник ждет знака, ожидает помощи и одобрения, если не решается удовлетворить свое огненное желание.

Филипп взял маленькую горячую руку Ярославны в свои, и, в предчувствии чего-то приближающегося как гроза, она позволила это. Ярл привлек Анну к себе, и, чтобы не упасть, девушка должна была упереться руками в его грудь.

— Не надо! — прошептала она. — Чего ты хочешь от меня?

Теперь в хижине царила богиня любви. Тысяча арф наполняла вселенную грохотом музыки. Никогда Ярославна не слышала ничего подобного. Было сладко и печально гладить золотые локоны ярла...

И вдруг, почуяв своих в дубраве, конь Филиппа призывно заржал, и в ответ послышались звуки рога и топот подков. Варяг вскочил и подошел к двери.

— Ярл Святослав сюда скачет, — сказал он глухим голосом.

Анна тоже выглянула из хижины. В лесном сумраке мчался брат в сопровождении отроков. Она даже не успела подумать о том, что сказать о своем недостойном поведении, как Святослав уже остановил коня у самой двери. Увидев жеребца и Ветрицу, привязанных к дубу, князь догадался, что сестра и Филипп в избушке.

Хмельной от выпитого на привале меда, он спросил, гордясь своей книжной мудростью, но с тревогой во взоре:

— Сестра, или ты забыла о светильниках благоразумных дев?

Князь начитался книг, собирая в них, как пчела, словесную сладость. Соскочив с коня и отстраняя Филиппа, он с беспокойством окинул взглядом внутренность хижины. Видимо убедившись, что ничего непоправимого здесь не произошло, Святослав обратился уже к ярлу:

— Почему вы здесь?

— Заблудились, брат, — ответила за варяга Анна, покраснев.



— Заблудиться легко, труднее выбраться на истинный путь,— проворчал князь, строго глядя на сестру.

Она покраснела еще больше и опустила глаза.

— А ты о чем помышлял? — опять спросил Святослав варяга.

— Я следовал за Ярославной. Не мог оставить ее.

— Надо было на звук рогов ехать.

— Не слышали. Дождь заставил нас в хижине укрыться.

Филипп смотрел князю прямо в глаза, и Святослав понял, что лучше поверить ярлу, или прольется кровь. Он сухо бросил Анне:

— Садись на кобылицу. Сестра беспокоится о тебе.

Анна видела, что Филипп расстегнул кожаный пояс и, вынув из него золотую монету, положил на чурбан.

Оказалось, что становище охотников находилось совсем близко. Но это Фрейя кружила влюбленных по дубравам...

После того дня Анна видела Филиппа только издали, на княжеском дворе или в церкви, когда тайком смотрела из кафизмы на молящихся. Не было ни пиров, ни охот. Вскоре наступила зима, и Елизавета уехала с Гаральдом в далекую Упландию, а Филиппа послали с отроками на полюдь в северный край. Весной ярл вернулся, привез гору вонючих мехов, возы меда и воска. Ярослав назначил его начальником охранной дружины, и Анна подумала, что, значит, Святослав ничего не сказал отцу. Сестра тоже молчала, как рыба. Но ведь Филипп даже не поцеловал ее тогда, как это случается в книгах, в которых пишут о любви...

Мать ушла в опочивальню к отцу, потому что ей не терпелось узнать подробности о послых. Анна, сидя на постели, с бьющимся сердцем окликнула рабыню:

— Инга!

Но на длинные ресницы рабыни уже слетел сон.

— Инга!

— Я здесь, Ярослава, — встрепенулась девушка.

— Скажи, — шепотом спросила Анна, — ты видела ярла Филиппа?

— Видела.

— Инга!

— Что, Ярослава?

— Любишь ли ты меня? Сделаешь ли то, что попрошу?

Прислужница затрепетала, как птичка. Рабыни знали, что их молодая госпожа тоскует по Филиппу, ловили ее влюбленные взгляды, тайком обращенные к молодому скандинаву. Что теперь она замыслила сделать?

Но Анна тяжело вздохнула, вспомнив, что ярл не умеет читать. Бесплезно было посылать ему письмо. Попросить Ингу, чтобы передала на словах о том, что переживает Ярослава? Тогда весь Киев будет знать о ее любви, может быть, станет смеяться над нею. А ведь ей суждено стать королевой Франции.

## VI

Перед тем как принять послов франкского короля, Ярослав позвал митрополита Феопемпта на совещание. Оно происходило в глубокой тайне, в присутствии двух любимцев: княжича Всеволода и пресвитера Иллариона, которого старый князь очень уважал за благочестие, ученость и беспокойство

о Русской земле. На другой же день на торжище стало известно, что греческий митрополит недоволен приездом посольства и укорял Ярослава за его стремление выдавать дочерей замуж за латынян.

Ярослав не питал большой нежности к константинопольским владыкам и только ждал удобного случая, чтобы избавиться от Феопемпта и поставить на его место своего любимца Иллариона. Митрополит вызывал неудовольствие князя склонностью к соглядатайству, а также покровительством корсунским купцам, товары которых находили беспошлинное убежище за каменной стеной митрополичьего двора, неподалеку от храма св. Софии.

Дело было, конечно, не только в этом. Достоинно удивления то упорство, с каким Византия навязывала славянам мысль о всемирной власти василевса. Даже сами греки знали, что это была совершенная фикция. Но она утешала константинопольских идеологов среди той печальной действительности, какая их окружала.

На совещании митрополит Феопемпт имел неосторожность еще раз напомнить Ярославу, что он должен чтить греческого царя как своего духовного отца. Но даже этот богомольный князь хмурился в праздник положения риз, установленный в память победы греков над руссами, когда буря разметала скифские ладьи. Феопемпт доказывал князю:

— В этот день в христианских церквах празднуется не победа греков над русскими, а христиан над язычниками.

Обычно из Константинополя присылали на Русь епископов, знавших славянский язык, и князь и митрополит понимали друг друга. Но Ярославу были не по душе подобные рассуждения. Только постоянный, не покидающий его ни днем, ни ночью страх перед мыслью, что, убегая апостольской церкви, он может погубить свою бессмертную душу и обречь ее на вечные муки, удерживал князя от разрыва с греками. Были у князя причины и более земного характера: он собирал в виде дани огромное количество пушного товара и обычно сплавлял его в Херсонес и Константинополь, а ссора с василевсом лишила бы его этой возможности. Митрополит Феопемпт тоже отправлял туда меха, полученные в Полоном, отданном ему в кормление, и на этой почве укнязя и греческого митрополита расхождений не было. Но Феопемпт был сребролюбец и прятал свои деньги в тайнике, Ярослав же на вырученные от продажи мехов деньги покупал товары, доставляемые из Царьграда, — парчу и шелк, бумагу и благовония, вино и сухие фрукты. Из Греции приходили художники, учителя четырехголосого пения, строители церквей, и им тоже надо было платить. Без этих людей Русь еще не могла обходиться. Это связывало русских князей по рукам и ногам, и Всеволод, наделенный пониманием политической обстановки, многому научившийся у греков, старался смягчать напряженное положение и не доводить дело до кровопролития.

Но одно из вооруженных столкновений с царьградскими греками произошло незадолго до описываемых событий. Анна была тогда еще совсем юной и вместе с сестрами смотрела с высокой башни, как при огромном стечении народа, собравшегося на Подолии, многочисленные ладьи и челноки, полные русских воинов, отплыли воевать в далеком море.

Иллариона и многих других книжников на Руси раздражали выпренные слова царьградских витий, вроде той речи, что в самоупоении по поводу победы над печенегами произнес Иоанн Евхаитский, друг и покровитель Михаила Пселла. Греки свысока смотрели на «варваров», и, оскорбленные таким пренебрежением, горячие головы толкали Ярослава на необдуманные

действия, забывая о том, что у царя есть хорошо устроенное войско, много золота и, наконец, страшный греческий огонь. Предприятие представлялось весьма рискованным, однако пока не было другого способа заставить греков считаться с молодым русским государством, а сказания о счастливых походах под стены Царьграда подогревали славолубие даже у такого рассудительного человека, как Ярослав.

Поводом для войны послужило убийство в Константинополе богатого русского купца. Но уже заблаговременно были срублены огромные деревья и выдолблены челноки, чтобы в случае надобности спуститься в них в полную воду по Днепру до того места, где река так узка, что через нее перелетает печенежская стрела. Дальше открывался путь в Русское море, а за ним лежала греческая страна.

Во главе киевских воинов и наемных варягов отправился в поход старший сын князя, Владимир, которому тогда едва исполнилось двадцать пять лет. Но при нем находился старый и опытный воевода Вышата. Владимира послали с расчетом, чтобы слава победы осталась за представителем княжеского рода, хотя это был человек мало пригодный для подобных предприятий и, кажется, более интересовавшийся загробными тайнами, чем воинскими подвигами, прилежно читавший пророческие и тайноведческие книги. С таким вождем русские воины пошли с одними секирами в руках против медных труб, изрыгающих греческий огонь.

Благополучно миновав пороги, русские ладьи спустились к морю, поразившему никогда не видевших его хлебопашцев своей огромностью и непрестанным движением. Все здесь было ново для жителей Киева, Перяславля или какого-нибудь тихого Листвена: соленый воздух, раковины, медузы, дельфины. Странные рыбы попадались в русские сети, и невиданные деревья росли на каменистых берегах. Воины говорили князю:

— Кто советен с морем? Высадимся на берег и будем ждать греков.

Это были мирные люди, приплывшие сюда на утлых челнах, потому что такова была воля князя. Но они относились ко всему с осмотрительностью и опасались непривычной стихии.

Однако жадные до военной добычи наемники, которых манил полный сокровищ Константинополь, настаивали:

— Что доброго можно найти среди скал? Пойдем на ладьях под Царьград, как ходили некогда Олег и Игорь.

О походе Олега, прибывшего к воротам царственного города свой щит, гусляры пели песни, победа казалась молодым воинам легко достижимой, заманчивой, обещающей богатую добычу.

На совете Вышата выступал против морского боя. Однако молодой князь, весь во власти пророческих видений, послушался варягов, и его ладьи двинулись из устья Дуная в греческие пределы. Воины гребли изо всех сил, не предполагая, что они уже стремятся к своей гибели. В Константинополе своевременно получили известие о приближении скифов, как называли русских в панегириках императорам, и в дальнейшем все произошло так, как это обычно описывалось в монастырских хрониках, где на помощь ромеям неизменно приходили небесные силы. Обманув царскую стражу, Владимир Ярославич ворвался под покровом ночной темноты в Пропонтиду и наутро выстроил ладьи в одну непрерывную линию против царственного города, желая устрашить врагов числом княжеских воинов. На рассвете русские с волнением увидели совсем близко купол св. Софии и великолепие дворцовых зданий...

По своему обыкновению, греки вступили в переговоры. Владимир, — вероятно, по наущению варягов, — потребовал по фунту золота на человека.

Такие условия мира оказались явно неприемлемыми для Константина Мономаха.

Целый день греческие корабли не решались нападать на русские ладьи, по-прежнему выстроенные в одну линию. Только с наступлением темноты Феодоркан, друнгарий царских кораблей, начал морское сражение. Камнеметательные машины и греческий огонь сделали свое дело. Но здесь уже начинаются легендарные события. Поднялась ужасающая буря, и патриарх утверждал, что это божий гнев возмутил доселе спокойное море. Чудовищные волны, как щепы, разметали русские челны. С большими потерями Владимир Ярославич стал отходить. Но когда Феодоркан увлекся погоней, русские, используя свое превосходство в маневренности и быстроходности, снова вступили в бой, потопили несколько неприятельских кораблей и четыре галеры захватили. Феодоркан в этой битве был убит...

Во время бури корабль Владимира пошел ко дну, так что он и воевода Вышата вынуждены были пересест в ладью Ивана Творимича, одного из военачальников. Многие другие челны погибли, и находившиеся в них люди утонули в морских пучинах. Около шести тысяч человек, побросав тяжелое вооружение, мешавшее плыть, добрались до берега и стояли там, намереваясь сухим путем вернуться на Русь, хотя никто из воевод не хотел идти с ними.

Тогда старый Вышата сказал:

— Я пойду с вами. Останусь ли жив или погибну, но разделю вашу участь!

Когда буря утихла и в Константинополе поняли, что она сокрушила силы варваров, император Константин Мономах послал вдогонку за оставшимися в море скифскими ладьями четырнадцать быстроходных кораблей, вооруженных огнеметательными трубами. Но Владимиру удалось отбиться от греков и, нанеся царскому флоту некоторый урон, беспрепятственно возвратиться в устье Днепра.

Трагичнее было положение тех, кто находился с Вышатой. Его воины, измученные голодом и прочими лишениями, так как оставались без всяких припасов и почти без оружия, шли берегом моря. Вскоре отряд оказался окруженным греческими войсками, в числе которых были закованные в железо всадники. Русские мужественно защищались, и многие пали на поле сражения, предпочитая смерть позору плена. Только восемьсот человек попало в руки врага живыми, и среди них насчитывалось немало раненых. Одержав эту легкую победу над безоружными, ромеи ослепили пленников и самого воеводу Вышату, а некоторым, кроме того, отрубили правую руку.

Лишь незадолго до приезда франкских послов, когда отношения с Царьградом вновь наладились, слепцов отпустили на родину. Мир был скреплен браком Всеволода Ярославича на дочери Константина Мономаха. Вместе с нею прибыл на Русь митрополит Феопемпт.

Подворье митрополита, обнесенное высокой каменной стеной, напоминало крепость или молчаливый монастырь. Здесь было много черных монахов и строго соблюдался распорядок константинопольской жизни. Феопемпт обитал в больших палатах. Внутри стены дома были украшены мрамором и благочестивыми картинами. Всюду здесь слышалась греческая речь, и во время литургии поминали василевса и его благоверную супругу. Обязанности привратника тоже выполнял греческий монах, и если у кого-нибудь возникала потребность попасть к митрополиту и он стучался в его ворота, то сначала приоткрывалось небольшое окошечко, забранное решеткой, и оттуда посетителя внимательно оглядывали черные, как маслины, глаза; только убе-

дившись, что за дверью стоит известный человек, привратник отворял низенькую калитку. Большие ворота широко растворялись лишь тогда, когда митрополита посещали представители княжеской семьи или привозили из Полоного оброк на повозках — зерно, дрова, различные овощи, кур и прочую живность.

Когда патрикий Кевкамен Катакалон, совершив небезопасный путь через пороги, прибыл в Киев, он, как и все приезжающие из Константинополя, остановился в покоях митрополита. Вместе с письмом василевса патрикий доставил из Константинополя богатые дары, всякого рода шелковые и парчовые одежды, серебряные сосуды, благовония. Но в действительности это был очередной соглядатай, и Ярослав догадывался, что царедворцу предписано разузнать, с какой целью прибывают франкские послы. Константин Лихуд, вершивший при Константине Мономахе всеми делами в ромейском государстве, ибо сам император предпочитал предаваться приятной неге в обществе худенькой Склирины, поручил патрикию по возможности помешать браку еще одной дочери русского князя с королем латинской веры.

Патрикий Кевкамен Катакалон сидел в кожаном кресле, украшенном медными гвоздиками в виде звездочек, устало свесив руки с подлокотников. На длинных пальцах патрикия поблескивали драгоценные перстни. Но его сегодня обуревало дурное настроение, и он не считал нужным изображать на лице приятную улыбку, как привык это делать в Священном дворце или при встрече с Ярославом, с которым ему хотелось во что бы то ни стало установить дружественные отношения. Патрикий сердился на митрополита за неловкое поведение во время вчерашнего совещания с князем, когда этот медведь в монашеском одеянии расстроил все его хитросплетения.

Вчера они с митрополитом посетили русского архонта, как в Константинополе называли всех владетельных князей. Беседа завязалась по поводу приехавших в Киев франкских послов, и Катакалон, осторожно нащупывая почву, пытался убедить Ярослава отказаться от брака Анны с латинянином, намекая, что василевс беспокоится о спасении ее души, которая легко может запятнать себя ересью, и что патриарх придерживается такого же мнения, исключительно в заботах о русских братьях и сестрах во Христе. Патрикий знал, что Ярослав иногда сам называет себя царем. Поручение надо было высказать, принимая во внимание неимоверную гордыню русских, в особенно мягких выражениях, а митрополит, постукивая пальцем по столу, брюзжал: — Греческий царь будет недоволен подобным браком.

Это был слон в лавке горшечника, и не успел патрикий вмешаться, как русский князь резко ответил:

— Пусть греческий царь не вмешивается в мои дела, как и я не вмешиваюсь в его помыслы.

Собственно говоря, беспокоился по поводу брака Анны не столько василевс, сколько Константин Лихуд. Когда логофет дрома — сановник, ведавший сношениями с иностранными государствами, — представил обстоятельный доклад о положении дел на берегах далекого Борисфена, как в константинопольских дворцовых службах упорно называли Днепр, и сообщил василевсу о латинском посольстве, прибытие которого в Киев грозило упрочением связей между Руссией и католическим Римом, тот в раздражении ответил:

— Не докучай мне подобными пустяками!

Но это отнюдь не были пустячные события. За резкими словами Ярослава скрывалось намерение князя и вообще русских правителей не идти на поводу у Константинополя. Надлежало использовать самую тонкую лесть, чтобы успокоить гордость киевского архонта. Только хотел патрикий еще раз

напомнить об исключительно братских чувствах василевса к могущественному христианскому владыке, как митрополит опять испортил все дело.

— Если есть один Христос на небе, то должен быть и единый царь на земле, — сказал он поучительно.

Ярослав в явном гневе возразил:

— Пусть царь правит в своей земле, а я в своей. Каждая страна имеет пастыря. Твое же дело, святой отец, молиться о нас и помогать мне мудрыми советами в церковных делах. Однако я не потерплю, чтобы кто-нибудь думал, что он господин мне.

Сидевший за столом Всеволод, еще бледный после болезни, вежливой улыбкой пытался смягчить резкость отцовских слов.

Катакалон, чтобы не обострять и без того напряженное положение, поспешил согласиться:

— Твои слова разумны!

— А если тебе, святой отец, мало того, что ты получаешь от меня, — продолжал Ярослав, не обращая внимания на льстивые слова патрикия, — то я дам тебе вдвое против прежнего. Меха и прочего.

Феопемпт облизнул старческие губы. Всем было известно его сребролюбие.

Катакалон негодовал на этого высокопоставленного церковного глупца, который не умеет щадить самолюбие россов. А между тем разве не составлены по поводу их гордости даже поговорки? В голове у патрикия тут же мелькнула школьная загадка о мученике. Первые три буквы — насекомое, дающее людям сладость. Если отнять в имени мученика эти буквы, то получишь название надменного племени скифов... Фло-рос!<sup>1</sup>

Теперь митрополит не знал, как загладить свою вину перед царским посланцем, и смотрел на него заискивающими глазами. Старик очень скучал в скифской глуши, в покоях, где он жил, как в осаде. По своей немощи Феопемпт уже не мог помышлять о трудном и далеком путешествии в царственный город и о встрече с патриархом, и ему очень хотелось послушать, какие перемены в Константинополе, о чем думает патриарх. Но Катакалон не забывал, что ему придется во всем дать отчет Лихуду, и поэтому предпочитал расспрашивать, чем отвечать на вопросы. Полезно знать, о чем говорят в княжеском дворце и на рынках.

А Феопемпт уныло жаловался на трудность епископского служения в полуязыческой стране:

— Молятся по ночам в овинах бесам, в рощах колдуют или у реки. Целуют сияние месяца на воде. Попы служат божественную литургию, навевшись накануне омерзительного луку, и смрад исходит из их уст на священные потиры...

Устремляя орлиные взоры в далекое будущее, патрикий интересовался более важными вещами.

— Архонт все так же не любит ромеев? — спросил он, не дослушав митрополита и небрежно рассматривая свои хорошо подстриженные ногти.

— Не любит. Ромейские обычаи не приемлет. Я увещевал его: не казни злодеев смертью, ибо сказано — «не убий!». Наказывай их ослеплением. Но он говорит, что такого никогда не было на Руси. Его мнение, что лучше убить человека, чем лишить зрения.

<sup>1</sup> По-гречески ф л о — пчела, ф л о р о с — имя мученика, оставшиеся три буквы в греческом произношении обозначали русских. (Здесь А. П. Ладинский ошибается: в греческом языке слова «фло» нет. *Прим. ред.*)

— Не любит ромеев, — тянул задумчиво Катакалон, о чем-то размышляя и не слушая болтовню митрополита.

— Около него этот нечестивец Илларион. Все нашептывает князю про греческих человеков. Будто бы Ярослав хочет меня в монастырь заточить, а его сделать митрополитом.

— Подобное было бы весьма нежелательно, — встрепенулся патрикий. — Убеждай князя, что отрыв от греческой иерархии чреват гибельными последствиями. Доказывай, что без апостольской церкви нет спасения в загробной жизни... Увы, чем другим мы можем держать скифов в повиновении?

Наступило молчание.

— Надо пообещать архонту какое-нибудь придворное звание, — вздохнул патрикий, — ведь отец его носил сан кесаря.

— Я говорил Ярославу, что василевс награждает чинами за приверженность к греческой церкви.

— Что же он ответил?

— Ответил, что не нуждается в этом.

Катакалон опять вздохнул. По всему было ясно, что едва ли удастся ему выполнить возложенное на его плечи ответственное поручение. Душу охватывала тревога при мысли, что предстоит возвратиться в Константинополь с пустыми руками, не привезя ничего, кроме расписок в получении императорских даров. Патрикий уже видел перед собой своего недоброжелателя, чувствовал на себе его презрительные взгляды. Не потому ли логофет и отправил несчастного Катакалона на берега Борисфена, что заранее был уверен в неудаче подобного посольства?

В те дни в Константинополе делил правление со стареющей Зоей легкомысленный Константин Мономах; василевс по-сыновнему относился к августу, которую уже можно было назвать старухой, ежедневно внимательно расспрашивал василиссу о ее ревматизмах и запорах, но в своих объятиях даже мысленно сжимал одну Склирину. Целью существования на земле император считал жизнь, полную наслаждений и огражденную от всего, что угрожает страданиями или может заботами омрачить у человека хорошее настроение. Константин не выносил никакого длительного труда, торжественные церемонии наскучили ему до крайности, и он предпочитал им хорошую пирушку в присутствии красивых женщин и образованных собеседников; старое вино и редкостные яства были ему милее всякого коленапоклонения, однако выше всего он ставил любовные утехы. Государственные средства таяли в его руках, как снег от лучей весеннего солнца. Катакалон был осведомлен обо всем этом и, будучи одним из тех, чьим разумом, опытом и ревностью держалась среди бурь ромейская держава, не мог одобрить такое поведение. Золота в священной сокровищнице становилось все меньше и меньше, несмотря на крайнюю бережливость казначея, умолявшего о сокращении расходов.

Но Константин мало считался с благоразумными советами и продолжал швырять деньги на ветер: построил великолепный дворец, вырыл пруд посреди вновь разбитого сада, где огромные деревья, яблони и розы были посажены в одну ночь, и бродил по садовым лужайкам со Склириной. Пруд был так искусно скрыт в зелени кустарника, что не подозревавший о его существовании посетитель, шедший по дорожке, усыпанной разноцветными камушками, заглядевшись на румяные яблоки или на павлинов, легко мог упасть в воду, к величайшему удовольствию благочестивого императора. В этом пруду Константин купался в жаркую пору. Он и не подозревал, что найдет там свою смерть.

Кевкамен Катакалон считался одним из самых способных вельмож

Священного дворца, отличился на полях сражений, принимал участие в военных действиях в Сицилии, где встретился с Гаральдом, которого варяги прозвали Смелым, и делил с ним боевые успехи. Патрикий был посвящен во все дворцовые тайны и находил, что по своим заслугам вполне достоин занять место логофета дрома или даже стать советником императора, каким сделался сей набитый книжной трухой хитрец Константин Лихуд. При одном воспоминании об этом человеке Катакалон почувствовал необходимость излить душу хотя бы перед митрополитом.

Когда Феопемпт опять стал расспрашивать о константинопольских делах и василевсе, Катакалон, позабыв о присущей всякому благоразумному мужу осторожности, вдруг сам начал откровенничать:

— Благочестивый не вмешивается ни во что, и всем распоряжается Константин Лихуд. Хотя и делает вид, что только выполняет высочайшие повеления. Если Лихуда о чем-нибудь просят, он спешит к василевсу, склоняется к нему и почтительно шепчет ему что-то, как будто спрашивает, какова будет воля благочестивого, а на самом деле только беззвучно шевелит губами, и василевс даже не знает, о чем идет речь. Между нами говоря, он, вероятно, думает в это время о своей возлюбленной.

— Как можно сказать такое о василевсе,— покачал головой митрополит.— Он помазанник божий.

— Его увлечение ни для кого не тайна в Священном дворце и во всем Константинополе; сама Зоя знает об этом и подсмеивается над влюбленным супругом.

Митрополит, которому было лестно, что надменный царедворец делится с ним своими наблюдениями, сочувственно покачал головой.

Катакалон уже не мог остановиться.

— Или бывает так, что находящиеся у ступенек трона спрашивают о чем-нибудь василевса, и Лихуд отвечает за него, делая вид, что преклоняет ухо к устам благочестивого.

Константин Лихуд, доверенное лицо императора, трудился, не зная отдыха ни днем, ни ночью, писал за василевса повеления и законы, назначал людей на должности, а в ночное время объезжал столицу, высматривая, нет ли чего-нибудь подозрительного в сей обманчивой ночной тишине. Даже на пирах и театральных представлениях его не покидала озабоченность, так как он замечал все предосудительные высказывания и развязные жесты собутыльников или актеров. За его спиной Мономах мог спокойно развлекаться со своей Склириной, и дела государства не терпели никакого ущерба. Но зависть и честолюбие ослепляли патрикия Кевкамена Катакалона, и он искренне считал Лихуда ничтожеством.

Чтобы переменить скользкую тему, патрикий стал рассказывать о новых постройках в Константинополе, о ценах на хлеб и оливковое масло. Митрополит полюбопытствовал:

— А как цены на меха?

— Это мне неизвестно,— с кривой усмешкой ответил Катакалон, зная о торговых предприятиях светильника церкви. Феопемпт уже успел навязать ему целый ряд всяких дел и хлопот.

В свою очередь, желая выйти из неприятного положения, так как он заметил усмешку на устах патрикия, Феопемпт спросил:

— Больше всего мне хотелось бы знать, что думает о нас, трудящихся на русской ниве, святейший патриарх.

Катакалон пожал плечами. Он недолюбливал и патриарха за его высокомерие, пренебрежение к дворцовым чинам, но больше всего за дружбу с Константином Лихудом.



— Боюсь, что святейшему, занятому более приятными вещами, чем заботы о русской митрополии, некогда подумать о тебе.

Феопемпт огорчительно посмотрел на собеседника, как бы спрашивая его, что он хочет этим сказать.

— С утра патриарший дом полон звездочетов и продавцов редких жемчужин,— продолжал Катакалон в том же тоне.

— Что ты говоришь! — нахмурился митрополит и в знак протеста даже поднял обе руки, как бы отталкивая от себя подобное искушение.

Катакалон понял, что сказал лишнее, и прикусил язык. Нет, положительную печень у него не в порядке, а от нее и эта раздражительность, мешающая спокойно говорить обо всем, что касается Лихуда или патриарха.

— Всем известно,— наставительно произнес митрополит,— что наш патриарх — человек знатного происхождения и вполне независимый, не опасющийся противоречить даже василевсам, если этого требует польза церкви. В своей же частной жизни — великий постник. Говорят, он спит, как простой монах, на жесткой постели и принимает самую простую пищу. А ты говоришь о каких-то жемчужинах.

Понимая, что он пересолит, Катакалон кисло улыбнулся:

— В конце концов, я ничего не сказал. Может быть, эти жемчужины он приобретает для украшения священных риз?

— Это другое дело.

Чтобы загладить свою горячность, патрикий прибавил:

— Во всяком случае, это человек редкого ума.

— Я тоже такого мнения,— с удовлетворением закивал головой митрополит.

Катакалон тут же стал успокаивать себя, что едва ли старый брюзга, надавав ему столько поручений, захочет написать о его опрометчивых словах в Константинополь, хотя бы тому же патриарху, и вслух не без ехидства заметил:

— Зато во время церковных служб мы любим пышные облачения, и епископы трепещут перед нами!

Митрополит даже подался вперед в кресле.

— А разве не подобает страшиться патриарха? Говорят, он одним движением бровей потрясает небеса и горы. Что в этом плохого? Особенно в наши трудные дни, когда все полно непокорства.

— Может быть, ты и прав,— зевнул Катакалон, которому уже надоели эти бесплодные препирательства.

— Всем известно,— поучал Феопемпт,— что святейший предпринимает борьбу с еретиками, готовыми даже признать, что дух святой исходит и от сына! Куда же дальше идти?

Митрополит разволновался, стал шумно дышать, как все люди, страдающие сердечным недугом. Потом, цепляясь за стол, подошел к окну и некоторое время смотрел на двор и снова вернулся на свое место. Ноги у него опухли, он передвигался с трудом.

Чтобы поговорить о другом, Феопемпт спросил:

— Некогда приходилось мне встречаться с Михаилом Пселлом. Где ныне он? Все так же велеречив этот писатель панегириков?

Разговор принял более приятное направление. Катакалон был в хороших отношениях с философом.

— Пселла я знаю давно, неоднократно беседовал с ним и получал от него знаки дружбы.

— Тоже умнейший человек.

Патрикий в задумчивости развел руками:

— Не знаю, что и сказать тебе... Пселл ведь из очень бедной семьи, хотя и уверяет, что в его роду были консулы и сенаторы. Вероятно, воображаемые. Но в уме ему действительно нельзя отказать, и это поистине образованнейший человек! С девяти лет он начал учиться в школе Сорока Мучеников, а потом изучал риторику, поэтику и философию. Беседовать с ним огромное наслаждение.

— И как высоко Михаил поднялся на лестнице придворных должностей!

— Да, ныне он уже советник царя.

— А начал служение с должности писца в Месопотамской феме<sup>1</sup>.

Катакалон с удовольствием стал рассказывать о своем знакомом:

— Как тебе известно, он много пережил в личной жизни. Дочь у него умерла. Он принял в свой дом приемную. Хотел выдать ее замуж. А жених пугался с комедиантками. Одно время Пселл решил даже скрыться за стенами монастыря. Но потом, как он сам говорит с улыбкой на устах, его снова увлекли в круговорот жизни «сирены столицы».

— Это неплохо сказано! Сирены столицы! Хе-хе!

— Ведь он большой поклонник гомеровского мира, любит Платона. Считается у нас великолепным стилистом.

— Слог — это великий дар. Но этот писатель играет словами, как фокусник на ярмарке мячами.

— Да, Пселл с одинаковым удовольствием пишет торжественные панегирики василевсам и какое-нибудь пустячное сочинение вроде «Похвалы блохе». Ты помнишь, как начинается этот трактат? «Поистине удивительно, что в то время, как все подвергаются блошиным укусам, прекраснейший наш Сергей избегает их жал». Ха-ха-ха!

— Человеку дан такой прекрасный талант, а он тратит свой дар на подобные пустяки,— морщился Феопемпт.— Или его увлечение философией! Неужели Пселл не понимает, что, читая Платона, он подвергает опасности свою душу?

— Хоть философ и друг мне,— опять рассмеялся Катакалон,— но должен тебе по совести сказать, что ради одного красиво построенного периода этот муж способен погубить и собственную душу.

— Сие весьма печально,— промолвил Феопемпт, не понимавший, что такое шутка. Презирал он и всякие бесплодные упражнения ума и всячески препятствовал просвещению порученной ему скифской паствы, считая, что людям, недавно приобщенным к христианству, книги могут принести лишь вред, сея в неопытных душах сомнения, ибо родят у человека пытливость к земному и могут поколебать веру в святую троицу.— Паче всего надлежит помышлять о вечном спасении,— прибавил сокрушенно митрополит.

— Только безумцы могут мыслить иначе,— вяло ответил Катакалон.

Ему стало совсем скучно в этих покоях, пропахнувших церковными курениями, смешанными со зловонным дыханием больного митрополита.

В ожидании приема у русского короля, как в своих разговорах послы называли Ярослава, они знакомились с городскими достопримечательностями, главным же образом с церквами и рынками, удивляясь богатству и многолюдству Киева. Епископов обычно сопровождал в странствиях по городу неутомимый Людовикус, которого и здесь многие встречные узнавали и расспрашивали о его делах. Митрополит Феопемпт наотрез отказался встретиться с латынцами, под тем предлогом, что он в эти дни пишет срочное послание

<sup>1</sup> Область в Византийской империи.

патриарху, требующее полного уединения и сосредоточенности ума. Зато Илларион с видимым удовольствием всюду ходил с послами и хвалился пред ними киевскими храмами. Особенно изумляла послов церковь св. Софии, поражавшая при медленном приближении к ней своей огромностью и пятнадцатью золотыми главами. Внутри она казалась созданием ангелов, сияющая мозаиками и позолотой, росписью и подвешенными на цепях светильниками, дивно сработанными русским медником.

Готье Савейер покачивал головой... Мрамор... Воздушные своды... Паникадила...

— Какое величие... — бормотал он, а Илларион ревниво следил за впечатлением, какое производила на епископа эта красота.

Епископы поднимали взоры к повисшему в воздухе куполу и должны были признаться, что ничего подобного не видели раньше. На огромной высоте витал мозаичный Вседержитель в пурпуровом хитоне и голубой хламиде, и вокруг него летали среди легко перекинутых сводов крылатые херувимы. На главной арке зрению представлялась трогательная сцена Благовещенья. Эта далекая поэтическая мысль и вымысел книжника напоминали о земных женщинах, трудившихся дома и на полях. Люди верили, что все так и было и что дева Мария в тот день занималась изготовлением пряжи для завесы иерусалимского храма...

В алтаре взоры посетителей прежде всего привлекало мозаичное изображение богородицы в лиловом покрывале с тремя золотыми звездами на челе и в пурпуровых башмачках, женственно выступающих из-под длинного царственного одеяния. Она вздымала руки над всем миром, и на стене виднелась надпись на греческом языке, которую Илларион перевел послам: «Да поможет ей господь от утра и до утра...»

В этом изображении зрителю представлялось что-то тревожное. В огромных широко раскрытых глазах Софии скрывалась тайна. Или это и явилась миру София, мудрость, художница земли? Епископы невольно умолкли и, пораженные великолепием видения, не задавали больше суетных вопросов.

Ниже мозаист изобразил сцену евхаристии. Христос причащал апостолов хлебом и вином, и можно было явственно рассмотреть трепетные руки, протянутые к чаше, и складки одежд, взволнованных порывом умозрительного ветра. Всюду блистало золото, как бы напоминая о богатстве и могуществе русского князя.

Работы по расписыванию храма еще продолжались. В некоторых местах франкские послы видели живописцев, устроившихся на помостах, на которых стояли горшочки различной величины с красками. Как объяснил Илларион, это были мастера, вызванные из Греции. Но им помогали, перенимая искусство живописания, здешние отроки; они растирали краски, давали советы художникам, так как лучше, чем греки, знали русский мир, и даже иногда брали в руку кисть. Все трудились с большой поспешностью, торопясь закончить работу прежде, чем высохнет свежая штукатурка на стене, и на деревянных помостах царил большое оживление. Наверху, где помещалась кафизма, два иконописца клали последние краски на картину «Тайная вечеря»; было занимательно смотреть, как оживали лики участников этой странной трапезы и оставались темными черты Иуды.

Дольше всего помедлили послы перед изображением семьи Ярослава. По словам Иллариона, ее написал под западной аркадой какой-то юный русский художник. На главном месте восседал Христос. С одной стороны князь подносил ему подобие киевского храма, с другой простирала руки в христианском благоговении Ирина. Оба они были в золотых коронах. За Ярославом

стояли сыновья, за Ириной — дочери, со свечами в руках. Все были в пышных греческих одеяниях.

— Которая из них Анна? — спросил Роже, долго рассматривавший изображение.

Людовикус указал перстом на высокую деву в парчовом наряде, стоящую впереди сестер на южной стене храма.

Епископ Готье изумлялся больше всего красоте мозаик. Илларион объяснял, почему они сияют всеми цветами радуги:

— Для зеленого цвета подбирается двадцать пять оттенков, для коричневого — двадцать три. И так для прочих. Кроме того, художник располагает камешки не прямо, а под некоторым наклоном, поэтому они освещаются по-разному и тем самым принимают различную окраску. Вот почему все это так прекрасно!

Что касается епископа Роже, то его особенно поражали огромные средства, затраченные на постройку и украшение храма, на покупку церковных сосудов. Он покачивал головой, когда Людовикус сообщил ему, что мраморные колонны доставили сюда из Херсонеса. На порогах их с невероятными трудностями перетаскивали берегом при помощи катков. Кирпичи русские научились делать и обжигать уже давно. Так рассказывал Илларион, весь сиявший гордостью за Русскую землю. Его слова тут же переводил Людовикус, так как священник не знал латыни, а епископы не изучали греческого языка.

При церкви находилась палата, где происходили суды, помещалось книгохранилище, куда желающие могли прийти и читать книги. Готье с любопытством рассматривал их, но, к его огорчению, они были написаны на славянском или греческом языках.

Осматривая храмы и торжища, епископ Роже не забывал о поручениях короля. Генриху очень хотелось получить в приданое за невестой мощи папы Климента. Между прочим, когда посольство покидало Францию, на одной из остановок в пути, а именно в Реймсе, прево<sup>1</sup> находящейся в этом городе церкви св. Марии, по имени Одальрик, тоже убедительно просил епископов разузнать, действительно ли находится в той стране, куда они едут, где-то на границе с Грецией, город Церсона. Благочестивый прево слышал, что там в день, посвященный памяти мученика, море отступает от острова, на котором стоит гробница святого, чтобы паломники могли пройти к ней посуху. Роже стал наводить справки относительно этого необыкновенного чуда.

Людовикус, принимавший участие во всех церковных разговорах, хотя его душа, если верить слухам, уже давно была продана сатане, по поручению епископа стал расспрашивать Иллариона, но тот ответил, что ничего не знает о подобном удивительном явлении, хотя бывал проездом в Херсонесе, когда направлялся в Константинополь.

— Где же находятся мощи прославленного мученика? — добивался Роже.

— Глава его положена в церкви Успения, которую у нас называют Десятинной.

— Чего же мы ждем! — воздел руки епископ.

И в этой церкви воздух был необычайно гулким, благодаря вделанным в стены кувшинам, которые называются голосниками, так как делают осо-

<sup>1</sup> В данном случае — ведающий церковным хозяйством, вообще же — королевский чиновник.

бенно звучными человеческие голоса и церковное пение. Этот воздух напоминал почему-то о горных высотах.

Илларион подвел епископов к каменным гробницам, находившимся недалеко от алтаря, и произнес с благоговением:

— Здесь покоятся великий наш царь Владимир, создавший эту красоту, и супруга его, греческая царица Анна...

Епископы некоторое время помолчали перед гробницами таких знаменитых людей. Камень был украшен крестами и пальмовыми ветвями.

— Просветитель нашей земли! Новый Константи! — шептал Илларион, и так же тихо его слова переводил Людовикус.

— А где же мощи святого Климента? — тоже шепотом спросил епископ Роже.

Илларион показал рукой на серебряный ковчежец на престоле. Епископы с завистью посмотрели на это сокровище. В те дни монастыри и церкви всеми правдами и неправдами собирали останки святых, бедренные кости, челюсти, зубы, даже отдельные волосы. Роже прикидывал в уме, сколько могла стоить подобная реликвия. По крайней мере триста золотых! Конечно, расходы по ее покупке оправдались бы от приношений паломников в течение одного или самого большого двух лет. Дело было верное. Но продаст ли Ярослав эти мощи? Сделает ли он такой подарок королю? Гм... Похитить? Нет, русские могли заподозрить послов, произвести розыск и отрубить виновным головы. Епископ с досадой вздохнул.

Здесь Илларион оставил франков, так как к нему прибежал княжеский отрок и шепнул что-то на ухо, и епископы в сопровождении того же Людовикуса отправились на Подолие. Для этого пришлось спуститься с горы к реке. Уже издали доносился шум огромного торжища. Кричали продавцы и покупатели, ржали кони, мычали коровы, блеяли овцы, издавали неприятные крики непривычные для франков верблюды, уходившие с тюками товаров на безобразных горбах в далекие страны. Место, где происходили купля и продажа, со всех сторон окружали обнесенные прочными частоколами торговые дворы. Здесь были расположены, по словам Людовикуса, немецкий, польский, еврейский кварталы, обитали арабы, моравы, итальянцы и хазары; тут же находились подворья новгородских купцов и варягов.

Епископы не знали, на что же обращать свое внимание. В темных подвалах, в вонючих лавках, под легкими деревянными навесами и просто на рядне громоздились всевозможные товары: блистающее холодным огнем оружие, черные кольчуги, меха, огромное количество горшков, кувшинов и мисок, деревянных кадушек, ложек. В глиняных корчагах продавали мед и вино, конопляное масло и перец, а еще дальше торговцы разложили веретена, шерстяные пряслица к ним, знаменитые русские веревки, лучше которых ничего не может быть для корабельных снастей и охотничьих перевесов.

Направо находился скотный рынок, налево — житный, где покупали пшеницу, горох и ячмень.

За столами меняльных лавок сидели жирные скопцы, седебородые евреи и величественные арабы, красившие бороды в огненно-рыжий цвет. Арабские купцы привезли из Багдада зеленую кожу, искусно сплетенные уздечки с разноцветными кистями, украшенные бляхами седла, ценные клинки мечей. Немецкие купцы торговали сукнами. Они придавали им синий цвет с помощью травы, которая называется «вайда». Греки доставили в Киев шелковые ткани и все необходимое для писания — бумагу и чернила, и люди рассматривали эти сокровища, проверяя на ощупь добротность цветистых материй, стучали пальцами по звонким глиняным сосудам. Взад и вперед бродили праздные гуляки, пришедшие сюда послушать, о чем говорят торгу-

ющие. Всюду царило оживление. Поучительно ходить по торжищу, смотреть на чужестранцев и приторговываться к товарам, показывая цену на пальцах. Персты, поднятые целиком, указывали на гривны. Затем человек как бы отсекал половину указательного пальца на левой руке другим пальцем, и это обозначало полгривны. Впрочем, многие продавцы говорили здесь на всех языках мира, счет же при помощи пальцев велся для большей верности.

Когда епископы были в самой гуще толпы, какой-то бородатый славянин — судя по одежде, украшенной меховой выпушкой, не из бедных людей — поднялся на опрокинутую бочку и стал что-то кричать, поворачиваясь во все стороны. Некоторые из прохожих тотчас столпились около него и, задрав носы, слушали призывы. Епископы, на которых большого внимания здесь никто не обращал, так как в толпе встречалось много польских и ирландских монахов, остановились в недоумении и ожидали от Людовикуса объяснений.

— У этого человека убежал раб. Теперь он делает оглашение... Таков закон. Владелец раба предупреждает, что если кто спрячет беглеца в своем доме, или даст ему кусок хлеба, или хотя бы укажет, по какой дороге ему лучше всего идти, чтобы скрыться от преследования, то заплатит судье столько же, сколько за убийство человека.

— Значит, находятся люди, которые дают беглым рабам кусок хлеба и помогают им скрыться от владельца? — сделал вывод епископ Готье не без некоторого удовольствия.

— Так бывает, — ответил Людовикус.

Но епископ Роже не мог одобрить подобную чувствительность. Он сказал:

— Если все рабы разбегутся, кто же будет обрабатывать нивы благородных людей?

Взволнованный хозяин убежавшего раба продолжал кричать во всю глотку.

— Чего он хочет? — обратился Готье к Людовикусу.

— Просит помочь в поимке беглеца, напоминает о награде за содействие.

— Велика ли награда? — задал вопрос Роже.

Людовикус объяснил, что за поимку раба полагается одна гривна.

— Это много?

— Гривна — большая серебряная монета.

— Что же можно приобрести за нее?

— Лошадь, например, стоит здесь две гривны. Если кто задержит двух беглых рабов, получит возможность приобрести для своего хозяйства коня. Это неплохо.

— Не малая награда, — вздохнул Роже, точно сожалея, что не может ловить беглых рабов.

— И часто они здесь убегают?

— Нередко, потому что многие из них были в прошлом свободными поселянами, но сделались рабами, поступив на работу.

— Почему?

— Наймит становится рабом за всякую малость. За порчу плуга или небрежное отношение к волам. Также за самовольную отлучку. А раньше эти люди жили на свободе. Понятно, что при первом удобном случае они убегают. Ведь положение раба здесь тяжелое. Господин может даже убить провинившегося.

— И не отвечает за это по суду?

— Если господин убьет раба в трезвом состоянии, не отвечает, а если в пьяном — несет ответственность за убийство.

— Странно,— рассмеялся Готье.

— Считается, что если он убьет раба в трезвом состоянии, то за дело; под влиянием же опьянения господин может ошибиться, неправильно истолковать поступок раба. Здесь тоже встречаются большие крючкотворы.

Но разговор был прерван новым событием. Теперь уже орали два человека, что-то вырывая друг у друга из рук. Расторопный, несмотря на свою тучность, Готье успел рассмотреть, что предметом жаркого спора является добротный плащ синего цвета.

— Что им нужно? — спросил он у переводчика.

— Человек в меховом колпаке уверяет другого, что эта одежда, которую он продает, украдена и принадлежит ему, и требует возвратить ее.

— А другой?

— Другой доказывает, что купил плащ.

Лица у обоих спорящих были искажены от злобы и негодования.

— Как же они разберутся в этом деле? — поинтересовался епископ Роже.

Людовикус, уже наблюдавший подобные сцены на всех ярмарках Европы, пожал плечами:

— Вероятно, дело закончится в суде.

Спорившие кричали:

— Это мое!

— Нет, мое!

— Зачем же ты продаешь плащ?

— Еду в Курск, деньги нужны на дорогу.

Вокруг споривших собралась толпа зевак, везде одинаково жадных до подобных зрелищ. Пройдя еще немного, епископы очутились на том месте, где продавали рабов. Опустив головы, в жалких рубищах, босые и, видимо, голодные, эти люди ждали своей печальной участи. У некоторых, с особенно злыми глазами, руки были связаны за спиной веревками.

— За что их продают? — с сокрушением спросил Готье.

— Я говорил. Может быть, за порчу плуга. В интересах хозяина совершить такую сделку.

— И они не имеют возможности выкупиться на свободу?

— Откуда у них средства? А этим пользуется владелец, имеющий право обратить неоплатного должника в рабство и продать его за большие деньги.

Около выставленных на продажу любопытные переругивались со злыми холопами, стерегшими достояние своего господина. А к рабам уже присматривался восточный купец в чалме, поглаживая бороду. Такой товар считался выгодным, на этой торговле люди легко наживались. Но с невольниками было немало хлопот. Случалось, что эти богопротивные разбойники предпочитали удавить себя, чем отправляться в цепях в Константинополь и влачить там позорное существование.

— Из Константинополя невольников иногда везут в Египет и делают из них евнухов,— равнодушно заметил Людовикус.

Поглядев некоторое время на несчастных, епископы стали вновь подниматься в город. По дороге Людовикус, хорошо знавший Киев, показывал им достопримечательности:

— Вот Бориславлев двор...

— Чудин двор...

— Здесь живет Путята...

За дубовыми частоколами стояли высокие хоромы с птицами и фантастическими узорами на оконных наличниках.

## VII

В тот день Анна с печалью любовалась Днестром, на пороге расставания с родиной. Это происходило в Вышгороде, куда Ярославна поехала на конях с братьями Всеволодом и Святославом и немногими отроками, чтобы, может быть, в последний раз побывать в городе, где прошло ее милое детство. Братья сопровождали Анну, не желая расставаться со своей любимицей на целый день.

Поселение назвали Вышгородом потому, что неведомые люди построили его в отдаленные времена на горе, на берегу Днестра, в нескольких поприщах от Киева, куда из вышгородских ворот вели две дороги: одна по берегу реки, другая в объезд, лугами и рощами. Град окружали прочные бревенчатые стены и башни.

Анна сидела с братьями на ковре, постеленном отроками на склоне зеленого холма, неподалеку от деревянной церкви, в которой почивали князья Борис и Глеб. Илларион стоял. Никто из княжичей, и даже Анна, не предложил ему сесть: они были знатного рода, а он — простой монах, хотя и кладешь учености и неиссякаемый источник красноречия.

Опираясь обеими руками на деревянный посох, от долгого пользования ставший гладким, как слоновая кость, пресвитер вспомнил книжные слова: — «Стенам твоим, Вышгород, я устроил стражу на все дни и ночи. Не уснет она и не задремлет...»

Ярославна, подпирая голову рукой, смотрела на Днепр. Следуя за ее взглядом, все повернули головы в ту сторону. С горы открывался чудесный вид: весь склон был в цветущих деревьях, а внизу струилась величественная река, голубеющая вдаль; воды ее разделялись на рукава, образуя острова и заливы с серебристою водою и розоватыми отмелями. На востоке за Днестром тянулись широкие луга, на западе зеленели весенние дубравы, а на полночь темнели непроходимые дебри, в которых водились всякие звери, от легконогих оленей до яростных туров.

Сооруженная на холме пятиглавая деревянная церковь была произведением рук местных древоделов, которые в большом числе населяли город. За кладбищенской оградой росли плакучие березы, стояла тишина. Сидевшие на ковре продолжали разговор о книжной премудрости. Илларион, изучавший в Константинополе риторiku, объяснял Святославу:

— Что говорит Георгий Хировоск об образах? Прежде всего он отличает иносказание...

— Или аллегорию,— поднял палец Всеволод.

— Или аллегорию. То есть замену умозрительного понятия каким-нибудь видимым образом. Когда, например, слово «дьявол» заменяется словом «змея». Превод же...

— Или метафора,— с улыбкой похвастал своим знанием греческого языка Всеволод.

— Или метафора,— опять покорно повторил Илларион,— есть прием для украшения речи. Когда какое-нибудь слово приводится в переносном смысле, ради красоты. Такая метафора имеет четыре образа. Первый образ, когда одушевленный предмет заменяется одушевленным. Например, писатели охотно называют кесаря пастырем. Пастырем не стад, а человек. Или когда неодушевленное заменяется неодушевленным, если мы, например, уподобим бытие морю...

Святослав кивал головой, в знак того, что понимает объяснения.

Анна охотно допускала, что подобные вещи необходимо знать всем, кто хочет читать книги с пониманием, но сегодня ей было не до риторики, и она



В тот день Анна с Леуадыо любуаласъ  
Днепром на пороге расставания с родиною



Это происходило в Вышгороде, куда  
Ярославна приехала на конях с братьями...

пропускала мимо ушей ученые рассуждения Иллариона, думая о другом...

Когда монах закончил свои объяснения об образах Георгия Хировоска, беседа прервалась. Люди некоторое время любовались красотой окружающего мира. Потом Всеволод, находившийся сегодня в угнетенном настроении, спросил Иллариона:

— Скажи, почему иногда беспокойно на душе?

Илларион, перебирая пальцами седеющую бороду и глядя вдаль, не сразу ответил:

— Беспокойно на душе, когда какая-нибудь печаль тревожит человека.

Но печаль земная мимолетна. Каждый час ее может сменить радость.

— Возможно ли изгнать печаль из души? — спросил Всеволод.

— Возможно.

— Чем ты изгоняешь ее?

— Постом.

— Как же ты постишься?

— Монаху надлежит вкушать пищу один раз в день. В понедельник, среду и пяток — сочиво, в прочие дни — рыбицу и меду по чаше в день. И лишь когда трижды зазвонят в церкви, то есть в воскресенье, мясо разрешается есть. В великий же пост сухоядение...

— А мед?

— Меду не пить.

Святослав рассмеялся, обращаясь к Всеволоду:

— Знаю, как монахи умерщвляют свою плоть. Посмотри, какие они толстые в монастырях.

Священник громко вздохнул и пошел к кладбищу, пояснив, что хочет посмотреть, как горят лампы. Был случай в старой церкви: пономарь ушел спать, не погасив лампы на ночь, и бревенчатое строение сгорело дотла.

На сердце у Анны лежал камень. Куда бы она ни пошла, всюду на пути ее стояли монахи, епископы. Они говорили о посте и покаянии, а ей хотелось жить, быть счастливой. Она вся наполнялась радостью, как глупая птица на зеленой ветке, вспоминая о Филиппе, хотя знала, что судьба разлучит их навеки, и когда думала об этом, то радость ее угасала, как задутая ветром свеча. Уже третий день она не видела ярла, которого Ярослав неожиданно отправил с дружиной на реку Рось, где, по слухам, снова появились печенеги. Анна понимала, что никогда уже не повторится та встреча, во время грозы, в лесной избушке, и все-таки ей хотелось еще раз посмотреть на прекрасного воина, прежде чем расстаться с ним навеки. Каждый день она ждала, что послышится перед городскими воротами звук трубы и ярл прискачет, живой и невредимый, выполнив с победой данное ему поручение, или, может быть, вернется раненный печенежской стрелой.

При одной этой мысли у Анны темнело в глазах. Она спросила Святослава, прилегшего рядом с нею на ковре:

— Нет вестей с Роси?

В глазах у брата мелькнул лукавый огонек. Анне пришло в голову, что он, может быть, все-таки рассказал родителям о том, что произошло в дубраве, и отец или, скорее, мать со злым умыслом послали молодого воина под печенежские сабли.

Святослав ответил, не желая огорчать милую сестрицу:

— На Роси стоит тишина. С тех пор как отец прогнал печенегов и огромное их число в Сетомле потопил, остальные убежали в степь и бегут где-то там до сего дня. Они теперь как пугливые волки в летнюю пору. Весть о них оказалась ложной.

— Почему же не возвращается дружина?

— Дружина вернется в свое время. Но что тебе до того? — строго спросил Святослав, поднимаясь на руках. — Разве не за тобой приехали франкские послы? Забудь о Филиппе. Ты станешь королевой. Можно позабывать твоему жребию.

Анна закрыла лицо руками.

Всеволод тихо сказал ей:

— Разве слезами поможешь? Таков наш удел. Нам рубиться с печенегами, тебе ехать в дальние края.

На яблоне, под которой Анна нашла с братьями приют, среди розоватых цветов, тронутых иногда пятнышком пурпура, гудели трудолюбивые пчелы. Всеволод, которому хотелось сегодня рассуждать о высоких материях, глядя на пчелиную суету, покачал головой:

— Пчела собирает мед, пахарь трудится на ниве...

Анна подняла глаза к яблоневым цветам, и у нее тоже мелькнула мысль, что в словах брата — истина: маленькая пчела трудится изо всех сил, а она проводит время праздно.

За цветущими деревьями, по другую сторону церкви, была видна зеленая долина, усыпанная желтыми цветами. Далеко за долиной, на самом краю земли, синел лес.

— Там франкская земля? — спросила Анна Всеволода, показывая маленькой рукой на запад.

— На заходе солнца. Но путь туда не близок — через Польшу, Чешский лес, немецкие страны. Потом лежит Франция, где ты будешь королевой. А еще дальше — Британский остров. Говорят, что все на нем круглый год покрыто туманами и люди не могут найти во мгле дверь собственного жилища.

Анна долго смотрела в ту сторону, куда ей предстояло уехать.

— А что на востоке? — спросила она.

— Восточные страны — жребий Симов. Сим — один из сыновей Ноя. Там живут неведомые народы. На полдень же — Иверское царство и стоит город Ани, откуда приехал к нам врач Саргис. За синим морем возвышается Царьград, и в нем — местопребывание патриарха. Еще дальше плещется другое море, и за ним лежит Африка, где протекает река Нил. В ней водятся крокодилы. В нильских тростниках дочь фараона обрела осмоленную кошницу с Моисеем. Еще дальше обитают блаженные эфиопы. Они как птицы небесные — не сеют, не жнут и не собирают в житницы, а питаются плодами райских деревьев. Там никогда не бывает зимы. Туда летят перелетные птицы. В Эфиопии, как в раю, люди ходят нагие.

Анна всегда удивлялась учености брата, остроте его ума, которым он был в состоянии объять все мироздание.

— Почему же у нас так холодно зимою? — спросила она.

— Зима приходит к нам из-за лукоморья. Далеко на полночь стоят высокие горы, и за ними прячутся холодные ветры. Когда они дуют, идет снег и вместе со снегом с небес падают в Югре маленькие олени, а потом расходятся по всей земле и подрастают в дубравах. Не знаю, правда ли это?

Анна смотрела вдаль, занятая своими мыслями. Вышгород, Вышгород! Никогда она больше не увидит этот священный город! Многих людей она встретит на своем пути, но никогда уже не улыбнется ей Филипп. В отчаянье, чтобы не вскрикнуть от горя, она закусила руку...

К тому часу, когда должен был состояться прием послов франкского короля, обширная, но не очень высокая гридница в киевском дворце наполнилась шумом голосов. Потолок ее представлял собою синие своды, усыпанные

золотыми звездами, как небо в морозную ночь. Суета усиливалась с каждой минутой. Во двор въезжали и въезжали бояре. У самых почтенных и старых отроки вели коней под уздцы. Потом, кряхтя и разглаживая бороды, дружинники поднимались в гридницу. Среди русских нарядов и темных монашеских одеяний, еще больше оттенявших пестроту разноцветных одежд, обращал на себя внимание греческий плащ Катакалона — короткий, красный, с золотыми украшениями на груди, обозначающими его придворное звание.

Стены приемной горницы были обиты малиновой тканью, уже потемневшей от свечной гари. Под сводами висели хоросы, или светильники, украшенные всяким великолепием. На некотором возвышении с тремя ступеньками стояли два обитых парчой трона и рядом с ними низкое сиденье, предназначенное для Анны, имя которой в тот день не сходило с уст у людей. Для франков приготовили такие же седалища без спинок и подлокотников, чтобы послы не отваливались непринужденно во время приема. Евнух Дионисий, немало лет проведенный в Священном дворце, распорядился на подобных церемониях с полным знанием дела.

Скамьи для бояр и знатных дружинников, обитые красным скарлатом, поставили вдоль стен, а впереди, на почетном месте, — кресло для митрополита. Старик уже сидел в нем с черным посохом в руке и, видимо, был недоволен, что позволил привести себя сюда преждевременно. За ним стояли в черных одеяниях пресвитеры и монахи.

Сыновья Ярослава тоже находились в горнице. Скамья для них была приготовлена у задней стены, за тронами, но им, конечно, хотелось побеседовать с друзьями. Всеволод только что оставил судилище, где разбирал вместе с писцом, по поручению отца, различные тяжбы. Святослав, увидев брата и зная, что он занимался судебными делами, по своей склонности к книжным выражениям, воскликнул с громогласным смехом:

— Се грядет новый Соломон!

— Здравствуй, брат, — сказал Всеволод. — Утомился до крайности. От зари судил и разрешал.

Он улыбался, хотя у него был вид уставшего человека. Отвечая на приветствия со всех сторон, молодой князь вынул синий платок и стал вытирать высокий белый лоб. Бояре знали этот плат — с изображением шафранного солнца, пылающего красными языками, на котором, как на широком и смеющемся человеческом лице, можно было рассмотреть глаза, нос и рот.

— Сколько люди зла творят на земле! — сказал он.

— Какие жалобы судил? — уже серьезно спросил Святослав.

— Жалоб было много. У Бориславлева тиуна тати похитили бобровый мех, и он жаловался на смердов из соседнего селения, но вирник побывал на селе и явственно видел, что следы вели на большую дорогу, где проходят торговые люди, терялись там. Ты же знаешь... При таких обстоятельствах нельзя заставить смердов уплатить вознаграждение. Борислав будет недоволен...

— А еще что?

— Драка была с дрекольем в руках, и после драки с убитого сняли одежду и оставили лежать в наготе на улице... Разбойник лишил жизни княжьего мужа Никифора...

— Никифора? Из Переяславля?

— Никифора из Переяславля. Того самого Никифора, что прошлой зимой своего раба зарубил мечом.

— Где же разбойник?

— Разбойник убежал, и его дом, с женой и детьми, отдали на поток и разграбление.

— А еще что?

— Дуб кто-то срубил, служивший межевым знаком на ниве... Охотничий перевес в дубраве испортили и украли из него диких птиц. Один злодей зажег гумно у боярина Андрея...

Лицо Всеволода вдруг покрылось морщинками от еле сдерживаемого смеха.

— Еще одна жалоба была. Пес проказы делал и из чужой клетки мясо унес.

— Убили пса?

— Нельзя убить, если соблюдать закон. Пес не подрывал землю, чтобы лезть в клетку, а через дверь проник, не запертую по людской оплошности.

— Блажен муж, иже и скотов милует,— сказал Святослав и оставил брата, считая, что вполне удовлетворил свое любопытство.

Всеволод осмотрел собравшихся и, увидев сидевшего в кресле митрополита, улыбнулся ему сыновней улыбкой. Княжич с малых лет умел ладить с греками и поспешил к иерарху. Феопемпт сидел опустив голову, скучный, как старый скопец, неизлечимо больной, хотя и обуреваемый жаждой власти над человеческими душами. Он все еще не мог успокоиться при мысли, что явился на собрание задолго до выхода князя и тем унизил свое пастырское достоинство.

Около митрополита стоял красивый, нарядный патрикий Кевкамен Катакалон. Всеволод приблизился к грекам и заговорил с Феопемптом по-гречески. В это время мимо проходил ярл Магнус, недавно прибывший на Русь высокий рыжеусый воин с такими дерзкими глазами, точно он искал ссоры с каждым встречным. Магнус приветствовал Всеволода по-свенски, и княжич ответил ему на этом же языке. Стоявший поблизости в скромном монашеском одеянии Илларион восхитился:

— Поистине он пятиязычное чудо!

Всеволод ушел, и Катакалон тоже покинул митрополита. Поблескивая ласковыми глазами, патрикий уже подобострастно справлялся у Святослава о его здоровье и давал врачебные советы:

— Избегай по возможности того, чтобы попадать в лапы врачей. Даже если у больного пустячная болезнь, врач непременно станет убеждать, что недуг требует применения дорогостоящих лекарственных трав, и будет до бесконечности затягивать свои посещения, чтобы получить побольше денег. Поэтому позволь тебе посоветовать: коль хочешь быть здоровым и избавиться от своих болячек, ешь до сытости только за обедом, но избегай ужинов, и пусть пища никогда не тягощает твой желудок. Постись, и ты обойдешься без услуг эскулапов. Если желаешь принимать что-нибудь приносящее пользу человеку, то пей полынь, а коль страдаешь желудком, принимай настойку из ревеня. Бросай кровь три раза в году — весной, зимой и в месяце сентября — и будешь здоров...

Святослав угрюмо слушал грека. Мучительные нарывы на шее сегодня особенно напоминали о себе, возможно после обильной выпивки на вчерашней пирушке у воеводы. Никакие средства не помогали в его болезни: ни мази, которые прописывал ему армянский врач Саргис, ни припарки старой колдуньи, ни молитвы. Когда в Вышгороде происходило торжественное перенесение гробов с останками Бориса и Глеба в новую церковь, митрополит взял руку последнего, на которой почерневшая, высушенная в песчаной почве могилы кожа пристала к кости, и благословлял ее присутствующих. Однако Святослав почел, что этого недостаточно, и стал прикладывать реликвию

к темени и шее, где у него болели нарывы. Спустя некоторое время князь почувствовал, что его беспокоит нечто в волосах, и нашел на голове ноготь с пальца Глеба. Ярославич был очень обрадован подобным благоволением небес, но, увы, даже ноготь мученика не исцелил болячек.

Видя, что князь Святослав в дурном настроении, Катакалон отвесил придворный поклон и не стал больше докучать этому вспыльчивому человеку.

Святослав слышал, как через минуту грек уже говорил тучному воеводе, в доме которого остановился ярл Магнус, приехавший наниматься на службу к Ярославу:

— По-моему, не следует предоставлять другу кров у себя в доме. Лучше найти для него какое-нибудь подходящее помещение и посылать туда все необходимое, пищу и вино. А если ты поселишь его у себя, то послушай, что может произойти. Во-первых, ни супруга твоя, ни дочери не будут чувствовать себя свободными в своем собственном доме. Если им потребуется выйти по какому-нибудь делу из женской половины, твой приятель будет вытягивать шею и устремлять на них любопытствующие взоры. В твоём присутствии он, пожалуй, потупит главу, якобы из скромности, но станет подсматривать, какая у твоей жены походка, какие ноги, как она поворачивается и подпоясана, начнет разглядывать твоих дочерей с головы до ног, а потом будет рассказывать об этом на пирушке приятелям и тихо посмеиваться. Еще найдет плохим твой стол. Если же подвернется удобный случай, постарается делать любовные знаки хозяйке или будет смотреть на нее бесстыдными глазами и, может быть, даже соблазнит ее.

Воевода слушал, и красное лицо старого ревнивца становилось багровым. Катакалон знал, что Магнус испытывал вождедение к красивой воеводиной жене. Но греку хотелось поссорить приезжего варяжского ярла с киевскими правителями и переманить его на службу в Константинополь, где имя Магнуса привлекло бы в гетерии василевса сотни скандинавов, в оружии которых в настоящее время весьма нуждалось ромейское государство.

Рядом румяный боярин со смешком рассказывал, как некий дружинник вырвал у другого клок бороды в драке и что они судились сегодня у Всеволода. Слушатели смеялись.

Испортив настроение воеводе, Катакалон уже выискивал новую жертву. У него было столкновение на пиру с Чудином, жена которого отличалась мотовством, и патрикий решил, что ныне предоставляется удобный случай отомстить надменному боярину за его грубые слова. Дело происходило вчера, за столом у воеводы, где патрикий заметил, как Магнус переглядывался с хозяйкой. Выпив лишнее, Чудин сказал настолько громко, что Катакалон не мог не слышать:

— Греки на золото глаза пялят!

Теперь Катакалон подошел к Чудину и начал с ним разговор о незначительных вещах. Потом, переведя речь на семейную жизнь, стал расхваливать его жену:

— Жена твоя — сокровище. Это как у Соломона. Уверен, что светильник ее не угасает всю ночь, что своими благопотребными руками она прядет шерсть, издалече покупает все необходимое для хозяйства и бережет каждую медную монету...

Боярин смотрел на грека непонимающими глазами. Он славился богатством, однако не был наделен быстрым разумом. Соль разговора он постиг, когда греческий хитрец уже отбыл в Константинополь.

Но вошел скопец. С улыбочкой на тонких губах, довольный, что настал и его черед, Дионисий окинул взором собрание и не очень сильно, но с прили-

чествующей данному случаю настойчивостью трижды ударил о пол деревянным посохом с шаром из слоновой кости. Все знали, что жезл был знаком его должности. Разговоры стали стихать...

Скопец произнес скрипучим голосом:

— Братие и дружина...

Еще в дни великого Владимира, когда из Царьграда приехала впервые на Русь греческая царица, при киевском дворе созданся некий церемониал и выход князя к народу обставили известной торжественностью. Так же это происходило и теперь. Впереди шел меченоса, держа перед собою в обеих руках обнаженный княжеский меч — символ власти. Хранитель печати выступал с огромной печаткой из сердолика. Оба в красных плащах заморского покроя, гордые выполнением своих почетных обязанностей.

За ними следовали Ярослав и княгиня Ирина. Плащ князя сверкала серебряной парчой, и на голове поблескивала драгоценными камнями царская диадема. Он редко извлекал ее из ларя, но каждый раз эта вещь выводила из себя митрополита и приезжих греков. На княгине тоже было пышное одеяние, расшитое золотыми цветами. Позади, опустив долу глаза, бледная и от этого еще более прелестная, чем всегда, как бы плыла в тяжелых константинопольских одеждах Анна, перекинув конец верхнего одеяния, которое по-гречески называется лор, через левую руку.

Седоусый знаменосец нес над головой князя голубой шелковый стяг, на котором был изображен не древний знак княжеского рода, а искусно вышитый разноцветными нитками крылатый архангел в сказочных доспехах и в легких сапожках, в каких можно ходить только на картинах.

В наступившей тишине князь и княгиня заняли троны, и Анна опустилась рядом с отцом на свое место, уже привычным женским движением руки оправляя складки парчовой одежды. Потом она вскинула глаза на собрание бояр, даже обернулась туда, где сидели братья, горделиво выставляя красные сапоги. Рядом с Всеволодом Ярославна увидела Марию, улыбавшуюся ей, как сестра. Но ярла Филиппа нигде не было!

Все знали, что великий князь не любитель подобных выходов и пышности, и непривычная диадема не очень величественно покоилась на его голове, но сегодня князь уступил Дионисию, доказывавшему, что франков надо встретить во всем торжестве, чтобы они рассказывали потом своему королю о великолепном приеме.

Послов уже вводили в горницу. Епископы явились точно на собор — в парчовых и кружевных, странных для киевлян, облачениях, с посеребренными посохами, проросшими, как жезл Аарона. Их усадили вместе с сеньором де Шони на сиденьях посреди помещения, и рыцарь изо всех сил старался принять соответствующую обстоятельствам позу. Позади стояли кучкой прочие рыцари, оруженосцы, монахи и слуги. Один из оруженосцев, с белокурой челкой и удивленными на всю жизнь глазами, нес тяжелый серебряный ларец с дарами или, может быть, с посланием короля. Но, видимо, в нем хранилось какое-то сокровище, судя по тому, с какой важностью юноша держал ковчежец в вытянутых руках. Другие оруженосцы и служители принесли мечи прославленной франкской работы, куски шелка, серебряные сосуды, без которых не обходилось ни одно приношение даров.

Анна не заметила ни ларца, ни мечей, ни серебряных сосудов. Даже епископы в своих причудливых одеяниях, непривычно бритые и поэтому особенно чужие, то возникали перед нею как во сне, то исчезали в горестном потоке лихорадочных мыслей. Ярославна сидела как приговоренная к казни, и приветственные речи доносились до ее слуха откуда-то издалека...

Иногда в поле зрения Анны выплывало из тумана какое-нибудь отдель-

ное пятно... Сусальные звезды на синих сводах... Парчовое облачение франкского епископа и его двойной подбородок... Чернобородое лицо греческого царедворца, взиравшего на франков с нескрываемой неприязнью и с чувством своего огромного превосходства над невежественными латынянами... Восковой лик митрополита с беззвучно шевелящимися губами... Самодовольная красная рожа варяжского воеводы...

Только не было видно милого лица Филиппа.

Многие заметили бледность Анны, закушенную губу. Но, видимо, ее строгий вид, красота, умение держать себя и скромность произвели благоприятное впечатление на послов. Епископы тихо переговаривались с усатым рыцарем, и все трое с удовлетворением кивали головами, рассматривая красоту королевской невесты.

### VIII

Три месяца спустя, расставшись в слезах и древних причитаниях с больной матерью, стареющим отцом и братьями, Анна навеки покинула Русскую землю. Все плакали, как будто бы провожали путешественницу на кладбище. Даже легкомысленный Святослав вытер пальцами крупную слезу, упавшую на светлый ус. Филипп по-прежнему был в отсутствии, гонялся где-то под Родней за призрачными печенегам.

Сами не зная почему, рыдали рабыни, даже оставшиеся в Киеве, хотя отъезд Ярославны ничего не менял в их судьбе. Некоторые уезжали в чужие края вместе в Анной. Отчески благословлял свою ученицу пресвитер Илларион, увещевая ее не забывать русскую веру на чужбине.

Дальний путь Анны во Францию лежал через Польшу. Ярославу хотелось, чтобы она навестила по дороге тетку Доброгневу, муж которой, польский король Казимир, хорошо знал семью Генриха. Казимир некогда жил в Париже и Бургундии, числился некоторое время монахом знаменитого аббатства в Клуэни и говорил по-французски. Он мог дать Анне много полезных советов.

В Эстергом королевой была сестра Анастасия, светлоглазая, простодушная толстушка, тем не менее пленившая сердце Андрея, когда он еще молодым принцем приезжал в Киев в поисках убежища во время угорских неурядиц и запомнился киевлянам своими многочисленными пуговицами; ее тоже хотелось навесить на чужбине. Поэтому путь для Анны избрали следующий: Гнезно, Краков, Прага и от этого города поворот в сторону, на Эстергом. Отсюда до самого Регенсбурга следовало плыть по Дунаю в ладье, а затем, через Вормс и Майнц, уже лежала прямая сухопутная дорога во Францию.

Придерживаться такого направления посоветовал Ярославу многоопытный Людовикус, уверявший, что для принцессы Анны всего удобнее и приятнее совершить путешествие в Париж, направляясь через Регенбург. Ехать в Угры южной дорогой представлялось ему опасным, так как в степях снова появились кочевники. Можно было, конечно, ехать во Францию северным путем, через Новгород, а далее по Варяжскому морю, но там не исключалась опасность встречи с морскими разбойниками, не щадившими ни пола, ни возраста, путь же на Регенбург, каким пользовались купцы, охранялся от разбоя, потому что пошлины приносили большой доход местным владельцам, и это обстоятельство устраивало и их и торговцев.



Первые впечатления у Анны от путешествия были довольно смутными. Иногда зрение ей застилали слезы, и она не могла во всей отчетливости рассмотреть рощи и поля, мимо которых проезжала. Но первоначально местность мало отличалась от Руси, если не считать, что вокруг стало больше болот и топей. По обеим сторонам малоезженной дороги лежала покрытая лесами польская страна, много потерпевшая во время недавнего восстания поселян. Видимо, земля здесь не отличалась особым плодородием, но земледец трудолюбиво пахал ее деревянным оралом, запряженным парой широких волов. Особенно больших городов в пути не попадалось, чаще встречались мирные деревни, около которых широко раскидывались сельские кладбища и неизбежно стояли каплица и шинок, а в базарные дни происходили торжища, чтобы крестьяне могли купить необходимые товары. Но, видимо, не всегда простой народ имел довольно денег, чтобы приобрести горсть соли, железный топор или что-нибудь подобное. Сеяли здесь главным образом рожь и просо, разводили лен и коноплю, выращивали на огородах репу. Анне говорили, что вместе с христианством в Польшу пришла виноградная лоза, так как для таинства причастия требуется вино, однако она нигде не видела виноградников. Зато всюду, в селениях и на дорогах, встречались упитанные монахи, и у них был довольный вид.

Анна смотрела с высоты коня или с повозки на все, что попадалось на пути, и думала, что жизнь везде одинакова: люди трудятся, добывают хлеб, рождают детей, умирают. Местные жители смотрели на проезжающих исподлобья и были неразговорчивы. Анна еще в Киеве слышала, как один польский купец с содроганием рассказывал о недавнем восстании рабов и кметов. Мятеж произошел при короле Болеславе, которого прозвали Забытым. Сначала поднялась на Помории против короля необузданная знать, прикрывая свою жадность восстановлением попранного язычества, а в действительности защищая свои привилегии. Но их мятежом воспользовались крестьяне и стали избивать господ и духовенство.

Купец сокрушался:

— Об этом не можно говорить без стога и плача. Язычники подняли руку на епископов и монахов. Некоторых они убили мечом, а других, якобы заслуживших более позорную казнь, умертвили камнями. Злодеи разоряли и сжигали церкви и дома богатых. К счастью, вернулся в Польшу добродетельный король Казимир и усмирil язычников.

При воспоминании об этом рассказе Анне становилось не по себе на польских дорогах, если ночь застигала в пути, когда вокруг была кромешная тьма, не блестело ни одного огонька в затихшем придорожном селении. Но наутро она убеждалась, что у здешних смердов покорный вид, и ее страхи рассеивались вместе с болотными туманами. Снова мимо тянулись поля, рощи, селения. Люди здесь причащались облатками, и это казалось странным. Анна смотрела на встречных с сожалением, как на заблудших овец.

В тот час, когда путешественники прибыли наконец в Гнезно, на землю уже опускалась ночь. К счастью, городские ворота оказались незапертыми. В те годы царило большое согласие между Польшей и Русью, и никто не опасался нападения, а кроме того, по поводу очередного праздника в честь св. Адальберта стражи выпили больше меры и мирно храпели у ворот, завернувшись в овчины, сжимая в руках длинные копья. Но в темноте было видно, что город окружен высоким валом, на котором грозно возвышались бревенчатые башни с островерхими крышами.

— Видно, добрый князь правит здесь, — сказал боярин Борислав, сопровождавший Анну в далеком путешествии, рассматривая спящих воинов.

Чтобы служить Анне и помогать ей советами, в дорогу пустились румяная

жена боярина, две подруги Ярославны — Елена, дочь Чудина, и Добросвета — и молодая, но добродетельная вдова Милонегга. Сопровождали Анну в числе отроков Янко и Волец, ехал молчаливый монах Василий. Ведь Анна хотела и на чужбине слушать утрени и обедни на славянском языке. Отправлялись в далекое королевство многочисленные слуги и служанки. Некоторые из них убежали по пути, но конюх Ян с таким же усердием заботился о конях княжны, как и на вышгородской конюшне.

В Гнезно в этот час на улицах было пустынно и темно. Жители спали, запершись в молчаливых домах от разбойников и ночных татей. Тревожно перекликались городские псы...

Никто не знал, как проехать к королевскому дворцу. Уже хотели будить стражей, как вдруг из мрака вынырнули двое прохожих. Судя по гуменцам, это были монахи. Святые отцы возвращались, очевидно, с какой-то пирушки, потому что во всю глотку горлачили латинские вирши. Рассмотрев в темноте епископов, они умолкли и охотно согласились проводить приезжих к королевскому жилищу. Всадники, а за ними и скрипучие повозки, на которых Анна везла подарки своему будущему супругу, двинулись за монахами, бодро шествовавшими впереди. Колеса поскрипывали, точно жаловались на долгое странствие.

Анна дремала, но сквозь полусон слышала, как здоровенные монашеские кулаки стали колотить в дворцовые ворота. В пути отцы уже успели распространить, с кем имеют дело, и проявляли рвение.

После переговоров со стражей воротные створки отворились, и повозки въехали одна за другой на широкий двор, в глубине которого темнело дворцовое здание. Монахи исчезли, вскоре в одном из окон зажегся свет, потом мелькнул в другом, третьем... Дворец стал как бы открывать сонные глаза...

Анна постепенно привыкла к темноте, и теперь она рассмотрела длинную палату, построенную наполовину из кирпича, наполовину из дерева; окна внизу были большие, на верхнем жилье — поменьше.

На каменное крыльцо с пузатыми столбами вышел седобородый монах со слюдяным фонарем в руках и высоко поднял его над головой, стараясь осветить хотя бы часть двора. Потом спросил громким голосом:

— Что это есть за люди?

Так же громко боярин Борислав ответил ему:

— От князя Ярослава.

— Имеем догадку, епископы едут?

— Послы франкского короля.

Монах поспешил обратно во дворец.

Боярин Борислав бывал в здешних местах, когда привозил в Гнезно Марию-Доброгневу, сестру Ярослава, королю Казимиру и когда принимал участие в войне против ятвягов.

Анна со скукой сидела на повозке, укутанная из-за ночной сырости в меховые покрывала. Возы и всадники заполнили двор, по которому сновали слуги и монахи. На черных деревьях хлопало крыльями и шумело воронье, разбуженное огнем факелов. При их свете, когда ветер раздувал пламя, дворец как бы возникал из темноты и вновь пропадал в ночи.

В ожидании, когда можно будет за путевые лишения вознаградить себя пищей и сном на соломе, Янко и Волец завели знакомство с каким-то польским воином. Это был высокий белоусый человек, картинно опиравшийся на копье.

Он отвечал на расспросы:

— Наш король человеколюбив и усердно молится богу.

— Значит, и вы христиане? — спросил Янко.

— Христиане, — без большого воодушевления ответил воин, — платим десятину. Если курка снесла десять яиц, одно отдай в церковь. И многие другие пошлины платим.

— Куда же идут деньги?

— То нам неведомо. Может, на кормление монахов? Их у нас в Польше как ворон развелось.

Белозубые отроки рассмеялись.

— И у нас в Киеве попов немало, — сказал Волец.

Каждый из троих имел свою собственную судьбу, двое говорили на своем языке, третий — на своем, но они поняли друг друга, ибо беседовали без лукавства. Когда боярин позвал русских отроков и те скрылись во мраке, воин посмотрел им вслед и промолвил:

— То разумная была речь.

Утомленная дорогой, как в полусне, Анна наблюдала суету, царившую на дворе и служившую доказательством, что люди здесь обрадовались приезду гостей. Во дворце, судя по мельканию огней в окошках, просыпалась жизнь. Наконец опять появился седобородый монах, и под его отеческим присмотром полусонную Анну, высвободив из мехов, повели по лестнице. Рядом шествовали епископы Роже и Готье, выражавшие свое удовлетворение, что попали в город св. Адальберта. За ними поднимались боярин Борислав, рыцарь Шони, приближенные женщины. На дворе остались только оруженосцы и конюхи, в ожидании приказа, куда поставить повозки с ценным грузом и где поить коней и епископских мулов. Те же самые любезные монахи и расторопные слуги увели животных, и вскоре ячмень весело захрустел на лошадиных зубах, а конюшни наполнились фырканьем и теплыми конскими вздохами.

Очутившись в горнице с черными дубовыми перекладинами на потолке, Анна огляделась по сторонам. На побеленной стене виднелось огромное распятие, вырезанное из дерева. Изможденный Христос в терновом венце повис на кресте. Ребра, казалось, готовы были разорвать кожу. Художник сделал эту вещь с простодушной наблюдательностью и желая передать в скульптуре человеческое страдание, которое он не раз наблюдал вокруг себя в обыденной жизни. В дальнем углу стояла статуя девы Марии, в тусклой позолоте, но тоже сделанная из дерева. Ее вырезал из мягкой липы, видимо, другой резец. Она выражала спокойствие, и смутная улыбка играла у нее на устах. Епископы молились. Потом все ждали некоторое время прихода короля.

Вскоре бесшумно отворилась низенькая дверь в железных украшениях в виде копий и разводов. Шурша шелком, в горницу стремительно вошла полная женщина. Это была королева. Она раскрыла объятия племяннице, и обе заплакали. Мария помнила Анну девочкой и изумилась, увидев перед собой рыжеволосую красавицу в парчовой шапочке, опущенной мехом, какие носят русские князья и княгини. Мария же надела наспех белое шелковое платье немецкого покроя, а темные волосы повязала желтым платком. Она была высокогруда, и щеки ее еще пылали от жаркой подушки.

Но в дверях уже стоял король Казимир, в черном, напоминавшем монашескую сутану, одеянии, высокий и худошавый, с такой короткой бородой, что лицо его казалось давно не бритым. Он тоже поднял радостно руки и воскликнул:

— Дочь моя!

Несколько минут ушло на знакомство с епископами, с которыми Казимир был рад говорить по-французски. Впрочем, разговоры ограничились распросами о дороге и здоровье. Король вспоминал Париж, Шалон, Мо. Милые

и некогда посещенные города. В это время Мария расспрашивала Анну о Киеве. Видя, что Ярославна расплакалась, король оставил франков и, подойдя к девушке, погладил ее по голове. Шапочка с бобровой опушкой лежала на столе.

— Не плачь! Ты увидишь благословенную французскую землю!

Потребовалось некоторое время, прежде чем удалось растолкать храпевших в поварне кухарей и их помощников, чтобы приготовить для Анны и епископов поздний ужин, как того требовали законы гостеприимства. После дня пути верхом на коне или тряски по ухабистым дорогам на неуклюжих повозках путешественники проголодались и с большим аппетитом поглощали холодное мясо, пироги с потрохами, белые сыры с тмином, колбасы, вареные яйца, маковое печенье, запивая все это медом из глиняных кубков, так как серебряные чаши хранились у виночерпия под замком, а он отлучился в предместье по своим делам, чтобы наведать какую-то вдовицу.

Анна не отставала в еде от других, и королева подкладывала племяннице лучшие куски, да заодно и сама поужинала вторично. Как и следовало ожидать, с особым старанием налег на ужин епископ Готье, при деятельной поддержке рыцаря Гослена де Шони. Говядина и куски жирного пирога исчезали у них в глотках, как в бездонной пропасти, а слуги, едва успевая лить мед в чаши, уже протягивали им с деревянной улыбкой другие яства и новые куски мяса, положив их на ломти пахучего пшеничного хлеба, и епископ порой даже стонал в припадке чревоугодия, настолько все казалось вкусным после дороги.

Казимир до яств не дотронулся. Некогда он жил в том самом бургундском монастыре, где поддерживал строгий устав прославленный аббат Одилон, и король с тех пор сохранил привычку быть умеренным в еде. Должно быть, глядя на Анну, отправляющуюся в Париж, он вспомнил свою молодость, а так как все пережитое в юные годы человеку кажется прекрасным, то ему взгрустнулось. Но, подпирая рукою голову, Казимир утешал Анну:

— Не плачь! Ты увидишь страну, защищенную со всех сторон от сильных ветров, плодородную и обильно орошаемую реками. Там никогда не бывает зимних бурь и всюду на холмах виноградники. Неплохое вино пьют монахи в Бургундии!

Казимир скучал в своем королевстве. Стоило отъехать пятьдесят миль от Гнезно, как уже начинались непроходимые топи и дебри, в которых хоронились языческие селения. На Поморьи жили дикие пруссы. Они самоотверженно спасали потерпевших кораблекрушение, но убивали христианских проповедников. Здесь то бури, то снег, то завывание ветра в трубе. В плохую погоду королю вспоминались те дни, когда он был молодым монахом в Ключни, переписывал латинские книги в тихой скриптории<sup>1</sup>, беседовал с суровым аббатом Одилоном, знавшим толк в строительных вещах, о категориях Аристотеля.

Прошлое Казимиру казалось заманчивым: ведь хорошо там, где нас нет. Он забывал, что во Франции такие же леса и болота покрывали половину страны, так же непролазны дороги в осеннюю пору и живут такие же невежественные крестьяне в деревушках недалеко от городов, славящихся своими епископскими библиотеками. Но ведь до того, как стать монахом, Казимир был некоторое время рыцарем. Может быть, он вспоминал и какие-нибудь приятные встречи с красотками, королевские пиры в парижском дворце, странствия и придорожные харчевни, где хозяин подает на стол форели, пойманные в соседней речке, или гусиную печенку и легкое вино, развязыва-

<sup>1</sup> Помещение для переписки книг.

ящее языки в дружеской беседе. Когда король перебирал в памяти подобные картины, ему казалось, что он живет на краю света, куда редко заходили даже паломники. Приезд гостей доставил ему большое удовольствие.

Анна сидела с королем и королевой за отдельным столом, и они могли без помехи говорить обо всем, что их касалось. Мария засыпала племянницу вопросами о Киеве, о брате, о гробнице своей матери, царицы Анны, покоящейся под сводами Десятинной церкви. Ее именем Ярослав и назвал вторую дочь, ныне ехавшую в чужую страну.

Когда Анна утолила голод и даже епископ Роже отдал дань пирогами с потрохами, королева предложила путешественникам отправиться на покой. Для них приготовили мягкие перины и соломенные постели. Княжеские отроки и оруженосцы весело устраивались на сеновале, и Янко уже завел знакомство со смешливой служанкой.

Глаза Анны смыкались от усталости. Ночь далеко ушла в царство созвездий, и в городе давно пропели петухи. Вскоре дворец наполнился храпом...

Анна провела в Гнезно немало дней, прежде чем пуститься в дальнейший путь, хотя епископы торопили ее. Но король так занимательно рассказывал о Франции, сидя с Анной на скамье королевского сада!

— Генриха я знал еще юношей, видел его иногда во дворце. Он высок и дороден, не очень живой в движениях, но и не медлительный, и полагаю, что из него получился теперь мужественный рыцарь. Помню, что он с удовольствием говорил о конях и оружии. По-видимому, король сведущ в воинских делах. Мне сообщали, что он особенно настойчив в осаде городов и за это его прозвали градоразрушителем. Но к книжному искусству Генрих относится с полным равнодушием, не в пример своему покойному отцу, который непрестанно читал латинскую Библию.

— Епископы говорили, что отца его звали Роберт и что это был святой человек, — вздохнула Анна. Ее весьма волновали рассказы о той семье, в которой ей надлежало жить.

— Все считали его святым. Это действительно был благочестивый и добрый человек. И король, каких мало на земле. Но он думал и о земном, построил в Париже каменный дворец. Ты будешь жить в нем, когда станешь французской королевой.

— Тебе приходилось там бывать?

— В Париже?

— Во дворце.

— Неоднократно. Он огромен. В нижних этажах устроены очаги с каменными навесами для отвода дыма и трубами. Если заглянуть в них, то увидишь небо. Там жарят туши быков или доставленных с охоты верей. Дворец стоит у самой Сены, и вода совсем близко протекает под его круглыми башнями из красивого белого камня. Припоминаю, что на берегу реки растут дуплистые ивы, а лужайки усыпаны весной желтыми цветами. Впрочем, ты сама скоро увидишь все это.

— Еще расскажи нам что-нибудь о Франции, — попросила королева, любившая две вещи на земле: вкусные яства и занимательные беседы.

Казимир вздохнул, вспоминая молодость.

— Роберт построил немало замков, потому что, несмотря на свое благочестие, был заботливым человеком. Копил для преемников земли и сервов. Если они поднимали мятежи, он жестоко карал их. Между прочим, этот король очень любил председательствовать на соборах. Даже в церковь ходил в золотой короне.

Казимир улыбнулся, собираясь рассказать нечто забавное.

— Вот послушайте! Это было в Этампе. Анна, ты непременно побывай в этом городе. В окрестностях его произрастает великолепная пшеница! Так вот, в Этампе происходило празднество по случаю построения королевой Констанцией (так звали супругу Роберта) нового дворца. Шел пир. Какой-то нищий сумел пробраться в пиршественную залу и уселся под столом в ногах у короля, и этот снисходительный человек не только не прогнал его, а даже бросал этому попрошайке время от времени добрый кусок мяса. Вероятно, никогда этот плут не ел такого количества пищи, как в тот вечер. Но представьте себе, вместо благодарности предприимчивый бродяга отрезал ножом от одежды короля золотое украшение весом в шесть унций и проворно убежал. Констанция была вне себя от гнева, а король только смеялся...

Казимир говорил по-польски, Анна — на русском языке, но они понимали друг друга, как Янко и Волец польского воина.

— А еще был такой случай,— давился смехом Казимир,— какой-то клирик похитил во дворце серебряный подсвечник, но придворные уличили его в краже и тотчас сказали об этом королю. Что же им ответил этот незлобивый человек? Он молвил: «Очевидно, светильник нужнее ему, чем нам. На что он мне? Оставьте вора в покое!»

— Да, это, вероятно, был очень добрый король,— вздохнула Анна.

— Однажды Роберт раздавал собственноручно деньги прокаженным в Орлеане и даже лобызал некоторых из них, хотя от болящих исходило ужасающее зловоние.

— И ты сам видел это?

— Не видел, но читал в латинских хрониках. Еще я узнал кое-что о Роберте из поэмы, сочиненной неким Адальбероном. Этот епископ рассказывает в своих стихах о трех сословиях. Он утверждает, что каждому назначено особое место. Рыцари должны сражаться с врагами, епископы — молиться, а крестьяне — работать и добывать все необходимое для своих сеньоров и пастырей. Таким образом, каждое сословие выполняет свое назначение на земле. Разве не справедливо все это устроено божественным промыслом?

— Не только справедливо, но и мудро,— подтвердил епископ Роже, присутствовавший при беседе.

Анне тоже казалось, что жизнь на земле нельзя устроить по-иному.

— В противном случае,— продолжал епископ,— что случилось бы со всеми нами, не способными добывать пропитание своими руками и, больше того, не имеющими для этого свободного времени, которое мы должны посвящать молитве и заботам о народном благе...

Но Казимир поднял многозначительно перст.

— А что сказал король Роберт, прочитав эти строки? Вот что он сказал: «Поистине нет никаких пределов для страданий бедняков!» Подумайте только! Этот чудака ради любви к ближнему пренебрегал даже собственным благополучием. И ради кого? Ради каких-то холопов.

Потом Казимир стал рассказывать о Констанции:

— Эта королева была полна страстей и в припадках гнева не знала границ жестокосердию, что не помешало ей выкормить своим молоком девятилетних младенцев. Она приехала в Париж из Прованса. Оттуда уже недалеко до Италии. Мужчины там бреют подбородки и напоминают пестрыми одежками скоморохов, а женщины любят употреблять румяна и тоже падки на яркие одежды. Когда Констанция явилась в Париж, на ее платье косились. Характер у нее был отвратительный.

Казимир понизил голос:

— Во время спора с каким-то еретиком Констанция выколола ему железом глаз! Но тебе, Анна, вероятно, хочется узнать побольше о женихе? Напрасно ты краснеешь.

— Епископы рассказывали брату Всеволоду, что франкский король представительный воин.

— Во всяком случае, он высокого роста, и у него приподнятые плечи, что говорит о большой силе. Мне приходилось видеть, как он сидит на коне. Пальцы его ног, вдетых в стремяна, красиво опущены вниз. Так ездят только отличные всадники. Да, может быть, король Генрих и не обладает замечательной красотой и ничего выдающегося в его внешности нет, но полон собственного достоинства. И не забудь, что это очень богатый король. Лично ему принадлежат не только многие замки и селения, но даже многонаселенные города. А кроме того, всякого рода уголья, обширные леса, обильные рыбой пруды. Охоты короля находятся в Венсене, Санлисе, Марли...

Король увлекся рассказом, забывая, что эти красивые французские названия ничего не говорят Анне. Но он продолжал:

— Никто, кроме короля, не имеет права охотиться в его лесах. Они кишат дичью. Королевские псарни славятся породистыми собаками. Немалый доход приносят Генриху также монетные дворы и мельницы. В Санлисе я видел прекрасные луга, которые он сдает в аренду. В пользу короля идут мытные сборы, и говорят, что во Франции уже введен налог на пашни и виноградники. Что ж, это законно! Когда-то вся земля принадлежала королю, и если ты сеешь и собираешь жатву, то плати налог! Не мешало бы и в Польше завести подобные порядки. Королевские житницы в Орлеане и Пуасси полны зерна...

Казимир перечислял прочие доходы короля Франции:

— Вино Генриху доставляют с виноградников Орлеана, Ребрешьена, Рюеля. Отличные виноградники у него и в Монтрей. В Париже у короля обширные винные погреба. Ты не будешь бедной королевой,— рассмеялся он, потрепав Анну по щеке.

Генрих I не обладал большими способностями или прилежанием в изучении наук, не считался сведущим в богословии или музыке, как его образцованный отец, король Роберт, но слыл деятельным человеком, готовым трудиться день и ночь, и терпеливым, как самый обыкновенный скуповатый крестьянин. Недаром некоторые утверждали, не считаясь с фантастической генеалогией, выводившей род Капетингов от Сидония Аполлинария, потомка римских императоров, что далекие предки короля были овернские поселяне, и это даже вызывало у простых людей симпатию к новому царствующему дому.

Невеселая и мало чем примечательная юность Генриха прошла в переполохе гражданской войны, осветившей заревом небеса Иль де Франс. Так называлась королевская область, расположенная по обоим берегам Сены, покрытая лесами и пересеченная скверными дорогами. Капетинги только по титулу были королями Франции, поэтому всячески стремились расширить границы своих владений. Однако всюду у них на пути возникали неуклюжие замки вассалов, уже превращавшиеся в те времена из бревенчатых башен в грозные каменные твердыни. Генрих тоже строил крепости, если находил для этого средства, и вскоре милые холмы Франции, приятно голубеющие в вечерний час для усталого путника, покрылись мрачными сооружениями. Таков, например, был замок Тонэр, где некий добрый кюре Фреттье плакал однажды в сумерках, перед ужином, когда ему неожиданно открылись в видении страшные судьбы Франции. Мало чем отличался от этого укрепления и замок в Пуасси. За зелеными рощами возвышались башни Пюизе. А дальше уже вставали неприступные стены Санса и розовый замок в Мелэне.

Подражая Карлу Великому, французский король называл себя государем «божьей милостью», носил пышные латинские титулы, но, невзирая на это, его власть признавали только немногочисленные сеньоры. Со всех сторон Иль де Франс окружали области могущественных феодалов, иногда превосходившие по размерам владения короля. На этом основании некоторые герцоги и графы считали свои домены независимыми. Такими и являлись фактически Бургундия, Аквитания, Фландрия, Анжу и Шампань. Король даже не решался посещать эти земли, чтобы ненароком не очутиться в неприятном положении. В большей степени чувствовали над собою руку французского короля на севере — графы Вермандуа и Куси, в долине реки Луары — графы Невера, Оверни, Ангулема, Турени, а еще дальше — виконты Альби и Нима, хотя власть Капетингов в этих двух южных городах была скорее номинальной, чем действительной. С большим основанием французский король мог рассчитывать на духовных вассалов — архиепископа Реймского и епископов Санса, Руана, Лиона, Тура и других городов. Некоторые из них, как, например, пастыри Лана и Бове, носили графский титул.

Как это вошло в обычай у представителей новой династии, не очень-то прочно восседавших на троне Франции, Генриха короновали еще при жизни отца, в 1027 году, на троицу, в Реймсе. Но корона едва держалась на его голове.

Король Роберт, будучи слабовольным и бесхарактерным человеком, поглощенный всецело соборами и церковной музыкой, мало внимания обращал на государственные дела. Он был учеником знаменитого Герберта д'Орийяка. Отличный латинист, книголюб, по примеру некоторых римских императоров бравший книги даже в походы и путешествия, король чувствовал себя на соборах, на которых осуждались еретики, как рыба в воде, и при этом правителе, несмотря на его благодушие, во Франции пылали христианские костры и пахло жареным человеческим мясом. Однако в житейских делах Роберт предпочитал плыть по течению.

Его первой женой была итальянская принцесса. Впрочем, Роберт вскоре оставил ее, горячо полюбив Берту, графиню Шартрскую, мать пятерых детей. Но папа, грозя отлучением от церкви, заставил короля развестись с нею: Берта приходилась родней королю, хотя и очень дальней. Король подчинился требованиям Рима и женился на Констанции, дочери графа Арльского.

Город Арль всегда славился красотой своих женщин. Красивая пламенная арлезянка привезла в Париж черные как смоль косы и легкий запах чеснока, а кроме того, сильные страсти. В борьбе со своими врагами новая королева не останавливалась даже перед убийством. Роберту она показалась малопривлекательной особой, и он отправился в Рим, чтобы лично просить папу о позволении развестись с Констанцией и жениться на оставленной Берте, прельстившей короля своим кротким нравом, хозяйственностью и плодovitостью. Ничего из этого ходатайства не вышло.

В скрытой борьбе за корону, которая уже давно велась в королевской семье, симпатии короля Роберта были скорее на стороне Генриха, законного наследника. Но любимцем Констанции оказался младший сын, как и отец Роберт по имени. Энергичная королева отличалась большой настойчивостью в проведении своих планов, и, когда король умер, она сделала все от нее зависящее, чтобы устранить Генриха и посадить на трон своего любимца, возможно более приятного по своему характеру, чем угрюмый старший сын.

Вспыхнула гражданская война. На стороне королевы в борьбе приняли участие такие могущественные вассалы, как граф де Блуа и сеньор де Пюизе, а интересы Генриха защищали герцог Нормандский, граф Анжу, граф Фландрский. Войска Констанции захватывали королевские города, граф де Блуа взял Санс. Генриху ничего не оставалось, как искать спасения в бегстве. Он



ушел в Нормандию, в Фекан, куда прибыл в одну темную ночь в сопровождении всего только нескольких приверженцев. Но герцог Роберт, по прозвищу Дьявол, дал беглецу воинов, коней, оружие и средства для продолжения войны, получив за эту услугу французскую провинцию Венсен, что открывало нормандцам дорогу на Париж. Генрих с новой энергией продолжал борьбу и разрушал один за другим ненавистные замки враждебных графов.

Между тем в самый разгар военных действий королева Констанция умерла. Младший брат тоже вышел из игры, получив в наследственное владение богатую лозами Бургундию. Однако у Генриха оставался еще один страшный противник в лице брата Эвда, и граф де Блау тоже не желал прекращать борьбу с истекающим кровью законным королем Франции. Тем не менее Генриху в конце концов удалось отобрать город Санс, затем он заточил мятежного брата в орлеанскую темницу и несколько упрочил свое положение.

В это время Роберт Дьявол, следуя благочестивому обыкновению тех лет, возымел желание побывать в Палестине и перед отъездом просил Генриха быть опекуном своего малолетнего сына Вильгельма, того самого, что позднее стал завоевателем Англии.

Только что миновал тысячный год, когда погрязшие в грехах народы, и за десять веков не успевшие подготовиться к царству небесному, с трепетом ждали конца мира. Однако первое тысячелетие прошло без особых потрясений, и люди снова приступили к своим ежедневным занятиям. Впрочем, все-таки кое-что осталось от этих переживаний: укрепились власть церкви, обновились побеленные благодетелями базилики, грешники вспомнили о Иерусалиме. Толпы пилигримов потянулись по далеко не безопасным дорогам на восток. Этим порывом одинаково были охвачены и герцог Роберт, и русский игумен из города Чернигова Даниил, несколько позже тоже посетивший Палестину и оставивший трогательное описание своих странствий, в котором сравнивал черниговскую речку Сновь с Иорданом.

В тысяча тридцать пятом году, на обратном пути в Нормандию, Роберт Дьявол умер в Никее и был там похоронен в церкви св. Марии. В его отсутствие Генрих честно выполнял взятые на себя обязательства, и это подтверждается поведением короля в битве при Валь-эс-Дюн, происшедшей в тысяча сорок седьмом году. Нормандские поэты приписывали победу в этом сражении храбрости французского короля, выступившего против мятежных вассалов малолетнего Вильгельма.

## IX

Прошло еще два года. За это время благополучно закончились переговоры с Ярославом, и его дочь отправилась в далекое французское королевство. Но Марии не хотелось расставаться с племянницей, и она под всякими предложениями затягивала ее отъезд из Гнезно. В конце концов Ярославна покинула Польшу и, перевалив лесистые Судеты, очутилась в Чехии. Там она впервые увидела горную красоту: в долине любовалась высотами, а на перевале смотрела на крошечные домики внизу и людей, напоминавших муравьев. В Праге посольство остановилось только на отдых, и церкви этого богатого города, его каменные дома, лавки и красная кирпичная синагога проплыли перед Анной, как в дорожном сневидении...

Приближалась осень с ее дождями, распутицей и темными ночами. Анна спешила добраться поскорее до Эстергома, намереваясь провести зиму у сестры Анастасии, хотя Генрих торопил послов и очень огорчился, получив

известие, что приезд невесты откладывается на несколько месяцев. Однако приходилось запастись терпением. Итак, свернув с большой дороги, посольство прибыло в Угрию, и в Эстергомме начались бесконечные беседы с Анастасией, воспользовавшейся случаем, чтобы излить сестре свою душу. Анна слушала ее и расспрашивала. Ее удивляло, что в этой земле люди не сеют пшеницу, а разводят коней и продают их. Как и в Польше, мужчины здесь брили бороды, но отпускали длинные усы и гордились ими, считая, что это лучшее украшение для мужа. Они были храбрые воины и пламенные сердца, но невежественные люди, так как над книгами в Угрии склонялись только аббаты, а рыцари предпочитали книжным занятиям конские ристания и охоты. Некоторые из знатных юношей пытались нашептывать Анне любовные признания, однако она отвергала мольбы, больше всего страшась покрыть позором имя будущей королевы Франции. Впрочем, все ее спутники, от благоразумного епископа Роже, опасавшегося гнева короля, до последней служанки, следили за каждым ее шагом. Лишь Милонегга, ставшая в пути наперсницей Анны, говорила ей порой на ушко, что некий красивый воин сто раз проезжал мимо дома на огненном коне, поднимая красноречивые взоры к тому окну, за которым обитала Ярославна, и от этих рассказов становилось веселее на душе. По вечерам вдова расчесывала княжне косы, они тихо беседовали, как две подруги, и Анна стала доверять прислужнице свои девичьи тайны.

Наступила зима... В огромных очагах запылали тяжкие поленья. Морозы в тот год были особенно суровыми, волки выходили из дубрав, и люди прятались от жестокой стужи в теплых горницах. Мир наполнился ледяным воздухом, в серебряных кубках искрилось янтарное вино, от которого рождается в сердце сладкая грусть. Где-то находился в этот час Филипп, голубоглазый воин? На каком пиру сидел? Какую красотку целовал? Или, может быть, уже стрела ему пронзила грудь и он раскинулся на поле битвы, на ложе храбрых?

А вокруг звенели песни, обильно лилось вино. Анна подумала, что такая жизнь понравилась бы Святославу, любителю всякого веселья. Навсегда у нее осталось от этой страны воспоминание о быстрых поездках в санях, под звон буенцов в конских гривах.

Но как только пришла весна, растаял снег на полях и дороги стали проезжими, Анна рассталась с милой сестрицей Анастасией и направилась в Регенсбург.

Сначала поплыли в ладьях по Дунаю. Король Андрей снабдил посольство всем необходимым для водного путешествия, и Анна испытала много удовольствия, когда на обоих берегах Дуная сменялись один за другим живописные пейзажи, рощи, торговые города, каменные монастыри и замки. Она наблюдала изумительные закаты над водою и восходы солнца. Если в пути попадались встречные ладьи, люди на них переставали грести, желали счастливого странствия, а на самом деле высматривали, какие товары доставляются в Регенсбург.

Это была часть того древнего торгового пути, где в харчевнях и на постоялых дворах пахло пряностями, как в лавке херсонесского торговца. После Регенсбурга купцы снова передвигались на повозках, и владельцы расположенных на этой дороге городов, графы и епископы, стремились извлечь выгоду из благоприятного положения своих земель, поэтому всюду здесь стояли рогатки и заставы, особенно на мостах и переправах, и взимался соответствующий мытный сбор. То же самое было и на Дунае, и, например, в Баварии торговые суда могли проходить мимо Энса только до благовещенья, а после этого праздника обязаны были причаливать к городским

пристаням, разгружать товары и продавать их на ярмарке, продолжавшейся до троицы, уплачивая положенные пошлины в пользу местного епископа. Налоги были довольно высокие: как указывалось в мытном уставе, с повозки, нагруженной вином или хлебом, торговцы вносили двенадцать денариев сбора. Еще выше облагались шедшие из Руси меха, и тем не менее люди охотно занимались здесь торговлей, так как она приносила огромные барыши.

Товары на ярмарках раскупались в несколько дней, ибо у богатых баронов появилась большая потребность в красивых материях, серебряных изделиях и пряностях, без которых пища казалась пресной. Чтобы иметь возможность приобретать эти вещи, они мало-помалу заменяли крестьянские оброки денежным обложением.

Видную роль в этой торговле играли купцы из Регенсбурга, так называемые «руссарии», то есть торговцы русскими товарами, главным образом мехами, за которыми они ездили на Русь, а также моравы и ломбардцы, в особенности же евреи. Как уже упоминалось, в Киеве наряду с немецкими, польскими и итальянскими подворьями в те годы существовал и большой еврейский посад, куда русские книжники ходили устраивать прения с седобородыми раввинами и где позднее автор «Слова о полку Игореве», может быть, впервые прочитал в переводе «Иудейскую войну» Иосифа Флавия и заимствовал у него две или три метафоры. Повсюду на этом торговом пути стояли молитвенные дома, в том числе кирпичная синагога в Праге, бывшая центром иудейской учености. Около нее находилось знаменитое кладбище с каменными плитами в виде скрижалей. На других могильных памятниках виднелись семисвечники или пальмовые ветви, напоминавшие о далекой Палестине.

Наконец ладьи приплыли в Регенсбург, богатый город, перед которым заискивал сам император, зная, что здешние банкиры могут в трудную минуту снабдить его значительными суммами денег и даже золотыми монетами арабской и константинопольской чеканки. Средиземное море в те годы находилось во власти сарацинских кораблей, и морская торговля Европы с богатым Востоком замерла; даже греки, торгуя с Северной Италией, вынуждены были пользоваться не удобным сообщением по морю, а сухопутными дорогами. Херсонес тоже направлял свои товары в Регенсбург через Киев и Прагу, и этот торговый путь связывал столицу Руси с западным миром. На севере такой связью служило Варяжское море.

В Регенсбурге путешественники остановились в аббатстве св. Эммерама, где русскую принцессу, ехавшую со знакомыми аббату епископами, приняли с большим почетом. Приором монастыря был известный в ученых кругах автор «Комментариев к житию св. Мариана», друг епископа Готье Савейера, с которым он сблизился в прошлом году за чашей доброго венгерского вина и за долгими вечерними разговорами о мудрости Аристотеля, когда посольство направлялось по этой же дороге в Киев. Прежде всего старый аббат спросил, удалось ли посольству приобрести мощи св. Климента. Он сам надеялся выпросить у епископов хотя бы небольшую косточку для своего монастыря, которой было бы вполне достаточно, чтобы обогатить аббатство. Но послан пришлось огорчить его: по наущению Иллариона и митрополита Феопемпта, как разузнал длинноносый Людовикус, Ярослав не пожелал расстаться с такой святыней, как глава мученика, и аббат был крайне раздосадован этим известием.

В аббатстве текла размеренная жизнь. Анна видела, как в положенные часы монахи шли попарно в церковь, опустив головы и засунув руки в широ-

кие рукава коричневых сутан. Вскоре после этого из капеллы раздавались довольно нестройное пение и сладостные звуки органа. Анна наблюдала все это из окна соседнего дома, принадлежавшего богатому купцу, который торговал русскими мехами и имел дела с Ярославом, поэтому почел за честь дать приют под своей кровлей такой знатной особе, как Анна, не говоря уже о том, что это случайное обстоятельство могло ему послужить в будущем к большой торговой выгоде. В ограде же аббатства проживать женщинам не разрешалось. Впрочем, некоторые местные плутовки, кажется, знали дорогу в монастырь через потайную дверь в ограде с той стороны, где тропинка спускалась к Дунаю. Эта дверь порою приоткрывалась, и какая-то тень проскальзывала в монастырскую тишину, среди которой старый аббат писал свои благочестивые комментарии.

Епископ Готье настоятельно советовал Анне совершить прогулку по городу, в котором было немало достопримечательного. Сам же дни и ночи проводил в монастырской библиотеке, где хранились весьма редкие манускрипты. Ему нравилось сидеть там, под сводами каменного потолка, поглядывая через окошко в сад. Здесь помещалась и скриптория. Два или три монаха прилежно переписывали в течение многих часов книги, то макая тростник в чернильницу, то осторожно соскабливая острым ножом допущенные ошибки. Такой нож вручался каждому писцу, ибо дьявол стремится рассеивать человеческое внимание, когда люди занимаются перепиской книг благочестивого содержания.

Город действительно был богат и застроен каменными домами. Он славился вышеупомянутым аббатством св. Эммерама, замечательной церковью св. Марии и мощами Дионисия Ареопагита. Но немалую известность и уважение снискали горожане и производством шерстяных изделий.

Однажды в сопровождении своих приближенных женщин Анна отправилась посмотреть город, главным образом капеллу св. Марии. Она знала со слов Готье Савейера, что ее построили, подражая той церкви, которую соорудил в Аахене Карл Великий, доставивший из Италии не только планы для строительства, но и мраморные колонны и серебряные светильники. Несмотря на похищение этих столпов, дородный епископ весьма чтит память императора как латиниста и законодателя. Но после киевских храмов Анну эта сумрачная церковь с раскрашенной статуей мадонны не удивила...

Весна была в разгаре. С холмов сбегали вешние воды. Снова поплыли вверх по Дунаю, а когда потом ладьи сменили на повозки, Анна поняла, что Русская земля осталась далеко позади. Теперь путь лежал среди гор Франконии, и в пути часто попадались шумные водопады, производившие большое впечатление на Ярославу.

В один из этих дней путешественники настигли повозку, нагруженную какими-то товарами и тщательно укрытую грубым холстом. Одно из колес повозки сломалось, и она беспомощно накренилась набок, загородив проезд. Около воза суетились и размахивали руками чернобородые восточные купцы. Когда всадники и возы посольства под крики и ругательства конюхов объезжали потерпевших крушение, один из них подошел к сеньору де Шони, который, очевидно, показался ему самым важным человеком в этом шумном поезде, и обратился с такой просьбой:

— Добрый господин! Мое имя — Яков Шайя. Ты, вероятно, слышал обо мне?

Рыцарь надул губы.

— Впервые слышу такое знаменитое имя!

— Тогда позволь сказать тебе, что я честный торговец и направляюсь с братом Соломоном в город Вормс. Мы везем туда некоторое количество

перца. Но, как видишь, в пути нас постигло несчастье. Скажи своим слугам, чтобы они выдали нам одно из ваших запасных колес, и мы заплатим за него по справедливой цене.

— Вот еще что придумал,— рассердился Шони.

— Сегодня пятница,— продолжал торговец,— приближается субботний отдых, и нам надо торопиться, чтобы попасть в соседний город до закрытия ворот...

— Значит, вы иудеи?

— Мы иудейской веры.

— А зачем вы Христа распяли? Ага! Вот у вас и сломалось колесо!

Рыцарь с довольным видом тронул коня шпорами, и обоз снова двинулся в путь.

Торговец печально вернулся к покривившейся повозке. Это происшествие было единственным событием на скучной дороге. Анна оглянулась и увидела, что купцы с огорчением рассматривали поломанное колесо.

На другой день в пути разразилась такая гроза, что путешественникам пришлось искать приюта в первой попавшейся харчевне. Она представляла собою закопченное дымом строение, сооруженное кое-как из кусков дерева и глины под соломенной крышей, уже позеленевшей от времени. При корчме находился двор, загаженный конским навозом. Тут же несколько распряженных повозок задрали к небесам оглобли. Неизвестные люди перекликались между собою на немецком языке, укрывшись чем попало от непогоды. Мокрые лошади уныло повесили головы, косой дождь лил как из ведра, и среди двора дымил погашенный костер, а на дороге в лужах лопались водяные пузыри.

Спутники поспешили увести Анну в харчевню, чтобы спасти ее от потоков воды, низвергавшейся с небес среди молний и раскатов грома, и усадили в том углу, где было почище. В харчевне собралось немало людей, говоривших на всех языках Европы. Они с любопытством смотрели на русскую княжну, едущую в Париж, чтобы стать королевой Франции, так как весть об этом со слов какого-то болтливого конюха быстро распространилась из уст в уста. Но присутствие около Анны вооруженных людей удерживало путников от назойливых вопросов.

За стеной шумел дождь. Когда сверкала молния, затянутое бычьим пузырем оконце на мгновение становилось розоватым. Анна благодарила судьбу, что на пути попало это благословенное убежище. Хозяин, человек с рыжей бородой и с огромным брюхом под кожаным передником, уже предлагал свои яства — рыбную похлебку и копченых гусей. Словоохотливый епископ Готье, всюду совавший свой любопытствующий нос и никогда не уставший наблюдать окружающий мир, тотчас вступил с трактирщиком в разговор, расспрашивая его на своем плохом немецком языке о Майнце, ввиду того, что на пути в Киев епископы миновали этот город и не имели случая в нем побывать.

Трактирщик охотно объяснял:

— Майнц — очень большой город. Но только часть его застроена домами, а значительное пространство отведено под хлебопашество.

— Он расположен на Рейне?

— На Рейне, в стране франков.

— Гм... Что хорошего в этом городе? — расспрашивал епископ.

— В нем в изобилии произрастают всякие овощи. Майнц славится также вином.

— Приятное вино?

— Отличное. Но немало в городе и другого богатства. У тамошних менял

ты найдешь даже монеты, чеканенные в Самарканде. Там также много лавок, торгующих пряностями, доставленными с Востока.

— А есть ли в Майнце монастыри, славящиеся своими библиотеками? — опять спросил епископ.

Хозяин харчевни с глупым видом вытаращил глаза.

— Это мне неизвестно, — отвечал он.

Впрочем, епископ сам устыдился своего наивного вопроса и поспешил перевести речь на более понятные для трактирщика предметы.

— Какие же пряности продают в Майнце?

— Самые разнообразные. Перец, гвоздику, нарды. Купцы привозят их из очень далеких стран. Где живут единороги.

Так как епископа интересовали не только книги, но и все, что касалось стола, то он стал допытываться:

— А еще какие пряности?

Трактирщик подумал и ответил:

— Имбирь.

— Не скажешь ли мне, где теперь живет кесарь?

— Кесарь живет не в Майнце. Он пребывает в Ингельхейме. Но в настоящее время находится в Госларе. Так мне говорил один проезжий купец из Вормса.

Сидевший неподалеку бродячий монах, до сего времени молчавший, видя добродушие прелата, удостоившего беседою простого трактирщика, выдвинулся вперед.

— Приветствую вашу эминенцию! — сказал он епископу.

Готье прищурил глаза, польщенный таким титулованием.

— Если не ошибаюсь, твое имя — Люпус?

— Смиранный брат Люпус.

— Ты сопровождал нас в Киев?

— Сопровождал, но, побуждаемый всякими делами, оставил посольство и вернулся в Регенсбург.

— Что же ты хочешь сообщить мне?

— Могу подробно рассказать вашей эминенции об императоре. Ибо всего только три дня тому назад покинул монастырь в Госларе, где предавался благочестивым упражнениям для спасения души. Этот монастырь построил ныне здравствующий кесарь и подчинил его епископу Адальберту.

— Куда же ты направляешься?

— В монастырь св. Мартина, куда меня пригласил аббат Бруно для переписки книг.

— Это похвально, брат Люпус, — сразу подобрел епископ. — Но ты упомянул имя Адальберта, епископа Бременского. Где он находится в настоящее время?

— В настоящее время он находится в Майнце. В этот город теперь съезжаются многие епископы, ибо вскорости предстоит собор, на котором будут разбирать проступок епископа Шпейерского.

— Достопочтенного епископа Сибиго?

— Вот именно.

Можно было подумать, что нет на земле ни одного епископа, которого бы не знал брат Люпус.

— Ничего не слышал о проступках епископа Шпейерского, — сказал искренне удивленный Готье.

— Однако о скандале говорят на всех базарах. Некоторые утверждают, что этот прелат обольстил замужнюю женщину...

Толстяк закашлялся, но у него не хватило решимости оборвать болтливо-го монаха. Брат Люпус продолжал как ни в чем не бывало:

— Одни болтают, что епископ оболестил ее, другие же, что, напротив, она воспылала к епископу страстью, внушенной дьяволом, который и помог ей соблазнить святого мужа. Кто прав, кто виноват — покажет расследование. Интересное дело! Хотелось бы присутствовать на таком судоговорении.

— Лучше скажи, как мне повидать епископа Адальберта, — спросил Готье, чтобы перевести разговор на другую тему и не касаться скользкого вопроса о прелюбодеянии такого светильника церкви, как Сибику.

— Нет ничего легче. Епископ Бременский в настоящее время тоже находится в Майнце.

— Приходилось ли тебе, брат Люпус, видеть этого замечательного пастыря?

— Приходилось, и я мог бы много рассказать о нем, но ведь опасно пускаться в это море событий, где все полно опасных мелей и преисполнено подводных камней зависти. Я опасаясь, поверит ли мне ваша эминенция. Ведь как ныне бывает на земле? Похвалишь кого-нибудь, даже за глаза, и люди скажут, что ты лстец. А если осудишь, объявят зилом.

— Ты выражаешься, как хороший ритор, — усмехнулся епископ и сложил сплетенные пальцы на животе.

— За свою жизнь я столько переписал книг самого разнообразного содержания, что научился говорить, как это полагается в образованном обществе.

Епископ Готье Савейер много слышал об Адальберте, ревностном служителе на винограднике божьем, о его уме, богатстве, щедрости и просветительной деятельности в Дании и среди славян. Но все это были неточные сведения, полученные из третьих рук, а брат Люпус уверял, что неоднократно лицезрел архиепископа. Монах не мог остановить потока своего красноречия:

— Говорят, он весьма знатного происхождения. Во всяком случае, наружность его привлекает взоры. Архиепископ Адальберт красноречив, удачлив в своих предприятиях, богат. Поговаривают даже, что он властолюбец и якобы намерен создать второе папство в Гамбурге, чтобы под своим духовным руководством, как под крылами орлицы, объединить все немецкие епархии и Скандинавию. Под духовным ли только? Ведь ни для кого не тайна, что у него есть один большой порок. А именно — любовь к славе. Архиепископ честолюбив до крайности. Этим он снискал себе немало врагов, а, как известно, честолюбие — плохой советник в делах смирения. Однако мы должны быть осторожными в осуждении этого пастыря, ибо сказано, что каким судом ты судишь ближнего, таким и тебя будут судить.

— А его многие осуждают?

— Многие... И надо сказать, что среди его врагов самый опасный из всех — саксонский герцог Бернанд. Когда архиепископ построил в Гамбурге крепость, герцог тотчас же возвел против нее свою твердыню. Эти замки до сего дня смотрят друг на друга, как два злых ворона.

— Такое творится в Германии!

— Ты еще не знаешь всего, — всплеснул руками монах.

— А Адальберт?

— Что Адальберт? Это щедрый человек, хотя и тратит деньги на всяких шарлатанов и комедиантов. Но в гневе он способен поколотить противоречащего ему, как это случилось недавно с одним приором. В такие минуты все бегут от Адальберта, как от вырвавшегося из клетки льва. Зато, когда он в хорошем настроении, его можно гладить, как ягненка, и корыстолюбящие

люди пользуются этим. На меня же враги и завистники наговорили ему столько неправды, что я вынужден был покинуть Бремен.

— Переписывал там книги?

— Переписывал книги и выполнял другие работы. Однако я не жалуясь. Ведь судьба человеческая превратна. Поэтому и мне много пришлось претерпеть на своем веку за любовь к истине. Людей, не желавших льстить, выпроваживали из архиепископского дома, как прокаженных. Впрочем, известно, что истина редко пребывает во дворцах. Одним словом, этот пастьер, ничего не любя, кроме мирской славы, растерял в настоящее время все свои добродетели. Запомнился мне такой случай. Однажды Адальберту для чего-то понадобились деньги, и он не постеснялся взять из бременской церкви священные сосуды и кресты. Кажется, чтобы уплатить королю за какое-то графство. И, конечно, обещал в самом скором времени сторицею вознаградить церковь. Но так и не выполнил своего обещания. А расплавлявший эти вещи золотых дел мастер рассказывал мне, что когда он ломал чаши и кресты, то при каждом ударе молотка слышал плач младенца... Сколько набожности заключалось в этих предметах, а святотатственная рука клала золото в мешки светских князей, и из него делали всякие ожерелья. Да, оно теперь украшало не церкви, а греховные прелести их жен и даже любовниц...

Готье, внимавший брату Люпусу с огромным интересом, при этих словах стал жевать губами, что у него служило признаком неудовольствия. Болтун не знал меры. Но епископ Роже, слушавший до сих пор рассеянно, занятый какими-то хозяйственными размышлениями, вдруг завопил:

— Монах! Кто дал тебе право осуждать такого прославленного пастьера, просветительские подвиги которого известны всем? Или ты пьян, как свинья?

Брат Люпус прикусил язык. Дело в том, что он действительно только что осушил кувшин крепкого пива.

— Зачем ты вводишь людей в искушение! — негодовал Роже. — Смотри, чтобы я не надавал тебе оплеух!

Люпус не знал, куда ему деваться. Впрочем, епископ был намерен сохранить слова болтливого монаха в памяти. Бедняге представляется, будто бы на него сыплются удары несправедливой судьбы? Однако он рассказал немало. О, рано или поздно королю придется столкнуться с епископом Адальбертом, и тогда этот гордец будет стоять перед ним в парчовых облачениях как бы нагой, со всеми своими слабостями и недостатками.

Три дня спустя Готье встретился с Адальбертом в Майнце. Епископ находился среди приближенных Генриха. Император принимал послов в ингельгеймском дворце. Анне не хотелось встречаться с человеком, который в прошлом отверг ее руку. Потом она подумала, что унижительный отказ был получен не от самого Генриха, а от его отца, кесаря Конрада, ревностного латынина, и успокоилась. Теперь же император не спускал с нее глаз. Кроме того, оба епископа в один голос убеждали будущую королеву не уклоняться от этой встречи, что может оказаться полезной для правителя Франции.

Анна уже знала о столкновении, которое недавно произошло между двумя Генрихами. На какой-то остановке ей рассказал обо всем Людовикус.

— Когда кесарь отправился в Италию, чтобы короноваться в Медиолануме, французский король решил, что настало удобное время добиться возвращения того, что он считал своим достоянием, и потребовал, чтобы кесарь отдал ему дворец в Аахене, якобы некогда принадлежавший его предкам. А также Лотарингию. Объявили большой сбор вассалов. Со всех сторон в Реймс потянулись всадники, пешие воины, повозки, нагруженные оружием и припасами. Все уже было готово, чтобы начать войну. Но, по-видимому,



графы не оказали должной поддержки французскому королю, и от справедливых требований пришлось отказаться до лучших дней.

Вспоминя этот рассказ, Анна еще больше сжимала рот, когда глядела на кесаря. Напрасно он искал улыбку на ее лице. Перед ним стояла гордая красавица, едва кивнувшая головой в ответ на его приветствие. Генрих Третий, достигший в те годы вершин власти, вскипел от негодования. Но сдержал себя. Ведь это отец послал опрометчивый ответ на предложение русского короля! Пристыдив себя за недостойную вспышку гнева, кесарь молча теребил черную бороду, невольно представляя себе в эти минуты свою пышную супругу, с которой ему было так скучно в ингельгеймском дворце, в холоде императорской опочивальни...

Кесарь, высокий и темноволосый, вошел в залу с надменно поднятой головой, с усталым взглядом полуприкрытых веками глаз.

Людовикус шептал епископу Готье:

— Один из образованнейших людей нашего времени. Читает философские книги. Наполовину монах, наполовину тиран. Вероятно, ему мало доставляет удовольствия общество этих краснорезких баронов.

Готье с любопытством рассматривал императора. Но вскоре его внимание привлек к себе другой человек, вдруг появившийся из-за спины кесаря. Это был облаченный в пурпур красивый епископ, с полным, почти круглым лицом, но с орлиными глазами и породистым носом. Нарушая правила дворцового этикета, прелат стал рядом с императором, как равный ему.

— Кто он? — спросил шепотом Готье Людовикуса.

— Да это же и есть Адальберт, — прошептал переводчик.

— Архиепископ Адальберт!

— Он самый.

Красивый старец с отеческой улыбкой взирал на Анну. Потом сказал:

— Дщерь во Христе! Знай, что я не чужой тебе. Мать моя была в родстве с Феофано и великим Оттоном, а Феофано, прекрасная константинопольская царица, приходилась родной сестрой твоей бабке.

Анна отлично знала, что бабкой ее была Рогнеда, от которой она, может быть, и унаследовала свои рыжие волосы, а не греческая царица. От гречанки родилась Мария, ныне польская королева. Но по молодости лет Ярославне льстило, что люди считают ее отца потомком прославленных царей, и она тщеславно поднимала голову.

— Смотри, — шепнул Людовикус епископу Готье, — у кесаря борода, как у Аристотеля.

— Ученость заключается не в бороде, — отвечал епископ. — Ведь если бы это было так, то самым ученым считался бы козел.

Готье стало скучно. На приеме люди обменивались пустозвонными фразами, а ему чрезвычайно хотелось побеседовать с кесарем о философских предметах, и особенно с епископом Адальбертом, но случая для этого в тот вечер не представилось.

В честь Анны в огромном императорском дворце устроили пир, на котором никто не веселился в присутствии мрачного кесаря, почти не прикасавшегося к чаше с вином. На другой день происходил турнир. Эти состязания только что начали входить в обычай — примерные бои рыцарей с притупленными копьями в руках, и здесь Анна впервые увидела на щитах гербы. Вставших на дыбы хвостатых львов, черных тощих орлов на золотом фоне, кресты, лилии, короны... Некоторые рыцари, в знак того, что они сражаются не за себя, а за честь возлюбленной, изображали на своем щите ее герб.

Генрих, полный сознания своей власти над Германией, но меланхоличный, потому что всякая власть есть суета сует и жизнь человеческая

бренна, усадил Анну рядом с собой и, видимо, любовался ею. Они сидели на балконе. Внизу, на обширном замковом дворе, выстроились рыцари в полном вооружении, в кольчугах и блестящих шлемах.

Кесарь спросил Анну:

— Что изображено на твоём щите?

Людovicус, с лисьей шапкой в руке, перевел вопрос.

Анна подумала и ответила:

— Золотые ворота...

Она тут же решила, что если будет надобность в каком-либо знамени, то изберет для него прославленные киевские ворота.

Но турниры не понравились Анне. Русские, угры или печенеги лучше сидели на коне и мчались как птицы, а здешние громоздкие бароны тяжело взлезали на откормленных жеребцов и без большой ловкости выбивали друг друга копьями из седел. Один из таких бойцов умер от удара в то место, где в груди рождается вздох. Толпа рыцарей столпилась вокруг упавшего с лошади, и Анна видела только, как убитого понесли на плаще во дворец. Но это не помешало продолжать состязания, и еще один рыцарь упал с коня и сломал себе ногу. Прочие очень смеялись над неловким. Несчастный скрежетал зубами, а какой-то барон стоял над ним, упираясь руками в колени, и смеялся:

— Ха-ха! Как ты меня рассмешил своим падением!..

Месяц апрель был на исходе. Путешествие приближалось к концу. Анна неизменно двигалась на запад и на своем пути часто видела высокие замки. После долгой и скучной зимы сеньоры имели обыкновение в это время года выезжать на первую охоту. В полях, где веял теплый ветер, лаяли псы. Когда какой-нибудь барон узнавал, что мимо его владений проезжает целый отряд, он скакал туда, не будучи в силах справиться со своим любопытством, и, видя, что перед ним знатная дама и епископы, стягивал с головы шляпу и просил посетить его дом. Иногда посольство пользовалось гостеприимством таких сеньоров, грубоватых и пахнувших лошадиным потом; их замки напоминали не то разбойничьи притоны, не то крепости в только что завоеванной земле, где людям еще некогда подумать об удобствах, о бане, о чистой сорочке, о цветах в саду, а приходится спать на соломе, не раздеваясь, не выпуская из рук оружие, рядом с конями и собаками. В таких замках было много вооруженных людей, охотников, псарей и конюхов, и Анна не знала, что и ей придется жить приблизительно в подобной же обстановке. В более богатой, конечно, и где была возможность встречаться с образованными людьми. Но ни сами бароны, ни их дородные супруги ничего особенно тяжелого в этом образе жизни не видели и во время пребывания гостей в их замках возмещали неудобства своего жилища обильным угощением и бочонками пива.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

**У**спешно выполнив в Киеве королевское поручение, послы возвращались в Париж. Епископы, худошавый Роже и тучный Готье Савейер, ехали обычно на своих ушастых мулах впереди обоза. Шалонский пастырь размышлял в пути о судьбах галльской церкви или о каких-нибудь хозяйственных предприятиях, добродушный толстяк вспоминал латинские стихи и мечтал о том часе, когда можно будет полакомиться нежным французским цыпленком и запить его кувшином доброго реймского вина. Ехавший позади рыцарь Гослен де Шони вообще не утруждал себя размышлениями.

Так продолжалось в течение многих дней, с остановками и привалами. Но медленно уплыли назад франконские горы, умолкли водопады, остался за спиной многоводный Рейн. И вдруг в одно туманное утро огромным цветком раскрылась перед глазами прекрасная Франция. Она была такой же лесистой и заболоченной страной, как Польша или Лотарингия, но Анне представилась в особом свете: воздух здесь казался необыкновенно приятным для дыхания, нигде так не зеленели лужайки, после нагромождения гор и скал небольшие холмы приветливо возвышались на долинах, и все было полно соразмерности.

Возможно, первые хорошие впечатления Анны объяснялись тем, что стояло чудесное утро. Наступила весна. Французские девушки бродили по полям и, напевая песенки, собирали жонкили, чтобы украсить на троицу двери своих хижин. Ярославна улыбнулась им и прошептала:

— Здравствуй, Франция!

В тот день епископы задержались в придорожном монастыре, где аббат слезно просил их мудрых советов по поводу тяжбы с соседним бароном, и Анна, в сопровождении спутников, отправилась вперед, с любопытством глядя по сторонам.

В селении, под вековым дубом, сидел на мешке, набитом соломой, прево и отправлял правосудие. Перед грозным судьей стояли поселяне и крестьянки; некоторые из них держали в руках гусей или уток, как бы уже приговоренных к смертной казни. На деревенской площади происходил петушиный бой. Зрители поощряли пернатых драчунов неистовыми криками, петухи насккивали друг на друга, взлетали один перед другим, нанося противнику жестокие удары клювом или шпорами, и окровавленные перья устилали

землю. С утра топилась печь для выпекания хлебов, расположенная подальше от жилья, чтобы предотвратить пожары. Несмотря на праздничный день, многие сервы трудились, подрезали лозы или шли за плугом с колесами, который величественно влекла пара серых волов с черными влажными носами, а над плетеными соломенными ульями, непохожими на славянские липовые борти, деловито гудели пчелы. На лугах паслись курчавые овцы. Стадо розовых свиней бодро искало под дубами прошлогодние желуди, и пастух, опираясь на длинный посох, смотрел с блаженно-глупой улыбкой на проезжающих. У дороги бежали босые девушки с цветами в руках, и молодые оруженосцы перебрасывались с ними шутками, радуясь, что все благополучно вернулись в свою страну.

Анна медленно ехала на кобылице, любясь холмами и лужайками, в изобилии покрытыми желтыми цветами. На пути попалась роща. Из-за деревьев доносилось голосистое женское пение. И вдруг за поворотом дороги — еще одна деревня: две дюжины бедных хижин, крытых косматой соломой, кучи навоза, плетни, покосившаяся каменная капелла. На лугу стояли кружком молодые и старые поселяне в коричневых или зеленых платьях и пели, отбивая такт ногами и хлопая в ладоши. За материнские юбки цеплялись деревенские дети в рубашонках. Щурясь от солнца, сторбленный старик с палкой в руке смотрел на женщин.

Анна, выехавшая вперед, остановила кобылицу и прислушалась. Поселянки пели:

Porcoi me bait maris,  
Laisette?  
Je ne li ai rienz mefait,  
Ne rienz ne li ai mesoit  
Fors c'a — coller mon amin  
Seulette!

Но они уже заметили богато одетых путешественников, задержавшихся на дороге, и те певички, что стояли спиной к Анне, обернулись, а некоторые даже показывали на нее пальцами. Пение тотчас прекратилось.

Шони приложили руки корабликом ко рту и крикнул:

— Что же вы умолкли? Пойте!

Не зная, кто этот сеньор, крестьянки переглядывались и фыркали от смеха. Наконец самая смелая затянула высоким хриловатым голосом:

Et c'il me lait dureir,  
Ne bone vie meneire,  
Je lou ferai cous clameir...

— Что они поют? — спросила Анна Людовикуса.

— Песенку про Лизетт.

— Что они поют о ней?

— Муж бьет Лизетт. Она спрашивает, почему он ее бьет. Уверяет, что ничего плохого ему не сделала. Только обняла своего дружка.

Анна рассмеялась.

— А потом?

— Потом Лизетт грозит наставить мужу рога, если тот не перестанет ее бить...

Ярославна не знала, что такое — наставлять рога. Людовикус объяснил:

— Если жена с другим любится, то во Франции говорят, что она мужу рога наставляет.

— Как у быка?

— Как у оленя, — усмехнулся переводчик.

Никогда Людовикус не видел более милостивой госпожи, чем дочь киевского князя, и более снисходительной к нижестоящим.

Анна легко соскочила с лошади и направилась по тропинке к селению. Ее сопровождали рыцарь Шони, Людовикус и другие. Вскоре к ним прибежали даже молодые конюхи, бросив на произвол судьбы повозки. Но женщины на лугу, сообразив, что перед ними, очевидно, какая-то очень знатная дама и даже, может быть, сама вавилонская принцесса, слушавшая их простые песенки, застыдились и не хотели больше петь. Одна из них даже закрыла лицо передником.

Гослен де Шони, разгладив усы, чувствуя себя петухом на птичьем дворе среди этих свежих и чисто вымытых ради праздника крестьянок, требовал: — Пойте! Или я высеку вас розгами!

Певицы смеялись, взволнованные весной, шутками рыцаря в великолепном красном плаще. Ободренные хорошим настроением своего господина, конюхи тоже стали пересмеиваться с деревенскими красавицами, и те отвечали им не менее игриво.

Анна посмотрела еще некоторое время на поселянок и вернулась на дорогу, где верный Ян терпеливо держал под уздцы ее кобылицу. Обоз снова двинулся в путь, и подковы зацокали по каменистой дороге. Но еще долго доносились звонкие голоса молодых крестьянок, певших во всю силу своего глубокого дыхания...

Вскоре присоединились на дороге к остальным и епископы, догнавшие обоз на старых, но довольно еще бодрых мулах. Роже, тоже внимавший пению, ворчал:

— Поют кантилены и пляшут эстампиды. Лучше бы занимались изготовлением пряжи!

Анна спросила, чем недоволен епископ. Людовикус перевел его слова и объяснил, что кантиленами называются народные песенки, а эстампиды — деревенские танцы, когда люди стоят кружком.

— Вроде наших хороводов, — сказала Ярославна.

Когда епископы и сопровождавшие их вооруженные всадники проезжали мимо стоявших у дороги поселян, те стаскивали войлочные колпаки с лохматых голов и не надевали их, пока не удалялся самый последний конюх, которому очень льстило такое уважение. Крестьяне считали, что лучше проявить некоторое терпение, чем иметь неприятности и вызывать страшный гнев господ.

Так же поступали встречные путники и пилигримы. Некоторые из них даже опускались на колени, с намереньем получить пастырское благословение.

Анна видела, что одежда у этих бедняков не лучше, чем у киевских смердов. На французских поселяках были залатанные домотканые рубахи, главным образом коричневого цвета, узкие порты из такой же материи и короткие плащи с капюшонами, чтобы работать даже в дождливую пору. Некоторые, вероятно, брились под большие праздники, а в остальные дни ходили заросшие ужасающей щетиной, и эти колючки еще более подчеркивали их бедность.

А ветерок на легких крыльях доносил веселую песенку...

## II

Послы торопились в Париж, желая поскорее передать, как некое драгоценное сокровище, невесту из рук в руки королю и получить от него заслуженную похвалу. Но встреча Генриха с Анной состоялась еще до прибытия во французскую столицу, недалеко от города Реймса.

Когда весть о благополучном возвращении посольства достигла ушей короля, находившегося в те дни в парижском дворце, им овладело такое нетерпение, что, не медля ни единого часа, невзирая на то, что день уже клонился к вечеру, Генрих помчался в сопровождении немногих спутников по реймской дороге навстречу невесте, под легкомысленные шуточки графа Рауля, из любопытства присоединившегося к королю в этой сумасшедшей скачке среди ночи.

А между тем Ярославна приближалась к своей судьбе. Дорога поднялась на холм, и с возвышения Анна увидела, что навстречу, поднимая облако пыли, стремительно скачут всадники. Красные и синие плащи широко развевались. У нее сжалось сердце, когда Людовикус не без волнения сказал ей, что это, может быть, сам король спешит к ней, горя нетерпением поскорее увидеть будущую супругу.

Анна придержала лошадь. Так же поступили и все ее спутники... Колеса перестали скрипеть. Нелепо двигая локтями, епископы выехали вперед, чтобы встретить короля и дать ему первый отчет о возложенном на них ответственном поручении. Сложив ладони и вздымая очи горé, они молились, и Анна заметила, что даже Готье Савейер бормотал что-то себе под нос. Но сеньор Гослен де Шони не выдержал, ударил коня шпорами и, сорвав с головы шляпу, помчался навстречу приближавшимся в облаке пыли всадникам. Все видели, как он на всем скаку остановил коня, и человек, в котором уже нетрудно было теперь признать короля, тоже натянул поводья, и его белый жеребец от неожиданности встал на дыбы. Подъехали королевские спутники. Генрих обменялся немногими словами с Шони и направился шагом к епископам, поджидавшим его на холме все в той же благочестивой позе. Не обратив большого внимания на пастырские благословения, он искал глазами ту, ради которой прискакал сюда как мальчишка, едва останавливаясь на несколько минут в придорожных харчевнях, чтобы выпить кубок вина и наскоро съесть деревенскую яичницу.

У Анны колотилось сердце. Она представляла себе жениха совсем другим, более красивым и молодым, а перед нею тяжеломерно сидел на коне довольно мрачного вида сорокалетний человек с неказистой бородой. Но она уже знала от Милонегги, что красота не нужна для мужчины, а требуется от него сила мышц, желание повелевать и мужество в сражениях.

Увидев Анну, порозовевшую от волнения, но не опустившую гордые глаза, так как ей тоже хотелось получше рассмотреть того, с кем суждено было разделить жизнь до гробовой доски, Генрих неловко улынулся, не зная, что сказать невесте. Анна сидела в седле боком, свесив на сторону длинные ноги. Она была в русском сарафане из синего шелка, с косами, перекинутыми на грудь, рыжеволосая, с глазами цвета лесных орешков. Король с удивлением увидел, что на голове у нее странная шапочка из серебряной парчи, опушенная бобровым мехом. Грудь у невесты, по его мнению, была недостаточно ошутимой. В досаде Генрих даже нахмурился на мгновение, но вспомнил, что русские принцессы славятся плодовитостью, и вновь улыбнулся. Людовикус уже подбежал к Анне и с непокрытой головой, сияя лысиной, вертя в руках лисью шапку, не без страха приготовился выполнять обязанности переводчика.

Волнение по поводу встречи с королем охватило даже простых конюхов: конечно, они надеялись получить по горсти серебряных монет и увидеть своих близких, покнутых на продолжительное время, но разволновались они еще и потому, что этот человек олицетворял для непросвещенных людей,

никогда не слышавших об универсалиях<sup>1</sup>, прекрасную Францию, идея которой, как во сне, жила в их сердцах. Так объяснял их поведение ученый епископ Готье.

Уже приехавшие с королем рыцари, как один, сняли перед Анной шляпы — черные, зеленые, серые — из добротного войлока и бесцеремонно глазели на нее. Как все было странно! Как далеко осталась Русская земля!

Король тоже смотрел пронзительным взором на Анну. Епископ Роже что-то нашептывал ему на ухо, и Генрих терпеливо слушал. Но вот слезы покатились из широко раскрытых глаз Ярославны по нежной щеке, и одна из них блеснула, как драгоценный алмаз.

— Что с тобой, госпожа? — шепотом спросила Милонега. — Посмотри, разве не король твой стоит перед тобою?

Всхлипывая как ребенок, Анна улыбнулась будущему супругу, и тогда точно новое солнце просияло сквозь слезы над французскими зелеными лужайками.

Генрих, чье суровое сердце было согрето этой женской прелестью, спросил:

— Утомлена в пути?

Людовикус, глядя то на короля, то на Анну, с возможной точностью перевел его слова. Уставшая смертельно Анна, сама не зная почему, отрицательно покачала головой.

— Король Ярослав и мать твоя здоровы? — опять задал Генрих вопрос.

Анна отвечала на вопросы односложно. Сказав еще несколько слов, король круто повернул коня и ускакал со своими рыцарями, поднимая на дороге пыль, которую весенний ветер медленно относил в сторону. Анна видела, что Генрих еще раз оглянулся на нее. То же сделал и один из всадников, летевших вслед за королем. Это был красивый, не очень высокий, но крепкий человек лет тридцати, с надменным выражением лица. Нижняя губа у него несколько отвисла. С его плеч падал широкими складками длинный красный плащ, на зеленой шляпе, поля которой были небрежно загнуты на затылке, трепетало ястребиное перо. Рыцарь опять повернул голову и посмотрел на Анну зоркими глазами, скаля белые зубы.

Смущенная таким вниманием, Ярославна спросила Людовикуса:

— Кто этот человек?

С явным уважением и завистью низкорощенного торгаша к знатному и богатому сеньору он ответил:

— Граф Рауль. Могущественный владетель многих замков и земель...

Дорога то спускалась в долину, то снова поднималась на возвышенность. Поселяне выходили из бедных хижин с мотыгами в руках, чтобы вскопать свой участок земли. На деревьях ползали зеленые гусеницы. Анна с отвращением смотрела на них, когда ветка была близко от головы.

Весть о том, что к королю приехала невеста из далеких краев, быстро распространилась из селения в селение. Со всех сторон на дорогу стекались люди, с соседних виноградников бежали крестьяне и крестьянки, вдруг оборачивались назад всем телом и обеими руками звали других, приглашая их поспешить. Анна ехала в буре приветствий, и женщины что-то кричали будущей королеве, пяля глаза на ее странный наряд, какого они еще никогда не видели в этой стране. Народ радовался приезду Анны, точно надеясь, что теперь трудная жизнь станет легче, а урожай обильнее.

Белая дорога, все так же извиваясь среди зеленых холмов и темных дубрав, вползла на очередной холм, и оттуда открылся вид на некий город.

<sup>1</sup> Общие понятия в средневековой философии.

Анна увидела каменные башни и стены, а за ними петушков на церковных колокольнях, поблескивавших на солнце.

— Это Париж? — спросила она.

— Реймс, — ответил, просияв, Готье Савейер. — Здесь некогда учил в епископской школе Герберт... В этих стенах прошла моя юность...

В Реймсе господином был архиепископ Ги. Это для него и для капитула церкви св. Креста трудились проживающие в городских предместьях ткачи, кружевницы, золотых и серебряных дел мастера, позолотчики, свечники и кузнецы. В городе стояли и другие церкви, поэтому всегда ощущалась надобность в облачениях, свечах и потирах. Немало насчитывалось в Реймсе и лавок всякого рода, в которых продавались привозные товары, в том числе перец и пряности, требовавшиеся в большом количестве к столу капитула. Реймское вино считалось одним из лучших виноградных соков Франции.

Анна явилась в Реймс в дни, когда в городе открывалась ежегодная ярмарка, и поэтому харчевни и гостиницы были полны торговцев. Среди множества людей Анна въехала в мрачные городские ворота, и поезд направился к дому архиепископа, где приготвили покои для королевской невесты. Вонючие улицы показались Анне тесными и темными. Места за стенами не хватало, верхние ярусы домов выступали над нижними, не позволяя солнцу заглянуть в переулки. Под ногами у всадников иногда хрюкали свиньи, пробиравшиеся сюда в поисках вкусных отбросов и дынных корок, и нечистоты из ночных горшков выливались из окошек на прохожих.

В Реймсе должна была состояться брачная церемония и коронация Анны, хотя еще ни одна французская королева не удостоилась подобной чести. Однако Генрих считал, что такой обряд только упрочит права его наследника, рожденного от матери, чье чело помазано священным миром.

Всю зиму в хижинах ткачих и вышивальщиц изготовлялась торжественная одежда для будущей королевы. Слепя глаза, искусные мастерицы шили голубое платье, сотни раз примеряя его на высокой и бледной девушке Жанне, грустной швее из Сен-Дени, которую никто не хотел полюбить.

Верхнюю хламиду, украшенную тонкими кружевами, сделали из материи вишневого цвета и усыпали золотыми лилиями, излюбленным цветком французских королей. Говорили, что она представляла собою чудо швейного искусства. Лучшие башмачники в королевстве смастерили для королевской невесты красивые туфельки из голубого шелка, осыпанные жемчужинами. Накануне коронации эти одежды привез из Сен-Дени приор королевского аббатства, чтобы возложить их на алтаре реймской церкви св. Креста, где со времен Хлодвига происходило коронование французских королей. Но уже с первых дней пребывания Анны во Франции король столкнулся с упрямым характером супруги. Она решительно отказалась присягать, положив руку на латинскую Библию, и заявила во всеуслышанье, что клятву принесет только на славянском Евангелии. Очарованный ее прелестями, Генрих уступил под ворчание епископов.

Анна привезла эту книгу с собой, среди прочих своих книжных сокровищ. Незадолго до того, как она проезжала через Прагу, в соседнем Сазавском католическом монастыре была сделана попытка ввести богослужение на славянском языке. За такую крамольную затею на монахов посыпались из Рима громы и молнии, а монастырскую библиотеку, составленную из книг, написанных кириллицей, папа повелел предать сожжению. Однако какому-то непослушливому монаху удалось спасти в складках своей сутаны Евангелие, по преданию переписанное рукой самого Прокопия, весьма чтимого в Чехии



В самый торжественный момент коронования Анна почувствовала на своих плечах



...Потом было приятное ощущение тяжелой золотой короны на голове.

святого. Эту книгу Анна и получила в дар, когда однажды посетила бенедиктинский монастырь...

Бракосочетание происходило в аббатстве Сен-Реми, а церемония коронации — в церкви св. Креста.

Анне казалось, что все это она видит во сне... От латинских, не очень благозвучных, но громких гимнов, от непривычно тягучей музыки органа, от обильного фимиамного дыма у нее кружилась голова. пышные одежды как бы отделили ее от всего мира, и в опьянении своим торжеством Анна готова была теперь поверить епископу Роже, утверждавшему высокопарно, будто бы она самим небом послана Франции, чтобы осушить слезы несчастным и напитать голодных. Вдруг комок слез подступил к горлу. Новой королеве страстно захотелось снискать любовь всех этих людей, взиравших на нее как на высшее существо в мироздании.

В самый торжественный момент коронации вдруг Анна почувствовала на своих плечах тяжесть хламиды — пышно красного одеяния на белой подкладке и отороченного русскими горностаями. Эти белоснежные шкурки считались символом чистоты.

Из узкого церковного окна падал луч солнечного света и как мечом разрезал голубоватые облака клубящегося фимиамного дыма. Наступила минута, когда надлежало принести королевскую клятву. Анна со страхом приблизилась к алтарю и увидела широко раскрытую знакомую книгу, написанную славянскими письменами...

Потом было приятное ощущение тяжелой золотой короны на голове. Если бы ее видели в этот час отец и мать, милые сестры и братья! Анна подумала еще об одном человеке... Но вокруг теснились незнакомые люди, епископы шуршали парчой облачений. Среди этого множества лиц мелькнул гордый лик графа Рауля.

По окончании коронаций в архиепископском дворце устроили пир. По изволению небес жизнь на земле устроена так, что люди, носящие на голове корону или митру, не могут довольствоваться обыкновенной похлебкой, какую варят в доме простолюдина, а насыщают себя под звуки виел и бульканье вина, изливающегося из кувшина в серебряную чашу, за столом, уставленным вкусными и изысканными яствами, сильно сдобренными перцем и специями. Поэтому Анну ничего не удивляло: ни обилие блюд, ни множество свечей, которых в доме реймского архиепископа было не меньше, чем в церкви, ни жадность, с какой пирующие пожирали мясо. Все это мало чем отличалось от киевских пиршеств.

Если к королеве обращались с приветственными словами или с поздравлениями или спрашивали что-либо о ее далекой стране и она недоумевающими глазами смотрела на короля, улыбавшегося в бороду, то к ней спешил на выручку ожидавший только знака Людовикус, человек без роду и племени, но по воле судьбы очутившийся на сборище самых знатных графов и видных епископов. Когда сидевший за столом граф Рауль вдруг поднялся с чашей в руке и что-то сказал громким голосом, Людовикус, низко поклонившись, подбежал и зашептал Анне за спинкой ее сиденья:

— Сиятельный граф просит разрешения пить здоровье королевы!

Анна вспомнила, что впервые увидела этого человека, когда произошла неожиданная встреча с Генрихом. Перед глазами вновь возникла картина на реймской дороге. Рыцарь пришпорил коня и вскачь догонял короля, придерживая на голове шляпу с трепетавшим на ветру ястребиным пером... Может быть, это были пустые слова, сказанные из любезности или под влия-

нием винных паров, но на приветствие нужно было как-то ответить. Анна посмотрела на супруга, и тот благожелательно улыбнулся ей, хотя на графа взглянул без большой нежности. Однако она поняла, что разрешается подарить улыбкой этого надменного вельможу. Его взгляд напомнил о синих глазах другого воина. Улыбка получилась растерянной. Рауль выпил вино до капли и опустился на скамью, поклонившись королеве, хотя пренебрег сделать поклон королю, и его лицо тотчас затерялось среди множества других, разгоряченных едой. Анна еще не знала, что этот человек считался одним из непокорных вассалов, с которыми боролся Генрих. Однако у графа Рауля де Валуа и де Крепи, сеньора многих других владений, насчитывалось не менее воинов, чем у самого короля, графский замок в Мондидье слыл неприступным, и королю Франции, со всеми его горделивыми латинскими титулами, ничего не оставалось, как сделать вид, что за столом все обстоит благополучно.

На Анне было узкое светло-голубое платье французского покроя, тесно обтягивавшее грудь и бока, и этот цвет очень шел к ее рыжим волосам, заплетенным в две косы. Украшением одеяния служил золотой пояс, небрежно охватывавший бедра. Его длинный конец свешивался спереди и подчеркивал красоту Анны, образуя узел немного ниже живота, что с непривычки стесняло молодую королеву. Но так одевались во Франции все знатные женщины. Еще напоминала о себе порой тяжелая корона, в которой неудобно есть мясо фазана.

В тот вечер приглашенным на свадебный пир были предложены различные супы, крепко заправленные перцем, а также морские и речные рыбы, из которых особым вниманием пользовались жирные карпы из королевских прудов в Марли и нежнейшие форели горных речушек. Кроме того, на стол подавали в огромном количестве говядину, оленину, козье мясо, раков, фазанов, голубей, круглые сыры с аппетитно прилипшими к ним соломинками, от которых они казались еще более соблазнительными, и много других яств, не считая пшеничного хлеба. Каждый отрезал сыра столько, сколько хотел. Но женщины предпочитали миндаль и орехи.

К яствам, по выбору гостей, оруженосцы и пажи наливали в кубки красное или белое вино, доставленное в погреба архиепископа из соседних аббатств, где монахи знали, как ухаживать за виноградной лозой. Жирная, наперченная пища требовала залить жар пылающих глоток, и сидевшие за столами не ленились подставлять свои чаши под струю живительного сока, называя пажей по именам, так как все здесь знали друг друга и кто чей сын. Вино пили из серебряных кубков, а самые почетные гости — из стеклянных бокалов, какие изготавливаются в Италии; перед королем же и королевой стояли позолоченные тяжелые чаши на высоких ножках, украшенные драгоценными камнями. В этом занятии женщины не отставали от мужчин, и почти все они, как на подбор, отличались завидным здоровьем, деревенским румянцем, мощными сосцами и обычно обладали крикливым голосом. Все это были деятельные и бережливые хозяйки старых замков, всеми силами помогавшие мужьям приумножать имение, и верные дочери католической церкви.

Несмотря на присутствие короля и молодой королевы, за пиршественными столами вскоре стало весело и шумно. Ежеминутно раздавались взрывы громкого смеха. Это рыцари с успехом рассказывали соседкам скабресные истории про аббатов и монахинь, и некоторые епископы тоже хохотали вовсю, придерживая руками колышущиеся от веселья животы. Уже предприимчивые руки ловили под столом горячие женские колени, особенно заманчивые под шелком платья. В опьянении люди вели себя так, как будто это был последний день их жизни.

Большим успехом на пиру пользовались Елена и Добросвета, и целая дюжина рыцарей готовы были, в подражание королю, жениться на этих красивых русских девушках, хотя и ни единого слова не понимавших по-французски. Подруги сидели за столом рядом, искали одна у другой защиты и, как умели, отбивались от смелых поклонников.

Королева вскоре покинула пиршественный зал, чтобы удалиться в опочивальню. Анну повела туда почтенная и весьма любезная особа, что-то наставительно шептавшая смущенной новобрачной, и Анне казалось, что это гудит над головой большая муха. За ними следовала по пятам Милонегга, и когда она помогла Анне снять узкое платье, то вдруг расплакалась и повторяла, обнимая ноги своей Ярославны:

— Госпожа! Госпожа!

— Что ты плачешь по мне, как по умершей? — прикрикнула на прислужницу королева. — Разве не участь каждой женщины иметь мужа и рожать детей?

Так с детства была воспитана Анна, в полной уверенности, что красота имеет государственное значение, хотя, может быть, не могла бы выразить эту мысль точными словами.

От вина, от всех волнений в голове у Анны стоял туман. Когда новобрачная поднималась по лестнице в опочивальню и подумала о том, что будет там, у нее подкосились колени. Но Анну поддержала сопровождавшая ее женщина, которой, очевидно, было препоручено приготовить королеву к брачной ночи.

Всклипывая, наперсница замолчала. Ее русский наряд напоминал Анне о прежней жизни, потонувшей в прошлом. И вдруг она ясно представила себе синие глаза Филиппа, хижину дровосека под дубами и руки молодого ярла, впервые коснувшиеся тогда ее тела...

— Не плачь, Милонегга, — сама едва сдерживая слезы, сказала Анна. — Разве и ты не испытала все это?

— Но ведь я знала тебя еще девочкой, — говорила вдова, вытирая уголком платка влажные глаза, — а сегодня ты станешь женой и зачнешь во чреве.

Милонегга и Берта де Пуасси, как звали почтенную женщину, раздели королеву, осторожно положили голубое платье на скамью и, когда новобрачная осталась в одной белоснежной сорочке из тончайшего льняного полотна, повели ее к высокой постели. Кровать была старинная, под желтым шелковым балдахином, вырезанным фестонами, а простыня прохладной и пахнущая какими-то незнакомыми приятными травами. Под кроватью стоял ярко начищенный для сегодняшнего случая медный ночной сосуд.

Берта еще долго шептала что-то королеве. Муж графини, преданный королю душой и телом, был одним из тех, кто не покинул Генриха в тяжелую минуту и сопровождал его в Нормандию.

Анна легла, сжимая руки между коленями. На столе горел масляный светильник. В углах, за ларями, прятался мрак. Королева потом узнала, что в этих сундуках хранились хартии, служившие неопровержимым доказательством прав Генриха на французскую корону.

Берта и Милонегга покинули горницу, с тревогой оглядываясь на королеву, и Анна оставалась некоторое время в одиночестве, то готовая всколыхить с постели, то впадая в какое-то полужабытье. Но вскоре на лестнице послышались твердые мужские шаги, и сердце у Анны забилось учащенно.

Опустив голову в низенькой двери, в опочивальню вошел король и остановился, глядя на Анну, укрытую меховым одеялом. Потом снял одной рукой корону, сделанную в виде венка из золотых лилий, и со стуком положил ее на

стол. В этом движении мало торжественности, но за целый день корона надоела, и приятно было от нее избавиться наконец. Он опять подошел к двери и задвинул железный засов. Анна отвернулась, чтобы не видеть, как Генрих будет снимать одежды. Но король приблизился к кровати и, опираясь обеими руками о постель, долго смотрел в лицо супруги. Из его рта шел винный дух. Даже не приглядываясь к мужу, она заметила, что рот у него был мокрый и раскрыт от тяжелого дыхания. Но Анна знала, что все это неизбежно, и вино, которое заставили выпить сегодня, сделало ее способной перенести любое испытание.

Король сказал несколько слов (которых не поняла Анна и пояснила это движением рук) и сел на скамью, чтобы самолично снять обувь. Морща лоб от напряжения, он упирался носком одного сапога в каблук другого, весь уже во власти плоти и зная, что сейчас будет сжимать в объятиях это молодое и нежное тело...

Перед отъездом в Париж королева пожелала осмотреть архиепископский дворец. Король не расставался с нею, счастливый и гордый, что никто до него не побывал в том раю, который открыла ему Анна в первую брачную ночь. Он был полон самых приятных надежд на продолжение рода.

Показывал дом архиепископ Ги, еще не старый человек, бритый, как почти все французские клирики, наделенный большим ртом, как бы созданным природой для того, чтобы произносить обличительные проповеди, взывать к небесам или в гневе выкрикивать приказания на поле битвы. Рядом с ним Готье казался особенно благодушным.

Дворец представлял собою высокое, похожее на замок здание, с длинными переходами и каменными винтовыми лестницами; всюду здесь были какие-то закоулки, тайники, узкие как щели горницы, низкие своды над головой. На стенах, побеленных, пропахнувших сыростью, не замечалось никаких украшений, но в некоторых помещениях стояла непривычная для Анны мебель с прихотливо вырезанными ножками. Королеве показали также знаменитую «абаку», которую смастерил для Герберта какой-то безвестный реймский столяр по указаниям самого епископа. Герберт, образованнейший человек своего времени и учитель Готье, имел случай видеть подобные счетные приспособления по ту сторону Пиренеев, где он очутился в молодости, чтобы изучить у арабов астрологию.

«Абака» имела вид обыкновенного деревянного ящика, разделенного на много частей. Анна насчитала двадцать семь отделений, в которых лежали роговые бирки. Готье объяснил, что, перекладывая их из одного отделения в другое, можно производить различные сложные вычисления. Но в дальнейшем выяснилось, что ни Готье, ни архиепископ в эти тайны арифметики не посвящены. Как всегда при разговорах, переводил Анне Людовикус. В свое время этот неутомимый путешественник побывал и в Испании, провел три года в сарацинском плену на каком-то райском острове, где, как уверяли некоторые, принял мусульманство и только поэтому вновь обрел свободу. А затем, неизвестно какими путями, он очутился в Херсонесе, отсюда переехал в Константинополь, и потом всю жизнь ездил между Киевом и Регенсбургом, и судьба забрасывала его неожиданно то в Новгород, то в Париж. Этот человек говорил по-арабски, по-немецки, по-славянски, по-каталонски.

Если Готье не был силен в арифметике, то оказался на высоте, когда понадобилось рассказать Анне о прославленном Герберте Орийякском.

— Известно ли тебе это чудо премудрости? — спросил он королеву.

Когда Людовикус перевел ответ Анны (конечно впервые слышавшей это имя), епископ с видимым удовольствием стал объяснять:

— Герберт д'Орийяк, величайший ученый, в конце своих дней сделался папой. Под именем Сильвестра. Но до этого состоял аббатом и епископом и писал книги. До сих пор можно с пользой для себя читать такие его сочинения, как, например, прославленные «Речи» или «Житие св. Адальберта». Вся жизнь этот человек изучал науки. В юности он побывал даже в Кордове. А ведь библиотека кордовского халифа насчитывает около шестисот тысяч книг! Одно только описание их составляет сорок четыре тома!

Епископ рассказывал, Людовикус переводил, остальные слушали, однако с трудом представляли себе, что на земле можно собрать такое количество книг.

— Можно еще отметить,— продолжал Готье,— что все это редкие списки. Переводы Аристотеля на арабский язык, астрономические и медицинские трактаты, сочинения арабских математиков.

— Какие книжные сокровища! И как печально, что ими владеют безбожные сарацины! — заметил король.

— Печально, но поучительно,— осмелился возразить Готье.— Если агаряне чтят гений Аристотеля и других эллинских философов, то кольми паче мы должны изучать древность!

Впрочем, король, равнодушный к науке, интересовался житием Герберта лишь как занимательным рассказом.

— Мне говорили, что этот ученый муж мог превращать обыкновенную медь в драгоценное золото,— сказал Генрих, и видно было, что только это и интересовало его в истории Герберта.

— Возможно, что он научился подобным превращениям в Испании, где изучал алхимию, как я уже имел случай доложить тебе. Но из Испании Герберт, так тогда звали папу Сильвестра, отправился в Рим и там встретился с семьей германского императора, поручившего ему воспитание своего сына.

— Оттона,— подтвердил король.

— Оттона, будущего императора. Я имел случай беседовать с одним итальянским аббатом, часто видевшим этого кесаря. Об Оттоне можно говорить разное. Но думаю, что мало рождалось на земле людей, в такой степени обуреваемых мечтами о прекрасном, как он, и в этом выразилось, вероятно, влияние Герберта. Став императором, Оттон назначил своего учителя аббатом, а затем епископом древнего города Равенны. Отсюда он перебрался в Реймс и под конец жизни сделался папой.

Позвякивая связкой ключей, архиепископ Ги сказал:

— Кстати, у меня хранятся некоторые книги папы Сильвестра. Не хотите ли посмотреть на них?

Архиепископ отпер тяжелый дубовый шкаф, и, заглянув в его чрево, все увидели пыльные манускрипты. У Готье задрожали руки от волнения. Он вынул из шкафа одну из книг, переплетенную в потертую свиную кожу, и воскликнул:

— Вот «Георгики» Вергилия! Раскроем же эту замечательную поэму!

При виде книжных украшений ученый епископ просиял. На них, в годовом обороте сельских работ, художник изобразил маленьких человечков, что брели на ниве за волами, или сеяли, далеко закидывая руку, или срезали виноградные гроздья, как бы взвешивая их сладкую тяжесть. Так, по крайней мере, представлялось воображению епископа Готье Савейера, когда он рассматривал картинки, и в ушах у него, видимо, звенели неповторимые стихи о жатвах и сборе винограда.

— Третий, а может быть, четвертый, пятый раз держу эту книгу в руках

и неизменно испытываю от сего великое наслаждение,— сказал епископ.— Герберту переписал ее и украсил рисунками какой-то искусный равеннский писец. Папа тратил огромные деньги на покупку книг и в письмах к друзьям никогда не забывал упомянуть, чтобы ему присылали редкие манускрипты. Особенно он любил латинских поэтов.

— Что лично я не могу одобрить,— заметил архиепископ Ги, недружески косясь на упитанное лицо этого легкомысленного пастыря, занимавшего короля подобными ничтожными разговорами.

Не желая сердить архиепископа, влиятельного человека в королевском совете, который мог повредить ему перед королем, Готье со вздохом согласился:

— Ты прав, достопочтенный. Сначала священное писание, а потом уже поэты и философы.

— Философия есть служанка теологии! — наставительно поднял палец архиепископ.

— Кто же станет спорить с этим! — якобы воодушевился Готье.— Но чтобы познать с пользой для души священное писание, необходимо быть знакомым с философией, хотя бы для того, чтобы опровергать учения ложных мудрецов. Следовательно, нужно знать латынь. Постичь же ее можно, только читая поэтов. Так замыкается круг. Вот почему в школе у Герберта мы изучали Вергилия. Но его любимыми книгами были Бозций и Сенека. Разве не может христианин искать в этих книгах утешения в трудную минуту жизни?

— Утешение в часы душевных сомнений или когда смущают мысли о смерти, христианину надлежит искать в Псалтири,— строго возразил архиепископ.

Как большинство князей церкви, Ги не отличался большой ученостью, считая, что для спасения души достаточно малого знания и большой веры. Зато он неплохо сидел на коне, хорошо разбирался в породах гончих псов, удачно охотился на оленей и вепрей и при случае мог, подвязав шпоры и опоясав себя мечом, с успехом вести верных вассалов против какого-нибудь дерзкого графа, захватившего его стадо тонкорунных овец.

— И в этом я с тобой согласен,— опять вздохнул Готье в ответ на слова архиепископа о Псалтири.— Но мы в юности изучали грамматику и риторику. О моя юность! С какой жадностью мы пили из источника знания! Граматику мы проходили по Донату, а потом уже пускались в необъятное море Присциана...

Королю, видимо, наскучила эта ученая болтовня, и, заметив это, Готье оборвал свои разглагольствования на полуслове. Разговор принял другое направление. Заговорили о хозяйственных вещах, о тлях, вредящих виноградникам, о ссоре двух аббатов по поводу каких-то прудов для разведения рыб. Генрих до того увлекся этим событием церковной жизни, что на некоторое время оставил королеву. Анна осталась с Людовикусом, и этот человек, полный лукавства и ехидства, стал рассказывать вполголоса о папе Сильвестре.

— Этого папу обвиняли в сношении с дьяволом...

Анна широко раскрыла глаза. Ей стало вдруг страшно среди этого мрачного и холодного дворца, где уж крались по винтовым лестницам таинственные тени, хотя до ночи было еще далеко.

Прикрывая рот сложенной пополам лисьей шапкой, Людовикус не стеснялся передавать слухи, ходившие всюду о странном наследнике святого Петра, не опасаясь об этом рассказывать еретической королеве, о которой уже было известно, что она отказалась присягать на латинской Библии.

— Вот что мне говорили в Испании... Якобы Герберт, когда он изучал там чернокнижие, похитил у какого-то сарадинского волшебника магическую книгу...

Анна не знала, что такое чернокнижие или магические книги. Ее душевный мир был полон солнца, а домовые, ушедшие от креста в овины, представлялись ей добрыми стариками, осыпанными мукой.

Людовикус шепотом объяснял ей:

— Магические книги содержат тайны, помогающие господствовать над миром. Обладающий ими всемогущ и может медь превращать в золото.

Анна внимательно слушала, пока король обсуждал с епископами ссору двух аббатов.

Все так же держа лисью шапку у рта, торговец тихо говорил:

— Проснувшись ночью и обнаружив пропажу, волшебник бросился в погоню за похитителем, руководствуясь указаниями небесных светил. Звезды правильно определили дорогу, по которой убегал Герберт. Но он спрятался от сарацина под мостом, ухватившись руками за балку и повиснув в воздухе, а наука волшебников ведь бессильна в нахождении людей и предметов, находящихся между небом и землей.

От этих слов Анне стало еще страшнее.

— И такой человек стал папой?

— Под именем Сильвестра.

— Хотя занимался волшебством?

— Уверяют даже, — с опаской оглянулся Людовикус по сторонам, — что он заключил союз с Вельзевулом. Будто бы папа продал ему душу и за это получил обещание от сатаны, что не умрет до тех пор, пока не отслужит мессу в Иерусалиме. Папа ни за какие блага не поехал бы в Палестину.

— Но все-таки умер.

— Умер. Однажды он служил мессу в римской базилике Иерусалимского креста. Этого оказалось достаточно, чтобы настал его смертный час.

— Откуда ты знаешь все это?

— Мне рассказывал об этом некий бродячий монах по имени Люпус. Он был с нами, когда мы направлялись в Киев, а потом куда-то исчез. Однажды мы пили с ним пиво в одной регенсбургской харчевне, и тогда-то он и рассказывал мне эту историю.

— И это все правда?

Людовикус не ответил на этот вопрос, но в глазах его зажглись какие-то странные огоньки. У Анны забилось сердце. У нее мелькнула страшная мысль: не сатана ли в образе Людовикуса искушает ее, рассказывая о пастыре церкви подобные ужасы? Но король уже заметил взволнованное лицо жены и спросил ее:

— Что с тобой?

— Ничего.

Генрих подумал, что причиной бледности королевы были перемены в ее жизни.

### III

Королевский дворец в Париже напоминал своими мощными стенами и скупой прорезанными окнами крепость. Строитель его, благочестивый король Роберт, неустанно помышлял о высоких вещах и сочинял гимны, перекладывая их на нотную музыку, но, должно быть, в глубине души не так-то уж был уверен в любви парижского народа, если решил возвести эти стены толщиной в шесть локтей. Все здесь было мрачно и дышало недоверием. Но



еще более делали дворец похожим на замок или темницу три круглые башни под высокими остроконечными крышами из свинцовых плиток. В одной из них хранились за семью замками королевские сокровища, в другой жил медикус, тайно составлявший гороскопы и в положенное время пускавший королю кровь. Наконец, в третьей башне, в вонючей подземной тюрьме, держали пленников, а в верхнем помещении производили допросы и пытки преступников и еретиков; там до утра пылал горн, в котором королевские палачи накачивали железо, чтобы допытаться святой истины у врагов короля, и порой пронзительным голосом выла ведьма, брошенная в подземелье по доносу благочестивой соседки и признавшаяся под пыткой, что колдовала над облаткой, взятой в рот во время таинства причащения, чтобы использовать ее в своих сатанинских целях. Иногда запоздалый рыболов, возвращаясь с реки с дюжиной серебристых рыб в свою невзрачную хижину, слышал глухие, полные ужаса крики, вылетающие из высокого окна, забранного решеткой и озаренного страшным адским светом. Дома, лежа в постели, он рассказывал шепотом сонной подруге о том, чему только что был свидетелем, но уставшая за день жена думала, что бедняга выпил с приятелем пива в кабачке «Под золотой чашей», и засыпала, повернувшись на другой бок.

Дворцовые помещения были обширны, но неуютны. Зимой требовалось топить очаги с утра до ночи, чтобы прогнать сырость каменных зал, где тихо бродили, поджав хвосты, королевские псы и в углах пахло собачьей мочой.

Если король отсутствовал, Анна поднималась иногда в сопровождении графини Берты и Милонегги на дворцовую башню, куда вела каменная винтовая лестница. Отсюда открывался вид на весь Париж, и его окрестности лежали вокруг как на ладони. Внизу протекала зеленоватая Секвана, и над водою склонялись старые ивы. Город был обнесен стенами, наполовину каменными, наполовину дубовыми. Все пространство внутри укреплений застроили высокими, но узкими домами, среди которых кое-где возвышались белые церкви.

Графиня Берта, приставленная к особе королевы, показывала Анне местоположение примечательных зданий. Прошел год с тех пор, как Ярославна вступила на французскую почву, и она уже понимала многое из того, что ей говорила графиня.

— Там церковь святого Якова... А еще дальше, правее,— святого Петра. Вот стоит госпиталь святой Екатерины, или, иначе, Дом милосердия. Там призывают калек и болящих. Видишь два бугра? Это предместья святого Жермена д'Оксеруа и святого Евстафия. На север лежит предместье святого Мартина на Полях, а на юг — святого Северина и Юлиана Милостивого...

Анне казалось, что нельзя шагу ступить, чтобы не встретиться на земле с каким-нибудь святым, мучеником, блаженным. А в то же время в мире было столько грехов и злодеяний, и дьявол бродил поблизости от монастырей и дворцов.

Анна уже побывала в этих церквях, скромных и полутемных, со скучными окошками в цветных стеклах, через которые небо и весь мир казались страшными и как бы охваченными безмолвным пожаром. В приделах стояли деревянные, раскрашенные в голубой и розовый цвета статуи девы Марии. Колоколенки церквей строились в виде башен с большеголовыми медными петушками на крышах.

Это мало походило на киевскую Софию, даже на капеллу в Регенсбурге, которую Анне удалось повидать. Солнечный луч редко проникал в темные парижские церкви. Но полумрак вызывал в душе молитвенные настроения,

напоминал о тишине смерти, и, когда Анна спускалась в крипты<sup>1</sup>, ей казалось, что она уже стоит одной ногой в могиле.

Вскоре после приезда во Францию монах Василий, молчаливый человек родом из Переяславля, умер. Но так как Борислав и его жена, выполнив возложенное на них поручение, поспешили возвратиться из латинских стран в Киев, а Елена и Добросвета не замедлили выйти замуж за французских рыцарей и уехали в отдаленные замки, то около королевы никого уже не осталось из своих, кроме Милонег и конюха Яна. Вдовица продолжала быть ее наперсницей, а Ян самоотверженно ухаживал за кобылицами королевы, и, когда Анна награждала его за усердие, конюх отправлялся в соседний кабачок, где над входной дверью висела позолоченная деревянная чаша, и сквозь пьяные слезы вспоминал навеки покинутую отчизну. Дорожку в эту харчевню показал ему королевский истопник по имени Фелисьен.

На зеленоватой Секване плыли ладьи торговцев и челны рыбаков. Вдали голубела гора Мучеников. На низком правом берегу тянулись предместья, как бы выжатые за городские ворота жилищной теснотой. Они доходили до развалин аббатства св. Мартина, разрушенного в страшные годы норманнских нашествий. Анна уже знала, что там была расположена деревушка, где королевские псары воспитывали охотничьих собак Генриха. Ниже стояли водяные мельницы. Древняя римская дорога, продолжавшая улицу св. Мартина, уходила далеко на юг, минуя заросшие плющом руины на холме св. Женевьевы. Графиня Берта говорила Анне, что этот путь, как стрела, пересекает Луару и что так можно дойти до самой Испании. Дорога, бежавшая в противоположную сторону, на север, извивалась как змея. Ее прокладывали не римляне, а путники и выючные животные, применявшие ко всем особенностям почвы и огибавшие всякую возвышенность. Она вела в Реймс, и Анна часто вспоминала, как ехала по ней мимо предместий, когда впервые въезжала в Париж, на коне, в парчовом греческом наряде, привезенном из Киева, и в опушенной мехом шапочке, с которой не хотелось расставаться, так как этот убор напоминал о русской стране. Такие шапки даже в летнее время носили ее братья. Анна перекинула две рыжие косы на грудь, а на плечах у королевы тяжко повисла та самая хламида, в которой она короновалась. На маленьких ногах виднелись усыпанные жемчужинами красные башмачки.

Рядом с Анной красовался Генрих, в шляпе с радужным петушиным пером, и все могли убедиться, что король в отличном настроении. За ним ехали братья, рыцари, оруженосцы. Пажам служили ему юноши лучших фамилий Франции, прислуживали за королевским столом и выполняли различные поручения, прежде чем стать рыцарями и сражаться на полях битв. Серую кобылицу Анны вел под уздцы юный паж, сын графини Берты, время от времени поднимавший на королеву глупые, восторженные глаза. На повозках везли под надежной охраной подарки Ярослава — меха, оружие, серебряные сосуды, греческие материи. Всем желающим разрешалось обозревать эти сокровища; и вокруг возов теснились башмачники, хлебопеки, продавцы рыбы, торговцы пряностями и солью, краснорogie бродячие монахи, воины и пялили глаза на королевское богатство.

Народ запрудил узкие улицы столицы. Женщины и дети смотрели на шествие из окошек. Но у Большого моста, где были расположены лавки еврейских купцов, купля, продажа и торговая суета не прекращались даже в этот знаменательный день. Однажды Анна видела, как скоморох ловко ходил в руках, перекинув через голову тощие ноги в зеленых тувях, может быть тоже имея намеренье почтить своим искусством новую королеву. Время

<sup>1</sup> Подземная часовня.

от времени Генрих бросал в толпу горсть медных и серебряных монет, и тогда, к великому удовольствию не только молодых пажей, отнюдь не отличавшихся большим разумом, но даже седоволосых графов, начиналась такая потасовка ради закатившейся в грязь монетки, что люди забывали о торжественности обстановки.

В этот полный шума и волнений солнечный день французский народ радостно приветствовал свою новую королеву криками, в надежде, что она будет не такая, как другие. Вокруг была беспросветная жизнь. Хотя в бедных хижинах еще хранились воспоминания о том волнительном годе, когда сервы, презрев покорность богу и властям предержавшим, восстали на сеньоров и попов, вообразив, что могут жить по-иному и не платить оброк. За это им отрубали руки и ноги. Но никакими муками нельзя задушить в человеке стремление к счастью и свободе.

Анна почти никогда не оставалась наедине с мужем. За столом, во время поездок по королевским владениям, на охоте, в королевском совете, в котором королева принимала участие наравне с Генрихом, хотя плохо разбиралась в тех делах и тяжбах, что обсуждались в ее присутствии, — всегда и в любой час их разделяли чужие люди. Даже в опочивальне часто появлялись у постели то сенешаль, то есть королевский дворецкий, с докладом по неотложным вопросам, то вестник с сообщением из замка Тийер, то старый псарь с известием о болезни любимой собаки короля, второй день отказывавшейся от пищи, или еще о чем-нибудь. Перед тем как лечь в супружескую постель, Генрих обычно сидел, в одной рубашке, босой, перед зажженным камином и, мешая, как простой истопник, железной кочергой уголья, хрипловатым голосом рассказывал королеве о своих трудах, и мало-помалу Анна стала жалеть этого человека, которого враги теснили со всех сторон, как волки одинокого пса у овчарни.

Только что вернувшись из очередного набега на графские селения, недалеко от Блуа, протягивая озябшие руки к огню, король говорил жене: — Сегодня мне сопутствовала удача! Благодаря богу, мы спалили не одно селение, а граф спал, как медведь в своей берлоге. Но жаль, что жатва была уже увезена с полей.

Анна радовалась королевским успехам, которые все считали победой, так как граф не осмелился выйти в поле и, значит, признал себя побежденным.

— В память такой победы я решил восстановить разрушенное аббатство святого Мартина. Думаю, что это произведет хорошее впечатление в Риме. Надо поскорее отстроить церковь, одарить ее священными сосудами и собрать монахов. Пусть молятся за Францию. Мы наделим их землей и отпишем в пользу аббатства пять или шесть селений, и сервы будут разводить для монастыря скот и работать на нивах.

Анна лежала в постели, вытянув руки поверх одеяла из беличьих шкур, привезенного из Киева. В этом мире, где человек человеку волк и люди помышляли с жадностью о выгоде, одинаково в Париже и в Киеве радость человеческой жизни нарушали войны, моры, болезни, страдания. Анне больше нравилась та жизнь, что описывалась в книгах, в прочитанных трогательных историях о любви, какой ей не суждено было испытать на земле. Анне с детства внушили, что судьба помазанников не такова, как у обыкновенных людей. По вечерам Генрих рассказывал о непокорных вассалах, о не доставленном вовремя продовольствии, о постройке очередного замка. А между тем существовала на земле любовь до гроба, счастье свидания с любимым, песня влюбленного менестреля...

Почесывая бок, король жаловался:

— Каждый день новые неприятности. Никто не хочет думать о бедной Франции, и всякий считает, что прежде всего ему надо приумножить свои владения. Вот опять граф Рауль угнал у Верденского епископа восемнадцать коров и не желает их возвращать. Я вынужден был исполнить просьбу епископа и послал сказать Раулю, что недопустимо обижать церковных пастырей, даже требовал, чтобы он немедленно вернул животных. Граф ответил посланцу, что не боится ни короля, ни громов церкви. Этот наглец знает, что у меня не хватит сил наказать всех нарушителей божеских и человеческих законов, а ведь от этого королевское имя терпит ущерб. Но не могу же я объявить Раулю войну из-за восемнадцати коров, хотя бы и принадлежащих епископу. И так во всем. Мои графы больше походят на разбойников, чем на подданных христианского короля.

Анна представила себе, как воины графа Рауля угоняли в замок Мондидье пестрых епископских коров, задиравших хвосты и несущихся во всю прыть под уколами воинских пик, и невольно рассмеялась.

— Чему ты смеешься? — спросил король.

— Я смеюсь над тем, какую великую победу одержал граф Рауль над восемнадцатью коровами.

— Дело не в восемнадцати коровах, а в епископе.

— Верденский епископ толще нашего Готье. Зачем ему коровы?

— Речь идет не о толщине епископа, а о том, что он мой вассал и я обязан его защищать.

Париж уже давно погасил огни и отошел ко сну, почесываясь от блох, пересчитывая на сон грядущий жалкие денари, раздумывая о завтрашних торговых делишках, мало заботясь о том, что будет с Францией. Только уставший, как сторожевой пес, король, беспокоясь о своих доменах, тем самым помышляя и о многих тысячах французских деревень, и спавшие в этот час тяжелым крестьянским сном сервы считали, что он их единственная надежда на спасение. Анна видела, как Генрих метался из одного конца своих владений в другой, строил замки, воевал, терпел поражения, снова начинал борьбу, одерживал победы, и она испытывала уважение к этому упрямцу.

Король, опустив голову и как бы рассуждая сам с собою, говорил:

— Чего они хотят от меня? В строю — триста рыцарей и три тысячи лучников и копейщиков. Что я могу сделать, располагая такими силами? А на большее у меня нет средств. Можно позавидовать твоему отцу. У него горы золотых монет. Он может нанимать на службу норманнов, у него тысячи конных воинов. Напиши ему, чтобы он дал нам денег на наемников.

Анна отрицательно покачала головой.

— Почему ты не хочешь? — спросил король.

— Отец не пришлет ни одной золотой монеты. Над нашей страной нависли черные тучи. Разве не слышал ты, что рассказывали купцы?

Король продолжал делиться с королевой своими заботами:

— Плохие новости из Рима. Папа обвиняет меня в том, что я торгую епископскими местами. Но ведь это приносит немалый доход королевству. А если французский король будет богат, то это к выгоде всей страны. Где я возьму денег, чтобы кормить воинов? Как барон поставляет своей деревне кюре, так и король должен поставять епископа и вручать ему пастырский перстень и посох. Само собою разумеется, за определенную мзду. Они богатые люди.

Анна приподнялась на постели и угрожающе спросила:

— А если папа отлучит тебя от церкви?

Генрих уронил голову на руки. Что он мог ответить на этот страшный

вопрос? Людям становилось не по себе при одной мысли, что им придется гореть в аду. Загробные муки представлялись грешнику столь ужасными, что порой он как бы чувствовал на своей коже долетавший из преисподней жар. Король Франции и последний конюх были равны в этой детской вере. Не говоря уже о том, что отлучение или запрет совершать в церквях богослужения подрывали королевскую власть. Народ послушно брел туда, куда его вели монахи.

Огонь в очаге вдруг вспыхнул с новой силой и еще раз напомнил о геенне. Но мучительный вопрос не давал Генриху покоя. Как бы защищаясь перед невидимыми обвинителями от возводимых на него жалоб, он рассуждал вслух:

— А разве в Риме не торгуют престолом Петра? Мне рассказывали пилигримы. Папа Бенедикт без стеснения продавал свой сан всякому, кто больше заплатит. Когда ему удалось продать тиару, он тут же посвятил покупателя в первосвященнический чин и удалился из Латерана. Тем временем враги избрали другого папу. Но Бенедикт решил, что нет никаких оснований для спора, так как церковных доходов вполне могло хватить на троих, и в Риме тогда правила одновременно три папы. А иногда богатые женщины делали папами своих любовников или прижитых в распутстве детей...

Как обычно, утром истопник Фелисьен принес дрова и стал растапливать очаг. Анна, еще лежа в постели, охотно разговаривала со стариком, который всегда сообщал ей что-нибудь занятное. Она привыкла к этому человеку и не опасалась его. Старый Фелисьен тоже привязался к своей доброй и странной королеве, столь не похожей на других дам. Много говорил ему о госпоже — не столько словами, сколько знаками — конюх Ян, когда они сидели вдвоем у трактирщика Жака, на улице Юлиана Милостивого, где в зимние вечера над воротами поскрипывала на ветру вывеска в виде позолоченной чаши.

Фелисьен стоял на коленях перед очагом, выгребал погасшие уголья и по своей привычке рассказывал королеве страшные вещи.

— Слышала ли ты, госпожа, что случилось в Орлеане? Не слышала? А в этом богоспасаемом городе волк ворвался среди бела дня в церковную ограду, схватил веревку от колокола зубами и стал звонить к вечерне. Недоброе произошло потом в Орлеане. Вечером того же дня запылал большой пожар, и в огне погибло много домов. Об этом мне сообщил некий монах Люпус, недавно пришедший оттуда в Париж. Вот какие дела совершаются на свете, а мы ничего не знаем.

Анна со всех сторон слышала рассказы о чудесах, о кометах, плывущих по небу и исчезающих с пением первых петухов, о черных эфиопах, выходявших по ночам с неописуемым зловонием из раки какого-то жесвятого.

Иногда епископ Готье, которому король поручил обучать Анну всему, что надлежит знать французской королеве, читал ей хронику Рауля Глабера. Епископ знал немало историй об этом монахе, прозванном за отсутствие растительности на лице Бритой Рожей. Беспутный бродяга, если верить его писаниям, часто встречался и запросто беседовал с дьяволом. Первый разговор имел место в аббатстве Шампо, где в то время находился этот неутомимый путешественник и сочинитель нескромных стишков. Ночью, перед заутреней, вдруг у ложа монаха появилось отвратительнейшее существо. Козлиная борода, острые уши и мерзкий, как у крысы, хвост. Потрясая постель Рауля, дьявол завопил:

— Тебе не придется долго валяться! Скоро утащу твою душу в адское пекло!

Глабер побежал искать спасения в монастырской церкви, так как около святого алтаря сатанинские чары теряют силу, и лишь таким образом спасся от постыдной кончины.

Подобная же история произошла с Глабером в другом аббатстве, недалеко от Дижона. Сатана разыскивал там в монашеской опочивальне какого-то бакалавра и принял за него Глабера. Только с большим трудом Раулю удалось на этот раз избежать гибели.

Анна вспомнила эти страшные рассказы и, пользуясь тем, что было солнечное утро, когда дьявол уходит в преисподнюю, с волнением спросила Фелисьена:

— Видел ли ты когда-нибудь сатану?

Старый истопник стал в ужасе креститься.

— Страшное ты говоришь, милостивая госпожа! Никогда в жизни не видел, и пусть сохранит меня святая дева от такого видения! Но сатана рыщет вокруг нас. Мне рассказывали недавно про одного воина. Не помню, где это происходило. Воин лежал после кровопролитного сражения в госпиции и очень страдал от раны. Вдруг является к нему некто и спрашивает: «Узнаешь ли меня, Жером?» Так звали воина. «Нет, — ответил воин, — не узнаю. Кто ты?» — «Неужели ты не видел на поле битвы епископа Лотарингского?» — спросил посетитель. А надо тебе сказать, милостивая госпожа, что Жером в те времена сражался за немецкого короля, против лотарингцев... И тут бедняга вспомнил! Того, кто приставал к нему с вопросами, Жером уже лицезрел некогда в пылу ужасного сражения! Только тогда этот человек был в золотой митре. В одной руке держал крест, а в другой меч. Однако лицо у епископа...

— Лицо у епископа?

— Было то же самое, какое воин видел теперь перед собою! В госпицию явился дьявол.

— Зачем ему понадобился воин?

— А вот послушай. Жером спросил: «Зачем ты пришел ко мне? Исчезни! Рассыпся!..» Но сатана сказал: «Я тот, у кого власть над всем миром. Моими стараниями возведен на трон кесарь Конрад. Я явился, чтобы исцелить тебя».

— И он исцелил его?

— Ах, в том-то и дело, что воин в страхе сотворил крестное знаменье, и тогда сатана исчез и растаял как дым.

— Что случилось с воином?

— Он умер от раны.

Старик обернулся и, удостоверившись, что в помещении никого нет, кроме этой не совсем здоровой умом королевы, к которой он чувствовал полное доверие, зашептал:

— А кто знает? Может быть, он мог бы жить до сего дня, если бы вошел в соглашение...

— С кем?

— С ним...

— Как ты можешь говорить подобное? — возмутилась Анна.

— А разве не все равно для несчастных, кто будет повелевать, бог или сатана? Вот мы молимся в церквах, но бог не помогает нам. Опять был неурожай, и черви пожрали земные плоды, и все тяжелее бремя бедняков. Сеньор требует свое, оставляя поселянину только каждый третий сноп, а как можно прокормить жену и детей таким количеством хлеба? Спаси нас, добрая королева!

Старик упал на колени перед постелью и простирает руки к королеве, как будто бы она была сама святая Женевьева.

— Король заботится о вас,— сказала Анна.— Он день и ночь думает о Франции.

— Скажи ему, чтобы он облегчил наши страдания. Если король не сделает этого, кто же другой позаботится о нас? Сеньоры воюют между собою, топчут поля и виноградники. Или вепри выходят из леса и разрывают наши огороды. Я истопник, но сыновья мои трудятся на нивах. Вчера пришел из Жизора старший сын, именем Жак. Он рассказал, что люди графа похитили у него поросенка и двух куриц и ничего не заплатили, а это — все достойные семьи. Когда сын попытался возвратить похищенное, его беспощадно избили. Где же справедливость, моя госпожа? Будь милосердной, упроси короля, чтобы он покарал графа и вернул Жаку поросенка и двух кур.

Вечером Анна передала королю о том, что слышала от истопника. Генрих, по обыкновению перемешивая кочергой уголья в очаге, ответил ей:

— Не слушай этих еретиков. То коровы, то курицы... Я не намерен ссориться с графом Жизорским из-за поросенка и двух кур. У меня есть заботы поважнее.

Но Анна чувствовала, что за словами старика, поведавшего о своей беде, скрывалось большое горе.

Епископ Готье продолжал читать Анне французские книги. Чаще всего это была все та же страшная хроника Рауля Глабера. Но теперь королеву интересовали не столько появления сатаны, сколько сведения о том, что случилось в последние годы на французской земле. Особенно потрясали ее описания бедствий, выпавших на долю Франции, когда королевство посещал голод. Мелу зерна продавали в такие времена за чудовищные деньги. Люди питались листьями одуванчика, ели древесную кору, собак, кошек и даже человеческие трупы.

Держа в пухлых руках переплетенную в свиную кожу книгу, епископ Готье прочел однажды королеве своим размеренным голосом, от спокойствия которого еще страшнее казались человеческие страдания, о людоеде:

— «Близ Макона, в лесу, называемом Шатене, стоит уединенная церковь, посвященная св. Иоанну. Какой-то злодей построил около нее хижину, где убивал всех, кто искал у него убежища на ночь. Случилось однажды, что к нему зашел путник со своей женой и попросил ночлега. Заглянув в угол хижины, он увидел там черепа мужчин, женщин и детей и, в крайнем смущении, побледнев как смерть, хотел удалиться, но кровожадный хозяин силою пытался удержать его. Однако страх смерти придал путнику силы, и он благополучно явился с женою в город, сообщил графу Оттону и всем жителям о том, что видел в Шатене. Тотчас послали воинов, чтобы проверить показания спасшихся от смерти. Люди пришли в лес и нашли чудовище в его логове, а в хижине — кости сорока восьми зарезанных и пожранных им жертв. Злодея привели в город и сожгли, и я самолично присутствовал при его казни...»

Анна подумала, что, вероятно, этот лишенный растительности на лице человек много повидал на своем веку, если был очевидцем подобных событий. Действительно, в хронике Рауля Глабера находилось немало других страшных записей. В Турносе один преступник осмелился продавать на базаре пироги с человеческим мясом. Его тоже сожгли, а обгорелый труп закопали вне кладбищенской ограды, но некий нечестивец вырыл ночью мертвеца и в свою очередь был казнен. Находились злодеи, протрачивавшие детям яблоко или кусок хлеба и заманивавшие их в лес; там они убивали детей, а трупы убитых пожирали, как дикие звери. В тот год в огромных ямах хоронили по пятьсот человек, но не хватало даже таких могил. А между тем дождь

продолжал лить много дней подряд, поля покрылись водой или заросли сорняками; на улицах появились волки, привлеченные трупным зловонием, и люди не знали, когда же наступит конец их несчастьям...

Во всем мире было мрачно и безнадежно. Вавилонский принц, как Рауль Глабер называл египетского халифа, разрушил храм Христа. Мир жил как в подземелье. В соборной крипте слышались рыдания. Это плакали люди, потерявшие веру в бога и готовые обратиться за помощью к сатане. Но дьявол не обращал внимания на души бедняков, а денно и нощно бродил около королевских дворцов или у ворот богатых монастырей, где розовощекие аббаты запивали жирное мясо орлеанским вином и пели непристойные песни. Везде, во всем мире, в келии киевского монастыря и в скриптории турецкой школы, сатана раскидывал свои сети и улавливал человеческие души. Недаром по школьному уставу учителю разрешалось ходить ночью с учеником на двор только с зажженным фонарем и непременно в присутствии третьего лица, потому что монашеское одеяние не спасало человека от содомских пороков. Дьявол толкал людей на злодеяния и внушал им сладострастные мечты...

Король поднялся с табурета, потянулся с удовольствием и затряс бородой в длительном зевке, широко раскрыв рот. Проверив, хорошо ли заперта на ночь дверь, он лег в постель рядом с королевой. Последние вспышки огня в камине озаряли ее лицо розоватыми отблесками...

#### IV

Когда наступала зима и на Секване, делавшейся совсем черной,плыли хрупкие льдинки, напоминая Анне о далекой родине, она сидела у очага, проводила дни за книгой или слушала епископа Готье. Тучный мудрец вел обучение королевы по урокам Алкуина, называвшего себя в переписке с Карлом Великим латинским именем — Флакком Альбином. Но в этих беседах с кесарем или Пипином Коротким обычно спрашивал ученик, а отвечал учитель, толстяк же заставлял отвечать на свои вопросы Анну и тем самым укреплял ее разум.

— Что такое небо? — спрашивал он ее со всей доступной ему любезностью.

— Вращающаяся сфера, — без запинки отвечала Анна.

— Что такое день?

— Возбуждение к труду.

— Что такое солнце?

— Украшение небес, счастье природы.

— А еще что?

— Распределитель часов.

— А что такое луна?

— Подательница росы, свет ночи, предвестница погоды.

— И это верно. А что такое звезды?

— Путеводительницы морехода, краса ночи.

— Истинно так. А теперь скажи, что такое дождь?

— Дождь есть зачатие земли, кончающееся рождением плодов.

— Что такое ветер?

— Колебание воздуха.

— Что такое земля?

— Кормилица живущих.

— Что такое весна?

— Художница земли.



Что такое небо? - спрашивал он ее совсем  
доступной ему любознателью



Бращающаяся сфера, без запинки  
отвечала Анна.

- Что такое лето?
- Спелость плодов.
- Что такое осень?
- Житница года.
- А зима?
- Изгнанница лета.
- Теперь скажи мне, что такое год?
- Колесница мира.
- Кто везет ее?
- Ночь и день, холод и жар.
- Кто ее возницы?
- Солнце и луна.
- Сколько они имеют домов?
- Двенадцать.
- Кто живет в них?

Анна сжала руки, чтобы напрячь память, и, закрыв глаза, ответила:  
 — Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец...

Анна запнулась, и Готье подсказал:

— Козерог...

Анна закончила перечень:

— Водолей, Рыбы...

Готье, уставший не менее Анны, тяжело вздохнул. Горница, где Анна изучала науки, со сводчатым потолком, побеленная, но без всяких украшений, была для Анны самой любимой в этом скучном дворце. Около очага, где дотлевало большое обугленное полено, стояли два деревянных, потемневших от времени кресла и таких же два табурета. Для удобства на них клали подушки из красного сукна. Под окнами тянулась вдоль стены длинная дубовая скамья. В одном углу горницы блистал медью тяжелый окованный ларь, в котором хранились королевские архивы, в другом бросалось в глаза каждому входящему высокое сооружение вроде церковного аналоя. На нем лежала раскрытая огромная Псалтирь в серебряном окладе. Книга была предусмотрительно прикована цепью, чтобы дьявол не похитил это драгоценное утешение христиан в часы печали. Рядом находился дубовый наклонный пюпитр, клирики на нем писали хартии, когда здесь происходили королевские советы. Сам король садился за стол только для того, чтобы принимать пищу, и подписывал дипломы, или, вернее, ставил на них свой «сигнум» в виде креста, не сходя с трона.

В парижском дворце текла размеренная жизнь. Никаких событий, но много суеты. Генрих часто бывал в отсутствии, потому что даже в зимнее время на границе с Нормандией чувствовалось напряженное состояние, и там приходилось возводить новые замки, а старые, разрушавшиеся от времени, приводить в надлежащий вид. Весной обычно начинались военные действия. Но если не шумела война, то с наступлением теплых дней король и королева, а вместе с ними двор, все придворные чины, от сенешаля до последнего псаря, отправлялись в какой-нибудь отдаленный домен. Дороги во Франции находились в таком состоянии, как, впрочем, и повсеместно в Европе, что легче было людям добраться на конях и мулах до запасов продовольствия, собранного в огромном количестве в королевских замках, в житницах и погребках, чем привозить всякую живность, вино, сыры, колбасы, мед, соленую и копченую рыбу и прочее в Париж. Когда двор, как прожорливая саранча, пожирал эту снедь, перебирались в другой замок или город, и король пользо-

вался случаем, чтобы попутно разбирать судебные тяжбы, проверять отчеты вороватых прево, посещать монастыри с прославленными мощами мучеников. А за это время пополнялись на зиму запасы в кладовых парижского дворца.

Двор отправлялся в путь на конях и мулах. На повозках и вьючных животных везли все необходимое для короля и королевы — одежду и посуду, оружие и принадлежности для писания. Кавалькада всадников растягивалась на целое лье. Остановки происходили в каком-нибудь попутном аббатстве, которое в такие наезды превращалось на несколько дней в развороченный муравейник. По древнему обычаю, аббатства обязывались в любое время года предоставлять королю и его людям пропитание и убежище, пока он не покинет монастырскую ограду. В то время как Генрих и его супруга проводили время в благочестивой беседе с аббатом, монахи, как в дни нашествия неприятеля, переворачивали вверх дном весь монастырь, чтобы достать нужное количество съестных припасов и вина и накормить ораву бездельников и тунеядцев, а потом с прискорбием подсчитывать расходы и убытки. Впрочем, король обычно жертвовал в пользу монастыря какой-нибудь ценный церковный сосуд или дарил ради спасения своей души еще одно селение, с нивами и севами.

В тот год объезд королевских владений начался с города Санлиса. Анна много слышалась о его красотах, чудесном лесном воздухе и замечательных охотах и с удовольствием отправилась в это путешествие.

В дороге было шумно и весело. При дворе всегда находились расторопные менестрели, умевшие хорошо играть на виеле и распевать веселые песенки. Жонглеры развлекали королеву и ее приближенных дам всякими забавными шутками и рассказами о любовных проделках неверных жен и распутных монахов. Король считал такое времяпрепровождение бесполезным и рано уходил спать в полевой шатер или монастырскую келию с распятием на стене, а королева оставалась у костра, где-нибудь у реки или на опушке благоуханной рощи.

Оглушительно квакали лягушки...

Теплая ночь была подобна черному плащу. Пахло речной сыростью, дымом, примятой травой. Лягушачий хор с каждым мгновением становился все сильнее, настойчивее, напряженнее. Крики этих земноводных наполняли окрестность, как будто бы их глотки захлебывались от радости жизни и от полноты самоутверждения в мироздании.

Длинноносый оруженосец унылого вида бросил в костер охапку хвороста, взятого без спроса под монастырским навесом, и огонь вспыхнул с новой силой. Сухие сучья весело потрескивали. Пламя озарило сидевшую на ковре королеву, кидало трепетные блики на другие молодые лица, на стреноженных коней, падавших в отдалении на лужайке.

Генрих уже давно храпел в отведенной ему келии, спал у его двери сторожевой оруженосец, почивал сном праведника епископ Готье, уснули аббат и монахи. С королевой остались лишь молодые женщины и рыцари. Анна обещала супругу, что поднимется вслед за ним в монастырь, расположенный на высоком берегу, но ее не привлекала монастырская тишина, и она задержалась у костра. Необыкновенная ночь растревожила людей своим теплом, травяными запахами, голосами лягушек.

Как всегда в подобных случаях, менестрель пел, но на этот раз неудачно. Он охрип во время недавней перебранки с каким-то драчливым оруженосцем, и, кроме того, смущала близость аббатства, в котором почивал король. Тогда все стали просить королеву:

— Расскажи нам какую-нибудь повесть!

Иногда Анна вспоминала на таких собраниях северные саги или песни старых гуслиров, услышанные на киевских пирах. Их запоминали менестрели, и кое-что сохранилось в их стихах. Сама того не подозревая, Ярославна сеяла на французской земле русские семена.

— Что же мне рассказать вам? — улыбнулась королева.

— Про неверную жену!

Слушатели и особенно слушательницы готовы были в десятый раз внимать занятым историям.

Анна лукаво погрозила пальцем особенно восторженной девице, которой рано было знать подобные вещи.

— Ну хорошо. Расскажу вам про неверную жену...

Все старались устроиться поудобнее на ковре или просто в траве. Длинноносый оруженосец лежал на животе, нелепо подняв ноги в желтых башмаках, и грыз былинку. Никто не заметил, как в соседние кусты тайно пробрался, задирая полы сутаны, молодой монах, присел там и тоже приготовился слушать дьявольские соблазны.

Анна начала так:

— Жил в Скандинавии знатный воин Греттир... Но его предательски убил некий Онгул и, чтобы спастись от мести родственников убитого, убрался поскорее в Константинополь и поступил в царскую стражу, охранявшую днем и ночью дворец. Однако об этом узнал Тростейн, брат Греттира, и поспешил продать все свое имение и отправился вслед за убийцей. Царем в те годы был Михаил. Оба скандинава сделались его телохранителями, какими были многие норманны. Сначала они не признали друг друга. Однако вскоре предстоял далекий поход, и надлежало произвести осмотр оружия. Каждый воин показывал свой меч и копье. Онгул протянул редкостной работы клинок, некогда принадлежавший Греттиру. «Почему зазубрина на лезвии?» — спросил его Тростейн. «Я рассек некоему противнику череп...» Тут брат Греттира понял, с кем он имеет дело, взял из рук Онгула меч, как бы для того, чтобы получше рассмотреть оружие и полюбоваться искусством кузнеца, и в то же мгновение убил злодея...

Но это было только вступление в легкомысленную историю о неверной греческой жене. Лягушки умолкли на некоторое время, за исключением одной, самой басистой, и потом дружно возобновили свои старания... Этот шум не мешал рассказу; наоборот, он как бы наполнял его жизнерадостностью, несмотря на пролившуюся кровь. Впрочем, то была кровь предателя...

— Тростейн поступил так, как этого требовал священный обычай. Он только отомстил за смерть брата. Но в Греции существуют строгие законы. Убийство во время смотра, в присутствии царя, считается оскорблением величества и карается смертью. Тростейна бросили в темницу, и в ожидании казни он томился в каменной башне. Там он встретил одного товарища, тоже приговоренного к смерти и находившегося в совершенном унынии. Чтобы ободрить приятеля, Тростейн стал петь. У него был такой мощный голос, что содрогались тюремные стены, и песню его услышала одна благородная греческая женщина, проходившая случайно мимо темницы со старыми евнухами и служанками. Ее звали Спес, она была замужем за одним малопочтенным вельможей. К тому же старик не отличался красотой и большим мужеством, а жена его находилась в расцвете лет. Поэтому нет ничего удивительного, что она захотела выкупить осужденного красавца, которого увидела за решеткой в высоком окошке. Но Тростейн отказался покинуть тюрьму без товарища. Спес уплатила за обоих положенное количество червонцев, и молодой скандинав отправился в дом своей благодетельницы...

И это было только началом занимательной истории о неверной жене.

— Втайне от мужа Спес поселила воина у себя, поблизости от опочивальни, и, когда супруг отлучался по своим делам или уходил во дворец на царские приемы, Тростейн тотчас являлся через потайную дверь к пылкой возлюбленной...

Молодые оруженосцы и скромные на вид женщины,— а больше всех притаившийся в кустах монах, потому что он слышал подобное впервые,— с нетерпением ждали продолжения этой поучительной повести.

— В то время в Греции жил Гаральд, сын Сигурда, и от него-то я и узнала все, что случилось с Тростейном...

Приложив палец к губам, Анна порой подыскивала не приходившие ей на ум французские выражения, но голос у нее был приятный, и все слушали этот рассказ с наслаждением.

— Тростейн водил дружбу с Гаральдом и был богат, как епископ, потому что Спес не скупилась на золотые монеты для своего возлюбленного. Однако муж гречанки сокрушался по поводу изменившегося отношения со стороны жены и ее непонятной расточительности. В конце концов он догадался о причине и решил уличить неверную супругу. Но Спес ловко выходила из самых трудных положений. Один раз она спрятала любовника в ларе и преспокойно уселась сверху. Муж напрасно искал всюду счастливого соперника и потребовал, чтобы жена поклялась, что в опочивальне никого нет. Спес поклялась...

— Как же она осмелилась сделать такое, раз любовник был у нее? — ужасалась одна из присутствовавших молодых особ.

— Но ведь любовник был не в опочивальне, а в ларе! — рассмеялась королева.— В другой раз Тростейн успел проскользнуть в потайную дверь. В третий раз слуги вынесли его вместе с ковром, который нужно было почистить от пыли, и супруг ничего не мог поделать, хотя многие видели, что у Спес бывает какой-то мужчина. Тогда ревнивый старик потребовал от жены страшной церковной клятвы, что она верна ему и бережет хозяйское добро. Лукавая красавица отвечала, что она только и хочет этого, так как не желает оставаться дольше под подозрением и испытывать от людей такой позор. На следующий же день супруги пошли к епископу. Но хитрая жена условилась со своим возлюбленным, как надо действовать. Тут следует упомянуть, что в день присяги была дождливая погода. Направляясь в сопровождении супруга и многочисленных спутниц и спутников в церковь, Спес подошла к широкой луже на дороге. Поблизости стояли несколько нищих, просивших подаяния. Один из них, уже старик, отличавшийся высоким ростом и белой бородой, почему-то напомнившей мужу паклю, учтиво предложил госпоже перенести ее через это препятствие. Спес согласилась. Но вот что произошло! Когда нищий дошел до середины лужи, он зашатался под тяжестью ноши и упал, уронив Спес на землю, а сам, лежа в грязи, в растерянности хватался руками за колени и бедра госпожи. Та наконец поднялась и в негодовании грозила побить неловкого, но окружающие, и даже сам супруг, вступились за несчастного старца, ни в чем не повинного в данном случае. Она сжалась над ним и щедро наградила, высыпав из кошелька горсть золотых. Затем Спес явилась в храм и в присутствии множества народа торжественно поклялась, что никто никогда не прикасался к ее телу, кроме мужа и того нищего, который тоже стоял в толпе, и что она никому не давала денег, кроме этого старика. Все признали очистительную клятву удовлетворительной, и муж спокойно возвратился в свой дом...

В пути Генриху захотелось побывать и в том аббатстве, где приором был его дальний родственник Радульф. Отправив повозки и большинство слуг в Санлис, король и королева свернули с большой дороги и в сопровождении немногих приближенных направились в монастырь, славившийся рыбными яствами. Обычно в подобных случаях посылался гонец — предупредить приора или сеньора о намерении короля провести несколько дней под их кровлей, чтобы хозяин мог достойным образом приготовиться к встрече дорогих гостей. Но на этот раз решение Генриха было непредвиденным, монастырь отстоял всего в нескольких лье от санлисской дороги, и сюзерен появился в его ограде совершенно неожиданно.

А между тем в тот день на аббатском дворе с самого раннего утра началась суматоха: монахи и соседний барон приступили к дележу наследия некоего рыцаря. Все совершалось на основании его законного завещания, в силу которого имение покойного, только что покинувшего земную юдоль и не оставившего после себя наследников, переходило в равных частях к дому божьему и барону Марселю де Жуанво, в благодарность рыцаря за его защиту и покровительство. Часть наследства, завещанная святым отцам, была оговорена условием, что каждую пятницу должна служить месса с поминовением усопшего жертвователя.

Дележ наследства начали без особых затруднений. Сравнительно легко удалось договориться относительно земельных владений умершего рыцаря, и сам настоятель, невзирая на свою дородность, обошел с посохом в руке каждый югер, совместно с бароном и измерителем. Затем без больших споров поделили крупный и мелкий скот и его приплод. Не вызвала разногласий и дележка коней. Но когда дело дошло до сервов, задача оказалась более трудной.

Обширный монастырский двор был полон народа и монахов. Сюда согнали еще на рассвете сервов покойного рыцаря, чтобы осмотреть каждого и определить его ценность и годность к работе. Радульф, неизменно с посохом в руке, стоял на крыльце рефектория, откуда весьма удобно озирает весь двор. Сервов делили по семействам, и таковых оказалось двадцать два, число весьма удобное для подобного предприятия, однако не во всех семьях насчитывалось одинаковое количество детей, и в этом и заключалась трудность. Поминутно раздавались вопли, споры, плач женщин и детей. В воздухе чувствовалось напряжение, которое создается только в минуты несчастий, но монахи не видели в происходящем ничего особенного и пересмеивались между собою по поводу прелестей той или иной поселянки.

Было решено, что для соблюдения справедливости, без которой ничего не должно совершаться на христианской земле, а также для уравнивания в дележе пятилетний мальчик из одной семьи, отошедшей к барону, будет передан аббатству. Барон скрепя сердце согласился с таким постановлением, тут же записанным на пергамене. Второй трудный вопрос возник в связи с младенцем, еще лежавшим в колыбели. Он принадлежал к семье, отходящей к аббатству; по числу делимых годовалых детей его следовало отдать барону. Однако младенца нельзя было отнять от груди матери, и аббат предлагал оставить его на материнском попечении, пока дитя не подрастет. Но Жуанво всегда ожидал какого-нибудь подвоха со стороны этой жирной лисы и опасался, что потом не получит своего законного добра.

Мать ребенка, о котором шел спор, принесла его завернутым в жалкое тряпье. Когда дитя плакало, она с горестным вздохом вынимала прелестную розоватую грудь, полную сладостного молока, и доверчиво держа ее на ладони у всех на виду, кормила сына под похотливыми взглядами монахов. Казалось, она еще не совсем ясно понимала, какая участь ожидает младенца,

и простодушно смотрела куда-то вдаль. Зато другая поселянка, пятилетний мальчик которой был предназначен для передачи монастырю, крепко обнимала своего сына и не хотела с ним расстаться. Однако дюжие монахи быстро справились с нею. Рыжеусый барон, здоровый пятидесятилетний человек с сизым лицом, тоже привел с собой конюхов, готовых выполнить любое его приказание. Все это были сильные парни, с недельной щетиной на щеках и ржавшие как жеребцы, когда барон отпускал непристойную шутку по поводу толстого зада какой-нибудь крестьянки.

— Лучше убейте меня! — кричала несчастная мать, цепляясь за ноги монахов. — Неужели нет больше правды на французской земле!

Черноглазый эконо́м, судя по его манерам человек благородного происхождения, отечески и от доброты сердца уговаривал беспокойную женщину, доставлявшую столько хлопот при разделе наследства:

— Ну, чего ты вопишь, как свинья, которую собираются резать? Твой сын не прогадает. Вы всего испытаете у барона, он весьма скаредный человек, а твой шалун будет работать на монастырь и, следовательно, для самого господина бога. Барон заморит вас голодом, а монастырские погреба полны всякого добра, и, кроме сред и пятниц, мы неизменно едим мясо.

Но мать ничего не хотела слышать и голосила на все аббатство.

Приор, толстый старик с бегающими глазами и, по рассказам, великий стяжатель, крикнул с крыльца:

— Уймите вы, наконец, эту валаамову ослицу!

Дюжий монах подошел к женщине и стал трясти ее за плечи, приговаривая:

— Дура! Заткни свою глотку!

Рядом с несчастной стоял ее муж, унылый и сгорбленный поселянин, до того убитый всем происходящим, что у него не хватало духу сопротивляться насилию. Другие сервы тоже мало чем отличались от него по своему виду, ветхой одежде и косматым головам.

Сеньор был недоволен дележом. Спор разгорался. В ожидании окончательного решения монастырский писец обмакнул заостренный тростник в чернильницу и равнодушно ковырял в носу. Барон выговаривал аббату:

— Предположим, что через год ты отдашь мне двухлетнего младенца. Что я буду с ним делать без матери?

Но Радульф с улыбочкой опытного рабовладельца успокаивал его:

— Ты и не заметишь, как он подрастет и будет прилежно пасти твоих уток.

— Лучше отдай мне того, которому исполнилось пять лет.

— С удовольствием отдал бы тебе его, но надо во всем поступать по совести. У тебя и так оказалось больше молодых и сильных сервов, чем у меня. А я забочусь о божем деле.

— А как же мы поступим со стариками и старухами? — спросил барон, окончательно потеряв надежду переспорить этого упрямого сребролюбца.

— Сколько их? — поморщился аббат.

— Девять человек.

— Ты спрашиваешь, как мы поступим со стариками и старухами? — задумался на несколько мгновений Радульф.

— Вот именно.

— С ними мы тоже поступим по-хорошему.

— Бери их себе, — великодушно предложил барон. — У тебя в монастыре всегда найдется для них какая-нибудь подходящая работа. А я только буду зря их кормить.

— Что же, я готов. Беру вот этого, например, — показал аббат перстом на

маленького, но еще довольно бодрого старичка с красным носом.— Мы сделаем его звонарем, он будет созывать монахов на молитву. И этого беру. С бородавкой на носу. А прочие пусть идут, куда хотят.

Охваченные смутным ужасом, старухи и старики заволновались, не представляя себе, какая их ожидает участь.

— Люди,— обратился к ним аббат елейным голосом,— мои братья и сестры во Христе! Отныне вы свободны! Возьмите посох и суму и пойдите на поклонение в какой-нибудь монастырь, славящийся чудными святынями, прося в пути подаяния у добрых жителей, и господь не оставит вас. Так поступали сами апостолы.

Беззубый старик с палкой в руке зашамкал:

— Куда же я пойду, святой отец! У меня не хватает сил вернуться в нашу хижину. Вот и сюда я еле-еле доплелся, и то потому, что меня понукали конюхи барона. Разреши мне закончить свои дни у сына.

Аббат почесывал ногтем щеку, что-то соображая.

— Ну ладно,— произнес он,— оставим и тебя. Пусть все знают, что мы всегда готовы приютить в доме божьем убогих и нищих.

— И меня! И меня! И меня! — завопили жалобно старухи, падая на колени.— Оставь и нас при детях наших.

— Нет, всех мы не можем взять. Но господь...

Радульф не успел закончить фразу. Во двор прибежал взволнованный монах и сообщил ему, что к монастырю приближается король.

Лицо аббата сразу же сделалось озабоченным. А когда он обратил взор к воротам, где в это мгновение Генрих показался, как некое видение, озабоченность на лице аббата сменилась притворно радостной улыбкой. Он оставил барона и все земные дела и поспешил навстречу высокому гостю.

Увидев, что в монастырь явился не кто иной, как сам король, сервы тотчас бросились к нему, жалуясь на свои горести. Но понять что-нибудь в этих воплях было невозможно, и король приказал оруженосцам:

— Очистите мне дорогу!

На поселян посыпались удары. Когда более или менее удалось навести порядок и были слышны только всхлипывания женщин и плач детей, аббат пояснил:

— Милостивый король, мы только что производили с бароном дележ одного незначительного наследства, поступая строго по закону, а эти бездельники не желают подчиняться воле своего покойного господина.

Женщина, младенца которой постановили передать барону, хотя бы и по истечении года, вдруг осознала положение, как безумная кинулась к королю и уцепилась рукой за его стремя, другой прижимая к себе плакавшего ребенка. Ее платье распахнулось, и полная млека и меда грудь лучше всяких юридических доказательств свидетельствовала о материнских правах.

— Добрый король! — взывала она.— Защити нас! Они хотят отнять у меня единственного сына.

На дворе вдруг наступила тишина, какая бывает перед грозой.

— Кто отнимает у тебя сына? — нахмурив брови, спросил король.

— Он хочет взять его у меня,— закричала бедняжка, указывая пальцем на аббата.

Генрих посмотрел на Радульфа:

— В чем дело?

— Милостивый король,— стал оправдываться аббат, прижимая ладони к жирной груди,— эта глупая поселянка все перепутала. Я не имею никакого отношения к младенцу, поскольку он принадлежит барону. Напротив, только благодаря моим заботам его оставили у матери хотя бы на один год...



Король перевел взгляд на барона. Тот, — по жадности или по той причине, что не был наделен большими мыслительными способностями, — не соображая, что все это может обратиться к его же невыгоде, поспешил подтвердить:

— Да, ребенок принадлежит мне. Но так как он молочный, то мы решили из христианских побуждений оставить дитя на один год у матери. Затем я возьму его. Очень прошу тебя сказать аббату, чтобы он не обманул меня.

Генрих без большой симпатии смотрел на барона, но, вероятно, все этим и кончилось бы, если бы Анна, грациозно сидевшая на своей серой в яблоках кобылице, не почувствовала жалости к молодой женщине. Дотронувшись до руки мужа, она сказала тихо:

— Не позволяй отнять ребенка у матери. Ты — король и должен защищать обиженных и гонимых.

Королева только вчера сообщила Генриху о своей беременности, и он теперь готов был сделать для супруги все, чего бы она ни попросила. Вчера старая повивальная бабка долго осматривала королеву и увидела, что она в положенное время родит сына.

Король вспомнил о словах старухи и сказал, сурово глядя на аббата и сеньора:

— Пусть ребенка навсегда оставят у матери. Так я повелеваю.

Служитель господина не терпел никакого ущерба от этого распоряжения: выходило даже, что он на одного серва получал больше. Возведя руки к небесам, Радульф возгласил:

— Поистине так всегда поступали христианские короли!

Но барон, смотревший с перекошенным лицом на жирного аббата и считавший, что это он является виновником неприятного решения короля, запротестовал:

— Король, младенец принадлежит мне по закону. Это право уже закреплено записью в хартии. Через год младенца должны передать мне.

Генрих обратил к нему помрачневшее лицо, помолчал немного, что-то вспомнив, потом произнес сквозь зубы:

— Не ты ли, барон, одним из первых покинул меня в этой несчастной битве под замком Пюизе? Припоминаю теперь.

Лицо сеньора налилось кровью, и он отступил на шаг. Казалось, еще мгновение, и с ним будет удар. Но Жуанво молча проглотил обиду, ведь у него было слишком мало воинов, чтобы противиться королю. Генрих тоже знал это и с нескрываемым презрением смотрел на своего вассала.

Снова раздались крики и вопли. Другие женщины тоже просили о королевской милости. Опять посыпались палочные удары и зуботычины, чтобы расчистить путь к дверям аббатского дома, где королевская чета хотела отдохнуть после утомительного путешествия верхом на коне, под лучами полуденного солнца.

Епископ Готье, находившийся около королевы и не без любопытства наблюдавший за тем, что происходило на монастырском дворе, с грустью качал головой. Анна вопросительно посмотрела на него. Он пролепетал:

— Прав был благочестивый король Роберт, когда утверждал, что страдания бедняков можно сравнить только с муками Израиля в египетском пленении...

Слова епископа достигли и слуха короля, но он сделал вид, что ничего не слышит. Восстановление справедливости на земле Генрих считал бесплодным

занятием. Для этого не хватило бы и тысячи лет. Единственное, что волновало его в этот час, было сообщение Анны. Теперь надлежало принять все меры, чтобы оградить здоровье королевы. Ничто не должно повредить плоду в ее чреве. Она носила в себе наследника французской короны.

## V

Санлис со своими пятью высокими башнями представлял собою довольно живописное зрелище. Расположенный на возвышенности и окруженный дубравами, он напомнил Анне Вышгород. У нее сжалось сердце, когда она подумала об этом русском городе на берегу Днепра и о проведенной там юности.

Узкая щебнистая дорога, поднимаясь на холм, извивалась среди древних развалин, заросших плющом. На пути протекала струившаяся по белым камушкам быстрая речка с прозрачной водой. Через нее был переброшен старый каменный мост. Таких горбатых мостов Анна не видела на Руси, но белые камушки и вода как хрусталь тоже напомнили о вышгородских ручьях.

Она спросила короля:

— Как называется река?

Генрих ответил:

— Нонетт...

Людовикуса уже не было около Анны. Впрочем, теперь королева могла обходиться без переводчика.

Она заглянула с моста в воду. В реке блеснули серебристые рыбки. Лесной воздух был сладостен, как везде на земле, где произрастают дубы, привлекающие бури и молнии.

Санлис, сильно укрепленный городок, стоял в стороне от больших дорог, среди дубрав и сельской тишины. Некогда на этом месте процветала богатая римская колония, и в дни Генриха еще существовали руины древних храмов и небольшой арены. Камни и мраморные плиты этих зданий использовали для строительства королевского дворца и церквей, которых в Санлисе возвели значительно больше, чем требовалось по числу жителей. В этом городе состоялся тот знаменитый съезд графов, на котором Гуго Капету, предку Генриха, предложили французскую корону, поэтому король весьма благоволил к санлисцам и дарил местным церквям золотые и серебряные богослужебные сосуды. Дворец в Санлисе стоял на северной стороне, у самой крепостной стены. Это было довольно неуклюжее сооружение с башнями, так как оно уже составляло часть городских укреплений.

Санлиские леса славилась обилием всякого зверя, но теперь король не разрешал Анне охотиться, а сам часто уезжал в Париж, и она скучала в одиночестве. Иногда королева медленно поднималась на замковую башню. К ней прилетал свежий ветер, приносил издалека протяжные звуки рогов. Анне сказали, что это охотится на оленей граф Рауль де Валуа, сосед, позволявший себе иногда преследовать добычу в королевских владениях.

Однажды граф явился в Санлис. В тот день король собирался в очередную поездку. Он сказал пажу, длинноносому мальчику с мочальными волосами:

— Пусть оруженосцы снарядят меня.

Король ехал в город Санс, чтобы показать свою сильную руку маленькому вассалу, осмелившемуся не доставить в Санлис дары, установленные обычаем еще во времена блаженной памяти отца и ныне уже освященные правом давности. Король решил, что в случае упорства со стороны барона

примерно накажет его, и поэтому собирался в поход с большим отрядом конных воинов, в глубине души надеясь, что при одном его появлении непокорный будет просить о пощаде.

Два опытных оруженосца хлопотали вокруг короля и с трудом натянули на плотное королевское тело длинную кольчугу. Железные поножи были уже на ногах у Генриха. Для защиты головы в рыцарском вооружении на нее надевалась отдельная кольчужка, сверху клалась круглая железная шапочка, и только поверх всего водружался кованый конический шлем с короткой пластиной для защиты лица. При таком вооружении можно рассчитывать, что голова не пострадает от удара боевым топором или мечом. Две перчатки, тоже сплетенные из железных колец, прикреплялись к рукам кольчуги крепкими ремнями.

Король поставил ногу на скамью, чтобы колена преклоненный оруженосец мог привязать позолоченную шпору, и в этом положении, повернув голову, увидел, что без доклада, как брат к брату или равный к равному, в горницу входит Рауль де Валуа.

На лице графа играла приятная улыбка, но с нею плохо вязалась надменность, проглядывавшая неизменно в этих синих жестоких глазах. Анна, стоявшая рядом с Генрихом и с женской тревогой наблюдавшая, как мужа снаряжают в поход, опять вспомнила, что такие же васильковые глаза были у ярла Филиппа. Но у варяга их туманила нежность, а у графа они сверкали насмешливым огоньком, и поэтому плохо верилось, что улыбка Рауля выражает искреннее почтение к своему сюзерену.

На пороге гость сказал:

— Проезжал недалеко от королевских владений. Захотелось узнать, как здоровье короля и королевы.

Рауль все так же почтительно улыбался, но Генрих с раздражением подумал, что его владениями являются не только Санлис, а и вся Франция, от Прованса до Фландрии. Взгляды короля и графа скрестились. Несколько мгновений, пока оруженосец, припадая к шпоре, старался завязать заскорузлый ремешок, не слушавшийся пальцев, король молча рассматривал высокомерного вассала, прикидывая мысленно, что его привело в санлисский замок и почему он явился сюда в неурочный час.

Рауль с запозданием снял шляпу и приветствовал хозяев:

— Добрый день моему королю, добрый день моей королеве!

— Добрый день! — ответил король.

— Приехал спросить, не пожелают ли мой король и моя королева поохотиться завтра в лесах Мондидье. Или я помешал, приехав без предупреждения?

Граф посмотрел на королеву.

Анна опустила глаза, но Генрих с деланной любезностью ответил:

— Граф Рауль всегда желанный гость в моем доме. Но почему ты не известил своевременно о своем прибытии? Тогда я мог бы достойно встретить тебя. А теперь ты видишь, что я должен ехать. Ты, вероятно, заметил на дворе оседланных коней.

Оруженосец, покраснев от усилия, привязал наконец непокорную шпору. Король встал и, двигая руками, попробовал, хорошо ли прилажено вооружение.

Видимо, слова сюзерена не смутили графа Рауля. Он еще раз повторил:

— А я так надеялся, что король и королева примут участие в завтрашней охоте.

Граф вопросительно посмотрел на Анну, надеясь, что она не откажется от любимой забавы. Но за нее ответил король:

— К моему большому сожалению, я не могу приехать к тебе, а по древнему обычаю королева Франции не выезжает на охоту без короля. Впрочем, моей супруге сейчас не до того...

— Почему? — удивился граф.

— Королева должна беречь себя, ибо теперь она носит в своем чреве наследника французской короны.

Генрих произнес эти слова с нескрываемой гордостью.

Рауль не ждал подобных откровений, и даже этот надменный человек растерялся, когда король с победоносным видом посмотрел на него. Граф хотел, по своему обыкновению, пошутить, но не посмел при взгляде на королеву и принес поздравления.

— А ты, граф, опять обижаешь моих епископов,— прибавил Генрих, поднимая руки, чтобы оруженосцам было удобнее опоясать его мечом.— Зачем ты отнял у епископа Роже две пары волов на его собственном поле?

Рауль рассмеялся, показывая желтоватые и неровные зубы хищника и плотоядного человека.

— Епископы и монахи слишком заботятся о земных благах. Пусть они трудятся с мотыгами в руках. Тогда скорее спасут свою душу. А их волы работают теперь на такого грешника, как я.

— Не боишься, что Роже пожалуется папе? — спросил король, показывая этими словами и тоном, каким они были произнесены, что по своему положению граф Рауль де Валуа и де Крепи, а также носитель многих других титулов, ближе ему, чем епископ Шалонский.

— Пусть жалуется.

— Смотри, как бы не отлучили от церкви!

— Пусть отлучают, но не советую папе появляться близко от Мондидье. Я его повешу на первом попавшемся суку.

Рауль рассмеялся, и от этого сатанинского смеха Анну на мгновение охватил какой-то неизведанный озноб. Но она еще раз осмелилась взглянуть на человека, который никого и ничего не боялся на земле.

Генрих отправился в поход, и вместе с ним покинул дворец граф Рауль. Анна, наблюдавшая из окна, видела, как глубоко вниз, на замковом дворе, муж сел на коня и выехал из ворот. Она заметила также, что граф поднял голову и смотрел туда, где находилось ее окно. Муж не обернулся. Он считал, что такое поведение неуместно для короля.

Вскоре граф Рауль снова посетил Санлис и даже привез с собою жонглера. Это был долговязый смуглый юноша, по провансальской моде гладко выбритый, но с длинными, черными как смоль волосами, падавшими ему на плечи. Его звали Бертран.

Скитаясь с виелой за плечами по Франции, Бертран забрел однажды в Мондидье. Вечер еще не наступил, но надлежало заранее подумать об ужине и ночлеге. Несмотря на свою молодость, жонглер, человек, выдавший виды, исколесил весь Прованс, немало побродил по дорогам Франции и Бургундии, то находя случайное пристанище в каком-нибудь замке, то забавляя простых людей в тавернах и на ярмарках, и добывал себе пропитание песнями и всякими веселыми штуками.

В Мондидье Бертран прилепился пешком, проиграв неделю тому назад в Париже, в харчевне «Под золотой чашей», мула бродячему монаху по имени Люпус, и поэтому чувствовал себя несколько смущенным. Кроме того, он устал... Но решил, что проведет ночь в первом попавшемся доме, а наутро отправится на базарную площадь и там поправит свои делишки.

Между тем солнце уже склонялось к западу. На улицах городка было безлюдно: очевидно, жители сидели за вечерней трапезой. Бертрану тоже захотелось есть. Он окинул взглядом малоприветливые домишки, кое-как построенные из дерева и камней, белую церковь и замок сеньора, красовавшийся на возвышенном месте. Первым существом, которое он встретил на улице, была сгорбленная старуха с вязанкой хвороста на спине. Жонглер спросил у нее с веселой прибауткой, где здесь проживают добрые люди, у которых можно переночевать на соломе, а заодно и съесть миску бобовой похлебки. Но старая женщина посмотрела на него дикими глазами и вдруг замычала. Она оказалась немой. Бертран почесал затылок, сдвинув шляпу на нос, и свистнул, а старушка с хворостом на спине побрела своей дорогой. Тогда Бертран решил постучать в дверь дома, который показался ему более богатым, чем другие. Наверху отворилось оконце и чей-то голос окликнул путника:

— Кто там стучится в мою дверь?

Бертран, привыкший расплачиваться за все — за еду, за ночлег и за прочее — песнями и шутками, с воодушевлением ответил, задирая голову к окшку:

— Я жонглер Бертран, умею играть на виеле, петь песни, ходить по канату...

Но не успел он закончить эти слова, как наверху показалось покрасневшее от гнева лицо. Сомнений не было: оно принадлежало местному кюре!

Священник, грозя жонглеру здоровенным кулаком, бранил его:

— Прочь от моего дома! Какой добропорядочный христианин пожелает иметь дело с подобным нечестивцем!

Бертран со смехом ответил:

— Извини, преподобный отец, что помешал тебе забавляться с твоей толстушкой!

— Бродяга! Несчастный скоморох! Служитель дьявола! Вот я тебе сейчас покажу... — надрывался кюре, тем более пришедший в негодование, что в глубине горницы Бертран действительно успел рассмотреть белозубую мордочку и круглое голое плечо какой-то красотики.

Одним словом, ничего не оставалось, как удалиться, и жонглер поплелся дальше. Свернув в глухой переулок, густо поросший травой, он постучался в другую дверь, однако и в этом доме его ждала неудача: в хижине лежал на деревянном одре покойник. Тут людям было не до музыки и веселья. Огорченный Бертран побродил некоторое время, очутился у реки и здесь увидел приятный уединенный дом, к которому вела через лужок заманчивая тропинка. Недолго думая, жонглер заглянул через плетень во двор. На пороге стоял хозяин, человек с рыжей бородой. Он спросил:

— Что тебе нужно, вертопрах?

Глядя на это страшное лицо, Бертран не знал, как приступить к делу.

— Друг, полагая, что у тебя доброе сердце...

— Ну?

— Хотел просить... Непустишь ли меня переночевать на твоём чердаке?

Рыжебородый отрицательно покрутил головой.

— Тогда, может быть, укажешь какую-нибудь харчевню в здешних местах?

В ответ незнакомец грубым голосом произнес:

— Возвратись на свои следы. Вскоре ты увидишь дом кюре под высокой крышей. Сверни около него в переулок и так дойдешь до таверны дядюшки Оноре.

Бертран поблагодарил и побрел указанной дорогой. Великан с красной рожей, как у мясника, крикнул ему вслед:

— Скажешь там, что тебя прислал палач, и тогда они хорошо накормят...

Он хрипло рассмеялся, а юноша невольно ускорил шаги.

Прошло некоторое время, прежде чем жонглер разыскал таверну. Это было довольно убогое строение с подслеповатым окошком, крытое соломой, как и полагается быть подобного рода притонам. Над дверью висел на шесте старый кувшин с отбитым краем, служивший вывеской для путников. Уже начинало темнеть, но в трактире засиделись какие-то забулдыги, и огонь в очаге еще не погас. Предусмотрительно нагибая голову в двери, Бертран вошел в низкое помещение и увидел висевший на цепи, точно закоптевший на адском пламени котел с похлебкой, заманчиво пахнувшей чесноком. Зная, чего обычно ждут от него люди, он бодрым голосом начал:

— Я жонглер Бертран, умею играть на виеле, петь песни, ходить по канату, подбрасывать и ловить три яблока...

Как бы то ни было, в тот вечер зубоскал наелся до отвала, попил неплохо-го винца и пощипал пухленькую служанку Сюзетт. Она только что вернулась откуда-то в довольно растрепанном виде, и ее лицо показалось Бертрану знакомым. Девушка же не могла отвести глаз от черных кудрей провансальца и, когда ужин пришел к концу, даже обещала волнующим шепотом, что поднимется к нему на сеновал, как только погасят в харчевне огонь и все улягутся спать. Тогда и выяснилось, что Бертран видел красотку в окошке у того самого кюре, с которым поругался несколько часов тому назад. Сюзетт, по ее словам, относил служителю алтаря кувшин вина — дар набожного трактирщика в благодарность за поминовение недавно умершей супруги — и на некоторое время задержалась в священническом доме за рассматриванием поучительных картинок, а затем немедленно вернулась проворными ногами к исполнению своих обязанностей. Бертран не очень-то поверил рассказам милой девушки, но он не был ревнивцем и провел ночь неплохо, хотя кто-то весьма настойчиво и даже слезливо зывал несколько раз под окном:

— Сюзетт! Почему ты не пришла?

Голос ночного прохожего жонглер где-то слышал, но так как оказался очень занятый в тот час, то не стал выяснять, кто стоит на улице.

Когда же в мире расцвело утро, Бертран проснулся в одиночестве и немедленно отправился на расположенную поблизости базарную площадь. Там уже повизгивали доставленные на продажу поросята, мычала корова, по приказу прево приведенная на веревке каким-то незадачливым сервом за неуплату долга сеньору, пахло свежеспеченным хлебом, яблоками, петрушкой и вообще всем, чем полагается благоухать базарам.

По привычке Бертран тут же начал свои зазывания:

— Почтенные жители! Я жонглер, умею играть на виеле, ходить по канату...

Его призывы нашли самый теплый отклик. Ведь не так-то часто заглядывали жонглеры в скучный посад. Люди были готовы оставить даже свои базарные делишки и послушать нечто не похожее на их монотонную, как деревенская пряжа, ежедневную жизнь в навозе и помоях.

— Умею подбрасывать и ловить три яблока, рассказывать пастурели и фаблю, так что вы останетесь довольны и не поскупитесь на медяки для бедного, но веселого...

И вдруг язык Бертрана прилип к гортани... Он заметил, что из толпы на него смотрит выпученными глазами тот самый кюре, которого вчера видел в обществе Сюзетт. Не успел жонглер сообразить, как ему при данных обстоятельствах поступить, а этот весьма внушительного вида представитель

церкви, к тому же вооруженный палкой и, вероятно, выяснивший неверность слишком доброй девушки, уже орал на весь базар:

— Ага! Вот где ты теперь развращаешь христиан! Не позволю похищать лучших овец из доверенного мне господом стада!

И, размахивая увесистым жезлом, ринулся в бой.

Бертран, который далеко не был трусом, но никогда в жизни не дрался со священниками, решил, что ему ничего не остается, как спастись бегством. Он так и поступил, перепрыгнув через тележку, полную репы, напугав до смерти поросят и весьма удивив своим поведением благопристойную грустную корову. Но служитель алтаря во что бы то ни стало хотел покарать легкомыслие и порок и погнался за жонглером с площадными ругательствами, точно был не духовным лицом, а королевским сержантом.

Соперники сделали так три или четыре широких круга по базару, каждый раз вызывая искреннее недоумение у вышеупомянутой коровы, которая никогда не испытывала пламенных страстей. А между тем известно, что ревность — ужасное чувство и от него не спасает даже сутана. Дело кончилось бы, вероятно, весьма плачевно для Бертрана, принимая во внимание его слабую грудь и железные кулаки кюре, но, по счастью, наш жонглер обладал очень длинными ногами. Кроме того, местные жители хорошо знали прделки своего духовного пастыря и быстро сообразили, в чем дело, тем более что сама Сюзетт не замедлила явиться на базар и, подбоченясь, с любопытством смотрела на состязание в беге. Недолго думая крестьяне забросали преследователя репой и всем, что подвернулось под руку. В довершение греха во время этого чудовищного переполоха какой-то парень ловко сделал кюре подножку, и дородный блюститель морали во всю длину распластался на пыльной площади. Негодующие крики сменились дружным хохотом, и, воспользовавшись этим заступничеством, жонглер ударил в харчевню, где он надеялся обрести защиту у трактирщика, во всяком случае мог рассчитывать на его покровительство, в полном убеждении, что песенки и прочие трюки далеко не бесполезны для привлечения народа в подобные заведения. Так оно и оказалось. Священник не осмелился явиться в таверну, и Бертран мог спокойно передохнуть.

А день был воскресный, и после обеда в харчевню набилось немало народу. Кто пришел залить горе на последний грош, кто тайком от жены пропивал базарную выручку, а те, что побогаче, собрались здесь, чтобы за свои собственные деньги получить удовольствие и послушать, о чем говорят люди. На этот раз все с одинаковым увлечением рассказывали друг другу об утреннем происшествии на базаре.

Успокоившись немного после приключения и получив заверения от Сюзетт, что она ни за что на свете не променяет такого красивого юношу, к тому же умеющего играть на виеле, на борове в сутане, Бертран поднялся из-за стола и обратился к собравшимся с привычным своим представлением:

— Я жонглер Бертран, умею играть на виеле...

Разговоры немедленно прекратились, наступила тишина.

Видя, что присутствующие готовы его слушать, Бертран начал так:

— Почтенные жители! С вашего позволения, я расскажу для начала историю жонглера, попавшего в рай...

Некоторые из поселян, сидевших за грубо сколоченными столами или у перевернутых вверх дном бочек, одобрительно переглядывались и подталкивали друг друга локтями, предвкушая предстоящее удовольствие, даже те, кто уже имел случай послушать эту трогательную историю.

— Жил-был некогда в городе, который называется Санс,— начал звонким голосом Бертран,— жонглер, вроде как я, самый хороший человек на

земле, не любивший спорить из-за денег. Бедняга ходил из селения в селение, с ярмарки на ярмарку, из одного замка в другой, пел, плясал, играл на виеле согнутым в виде лука смычком, хорошо умел подбрасывать и ловить яблоки, бойко сочинял стихи, искусно бил в бубен, с большой ловкостью показывал карточные фокусы, мог рассказывать всякие веселые небылицы и не думал о завтрашнем дне, а жил как птицы небесные и все заработанные тяжелым жонглерским трудом денарии тут же пропивал с друзьями или проигрывал в кости. Поэтому у него ни гроша не было за душой. Случалось даже, что он не имел чем заплатить за выпитое вино, и тогда ему приходилось закладывать свою скрипку. А бывало и так, что наш приятель ходил под дождем в одной рваной рубахе и босой. Но несмотря на все невзгоды, жонглер — не знаю, как звали этого человека, — всегда чувствовал себя жизнерадостным и свободным, как ветер. Он пел, плясал и молил бога лишь о том, чтобы каждый день превратился в воскресенье, так как известно, что в праздник люди идут в харчевню и готовы заплатить жонглеру за полученное удовольствие. Однако все кончается на этом свете, и однажды жонглер умер где-то под забором, и когда он подох, то за все свои прегрешения и беспутную жизнь очутился в аду. Как вам уже говорил, вероятно, кюре, в геенне пылает вечный огонь, и если кто мне не верит, то может спросить об этом у него...

— Нет, приятель! Ты лучше сам спроси! — послышался веселый голос.

— Он тебе объяснит, — поддержал насмешника другой, очевидно вспомнив об утреннем состязании.

Понимая, что надо как-то отбиться от шуток, Бертран с деланно постным лицом сказал:

— Сам-то кюре предпочитает рай. Мы с ним встречались там!

Раздался хохот, явно выражавший одобрение находчивости жонглера, и все взоры обратились к Сюзетт, которая очень мило покраснела и закрыла лицо передником. А жонглер продолжал:

— Как это ни странно, хотя и подтверждается многими достоверными свидетельствами, но на адском огне поджариваются главным образом не жонглеры и даже не разбойники, а папы и епископы, короли и графы. В одной компании со всякими ворами и клятвопреступниками. Кстати, в тот день дьяволу требовалось отлучиться из преисподней: он только что получил известие, что в Риме окоурился еще один папа, а в Германии дышит на ладан сам император, и оставалось лишь приволочить эти ценные души в пекло. Также и какой-то король собирался отдать душу...

Все ожидали, что жонглер скажет «богу», но он после некоторой паузы закончил фразу:

—...сатане.

Опять в трактире загредел здоровый деревенский смех.

— Итак, Вельзевул очень спешил. А тут ему случайно попался на глаза жонглер, только что явившийся на место своего нового назначения. Сатана крикнул: «Эй ты, болван! Будешь вместо меня поддерживать огонь под котлами. До тех пор, пока я не вернусь. Да не жалея смолы и прочих горючих средств». При этих словах враг рода человеческого подскочил, ловко стал перебирать в воздухе копытцами, издал неприличный звук и с шипением исчез...

Вновь взрыв хохота. Эти простодушные люди, с трепетом проходившие мимо кладбища, где в полночь мертвецы вылезают из могил, и пугавшиеся крика филина в ночной роще, теперь забыли все страхи, сидя в харчевне за кубшином пива.

— Но как только дьявол отлучился по своим делам, апостол Петр был тут как тут. Он отлично знал повадки жонглера и прибыл в преисподню,



чтобы сыграть с ним в зернь. «На что же мне играть, святой отец!» — с грустью ответил грешник, выворачивая пустые карманы. Ясно, что бедняга перед смертью пропил все деньги и явился в ад без единого гроша. Но хитрый апостол сказал: «Ничего! Ты будешь играть на души грешников, которые тебе доверил сатана». — «А ты?» — «Я буду ставить червонцы». — «Вот здорово!» — обрадовался жонглер. «Если тебе повезет, — заметил апостол, — ты будешь богачом, а если я выиграю, то заберу в рай души моих пап и епископов». — «Ладно!» — согласился жонглер. У бродяги уже руки чесались поскорее попробовать свое счастье. «Но вот беда, — завопил он едва не плача от горя, — у меня ведь костей нет!» У него их черти отобрали, так как сами с большим удовольствием резались в эту игру. «Не беспокойся, — ответил наместник Христа, — кости у меня найдутся. В раю зеленая скука, мухи дохнут, и мы иногда поигрываем по маленькой с апостолами Павлом и Фомой». Одним словом, у Петра за паузой оказалось все необходимое для забавы — кожаный стаканчик и три костяшки.

— Хороши апостолы, — покрутил головой какой-то доверчивый поселанин. Перед ним стоял кувшин с пивом, и, по-видимому, эти минуты в харчевне были для бедняги самыми счастливыми за продолжительное время.

— Они все такие, — поддержал его другой крестьянин, почесывая поясницу и несколько ниже.

Бертран продолжал:

— Сели играть. Первым выбросил костяшки жонглер. Двойка, тройка, шестерка. У апостола двойка и две тройки. Выиграл наш беспутный приятель. Бросили еще раз. У грешника — тройка, четверка и пятерка, а у Петра — три тройки...

Слушатели с затаенным дыханием следили за воображаемой игрой, всей душой желая выигрыша грешнику. Некоторые даже шепотом повторяли числа костяшек.

— Апостолу нужно было втянуть жонглера в игру, а кости он принес фальшивые. Вскоре у него посыпались шестерки!

— И там обманывают бедных людей! — вздохнул сидевший за пивным кувшином.

— Да! При умении кубики всегда ложились шестерками и пятерками. Бросит жонглер — в лучшем случае у него тройки и четверки, кинет апостол — шестерки! Таким образом Петр и действовал без зазрения совести. «Да ведь ты мошенничаешь, святой отец!» — не выдержал жонглер. «Как ты смеешь говорить такое наместнику Христа!» — вознегодовал ключарь рая. «А почему у тебя все время шестерки?» — «Потому, что я бросаю с молитвой, а ты сквернословишь и поминаешь дьявола». Ну, долго ли, коротко ли они играли, но в конце концов апостол выиграл все нужные ему души.

— Даже трудно поверить, что так может вести себя апостол Христов! — огорчился поселанин, сидевший за кувшином с пивом.

Жонглер повысил голос:

— Но возвращается сатана. И что же он видит? Петр сидит у него в аду, как дома, и выигрывает последнего епископа...

— Какого? — спросил один из слушателей.

— Этого... как его... — замялся рассказчик.

— Наверно, епископа Реймского Ги, что недавно помер.

— Или Турского... Тоже скончался на днях...

— Кажется, того самого, — подхватил Бертран. — Одним словом, в котле почти уже никого не осталось. Конечно, сатана рассердился и выгнал апосто-

ла вместе с жонглером. Так наш прощельга и очутился в раю вместе с праведниками и ангелочками...

Все остались очень довольны рассказом. Кто нес жонглеру кружку пива, кто совал в руку медную монету. Ведь люди понимали, что это тоже труд — ходить без усталости по дорогам в дождь и холод и забавлять бедных сервов веселыми историями.

— А есть еще рассказ про аббата, — захлебываясь от смеха, стал припоминать один из поселян, у которого нижняя челюсть вытянулась в виде башмака, — как он своего любимого осла на христианском кладбище похоронил...

— Знаю, знаю, — замахал на него обеими руками сосед, такой же лохматый, как и человек с длинным подбородком. — Аббату здорово попало за такую вольность...

— А он тогда уверил епископа, что осел ему десять червонцев в завещании отписал...

Крестьяне наперебой рассказывали друг другу:

— Тогда другое дело. Какой достойный осел! Какой умница! Его надо в святцы записать!

— Хорони его сколько хочешь!

Оба смеялись до слез, забыв все свои невзгоды, а Бертран ругал их в душе, что болтуны из-под носа утащили у него такой выигрышный рассказ.

— Ну, если вам известна история с похоронами осла на кладбище, то в таком случае спою песенку про бедного мужика, которого не хотели пускать в рай...

Бертран старательно настроил виелу, склоняя к струнам красивое и вдохновенное лицо, взял смычок и наиграл ритурнель. Потом высоким голосом пропел два первых стиха:

Был один крестьянин хвор,  
Утром в пятницу помер...

Еще несколько скрипучих звуков виелы — и снова стихи:

Но архангел в этот час  
Не продрал опухших глаз.  
Дрыхал он без задних ног,  
Душу в рай нести не мог...

В это самое мгновение кривая дверь, певшая на крюках не хуже виелы, отворилась, и на пороге показался богато одетый человек, и не кто иной, как сам местный сеньор, граф Рауль де Валуа. На нем было приличествующее его званию длинное одеяние темно-зеленого цвета и меховая шапка; на желтых сапогах виднелись шпоры, а в руках он держал плеть. На груди у графа поблескивала золотая цепочка, на которой висела греческая монета. Из-за его спины выглядывала широкая рожка оруженосца.

Бертран не видел вошедшего и повторил:

Дрыхал он без задних ног,  
Душу в рай нести не мог...

Но появление в харчевне сеньора вызвало явное замешательство. Крестьяне, сидевшие поближе к двери, неуклюже подняли зады со скамеек и стащили с голов шляпы и колпаки, похожие на вороньи гнезда. Пение умолкло, музыка прекратилась. Посреди харчевни, с кувшином вина в одной руке и кружкой в другой, кабатчик высоко поднял ногу, как бы намереваясь сде-

лать еще один шаг, но не двигался с места. Он повернул голову к сеньору и раскрыл рот не то от изумления, не то от страха.

Граф некоторое время молча озирает сборище поселян, подбоченясь и презрительно кривя губы. Потом изрек:

— Так, так! Пьянчужки! Вместо того, чтобы трудиться в поте лица, как предписано в священном писании, они хлещут пиво, а потом будут уверять, что им нечем уплатить оброк.

— Милостивый сеньор,— начал было трактирщик,— ведь сегодня праздник и...

— Молчи, болван,— гневно оборвал его граф.— Сам знаю, что наступил воскресный день, так как присутствовал на мессе. Но трудиться можно и в воскресенье. А за твои дерзкие слова пришлешь мне в замок десять модиев вина...

Кабатчик едва не выронил из рук кувшин на земляной пол.

— А это что за человек? — спросил сеньор, показывая плеткой на жонглера.— Откуда он появился в моих владениях?

Бертран бесстрашно приблизился и, сняв учтиво шляпу, сказал:

— Я жонглер Бертран...

Граф прервал его представление коротким мановением руки.

— Жонглер? Отлично. Что эти олухи понимают в твоих песнях? Лучше приходи в мой замок, и у тебя будет каждый день сколько угодно мяса и вина.

— А денарии? — спросил Бертран, поблескивая зубами.

— Будут и денарии,— ответил граф.

Так случилось, что Бертран поселился в замке Мондидье. Но он не знал тогда, чем все это кончится.

Вот каким образом Бертран очутился в замке Мондидье и в тот вечер приехал с графом Раулем в санлисский дворец, чтобы развлекать скучающую королеву. Пока же сеньор сидел за королевским столом, он угощался в помещении для оруженосцев, уже пронюхавших о его шашнях с полногрудой Алиенор. Никто их вместе не видел, но эти шалопаи отпускали такие шуточки, от которых у жонглера мурашки бегали по спине. Он знал, что от него только мокрое место останется, если слухи о чем-нибудь дойдут до ушей графа.

Между тем наверху шла приятная беседа. Поговорили и о сыре, поданном на деревянной доске. Этот продукт доставляли к королевскому столу из Бри, где произрастают ароматные травы, придающие особый привкус молоку, и живут опытные сыровары. Рауль тоже нашел, что такую пищу приятно запивать красным вином.

После ужина, когда все насытились, сеньор просил у королевы разрешения позвать менестреля, как для пущей важности называли Бертрана в Мондидье.

Анна увидела довольно красивого юношу, но со столь худыми ногами, что его туловище выпятилось на коленях, как пузыри. В руках он держал виелу и смычок. По всему было видно, что молодой человек готов развлекать благородных слушателей, но старался сохранить независимость по отношению к господину, чей хлеб он ел.

— Бертран,— обратился к нему граф, подобревший после обильной еды,— выбери свою лучшую песню и спой нашей королеве!

Рауль выпил изрядное количество вина, глаза его потемнели, и, может быть, этот необузданный человек уже испытывал вождение к странной северной женщине, у которой такие маленькие руки и ноги. Глядя на Анну, он тут же вспомнил кулаки своей супруги, самолично раздававшей зуботычны конюхам и звонкие оплеухи служанкам.

Анна поблагодарила своего гостя и приготовилась слушать. Король сидел с мрачным видом, недовольный в глубине души, что посещение Рауля помешало ему заняться некоторыми хозяйственными делами. Нужно было, кроме того, проверить оружие в санлиссском замке и камни для пращей, заготовленные на всякий случай. От вина и съеденной не в меру говядины Генрих испытывал тяжесть в желудке, рыгал иногда и все более и более погружался в сонливое состояние. Рауль всегда раздражал его своей красотой, заносчивостью, происхождением от Карла Великого. Пока этот красавчик ссорился с епископами, он сам метался из одного замка в другой, собирал по денарию деньги, чтобы заплатить нормандским наемникам, трудился от зари до зари. А между тем вассалы с каждым днем все неохотнее слушались короля Франции...

Бертран с робкой улыбкой смотрел на королеву. Менестрель никогда не видел Анну, а только слышал о ее изумительной красоте. Ему было не по себе. В обществе такой благородной дамы он никогда не посмел бы петь про грубых мужланов. На этот случай у него были припасены стихи о храбрых рыцарях, сражавшихся с драконами, чтобы освободить красавицу, у старом императоре Карле, о его путешествии в Палестину за святынями. Но прежде чем он успел настроить виелу, Анна сказала:

— Юноша, спой нам какую-нибудь песню про любовь!

Обратившись к своему сеньору и как бы спрашивая его совета, Бертран предложил:

— Не спеть ли мне песню о Тристане и Изольде?

— Это ты хорошо придумал,— одобрил граф.

Бертрану стало грустно, что между ним, безвестным жонглером, и этой королевой лежит целая пропасть. Несмотря на все свое легкомыслие, на неспособность подумать о завтрашнем дне, в душе жонглер таил какую-то тревогу, отличавшую его от других людей. Бертрану страстно захотелось сделать нечто такое, что вызвало бы улыбку на устах королевы. Печальная и молчаливая, она не походила ни на одну женщину на свете, и какой земной казалась теперь ему графиня, с ее жарким телом, сильными руками и громким смехом.

— Позволь, милостивая королева, моему менестрелю спеть песню об Изольде,— сказал Рауль.

Покраснев, Бертран прибавил:

— Я ничего не знаю на земле прекраснее этой песни!

Анна дважды медленно кивнула головой. На королеве было ее любимое платье из голубой материи, с золотым поясом, небрежно охватывавшим бедра.

Жонглер поудобнее устроился на табурете. Слуги убирали остатки ужина — недоеденные куски хлеба, оловянные тарелки с колючими рыбьими костями — и звенели посудой. На столе остались серебряные чаши на высоких ножках — наследие какого-то покинувшего сей мир епископа.

Бертран старательно провел смычком по струнам. Раздались негромкие, но приятные звуки, оттенявшие красоту молодого голоса. Менестрель пропел начало повести о двух любовниках:

Твое дыхание — весенний ветер,  
Слезы — соль моря,  
Мысли твои — облака,  
Что плывут печально по небу,  
А глаза — цветы на лужайке...

У Бертрана был действительно чудесный голос, столько раз побеждавший женскую неприступность. Анна с удовольствием слушала, склонившись

головой на плечо дремавшего супруга, как бы прося у него защиты в опасные минуты жизни, когда певец поет о любви и рядом сидит этот ужасный человек с синими глазами, не боящийся ни бога, ни короля. Генрих с видимым удовольствием подставлял плечо, чтобы королева могла найти опору. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может помышлять о ее ласках, но он чувствовал сегодня какое-то смятение в сердце Анны, непонятное для него: ведь все было благополучно, житницы полны зерна, и несчастные сражения уже отошли как будто в область прошлого. Однако вскоре король задремал, согретый едой и вином.

Музыка ритурнели напоминала журчанье ручейка. Бертрану хотелось сегодня превзойти самого себя. Ему поднесли с королевского стола полную чашу, но он так любил эту песню, что она опьяняла его без вина. Каждый раз он пел ее по-иному, заменяя одни образы другими, рождавшимися где-то в самой глубине сердца, куда не хотела или не могла заглянуть графиня Алиенор.

В дальнем углу сада  
росло одинокое дерево,  
и под ним струился ручей.  
Он пробежал под замком,  
под тем помещением,  
где женщины жили,  
где женщины пряли  
прекрасную пряжу...

Самые простые слова: дерево, ручей, пряжа, дуб... Но кто-то дал певцу такую власть, что из этих простых слов слагалась возвышенная песня, волнующая душу. Под звуки виелы они складывались в историю о любви двух сердец. Воображение, подогретое вином и печалью, рожденной внутренней тревогой, помогало Анне представить себе и одинокое дерево в саду, и прихотливо вырезанные дубовые листья, и волны пряжи, и серебряный ручей, и шевелившиеся от движения струй зеленые водоросли, и суетливого водяного жучка. Анна припомнила вдруг запах речной воды, нагретой полуденным солнцем, когда над склоненными ивами трепещут зеленые стрекозы.

Смутно чувствуя, что он создает особый мир, в который могут проникнуть только люди, способные на нежные чувства, Бертран рассказывал в песне историю двух сердец. Но даже граф Рауль подпер кулаком щеку и в какой-то редко слетавшей к нему грусти, может быть впервые в жизни, подумал, что на свете существуют более важные вещи, чем ночные набеги, охота или мытные сборы на каменных мостах.

В этот быстрый ручей  
Тристан бросал кусочки коры.  
Течение несло их в жилище Изольды.  
Так условленный знак  
Извещал королеву,  
что возлюбленный ждет  
ее под развесистым дубом...

Анна смотрела куда-то вдаль. Над песенным замком Тинтагель поднималась огромная зловещая луна. При лунном освещении замковые башни казались еще более молчаливыми. Король Марк спал в своей опочивальне. В саду стояла тишина. В этот час, прижимая руки к сердцу, едва живая от волнения, Изольда спускалась по лестнице и пребывала под ночными деревьями, пока звуки медного рога не возвещали о рождении розовой зари...

Менестрель пел:

Но однажды злой карлик,  
что знал семь свободных искусств  
и по волшебной книге  
магию изучавший,  
к дубу привел короля,  
когда влюбленный Тристан  
уже бросил кусочки коры  
в стремительный ручеек.  
Теперь никакая рука  
не в силах была  
остановить течение событий,  
чтобы Изольда могла  
не прийти на свиданье...

Волнение Анны достигло предела. Граф Рауль не спускал с нее глаз, а Генрих, которому помешал дремать зазвеневший голос Бертрана, сидел с недовольным видом, — скучный человек с козлиной бородой. Нижняя губа у него жалко отвисла. Но певец позабыл о нем и даже о графе; ему казалось, что Тристан — это он сам, а королева — Изольда, и пропел взволнованно:

Боже, храни на земле  
счастливых любовников!

Так всегда Анна зарождала в мужских сердцах любовь, как будто явилась в этот грубый мир с другой планеты.

## VI

По прошествии нескольких месяцев беременность королевы сделалась столь заметной, что Генрих оставил жену для государственных дел. Король готов был выполнить любое желание супруги и одарить ее новыми угодьями, скрепив хартию подписями графов и епископов; он весь сиял, глядя на округлявшееся чрево Анны, но теперь мог на некоторое время позабыть о супружеских обязанностях и отдать все свои силы возведению замков, чем стал пренебрегать в последние годы, а между тем вновь начинались военные тревоги.

В отсутствие короля Анна находилась в парижском дворце под наблюдением бродивших за нею по пятам приближенных женщин. Графиня Берта не спускала с королевы глаз. Анне не позволяли одной сходить по крутым каменным лестницам, — таково было повеление короля, опасавшегося, что неловкий шаг может повлечь за собой падение будущей матери и тем причинить вред плоду. Но она сама со страхом готовилась к непостижимой тайне рождения ребенка, и каждое ее движение было исполнено осторожности.

Теперь королева никогда не оставалась в одиночестве и вечно выслушивала благоразумные наставления и советы не утомлять себя чтением, каковое вообще более приличествует епископам и медикусам, чем королевам. Все эти приближенные женщины смотрели на книги Анны с нескрываемым подозрением. Один бог знал, что в них написано непонятными славянскими буквами! Это весьма пахло ересью.

По утрам Анна часто беседовала с Милонегой о Киеве, вернее, вслух представляла себе, что может происходить там, и Милонегга делила эти мысли с любовью. Казалось, что у наперсницы не было своей жизни, все свои помышления она посвящала Ярославне.

Анна не стеснялась своего живота, однако не встречалась теперь даже с епископом Готье, рассказывавшим такие занимательные истории. Епископ, назначенный канцлером, составлял в круглой башне латинские хартии, изысканный слог которых обращал на себя внимание знатоков, или утешался за чтением Сенеки. Несмотря на огромное брюхо, этот человек напоминал своими речами сладкоголосого соловья среди ревущих ослов.

Однажды Милонегга доложила госпоже, что ее желает видеть какой-то чужеземный купец, прибывший в Париж с Руси, по его словам — с важными известиями. Анна разволновалась и потребовала, чтобы путешественника тотчас же позвали во дворец. К ее удивлению, купцом оказался тот самый переводчик Людовикус, который сопровождал посольство, получил сполна все, что ему причиталось по соглашению, и потом исчез бесследно, заявив, что намерен теперь заняться торговлей мехами. И вот он вновь появился во дворце, такой же чернобородый, лысый, с неизменной лисьей шапкой в руках и сияющий от удовольствия, что увидел королеву. Но Анна решила, судя по невзрачному виду этого головного убора, что дела у Людовикуса далеко не блестящие.

Анна сидела в кресле, не скрывая материнскую полноту в широких складках зеленого шелкового платья. Тут же восседали с достоинством две приближенные женщины — графиня Берта и еще одна благородного происхождения старуха, в свое время родившая на свет шестнадцать детей и потому очень опытная в этом деле. Как обычно, Милонегга, не менее взволнованная, чем Анна, стояла за креслом королевы. У нее тоже сжималось сердце при мысли о вестях с Руси. Нет ничего страшнее для человека, чем разлука с родной землей.

Людовикус, обернувшись к слуге, который держал в руках небольших размеров серебряный ларец, произнес повелительным тоном:

— Подай мне это!

Слуга протянул требуемую вещь.

Держа ящичек перед собой как некую драгоценность (впрочем, ларец был действительно тонкой работы, с крышкой как на церковных ковчежцах и с украшениями в виде фантастических зверей), торговец вкрадчивым голосом произнес:

— В нем хранится письмо к тебе от князя Святослава. Берг послание как зеницу ока.

Щеки у Анны запылали. Она на мгновение увидела перед собою надменного брата, синий плащ на красной подкладке и вспомнила громкий голос, напоминавший некоторым рычание льва...

— Давно ли ты оттуда? — спросила Анна, считавшая, что недостойно для королевы с поспешностью читать письма.

— Всего четыре месяца, как я покинул Киев.

— Все ли благополучно в княжеском доме? Все ли здоровы?

— Все здоровы, милостивая королева. Обо всем написано в письме.

Людовикус с поклоном протянул ларец королеве, но, как в императорском дворце, его предупредили руки приближенных женщин. Общим хотелось услужить королеву.

— Откройте крышку! — приказала Анна.

В ларце оказалось послание Святослава, написанное его собственной рукой. Анна хорошо разбирала буквы, четкие и ясные, как характер брата. Святослав извещал сестру, что на Руси стоит тишина. В заключение он писал, что посылает ей в подарок меха черно-бурых лис, бобров и горностаев, и желал здоровья и долголетия.

— Где же меха? — спросила Анна, с удивлением заметив, что руки у слуги Людовикуса пусты.

Людовикус упал на колени. Вслед за ним с грохотом стал на четвереньки перепуганный насмерть слуга, который, видимо, кое-что знал о судьбе этих подарков.

— Добрая королева! В дороге с нами случилось несчастье. Уже недалеко от конца этого путешествия, когда ночь застигла наш караван между Вормсом и Майнцем, мы подверглись нападению разбойного барона. Его люди разграбили наши повозки, забрали и твои меха, а нас тяжело избили и одного из моих спутников лишили глаза. Только с огромным трудом, даже с опасностью для жизни, мне удалось сохранить этот ларец с посланием, которое для тебя дороже всяких сокровищ.

Анна задумалась над письмом, уже не обращая внимания на оправдания Людовикуса и не огорчаясь по поводу пропажи мехов, так как больше заботилась о небесном, чем о земном. Письма из Киева приходили редко и каждый раз переворачивали ей душу. Когда она говорила об этом, Генрих спрашивал ее с удивлением:

— Разве ты не королева Франции?

Но невозможно было заглушить тоску по Русской земле.

Людовикус и его похожий на горбуна слуга продолжали стоять на коленях. Анна сказала:

— Встань!

Людовикус поднялся, помогая себе руками, чтобы вызвать жалость у госпожи. Слуга так и остался стоять в нелепой позе, и никто уже не замечал его.

— Еще какие вести привез ты? — тихо спросила Анна.

— Добрые вести! Все благополучно в твоей стране. Элаки произрастают обильно, реки полны рыб, леса кишат дичью всякого рода. Меха в хорошей цене. Народ трудится на нивах и прославляет светлых князей.

Анна стала расспрашивать о своих. Матери уже не было на земле. Но как жили болезненный отец, братья? Людовикус давал на все вопросы исчерпывающие ответы, как будто бы от него не было тайн в киевском дворце.

— Что еще тебе сказать? Кажется, все важное сообщил. Вот разве о молодом ярле. Был в Киеве начальник охранной дружины, забыл его имя... Но на свете столько варягов...

Анна догадалась, что купец говорит о том воине, которого она встретила однажды. Сердце у королевы болезненно защемило, хотя она уже не думала об этом человеке, промелькнувшем в жизни, как стрела.

— Князь Святослав рассказал мне о нем...

— Где же теперь молодой ярл? — с печалью спросила Анна. — Помню, этот воин ушел с дружиной на печенегов. Вернулся ли он тогда?

— Вернулся.

Ей стало легче дышать.

— Молодой ярл победил печенегов и возвратился с добычей в Киев, но не остался там, а уплыл в Константинополь и поступил на царскую службу. Он где-то погиб недавно в греческих пределах. Кажется, это случилось в битве под Антиохией.

— В битве под Антиохией, — горестно повторила Анна, и этот далекий, чужой город вдруг приобрел для нее печальную славу.

Королева сжимала пальцами подлокотники. Ярл Филипп больше не живет на земле! Тот, что снился ей порой в ночных видениях... И перед ней вновь возникли образы того полного волнений дня, когда она принимала участие в охоте на вепрей в вышгородских дубравах и во время дождя очути-



Судялибад мать посмотрела куда-то  
вдаль, вида перед собой не то скрытое от



Хочу чтобы его нарекли Филиппом!  
Пусть будет таким его имя.  
Филиппом? — недоумевал Готье.

лась в закопченной хижине дровосека. Годы текли как вода, все растаяло как дым... Но васильковые глаза остались в памяти навеки. Сколько раз по приезде во Францию, когда Генрих уезжал куда-нибудь под город Санс или в приморские туманы Нормандии, она вспоминала не о муже, а об этих глазах и плакала о погибшем счастье.

Теперь Анна оставила суетные мысли, готовилась к своему материнству. И все-таки вдруг стало темно кругом. Она со вздохом поникла и упала бы с кресла, если бы ее не поддержали заботливые руки Милонегги. Все были в смятении. Однако госпожа справилась со своим недомоганием, чтобы спросить Людовикуса о подробностях. Их беседу понимала только наперсница, хотя графиня Берта уже вытягивала шею, сверля острым взором загадочное лицо королевы. Толстая старуха сидела, глупо раскрыв мокрый рот.

Анна спросила:

— Известно ли, где похоронен воин? Осталась ли после него вдова?

Людовикус не мог ответить на эти вопросы. Анна спросила его в последний раз:

— Откуда же об этом известно брату Святославу?

— И этого я не знаю. Может быть, какой-нибудь человек пришел из греческой земли в Киев и сообщил о том, что произошло. Все любили молодого ярла.

— Да, это был поистине благородный воин,— сказала Анна, поникнув головой.

Опасаясь, что предательская слеза выдаст ее тайну, королева отпустила купца и велела наградить его.

Прошел еще один месяц. Когда же случилось то, к чему предназначила женщину природа, и Анна, к великой радости короля, родила здорового и невероятно крикливого младенца, епископы Роже и Готье, в течение многих лет остававшиеся советниками Генриха, пришли к нему и спросили:

— Как ты пожелаешь, чтобы назвали твоего сына?

Отец чувствовал себя на седьмом небе. Едва сдерживая наполнявшую его сердце радость, он ответил:

— Спросите у королевы!

Сам Генрих в этот час не имел желания думать о чем-либо, и ни одно имя не приходило ему на ум, кроме имени отца. Но Робертом звали и мятежного брата. Кроме того, королю хотелось сделать приятное супруге. Ведь она в муках родила сына, пусть и наречет его, как пожелает. У Генриха никогда не было силы противостоять Анне в важных решениях. Так же он уступил ей, когда она захотела присягать на странной славянской книге. Едва епископы ушли в королевскую опочивальню, король сказал окружающим с привычной своей грубоватостью:

— Пусть назовут моего наследника как угодно, лишь бы французская корона держалась у него на голове!

Прелаты явились к Анне. Королева прижимала к себе сына, и младенец сосал грудь. Умиленная наперсница стояла у изголовья постели. После подобающих в таких случаях изъявлений верноподданнических чувств епископ Готье, наставник и духовник Анны, с молниеносной быстротой отпускаявший обычно все ее прегрешения, спросил:

— Король прислал нас узнать, как хочешь ты, чтобы нарекли новорожденного?

Счастливая мать посмотрела куда-то вдаль, видя перед собой нечто скрытое от зрения остальных людей, и тихо сказала:

— Хочу, чтобы его нарекли Филиппом! Пусть будет таким его имя.

— Филиппом? — недоумевал Готье.

Епископы переглянулись.

— Но почему ты пожелала дать сыну это странное имя? — упрекал королеву изумленный Роже. — Ни один французский король не назывался так. Разве не более достойно назвать его, например, Робертом, в память благочестивого отца нашего короля? Или в честь славного предка дать ему имя Гуго?

Но Анна оставалась непреклонной. Она ответила:

— Робертом я назову второго сына.

— Однако это весьма удивит короля, — настаивал Роже.

— Я желаю, — твердо повторила королева, — чтобы младенца назвали Филиппом!

Роже был очень удручен. Но его друг вздохнул и с присущей ему мягкостью сказал:

— Не настаивай. И не будем утомлять королеву. Филипп — прекрасное имя! Если память не изменяет мне, именно этот апостол проповедовал Евангелие во Фригии, недалеко от тех областей, где родилась супруга короля. Мне приходилось также слышать, что русские правители ведут свой род от македонского царя Филиппа. Может быть, в честь его и хочет назвать наша госпожа наследника французского престола?

Анна движением головы подтвердила слова епископа.

Прижимая к груди сына, блаженно улыбаясь, она закрыла глаза и больше не произнесла ни слова. Епископы поняли, что они здесь лишние, и на кончиках пальцев покинули опочивальню, что не представляло больших затруднений для художавого Роже, но не так-то легко удавалось дородному Готье, неуклюже балансировавшему руками и размышлявшему о тайне имени Филипп. В эту минуту он напоминал медведя, что танцует на ярмарке.

Однако в разговоре с Генрихом Роже вновь выразил свое недоумение по поводу непонятого решения Анны и сообщил королю, что Робертом она хочет назвать лишь второго сына.

Королю это чрезвычайно понравилось.

— Второго сына? Не успела родить одного, как собирается рожать второго!

— Так сказала королева.

— Прекрасно! Пусть будет так, как ей угодно.

Сияющий от радости, что наконец-то провидение смилостивилось над Францией, послав ему законного наследника, он повторил свою шутку:

— Пусть моего сына назовут любым именем, лишь бы французская корона прочно держалась на его голове!

Епископ Готье, любезнейший из людей и не последний царедворец, прибавил с улыбкой:

— Можно быть уверенным, что твой наследник прославит Францию!

Генрих милостиво взглянул на льстеца, тотчас решив повидать супругу.

Все помыслы короля были направлены на укрепление его дома, который еще совсем недавно колебала буря гражданской войны. Теперь у него есть сын! Он думал также о приумножении богатства. Ведь деньги дают возможность нанимать большое число норманских рыцарей, ковать оружие, строить неприступные каменные замки. Только хорошо вооруженный и сытно накормленный воин способен с успехом сражаться. Ячмень, а не трава, пища мирных волов, делает рыцарского коня способным нести всадника в грохот сражений.

Филипп подрастал, играя с побрякушкой, и Анна смотрела на него как на самое себя. Это была своя собственная плоть, и, когда сын хворал или ему было больно и он плакал, Анне казалось, что болит ее живот, ее грудь и плечи покрываются красными пятнами таинственной болезни.

Король по-прежнему часто покидал Париж, иногда оставляя супружеское ложе среди ночи, и потом неожиданно возвращался, порой тоже в ночные часы, и тогда внутренний двор замка наполнялся грубыми мужскими головами и звоном оружия. Генрих со вздохом ложился в постель, согревался теплом супруги, засыпал и храпел до утра. Пробудившись, он рассказывал королеве о том, что произошло во время очередного набега, и Анна не знала, кто больше враг королю Франции — немецкий ли кесарь или собственные графы. Ей представлялось, что французское государство — здание, построенное на песке: в нем каждый сеньор жил как независимый властелин, и король только делал вид, что власть его простирается от моря до моря.

На Руси отец был одинаково господином в Киеве и в Тмутаракани, в Ладогe и Новгороде... А в Полоцке? Нет, видно, везде на земле происходит то же самое. Непомерная жадность вельмож, стремление к золоту, ненасытное желание собрать в своих житницах и погребях возможно больше пшеницы, ячменя, хмеля, вина, льна, мехов, пряжи, меда... Везде графы хотят одеваться в дорогие одежды и владеть породистыми конями, драгоценным оружием. Она сама носила красивые платья из шелка, ела на серебряных тарелках и пила из золотой чаши...

Впрочем, иногда поднималась на миг завеса над страшным миром, и Анна видела нищету, человеческие страдания, жалкую покорность бедняка своей судьбе. Но как возможно изменить участь этих людей, если у них даже не хватало ума, чтобы обмануть прево? Однако епископ Роже ворчал:

— Сервы? Они хитрые бестии. Их надо держать в повиновении, иначе они захотят каждый день есть мясо. И мало ли чего захочется им?

Кто прав? Генрих смотрел на свое назначение просто. Помазанник был убежден, что самое важное для Франции, чтобы корона сохранилась на многие века за его родом. Как-то он разговаривал с нею в постели, наедине, без посторонних:

— Король один, а сеньоров много. Бедняку выгоднее, чтоб только я выжимал из него соки. Хе-хе! К тому же мои вассалы жадны, берут дважды у поселян сверх положенного по закону, притесняют их бесчисленными работами и доводят до того, что люди бегут куда глаза глядят. Тем самым графы наносят ущерб не только себе, но Франции. Они не видят дальше своего носа.

Анна рассказала:

— От епископа Готье слышала я басню. Была где-то в Греции курица, несшая золотые яйца. Но жадному хозяину показалось мало получать всякий день несколько унций золота, и он распотрошил птицу, чтобы сразу завладеть сокровищем, что находилось в ее внутренностях.

Король рассмеялся.

— Курица подохла, но никакого богатства в ее потрохах не оказалось, — закончила свой рассказ Анна. — Это, конечно, только басня, а бывает подобное и с людьми.

Она лежала на спине, смотрела на шелк балдахина над головой, на котором знала каждую складочку материи... Везде одно и то же. Но, кажется, в Киеве все-таки еще не установили такого множества налогов. Во Франции же человек шагу не мог ступить, чтобы сеньор тотчас не потребовал с него пошлину.

— Почему так жадны графы? — спросила Анна. — Ведь нельзя унести богатство с собой в могилу.

Король сам взимал налоги где только возможно. Поэтому стал защищать вассалов:

— Всем нужны деньги. Появилось много дорогих товаров. Нужно купить шелк для жены, свечи для пира, перец и прочее. Вот почему у каждого городских ворот, а иногда даже при переходе с одной улицы на другую установлен мытный сбор. Но я опять скажу тебе, что если бы жители платили одному королю, то разорения для народа было бы значительно меньше.

Анна знала, что королевские прево грабят народ не менее беспощадно, чем графы, однако промолчала. Ей приходилось читать в книгах, что страдальцы на земле получают награду на небесах. Это успокаивало ее, хотя она сама не страдала... Значит, будет лишена вечного блаженства? Королева гнала прочь печальные мысли. И все-таки иногда приходило в голову, что не все благополучно вокруг. Так, до слуха ее доходили страшные рассказы о манихеях. Будто бы в Сауссоне жители слышали по ночам, как из неких глубоких подземелий доносились чудовищные вопли:

— Хаос! Хаос!

В крошечной темноте людям было боязно выйти из дому, а утром, несмотря на тщательные поиски, обнаружить ничего не удавалось.

Об этом Анне рассказывал епископ Роже, не один год борющийся с манихейской ересью.

Королева расспрашивала его:

— Как это возможно, чтобы они не нашли подземелья? Следовало запомнить место, откуда доносились крики, и с наступлением утра осмотреть там каждый дом. Или выйти ночью с факелами и всюду искать.

Но епископ разводил руками:

— Делали, как ты говоришь, но безрезультатно. Ведь сатана покровительствует манихеям. В чем сущность их учения? Объясняя, почему на земле добро перемешалось со злом, они утверждают, что мир создавали одновременно бог и дьявол. Свет и тьма! И они поклоняются злему началу, сиречь сатане!

В другой раз епископ Готье прочитал ей в хронике Рауля Глабера о других еретиках. В 1017 году, полном всяких несчастий, вдруг объявилась ересь, проникшая во Францию из Италии. Якобы ее распространяла в Орлеане какая-то обольстительная женщина, увлекающая в свои сети не только темных людей, но и ученых клириков. Среди последних оказались двое монахов, отличавшихся чистотою нравов. Одного звали Лизой, другого — Гериберт, по прозвищу Девственник. Сущность же ереси заключалась в таких нелепых заблуждениях, что хронисту даже трудно передать их в благопристойной записи. Например, эти злодеи смехотворно утверждали, что земля и небеса и все то, что мы видим вокруг себя, в том числе звезды, существуют вечно и, следовательно, никем не сотворены; даже осмеливались отрицать троичность божества и лаяли, таким образом, подобно псам, на непреложные истины. Собор, созванный по этому поводу покойным королем Робертом, постановил, что если еретики не раскаются, то умрут на костре. Однако они в своей дерзости не только не убоялись предупреждения, но даже хвалились, что выйдут из огня невредимыми. Чтобы вернуть их к разуму, король повелел развести недалеко от городских ворот большой огонь. Безумцы же кричали, что сами жаждут взойти на костер, чтобы доказать правоту своего учения. Тогда было предано казни тридцать человек. Как только пламя стало жечь осужденных, эти глупцы завопили, что испытывают адские муки, ибо дьявол покинул

их. Некоторые из стоящих у костра пытались спасти несчастных, но помощь уже запоздала, и скоро их тела превратились в пепел...

Присутствовавший при чтении епископ Роже уверял королеву, что после сожжения нечестивых еретиков католическая вера во Франции заблистала еще более ярко.

Но вскоре произошло очень важное событие в христианском мире, а именно — разделение церквей. О том, как это случилось, до Анны дошли самые разнообразные вести. В Париже порицали константинопольского патриарха. Но так как в ее семье особого благоговения к патриархам не испытывали, то королева отнеслась первоначально к происшедшему спокойно. Когда король спросил ее, как она намерена поступить после раскола, Анна, по примеру библейской Руфи, ответила:

— Я буду молиться так, как молится французский народ.

Однако по временам в душе Анны просыпалось беспокойство, и, как всегда в подобных случаях, она обратилась за разъяснениями к епископу Готье.

Епископ, устроив поудобнее тучное тело в кресле и пожевав губами, как имел привычку делать в затруднительных положениях, начал издали — с завещания Христа апостолу Петру пасти христианское стадо. Потом перешел к соперничеству пап и константинопольских патриархов.

Анна помнила рассказы Людовикуса, бывавшего в Риме, о папе Сильвестре. Смущаясь, что заводит разговор на такую тему с духовником, она поделилась с Готье своими сомнениями в благочестии этого папы. К ее великому удивлению, епископ, позванный, чтобы успокоить женскую душу, вдруг подался вперед, как будто желая сообщить нечто любопытное, и с весело заблестевшими глазами сказал:

— Да, папа Сильвестр едва ли сподобится быть причисленным к лику святых. Но зато это муж большой учености. Он никого не отравлял и не отличался жадностью. А вот папа Сергий, — правда, это происходило некоторое время тому назад, — так тот начал пастырскую деятельность с того, что отправил на тот свет двух своих предшественников. Папа открыто жил с дочерью одного знатного человека. Ее звали Мариетта. А после него папа Иоанн, тот самый, что утвердил на кафедре реймского архиепископа пятилетнего мальчика, состоял в преступной связи с матерью Мариетты. Впрочем, его тоже задушили в тюрьме...

Анна, ожидавшая получить отповедь за свои сомнения даже от такого терпимого человека, как Готье, всплеснула руками. Но епископ, точно конь, закусивший удила, сообщал новые подробности о папах и как бы летел в пропасть, точно ему доставляло необъяснимое удовольствие обнажать страшные раны церкви.

— Еще был один папа, — страшным шепотом говорил он, облизывая, как в жару, толстые губы, — Иоанн Двенадцатый, внук Мариетты. В пятнадцать лет он уже стал сенатором Рима, а через год — папой! Этот юноша был так же порочен, как его бабка, и превратил Латеранский дворец в лупанар. Добродетельные женщины прятались от него как от огня, и тем не менее он имел немало любовниц из знатных жительниц Рима, принуждая их всякими способами к сожительству. Во дворце он завел, в подражание магометанским эмирам, гарем, устраивал там чудовищные оргии, не стеснялся поднимать чашу во славу сатаны и однажды рукоположил своего любимца в епископский сан не в церкви, а на конюшне. Кардиналам он запросто отрубал носы и уши. Но это уже отошло в область преданий, а вот в тысяча тридцать треть-

ем году, если мне не изменяет память, на папском престоле сидел двенадцатилетний мальчик. Когда он умер, в его домово́й капелле нашли магическую книгу с формулами для вызывания духов и обольщения женщин...

Анна не выдержала и воскликнула:

— Епископ! Что с тобою? Опомнись!

Готье в самом деле как бы потерял разум. Он умолк и стал вытирать рукою капли пота, выступившего на его большом лбу. Потом вдруг горестно сказал:

— Кажется, я действительно нездоров...

И с опасением оглянувшись, чтобы удостовериться, не стоит ли кто-нибудь за его спиной.

Никого, кроме Анны, в горнице не было. Старик вынул платок, но уронил его на пол. Анна, видя, что епископ тянется за ним, однако никак не может дотянуться до пола, с легкостью встала и подняла упавшую вещь, не считаясь со своим королевским званием.

— Да наградят тебя небеса,— шепотом сказал Готье.

— Но что с тобой? — опять с тревогой спросила Анна.

— Прощу тебя, не обращай большого внимания на мои слова,— расслабленным голосом произнес Готье.— Все мы — грешники. Зато могу тебя уверить, что в наши дни папы отличаются редкими добродетелями и над Римом веет дух святости.

Анна хранила в ларце письма, полученные от папы Николая. Он называл ее в этих письмах верной дочерью церкви, передавал свое пастырское благословение. И подписывался: «Епископ Николай, раб рабов божьих...»

Епископ Готье стал каяться и сокрушаться:

— В аббатстве Ключи и во многих других монастырях католическая религия процветает, как вертоград. Оттуда уже раздаются голоса, призывающие к покаянию и очищению.

— Но то, что ты рассказал мне о папах...— не могла опомниться Анна.

Готье сидел с поникшей главой, опустив руку с зажатым в ней красным платком.

— Полагаю,— заметила Анна,— что подобные вещи немислимы в Константинополе, где цари блюдут добрые нравы.

Готье махнул рукой.

— А патриарх Кируларий? Разве не обвиняют этого человека в тирании, в смертоубийстве, даже в некромании...

Видя недоумение, написанное на лице у Анны, он пояснил:

— Он якобы раскапывал могилы...

Анна закрыла уши руками. Первоначально она хотела прогнать епископа, потерявшего в своих речах всякую меру приличия, но, увидев, в каком угнетенном состоянии его дух, пожалела старика.

— Люди в пылу споров клеветают друг на друга,— сказала королева.— В Киеве мне приходилось слышать, как греческие царедворцы рассказывали братьям о патриархе. Много говорили о нем странного. Будто бы он даже считает себя равным царю. Однако никто не обвинял его в подобных злодеяниях.

Со слов одного из папских легатов Готье тоже знал, что Кируларий совсем не похож на других греческих архиереев, во всем покорных воле императора. Но если бы епископ поближе познакомился с Михаилом Пселлом, позднее описавшим константинопольского гордеца в наделавшей много шума «Хронографии», то, к своему удивлению, открыл бы, что патриарх, вводя в искушение малых сих, всюду носил в кармане монашеского одеяния обугленный томик Порфирия, спасенный в последнюю минуту из какого-то

церковного костра, и был способен, как восторженная женщина, часами любоваться редкими жемчужинами и раковинами или услаждать свой слух пением серебряных птиц, щебетавших в его дворце посредством механического дыхания. Епископ признал бы достойным удивления, что в это жестокое и грубое время, когда многие правители, духовенство и даже ученые люди весьма напоминали ослов и волков в овечьей шкуре, жили на земле люди вроде Кирулария, способного понять и оценить нежную красоту жемчужины!

Но Готье было сейчас не до тонких восприятий: он ругал себя за длинный язык, который рано или поздно мог уготовить ему что-нибудь вроде монастырского заточения на хлебе и воде, что далеко не прельщало этого чревоугодника. Увы, таков был его характер: часто из чувства противоречия он говорил лишнее, а потом трепетал. Сейчас епископ тоже опасался, что королева пожалуется на него. Но Анна сокрушенно сказала:

— Ты слишком много размышляешь о вещах несказуемых, и это помрачило твой разум.

— Разум мой близок к безумию,— сказал епископ и заплакал, закрывая трясущимися руками лицо.

Анна смотрела на него с состраданием.

— Успокойся,— сказала она.— Мы все несчастны в этом мире, и еще не известно, обретем ли блаженство в будущем. Но что теперь будет с нами? Почему христиане не могут жить в мире между собой?

Епископ Готье, видевший в житейской темноте то, чего не видели другие, кого он называл ослами, размышлял некоторое время, пытаясь ответить на вопрос королевы.

— Если мне не изменяет память,— вздохнул он,— то, кажется, у Григория Богослова я прочел, что в Константинополе последний раб занимается догматикой, меняла, взвешивая монету, объясняет прохожему, чем ипостась отца отличается от ипостаси сына, а булочник на вопрос, хорошо ли выпечен хлеб, в задумчивости отвечает покупателю, что сын сотворен из ничего. А наши менялы и булочники, наоборот, считают, что не их дело заниматься богословием, и верят, что бог награждает трудолюбие и бережливость. Как же ты хочешь, чтобы люди понимали друг друга? Впрочем, если бы константинопольские булочники встретились с парижскими хлебопеками и объяснились хотя бы при помощи знаков, они, наверно, поняли бы, что у них нет никаких причин жить во вражде.

— Разве это возможно? — сказала Анна, не очень-то ясно представлявшая себе, к чему все это говорит Готье.

Епископ сказал:

— Не знаю. Может быть, для этого еще не настало время. Но я уверен, что мне удалось бы договориться с патриархом.

Анна посмотрела на своего толстого учителя и подумала, что это похоже на истину, потому что, несмотря на свою дородность, епископ Готье был способен к тонкому пониманию вещей. Многие люди жадно пожирали мясо, старались на пиру больше выпить вина, хватали похотливыми руками женщин. А этот толстяк, хотя тоже большой любитель покушать, как будто бы стоял на очень высокой горе.

В тот же день вечером епископ Роже пристойно рассказывал королю о какой-то тяжбе, имевшей место в Константинополе. Ему самому это судебное дело стало известно со слов пилигримов, побывавших в греческой столице. Король доверчиво слушал.

— Там протекала река, и на ней была построена водяная мельница,— докладывал Роже,— а ты сам изволишь понимать, как целесообразно для сельского хозяйства обилие воды и такое строение. Ведь при наличии его



можно молотить зерно на месте. Вот из-за этой-то мельницы и началась распря между одним монастырем и каким-то местным жителем, не помню его имя. Так как судьи долго не могли прийти к какому-нибудь окончательному решению, то постановили при рассмотрении дела, что мукомольня будет принадлежать монастырю, если шелковая завеса, какие бывают в церквах у схизматиков, останется неподвижной; если же она придет в движение, то в таком случае тотчас передается тому человеку, который судился с монастырем. Вынося такое постановление, судьи отправились в храм и стали ждать. Но сколько они ни ждали, завеса не шевелилась. Таким образом, дело было разрешено божьим судом. Мельница перешла к монастырю.

Король и королева спокойно выслушали рассказ. Но епископ Готье, который сидел со сплетенными на животе пальцами, вдруг прыснул со смеха. Это было так неожиданно и странно и даже неприлично, что все посмотрели на него.

— Брат мой,— обратился к нему Роже,— что тебя так рассмешило?

Готье заерзал в кресле. Потом сказал, будучи не в силах скрыть лукавый огонек в маленьких умных глазах:

— Меня нисколько не удивляет, что на такое решение относительно церковной завесы охотно пошел монастырь, но как согласился на это бедный греческий житель, этого я не могу постичь.

Но король сказал, что все случается на свете. Анна тоже не поняла, что хотел сказать Готье. Ей было известно, что во Франции часто происходят божьи суды в тех случаях; когда человеческий разум бывает бессилён разрешить какую-нибудь тяжбу и мудрые судьи предоставляют решение на волю небес, зная, что господь неизменно помогает правым. Чаше всего при таких затруднениях прибегали к испытанию водой, как к самому верному способу. Так именно судили недавно одного человека в Суассоне. Обвиненного в каком-то преступлении допустили к святому причастию, а потом раздели, связали у него правую руку с левой ногой и тотчас бросили в ближайший пруд. Прево считал, что, если подсудимый будет тонуть, значит, он не виновен, а если останется на поверхности воды, то, видимо, даже стихия не хочет принять его, как никуда не годную солому. Анне рассказывали, что человек оказался осужденным несправедливо, потому что стал тонуть, но, к сожалению, несмотря на все старания, его не удалось вытащить из глубокого пруда. Она вспомнила, что и тогда так же лукаво блестели глаза у епископа Готье.

У Анны почему-то стало тревожно на сердце. Она посмотрела на своего учителя и усумнилась на мгновение: не дьявол ли это в епископской сутане? Но неужели сатана способен явиться людям в таком благодушном образе? В ужасе она закрыла лицо руками.

— Что с тобой, королева? — спросил встревоженный Готье.

Анна ничего не ответила.

В те годы одинаково на Руси и во Франции пересекали небо кровавые кометы, и люди выходили по ночам из своих жилищ, чтобы следить за ними, предчувствуя новые несчастья. В этом страшном мире, как беспомощная птичка, трепетала душа Анны.

Годы текли как вода. Еще один караван торговцев доставил в Регенсбург на хорошо укрытых от непогоды повозках русские меха, греческие материи, пряности. Еще одна группа благочестивых паломников побывала в Иерусалиме и после всяких мытарств благополучно возвратилась в Прованс, или в Лотарингию, или в Аквитанию. Еще один папский посланец, для удобства передвижения тоже надевший на себя костюм пилигрима, то есть короткий

шерстяной плащ с капюшоном, и взявший в руки посох с привешенной на нем выдолбленной дыней для воды, перевалил через Альпы и, пройдя с непостижимой быстротой Бургундию, достиг ворот Дижона, Мелэна и Парижа. Впрочем, он пользовался иногда в пути услугой какого-нибудь попутного всадника, соглашавшегося везти пилигрима на крупе коня, в надежде, что такое благодеяние зачтется ему, когда настанет час расплаты за прегрешения. В пути странник прибегал к гостеприимству придорожных монастырей и харчевен и поэтому не отягощал себя ни сумой, ни кошельком с деньгами, который легко могли отнять на большой дороге разбойники. И вот один из таких пилигримов, питаясь, как птица небесная, подаванием, принес во Францию известие о разделении церквей.

Едва ли эта новость особенно потрясла французский народ, до крайности измученный войнами, засухами, неурожаями и другими бедствиями. Тем не менее, лишь только Генриху стало известно о событиях в Константинополе, он прежде всего подумал о том, какую пользу можно извлечь из них в трудной борьбе с папским Римом.

Король не чувствовал большого доверия к христианскому усердию епископа Готье, хотя никто лучше его не знал писание и не мог составить латинскую хартию. Сам король, не в пример своему просвещенному отцу, латынь знал плохо, но хвалебные отзывы об учености епископа Готье доходили до него со всех сторон, впрочем вместе с язвительными намеками, что этот епископ охотно продаст любой из двенадцати членов символа веры за жирного зайца, приготовленного в сметане. А королева относилась к мудрому наставнику с большой нежностью, и ради нее король смотрел сквозь пальцы на нерадение епископа. Как бы то ни было, по получении известия о разделении церквей, Генрих немедленно вызвал из Шартра молодого епископа Агобера, прославленного канонической строгостью. Однако королева настояла, чтобы в этом совещании принимал участие и Готье Савейер.

Епископ Агобер начал с того, что стал засыпать проклятиями константинопольского патриарха, которого он обвинял во всех смертных грехах.

— Я вызвал тебя, — сказал король Агоберу, — чтобы ты просветил наше невежество и рассказал о церковной смуте.

В глубине души Генриху было совершенно безразлично, кто в этой темной истории прав, кто виноват.

— Разве не известно тебе, король, что натворил в Константинополе этот сатана?

Кое-что король уже слышал, но предпочел притвориться ничего не знающим.

— Какой сатана? — спросил он.

— Константинопольский патриарх.

— Что же он натворил?

— Велел закрыть латинские храмы в Константинополе, где бескровная жертва правильно совершалась на опресноках, а не на квасном хлебе, как у греческих еретиков. А кроме того, кто же посмеет теперь не признать, что дух святой нисходит и от сына?

Но вопрос о квасном и пресном хлебе тоже не очень волновал короля. И даже не мучила его проблема о нисхождении святого духа. Ему хотелось узнать о положении, которое создалось на Востоке. Пока Агобер рассказывал о церковной распре, о том, как папские легаты спорили с патриархом и взаимно проклинали друг друга, король слушал рассеянно. Но когда епископ напомнил, что греческий император нуждается в помощи папы, так как изнемогает в борьбе с сарацинами, Генрих с огорчением вздохнул. В Константинополе сжигали на костре книгу некоего Никиты Стифата и происходили

другие события, однако король чувствовал, что за этим спором кроется какая-то иная причина.

— Что же все-таки произошло в Константинополе? — спросила молчавшая до сих пор королева.

— Единая церковь распалась, — горестно произнес Агобер.

Вдруг епископ Готье, любивший забираться в дебри теологии, не совсем уместно заявил:

— Но ведь уже на Трульском соборе, если мне не изменяет память, был подтвержден Халкидонский канон о равенстве старого и нового Рима. Меня, собственно говоря, заинтересовало в его постановлениях другое. А именно — запрещение изображать Христа в виде агнца, и я иногда спрашиваю себя, в чем тут дело. В том ли...

Агобер не выдержал и возопил:

— Как можешь ты в такое время, когда святой отец лишился власти над половиной мира, а церковь — значительных доходов, рассуждать об изображении агнца!

Готье смущенно замолк.

Агобер, зная благоволение королевы к этому болтуну, не решился на более резкие выражения, но в душе обругал канцлера последними словами.

К своему глубокому сожалению, королю Генриху из подобных епископских споров никакого полезного вывода сделать не удалось. А он собирался сегодня воспользоваться удобным случаем и обратиться к Шартрскому епископу за некоторой суммой денег, необходимых для построения военных машин, которые не сегодня завтра могли понадобиться при осаде замка Тийер, поэтому милостиво улыбался шартрскому прелату. Королева сидела с опечаленным лицом. Жизнь походила на море, взволнованное бурями, и Анна со страхом плыла в нем, как утлый челн среди пучин.

## VIII

Несмотря на большое душевное потрясение Анны, когда она поняла, что с разделением церковей будет жить в ином мире, чем тот, в котором оказались ее близкие, королеве представлялось, что все так и останется до скончания века: жизнь с Генрихом, заботы о детях, материнское умиление перед первым детским лепетом, женские радости и слезы...

Вспыхивали и утихали непродолжительные, не очень кровопролитные и мало славы приносившие французскому королю битвы, то под городом Сансом, то где-то на границе с Нормандией. Шумел латинскими спорами очередной собор. Вырастала еще одна церковь в тихом, но уже богатеем от торговли и ремесел городе. Анна почти не участвовала теперь в этом потоке событий, а только олицетворяла величие Франции своей царственной красотой, и люди с улыбками взирали на королеву, не причиняющую никому зла. Человеческое бытие представлялось таким неприглядным, что простодушные женщины даже находили утешение в мысли о приятной жизни королевы. А между тем Анна стала явственно замечать на каждом шагу бедность и угнетение. О многом рассказывал ей старый истопник Фелисьен. Однако епископы и монахи утверждали, что все в мире совершается по замыслу провидения, а если и бывают бедствия, или довольно частые неурожаи, или мор, то это лишь испытания, посылаемые людям, чтобы направить род человеческий на истинный путь. Следовательно, какое малое значение имели все эти беды по сравнению с вечным блаженством! Плохо знакомые

с богословием, крестьяне мрачно слушали, переглядываясь друг с другом и почесывая в затылках.

Даже Анна, несмотря на всю свою гордыню, поддавалась уговорам о необходимости смириться пред небесами. Но она чувствовала, что в мире клокочут подземные страсти, и убедилась в этом, когда ей пришлось присутствовать на соборе, где предали анафеме ересь Беренгария Турского. Всюду было страдание — в крытых тростником хижинах, в башенных подземельях, на базарах, где в голодные годы продавали пироги с начинкой из человеческого мяса. А между тем французский народ еще не был в состоянии выразить свое стремление к истине и справедливости, и за него это делали еретики, высказывавшие его затаенные мысли.

Собор, созданный королем для осуждения ереси Беренгария, состоялся в Париже, в самой обширной зале королевского дворца. Подражая отцу, большому любителю теологических дискуссий, Генрих председательствовал на нем. Анна тоже сидела рядом с мужем, как некая безмолвная свидетельница церковных страстей.

Епископы восседали на скамьях, на которые, в заботе об их бранных телах, слуги положили мягкие подушки, ибо многие из прелатов отличались крайней худобой или достигали преклонного возраста. Они явились на собор в митрах, в парче, но, невзирая на торжественную обстановку, ради которой король и королева надели в тот день золотые короны, некоторые из присутствующих вели себя бурно, поминутно вскакивали в гневе с сидений, воздевали руки, как бы призывая небеса в свидетели своей правоты, и даже плевались, брызгали слюной и грозили противникам кулаком.

Диспут об евхаристии продолжался уже не один час, а Беренгарий, на котором тяготело обвинение в ужасающей ереси, во дворец не являлся, что вызывало негодование участников собора. Какой-то неизвестный Анне горбоносый епископ с красноватым лицом и круглыми, немигающими, как у ночной птицы, глазами встал и заявил:

— Что же мы медлим и не осуждаем еретика и всех, кто с ним?

Генрих обвел взглядом собрание, желая знать, какое впечатление произвели на присутствующих слова сердитого старика, и со вздохом заметил, что многие из них негодуют на Беренгария. Но король все-таки медлил с осуждением шартрского ученого, надеясь, что в последнюю минуту он предстанет перед судилищем и сумеет себя защитить. Генриху желательно было обойтись без крайних решений, в надежде, что Беренгария можно будет использовать в борьбе за независимость французской церкви.

Во время перерыва, в ожидании, когда начнутся прения, святые отцы обменивались друг с другом всякими частными соображениями. Анна слышала, как сидевший поблизости от нее, на почетном месте, толстый Готье сдержанно спорил с каким-то аббатом, имени которого она не знала, и, по видимому, о вещах, не имевших прямого отношения к собору. С неизменной своей улыбкой, разливавшейся по всему лицу и даже двойному подбородку, Готье с убеждением говорил соседу:

— Существует только реальное множество вещей, то есть отдельные предметы, образующие окружающий нас мир, а все общее и единое не имеет существования за пределами нашего разума.

Как бы для большей убедительности епископ Готье даже постукал, хотя и с большей пристойностью, по своему лбу.

К счастью для Анны, собеседники выражали свои мысли на французском языке, и королева, скучавшая на этом шумном собрании, плохо понимая все то, что в пылу полемики говорилось по-латыни, была довольна, что может следить за беседой двух ученых мужей.

Она спросила шепотом короля:

— Как зовут этого аббата?

— Какого? — переспросил Генрих.

— Того, что беседует с Готье.

— Лафранк.

— Он не французский аббат?

— Все епископы и аббаты, сидящие здесь, должны считать себя сынами Франции, — с недовольным видом ответил король.

— Откуда он приехал?

— Из Нормандии.

— Разве он нормандец?

— Нет, итальянец. Из Павии.

Анна посмотрела еще раз на соседа Готье и только тут заметила, что у него южная синева на бритых щеках и огненные глаза.

Лафранк, видимо чем-то взволнованный, мотал головой, готовясь возразить Готье. Епископ говорил ему:

— Только наш разум обобщает все разрозненные явления в единое целое.

— Не в нашем жалком и ограниченном уме они обобщаются, — услышала Анна ответ аббата, — а в универсалиях, которые существовали раньше вещей. Все же множественное лишь представляется нашему познанию. Как в сновидении.

Готье, в последнее время благоразумно избегавший споров, старался мягкими движениями рук умерить горячность собеседника.

Анна уже не понимала, о чем идет речь, так как спорившие перешли на латинский язык. Потом снова до нее стали долетать отдельные французские фразы, которые она едва воспринимала в шуме епископских голосов.

— Но и в учении об универсалиях не следует впадать в крайность, — предупреждал Лафранк.

— Позволь, позволь, — не сдавался Готье, — ведь ты же не станешь отрицать, что все разумно существующее познается разумом.

— Полагаю, что это справедливо.

— Следовательно, мы можем сделать вывод, что...

— Не согласен, не согласен, — отбивался Лафранк.

В свою очередь Готье отстранял от себя какое-то обвинение и даже выставил перед собой обе ладони.

Но Лафранк прибег к авторитету великих мыслителей.

— Эриугена Скот... — начал он.

— Эриугена Скот этого никогда не говорил, — возразил Готье.

— Говорил!

— Не говорил!

Дальше до слуха Анны донеслись такие слова Лафранка:

— Это познание великий Эриугена представлял себе как последовательное нисхождение от наивысшей реальности, единства и общности — к небытию, множественности и раздельности или как обратное восхождение от небытия, множественности и раздельности к единому и всеобщему бытию...

Анна ничего не поняла из этих слов, сказанных с большим убеждением, и посмотрела на Готье, надеясь прочесть на его лице, какое впечатление произвели слова аббата на ее учителя. Видимо, епископ был не менее Лафранка осведомлен об учении Эриугены Скота, потому что на лице у него ничего не отразилось, кроме скуки.

— На первой ступени этого познания... — продолжал Лафранк.

Анне тоже стало скучно. Но закончить фразу нормандскому аббату не

пришлось: в зале произошло какое-то движение, Лафранк оторвался на мгновение от своего собеседника и увидел, что в дверях появился Беренгарий. Это случилось так неожиданно, что разговоры смолкли и все взоры обратились на еретика.

— Вот он, волк, разоряющий нашу овчарню,— сказал Лафранк.

Анна тоже посмотрела на дверь, точно за ее черным зиянием был не знакомый каменный переход, а некий таинственный мир, в котором живут люди, подобные Беренгарию. На пороге стоял довольно высокий и худощавый человек лет сорока пяти, в священническом одеянии, свежесбритый, с тонзурой в венке каштановых волос. Подняв голову, Беренгарий смело озирает залу и всех находившихся в ней и не смутился, даже встретив суровые взоры короля. Анне показалось, что еретик на одно мгновение задержал свой взгляд на ее лице и что глаза его вдруг стали печальными.

За Беренгарием можно было разглядеть еще двух монахов, засунувших руки в широкие рукава коричневых сутан и смиренно потупивших взоры, хотя, по-видимому, то были не единомышленники еретика, а стражи или ангелы-хранители, доставившие в целости и сохранности заблудшего брата на собор, чтобы он мог покаяться в своих прегрешениях.

В наступившей тишине раздался глуховатый и даже немного гнусавый голос короля, обратившегося к Беренгарию с нахмуренным лицом:

— Почему заставляешь ждать себя? Или воображаешь, что ты наш учитель, а мы твои ученики?

Слова короля были покрыты гулом одобрения. Епископы по-стариковски закивали головами.

Беренгарий опустил глаза и почтительно произнес:

— Только многочисленные недуги помешали мне явиться сюда в указанный час...

Участники собора пришли в крайнее волнение: заявление Беренгария только подлило масла в огонь, так как никто не поверил, что этот наделенный крепким здоровьем монах болен. Лафранк не мог больше усидеть на месте, другие обменивались между собою замечаниями, писцы уже приготовились за своими пюпитрами, чтобы записывать обвинения, возводимые на ересиарха, и его оправдания...

Анне уже были известны эти обвинения. За несколько дней до созыва собора король, зная, что епископ Готье и Беренгарий учились в одной школе,— искушенный в латыни монах и пламенный юноша,— потребовал, чтобы толстяк рассказал ему и королеве о турецком еретике.

— Кто он, этот человек, заставивший всех говорить о себе? — недоумевал король.— Благодородного он или низкого происхождения?

Готье стал рассказывать:

— Беренгарий происходит из почтенной семьи. Это мне доподлинно известно, хотя я не знал ни его отца, ни мать. Сначала этот способный человек учился в Туре, в той самой на весь мир прославленной школе, которую основал не кто иной, как сам Алькуин. Позднее Беренгарий перебрался в Шартр. Там я и встретился с ним, когда тоже перешел из Реймса в этот город, и мы даже случайно оказались в школе на одной скамье, внимая нашему незабвенному учителю Фульберту. Но должен предупредить, что я никогда не считал Беренгария своим другом. Тем более что по летам я значительно старше его...

— Не опасайся ничего,— успокоил его король,— говори все, что знаешь об этом странном монахе.

Готье покашлял, из вежливости поднеся к устам согнутый указательный палец, и уже смелее продолжал свой рассказ:

— В те годы мы были молоды с Беренгарием и беседовали только о высоких материях, но помню, что в своей жизни он отличался независимостью и крайней гордыней.

Король внимательно слушал. Человек, пишущий богопротивные книги о тайной вечере и споривший с папами, мог ему пригодиться в сложной игре с ненавистным Римом. Анна догадывалась о мыслях короля. Ведь он делился с нею неоднократно своими планами и спрашивал совета.

— В тысяча тридцатом году, если мне не изменяет память,— рассказывал епископ, сцепив на внушительном животе пухлые пальцы,— Беренгарий снова возвратился в Тур и был назначен смотрителем школы при аббатстве святого Мартина. Надо вам сказать, что до него там учил такой превосходный грамматик, как Рюжиналь. Однако по-настоящему школа расцвела только тогда, когда ее возглавил Беренгарий. Он преподавал теологию, и ныне эта школа затмила своим сиянием все другие рассадники науки, даже реймское детище Герберта.

Епископ старался понять, почему король уделяет так много внимания беспокойному Беренгарию, и, когда ему показалось, что постиг причину, решил говорить о турецком монахе в хвалебном тоне. Впрочем, в глубине души Готье находил, что некоторые положения еретика вполне заслуживают того, чтобы задуматься над ними, хотя и остерегался высказать подобную мысль вслух, опасаясь навлечь на себя обвинение в единомыслии со школьным товарищем. И без того в жизни было много беспокойства и забот. Ведь даже пара хорошо зажаренных цыплят стоила больших усилий: для этого требовалось ласково поговорить со старшим королевским поваром, последить, чтобы шустрый поваренок почаще поливал птицу жирным соком, а по правде говоря, положила руку на сердце, есть в жизни вещи и поважнее цыплят.

— Нужно тебе сказать, милостивый король, что Беренгарий человек, полный ума, красноречив, как Цицерон, и способен часами произносить пламенные речи. Кроме того, он первостепенный диалектик, поэтому всегда утверждал, что диалектика есть мать всякого знания. Помню, в одной из своих речей Беренгарий сказал, что риторика украшает, музыка поет, арифметика считает, астрономия изучает движение небесных светил и только диалектика учит познавать истину во всей ее полноте.

Король мысленно обозвал епископа пустомелей, но терпеливо продолжал слушать его.

— К тому же Беренгарий получил обширное медицинское образование.

— Продолжай,— поощрял епископа король, обдумывавший под его рассказ какие-то свои планы.

— Мне приходилось бывать в его доме,— продолжал Готье,— потому что Беренгарий отличается большим гостеприимством. Стол у него всегда обилен и полон самых разнообразных яств, и нигде, не считая, конечно, королевского дворца, я не ел так хорошо зажаренного поросенка, как у него. Во время ужина у Беренгария велись речи, полные неизъяснимой сладости, но никогда я не слышал, чтобы там произносились еретические мысли.

— Не выгораживай еретика,— произнес король.

— Я, конечно, бывал не на всех его собраниях.

— А кто еще посещал Беренгария?

— О, у него было много друзей и учеников. Считает его старым другом епископ Манский Гильдебер, тоже человек немалой учености, дружит с ним епископ Санлисский Фролан...

Король старался запомнить эти имена.

— Фролан называет Беренгария своим сеньором. Почитает Беренгария епископ Лангрский Гуго и глава метцкого капитула Полин. Но особенно расположен к нему епископ Вандомский Губерт. Он сделал его архидиаконом одной церкви, и тогда Беренгарий отказался от должности хранителя монастырских сокровищ в аббатстве святого Мартина и передал это место младшему брату.

— У него есть брат?

— По имени Гюбальт.

— А это что за человек?

— Ничего особенного собою не представляет. И так, передав должность хранителя, Беренгарий продолжал учить в турецкой школе.

— А что ты скажешь о епископе Брюноне? — прервал король разглагольствования епископа.

— Анжерский епископ Евсевий Брюнон? — замылся Готье, отлично понимая, что он в данном случае поступит как Иуда, если скажет лишнее об этом очень молчаливом и облаченном в белоснежные ризы прелате, с которым только вчера пил вино и беседовал о многих интересных вещах, в том числе о преследовании, какому несправедливо, по мнению Брюнона, подвергается бедный Беренгарий. Но почему король спросил именно о нем? Значит, считает анжерского пастыря единомышленником еретика?

— Епископ Брюнон? Затрудняюсь высказаться по этому поводу. Может быть, он и разделяет некоторые убеждения Беренгария. Хотя мне доподлинно известно, что это человек безукоризненной чистоты, добрых нравов и правильных христианских убеждений...

— В чем же противоречит турецкий монах учению церкви? — спросила Анна.

В королевском дворце, где воздух был наполнен грубыми голосами, громким смехом и топотом сапог, Готье Савейер отличался от других царедворцев тонкостью ума, деликатностью улыбки. Пускаясь в опасное плавание по еретическим волнам, где весьма легко пойти ко дну и погибнуть, епископ приятно улыбнулся королеве, прежде чем излагать положения Беренгария, опровергаемые святой церковью и какие он сам, хотя и покинувший епископскую кафедру ради легкой жизни в королевском дворце, должен был всячески осуждать.

Он горестно развел руками:

— Беренгарий восстает против принятого церковью учения Пасхалия Радбертуса, утверждающего, что причастие, то есть хлеб и вино, сохраняя лишь внешний вид хлеба и виноградного сока, субстанционально превращаются в момент преосуществления в плоть и кровь Христа... Напротив, Беренгарий отстаивает учение некоего Ратраленуса. По мнению последнего, преосуществление хлеба и вина не совершается и сущность или субстанция этих вещей не изменяется, а под влиянием общения с Христом претерпевает изменение лишь духовное состояние причащающегося.

Не привыкший к богословским диспутам король потирал рукою лоб, стараясь понять, в чем же различие двух мнений. Анна тоже с трудом следила за словами епископа, но догадывалась, что приходит конец ее детской вере. Ныне она уже попала в мир, где во все вмешивается беспокойный человеческий разум.

— Но на этом еще не кончилась чреватая бурями распря между двумя учеными мужами. Лафранк, аббат нормандского монастыря в Беке, поднялся на защиту догмата преосуществления и выступил против турецкого монаха. Тогда-то Беренгарий и написал свое на шумевшее сочинение, в котором утверждал, что если его считают еретиком, то таковыми надо полагать и Августина



или Амвросия, ибо у них он почерпнул эти мысли. Следует отметить, что книга написана довольно убедительно, хотя слог у Беренгария тяжеловат и сух. Но Лафранк отправился в Рим, чтобы поставить папу в известность о том, что происходит в Галлии.

— Папой тогда еще был Лев? — спросил король.

— Совершенно верно, Лев Девятый. Он отлучил Беренгария от церкви. Непослушный монах удалился в Шартр и написал там дерзкое послание святейшему отцу.

Король, видимо, слушал такие подробности не без удовольствия.

— Как тебе известно, это произошло всего несколько месяцев тому назад, — закончил Готье и, вынув из кармана сутаны красный платок, стал вытирать вспотевшее чело.

Рассказ епископа о Беренгарии взволновал Анну. Она не могла бы выразить свои переживания точными словами, как это умел делать Готье, но всем своим существом чувствовала, что не в силах разорвать путы, которыми связали ее душу люди в монашеских одеяниях, угрожающие ей вечными муками за гробом и требующие смирения и покаяния. А вот нашелся человек, восставший против них. Король же подходил к вещам с более житейской точки зрения. Он хотел знать, с какими людьми ему придется иметь дело, и спросил:

— Чем прославлен Лафранк?

— Лафранк? Он написал трактат в защиту евхаристии, под названием «О плоти и крови». Беренгарий ответил на него своим сочинением, о котором я тебе говорил. Оно называется «О тайной вечере»...

Король подивился в душе умению монахов писать подобные книги.

Теперь Анна с любопытством смотрела на человека, поднявшего в жизни Франции такую бурю, и вспоминала рассказ Готье. По всему было видно, что он не ошибался, когда говорил о гордыне Беренгария. Этот мятежник стоял перед высоким собранием не как грешник, пришедший сюда, чтобы в смиреннии покаяться пред епископами, а как борец за свои пагубные измышления. Лицо его выражало решимость и непреклонную волю, хотя монах и склонил голову набок, как бы в большой душевной печали. Анна заметила также, что епископ Брюнон, сидевший недалеко от дверей, уже по-братски улыбался своему единомышленнику, поддерживая тем твердость в его душе. Зато Лафранк в негодовании вскочил со своего места и, забывая, что тут находятся более почтенные люди, чем он, по сану и по возрасту, обратившись лицом к королю, а руки простирая в ту сторону, где стоял разоритель церкви, вскричал:

— Доколе же мы будем терпеть, чтобы этот волк в овечьей шкуре...

Его слова потонули в шуме негодующих голосов. Только на лице короля ничего не отразилось. Он выжидал, какой оборот примут события.

Но аббат уже взывал ко всему собору:

— Пусть этот безумец изложит свои заблуждения, и мы разобьем его жалкие доводы!

Начались многословные прения. Анна не внимала спорящим, тем более что речи произносились по-латыни. Беренгарий страстно отстаивал свои убеждения, но никто не произнес в его защиту ни одного слова; молчали даже подозреваемые в принадлежности к ереси Салисский епископ Фролан, называвший турецкого монаха своим сеньором, и лангрский пастырь Гуго. Вандомский епископ предпочел заболеть и на собор не явился. Готье пожевывал губами, мысленно вздыхая о слабости человеческой плоти. Только

Брюнон поднялся в минуту самых жестоких нападков на еретика и сказал:

— К заблуждениям человеческим, если они порождены стремлением сердца убедиться в истине, надо относиться со всем возможным милосердием...

И уронил голову.

Король подумал, что надлежит использовать эти слова, чтобы не допустить вынести слишком суровое решение. Однако страсти накалились до предела. Особенно неистовствовал Лафранк.

Оправдываясь, Беренгарий заявил с гордо поднятой головой:

— Не верю в возможность божественного произвола, ибо даже такой произвол несовместим с законами природы, установленными самим богом...

Анне показались эти слова убедительными. Но Лафранк завопил:

— Место для таких — на костре!

Король уже не думал о том, чтобы использовать учение Беренгария. Легче брать неприятельский замок приступом, чем председательствовать на подобном собрании! Он видел, что все было против этого непокорного человека. Генрих наклонился к королеве и сказал, почти не разжимая зубов:

— Что я могу сделать? Пожалуй, он в самом деле будет гореть на костре.

Анна строго посмотрела на мужа. Он боялся таких взглядов и отвел глаза в сторону. Но Анна прошептала:

— Не запятнай себя опрометчивым поступком.

— Разве ты не слышала, какие обвинения возводят на этого безумца.

Они кричат как одержимые.

— Громкие голоса еще не доказательство истины.

— Чего же ты хочешь от меня?

Анна подумала и, наклонившись еще ниже к мужу, сказала:

— Пусть его осудят на заключение в темнице.

— Это хорошее решение. А потом мы увидим, как поступить.

Генрих вздохнул с облегчением.

Король был в отсутствии. В тот вечер трапезу Анны разделили епископ Готье и Милонега. Ужин приходил к концу. Епископ, в самом благодушном настроении, допивал вино из стеклянного бокала и даже любовался, прищурив один глаз, рубиновым цветом напитка на огонь свечи в серебряном подсвечнике. Это доставляло большое удовольствие епископу, научившемуся у латинских поэтов пить сок виноградной лозы со смакованием, а не лить его бессмысленно в глотку, как это делают грубые рыцари или бродячие монахи. Попивая вино, он отвечал на недоуменные вопросы королевы по поводу его разговора на собрании с аббатом Лафранком.

— Он утверждает, что универсалии существуют в реальности, — горестно говорил Готье.

Анна слушала его, пытаясь пробраться в чащу этих хитросплетений. Милонега думала о чем-то своем, рассеянно доедая кусок пшеничного хлеба.

— Но скажи мне, милостивая госпожа, — издевался Готье над невидимыми врагами и даже хихикнул от уверенности в своей правоте, — скажи мне, где находятся эти универсалии! Пусть покажут мне их, как Фоме Неверному. Я не поленюсь карабкаться на самую высокую гору, если они там, чтобы прикоснуться к ним, потрогать руками, убедиться в их существовании собственными глазами!

Епископ глотнул вина, и, с осторожностью ставя хрупкий бокал на стол, сказал, глядя вдаль:

— А по-моему, это только пустой звук, дуновение ветра. Постигаешь ли ты мои слова, госпожа?

Анна ответила, что постигает. По взволнованному лицу королевы можно было заметить, что ее радует восхождение по лестнице мудрости. Еще одна ступенька преодолена, чтобы приблизиться к пониманию вещей! Каждый раз, когда она слушала Готье, у Анны было такое ощущение, точно она поднималась на высокую гору, откуда открывается вид на земные красоты. Она не читала книг, что тихо, храня какую-то тайну, стояла на полке у епископа, — ни аристотелевского трактата «Об истолковании», ни сочинений Бозция или Сенеки, но умела как никто внимать словам Готье Савейера, и старик любил развивать перед королевой свои затаенные мысли, если поблизости не торчали лопухие соглядатаи.

Бокал был пуст, епископ умолк и поставил его на стол. Погруженная в созерцание мира, который медленно раскрывался перед нею, королева не догадалась позаботиться о том, чтобы подали еще один кувшин вина; но, заметив, что епископ грустно рассматривает искусное произведение итальянского стеклодува, встрепенулась и позвала чернокудрого полусонного паж. Мальчик стоял у двери, бессознательно придав своему телу милую позу.

— Гильом, — сказала королева, — ты принесешь из погреба вина и потом можешь удалиться. Вижу, твои глаза слипаются от дремоты.

Смакуя реймское вино, рождающее у глупца сонливость или желание затеять драку, а у мудреца — щедрость мысли и яркость восприятия, и не опасаясь, что его осудят здесь за ересь, епископ Готье, предавший по слабости плоти Беренгария Турского и Брюнона, с которыми у него было много общего в помышлениях, но уже предчувствовавший в ослином реве глупцов какие-то далекие рассветы, рассказывал королеве обо всем, что ему приходило в голову.

— Тебе известно, милостивая госпожа, что я учился у прославленного Герберта. Потом изучал теологию у Фульберта Шартрского и от обоих узнал многое. Но разве может человеческий разум постичь и вместить все знание мира? Есть город в Испании. Он называется Кордова. Дома и мосты в нем построены из камня, а вода в сады халифа проведена по свинцовым трубам. Говорят, в Кордове двести тысяч домов. Книгохранилище халифское не знает себе равных. Будто бы этот властитель способен уплатить тысячу червонцев за рукопись, если она имеет какую-нибудь ценность. А какие там ученые и звездочеты! Якобы арабские математики измерили расстояние до Солнца и Луны... Хотелось бы побывать в этом городе, но с каждым днем силы мои слабеют.

Анна с грустью посмотрела на учителя. Его тучное тело напоминало развалину.

— Один человек, имя которого я не припомню сейчас, — вздыхал Готье, — сообщил мне, что где-то очень далеко на Востоке, в стране, которая называется Бухара, не то умер, не то еще живет некий замечательный ученый. Его зовут, если мне не изменяет память, Авиценна. Будто бы он написал трактат под названием «Книга о выздоровлении»... Говорят, что прочитавший это сочинение может продлить свою жизнь до бесконечности.

— Ты хотел бы жить возможно дольше?

— Да, как папа Сильвестр.

— Ах, никому не хочется расставаться с земным существованием!

— Нет, у меня особые соображения.

— Все люди смертны... Но о чем ты хотел сказать?

— Увы, по моим великим прегрешениям мне уже уготовано место в аду. А там препротивно. Вот почему я не спешу покинуть сей мир. Впрочем, может

быть, я встречу в преисподней некоторых грешников, с которыми будет занятно побеседовать. Например, Аристотеля! Хе-хе!

Анна не знала, говорит ли епископ серьезно или шутит под влиянием выпитого вина. Самой же ей не хотелось думать о смерти.

— Я вспоминал об этом бухарском ученом, когда мы с тобой беседовали о Беренгарии. Как и наш турецкий еретик, он утверждает, что мир вечен и никем не сотворен.

— Откуда они знали друг друга?

— Едва ли Беренгарий читал Авиценну. Я сам только случайно услышал об его книге. Но это носится в воздухе.

— Разве не осудил собор подобные мысли? — строго спросила Анна, опасаясь, что Готье опять станет говорить предосудительным образом.

Однако епископ успокоил ее плавными движениями рук:

— Не опасайся ничего! Я отвергаю эту ересь. Хе-хе!

Королева не очень-то поверила ему, видя, как поблескивают у старика глаза. В них светились лукавые огоньки. Но каким образом он мог соединять в себе огромную ученость с неизменно веселым настроением? Она же читала книги о любви, и такие повести роят в сердце печаль.

Когда тучный епископ удалился, Анна подумала, что иногда бессмертная душа пребывает в жире и все-таки она как жемчужина, а во многих красивых телах души как пар. Значит, имеет значение не телесная красота, а духовная? Но чей-то голос,— может быть, то был голос вездесущего сатаны,— шептал ей, что важнее всех книг и философий любовь. Анна сплела пальцы и потянулась так сильно, что хрустнули суставы. В окно она увидела, что над Парижем поднималась огромная луна.

Как обычно, Милонега помогла Анне раздеться и уложила ее в постель. В такие часы, заплетая рыжие косы, Анна имела обыкновение разговаривать со своей наперсницей о всяких житейских пустяках.

— Знаешь ли ты, как поживает Елена? — спросила она Милонегу о подруге детства, что жила теперь в далеком замке, народив мужу кучу детей.

— Елена живет, как все живут.

— Как все?

— Хлопочет по хозяйству. Плачет порой в своей каменной башне.

— Откуда ты знаешь?

— Говорил Волец.

— Волец? Где ты видела его?

— Волец приезжал в Париж. Продал коров и купил новую кольчугу.

— Что он еще говорил тебе?

— Говорил, что у него два сына.

— А Янко?

— Янко хворает. Его на охоте олень рогами бодал.

Милонега принесла тюфяк, набитый шерстью, и, положив его на пол у двери, улеглась на нем, как она всегда делала, когда короля не было во дворце. Но вскоре во внутреннем дворе послышался звук подков о камень, раздалась громкие голоса.

— Милонега! — позвала королева свою любимицу.

— Что, госпожа? — очнулась от сна Милонега.

— Король вернулся.

Теперь Анна уже хорошо различала голос мужа, бранившего какого-то оруженосца за нерадивость. На лестнице загремели знакомые шаги. Милоне-

га вскочила и отодвинула на двери засов. Генрих вошел в спальню, и преданная прислужница, схватив в охапку свою постель, проскользнула мимо него на лестницу.

Король провел день в Марли.

Анна спросила:

— Удачная была охота?

— Два вепря.

— Сам затравил?

— Одного сам, другого граф Рауль.

— И он был с тобой?

— Был.

— Не голоден ли ты?

— Не голоден.

— Где же вы ели?

— В Марли.

— Ты очень устал?

— Нет. После охоты мы отдыхали у прево.

— Граф говорил о чем-нибудь?

— О тебе.

— Что же он говорил обо мне?

— О твоей красоте.

Королева тихо рассмеялась.

— Чему ты смеешься?

— Твоим словам. Какое ему дело до меня?

— Ты — королева. Граф должен почитать тебя и твою красоту.

Генрих разделся и лег рядом с супругою. От него пахло потом и лесной сыростью. Они поговорили еще некоторое время, король рассказал, как он удачно загнал зверя, потом, щадя целомудрие королевы, погасил масляный светильник...

Король уснул и спал до утра. Но Анна долго лежала с открытыми глазами. Пропели петухи. Ей захотелось, чтобы поскорее наступил рассвет.

## IX

Текли годы, отмечаемые только празднованием пасхи и троицы или удачной охотой. Но для Анны и короля они были полны событий. После Филиппа у королевской четы родился сын, которого назвали Робертом, а еще год спустя — третий сын, Гуго. Генрих благодарил небеса, что не ошибся в плодовитости королевы, и очень восхвалял ее разум и рассудительность. Анна нередко принимала участие в совете, ставила наравне с супругом свое имя на хартиях и дипломах. Иногда она подписывалась под ними по-русски.

Когда это произошло впервые, Генрих очень удивился. Однажды ему подали на подпись какую-то хартию. По своему обыкновению он поставил латинскую букву «S» и перечеркнул ее небрежно наклонной палочкой<sup>1</sup>. Настала очередь королевы подписать документ. Анна взяла тростник, обмакнула его в чернила и стала собственноручно выводить на пергамене свое имя, хотя обычно это делали клерки. Король, нахмуясь, следил за рукой жены. Королева написала: «Ана реина»...<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Так называемый «сигнум», заменяющий подпись.

<sup>2</sup> В переводе: «Анна королева».

— Почему ты начертала такие странные слова? Кто может прочитать это? — недоумевал Генрих.

— Пройдет много лет, какой-нибудь книжник прочтет мою подпись и будет спрашивать себя, что за странная королева жила на свете... — тихо ответила Анна.

Король, привыкший к причудам супруги, ничего не сказал.

Но это не было причудой. Анне казалось, что, подписывая хартии славянскими буквами, она как бы освящает своим именем единение двух народов. Снова предстояла война, тучи заволакивали небосклон, а Франция не имела верных друзей. Только отец мог прислать Генриху воинов и табуны боевых жеребцов, помочь золотом.

Кроме Анны на королевском совете присутствовали епископ Готье Савейер, уже некоторое время выполнявший обязанности канцлера, а также граф де Монморанси, граф де Пуасси, рыцарь Гвиберт и другие лица, случайно оказавшиеся поблизости. Приложил руку к хартии и епископ Роже. Он шепнул своему ученому другу:

— Почему, собственно говоря, мы не скрепляем подпись короля на различных государственных документах полностью начертанными именами, а только условным значком?

Готье усмехнулся.

— Ты можешь объяснить это? — настаивал Роже.

— Вероятно, так стали делать, чтобы не поставить в неловкое положение какого-нибудь графа или рыцаря. Ведь далеко не все из них способны нацарапать свое имя на пергамене.

...Но назревали события огромного исторического значения, и на этих страницах своевременно было сказано, что еще до того, как Анна явилась во Францию, нормандский герцог Роберт, по прозвищу Дьявол, следуя примеру многих благочестивых людей, возымел желание совершить паломничество в Иерусалим. Отправляясь в далекое путешествие, он просил короля Генриха быть в его отсутствие опекуном малолетнего сына, будущего покорителя Англии. Роберт умер в Палестине. Однако и после его смерти французский король продолжал честно выполнять опекунские обязанности, деятельно охраняя юного нормандского герцога от разнузданных баронов. В 1047 году, в битве при Валь-эс-Дюн, Генрих пролил свою кровь, и в песнях об этом сражении нормандские поэты прославляли благородную самоотверженность короля Франции. Однако Вильгельм мужал, и вскоре его отношения с опекуном испортились. Дело дошло до того, что король даже перешел на сторону врагов юного герцога и поддержал восстание его вассалов. Именно к этим годам относится засада в Сен-Обен, когда под нормандскими боевыми топорами погиб цвет французского рыцарства и сам Генрих едва избежал смерти. Битва произошла спустя несколько месяцев после того, как у Анны родился Филипп.

После сен-обенского разгрома положение короля Франции не стало более прочным: подняли голову собственные непокорные вассалы, а денег для набора нового войска — тех же воинственных нормандцев — не хватало. Приходилось подумать о будущем. Для упрочения короны за своим потомством Генрих решил, по примеру отца, короля Роберта, короновать Филиппа заблаговременно.

Коронация состоялась в Реймсе 23 мая 1059 года, и о ней хронист написал несколько сухих латинских строк, но для Анны она превратилась в событие, полное волнений. Это было, вероятно, самой большой ее материнской радостью. Совершал церемонию архиепископ Реймский Жерве, в присутствии

двух папских легатов — епископа Безансонского Гуго и Эрманфруа, титулярного епископа Сиона.

Хотя Филиппу едва исполнилось семь лет, но Генрих пожелал, чтобы древний обряд совершили полностью. Король опасался всего. Ведь в противном случае враги могли оспаривать в будущем священные права Филиппа и на престол, сославшись на какое-нибудь упущение.

За несколько дней до этого события, захватив с собой малолетнего наследника, король и королева отправились в Реймс. Парижские швеи и башмачники уже смастерили для Филиппа скроенную на его рост шелковую тунику, такие же башмачки и детскую мантию из пурпура. Золотых дел мастер сделал для него корону по образцу настоящей, скипетр и другие царственные инсигнии. Но меч для совершения коронации решено было использовать тот самый, которым опоясывался Генрих.

Архиепископ Жерве почтительно объяснял Анне:

— В ночь с субботы на воскресенье особо приставленные к этому делу стражи будут бдительно охранять базилику, чтобы в нее не проникли ни злодеи, ни бездомные нищие, ни волшебники. Как тебе известно, помазаннику положено войти в храм среди ночи и молиться в ночной тишине о благоденствии своего царствования. Но, принимая во внимание возраст нашего принца, сделать это невозможно. Поэтому вы прибудете в церковь в первом часу, когда раздастся звон колокола к утрени. В церкви для вас приготовят три трона. Когда же наступит третий час, явятся монахи из монастыря Сен-Реми и принесут священную скляницу...

Анна вспомнила, что аббат Сен-Реми нес эту реликвию под красным балдахинем, когда короновалась она сама. Складница была сделана в виде птицы, в память той белой голубки, что принесла священное миро непосредственно с небес.

Когда король и королева и сын их Филипп, которого они вели за руки, вступили на порог базилики, архиепископ Жерве и весь капитул встретили королевское семейство с горящими свечами в руках. Архиепископ истово покропил Филиппа, пухлого мальчика с розовыми щеками, святой водою, и будущий монарх морщил детский нос, когда брызги капали с кропила ему на лицо.

Дальше церемония протекала, как ей надлежало протекать.

Архиепископ Жерве, по обычаю, просил перепуганного Филиппа:

— Обещай предоставить нам, епископам и капитулу сего храма, и сохранить за нами все канонические преимущества...

Генрих, опасавшийся, что во время коронации может произойти какое-нибудь выступление против его дома, поспешил ответить за сына:

— Обещаю! Обещаю также всем защиту от несправедливости, хищений, вымогательств...

Он запнулся. Архиепископ тихо подсказал:

— И неправедного суда!

— И неправедного суда! — поспешно повторил Генрих. — Обещаю требовать от судий милосердия...

Снова наступило неловкое молчание. Жерве, не глядя на короля, шепнул:

— Истреблю на моей земле...

— Истреблю на моей земле еретиков, осужденных церковью...

— Да поможет мне бог! — подсказывал архиепископ.

— Да поможет мне бог!

Заглушая эти слова, раздались торжественные, очень громкие звуки латинского гимна.

Архиепископ стал читать длинную древнюю присягу:

— «Я, король Франции, обязуюсь помнить, что тремя королевскими добродетелями являются благочестие, справедливость и милосердие...»

В церкви было множество народа, потому что на торжество, чтобы сделать его всенародным, позвали даже ремесленников и торговцев, хотя благородные и косились на них с неприязнью. Пользуясь давкой и теснотой, некоторые рыцари нескромно прижимались к соседкам, и знатные дамы, оборачиваясь, поощряли их улыбками.

В душном церковном воздухе слышался голос архиепископа, произносившего за малолетнего Филиппа древние слова королевской присяги:

— «Клянусь судить без лицепрития, взять под свою защиту вдов, сирот и чужестранцев, наказывать татей и прелюбодеев...»

После каждого обещания Генрих отвечал за сына:

— Клянусь!

— «Клянусь не предаваться в благополучии гордыне, с терпением переносить невзгоды, принимать пищу только в часы, указанные обычаем для трапезы...»

Церемония была длительная и скучная, люди устали, но многие с удовольствием наблюдали за поведением маленького Филиппа в этом своего рода театральном действе. Зрителем подобных представлений приходилось быть не всякий день. Присутствующие видели, как король и королева подвели сына к алтарю и Анна с материнской заботой посмотрела на лежавшие там детские одежды. Наклонившись к ребенку, она сняла с него тунику, и мальчик остался в одной длинной полотняной рубашке. Архиепископ развязал у испуганного Филиппа ворот, взял золотой иглой немного мира в склянице и совершил старинный обряд, сначала коснувшись иглой чела, потом груди, наконец правой и левой руки.

Присутствующие неистовыми голосами затянули:

Так помазали на царство Соломона!

Увы, это было еще не все. На мальчика стали надевать коронационные одеяния, и Анна шептала ему раздраженно:

— Подними же руки!

Наконец Филипп послушался матери и сделал, что она просила. В таком положении Анне было легче надевать на сына узкое одеяние из негнущейся парчи.

Затем герцог Аквитанский Ги опустился перед своим будущим повелителем на колени и привязал к ногам Филиппа крошечные золотые шпоры...

Одним словом, король вздохнул спокойно, когда раздался клики:

— Мы все желаем, чтобы Филипп царствовал над нами!

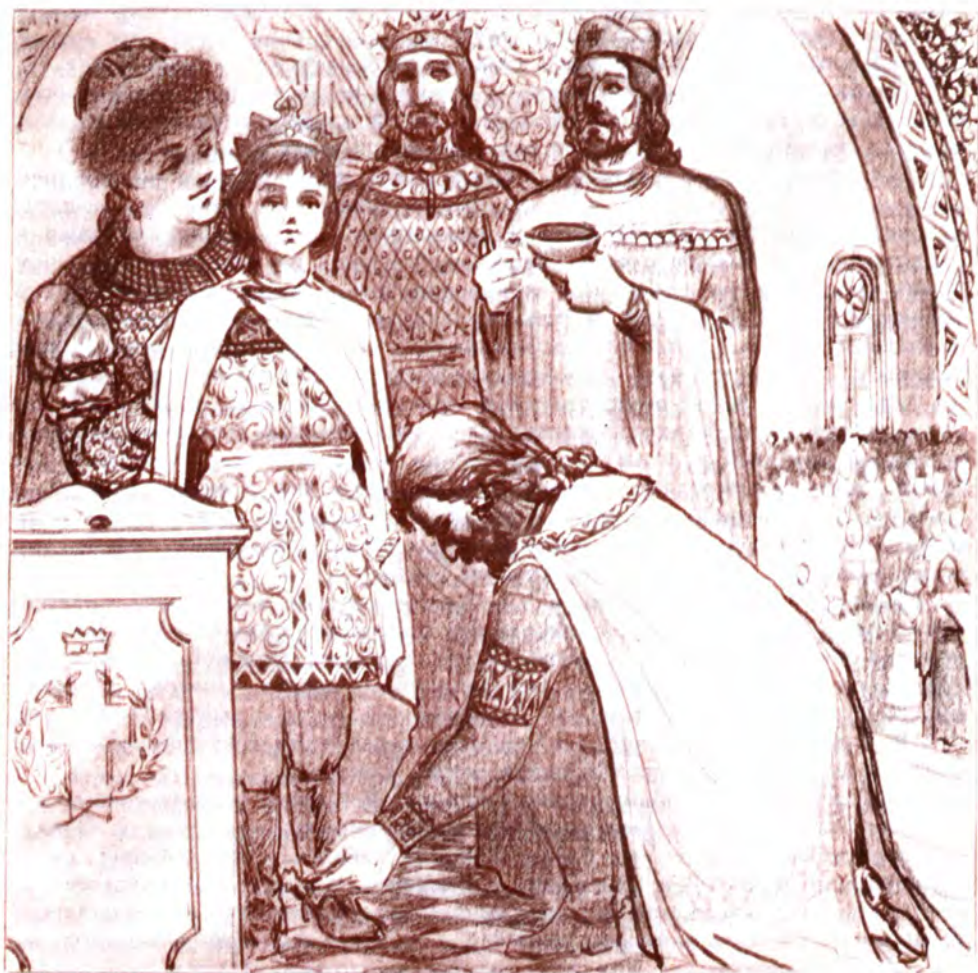
Генрих обменялся с женой понимающими взглядами. Анна сияла красотою тридцатилетней женщины. Даже придворные дамы любовались ею. Среди присутствующих находились представители графа Анжу и маркиза Фландрии, многие другие графы и бароны, и в числе их — Рауль де Валуа. Некоторые наблюдательные кумушки заметили, что граф не сводил глаз с королевы.

На алтаре лежала широко раскрытая книга — то самое, написанное славянскими буквами Евангелие, на котором несколько лет тому назад Анна присягала на верность Франции. Она подвела сына к алтарю, показала, как надо положить руку на украшенную золотом и киноварью страницу... Филипп покорно выполнял все, что от него требовали.

Эрманфруа, титулярный епископ Сиона, чрезвычайно гордившийся своим званием, прикрыл рот рукой и сказал Готье:



30  
Так попали на царство Соломона! Мы все ждем,  
чтобы Филипп царствовал над нами!



На алтаре лежала широко раскрытая книга -  
то самое написанное славянскими буквами  
Евангелие...

— Позволительно ли французскому королю присягать на Евангелии, написанном славянскими письменами? Ведь они непонятны для него.

Готье, по своей привычке подсмеиваться над самыми святыми вещами, добродушно ответил:

— Наши короли не больше смыслят и в латинских книгах.

— Как ты можешь говорить так...— обиделся за помазанников божьих Эрманфруа, епископ Сиона.

Увы, святой град уже находился во власти сарацин, и только этот пышный титул еще напоминал о намерениях Рима, не оставившего надежду при удобном случае завладеть Иерусалимом.

— Впрочем, Филипп немного знает язык матери,— добавил Готье.

Старик любил маленького принца, который часто задавал ему вопросы, свидетельствующие об уме и любознательности, а порой и непозволительно дерзил. Но епископ не был злопамятным человеком.

Эрманфруа умолк, поджигая тонкие губы. Он вообще с презрением относился к этому обжоре и даже подумывал иногда, не сообщить ли папе, что епископ Готье Савейер больше интересуется латинскими поэмами и каплунами, чем благом церкви. Впрочем, он даже не догадывался, о чем думал толстяк в эти священные мгновения, когда, может быть, решались грядущие судьбы Франции. В свою очередь не подозревая о предательских планах собеседника, Готье благодушно взирал на церемонию, сцепив пухлые пальцы на парчовом брюхе. Просвещенный епископ спрашивал себя мысленно, будут ли сегодня на пиршественном столе знаменитые на все королевство архиепископские дыплята. Реймское вино тоже способно доставить смертному немало радостей, если вкушающий его не пьяница, а в меру приемлет сок благословенной виноградной лозы. Приятно было бы, конечно, сидеть на пиру не с каким-нибудь тупицей, а с соседом, с которым можно поговорить о философии, этой утешительнице всех одиноких и грустных людей. Так размышлял под пение псалмов епископ Готье.

Прошел год. Еще раз весна улыбалась природе и зеленые лужайки покрылись желтыми цветами. Но так как зимою дни слишком коротки для ведения военных действий, долгие ночи утомляют стражей, то опытные военачальники предпочитают начинать войны в марте. Поэтому не было ничего удивительного в том, что французский король выступил в поход против Нормандии в месяце, посвященном римлянами богу войны. Задача заключалась в том, чтобы захватить замок Тийер.

Немало пролилось французской и нормандской крови ради этого важного стратегического пункта, неоднократно переходившего из рук в руки. Завладев замком, нормандцы еще более укрепили тийерскую твердыню — ключ к плодородным долинам Франции — и построили вместо бревенчатого укрепления каменную башню, окружив ее стеною, сложенной из огромных плит и кирпича, и снабдив замковых воинов большим количеством оружия и запасов. Здесь имелось все для того, чтобы выдержать длительную осаду: колодезь с питьевой водой, полные провианта погреба и хорошо оборудованная кузница.

Как всегда во время таких войн, и та и другая стороны старались нанести ущерб противнику, сжигая его селения. И вот еще раз на горизонте поднялись черные зловещие столбы дыма...

Это по приказу короля Генриха граф де Мартель разорял деревни, расположенные по обоим берегам реки, а сам король неожиданно появился под стенами замка. Но не приходилось и думать о захвате его приступом, хотя желательно было избежать и слишком долгой осады, чтобы на выручку крепости не явились главные нормандские силы. Поэтому военный

совет решил построить мощный таран и с помощью такой военной машины пробить в каменной стене более или менее широкую брешь, в которую могли бы ворваться королевские воины.

Король лично руководил постройкой тарана. В его основание, в виде четырехугольника, положили крепкие и чудовищной толщины дубы, а поперек приладили не меньшей величины другие бревна, скрепив их деревянными брусьями, и уже на этой площадке установили при помощи крепких подпор два огромных столба с перекладиной. На ней надлежало подвесить на железных цепях тяжкую колоду, конец которой окован медью в виде головы барана, откуда и название машины. Воины раскачивают подобное сооружение и ударяют медным лбом в стену, постепенно разрушая камень. Это действие очень напоминает бодание барана, который обычно отбегает назад, чтобы тем сильнее нанести удар врагу.

Стоя на высокой башне, осажденные с тревогой взирали на сооружение стенобитной машины. Бойко стучали топоры. Но вдруг плотники оставили работу и все как один повернули головы в сторону реки, откуда в облаке пыли приближался какой-то отряд. Сам король тоже с опасением посмотрел туда, спрашивая себя, что это значит. Однако вскоре уже можно было рассмотреть, что идут люди графа Мартеля. Они уводили во Францию захваченных в недавних стычках пленников, вернее, крестьян из сожженных во время набега неприятельских деревень.

Граф в это время находился вместе с королем и давал ему ценные советы по устройству военной машины. Но оба тотчас поспешили на соседний холм, чтобы удобнее наблюдать за проходящим мимо отрядом. Это было вполне привычное для них зрелище. Впереди конные воины гнали рогатый скот — волов и коров; позади, тоже под стражей, брели длинной вереницей крестьяне и крестьянки. Мужчины держали в руках мотыги, или серпы, или какой-нибудь горшок, женщины несли младенцев; детей постарше они тащили за руки. Один из сервов даже вел на веревке каким-то чудом оставленную в его распоряжении козу, правда тощую и лохматую. В хвосте отряда ковыляли старики и старухи, которых приходилось подгонять древками копий. Это совсем изматало бедных воинов, и без того утомленных ночным набегом, но кто же станет считаться с простым копейщиком! Большинство пленников, старые и молодые, смотрели в тупом безразличии себе под ноги, уже привыкнув к мысли, что страдание стало их вечным уделом.

Отряд вел рыжеусый рыцарь, весь в медных бляхах на кожаных доспехах и в остроконечном шлеме. Он посмотрел на замок и спокойно продолжал путь. Приложив руки ко рту, граф де Мартель крикнул ему:

— Эй! Ренуар!

Рыцарь натянул поводья. Сообразив, что его зовут, он повернул коня и направился к графу. Подъехав к тому месту, где сооружали таран, Ренуар остановился и, не слезая с коня, ждал графских приказаний. В отсутствие своего начальника отряд расположился на дороге.

Рыцарь был рыж, а лицо его украшал розоватый шрам через всю правую щеку. Приходится сказать, что глаза этого вояки не блистали умом.

Граф де Мартель уперся кулаками в бока и спросил его:

— Откуда гонишь скот?

Рыцарь неопределенно махнул рукой в ту сторону, где еще поднимался аз зеленой дубравой бурый дым:

— Оттуда, где монастырь.

— А людей?

— И людей оттуда.

— Сколько?

Рыцарь окинул равнодушным взглядом отряд и сказал:

— Может быть, пятьдесят. А может быть, шестьдесят.

— Не считая женщин и детей?

— Не считая.

— Перепиши всех.

— Где же взять писца?

Граф подумал, что рыцарь прав; в военной обстановке найти писцов было нелегко, а ему даже в голову не пришло спросить, умеет ли Ренуар писать. Водить тростником по пергамену не рыцарское дело.

Мартель с озабоченным лицом кинул взгляд туда, где находились пленники. Воспользовавшись остановкой, они бросились на землю или без стеснения отдавали дань природе, присев на лужайке. Граф в гневе стал выговаривать рыцарю:

— А зачем стариков взял?

И постучал пальцем по лбу.

Ренуар тоже посмотрел на дорогу. Действительно, среди захваченных поселян были дряхлые старики и старухи, уже не пригодные ни к какой хозяйской работе.

— Я дармоедов кормить не намерен! — кричал граф.

Рыцарь что-то соображал.

— Как же мне поступить с ними?

— А как же ты думаешь?

— Перебить их? — недоумевал Ренуар.

— Проще прогнать беззубых на все четыре стороны.

Рыцарь ничего больше не сказал и направил коня к отряду. С холма было видно, что среди пленников началась суета. По приказу рыцаря стариков и старух отделили от остальных. Король и граф смотрели и ждали, как он выполнит приказ.

Вдруг конные воины погнали этих никому не нужных людей к реке, подгоняя их остриями пик. С дороги доносилось:

— Уходите! Уходите!

Старики бежали вприпрыжку по полю, усеянному ромашками, и за ними ковыляли кое-как старушки, нелепо размахивая руками и падая порою на землю. Но жало пик снова поднимало неловких, и они опять трусили, пока не исчезли за кустарником. Один из стариков упал и не поднялся. Всадник склонился с лошади, посмотрел на него и потом поехал медленно назад...

Граф сказал королю:

— Этот Ренуар никогда не отличался большой сообразительностью. Не проще ли было не брать беззубых, чем возиться с ними или, может быть, даже принять на себя грех человекоубийства?

— А почему ты раньше не объяснил ему? — хмуро спросил король.— Мы должны думать за глупцов.

Граф процедил сквозь зубы:

— В конце концов...

Вероятно, он хотел сказать, что на свете существуют более важные вещи, чем несколько стариков и старух.

Но сборка стенобитной машины приходила к концу. Когда таран был готов, под него подложили катки и придвинули тяжелое сооружение к внешней стене замка; под прикрытием передвижных дощатых щитов, в которые немедленно застучали нормандские стрелы, французские воины приступили к опасной работе. Раздался первый глухой удар тарана о камень...

Напрасно осажденные метали в воинов короля стрелы, лили на них кипяток и расплавленную смолу, бросали камни... Сооруженные из прочных

досок навесы хорошо защищали смельчаков, орудовавших с тараном. Только смола заставила прекратить работу. Однако спустя некоторое время снова послышались тяжкие удары: туп! Туп!

Этот звук тупых ударов не могли заглушить ни перебранки с осажденными, ни шум сражения, ни человеческие крики и вопли, когда стрела поражала кого-нибудь. Удары следовали один за другим, как неумолимая судьба: туп! Туп! Туп!

Стена содрогалась, но выдерживала упрямство медного лба. Над тем местом, где действовал таран, к небесам поднималось огромное облако каменной пыли. Стоявшие на стене были в крайнем смятении.

Однако в тот день была среда, и на завтра, с девятого часа четверга, наступало божье перемирие. Оно длилось до утренней молитвы в понедельник. В течение этого времени запрещалось пролитие крови, нападение на врагов и, в особенности, на безоружных людей, идущих в церковь или возвращающихся из нее, на всех клириков, а также на дома, расположенные не дальше тридцати шагов от церковной ограды. Между тем Генрих опасался, что во время перерыва военных действий осажденные смогут укрепить стену дубовым частоколом, и поэтому таран продолжал действовать в четверг с утра до вечера.

Комендант замка, старый барон де Болье, человек с длинными седыми усами, в кольчуге, в блистающем шлеме, с мечом на перевязи через плечо, кричал с башни старческим голосом:

— Ваш король антихрист! Разве вы не знаете, что наступило божье перемирие. Никто в эти дни не должен проливать христианскую кровь!

Генрих, сидя на коне, на почтительном расстоянии от замка, куда не долетали стрелы нормандских арбалетчиков, мрачно ждал, когда же наконец рухнет стена и можно будет начать приступ. Уже были заготовлены вязанки хвороста и другие горючие материалы, чтобы в случае надобности выкурить защитников огнем и дымом из их логова.

В шуме сражения удары тарана казались биением какого-то огромного сердца. Но в самый разгар битвы, когда человеческие глотки уже охрипли от криков и проклятий, случилось неожиданное. Над холмом заблестели кресты. Оказалось, что это явился аббат соседнего французского монастыря. Воины графа Мартеля, по ошибке или из озорства, сожгли одно из селений, принадлежавших монастырю, и старый приор поспешил с перепуганными монахами к замку Тийер с твердым намерением потребовать возмещения за понесенные убытки. Считая неприличным начинать разговор сразу о вещественном, аббат решил напомнить королю о духовном.

— Неужели тебе не ведомо, король французов,— взывал он,— что уже наступило божье перемирие? А посмотри, как поступают твои воины!

Хмурый король снял шляпу под торопливым благословением аббата, державшего в руках серебряный крест. Многие воины опустились на колени. Гул битвы стал затихать, удары тарана прекратились. Барон де Болье воспрянул духом, и стоявшие на стене перестали метать стрелы.

Аббат жаловался Генриху:

— Королевские воины сожгли монастырское селение. Мы бедные иноки, а ты лишаешь нас куска хлеба. Кто же возместит аббатству потери? Где наши сервы? Они разбежались, и я не мог без слез смотреть на пепелище. А все это происходит потому, что ты нарушаешь постановление святых соборов.

— По обычаю, мир наступает с девятого часа в субботу и длится до первого часа понедельника,— мрачно возразил король.

— В других областях! А у нас богу посвящены четыре дня. Четверг — по

причине вознесения Христа на небо, пятница — ради крестных мук, суббота — чтобы почтить его пребывание во гробе, а в воскресенье следует воздержаться от человекоубийства в память восстания Христа из мертвых.

— Когда же воевать? — рассердился король.

— В остальные дни недели. Их вполне достаточно для тех, кто хочет проливать кровь. Страшно подумать, что творится на земле! Селения сжигаются, жители уводятся в плен, кони топчут нивы. Кроме того, дороги стали небезопасными, и купцы не имеют возможности торговать, а паломники посещать монастыри. Прошу тебя, останови войну!

— Вот о чем ты заботишься больше, чем о мире, — негодовал король. — Сокрушаешься, ибо паломники не несут тебе свои денарии? Уходи отсюда и не мешай мне карать врагов. Твое дело — молиться, мое — воевать.

Напрасно аббат грозил церковными карами и даже вечными муками. В пылу борьбы адский пламень перестал казаться королю таким страшным, каким представлялся порой в часы раздумий. Необходимо было покончить с этим асиновым гнездом. Иначе дорога в Париж оставалась открытой для врага. Замок Тийер запирает долину Эвра как на ключ.

В субботу, когда надлежало вспоминать о пребывании Христа в гробнице, неутомимый таран сделал свое дело. Стена рухнула с ужасающим грохотом, и французские воины устремились на приступ. В конце концов им удалось ворваться в башню, где началась резня в каждом закоулке. Защитники крепости были перебиты. В ожесточении битвы и некоторые женщины, из тех, что обитали в замке со своими мужьями, погибли или подверглись насилию.

Когда тесную замковую лестницу очистили от трупов и выбросили их через бойницы во двор, Генрих поднялся на закопченную пожаром башню и окинул взором окрестности. Казалось, он смотрел не только на завоеванную область, а и на двадцать лет тяжелой борьбы. Битвы его были по большей части неудачны, им не хватало блеска и славы больших сражений, воспетых и увековеченных в памяти народа поэтами. Чаще всего дело ограничивалось небольшими стычками. Только сражение при Валь-эс-Дюн и переход у Бервиля наполнили историю Франции некоторым громом. Но что великого мог совершить король, имея в своем распоряжении триста или четыреста рыцарей и две или три тысячи пехотинцев и арбалетчиков! Даже удивительно, что и с такими незначительными силами ему удавалось более или менее успешно бороться с феодалами за объединение Франции. Правда, уже начали оказывать поддержку королю богатееющие города.

В первые годы этой затянувшейся войны Генрих с грехом пополам сколотил сильную коалицию для борьбы с Вильгельмом, герцогом Нормандии. Под знамя короля стали Бургундия, Овернь, Анжу, Шампань и Гасконь. В то время как сам Генрих вместе с преданным ему графом де Мартемом разоряли области вокруг Эвра, брат короля грабил города и селения, расположенные на нижнем течении Сены. В таких случаях сеньоры кое-как отсиживались в своих замках, но беззащитные крестьяне очень страдали от меча и огня, поэтому при первых признаках войны забирали имущество и убегали в леса и болота. Но король и его брат слишком увлеклись легкими победами, а в это время Вильгельм собрал прекрасно вооруженное войско. Силы Генриха были разбросаны. Вассалы не спешили на помощь. В 1054 году французские рыцари потерпели от нормандцев жестокое поражение под Мортемаром. Три года спустя упрямый Генрих предпринял еще одну попытку сокрушить Вильгельма и вторгся в самое сердце Нормандии, стремясь

захватить город Байе, где теплились древние нормандские традиции. Однако разгром под Варавилем разрушил все планы короля, и ему пришлось снова отдать врагам стоивший столько крови французский замок Тийер,

В дни, когда произошло варавильское сражение, Анна находилась в Париже, переживая большую тревогу. Надеясь услышать победные трубы, она часто подходила к окну и прислушивалась, не возвращается ли король. Но за окошком стояла тишина. Париж мирно засыпал. А Генрих где-то скитался по щербистым дорогам Нормандии, под холодными осенними дождями. Королева снова опускалась в кресло и закрывала лицо руками. Напротив нее вздыхал епископ Готье Савейер...

Третий день шумел проливной дождь, какие бывают только в Нормандии. В сопровождении немногих спутников французский король возвращался тайком в Париж после поражения под Варавилем. Рядом с ним трусил на муле шартрский епископ Агобер. Королевство очутилось на краю гибели, и верный друг разыскал Генриха на ночной дороге, чтобы утешить его и помочь советами. Стояла ночь. Королевский конь ступал по лужам. Дождь шумел и шумел в придорожных деревьях. Со всех сторон лежала непроницаемая тьма. Только иногда вспыхивала молния и вдруг озаряла то сухое дерево у дороги, то хижины, то церковь молчаливого аббатства. Король вытирал рукой мокрое лицо и говорил епископу с горечью:

— Я верую в трицу... Но, может быть, сатана сильнее бога и побеждают те, кому он помогает? Скажи мне, есть дьявол или нет его?

Несмотря на шерстяной плащ с куколом, епископ Агобер промок до последней нитки и едва поддерживал под дождем тягостный разговор. И все же, будучи разумным человеком и понимая душевное состояние короля в эти минуты, ответил кротко:

— Если есть бог, то существует и сатана.

— И архангел не смеет поразить его огненным мечом?

Король, мало обращавший внимания в этом несчастье на погоду, привыкший во всяких превратностях фортуны переносить голод и холод, желал сегодня знать, помогает ли сатана тем, кто припадает к нему с мольбой. Чтобы победить Вильгельма, Генрих готов был продать даже бессмертную душу.

— Настанет день, и бог сокрушит силы ада,— опять наставительно сказал Агобер.— И тогда сатана погибнет постыдным образом.

— А в ожидании этого он пакостит Франции?

— По своим непостижимым замыслам господь терпит козни дьявола для нашего испытания.

— Вместо того чтобы помочь мне.

В отчаянье от всего того, что произошло, Генрих заскрежетал зубами. Епископ со вздохом произнес:

— Умоляю тебя, мой король, не относись к подобным вещам с легкомыслием.

— Но разве христианский король не возвращается еще раз в Париж с позором? Несмотря на молитвы епископов и монахов и на святыни, заключенные в рукояти его меча...

— Будь осторожен! Сатана неистощим в злобных выдумках против христиан. Опасайся попасть в его западню! Потому что мы часто даже не знаем, в каком образе он является и какие мысли нашептывает в часы сомнений.

Среди ночи сам епископ, в остроконечном куколе плаща, на ушасти муле, казался королю странным привидением. Как однажды и у его супруги во

время беседы с Готье, у Генриха мелькнуло подозрение: не дьявол ли едет с ним рядом под личиной Агобера? Но он отогнал искушение.

Епископ продолжал скорбным голосом:

— Чувствую великое смятение в твоём сердце. Однако не надо падать духом, это недостойно французского короля. Ты взял на плечи тяжкое бремя, тебе ещё многое надлежит совершить, чтобы Франция была счастливой...

Генрих неоднократно видел на полях битв, как умирали люди. Настанет и его час. О, неужели и королям грозят вечные муки, о которых ему прожужжали все уши монахи? Помазанник божий метался, как загнанный зверь, между страхом перед геенной и необходимостью выполнять трудное королевское дело.

Епископ Агобер поддерживал короля в борьбе за независимость галльской церкви, но многие другие прелаты выполняли волю далекого Рима. Генрих знал, что по единому слову папы они отлучат его от церкви и запретят богослужения в церквях. Тогда народ может отвернуться от законного государя.

— Какая мерзкая погода, — проворчал Агобер.

Король ничего не ответил. Перед ним возникло вдруг красивое лицо Анны... Что она делает в эту дождливую ночь? Читает свои странные книги? Или беседует с болтливым толстяком? Или, может быть... Но никто никогда не видел, чтобы в опочивальню ее входил кто-нибудь в ночные часы, кроме короля.

Вновь особенно ярко вспыхнула молния. В сиянии небесного огня король увидел на мгновение недалеко от дороги засохшее, черное дерево с безлиственными ветвями и на одном из суков — висельника с судорожно искривленными голыми ступнями. Тотчас вновь наступила крошечная тьма и загредел чудовищный гром...

В Париже тоже в продолжение нескольких дней шел дождь. Наутро Анна выглянула в окно, но увидела только дымы из труб, мокрые крыши, потемневшую реку, ивы, склонившие в тумане длинные ветки к воде. Небо было затянато хмурыми облаками. Природа точно позабыла о солнце.

Это происходило в той самой горнице, где Анна обычно беседовала с епископом Готье. Огромная, написанная кинovarью Псалтирь на деревянной резной подставке, предусмотрительно прикованная цепью, наклонный стол с глиняной чернильницей, обитый медью ларь с хартиями...

Анна опустила на подушку сиденья. На королеве было узкое платье из зеленой материи без всяких украшений. Она догадывалась, что зеленый и голубой цвета лучше всего оттеняют золото ее волос. Но груди уже стало тесно в этом одеянии. Своими сосцами королева вскормила трех сыновей и дочь Эмму, умершую в младенческом возрасте. Роберт тоже умер...

Все-таки королева была еще очень хороша собою. В этой простой и невысокой горнице с очагом из красных кирпичей и обыкновенными побеленными стенами она казалась не похожей на других женщин и наделенной особенной судьбой.

В другом кресле, сложив на животе пухлые ручки, скромно устроился Готье Савейер. Пользоваться таким сиденьем — а не табуретом — в присутствии королевы епископу разрешалось из уважения к его учености, а также принимая во внимание дородность пастырского тела. Мудрый наставник с удовольствием взирал на Анну. Но на него действовали не чары красоты, к которым он оставался совершенно равнодушным, а стремление



этой женщины понять смысл вещей, на что весьма редко оказывался способным и мужской ум.

Происходила очередная беседа королевы с учителем, одна из тех, что приоткрывали для нее среди мелочных забот суетной жизни высшие области мира, в каких жили Готье и ему подобные. По-прежнему она впитывала слова поучения, как пустыня — пронесшийся над песками дождь. В тот день они занимались повторением пройденного. Речь шла о семи свободных искусствах. Еще раз епископ разъяснял с отеческой улыбкой:

— Грамматика учит нас говорить членораздельно, диалектика помогает открыть истину, риторика украшает нашу речь, арифметика считает, астрономия изучает течение небесных тел, музыка поет, а философия приносит утешение. Это и есть семь свободных искусств.

— И начало их грамматика?

— Она — как бы мать всего. На картинах ее изображают в виде царицы, покоящейся под деревом познания добра и зла. На голове у нее корона, в правой руке она держит нож, служащий для подчистки сделанных писцом ошибок, а в левой — розгу, чтобы наставлять нерадивых.

Анна вздохнула, вспомнив Всеволода и Святослава, и подумала, что, вероятно, братьям было бы приятно слушать подобные наставления.

Когда Анна впервые приступала к учению, Готье сказал:

— Мы начнем изучение грамматики с басен Эзопа. С подобной книгой в руках легче всего постичь тайны латыни. Я имею отличный перевод. Затем придется перейти к другим книгам.

— А изучив грамматику...

— Изучив грамматику, мы приступим к риторике, и я научу тебя составлять латинские хартии. Что не лишнее для королевы.

Во время этих бесед у Анны было такое чувство, что у нее вырастают крылья. Она сказала со вздохом:

— Сладостно познавать мир.

— Человек познает как ангел, — заметил епископ, — умозаключает как человек, ощущает как животное, прозябает как растение...

— Прозябает как растение... — задумчиво повторила Анна.

— Мы познаем все, что живет и что не живет. Но жизнь — как древо. Корни древесные — материя, ветви и листья — все преходящее, цветы — наши души...

— А плоды?

— Плоды — добрые дела.

Это было непонятно, но прекрасно, и в глубоком волнении Анна сжала руки.

Разговор их прервали звуки трубы. Анна вскочила и стала прислушиваться, приложив розоватый палец к устам. Звук трубы повторился, такой же тягучий и унылый.

— Это возвращается король, — сказала Анна.

— Он возвращается с победой, — утешал ее епископ.

— Но, может быть, он ранен? Почему так печально звучит труба?

Король возвращался в Париж после поражения под Варавилем...

## Х

Пришло время, и в самом разгаре приготовлений к новой войне с Вильгельмом, которого во Франции называли Побочным, а история назвала Завоевателем, король Генрих I скончался. Печальное событие произошло 4 августа 1060 года в замке Витри-о-Лож, недалеко от Орлеана.

Король уже давно чувствовал недомогание, хотя как будто не было причины думать о близкой развязке. Во всяком случае, он не почел нужным вызвать супругу из Парижа даже в тот день, когда не мог уже встать с постели. А между тем ему очень хотелось побеседовать с королевой наедине, и о многих важных вещах. Анна часто помогала ему дельными советами. Правда, порой они казались ему довольно странными, напоминали те химеры на колокольнях, что начали вырезать из камня во Франции, но разве вина королевы, что жизнь требует не мечтаний, а точных расчетов и больших денежных средств.

Когда Генрих думал о смерти, а такие мысли стали посещать его на ложе болезни в этом вдруг притихшем замке, он утешал себя мыслью, что Франция не останется без кормчего. У нее будет законный король, именем Филипп, а рядом с ним останется умная мать, и в государственных делах им обоим поможет своим мечом преданный кузен Балдуин Фландрский.

Генрих уже давно собирался возвратиться в Париж, но неотложные дела требовали его присутствия в угрюмых пограничных замках, над которыми по вечерам кружилось шумное воронье.

Узнав о болезни возлюбленного короля, епископ Агобер, преданный королевский советник, поспешил в Витри-о-Лож и немедленно отправил гонца в Париж, считая, что необходимо предупредить королеву.

Агобера сопровождал врач Жан, по прозвищу Глухой, худощавый, бритый, как епископ, человек в красном колпаке и длинном черном одеянии до пят. По отзывам больных, которых пользовал медик, он понимал толк в клистирах и рвотных средствах. Благоприятное или неблагоприятное течение болезни Жан определял по цвету мочи.

Вместе с врачом явился его ученик, красивый юноша и, судя по черным кудрям и смуглому цвету кожи, итальянец. Он привез мешок с сушеными травами и прочими таинственными снадобьями, а под мышкой держал какую-то медицинскую книгу.

Врача тотчас привели к больному. Король лежал со страдальческим выражением лица; голова его покоилась на зеленой подушке, утопая в ней, как камень; нос у Генриха посинел и заострился, а борода, уже седеющая, сбилась в неприятный клок волос. Епископ Агобер, стоявший у ложа, на котором раньше спал кастелян, сказал нарочито бодрым голосом медику:

— Постарайся поскорее вылечить нашего короля!

Генрих кисло посмотрел на вошедшего, однако Жан поклонился и приступил к обследованию болящего: сначала положил руку на лоб короля, пощупал запястье, стараясь определить по пульсу, насколько сильна лихорадка. Но жара не было. Ощущался лишь страшный упадок сил, изнеможение, усталость от земных дел. Врач подумал, что, может быть, причиной болезни является в данном случае тлетворный печеночный гумор, или, говоря языком непросвещенных людей, желчь, как это часто бывает у стариков, и, задрав королю на голову холщовую рубаху, помял то место, где у человека помещается печень. Король поморщился и сказал:

— Там у меня болит.

Епископ Агобер с испугом посмотрел на медика.

Врач сидел некоторое время у изголовья больного в большом смущении, не зная, какое применить здесь лечение. Даже у графов или епископов недомогания не такие, как у простых людей, а перед ним лежал больной король...

Генрих делал все, что от него требовали, высовывал покрытый белым налетом язык, поворачивался на другой бок и рассказывал подробно, что он испытывает при испускании мочи, но это ничего не дало для определения болезни. Жан снял с головы красный колпак и потер растерянно лоб, но потом опомнился и снова принял важный вид.

Уповая на свою счастливую звезду, ибо всякому известно, что если человеку суждено умереть от какого-нибудь недуга, то он умрет, а если определено исцелиться, то он выздоровеет и без дорогих лекарств, врач решил дать королю то средство, которое он прописывал страдающим желтухой и которое даже возвращало старцам мужские силы, чем они были очень довольны.

Около часу времени потребовалось на приготовление лекарства. Медик начал колдовать над пучками трав, выбирая одни, откладывая за ненадобностью в сторону другие; в это время молодой итальянец с веселыми глазами что-то толковал с приятным звоном в медной ступе.

Но, занимаясь своим делом, юноша почтительно расспрашивал медика о заболевании короля и о том, какие снадобья собирается прописать он больному. Жан Глухой лишнего не говорил, отделяваясь сведениями общего характера, которые, по его мнению, могли помочь Антонио, как звали ученика, в распознавании болезней.

— Главное,— говорил Жан под бодрый звон пестика в медной ступе,— обращай особое внимание на биение сердца. Как бьется сердце, так бьются и все жилы. По пульсу ты можешь определить род пищи, принятой накануне человеком. Если ты легко определишь биение жилы и даже на глаз заметишь, что удары ее сильные, то такой пульс считается опасным. Если же удары сотрясаются, то такой пульс — острый. Хуже всего, когда пульс бывает слабым. Но обычно он — двух родов: у молодых — тупой, влажный, у стариков — острый, сухой. Весной у всякого человека пульс становится сильнее. Вино тоже увеличивает силу пульса, ускоряет его больше, чем всякий другой напиток, и это тебе необходимо запомнить.

Ученик, повернув лицо в сторону врача, слушал, одновременно действуя пестиком.

— Какой пульс у короля? — спросил он.

— Слабый, сухой.

— А если сделать кровопускание?

— Подумай, что ты говоришь,— рассердился медик.— Кровопускание еще больше ослабит пульс. Наоборот, надо укрепить силы короля. Для этого я и составляю это лекарство.

Генрих покорно проглотил снадобье, поднесенное ему в плоской серебряной чаше, и врач предупредил короля, что он ни в коем случае не должен пить до завтрашнего утра, иначе лекарство превратится в желудке в пары и может повредить.

Уже наступал вечер. С часу на час ожидали прибытия королевы из Парижа. Больной все так же молча лежал на постели, и никто не знал, о чем он думает в своем одиночестве. Даже на вопросы епископа Агобера Генрих отвечал неохотно. Но вскоре его стала мучить жажда, и он попросил воды. Находившийся в это время у ложа недужного медик стал уговаривать короля потерпеть до утра, и тот уступил.

Однако ночью, когда епископ отлучился на некоторое время, а медик, человек уже в годах, задремал в отведенной ему горнице и у постели короля оставался один оруженосец, сын графа де Пуасси, Генрих велел ему принести поскорее воды. Юноша не знал, как поступить. Его предупредили, что боля-

щему нельзя пить до утра. Но король таким не допускающим возражений тоном повторил свое приказание, что оруженосец не посмел ослушаться на этот раз и сделал так, как ему было сказано. Больной с жадностью осушил чашу и попросил еще воды...

Казалось бы, все обошлось благополучно. Ночь прошла спокойно, и король даже уснул. Оруженосец тоже захрапел, растянувшись на полу, так как его молодое тело требовало отдыха. Но когда рано утром проведать страждущего явились епископ Агобер и Жан Глухой, они с ужасом увидели, что король мертв.

Епископ зарыдал, упав на колени перед ложем смерти, а медик снял красный колпак, и на лысине у него появились капельки пота. Увы, непоправимое совершилось. Ничего не оставалось, как закрыть усопшему глаза и прочесть латинскую молитву. И тут взор врача упал на пустую чашу, стоявшую на столе. Он взглянул на оруженосца, на котором лица не было, и понял, что произошло. Схватив юношу за руку, Жан потащил его вон из горницы и за дверью стал допытываться:

— Ты дал королю воды, несчастный?

Оруженосец молчал, тяжело дыша.

— Говори, ты дал королю воды?

Вышедший из горницы Агобер всплеснул руками.

— Ты погубил нашего господина! — воскликнул он.

Врач стал расспрашивать оруженосца, сколько воды выпил король. Пугаясь от страха в словах, юноша рассказал, как все произошло. Однако епископ не поверил ему.

— Ты лжешь! Это враги подослали тебя, чтобы ты подсыпал яду в питье короля.

Все уже забыли о предупреждениях лекаря.

Не очень соображая по молодости лет, в каком отчаянном положении он очутился, Пуасси тем не менее клялся, что сам пил эту воду без всякого вреда для себя. Она была чистая и прозрачная, принесенная из замкового колодца. Конюхи видели, как он доставал ее, приводя в движение вертушку с черпалом на веревке. Но по лестнице уже поднимались, услышав о трагическом событии, графы и рыцари, которые тотчас же схватили оруженосца и увели в темницу, где несчастный должен был оставаться до тех пор, пока не прибудет королева.

Агобер вернулся в горницу, где находилось тело короля, и долго смотрел на лицо усопшего, такое хмурое при жизни, а теперь совершенно спокойное. Смерть есть естественное завершение бытия. Поэтому недостойно и бесполезно для разумного человека предаваться чрезмерному горю даже по поводу кончины близких людей. Епископ вздохнул и пошел распорядиться относительно гроба и всего, что полагается совершить в подобных случаях. На молодого Пуасси надели железный ошейник, и он плакал, как ребенок, в зловонной подземной темнице.

В это время с замковой башни донеслись звуки рога и послышались крики стража, увидевшего на парижской дороге всадников. Он еще не знал о том, что король умер, и весело орал, приложив ладони ко рту, стоявшим на замковом дворе и обсуждавшим событие:

— Скажите королю, что его супруга спешит к нему. Она уже приближается к замку!

На него замахали руками, чтобы он замолчал.

Тяжело дыша и сдерживая рукой биение сердца, Анна поднялась по винтовой лестнице. Ей уже сообщили о том, что произошло. Наверху цар-

ственную вдову встретил опечаленный Агобер. Склонив голову набок и разведя руками, епископ пытался утешить королеву.

— Где король? — тихо спросила Анна, как будто бы Генрих был живым.

— Милостивая королева...

— Где он лежит?

— Здесь, — показал Агобер на дверь, в которую приходилось входить согбенным. — Но покорись воле...

Не слушая епископа, Анна отворила страшно скрипнувшую дверь и увидела труп. У изголовья усопшего горели две церковных восковых свечи...

Генриха I похоронили в аббатстве Сен-Дени, находившемся много лет в личном владении королевской семьи. После положенных молитв и псалмов гроб опустили в яму, вырытую в церкви, недалеко от алтаря. Для этого пришлось вынуть из каменного пола несколько плит. В могиле Анна рассмотрела прах земли — обыкновенный желтоватый песок, но уже столетие не орошаемый дождями и потому такой сухости, что в нем трудно было завести даже гробовым червям. Потом каменщики снова положили прислоненные к стене плиты на старое место и замазали щели известью, старательно очищая испачканные пальцы о собственную одежду... Опечаленная Анна возвратилась с двумя сыновьями во дворец.

По завещанию короля Анна стала опекуной сына, малолетнего короля Филиппа, вместе с Балдуином. Покойный король не доверял своим графам, способным при первом же удобном случае вновь начать гражданскую войну и устранить Филиппа от престола. К счастью для малолетнего короля и его матери, в первые годы ее регентства никаких волнений не произошло: титул короля Франции действовал на людей как некое магическое заклинание, и ни один граф не посмел поднять руку на помазанного священным миром отрока... Тем более что Балдуин был могущественным сеньором, а Филипп очень рано стал проявлять недюжинные способности и стремление к самостоятельности. Он даже мальчиком неохотно выслушивал нарекания матери, хотя относился к ней с нежностью. Но едва успела Анна оплакать мужа и обдумать создавшееся положение, как увидела, что Филипп уже не ребенок, а твердо заявляющий о своих правах король, такой же красивый юноша, каким был ее брат Изяслав, хотя и расположенный к полноте. Иногда королева смотрела на Филиппа и спрашивала себя, неужели это тот самый младенец, что плакал, когда она отнимала его от груди.

С юных лет Филипп отличался острым умом, подозрительностью, недоверием к людям, презрением к их слабостям и неразборчивостью в средствах для достижения какой-нибудь дальновидно поставленной перед собою цели. Как и у Генриха I, у него было мало воинских сил, но с самого начала своего правления юный король заставил слушаться себя, и в этом отношении ему помогала мать, так как трудно было избежать сетей ее очарования и не сделать того, чего она хотела. Еще ребенком, играя у ног матери в той горнице, где она имела обыкновение беседовать с епископом Готье о возвышенных предметах, Филипп привык к словам, каких никогда не произносит ни в походе, ни на судилищах обыкновенные люди и даже графы. Но, изучая науки и хорошо зная латынь, юноша без большого уважения относился к болтовне ученых мужей, которые, по его мнению, переливали из пустого в порожнее. Филипп предпочитал песни менестрелей и проделки жонглеров, и никогда еще во Франции не сочиняли столько стихов, как в годы его царствования. Он

любил окружать себя молодыми людьми, которые видели в нем не только короля, но и предводителя в веселых проказах и любовных похождениях. Филипп пробовал таким образом прочнее привязать к себе своих сподвижников. Юный король трезво смотрел на окружающий мир, и его язык был резким, а выражения часто площадными. Но суждения короля давали повод думать, что французское проникновение в суть вещей соединялось у него со спокойным русским умом. Филипп никого не щадил в своих высказываниях, ибо считал, что каждый должен отвечать за свои поступки, и в этом отношении не делал исключения даже для самого папы, чем весьма огорчал королеву.

Во время одной трапезы произошел такой случай. За столом сидел Готье, еще более располневший за последние годы. Кроме королевы, епископа и Филиппа, никого на этом ужине не было. Как обычно, разговор шел о предметах, какие с юности интересовали Анну: о сказочном мире, таинственным образом существовавшем в книгах.

Продолжая беседу, Готье поучал:

— Диалектику надо считать искусством искусств и наукой наук. Тот, кто обращается к ней, взывает к разуму. Какое ее самое ценное свойство? А вот... Она дает нам возможность соединять понятие и разделять и снова указать каждой вещи принадлежащее ей место...

Епископ на минуту прервал свою речь, чтобы опять заняться едой. Он держал в обеих руках до золотистости поджаренную утку, которую уже обглодал наполовину; капли жира запачкали его сутану. Потом продолжал:

— Отправляясь от общего, диалектика нисходит до самых единичных явлений, с тем чтобы снова возвыситься до всеобщего, следуя по тем же самым ступеням, по которым происходит нисхождение.

Филипп, с презрительным вниманием слушавший эти рассуждения о возвышенных понятиях, вдруг сказал в гневе:

— Лучше бы ты не обжирался!

Все так же держа птицу, Готье от удивления широко раскрыл рот, поворачивая мясистое, розоватое лицо то к королеве, как бы ища у нее защиты, то к Филиппу.

— Как можешь ты говорить так служителю церкви? — возмутилась Анна. — Подобными словами ты рискуешь погубить свою душу.

Но юный король, уже покончивший со своим цыпленком, вытирая рукой губы, ответил матери:

— Боишься, что он не будет молиться за меня и я не попаду в рай? С меня довольно провести время приятно и на земле.

— О небесном ты не помышляешь... — вздохнула королева.

— Кто-нибудь видел, что есть на небесах? Вернулся к нам хоть один человек, побывавший в раю? Мало ли что будут рассказывать епископы, — рассердился Филипп.

— Папа, возглавляющий церковь... — начал было Готье.

— Оставь меня в покое с твоим папой.

Епископ в крайней скорби (у него даже пропал аппетит), впрочем оскорбленный не столько неверием юноши, сколько грубостью его слов, положил недоеденную утку на оловянную тарелку и не знал, что теперь делать со своими руками. Он так и держал в воздухе растопыренные масляные пальцы.

— Кто видел, как пылает адский огонь? — опять ехидно спросил Филипп.

— Сын мой, опомнись! За такие слова тебя могут отлучить от церкви.

Анна вспомнила безбожные речи графа Рауля и его гордыню. Неужели ее сын будет таким же безбожником? Не от него ли он воспринял эту дерзость в отношении к богу и презрение к людям?

Филиппу не сиделось за столом. Ему едва исполнилось четырнадцать лет, но его уже влекли к себе многие тайны жизни, от приближения к которым сердце начинает биться в груди, как кузнечный молот.

Вскоре Анна покинула Париж и переселилась в милый ее сердцу Санлис, где все признавали ее своей госпожой. Филипп уже не нуждался в ее советах. У него были теперь другие советники и среди них — граф Рауль де Валуа.

Каждый раз, когда Анна подъезжала по лесной дороге к Санлису и вместе с рощей кончался лесной сумрак, а на возвышении возникал серый каменный замок и такие же угрюмые городские стены, за которыми поблескивали на солнце петушки колоколен, у нее радостно и грустно сжималось сердце. Как будто очень давно она уже видела все это, или, может быть, такое приснилось ей и вдруг встретилось еще раз наяву на жизненном пути.

Анна знала, что если подняться на самую высокую из этих башен и смотреть в ту сторону, где стоял замок Мондидье, то при ветре оттуда можно было услышать, как трубят охотничьи рога. Они напоминали Анне, что там живет граф Рауль, неутомимый охотник, не упускавший ни одного случая, чтобы преследовать оленей в далеких голубых дубравах.

Почти у подножия холма, на котором возвышался Санлис, стояла в те годы на берегу прозрачной реки, весело струившейся мимо прибрежных деревьев и цветущих кустов, сельская часовня Викентия Сарагосского, пришедшая в крайнее запустение. Как-то, еще при жизни короля, Анна отдыхала здесь, возвращаясь с охоты, и подумала, что настало время восстановить часовню или построить на этом живописном месте аббатство, чтобы потом найти в его ограде место для погребения, когда пробьет и ее час покинуть земную жизнь. Но в дворцовой сутолоке королева позабыла о благочестивом намерении. Теперь она сделалась полновластной хозяйкой здешних рощ и полей, и вдруг перед нею снова возник тот тихий вечер, когда она сидела на покрытой ромашками лужайке и столько хотела совершить добрых дел. Анна решила привести свое желание в исполнение.

Собственными руками, как некогда старый отец в Вышгороде, когда закладывали церковь во имя Бориса и Глеба, королева вырыла лопатой небольшую ямку и положила в нее камень. Ему надлежало быть основанием будущего здания. На этом месте зодчий, горбун, в одежде, напоминавшей монашескую сутану, с печальными, но прекрасными и ласковыми глазами, как это часто бывает у горбатых, должен был возвести храм. Он показывал королеве планы, начертанные на пергамене, и объяснял с улыбкой:

— Всякое строение имеет четыре стены, в знак того, что люди живут в четырех концах земли. Каждый камень определяется четырьмя углами, потому что существуют четыре главных добродетели: мудрость, сила, умеренность и справедливость.

Анна старалась припомнить, существует ли что-либо более важное, чем эти душевные качества, перечисленные строителем, человеком с глазами, полными тайны.

— А любовь? — спросила она.

Зодчий с улыбкой покачал головой:

— Любовь не добродетель, а цемент, связующий два человеческих

сердца. И если он замешен правильно, никакая сила, даже смерть, не разъединит их.

Королева нашла, что зодчий очень хорошо сказал о любовном чувстве, и у нее почему-то сделалось легко на душе. По-детски хмуря брови, она стала рассматривать план будущего аббатства, пытаясь постичь начертанные на пергамене тонкие линии, красные и черные.

— Что это означает? — показала Анна пальцем с длинным ногтем.

— Различные части строения. Церковь делится на хор и корабль. Хор — только для духовенства, корабль — для мирян, ибо они еще находятся в море суетной жизни.

Не имея привычки к подобным вещам, Анна блуждала в линиях, как в умозрительном лесу.

— А это? — спрашивала она в недоумении.

— Стены здания.

— Почему же они лежат?

— Все нарисованное на плоскости скорее кажется положенным на землю, чем поднимающимся вверх. Так и стены. Они на чертеже простерты ниц, и телесное око не в состоянии увидеть их. Поэтому все это следует испытывать разумением сердца. Ведь план не есть точный слепок строения, а лишь совокупность знаков, читаемых мыслию. Как лучше объяснить это? Представь себе, будто бы ты смотришь на какое-нибудь строящееся здание с высокой башни. Тогда ты увидишь не только площадь пола, но и стены с внутренней стороны. Как бы некий раскрытый перед тобою ларец. Именно так надо взирать на план.

— Где ты научился такой строительной премудрости? — удивлялась королева.

— В Ключийском аббатстве. Камнестроению учил меня один итальянский зодчий. Он принес чертежи из монастыря, расположенного на реке Фарфе, недалеко от Рима, и показал, как надо возводить свод. Распределение всех частей храма этот строитель производил на примере Ноева ковчега и скинии завета.

— Как же надо приступать к возведению церкви?

— О, это великая тайна. Не осуди меня за подобный ответ, но даже тебе я не имею позволения открыть ее.

— Жаль. Тогда бы мне было легче понять твои замыслы, — грустно улыбнулась королева.

— Я предварительно сделаю подобие храма из послушного пальцам воска. Со всеми церковными частями и в полном соответствии с подлинным зданием. Постараюсь вылепить эту модель с красотой, достойной ангелов и сонма святых.

— Но воск недолговечен.

— Когда он растает от солнца, храм уже будет создан из прочного камня. А такое подобие поможет тебе обсудить соотношение отдельных частей, их число и порядок, поверхность каменных стен и прочность сводов и крыши.

Все-таки Анне было досадно, что она не в состоянии проникнуть в тот творческий мир, где горбун создавал в своем воображении прекрасные громады.

Строитель продолжал объяснять:

— Смотри! Здесь мы поставим статую девы Марии, а в этом месте — купель для крещения младенцев, наполненную водою.

Королева спросила:

— И все это ты узнал, изучая скинию?



— Читая мысленно ее чертеж на плоскости. Скинния была как прямоугольник, длиной в тридцать локтей, шириной — в десять. В одном конце находилась за четырьмя колоннами святая святых. Подножие их из серебра, главы — из золота. Между ними — пурпуровая завеса. Вокруг ограда, чтобы козы и ослы не могли проникнуть в святилище. Так я начал строительную науку...

— Странное создание человеческих рук эта скинния...

— Еще более скрыто чудес в храме Соломона. Когда великий зодчий Хирам строил его, он сообщил каменщикам тайные слова. Мастерам — одно, подмастерьям — другое, ученикам — третье. При получении платы за труд они шептали на ухо выдающему деньги свое слово, и каждый получал положенное ему.

Королева вздохнула, еще раз очутившись перед загадками мира, и, легко ступая мягкими башмачками по тропинке, отошла к строителям. Горбун долго смотрел ей вслед. Анна научилась у греческих цариц делать походку привлекательной, и женская красота наполнила сердце горбуна неизъяснимой печалью.

Время текло как вода. Среди санлиских лужаек прелестным видением выростала изящная церковь. Но она была прочным созданием человеческих рук. Сияя черными, как ночь, глазами, горбун говорил Анне:

— Колонны необходимо сделать достаточно мощными, чтобы они могли до скончания века выдержать тяжесть сводов.

Теперь уже приходилось высоко поднимать голову, чтобы посмотреть туда, где работали каменщики.

— Внизу будет усыпальница, — объяснил строитель.

Анне опять пришла в голову мысль, что, может быть, именно здесь назначено ей лечь под тяжким камнем гробницы, на которой молодой каменотес выбьет ее имя и годы рождения и смерти. Но среди такой красоты, на берегу этой струящейся по белым камушкам прозрачной и веселой реки, не хотелось думать о печальном. Вокруг все было усыпано белой кашкой. Над цветами боярышника гудели пчелы. В роще трижды прокуковала кукушка и умолкла...

По совету епископа Готье, в новое аббатство Анна пригласила на жительство монахов регулярного ордена Августина, у которых куколь цвета крови.

По-прежнему королева приходила каждое утро на место строительства. В такой час травы еще были покрыты обильной росой, тропинка извивалась среди белых цветов, склонивших головки под тяжестью ночной влаги. Над синей рощей, завешенной дымкой тумана, уже поднималось солнце. На лужайке дымилась костры. Около одного из них растрепанная старуха мешала в закопченном котле деревянной поварешкой варено для каменотесов. Прикрыв глаза ладонью, она долго всматривалась в сторону города и, увидев королеву, радостно воздела руки к небесам.

Работы по возведению церкви не прекращались до наступления сумерек, и каменщики спали у костров, чтобы с первыми лучами солнца взять в руки молоток и резец. Из окрестных селений и даже из отдаленных областей люди пришли сюда, чтобы безвозмездно принять участие в работах по возведению здания. Одни тесали камень, другие лепили кирпичи, третьи замешивали известь, а каменотесы выбивали железом капители колонн. Никто из них не мог вложить в этот труд больше того, что ему было отпущено при рождении; каждый руководствовался в своем искусстве собственным пониманием красоты, поэтому никогда одна капитель не походила на другую: то ее украшал гигантский трилистник, то листья дуба и желуди, которые мастер мог под-

смотреть на соседнем дереве, то цветы, какие художник, может быть, видел во сне. Подобное же происходило и с химерами, отгонявшими на колокольне злых духов, и с резьбой на портале. У всех людей явно чувствовалось стремление выразить в этих каменных вещах самые сокровенные мечтания и запечатлеть в них хотя бы малую частицу своего бытия... Те же, кто не умел держать в руках резец или не мог тесать камень, выполняли другие работы: обжигали кирпичи, собирали хворост в соседнем лесу или варили пищу для строителей, но все трудились по мере сил, а когда наступала ночь, под сенью дубрав и на лужайках, покрытых ромашками, слышались любовные вздохи. Это была жизнь.

Анна ежедневно наблюдала за работами. Особенно королеву занимал труд одного юноши, выбивавшего равномерными ударами молотка по железному зубилу женскую фигуру на каменной плите. Это было ее собственное изображение, предназначенное для украшения портала. По мысли художника, она держала в руках подобие храма и как бы препоручала его покровительству богоматери, восседавшей на троне.

Работа казалась на первый взгляд неуклюжей, почти детской. Но чем прилежнее смотрела Анна на это создание резца, тем более узнавала свои черты. Молодой каменотес трудился с пламенным увлечением и, чтобы длинные белокурые волосы не мешали ему, укрепил их узким ремешком. Иногда он поднимал глаза на королеву, пытаясь передать ее красоту в камне, однако рука его еще не могла с легкостью изобразить окружающий мир и прекрасное, что заключалось в нем.

К церкви примыкала колоколенка. Кузнец из соседней деревни выковал для нее веселого медного петушка, чтобы он раньше всех приветствовал восход солнца.

В 1065 году церковь была закончена, и вокруг аббатства постепенно выросло целое поселение. Анна часто приходила сюда для беседы с монахами, и те всячески намекали на свою бедность. Королева решила передать монастырю водяную мельницу в Гувье, земельный участок в Блан-Мезаль, что неподалеку от Бурже, и еще одно угодье, расположенное в Крепи, а также предоставила аббатству право требовать от жителей Санлиса возы для перевозки монастырских грузов, что имело немаловажное значение для его хозяйства.

Когда Анна спросила у Филиппа, который уже был для нее не только сыном, но и королем, не имеет ли он что-нибудь возразить против ее благочестивых намерений, тот ответил, пожимая плечами:

— Ты можешь поступить как тебе угодно. Эти имения — твое достояние.

Сам Филипп относился к монахам и монахиням без должного уважения, считал первых бездельниками, а вторых — распутницами, и церковные люди платили ему тою же монетой, распространяя о короле всякие небывлицы, хотя жизнь его действительно не отличалась большой святостью и воздержанием.

Получив разрешение от сына, Анна привела свое желание в исполнение и сама составила дарственную хартию, ученические ошибки в которой исправил, добродушно покачивая головою, Готье, доживающий последние дни на земле, правда еще не лишившийся аппетита и растерянно шептавший в часы одиночества латинские вирши, хотя и не думал о том, что на пороге смерти христианину надлежит покаяться и смириться...

Передача дара происходила в трапезной аббатства, в присутствии монахов, стоявших с лицемерно опущенными долу глазами, а в душе ликовавших. Филипп сидел рядом с матерью и откровенно зевал. Королева для вступления в деловую часть хартии взяла несколько строк из «Песни песней», так как

любила трогательную историю пастушки Суламифи, возлюбленной царя Соломона, и намекала этим текстом о своей привязанности к вертограду божьему. Она с блаженной улыбкой слушала, как писец, лысый, наделенный от природы скрипучим голосом и не постигавший, какую прелесть таят слова, которые читал, громогласно возглашал:

— «Veni de Libano et coronaveris...»<sup>1</sup>

Со дней юности Анна мечтала о такой любви и завидовала смуглянке, чьи перси возлюбленный сравнивал в аравийской пылкости с гроздьями винограда. Это происходило в какой-то райской стране, среди лоз, где бегали проворные лисицы. Об одной из таких любительниц винограда Эзоп написал забавную басню...

— «Ego autem Anna corde intelligens quod scriptum est...»<sup>2</sup>.

Анна подумала, что пастушка стерегла зеленый сад братьев от лисенят, а своего виноградника не уберегла...



---

<sup>1</sup> Приди из Ливана и увенчай себя...(лат.)

<sup>2</sup> Я, Анна, помыслила в сердце своем, как написано... (лат.)



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

**КАК В НЕКОТОРЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ САГАХ,**

которые скальды рассказывали в Киеве дочерям Ярослава, все началось с ночного пения петухов. Затем страж на башне протяжно затрубил в рог, возвещая приход утра. Анна проснулась и поспешно подошла босыми ногами к окошку, чтобы удостовериться, будет ли сегодня погода благоприятствовать охотничьим забавам. Глубокий провал замкового двора еще наполняла тьма, но из окна на другой стороне опочивальни королева могла видеть, что на востоке уже занимается розовой полоской заря. Роши скрывала предутренняя мгла, но в полях еще стлались ночные туманы, а каждому поселянину известно, что это предвещает солнечный день.

Вскоре внизу с веселым остервенением залаяли собаки. Их выпустили из псарни во двор, чтобы хорошенько осмотреть перед отправлением на охоту. Анна прошептала славянскую молитву, которой ее научил в детстве пресвитер Илларион. Милонегга принесла кувшин с водой из замкового колодца, и госпожа, подставив сложенные корабликом руки под живительную струйку, умыла лицо. Королева торопилась. Но перед тем, как надолго покинуть дом, необходимо было подкрепиться пищей. Она велела принести кусок холодного мяса на ломте пшеничного хлеба и запила еду молоком.

Все существо Анны охватывала приятная дрожь, когда она представляла себе, что ее ждут знакомые волнения лова, ветер в полях и дерзкие глаза Рауля. Когда Анна думала об этом вассале, ей хотелось потянуться в истоме и смеяться, — чему, она сама не знала. А граф был семейным человеком, его жена, деятельная Алиенор, учила королеву солить впрок грибы. Но разве слушается женское сердце благоразумных советов? Впрочем, с некоторых пор Рауль жил в размолвке с супругой. Что-то произошло в замке Мондидье, и графиня уехала погостить в Париж. Алиенор считалась второй женой графа. От первой у него росли два сына.

Анна спустилась во двор, и все сняли перед нею шляпы. Подошел старый ловчий, служивший еще королю Роберту, и доложил, что все готово к отправлению на охоту. Действительно, лошади были уже оседланы; они грызли удила, фыркали, били копытом о землю. Паж Гийом, счастливый, что сегодня ему выпала эта честь, подвел серую в яблоках кобылицу, которой королева дала русскую кличку Ветрица, в память первой своей лошади. Когда Анна проехала мимо собак,

они дружно замахали упругими хвостами,— все как на подбор белые с рыжими подпалинами, с радостными янтарными глазами.

Подковы зацокали о камни улицы, спускавшейся с холма. Над головой на мгновение повис каменный свод, отлично выпавшиеся за долгую осеннюю ночь стражи с удовольствием смотрели на свою добрую королеву. Кавалькада всадников выехала из городских ворот, и за стенами туманное утро как бы приняло охотницу в свои объятия.

Дорога проходила мимо огородов, на которых монастырские сервы уже сняли овощи и разворошили землю мотыгами. Кое-где оставались кочерыжки капусты...

Анна сидела на коне, как в те дни стали ездить все благородные дамы: свесив ноги на одну сторону, удерживая тело в седле легким отклонением плеч. Но некоторые из сопровождавших ее женщин ехали сидя по-мужски; среди них были благоразумные девы, ушедшие вчера в опочивальни вместе с курами, и неблагоразумные, засидевшиеся за столом. Впрочем, и те и другие имели такой вид, точно провели ночь легкомысленно и не выспались.

За поворотом дороги показалось аббатство. Анна по привычке посмотрела на свое изображение над порталом. Веселые собаки бодро бежали к дубраве, высунув розовые языки, махая хвостами и принюхиваясь к земляным запахам. Позади переговаривались грубыми голосами охотники и псаря. Все это, и даже старые рога, окованные избитой от долгого употребления медью, напоминали о Вышгороде и русских ловах. Но когда Анна с высоты кобылицы увидела, как монахи в красных куколях шли попарно в церковь, засунув руки в широкие рукава сутан и опустив благоприлично головы, все снова стало Францией...

Впрочем, сегодня королеве было не до монахов и благочестивых бесед. Она все дальше и дальше гналась за этим туманным утром, догоняла его, а оно как бы удалялось к далеким рощам и уходило в сырые поля. Охотники перебрались по горбтому каменному мосту, построенному еще в римские времена, и очутились в тихой дубраве, где вдруг пахнуло осенней сыростью.

Уже над лесом всходило солнце. Порой утренний луч играл на радужной паутинке, зацепившейся в своем легком полете за дубовую ветку. Кое-где на кустах уже спелы красные и черные ягоды, какие собирают только колдуньи, потому что в этих плодах прозябает страшный яд, причиняющий мучительную смерть. С полей прилетал свежий ветерок, и еще один лист медленно падал на землю. Всюду пахло опавшей листвой, грибной сыростью и лесной гнилью.

На голове у Анны была, как обычно, парчовая шапочка, опушенная бобровым мехом. Привезенная из Киева уже давно пришла в ветхость, но для королевы шили другие, по ее указаниям. Две рыжих косы лежали на высокой груди. Рассеянно отвечая на вопросы, охотница чего-то ждала. Вдруг далеко впереди послышались протяжные звуки рога. Это подавал о себе весть граф Рауль, и Анна поскакала на зов, уже для удобства по-мужски сидя в седле и ловко наклоняясь под ветками деревьев.

Весь день охотники бесплодно преследовали прекрасного зверя. После таких неудачных охот в волшебных сказках появлялись олени с крестом между рогами и вели короля или рыцаря к тому месту, где вдруг открывалось чудесное видение, вроде мраморного дворца, в котором ждала избавителя спящая красавица.

Увы, несмотря на желание Анны, чтобы в ее жизни произошло что-нибудь необыкновенное, ничего не случилось, что могло бы вдохновить певца. Елизавету воспел Гаральд. Может быть, и Филипп сложил о ней стихи после того, как они расстались и она уехала во Францию. Но где эти

песни и кто слушал их? И вот неожиданно вспыхнуло чувство, которое Анна заглашала, пока носила корону. Конечно, Рауль не походил на тех воинов, о которых она читала в юности. О нет, это был жестокий и жадный человек, за всю свою жизнь не державший ни одной книги в руках, кроме молитвенника, и наделенный невероятной гордыней. Современники ужасались, записывая в хрониках, сколько крови пролил и сколько мирных селений сжег на своем веку этот сеньор, владеец неприступных замков в Крепи, Перроне, Вермандуа, Витри и Мондидье, господин многих тысяч сервов. Иногда он вел себя как сатана. Например, в 1066 году лишь потому разграбил во время набега и предал огню город Верден, что епископ верденский не уплатил ему положенной дани в размере двадцати ливров, а до этого угнал у него восемнадцать коров и не возвратил, несмотря на требования короля.

Анна иногда встречалась с этим красивым и гордым графом на судебных разбираательствах, на королевских советах или на пирах. Однако лишь после смерти короля она появилась перед ним как свободная женщина, так же страстно предающаяся охотничьим забавам, как и граф. Рауль дождался своего часа. Но, кажется, впервые в жизни у него не рождалась похоть и хозяйственные расчеты, когда он смотрел на Анну или слушал ее беседы с епископом Готье о труднодостижимых вещах. Королева не походила на других женщин и на его супругу, полногрудую Алиенор. Рауля влекло к Анне, как в глубокую воду. Рауль почел бы за счастье упасть перед королевой на колени и поцеловать край ее платья. Так он и поступил однажды, когда случайно остался наедине с госпожой в одном из дворцовых помещений. Анна отступила на шаг и тихо сказала:

— Не забудь, что я королева Франции!

Но с той поры она ловила рассказы о графе Рауле. Конечно, никто не решался говорить с королевой о жестокости или жадности графа, наоборот, все прославляли его мужество, храбрость и богатство, и Анна более тщательно выбирала платье, опрыскивала свое горячее тело благовониями, если предполагала встретиться с этим уже не очень молодым человеком, хотя уверяла себя, что он для нее такой же рыцарь, как все другие. Она чувствовала на себе взгляды Рауля, но делала вид, будто его поведение докучает ей, а ее сердце наполнялось томлением при одном воспоминании о графе! Не потому ли, что каждой женщине суждено хотя бы раз в жизни испытать подобную бурю любви? Между тем в хищной душе Рауля происходили с годами странные перемены. Некоторые удивлялись, видя, как на лице у него самодовольство и гордыня постепенно сменялись чувством тревоги и даже разочарования. Как бы то ни было, граф узнал о существовании в мире таких вещей, какие невозможно приобрести ни за какие сокровища и которыми нельзя завладеть силой, и впервые усумнился в своем могуществе.

В тот день Анна и граф Рауль сидели на колоде огромного дуба, поваленного на землю пронесшейся здесь много лет тому назад бурей. Спутники и спутницы, принимавшие участие в лове, уже возвратились в Санлис. Недалеке четыре коня щипали спокойно траву под присмотром графского оруженосца Гуго и пажа королевы, пятнадцатилетнего Гийома. Воспользовавшись случаем, молодые люди играли в кости, и всякий раз, удачно выбросив пятерки и шестерки, Гийом разражался звонким и еще детским смехом.

Королева вдовствовала второй год. Она находилась в полном расцвете своей красоты, между тридцатью четырьмя и тридцатью пятью годами, способная внушить любому человеку пламенную любовь и разделить ее. Несмотря на неудачную охоту, Анна была в хорошем настроении и шутила

с графом, не находившим слов, чтобы отвечать на ее острые уколы. Вообразив, что эти шутки дают ему теперь право на обладание, Рауль вдруг протянул руки и, не обращая внимания на юношей, прекративших игру и повернувших головы в ту сторону, где сидела королева, сжал молодую женщину в бесстыдном объятии. Кровь застучала у него в висках.

Королева вырвалась и, тяжело дыша, сказала:

— Знаю, что ты никого не боишься... Но молния поразит тебя, если ты еще раз прикоснешься ко мне!

В этих словах звучало такое убеждение в своей неприкосновенности, что граф опустил руки, как провинившийся мальчишка.

Граф не был достаточно вдумчивым, чтобы понять, что, если бы в эти мгновения на земле стояла темная ночь, прикрывающая женскую стыдливость звездным плащом, а не светил ослепительный день, Анна, может быть, не сказала бы этих горделивых слов и он получил бы все, чего добивался. Теперь же она отвернулась и смотрела на лужайку, где паслись кони. Скорбно сжав губы, королева молчала. Рауль сидел рядом. Он чувствовал ее запах — смесь здорового пота и греческих благовоний. На Анне было голубое платье, и граф удивлялся вкусу этой красавицы, носившей на охоте одежду подобного цвета. Чтобы скрыть свое смущение, хотя столько графинь были благодарны ему при таких же обстоятельствах за страсть и смелость, он спросил:

— Скажи, почему ты носишь эту странную шапочку из парчи? Ни одна из благородных французских дам не носит такой.

— Разве я похожа на других женщин?

Подняв голову, Анна свысока посмотрела на Рауля.

— Не похожа.

— Вот видишь!

— Она на твоей голове как корона!

— Такие шапочки носят русские принцессы.

— А графы?

— И графы. Разве ты не видел во дворце икону, где изображены наши мученики княжеского рода?

— Нет, я не видел.

— На них такие же шапки.

При французском дворе хорошо знали, что Анна — родственница святых, предстоящих у престола всевышнего, и это обстоятельство еще больше делало ее в глазах людей необыкновенной.

Анну давно влекло к этому сильному человеку. Но книги, за чтением которых она проводила порой, как и старый отец, ночи напролет, рождали у нее тоску по великолепной любви. А между тем как все просто было на земле: мужчина обнимал женщину, и когда она, воспламененная своим женским естеством или уступая силе и необходимости, отдавалась ему, он удовлетворял свое желание и храпел или тут же покидал любовницу и на пирушке бесстыдно рассказывал приятелям о ее престях.

Совсем другая жизнь — в книгах и сагах. Там люди любили друг друга с нежной страстью и были верны до гроба; там прекрасные юноши пели под окнами своих возлюбленных, играя на кифаре; там в садах росли книжные цветы, которые назывались розами, каких она нигде не видела в королевских садах; там женщин сравнивали то с цветком, то с утренней зарей, то с белым лебедем, то с кораблем. Недавно она со слезами на глазах прочла книгу, которую прислал с путешествующим купцом брат Святослав. Она называлась «Приключения Дигениса Акрита». Совсем недавно ее список приобрел

в Константинополе русский посланец и привез князю Святославу, а тот, не без любопытства прочитав повесть и даже подивившись описанным в ней подвигам, решил послать сочинение Анне, зная, что она любит читать про любовь. Сам князь предпочитал хроники и философские рассуждения.

Теперь Анна вспомнила об этой истории и сказала со вздохом:

— Мы живем в грубости, как бессловесные. А существуют высокие чувства, которые, может быть, не испытаем до смерти.

— О чем ты говоришь? — не понял граф Рауль.

— Недавно читала я в дождливые дни книгу. В ней рассказывается о необыкновенной любви. Это было в греческой земле, за синим морем. Где греки воюют с сарацинами. Там горы поднимаются до самого неба, а лужайки покрыты лазоревыми цветами.

— Что же случилось там?

— Там жила вдова царского рода. В свое время она произвела на свет трех могучих сыновей, прославившихся своими подвигами, и дочь, блистающую необычайной красотой. Услышав о ней, Амир, царь Аравийской земли, собрал множество воинов и начал войну с греками. Однажды мать молилась в церкви, а в это время Амир увидел прекрасную деву, тотчас же полюбил ее и увез на своем быстром коне в неприступный замок, возымев желание сойтись с красавицей браком.

— Как может быть, чтобы сарацин женился на гречанке? Ведь греки христиане?

— Послушай меня с терпением! Братья стреляли лебедей, когда Амир похитил их сестру. Но, вернувшись с охоты домой и обнаружив похищение, они, как три золотокудых ястреба, полетели на бой с Амиром и после ужасного сражения отбили сестру. Царю ничего не оставалось, как нагрузить триста верблюдов золотом и драгоценными камнями и отправиться с этими дарами в греческий город, где жила красавица. Там Амир принял крещение от самого патриарха в реке Евфрате и женился на своей возлюбленной. И вот что произошло потом! В назначенное время у счастливой четы родился сын, которого назвали так: Дигенис Акрит. Дигенис — значит двоеродный, так как он происходил от сарацина и гречанки, а что означает слово Акрит, я не знаю. Кажется, пограничный житель.

Граф Рауль с интересом слушал эту историю, в которой принимали участие даже верблюды. Ему никогда не приходилось видеть таких животных, но возвращавшиеся с Востока пилигримы рассказывали, что у верблюдов чудовищные горбы и что они наделены многими желудками, поэтому могут три дня обходиться без водопоя и по этой причине приспособлены для длительного передвижения в безводных пустынях. Все было смутно в его представлениях о мире. Где-то там протекала река Евфрат и был расположен рай, дорога в который уже заросла для людей непроходимыми терниями...

Оруженосец и паж продолжали метать кости. Они могли предаваться этому занятию целыми часами с неослабевающим интересом.

— Но послушай, что произошло дальше! Дигенис вырос и превратился в красивого юношу с черными кудрями. Глаза у него блистали, как две чаши. Он научился читать и писать, красиво говорить и петь, сопровождая свое пение игрой на кифаре. Дигенис изучал также науку о звездах и умел различать полезные для врачевания травы. А когда юноше пришло время сделаться рыцарем, отец подарил ему белого как снег и быстрого как ветер коня. И Дигенис стал предаваться звериным ловам и воинским упражнениям. Он во множестве убивал оленей, вепрей и даже львов, но презирал охоты на зайцев. А потом, подобный розе, садился на коня и возвращался в свой дворец, цели-



ком построенный из мрамора. Гриву его скакуна украшали золотые колокольчики.

— Но разве бывают дворцы, целиком построенные из мрамора? — сомневался граф Рауль.

— Тот дворец, в котором жила Евдокия, дочь греческого военачальника, выглядел еще прекраснее. Когда юный Дигенис Акрит проезжал под окном Евдокии, он брал в руки кифару и пел о том, что юноша, страстно влюбленный в красавицу и желающий обладать ею, но не видящий милых прелестей, тоскует днем и ночью...

— А разве я не тоскую днем и ночью? — перебил Анну граф.

— Он не был таким нетерпеливым, как ты, и добивался обладания любимой нежными мольбами. Только так можно настроить женщину для любви, как многострунную арфу.

— Разве я не обращаюсь к тебе с нежной мольбой?

Анна отстранила графа руками.

— Лучше послушай, что было потом.

— Что же было потом?

— Дигенис Акрит воевал с сарацинами, побеждал полчища врагов и приводил тысячи пленников. Но он не мог забыть прекрасную Евдокию и каждый раз, когда проезжал мимо ее дворца, пел и играл на кифаре. Однажды девушка, забыв об осторожности, спустилась к нему по мраморной лестнице, и Дигенис поднял Евдокию, как ребенка, посадил на своего коня и умчал красавицу.

Анне вдруг захотелось, чтобы и в ее жизни случилось нечто подобное, чтобы и ее увезли в далекие края.

— А кто меня похитит? — прошептала задумчиво Анна, не зная еще, что этими опрометчивыми словами она подписала свой приговор. Королеве в голову не приходило, что граф осмелится снова посягнуть на нее, и уже забыла об осторожности, с какой держала себя возле этого страшного человека. Она не заметила, что граф вновь переживает бурю в своем сердце. Анна мечтала. А Рауль запутался в нежных тенетах Анны, как зверь в охотничьей сети, и чем больше пытался разорвать путы, тем сильнее покоряла его странная женщина, не похожая ни на одну из тех, которых он целовал. Но, не имея привычки размышлять, граф не спрашивал себя, почему же именно к королеве испытывает подобное чувство. А в эти минуты любовь Рауля снова превратилась в телесное влечение. В своей рассеянности Анна не видела, что приближалась гроза... Лицо графа потемнело. Он тяжело дышал.

Наклонив голову, как бык, у которого кровь застилает зрение, граф схватил Анну и, прежде чем она успела крикнуть, легко поднял ее на воздух.

— Гуго! Коня! — прохрипел он.

Оба юноши вскочили на ноги и смотрели, раскрыв рты, на то, что происходит у поваленного бурей дерева.

— Коня!

Голос у графа сделался таким пронзительным, что Гуго, как на поле битвы, бросился стремглав к белому жеребцу, схватил за повод и бегом привел к своему сеньору. Анна теперь отчаянно билась в сильных руках Рауля и с искаженным от негодования лицом напрасно взывала о помощи к пажу:

— Гийом! Гийом!

В ужасе от того, что происходит, мальчик, еще по-детски тонкий и хрупкого сложения, сжимал непривычные к дракам кулаки. Он не имел при себе никакого другого оружия, кроме ножа, которым помогал охотникам потрошить туши убитых животных. Но паж победил наконец свое оцепенение и поспешил к королеве, повторяя растерянно:

— Я здесь, госпожа! Я здесь!

Но граф грубо оттолкнул Гийома ударом ноги, и юноша упал. Графский конь, прижавший уши от этой суеты, кружился на одном месте и не давался всаднику, руки которого были отягощены сладостной ношей. В конце концов Раулю все-таки удалось положить Анну на шею коня. Из-под голубого платья, узкого в груди и широкого внизу, чтобы удобнее было ездить верхом, в воздухе на мгновение мелькнули обнаженные ноги, блистающие белизной... Чулки у королевы были красного цвета, подвязанные под коленами золотой тесьмой.

Уже Гийом со стоном поднялся с земли и протянул руку, чтобы схватить стремя, в которое граф успел поставить ногу.

— Что ты уставился на меня, как осел! — крикнул своему оруженосцу Рауль. — Помоги же мне, сатанинское отродье!

Гуго помог господину вскочить на плясавшего коня. Взволнованный жеребец косил черным глазом и с железным скрежетом грыз удила, чувствуя хребтом двойную ношу.

— Гийом! — взывала Анна, продолжая вырываться из объятий графа. — Где ты, Гийом!

Как будто этот пятнадцатилетний отрок мог защитить ее от обидчика!

Верный паж, считая, что он обязан явиться на призыв госпожи, обнажил нож и кинулся на графа, готовый нанести удар, но не смел прикоснуться к самой королеве, отнимая ее у похитителя.

— Хочешь, чтобы я зарезал тебя, как поросенка! — вдруг завопил на юношу Гуго и наполовину обнажил меч...

Холодный блеск оружия напомнил о смерти. Это был боевой клинок, с зазубринами от ударов о железо и человеческие кости; на нем виднелся желобок для стекания крови...

Граф Рауль уже пришпорил коня и помчался в ту сторону, где находился неприступный замок Мондидье. Он крепко сжимал Анну, потерявшую сознание, и даже не потрудился оглянуться на схватку оруженосца с пажом. А Гийом совершенно обезумел, видя, что граф, как вор, похищающий овец во время набега, увез его королеву...

Паж считался сыном благородных родителей, они не простили бы ему такого позора, и, с ножом в руке, он крикнул Гуго:

— Защищайся, или я тебя убью, как собаку!

Оруженосец, двадцатилетний рыжий верзила, длинноносый, с низким лбом в морщинах, то бросал тупой взгляд на пажу, то поворачивал голову туда, где среди деревьев развевался красный плащ графа. Он, очевидно, с трудом соображал, как надо поступить в подобных обстоятельствах, так как никогда не был в таком положении. Но, не придумав ничего лучшего, Гуго выхватил меч и ударил Гийома, не решавшегося нанести первый удар. Паж упал с предсмертным криком, успев поднять руки и закрыть лицо, точно устыдясь, что мир так жесток и коварен. Белый его плащ, недавний подарок королевы, обильно обагрился кровью. Гуго грубо сорвал его с плеч юноши, хотя Гийом еще дышал. Затем оруженосец устремился к коням. Ему хотелось, конечно, как это полагалось по древнему обычаю войны и поединков, завладеть всей одеждой пажу — снять колет, кожаный пояс и обувь, — но он опасался замешкаться. Надо было догонять графа. Гуго вскочил на коня, скосив глаза на истекающего кровью Гийома, и в этом взгляде никто не заметил бы ни злорадства, ни сожаления. Сегодня тебя поразил меч, а завтра, может быть, настанет моя очередь! Пришпорив жеребца, Гуго поскакал вслед за сеньором, уже скрывшимся в дубах. Однако в своем замешательстве оруженосец не забыл захватить коней Анны и пажу.

Спустя некоторое время Гуго удалось догнать графа, конь которого нес двойную ношу и вскоре стал убавлять ход. За дубравой дорога сворачивала к замку Мондидье. Граф, крепко прижимая Анну к груди, оглянулся на мгновение и снова погнал жеребца.

Оруженосца в эти минуты беспокоило лишь одно: отдаст ли ему граф коня пажа, как военную добычу, или возьмет себе. Но плащ, во всяком случае, принадлежал тому, кто победил в поединке, и Гуго даже успел попробовать на скаку добротность материи... Кровь же можно было отмыть в горячей воде с золою.

## II

Жизнь в Мондидье была скучной и неудобной. Однако граф Рауль облюбовал этот сильно укрепленный замок, где чувствовал себя в полной безопасности, и именно сюда привез пленницу из санлиссских лесов.

Впервые в жизни Анны произошло необычайное событие. Вскоре душа ее успокоилась, и, покоровшись вечной женской участи, она уже отвечала на ласки Рауля привычными поцелуями. Но испытывала стыд перед сыновьями. Однажды в Санлис приехала королевская охота, и графа вызвали туда для объяснений. Когда он вернулся после свидания с сюзереном в замок, Анна спросила:

— Что тебе говорил Филипп обо мне?

— Не высказывал никакого неудовольствия. Ограничился легкомысленной шуткой. Ты знаешь его...

Все-таки она некоторое время не решалась встречаться со своим язвительным в суждениях сыном.

Замковый двор в Мондидье напоминал глубокую каменную яму: его сжимали с четырех сторон огромная башня, капелла, помещение для воинов и другое башенное строение, где хранили всякие военные припасы, пики и глиняные, обожженные на огне шары для пращей. Внизу находились погреб, кузница, в которой подковывали лошадей, конюшня, где иногда тоскливо ржали боевые жеребцы, а также печь для выпекания хлебов и поварня с огромным очагом в копоти и саже и высоким дымовым ходом. В главной башне, в подземелье, куда вели двадцать скользких ступенек, зияла черной дырой замковая темница. Там стоял вечный мрак, в изобилии развелись крысы и жабы, и порой отвратительный смрад доносился из узилища до жилых горниц. Если туда бросали какого-нибудь пленника, в надежде получить за него выкуп, или схваченного на месте преступления злодея, ему надевали железный ошейник и засовывали руки и ноги в мучительные колодки. В нижнем ярусе обитали оруженосцы и любимые псы, а в верхних — семья графа. Окна в этих помещениях были скупые, и мутноватое стекло плохо пропускало свет; такое новшество обходилось не дешево, и подобные кругляшки привозили за большие деньги из Италии и Богемии.

Жизнь в замке начиналась на заре, когда страж трубил на башне в рог о наступлении нового дня. Раньше всех поднимались слуги и конюхи. Переругиваясь и сквернословя, они приступали к работе и чистили скребницами графских коней. Оруженосцы приводили в порядок оружие. Когда все было в полном порядке, кто-нибудь из них поднимался в верхнюю опочивальню, чтобы разбудить господина и подать ему в медном сосуде воду для умывания. В этот утренний час графиня еще лежала в постели, под одеялом, не скры-

вавшим округлость ее бедер, но молодые люди опасались задерживать свой взгляд на госпоже, чтобы не навлечь на себя страшный гнев графа. Умываясь, он спрашивал обычно хриплым еще голосом о чем-нибудь важном. Например, о том, ошенилась ли лотаргинская овчарка или приехал ли в Санлис король.

По большей части графские оруженосцы, сыновья родовитых рыцарей, были красивыми и стройными воинами, с телами, точно вылитыми из бронзы, с золотыми, падающими на плечи кудрями, и по утрам располневший граф смотрел на них с завистью, а графиня думала при виде красавцев, что и они тоже состарятся, потому что молодость проходит, как сон. Но если воду приносил Гуго, она отворачивалась к стене, чтобы не видеть его наглых и зверских глаз, зная, что этот любимец Рауля, беспрекословно выполнявший любое его приказание, убил бедного Гийома...

Настал еще один зимний ненастный день. Анна сидела у очага, поглаживая белую собаку. Несколько таких длинномордых псов, с высоким пахом и мощной грудью, прислал в подарок Генриху ее отец, и французы называли их по-русски — борзыми. Сегодня Анна в десятый раз прочла книгу о приключениях Дигениса Акрита и скучала, мечтая, чтобы в замок заглянули какие-нибудь бродячие жонглеры или фокусники. Рауль сражался в шахматы с местным кюре. Граф выигрывал партию и потому напевал песенку:

Когда я молод был,  
Лизетт я полюбил...

Действительно, черная королева находилась в затруднительном положении, и партнер, игравший черными, в досаде чесал затылок: он проворонил одну фигуру.

Кюре, по имени Антуан, был тот самый служитель алтаря, с которым имел однажды столкновение на любовной почве жонглер Бертран, закончивший свои дни при весьма печальных обстоятельствах. Лиловый нос священника красноречиво свидетельствовал о его склонности к соку виноградной лозы. Этот невежественный человек, с кулаками как кузнечные молоты, хотя и знал наизусть необходимые молитвы, но плохо понимал смысл латинских слов. По настоянию своей супруги, граф однажды приобрел для кюре молитвенник, выменяв его у одной святой женщины за виноградник в шестьдесят лоз. Прижимистая вдовица взяла за книгу не дешево, зная, что достать такую вещь, как латинский требник, трудно, и графу пришлось согласиться на обмен.

Этот Антуан был пьяница, большой любитель игры в кости и развратник, хотя весь его разврат заключался в том, что он напропалую волочился за смазливymi деревенскими девочками. Однажды обитатели посада, расположенного у подножия графского замка, нещадно били повесу за такие похождения. Больше всего огорчило кюре в тот день бессердечие графа. Когда, подобрав полы сутаны, он спасся от злодеев бегством и стал жаловаться сеньору на нечестивцев, не пощадивших даже церковного звания, то этот безбожник не только не наказал насильников, а издевался над пострадавшим и хохотал, держась за бока. Впрочем, кюре вскоре помирился с графом за очередной партией в шахматы. Что же касается святости сана, то считалось, что на всяком священнике, будь он трижды грешен, почиет благодать и все совершенные им таинства имеют законную силу. Однако Анна решительно отказалась от услуг легкомысленного Антуана, когда захотела освятить браком преступную связь с графом Раулем.

— Какими глазами я буду смотреть на своих детей и на твоих? — говорила она. — Пусть нас обвенчает достойный служитель алтаря.

Совершил таинство брака аббат Леон, ведавший у графа письменными

делами и до глубины души ненавидевший кюре, которого считал последним прошельгой на свете.

История с этим бракосочетанием наделала много шума. Предварительно Раулю пришлось развестись с женой. Сделать это не представляло больших затруднений для графа, так как ее уже не было в замке. Незадолго до похищения Анны он неожиданно вернулся с охоты, вывихнув ногу, и ему показалось, что жена нежничала с Бертраном. Никто не видел, что произошло затем в замке и в соседней роще, но поселянки, искавшие в лесу грибы, набрали спустя несколько дней на страшный труп. Жонглер висел на суку, полуголый, в окровавленной рубашке, высунув длинный синий язык. Потом оруженосец Гуго появился в той самой куртке, которую носил певец Изольды, а заплаканная Алиенор очутилась у родственников в Париже.

Во время одной из встреч с графом Раулем Анна спросила, давно не видя жонглера:

— Где же Бертран?

— Он навеки покинул мой замок, — ответил граф.

— Почему?

— Разве ты не слышала, что я застал его с моей женой?

Тогда Анна узнала о том, что произошло в Мондидье.

— Ты убил его? — ужаснулась она, когда Рауль стал рассказывать о бегстве жонглера в Прованс.

— Не все ли равно тебе? — равнодушно сказал граф.

— А где Алиенор? Как ты поступил с нею?

— Она уехала к парижской тетке. Пусть подумает там о своем легкомысленном поведении.

Так покинул Бертран нашу землю, полную песен и приключений. Сердобольные крестьяне тайно похоронили его в дубраве, где весной поют соловьи, и после него осталось только несколько песен, с которыми другие менестрели еще много лет бродили по дорогам Франции и Прованса, обольщая где-нибудь на чердаке харчевни или на ночной росистой лужайке хорошеньких поселянок.

Но слухи о том, что произошло с бывшей французской королевой, поползли по всей Европе. Развод графа Рауля и его брак с Анной были незаконными с точки зрения канонических установлений. В дело вмешался Реймский архиепископ Жерве. Встретив как-то графа в королевском дворце, он пытался уговорить нечестивца отпустить Анну и вернуть на супружеское ложе Алиенор, в противном случае угрожая гневом папы.

Рауль с присущей ему дерзостью ответил:

— Наплевать мне на твоего папу!

Он даже прибавил другие слова, какие ни один писец не решился бы внести в свою хронику, настолько они были неуважительны по отношению к наследнику святого Петра. Но что можно было поделать с этим отпетым безбожником! Архиепископ покашлял в кулак и прекратил разговор. Однако не замедлил сообщить обо всем папе Александру.

Поведение графа Рауля вызвало всеобщее негодование. Между тем Алиенор не удовольствовалась обещанием святого отца, что он отлучит прелюбодея от церкви, а отправилась в Рим, имея намеренье лично изложить папе все подробности потрясающего события и добиться от него восстановления своих прав. Но графиня была простодушная женщина. Когда Александр спросил ее, что же представляет собою Анна, ради которой Рауль решился на такой проступок, она ответила:

— Второй такой нет на земле!

Во всяком случае, обрушившиеся на голову графа Рауля анафемы ни

в какой степени не помешали ему жить в свое удовольствие, счастливо охотиться и приумножать богатство...

Партия в шахматы продолжалась. Фигуры на черно-белых квадратах меняли положение, следуя незыблемым законам игры, которые не мог нарушить сам господь бог. Рауль не сомневался, что скоро объявит Антуану мат. Черная королева находилась на краю гибели.

Граф весело мурлыкал себе под нос:

Моя Лизетт в истоме  
Лежала на соломе...

На скамье, устроенной вдоль стены, где светились окна, сидели рядом сыновья графа Рауля от первой жены, Симон и Готье, ненавидевшие Анну, как только могут ненавидеть мачеху пасынки, хранящие память о матери. Это злое чувство еще больше разжигала старая служанка Эльдвиг, уверявшая юношей, что русская еретичка молится богу по-иному, чем это делают французские христиане. Оба исподлобья следили за Анной, державшей в руках книгу с непонятными письменами, может быть даже заключавшую в себе заклинания, какими колдуньи привораживают мужскую любовь, посылают несчастья на добрых людей или вызывают дьявола.

Когда сыновья поднялись по скрипучей деревянной лестнице наверх, граф проводил их взглядом и сказал, обращаясь к Анне:

— Аббат Леон сообщил мне, что архиепископ опять получил послание от папы.

— Что же пишет он?

— Объявляет наш брак недействительным.

Анна закрыла лицо руками. Папские гневные буллы потрясали ей душу. Но Рауль, оторвавшись от шахматной доски, подошел к жене и с нежностью стал успокаивать ее:

— К чему эти волнения? Пусть папа объявляет все, что ему угодно. Мы сочетались браком, и уже никто и ничто не может нас разъединить.

Анна нуждалась в поддержке мужа в эти трудные дни и ответила Раулю на его слова благодарной улыбкой. Ее кружило в омуте страсти. Но она не знала, счастье это или только сладость запретного греха.

Пока граф разговаривал с супругой, хитрый Антуан обдумал очередной ход, который сразу же изменил положение на шахматной доске. Надо прямо сказать, что старый греховодник просто передвинул рукавом сутаны одну пешку. Когда Рауль вновь приступил к игре, он вытаращил глаза: гибель грозила не черной, а белой королеве! Теперь уже кюре потирал руки и бодро шел:

Когда я молод был,  
Лизетт я полюбил...

Граф выругался по-площадному и стал спорить с Антуаном, доказывая, что, очевидно, свой предыдущий ход он сделал по рассеянности и его нельзя считать действительным. Раулю в голову не приходило, что можно мошенничать в такой благородной игре, как шахматы, и он ни в чем не подозревал кюре.

Но священник хихикал:

— Нет, господин граф! Прикоснулся к фигуре — значит сыграл!  
И затянул гнусным голосом:

Моя Лизетт в истоме  
Лежала на соломе...

Он поставил около себя на полу кувшин с вином и прикладывался к нему время от времени, чем, вероятно, и объяснялось его приподнятое настроение.

Однако партию пришлось отложить до более удобного часа. Не успел граф сделать ход, как услышал, что у замковых ворот происходит какая-то суматоха. Видимо, кто-то домогался попасть в замок. Рауль прислушался и потом крикнул:

— Гуго!

В провале лестницы, ведущей вниз, показалась взлохмаченная рыжая голова оруженосца. Он без стеснения носил куртку несчастного Бертраана.

— Посмотри, что там происходит! — приказал граф.

Выяснилось, что это очередное посещение купцов. Их было двое: высокий старик в потрепанной лисьей шапке и юркий человечек, какие часто встречаются среди торговых людей, которым необходимо обладать большой ловкостью и предприимчивым умом, чтобы среди всевозможных препятствий пробираться с товарами из одного конца разбойничьей Европы в другой. Торговцы привезли греческие материи.

К своему изумлению, Анна узнала в высоком старце Людовикуса. Переводчик еще жил на свете и занимался торговлей! Впрочем, ничего удивительного в его посещении не было... Просто купец побывал в Киеве и по прибытии во Францию решил разыскать бывшую королеву. Старик не только надеялся получить награду за новости из русской страны, невзирая на то, что таковые были по большей части печальными, и хотя никаких писем на этот раз он не привез, но бедняге также хотелось вспомнить при виде этой благородной женщины лучшие дни.

Купцы разложили товары на полу и, стоя на коленях, разворачивали один кусок шелка за другим. Анна пробовала на ощупь качество материи, но мысли ее были заняты тем, что Людовикус успевал сообщить о событиях на Руси. Вести оказались в самом деле невеселыми. Впрочем, братья уже давно ни о чем другом не уведомляли, как только о смерти и погребениях близких. Еще в 1050 году скончалась в Ладоге мать, по ее просьбе положенная под каменным полом новгородской Софии, построенной старшим братом Владимиром, поэтому считавшим себя чуть ли не вторым Юстинианом или новым Соломоном. Почему она избрала такое место для своего последнего успокоения? Может быть, хотела лежать поближе к своему северному городу, где покоились останки Олафа? Четыре года спустя, разболевшись вельми, умер на семьдесят восьмом году от рождения и отец, великий князь Ярослав. Это случилось в Вышгороде, 20 февраля, на память мученика Феодора Тирона. Некий человек, переписывавший для князя книги, начертал на стене св. Софии:

«Двадцатого февраля скончался царь наш...»

Русские книжники, ум которых туманила гордыня, считали Ярослава царем наравне с греческим.

Всеволод уже сообщил в свое время об этих печальных событиях и о том, что на смертном одре отец завещал сыновьям жить в любви и согласии между собою, чтобы не рассыпалась хранимая русским государством, и Анна плакала над письмом брата.

У старого отца, дух которого был ослаблен недугом, не хватило решимости оставить верховную власть какому-нибудь одному из сыновей. Кроме того, он опасался междоусобия. Поэтому сыну Изяславу дал Киев и Новгород, надеясь, что он, стоя во главе этих двух городов, сумеет держать в повиновении и другие области. Святослав получил Чернигов и земли по реке Десне. Всеволоду достался Переяславль со всем его богатством и беспокой-

ством. Вячеславу были поручены Суздаль и Белоозерский край, а Игорю — Смоленск.

Теперь Анна узнала подробности печальных перемен. Людовикус, которому разрешили присесть на табурет, рассказывал:

— В час смерти блаженной памяти твоего родителя, князя Ярослава и царя, при нем находился только Всеволод, благороднейший господин. Ты знаешь, что он никогда не расставался с отцом и даже, как я слышал, изъявил желание и после смерти, когда настанет и его последний час, лежать рядом. Это князь Всеволод привез тело отца из Вышгорода в Киев и похоронил его своими руками. Все оплакивали смерть такого просвещенного правителя. Я видел гробницу. Она из красного камня, сделана по греческому образцу, и кресты и пальмовые ветви на ней выбиты искусно резцом.

Людовикус сообщил и о многом другом. За два года до смерти отца умер в Новгороде старший брат, задумчивый князь Владимир, водивший некогда с Вышатой русское войско в греческую землю. В 1058 году скончался в Смоленске брат Вячеслав, а в 1060-м, в год смерти короля Генриха, не стало на земле Игоря, незадолго до смерти переведенного из Смоленска на Вольнь. Тогда Смоленск передал Вячеславу, где он и умер вскоре. В те же дни покинул земную юдоль новгородский епископ Лука Жидята.

— На русских границах, — рассказывал Людовикус, — появились в степях новые враги. Никому не ведомо, откуда они пришли и куда идут. Воевода Коснячко говорил мне, что число их как песок морской.

— Что же это за племя? — спросила Анна, горестно подпирая голову рукой.

— Половцы. Кони их подобны птицам. Они налетают, понукая скакунов ногами и бичом, выпускают во врагов стрелы и вдруг поворачивают и мчатся назад, исчезая в облаке пыли. Потом снова несутся в бой с дикими криками. От этого воя у хлебопашцев стынет кровь в жилах. Твой брат Всеволод доблестно вышел против половцев, однако потерпел поражение и вынужден был укрыться за валами Переяславля.

По лицу Анны текли слезы. Уже немало лет прошло с тех пор, как она покинула Киев, а Русскую землю забыть было невозможно. Теперь она поняла, почему брат Всеволод не мог выполнить ее просьбу и не прислал в помощь королю Филиппу наемников-варягов, как обещал. Бывают непреодолимые препятствия. А ведь с помощью Всеволода ее сын мог бы легко сокрушить всех врагов Франции.

— Что еще ты слышал и видел там? — спросила Анна, вытирая глаза голубым платком.

— В Киеве рассказывали мне, что недавно над городом появилась страшная комета и в течение семи дней, от сумерек после захода солнца и до рассвета, пляла на небосклоне, сияя красными лучами.

— Недоброе предзнаменование... — прошептала Анна.

— Такие звезды предвещают людям войны, нашествия иноплемennых.

— Или смерть правителей.

— Или мор...

Так они перечисляли бедствия.

Сердце Анны разрывалось от горя. Русская земля лежала далеко, и она ничем не могла помочь близким. Но Людовикус, постаревший за эти годы, потрешанный жизненными неудачами, уже стал равнодушно относиться к несчастьям, своим и чужим, и не щадил свою слушательницу.

— Еще мне рассказывали в Киеве, что в реке Сетомле... Есть такая река?

Анна кивнула головой.



— Будто бы в этой реке рыбаки выловили сетями младенца столь страшного вида, что об этом невозможно рассказать словами.

— Не знаешь ли, что случилось с князем Ростиславом? — спросила графиня. До ее слуха дошла весть о смерти молодого воина, княжившего в Тмутаракани, но как это произошло, она не знала.

Людovicус одним выражением морщинистого лица дал понять, что в этом далеком городе было совершено подлое преступление.

— Не имеет предела человеческая хитрость, — сказал он.

— Почему так рано покинул землю молодой князь? — недоумевала Анна.

— Он погиб от яда. Могу подробно рассказать тебе об этом.

— Кто же умертвил Ростислава?

— Его отравил греческий царедворец. А по словам многих людей, тмутараканский князь был щедр, благороден по своему характеру и милостив к бедным.

Лицо Людovicуса изображало в эти мгновения искреннее сожаление.

— Ты ведь знаешь, — говорил он, — что Ростислав правил в том странном городе, который русские называют Тмутаракань, а греки — Таматарха. Мне приходилось бывать там в дни моей юности. В этом городе много чужестранцев и у пристаней стоят большие торговые корабли. Да, молодость... Ростислав тоже был молод, любил пиры, красивых наложниц. Но в Константинополе уже зрел злой умысел. Не знаю, по какой причине коварный царь решил избавиться от такого соседа. Может быть, этот молодой князь слишком высокими пошлинами облагал греческие товары?

— Как же они погубили Ростислава?

— В Тмутаракань прибыл царский наместник Армении. Известно тебе, что армянский царь передал грекам свою страну и за это получил земли в Каппадокии?

— Об этом здесь ничего не было слышно.

— Теперь Арменией управляет константинопольский вельможа. Он посетил Тмутаракань, и никто не предполагал, какой он таит в своем сердце сатанинский замысел. По случаю его прибытия устроили большой пир. Как обычно, вино текло рекой... Когда настало время пить за здоровье хозяйна, царедворец поднял чашу и провозгласил: «Будь здоров, князь!» И отпил половину. А то, что осталось в ней, протянул Ростиславу, и князь осушил сосуд до дна. Но у грека была зажата под ногтем малая крупинка смертельного яда, и злодей незаметно опустил ее в вино...

Анна не могла удержаться от того, чтобы не вскрикнуть, слушая о таком коварстве.

— Молодой князь умер в ужасных мучениях, — шептал Людovicус, не обратив большого внимания на ее горестное восклицание, — но никому в голову не могло прийти, что его отравил царедворец. Ведь пили-то они из одной чаши!

— Ты тоже присутствовал на том пиру? — спросила Анна.

— Нет, меня там не угощали. В те дни я находился в Херсонесе. Когда грек совершил свое злое дело, он отправился в Константинополь с докладом и за получением царских милостей, а по пути тоже остановился в этом городе. Я тогда покупал перец у херсонесского купца Вениамина Мусхи. Знаешь ли ты Вениамина Мусху? Не знаешь. А между тем его имя известно от Трапезунда до Майнца. Может быть, слышала о его племяннике, Якове Шайя? Он тоже неоднократно возил товары во Францию. Ты могла покупать у него шелк. Но на чем я остановился?

В старости Людovicус сделался болтлив и забывчив.

— Ты начал рассказывать о том, что коварный царедворец оказался в Корсуни...

— Да, да... Там он и нашел свой конец. Я, помню, побывал у Мусхи, закупил у него по приличной цене весь перец, какой нашел на складе, и отправился в свою гостиницу. Для этого мне нужно было пройти через весь город. Когда я приблизился к тому дому, в котором, по словам знающих людей, проживал в свое время ваш царь Владимир, мне преградила путь на площади огромная толпа людей. Из любопытства я подошел к месту происшествия. На земле лежал труп человека в богатом одеянии. Я спросил какого-то словоохотливого горожанина, что тут произошло. Оказалось, что отравитель всюду трубил о своем поступке, видимо считая его за подвиг, и жители, вообще недовольные царской властью, побили его камнями.

— До смерти? — ужаснулась Анна, прижимая от волнения ладони к щекам.

— Пока он не перестал дышать. Когда я возвращался обратно и опять проходил мимо того места, то убедился, что кто-то уже успел снять с убитого ценные одежды. Предатель лежал нагой, брошенный на растерзание бездомным псам.

Людовикус привез недобрые вести. Черные тучи обложили со всех сторон Русскую землю. Половцы дикими волками рыскали под стенами Переяславля. О многом другом печальном рассказал купец. Но ни от него, ни от других путешественников Анна не могла узнать, что случилось с митрополитом Илларионом. После смерти Феопемпта отец возвел его в этот высокий сан, чтобы во главе церкви на Руси стоял не чужеземец, а русский. Но потом митрополит как бы растаял в тумане. Купцы, проходившие из Киева, были по большей части евреи, мало знакомые с церковными делами, и, конечно, не могли ответить на недоуменные вопросы королевы, а братья так и не написали об Илларионе. Людовикус морщил лоб, стараясь припомнить судьбу этого святителя, но и он ничего верного не сообщил. Не то митрополит умер, не то ушел в монастырь, поссорившись с князьями, не то скрылся где-то в Тмутаракани под именем схимника Никона. Анна очень сожалела, что никто не знал об участи этого замечательного писателя и ее учителя с детских лет.

У ног Анны торговцы развешивали шелковые ткани. Рауль сидел рядом с нею и думал, что если бы захватить эти товары, а купцов выгнать в шею, то шелка и сукон им обоим хватало бы на платья и плащи до конца жизни. Но поступить так он не смел. Весть о грабеже распространилась бы с быстротой молнии по всем дорогам, и никто не привез бы в Крепи и Мондидье ни материй, ни перцу, ни соли. Приходилось платить за все чистоганом. Поэтому графу до зарезу нужны были деньги, и в последние годы он стал требовать от сервов, чтобы известная часть оброка вносилась серебряными денариями, а не натурой. И без того уже некуда стало девать огромное количество солонины, яиц, меду, шерсти и полотна.

Рауль торговался с Людовикусом до седьмого пота и купил для супруги три куска шелка различных цветов. Анна прикладывала к высокой груди нежно-зеленую, шуршащую ткань и спрашивала мужа:

— Это мне к лицу?

Рауль подумал, что никогда не видел на земле подобной женщины.

Но, получив за товары что полагалось, купцы поспешили покинуть замок и направиться с громыхающей повозкой в Крепи, надеясь добраться до этого городка еще до захода солнца, и в замке снова наступила каменная скука.

Наутро граф Рауль приказал собрать всех прево. Когда они явились на замковый двор, в недоумении спрашивая себя, зачем их потребовали в такое

неурочное время, сеньор спустился по лестнице и заявил среди мертвой тишины:

— До меня дошло, что некоторые из вас выгоняют своих собственных свиней в графские леса, кормят желудями с моих дубов и не платят десятины. Разве вы не должны подавать пример другим? Поэтому замеченные в подобных проступках уплатят пеню в размере десяти денариев. Кроме того, мне известно, что некоторые прево требуют от сервов дары. Если эти глупцы будут удовлетворять ваши требования, то что же у них останется для графа? Я составил список таких вымогателей. Пусть они тоже внесут по двадцати денариев.

У многих управителей лица стали совсем постными, хотя они утешали себя надеждой, что выжмут эти взыскания из опекаемых.

— Требую также,— угрожающе помахал граф в воздухе пальцем,— чтобы вы исполняли возложенные на вас обязанности со всем возможным прилежанием, дабы мое хозяйство не терпело ущерба. Понятно ли это вам?

— Понятно,— мрачно ответили прево.

— Если же вы будете выполнять работу небрежно, то мне ничего не останется, как взять в руки посох и собирать подавание.

В ответ на эти горестные слова раздался гул голосов. Толстомордые служители уверяли своего господина, что не допустят такого позора.

— А если так,— воскликнул граф,— то не ленитесь и заставляйте трудиться других. Пусть работают на покладая рук. Труд облагораживает человека. Забыл вам сказать, что особенно надлежит смотреть за тем, чтобы боевые кони не застаивались на конюшне. Такое небрежение я наблюдал неоднократно. Впредь я буду строго взыскивать за подобные упущения. Следует также вовремя подпускать жеребцов к кобылицам, а жеребят пригонять не позже как к празднику святого Мартина, память коего мы скоро будем праздновать. Еще я заметил следующее. В некоторых селениях виноград для моего вина дают ногами. Я не мужлан, а благородный граф. Надо, чтобы эту работу производили прилично, особыми давилками...

Перескакивая с одного распоряжения на другое, ибо он не изучал ораторское искусство, Рауль говорил еще о своевременной уплате оброка, мытных пошлинах, поставках меда и воска, приплоде рогатого скота и овец. Головы прево опускались все ниже и ниже. Поэтому они не видели, что Анна со скукой смотрела на эту сцену из высокого окна.

### III

Наступило еще одно ненастное утро. Засидевшись накануне за обильным ужином, Рауль и Анна нежились в постели, лениво переговариваясь о всяких незначительных вещах. Торопиться было некуда: за окном шумел холодный зимний дождь, и все хозяйственные работы закончились. Вдруг они услышали протяжные звуки рога, которые показались непривычными для уха. Рауль нахмурил брови, спрашивая себя, какой человек просит у него пристанища, и подошел поскорее к окошку, откуда мог с удобством обозреть часть дороги у самого подъемного моста, довольно неуклюжего и не всегда исправно действовавшего. Но граф весьма гордился этим сооружением из толстых досок и бревен, скрепленных железом. Ни в одном соседнем замке не существовало ничего подобного. А между тем в поднятом положении мост надежно закрывал ворота. В случае же надобности воины опускали его на цепях при помощи вертушек, и тогда всадники и повозки могли беспрепятственно проезжать над широким рвом на замковый двор.

Рауль выглянул в окно и, к своему удивлению, увидел, что перед воротами мокли под дождем два всадника. На довольно ребристом коне, которого без большой натяжки можно было бы назвать клячей, сидел незнакомый рыцарь в сером мокром плаще, в шлеме с широким наносником и угрюмо смотрел на замок. Позади него, на таком же одре, молодой оруженосец, надувая румяные щеки, из всех сил трубил в рог, окованный медью. По всему можно было предположить, что этот рыцарь не из знатных и беден. С ним уже начали переключаться с башни сторожевые воины, расспрашивая приехавшего, кто он такой. У Рауля вспыхнуло любопытство к этому неожиданному гостю, и, как бы предчувствуя, что встреча будет занимательной, он крикнул в пролет лестницы, ведущей в помещение оруженосцев:

— Гуго, скажи людям, чтобы отворили ворота и впустили рыцаря. Проводи его к очагу. Пусть путники обогреются у огня.

Послышался грохот шагов. Затем раздался привычный для слуха лязг цепей. Это означало, что воины опускали мост. Пожав плечами, Рауль рассказал Анне, кого разглядел в окно, и плеснул в лицо водой из миски, которую принес Гуго, как всегда тупо взиравший на все, что его окружало...

В те дни Францию и всю Европу потрясло известие о завоевании норманнами Англии. Этому предшествовали такие события. Умер английский король Эдуард. Перед смертью он назначил своим преемником Гарольда Годвинсона, первого советника королевства. Но вот, вселяя ужас в сердца людей, над Англией появилась кровавая комета. Народ выходил на улицы, чтобы смотреть на это страшное чудо, в котором многие видели подтверждение печальных предчувствий. А между тем герцог Вильгельм Нормандский уверял, что Эдуард некогда обещал отдать английскую корону ему, и через Роберта Жюмьежского и аббата Лафранка просил папу разрешить вопрос о престолонаследии. Вскоре они привезли ему священную хоругвь и папскую буллу, благословлявшую вторжение в непокорную Англию, и тогда народ понес Вильгельму все, что мог, а матери охотно посылали в его войско сыновей в надежде получить за это в награду вечное блаженство. Рыцари спешили в Руан толпами. Они приходили из Аквитании, Бургундии, Бретани, Пуату, Анжу и даже Франции. Одни из них соглашались служить на определенном жалованье, другие — ради военной добычи, третьи просили уголья и замки в Англии или жен из знатных саксонских родов. В тихих гаванях Нормандии спешно строились и смолились морские корабли.

Обо всем этом было известно и в замке Мондидье. Граф Рауль и Анна знали, что Вильгельм даже отправил королю Франции тайных посланцев с такими словами: «Ты мой сеньор, и если сможешь мне в сем предприятии, то обещаю поклониться тебе Англией, как если бы я получил ее из твоих рук!»

Граф советовал Филиппу не вмешиваться в это дело. Он говорил на совещании:

— Разве нормандцы слушаются тебя? А если им удастся захватить остров, то они совсем отвернутся от французского короля. И не забудь, что помощь обойдется тебе не дешево.

Несмотря на свою молодость, сын Анны отличался большой осторожностью. Он соглашался с графом:

— А кроме того, попытка завоевать Англию может и не удалась, и тогда английский король будет против нас.

Затем бродячий монах по имени Люпус, случайно забредший в Мондидье и продавший графу за сравнительно недорогую цену три волоса святого Мартина, сообщил, что местом для сбора нормандских кораблей назначено устье реки Див, впадающей в океан между Секваной и Орной. Но с того дня,

как корабли вышли в море, сообщения о походе Вильгельма прекратились, так как еще мало людей вернулось с британского острова во Францию...

Вытерев лицо полотенцем, Рауль спустился вниз. Незнакомый рыцарь и его оруженосец сидели у огня, щедро разведенного в широком очаге. Рыцарь был худ, высок, белобрыс, с веснушками на лице, а оруженосец румян и поблескивал черными провансальскими глазами.

— Кто ты такой? — спросил граф рыцаря и только тут заметил, что одна рука у него оканчивалась деревяшкой, из которой торчал железный крюк.

— Я Жак де Монтегю, бакалавр, — ответил рыцарь. — А это мой верный оруженосец, по имени Шарль, из города Нима.

Догадка Рауля о бедности гостя подтвердилась: бакалаврами назывались рыцари, не имевшие поместья.

Жак де Монтегю, родом из Пуату, волею судьбы попал в Нормандию в тот самый год, когда туда собирались со всех сторон рыцари в надежде на войну и обильную добычу. Вместе с другими он тоже участвовал в знаменитой битве под Гастингсом, и, когда участь сражения была уже решена и нормандцы преследовали разбитых врагов, на дороге, ведущей в Лондон, во время случайной ночной стычки Монтегю отцепил кольчужную перчатку, чтобы поправить шлем, и уронил ее. И тогда какой-то английский воин нанес ему удар мечом и отрубил руку немного выше кисти. Люди часто умирают от таких увечий вследствие обильной потери крови или черного помертвения тела. К счастью для Монтегю, в нормандских рядах нашелся ученый монах, понимавший толк во врачевании ран, и вылечил рыцаря, прикладывая к страшному обрубку собранные на гастингском поле травы. К удивлению окружающих, Монтегю избежал горячки. Рана вскоре зарубцевалась, и мясо закрыло торчавшую из нее кость. Но рыцарь знал, что он уже никогда в жизни не возьмет в руки меч; видя в этом знак свыше, Монтегю решил отправиться в Палестину. Путь в Иерусалим лежал через Нормандию и Францию. Таким образом Жак очутился при дворе короля Филиппа и в течение многих вечеров рассказывал ему о событиях, свидетелем которых ему довелось быть.

Услышав, что храбрый вояка не только сражался под Гастингсом, но даже может рассказывать о неудачном походе на Англию Гаральда Норвежского, замужем за которым была сестра матери, король решил, что ей будет интересно послушать обо всем этом, и направил рыцаря в Мондидье, хотя и забыл одарить его в дорогу, будучи занятым в тот час государственными делами. Монтегю вздохнул от огорчения и покинул Париж с пустыми руками, а веселый оруженосец на чем свет стоит ругал скупого короля. К этому времени некий искусный столяр из предместья св. Евстафия уже смастерил для рыцаря Жака деревяшку с железным крюком на конце, и бакалавр, нацепив на него повод, отправился в путь. За этот крюк Жака и прозвали Железной Рукой.

Когда выяснилось, что перед ним рыцарь, только что прибывший из Англии, Рауль возблагодарил небеса, пославшие ему такого редкого гостя. Монтегю тоже был рад пожить в этом на первый взгляд гостеприимном замке, а оруженосец Шарль надеялся подкормить на графской конюшне отошавших скаунов. В тот же вечер, после обильного ужина, Анна услышала рассказ о своей сестре Елизавете.

Скорее это была печальная повесть о Гаральде Смелом. Но разве смерть на поле сражения не лучшее, что может пожелать себе всякий воин?

Отдохнув и обогревшись у огня, съев огромное количество мяса и запив еду кувшином вина, Монтегю пришел в самое приятное расположение духа и на некоторое время даже забыл о несчастье, постигшем его в расцвете лет.

— Обо всем расскажу тебе, прекрасная госпожа, — уверял рыцарь, пряча под столом проклятую деревяшку. — А если о чем-нибудь забуду, о том напомнит мне Шарль, самый верный оруженосец от Прованса до Фландрии.

Можно было предположить, судя по заплатам на тувиях рыцарского сподвижника, что похвалы служили ему единственной наградой. Но темные глаза юноши весело поблескивали. Шарль не унывал. Он тоже выказывал полную готовность служить здешним господам, а пока успел заметить, что на птичнике кормила цыплят смазливая девушка.

— Расскажи о сестре моей Елизавете, — попросила Анна рыцаря, раскрасневшегося от жары и вина.

Жак де Монтегю не спешил. Во-первых, молодой человек испытывал смущение перед этой красивой дамой, во-вторых, чувствовал ответственность за свои слова: ведь только из сообщений таких странников, как он, люди могли получить представление о том, что творится на белом свете. Кроме того, бакалавр уже убедился на опыте, как невыгодно выкладывать слушателям все истории за один вечер. О чем же тогда рассказывать завтра?

Елизавета, старшая дочь Ярослава, покинула Киев еще до отъезда Анны во Францию. Она отплыла с Гаральдом Смелым на корабле в Скандинавию и спустя два года сделалась норвежской королевой. Впрочем, ее супруг правил только половиной страны. Другой половиной Норвегии управлял его родственник Магнус, проведенный в юности значительное время при дворе киевского князя. Там он многому научился и славился мудростью и книжным просвещением. С его именем, между прочим, связан древний судебник, знаменитый «Серый гусь», названный так по цвету пергамента, на котором были записаны различные строгие законы. В этом сборнике имелись даже статьи относительно городского благоустройства и правила для гостиниц, составленные по примеру Киева и Новгорода, где были водопроводы и мощенные улицы, а большое количество иноземных купцов требовало забот об их охране и ночлеге.

Гаральд же прославился воинскими подвигами. Скальды любили слагать о нем песни, потому что характер и приключения ярла представляли для этого неистощимый источник. Достаточно было немного приукрасить какое-нибудь малопримечательное военное событие или приписать Гаральду подвиги древних героев, и создавалась новая сага. В одной из них ярл берет неприятельский город, проникнув в городские ворота под видом мертвеца в гробу, в другой в северного красавца влюбляется сама золотоволосая императрица Зоя, хотя он не пожелал ответить ей взаимностью. За отвергнутую любовь царица заточила Гаральда и его товарищей в темницу. Некоторые историки предполагают, что причиной тюремного заключения было нечто другое, в частности не очень разборчивое отношение к военной добыче, считавшейся собственностью ромейского государства. Но сага не удовлетворяется подобными прозаическими темами. Она передает, что, освободившись, варяги проникают во дворец, где в этот час спала невинным сном Мария, юная племянница императрицы. Воины похищают ее (попутно ослепив в ложнице василевса) и, прорвавшись с тремя кораблями сквозь заградительные цепи Золотого Рога, даруют Марии свободу, не прикоснувшись к ней даже пальцем, и благополучно прибывают в Киев.

Так рассказывали скальды, и люди верили этим волнующим похождениям. Но была и добыча, и Гаральд имел обыкновение отсылать ее на хранение Ярославу, чтобы русский конунг мог воочию убедиться в его богатстве. По возвращении же ярла из Константинополя Ярослав отдал за него Елизавету, и, когда теплая погода укротила зиму, варяг увез супругу в Упландию. С тех пор об Елизавете до ее родных доходили только скудные известия. Но Анна

знала, что сестра родила Гаральду двух дочерей, Марию и Ингигерду. Сын короля, Олаф, был прижит от красивой наложницы.

— Ты, вероятно, знаешь, прекрасная госпожа, — рассказывал рыцарь, — что после смерти Магнуса Гаральд сделался королем всей Норвегии. Один скандинавский воин, который очутился в наших рядах, а до этого сражался в войске Гаральда, говорил мне, что норвежский король был хранителем гроба Олафа Святого. Будто каждые двенадцать месяцев он стриг Олафу волосы и подрезал ногти. Так меня уверял этот рыцарь. Соответствует ли это истине, я утверждать не могу, но сам наблюдал, что у покойников растет борода.

Анна слушала бакалавра, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Храбрый северный воин говорил, что Гаральду стало скучно. У него возникла мысль обессмертить свое имя чем-нибудь необычайным, и тогда он решил предпринять завоевание Англии. Но сначала послушайте, что произошло в те годы в Лондоне. Как вы знаете, после смерти Эдуарда на престол взшел Гарольд Годвинсон, весьма достойный муж. Против него и направил оружие Гаральд. Может быть, желая поддержать супруга в таком трудном и опасном предприятии, твоя благородная сестра Елизавета решила сопровождать его в морском путешествии. Возможно также, что Гаральд, которому все удавалось в жизни, настолько был уверен в победе, что захватил с собой и семью, чтобы поселиться в покоренном Лондоне. Однако, когда настало время ступить ногой на английский берег, норвежский король оставил Елизавету и дочерей на Оркнейских островах, а сам с сыном Олафом произвел высадку.

Анна тяжело вздохнула. Это была ее кровь и плоть, единоутробная сестра, а вместе с нею счастливое детство, Вышгород, кафизма в Софии и стихи, которые пел на пиру в честь сестры мужественный Гаральд.

— Скандинавский рыцарь, сражавшийся рядом с Гаральдом, рассказал мне, как все случилось. Битва между двумя королями произошла у Стаффордского моста. А надо вам сказать, что оба хорошо играли на арфе и сочиняли стихи. Перед битвой английский король увидел вдали воина. «Кто этот рыцарь в блистающем шлеме и голубом плаще?» — спросил он приближенных. Ему объяснили, что это Гаральд. Тогда Годвинсон написал в виде вызова песню, в которой прославлял мужество саксонских ратников, простых хлебопашцев или ремесленников, вышедших с топорами в руках на защиту своих очагов. Но когда стихи прочли норвежскому королю, он поморщился: «Неважные стишки. Попробую написать лучше!» И тоже сочинил песню.

— Ты знаешь слова?

— Нет, моя госпожа, — смутился рыцарь.

— Тебе никогда не приходилось слышать, как ее пели?

— Я слышал, как скандинавский друг пел ее в шатре, но не помню теперь, о чем там шла речь.

— В песне говорилось о том, что герои не ищут в сражениях тишины и не стоят коленопреклоненными за щитами, — вмешался в разговор оруженосец.

— А еще о чем говорится в этой песне?

— Не помню, — ответил оруженосец.

— Но послушайте, что произошло у этого проклятого моста, — с увлечением продолжал Монтегю. — Когда началась битва, в которой войны с обеих сторон сражались как львы, предательская стрела поразила Гаральда в горло — слишком широкий вырез для шеи был на королевской кольчуге. Она носила женское имя. Ее называли «Эмма»...

— И что же случилось с бедным Гаральдом? — горестно спросила Анна.

Она и граф сидели на широких креслах, на которые были положены для

удобства набитые шерстью подушки. Рыцарь и оруженосец должны были довольствоваться обыкновенными дубовыми табуретами, ставшими совсем полированными от долговременного пользования.

— Вот что случилось с королем. Он захлебнулся собственной кровью! Так погиб на поле брани, а не на соломе Гаральд, прославленный в песнях воин! После неудачного сражения, потому что со смертью короля ряды норвежских воинов смешались, сын его Олаф отплыл с остатками войска на Оркнейские острова, где твоя сестрица Елизавета томилась в полной неизвестности. Но такие вещи случаются на свете! Послушайте! Скандинавский воин уверял, что Мария, любимая дочь Гаральда, умерла в то самое мгновение, когда погиб король на поле брани. Таким образом, Елизавету посетило двойное горе.

— Не говоря уже о крушении всех надежд,— заметил Рауль.

Все посмотрели на него.

— Ведь Гаральд надеялся завоевать Англию. Жаль беднягу! Но война — подобие игры в кости.

— Поистине это так,— согласился рыцарь.

— Что же дальше? — торопила рассказчика Анна.— Как поступила тогда сестра моя Елизавета?

— Она возвратилась с Олафом и дочерью Ингигердой в свое королевство и перевезла на родину гробы с телами Гаральда и Марии. В знак этого на корабле подняли черный парус. Таков обычай в северных странах. Короля погребли в построенной им самим церкви, в городе, который называется Нидарос. Там он и спит вечным сном. Королем же стал его сын Олаф.

На другое утро, невзирая на плохую погоду, граф Рауль уехал в сопровождении рыцарей и оруженосцев в соседний Санлис. Не прекращался ни на одну минуту дождь, все время налетал бурный ветер.

Анна осталась в одиночестве. Но, покидая замок, граф строго наказал Жаку де Монтего не начинать своих рассказов до его возвращения, а жене обещал быть дома еще до ужина. Анна знала, что в Санлисе находится сын, король Филипп, приехавший посоветоваться с графом Раулем о предстоящем походе на север. Он помышлял о присоединении к французской короне Фландрии. Слушая рассказы матери о ее стране, Филипп понял, какое значение имеет для государства торговля, а Фландрское графство — это трудолюбивые ткачи, вырабатывающие знаменитые сукна на продажу; следовательно — большие доходы.

Король не решался вызывать графа Рауля в Париж, из опасения, что получит отказ, но не считал удобным и приезжать в Мондидье или Крепи и поэтому избрал местом для встреч с гордым вассалом город Санлис.

Когда Рауль явился в этот тихий город, в королевском замке царил суета; король прибыл неожиданно, к его приезду не готовились, и теперь служанки мыли и скребли полы, а разленившиеся конюхи приводили в порядок лошадей и выбрасывали из конюшен вилами навоз.

Граф вошел в приемную залу. Филипп, совсем еще молодой, высокого роста и предрасположенный к полноте человек, сидел у пылающего очага и дружески приветствовал гостя. Как всегда, он раньше других дел расспросил о здоровье матери, к которой относился с неизменной нежностью, хотя не видел ее по целым месяцам, точно старая королева жила в другой стране.

— Слышал? — спросил король графа, когда тот уселся на табурете.

— О чем ты говоришь? — не понял Рауль.



— Папа сочинил еще одну буллу против меня. Клянусь громом и молнией! На этот раз святой отец называет короля Франции хищным волком и антихристом!

Филипп рассмеялся не без злости, и Рауль охотно вторил ему.

— За что он на тебя так разгневался?

— За то, что я немного пощипал итальянских купцов.

Граф уже слышал об этой истории, но ему хотелось узнать, как будет рассказывать о нападении на торговцев сам король.

— Как же это все произошло? — спросил Рауль.

— Очень просто. Я возвращался после охоты в замок Марли. Злой, как сатана. Ни одного зайца не затравили. Вдруг навстречу едут торговцы. Нескольких повозок. Итальянская речь. Тогда я решил вознаградить себя за неудачу...

Видимо, король не без удовольствия вспоминал об этом приключении, на которое его толкнуло юношеское озорство, зависть к людям, набивающим свои кошельки денариями, в то время как у французского короля нет ни гроша в кармане.

— Если бы ты видел, какая началась кутерьма, когда мы налетели на них, подобно ястребам. Только пух летел!

— А купцы?

— Разбежались кто куда. Мы их подгоняли остриями пик в ягодицы. Все выглядело очень забавно.

Королю едва исполнилось двадцать лет. Но Рауль тоже хохотал, как мальчишка. Потом вдруг стал серьезным и заметил со знанием дела:

— Напрасно только вы не прикончили их там, тогда все было бы шито и крыто. Места глухие... А теперь получился скандал на весь мир. Монахи не простят тебе подобное разорение. Товары могли принадлежать какому-нибудь папскому монастырю.

— Не подумал об этом, — скривил губы король.

— Вы их копьями в ягодицы! — не мог успокоиться граф и хлопал себя по ляжкам.

— Да, мы изрядно повеселились. А главное, теперь мои оруженосцы ходят в шелку.

На скамье, поставленной по другую сторону очага, сидели в ряд несколько рыцарей и оруженосцев, одетых действительно щеголевато. Очевидно, они и принимали участие в том грабеже, о котором Рауль и Анна узнали от возмущенного архиепископа Жерве. Анна тоже очень сокрушалась по этому поводу, в страхе, что папа может отлучить сына от церкви. Как оказалось, она была недалеко от истины.

Молодой король и граф Рауль сидели друг против друга, как два приятеля, и Филипп, в знак любви к своему надменному вассалу, шуточно ударял его кулаком по колену, и оба смотрели друг на друга понимающими глазами, потому что, несмотря на разницу в годах, были одного поля ягода — два беспощадных хищника, наделенных сильными челюстями, острыми зубами и неутолимым аппетитом.

Граф сообщил королю об опасениях его матери.

— Все обстоит хуже, чем она представляет себе, — сказал Филипп. — История с нападением на итальянцев еще полбеды. Нет, папа гневается на меня не за разбой, а за облечение епископов папской властью. Он считает, что только наследники Петра могут замещать епископские кафедры удобными им людьми. Но мне объяснили законники. Епископов выбирать должен не папа, а клир и утверждать — король!

— В чем еще обвиняет тебя папа?

— В том, что я торгую золотыми митрами. Но чем же прикажешь торговать французскому королю? Соленой рыбой?

Рауль рассмеялся, представив себе, как король продает на базаре щук и карпов.

— А правда ли, что скончался санский епископ? — вспомнил он сообщение случайно встреченного на дороге монаха.

— Да, старый скупердяй отправился в лучший мир.

— Богатый был прелат.

— Богатейший. Третьего дня забрал в его дворце имущество. Серебряные кубки, светильники. Заодно прихватил коней и все прочее.

— А денарии?

— Деньги я оставил для вдов и сирот,— сказал король, и в его глазах мелькнул веселый огонек.

Граф знал, что, по древнему обычаю, наследником французских епископов, если у них не оставалось близких родственников, являлся король, и позавидовал Филиппу. Вероятно, немало он приволок серебра из Санса!

Так они дружески разговаривали о разных вещах. Но вошел оруженосец и молча посмотрел на короля, вероятно желая говорить с ним с глазу на глаз. По его озабоченному лицу можно было предположить, что речь идет о чем-то очень важном. Рауль насторожился.

— Ну? — нетерпеливо спросил король.

— Согласен.

— За сколько?

Оруженосец ослабилась и прикрыл рот рукой:

— За пятьдесят денариев.

— Уплати! И скажи девице, что ей будет от меня подарок.

Граф Рауль, догадавшийся, о чем шла речь, смотрел на короля неодобрительно.

— Ты недоволен? Разве сам не был молодым? — рассмеялся король.

— Я думал о другом. На что ты тратишь деньги?

— Когда я ехал в Санлис, понадобилось остановиться в грязной придорожной харчевне. Хотя пиво там не плохое.

— У каменного моста?

— У каменного моста. Дочка трактирщика — алмаз в навозе. Но приходится заплатить отцу.

— К чему эти траты? — не понимал граф излишней щедрости короля. — Разве не обязаны красотки любить своего молодого короля всем сердцем? Ты красивый юноша.

Но Филипп, должно быть, от матери унаследовал равнодушие к деньгам.

— Ничего,— сказал он,— поцелуй девчонки будут горячее.

При этих словах короля рыцари, сидевшие на скамье с видом людей, не привыкших утруждать себя мыслительной работой, заржали.

Филипп посмотрел на них и сказал:

— Идите на двор!

Сподвижники короля лениво поднялись и вышли один за другим, неуклюже нагибаясь в низенькой двери.

— Теперь поговорим о государственных делах,— вздохнул король.

Филипп ко многому относился со смехом и шуткой, с презрением к дворцовому окружению; он знал, что каждый из придворных был способен предать его при первом удобном случае. Король смеялся над человеческими слабостями и даже несчастьями, уверяя, что всех рано или поздно постигнет

та же участь, от шелудивого пса до могущественного короля. Но когда речь заходила о делах королевства, он переставал шутить. Всем было известно, что, с тех пор как Вильгельм завоевал Англию, французскому королю стало не до шуток. Филипп склонился к графу Раулю, и они начали обсуждать положение во Фландрии.

#### IV

Весь день шел дождь... Но Жак де Монтегю провел время неплохо, валяясь на соломенной постели в помещении для оруженосцев, где большой очаг приятно согревал все члены и очищал затхлый и кислый воздух под бревенчатым потолком. В ногах у рыцаря сидел румяный Шарль, и они с удовольствием обсуждали будущие путешествия.

— Отсюда мы направимся в Шампань и Лотарингию,— мечтал вслух бакалавр.

— Не худо бы заглянуть по пути в Бургундию,— предложил оруженосец.— Мне рассказывали в Париже, что герцог Бургундский — щедрый сеньор и хорошо относится к тем, кто странствует по дорогам с добрыми намерениями.

— Ну что ж, ничто не мешает нам побывать и у него. Бургундские лозы славятся на всю Францию. А оттуда прямой путь в Майнц...

На этом географические познания бакалавра кончались. Дальше уже начиналась сплошной туман, среди которого лежали неведомые земли и богатая золотом Руссия. Из случайно подслушанных разговоров паломников и монахов, читающих латинские книги, рыцарь знал, что на русских тучных пастбищах пасутся огромные табуны великолепных скакунов. Еще ему было доподлинно известно, что там живут красивые язычницы и кузнецы делают замечательные кольчуги. Одну такую, из крепких железных колечек, он видел на одном знатном бароне, который заплатил за нее бешеные деньги. А на плечах у него красовался русский плащ, подбитый соболями. По-видимому, это великая страна. Оттуда доносились слухи о победах князей над каким-то ханом, страшным господином Беглого поля, и над племенами Гога и Магога, или орканами. Где-то там жили также страшные лютичи — великаны ростом и свирепые, как дикие вепри,— оказавшие чудовищное сопротивление императору Карлу. Вообще, по словам многих путешественников, лучше не предпринимать войн против Руссии, ибо это сулит верную гибель...

За Руссией и Орканией находился таинственный Константинополь, а еще дальше стоял на высокой горе Иерусалим. Земля бакалавру представлялась в виде огромной лепешки. Но что находилось в ее отдаленных краях, он совершенно не знал.

Побеседовав с Шарлем и выслушав его восторженные замечания о престях большеглазой птичницы, Монтегю спустился на двор, чтобы проведать своего исхудавшего коня. Его поставили вместе с графскими жеребцами, в меру упитанными и с любопытством смотревшими на незнакомого товарища черными выпуклыми глазами, в которых вдруг загорелся в темноте на мгновение дневной свет. Но костлявый одёр не обращал на них никакого внимания и с большим усердием пережевывал ячмень, наполняя хрустом конюшню.

Холоп, обнаглевший на службе у богатого сеньора, дерзко заметил рыцарю:

— Плох твой конь. На таком не доедешь и до Санлиса.

Монтегю, привыкший в своей бедности ко всяким унижениям, но не утративший рыцарской спеси, закричал:

— На этом коне я сражался с королем Гарольдом. А ты, дуралей, знай свою скребницу!

Хотя у рыцаря не было правой руки, но он так грозно размахивал деревяшкой с железным крюком под самым носом у конюха, что тот предпочел замолчать и больше не задевал бакалавра.

На конюшне стоял приятный для всякого конного воина кисловатый запах навоза и аромат сухой соломы. Жак с удовольствием вдыхал этот воздух.

Его жеребца звали Буря, хотя он и не отличался большой борзостью. Жак почесал ему холку, и соскучившийся конь положил голову на плечо хозяина, шумно вздохнув. Но потом снова принялся за ячмень.

В соседнем стойле один скакун лягнул другого, и конюх орал:

— Это не лошади, а дьяволы!

От безделья Монтегю поднялся затем на замковую башню и смотрел с нее на соседние поля и рощи, закрытые мгlistой завесой дождя. Всюду была вода и сырость. С полей прилетал холодный ветер. От такой слякоти хотелось поскорее спрятаться в теплое помещение, где истопники поддерживали неугасающий зимний огонь, и бакалавр вернулся в башню. Около очага оруженосцы с клятвами и ругательствами бросали кости, проигрывая друг другу последний денарий, или кожаный пояс, или нож, рукоятка которого сделана из ноги серны с черным копытцем, или почти новый шерстяной плащ, отнятый у какого-нибудь зажиточного горожанина в уличной драке. Монтегю стал с интересом наблюдать, как ложатся костяшки.

К вечеру вернулся граф Рауль, промокший под дождем, но, видимо, сохранивший самое приятное воспоминание о встрече с королем. Он заявил, что надо устроить пиршество. Филипп подарил ему два десятка фазанов, пойманных силками, а мясо дичи, полежавшей два дня в погребе, становится особенно нежным. Но уже оказалось поздно собирать гостей из соседних замков, поэтому за стол уселись только обитатели Мондидье, и среди них барон Альфред де Монсор, рыжеусый великан, которого граф всегда оставлял в замке своим заместителем, если уезжал на продолжительное время. Жена барона убежала с красивым, но низкорослым и похожим на задиристого воробья оруженосцем, и с тех пор Монсор пил много вина, не столько от тоски по своей неверной супруге, сколько из-за насмешек по поводу того, что на поприще любви, оказывается, не в росте дело. Но это был мужественный воин и верный до гроба вассал.

Впрочем, в замке было немало и других рыцарей, и двое из них, самые молодые, по имени Эвд и Бруно, такие же бакалавры, как и Монтегю, бросали на Анну влюбленные взоры. Только что входили в обычай гербы, на которых каждый знатный человек изображал какой-нибудь условный предмет, напоминавший о храбрости или благородстве, о силе и могуществе,— например, орла или льва, короны или мечи. Когда Генрих спросил супругу, что она желает избрать в качестве эмблемы, Анна, вспоминая разговор с кесарем, сказала, что на своем гербе просит изобразить Золотые врата. Придворный живописец, расписывавший дворцовую капеллу, намалевал сусальным золотом на красном поле ворота и три серебряных ступени. С разрешения королевы, Эвд и Бруно стали носить такой же герб и, когда Анна переселилась в Санлис, продолжали служить ей. Не оставили они ее и в Мондидье.

Старшие рыцари пришли на ужин со своими полногрудыми женами, к которым немедленно присоседился кюре. Аббат Леон, составлявший для

графа латинские хартии, не пожелал сидеть за одним столом с прелюбодеем, каковым считал Антуана, и на пиршество не явился. Аббат метал молнии на голову грешника и грозил, что уведомит обо всем епископа, и кюре помалкивал, хотя и уверял, что переносит эти нападки исключительно из христианского смирения и нежелания прослыть гордецом, ибо гордыня — один из смертных грехов. При этом он многозначительно подмигивал и намекал на такие пороки некоторых аббатов, о каких христианин и подумать не может без омерзения, хотя эти монахи и ведут пред людьми строгий образ жизни. Но какие именно были аббатские грехи, он не сообщал, по своему простодушию будучи не в силах придумать что-нибудь в области разврата, кроме проказ с деревенскими девочками.

Когда все насытились, граф Рауль обратился к бакалавру Жаку де Монтегю, по прозвищу Железная Рука:

— А теперь, рыцарь, расскажи нам, не торопясь и ничего не упуская, о том, что произошло на полях Гастингса!

— Вернее, на его холмах. Но с чего же начать? — вздохнул рыцарь, медленно обводя взором сидящих за столом.

Зрелище оказалось не из вдохновляющих. Кюре дремал, по обыкновению упившись; один из рыцарей в задумчивости ковырял пальцем в носу, а другой зевал и шелкал зубами, как собака, что ловит мух в жаркую пору. Впрочем, остальные как будто бы выражали желание послушать рыцаря, участвовавшего в такой знаменитой битве. Но какое дело было Жаку де Монтегю до этих людей, раскрасневшихся от вина и мяса, если перед ним сияло красотой милое лицо Анны. Бакалавр был молод, в его душе не утихали нежные чувства, а железный крюк на деревяшке пугал девушек, как дьявольские когти. Сегодня вино еще больше обострило душевную печаль, и рыцарь смотрел на прекрасную графиню с такой скорбью, что она улыбнулась ему, и в благодарность за эту улыбку Жак де Монтегю решил рассказывать о битве под Гастингсом для одной повелительницы здешних мест. Но он знал обычаи суетного света и начал так:

— Позволь мне, сеньор, прежде всего описать наши приготовления к отплытию. Мы не сразу покинули Нормандию. Целый месяц дули противные ветры. Потом разразилась страшная буря и разбила в щепы множество кораблей. Долго после этого море выбрасывало на берег трупы погибших во время кораблекрушения. Малодушные роптали и готовы были покинуть наши ряды. Сам Вильгельм впал в уныние и каждый день с тоской смотрел на вертушку над церковью святого Валерия, в надежде, что порыв воздуха повернет петушка в другую сторону. Наконец двадцать седьмого сентября солнце, до того закрытое облаками, вдруг появилось во всем своем блеске, и на следующее утро, в канун Михайлова дня, ветер переменился. Но герцог рассчитывал совершить неожиданное нападение, поэтому отдал приказ к отплытию только ночью. Когда наступила темнота, тысяча четырехста кораблей подняли якоря и вышли при трубных звуках в море.

Монтегю уже не в первый раз повествовал об этих событиях, и речь его текла очень плавно. Все внимали его хриловатому голосу. Очнулся даже Антуан и тоже стал слушать. Анна милостиво улыбалась рыцарю, и ее благосклонность вдохновляла его больше, чем вино.

— Вперед двигался корабль Вильгельма. Он назывался «Мора». На мачте горел огромный фонарь, и за этим светильником, как за путеводной звездой, медленно плыли остальные суда. Герцог был уверен в победе, и я видел, как он потирал в нетерпении руки, предвкушая тот час, когда наденет английскую корону.

Граф Рауль понимал кое-что в военном деле. Обращаясь не к рассказчи-

ку, а к барону, которого считал единственным достойным собеседником для подобного разговора, он начал объяснять:

— Годвинсон тоже неплохо составил план войны, решив поражать противника порознь. Сначала скандинавов, затем — норманнцев. Первую часть задачи он выполнил великолепно, но в борьбе с последними его постигла неудача. У английского короля не было таких опытных воинов, как у Вильгельма, и его войско составляли главным образом сельские жители. Когда Гарольд Годвинсон победил норвежцев у Стаффордского моста, эти поселяне поспешили разойтись по домам, где их ждали хозяйственные работы. В дни высадки Вильгельма английскому королю уже трудно было собрать вновь саксонское войско...

Рассказчик, обиженный, что его перебили на самом интересном месте, сказал, угрюмо оглядывая собрание:

— Не знаю, что решали короли. Могу рассказать только о том, что видел своими собственными глазами.

Не обращая внимания на рыцаря, граф прибавил, по-прежнему повернувшись к барону:

— У Гарольда не было конницы, а ядро нормандских сил составляли хорошо вооруженные рыцари.

Барон понимающе кивал головой.

Жак де Монтегю помолчал немного, чтобы соблюсти собственное достоинство, потом задрал нос и спросил, ни к кому не обращаясь, а глядя прямо перед собой:

— Могу я теперь продолжать?

— Продолжай, — сказал граф, даже не заметив в голосе молодого бакалавра тяжкой обиды.

Снова послышался неторопливый голос рассказчика:

— Чтобы преградить нам дорогу, английский король выступил к Гастингсу. Между прочим, наши арбалетчики были с бритыми головами, и он думал, что это монахи. Так говорили потом пленные англы. Королевские ратники заняли удобную позицию на холмах, где росло много яблонь, отягощенных плодами, и я видел, как там развевалось красное знамя с изображением змеи. А надо заметить, что Гарольд происходил из простых людей. Об этом тоже рассказывали пленники. Будто бы еще в далекие времена, когда на Англию напали датчане, один из их баронов заблудился в лесу, преследуя врагов, и встретил молодого поселянина, пасшего на лугу отару овец. Он спросил юношу, как добраться до датских кораблей. Но пастух ответил, что не станет помогать врагу. Тогда барон снял с пальца золотой перстень и протянул парню. Соблазненный подарком, поселянин привел рыцаря в свою хижину, спрятал до вечера на сеновале, а с наступлением ночной темноты проводил к тому заливу, где стояли неприятельские корабли. Пастух звали Годвин. Позднее он сделался благодаря покровительству того барона графом западных саксов. Гарольд был его сыном, а дочь вышла замуж за короля Эдуарда, о котором говорили, что он жил с королевой как брат с сестрой и не имел от нее детей. Но время течет как вода. Умер старый Годвин. Графом западных саксов стал его сын Гарольд. А когда король Эдуард почувствовал приближение смерти, он передал ему корону, как достойнейшему.

— Ты очень хорошо рассказываешь, Жак, — сказала Анна.

Лицо рыцаря, не ожидавшего похвалы из уст прекрасной графини, расплылось в счастливой улыбке; он осушил кубок, не спуская с нее взора, а потом с загоревшимися глазами воскликнул:

— Ах, послушай, госпожа, о том, что произошло в Руане. Никогда мне не приходилось слышать более занимательной истории!

Слушатели удвоили внимание.

— Это случилось задолго до смерти Эдуарда. Однажды Гарольд, сын Годвина, отправился в Нормандию, чтобы выкупить у Вильгельма заложников. Но буря бросила его корабль на скалы во владениях графа Понтье. Вместо того чтобы помочь потерпевшим кораблекрушение, он пленил Годвинсона, увел к себе в замок и отпустил только за большие деньги. Так Гарольд очутился в Руане. Там Вильгельм сказал ему: «Знай, что король Эдуард намерен в случае смертельной болезни назначить меня своим преемником. Помоги нормандцам в этом деле, построй в Дувре крепость с колодцем для питьевой воды, и я сделаю для тебя все, чего ты ни пожелаешь, а в доказательство твоей дружбы женись на моей дочери Аделиз!» Испытывая благодарность за гостеприимство и не имея в душе решимости отказать герцогу в его просьбе, Гарольд согласился, хотя тут же решил, что не будет выполнять обещание. Но Вильгельм заставил гостя принести клятву над большим сосудом, тщательно прикрытым парчовой тканью. Потом вдруг отдернул парчу, и под нею оказались все святыни Нормандии. Говорят, Гарольд затрепетал в это мгновение и даже изменился в лице. Вы сами понимаете! Одно дело присягать на зубе какого-нибудь святого или на его ноге, и совсем другое, когда клянешься на собрании многих мощей!

— Да, это страшная клятва,— подтвердил барон де Монсор.

— Но позвольте мне продолжать. О чем я говорил? — обратился рыцарь к своему верному оруженосцу.

— О том, как враги укреплялись на холмах, где ты заметил королевское знамя со змеей,— подсказал Шарль.

— Именно так. Красное знамя со змеей. Но вот наступила ночь. Мы с трепетом исповедовались и причащались, потому что предстояла кровавая битва, в которой многие должны были погибнуть. В нашем лагере наступила тишина. А на вражеской стороне до утра слышались песни. Англы пили пиво у костров и веселились.

Граф Рауль мановением руки пригласил рыцаря прервать рассказ и крикнул:

— Слуги, принесите еще вина!

Но Жак де Монтегю, вытирая пот на лбу, продолжал:

— Наутро началась битва. Даже епископ байеский, брат Вильгельма, был в панцире под облачением. Это он взял жезл и построил конницу в боевом порядке...

— И, невзирая на данную клятву, Гарольд решил выступить против герцога с оружием в руках? — спросила Анна, качая головой.

— Невзирая на клятву, моя прекрасная госпожа.

— Остались ли после короля дети? — полюбопытствовала она.

— Остались... Но они не от королевы, а рождены любовницей, по имени Эдит. Ее зовут также Лебединая Шея.

— Почему?

— За красоту. Шея у нее тонкая и гибкая, как у лебедя.

— Она не погибла?

— Это мне неизвестно, моя прекрасная госпожа. Однако думаю, что Эдит еще живет и оплакивает свою судьбу где-нибудь в укромном уголке земли. Впрочем, речь о ней будет впереди.

Лебединая Шея! Об этой красавице Анна слышала от Бертрана. Жонглер уже не было на свете. Смерть беспощадно уносила родных, друзей, встреченных на пути певцов, воинов... Анна вздохнула при мысли, что и для нее когда-нибудь пробьет последний час. Все останется на земле, как теперь,

а брeнное тело станет пищей гробовых червей. Вспомнились две строки из школьной книжки, по которой она изучала грамоту у пресвитера Иллариона:

Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Но Анна улыбнулась рассказчику, и он стал с волнением повествовать о страшной битве под Гастингсом.

— Конное войско разделили на три отряда. Впереди и по бокам шли лучники. Вильгельм ехал на белом испанском жеребце. На шее у герцога были подвешены в серебряном ковчеге те самые святыни, над которыми некогда произнес клятву Гарольд Годвинсон.

Анна жала руки, представляя себе ужас короля англов, когда он узнал об этом.

— Папскую хоругвь, присланную из Рима, нес рыцарь по имени Тустен ле Блан. Я хорошо знал его, так как мы вместе ночевали в одном шатре. Третьим был с нами обычно певец Талльефер. Вместе мы пошли и в битву. Нормандцы двинулись сплошным строем. Монахи же отделились и поднялись на соседний холм, чтобы молиться о даровании победы. Но Талльефер выехал вперед и запел песню о Роланде. При этом он ловко подбрасывал копье и ловил его на скаку.

— Ты непременно споешь нам это! — прервала рассказ Анна.

Рыцарь смутился.

— Госпожа! Я никогда не держал в руках арфы, и бог не наградил меня приятным голосом, но я постараюсь напеть слова, какие остались у меня в памяти. Это прекрасная песня!

Рыцарь вдруг поднялся со скамьи, откашлялся и пропел:

Чудная битва! Страшная битва!  
Дьявол уносит души врагов!  
Трубит Роланд в свой рог Олифант,  
Высокие горы тот звук повторяют,  
И слышно его за тридцать три лье...  
И Карл говорит: «Не рог ли Роланда  
Вдали за горами трубит?»

— Голос у него действительно как у козла, — шепнул соседке, внимательно слушавшей рыцаря, ревнивый кюре Антуан.

— Замолчи! — ответила та, толкнув его локтем.

Жак опустил на скамью, положил голову на стол и так оставался несколько мгновений неподвижно, очевидно весь во власти боевых воспоминаний и жалости к самому себе, ибо судьба так жестоко поступила с ним. Лучше гибель в бою!

Анна, сидевшая в кресле против певца, поднялась, изгибая стан, протянула руку через стол и погладила косматую голову Жака де Монтегю, бакалавра. Он вскочил и воскликнул:

— Госпожа! Скажи одно слово, и я умру за тебя!

Но-граф Рауль горел нетерпением узнать, что происходило в дальнейшем на поле сражения.

— На чью же сторону стало склоняться военное счастье?

Монтегю не торопясь, так как чувствовал себя в центре всеобщего внимания, стал рассказывать о дальнейшем:



— Сблизившись с врагом на расстояние полета стрелы, лучники выпустили свои оперенные жала, а арбалетчики стали метать железные шипы. Мы тоже подошли вплотную к холмам с намерением ворваться в неприятельский лагерь. Но англы храбро сопротивлялись и рубили наши длинные копья топорами. Нам пришлось отступить в беспорядке. Что же придумал Вильгельм? Он велел лучникам стрелять отвесно, чтобы стрелы не втыкались без всякой пользы в частокол. Теперь они начали удачно поражать королевских воинов. Одна из них пронзила глаз самому Гарольду! А он вырвал ее из глазицы и остался в строю.

— Это был рыцарь! — восхитился барон де Монсор.

— Мало таких на земле! — поддержал его граф.

— Да! Мы снова пошли в бой, но еще раз вынуждены были отступить с большим уроном. Дело в том, что там находились овраги, скрытые кустами, и многие рыцари падали в них вместе с конями, ломая себе руки и ноги. Даже распространился слух о смерти Вильгельма. Этого оказалось достаточно, чтобы нормандцы обратились в бегство. К счастью, герцог тотчас появился среди беглецов и кричал: «Смотрите, я жив!» И поражал робких копьем. Тогда мы снова вернулись в битву.

У рассказчика пересохло в горле. Помогая себе деревяшкой, Жак не без труда поднял глиняный кувшин с вином и отпил из него добрую половину, а потом вытер рот рукавом коричневой рубахи.

— Видя, что нет никакой возможности взять неприятельское укрепление в лоб, Вильгельм решил прибегнуть к хитрости. Тысяча рыцарей ринулись на частокол, а потом обратились в притворное бегство. Повесив тяжкие секиры на шею, англы преследовали наших, но из засады выскочили другие всадники. Началось избиение врагов. Им трудно было действовать на бегу топорами, которые необходимо поднимать для удара обеими руками. Таким образом и удалось сделать пролом в частоколе. В английский лагерь ворвались конные и пешие нормандцы. Я тоже был в их числе и видел, как под ударами мечей погибли оба брата короля, Гирд и Леофин. В это же мгновение упало английское знамя и накрыло их широким красным полотнищем. Вместо него на холме водрузили папскую хоругвь. Нужно сказать правду, эти мужланы сражались очень храбро, но нас было больше и в наших рядах насчитывалось много опытных воинов в крепких кольчугах. Больше всего повредила англам рана короля. Гарольд истекал кровью и в беспамятстве упал с коня на землю...

Теперь уже никто не прерывал рассказчика. Все смотрели на него с раскрытыми ртами, настолько слушателей захватила картина битвы. Жак де Монтегю снова вскочил на ноги и стал петь, захмелев от вина:

Чудная битва! Страшная битва!  
Дьявол уносит души врагов,  
Трубит Роланд в свой рог Олифант...

Еще раз бакалавр схватил кувшин и стал выливать его содержимое себе в глотку.

— Когда король Гарольд упал, враги дрогнули, и мы стали избивать их без всякой пощады. Я находился близко от того места, где лежал английский король. Он еще дышал. Но какой-то незнакомый нормандский рыцарь пронзил его копьем, а другой ударом меча отсек ему голову. Третий в дикой ярости стал рубить тело на части и потом разбрасывать ногами кровавые куски. Четвертому уже ничего не оставалось, кроме одной ноги, и он разрубил ее пополам.

Видя недоумение слушателей, потому что даже эти люди с душой волка не понимали такой кровожадной расправы, Монтегю пояснил:

— Нормандцы были в неистовстве, что Гарольд нарушил страшную клятву, которую произнес в Руане над святынями.

— Но ведь он же не знал, что под парчой находится святыня! — пробовала защищать несчастного короля Анна.

— Увы, моя госпожа,— горестно ответил ей Монтегю,— клятва была произнесена, и Гарольд уже не имел права от нее отречься. Как бы то ни было, мы победили. Наступала ночь. На холме, где еще недавно развевалось королевское знамя, Вильгельм велел водрузить свое... С тремя геральдическими львами Нормандии... Победители снимали с убитых кольчуги и одежду, собирали брошенное оружие. Все это по праву принадлежало победителю. Затем тела павших, и нормандцев и врагов, оттащили в сторону, чтобы они не мешали живым мерзким видом, и на поле битвы устроили пиршество. Мне не пришлось принять в нем участие. Меня послали преследовать отступающих. В ночном лесу у нас произошла стычка с английскими рыцарями. В темноте мы узнавали друг друга только потому, что говорили на разных языках. Я случайно уронил боевую перчатку и не мог ее найти, и какой-то рыцарь отрубил мне правую кисть. С той минуты я стал жалким калекой...

В подтверждение своих горьких слов он показал страшную деревяшку с железным крюком. Нужно отдать справедливость людям: некоторые отводили от нее глаза.

— Почти все англо погибли. Остальных рыцарей настигали на дорогах и убивали. Но наутро, с разрешения Вильгельма, женщины из соседних селений пришли искать среди убитых родственников. Они переворачивали окровавленные трупы, стараясь распознать в лицах мертвецов знакомые черты мужа или сына. Тело короля разыскивали монахи из аббатства Вальтама. Его Гарольд построил, надеясь этим замолить свое клятвопреступление. Будто бы помогла найти Гарольда та самая Эдит, знавшая у любимого каждую родинку. Лебединая Шея! Изуродованный до неузнаваемости, разрубленный на части, нагой, в запекшейся крови, король лежал недалеко от того места, где еще вчера шумели на ветру английские знамена. Это было даже не труп, а жалкие куски мяса...

Так Вильгельм отомстил за смерть Гарольда, за горе Елизаветы. Но по щеке Анны скатилась предательская слеза: она подумала о несчастной Эдит, и когда представила себе краёту этой женщины, ей почему-то пришло на ум влажное поле, усыпанное голубыми незабудками. Однако Рауль, считавший победы и поражения в порядке вещей, ибо сильный побеждает слабого и на этом выжидает земное устройство, спросил:

— Богатая ли добыча досталась герцогу Вильгельму?

— Огромная. У меня тоже оказались три меча, две кольчуги, серебряная чаша, найденная в мешке у одного из убитых мною рыцарей, два золотых перстня. Все это я передал на хранение оруженосцу Роберту. Но его закололи в сражении, и я не знаю, что случилось с моим достоянием. Сам же я преследовал врагов.

— А Шарль? — спросил граф, сурово посмотрев на румяного и беззаботного оруженосца.— Почему он не сохранил твое добро?

— Шарль еще не был тогда моим оруженосцем. Следует, однако, сказать, что особенно повезло тем, кого наградили землями и сервами, принадлежавшими раньше саксонской знати.

— Что же случилось с семьей короля? — спросила Анна.

— Расскажу и об этом, моя госпожа. Королевская семья находилась

в Лондоне и в крайнем волнении ждала исхода сражения. Гарольд пал на поле битвы в четверг... Да, в четверг... А в ночь с субботы на воскресенье в Лондоне уже стало известно о поражении и о гибели короля и его братьев. Несчастливая мать Гарольда умоляла победителя отдать ей тело павшего с оружием в руках сына, чтобы достойно похоронить его в Вальтаме. Она предлагала столько золота, сколько мог весить гроб с останками короля. Но Вильгельм отказал. Герцог называл Гарольда ненасытным честолюбцем и клятвопреступником, по вине которого погибло такое множество людей. По приказанию Вильгельма войны засыпали останки Гарольда камнями, где-то там, на берегу моря, без всяких христианских обрядов.

— Так закончилась битва под Гастингсом,— сказал граф Рауль в раздумье.

— Да, так закончилась битва под Гастингсом,— повторил бакалавр.

— Тебе не известно, что теперь происходит в Англии? — опять спросил граф.

— Я некоторое время лежал в госпиталии у монахов святого Иоанна и кое-что слышал от них, пока мне лечили руку. Якобы теперь вся страна в руках Вильгельма. Вскоре после поражения под Гастингсом ему сдался Винчестер. Затем покорился Лондон. Последним подчинился ему город, который называется Экзония. В нем нашла прибежище семья короля. Это морской порт. Но он не был обложен с моря, и поэтому мать короля, вместе с дочерью Гунгильдой и внучкой Гитой, имела возможность уплыть на корабле. Одни говорят, будто эти женщины до сих пор скитаются где-то среди пустынных островов, другие — что они благополучно прибыли в Данию и нашли там убежище.

Анна вспомнила, как много изгнанников находило приют при дворе ее отца. Малолетней Гите следовало бы отправиться на Русь и сделаться там женой какого-нибудь молодого русского князя.

— Но не забудь,— сказала Анна,— что ты обещал нам спеть стихи о Роланде.

Монтегю пел плохо, в его голосе не было той нежности, которая отличала голоса прославленных певцов, но Анне хотелось послушать знаменитую песню.

Монтегю смущался.

— Я не привычен к пению.

— Тогда расскажи об этой песне.

— Разве можно рассказать песню, госпожа? Впрочем... Это происходило давно, когда Карл Великий воевал с сарацинами. Эмир Сарагоссы вынужден был просить у него мира. Карл послал к нему Ганелона, заклятого врага Роланда, и Ганелон из мести предал великого франкского короля. Когда франки покидали Испанию, он предложил Карлу оставить позади Роланда, Оливье и Реймского епископа Турпина, надеясь, что сарацины уничтожат их в Ронсевальской долине.

Но Монтегю не выдержал, встал и пропел:

Горы высоки, во мраке — долины,  
ужасны ущелья и черные скалы!  
Ныне проходят там франки в унынии,  
на целых пятнадцать лье слышен их топот.  
Но, обратив свои взоры на север,  
они увидали Гасконь! Домей короля!  
И вдруг их по дому тоска охватила —  
по брошенным замкам, отцовским угольям,  
по благородным супругам и детям,

и никто не сдержался, чтоб не заплакать.  
Но более прочих сам Карл сокрушался,  
покинув в испанских ущельях Роланда...

Монтегю оборвал песню и снова стал рассказывать:

— Когда сарадины окружили Роланда, его верный друг Оливье предложил трубить в рог, чтобы Карл, уже ушедший в Гасконь, вернулся. Роланд не послушал друга, опасаясь, что потомки обвинят его в трусости. Началась беспощадная битва. Но напрасно Роланд поражал врагов своим мечом, который назывался Дюрандаль. Напрасно Оливье рубил врагов мечом, имя которого Готеклер,— франки погибали один за другим. А когда Роланд затрубил в рог Олифант, было уже поздно, потому что в битву вступили пятьдесят тысяч эфиопов, все люди чернее чернил, с длинными носами. Роланд знал, что погибнет. Он не хотел только, чтобы была посрамлена прекрасная Франция. И все франки полегли до одного. Роланд лежал на поле битвы без чувств. Один сарацин хотел украсть у него знаменитый меч, но Роланд очнулся, ударил вора по шлему, и у злодея лопнули глаза.

— Вот это удар! — закричал какой-то рыцарь.

— Да, меч у Роланда был замечательный. В его рукояти хранились зуб святого Петра, волос святого Дионисия и ноготь святого Фомы.

Сидевшие за столом рыцари покачивали головами от зависти. Рауль сказал:

— Если бы я имел такой меч! Где он теперь, Жак?

— Этого я не знаю. Но в песне говорится, что, когда Карл вернулся в Аахен и невеста Роланда узнала о смерти жениха, она упала бездыханной.

— Кто же сочинил эту прекрасную песню? — спросила Анна.

Монтегю посмотрел на своего оруженосца. Тот сказал:

— Будто бы сочинил ее какой-то монах, но доподлинно неизвестно.

Когда кончилась зима, над замком Мондидье прояснилось небо и снова на зеленых лужайках появились жонкилы, граф Рауль и его супруга выехали на соколиную охоту. Они взяли с собой Симона и Готье, а также Гуго, сына Анны, который жил вместе с матерью в замке и часто сорился с невзлюбившими его отпрысками графа. Но все трое уже входили в возраст, когда молодых людей надлежало обучать искусству обращаться с ловчими птицами.

Отправился в поле и Жак де Монтегю. Рыцарь провел в Мондидье всю зиму, развлекая по вечерам графскую чету рассказами о своих приключениях. Он крайне жалел, что не способен стать менестрелем и усладить слух благородной дамы звучным пением. Анна просила иногда бакалавра, не может ли он пропеть хотя бы несколько строк из поразившей ее песни о Роланде, но Жак, и без того не отличавшийся приятным голосом, совсем простудил горло, выпив под праздник рождества холодного пива, и с тех пор из его гортани исходили только хриплые звуки. Монтегю проклинал себя, что не догадался заучить наизусть со слов певца Талльефера, увы, погибшего одним из первых в жестокой битве под Гастингсом, всю песню, с начала до конца. Тогда бы он мог по крайней мере рассказывать ее графине.

После пропахнувшего дымом за зиму скучного замка Анне было приятно вдыхать прохладный, свежий воздух и ехать верхом по весенним лужам, в которых уже отражалось голубое небо. На низких лугах кое-где появились первые незабудки, и при виде этих скромных цветов она еще раз вспомнила про Эдит Лебединую Шею.

Позади ехали два сокольника. На их кожаных перчатках сидели белые птицы. Головы их были прикрыты колпачками, чтобы они не бросились опрометчиво и преждевременно на недостойную добычу, вроде какой-нибудь несчастной вороны или сороки. Охотники ехали, как это полагалось: прижимая локти к телу и сгибая руку под прямым углом. Все считали такую манеру держать птиц самой красивой.

Между тем, когда всадники очутились на широкой равнине, Анна услышала, как один из сокольников, поседевший на этом деле, стал объяснять мальчикам, как надо обращаться с соколами. Каждый слушал его соответственно своему характеру: Гуго и Готье — как будущие страстные соколятники, Симон — с явной скукой на лице. Это был богомольный отрок, мечтавший стать со временем монахом. Что ему и удалось впоследствии. Его даже причислили к сонму святых.

Старик подул птице в перья, потом пригладил их морщинистой рукой и сказал:

— Примечайте, что я буду говорить... Из птиц самая красивая — сокол. Перо у него обычно белое. Как у этого. Но бывают и серые. Белые, конечно, красивее. А если их выращивают, вынув из гнезда птенцами, то таких называют глупышами. Но им, воспитанным без матери, трудно линять...

— Чем ты кормишь птицу? — спросил Гуго, глаза которого уже разгорелись от предвкушения будущей забавы.

— Лучше всего ее кормить мясом диких животных, когда оно еще теплое. Или подогреть его. Можно давать и сыр. Только не забудьте, что надо всегда держать ловчих птиц грудью против ветра.

Жак де Монтегю тоже слушал наставления старого охотника. Ему не повезло в жизни. Его отец был бедным рыцарем. Их сюзерен, граф де Пуату, отнял у семьи замок и земли. Вернее, отец Жака должен был перед смертью завещать графу поместье в награду за покровительство сыну. Монтегю сделался одним из графских оруженосцев. Однако вскоре покинул сеньора и отправился вместе с матерью искать счастья у Вильгельма, в город Руан. Там вдова поселилась в монастыре, а Жака вскоре возвели в рыцарское достоинство, и он не мог без волнения вспомнить ночь, проведенную перед посвящением в холодной церкви, едва озаренной светом красной лампы. Бакалавр часто рассказывал об этом Анне.

— Какую же присягу ты произнес? — спрашивала она.

— Меня опоясали мечом, и я должен был поклясться, что не буду ни замышлять против жизни своего сюзерена, ни выдавать его тайн, ни вредить его чести, а, наоборот, во всем оказывать помощь и давать совет... Потом паж привязал мне шпоры.

По молодости лет Жак де Монтегю не получил никакого земельного феода, хотя ему были обещаны в будущем золотые горы. Очевидно, Вильгельм уже тогда помышлял о завоевании Англии.

— Когда я отправился на первый пир Вильгельма, мать, вытирая слезы, учила меня, как я должен вести себя за столом. Помню, она говорила: «Не съедай хлеб еще до того, как принесут мясо! Не ковыряй в ухе, не чеши спину, не очищай нос при помощи пальцев, но всегда имей при себе платок».

Анна смеялась.

— Не смейся, госпожа. Моя мать была достойной женщиной и благородного рода.

— Я смеюсь не над твоей достопочтенной матерью.

— А над чем?

— Над тем, что тебя учили не чесать спину.

— Этому каждый должен учиться. Но помню, что в тот день пиршество

было великолепное. Мы сидели на скамьях за устроенными на козлах столами, и перед каждым гостем лежал ломоть хлеба, ложка и нож. Так бывает лишь у епископов и во дворцах.

— Даже в Мондидье дают каждому ложку и нож.

— Но разве ты не королева? — сказал Жак де Монтегю, и в голосе его послышалась нежность.

Чтобы не переводить разговора на скользкую почву, Анна спросила:

— Что же подавали на том пиру?

— Оленину, пироги с различной начинкой, жареных каплунов. Потом принесли форелей, лещей и щук. Подавали и другие блюда. Чтобы отбить вкус жира, мясо было приправлено имбирем и мускатными орехами. Я впервые в жизни сидел за таким столом...

В поле веял весенний ветер. Анна с удовольствием вдыхала сырой воздух и, запрокинув голову, следила, как высоко в небе летал сокол, выпущенный на пронесившийся над рощей косяк диких уток, прилетевших из-за моря. Птицы отошдали в долгом полете, но годились для соколиной науки. Еще мгновение, и сокол камнем упал на тяжело махавшую крыльями утку, и птица, перевертываясь в воздухе, стала стремительно падать на землю. Охотники поскакали туда, где, по их предположениям, должна находиться добыча.

Граф Рауль кричал на скаку Анне:

— Как он налетел! Не разучился за зиму бить птиц!

Все радовались удаче, хвалили удар железного соколиного клюва. Только бледный и молчаливый Симон не был захвачен этой древней, как жизнь, жадной крови, победы, пищи. Анна видела, как серо-голубой селезень лежал, распластав крылья, и судорожно поджимал желтые лапки. Его голова и перья на спине были окровавлены, кровь текла струйкой из широко раскрытого клюва. Рядом сидел на земле сокол и злыми глазами смотрел на бросившихся к добыче людей. А недалеко, на лужайке, блестящей весенними лужами, голубели незабудки.

Жак де Монтегю, по прозванию Железная Рука, одевался теперь как щеголь, получив от Анны многочисленные подарки — плащ из белой шерсти, верхнее длинное одеяние с медными пуговицами, кожаный пояс с серебряной бляхой, войлочный головной убор. Хотя от этой одежды бакалавр не стал более красивым. Иногда его звали наверх, разделить ужин с графом и его супругой, так как он занятно рассказывал о своей жизни и о Вильгельме. Обычно же он насыщался вместе с оруженосцами, и им подавали не вино, а домашнее пиво и черный ячменный хлеб. Таково было распоряжение графа Рауля.

На обратном пути в замок к Монтегю подъехал оруженосец Гуго и сказал погруженному в глубокую задумчивость бакалавру, что с ним хочет говорить графиня. Жак тотчас направил своего коня в ту сторону, где рядом с графом сидела на серой кобылице бывшая королева.

— Я здесь, госпожа, — прохрипел рыцарь, снимая шляпу.

— Послушай меня, Жак, — заговорила Анна, как будто бы рядом и не существовало мужа. — Я знаю, что у тебя благое намерение совершить путешествие к гробу Христа. Мне самой хотелось бы побывать там. Однако знай, что когда вернешься или если на твоем пути возникнут непреодолимые препятствия, то ты всегда найдешь в нашем замке кров и пищу. Не забудь об этом во время странствия...

Рядом с Анной ехал граф Рауль и насвистывал какую-то песенку, и рыцарь еще раз удивился той власти, которую красота дает женщине над королями и графами. Анна распоряжалась в Мондидье, как королева, не

В поле всалбоденни вѣгѣр. Анна  
с удовольствием дѣдыкала сырой.



Граф Рауль кричал на скаку: Анна,  
Как он полетел! Не разучилась..

потрудившись даже спросить у мужа, можно ли дать приют в доме Жаку де Монтегю.

Впрочем, разве не сияла в течение многих лет королевская корона на голове Анны? Бакалавр слышал много рассказов о графине, о ее щедрости, милосердии и любви к книжному чтению. Обычно о ней рассказывали Жаку оруженосцы, знавшие каждый шаг своей госпожи. Сидя за столом, они иногда ссорились, поднимали невероятный шум, и тогда из верхнего помещения спускался по лестнице граф Рауль и грозил, что отошлет невеж на конюшню, чтобы они жили там вместе с конюхами.

Однажды такая ссора произошла у молчаливого Эвда с горячим и скорым на худое слово Бруно, не очень почтительно отозвавшимся о прелестях графини. Жак всегда считал, что женщина создана для того, чтобы удовлетворять желания мужа, и ничего обидного в словах рыцаря не нашел. Но, к его удивлению, Эвд кинулся вдруг к мечу, висевшему на стене, с явным намерением убить товарища. Драчунов с трудом розняли. Глядя на их лица, искаженные от гнева и ненависти, как будто бы люди были оскорблены в самых своих дорогих чувствах, Монтегю впервые понял, что на земле существует не только мужская похоть, а и нечто иное, подобное тому чувству, какое он сам испытывал к графине Анне, но так смутно, что он не мог бы сказать, что это такое.

## V

Вскоре Жак де Монтегю, по прозвищу Железная Рука, сел на коня, оставил замок Мондидье и в сопровождении верного оруженосца отправился в Бургундию, а оттуда еще дальше, держа путь в далекую Палестину. Анна видела из окна, как рыцарь, которому теперь никто не хотел дать феода, считая его калеккой, медленно ехал по извилистой тропинке и вслед за ним, на своей рыжей лошади, следовал Шарль. Бакалавр иногда оглядывался на замок, прикрывая глаза рукою от солнца. Когда раздобревший на графских кормах конь поднялся на холм, за которым дорога направо вела в Шалон, а налево — в Аррас, Монтегю помедлил некоторое время на перевале и затем, точно не решаясь расстаться с местом, где прожил такую приятную зиму, стал медленно спускаться по склону и вскоре исчез за холмом.

Оруженосец не оглядывался, хотя навеки покинул хорошенькую Лизон. Его уже влекли новые приключения, а бедняжка с утра тихонько плакала в птичнике, куда каждую ночь к ней поднимался по скрипучей лесенке красивый провансалец.

Прошел мало чем примечательный год. Люди, приезжавшие из Нормандии, рассказывали, что Вильгельм окончательно покорил остров и короновался в Вестминстере.

Миновал еще один год, более памятный, потому что был отмечен в жизни замка Мондидье необыкновенно удачной охотой. В течение трех дней убили множество вепрей, оленей и косуль. Об этом лове шли разговоры целый месяц.

В следующем году случайно забредший в посад пилигрим из Рима рассказывал, что греческие мастера построили в некоем городе Венеции замечательный храм, сияющий золотом и мозаиками, и что нигде в Италии нет подобной красоты. Слушая благочестивый рассказ, Анна с грустью подумала о том, как много есть на земле городов, которых она никогда не увидит.

Спустя некоторое время дошли слухи о восстании славян против кесаря.



Король Филипп радовался, когда мятежники разрушили Гамбург, считая, что этим нанесен ущерб немецкому могуществу.

Восстания в Германии не прекращались. Доведенные притеснениями до отчаяния, саксы тоже разрушали один за другим замки, построенные на их земле Генрихом III, в том числе прославленный Гарцбург.

В тот год папой сделался Гильдебранд, сын простого плотника, принявший имя Григория VII. Он составил новый молитвенник для священников и стал вводить целибат, или безбрачие, для духовенства и отлучал женатых священнослужителей от церкви. Об этом тоже немало говорили в замке, если, конечно, не было за обедом или ужином чего-нибудь более интересного для разговора — предстоящего выезда на охоту или очередной драки оруженосца Гуго с кюре, которые в последнее время почему-то не ладили между собой. Что же касается охотничьих забав, то Анна уже не садилась на кобылицу: давали себя знать годы, и вместе с возрастом приходила потребность спокойствия. Известную роль сыграл в этом отношении аббат Леон. Он все более и более забирает власть в замке, изгоняет из капеллы Антуана, когда тот являлся туда в неподобающем виде, и намекал Анне, что уже настала пора подумать о спасении души...

Минул в вечность еще один год, засушливый и неурожайный, оставивший после себя бедность и голод в селениях. Только города богатели с каждым днем и жены горожан стали одеваться не хуже графинь, а денариев в графских кошельках становилось все меньше и меньше. Гости в замке Мондидье появлялись редко. К Раулю тихими стопами подкрадывалась старость, и он сделался по-стариковски брюзглив. Анна молча выслушивала его ворчание: не все ли равно было теперь, когда лучшее время в жизни прошло, растаяло как дым и мечты, обуревавшие ее, оказались пустыми призраками. Нет, не мечталия, а она сама обманула себя, ожидая чего-то необыкновенного, хотя вокруг тянулось самое обычное существование...

Граф Рауль все чаще жаловался на боли в сердце, и хотя врач шалонского епископа, крещеный еврей, по его словам учившийся в знаменитой Салернской академии, запрещал графу есть жареное мясо, сало и жирных гусей, а особенно не злоупотреблять вином, тем не менее он съедал за столом по нескольку кусков говядины и выпивал кувшин крепкого вина, отчего его лицо становилось багровым, теряя последние следы былой красоты.

Шел 1074 год... В одну из темных ночей граф Рауль де Валуа и де Крепи скончался, и Анна вторично осталась вдовой. Все продолжало на земле идти своим чередом, по-прежнему кишели дичью санлисские рощи, ржали нетерпеливо кони на графской конюшне, а могущественный сеньор лежал на смертном одре, на том самом ложе под балдахин, на котором ласкал Анну и многих других женщин.

В замке наступила тревожная тишина, запахло фимиамом. Люди говорили шепотом. У изголовья усопшего горели две высоких церковных свечи. Безмолвный рот мертвеца был плотно сжат. Уже никогда эти уста не прикажут ловчим преследовать оленя, а воинам — сжигать селения мятежных сервов. Но и мертвый граф вызывал страх у людей.

Анна стояла на коленях у смертного одра, и ей не верилось, что мужа уже нет больше среди живых, а потом ей начинало казаться, что вообще ничего не было, ни Рауля, ни их встречи и страсти и многих лет успокоенной жизни. Все прошло как сон...

По другую сторону ложа молился коленопреклоненный аббат Леон; сложив ладони рук, он шептал латинскую молитву. Позади него опустился на колени Антуан. Красноносый священник сделал это не без труда, — сказывалось на его раздобревшем теле невоздержание всякого рода. Тут же находи-

лись дети покойного графа, Готье и Симон, и сын Анны Гуго, по прозвищу Большой. В дверях опочивальни толпились рыцари, оруженосцы, конюхи, псары, воины, служанки. Они тихо переговаривались между собою и старались разглядеть лицо господина, который уже никогда теперь не будет наказывать и гневаться на провинившегося только за то, что недостаточно вычищен скребницей конь или сломалась рукоятка у плуга.

Аббат поднялся с колен и сказал Анне, как бы утешая ее, проникновенным, соответствующим обстановке голосом:

— Твой супруг принял христианскую кончину!

Этим он хотел сказать, что граф успел сделать все, что полагалось благочестивому христианину, чтобы обеспечить себе место в райских садах. Действительно, перед тем как отдать богу душу, Рауль пожелал завещать некоторые угодья аббатству св. Мартина, покровителя храбрых французских воинов, надеясь в предсмертном смятении, что этот святой не оставит его в трудную минуту среди адского пламени. В последние часы жизни перед Раулем промелькнуло лицо графа Эвда де Блуа, построившего ради вечного спасения мост через Луару, по которому путники могли переходить реку, не платя никакой пошлины. Разве за такое деяние святой Мартин не спасал графскую душу, спрятав ее от когтей сатаны в складках французского знамени? Да, никто не знал, где теперь витает и дышит горячая душа графа Рауля и что ей уготовано. Казалось бы, не было большего грешника на земле. Но ведь пожертвования и дары церквям и молитвы епископов...

Замковые рыцари и оруженосцы находились в крайнем унынии, сожалея, что уже не будет больше пышных пиров и волнующих ночных набегов на селения соседних сеньоров, когда так весело горят крестьянские хижины и такими заманчивыми кажутся на соломенных постелях заплаканные деревенские красотки. Конец военным утехам. А ведь возможность получить удар мечом и желание пронзить врага заставляют сильнее биться сердце! Молодые оруженосцы опасались, что если графом Валуа станет богомольный Симон, то погонит всех на утрени и вечерни, а если Раулю унаследует младший сын, по имени Готье, то из скарденности заставит обитателей Мондидье есть вареную репу и пить воду из замкового колодца. Антуан тоже вздыхал, в полной уверенности, что его теперь окончательно выгонят, как старую собаку, и на склоне лет он останется без крова и куска хлеба. Встречаясь с ним на лестнице или в каком-нибудь помещении, аббат Леон еще строже поджимал тонкие, синие губы.

Неясно было, что станется и с самой Анной. Все любили графиню, но отлично знали о неладах в графской семье. Симон ненавидел мачеху всеми силами своей христианской души, и аббат Леон разделял эту неприязнь.

Анна не отрываясь смотрела на лицо мужа. Смерть сделала особенно хищным орлиный нос Рауля, но рот уже провалился и стал жалким, потому что в последние годы один за другим выпадали зубы, некогда с таким наслаждением разрывавшие твердое мясо вепря. Она не испытывала никакого волнения при мысли, что ведь в объятиях этого человека впервые узнала яростное женское счастье.

Со двора доносились мерные удары резца о камень. Это каменотес уже терпеливо выбивал на плите, под которой должен был лежать владетель сих мест, его титулы:

Граф де Валуа и де Крепи,  
Граф де Перрон,  
Граф де Вексен,  
Граф де Вермандуа,  
Сеньор де Бар на реке Об...

Горделивый потомок Карла Великого стал бездыханным, и участь его теперь должна превратиться в прах.

В горнице, где Анна часто беседовала с Жаком де Монтегю и паломниками, возвращавшимися из Иерусалима, стоял ларь. В нем она хранила свои книжные сокровища, привезенные много лет тому назад из Киева. Благодаря стараниям епископа Готье бывшая королева сносно изучила латынь, но не могла привыкнуть к латинским писаниям и предпочитала им славянские книги. Ей доставляло большое удовольствие порой поставить на хартий русскую подпись.

Когда закончилась зауспокойная месса, Анна поднялась с колен, оставила на некоторое время замковую капеллу, где стоял гроб, освещенный лампадами и свечами, и тихо побрела в заветную горницу. Присев на скамеечку, она открыла крышку сундука и стала перебирать книги. Под руку попадалось не то, что ей было нужно сегодня, в эти горестные часы. Вот столько раз перечитанные «Приключения Дигениса Акрита», сыгравшие такую роль в ее жизни, в тот день, когда они сидели с графом на поваленном бурей дубе. Вот «Песнь Бояна» — несколько пергаменных листов, сшитых струной, может быть от тех гуслей, на которых играл прославленный певец, этот русский соловей. На каком пиру порвалась она? В Чернигове или в Тмутаракани? Вот «Громовник» Путизла, обитавшего в таинственной пещере недалеко от города Русы. Вот «Александрия», из которой она узнала о подвигах великого героя. Вот Псалтирь с ее красивыми словами. На дне ларя Анна нашла еще одну большую книгу, искусно переписанную в Киеве, с украшениями в виде птиц, хвосты которых причудливо переплетались с заглавной буквой или со сказочным цветком, изображенным киноварью. От нее пахло затхлостью давно не читанных страниц. Но стоило только перелистать их, и уже вставали в воображении величественные образы. Смуглая дщерь фараона с упоительным книжным именем Фермуфь обрела в нильских тростниках плетеную корзинку с младенцем... Началом каких потрясающих событий оказалась эта находка!

Да, был Египет, поражаемый тьмой, песьми мухами, жабами и избиением первенцев. Потом играл на кифаре пророк Давид, царствовал Соломон, влюбленный в пастушку Суламифь... Однако сегодня не эту книгу хотелось прочитать Анне и найти в ней утешение. Она продолжала искать и рыться в своем богатстве. Вот опять попалась на глаза книжечка, по которой она училась грамоте, и в ней стихи:

Геенны меня избави вечныя,  
и грозы, и черви неусыпающа...

Наконец она нашла то, что искала. Книга называлась «Златоструй». В ней Илларион черпал вдохновенные слова для своих речей и проповедей, когда учил паству милосердию или прославлял Русскую землю. Пресвитер подарил это творение Ярославне перед ее отъездом из Киева, завещая не забывать на чужбине родную речь. Анна раскрыла наугад книгу и прочла, беззвучно шевеля губами:

— «Ныне они душатся дорогими благовониями, а наутро смердят во гробе...»

И ей показалось, что она слышит гневный голос Иллариона в киевской Софии, где она слушала утрени за завесой кафизмы...

Анна похоронила мужа в Мондидье. Но, зная отношение к себе Симона, ставшего после смерти Рауля графом де Валуа, да и неприязнь многих его

приближенных, она покинула замок, с которым было столько связано в ее жизни, и перебралась в Париж, к сыну Филиппу.

Король неустанно трудился на пользу Франции, был деятельным и полным сил, хотя заметно толстел с каждым годом. Заметив однажды, что мать с огорчением рассматривает его молодую, но уже отяжелевшую фигуру, Филипп всколыхнул живот, поднимаясь с сиденья, и беззастенчиво рассмеялся.

— Что ты смотришь на меня? Я стал тучен? Это правда. Скоро мне будет трудно взбираться на коня. Кто тогда поведет в бой французских рыцарей? Брат Гуго?

Король знал, что брат не предаст его.

В парижском дворце наступал вечер. Анна сидела на скамье у окна, смотрела на туманный Париж и размышляла, вспоминая мудрые наставления епископа Готье Савейера. Да, все в мире разумно. Человек рождается, живет и в назначенный час умирает. Земное существование не может длиться без конца, и если бы люди не боялись смерти, то и жизнь потеряла бы для них всякую сладость. Уже покинули сей суетный свет отец и мать, многие братья, великий Боян, искусный писец Григорий, слепой воевода Вышата, епископ Готье. Погиб где-то в сарацинской земле Филипп, истек кровью на поле сражения Гаральд, пропал без вести жонглер Бертран. Множество других скосила неумолимая коса.

В тяжелые минуты жизни Анна всегда вспоминала свое детство, Киев, широкий Днепр, Вышгород, пир, на котором скальд пел песню, посвященную сестре Елизавете, о корабле, огибавшем Сицилию. В тот вечер случайно рядом с нею за столом оказался голубоглазый ярл. Но тогда она еще не знала, что ей предстоит дальняя дорога. Опять в представлении Анны возникли огромные Золотые ворота...

Около королевы уже почти никого не было из тех, кто приехал с нею во Францию. Борислав с женою возвратились на Русь. Елена и Добросвета вышли замуж за франков, Янко покинул госпожу и переселился в далекий Арль, а Волец тоже теперь жил в Колумье, под Орлеаном. Только Милонегга не расставалась со своей Ярославной, и по-прежнему конюх Ян ухаживал старательно за ее конями.

Но иногда Волец являлся в Париж поклониться королеве. Он тоже стал рыцарем, еще от короля Генриха получил замок в Колумье. После беседы с королевой он обычно сидел долго в горенке Милонегги, вспоминал вместе с нею свой Курск, бревенчатый город, и слезы текли у него по лицу.

Анна часто оставалась в полном одиночестве: Филипп при каждом удобном случае отлучался из Парижа, младший сын Гуго женился на богатой наследнице, дочери графа Вермандуа, чтобы узаконить захват этих земель, и перебрался в замок. Никому теперь не было дела до королевы, и навеки ушли в прошлое годы, когда люди считали Анну счастливой и любовались ее красотой.

Время тянулось в сводчатых залах парижского дворца томительно. Иногда королеву мучила бессонница. А если она спала, то первая мысль Анны утром, по пробуждении, летела к милым сестрам и братьям, и однажды у нее родилось пламенное желание отправить кого-нибудь на Русь, чтобы этот человек посетил близких, своими глазами посмотрел на то, что там происходит, и вернувшись во Францию, обо всем рассказал.

Но кого послать? Выбор Анны пал на Вольца. Преданный до гроба рыцарь долго вздыхал, крутил головой, когда ему сказали, что от него требуют. Киев был далеко, и Волец не имел большой охоты покидать жену, детей, хозяйство, но не посмел нарушить волю королевы, быстро собрался в путь,

и когда сел на коня, чтобы в сопровождении двух слуг пуститься в далекое путешествие, его самого охватила такая тоска по родным местам, что он ни одного дня не промедлил в пути. Горькое желание посетить милый Курск и дорогие могилы подгоняло его как ветром. У него сердце сжималось при одной мысли, что вскоре настанет час и он вновь увидит бревенчатую церковь, а за нею хижину под горой, в которой прошло его детство. В Париже, сидя у окна, с такой же тоской ожидала его возвращения Анна.

Путешествие Вольца продолжалось несколько месяцев, а по истечении времени, которое требуется для такого далекого пути, он вернулся во Францию, и рассказы его были полны волнения. Поездку на Русь он совершил и обратную дорогу проделал с попутными купцами, и ничего достойного упоминания во время этих странствий не произошло, но в Киеве самый воздух был наполнен тревогой, и новые враги угрожали Русской земле. События задержали Вольца дольше, чем он рассчитывал, и Анна уже отчаялась увидеть своего посланца, как вдруг однажды утром он возвратился в Париж и, обливаясь слезами, стал рассказывать королеве о том, что видел и слышал.

Печальные вести привез Волець из родных пределов. Преграждая путь торговым людям к морю, которое называлось Русским, и к солеварням, киевскую область обложили со всех сторон половцы. Еще до приезда Вольца Изяслав, Святослав и Всеволод, как три сияющих солнца, вышли в поле против страшных врагов. Но князья потерпели жестокое поражение на реке Альте, и ее воды обогрились русской кровью. Изяслав и Всеволод бежали с остатками дружины в Киев, Святослав заперся в Чернигове, где он незадолго до этого построил каменный дворец. Враги волками рассыпались по мирным полям. Они метали огненные стрелы с серным составом, наводившие ужас на непривычных княжеских коней, разоряли селения и сжигали гумна.

При прорыве неприятельских рядов половцы применяли особое построение для своих всадников, так называемый клин, обращенный острием на поле битвы. Выдержать их удар было трудно. Перед битвой они обычно устанавливали возы в виде укрепления, оставляя между ними проходы, чтобы в случае неудачи отступающие всадники могли найти убежище от врага, перевести дух и снова броситься в бой.

В далеких степях было затруднительно гоняться за летучими ордами кочевников, поэтому князья предпочитали захватывать половецкие обозы, отягощенные награбленной добычей, и великая радость веселила сердца, когда удавалось освободить пленных христиан. Но половцы также умели хорошо устраивать засады и производить неожиданные нападения. Пленников они гнали в Сурож и, если несчастные не погибали в пути от голода и жажды, продавали их там, и работоторговцы везли людей через Константинополь в Александрию, а благочестивые василесы взимали с каждого пленника пошлину, обогащаясь на торговле христианскими душами.

Волець прибыл в Киев в те дни, когда Изяслав и Всеволод уже вернулись из губельного похода. В городе скопилось множество беглецов из пограничных селений. Все это были хлебопашцы, искавшие защиты за высокими киевскими валами. В самом Киеве также насчитывалось немало бедных ремесленников. В гневе люди явились к Изяславу и требовали копья и коней, чтобы прогнать кочевников. Но князь опасался выдать им оружие, а они видели, как горели гумна, полные снопов, и как половцы топтали нивы.

Тогда горожане устроили шумное вече на Подолии, где находился Житный торг, и на сборище поносили последними словами воеводу Коснячко, которого считали виновником всех своих бед. Затем гневные толпы народа поднялись на гору и разграбили двор ненавистного воеводы. Отсюда часть

мятежников направилась ко двору Брячислава, а другие пошли на княжеский двор, где в темном порубе томился князь Всеслав, беспокойный человек, посаженный киевским князем за попытку посеять смуту на Руси.

Хотя Волец и родился сыном бедного плотника, но был теперь посланцем королевы Анны и находился среди княжеских дружинников, когда ко дворцу явились взволнованные смерды. Он слышал, как люди требовали от Изяслава:

— Дай нам оружие и коней, и мы еще будем биться с половцами!

Волец рассказывал Анне:

— Князь тогда совещался с дружиной. Я тоже сидел с ними. Вдруг мы услышали крики и гул человеческих голосов. Народ ворвался на княжеский двор, и я своими глазами видел, как князь Изяслав в страхе смотрел на непорочных из оконца, не зная, что предпринять. Они выкрикивали имя Всеслава, желая освободить узника. Тогда Тука, брат Чудин, сказал князю: «Пусть его позовут под каким-нибудь предлогом к выходу из погреба и пронзят мечом!» Но Изяслав не захотел слушать дьявольских наущений.

Анна боялась проронить хоть одно слово в рассказе посланца.

— Почему Всеслав сидел в узилище? Кто посадил его туда? — спрашивала она с недоумением.

— Твои братья схватили его и бросили в яму. Но в то время, когда я находился в Киеве, горожане освободили заключенного и объявили своим князем, а княжеский двор предали разорению и захватили бесчисленное множество серебра и золота. Другие взяли деньги или меха.

— Что же случилось с братьями?

— Князья бежали в Переяславль. И я с ними ушел. Мы с большим трудом пробивались сквозь толпу, спасая свои жизни, а все богатство великого князя досталось татям... Многие в тот день из бедных стали богатыми, а богатые — бедняками.

— Где же теперь Изяслав? Где Всеволод? — спрашивала Анна.

— В Переяславле я разлучился с ними, но мне говорили, что князь Изяслав хотел искать помощи у свойственника, польского короля Болеслава.

— Изяслав женат на его дочери.

— Так мне и говорили в Киеве. И будто бы он собирался посылать послов в Рим, к папе. А сам пришел с польским войском против Всеслава.

— Ты видел его, когда он явился в Киев?

— Нет, я задержался в Курске и только по рассказам знаю, что Всеслав вышел с киевским ополчением против Изяслава, но устранился и, тайно покинув своих воинов, бежал в Полоцк. Тогда киевляне вновь собрали вече и обратились к Святославу и Всеволоду, чтобы они пришли княжить в их городе, угрожая в противном случае сжечь все и уйти в греческую землю.

— В греческую землю? — широко раскрыла глаза Анна.

— Так они говорили князьям.

— И как же поступили мои братья?

— Князь Святослав был в это время в Чернигове, а князь Всеволод в Переяславле. Оба послали просить Изяслава не губить русский город. Однако Изяслав направил в Киев своего сына.

— Ярополка?

— Мстислава. Он — недобрый человек. Этот молодой князь казнил в Киеве семьдесят горожан, а многих других ослепил. Когда потом в город вступал Изяслав, я уже вернулся из Курска и удивлялся, как все трепетали перед князем. Вот что я узрел своими собственными глазами.

— И Всеслава видел?

— Дважды. О нем ходит дурная слава. Будто мать зачала его от волхования. Знаешь ли ты, что он сделал на Руси еще при жизни блаженной памяти твоего родителя? Предательски напал на Новгород с полоцким войском, взял в Софии паникадила и священные сосуды и даже колокола снял с колокольницы, а тысячи жителей увел в плен. Но светлый князь Ярослав настиг его своей десницей на реке Судомири и отнял добычу.

Волец понизил голос:

— Говорят, что Всеслав — оборотень. Когда князь спасался из Киева в Полоцк, то превратился в серого волка. Может он и по воздуху птицей летать. Однажды князь бежал из Белгорода. Уже тьма тогда опустилась на землю, а он еще до третьих петухов был в Тмутаракани. Если в Полоцке звонят к утрени, Всеслав слышит звон в Киеве...

Анну стал трясти озноб. Страшные дела творились на Руси, русская кровь текла рекой, а братья, вместо того чтобы беречь от врагов достояние предков, тратили напрасно силы в междоусобной войне.

— Изяслав пришел с ляшским королем, — рассказывал Волец, — и велел перенести торг с Подоллия на гору, чтобы во дворце было слышно, о чем шумит народ. Все волнения начинаются на торжищах. Там каждый может говорить и кричать, что ему вздумается.

— О чем же кричал народ?

— О том, что стало тяжело жить на Руси.

— Половцы по-прежнему тревожат русские пределы?

— Над половцами твой брат Святослав одержал великую победу.

С тремя тысячами воинов разгромил множество кочевников и далеко гнал в степи, а их было более двадцати тысяч. Но другие бедствия постигли Киев. В те дни случился мор, три года тому назад произошел великий пѣжар, сгорело много домов.

— Живы ли твои в Курске? — спросила Анна, чтобы своим участием в судьбе рыцаря поблагодарить его за службу.

— Никого не осталось. И там свирепствовал мор, и моих погребли в скудельнице.

— Худо нам с тобой, Волец, — сказала Анна.

— Худо нам с тобою, госпожа, — ответил рыцарь.

Над землею пролетали черные годы. Темная ночь стояла на земле, и люди ослепли от слез. Лишь те, кому было внятно книжное чтение, лелеяли в душе надежду, что когда-нибудь настанут лучшие времена. Сверкали молнии, слышался гром приближающейся бури, и пламя светильника металось на ветру, но люди верили, что после непогоды вновь займется над Русской землей светлая заря.

Волец рассказывал средь ночи:

— Но это еще не конец бедам. Князь Святослав и князь Всеволод напали на брата Изяслава. Польский король не оказал ему помощи, ибо за это время Святослав успел выдать за Болеслава свою дочь.

Анна кивала головой. Она знала дочь Святослава еще светловолосой девочкой, и вот она уже польская королева.

— Рассказывали мне в Киеве, что Святослав тоже вел переговоры с папой. А Изяслава король обманул и отнял у него сокровища. Будто бы князь теперь появился где-то в Саксонии, у графа, которого зовут Деде, и этот вельможа хочет взять его к кесарю Генриху, чтобы просить о поддержке в борьбе с братьями за киевский престол. Свою просьбу Изяслав подкрепил дарами — серебряными сосудами, которые ему еще удалось сохранить. Но когда и где это было, чтобы русский князь иноплеменную помощь дарами покупал? Горько узнать мне про это.

Анне стало стыдно за брата. Простой человек, как Волец, не княжеского рода, и имеет гордость. А князь постыдно ползает у ног кесаря...

— Спасибо тебе, друг, что выполнил мою волю,— сказала она, опустив голову.— Я награжу тебя.

— Награды я не ищу. Но сними камень с сердца. Напиши князю Изяславу, чтобы не воевал Русской земли с чужеземцами.

— Уже ты учишь меня, как'быть,— с горечью сказала Анна.

— Не я учу, судьба наша учит.

— Какая судьба?

— Чтоб путь был свободный на Руси от моря до моря.

Так Волец понимал величие русского государства. До другого еще не дано было ему подняться. Нивы и гумна, торговые ладьи, плывущие в греческую землю с мехами, медом и воском, счастливые девичьи хороводы... Вот была Русь! Границы ее — Варяжское море на севере, Русское море на юге. А вдали плескался океан...

## VI

Изяслав скитался по чужим краям, готовый заключить союз с любым королем, лишь бы вернуть себе отцовское наследство и растроченное в этом страшном переполохе богатство — бесчисленные серебряные сосуды. В конце концов он очутился в Госларе. Оттуда граф Деде, на дочери которого Изяслав был в свое время женат, повез его в Майнц, к императору Генриху IV.

Князь много слышал от своей первой супруги и регенсбургских купцов о жизни в немецких землях, но, очутившись в Германии, растерялся. Вокруг все предстало как чужое и непонятное. Люди пили здесь горькое пиво, а не хлебный напиток. К тому же кесарю было не до него: Генрих занимался саксонской войной, и русский князь целые дни проводил в бездействии, не зная, к кому обратиться за помощью и советом.

Юный император принял беглеца любезно. Изяслав, наслышавшийся всяких ужасов об этом правителе, удивился, увидев, что перед ним стоит скромный, высокий, но узкогрудый, черноволосый юноша с большими задумчивыми глазами. Судя по цвету лица, можно было подумать, что кесарь болезненный человек, во всяком случае не обладающий большой физической силой. Из беседы, с помощью переводчика, выяснилось, что Генрих плохо разбирался в том, что происходило по другую сторону Одера, в далеких славянских землях, но смотрел на Изяслава с любопытством и велел графу Деде сделать все, чтобы гость остался доволен пребыванием в Майнце. Граф поселил русского князя в своем доме, делил с ним обильный стол, однако ему было трудно объясняться с Изяславом из-за незнания языка. В свою очередь русский князь не имел никакого понятия о латыни и остался очень доволен, когда к нему приставили поистине вездесущего Людовикуса. Купец успел окончательно поседеть за эти годы, но сохранил прежнюю ловкость и ясный ум. Он получил от графа Деде строгое повеление находиться при незадачливом князе и служить ему проводником в том мире, в котором Изяслав волей судьбы очутился, и от него киевский беглец узнал много интересного о жизни и нравах кесаря.

Отцом кесаря был Генрих III, убежденный христианин и тиран, монах и король одновременно. Когда однажды ко двору явился невысокий черномазый аббат с пламенными итальянскими глазами, хотя и с немецким именем Гильдебранд, Генриху IV было три года. Ему не понравился смуглый незнакомец, и он по-детски обругал монаха, бросив ему в лицо недоеденный кусок



хлеба. Гильдебранд улыбался, снисходя к детскому непониманию, и никому тогда в голову не приходило, что настанет время, и этот умный, хотя незначительный и скромный на вид, человек будет папой, и кесарь пойдет по снегу молить у него прощения.

В те дни трехлетнего Генриха помолвили с Бертой Савойской, девочкой такого же возраста. Они должны были сочетаться браком по достижении совершеннолетия. Всем представлялось, что после императора Генриха III, властно державшего в твердых руках кормило правления, с одинаковой решимостью распоряжавшегося в светских и церковных делах, не останавливавшегося даже перед тем, чтобы при случае перевалить через Альпы и показать в Риме силу своего оружия, его сыну обеспечено спокойное царствование. Но когда кесарь умер от чахотки, сторонники папы воспрянули духом и стали ратовать за независимость церкви от императора. В Киеве текла другая жизнь, и там ничего не знали об этой борьбе, а также о том, что в стенах Клунийского монастыря возникло движение за чистоту нравов в среде духовенства. В этом отношении Людовикус оказывал Изяславу большие услуги, знакомя его с западной жизнью.

Скромно устроившись на неудобном деревянном табурете, потому что людям низкого происхождения не полагается красоваться на широких сидищах, он поведал русскому князю о том, что творится при императорском дворе. Людовикус сгорбился под бременем лет, но не расстался со своей лисьей шапкой, уже сильно потертой и попорченной молью. Изяслав угощал его вином, зная, что оно подогревает преданность и развязывает языки.

— Когда Генриху исполнилось пятнадцать лет, — докладывал Людовикус, — отпраздновали свадьбу с Бертой. Это происходило в Госларе. Но кесарь вскоре оставил юную супругу, заявляя всем и каждому, что один вид жены приводит его в негодование.

— Столь она некрасива лицом? — спросил Мстислав, присутствовавший при беседе. Он слыл большим знатоком женской красоты.

— Супруга кесаря в те годы была прекрасна.

— Почему же он отверг ее? — недоумевал молодой князь.

Как бы намекая, что имеет по этому поводу свое особое мнение, но не находит возможным высказать его, Людовикус прервал речь и широко развел руками с многозначительной улыбкой. Изяслав слушал его со скукой, не видя пока в рассказе ничего такого, что можно было бы использовать в своих целях.

— Впрочем, кесарь примирился с женой, когда она родила ему сына, — добавил переводчик.

Граф Деде считался при дворе великим хитрецом. Он всю жизнь разумно и трезво смотрел на вещи и не имел ни малейшего желания портить свои отношения с императором из-за русского князя, хотя тот и подарил ему редкостные меха лисиц и бобров. Однако граф не догадывался, что в лице Людовикуса, которого сам приставил к Изяславу, в графский дом вползла змея. Уверенный, что не в интересах князя выдавать его немцам, Людовикус раскрывал одну за другой тайны Гослара.

— Говорят, что кесарь был в детстве нежным мальчиком, наделенным блестящими способностями. Эти дарования и помогли ему в совершенстве изучить латынь и все, что требуется для образованного правителя, но порывистость желаний толкала юношу в объятия непотребных женщин.

Изяслав неодобрительно покачал головой. В этой побеленной скучной горнице с черным распятием на стене киевский князь был довольно странной фигурой в своей красной русской рубахе, расшитой золотом вокруг плеч, в синих широких штанах, засунутых в желтые сапоги. Рядом с ним сидел за

столом Мстислав, мрачный юноша, с крепко сжатым ртом, свидетельствовавшим о жестокости, которую он, может быть, унаследовал от матери своей, Гертруды.

Но Людовикус, окончательно превратившийся в болтуна, продолжал выкладывать госларские сплетни и в особо сомнительных случаях прикрывал рот рукою, как щитком, ибо известно, что и стены имеют уши.

— Монахи рассказывают о кесаре разное. Будто бы он творит блуд с монахинями и аббатисами. И не только в разврате его обвиняют. Будто бы он втайне поклоняется египетскому идолу.

От отращения Изяслав плюнул на пол.

— Я своими ушами слышал, что говорил Рудольф Баварский, когда однажды привез ему отличный голубой шелк. Замечательный шелк! Подобные ткани...

— Так что же сказал этот Рудольф? — мрачно спросил Мстислав.

— Он говорил смеясь, что у кесаря по меньшей мере три любовницы одновременно, а кроме того, он отнимает у мужей красивых жен.

— Может быть, лжет Рудольф и монахи лгут? — недоверчиво заметил Изяслав.

— Возможно, — поспешил согласиться переводчик, не желая перечить князю, хотя видно было, что Людовикусу доставляло большое удовольствие ворошить в доме Генриха все его неблагоприятные поступки. Всю жизнь он метался из одного конца Европы в другой, встречал на пути тысячи людей, передавая дальше полученные от них известия о налете саранчи или смерти очередного короля. Ныне жизненное путешествие приходило к печальному концу, а у Людовикуса ничего не было, кроме старой лисьей шапки. Правда, он повидал мир и знал почти всех замечательных людей, от королевы Анны до папы Григория VII, а кроме того, кучу всяких вещей: например, ему было известно, что Берту, жену благочестивого Роберта, изобразили на одном портале с гусиными лапами, что епископ Адальберт пытался разводить виноградные лозы на берегах реки Эльбы, так как церкви нуждались в вине для совершения таинства. Рассказывая об этом, старый бродяга потирал руки и уверял, что пока еще ни одной грозди на этих виноградниках не собрали. Причина такого ехидства лежала в том, что Людовикус одно время пытался торговать бургундским вином и видел в епископе соперника.

Людовикусу хотелось направить мысли Изяслава и его сына на борьбу императора с монахами; по его мнению, русский князь мог извлечь для себя из этих столкновений немалую пользу.

— Самое важное для тебя, — убеждал он князя, — что кесарь и Рим грызутся, как два волка. Папой стал теперь кардинал Гильдебранд. У меня был случай встретиться с ним в Павии. Его тетка замужем за одним из Пиклеони. Это — богатая банкирская семья. Мне тоже приходилось иметь с ними дело. С помощью Пиклеони один из родственников Гильдебранда, простой учитель латинского языка, несколько лет тому назад сел на престол святого Петра, но кесарь обвинил его в торговле епископскими жезлами и привез из Рима в Кельн. С ним и приехал в числе других монахов Гильдебранд. Пребывание в Германии принесло ему большую пользу. Обладая наблюдательным умом, который не упускает ничего важного, он изучил положение в Германии и нрав кесаря. Но теперь он борется за небрачие духовенства. Можешь представить себе, что творится сейчас в наших странах. Ведь епископы не очень-то хотят расставаться со своими женами и наложницами. Значит, у Генриха найдутся союзники даже в церковном мире. Это — одно из слабых мест папы... В конце концов все сводится к борьбе за власть. Григорий хочет отнять у кесаря и франкского короля право вручать еписко-

пам посох и перстень. Ты должен учесть все это и подумать хорошенько, нельзя ли сыграть на вражде папы и кесаря.

Приблизительно в таких выражениях объяснял Людовикус запутанное положение в Европе. Изяслав и его хмурый сын внимательно слушали, хотя и не все понимали. Они попали в незнакомый мир.

— Уже бывали случаи, — шамкал Людовикус, — когда Рим помогал земным правителям. Мне доподлинно известно от одного банкира, из тех же Пиклеони, что папа щедро снабжал золотом Вильгельма, когда тот завоевывал Англию. Но, конечно, святой отец потребовал от нормандца присягнуть ему на верность.

— Как же поступил этот правитель? — полюбопытствовал княжич, все-таки лучше разбиравшийся в здешних делах, так как его мать была латинской веры.

— Деньги он брал, а клятву не захотел дать.

Мстислав рассмеялся.

— Это действительно достойно смеха. Вильгельм водил его за нос. Но папа продолжает искать королей, которые были бы покорны ему, и помышляет овладеть всей землей. Почему бы вам не последовать примеру хитрого нормандца? Рим даст вам деньги.

— Какую же награду папа потребует за это? — спросил Изяслав. — Переменить веру?

Людовикус опять развел руками.

— Бог один. А кроме того, кто вам помешает, когда достигнете своей цели, поклониться от уплаты?

— Так русские князья не поступают, — гордо заявил Изяслав.

Но Мстислав рассмеялся:

— С волками жить — по-волчьи выть.

— А ты почему хлопчешь об этом? — опять спросил Изяслав купца.

Людовикус прикоснулся пальцами к груди и с обидой ответил:

— Единственно из желания помочь знаменитому принцу, впадшему в несчастье. Тебе или одному из твоих сыновей необходимо ехать в Рим. Я помогу в этом деле. Найдутся люди, которые окажут вам поддержку. Например, братья Пиклеони.

Изяслав задумался. Ему пришла в голову мысль, что в этом чужом мире нельзя отказываться от услуг такого человека, как Людовикус. У него же самого был лишь один способ снискать расположение — подкуп, серебряные сосуды, а здесь требовалось нечто другое — знание обстановки, тонкая лесть, уловление человеческих слабостей.

Он сказал с горькой улыбкой, обращаясь к Мстиславу:

— Вот, мой сын! Мы гонялись в степях за половцами, и нам некогда было подумать о прочем, а люди в немецких землях живут не так, как у нас.

— Нужно использовать слабые места у врага, — пояснил Людовикус.

— Какое же слабое место у кесаря? — спросил Мстислав.

— Саксонская война.

Людовикус стал рассказывать о борьбе Генриха с непокорными саксами.

— Саксония всегда была золотым дном для кесарей. Саксонцы трудолюбивый народ. Из года в год они поставляли немецким королям тысячи быков, свиней, овец, а также огромное количество кур, гусей, яиц, меда, воска, хотя в душе питали надежду на свободу. Чтобы держать их в повиновении, Бенно, знаменитый строитель, воздвиг по повелению Генриха III целый ряд сильно укрепленных замков и среди них неприступную крепость Гарцбург. Но саксонские хлебопашцы восстали, и ты уже слышал, что там произошло.

Король прибыл в этот замок, чтобы принять участие в охоте, и как раз в этот день восставшие осадили крепость. Сам Генрих спасся по подземному ходу, а крестьяне взяли град приступом и разрушили в нем церковь. Прах королевских предков мятежники вырыли из могил и развеяли по ветру. Теперь восстание распространилось на всю Саксонию...

Об этом говорили открыто во всех немецких харчевнях. Но Изяслав слушал рассказ о победе крестьян, нахмутив брови.

События напомнили ему о том, что случилось в Киеве, когда народ ворвался на княжеский двор и бедняки разграбили его сокровища. Везде в мире происходило одно и то же, и казалось, что бог не помогает больше правителям и королям.

Людовикус, не догадываясь, что его слова вызвали у русского князя печальные воспоминания, продолжал рассказывать:

— Теперь всех почтенных людей охватил страх. И сами саксонские графы, еще вчера мечтавшие отложиться от короля, уже считают, что лучше его власть, чем гибель от руки мятежников.

Наблюдательный старик был прав: всюду чувствовалось в воздухе беспокойство, и крестьяне только ждали удобного случая, чтобы расправиться со своими угнетателями...

Как только слухи о том, что Изяслав, преемник Ярослава, находится в Майнце, дошли до Парижа, Анна решила отправить к нему посланца. Королева опасалась, что в сутолоке событий и среди развлечений кесарского двора брат может не навестить сестру или замедлить с прибытием во французскую столицу, и необходимо было напомнить о себе. Но никто теперь в ее окружении, кроме Милонегги и конюха Яна, не говорил по-русски. Анна подумала о Вольде. К сожалению, этот рыцарь жил как медведь в берлоге, заперся в Колумбе. Впрочем, любой верный человек мог передать Изяславу письмо и получить ответ, а так как время не ждало, то она остановила свой выбор на преданном Бруно, вместе с некоторыми другими рыцарями последовавшем за королевой, чтобы служить ей. Анна щедро снабдила воина в дорогу деньгами и сказала, отправляя его в Майнц:

— Не медли в пути и не задерживайся ни в одной придорожной харчевне. А когда передашь письмо русскому королю, возьми у него ответное послание и тотчас садись на коня. Знай, что я буду ждать твоего возвращения с замиранием сердца, и когда ты вернешься, протруби трижды в рог у дворцовых ворот...

Зашив послание королевы в подкладку одежды и набив серебряными денариями кожаный пояс, на котором висел меч, рыцарь быстро собрался в путь.

Хотя солнце уже давно покинуло меридиан, как ученые называли полдень, Бруно заявил, что не станет ждать завтрашнего утра, а тотчас сядет на коня и пустится в дорогу, чтобы некоторую часть путешествия совершить ночью. Гордый доверием королевы, он так и сделал и в сопровождении слуги Жака, захватив с собою двух запасных коней, отправился в Майнц. Но ему пришлось проезжать мимо харчевни, над воротами которой висела на шесте грубо вырезанная из дерева чаша, некогда покрытая церковной позолотой, и сатана надоумил рыцаря остановиться у таверны, чтобы глотнуть на дороге вина.

Кроме толстого хозяина с тяжким брюхом под кожаным передником и его служанки, румяной Гертруды, ради которой, если говорить правду, и забрел сюда наш рыцарь, в харчевне находилось несколько посетителей. Среди

них — истопник Фелисьен, его приятель конюх Ян, бродячий монах Люпус, вновь очутившийся в Париже, поседевший, как и многие другие, за последние годы, но все такими же вытаращенными глазами глядевший на мир божий, а кроме них два или три горожанина, какой-то подозрительный бродяга со щетинистой бородой, возможно убежавший из темницы злодей, и пономарь соседней церкви, богопослушный человек, однако несколько приверженный к вину. Люди сидели за неуклюжим столом посреди таверны, на длинных скамьях, столь тяжелых, что их даже невозможно было использовать во время драк, случавшихся в этом заведении довольно часто. Но у стены стоял еще один стол, предназначенный для почетных гостей, если они заглядывали сюда, хотя бы ради той же проказницы Гертруды, девицы с совершенно непонятым прозвищем «Два гроша», которое ничего не говорило ни уму, ни сердцу даже догадливых людей. За этим столом старательно выскребывал оловянной ложкой остатки рыбной похлебки из глиняной миски молодой человек, судя по виле, что лежала на земляном полу у его ног, — жонглер. Бруно уселся напротив него и стал рассматривать незнакомца, не представлявшего собою ничего примечательного. Белобрысая челка, длинный нос между двух глубоких морщин на художавом лице, тонкая шея с кадыком, коричневая рубаша с фестонами. Но жонглер уже отодвинул миску, вытер рот обратной стороной руки и, обводя взглядом присутствующих, от рыцаря до монаха Люпуса, заявил:

— А теперь я позабавлю вас, друзья!

Бруно остановил его речь величественным мановением руки и крикнул трактирщику:

— Эй ты, олух!

Хозяин харчевни, не привыкший к другому обращению со стороны благородных посетителей, если они оказывали честь его таверне, поспешно явился на зов.

— Кувшин старого вина!

— Твое желание будет тотчас выполнено, почтенный рыцарь. Но только как же...

— Что тебе надо? — нахмурился Бруно.

— Как же с теми тремя денариями, которые ты мне задолжал с самой троицы?

Рыцарь самодовольно рассмеялся.

— Все заплачу, до последнего гроша. Сегодня у меня пояс набит серебром.

Услышав такие приятные слова, проворный хозяин покатился колобком к лесенке, ведущей в погреб, где стояли три бочки с вином, и не мешкая надел полный кувшин. Но не сам подал его на стол, а толкнул в бок кулаком нерасторопную Гертруду и сунул ей в руки сосуд. Девица, соблазнительно покачивая бедрами, понесла вино рыцарю, который тут же посадил ее к себе на колени.

— А где же кубок? — спросил он.

Гертруда все той же сонной походкой направилась за кубком.

— Два кубка! — бросил вдогонку ей Бруно. — Жонглеру тоже надо промочить глотку.

В ответ на эти любезные слова молодой человек не очень ловко приподнялся с табурета и потрогал рукой неказистую свою шляпу, некогда черную, но побуревшую от дождей и солнца.

— Что же ты нам споешь? — спросил его Бруно, находившийся в самом благодушном настроении.

— Не знаю, понравится ли тебе эта история, но хотелось бы сегодня

спеть песню, сочиненную одним моим другом, которого, возможно, уже нет на земле.

— Тоже был жонглер?

— Жонглер.

— Что с ним случилось? Умер?

— Может быть, умер, или навсегда ушел в далекие края, или утонул где-нибудь с пьяных глаз. Его звали Бертран, моего друга.

— Бертран! Вот так штука! — изумился рыцарь.

— Клянусь честью!

— С длинными черными волосами? Красивый молодчик?

— Он самый. Значит, ты тоже знавал его?

Рыцарь подумал, что, пожалуй, лучше не говорить лишнего, и ответил с деланным равнодушием:

— Не помню, где-то слышал его песни.

Но жонглера взволновала встреча с человеком, который знал исчезнувшего друга. Он не мог успокоиться:

— Значит, ты встречал Бертрана? Где же это было?

— Где-то в Валуа. Он там ходил по замкам, потом следы его пропали.

— Верно. Он как сквозь землю провалился. Но раз ты знал Бертрана, то послушай его песенку. Это все, что осталось от бедняги. Так иногда бывает с жонглерами: человек уже давно в могиле сгнил, а его стишки гуляют по свету и вызывают смех или слезы...

— Да, грустная история, — согласился Бруно.

— Но, может быть, тебе будет неприятно слушать песню про мужика?

— Я тоже не барон, — со смехом заявил рыцарь. — Мой отец был мельником. Это граф Рауль дал мне рыцарское звание. Пей за мое здоровье! Теперь Бруно пойдет в гору, если выполнит достойным образом повеление королевы!

— Тогда послушай...

Жонглер взял в руки виелу, настроил ее и провел по струнам напряженным, как лук, смычком. Раздались довольно жиденькие звуки. «Бертран играл лучше», — подумал Бруно. Но глаза у жонглера уже задорно заблестели, и, издав еще несколько игровых нот на виеле, он пропел:

Угости меня вином,  
я тебе спою о том,  
как один мужик был хвор,  
утром в пятницу помёр.  
Но архангел в этот час  
дрыхал, не продравши глаз,  
душу в рай нести не мог,  
на другой улегся бок...

— Здорово! — похвалил Бруно, в то время как за длинным столом люди покатывались от хохота, и даже у конюха Яна, не все понимавшего в этой безбожной песенке, вокруг глаз собрались веселые морщинки.

Ободренный успехом, жонглер снова попиликал на виеле, а потом затянул высоким голосом:

В куши райские спеша,  
полетела ввысь душа.  
Там апостол Петр с ключом  
говорит: — Ты здесь при чем?  
Умирай не умирай,  
а простым нет входа в рай! —

Но мужик был не дурак  
и Петру ответил так:  
— Я, как мученик, страдал,  
я трудился, сеял, жал,  
ты же трижды неспроста  
отрекался от Христа!

Песенку прервал восторженный хохот трактирных завсегдатаев. Смеялся даже рыцарь. Жонглер вдохновенно озирает собрание.

Тут смутился страж святой  
и скорее за Фомой!  
Прибежал Фома к вратам,  
мол, сейчас ему задам!  
Стал на мужика орать:  
— Как ты смеешь бунтовать! —  
А мужик ему в ответ:  
— Почему мне входа нет?  
Ну, а кто неверным был?  
В рану кто персты вложил? —  
Тут заткнулся и Фома  
от крестьянского ума!

Бертрана уже не было в живых, а вот он смешил людей. Трактирщик хохотал, поддерживая красными лапами колыхавшийся живот. Однако самым звонким смехом обладала Гертруда. Он был подобен серебряному церковному колокольчику. Так по крайней мере казалось простодушным посетителям таверны.

Девушка сидела на коленях у Бруно и, когда смеялась, запрокидывая голову, показывала свои жемчужные зубки и нежную белую шею, а ее груди, упругие, как набитые песком жонглерские мячики, готовы были выпрыгнуть из полотняной рубашки, на ворота которой, как нарочно, развязалась тесемка. Не мудрено поэтому, что рыцарь Бруно несколько задержался в харчевне и даже спустился вслед за Гертрудой в погреб, исключительно с намерением помочь бедной девушке цедить вино в кувшины.

Сверху доносилась, порой прерываемая раскатами смеха, песенка Бертрана. Беднягу уже никто не целовал на земле.

Павел прибежал на крик,  
непоседливый старик,  
топают ногами он,  
как разгневанный барон.  
Но мужик прищурил глаз:  
мол, мы знаем и про вас!  
— А Христа кто злобно гнал?  
Кто Стефана побивал? —  
И апостол в тот же миг  
прикусил себе язык.  
Пошептались тут отцы  
и, надев свои венцы,  
к богу все втроем идут,  
тащат мужика на суд...

Гертруда томно сказала:

— Бруно, что ты со мной делаешь! Ведь я пролью вино...

Одним словом, когда рыцарь и его слуга после препирательства с городской стражей, начальником которой, к счастью, оказался знакомый сержант, выбрались из парижских ворот, уже давно наступила ранняя осенняя тьма.

Двое всадников утонули в ночи вместе с запасными конями, как в море чернил. Створка ворот снова со скрипом затворилась. Выбравшись на шалонскую дорогу, Бруно прищепил коня...

Анна с нетерпением ждала ответа от Изяслава или его приезда. Иногда она плакала по ночам, сидела на постели и простирала руки во тьму, такое у нее рождалось желание обнять брата. Но дни проходили за днями, а Бруно не подавал о себе вестей. Уже истекли все сроки. Анне казалось, что сердце ее не выдержит ожидания и разорвется. По утрам она спрашивала наперсницу:

— Возвратился ли Бруно?

Милонегга с печалью отвечала:

— Нет, госпожа! Рыцарь еще не приехал. Наверное, он будет к вечеру в Париже.

Приходил вечер, наступала ночь, но посланец не возвращался и никто не трубил трижды у ворот.

Это было непонятно и странно, и Анна терялась в догадках. Она ни минуты не сомневалась в честности Бруно. Может быть, он умер в пути или его зарезали в какой-нибудь придорожной харчевне во время драки, за игрой в кости? Или неверный слуга убил рыцаря и бежал, завладев конями и поясом с серебряными денариями? И вдруг королева решила, что сама отправится в дорогу, чтобы поскорее повидать брата. Ей даже захотелось посетить в Дании сестру Елизавету, вышедшую после смерти Гаральда за датского короля Кнута. Разве она, дважды вдовица, не была свободной, как ветер? Разве у нее не хватит сил совершить путешествие даже на Русь? До Киева было далеко. Однако если ехать не торопясь и с частыми остановками в монастырях, то и немолодая женщина может совершить такой путь, если около нее будут верные люди.

Когда король Филипп узнал о безрассудном намерении матери совершить путешествие в Майнц, а может быть даже поехать с братом на Русь, хотя сама королева с замиранием сердца думала о таком трудном предприятии, он стал уговаривать ее отказаться от подобного паломничества.

— Что тебя ждет на родине? Одни могилы остались там.

— А братья?

— Они уже стали чужими тебе, забыли сестру. У каждого полно забот. Мы с тобой для них — латыняне.

Но Анна твердо стояла на своем. До нее доходили определенные слухи, что Изяслав находится в Майнце, при дворе кесаря. Королева стала собираться в путь, и ей казалось, что она уже покидает Францию навеки. Предстоящая дорога обещала всякие неожиданности, и перед большим странствием Анне страстно захотелось побывать в Санлисе, где она столько пережила. Королева решила, что отправится туда, хотя эта поездка тоже могла занять пять или шесть дней, а приходилось торопиться, чтобы застать Изяслава в немецкой столице. И вот она еще раз выезжала из рощи на ту долину, с которой открывался вид на каменный город, на аббатство св. Викентия, построенное ею, и римские развалины в плюще. Но теперь Анна ехала уже не верхом, а в повозке. Все же у нее хватило сил ступенька за ступенькой подняться на замковую башню, и с этой высоты королева вновь увидела голубеющие дубравы, где некогда охотилась с графом Раулем на оленей. Может быть, по-прежнему лежал там поваленный бурей дуб, на котором они сидели в день, изменивший ее судьбу...

Это было прощание с греховным прошлым, со сладостными поцелуями, горестное, но успокоительное прощание, потому что каждому цветку, каждому



плоду свое время. Жизнь уже не бурлила в ее сердце, и поступь старости полна спокойствия и величия.

В последние годы в санлиском замке обитали только королевские воины, и ничего не было приготовлено к прибытию Анны. Но служанки растапливали очаг на поварне, щипали городских петухов, погибших в тот день в огромном количестве, и с усердием цедили в погребе вино, чтобы в чаше у госпожи не оставалось осадка. Анна, в сопровождении Милонегги, захотела посетить аббатство св. Викентия.

С переселением королевы из Санлиса это святое место захирело, монастырь, не обладавший редкими реликвиями, не привлекал большого количества паломников, и дорога к нему превратилась в тропу. Но было приятно идти по ней мимо знакомых лужаек и старых ив, и все так же струилась по белым камушкам прозрачная Нонетт.

Приблизившись к монастырю, Анна остановилась на мгновение... Белая церковь... Круглый портал с каменным изображением строительницы... Колоколенка с медным петушком... Огороды, засаженные репой... Запустение...

Привратника у входа не оказалось. Когда Анна, никем не замеченная, вышла в монастырский двор, она увидела, что монахи принимают пищу в трапезной. В такой час по уставу полагалось соблюдать тишину, но, к удивлению королевы, из раскрытых окон доносилась болтовня многих голосов, к которой примешивался беззастенчивый стук оловянных ложек. Однако вскоре весь монастырь узнал о прибытии благодетельницы.

Видя радость монахов, Анна растрогалась и объяснила причину своего неожиданного посещения:

— Скоро я покину Францию и, может быть, даже возвращусь в страну, где родилась и где мне хотелось бы покоиться в земле. Кто знает, увижу ли я вас вновь?

Взволнованные известием монахи тут же стали жаловаться на свое бедственное положение, умоляя королеву не покидать их. Одни говорили, что не имеют теплой одежды, чтобы прикрыться от холода в зимнее время, другие жаловались на отсутствие восковых свеч; аббат же сетовал, что трапезная пришла в ветхость и требует перестройки. Анна слушала монахов с огорчением. Прошло время, когда они вели строгую жизнь и добывали хлеб насущный трудами рук своих; теперь обленились, жили тем, что доставляли сервы из пожертвованных селений, и в сердце у Анны стало больше одним разочарованием. В ответ на мольбы приора остаться в Санлисе она покачала головой и промолвила:

— Я только осенний лист, сорванный ветром с ветки...

Королева еще раз взглянула на свое изображение над порталом, вынула из-за пояса белый платочек, обшитый кружевами, на который монахи смотрели как на принадлежность ангельского одеяния, и утерла горячую слезу. Ее не будет на земле, а этот камень переживет века и не перестанет напоминать людям о существовании странной королевы. Потом случится пожар или землетрясение, храм разрушится, и только в какой-нибудь латинской хронике, сочиненной благочестивым книжником, сохранится ее имя, потому что написанное тростником на пергамене — прочнее, чем каменные здания.

Такие же печальные разговоры и мысли ожидали Анну в аббатстве Сен-Дени, где она побывала перед отъездом и где недалеко от алтаря лежал под каменным полом ее супруг, король Генрих. В последний раз она преклонила колени на этом месте и, чтобы утешить огорченных монахов, подарила им редкостной красоты яхонт для украшения статуи мадонны. Но королеве было затруднительно попрощаться с прахом Рауля. Симон, ставший владельцем

замка Мондидье, перенес гроб отца в Крепи, где была похоронена первая жена графа, мать его сыновей, и Анна не решилась поехать туда. Дело в том, что Филипп окончательно отобрал у Симона графство Верманда и на вечные времена закрепил его за братом, Гуго Большим, женив его на богатой наследнице этих земель. Завершив выгодное предприятие, король с сыновней нежностью облобызал мать и поспешил со своими рыцарями в богатый город Корби, безрассудно отданный Генрихом I в приданое за сестрой Аделью фландрскому графу Болдуину, и заставил корбийцев присягнуть королю Франции. Сын Анны ковал будущее французского государства, и рядом с ним сражался брат Гуго.

Путешествие началось при неблагоприятных обстоятельствах. Уже наступила осенняя пора. Старая королева совершала путь не верхом, а в неуклюжей повозке и, несмотря на подложенные под бока подушки, очень страдала из-за дурных дорог, превратившихся в сплошные выбоины и лужи. Порой колеса по самую ось увязали в грязи, и лошади с трудом преодолевали крутые подъемы.

Анна взяла с собой Милонегу. Сопровождать королеву захотел также Волец с двумя юными сыновьями, только что посвященными в рыцарское звание. Жена у Волца неожиданно скончалась в прошлом году, и теперь ничто уже не удерживало его от служения королеве, а сыновья готовы были пуститься в любое странствие, лишь бы на пути встречались красивые девушки и веселые приключения. Юноши без большого сожаления расстались со своей каменной башней, где пахло конским навозом и дымом. Сопровождал также свою госпожу в далекое странствие верный Эвд. Он все так же хранил в своем сердце преданность королеве, за которой поехал бы на край света. К сожалению, в одном из поединков в Мондидье ему выбили ударом деревянного копья левый глаз, с тех пор рыцарь окривел. Еще отправился в путь конюх Ян.

По небу ползли низкие растрепанные тучи, с полей прилетал холодный ветер, и мокрое воронье кружилось над голыми деревьями. Когда же наступал вечер и путники, приблизившись к какому-нибудь аббатству или замку, просили о приюте, Анну уже не встречали с такой радостью, как в прежние времена. Многие изменилось теперь, монахи считали ее сына антихристом, графы все больше и больше чувствовали на себе тяжелую руку Филиппа, поэтому не испытывали особенной нежности к его матери. А красота королевы, некогда привлекавшая все взоры, поблекла...

Но, несмотря на все затруднения, поезд Анны, состоявший из нескольких повозок и дюжины всадников, благополучно добрался до столицы немецкого королевства, хотя путешественница чувствовала себя совсем разбитой от передвижения на колесах.

В Майнце, богатом и оживленном городе, Анна остановилась в женском монастыре, настоятельница которого хорошо знала французский язык, прожив долгое время в Бургундии. Это была высокая и худая женщина, скопидомная и себе на уме, а по происхождению баронесса. Принимая Анну, она тотчас же подсчитала, сколько ей будет стоить накормить путников и какую пользу можно извлечь из посещения гостей. Но Анну ожидало здесь большое огорчение.

Знатной путнице отвели келью, чтобы она могла отдохнуть с дороги, — опрятную, чисто побеленную, но холодную. Среди ее белизны особенно четко выделялась черная деревянная кровать с соломенным тюфяком. Похлопывая по нему рукой, аббатиса сказала нравоучительно:

— Мы спасаем здесь свои души от греха и спим на соломе, ибо пуховая постель опаснее чревоугодия.

Устроившись на отдых, Анна начала расспрашивать аббатису о том, где же в настоящее время находится двор кесаря и гостит ли у него по-прежнему русский князь Изяслав.

Эмма, как звали баронессу, сначала отговаривалась незнанием, видимо не очень-то довольная прибытием непрошенных гостей, но, когда Анна подарила ей несколько жемчужин для аббатства, сделалась разговорчивее и, взвешивая на ладони жемчуг и как бы мысленно определяя его цену, стала рассказывать о майнцской жизни, видимо полной всяких не очень-то благовидных событий:

— Кесарь еще неделю тому назад пребывал в Майнце, и всем известно, что в его дворце часто видели русского короля, изгнанного злыми братьями. Он привез из России Генриху богатые дары в виде золотых и серебряных кубков. Таких сосудов никто никогда не дарил нашему государю. Но ныне двор переехал в Вормс, и туда же отправился и знатный гость, проживавший в Майнце у графа Деде. Впрочем, этот советник короля тоже находится в Вормсе, где собираются военные силы для борьбы с нечестивыми саксонцами, поднявшими руку не только на своего господина, но и на самого бога.

Отчаянью Анны не было предела. Она уже не слушала болтовню Эммы, а соображала, как поскорее добраться до того города, куда уехал брат. Проведя ночь в холодной келии и подкрепившись козьим сыром и хлебом, Анна на другое же утро поспешила в Вормс, хотя Милонегга и уговаривала госпожу не торопиться, а отдохнуть после тряской повозки в этом тихом монастыре. Ведь вормские ворота были недалеко, и королева в любое время могла послать Эвда или еще кого-нибудь, чтобы предупредить князя о прибытии. Но Анна упрямо настояла на своем, и весь поезд снова двинулся в путь, напутствуемый сладкими пожеланиями аббатисы. Ничего особенного в дороге не произошло, хотя королева прибыла на место назначения больной, и здесь ее как громом поразило известие, что Изяслав уже покинул Вормс.

Прибежище Анна нашла в гостеприимном доме епископа Оттона. Он дважды ездил в Париж в качестве посланца кесаря Генриха III и, узнав, что к ним неожиданно явилась сама вдовствующая французская королева, поспешил предложить ей кров. Как это часто бывает у толстяков, епископ оказался любезным человеком, взиравшим на мир с добродушной улыбкой, и большим любителем семейной жизни. Он напомнил Анне незабвенного Готье.

Видя недомогание путешественницы, ее тотчас уложили в постель, и за большой стала ухаживать полная белокурая женщина, которую Оттон не без некоторого смущения представил как дальнюю родственницу, хотя всем в городе и далеко за его пределами было известно, что эта особа — мать двух епископских детей, уже довольно больших, мальчика и девочки, таких же светловолосых, как она, и пяливших на королеву голубые глаза.

— Где же мой брат? Где мне теперь искать его? — плакала Анна.

— Не предавайся отчаянью! Ты обретишь его! — с участием склонялся к болящей епископ. — Нет никакой причины скорбеть и плакать. Ведь твой брат жив и здоров. Все любили его здесь за благородство и щедрость, но два дня тому назад, после беседы с епископом Бурхардом, весьма влиятельным советником кесаря, и графом Деде, получив много ценных советов и даже заручившись обещанием императора оказать несправедливо обиженному помощь в борьбе с захватчиками престола...

Мысли Анны совсем помутились от жара, как бы сжигавшего ее в лихо-

радке. Она хотела знать, где искать брата, а Оттон успокоительным голосом бубнил:

— Приобретая великолепное епископское облачение, чтобы возложить на гроб святого Адалберта в городе Гнезно, русский король Изяслав покинул Вормс и в благородном стремлении восстановить справедливость поспешил в Польшу, оставив нам сожаление, что встреча была столь краткой. Но твой брат несет огромную ответственность перед богом за порученную ему страну. Уверен, что он рвался к тебе мысленно, однако голос долга позвал его возвратиться, чтобы покарать мятежников, поднявших руку...

Епископ еще долго подбирал утешения подобного рода, но Анна уже не слушала пустые слова.

— А сын Изяслава? — спросила она, зная, что кто-то сопровождал брата в скитаниях по чужим странам.

— И о нем могу сообщить тебе. Прекрасный молодой граф отправился по поручению князя в сопровождении некоего Людовикуса в Рим, чтобы просить помощи у святого отца. Мы все надеемся, что это путешествие принесет свои плоды.

Он отправился в Рим! Анна с горечью подумала, что никогда еще русские князья не обращались за помощью к папе, вспомнила, едва справляясь со своим знойным дыханием, что матерью Мстислава и Ярополка была Гертруда, даже в Киеве не пожелавшая расстаться с латинством.

— И с ним Людовикус?

— Людовикус. Весьма подозрительный старик, но опытный в житейских делах.

В воспаленном мозгу Анны вихрем пронеслись невеселые мысли. Необходимо было принять какое-то решение: или поспешить вдогонку за Изяславом, или возвращаться в Париж. Спросить совета? Но у кого? Королева знала, что спутники потребуют возвращения во Францию. Может быть, только Милонегга, знавшая ее сокровенные намеренья, помогла бы уехать на Русь. Анна пожалела, что при ней нет больше мудрого епископа Готье Савейера. Он сумел бы найти в ее непреодолимых затруднениях причину и следствие и, согласовав отрицательное с положительным, сделал бы из всего этого вывод, как в данном случае предписывает поступать разум. Но учитель уже не мог давать советы своей доброй королеве, ибо в прошлом году покинул сей мир, как молнией пораженный во время трапезы апоплексическим ударом. Печальное событие произошло в парижском дворце. По словам слуги, подававшего в эту минуту на стол жареного гуся, старик, с налившимся кровью лицом, вдруг затрепетал и, успев прошептать только два слова: «В руки твои...», грохнулся на пол... Потом епископ Агобер, в крайнем раздражении на этого легкомысленного пастыря, часто пренебрегавшего благом церкви, говорил, что еще неизвестно, в чьи руки передал свой дух покойный канцлер, хотя его и погребали со всеми положенными для прелатов молитвами и каждениями.

Анна слишком близко принимала к сердцу интересы Франции и в достаточной мере делила с Генрихом его труды, чтобы забыть, сколько неприятностей доставили королю Рим и преданные папе епископы, эти волки в овечьей шкуре, произносившие сладкие слова, но жаждавшие власти или богатства. Готье не был таков. Он стремился только к тому, что возвышает душу. Странно, именно этот ленивый толстяк и чревоугодник мечтал о прекрасном будущем Франции и уважал только то, что разумно. Но разве она сама не стремилась к истине?

В ушах Анны звенели колокола невидимых храмов, и она тяжело дышала. Да, люди живут как волки, и в этом мире царит злоба. Когда же засияет заря

для всех людей после черной ночи? Мысли королевы переметнулись на другое... Башмачки, вышитые жемчужинами... Взяла ли их Милонега в дорогу? В них так покойно ногам. Потом представились большие красивые глаза Изяслава. Он, вероятно, уже не тот. Годы никого не щадят... Она хорошо знала своего брата. Князь считает, что Русская земля — его достояние. Отец думал по-другому и понимал, что правитель есть пастырь, поставленный для того, чтобы защищать вдов и сирот, хранить Русь от врагов, что щелкают со всех сторон зубами.

Слуги внесли дымящиеся яства и знаменитое рейнское вино, золотистое на свет и утоляющее жажду, как вода источника. Но Анна отказалась от еды и только отпила немного из чаши. Обеспокоенный епископ послал за врачом.

Вино подкрепило силы Анны. Погладив пылающий лоб, она спросила Оттона:

— Что же обещал кесарь брату?

Ничего утешительного епископ не изрек в ответ.

— Он выслушал русского короля с большим благожелательством, однако в настоящее время ничем ему не может помочь, так как занят войной с саксами. Впрочем, велел Трирскому епископу Бурхарду отправиться в русскую страну и рассудить твоих братьев по справедливости.

Анне было больно слышать, что чужестранец едет на Русь наводить порядки.

— Разве его послушают там? — прошептала Анна.

Епископ широко развел руки.

— Твой брат уверял императора, что послушают.

Опять Анне явственно представился брат Изяслав. Любыми средствами, но вернуть себе власть!

Во рту у Анны пересохло, и она попросила:

— Дайте мне пить!

Зубы стучали о край серебряной чаши. Масляный светильник горел порывисто, и пламя его металось от движения воздуха, бросая на стены и на потолок длинные суетливые тени людей. Около ложа находился епископ со своей белокурой подругой, видимо доброй женщиной, крайне опечаленной душевными страданиями Анны. В горнице стояли также Волец и оба его молчаливых сына, рыцарь Эвд, преданный до гроба той, что озарила грубую жизнь людей своей красотой. Милонега поминутно поправляла подушки. Только конюха Яна не было с королевой. Он где-то разговаривал с конями на конюшне, в темноте, среди теплых лошадиных вздохов.

Явился врач, толстенький человечек с бритым, как у клирика, лицом, в высоком красном колпаке на голове. Эта шапка еще больше подчеркивала самодовольный вид медикуса. А между тем, хотя мантия его из сукна зеленого цвета и падала величественными складками до пят, однако на локтях виднелись заплаты. Одна — черная, другая — синяя, и это говорило о том, что здешние жители отличаются завидным здоровьем. Если же они хворали, то предпочитали обращаться к диакону Губерту, мазавшему, как святой Пантелеймон, от всех болезней елеем. Поэтому Бонифациус, безошибочно определявший по пульсу состояние больного и изучивший гуморальное учение Гиппократ, влачил в Вормсе жалкое существование.

Врач учтиво поклонился епископу и затем попросил, чтобы все отошли от ложа больной, о высоком звании которой его уже предупредили. Для большей наглядности он даже показал короткими руками, как надо это сделать. Присутствующие беспрекословно выполнили требование медикуса. Тогда Бонифациус склонился над больной, внимательно осмотрел ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, и взял пухлыми пальцами горячую руку

королевы. Глядя куда-то в потолок, точно прислушиваясь к чему-то, врач считал удары жилки. Они были частые и резкие.

Епископ подошел к лекарю с озабоченным видом.

— *Ignis fibrarum maximus est. Febris accessio,*<sup>1</sup> — грустно сказал ему медикус.

— *Una salus est — misericordia dei nostri,*<sup>2</sup> — вздохнув, ответил епископ.

На ученых мужей, способных изъясняться по-латыни, все взирали с уважением, смешанным с некоторым страхом. Для малых сих наука была закрытым миром, в который они даже не пытались проникнуть. Всякая книга оставалась для простодушных полной заманчивых тайн.

Бонифациус заметил произведенное им впечатление, и лицо медика стало еще более надменным. Такие мгновения вознаграждали лекаря за бедность и все житейские невзгоды. Красноватый носик между отвисающих щек и плотно сжатый, маленький, как у младенца, рот — все дышало величием философского мышления.

Епископ отозвал его в темный угол и шепотом спросил:

— Чем больна королева? Обыкновенная ли это болезнь или что-либо другое?

Врач захватил рукою пухлый подбородок и о чем-то размышлял.

— Полагаю, что у королевы поражена недугом плевра.

— Болезнь ее в легких?

— Там она гнездится и наполняет все тело жаром и холодом. Да будет тебе известно, что в человеческом организме четыре жидкости. Кровь, лимфа, желтая и черная желчь. От них и зависит здоровье человека. Оно заключается в равновесии этих жидкостей, и когда одна из них убывает, то наступает нарушение телесной крепости.

— Чем же ты будешь лечить королеву? — спросил епископ, практический ум которого не удовлетворился учеными разглагольствованиями медикуса.

— Я еще не знаю, какая у больной мокрота. Но если она будет вначале бесцветной, а на шестой день желтого цвета и на девятый — гнойной, значит, я не ошибся в определении болезни.

— Но какие снадобья ты намерен давать больной?

— Потогонное. Врачи с острова Кос, о которых я читал в трактате «О природе человека», советуют в подобных случаях делать уколы, чтобы удалить гной из легких. Но это весьма рискованное предприятие.

— Как же нам поступать?

— Надо потеплее укрыть больную. Чтобы тело покрылось испариной, и тогда вытереть ее вином, смешанным с уксусом.

— Каким вином, красным или белым?

— Лучше белым, потому что красное оставляет следы на белье...

Пообещав немедленно приготовить потогонное средство, врач удалился, совершенно уверенный во всемогуществе своей медицины. Самое важное было — определить болезнь. А если человек умирал по всем правилам, то это не умаляло торжества науки.

Но жизнь Анны висела на волоске. К полуночи ее дыхание стало хриплым и мучительным. Она металась на постели и прижимала к подушке то правую щеку, то левую...

Почти все покинули королеву. У ложа остались только Милонегга и Волец.

<sup>1</sup> Очень сильный жар. Лихорадка усиливается. (Средневековая латынь.)

<sup>2</sup> Единственное спасение — милосердие божие.

Когда время перевалило за полночь, Анна начала бредить, выкрикивала непонятные слова. Потом вдруг приподнялась на кровати и сказала:

— Милонегга? Ты здесь?

— Я здесь,— упав на колени перед ложем, ответила наперсница.

— Милонегга!

— Что, госпожа?

— Надо торопиться...

— Куда торопиться?

— Пусть приготовят коней... Скажи Яну...

— Что с тобой, госпожа?

— Собери меня в путь...

— Куда же ехать в такой час! — уговаривала королеву Милонегга.—  
Смотри, на дворе — черная ночь. Ветер воет в трубе. Поспи! А завтра настанет утро, взойдет солнце, и мы поедем по следам князя Изяслава...

Всю ночь Анна бредила, призывала к себе сыновей, когда же пропели третьи петухи и уже можно было ждать наступления рассвета, больная очнулась, пришла в себя и села на постели. Рыжие волосы, еще не тронутые сединой, хотя королеве уже перевалило за пятьдесят, упали на плечи обильными прядями. Глаза у Анны горели лихорадочным огнем.

— Милонегга! — звала она шепотом верную прислужницу.

— Я здесь, госпожа,— бросилась к ней измученная старуха.

— Неужели я умираю? — спросила Анна.

Она не отрываясь смотрела куда-то вдаль. Милонегга, как могла, успокоила больную и опять уложила в постель.

Душа Анны снова погрузилась во мрак. Борьба между жизнью и смертью продолжалась. Анна жила в мире бредовых видений, цепляясь пальцами за ворот рубашки, за шерстяное покрывало, за руки Милонегги.

Король Генрих и граф Рауль, ложе которых она делила, стояли у постели и спорили грубыми голосами о том, кому принадлежит город Крепи, и Анна плакала от бессильного отчаяния, что не может примирить их... Вдруг появился епископ Готье Савейер... Он держал в руках толстую книгу, раскрыл ее и показывал королеве какое-то полное значения место, однако латынь уже перестала быть для болящей понятным языком... Потом возник из тьмы Людовикус и, прижимая к груди лисью шапку, стал говорить о Риме. Что он рассказывал о Риме? Анна махнула рукой, и Людовикус исчез... Теперь уже вышгородские дубы шумели над головой, и Ветрица радостно заржала, почувя свою всадницу, и все было так ярко, что Анна даже увидела тревожный и полный отраженного сияния глаз кобылицы, вспомнила ее нежные розоватые губы...

Наступил четвертый день. Епископ Оттон с позором изгнал медикуса Бонифация. Ученейший врач горестно брел по улицам Вормса, размахивая руками и бормоча себе под нос латинские слова, и встречные сторонились от него, как от безумца. Был вызван другой врач, старый Рихард, пользовавший Трирского епископа Бурхарда, уехавшего вместе с Изяславом на Русь. Но и этот медик был бессилен перед недугом Анны, хотя иногда сознание возвращалось к королеве, и тогда она просила пить, узнавала Милонеггу, жаловалась на ужасную головную боль. Стискивая голову похудевшими руками, Анна медленно вспоминала то, что случилось с нею за последние дни, и даже охватывала мысленным взором всю свою жизнь, от счастливого детства до парижского дворца, точно предчувствуя, что приходит конец.

Было пять часов пополудни. Но день выдался облачный, и в горнице уже

стоял сумрак. Анна вдруг приподнялась, села на постели и позвала страшным голосом Милонегу.

— Я здесь,— ответила та в смятении, потому что никогда не видела королеву в подобном волнении. Обезумевшими глазами, в которых мешались печаль и радость, Анна смотрела куда-то вдаль и простирала трепетные руки к чему-то невидимому для других.

— Милонег! —

— Что, госпожа? — со слезами в голосе бросилась к ней прислужница.

— Смотри, Милонег! —

Старая женщина повернула лицо в ту сторону, куда устремила свой взор больная, точно возможно было увидеть зримое в бреду только Анне.

— Разве ты не видишь, Милонег? —

— Ничего не вижу, госпожа! —

— Дорога поднимается в гору, а на горе — Вышгород. —

— Вышгород! — повторила потрясенная Милонег. —

— Днепр внизу голубеет... —

— Еще что ты видишь, госпожа? —

— Вижу милого брата Всеволода. Он идет ко мне, спускается из города. Узнаю его красную рубаху, с золотым плечьем... Рядом с ним — король, мой сын, и Гуго...

Но все заволочло туманом... Анна в бессилии упала на подушку. Ей слышались далекие звуки скандинавской арфы. Над королевой веяла прохлада вышгородские дубравы. Вот знакомая бревенчатая хижина. Беловатый дымок все так же струится над тростниковой крышей. Как в тот вечер, Филипп стоял на пороге. Не сын, а другой. На нем был длинный голубой плащ. Ярл что-то говорил беззвучными устами и улыбался. Так печально, что душа у нее наполнилась горечью и сердце пронзила острая боль. Молодой воин протянул к ней руки, и Анна могла рассмотреть тонкие пальцы, даже золотое кольцо, которое носил некогда Локки...

Москва, 1960





Последний  
Путь  
Владимира  
Мономаха







I

## На далеком пути, сидя в санях,

уже на склоне своих дней, Владимир Мономах ехал из Чернигова в Переяславль. Зима, с ее медвежьими холодами и волчьим воем, приближалась к концу, и недалек был прилет птиц, но в ту ночь ударил мороз, и опущенные инеем дубы, медленно проплывавшие по обеим сторонам дороги, были подобны райским видениям. Над ними тяжело поднималось зимнее розовое солнце. В мире стояла упоительная тишина, напоминавшая о высоких и гулких храмах, построенных по замыслу епископа Ефрема. Среди этого церковного молчания весело перекликались звонкими голосами княжеские отроки. В отдалении мирно стучала секира дровосека. Порой летела черно-белая сорока, садилась на дерево, и тогда с ветки падала на землю горсточка легчайшего снега. Легко огибаая всякое встреченное препятствие — корявую колоду дуба, сваленного бурей, или неуклюжий камень, дорога то всползала на холмы, то спускалась в долину, возвращаясь вдруг вспять, как повествование книжника.

В простой овчинной шубе, надвинув на глаза ветхую бобровую шапку с верхом из потускневшей парчи, старый князь дремал. Румяный молодой возница, в полушубке, в заячьем колпаке, сидел верхом на сивом большеголовом коне. Ноги у раба были обмотаны белыми шерстяными тряпицами и ремнями обуви. Позади на двух других санях везли все необходимое для великого князя в пути — припасы и котлы, ячмень для его коней, княжеский меч в потертых ножнах из лилового бархата, с серебряными украшениями, как на переплетах богослужебных книг, а в обитых медью ларях торжественное одеяние князя, его любимые книги, с которыми он не расставался даже в путешествиях и походах, глиняную чернильницу и все необходимое для писания.

За передними санями ехали на сытых злых жеребцах, лениво поводящих мощными боками, бояре и отроки. Некоторые из них служили в переяславской дружине, ездили в Чернигов по приказанию князя Ярополка, пославшего их в этот город, чтобы передать поклон отцу, и теперь возвращались вместе с Мономахом, неожиданно изъявившим желание свернуть с киевской дороги и направиться в Переяславль. Таких было трое — боярин Илья Дубец, отроки Андрей и Даниил. Трое дружинников, три разных судьбы и три коня. Вороной, с белой отметиной на лбу, серый в яблоках и гнедой. Илья ехал спокойно, как человек, всего перевидавший на свете и постигший, что мало пользы в пустой человеческой суете, и в его русой

бороде уже серебрилась седина. Андрей был молод, в гринде отрока прозвали за золотые волосы Злат. Он состоял в дружине Ярополка княжеским гусяром, потому что его персты искусно перебирали струны и песни легко слетались к нему, когда на пирах нужно было петь славу князьям. Злата учили, что мир и все сущее в нем сотворено в шесть дней богом — солнце и звезды, люди и звери, моря и горы, — но книжная премудрость не объясняла всех загадок бытия: всюду слышались Злату волнующие зовы, таинственные шорохи в дубравах. Порой, когда, закинув за плечо гусли, он ехал верхом по берегу лунной реки и месяц трепетал на водяной ряби, ему казалось, что русалки смеются серебряным смехом в прибрежных ракидах. Ему снились странные сновидения, и как только ночь покрывала землю своей огромной черной мантией, всюду чудилась в мире некая прекрасная тайна. Теперь Злат смотрел на холодное солнце и с тревогой спрашивал себя: вернется ли весна и прилетят ли птицы из южных стран? Все вокруг как бы замерло в беспробудном оцепенении, медведи храпели в берлогах, а деревья в инее умолкли в блаженном забвении, и ему захотелось разбудить это сонное царство звоном золотых струн. Однако еще не пришел час, гусли лежали под овчиной на задних санях, спрятанные от князя, предпочитавшего под старость греховным песням божественные псалмы.

Когда обоз выехал из роши и спустился в ложбину, далеко среди чернеющих кустов появилась рыжая лисица. Низко припадая к земле и замечая следы пушистым хвостом, она бежала по снегу, потом остановилась на мгновение, по-кошачьи брезгливо подняв переднюю лапу и повернув острую мордочку в сторону людей. Злату даже показалось, что она хищно оскалила мелкие зубы, напомнив о тех лукавых улыбках, какими греческие вельможи имеют обыкновение сопровождать свои льстивые речи. Воздух не был прозрачным, и морозная мгла прикрыла дали, но, сражаясь с печенегами и половцами, русские воины не только переняли у них способы ведения конного боя и научились бить стрелой любую птицу на лету, чему весьма удивлялся некий рабби Петахья, проезжавший в здешних местах и оставивший любопытное описание своего путешествия, но и до крайности обострили свое зрение. Злат ясно видел злой огонек в лисьих глазах.

Съехав с дороги, он с быстротою молнии выхватил из кожаного колчана упругий лук и встал на тетиву смертоносную тростинку.

Остановив коня, Илья Дубец неодобрительно покачал головой:

— Не пускай стрелу!

Отрок вскинул на него глаза:

— Не долетит?

— Может, и долетит. Но лиса уйдет, и ты стрелу потеряешь напрасно. Где искать ее в снежном поле?

Увы, лиса уже исчезла за суробом, и Злат с сожалением опустил лук. Проезжавшие мимо отроки смеялись над неудачным стрелком, прозевавшим добычу. А он метко попадал в цель, и его стрелы щетинились железными остриями, мохнатылись орлиным оперением. Ради этих тугих шелковистых перьев Злат лазил с другими отроками на высокие дубы, чтобы доставать в гнездах орлят, и терпеливо выращивал на своем дворе глазастых птенцов, больно щипавших пальцы крепкими клювами, когда он кормил их.

Отрок Даниил, для которого ничего святого не было на свете, хотя он и прочел множество книг, знал священное писание не хуже епископа и в перьяславском дворце забавлял князя Ярополка и его красивую супругу греческими притчами, рассмеялся.

— Велика звериная хитрость. Бывает, что лиса притворяется мертвой и лежит как бездыханная, а когда к ней слетаются птицы, чтобы клевать

трупное мясо, она ловит их и пожирает. Вот и Христос уподобил Ирода лисице.

Воевода Фома Ратиборович, горбоносый, с проседью в черной бороде, с круглыми злыми глазами, бросил словоохотливому отроку, проезжая мимо:

— Даниил, все мелешь языком пустое?

Дружинник с насмешливой улыбкой, в которой чувствовалось презрение к этому грубому человеку, не державшему за всю свою жизнь ни одной книги в руках, ответил:

— Язык мой, господин, как трость скорописца, и уста мои как быстрота речная...

Фома хорошо знал, что Даниил, дерзкий отрок с красивыми глазами, сын рабыни, но нарядный, как княжич, переглядывается с молодой княгиней, и пригрозил ему:

— Вспомнишь мои слова, но поздно потом будет. Плохо ты кончишь житие.

Даниил оскалил белые зубы.

— Не взирай на меня, господин, как волк на ягненка. Что я сотворил тебе недоброе?

— Не имеешь ты почтения к старшим, преисполнен гордыни.

— А почему не быть мне гордым? Вострублю, как в золотокованные трубы, во все силы ума своего и заиграю в серебряные органы гордости своей.

Отрок подбоченился левой рукой, а правой натянул поводья.

Хмурясь, Фома отъехал прочь и сказал:

— Наполнен ты словами, как горшок горохом.

— Как тула стрелами. И все они попадают в цель, — возразил зубастый отрок.

Илья Дубец, мотнув головой в сторону воеводы, заметил:

— Ты истину сказал. Зол он, как волк.

Речь у Ильи была спокойная и неторопливая, как у всех людей, которые знают, что такое жизненные испытания. Этот сильный человек пережил на своем веку немало горя, испытал пленение и раны, видел смерть близких людей от руки врага. Как и Даниил, он был тоже смерд родом и земледелец, начал жизнь в те страшные годы на Руси, когда часто горели гумна и половецкая конница топтала русские нивы, запомнил налет саранчи на посевающее жито и страшные знаменья на небесах, но уцелел среди подобных несчастий и даже носил золотое ожерелье, полученное из рук князя. Злат, которому старый дружинник отечески покровительствовал, родился на много лет позже, когда наступила тишина и Мономах прогнал половцев в далекие безводные степи. Молодой гуслер не участвовал в страшных конных сражениях. Он беззаботно смотрел на окружающий мир и улыбался, вспоминая, что в хижине у Кузнечных ворот живет сероглазая Любава и напевает песенку о веретене.

Мономах смотрел на белые деревья, и ему представлялось, что в мире только что умолк псалом, воспевавший мудрое художество мироздания; он снял рукавицу с правой руки и вытер пальцами влажные глаза. Старому князю был дан слезный дар: когда этот человек входил в храм и слышал церковное пение или читал в книге о страданиях праведного мужа, у него тотчас лились из глазниц обильные слезы. Во многом отличался он от прочих людей и до седых волос не переставал удивляться различию человеческих лиц, среди которых нет двух одинаковых, и тому, как все целесообразно устроено в мире — от малой былинки до небесных светил. Порою, отложив в сторону меч, князь брал в руки перо, омакал его в чернила и писал трогательные письма. В одном из таких посланий ему посчастливилось сравнить

гибель юноши с увяданием цветка. Этот непобедимый воитель, именем которого половецкие женщины пугали плачущих детей в ночных вежах, из страха перед которым дикие ятвяги не смели вылезать из своих болот, испытывал нежность к птицам, поющим в дубравах. Он иссек и потопил в быстротекущих реках двести ханов и столько же взял в плен, не считая множества простых воинов, и однажды в припадке гнева так разгромил Минск, что в городе не осталось ни одного человека; но, пролив столько крови и не раз черпая золотым шлемом воду в половецких реках, сладостную в час победы, Владимир Мономах более всего на свете ценил мир, не любил обнажать оружие. Неоднократно он посылал сказать половцам:

— Не ходите на Русь!

Однако безумные сыны Измаила не слушали предостерегающего голоса, вдруг появлялись в переяславских полях, и тогда на них обрушивались русские мечи.

Теперь приближался конец жизни, и санный путь напомнил старому князю, что скоро настанет смертный час и его бранные останки повезут по древнему обычаю на саях, запряженных волами,— даже среди яблонь в цвету или в день жатвы,— и положат рядом с возлюбленным отцом, в марморной гробнице в храме святой Софии. При мысли о том, что уже недалек час, когда придется предстать пред строгим судьей, он перебирал в памяти свои прегрешения. Разве всегда ходил он прямыми путями? Но окольная дорога, защищал себя князь, обычное средство мудрого правления. Да, он пролил море крови, однако не ради собственной выгоды. Зато никогда не предавался лени, трудился по мере сил, чаще спал на голой земле, чем на мягкой постели, предпочитал носить бедную сельскую одежду на ловах, чтобы не рвать о тернии греческую парчу, всегда был воздержан в пище и питье, и когда другие пожирали рябчиков и тетеревов, лили из серебряных чаш вино в ненасытные глотки, он довольствовался куском хлеба и глотком воды; он был бережлив, сам присматривал за всем в доме и церкви, на княжеском гумне и на погостах во время сбора дани. Он избегал блуда и грешных помышлений.

Дорога вновь углубилась в лес, и опять с обеих сторон появились во множестве белые деревья. Розовое солнце медленно, точно из последних сил, поднималось в зимней мгле к полудню. Вдруг на дальней поляне, с подветренной стороны, выскочило стадо оленей. Мономах даже разглядел пар, с силой вырывавшийся у животных из теплых ноздрей. Но звери исчезли, как во сне, напомнив князю о прежних ловах, в молодые годы. Сколько раз в своей юности он гонялся за подобными легконогими созданиями, поражал копьем черных туров или щетинистых вепрей, ловил петлей диких коней в черниговских пуцах! Неоднократно ему приходилось быть на краю гибели. Два тура метали его рогами, бодал олень, один лось рогами бил, другой ногами топтал. Однажды вепрь сорвал у него с бедра меч, медведь прокусил потник у самого колена, а лютой барс вскочил на бедра и повалил вместе с конем на землю. Много раз он падал с коня, повреждал себе голову, руки и ноги, не говоря уж о том, что часто подвергался смертельной опасности во время сражений и походов. И если отец посылал его в дальний путь, он выполнял самые трудные поручения и никогда не нарушал отцовскую волю.

В те времена на многих ловах его сопровождала молодая жена с непривычным для русского слуха именем. Среди этих зимних картин Гита вспоминалась светловолосой и зеленоглазой красавицей, раздурманившейся на морозе. В такие поездки на нее надевали красную шубку, отороченную горностаем. У нее были маленькие руки, не знавшие никакой работы. Она пренебрегала пряжей и могла часами думать о каких-то неведомых городах,

Монах смотрел на белые деревья, и  
ему казалось, что в мире только что



умолк псалом, воспевавший мудрое  
художество мироздания; ...

странных растениях, диковинных птицах, устремляя туманный взор вдаль. Плавными движениями Гита напоминала лебедя. Недаром ее матери дали в английской стране красивое прозвище — Лебединая Шея. Но Гиты давно уже не было в живых, и разве он не ехал в Переяславль с тайной мыслью в последний раз поплакать у ее гробницы?

Мономаху приятно дремалось в пахучем тепле овчины. В памяти возникали обрывки воспоминаний, теснились далекие образы, оставляя на сердце горечь или умиление, но за этими легкими мыслями неотступно следовали страшные видения прошлого, один за другим появлялись в воображении жестокие люди, воины с окровавленными мечами в руках. Почему-то вспомнилось розоватое лицо Яна Вышатича, его седые тараканьи усы. Это был представитель старого знатного рода, сын воеводы Вышаты, коварно ослепленного греками, брат корыстолюбивого Путяты, легкомысленную дочь которого люди прозвали Забавой. Для деда Яна, новгородского посадника Остромира, дьяк Григорий, великий искусник в книжном деле, переписал знаменитое Евангелие. Прадедом Яна тоже был посадник, по имени Константин, сын Добрыни, считавшего себя потомком Люта и прославленного война Свенельда. Вместе с ликом Яна появились из мрака забвения события прошлых лет, то смутное время, когда христианская вера еще не утвердилась окончательно на Руси и волхвы волновали смердов бесовскими баснями. Тогда пришел один из них в Киев и стал рассказывать народу, что Днепр потечет вспять и что земли начнут перемещаться — греческая земля станет на место Русской, а наша на место греческой и прочие земли поменяются местами. Невежды слушали его, верующие же смеялись, говоря, что это бес играет им на погибель. Так и сбылось, и в одну из ночей волхв пропал бесследно. Впрочем, прошел слух, что это княжеские отроки убили его и бросили труп в реку.

Опять блеснули холодным огнем голубоватые глаза Вышатича. Воевода служил тогда князю Святополку и собирал для него дань в глухой Ростовской области. Но тем летом в тамошних местах случился великий неурожай, и в темных медвежьих лесах среди людей началось смятение. Однажды явились из Ярославля два волхва и говорили, что знают, кто прячет запасы. Они отправились по Волге и всюду, куда ни приходили, указывали в погостах на богатых женщин. Несчастных приводили к кудесникам, и они, мороча людей, прорезали у них за спиной и вынимали оттуда то жито, то мед, то рыбу и многих жен убивали. Когда волхвы очутились на берегах Белоозера, вокруг них уже собралось триста смердов, и они убили княжеского попа, заблудившегося в лесу. Ян поспешил выйти на мятежников, хотя отроки уговаривали его не ходить с малой дружиной против такого множества злодеев. Однако воевода заставил белоозерцев выдать ему волхвов, угрожая в противном случае остаться у них на всю зиму. К нему привели связанных кудесников, и боярин спросил их:

— Зачем вы погубили столько людей?

Они ответили, мрачно потупля взоры:

— Богатые прячут жито, и если истребить их, то по всей земле будет изобилие. Если хочешь, мы и пред тобою вынем у любой знатной женщины припасы из спины.

— Это ложь, — сказал Ян. — Бог сотворил человека из персти, и в нашем теле ничего нет, кроме костей, мяса и жил.

Волхвы возражали:

— Мы знаем, как сотворен человек.

— Как?

— Бог мылся в бане, вытерся тряпицей и бросил ее с небес на землю.



Тогда сатана стал спорить с ним, кому создать человека, и сотворил его из этой ветошки, а бог вдунул в него бессмертную душу. Если человек умирает, его тело идет в землю, а дух улетает на небо.

Ян был весьма раздосадован такими нелепыми словами.

— Поистине вас прельстил бес. Скажите мне, в кого вы веруете?

Они ответили:

— В антихриста.

— Где же он?

— Сидит в бездне.

Ян стал говорить волхвам о том ангеле, что возгордился паче меры и был низвергнут с небес в преисподнюю. Потом спросил:

— Знаете ли вы, что вас ожидает в будущем?

— Нас ожидает спасение,— самоуверенно отвечали волхвы.

— Нет. Прежде вы примете муку от меня, а когда придет ваш час — смерть от бога.

Но кудесники смеялись над его угрозами.

— Наши боги говорят, что ты не можешь причинить нам зло.

— Лгут ваши боги.

Мятежники дерзко требовали:

— Ты нам не судия. Мы должны предстать пред князем Святославом. Только ему надлежит судить нас.

Видя, что волхвы не хотят покориться, Ян велел бить злодеев и вырвать у них бороды, обрекая их не только на жестокие муки, но и на великое бесчестие и надругание.

— Что говорят вам боги? — спрашивал воевода.

— Велят предстать пред князем Святославом.

По причине такого упорства Ян приказал привязать безумцев к ладейной мачте и вложить им в уста, наподобие конских удиц, обрубки дерева. Отроки, шедшие берегом, тянули за веревки, привязанные к этим деревяшкам, и так тащили ладью, разрывая рты волхвам. Когда приплыли на Шексну, Ян еще раз спросил обреченных:

— А что ныне говорят вам боги?

— Говорят, что не быть нам живыми от тебя.

— Теперь они говорят истину,— рассмеялся жестокий Ян.

Волхвы стали умолять воеводу:

— Отпусти нас — и получишь множества добра.

Но Ян махнул рукой, и воины зарубили волхвов мечами, а тела их повесили на дубе. В первую же ночь медведь взлез на дерево и пожрал трупы. Так погибли обольщенные бесом волхвы, не предвидевшие своего смертного часа.

Почему вдруг вспомнился на зимнем пути страшный рассказ о том, что произошло тогда в Ростовской земле? Не потому ли, что вся жизнь была полна подобных бед и соблазнов — то мятежей и поджогов, то половецких набегов и гибельных засух? Князь иной раз удивлялся, что, несмотря на такие испытания, русский народ не уронил драгоценные жемчужины своей души в прах — трудился не покладая рук на нивах, строил прекрасные храмы и славил в песнях свою страну.

Еще один знакомый образ возник из тумана прошлого. Это был надменный Ратибор, некогда тмутараканский посадник. Он говорил, беззвучно шевеля губами, убеждающе разводил руки и прижимал их к груди, в чем-то оправдываясь, как в ту ночь, когда хан Итларь доверчиво въехал в переяславские ворота... Мономах тяжело вздохнул. Однако перед ним уже стоял поп Василий, тот самый, что написал повесть об ослеплении князя Василька,

читая которую с сердцем, преисполненным ужаса, люди до сего дня проливают слезы.

Другие образы вставали из гробниц. Князь Олег, митрополит Никифор... И вдруг среди зимы забурлили страшные воды Стугны. Она широко разлилась в ту весну, преграждая путь отступления русским воинам, бежавшим после несчастной битвы. Брат Ростислав, въехавший в реку на коне, был свержен с седла сильным течением и стал тонуть. На нем была слишком тяжелая кольчуга. Он простирал руки, призывая на помощь. Увы, быстрота струй разделила братьев навеки...

Перейдя с остатками дружины Стугну, Мономах горько плакал о смерти брата и с великой печалью возвратился в Чернигов. Это было единственный раз, когда он, да и то из-за беспорядочных распоряжений Святополка, потерпел поражение. Но старый князь не любил вспоминать об этой битве, и снова все осветила улыбка Гиты. Кто нам скажет, на погибель или на утешение создана женская красота?

В лето, когда Мономах впервые услышал о существовании Гиты, людям были посланы ужасные предзнаменования. В западной части небосклона появилась красная звезда, напоминавшая огненный меч архангела. После захода солнца она тихо плыла в небесных пространствах, предвещая бедствия и войны, и так продолжалось в течение семи дней, от вечера до утренней зари. Вскоре после этого рыбаки выловили неводом в реке Сетомле младенца, столь безобразного видом, что описать невозможно из-за его срама. Люди рассматривали чудище до самой ночи, а затем снова ввергли в реку. В те же дни переменялся цвет солнца, и дневное светило стало подобным луне. Мономах читал в книгах, которые ему приносил митрополит, человек великой учености и острого ума, о таких же предвестиях в отдаленные времена. Так, при кесаре Нероне над Иерусалимом вдруг засияла звезда в виде копья, и вслед за тем последовало нашествие римлян. Подобное же повторилось в царствование Юстиниана. И вот снова с небес срывались и падали звезды, и люди, пришедшие из Корсуни, рассказывали как достоверное, что в Африке некая женщина родила девочку с рыбьим хвостом, а в Сирии произошло ужасное землетрясение, земля разверзлась на три поприща и вышедший из расщелины мул заговорил человеческим голосом, так что все видевшие это считали, что наступает конец света.

## II

Мономах вспомнил, что Гита часто ездила по переяславской дороге, смотрела на эти дубы — то в зелени листья и отягощенные желудями, то в зимнем уборе. Но столетние деревья по-прежнему стоят, пережив все бури, а ее уже нет на свете.

В той стороне, где в час заката солнце погружается в Океан, стоит остров, омываемый со всех сторон морем. Иногда его окутывают такие непроницаемые туманы, что жители не могут найти дверь своего жилища. Там родилась в королевском дворце Гита, дочь Гарольда.

Когда на лондонском небосклоне появилась страшная звезда и взволнованные вестники сообщили об этом королю, он сидел на троне, подпирая усталую голову. Обсуждая государственные дела, Гарольд до наступления темноты оставался в зале совета. Но, узнав о событии, он ужаснулся и тотчас же поспешил подняться на дворцовую башню, чтобы наблюдать с высоты ее небесное явление. Его царствование только что началось, и вот тревога уже

наполняла сердца подданных. Глядя на комету, король спрашивал себя мысленно, что она сулит ему и его дому. У него было три сына и две благо нравные дочери. Мальчиков звали Годвин, Эдмунд и Магнус, дочерей — Гунгильда и Гита. Зеленоглазой дочери только что исполнилось девять лет. Она походила лицом, телом, походкой и душевными качествами на свою мать, именем Эдит, но которой певцы дали за красоту милое прозвище — Лебединая Шея. Однако английская корона едва держалась на голове у Гарольда, и, чтобы упрочить свое положение, король оставил любимую подругу и женился на Эльгите, вдове Граффида, внучке влиятельного графа. Таким союзом он надеялся положить конец распри двух домов — Годвина и Леофика, а кроме того, пытался хотя бы узами брака привязать к Англии мятежную Нортумбрию.

Все шептали вокруг, что комета предвещает новую войну. А между тем хронисты уверяют нас, что Гарольд был добрый и миролюбивый правитель, благочестивый и почитавший епископов и аббатов христианин, покровитель монастырей, приветливый с добрыми и суровый со злодеями король, требовавший от своих эльдорменов и шерифов, чтобы они беспощадно казнили преступников. Впрочем, не следует забывать, что хроники писались монахами, а они охотно прославляли своих благодетелей, даривших аббатствам поля, мельницы, золотые сосуды, скот и рабов. Но, может быть, и в самом деле Гарольд был полон добрых намерений, только на его пути стояли препятствия всякого рода и неблагоприятные обстоятельства... В тот год в месяце феврале средь бела дня в Англии внезапно наступила крошечная тьма и продолжалась три часа. Затем на море разразилась ужасающая буря, а теперь появилась эта самая комета. Люди выходили из домов на улицы и со страхом смотрели на небо, передавая из уст в уста слова одного столетнего старца, твердившего, что эта звезда — предвестница горя для тысяч матерей. С каждым вечером свет ее становился все более зловещим, и казалось, что она грозит гибелью всему человеческому роду. В той части королевского дворца, где остались жить дети Эдит, маленькая Гита тоже с волнением рассматривала страшную небесную вестницу, не подозревая, что в ее жизни предстоят необычайные перемены.

Незадолго до этого умер король Эдуард. Наполовину норманн, воспитанный при нормандском дворе, он довольно равнодушно отнесся к уговорам посольства, которое прибыло в Нормандию, чтобы звать его на английский престол. Очень набожный и вялый человек, он был склонен к монашеской жизни и обходился с королевой как с сестрой. С его приездом при дворе и в домах знатных людей стал чаще звучать французский язык, чем презиравшее народное наречие. Придворные оставили длинные саксонские одеяния и постепенно приобрели привычку облачаться по нормандскому образцу. Они уже не подписывали хартии, а оттискивали на разноцветном воске свою печать, как это было в обычае по ту сторону Пролива. Вскоре Кентерберийским архиепископом сделался нормандский аббат Роберт Шампар, занявший первое место в королевском совете. Недовольные чужеземным засильем ворчали, что стоит Роберту сказать, будто ворона белая, — и король скорее поверит ему, чем собственным глазам.

Между прочим, в числе послов, ездивших некогда в Нормандию за Эдуардом и с большим трудом уговоривших его отправиться в Англию, был эльдормен Уэссекса Годвин, самый прославленный человек в стране, хотя не принадлежавший к людям знатного происхождения. Его возвышение началось еще в годы беспрестанных датских набегов на английские берега. Когда датчане разгромили однажды войско короля Эдмунда по прозванию Железный Бок, один из приближенных датского короля Кнута, по имени граф

Ульф, преследуя врагов после этой битвы, заблудился в дремучем лесу. Наутро датчанин выбрался на поляну и увидел отару овец. Около стада, опираясь на длинный посох, стоял молодой пастух и спокойно смотрел на выехавшего из рожи светлоусого воина в длинной кольчуге, каких не носят англы; на бедре у вражеского воина висел меч; конь его едва плелся от усталости.

Граф подъехал к пастуху и хмуро спросил:

— Как тебя зовут?

— Годвин.

— Пасешь овец?

— Как видишь.

— Видно, что ты хороший юноша.

— А ты не из датского ли войска будешь?

— Да, я граф Ульф. Скажи, приятель, как проехать отсюда до берега моря?

Хотя перед ним сидел на коне вооруженный воин, Годвин не испугался его и отрицательно покачал головой:

— Никогда англ не будет вырывать врагов.

— Я щедро награжу тебя, если покажешь мне дорогу к нашему лагерю, — предложил датчанин.

Молодой пастух не польстился и на награду.

— Ты, видно, всю ночь плутал в лесных дебрях. Однако знай, что до ваших кораблей далеко, а весть о вчерашней битве разнеслась по всей окрестности, и поселяне убивают отставших от войска датчан. Тебе несдобровать, если ты попадешься к ним в лапы.

Ульф снял с пальца драгоценный перстень и молча протянул Годвину.

Пастух бросил взгляд на золотое кольцо, сверкнувшее на солнце, но отказался взять его. Однако какая-то мысль мелькнула у него в голове. Он сказал в раздумье:

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Пожалуй, я услужу тебе, а ты наградишь меня потом, как пожелаешь.

Отец Годвина был богатый поселянин по имени Вульфнот. Юноша привел графа к себе в дом. Там датчанина накормили, напоили отменным напитком и спрятали до наступления ночной темноты на сеновале. Когда же стало темно, честолюбивый Вульфнот велел оседлать двух самых лучших своих коней и сказал графу:

— Годвин — мой единственный сын. Отдаю его тебе, доверяясь твоей чести. Он проводит тебя до морского побережья, где стоят датские корабли. Но когда ты увидишь своего короля, то в благодарность за оказанную тебе услугу попроси его, чтобы он взял Годвина к себе на службу. Дома теперь ему оставаться нельзя.

Граф обещал сделать все, что будет в его силах, чтобы вознаградить молодого поселянина, и кони помчались в ночную тьму. К рассвету они благополучно добрались до датской стоянки, где все уже считали Ульфу погибшим в стычке с англами. В благодарность за спасение граф стал сажать Годвина на пирах рядом с собою, относился к нему как к собственному сыну и даже выпросил у короля Кнута графское достоинство для этого деревенского пастуха. Так простой поселянин, не польстившийся на золотой перстень, добился того, что не всегда удается и благородным рыцарям.

Конечно, Годвин оказал услугу вражескому воину, но, удовлетворив свое честолюбие, он готов был служить английскому королю, а справедливость

требуется сказать, что он отличался многими достоинствами — был отважен в воинских предприятиях, красноречив на совете, полон здравого смысла в житейских делах. Между тем Эдмунд Железный Бок умер, и после него в Англии воцарился датский король Кнут. Само собою разумеется, что Годвин оказался в числе влиятельных придворных. Он женился на знатной датчанке, и плодovitая жена наделила его многочисленным потомством. Среди сыновей Годвина был Гарольд, отец Гиты, которого впоследствии судьба сделала английским королем. Богатство его тоже росло с каждым днем. Вскоре он был возведен в звание эльдормена Уэссекса.

Правление Кнута оказалось весьма беспокойным. Еще более тревожные времена наступили в Англии, когда на престол вззошел его сын, по имени Гарольд, как и сын Годвина. В тот год на английском берегу высадился нормандский граф Альфред, питавший в своем уме захватнические планы. Люди короля схватили его и ослепили. Некоторые утверждали, что в этой расправе был замешан и Годвин, якобы опасавшийся, что с прибытием в Англию Альфреда еще больше усилится при дворе нормандское влияние. Впрочем, вскоре Гарольд умер, и на английский престол вступил брат короля Гартакнут, начавший свое правление с того, что из ненависти к умершему велел вырыть его труп из могилы и бросить в Темзу. Обрушился гнев нового короля и на многих эльдорменов, опасность грозила и Годвину. Его обвиняли в насилии над Альфредом. Но он уверял с клятвами, что не принимал никакого участия в ослеплении нормандца, и, чтобы расположить к себе Гартакнута, подарил ему великолепный боевой корабль с позолоченной кормой, на котором было восемьдесят воинов в блестящих кольчугах и шлемах. Каждый из них носил на правой руке золотой браслет весом в шесть унций, на щитах у них сияли дорогие украшения, и рукояти мечей тоже были позолочены.

Один король сменял другого. Вскоре покинул земной удел и Гартакнут. Тогда-то и был приглашен на английский престол из Нормандии Эдуард. Годвин, один из посланцев, убеждал его тихим голосом:

— Английская корона — твое законное наследие. Почему же ты колеблешься? Зрелый годами и прошедший горнило житейских испытаний, ты сумеешь проявить не только строгость, но и милосердие. Я же во всем буду оказывать тебе поддержку. Вполне можешь рассчитывать на меня, если ты женишься на одной из моих дочерей...

В конце концов Эдуард согласился и короновался в Винчестере.

О многом, что происходило в те годы в Англии, Мономах узнал некоторое время спустя от молодой супруги, в Чернигове и особенно в Переяславле, в те трудные три года, которые он провел с ней в этом городе, в постоянной тревоге, под страхом неожиданных половецких нападений. В жарко натопленной бревенчатой горнице в долгие зимние вечера и ночи Гита рассказывала, как умела, о своем отце, благородном Гарольде, и о трагических событиях, разразившихся в Англии, когда она еще была ребенком. Лежа на пуховой перине, обнимая одной рукой за шею супруга, а другой простоудушно поддерживая маленькую грудь, она вспоминала семейные предания. Это были рассказы о роковом путешествии Гарольда в Нормандию, о кознях коварного нормандского герцога, о страшной и нарушенной клятве отца. Гита уже достаточно знала язык мужа, чтобы передать ему все это с милыми ошибками в слезах.

При свете масляного светильника, глядя в закопченный потолок, Гита шептала и шептала. О чем были эти повествования? Годвин и его сыновья вели непрестанную войну с нормандцами, явившимися в Англию с новым королем, и вскоре старому эльдормену даже пришлось покинуть родину, когда его опозорил сын Свен, в греховной страсти посягнувший на красивую

аббатису одного монастыря, а потом ушедший, босым, в одежде кающегося грешника, замаливать свой грех в Палестину и умерший где-то там, на Востоке.

Тем не менее Годвин одержал верх в дворцовых интригах, но не долго жил после своего торжества. Как обычно, король Эдуард проводил пасхальные дни в Винчестере и отметил церковное торжество пиром. К праздничному столу был, конечно, приглашен и Годвин. Но вдруг ему сделалось плохо во время королевской трапезы, и спустя три дня он скончался. Это случилось в те самые дни, когда на далекой Руси родился княжич, которому суждено было продлить годвинский род на земле.

Смерть прославленного мужа оплакивала вся Англия. Звание эльдормена Уэссекса перешло к его сыну Гарольду. По словам монастырских хронистов, это был «второй Иуда Маккавей» — доблестный воин, наделенный высоким ростом и красивой внешностью. Подобно своему отцу, он отличался сильным умом и умел затаить свои подлинные намерения. Как и Годвин, новый эльдормен хорошо знал законы и обладал даром красноречия.

А между тем не все шло гладко в Англии. Когда вошедший в силу Годвин сталправляться с нормандцами, архиепископ Роберт бежал. Это произошло при драматических обстоятельствах. Вскочив на коня и поражая мечом всех, кто пытался преградить ему дорогу, служитель божий вместе с еще одним нормандским епископом пробился к морю. Там они нашли утлый челн и благополучно переплыли Пролив. Вместо Роберта на кафедру архиепископа Кентерберийского был возведен Стиганд, англ по происхождению. Однако Роберт нажаловался на английского короля папе, и королевский совет отправил Гарольда в Рим, чтобы получить папское благословение для Стиганда. К счастью для посланца, знаменитый кардинал Гильдебранд был в то время в отсутствии, и узурпатор Бенедикт X оказался самым подходящим человеком, чтобы благополучно разрешить сложный церковный вопрос. Молодой эльдормен добился своей цели и даже увез для Вальтама, как называлось построенное им аббатство, ценные христианские реликвии.

Еще до паломничества в Рим Гарольд совершил не менее волнующее путешествие в Нормандию, оказавшееся чреватым большими последствиями.

Неторопливо подбирая нужные слова, Гита рассказывала:

— Отец мой взшел на корабль и поплыл по морю. Он отправился в Нормандию, чтобы вызволить своего брата Вульфнота, томившегося заложником в городе Байё...

Владимир кивал головой в знак того, что понимает свою милую супругу.

— Но во время путешествия разразилась страшная буря и прибила корабль моего отца к берегу, где находились владения графа Ги. Это было уже в Нормандии. Там существует жестокий обычай. Если какое-нибудь судно разобьется о береговые скалы, то владелец той земли может не только присвоить груз, но и пленить потерпевших кораблекрушение. Их держат в оковах, а потом отпускают за выкуп. Иногда даже продают родственникам трупы, выброшенные волнами на прибрежный песок, чтобы возможно было похоронить погибших по христианскому обряду. Так случилось и с моим отцом. Увы, моего отца случайно узнал рыбак, бывавший в Англии, и рассказал об этом графу, жадному до денег. Тот схватил моего родителя и в надежде получить за него богатый выкуп заковал в железные цепи и бросил в каменную темницу...

— Подумать только, что подобное могут претерпевать и знатные люди! — вздохнул с волнением Мономах.

— И что же произошло дальше! О событии стало известно герцогу Вильгельму, правителю Нормандии...

Мономах слышал об этой стране от варягов, скитавшихся по всему свету, хотя смутно представлял себе ее местоположение и жизнь, которая там течет.

— Вильгельм выкупил отца, не поленившись самолично отправиться за ним в графский замок, и привез пленника с почетом в свой город. Герцог был любезным хозяином. Но лучше было бы моему отцу поскорее возвратиться в Англию. Ведь и у герцога он жил на положении пленника, хотя Вильгельм посвятил его в рыцари и отец даже вынужден был принимать участие в войне нормандцев с бретонцами.

Мономах слушал Гиту с напряженным вниманием, хотя не все понимал в ее рассказах, а названия городов и имена людей казались странными для его уха. Но она открывала ему иной мир, чем Переяславская земля. Князь уже прочел много книг, и ему было известно, что мир разнообразен и что каждый народ живет по своим обычаям, и все-таки супруга рассказывала ему удивительные вещи. Воображение помогало князю дополнить ее лепет обычными представлениями о человеческой жизни, везде одинаковой в своих главных проявлениях. Гита же питала ненависть к Вильгельму и не жалела горьких слов, чтобы описать его коварство.

— Герцог лелеял в своем черном сердце надежду сделаться со временем королем Англии. В моей стране существует учреждение, называемое «советом мудрых». Эти люди избирают преемника умирающему королю, сообразуясь с его последней волей. По-видимому, Эдуард некогда обещал Вильгельму, что укажет на него, когда настанет время избрать короля. Но у хитрого нормандца не было большой уверенности в расположении королевских советников. Поэтому в его уме созрел вероломный план. Он решил для достижения своей цели использовать моего благородного отца и заставил его произнести страшную клятву.

И Владимир, слышавший уже об этой клятве от варяжских купцов, появившихся в Переяславле, внимательно следил за рассказом.

— Вильгельм велел поставить в церкви небольшой ковчег и прикрыть его парчовой пеленой, чтобы отец не видел, над чем будет произноситься клятву. Ему представлялось, что в ковчеге лежит что-нибудь вроде берцовой кости малопочитаемого святого. Ведь сколько всяких святынь продают жадные до денег бродячие монахи!

— Святые различествуют в своей святости,— сказал Мономах.

— Что из того?

— Греческий царь прислал нам в золотом сосуде перст Иоанна Крестителя. Великое сокровище!

— Иоанна Крестителя! Это совсем другое дело. А отец думал, что под пеленой покоятся останки епископа, который мог по ошибке попасть в святые.

— Разве бывает так?

— Монахи способны и не на такие штуки, чтобы увеличить монастырские доходы.

— Грешно говорить такое.

— Ты доверчивый человек, а я многое увидела, пока попала в твою страну. Но продолжу о своем отце. Видимо, он предчувствовал нечто и вострепетал, когда простер над ковчегом руку и произносил клятву. И тогда Вильгельм с улыбкой на устах отнял пелену...

Владимир приподнялся на локте, чтобы лучше слушать.

— В неприметном по виду ковчеге были собраны все святыни Норман-

дни. В нем лежал гвоздь, которым была пронзена на кресте десница Христа. Еще волос из бороды апостола Петра. И многие другие святые реликвии.

— Страшная кара может постигнуть человека, который нарушит крестное целование, — опять вздохнул Владимир.

— Отец тоже ужаснулся. Но Вильгельм отпустил его в Англию.

— В чем же поклялся твой отец?

— Что будет помогать Вильгельму в его домогательствах на английскую корону. Кроме того, он обещал выдать свою сестру за нормандского графа, а сам жениться на дочери герцога.

— Как же поступил твой отец, когда настала пора исполнить клятву?

— Он ответил так: «Я обещал дать тебе то, что мне не принадлежит, потому что корона — достояние всей английской знати. Ты требовал, чтобы я выдал свою сестру за верного тебе нормандца... Но она умерла. Что же, прикажешь послать в Нормандию ее труп?»

Мономаху рассказывали и об этом корыстолюбивые варяжские купцы — о смерти благочестивого короля на туманном острове и о нарушенной клятве. Они говорили, что этот нарушитель своего слова правил непродолжительное время, победил Гаральда Жестокого, но сам погиб в битве, когда остров был завоеван нормандским герцогом. Но тогда он не знал, что погиб отец его будущей супруги.

Умственный взор Мономаха проникал далеко за бревенчатые стены горницы, и на ум ему приходили печальные мысли, когда он слушал жену. Как трудно для человека достигнуть душевного спокойствия, если он обуреваем жадной власти и богатства. Какая польза для души в славе, полученной на кровавых полях сражений? Она как дым. Хвала завоевателю — как хвала разбойнику. Ну, а сам он, что искал он на берегах Дона — недолговечной славы или покоя для золотых нив Киевской земли? Гита скорбно рассказывала о страшной участи своего отца, и Мономах внимал ей с нежностью.

### III

Что происходило в то время под русскими дубами? Мономаху едва исполнилось тогда двенадцать лет, и отец впервые взял его на лов. Юный охотник с волнением слушал, как кличане криком загоняли вепрей в осенней дубраве, и поразил копьем первую свою жертву.

В Тмутаракани сидел тогда князь Ростислав. Он брал дань с касогов и других беспокойных племен, и в Константинополе смотрели с неудовольствием и на его победы, так как они угрожали интересам василевса, и на стремление русского архонта облагать высокими пошлинами греческие товары. Корсунскому катепану были даны тайные указания. Вскоре корабль доставил катепана в Тмутаракань, и коварный царедворец постарался войти в доверие к Ростиславу. Однажды во время пира, когда грек сидел за княжеским столом и веселился с дружинниками, он сказал молодому князю с вероломной улыбкой:

— Хочу пить твое здоровье!

— Спасибо тебе, — ответил Ростислав, не подозревавший в людях никакого коварства и хитрости, и протянул гостю серебряную чашу, до краев наполненную вином.

Катепан отпил половину, а остаток предложил князю, незаметно опустив



в вино палец. Под блистающим ногтем у него была спрятана крупинка смертельного яда, безошибочно действовавшего на седьмой день. Князь охотно допил чашу...

После этого пира византийский вельможа отбыл в Корсунь и самодовольно рассказывал там, как удачно он выполнил царское повеление. Он даже точно предсказал день смерти русского архонта. Но он забыл, что человеческая жизнь полна всяких случайностей. В день его приезда в городе неожиданно началось возмущение против греческого царя, и жители побили предателя камнями. На седьмой день после пиршества Ростислав в страшных мучениях скончался.

Вскоре после того в Англии умер король Эдуард, и отец Гиты вступил на престол, несмотря на клятву, которую он дал герцогу Вильгельму. Но враги готовили королю Гарольду жестокие удары. Против него выступили Рим, честолюбивый нормандский герцог и даже брат Тостиг, оказавшийся государственным изменником. Нортумбрия не пожелала признать его своим эльдорменом, и он в досаде покинул Англию, ел во Фландрии хлеб изгнания, надеясь дожидаться благоприятного случая, чтобы получить свою долю власти. С этой целью он вошел в тайные сношения с Вильгельмом. В 1066 году нормандский герцог позволил Тостигу совершить нападение на английское побережье, и королевскому брату удалось захватить остров Уайт. Однако на этом и закончились его воинские успехи. Король Гарольд, находившийся в эти тревожные дни в Лондоне, где он собирал военные силы, чтобы отразить готовившееся вторжение нормандцев, поспешил выйти против предателя, и Тостиг ушел с двенадцатью кораблями в Шотландию. Оттуда он завязал переговоры с Гаральдом Жестоким, конунгом Норвегии, суля ему золотые горы в случае нападения на Англию.

Норвежские викинги уже несколько столетий бороздили на своих кораблях моря и плавали по всем рекам Европы. Они жаждали военных приключений. Они всюду чувствовали себя дома, но особенно влекло их туда, где в изобилии можно было найти серебро, меха, греческие ткани, шелк. Если им оказывали достойный отпор, они готовы были торговать, а при случае захватывали власть в каком-нибудь доверчивом городе, когда в нем не хватало единения между гражданами. Их птицеобразные ладьи, носившие имена драконов и змей, можно было видеть у причалов Новгорода и в знаменитой константинопольской бухте Золотом Роге, в Сицилии и в Египте.

Но Гаральд, сын Сигурда, по прозвищу Жестокый, не был беспокойным пиратом-викингом. В молодости он, правда, вел скитальческую жизнь, богатую событиями, но, заняв норвежский трон, он стал подумывать не о дерзких набегах, а о завоевании соседних стран. Он женился на Елизавете, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. От нее конунг имел двух дочерей — Марию и Ингигерду. Двое его сыновей — Олаф и Магнус — родились от наложницы Торы. За годы своих странствий и военной службы у греческого императора Гаральд накопил большие средства, рассказывали, что среди его сокровищ находится чудовищный слиток золота, который с трудом могут поднять двенадцать сильных воинов.

Когда к конунгу явились послы из Шотландии и стали уговаривать произвести нападение на совершенно беззащитные, по их словам, северные берега Англии, — может быть, в расчете, что норвежец удовольствуется добычей, а королем делает их господин Тостига, — Гаральд охотно принял заманчивое предложение. На его призыв отправиться в далекий поход, обещавший славу и богатство, откликнулась половина мужского населения Норвегии. Взяв с собою в путь королеву Елизавету, обеих дочерей и сына Олафа, Гаральд отплыл к Оркнейским островам.

Между тем деятельный английский король собрал большие воинские силы, готовясь отразить ожидавшееся со дня на день нашествие нормандцев. Королевское войско состояло не только из закаленных в боях дружинников — тэнов, но и из мирных поселян, только во время войны бравших в руки оружие — тяжелые мужицкие топоры. Английские ратники были призваны еще зимой, бросили свои нивы и отары овец и очень тяготились военной службой, заключавшейся в скучной охране морских берегов. Грабежей они не предпринимали, а добыча тоже не могла служить приманкой для честных людей. Кормиться воинам приходилось за счет местного населения, а это обстоятельство не доставляло большого удовольствия жителям тех областей. В тот год хлеба поспели рано, необходимо было поторопиться с уборкой урожая. В сентябре Гаральд уже никакими силами не мог удержать ратников и скрепя сердце распустил часть войска, оставил путь к Лондону открытым для врагов. Воины поспешно разошлись по домам, а король вернулся в столицу.

В это время норвежские корабли отплыли от Бергена и взяли направление на полдень. Плавание проходило в благоприятных условиях, без бурь и слишком сильных ветров, но Гаральда одолевали черные мысли. Скальды рассказывают, что порой его мучили тяжелые сны, грозили мрачные предзнаменования. Однажды на корму королевского корабля опустился страшный ворон и зловеще закаркал. В другой раз, когда корабли плыли мимо небольшого каменистого острова, на одном из утесов вдруг появилась старая женщина с седыми космами, как у волшебницы. В жалких лохмотьях, едва прикрывающих ее тело, она размахивала руками и затянула хриплым голосом старинную песню:

Куда вы плывете,  
в какой предел?  
Возьмите, возьмите  
меня с собой!  
Где мой высокий  
и теплый дом?  
Погреть бы руки  
мне над огнем...

— Почему она поет такую неприятную песню? — спросила конунга Елизавета.

— Очевидно, ею владеет безумие. Не обращай внимания на эту несчастную старуху, — хмуро ответил Гаральд.

Ветер развевал седые космы колдуньи. Старуха пела:

Куда вы плывете?  
Ждет война смерть.  
Вернитесь, вернитесь  
домой скорее!  
Зеленое поле,  
красная кровь,  
черные птицы  
трупы клюют...

— Но как она живет среди этого пустынного острова? — удивлялась Елизавета. — Чем питается на такой бесплодной земле?

— Собирает птичьи яйца, — предположил конунг. — Или, может быть, ловит рыб руками в мелкой воде.

— А зимой?

— В зимнее время прячется в какой-нибудь норе.

Торд, ближайший друг короля, тоже видел зловещий сон. Будто бы по берегу моря шло многочисленное войско и впереди ехала на костистом коне

женщина с головою волка и пожирала людей. Она запихивала обеими руками в свою ужасную пасть кровавые куски мяса и тотчас искала глазами новую жертву.

— Скажи, что означает мой сон, конунг? — спросил Торд.

Гаральд рассмеялся.

— Победу означает твой странный сон!

Так норвежцы приплыли к Оркнейским островам, и жившие там воины присоединились к армии конунга. Здесь Гаральд оставил жену и дочерей, а сам с Олафом направился на кораблях в Англию, к устью реки Туны. Услышав о высадке норвежцев, к ним поспешил присоединиться со своими шотландцами Тостиг. С ним пришли также ирландцы и воины, приплывшие сюда из Фландрии и Исландии. Увы, все это были люди, уже обреченные на съедение волкам и воронам, хотя на берегу никого не оказалось, чтобы помешать высадке викингов.

Норвежские корабли бросили якорь у левого берега реки Оузы, недалеко от селения Рикол, и воины Гаральда принялись опустошать окрестности. Только небольшой отряд под начальством Олафа был оставлен для охраны лагеря на побережье, а главные силы под предводительством конунга и Тостига двинулись к городу Йорку.

Но во всех соседних областях немедленно поднялся народ, чтобы выступить против врага. Английских ратников повели графы Эдвин и Моркар, и среди их войска было немало монахов и священников, пришедших сюда с оружием в руках. Битва произошла на месте, называемом Фулфордскими воротами. Сначала взяли верх англы. Однако Гаральд, вооруженный двуручным мечом, сам повел викингов в бой. Английские ратники дрогнули и обратились в бегство. Это случилось в среду, а уже в воскресенье Йорк сдался врагу. Жители этого города признали Гаральда своим королем.

В Лондоне, где царило замешательство, не знали, какое принять решение. Король как бы очутился между двух огней. Идти на освобождение северных областей означало, что будет обнажен южный берег, где ждали высадки Вильгельма. Однако весть о падении Йорка достигла столицы в тот же день и укрепила мужество короля. Опасность на севере была непосредственной, скандинавы грабили английские земли, жгли селения, и вся Нортумбрия подпала под власть норвежского конунга. Герцог же еще не высадился, и благоприятный для него ветер медлил дуть в сторону Англии. В надежде на затянувшееся безветрие король Гарольд решил рискнуть и бросился на скандинавов с намерением разгромить их, а потом вернуться в Лондон и снова поджидать Вильгельма. Английский король был тяжело болен, однако мужественно превозмогал недуг, скрывая свое болезненное состояние даже от близких людей. Войско его двигалось днем и ночью, и вскоре король уже вступил в Тодкастер — северную столицу Англии. Здесь Гарольд был встречен с радостью, потому что местные распри утихли перед лицом общей опасности.

Между тем норвежский конунг уже вел себя в Йорке как полновластный правитель, издавал первые распоряжения, распределял должности и очень удивился, когда увидел с городской стены облако пыли, поднимающееся на дальней дороге. На солнце блеснуло оружие... Приближались английские отряды.

Когда английское войско приблизилось к Йорку, король Гарольд увидел, что по ту сторону реки, на которой расположен город, дымились костры норвежского лагеря. Вскоре туман рассеялся, и на равнине можно было рассмотреть отряд всадников. Впереди ехал воин в блистающем серебряном шлеме и длинном голубом плаще, закрывавшем круп вороного коня.

— Кто этот высокий человек? — спросил английский король у своих спутников.

Ему объяснили, что это конунг Гаральд, сын Сигурда, прозванный Жестоким.

Но в норвежском лагере уже началась суматоха. Скандинавы не ожидали, что английское войско появится так быстро. Многие из викингов были даже без кольчуг. Сердце Тостига дрогнуло. Он даже советовал Гаральду отступить к кораблям. Однако сын Сигурда привык к победам и стал строить своих воинов в боевом порядке. И вдруг его скакун, испугавшись полевой мыши, поднялся на дыбы и сбросил всадника на землю. Наблюдавший издали за тем, что происходит на неприятельской стороне, английский король воскликнул:

— Добрая примета!

Смутившись от такой неожиданности, норвежский конунг старался сгладить неприятное впечатление, произведенное его падением.

— Со всяким может случиться! — сердито крикнул он, снова очутившись в седле. — Кому не приходилось падать с коня?

Викинги мрачно молчали.

Прикрыв глаза от солнца рукой, английский король продолжал смотреть на равнину, где поспешно строилось вражеское войско.

— Видели, как норвежский предводитель валялся, весь в репьях? — спросил он со смехом окружающих.

Придворные тоже смеялись.

— Гаральд взял дородством, — продолжал король, — но плохой признак, что он падает с коня перед самой битвой.

Так он подсмеивался над своим противником.

Оба строя уже изготовились к бою. Английский король еще в походе сочинил стихи, в которых прославлял мужество и доблесть своих ратников. По его приказанию один из королевских певцов приблизился к реке и стал петь эту песню. Викинги слушали его, опираясь на секиры, и никто не нарушал тишину. Таков был обычай. Гаральд, сын Сигурда, тоже внимал стихам, ревниво крутя светлый ус. Потом промолвил:

— Неважные стишки. Попробую сочинить получше.

Норвежский конунг считался прославленным поэтом. Его стихи скальды распевали на пирах в Киеве и в далекой Сицилии. Сняв шлем, Гаральд отдал его оруженосцу, пригладил рукой волосы, и песня полилась из его уст, как струи звонкого ручья. Конунг пел вдохновенно, и ветер доносил сочиненные им стихи до слуха врагов.

Кто воин в душе,  
тот ищет упоенья  
в любви и в битвах  
на корабле морском.  
Не тишины, а бури  
прекрасной ищет он.  
Пусть враг не ждет  
колени преклоненья!  
Не прячься, сердце, за щитом!  
Внемли, как рог зовет на бой,  
грохочет в небе гром...

Теперь настала очередь слушать английскому королю. Он кусал нижнюю губу от ревности, но его благородное сердце отдавало должное врагу, обладавшему поэтическим даром. Вместе с песней к нему долетал едва слышный звон струн.

Отважный предпочтет  
не в теплом доме,  
не на соломе,  
а в жаркой битве умереть.  
И девы с синими глазами,  
что пламенно любили нас,  
заплачут горестно, услышав,  
что в грохоте сраженья  
настал наш смертный час...

Все английское войско внимало этой песне — король, тэны, простые ратники, даже епископы и монахи, недовольно поджимавшие губы, когда в ней говорилось о грешных любовных чувствах. Но английскому королю было тяжело, что его родной брат находится в стане врагов. Гарольд послал несколько знатных всадников к неприятельскому лагерю, чтобы они вызвали Тостига и убедили изменника вернуться к своим. Он знал уже, что тот находится в лагере, охраняя с фламандцами тыл норвежского строя.

Королевские посланцы сделали широкий круг на равнине и подскакали к наспех поставленному частоколу. Один из них, приложив корабликом руки ко рту, стал кричать:

— Эльдормен Тостиг! Где ты?

В ответ неслись ругательства, грубые шутки, смех. Но посланец продолжал звать:

— Тостиг! Эльдормен Тостиг!

Наконец над заостренными бревнами частокола появилась голова королевского брата.

— Что вам надо от меня? — спросил он подъехавших поближе всадников и остановил движением руки своих лучников, уже собиравшихся метать стрелы в дерзких англох.

Знатный саксонский воин с седою бородой начал убеждать предателя:

— Твой брат король велел сказать, что обещает тебе полное прощение, если ты оставишь вражеские ряды. Он предоставит вернувшемуся треть королевства...

Тостиг, великий честолюбец и недалекий человек, но унаследовавший от отца твердость духа и верность данному слову, мрачно спросил:

— А что брат обещал моему союзнику, королю Норвегии?

— Семь футов английской земли.

— И даже немного более, — прибавил со смехом молодой белозубый рыцарь, чувствовавший всеми фибрами своего существа радость бытия и испытывавший большое удовольствие, что принимает участие в таком ответственном королевском поручении. — Ведь норвежский король очень высокого роста.

Тостиг помолчал, раздумывая о чем-то, и сказал:

— Скажите брату, что сын Годвина не предаст сына Сигурда! Так и передайте ему!

Всадники повернули коней и поскакали прочь. Из-за частокола уже летели оперенные стрелы и с грозным свистом пронеслись над головами посланцев. Одна из них вонзилась в спину того молодого воина, что только что смеялся над Гаральдом. Рыцарь вскинул руки и упал с коня, но нога юноши застряла в стремени, и жеребец потащил труп по полю, другие воины не укротили его.

Два государя были готовы начать сражение. Их имена различались одной буквой: английского звали Гарольд, норвежского — Гаральд. Отважный

скандинавский конунг, привыкший к легким победам, не ожидал, что его противник нападет первым, и даже не предпринял никаких мер, чтобы разрушить мост на реке, разделявшей два стана. Но запела труба, и англы двинулись на врага. Все ускоряя шаг и все крепче сжимая в руках тяжелые топоры, ратники спустились с холмов на долину. При некотором замешательстве, обычном в подобных случаях, английское войско переправилось через реку и ринулось на викингов. Их вел сам король. Началась ужасная битва.

Только теперь конунг увидел Гарольда и бросил через плечо стоявшему за ним Торду:

— Ну что ж! Он не весьма высокого роста, но неплохо сидит в седле.

Англы сильно теснили норвежцев, шотландцев и фламандцев; английское королевское знамя, красное, как мак, и с золотой крылатой змеей на нем, гордо билось на ветру. В сражении принимали деятельное участие с обеих сторон лучники. Стрелы свистели кругом. Внезапно одна из них поразила Гарольда Жестокоего. Дерзкий, он сражался в тот день без кольчуги и шлема, и теперь железное жало впилось ему в дыхательное горло. Захлебываясь собственной кровью, конунг упал на землю и бессильно выронил оружие. Это могло случиться значительно раньше, когда он воевал в Африке, или в Апулии, или под стенами Солуни, а произошло на английской земле.

Начальствование над войсками принял Тостиг. Однако ему нелегко было сражаться против собственного брата. Гарольд еще раз послал к нему вестника с предложением положить оружие и прекратить битву. Тостиг колебался. Но викинги заявили, что предпочитают умереть на том самом поле, где погиб их предводитель, чем спасти свою жизнь по милости победителя. Бой продолжался. Вскоре пал смертью храбрых и Тостиг. Ряды норвежцев уже поредели. Тогда они признали себя побежденными и прекратили битву. Считая, что главная опасность угрожает королевству с юга, от герцога Вильгельма, Гарольд поспешил заключить мир с викингами. Увы, из двух сотен скандинавских кораблей, приплывших к берегам Англии, в обратный путь пустились только двадцать четыре. Их оказалось достаточно, чтобы увезти в родные пределы королевскую семью и остатки норвежского войска. На одном из кораблей повезли в Норвегию тело Гарольда.

Впрочем, потери англов были тоже очень велики. Гарольд немедленно возвратился в Йорк, чтобы дать своим воинам заслуженный, хотя и краткий, отдых. В столицу поскакал рыцарь с известием о победе. Уже на другое утро, едва Лондон пробудился от сна, гонец был у городских ворот, и его тотчас обступили взволнованные женщины, торопясь узнать, что случилось с их мужьями или сыновьями, живы ли они. Вестник едва мог пробиться сквозь толпу к королевскому дворцу, хрипло выкрикивая с коня:

— Победа! Великая победа!

Первой услышала эти призывы во дворце маленькая Гита и побежала к братьям, которые были ленивцы и сони. Хлопая в ладоши, она сообщила им радостную весть. Но запыленный рыцарь со следами крови на одежде уже поднимался по лестнице к королеве, бряцая мечом по каменным ступеням.

Эдит не проживала больше в королевском дворце. Ее поселили в тихом монастыре на улице св. Фомы. Не теряя времени, Гита помчалась к матери в сопровождении служанки, и так Эдит, по прозвищу Лебединая Шея, узнала, что ее король жив и невредим.

Но Гарольд на некоторое время задержался в Йорке, весьма опечаленный смертью брата и многих своих сподвижников. Кроме того, нельзя было не отпраздновать такую победу. Король сидел за пиршественным столом. Мертвецов уже похоронили и пропели над ними положенные псалмы, а оставшиеся в живых радовались жизни и ликовали. Таков страшный закон войны.

Воины пили крепкое черное пиво, смеялись и предвкушали объятия своих жен и любовниц, потому что никого так страстно не ласкают женщины, как победителей. Гарольд только что поднял чашу за здоровье героев, как в зале появился вестник с озабоченным лицом, тихо приблизился к королю и стал шептать ему на ухо о потрясающем событии.

#### IV

Все это было ровно десять лет тому назад. Теперь Гита в русской стране. Над Переяславлем — звездная зимняя ночь. Наслушавшись рассказов, Владимир уснул, уткнувшись лицом в розовую подушку. Заложив за голову тонкие нагие руки, молодая княгиня смотрела мысленным взором сквозь бревенчатые стены горницы. Где-то в отдалении выли волки, или, может быть, то половцы рыскали в снежных полях и подавали знаки друг другу. Но она думала о другом. Перед глазами еще раз проплывало милое детство, которое никогда не вернется. И вдруг в памяти опять вспыхнули страшные образы войны, искаженные от злости лица, окровавленный плат, которым была обмотана голова раненого вестника с гастингского поля...

Когда Гарольд по соображениям государственной необходимости женился на Эльгите, Эдит, ее возлюбленная мать, в слезах покинула дворец и удалилась в назначенное ей аббатство. Король непрестанно заботился о своей бывшей подруге и доставлял для нее все необходимое. Иногда она приходила тайком на дворцовый двор, чтобы взглянуть на своих детей. Впрочем, Гита часто бегала к ней в монастырь, нарушая запрет короля, считавшего, что по своему положению его дети должны жить вдали от черни и от всего того, что может дать пример, не достойный для подражания. Мать прижимала ее к себе с грустью, а потом отводила на длину рук и рассматривала внимательно, точно хотела увидеть, как в зеркале, на этом свежем детском лице свою прежнюю красоту, увядшую от многочисленных родов и жизненных огорчений. Гита унаследовала от матери зеленоватые глаза, льняные волосы, стройность нежной шеи. От отца ей достался сельский румянец. Но она была дочерью короля, и это обстоятельство наложило особый отпечаток на весь ее облик. Девочка гордо поднимала голову, разговаривая с придворными, с малых лет привыкла отдавать приказания, считала естественным делом, чтобы ей прислуживали за столом, одевали ее и раздевали, хотя она жила как в полусне, улыбаясь каким-то смутным своим мечтам. Однако маленькая принцесса видела вокруг себя не только слуг и грубоватых тэнов, но и образованных людей — говоривших по-латыни епископов и глубоко-мысленных астрологов, следивших с королевской башни за течением небесных светил. Гарольд хотел, чтобы его дети изучали науки, и маленькая Гита прилежно читала огромную Псалтирь. Она водила пальчиком по строкам, не всегда понимая написанное в книге, и детское внимание особенно привлекали книжные украшения на широких пергаменных страницах — то странные цветы, которые снились ей потом на небесных лужайках, то белые агнцы, то львы, свирепые, но с добродушными человеческими глазами, то изображенные золотом и киноварью элфранты и пальмы. Гите приходилось видеть во дворце еще одну книгу, где рассказывалось о сотворении мира, пребывании Адама и Евы в раю, об убийстве Авеля братом его Каином у подножия дымящегося жертвенника и о многих других вполне достоверных событиях. Ведь иначе не было бы написано об этом. Так уверял ее старый аббат, обучавший королевских детей чтению.

Гита еще не понимала тогда, что самое непоправимое — смерть, вдруг

пресекающая человеческое бытие. Когда среди всеобщего волнения отец надел боевую кольчугу и спешно покинул дворец, чтобы сразиться с викингами, он не взял с собой ни одного из сыновей, так как мальчики еще не пришли в тот возраст, когда мужчины носят меч на бедре и становятся способными действовать боевым оскордом. Гите было тогда девять лет. Вскоре наступила ночь, и в положенный час дети стали готовиться ко сну в прохладной комнате со сводчатым потолком. Но перед тем, как уснуть, братья переговаривались между собою, мечтая вслух, как завтра поедут в королевскую рощу охотиться на зайцев или переправятся в челноке на другой берег реки и будут ловить силками скворцов, а потом посадят их в клетку, чтобы наслаждаться птичьим пением. В тот вечер произошла ссора у Эдмунда с Магнусом из-за ножа с костяной ручкой. Магнус уворовал его у брата и спрятал в своей постели, а Эдмунд случайно обнаружил похищенную вещь, которой он очень дорожил. Таким лезвием удобно было вырезать в лесу палки и мастерить игрушки. Завязалась драка, и Магнус замахнулся острым ножом на брата, желая его убить, как некогда Каин Авеля. Гунгильда смеялась, ее развлекала эта ссора, а Гита заплакала и остановила злых драчунов. Братья улеглись спать, тяжело дыша и с ненавистью глядя один на другого, а старая нянька Мальма, спавшая на полу в той же комнате, на подстилке, как собака, ворчала, что расскажет обо всем королю, когда он возвратится во дворец.

Гарольд был в Йорке. Но измена Тостига сделала свое черное дело, хотя Лондон еще торжествовал по поводу победы, одержанной над скандинавами. Особенно радостно шумели в харчевнях всякие шерстобиты, гончары, каменщики, корабельщики и все, кто зарабатывал свой засушенный хлеб тяжелым трудом, потому что эти люди очень хорошо чувствовали запах английской земли, разрывая ее мотыгой, мяли в руках ее липкую глину, ощущали шелковистость мягкой волны. Только королева Эльгита растерянно улыбалась, не зная, радоваться ей успеху короля или сокрушаться от мысли, что при всяком усилении королевской власти ее братья Морнер и Эдвин могут потерпеть ущерб в своих правах. Эдит, подпирая звенящую от бессонницы голову рукой, с печалью смотрела в окошко, в надежде, что скоро король проедет по улице св. Фомы, направляясь во дворец, и тогда она хоть издали посмотрит на того, кого любила больше жизни.

Все с нетерпением ждали возвращения Гарольда в Лондон, но в городе уже ползли тревожные слухи о неминуемой высадке страшного нормандского герцога.

Для выполнения своих дальновидных планов Вильгельм уже некоторое время тому назад начал строить большой флот. Леса и тихие гавани Нормандии наполнились стуком секир и запахом смолы. Тысячи кораблестроителей стругали, напевая веселые песенки, заколачивали медные гвозди, укрепляли мачты, прилаживали снасти и рули. Значительную часть судов подарили герцогу бароны и епископы, поддерживая его в богоугодном предприятии. Всем было известно, что теперь лучший дар для нормандского правителя — хорошо оснащенный корабль. Тот, на котором он сам намеревался отплыть на завоевание Англии, преподнесла мужу как вещественный знак супружеской любви герцогиня Матильда. Он назывался «Мора». На корабельной корме установили позолоченную фигуру отрока, трубящего в рог из слоновьей кости, а на мачте подвесили огромный фонарь, защищенный от ветра стеклами. Было построено несколько сот кораблей.

Но, готовя мощный флот и оружие, герцог не оставлял без внимания и церковные дела. Ему хотелось показать себя перед папой примерным сыном церкви, якобы предпринимавшим поход с целью обратить на истинный путь заблудших овец туманного острова, не очень-то покорных Риму. Для раз-



яснения некоторых вопросов поспешно созвали собор в Бонневилле. Приор монастыря в Беке, прославленный богослов Лафранк, был назначен в новое аббатство — Сен-Стефен, построение которого доказывало христианскую ревность герцога. Из политических соображений он даже решился с Матильдой принести в жертву свою старшую дочь Цецилию, посвятив ее с младенческих лет богу.

В месяце августе 1066 года корабли приготовились к отплытию, но пока стояли в устье реки Див. Теперь не хватало только благоприятного ветра, и воины с нетерпением ждали перемены погоды. Численность их определялась в десять тысяч человек, и всем в положенное время платили жалованье. Вместе с тем Вильгельм строго карал всякие насилия и грабежи. Будто бы даже беззащитные женщины и безоружные путники могли спокойно ходить по дорогам и не опасаться воинов. Стада мирно паслись на зеленых лужайках. Так, по крайней мере, докладывали герцогу его приближенные.

Ветер упорно продолжал путь в восточном направлении. Войско томилось от бездействия, а запасы приходили к концу. Вильгельм решил перевести воинские силы поближе к реке Сомме. Каждое утро он с тревогой поднимал свои взоры на петушка, что поблескивал на колокольне церкви Сан-Валери и показывал, в какую сторону дуют ветры. Уже наступили дождливые дни, и небо было покрыто облаками, однако направление ветра не менялось, и, чтобы отвлечь внимание воинов от этой неприятной обстановки, герцог велел монахам вынести из аббатства раку с останками Валери, очень почитаемого святого, и поставить ее под открытым небом на широком ковре. Так все войско могло созерцать святыню и молиться о ниспослании благоприятной погоды. Кроме того, каждый оставлял в пользу монастыря свой денежный дар. Скоро рака исчезла под холмиком из серебряных и медных монет.

27 сентября ветер неожиданно переменялся. Вильгельм не стал дольше ждать и отдал приказ об отплытии. Впрочем, никакой необходимости понуждать воинов не было. Все толпами стекались на побережье, чтобы первыми подняться на свой корабль. Суeta в гавани напоминала разворошенный муравейник. Одни несли на плечах связки копий, другие устанавливали мачты или поднимали паруса, третьи впрягались в повозки, доставлявшие на корабли бочонки с вином и другие припасы. Большую часть продовольствия Вильгельм надеялся найти на месте, когда высадится на острове. Конюхи не без труда загоняли на ладьи лошадей, волновавшихся в предчувствии морского путешествия. Тревожное конское ржание, музыка и человеческие голоса наполняли воздух на протяжении многих миль. Но крики, звуки дудок и рогов вдруг покрыла мощным голосом медная труба, возвестившая об отплытии.

Суда двинулись в путь, когда уже на землю спустились сумерки. Впереди торжественно шел корабль Вильгельма. Его огромный масляный светильник покачивался на мачте и вел за собой весь флот, служа ему путеводной звездой. Так плыли всю ночь. Проснувшись утром, герцог увидел, что в море идет только «Мора», и приказал воину подняться на мачту, чтобы посмотреть, где остальные корабли. К своему ужасу, дозорный ничего не увидел, кроме неба и воды. Тогда Вильгельм распорядился приготовить себе завтрак, и для него откупорили первый бочонок с вином. Не успел он осушить чашу, как вдали показались еще четыре корабля. За ними медленно двигался весь флот.

Уже впереди виднелся английский берег. На нем не было никого, кто мог бы помешать высадке. Все-таки корабли причалили в строгом порядке, борт к борту. Как только якоря рухнули в воду, воины сняли мачты и стали выгружать оружие.

Первым ступил на чужую землю Вильгельм. Однако в своем тяжелом вооружении он зацепился за что-то и упал и так стоял на четвереньках, опираясь руками о песок. С кораблей донесся всеобщий вздох ужаса. Это была, конечно, плохая примета, но и при таких обстоятельствах находчивость не покинула герцога. Окинув взглядом побережье, он провозгласил:

— Смотрите! Вот я беру это королевство обеими руками!

Какой-то расторопный воин подбежал к соседней хижине, вырвал из крыши пучок соломы и принес ее герцогу в знак того, что отныне все в этой стране принадлежит ему.

Высадка происходила в городе Певенси, где находились удобные для кораблей причалы. На другой день, когда праздновалась память архангела Михаила, особенно чтимого в Нормандии, войско двинулось на запад. Опорным пунктом для военных действий был избран Гастингс, захваченный без большого сопротивления. После непродолжительного совещания с братом, епископом Одо, герцог решил построить здесь временное укрепление. Но норманнцам удалось только вырыть ров, сделать невысокую насыпь и поставить на ней частокол.

В день высадки некий английский рыцарь, владения которого находились недалеко от Певенси, вздумал совершить прогулку по побережью и не поверил своим глазам, когда увидел, что в городок приплыло такое множество кораблей. Он спрятался за скалой и наблюдал, как норманнцы выносили с судов оружие и выводили боевых коней, а плотники с топорами в руках начали ставить палисад для охраны флота от неожиданного нападения. Даже не очень сообразительному рыцарю нетрудно было догадаться, что здесь происходит. Он дождался наступления темноты и пробрался в свой замок, а затем, схватив меч и копье, помчался на самом быстром коне в Лондон, чтобы предупредить короля. Там ему сказали, что Гарольд находится в Йорке, и гонец поскакал на север, прибыв в этот город в тот самый час, когда начался королевский пир. Почти одновременно явились из Гастингса другие вестники и со слезами на глазах сообщили королю о притеснениях и грабежах норманнцев. Неприятель все уничтожал на своем пути, не давая пощады ни старикам, ни женщинам, захватывая скот и имущество мирных жителей, так как Вильгельм считал, что это лучший способ вызвать у воинов желание воевать.

Гарольд немедленно созвал военный совет, на котором все обещали ему, что скорее умрут, чем признают своим королем Вильгельма. Ободренный поддержкой знатных рыцарей, английский король поспешил навстречу врагу. Со всех сторон к его войску присоединялись ратники. Только графство Мерсийское осталось равнодушным к общенародному бедствию. Не оказала деятельной помощи королю и Нортумбрия, где правили графы Морнер и Эдвин, братья королевы. Они решили выждать время и посмотреть, как развернутся события. Зато с юга, изо всех областей, лежавших между рекой Тамар и океаном, а также из Кента под знамя с золотым драконом стекались все способные носить оружие. Дядя короля Эльфвиг, приор Винчестерского аббатства, явился с двенадцатью монахами, — но не для того, чтобы молиться, а готовыми сражаться с топорами в руках. Так же поступил и аббат из Питерборо, по имени Леофик. Между прочим, он был одним из немногих, кому удалось остаться в живых после этой ужасной битвы и возвратиться домой.

Король Гарольд спешил в Лондон. Но в пути он остановился в любезном ему Вальтаме, чтобы дать отдых людям и коням и чтобы подумать о грядущих событиях.

Затворившись вечером в церкви, король молился в одиночестве, распростертый на каменном полу. Над алтарем блестели розовым цветом лампы. В церкви не было ни души, так как дверь заперли на засов. Только пономарь Туркил, притаившись, выглядывал из ризницы, где он нечаянно уснул после богослужения, хлебнув в тот день тайком церковного вина. Никто не мог назвать этого служителя церкви плохим христианином. Он благожелательно относился к ближним, но порой получал от священника оплеухи за кражу виноградного вина, предназначенного для евхаристии и хранившегося в глиняном сосуде в ризнице. Когда уровень его заметно понижался, старый аббат выговаривал ему:

— Ты, наверное, будешь гореть на вечном адском огне!

Туркил опускал долу глаза и уверял священника, что он тут ни при чем, а вино само собой испаряется от летней жары. Однако аббат был образованным человеком, даже прочел Гиппократ и, кроме того, по собственному опыту знал, что красный нос — верный признак пристрастия к виноградному соку. Поэтому он более тщательно запирает ларь, в котором хранился драгоценный сосуд. В таких случаях огорченный пономарь обычно отправлялся на берег Темзы, в грязную харчевню своего приятеля Бена, и пил там пиво, если у него звенели в кармане штанов медные монеты, полученные от какой-нибудь благочестивой вдовицы за своевременное возжение лампы в день поминовения покойного, хотя этот простецкий напиток не мог, конечно, сравниться по вкусу и качеству с церковным вином.

Туркил поглядывал из-за колонны на распростертого короля, в глубине души опасаясь, как бы ему не влетело за такое любопытство. Но делавшийся с каждым годом все более рассеянным аббат забыл в тот день запереть ларь, и в чреве у пономаря чувствовалась приятная теплота. Вдруг ему померещилось, что голова Марии, раскрашенной в розовое и голубое статуи, у подножия которой лежал король, медленно склоняется. Точно богородица хотела пожалеть благородного воина, отправлявшегося на поле битвы. Сомнения не было! Позолоченная корона опускалась все ниже и ниже...

Пономарь протер кулаками глаза. Нет, как будто бы статуя оставалась совершенно неподвижной и в прежнем положении. В страхе он стал шептать латинские возгласы, какими отвечал священнику во время обедни.

В тот же вечер Туркил рассказал о чуде трактирщику Бену, а приятель поделился этим сообщением на ночном ложе с женою, и так как его подруга отнюдь не отличалась молчаливостью, то вскоре о том, что произошло в Вальтаме, узнал весь Лондон, и люди покачивали головами, толкуя это предзнаменование в дурную сторону. Дошла весть о видении и до старого аббата, и он поплелся посмотреть на статую. В самом деле, как будто бы голова мадонны не была прежде опущена так низко! Но большой уверенности старик не испытывал. Позвали Туркила. Однако добиться от него ничего не удалось. Впрочем, аббат вспомнил, что истина часто таится от мудрых и открывается простодушным, как дети, вроде этого пьянчужки.

Мономах услышал о чуде со статуей из уст Гиты, десять лет спустя. Она хорошо запомнила некоторые события. Вестник из-под Гастингса, молодой рыцарь и певец, в кольчуге, но без шлема на голове, имел совсем другой вид, чем тот, что недавно привез сообщение о победе над викингами. Его белокурая голова была обмотана окровавленной тряпичей, может быть оторванной от рубахи какого-нибудь убитого воина. Оповестив королеву и придворных, юноша поспешил найти также Эдит, выполняя последнюю волю короля. Сидя на стульце, он рассказал ей о поражении и гибели Гарольда. Но мать требовала подробностей.

— Мы укрепились на холмах Сенлака... Король велел поставить там частокол. Красное королевское знамя развевалось на ветру. Земля была как живая. И другое знамя возвышалось. На котором вышит сражающийся воин...

Мать всхлипывала. Весь Лондон наполнился в тот день плачем и воплями. Стенания слышались и во дворце и в хижинах бедняков.

— Это произошло с пятницы на субботу. Мы всю ночь не смыкали глаз. Коротали время за кубками эля и распевали песни. В неприятельском лагере стояла тишина. Нам говорили, что у нормандцев много монахов. Потом оказалось, что это лучники с выбритыми головами. Но почему никто не напомнил нам, что перед битвой воину необходимо подкрепиться сном? Хотя бы кратковременным. А мы веселились, как дети. Нас окрыляла недавняя победа. Когда же стало всходить солнце, мы приготовились к бою. Король объезжал наши ряды. Призывал быть стойкими и говорил, что если враг одолеет, то это будет гибелью Англии.

В ответ на эти слова посылались рыдания. Мать плакала. Дети смотрели на вестника как на явившегося с того света.

— Король объяснял нам, что нормандцы искусные всадники. Единственная возможность сражаться с ними — стоять непоколебимо. Впрочем, место для сражения было выбрано удачно. Коннице трудно нападать на пеших воинов, если они укрепятся на холмах.

— В какой же час началась битва? — скорбным голосом спросила Эдит.

— Задолго до полудня.

Вестник замолчал, поникнув головой. Но, видя, что все смотрят на него в ожидании рассказа, опять заговорил охрипшим голосом:

— Вдруг мы увидели, что пред нашим строем появился вражеский всадник в кожаном панцире с нашитыми медными бляхами и начал ловко подбрасывать в воздух копьё и тут же ловил его на всем скаку. Ничего подобного я никогда раньше не видел. Потом он запел песню. Голос у него был сильный, но ветер относил слова. Мы могли понять, что речь идет о каком-то Роланде. А когда он стал выкрикивать слова, обидные для нашего короля, несколько английских воинов спустились с холма и помчались на поле, чтобы поочередно сразиться с дерзким. Я тоже оказался среди них. Но нормандский певец заколол первого подскакавшего к нему копьём. Второго он поразил мечом, и тот тоже свалился с коня. Тогда настала моя очередь. Нормандец ударил меня клинком по шлему. Видите?

Рыцарь склонил голову, показывая пальцем на рану.

— Меняю третью повязку. Впрочем, мне тоже удалось нанести ему сильный удар. Певец упал на землю, как мешок, набитый шерстью. На месте поединка поднялось облако пыли. Я ускакал, успев схватить за узду коня противника.

— А другие воины?

— Они все остались лежать там. А лошади унеслись куда-то с развевающимися гривами.

Эдит кивала головой, понимая, что это только незначительный эпизод сражения.

— Король улыбнулся мне и поздравил с победой. Потом спросил, кто погиб из наших. Я назвал их имена.

Гита смотрела доверчивыми детскими глазами на молодого воина, видевшего, как погиб ее отец. Он уже рассказал об этом в немногих словах, но Эдит жаждала подробностей, желая запечатлеть в своей памяти последние минуты любимого человека.

Она жалела и этого юношу, как собственного сына, и предложила ему:

— Выпей пива. У тебя совсем пересохло в горле.

Рассказывая о сражении, вестник снова переживал все его перипетии. Рана тоже давала себя знать. Однако он оказался одним из немногих счастливцев, которым удалось пережить тот страшный день. Он скакал всю ночь. Перед ним на несколько мгновений широко раскрылись лондонские ворота и опять затворились.

— Враги осыпали нас стрелами. В воздухе шумело, как во время дождя. Затем на частокол с дикими криками двинулись пешие воины. Мы встретили их камнями из пращей, а потом приняли в топоры. Они отхлынули, покрыв своими трупами весь широкий склон холма.

— Король принимал участие в битве? — спросила Эдит, вытирая пальцами мокрые от слез глаза.

— Король сидел на белом коне и с высокого места наблюдал за ходом сражения. Там росли яблони. Я видел, как он снял боевую перчатку, сорвал румяное яблоко и стал есть.

Рассказчик снова умолк.

— Что же было потом?

— Потом? На нас пошла конница. Тысячи коней, изгибая шеи, вздымались по отлогому подъему. Но и конное нападение мы отбили без большого труда, и немало нормандских рыцарей остались лежать перед частоколом. Распространился даже слух, что пал сам Вильгельм. К сожалению, это не подтвердилось. Во время второго приступа герцог лично повел своих рыцарей. Может быть, он искал встречи с королем? Не знаю. Я стоял у самого края и видел, как кто-то из наших воинов метнул в Вильгельма копьё. Герцог упал среди ужасного смятения битвы, но ранен был только конь. Мы увидели, что герцог поднялся с земли и с палицей в руках кинулся на того, кто метнул копьё. На графа Гирда, брата короля. Нормандец нанес ему страшный удар, и граф рухнул как подкошенный. Больше он уже не встал. Вскоре погиб и другой королевский брат...

— Леофвин?

Вестник молча кивнул головой.

— А король?

— Король находился в тот час в другом месте. Когда же герцог понял, что частокол остался без должной защиты, он опять бросил на нас своих пеших воинов. Отступившие рыцари тоже повернули коней. В этом грохоте битвы королевские знамена еще развевались на холме. Но Вильгельм велел своим лучникам стрелять так, чтобы стрелы отвесно падали на стоявших за частоколом. Они посыпались на нас, как из облаков.

Рыцарь даже показал рукой, как падали стрелы.

— Король снова вернулся к знаменам. Он сражался теперь в одном ряду с простыми воинами. Стрелы продолжали свистеть. От них приходилось укрываться, поднимая щиты над головой. Щит короля был утыкан ими. Однако сам он был еще невредим.

Эдит сжала в тоске руки. На нее было страшно смотреть. Она как бы присутствовала при последних минутах возлюбленного.

— Что же случилось? — рассказывал молодой воин. — Вдруг одна из стрел с ужасающей быстротой вонзилась королю в правый глаз. У него хватило мужества не выпустить из рук оружие... Тотчас он вырвал стрелу из глазницы. Но тут же уронил меч и пал под знаменами...

Рассказ прервали рыдания Эдит. Гита тоже заплакала, прижимаясь к матери, но утешала ее:

— Не плачь! Не плачь!

— О чем теперь рассказать тебе, — сказал вестник, отводя взоры в сторо-

ну, чтобы не видеть непереносимое женское горе.— Со смертью короля участь сражения была решена. Нормандцы сделали еще одно усилие и ворвались за частокол. Среди неопишемого лязга железа, хриплых криков и стонов умирающих наша твердыня пала...

Хроники повествуют, что когда Гарольд упал, битва превратилась в избиение побежденных. Жадные руки тянулись к английским знаменам. Король, лежавший под их сенью, еще дышал. На него набросились несколько вражеских воинов и добили раненого ударами мечей. Один пронзил Гарольду грудь, другой отсек голову, третий изрубил труп на части и разбросал его ноги и руки. Говорят, что среди этих трех воинов, впавших в такое исступление и запятнавших себя этим поступком, был и граф Евстахий Булонский, фигура которого еще будет появляться на этих страницах.

Наступила ночь, и битва наконец утихла... Поле на огромном расстоянии усеяли мертвые тела. Нормандцы собирали валявшееся на земле оружие, снимали с убитых кольчуги и пояса, стаскивали даже рубахи, штаны и башмаки. Ведь каждая вещь имела свою ценность. Добычу можно было продать и на эти деньги купить себе коня, бочонок вина или заплатить за ласки молодой потаскушки. На том холме, где еще недавно развевались королевские знамена, Вильгельм велел водрюзить свой стяг с тремя поджарыми геральдическими львами Нормандии. Со всех сторон доносились жалобные призывы раненых англоv, умолявших, чтобы им дали напиток воды. Но никому уже не было дела до несчастных. Оставшиеся в живых желали отпраздновать свое торжество и победу. Они оттащили истекавших кровью людей и трупы в сторону, чтобы очистить место для пира.

Победители пировали всю ночь. Когда же наступило утро, с позволения герцога из соседних селений пришли на поле битвы милосердные женщины с кувшинами воды и напоили умирающих. Некоторые из них искали среди убитых своих близких. Они переворачивали нагие тела и рассматривали лица, обезображенные кровью запекшихся ран, с оскаленными зубами и полуоткрытыми глазами. А если узнавали родственников — мужа, отца или сына, — падали на колени и с плачем прикрывали их наготу своими платками.

Из Вальтамского аббатства явились монахи, чтобы достойным образом похоронить своего щедрого покровителя, и не смогли найти его в груди трупов. Но в этот час из Лондона прибыла та, что знала на теле Гарольда каждую родинку, знала все телесные приметы короля. Измученная Эдит всю ночь скакала по гастингской дороге, и монахи привели ее на поле битвы. Изувеченный до неузнаваемости, сын Годвина лежал неподалеку от того места, где во время сражения развевались английские знамена.

## V

Те дни были полны отчаяния. Погиб отец, исчезла мать. Она растаяла как дым, и никто не мог сказать, что случилось с нею. Может быть, она умерла от горя, когда нашла на поле битвы растерзанное тело своего короля? Для Гиты началась новая жизнь. Странствия привели ее в конце концов в Чернигов и Переяславль.

Когда Гита впервые увидела своего жениха, русского княжича Владимира Мономаха, у нее сжалось сердце. С этим человеком ей предстояло делить до гроба радости и горе. Перед нею стоял в парчовой шапке, опушенной бобровым мехом, молодой воин, не очень высокого роста, однако хорошего телосложения и с сильными, широкими плечами. На юноше был красный плащ, застегнутый на правом плече жемчужной пряжкой, а под плащом виднелась

длинная голубая рубаха. Он носил штаны из черного бархата, на ногах поблескивали золотыми узорами зеленые сапоги из мягкой кожи. По знаку отца княжич снял шапку, и когда Гита снова взглянула на жениха, то увидела его спокойные светлые глаза, высокий лоб, круглую рыжеватую бородку и такие же волнистые волосы, разделенные посредине опрятным пробором. Нос у молодого княжича был красивой формы, с горбинкой, а на щеках играл легкий румянец. Владимир улыбался ей смущенно. Гульгилла, одна из приближенных женщин, что сопровождали Гиту в русские пределы, шепнула ей, что юноша уже прославленный охотник...

Мысли Гиты снова перенесли ее в Англию. Вильгельм не позволил похоронить убитого короля с подобающими почестями и церковными обрядами. У этого человека в груди вместо сердца лежал кусок железа. Такие всегда преуспевают в своих предприятиях.

Старая мать Гарольда умоляла его:

— У меня пали три сына. Пожалей мою старость. Отдай мне хотя бы останки того, кто был королем Англии, и позволь похоронить в Вальтаме, чтобы успокоилась его благородная душа, а я уплачу тебе столько золота, сколько будет весить гроб.

Но герцог, опьяненный победой, кровью и вином, оставался неумолимым. Подставляя чашу виночерпию, подобострастно исполнявшему свои обязанности за столом победителя, Вильгельм сказал сквозь зубы:

— Скажите этой несчастной старухе, что сын ее был ненасытный честолюбец. Это по его вине лежат непогребенными тысячи трупов. Поэтому недостойн и он христианского погребения. Самое приличное место для его могилы — берег моря.

Без пения псалмов жалкие королевские останки зарыли где-то на пустынном побережье и завалили камнями. Может быть, на них и умерла от горя Эдит Лебединая Шея?

Вскоре после этого победитель занял Винчестер, где жила старая королева, а затем перед ним отворил ворота Лондон. В декабре того же года Вильгельм торжественно короновался в Вестминстере. Однако ему не удалось захватить в плен королевскую семью. Эльгита, вдова Гарольда, поспешила укрыться у своих братьев, графов Морнера и Эвина, на севере страны, а мать короля удалась на запад, в свои обширные владения, и вместе с нею бежали из столицы сыновья и дочери Гарольда. Для Гиты начались трудные годы странствия по чужим землям.

По прибытии в западные графства, где жители еще не сразу почувствовали военный разгром страны, старая королева стала готовиться к борьбе с завоевателями. Все способные носить оружие шли в город Экзетер, который в латинских хрониках называется Экзония. Жители его были многочисленны и богаты. Они немедленно собрали большие средства для продолжения боевых действий и привели в надлежащий вид городские укрепления.казалось, все горят желанием сражаться до последней капли крови. Но вскоре выяснилось, что любовью к отечеству пылают лишь простые люди, и может быть, торговцы, а знатные предпочитают покориться Вильгельму, надеясь получить от него в награду за благонравное поведение новые привилегии. Поэтому они вступили в тайные переговоры с герцогом и хотели предательски отворить ему ворота Экзонии. Вильгельм потребовал, чтобы этот богатейший город принес ему присягу на верность. Городской совет, в котором большую роль играли опытные в житейских делах купцы, вынес компромиссное решение. За время переговоров экзетерские стены, отличавшиеся значительной прочностью и высотой, еще более укрепили дубовым частоколом. За ним стояли многочисленные воины в хороших кольчугах. Вильгельм смотрел на

них снизу, задирая голову. Он находился под самой стеной, на вороном коне, и позади толпились рыцари. Наконец наверху появился один из членов совета. Он был в длинной черной одежде и не имел при себе оружия, но в голосе его чувствовалась уверенность в своей силе, когда крикнул со стены:

— Герцог Вильгельм! Мы не станем присягать тебе как королю и не примем тебя в город, однако согласны платить дань, как всегда выплачивали английским королям. А если ты не согласен с таким решением, то уходи прочь от наших стен.

В ответ раздались возмущенные крики нормандцев. От ярости Вильгельм заскрежетал зубами. Впрочем, укрепления Экзетера имели внушительный вид, казались неприступными. Некоторые горожане тоже были недовольны постановлением совета, так как не надеялись устоять против герцога. Между тем он приказал опустошать земли вокруг города. Очень пострадали от этой меры владения городских патрициев, и тогда они решили отворить Вильгельму городские ворота и дать ему заложников. Но большинство жителей все-таки высказались против сдачи, и когда Вильгельм уже совсем приготовился войти в город, то увидел, к своему изумлению, что ворота не открываются перед ним, а граждане по-прежнему стоят на стенах с оружием в руках.

Желая напугать осажденных, он велел привести под стены одного из захваченных экзетерцев и ослепил его на глазах у всех. Люди на стенах завывали при виде казни, и на нормандцев посыпались стрелы и камни из пращей. Ведь все хорошо знали несчастного, и иные еще недавно обсуждали с ним очередную торговую сделку! Его жена и дети тоже стояли наверху, пораженные ужасом. Невыносимое зрелище наполнило сердца людей отвращением и гневом, и жители отказались сдать врагу. Тогда Вильгельм решил, что будет продолжать осаду и возьмет город измором. Завоеватель и тут проявил неутомимую деятельность. Понимая, что трудно взойти на эти стены, он велел производить подкопы. Когда с грохотом рухнула одна из башен и к небесам поднялось облако пыли, осажденные поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Городской совет решил сложить оружие.

Во время осады и даже в тот день, когда нормандцы ослепили под стенами пленника, семья Гиты продолжала оставаться в городе и трепетала за свою участь. Когда же речь зашла о сдаче, старая королева, не особенно надеясь на милость победителя, не пожелала больше оставаться в Экзетере. Вместе с дочерью Гунгильдой, внуками и маленькой Гитой она покинула последний свой оплот. Сделать это не представляло больших затруднений. Дело в том, что у Вильгельма не оказалось кораблей, чтобы отрезать Экзетер от моря, и выход из города оставался со стороны побережья свободным для всех. В тот самый час, когда герцог въезжал через распахнутые перед ним Восточные ворота, королевская семья уходила через Береговые к морю, чтобы сесть в ладью и уплыть подальше от свирепого завоевателя. Из города доносился гул человеческих голосов. Это победители приветствовали своего вождя.

Вместе с королевой ушли в изгнание и многие богатые жители. Беглецы уносили с собой самое ценное. Кто — мешок с серебряными сосудами, кто — парчовый кошель с шиллингами, кто — переписанную, с золотыми украшениями Псалтирь. Все они надеялись совершить под покровом ночной темноты опасное путешествие и перебраться на другой берег. Гита прижимала к груди любимую куклу. Ее шила из разноцветных лоскутков милая мать, Эдит Лебединая Шья.

В первые дни бегства королевская семья нашла временное прибежище в Соммерсете, а затем на одном из тех островов в Бристольском канале, которые можно видеть в ясную погоду с глостерских холмов. У старой женщины еще теплилась надежда, что торжество Вильгельма не окончательно. Такое



мнение разделяли с королевой и многие англы, ожидая каких-то счастливых перемен.

Вскоре после бегства из Экзетера юные сыновья Гарольда перебрались в Ирландию, надеясь получить от ее короля помощь для борьбы с Вильгельмом. В следующем году они снарядили флот из пятидесяти кораблей, наняли некоторое число воинов и, переправившись через пролив, высадились на английском берегу. Военные действия начались с того, что наемники стали грабить окрестные селения. Не о таком избавлении от врагов мечтали крестьяне. Но так как подобными подвигами и ограничилось выступление молодых принцев, народ не поддержал их, и они вынуждены были поспешно вернуться в Ирландию. Так же плачевно закончилась и вторая их попытка изгнать завоевателей,— на этот раз только наступившая ночь спасла сыновей Гарольда от гибели. Убедившись, что нет уже на земле силы, которая могла бы изменить положение в Англии, королевская семья отказалась от дальнейшей борьбы. Старая королева решила навеки покинуть родину и удалилась во Фландрию, в город Сент-Омер. Вместе с другими отправилась в изгнание и маленькая Гита...

Рядом мерно дышал Владимир. Гита хорошо изучила все повадки мужа, чувствовала за его ласковыми, мягкими словами большую твердость его души. Она уже убедилась, что он наделен спокойным, но непреклонным характером и ясным умом. Так же деловито, как дома за пиршественным столом или во время богослужения в церкви, он распоряжался на ловах, в походах и в сражениях, защищая русские нивы, бревенчатые города и прекрасные храмы. Это был хороший хозяин, обо всем вовремя заботившийся в своих богатых селах, обнесенных прочным тыном с надворотной башней, и в порядке содержавший свои гумна, медуши, хлевы и голубицы. Редко возвышал он свой голос на провинившихся, но не упускал своей пользы. Он чувствовал себя господином, в уверенности, что сам бог поручил ему блюсти установленный в мире порядок и что он несет ответственность за всех людей, живущих под его властью. Владимир обладал огромной силой мышц, и руки его были сделаны как из железа; при всем том он обладал чувствительным сердцем, любил душеполезные стихи Псалтири и в своих писаниях употреблял трогательные сравнения. Это был умный правитель, примерный семьянин и благочестивый христианин.

Еще вчера он высказывал князю Олегу, когда гость сидел у них за столом:

— Поистине так устроен мир. Смерд трудится на ниве, а нам назначено защищать его достояние оружием. Поэтому он и испытывает благодарность к праведным правителям.

Олег хвастал жемчугом зубов, поглаживая русые усы. Разгоряченный столетним медом, так как в этом доме не любили тратить деньги на греческое вино, он поднимал окованный серебром рог и возглашал:

— Пью твое здоровье, светлая княгиня!

У Гиты сжималось сердце от этих дерзких взглядов на ее грудь и шею.

Владимир тоже замечал пылкость Олега, но даже в молодых годах старался понять человеческие слабости и греховные мысли. Он был спокоен за свою супругу, их соединил сам бог в церковном таинстве, а на стене висел его меч, и горе тому, кто заставит обнажить это оружие, доставшееся от отца.

Говорили о половецких набегах, о далеких землях. Потом перешли к своим домашним заботам, к нищете поселян, к постоянному ропоту смердов.

— Смерды у меня перевес похитили,— жаловался Олег, уже позабыв о красоте зеленоглазой женщины.— Неужели надо простить им?

Мономах, почти не прикасавшийся к чаше, развел руками.

— Виновных карай. Но по справедливости и не тяжко. Также и рабов не считай за скот.

— Чтобы они спали до полудня и коней моих не берегли?

— Если рабы поленились и не заперли твоих лошадей в конюшню и тати их похитят, пусть отвечают за нерадение. Также если по небрежению смерда, пахавшего на твоей земле, ороло сломалось. Но вникай в сущность дела. Удели бедному частицу твоего добра, и тебе самому будет лучше.

— А вот у меня еще закуп убежал, трудившийся на моей ниве за долг, а тиун поймал его, и я велел посадить беглеца на цепь. Пусть в вонючем порубе поразмыслит, что он теперь раб мой по закону.

— Но узнал ли ты причину его ухода?

— Если каждого смерда...

— Может быть, он ушел, чтобы деньги просить в рост и тебе свой долг возвратить, чтобы свободу купить?

— Некогда мне было разбираться.

Олегу стало скучно вести беседу за столом, за которым сидела красивая женщина, о таких обыденных вещах. Он опять поднял турий рог, в который склонившийся отрок налил меду из глиняной корчаги, как будто бы дело происходило не в княжеских палатах, а в доме какого-нибудь тиуна. У него же самого всегда на столе серебряные сосуды, отцовское наследство.

— Пью твое здоровье, светлая княгиня!

Размышляя о случае с бежавшим закупом, Владимир произнес:

— Все надо совершать разумно.

Сидевший за столом епископ с удовольствием, но благопристойно поедавший куски пирога с рыбой и рисом, которые подкладывал ему хозяин, заметил с улыбкой:

— Сказано...

Мономах и Олег посмотрели на него.

— Красота воину — оружие, кораблю — ветрила, а князю — разумение.

Это происходило вчера. Наутро Олег уехал в далекую Тмутаракань. Гита осторожно прикрыла лисьим одеялом разметавшегося Владимира. Муж застонал во сне, скрежеща зубами. Может быть, видел в сонной дубраве, что вепрь ушел от него? Но эта жизнь началась с того дня, когда она покинула Экзетер. Опять вспомнились низкие каменные ворота, выходившие в сторону моря, и пустынное побережье, покрытое лиловым вереском... Беглецы сели в лодку и поплыли навстречу своей судьбе. Наступали сумерки, и никто их не преследовал.

Вскоре после переезда во Фландрию, богатую страну, где много овец и много шерстобитов, старая королева умерла, и Гиту взяла под свое попечение богомольная тетка Гунгильда, сестра отца. Гита хорошо запомнила ее добрые глаза, тихий голос, скромность в одежде. Точно она стыдилась, что одни люди пышно одеваются, сытно едят и рыгают от избытка пищи, а другие голодны и едва могут прикрыть рубищем свою наготу. Говорили, что Гунгильда с малых лет дала обет девственности и добровольно отказалась от радостной земной любви.

Из Сент-Омера семья Гиты переселилась в город Брюгге. Там было много воды, на зеленых лужайках паслись курчавые овцы, а в городских хижинах с утра до вечера трудились сукновалы. Снова потекли скучные дни, с хождением в полуметные церкви, где пели латинские псалмы и раздавались проповеди о смирении и покорности воле божьей. В такой обстановке она выросла, существуя как во сне, глядя на мир широко раскрытыми, вопрошающими глазами.

Теперь она познала все тайны жизни. Но иногда перед ее умственным

зрением появлялось и надменное лицо Олега. Неугомонный князь ускакал со своими рыцарями в тот дальний город на берегу моря, куда приплывают греческие корабли, где веет морской ветер.

Снова мысли Гиты вернулись к началу ее теперешней жизни. Почувствовав приближение смерти и опасаясь, что она может оставить племянницу без правильного руководства на жизненном пути, Гунгильда повезла ее в Данию, к своему родственнику, королю Свену, женатому на Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. До этого русская красавица в течение многих лет была женой Гаральда Жестокого. Когда его убили в Англии, Елизавета, еще сохранившая свою красоту, не замедлила выйти замуж за датского короля. Гита с волнением смотрела на эту прославленную на весь мир женщину, которой посвящали свои песни скандинавские скальды. А Елизавета ласкала ее льняные волосы и говорила:

— Владимир — благородный ярл, мужественный воин. Ты будешь не последней среди счастливых, родишь ему много детей и продлишь род своего отца. Ты убедишься, что наша страна полна всяческого богатства.

Елизавета к тому времени стала дородной и величественной, и по сравнению с нею Гита казалась тоненькой весенней березкой. Вытирая платком слезы, королева шептала:

— Видишь, я плачу, вспоминая Русскую землю, где впервые увидела свет мира.

Это по ее замыслу Гиту просватали за Владимира, сына Всеволода, киевского короля. Вскоре большой корабль с красиво вырезанной птицей на носу отплыл на восток. Снова Гита пустилась в морское странствие. Гребцы, сгибая и разгибая мощные нагие спины, пели:

Море — дорога  
для воинов к славе,  
море — дорога  
к любимой деве...

Так Гита плыла много дней. На корабле разостлали ковер, и она, сидя на нем, слушала воинственные песни. Вместе с нею отправились в дальний путь некоторые знатные женщины и монахини, которым Елизавета поручила молодую невесту. Одна из этих скромных монахинь, может быть опьяненная морским воздухом и непривычной близостью молодых мужчин, соблазнилась и совершила прелюбодеяние. Ее застали с молодым воином на месте преступления, связали обоих одной веревкой и кинули в море, и Гита до конца своих дней не могла забыть этих душераздирающих криков монахини и дикого воя мужчины, когда они захлебывались в воде. Но море поглотило их, и эта казнь не нарушила морскую красоту. Как будто бы ничего не случилось, величественная пучина равнодушно сияла вокруг.

Потом открылось широкое устье неизвестной реки. Берега ее были покрыты дремучими лесами, и в речных зарослях водилось множество птиц. Пройдя реку, корабль очутился на необозримом озере, где стаями поднимались с воды белые лебеди и серые гуси. Воздух здесь трепетал от курлык, гоготанья, кряканья и пения птиц. Затем стали подниматься по другой реке. Так прибыли в город, который назывался Новгород. Все здесь было полно для Гиты странного очарования. Добродушные люди говорили с нею, храня на устах улыбку. В этом шумном пристанище она увидела толпы чужеземцев, пришедших сюда со всех концов света, горы товаров, почувствовала запахи торговли — здесь пахло смолой, мехами, соленой рыбой, пенькой, свежесрубленным деревом. В городе ее встретил родственник жениха, молодой князь по имени Глеб, может быть немного безрассудный, но любезный

человек в шапке из парчи, заломленной на левое ухо. Здесь все было другое, чем во Фландрии или Дании, — шапки, люди, дома, церкви. Удивляло Гиту, что улицы в Новгороде мостились бревнами, а вода весело бежала по деревянным желобам. Ее повели в одну из церквей. Стены были заполнены росписью. Со всех сторон на нее взирали крылатые ангелы, святые старцы, пророки с длинными свитками в руках. Богородица всходила по ступенькам храма, пряла пряжу для храмовой завесы, слушала архангела, умиительно сидела у яслей, в которых лежал младенец, скорбно стояла у креста... Глеб то окидывал взором эту церковную красоту, то заглядывал Гите в глаза, пытаясь увидеть, какое впечатление производит она на чужестранку...

## VI

Тетка Гунгильда воспитывала королевских детей во всей строгости христианского закона. Ее добродетельная жизнь была увековечена впоследствии на могильной плите в церкви св. Доната, в городе Брюгге, где эта благочестивая женщина скончалась в назначенное ей время. Конечно, за щедрые вклады и пожертвования монахи составляли и не такие эпитафии, но Гита знала, что тетка всю свою жизнь не вкушала мяса, изнуряла брениую плоть и посвятила себя делам благотворительности. Она напоминала одну из тех страстотерпиц, о которых рассказывается в житиях святых. Ежедневно Гунгильда водила свою племянницу, еще дрожавшую в предутренние часы от жестоко прерванного детского сна, в темные церкви, где старые аббаты читали латинские молитвы и полусонные пономари подпевали им нескладными голосами, тайком прикрывая рукой зевки.

Первое время семья короля Гарольда проживала во Фландрии, в городе Сент-Омер. Это было богатое поселение, в котором насчитывалось много сукновален и с утра до поздней ночи слышался стук шерстоткацких станков. В окрестностях, на покатых холмах, покрытых вереском, пастухи пасли многочисленные стада овец. Но Гита редко проводила время на холмах, а чаще сидела за прялкой, за вышиванием или склонялась над молитвенником, потому что больше всего надлежало, по словам Гунгильды, заботиться о спасении души, и унаследованная от матери красота делалась хрупкой, как бы не от мира сего, а лицо стало прозрачным и еще более утончилось шея, напоминающая стебель редкостного цветка.

В их доме часто появлялись бродячие монахи, которых тетка Гунгильда охотно принимала, и они сообщали обо всем, что творилось в христианском мире. Один из таких странников рассказывал тетке с набожным выражением на лице, давно уже не бритом и обветренном бурями больших дорог:

— В Фульде процветает знаменитый монастырь. Его особенно прославил своими подвигами отшельник Анимхад, замуравший себя навеки в тесной каменной келии. Но ныне еще большую славу создал этой обители другой святой муж, по имени Мариан. Он родом из Ирландии. Есть такой остров за морем, в той стороне, где находится Британия. Впрочем, тебе это хорошо известно. Сей инок уже давно покинул родину и добровольно переселился в Кельн. Однако обычная монашеская жизнь, которую мы все ведем, не удовлетворяла его. Он искал особых способов для умерщвления грешной плоти. Для этой цели и в подражание усопшему Анимхаду Мариан велел тоже замуравать себя на вечные времена в келии, построенной на могиле кельнского подвижника. Там Мариан уже провел несколько лет в постоянных молитвах, изнуряя тело жестокими бичеваниями и постами. Он сам готовит себе могилу, собственными пальцами разрывая землю. С такими

испытаниями святой соединяет и духовный подвиг. А именно — в мертвой тишине келии, в полном удалении от мира, окруженный многообразными символами смерти и орудиями истязания, сочиняет он всемирную хронику. Особенно его интересуют математические и астрономические расчеты о точном времени евангельских чудес и событий земной жизни Иисуса Христа. И вот, исследуя прошлое, Мариан убедился, что монах Дионисий, что оставил нам новое летосчисление, ошибся в своих таблицах на двадцать два года...

Гунгильда слушала подобные рассказы не без страха. Они колебали ее простодушную веру. Благочестивая женщина отмахивалась руками от таких соблазнов, и монах, сообразив, что не все способны постигать тонкости летосчисления, которыми он сам с великим наслаждением упивался, и почувствовав, куда дует ветер, стал утешать встревоженную покровительницу:

— Но ведь известно, что ни папа, ни соборы не утвердили писаний Мариана. Следовательно, можно считать, что все это бессмысленные домыслы. Я же лично полагаю, что надлежит верить так, как нас учат апостолы. Потому что если каждый будет выискивать собственные пути спасения, то куда нас все это может привести? А ведь дьявол подстерегает христиан за каждым углом, за всяким поворотом дороги и только и ждет того, чтобы мы уклонились от истинного пути.

Такие рассказы были по душе Гунгильде, и она щедро одаряла монаха, а Гита изумлялась, что существуют на свете люди, способные провести всю свою жизнь во мраке и зловонии, истязая себя и роя могилу рядом с другим мертвецом. Ее же влекло на зеленые лужайки, в рощи, где пели птицы...

Последствия Гита узнала, что на этом еще не кончились испытания Мариана. Отшельника переманил к себе из Фульдского монастыря майнцский архиепископ Зигфрид. Затворник упорно отказывался покинуть свое смрадное жилище, но в конце концов уступил домогательствам, и его с большим торжеством перевезли на новое местожительство. Еще один монах рассказывал с умилением, что во время этого пути, когда всякого другого, наверное, ослепило бы солнце, не виданное им в продолжение многих лет, и соблазнами бы вновь открывшаяся глазам красота мира, Мариан с полным равнодушием отворачивался от покрытых цветами полей и живописных гор, отплевывался при виде каждого миловидного женского лица и даже на свое новое аббатство посмотрел с полнейшим безразличием, умоляя по прибытии в Майнц только о том, чтобы его поскорее заточили в келию. Монахи не заставили себя просить дважды и с удовольствием замуровали святого в тесном каменном мешке, где он и прожил до самой смерти.

Гита зажмурила глаза, представляя себе, что лишилась зрения или заточена в келии, где нет ни окошек, ни дверей, и что она никогда не увидит ни этих холмов, покрытых розовой растительностью, ни голубого неба над взморьем, и ей делалось страшно.

Некоторое время Гита прожила в тихом Брюгге, таком же богатом городе, как и Сент-Омер. Позднее, очутившись в Дании, при дворе Елизаветы, она убедилась, что эта красивая королева и сам король Свен, а также многие знатные люди ведут в датской земле совсем другую жизнь, чем Гунгильда, не трудятся, как брюггские шерстобиты, а посвящают свое время веселым пирам и охотам. Конечно, король и королева страшались вечного огня в аду, но надеялись откупиться от него богатыми вкладами в церкви.

В годы, когда Гита жила во Фландрии, страна испытала все ужасы войны. Владетелем этой земли был граф Балдуин V, дочь которого Матильда стала супругой Вильгельма Завоевателя и вышла для него подзор, изображавший гастингское сражение и прочие события нашествия на Англию. Благодаря

дочери богатство графа росло с каждым днем. А когда умер граф Герман, сосед Балдуина, он тотчас вторгся во владения покойного и принудил его молодую вдову выйти замуж за Балдуина, как звали его старшего сына, и передать ему город Монс. Но этот отпрыск знатного фландрского рода был слаб телом и духом. Когда впоследствии молодой Балдуин наследовал своему отцу, он всячески избегал войн и кровопролития.

Но у Балдуина был младший брат, по имени Роберт, совсем на него не похожий. Этот граф, ни в чем не имевший удачи и отставленный отцом от управления страной, неоднократно пытался добиться славы и богатства собственными силами. Однажды он даже снарядил корабли и отправил завоевывать далекую Испанию с целью основать там новое королевство, но вынужден был искать спасения в бегстве. В другой раз он едва не погиб во время кораблекрушения в открытом море. Потом норманнам взбрела в голову нелепая мысль сделать Роберта императором Константинополя. Из этой затеи тоже ничего не вышло, так как греки своевременно узнали о фантастическом предприятии и стали особенно тщательно охранять свои границы. Пробиравшийся в византийские пределы в одежде странника граф Роберт возвратился домой с пустыми руками. Однако благодаря удачной женитьбе он вскоре получил все то, чего напрасно добивался с оружием в руках. Когда в битве с фризами погиб голландский герцог, оставив после себя молодую жену с малолетними детьми, Роберт предложил ей свое покровительство и женился на ней. Таким образом он прочно обосновался во владениях супруги. Мало того, когда умер его брат, Роберт вторгся во Фландрию, и Гита снова услышала лязг оружия. Во главе своих храбрых воинов пылкий граф занял почти всю страну, так как его поддерживал фламандский народ, уже почуствовавший в себе силу и недовольный притеснениями вдовы скромника Балдуина. Графиня Рихильда искала союзников в соседних странах. К ней поспешил французский король Филипп, который вовремя вспомнил, что фландрский граф был когда-то его опекуном. Фландрия соблазняла Филиппа своим богатством. Ее население отличалось похвальным трудолюбием. При короле находился и небезызвестный граф Евстахий Булонский, готовый принять участие в любом походе, если можно было поживиться добычей. Рихильда с восторгом приняла французскую поддержку. К ней примкнули также некоторые валлонские города, в том числе Валансьен, Камбре, Монс, Обиньи. Однако воинственные фризы Роберта, еще сохранившие языческие нравы, смело выступили против союзников. Рыцари боялись их как огня. Кроме того, на сторону Роберта стали жители Брюгге, Гента и Ипра — богатых и свободолюбивых городов.

Оба войска встретились на широкой равнине под замком Кессель, и фризы, поддержанные фламандцами, разгромили французских рыцарей. Король Филипп и его епископы, явившиеся обращать язычников в христианство, едва спаслись в постыдном бегстве. К неописуемой радости фламандцев, сама Рихильда оказалась в плену, хотя ее вскоре обменяли на самого Роберта, тоже попавшего из-за своего безрассудства в плен к Евстахию Булонскому. Однако Филипп почел, что виновниками освобождения его врага являются жители Сент-Омера, где в это время проживала Гита с теткой, и вследствие измены кастеляна захватил город и потом сжег его дотла. Тогда-то английские беглянки и принуждены были переселиться в Брюгге. Им казалось, что уже нигде на земле нет для них покоя. Тогда же они узнали от Филиппа о существовании его тетки Елизаветы и перебрались в Данию.

Прибыв в Киев, Гита увидела еще более прекрасные храмы и дворцы, полные всякого богатства. Отсюда нужно было ехать в город Чернигов, где был господином Владимир. Отправились туда не в ладьях, а сухопутной

дорогой. Молодая княгиня ехала на повозке, запряженной грудатым конем с возницей на его сильном хребте, а влюбленный муж гарцевал то справа, то слева от колесницы, на которой сидела, зарывшись в мягкие подушки, красивая чужестранка. Он тоже пришелся ей по душе, видный воин в красном плаще из греческой материи, верхом на горячем коне. Он носил на бедре меч, богато украшенный серебром и вызывающий уважение у всякой нежной женщины. Князь радостно улыбался ей.

Дорога проходила по бесконечной равнине, по берегам полноводных рек, порой углубляясь в прохладные рощи, где пели на огромных деревьях птицы и прыгали с ветки на ветку легкие белки. Но все здесь было иное, чем в Англии или в Сент-Омере, а вместо овец на вересковых холмах на этих обширных полях паслись табуны полудиких коней. Гита видела, как большие конские косяки, в сто голов и более, вдруг снимались с места и мчались — с грохотом и развевающимися гривами, следуя за своим чем-то встревоженным жокаком. За табуном скакали с длинными копьями в руках конюхи и кричали на непонятном языке, и в этих картинах было много мужественной красоты. Молодая женщина заметила, что в подобных случаях даже приветливый Владимир переставал улыбаться, как бы забывая о ней, и с непонятной при его молодости заботой смотрел вслед пронесившимся, как буря, лошадям, а порой даже останавливал обоз, призывал конюхов и озабоченно обсуждал с ними хозяйственные дела. По его приказанию к нему приводили бесившихся от непривычной неволи и еще дрожавших от свободного бега жеребцов, ловко пойманных арканом. Гита не раз наблюдала, как брошенная длинная веревка летела в сторону табуна, развевалась в воздухе, и вдруг один из коней приседал на задние ноги, когда петля обхватывала ему шею. Он тревожно ржал, как бы призывая на помощь товарищей, но лошади уносились вдаль, тяжело ударя копытами о землю. Одна из сопровождавших Гиту монахинь была родом с Поморья, знала саксонский и славянский языки и объяснила ей, что эти кони принадлежат князю Владимиру, и молодая княгиня уже начинала смотреть на табуны и на все, что ее окружало, как на свое собственное достояние. Однако она еще страшилась наступления темноты, когда ей приходилось оставаться наедине с мужем, и сердце у нее начинало биться, как птичка в силках.

Гита приехала к Мономаху богобоязненной девицей, опускавшей глаза перед мужскими взглядами. Уже через год многие знатные женщины, приехавшие с нею из Дании, покинули ее. Одни вернулись в свою страну, другие поспешили выйти замуж за русских бояр, переехали к мужьям в отдаленные города, и семнадцатилетняя женщина стала считать молодого мужа единственным своим защитником в этом чуждом ей мире. Больше не с кем было поделиться своими мыслями и воспоминаниями. Она привязалась к Владимиру, не хотела расстаться с ним ни на один час и обливалась слезами, как ребенок, если он вынужден был уехать на продолжительное время. Мономах тоже не любил покидать жену и стал брать ее с собой во все поездки и на ловы.

Гита присутствовала однажды на одной из таких шумных охот. Отроки окружили на лесной поляне оленцу с детенышем. Сначала был убит стрелой олененок, и мать заревела на весь лес страшным голосом, жалея свое отродье и уже предчувствуя собственную гибель. Маленький звереныш лежал с полужакрытыми глазами, далеко вытянув шею, на траве, обогранной его кровью, и тонкие ноги еще вздрагивали. В это мгновение из чащи вырвался огромный самец и, выставив вперед страшные ветвистые рога, устремился на молодого князя, беспечно сидевшего на коне посреди поляны. Никто не успел предупредить молниеносный удар. Гита в этот час находилась рядом с супругом на

своей серой кобылице и видела, как напряглось лицо Владимира. Но острые, как нож, рога уже раскроили брюхо княжескому коню, и жеребец рухнул на землю, придавив тяжко свой тушей всадника, не успевшего соскочить с седла. Гита вскрикнула, кое-как свалилась с коня и бросилась к мужу, как будто бы она могла защитить его своими слабыми руками от смертельной опасности. Зарезанный конь пытался поднять голову и снова ронял на траву, из брюха клубками вываливались дымящиеся внутренности, а олень уже готовился заботать князя, беспомощно упиравшегося руками о землю, однако в это мгновение Дубец поразил оленя копьем...

У Гиты было немало переживаний за эти страшные годы, она потеряла близких людей, видела войну и горящие города, спасалась от неумолимых врагов, но эта смертельная угроза любимому человеку перевернула ей всю душу. Она вдруг проснулась от девического сна, постигла, что человеческое существование брэнно, висит на волоске и что нельзя не любить эту земную жизнь, где столько крови и страданий, как самое драгоценное сокровище.

В ту ночь был зачат Мстислав, которого она назвала в память о своем благородном отце Гарольдом.

## VII

Побуждаемый желанием поклониться гробнице Гиты, Мономах ехал по черниговской дороге в Переяславль.

В последний раз блудливо взмахнув пушистым хвостом, лисица исчезла в снежном поле. Злат посмотрел еще несколько мгновений в ту сторону, где она скрылась, потом вернулся на дорогу и догнал спутников. Мех можно было бы выгодно продать на торгу любому греческому гостю, но голубые глаза молодого отрока беззаботно смотрели на мир даже тогда, когда его постигала неудача. Он поравнялся с Дубцом и сказал, блеснув зубами: — Ушла! Значит, ей судьба — жить.

Илья тоже отнесся к этой охотничьей неудаче своего любимца равнодушно. Разве не приходилось ему упускать не только зверя на ловах, но и врагов в сражениях? Не всегда бывает у человека счастье. Порой они брали с князем тысячи половецких вож, а иногда возвращались с пустыми руками. Но не тот воин, кто радостно ржет в час победы, а переносящий с твердостью все испытания.

Илья Дубец был не молод, но крепок еще во всех членах своего тела. На порозовевшем от мороза лице виднелись белые шрамы — следы сабельных ударов, морщины бороздили его низкий лоб, седые нити серебрились в бороде, над зоркими глазами нависли косматые брови. От правого уха половецкая сабля отрубала половину, и самолюбивый воин старательно прикрывал свое увечье шапкой, чтобы не быть осмеянным глупыми отроками. Зимой он носил белый овчинный полушубок, крепко подпоясанный по животу тонким ремнем с золотыми украшениями, и на бедре у старого дружинника висел прямой русский меч в кожаных ножнах с медным наконечником.

Род Дубца был из Курска, жил в безопасности за лесами и болотами. Но предприимчивых курян манили плодородные земли, пропадавшие втуне за Сулой и Ворсклой, за серебряной речкой Орелью. О тамошних урожаях они слышали от странников. Туда влекла людей свобода. Казалось, что там нет ни бояр, ни лихоимцев, что можно начать жизнь сначала, глубоко взрезать черную землю железным оралом и собирать обильные жатвы.

Переселенцы выбрали место подальше от торговой дороги, по которой издревле ездили купцы за солью и проходило много пеших и конных путни-



ков. Новоселы построили прочные хижины, вырыли яму для хранения зерна, и тихая доселе местность огласилась курскими песнями. Левый берег реки был низменный, кое-где болотистый, правый покрыт дубравами. Здесь росло всякое дерево. Дубы и клены, липа и рябина. Из рощ в реку изливались многочисленные говорливые ручьи. Но однажды и здесь появились княжеские отроки, охотившиеся на вепрей. Переяславский князь, одетый как простой охотник, выискивая броды и тропы, потом велел рубить на высоком берегу острог. Его звали Мономах. В те годы это был молодой и деятельный правитель. На реке Клязьме он заложил Владимир, на Десне — Остер, на Суле и на Удае срубил Ромны, Песочен, Прилук и Горошин, укрепил их валами и бревенчатыми башнями. Он также воздвиг несколько каменных церквей и украсил их стены живописью, одарил золотыми и серебряными церковными сосудами. Значительно позднее он велел соорудить над гробами Бориса и Глеба в Вышгороде великолепный серебряный терем, которым любовались восхищенные чужестранцы, говорившие, что не видели ничего подобного ни в какой другой стране, а на Днепре, против того же города, построил деревянный мост, чего никогда не было на Руси.

Люди охотно рубили остроги и насыпали валы, потому что эти бревенчатые стены и насыпи служили убежищем от половцев, неожиданно приходивших из степей. Но как только в здешних местах вырос городок, присланные на заставу дружинники выпросили у князя окрестные земли и привели сюда своих холопов, а сам он поселил в остроге ляхских пленников.

Многочисленная семья Ильи жила в нескольких землянках. Отец был молчалив, как зимний лес, мать голосиста, братья трудились, сестры пряли волну. Но в один печальный день за рекой, над дальними дубравами, поднялся столб черного дыма, и вдруг стало тревожно в воздухе, как перед грозой. Люди спрашивали друг друга, какая весь горит или какой острог, а половцы уже мчались, размахивая саблями, через поле и убивали всех осмелившихся поднять против них рожон. Как пук соломы, вспыхнул зажженный амбар, поникли печально вытоптаные нивы. Кто успел, тот спасся в дубраве или в соседнем болоте, унося с собой все, что попало под руку, — секиру или корчагу с пшеницей, а некоторые убежали в Желань. С его валов полетели стрелы в проклятых врагов. Половцы грозили христианам саблями, сверкавшими на солнце, как молнии, но уже не могли повредить жителям.

Немало земледельцев погибло тогда на полях. Илья был на ниве, и к нему пришла Света с младенцем, чтобы отец мог посмотреть на него; принесла кувшин с солодом. Так их застигли половцы и ударами бичей, угрожая острыми копьями и стрелами, погнали на другую сторону реки, уже не очень полноводной в летнее время. Когда злодеи взяли все, что могли, сотворили над христианами всяческое насилие, они снова ушли в степи, спасаясь от русской конницы, уже вышедшей из городов на дымы пожаров, а затем скрылись бесследно в ночном мраке, гоня перед собою, как скот, пленников. Вскоре все становище двинулось в кибитках, запряженных верблюдами, в сторону Сурожского моря.

Дубец нес на руках младенца в лохмотьях рубахи, изорванной во время борьбы, а рядом, обливаясь слезами, брела Света. У нее не стало больше молока в сосцах, и ребенок посинел от натуги и на второй день закатил глаза, как неживой. Но никто не обращал внимания на их горе. Рядом шли сотни других пленников и пленниц. Половцы бросали на землю невинных девушек, а непокорных убивали. Остальных повели в город Судак, где было торжище для невольников. Там агаряне, фрязины и жидовины покупали пленников, заковывали в цепи и везли на кораблях в Царьград, где благочестивые цари брали с каждого раба и рабыни пошлину и обогащались на несчастье христи-

ан. В Большом дворце требовалось много золота, чтобы платить ругу царедворцам и внухам, а иноземным купцам за шелковые серские ткани, шумевшие на греческих красавицах, как листья на деревьях, когда в садах веет утренний ветерок.

Из немногих слов, прерываемых плачем и стенаниями, пленники узнавали друг о друге печальные подробности. Спасения для них не было. Половцы жгли остроги, дружина князя Святополка легла под саблями другой половецкой орды, и молодой княжич Ростислав утонул во время бегства в Стугне. Где же был Мономах, надежда всех христиан? Но и он потерпел поражение и ушел в Чернигов. Половцы после этого безнаказанно разоряли русские области, и во всей Переяславской земле слышался только грай воронов.

По степному бездорожью, прямо через бескрайние степи, оставляя на земле глубокие борозды от колес, половецкие кибитки поспешно двигались к морю. Обессиленные голодом, изнемогая от жажды, рая босые ноги о тернии и камни, пленники окончательно выбились из сил. Но если несчастные останавливались или ложились на землю, к ним подъезжал злобный страж и бичом заставлял подняться и идти вместе с другими. Пощады не было никому. Иногда, видя, что человек совсем выбился из сил, его убивали ударом копья, чтобы он, отдохнув и придя в себя, не взял потом в руки оружие. Однако в расчетах хана было доставить на невольничий рынок возможно большее количество рабов, и поэтому орда останавливалась на краткие ночлеги, когда над степью зажигались мириады звезд, и пленникам даже давали немного пищи, чтобы они не перемерли в пути.

В толпе, растянувшейся на целое поприще, плелся монах, как можно было судить по его черному одеянию, превратившемуся в жалкое рубище и поэтому оставленному ему как малособлазнительная добыча. Он сокрылся:

— Лукавые агаряне пожгли наш монастырь и все истребили огнем. Что теперь ждет нас в неведомой стране? Одних они избили мечом, других губят голодом, а третьих ведут в неволю. И вот мы терпим удары бичей, трепещем, взирая на страдания близких, и ожидаем худшего. Горе нам! Но это — кара христианам за прегрешения!

Его слушали с опущенными головами, не зная, что возразить на эти укору. Дубец заскрежетал зубами:

— Нет греха в том, что я ниву орал. На поле меня взяли половцы.

— Значит, родители твои согрешили против бога.

— И отцы наши трудились в поте лица.

В затруднении, чем же объяснить гнев божий, обрушившийся на людей, монах спросил:

— Ты из какой веси?

Дубец, озирающийся, как волк, по сторонам в надежде найти лазейку для бегства, ответил:

— Из Дубницы.

— А я из Переволока.

Света взяла из рук мужа несчастное дитя и с нежностью прижала его к персям.

Монах жалобно причитал:

— В наказание послал бог нам эти испытания. Увы, опустели наши города, а поля заросли волчцами и стали обиталищем для диких зверей...

С неумолчным скрипом колес огромные кибитки, покрытые шкурами для защиты от дождя и холода, продолжали уходить на юг. Между двумя рядами этих неуклюжих возов шли толпы пленников. Монах и Света едва поспевали за другими. Женщина снова отдала ребенка мужу. В некотором отдалении, чтобы лучше наблюдать за пленными, ехал кривоногий половец в косматой

Моловцы бросали на землю невинных декушек, а непокорных убивали



..После этого безнаказанно разорили русские области и во всей Персии

лисьей шапке. За ременным поясом у него торчал нож, сбоку болталась сабля, в руке он сжимал копьё. Нож служил ему, чтобы резать баранов, разделять пищу, приканчивать раненого врага, а оружие заменяло орало и серп, которыми хлебопашец добывает себе пропитание. Как злая оса отнимает у трудолюбивой пчелы мед, так и эти насильники разоряли поселян, чтобы кормиться за их счет. На лице у всадника невозможно было найти отблеск каких-нибудь человеческих чувств. Его занимало только, какая часть достанется ему при дележе добычи. Бесконечные степные пространства приучили кочевника с завидной невозмутимостью взирать на перемены судьбы. Сияющие испокон веков на ночном небе звезды говорили ему, что жизнь людей — лишь краткое переживание, и он чувствовал себя песчинкой во вселенной. Сегодня он гнал рабов на невольничий рынок, а завтра, может быть, сам будет рабом или лежать в степном бурьяне с разрубленной головой. Но хан Урусоба был требовательным к своим воинам и высматривал прищуренными глазами, не идет ли с севера погоня. Но не было никакого движения там, где небо сходилось с землей. Не затрудняя себя мечтаниями о невозможном, половец затянул унылую песню:

Конь в поле бежи-и-ит...  
Еще конь в поле бежи-и-ит,  
У Зурунгая будет много добра-а-а-а...  
У Зурунгая будет много же-е-ен...

Бредя рядом с мужем, Света почувствовала, что дитя ее уже не живет. Маленькая душа взлетела теплым дыханием на небеса. Илья молча отдал ей трупик. Прижимая к груди самое дорогое, что у нее было на земле, молодая мать опустилась на траву и завывала, как воеет раненый зверь, устремляя взоры к бесчувственному небу. Оттуда не приходило ни помощи, ни утешения. Дубец стоял над женой, опустив руки. Равнодушно двигались люди, измученные до предела, подгоняемые гортанными окриками сторожевых всадников. Позади нагие трупы отмечали длинный пройденный путь. Половец с копьём в руках, уже проехавший вперед, вернулся, увидев, что одна из женщин упала на землю и около нее остановился пленник. Всадник кричал им что-то на непонятном языке, но Дубец, даже не оглянувшись на него, говорил Свете:

— Гибель иаша пришла...

Половец тронул женщину острием копьё, чтобы она поднялась и не отставала от других. Мимо проезжали повозки, покачиваясь на буграх, как на морских волнах. Их влекли неутомимые верблюды, надменно задирая большие губы морды. Дубец окинул взором все, что было перед ним, и вдруг, обезумев от горя, ухватился за древко копьё. Не ожидавший сопротивления кочевник выпустил оружие из рук. Но тут же с хриплым воплем обнажил саблю и замахнулся на пленника. Однако конь не полез на выставленное вперед копьё, а Дубец, уже позабыв обо всем на свете, кроме своей ярости, попытался заколоть всадника. Половец призывно завывал по-волчьи, и на этот дикий вой уже скакали другие стражи, избивая бичами попавшихся на пути пленников, не разбирая дороги. Среди уводимых в рабство началось смятение, и уже некоторые из половцев вынимали луки из колчанов, готовые поразить стрелами тех, кто, воспользовавшись переполохом, попытался бы бежать.

Участь пленника решали немногие мгновения. На Дубца наскочило несколько всадников. Света, убедившись, что ей уже не воскресить сына, выла и билась головой о землю. Все погасло для нее в мире. Но среди прискакавших к месту происшествия оказался сам хан Урусоба. Дело касалось его

добычи, а орос метался около своей женщины с копьем в руках, и ни один воин не мог ударить его саблей. Впрочем, жаль было бы убивать такого смелого и сильного человека. Хан уже успел разглядеть железные мышцы, выпиравшие из лохмотьев некогда белой рубахи, разорванной до такой степени, что никто не пожелал завладеть ею. Урусоба даже определил мысленно цену, какую можно будет назначить за этого раба. Молодая женщина тоже показалась ему красивой. Правда, она испачкалась в прахе, и солнце обожгло ее нежную красоту. Хы! Если умыть пленницу кобыльим молоком, то ее лицо снова станет приятным для зрения, а кожа сладостной для прикосновений.

Чтобы заслужить похвалу предводителя, один из всадников ловким рывком повода заставил коня очутиться за спиной ороса и уже занес над его головой клинок, как Урусоба остановил его голосом, которому нельзя было не повиноваться:

— Зурунгай!

Воин понял, что надо опустить саблю. Другие тоже посмотрели на хана с удивлением. Урусоба вытянул руку в сторону пленника и, шевеля пальцами, приказал:

— Не убивать его!

Воины, тяжело дыша, остановились.

— Выберите у него копье из рук и свяжите этого быка! К чему терять такого невольника...

Всадники, сообразив, чего хочет от них хан, в мгновение ока спрыгнули с коней и набросились скопом на ороса. Хан лучше знает, что нужно делать. Рискуюя собственной жизнью, они повалили Дубца на землю, хотя один из половцев уже сидел на траве и держался рукой за бок, куда угодило копье пленника. Но это был старый и неловкий воин, никогда не отличавшийся в бою, и Урусоба не жалел его. Пленник же не сопротивлялся больше. Силы у этого человека напряглись только на короткое время и снова оставили его. Ему скрутили руки за спину и крепко связали ремнем.

Раненый воин глухо стонал. Но Урусоба безучастно смотрел на то, что происходило перед ним. Он был невысок ростом, тучен, но силен, как зубр. На подбородке у него едва пробивалась редкая рыжая борода. В узких глазах поблескивал холодок стали. Они не смягчились и тогда, когда один из половцев схватил мертвого младенца и швырнул его, точно дохлую собаку, в чертополох. Мать кинулась за ним со страшным женским криком, но ее схватили за руки. Света вырывалась, рубашка ее разорвалась на плече.

Хан увидел молодое женское тело и, шевеля губами, мысленно вкусил его прелесть.

Он сказал:

— Зурунгай! И еще кто-нибудь!

Все лица повернулись к хану.

— Отведите пленницу к моим повозкам. Пусть рабыни накормят ее вареным рисом и стерегут как зеницу ока. Когда наступит ночь, они приведут эту женщину ко мне, и она разделит со мной ложе. И никто не должен прикасаться к ней до меня.

Двое половцев со смехом поволокли упирающуюся пленницу к кибиткам, снова тронувшись в путь. Она рвалась то к мужу, то туда, где лежал непогребенный, брошенный на растерзание коршунам и степным волкам, трупик ее сына. Видя это, Дубец заметался в припадке нечеловеческого гнева, пытался ударить мучителей головой, бросался на землю и грыз зубами их сапоги...

Урусоба смотрел на такую ярость с неодобрением.

— Орос... Худо, худо... Голова нет — не добро... — старался он объ-

яснить пленнику на ломаном русском языке, что сопротивление бесполезно. В детстве хан провел некоторое время в Переяславле в качестве заложника и немного знал язык своих врагов. Он считал, что нет причины так возмущаться своей участью. Судьба одного человека — стать рабом, другого — наслаждаться свободой и властью. Кто знает, что завтра случится с ним самим? Придет Мономах, убьет его, захватит вежи и заставит ханских женолотов русскую пшеницу на ручных жерновах.

Пленнику еще крепче связали руки и стали бить кулаками по голове до тех пор, пока он не впал в беспамятство.

— Довольно! — приказал Урусоба.

Воины оставили свою жертву в покое, но Зурунгаю хотелось перерезать горло русскому псу, осмелившемуся вырвать у него оружие из рук и осрамившему его перед товарищами. Но хан сказал, чтобы пленник жил, а слово Урусобы — закон в степи.

Дубца бросили на повозку, и как во сне он слышал милый голос Светы, призывавшей издали мужа, и скрип огромных колес кибитки, тяжело закачавшейся по ухабам.

## VIII

Задремав, Мономах не заметил лисы, вызвавшей столько разговоров у молодых отроков, но появление оленей заставило его горько вздохнуть. Вожак стада, матерый олень с горделиво закинутыми за спину рогами, весь в облаке пара, был бы завидной добычей для любого ловца. Он напомнил князю молодость. Несколько дружинников бросились в охотничьем пылу за зверем, но тотчас сдержали скакунов, вспомнив о благочестивой цели путешествия: им сказали, что Владимир Всеволодович едет в Переяславль помолиться в семейной усыпальнице. Кони вздыбились и, мученически поводя глазами, скрежетали железом удила.

Дубец подъехал ближе к княжеским саням и, склоняясь с седла, спросил почтительно:

— Видел, княже, оленя? Рогаст!

Мономах ответил ему печальной стариковской улыбкой:

— Некогда и я трудился, делая ловы, и не щадил своей жизни. А помнишь, как ты меня от гибели спас? Такой же красоты был олень. Думал я тогда, что пришла смерть. Но бог сохранил меня невредимым.

Дубец ехал рядом с санями и слушал речь князя. Дружинник знал, что старик не лжет. Все князья на одну мерку сделаны, помышляют только о своей выгоде, и Илья уже убедился давно в этом, но это была правда, что Мономах не берет себя ни на ловах, ни на войне.

Мономах грустно улыбался. Он вспоминал эти полные волнения охоты, дальние пути во все времена года, когда в оврагах звенели весенние ручьи, или пахло речной водой в туманное утро, или мешались в поле сладкие запахи земляники, полыни и жита, или опавшая листва шумела под ногами, или дубы стояли в инее, как теперь. Переменами была полна вся его жизнь. К началу половецких набегов на Русь у него едва пробивался пушок на верхней губе. Больше склонный к чтению книг, чем к битвам, отец его, князь Всеволод, сын Ярослава, поопасался оставаться при таких обстоятельствах в Переяславле и ушел искать убежища в Курск, а сына послал в Ростов. В этот город Владимиру пришлось ехать через дремучие леса, пробиваться с оружием в руках сквозь толпы вятичей, исподлобья смотревших на княжеского священника. Ему тогда исполнилось пятнадцать лет. Затем его послали в

Смоленск. Оттуда он пошел в Туров, и было много других путей, ловов, сборов дани на погостах. Даже когда из далекой страны приехала Гита, он провел с ней некоторое время и опять надел рубаху из домотканой холстины, какие носят простые звероловы, напялил на голову старую отцовскую шапку и вскочил на коня. Молодая княгиня смотрела на него из оконца с таким горестным удивлением в глазах, точно не понимала, как можно покинуть ее ради очередной охоты. Потом не выдержала, сбежала по лестнице и кинулась к мужу, обняла его за бедра, уцепилась за позолоченное стремя, припала горячей щекой к его руке. С тех пор он стал брать жену во все поездки, и Гита сопровождала его верхом на смиренной кобылице, летом в легкой одежде, а зимой в теплой шубке на бобровом меху, счастливая и раздумывавшаяся на морозном воздухе.

Однако вскоре Мономаху пришлось надолго покинуть молодую супругу, хотя она уже зачала в чреве. Это произошло в те дни, когда он ходил вместе с князем Олегом Святославичем в дальний поход, в Чешский лес, где впервые увидел горную красоту, водопады и западных епископов. Отправляя сына и племянника в поход, Святослав, сидевший тогда на великокняжеском столе, хотел помочь ляхам против кесаря, с которым был в союзе чешский князь Вратислав, но чехи послали своего воеводу Лопату к ляхскому князю, уплатили тысячу гривен дани и заключили с ним мир, не считаясь с юными русскими князьями.

Владимир был наделен княжеской гордыней. Он сказал польскому епископу, присланному для переговоров:

— Вы нас позвали против кесаря, и мы пришли сюда, чтобы помочь вам в справедливом деле. А ныне вы помирились с Вратиславом, который держит его руку. Пусть будет на это ваша воля. Однако мы не можем без мира возвратиться на Русь и будем искать чести, вы же идите на пруссов и поморян, а у нас с ними нет никакой вражды.

Русские князья дошли до города Глогова, и Вратислав поспешил уплатить Владимиру тысячу гривен и дал ему многие дары, выслав для переговоров о мире своего брата, который тоже оказался епископом, а также вельмож. Мир был заключен. Поляки потерпели тогда поражение от поморян.

Сколько других событий произошло за те годы! Князь Святослав вскоре умер, а Изяслав скитался где-то с сыном Ярополком по чужим странам, выпрашивая помощь то у кесаря, то у римского папы. Потом они вернулись оба в Киев. Рассудительный Всеволод уступил брату киевский стол, принадлежавший ему по старшинству, а сам ушел в Чернигов, посадив Владимира в Переяславле. Когда Изяслав изгнал Олега Святославича из Волынской земли, обиженный князь прибежал в Чернигов, и Мономах, гостивший тогда у возлюбленного отца, угощал Олега на Пасху богатым обедом. В те дни он и пил здоровье Гиты.

Но Олег начал вместе с братом Романом борьбу за отцовское наследие и за права на Киев. Он опять получил Волынь, однако остался недоволен своим уделом и ушел в Тмутаракань. Этот дальний город всегда манил к себе всякого рода бродяг, беспокойных людей, обиженных дружинников и даже простых смердов, измученных притеснениями бояр. Рыская серым волком в широких туманных полях, Олег пробрался с братом Романом на берег моря и сел в Тмутаракани. Тогда в Новгороде правил Святополк Изяславич, другой сын Изяслава сидел в Вышгороде, а Владимир — в Смоленске.

Мономах находился в Смоленске, когда Олег и Роман явились из Тмутаракани и привели на Русь половцев, пытаясь захватить отцовский город Чернигов. Всеволод вышел против них в поле, но потерпел страшное поражение на реке Сожице и едва успел с остатками дружины спастись в Киев, к Изяславу. В этой битве многие тогда пали, кого хорошо знал Владимир:

Иван Жирославич и Тука, брат Чудина, и Порей, и другие. Случилось это в месяце августе, в 25-й день, в 1078 году.

Изяслав утешал Всеволода:

— Не печалься, брат! Разве не знаешь, сколько бедствий и мне пришлось принять на своем веку от злых людей? Разве меня не изгнали из моего города? Разве чернь не разграбила мой дом? Потом снова я ушел в изгнание. А чем я провинился пред братьями? Не тужи. Если суждено нам иметь удел в Русской земле, то оба будем княжить. Я голову свою положу за тебя.

Всеволод слушал, хмурясь и стыдясь прошлого. На сердце у него было тяжело. Изяслав стал собирать воинов, чтобы восстановить порядок на Руси, и двинулся с сыном Ярополком и Всеволодом, с которым пошел и Владимир, к Чернигову. Однако черниговцы не захотели нарушить верность Святославичам, которых помнили еще младенцами, и затворились в городе, не желая открыть ворота Изяславу. Четыре князя подступили к стенам. Владимиру пришлось действовать против Восточных ворот, со стороны реки Стрижени. Он захватил внешний город и пожег его. Черниговцы бежали во внутренний острог...

Сани сильно встряхнуло. Дорога теперь снова шла лесом, и с обеих сторон опять плыли и как бы медленно кружились в зимней мгле украшенные инеем деревья. Еще одна сорока пролетела над головой. На снегу можно было рассмотреть легкие заячьи следы...

Как ничтожны человеческие помыслы и стремления! Безрассудный Олег забыл, что гордыня плохой советчик, и пошел против четырех князей. Полки встретились на Нежатиной ниве. Изяслав стоял с пехотинцами. Вдруг какой-то неизвестный воин подъехал к князю сзади и ударил его копьем между плеч. Так был убит Изяслав, сын Ярослава. Олег был разбит, с небольшой дружиной искал спасения в бегстве и под прикрытием ночной темноты опять ускакал в Тмутаракань. Когда же битва кончилась, киевские дружинники взяли тело Изяслава и повезли его в ладье в Городец. Навстречу им вышли из Киева все люди и, положив усопшего князя на сани, повезли его под пение псалмов в свой город. Ярополк шел за гробом отца и горько плакал:

— Отче мой! Сколько ты горя принял от братьев! И вот за других сложил свою голову...

Молодой князь говорил так, чтобы все слышали. Это был камень в огород Всеволода. Тот вздыхал, поднимая очи к небесам. Они все готовы были перерезать друг другу горло из-за городов и прочего богатства.

Тело Изяслава положили в мраморной гробнице. Владимир вспомнил, какой красивый человек погиб тогда, не хитрец и простой умом.

Владимир стал перебирать в памяти все, что случилось потом на Руси и как они поделили города. Отец сел на великокняжеском столе в Киеве, а ему отдал Чернигов. Вольтя досталась племяннику Всеволоду Ярополку Изяславичу. В Новгород послали другого сына покойного Изяслава — Святополка. В Переяславле посадили Ростислава, сводного брата Владимира. Этот город оберегал пути на Русь со стороны половецких степей, а Ростислав, по матери сам наполовину половец, был легок на подъем, вспыльчив, смешлив, любил не священные книги, а серебряное оружие. На другой же год, подстрекаемые Романом из Тмутаракани, половцы появились у города Воиня. На этот раз мир удалось купить подарками, без пролития крови. О примирении говорили, не слезая с коней, в беспокоестве мотавших головами, бивших копытами о землю, хлеставших бока хвостами, чтобы прогнать назойливых оводов. Потом перед ханами отроки разложили греческие ткани и шелковые покрывала для их жен, соболя, серебряные сосуды и другие дары. Владимир видел, как у степных обитателей загорелись глаза при виде такой роскоши. Они



соскочили один за другим с лошадей, сели на землю, разулись и стали примерять зеленые и желтые сапоги, топя каблуками, чтобы нога лучше влезала в тесную обувь, снова снимали их и мяли кожу пальцами, испытывая ее добротность. Босые, с не мытыми от рождения ногами, они казались добродушными коневодами. Но отец предупреждал Владимира, чтобы он опасался коварства с их стороны. Улыбаясь, пощипывая только что отросшие усы, княжич зорко наблюдал за всем из-под надвинутой на глаза шапки.

В подобных случаях объяснялись обычно с помощью толмача, помогая себе жестами. Если проводили указательным перстом по шее, то это означало, что человек должен умереть, а когда совали большой палец в широко раскрытый рот, то показывали, что хотят вина. Счет тоже вели на пальцах или сжимая и разжимая пятерни. Впрочем, некоторые половцы знали русский язык, а князя научились нужным половецким словам, и во время переговоров все отлично понимали друг друга. Всеволод учил сына:

— Когда будешь иметь дело с половцами, помни, что выгоднее сделать им подарки, чем проливать кровь. Она дороже всякого золота.

Перед Владимиром вставали детские дни. Мать была греческая царевна из рода Мономахов. Около нее вечно шептались царские патрикии, константинопольские монахи, евнухи. Теплые материнские горницы наполнял запах лекарственных трав и курений, вдоль стен, на скамьях, обитых красным сукном, сидели с постными лицами черноглазые женщины, на аналоях лежали с большим искусством переписанные книги в парче и серебре. Отец часто беседовал с митрополитом на греческом языке. Владимира тоже учили читать по-гречески. Но он уже в детстве предпочитал дубраву душным палатам, любил ловить со сверстниками сетью скворцов, и только позднее книга раскрыла перед ним свой волнующий мир, полный видений и печальных мыслей...

Самый толстый хан остался очень доволен сапогами и прочими подарками — серебряной чашей, золотым ожерельем для любимой тоненькой жены, серским шелком для ее одежды. Его глаза поблескивали от удовольствия. Бедняге не приходило в голову, что, может быть, не успеет он носить этих сапог, как его любимица станет пленницей и будет ласкать русского воина.

Никто не знал, о чем тихо переговаривался княжич с ханами, что-то показывал им на пальцах. Но половцы снова ушли в степи. Владимир пристально смотрел вслед удалявшимся всадникам, может быть размышляя о том, в точности ли он исполнил отцовское поручение.

Как разнообразен мир! Каждое племя живет по своим законам и обычаям. На берегу синего моря стоят греческие каменные города, корабли плавают по морским волнам, в русских селах привычно пахнет дымком, а для половца ничего нет лучше, чем кочевая жизнь, перемена мест, кислый напиток, приготовленный из кобыльего молока.

Над степью опускались сумерки. Скрипучие половецкие возы скрылись в ночном мраке. Сильнее запахло полынью.

В далеких полях скитался со своей немногочисленной дружиной князь Роман, красавец и беспутный человек. Но скоро пришла весть, что его убили половцы, а труп бросили в диком месте, на добычу зверям, и кости его лежат там и до сего дня. За смерть брата поклялся отомстить Олег, усмотревший в этом злодеянии руку Всеволода. Он сеял по Русской земле не пшеницу, не книжные слова, а стрелы и в любой час мог привести на Русь половцев. Это был бродяга, не сумевший найти для себя прочное пристанище; князь переходил из одного удела в другой, считая себя несправедливо обиженным при дележе городов, и не понимал, что таким, как он, не стоять во главе государ-

ства, потому что нет у него ничего, кроме дерзкой отваги, — ни дальновидности, ни ума, ни мудрого свойства прощать и ждать.

Мономах вздохнул. Видят небеса, он любил Олега, словно брата, хоть тот и не спускал глаз с Гиты, когда сидел за пасхальным обедом в Переяславле. Однако не всегда на земле Пасха.

## IX

В то трудное время, когда на Русь часто приходили половцы, Злата еще не было на свете. Он родился в более счастливые годы. На земле стояла тишина. Редкое счастье улыбнулось Злату. Сын простого смерда, гусяр иногда сидел за княжеским столом, потому что судьба наделила его звучным голосом, умением слагать песни и играть на гусях. Опьяневшим от меда князьям хотелось послушать, как славят их предков или как им самим воздают похвалу, хотя многие порой бегали с поля. Но таковы перемены воинского счастья, игра случая. Неожиданно налететь в конном строю, клином или в два крыла, и рубить сплеча, а если постигнет неудача, повернуть коней и спастись, чтобы при более благоприятных обстоятельствах вернуться и сторицей взыскать за поражение. Злат пел славу князьям и боярам, а чашник щедро лил ему вино на пире.

— А серебряную чашу возьми себе, — говорил подчас растроганный князь, вытирая платком слезы.

Когда Мономах посадил своего сына Ярополка в Переяславле, он перевел к нему некоторых дружинников и отроков. Среди них оказались Фома Ратиборович, Илья Дубец, Даниил и Злат. Не в пример отцу, молодой князь любил частые пиры, и в княжеских палатах часто звенели золотые струны.

Злат щелкнул плеткой по крутому боку коня, догнал Илью и поехал с ним рядом. Ему очень хотелось рассказать старому дружиннику о том, что произошло с ним недавно, когда посадник Гордей ездил на зимний лов, но отрок не решался, зная строгий нрав боярина.

Несколько дней тому назад князь Ярополк отправился с Гордеем и некоторыми отроками в далекие урочища — поднимать медведей из берлог и собирать дань в княжеских селах. Злата тоже взяли с собой. Но Гордей забыл дома Псалтирь. А он любил показать образованному князю, что тоже читает псалмы на сон грядущий. Зная проворство Злата, боярин послал его назад в Переяславль за священной книгой. Гусяр покрепче нахлобучил обеими руками красную шапку на уши и так помчался по дороге, что только комья снега полетели из-под копыт серого в яблоках жеребца.

Старый конюх обернулся на отрока с усмешкой:

— Послал боярин козлице в огород!

Ибо всем было известно, что румяная супруга воеводы пялит на гусяра бесстыжие глаза.

Это случилось на утренней заре, уже во многих поприщах от Переяславля, но, по расчету Гордея, гусяр должен был догнать обоз и доставить ему книгу в тот же день, к вечерне. Весело посвистывая и не утруждая себя важными мыслями, Злат то несся вскачь, то пускал коня шагом. Воздух был сладок, как мед. Легкий мороз приятно пощипывал щеки. Дорога постепенно спускалась к реке. Вот корчма, вот кузница. Вот и золотые кресты блеснули на утреннем солнце за городским валом, и столбы дыма поднялись над домами. Отрок въехал в широко раскрытые ворота, обругав мимоходом неуклюжего смерда, что вез на санях солому и посторонился, чтобы дать дорогу княжескому отроку, спешившему с ответственным поручением. Отсюда

кривая улица вела на боярскую усадьбу. Злат приподнялся на стременах и заглянул через частокол. На дворе виднелись на девственном снегу следы косолапых ног и тропинки, протоптанные к погребу и медуше. Из дымниц черной избы валил розовый дым. В глубине стояли хоромы в затейливых украшениях, с оконцами из заморских разноцветных стекляшек. Боярский ворота в приземистой башне оказались незапертыми. Злат очутился на дворе и увидел, что навстречу ему идет девица с деревянными ведрами на прямом коромысле. Зеленый плат на голове, медвежья шубка на худеньких плечах, на руках, закинутых на коромысло, красные рукавицы, вышитые желтыми елочками. Только потом отрок разглядел лукавые серые глаза и рот, как бы созданный для лобзаний.

Злат спросил девушку, склоняясь с коня:

— Где боярыню мне найти?

Она подняла на него свои взоры, порозовела от смущения. Такие, как этот воин, статный, крепко подпоясанный по тулупчику узким ремнем с серебряным набором и с саблей на бедре, всегда милы женскому сердцу. Оружие в малиновых ножнах с медным наконечником. Подарок за песни и музыку от старого Ратибора, когда он еще не лежал в Иоанновом монастыре под каменной плитой. Лицо у отрока — сплошной румянец. Голубые очи и золото волос.

— Зачем тебе боярыня? — спросила девица.

— Что тебе до того, любопытная сорока? — рассмеялся Злат.

— Я не сорока.

— Меня боярин Гордей к своей жене прислал.

— Не нашел никого лучше прислать?

— Придержи язык за зубами, рабыня.

— Никогда не была рабыней.

— Чья же ты дочь?

— Кузнеца.

— Какого кузнеца?

— От Епископских ворот.

Злат сдвинул шапку на затылок.

— Знаю тебя.

— А если знаешь, зачем спрашиваешь?

— Зачем же ты на боярском дворе воду носишь, голубица?

— Нам Гордей разрешил воду брать из его колодца.

— А зовут тебя?

— Любава.

— Меня — Злат.

— Ты гусли, на пирах играешь на гусях?

Сам не зная почему, отрок рассмеялся. Вдруг ему стало весело. Но надо было выполнять поручение. С такой сорокой можно до вечера проговорить на улице. Он еще раз склонился пониже с коня:

— Будь здорова, Любава.

— Будь здоров и ты.

Девушка направилась к воротам. Студеная вода в ведрах, крепко сбитых железными обручами, едва колебалась и не расплескивалась — так осторожно и плавно ступала Любава, мерно покачиваясь при каждом шаге тонким станом. Дойдя до ворот, она оглянулась, и сердце у нее возликовало, когда увидела, что и отрок смотрит в ее сторону, опираясь о круп серого коня, и вдруг эта скучная и малолюдная улица показалась Любаве праздничной и полной добрых людей. Она шла и всем улыбалась, в душе у нее было желание сказать каждому встречному ласковое слово.

Злат соскочил с коня и стал привязывать его к железному кольцу, ввинченному в дуб посреди двора. Злой, черный, как вепрь, пес рвался с цепи у погребца и лаял на чужого человека. На резном крыльце стоял молодой холоп в накинутах на плечи тулупчике и в веселой розовой рубашке, без шапки, с волосами как солома.

— Тебе в чем здесь нужда? — крикнул он самоуверенно отроку и выставил вперед ногу со всей дерзостью боярского раба.

— Где госпожа?

— Для чего тебе она?

Глуповатый холоп, рябой, с лицом как блин, стал смиреннее, когда Злат подошел к нему поближе. Он сказал, потыкав большим пальцем за плечо и придерживая другой рукой соскользавшую со спины шубейку:

— Госпожа на поварне.

Страхнув снег с черных сапог, Злат вошел в незапертую дверь и очутился в холодных и полутемных сенях. Здесь хранились кади с квашеной капустой, на полу стояли горшки, валялось помело. В другом конце сеней виднелась еще одна дверь, и, когда он отворил ее, из поварни приятно пахло теплом жидля, солодом, дымком. Вместе с ним в помещении ворвалось легкое облако морозного пара. Две женщины, с веселыми глазами, с красными, как вареная свекла, лицами и обе в желтых сарафанах, в белых повоях на головах, одновременно обернулись на него. Одна держала в руках пирог на полотенце, другая возилась у очага. Они прислуживали боярыне, что сидела за столом, склонив светловолосую голову на белую руку. Госпожа была в синем сарафане с серебряным позументом по подолу. Золотые пуговички бежали от шеи до земли. Две толстых косы свешивались на ее горделивую грудь, но глаза у нее были невеселые. Должно быть, от смертельной скуки она спустилась на поварню, чтобы поболтать с рабынями. Пред нею стояла на столе расписная миска с дымящейся похлебкой, но она положила ложку и вскинула на отрока радостно удивленные глаза. Злат не отходил от дверей и тоже смотрел на боярыню.

— Сними шапку, — проворчала та повариха, что держала пирог на руках, — не видишь, госпожа перед тобою.

Вторая оставила очаг, выпрямилась и подбоченилась, показывая этим, что она здесь не последняя раба.

Злат смущенно стянул колпак с головы.

— Тебе что нужно, отрок? — спросила боярыня тем певучим голосом, какой бывает у женщин, когда у них сердце начинает биться чаще.

— Я от боярина Гордея.

— Что же случилось с боярином?

В глазах госпожи не видно было тревоги.

— Боярин Псалтирь забыл. Велел привезти.

— Зачем ему Псалтирь понадобилась на лове?

Злат тоже не знал и усмехнулся:

— Должно быть, боярин Гордей о спасении души заботится.

Боярыня удивилась смелому ответу и в другое время, может быть, даже побранила бы слишком бойкого отрока, но сейчас ее всю наполняло грешное томление. Вестник был тонок в стане и молод. Невольно вспомнила чрево супруга, его унылое лицо и козлиную бороду. Жена посадника не раз слышала гусяря на пирах, голос его проникал в душу. В глазах ее мелькнул бесовский огонек. Она была белотелая и полусонная, ее взгляды напоминали тихий омут, полный опасностей для тех, кто проходил мимо. Взяв со стола кусок пирога с рыбной начинкой, боярыня откусила от него белыми зубами и, лениво пережевывая пищу и все так же склонив голову на руку, проговорила:

— Псалтирь понадобилась супругу? Ну что же, отвезешь ему. Пусть молится мой боярин.

Злат все еще стоял у порога, в ожидании, когда ему скажут, как быть с книгой. Надо было возвращаться, чтоб успеть к тому времени, когда поют вечерню. Но госпожа не сводила с него глаз.

— Где же ныне боярин?

— С князем. На дороге к погосту. Там ночь проведут, а наутро на ловы поедем.

— Есть ли там где обогреться?

— На погосте изб много.

— На лавках спать?

— Можно мех подстелить.

— Дымно?

Злат пожал плечами:

— Дымно.

Какая-то лень, безволие овладевали отроком, когда на него смотрела эта красавица своими туманными, колдовскими глазами, точно опутывала его чарами.

Она сказала:

— Сними саблю и подкрепишь едой.

— Ехать надо, боярыня,— пытался защищаться он от наваждения,— боярин гневаться будет.

— Успеешь.

Медленным движением руки госпожа показала ему место по другую сторону стола.

— Ты добро играешь на гусях. Слышала твою игру на княжеском пиру.

Злат весь расцвел. Его радовало, что боярыня ценит его искусство.

Он снял пояс с саблей, ловко сбросил с плеч белый тулупчик и сел на скамью, разглаживая на груди красную рубаху, пахнущую овчиной.

— Ты опояшься,— наставительно сказала та повариха, что положила на столешницу еще один пирог,— ведь с боярыней Анастасией сидишь.

Госпожа рассмеялась, а Злат, покраснев от своей неловкости, отделил от пояса саблю и, пропустив ремешок в медную петлю, стянул в сердцах тонкий стан. Боярыня насмешливо кривила губы.

— Принесите меду отроку,— сказала она поварихам.

Тотчас обе женщины засуетились, как на свадьбе. В доме не осталось никого из мужчин, кроме старого рябого стража у ворот да кривого холопа, ковырявшего от скуки целый день в носу, и вдруг появился этот красивый отрок, о котором всем было известно, что когда он клал персты на золотые струны, то они рокотали, как соловьи в лунной дубраве. Божественный дар был дан свыше гусяру — веселить и печалить людей сильнее, чем вино это делало. Рабыни хлопотали у печки и, видя, как их госпожа улыбается отроку, бескорыстно принимали участие в этом женском заговоре на христианскую добродетель.

— Где же твои гусли? — спросила боярыня, с удовольствием наблюдая, как отрок ел похлебку.

— В обозе на санях остались.

— Жаль. Ты сыграл бы нам.

— Некогда, боярин Гордей Псалтирь ждет.

— Еще много времени до вечерни.

Боярыня вспомнила свадебное пиршество на княжеском дворе в Киеве. На ней сверкал тогда серебряной парчой сарафан с алмазными пуговицами, и голову ее украшала высокая повязка с золотыми подвесками.

На пиру этот молодой гуслир пел песню о синем море. Но бояре просили его пропеть ту, что сложил он в память победы княжеской дружины над проклятыми половцами, когда князь Мономах разгромил поганых и брат Боняка погиб под русскими мечами, другой хан, по имени Сугр, был взят в плен, а сам Боняк и Шарукань едва спаслись от гибели. Но Сугр присутствовал на пиру, и князь сказал, что нехорошо обижать старика напоминанием о его несчастье. Еще боярыня Анастасия вспомнила, что в тот год земля содрогалась перед рассветом...

Когда Злат поел пирога и выпил меда, боярыня, покусав белыми зубками нижнюю губу, встала из-за стола и, томно потягиваясь, сказала отроку:

— Пойди со мной в горницу, и я дам тебе Псалтирь. Но не потеряй книгу. Монах писал ее пять месяцев и взял за свой труд много серебра.

Боярыня прошла к двери, избегая пронизывающих взоров прислужниц, и они стали подниматься по узкой лесенке — боярыня впереди, Злат за нею. Нагибая голову в низенькой дверце, Злат вошел вслед за боярыней в жарко натопленную светлицу. Здесь сильно пахло греческими ароматами. У стены стояла широкая дубовая кровать с лебяжьей периной и горю разноцветных подушек. Над нею виднелся на полке ларец, украшенный позолоченными гвоздиками, и лежала книга в переплете из лилового бархата, с серебряными наугольниками и с такой же звездой посередине доски, в которую был вделан драгоценный камень в половину голубиного яйца. Боярыня поставила колени на постель и потянулась за священной Псалтирью, но не удержала равновесия и со слабым женским вздохом ухватилась за рукав красной рубахи. Книга упала из ее рук с мягким стуком на пол, а боярыня обернулась, припала к отроку, и вокруг его шеи обвилась прохладные нежные руки, власть которых над человеком, говорят, сильнее приказаний воевод и царей...

Когда потом Злат, свесившись с кровати, стал поднимать упавшую книгу, он прочел на раскрывшейся странице: «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосыгаемую».

Какая-то необъяснимая грусть наполняла душу молодого отрока. Анастасия лежала рядом, закрывая глаза локтем белой руки, и золотой браслет сполз с запястья на самые пальцы. Спустя минуту Злат уже позабыл о словах псалма, это от них на сердце остался горьковатый привкус, точно в его беззаботную жизнь, полную всяких радостей, вдруг влилась первая капля полынной горечи.

Когда наступила ночь, он опять поднялся по скрипучей лесенке и упал в жаркие объятия Анастасии. Потеряв разум и стыд, она шептала ему, как ворожея:

— Ты скажешь, твой конь охромел!

Перед зарей, оставив утомленную ласками Анастасию, Злат стал собираться в путь и вышел на ночной черный двор, чтобы разбудить стража, храпевшего у ворот в тепле овчины. Отгоняя плетью злых псов, бросавшихся на него как львы, он тряс изо всех сил привратника, но тому не хотелось покинуть приятную страну сновидений. Старику снился огромный горшок горохового сочива со свининой. Наконец он очнулся и пошел отворять ворота.

— Куда едешь? — спросил он гуслира, зевая во весь рот.

— Далеко, — ответил Злат, уже в большой тревоге при мысли о том, что он скажет теперь боярину Гордею.

Проведенная у боярыни ночь рассеялась мало-помалу, как бесовское наваждение. Злат невольно улыбался. Неужели все это было? Или только приснилось? Но утренний воздух казался после благовоной духоты боярской опочивальни особенно сладостным. Человек легко делается игралищем своих желаний, если похоть распаляет плоть. Погиб отрок во цвете лет! Злат

сдвинул шапку на нос и почесал затылок. Еще хорошо, что боярин не послал за ним кого-нибудь и сам не надумал вернуться... А как же объяснить ему свое запоздание?

Теперь каждый час был дорог для него, но сказано, что человек как трость, колеблемая ветром. Злат уже думал о другом. Он проезжал в это время мимо кузницы, и удары молота о наковальню напоминали, что Коста приступил к работе. Погрузив весь мир в темноту, в памяти мелькнули серые лукавые глаза, ведра на коромысле, смех как бисер. Торопись, гусляр! Однако, остановившись перед закопченным навесом, Злат заглянул под него и увидел, что там старательно раздувает огонь в горне мехами белобрый кузнец, помощник Косты. Сам он ковал еще одну подкову. Отрок крикнул:

— Здравствуй, сын Сварога!

Из кузницы вышел рослый человек с белокурой бородой, но с лицом, черным от копоти, отчего еще светлее казались его глаза. Невзирая на зимнее время, Коста был в длинной холщовой рубахе и в кожаном переднике, без овчины.

— Что тебе надобно, отрок? — спросил он хмуро.

— Посмотри подковы у моего коня.

— Посмотрю.

Коста прислонил молот к столбу и стал поочередно поднимать ноги жеребцу. Конь, не всегда подчинявшийся даже своему всаднику, послушно давался чужому человеку, чуя запах кузницы и привыкнув к сильным кузнецовым рукам.

— Доедешь до Чернигова, — успокоил кузнец отрока, — а может быть, и до самой Тмутаракани.

— Добро.

— Обрато поедешь — кликни меня.

— Добро.

Злат тронул коня и направился по черниговской дороге, но обернулся и крикнул:

— А дочь твоя еще сны видит?

Кузнец с неудовольствием поднял бороду:

— Что тебе до моей дочери?

Отрок ничего не ответил, хотя несколько раз оглядывался в ту сторону, где за кузницей и навесом стояла избушка Косты. Злат рассмеялся при мысли, что под ее соломенной крышей живет такая красота. Чудно устроено все на свете. Юноша не любую похищает девицу у воды, а ту, с которой сговорился, уверившись в ее любви. Злат в эти мгновения почувствовал, что встреча с боярыней — только прихоть ее горячего тела. Есть нечто другое на земле, о чем трудно рассказать словами простому человеку...

Когда Злат подъезжал к погосту, он снял шапку и почесал еще раз затылок, обдумывая, что же сейчас сказать воеводе. Но гуслярам везенье в жизни. Или это боярыня наворожила, как колдунья? Вступив на лед реки, жеребец вдруг поскользнулся и упал, подгибая передние ноги. Злат едва успел соскочить с седла.

— Перун тебя порази! — рассердился он, вылезая из сугроба, наметенного ветром, и бросился к коню.

Жеребец с трудом встал на ноги, сделал несколько шагов на поводу и заржал тревожно, скаля желтоватые зубы, как будто бы жалуясь на боль. Отрок осмотрел копыта. Плохо кузнец их проверял, одной подковы не было, потому и произошло все, и бабка на правой передней ноге как будто бы стала распухать. Отрок заметил, что конь его охромел. Жаль было скакуна, но ведь через три дня все заживет, а это означало, что еще не пришло время погибать

гусляру! Злат улыбнулся. Бывает же такое! Он посмотрел в ту сторону, где уже виднелся погост, и повел туда коня, выискав место, где берег был отлогий, чтобы животному легче было подняться на гору. В селении дымились избы, и около них, как муравьи, копошились суетливо мужики.

Гордей встретил Злата на торге, где княжеские тиуны принимали оброк белками и медом.

— Где пропал? — грозно спросил воевода, глядя на отрока злыми глазами, и подошел вплотную.

— Конь мой ногу вывихнул. Оттого я и запоздал.

— Где твой конь пострадал? В каком пути?

— Еще когда в Переяславль ехал.

— Брешешь ты, как лисица.

— Не брешу. Думал — за ночь пройдет, и наутро лучше жеребцу стало, не хромял, а на обратном пути бабка распухла. Пришлось его на поводу вести.

— Где ночь провел?

— В твоих хоромах. На поварне мне велели лечь.

— На поварне...

Гордею не пришлось на ум ревновать отрока. А Злат сам удивился, что так ловко солгал. Теперь ему стало стыдно перед старым воеводой, проливавшим кровь за Русь. Еще раз лицо Любавы возникло, как отраженное в темной воде...

— Где Псалтирь? — спросил посадник.

Отрок вынул из сумы книгу, завернутую в чистую тряпицу, и протянул Гордею. Недалеко стоял князь Ярополк, молодой, но начитанный человек. Он видел, как боярин развернул плат и вынул из него Псалтирь, и старику было приятно, что князь оценил его благочестие.

Злат повел спотыкавшегося на каждом шагу жеребца под ближайший навес. Боярин с подозрением посмотрел через плечо на отрока, чуя неправду в его словах, или, может быть, прочел вину во взгляде беспутного гусляра. Но конь убедительно хромял. Гордей снова обратился к кадам с медом и к зарубкам на бирках.

У избы стоял Илья Дубец. Узнав, в чем дело, он стал внимательно осматривать ногу жеребца...

Сейчас жеребец шел как ни в чем не бывало. Это Дубец вылечил его, заставив конюха ставить припарки из теплого навоза. Злат подумал опять, что нельзя рассказывать боярину о своем приключении. Он назвал бы его прелюбодеем. Рассказать Даниилу? Но тот раззвонит об этом по всему Переяславлю. Лучше молчать. Молчат же деревья, стоящие у дороги.

## Х

За дубами показалось вдалеке мирное селение. Над снежными шапками хижин поднимались и плыли дымы. Мономах подумал, что в этот час там топят печи, девушки прядут волну или, может быть, вышивают языческих берегинь на полотенцах, вместо того чтобы направить свои помыслы на христианские святыни. В избышках жили пахари, бортники и звероловы. Но тропа из села вела на дорогу, по которой можно было попасть в Киев или в богатый Новгород, а эти города вели торговлю с Царьградом, посылали туда меха и мед, оттуда везли материи, вино и многие другие товары; так замыкался мировой круговорот жизни, и скромные хлебопашцы и вышивальщицы принимали в нем участие. Без них города, прославленные до пределов земли, или высокие каменные храмы, или осыпанные жемчужинами облаче-



ния царей и патриархов остались бы сонным видением, выдумкой книжника, а именно жизнь поселян наполняла весь мир горячим дыханием.

Старый князь, представляя себе в воображении все то, что происходило на земле в предыдущие годы, опять вспомнил об Олеге и подумал, что суетная жизнь этого человека напоминала извилистую дорогу, вроде той, по которой Мономах ехал сейчас в Переяславль среди зимних дубов...

Выполняя тайное повеление василевса, некто Халкидоний, спафарий по своему званию и служащий в секрете логофета дрома, прибыл в Корсунь и тотчас дал знать через торговых людей в половецкие степи, что желает вести переговоры по крайне важному делу с ханом Урусобой. Однако царский посланец требовал, чтобы предварительно были присланы в этот город заложники и проводники. Халкидоний по многолетнему опыту знал нравы степных кочевников (впрочем, справедливость требовала сказать, что нравы христианских правителей мало чем от них отличались, а порой даже превосходили варварское вероломство крайней жестокостью и коварством) и поступал так в заботе о безопасности своей особы. Следуя степному обычаю, он привез также с собой многочисленные подарки: расшитые золотыми цветами материи, тюк серского шелка, серебряные или поддельные золотые сосуды, амфоры с вином, полированные зеркала для половецких красавиц. Заложники вскоре явились и в вознаграждение за согласие сидеть до конца переговоров в мрачной корсунской башне тут же потребовали подарки. Так же поступили и проводники, с деланным равнодушием намекая, что путешествие в далекое становище может длиться месяцами, а может с помощью сведущих провожатых сократиться и до двух недель. Ввиду того что предприятие не терпело промедления, пришлось часть даров раздать и проводникам. Едва Халкидоний, после всяких проволочек, ожиданий, неудобных ночевок под открытым небом, опасных переправ и вечного страха за свою жизнь и порученные ему царские сокровища, прибыл в становище Урусобы, как хан захотел получить дары не только для себя и своих жен, но и для родственников и видных воинов.

На третий день, потягивая перебродившее кобылье молоко из хрупкой радужной чаши александрийского стекла, которую ему только что привезли из Царьграда, развалившись на шелковых подушках и рассеянно лаская нежную шею самой молоденькой из своих жен, половецкий повелитель говорил:

— Князь Олег наш союзник. Мы побратались с ним, ездили вместе на охоту. Как я могу поднять руку на брата?

Юная ханша шуршала шелками, звякала запястьями, жмурясь, как кошка, от сознания своего благополучия.

— Как пролить кровь брата? — повторил со вздохом Урусоба.

Подобная постановка вопроса коробила спафария, привыкшего к эзопову языку константинопольских секретов. Вытирая красным платком вспотевший лоб, он убеждал собеседника:

— Кто требует от тебя, чтобы ты посягнул на Олега? Жизнь есть дар божий. В крайнем случае можно было бы ослепить его и тем отнять возможность вредить царю. Но в настоящее время этого не требуется.

Половец не донес чашу до рта и презрительно скривил губы.

— Ослепление — человеколюбивее смертоубийства, — настаивал спафарий.

Хан поморщился. Это был дородный человек, уже не первой молодости, обрюзгший и в то же время наделенный огромной властью и не лишенный некоторого величия.

— Ослепление... Какую цену имеет жизнь воина, лишенного зрения?

Как увидит он саблю, занесенную над его головой? Как определит стати коня или оценит красоту пленницы?

— Женская красота познается главным образом прикосновением,— осклабился грек.— Хе-хе!

Но хан отрицательно качал головой. Он не хотел принимать участие в подобных предприятиях, как убийство или ослепление друга.

— Могу тебя заверить, что нам нужно пока совершенно иное,— успокаивал хана спафарий.— Царь имеет на него особые виды. Поэтому схвати князя и доставь на греческий корабль, и ты получишь сто золотых.

Урусоба насторожился:

— И потом ты его ослепишь?

— Я же тебе говорю, что об ослеплении не может быть и речи. И не забудь, что ты получишь дары.

— Дары, полученные мною,— знак уважения.

— Ты его вполне заслуживаешь. Однако я тоже имею право на твое содействие.

— Имеешь. Кстати, я тебе подарю превосходного коня. Пусть он носит тебя на сильной спине, под завистливыми взглядами друзей.

Спафарий вздохнул. Ему нужен был не дикий степной жеребец, на котором он едва ли поедет по улицам Константинополя, так как седлу предпочитал спокойную скамью в прохладной дворцовой палате, а русский архонт, чтобы своевременно доставить его логофету и получить соответствующую награду и, может быть, даже звание протоспафария, о чем мечтал он и днем и ночью, как и о присвоенном этому чину красном придворном одеянии с золотым тавлием на груди. Конечно, Халкидоний знал о планах, связанных с похищением Олега, лишь постольку, поскольку нашли нужным сообщить ему в высших сферах. Но он кое о чем слышал в передних Священного дворца и старался изо всех сил. Однако Урусоба медлил и не давал прямого ответа.

Пришлось действовать иначе, и в конце концов дары сделали свое дело. У Халкидония осталось еще достаточно шелка и серебряных чаш, чтобы подкупить хазарскую дружину Олега. Этих воинов раздражали насмешки князя над их обычаями. Они схватили своего предводителя, когда тот был в постели, и доставили на быстроходный дромон, тотчас поднявший паруса и ушедший в открытое море.

На корабельном помосте Олег осыпал Халкидония ругательствами:

— Ты сговорился со Всеволодом. Старому лицемеру хочется избавиться от меня, но он боится пролить кровь родственника своего, чтобы не запятнать душу грехом. Он в святые метит! Я знаю, этот хитрец жаждет завладеть моим Черниговом. Всякому любо быть господином в таком городе.

— Я не имел случая побывать в... как его... в Черни... в Чернигове,— оправдывался спафарий,— хотя и охотно верю, что это замечательный город, полный всяческого великолепия. Тем не менее прошу тебя успокоиться. Нам не известны дальновидные планы благочестивого. Кто знает, может быть, твоя звезда только восходит на небосклоне...

Дромон «Азраил» представлял собою прочное военное судно с высокой кормой. На этом христианском корабле позолоченный Посейдон грозил врагам трезубцем, а на корме, между двумя огромными светильниками, развевалась пурпуровая хоругвь с изображением богородицы, покровительницы христиан. Посреди помоста возвышались две мачты: одна высокая, другая, стоявшая позади, пониже. На первой была укреплена корзина, в которой посменно сидели под самым небом сторожевые корабельщики, следившие, чтобы во время пути корабль не разбился о скалу или не сел на мель. Под помостом находилось помещение для гребцов. Но в данное время многие

скамьи там пустовали. Дело в том, что в прошлом году, во время захода «Азраила» в Трапезунд, почти половину из числа весельщиков унесло в преисподнюю моровое поветрие, и мертвецов пришлось бросить в море, на съедение рыбам. Однако новых невольников еще не удалось приобрести, ибо для этого требовалось утверждение представленной сметы казначеем царской сокровищницы, а этот муж предпочитал послать в распоряжение протокаравия, или водителя корабля, закованных в цепи и не требующих никаких расходов преступников. Поэтому двигательную силу дромона нельзя было использовать в полной мере, и только благодаря благоприятному ветру Халкидоний в сравнительно короткий срок пересек Понт, достиг Синопы и Амастриды, а оттуда благополучно приплыл в тихое пристанище Золотого Рога.

В семидневном плавании князь Олег имел достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей участи, но он потратил эти дни главным образом на то, что препирался с Халкидонием. Спафарий, человек с одуловатым лицом и внушительным чревом, походил на вепря, однако никто не мог бы отказать ему в известной тонкости и умении обращаться с людьми, и тем не менее этот неукротимый скиф доставил ему немало беспокойства и попортил крови.

— Почему ты гневаешься на меня? — спрашивал Халкидоний русского архонта. — У тебя ведь нет причины жаловаться на судьбу. Я уже говорил тебе. Может быть, царь украсит твое чело кесарской диадемой или женит на своей родственнице? Между прочим. Когда тебе представится случай предстать пред благочестивым, не забудь упомянуть в беседе, что я неизменно проявлял в отношении тебя всякое внимание и старался выполнить малейшее твое желание.

— Если так, то поверни корабль на полночь!

— Такое я как раз сделать не могу, так как выполняю повеление пославшего меня.

Видя, что Олег уже готов разразиться ругательствами, он прибавил:

— Прошу тебя, выпей со мной вина.

В хмельной напиток, который цедили для архонта, подмешивали немного снотворного.

Несмотря на льстивые речи Халкидония, Олег совершал путешествие в самом мрачном настроении духа. Его гордость уязвляло сознание, что он на положении узника. Еще никогда не приходилось князю быть в плену. Вокруг сияло невиданной красотой волнующееся море, и проплывающие мимо берега представлялись каким-то прекрасным сновидением, но его везли как пленника, коварно схватив на ночном ложе.

По прибытии в Константинополь, оставив спящего архонта на корабле, Халкидоний поспешил сойти на берег, осторожно ступая по узкой доске, довольно неприятно гнувшейся под тяжестью его дородного тела, и направился в Священный дворец. Там его удостоил длительного разговора сам логофет дрома. Этот могущественный евнух, по имени Никифор, но прозванный насмешниками Никифорицей — малюткой Никифором, доверенное лицо василевса, представлялся в воображении несведущих людей чем-то вроде огромного дуба, покрывающего своей сенью все государство ромеев. В действительности же он оказался болезненным и слабосильным старичком, однако наделенным исключительным умом, способным распутать самые сложные политические загадки.

Стены сводчатой палаты, где принимал видных посетителей логофет дрома, украшала роспись, представлявшая собою небесный вертоград. На гигантских лозах чередовались с успокаивающей монотонностью пурпуровые листья и неправдоподобные золотые гроздья, так как все это надлежало

понимать отвлеченно и духовно. Посреди горницы стоял мраморный круглый стол со стеклянной чернильницей, прикрытой от мух крышечкой. Логофет, пожелавший лично переговорить с Халкидонием, умудрившимся доставить в ромейский град столь редкую птицу, как русский архонт, надеялся узнать от спафария любопытные подробности. Кроме того, дворцовый затворник, кажется никуда не выезжавший далее своего загородного дома, где он кормил в круглом водоеме золотых рыбок белым хлебом, очень интересовался рассказами о путешествиях и приключениях, а этот спафарий повидал кое-что во время выполнения царского поручения. Однако логофет считал неприличным усаживать такого малозначительного человека рядом с собою за стол, хотя, с другой стороны, ему хотелось и отметить его несомненную заслугу, поэтому он решил разговаривать со спафарием стоя. Когда Халкидоний вошел в палату, изобразив на лице приличествующее данному месту смирение, евнух стоял у окна и поманил его указательным перстом. Спафарий поклонился, касаясь рукой пола, и приблизился к могущественному царедворцу.

— Здравствуй, спафарий,— милостиво приветствовал его глуховатым и скрипучим голосом логофет дрома.

— Многая лета твоему благолепию.

Евнух окинул взором огромное тело этого счастливица, вдыхавшего запах степей, и, видимо, не одобрил такое предрасположение к полноте. Но каждому свое.

— Ну как там, в Кумании? — спросил он спафария.

Куманами греки называли половцев, но Халкидоний растерялся и не знал, что ответить.

— По необозримым степным пространствам скачут во множестве дикие кони? — улыбался евнух.

Спафарий ничего подобного не видел или не заметил, но поспешил ответить, чувствуя, что этим доставляет удовольствие собеседнику:

— Во множестве.

— Воображаю, какое это волнующее зрелище!

— Скачут во множестве, во всех направлениях,— повторил Халкидоний, уже входя во вкус.

— Да,— вздохнул логофет, мечтательно устремляя взоры куда-то вдаль и уже не слушая спафария,— там живут люди, по своему положению варвары, однако знающие, что такое перемена мест и свобода от ложных предрассудков. А мы погребли себя в книжной пыли. Но поведай мне о том, как ты мчался на скакунах, совершал переправы через бурные реки, вступил в единоборство с разъяренным барсом! Рассказывай же, спафарий!

Он даже простер вперед ручки.

Халкидоний почувствовал смущение. У него не хватало смелости вынуть из-за пазухи платок, чтобы вытереть пот на лбу и придать себе некоторую независимость, хотя он и считал, что подобная принадлежность костюма является признаком хорошего воспитания и всеми принята во дворце.

— Да, путешествие мое было полно всяких трудностей. Огромное количество блох в этих шатрах, пища самая грубая...

Он не знал, о чем еще рассказать логофету. Видя, что спафарий отнюдь не обладает даром повествования, Никифор вздохнул опять и перешел к делу.

— Итак, ты доставил архонта? — спросил он, пожевывая тонкими губами. Желтое, сморщенное, как засохшее яблочко, лицо евнуха было лишено растительности, жалкие остатки которой удалялись брадобреем, но в глазах у него поблескивал живой ум.

— Архонт прибыл в сей богохранимый град в полном благополучии,— доложил спафарий и даже поклонился низко при этих словах.

— Где же он?

— Почивает на корабле.

— Не делал попыток к бегству?

Логофет разговаривал с Халкидонием, заложив руки за спину, стоя к нему спиной.

— Смею сказать твоему благолепию, что убежать с корабля затруднительно.

— Не высказывал ли он что-нибудь такое, что ты считал бы нужным и необходимым сообщить мне?

Не соображая, на что обратить внимание логофета, спафарий вспомнил:

— Говорил, что с ним поступили в нарушение всех божеских и человеческих законов. Он уверен, что это сделано по наущению киевского архонта.

— Так, так...

— Часто буйствовал в пути, требовал, чтобы я повернул корабль в обратный путь. Тогда мы примешивали в его вино снотворное в небольшом количестве.

— Ну что же... Эти скифы ужасны в гневе. Значит, архонт считает, что его пленили по замыслу киевского правителя?

— Так он говорил.

— А не выражал ли он желание служить василевсу?

Халкидоний замаялся:

— Как будто не выражал.

— Однако в своих высказываниях относился к благочестивому с должным почтением?

Спафарий вспомнил, какие слова произносил Олег, говоря о царе, и стал покашливать в кулак. Евнух нахмурился и не настаивал на ответе.

— Ну, об этом в свое время. Но что он несет?

Не понимая, о чем идет речь, Халкидоний недоуменно посмотрел на логофета, а потом, следуя за его любопытствующим взглядом, в котором чувствовалось нетерпеливое желание что-то узнать, — в окно. Тогда спафарий увидел в глубине дворцового пространства, обнесенного каменной оградой, служителя, несущего в руках какую-то птицу, трепыхавшую крыльями.

— Как будто бы курицу несет? — спросил логофет и даже посмотрел с мучительным сомнением на спафария, интересуя его мыслями по этому поводу и забывая на мгновение о разнице их положения. Потом присел немного, опираясь руками о колени, чтобы лучше рассмотреть происходящее на дворе.

Халкидоний тоже стал вглядываться в пернатую ношу. Служитель спокойно шел, не помышляя даже, что служит предметом высокого внимания. Но острое зрение у спафария не было столь утомлено чтением мелко написанных доносов и панегириков, как подслеповатые глаза евнуха, и он отлично разглядел, что несут не курицу, а петуха. В руках у этого человека бился огромный белый петух с красным гребнем. Халкидоний так и заявил:

— Служитель несет петуха.

— Петуха?

— Смею утверждать.

— Гм... Куда же он несет его?

— Вероятно, на поварню, — высказал свое предположение Халкидоний, польщенный тем, что волею судьбы принимает участие в таком важном обсуждении земных дел.

Губы логофета скривились в скептической ужимке.

— На поварню? Не думаю. Она расположена на другом конце двора, за кладезем святого Саввы... Странно, странно...

Однако Никифор спохватился, и разговор снова перешел на Олега.

— Итак, архонт находится на корабле?

— На корабле.

— И считает, что схвачен по козням киевского правителя?

— Я уверял его, что это не так.

В глазах евнуха вспыхнуло неудовольствие, перешедшее в гнев. Он вскипел и топнул ножкой в черном башмаке.

— Кто позволил тебе это? Глупец! Для тебя достаточно отговариваться незнанием. Остальное объяснят ему вышестоящие.

— Прости мое неразумие... — стал растерянно оправдываться спафарий.

У него уже не в первый раз в голове мелькнула мысль, что угодить сильным мира сего не легко. Никогда не знаешь, что надо сказать — черное или белое.

Евнух смотрел теперь на него с явным презрением.

— Не следует совать свой нос туда, куда не положено, — выговаривал он. — Понял ли ты меня?

— Понял, — смиренно поник головой Халкидоний.

— Ты знаешь язык руссов. Поэтому будешь состоять при архонте. Блюди этого человека как зеницу собственного ока. Тебе даже придется жить вместе с ним в доме, который ему отведет эпарх города, и получать некоторые суммы на содержание пленника. Часть этих денег отдавай ежедневно архонту для его личных нужд. Две или, скажем... три номисмы. Под расписку, конечно. Это необходимо для ведения правильной отчетности. Ты ответишь за каждый милиарисий. Он молод, этот архонт? Сколько ему лет?

Халкидония бросило в жар при мысли, что он не удосужился спросить у Олега, какого тот возраста. Но чертя голову ответил:

— Двадцать семь лет.

— Тем более. Значит, архонту понадобятся деньги и на развлечения. Не препятствуй ему в этом. А теперь ступай!

Спафарий бросился к логофету, чтобы прикоснуться к краю его длинной одежды из желтого шелка с золотой каймой внизу и облобызать сухонькую руку, если ему позволят сделать это. Евнух позволил, хотя и с брезгливой ужимкой.

Едва Халкидоний очутился за порогом, как услышал:

— Спафарий!

Он поспешно вернулся в палату и вопрошающе уставился на логофета, уже не ожидая для себя ничего хорошего. Но евнух неожиданно произнес скрипучим голосом:

— Забыл тебе сказать... За выполненное похвальным образом повеление василевс своевременно наградит тебя по заслугам.

В воображении Халкидония опять мелькнул плащ протоспафария. Сердце его возликовало. Он стал рассыпаться в благодарностях перед всемогущим вельможей. Евнух, уже многие годы стоявший на вершине власти и осыпанный милостями и щедротами благочестивого, даже не понимал, что можно так неумеренно радоваться какой-нибудь незначительной награде. Немного презрительно, но не без удовольствия принимая эти выражения благодарности, евнух подталкивал спафария в огромную спину к выходу и приговаривал:

— Хорошо, хорошо...

Сжимая пальцы левой руки правой, Халкидоний еще раз низко поклонился на пороге и осторожно прикрыл дверь, чтобы стуком не беспокоить логофета.

Только под вечер Олег очнулся и выглянул в оконце кормового помеще-

ния, где он лежал на тюфяке, прикрытом ветхим ковром. В голове у него звенело. Может быть, от этого странного вина, которое ему иногда давали пить. Князь увидел, что корабль стоит у каменного причала. Внизу черно-зеленая и мутная вода была загрязнена всякими нечистотами. На поверхности плавали куски дерева, сломанная плетеная кошница, несколько дохлых серебристых рыбешек, полупогруженный в воду разбитый глиняный сосуд. Но когда Олег поднял взоры к небесам, то перед ним предстала на золоте заката совершенная красота купола св. Софии. Он превышал своими размерами всякое человеческое представление о земных вещах. После русских дубрав и половецких полей это казалось сонным видением. За храмом возвышались другие церкви и множество мраморных зданий, среди которых воздымались черными свечами кипарисы.

По-видимому, никто не обращал внимания на это великолепие. Люди уже привыкли. На набережной слонялись и горланили песни какие-то неопрятные корабельщики, плевали в воду и даже мочились с мраморной пристани. По соседству приставал к берегу другой корабль. Его кормчий изрыгал ругательства, судя по выражению лица, и вдруг железный якорь плюхнулся в воду, подняв на мгновение сноп брызг.

В это время Олег увидел, что на пристани появился Халкидоний.

## XI

Так началась константинопольская жизнь Олега. Когда он выходил из своего дома, прохладного даже в полдневную жару, так как во внутреннем дворе днем и ночью шумел водомет, его неизменно сопровождал на прогулках Халкидоний, приставленный свыше к особе архонта, как знающий язык руссов, в качестве переводчика и соглядатая. Точнее говоря, спафарий знал болгарский язык. Но известно всем, что руссы и болгары отлично понимают друг друга и считаются братьями. Халкидоний еще не удостоился получить обещанную награду — звание протоспафария — и плелся за князем не всегда в хорошем настроении, возмущаясь до глубины души ничем не извинительной волокитой, царящей в государственных секретях. Обычно за ними следовали позади трое или четверо вооруженных служителей. Для большого почета, как объяснял Олегу спафарий, в действительности же для предотвращения побега или попытки освободить знатного пленника. Ведь Халкидоний отвечал за порученного его заботам Олега собственной головой. Спафарий заматался, выполняя причудливые желания молодого архонта или улаживая всякие неприятные истории, в которых тот был замешан. То князь с необъяснимым упрямством во что бы то ни стало хотел носить красные сапоги, хотя его предупреждали еще в день прибытия в Константинополь, что обувь такого цвета имеет право надевать на ромейской земле только царь; то он скакал, как безумный, на коне по Месе, вызывая восторг легкомысленных девиц и наводя ужас на степенных прохожих и торговцев. На прогулке, очутившись на улице, Олег останавливался на каждом шагу. Его внимание привлекали товары, разложенные на мраморных прилавках, — парчовые ткани, оружие с золотыми украшениями, сарацинские седла с красными шариками и бирюзой. Вдруг князю хотелось зайти в попавшуюся на пути церковь с мощами прославленного мученика. Иногда он, горделиво подбоченясь, не сводил взгляда с какой-нибудь красивой женщины в богатом одеянии.

— Кто эта жена? — спрашивал Олег, толкая локтем Халкидония.

— Откуда мне знать? — сердился спафарий. — Их тысячи в нашем городе.

Горожанка с улыбкой оборачивалась, догадываясь, что это на нее обратил

благосклонное внимание красивый чужестранец в плаще непривычного покроя и парчовой шапке. В полной уверенности, что ее провожают взглядами, она делала свою походку соблазнительной, без всяких дурных помыслов, совершенно бескорыстно.

Олег задумчиво крутил светлый ус. Конечно, это было не в Чернигове, где все знали друг друга и где он любил разглядывать в Михайловской церкви красивых боярынь, пришедших к обедне.

На площади шумело перед Олегом константинопольское торжище. Нигде не приходилось ему видеть столько значных мест, как в Царьграде; притоны и корчмы привлекали молодого князя необычностью обстановки, музыкой, песнями корабельщиков и, главное, смехом смазливых и веселых женщин, продававших свои поделуи.

Как только над Константинополем спускалась теплая ночь и в лавках торговцев шелковыми материями зажигались масляные светильники, Олег надевал свое пышное корзно и отправлялся в лабиринт подозрительных кривых улочек, богатых неожиданными встречами и приключениями. Порой, сидя в каком-нибудь вонючем кабаке перед оловянным кубком кислого вина, рядом с молчаливо сопевшим Халкидонием, Олег вспоминал прошлое. Вдруг вставал любимый Чернигов со своим прекрасным собором. Владимир Мономах сидел с книгой в руках, а его зеленоглазая супруга стыдливо опускала очи под дерзкими взорами гостя... А здесь он, князь и сын князя, не в царском дворце, а в корчме, где нарумяненные блудницы, даже аспидоподобные эфиопки бесстыдно показывали сосцы, выпрашивали у пьяных посетителей жалкие медяки. Греческие корабельщики пели что-то заунывное, а потом, выхватывая из-за пазухи ножи, дрались с другими мореходами. Тогда хозяин таверны разнимал буянов и вытаскивал их на улицу, где сиял на черном небе над спящим городом золотой полумесяц и прохладный воздух после блевотины казался особенно чистым.

Жизнь Олега была полна превратностей. Сначала все обещало полное благополучие. С юных лет приходилось садиться на коня и опоясываться мечом. Что было тогда, Халкидоний? Далекий поход вместе с Мономахом, когда они были с ним как родные братья и по-братски делили трапезы под придорожным дубом. Владимир печалился о молодой жене, а он, Олег, был свободен, как ветер, и в каждом селении целовал красоток. Тогда они поделили с Мономахом тысячу гривен, взятых в виде дани. Но после смерти отца, великого князя Святослава, начались трудные времена. Пирьы и охоты прекратились, драгоценные сосуды, собранные в доме, разошлись по чужим рукам. Изяслав вывел его из Владимира, что на Волыне, и поселил в Чернигове, под надзором княжившего там сурового и богомольного Всеволода. Но черниговцы не любили киевских бояр и хотели иметь князя из рода Святослава, и он терпеливо ждал своего часа. Мономах угощал его обильными обедами, хотя сам не сядет за столом и двух кусков пирога, едва прикоснулся к чаше, но зато долго говорил, вспоминал общие походы или читал ему вслух толстые книги, в которых рассказывалось... О чем там рассказывалось? Нет, никогда не давалась Олегу книжная премудрость. Зато хорошо помнил он, как за столом смущалась под его взглядами прекрасная чужестранка, сияющая, как утренняя денница...

Однажды Олег засиделся в одном из константинопольских вертепов. Халкидоний заметил, пожевывая:

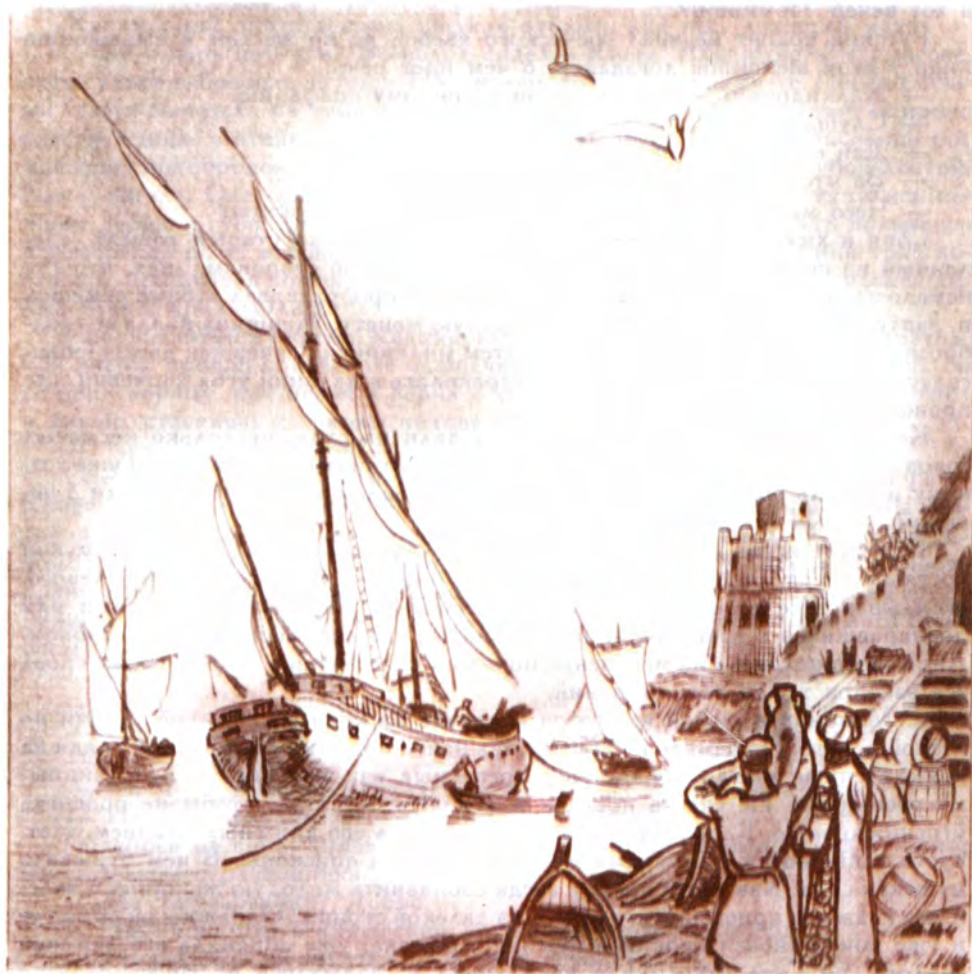
— Скоро и утренняя. Не пора ли на покой?

Князь взял в руки кувшин с вином и отпил половину.

— Кто держит тебя? — сказал он, вытирая тыльной стороной руки мокрый от вина рот.



Так началась константинопольская жизнь  
Олега. Когда он вышел из своего дома



его неизменно сопровождал Халкидоний  
приставленный свыше к осове архонта ...

По примеру отца, Олег не носил бороды, оставил только длинные шелковистые усы. Его глаза, полные гордыни, светились презрением ко всем, кто не был княжеского или царского рода. Война, добыча, власть, дорогое оружие, породистые кони, пламенные женщины... Вот что составляло его радость и смысл жизни. Побольше серебра, селений, рабов...

Блудница, стоявшая у скамьи, на которой сидел молодой князь, совсем рядом, склонилась к нему и умильно шептала, прижимаясь мягкой грудью, обнимая воина за плечи:

— Хочешь, я спляшу тебе? Или пойдем и ты возляжешь со мной, как в тот вечер. Помнишь?

Русский архонт не знал греческого языка, но по жестам и выражению лица у этой женщины догадался, о чем идет речь.

— Халкидоний! — обратился он к сонному спафарию.

— Слушаю тебя.

— Дай ей серебреник.

— За что?

— Чего мне жалеть деньги из царской сокровищницы?

Сопя и хмурясь, Халкидоний вынул из-за пазухи старый кошель, сделанный из потертой парчи, с опаской огляделся по сторонам, зная, что тут немало злодеев и татей, зарящихся на чужое добро, развязал зубами ремешок и, запустив руку в суму, вынул серебряную монету. Женщина взяла ее, подбросила в воздух и ловко поймала. Затем миллиарисий исчез как дым. Поблагодарив князя улыбкой, блудница отправилась в дальний угол харчевни, где происходила яростная игра в кости.

Когда костяшки с сухим треском падали на стол, несколько косматых голов одновременно склонялись к ним и снова откидывались назад, и уже тот, кому подошла очередь метать зернь, с увлечением тряс белые кубики с черными очками в кожаной стопке.

Еще один игрок захотел попытать свое счастье. Он сгреб костлявой рукой костяшки со столешницы, долго тарахтел ими то у правого уха, то у левого, оглядывая веселыми глазами людей, сидевших за грязными столами или препиравшихся с трактирщиком у жаровни, где варились бобы с чесноком. Лицо этого человека на мгновение попало в поле зрения Олега, потом снова все заволок туман воспоминаний.

... Мономах в любой час готов вскочить на коня и ехать среди ночи по лесной дороге. Но немало и Олег провел ночей под открытым небом, глядя на яркие степные звезды, пушистые и трепетные, как женские очи под длинными ресницами. Не счесть поездок и ночлегов в шатре, чтобы не проспаться утреннюю зарю. Владимир пытался просветить его книжным чтением. Нет, пусть занимаются подобными делами монахи и епископы. В нем бушевала мужская сила. Как хотелось ему тогда соблазнить молодую женщину с зелеными глазами, приехавшую на Русь из далекой страны! Однажды он обнял ее и уже почувствовал перстами нежность ее тела, уже опьяняла его женская теплота, но Гита оттолкнула насильника и, задыхаясь от гнева, сказала страшным голосом:

— Как посмел ты...

Вскоре ему пришлось бежать в Тмутаракань. Потом загремела битва на Сожице. Не худо тогда его половцы посекали воинов Всеволода! Сам старик едва спас свою жизнь, убегая, как заяц, с поля сражения. А как радостно приняли его, Святославова сына, черниговцы! Но Владимир ворвался в окольный город, стал жечь посады, и, чтобы не губить отцовское наследие, Олег вышел через Восточные ворота и ушел в степь. Чернигов отдали на княжение святоше Владимиру. Ведь у Всеволода лари были полны серебром,

а в жилах его сына наполовину течет греческая кровь. В Царьграде у них нашлись союзники. Половцев перекупили за подарки, и Всеволод заключил с ними мир. Тогда эти предатели и убили его милого брата Романа, и никто теперь не знает, где лежат его кости — лежат без христианского погребения. Он сам даже в далекой Тмутаракани не мог найти прибежище, и здесь достала его десница киевского князя. Проклятые хазары... Но ныне ветер как будто бы снова менялся...

Халкидонию хотелось спать. Он зевал во весь свой широкий рот.

— Князь, не пора ли покинуть это злчное место?

— Еще не пора.

Халкидоний опять зевнул, щелкая зубами, как пес, ловящий мух.

...Что теперь на Руси? Всеволод сидел в Киеве, Владимир в Чернигове, а его судьба забросила за море. Но живешь-то один раз на свете. Перед глазами Олега выплыла из тумана ангелоподобная красота Феофании. Широко расставленные агатовые, круглые, как у птицы, глаза, маленький яркий рот и острый подбородок. Обилие черных волос, перевязанных голубой лентой. Как у ангела. Олег улыбнулся. Сквозь пьяный туман к нему тянулись нежные девичьи губы для лобзания. Однако в дальнем углу опять появилась богомерзкая рожка игрока, мечущего кости. Опять этот разбойник тряс костяшки, прикрывая кожаную стопку огромной рукой, и не спускал насмешливых глаз с князя Олега.

Побуждаемый нуждою, Халкидоний встал и вышел, нагибаясь в низенькой двери, прочно сбитой и с окошечком, забранным решеткой. И едва он оставил корчму, как игрок в зернь отодвинул от себя костяшки и подошел к князю, стаскивая с головы колпак, что был когда-то красным.

— Будь здоров, князь! — сказал он.

Олег с удивлением посмотрел на прощельгу, услышав русскую речь. Конечно, этот человек был с Руси, высокий детина, со светлой и как бы сбитой на одну сторону бородой, с копною давно не чесанных волос, с неунывающими голубыми глазами, хотя одежда его превратилась в лохмотья и сквозь драную русскую рубаху просвечивало загорелое тело и поблескивал на груди медный крест на грязной тесьме. На портах виднелись заплаты, а ноги были босы.

— Ты наш? — спросил Олег.

— Наш.

— Из какой земли?

— Из Чернигова.

— Из Чернигова? — удивился князь. — Как же ты сюда попал?

— Из Тмутаракани.

Подобрев от вина, князь стал расспрашивать незнакомца, видом своим напоминавшего разбойника.

— Из Тмутаракани? Добро.

— Был конюхом в княжеской дружине, — пояснил смерд.

— Не с хазарами ли ты был в том городе?

— Нет, у князя Романа, твоего светлого брата. И тебя я сразу узнал. На Сожице мы с твоими отроками киевскую рать саблями порубили. Тогда ты был полон веселья. А ныне что случилось с тобою, княже?

— Ныне худо стало.

— Худо.

— А ты кто?

— Я Борей.

— Не помню тебя.

— У боярина Ивана Еленича был... — со злобой перекосил рот Борей.

— Еленич...— протянул князь, что-то смутно припоминая.

Он вспомнил, что этого боярина убил секирой его собственный холоп и убежал в неведомые страны, спасая свою голову.

— Не ты ли боярина зарезал?

Борей отвел взгляд в сторону.

— Разве мертвого воскресишь?

У конюха были мощные руки. Олег теперь уже знал, кто стоит перед ним. Еленич отнял у холопа жену и три ночи ласкал ее в своей опочивальне, а потом выгнал из хором на посмеяние отрокам, и она исчезла, не оставив после себя никаких следов. Никто больше ничего не слышал о ней с тех пор.

— А жена твоя? — спросил Олег, не глядя на Борей.

— Отлетела ее душа.

— Умерла?

— Утопилась.

Понемногу в памяти Олега восстанавливалось прошлое. Двор у боярина Еленича. Портомойня. Беззаботный женский смех и среди других — румяное лицо, красное ожерелье на белой шее. И вот утопилась...

— Другую найдешь, — сказал он сквозь зубы.

— Не искал.

— Что творишь тут?

— На причалах с кораблей корчаги сгружаю.

— А люди, что с тобой кости мечут, тоже из нашей земли?

— Греки.

— Как же разумеешь их?

— Нужно заставит человека и птичье пенье понимать.

— Тоже корабли разгружают?

— Они корабельщики.

При этих словах Олег подумал с раздражением, что даже эти бродяги плывут по волнам куда хотят, а он должен ждать у моря погоды.

— Князь! — сказал Борей и почесал косматую голову.

— Что тебе?

— Уйдем в Тмутаракань.

Олег рассмеялся.

— А смерть боярина как замолишь?

— Если пожелаешь, все следы потеряются.

Молодой князь протрезвел немного и бросил взгляд в сторону двери, чтобы удостовериться, не возвращается ли Халкидоний со двора, где находилась вонючая латрина. Он повеселел и смеялся уже от удовольствия.

— Тмутаракань! Любо мне там. Но не легко до нее доплыть. Где корабль возьму?

— Если есть серебро, корабль и корабельщики найдутся. А ветер смелым в корму дует.

Опять появились на мгновение влюбленные глаза Феофании. Они проникали в самую душу. В этом огромном мире такая странная жизнь, что не знаешь, где правда, а где ложь и с какого конца приступать ко всякому делу. Все перемешалось — война и мир, любовь и нажива. Олег догадывался, что вокруг него плетется паутина, связывавшая его с каждым днем крепче железных цепей. Ему намекали, что помогут советами и золотом и даже греческим огнем, поднимут половцев, если он пожелает завладеть не только своим, неизвестно чем прельстившим его Черниговом, но и Киевом. Однако логофет напоминал, что в таком случае надлежит объявить себя верным другом царя и исполнять его повеления, за что будут пожалованы звания и всякие отличия. Теперь в эту игру включили и любовь Феофании, шестнадцатилетней

девушки. Недаром вчера Никифор неоднократно напоминал о юной красавице. Олегу представлялось, что таким способом царедворцы надеялись крепче привязать его к своему греческому делу. Поистине, не попытаться ли бежать на Русь и начать борьбу с самого начала? Но в кармане его штанов звякали всего два золотых. Сжимая кулаки и зло глядя перед собою, князь повторил:

— Не легко это сделать, смерд.

— А уже приспело время. В Тмутаракани любят щедрых и храбрых князей, и в Чернигове тебя давно ждут.

Князь посмотрел на лохматую голову Борей и подумал, что этот смышленный холоп может ему пригодиться в будущем. Он спросил:

— Знаешь дом мой?

— Откуда мне знать его?

— Видел церковь Фомы?

— Красную, с золотым крестом?

— Рядом с нею каменный дом на улице.

— Здесь все дома каменные.

— В моем доме над воротами мраморная птица.

— Видел.

— Явись ко мне тайно.

В двери, нагибаясь в три погибели под низкой притолокой, показался Халкидоний.

Князь сказал бывшему конюху:

— Иди теперь.

Борей молча отошел.

Спафарий, приводя в порядок одежду, приблизился к столу. Чрево у него было внушительное, как у епископа, глаза маленькие. Заметил косматого бродягу и спросил, позевывая:

— Зачем подходил?

— Деньги просил.

— Попрошайки,— проворчал спафарий.

Князь тоже притворно зевнул и предложил:

— Не пора ли на покой?

На улицах уже просыпалась жизнь. Огромные звезды на мутном предутреннем небе побледнели. Со стороны моря веял приятный ветерок. По направлению к Ипподрому торопливо двигались люди. Это были придворные чины различных степеней, спешившие на дворцовую церемонию. Они скользили в мягких башмаках, как тени, переговариваясь между собою об очередном посвящении в звание патрикия или о других милостях благочестивого. Халкидоний с грустью подумал, что, не будь архонта у него на шее, и он тоже провел бы ночь, как полагается христианину, в теплой постели, в объятиях супруги, а в этот час шел бы вместе с другими на Ипподром, как все спафарии и кандидаты.

Их перегнал сидевший на ушах сером осле магистр, судя по белой хламиде с золотыми украшениями, обозначавшими его высокий чин. Это был Феодор Музалон. Старый вельможа трусил, смешно расставив локти и задирая носки желтой обуви. Седая борода тряслась в такт ослиной побежки. Позади поспевали за магистром два быстроногих служителя. Один из них держал в руке дымный смоляной факел, уже ненужный на рассвете дня.

Увидев русского архонта, который дважды бывал в его доме, Музалон закивал головой и обернулся, придерживая осла. Потом спросил Халкидония:

— Откуда направляете свои стопы?

Спафарий решил, что лучше прибегнуть к святой лжи, и сказал, покашляв в огромный кулак, не без смущения:

— Идем от полуночницы в церкви Сорока Мучеников.

Должно быть, магистр не поверил, потому что произнес, с ласковым сокрушением поглядывая на архонта:

— Ах, молодость, молодость...

Вспомнив о своей единственной дочери Феофании, о надеждах, связанных с ее красотой и невинностью, он лукаво погрозил князю перстом:

— Избегай путей, коими ходят нечестивые!

— Что он лопочет? — спросил Олег.

Спафарий перевел отеческое наставление.

Подковы осла снова бойко застучали по каменной мостовой, и двое служителей, передохнувшие немного во время разговора, снова побежали за своим господином. С обеих сторон улицы возвышались глухие стены домов, кое-где только прорезанные на большой высоте оконцем, порой уже озаренным светильником трудолюбивой хозяйки или заботливой рабыни. В этом городе любили высокие стены, решетки, крепкие запоры, ограды, тишину внутренних дворов, потому что люди тщательно берегли свое имущество. В одном из таких домов, под незримым наблюдением, поселили и князя Олега. Над воротами его жилища красовался мраморный орел, оставшийся от римских времен.

Когда князь подходил с Халкидонием к дому, он увидел, что у ворот его поджидает дворцовый вестник. На этот раз русского пленника приглашали не к логофету, как обычно, а на прием к самому императору.

## XII

Убедившись, что василевс проявляет к особе русского архонта большой интерес и связывает с ним какие-то тайные планы, известные только логофету дрома, константинопольские вельможи стали наперебой выражать Олегу свое расположение и даже приглашать его при всяком удобном случае в свои дома. Обычно это были довольно скучные, хотя и обильные, обеды, во время которых за столом велись душеспасительные разговоры на непонятном для князя языке. Халкидоний, работавший рядом с ним с завидным усердием челюстями, и тут выполнял обязанности переводчика, если хозяину или кому-нибудь из гостей приходило на ум задать архонту тот или иной вопрос. Чаще всего эти люди любопытствовали по поводу цен на меха и воск, расспрашивали о суровом климате Скифии, о ее снегах и непроходимых чащах, где водились соболь и черная лиса. Халкидоний переставал жевать, вытирал рот рукой и, глядя в одну точку перед собой, переводил вопрос и ответ. И тогда удовлетворивший свое любопытство хозяин, придерживая рукав одной руки другою, брал с блюда еще один кусок пирога и передавал архонту, и тотчас появлялся служитель, чтобы протянуть гостю полотенце для вытирания рук, а виночерпий наполнял его чашу вином, разбавленным теплой водой.

Когда трапеза происходила у магистра Феодора Музалона, его дочь Феофания не сводила глаз с красивого варвара.

Олегу трудно было следить за разговорами, какие велись на подобных собраниях, хотя иногда он и спрашивал у Халкидония, почему греки вдруг вставали со своих мест и, выразительно размахивая руками, выкрикивали друг другу слова, должно быть весьма неприятные, если судить по выражению лиц у спорщиков. Особенно часто он наблюдал подобное оживление в доме Музалона. Действительно, как это ни странно, но у магистра, несмотря на пышное звание, человека не очень образованного и не посвященного в глубины философии, собирався цвет греческой образованности. Иногда здесь

бывал даже Михаил Пселл, недавно покинувший столицу, но неизменно приглашаемый к Музалону при каждом посещении Константинополя и принимавший охотно участие в научных спорах. Бывали в доме магистра также преемник Пселла, новый наставник философского факультета Иоанн Итал, молодой поэт, подававший большие надежды, Феодор Продром, врач и стихотворец Николай Калликл и другие не менее образованные мужи.

Однажды Олег был свидетелем большой ссоры в этом обществе. В тот день на почетном месте сидел Михаил Пселл. На нем шумела монашеская ряса из великолепного черного шелка, и от него пахло благовониями. Как всегда, борода философа была старательно подстрижена. Олег, попадавший на такие собрания только по прихоти своей странной судьбы и благодаря каким-то расчетам магистра Феодора, заметил, что этот инок, перед тем как сесть за стол, очень оживленно разговаривал с красивой женщиной, прижимал руки к сердцу и даже шептал ей что-то на ушко, от чего красавица смеялась от души, а затем, потирая руки, приступил к еде, для начала выбрав на столе ножку фазана. Кто-то из соседей не выдержал и позволил себе выразить по этому поводу свое недоумение:

— С каких пор монахи вкушают мясо?

Пселл сделал вид, что ничего не понимает:

— Мясо? Какое мясо?

— Вот ты ешь фазана и даже облизываешь пальцы,— уже возмущался блюститель монашеских уставов, хотя сам не менее деятельно расправлялся с крылышком той же самой птицы.

— А я предполагал, что это рыба! — изумился Пселл.

Слышавшие этот разговор смеялись. Русский князь не мог по незнанию языка оценить шутку философа, посмеяться вместе с другими. Он вознаграждал себя тем, что пил вино, особенно если рядом сидел какой-нибудь пьянчужка вроде знатока церковных канонов Феофилакта. Они объяснялись друг с другом только жестами, но, подвыпив, чувствовали взаимную любовь. У законоведа, горького пьяницы, умерла жена, которую он нежно любил, князь чувствовал себя одиноким среди этих чуждых болтунов. Русь, ты была далеко, за морем! Олег опять подставлял чашу виночерпию. А между тем Михаил Пселл уже прислушивался к тому, что изрекал на другом конце стола Иоанн Итал.

У этого большеголового человека прежде всего обращал на себя внимание необычайно выпуклый лоб. Каждый, кто смотрел на него и на подобное чело, невольно спрашивал себя: что же таится там, какие мысли и какие хитро-сплетения? Обладая завидным здоровьем и хорошим дыханием, Итал мог произносить длинные тирады. Высотою роста он не отличался, за бородой не ухаживал, однако горе было тому, кто вступал с ним в спор неподготовленным. Этот замечательный диалектик так донимал противника каверзными вопросами и до такой степени запутывал нерасторопного спорщика, что от бедняги только перья летели, к великому удовольствию присутствующих на прении. Однажды Итал, обративший на себя внимание высоких сфер, был послан в Италию, как уроженец этой страны, с царским поручением, но его обвинили в предательстве. Он бежал, позднее получил прощение и вернулся в Константинополь, где ему было предписано жить в монастыре Животворного источника. Когда же Пселл покинул столицу, Итала сделали ипатом философов, и он занялся объяснением Аристотеля и Платона.

Михаил Пселл, несколько утолив свой голод и выпив чашу вина, уже тянулся к духовной пище и жаждал поразить умением подбирать риторические цветы присутствующих молодых женщин, среди которых были образованные и даже читавшие Гомера.

Он услышал, как одна из приятельниц хозяйки неодобрительно отзывалась о женихе своей дочери.

— Елевферий любезный и обходительный молодой человек, но худощав и мал ростом, и это огорчительно.

Пселл тотчас подхватил фразу:

— Но ведь он не карлик? Кстати, когда я был секретарем у покойного василевса Константина Мономаха, его развлекал в часы плохого настроения шут ростом в три стопы. Как вы знаете, василевс содержал тогда наложницу, родом аланку.

— Говорят, была красавица...— перебила одна из слушательниц.

— Нельзя сказать, чтобы она была очень красивой, хотя и отличалась необыкновенно выразительными глазами и очень белой кожей. Этим она и покорила Константина. И можете себе представить! Шут тоже влюбился в аланку! Однажды мы навестили с василевсом его любовницу. За нами увязался этот карлик. Воспользовавшись удобным случаем, он стал бросать на молодую женщину вкрадчивые взгляды, украдкой улыбался ей, посылал воздушные поцелуи и даже пытался коснуться ее ноги. Василевс заметил проделки шута и сказал, толкнув меня локтем: «Смотри, смотри! Оказывается, не я один влюблен в эти прекрасные глаза!»

— Я знаю, что василевс дарил тебя своим особенным вниманием,— заметил магистр Феодор,— но следует сказать, что это был весьма легкомысленный человек.

Пселл воздел руки:

— О, я плакал, видя, какие огромные суммы из государственной сокровищницы тратились на построение никому не нужных дворцов или даже на подарки потаскушкам. Ты прав, этот распутник был позором для царства ромеев.

Итал, слышавший заявление монаха, во всеуслышание произнес:

— Тем не менее это не мешало нашему знаменитому философу писать в честь Константина пышные панегирики.

Пселл вздохнул:

— У каждого человека за плечами ошибки молодости.

— Странно только, что ты всегда ошибался так, что из этого извлекал для себя немалую пользу.

Итал недолюбливал Пселла и в разговоре с ним легко раздражался или печалился. Он оглядел направо и налево присутствующих, как бы призывая их в свидетели справедливости своих слов. Впрочем, этот человек по своему отвратительному характеру вообще не мог упустить малейшего повода, чтобы не сказать кому-нибудь неприятное.

— В конце концов, ничего особенно восхваляющего я не писал о Константине,— пробовал защищаться Пселл.

Его преемник вскопил при этих словах со скамьи и стал передразнивать бывшего учителя:

— Ничего особенно восхваляющего! Что ты писал о Константине? А вот что! Царь, ты заступник бедных, покровитель добрых и гневный каратель злых. Ты ввел в государстве своими новеллами правосудие и справедливость и укрощаешь жадность сборщиков налогов. Ты не позволяешь, чтобы судьи вымогали мзду у просителей. Если бы Гесиод еще жил в наши дни, то назвал бы твоё царствование золотым веком...

— Это же только риторический прием,— возопил Пселл.

Но Итал продолжал:

— Что еще ты сочинил? Всего не упомянешь. Само собою разумеется, не дышат лестью и те строки по поводу Константина, в которых ты восхваляешь



василевса как оросителя пустыни. Это когда он устроил в своем саду пруд, чтобы ротозои падали в воду...

Пселл, поглаживая край стола холеными руками, метал молнии из глаз в сторону грубияна и варвара и раздумывал, как бы покарать злоязычие. Гости предвкушали удовольствие от горячей ссоры, понимая, что за личными нападками скрываются глубокие разногласия и в оценке современности, в понимании богословских проблем, и в толковании Аристотеля и Платона. Ни для кого не было секретом, что Итал интересовался не только этими мыслителями, но даже читал Ямвлиха и Прокла. И, может быть, еще с большим удовольствием. Одним словом, диспут предстоял горячий.

И вот Пселл уже метнул первую отравленную стрелу:

— Во всяком случае, я не из тех, кто возбуждает своих слушателей против святой церкви.

Итал опять поднялся и бросил кусок мяса на тарелку. С раздувающимися ноздрями он воскликнул:

— Против святой церкви?! Может быть, приведешь пример из моих высказываний?

Хозяин кинулся к нему, стирая руки, и всячески старался умерить гнев вспыльчивого философа. Но Итал, отталкивая магистра, рвался к Пселлу.

— Нет, не скажешь ли ты, наконец, в чем же заключаются мои прегрешения против церкви? Или я назову тебя при всех обманщиком и лжецом.

Но Пселл знал, что делает:

— А разве ты не учил о переселении душ и о том, что материя безначальна и столь же вечна, как бог?

На мгновение Итал остановился, обдумывая, как лучше дать отпор противнику.

Олег спросил у Халкидония, показывая движением подбородка на спорящих:

— Чего они не поделили?

Тот, продолжая уплетать за обе щеки кусок зайчатины и находясь в превосходном настроении духа, успокоил князя:

— Не обращай на них никакого внимания. Это всего лишь спор о первоначальном веществе, из коего сотворен мир.

Олег ничего не понял, но с пренебрежением подумал, что его другу и врагу Владимиру Мономаху было бы любопытно присутствовать при таком словесном состязании, так как переяславский князь знал греческий язык и любил читать сочинения мудрецов.

Развивая нападение, Пселл добавил:

— Кто, например, учит, что мертвые восстанут из гробов не в тех телах, в каких они жили до своей смерти, а в иных...

Итал уже не мог дольше ждать:

— Совершенно верно. Мыслящая душа есть в то же время и формирующее начало. Поэтому естественно, что она образует для себя после смерти новое тело, подобное прежнему.

— Каким образом?

— С помощью присуших ей сил.

— А что ты скажешь относительно твоего утверждения, что материя вечна?

— Да, мне приходилось оспаривать догмат о сотворении мира из ничего. Однако каким образом и с какой целью? Исключительно для того, чтобы использовать это учение как оселок для проверки способности человеческого ума разрешать метафизические вопросы. Ты сам...

— Что я сам? — в свою очередь беспокоился Пселл.

— Во всяком случае... Скажи, как, по-твоему, была обожествлена плоть Христа — по положению или по природе?

Пселл уже не знал, каким образом выбраться из этого спора, опасаясь, что Итал своими колючими, как жало пчелы, вопросами заведет его в такой лабиринт, откуда не так-то легко найти выход.

— К чему подобные прения во время приятной трапезы? — попытался он успокоить спорщика, примирительно разводя руками над столом, уставленным вкусными яствами. Знаменитый писатель хотел выиграть время, ибо колебался, что же ответить относительно обожествления плоти.

— Это не прения, а всего один вопрос, на который ты обязан дать ответ, поскольку обвиняешь меня в ужасной ереси, — не унимался ипат философов.

Пселл старался постичь, какой подвох заключен в вопросе этого диалектика, и с ужасом подумал, что ему не приходилось задумываться над определением воплощения. Потом решил, что, пожалуй, правильнее будет второе решение. Он твердо произнес:

— Конечно, по природе!

В эти минуты он лихорадочно размышлял о сущности догмата, но ему не пришло в голову подумать о том, что западня заключается в самой постановке вопроса.

— По природе? — Итал ликовал, потирая руки. — Ты изволил сказать — по природе? Не по положению?

— Не по положению, — уже с меньшей уверенностью ответил Пселл.

— Хи-хи! А я тебе скажу, почтеннейший, что обожествление земного брения совершилось и не по природе и не по положению, ибо то и другое одинаково ересь, а чудесным образом, как учит святая церковь.

Пселл покраснел до корней волос, уже давно ставших седыми, и на мгновение потерял дар речи, стыдясь, что позволил увлечь себя, подобно неразумному ребенку, в эту ловушку. Так паук протягивает паутинную сеть неосторожной мухе.

Итал хихикал в кулак.

— Вот видишь! — торжествовал он. — Каким же образом дано тебе право обвинять меня в извращении догматов, когда ты сам не имеешь о них никакого понятия?

Но вдруг Итал опустился на скамью, закрыл лицо руками и зарыдал. Сидевшие за столом услышали сквозь плач:

— О, зачем я оскорбил столь прославленного мужа и своего учителя! Горе мне, горе!

Олег толкнул локтем Халкидония и спросил:

— Почему он плачет?

Спафарий махнул рукой:

— Я тебе говорю, не обращай внимания. Он плачет по поводу того, что человеческая плоть обожествлена не по природе или положению, а чудесным образом.

Олег кивнул головой.

Шестнадцатилетняя Феофания, присутствовавшая на трапезе, сидела бледная как полотно. По настоянию родителей она тоже изучала науки и даже пыталась читать творения Максима Исповедника, одного из светильников христианской церкви, после того как узнала, что некоторые не могут оторваться от этой книги. Она имела представление и о платоновских идеях, хотя ее детская голова еще кружилась на этих чудовищных высотах и дух захватывало, когда Итал преподавал ей философию. Но его выходка за сегодняшним обедом и вообще вся эта суета и крик опечалили ее. Воспользовавшись сума-

тохой, к ней подсел Феодор Продром, молодой поэт, уже написавший стихи, о которых в Константинополе говорили в домах образованных людей, следящих за литературой. Юноша был по уши влюблен в Феофанию. Случайно очутившись за столом, он никого не видел, кроме нее, и теперь, улучив удобный момент, сказал:

— А как ты полагаешь? Материя, из которой создан мир, была от начала века или возникла в единое мгновение по воле творца?

Продром учился в школе при церкви св. Павла у Феодора из Смирны, прекрасного оратора, но болезненного человека, не присутствовавшего сегодня на обеде. Юноша хорошо знал аргументы Пселла и Итала, и он склонялся то к одному учению, то к другому. Во всяком случае, кроме влюбленности в это прелестное существо, его еще волновали грандиозные философские проблемы.

Но Феофания по-прежнему не спускала глаз с Олега. Поэт посмотрел в ту сторону и тяжело вздохнул. Как могла такая образованная девица полюбить — если верить нелепым слухам — дикого скифа, который столько же смыслит в платоновских идеях, сколько его жеребец? И даже не изъясняется по-гречески...

Он опять спросил:

— А что ты думаешь о возможности переселения душ?

Девушка только пожала худенькими плечами:

— Мы не касались этого вопроса с моим учителем.

— Ах, так?

— У меня голова болит от этого шума, — пожаловалась она.

Продром посмотрел на нее с нежностью, счастливый уже тем, что сидит рядом с нею. Он даже осмелился прикоснуться к ее голубому шуршащему платью. Но этот белокурый стихотворец, заика и далеко не красавец, имел весьма тщедушный вид, а Олег походил на орла в своей варварской рубахе с золотым шитьем вокруг шеи.

— Ты поэт? — спросила девушка Феодора.

— О, я пишу стихи. Впрочем, кому они нужны в наш век?

— Почему?

— В наш век низкопоклонства и жестокости.

— Ты преувеличиваешь, и ныне живут достойные люди.

— Но их можно перечесть по пальцам.

— Кстати, твой дядя митрополит в далекой Скифии?

— Родной мой дядя не кто иной, как русский митрополит Продром, образованный человек. Он пребывает ныне в Киеве.

Чтобы хоть чем-нибудь привлечь внимание Феофании к своей скромной особе и сгладить неприятное впечатление от своего заикания, стихотворец стал рассказывать о себе:

— Да, брат моего отца митрополит в Скифии. Я же родился в Константинополе, получил хорошее воспитание заботами моих благочестивых родителей и считаю, что стою на целую голову выше черни. Правда, язык у меня время от времени хромает, повторяя дважды тот же самый слог. Но это всего только маленький природный недостаток. Как и у Михаила Пселла. Ты заметила? Кроме того, разве повторенное два раза не становится еще более точным и даже привлекательным?

Видимо, Феофания не думала, что это так, потому что не нашла нужным хотя бы кивнуть головой. Ей было не до того.

— Но я могу быть не менее язвительным, чем прочие люди, — настаивал Продром.

— Да? — невпопад спросила девушка и умолкла.

Убедившись, что им пренебрегают, юный стихотворец, имевший глупость влюбиться в этот отпрыск аристократического рода, опечалился. Он взял со стола первую попавшуюся под руку пустую чашу и протянул ее виночерпию. И когда у него немного зашумела голова и сердце стало смелее, он шепнул соседке:

— Подари мне розу, что украшает твой хитон, и я напишу о ней стихи.

Польщенная вниманием поэта, Феофания улыбнулась и, отколов красный цветок от голубого платья, протянула розу Феодору. Однако тут же спохватилась, что этой уступкой тщеславию умаляет свою любовь к русскому архонту, и со страхом посмотрела в ту сторону, где он сидел. Увы, Олег совсем забыл о ее существовании, занятый разговором с Халкидонием и еще каким-то гостем, который, очевидно, понимал язык князя, так как беседа казалась довольно оживленной. Но скифский воин был прекрасен в эти минуты, со своими блистающими очами. Разгоряченный вином, он расстегнул ворот рубашки, из которого выступала белая шея, мощная, как у самого Ахилла.

Видя, что взоры свои Феофания обращает не на него и рассеяннo слушает философские соображения, Продром оставил ее и, прижимая цветок к устам, возвратился на свое место, где сидели ученики Иоанна Итала, сыновья влиятельных царедворцев.

Когда этот пир пришел к концу и гости, шумно благодаря хозяев, встали из-за стола, Феодор поплелся домой в компании своих друзей. Вместе с ним отправились в город Николай Калликл и еще два приятеля из школы — Михаил Лизик и Стефан Скилица. Первые два имели определенную склонность к врачеванию, хотя еще им и в голову не приходило, что они будут пользоваться даже царей, а Стефан с увлечением предавался изучению богословия и мечтал достигнуть со временем святительского сана, как с ним и случилось впоследствии, когда патриарх назначил его митрополитом в Трапезунд. Но в те дни все четверо были просто любознательными юношами, которые еще не очень задумывались над своим материальным благополучием, а писали стихи и проводили время в горячих спорах об аристотелевском «Органоне» или идеях Платона, хотя и оглядывались по сторонам, зная, что школьное начальство не одобрит их смелые взгляды.

Друзья прошли недалеко от церкви св. Фомы и спустились к Пропонтиде, к каменной пристани, названной Вуклеонт, потому что на ней была водружена мраморная скульптура, изображавшая льва, который терзает быка. Царь зверей как бы ухватил тельца за рог, поверг его на землю и впился зубами в горло издыхающему животному, и ваятель изобразил все это с таким правдоподобием, что лев казался живым в своей ярости, а бык мычащим от ужаса и боли.

Феодор жаловался:

— Мне выпало счастье иметь дядю, который достиг высоких духовных степеней...

— Продром? Русский митрополит? — обрадовался неизвестно чему Скилица.

— Иоанн Продром, предстоятель русской церкви. Кроме того, он изящный в своих выражениях писатель. Я сам, как тебе известно, милый Стефан, изучаю риторику и философию и как будто бы не безобразен по своей внешности... И в то время, как другие забавляются перепелами или постыдной игрой в кости, я посвящаю свое время размышлениям...

— И что же? — помогал Скилица другу, который стал особенно заикаться от волнения.

— И вот образованная девица из хорошей семьи, читавшая Гомера

и трагедии Эсхила, взирает как на архангела на этого усатого русского архонта, а меня отталкивает.

— Почему ты так думаешь? — попробовал утешить несчастного поэта Николай Калликл. — Ты сам сказал, что она подарила тебе розу. Поверь мне, что если девушка поступает так, то это неспроста. Не теряй надежды. Я уверен, что рано или поздно она преклонит свой слух к твоим мольбам.

Феодор вздохнул. На небе сияли звезды. С Пропонтиды веяло прохладой, и пахло морем. Поэт стал в позу, одну руку положил на грудь, а другую простер в пространство и начал сочинять вдохновенно:

Я с розой тебя сравню, Феофания,  
с самой прекрасной звездой, Феофания,  
на константинопольском небе...

Увы, на этом творчество Феодора Продрома иссякло. Приятели подождали некоторое время в надежде, что муза вернется к своему служителю, но он умолк. Лизик усмехнулся:

— Но этот вопрос о предвечной материи...

Скилица обернулся, чтобы проверить, не следует ли кто-нибудь за ними по пятам.

— В самом деле, неужели возможно представить себе, что был момент, когда ее не существовало? — поддержал его Калликл.

Феодор Продром, оскорбленный несправедливостью судьбы и сегодняшней любовной неудачей, стал горестно богохульствовать:

— Вы правы, друзья. Я молчал на обеде, когда вступили в спор эти знаменитые мужи. Из вполне понятной скромности. Но скажите мне по совести... Разве эллинские философы и даже иные осужденные вселенскими соборами еретики не выше и не разумнее наших епископов, что бубнят, как старушки, одно и то же и не дают себе труда осмыслить собственным разумом, данным нам природою для вящего пользования...

— Тише, тише! — останавливал друга Скилица, озирая ночную мглу. — Мне кажется, кто-то идет по набережной, не кричи, как осел.

Будущему епископу не хотелось иметь неприятности с патриархом.

Но Феодор Продром метал громы и молнии:

— Разве простой булочник или какой-нибудь неграмотный башмачник могут сравниться в раскрытии тайн мироздания с философами? Почему же требуют от нас, чтобы мы веровали так же простоудушно, как и они, в догматы и чудеса? Нет! Исходя из того, что существует два рода знаний — риторика и философия — и что первая учит ораторскому искусству, между тем как вторая, не заботясь особенно о красоте речи, исследует природу сущего и ведет нас не только на небеса, но и в самые дебри материи...

— Подожди, — прикоснулся к его плечу Скилица.

Впереди блеснул огонь факела. Очевидно, то приближалась ночная стража. За спорами время прошло незаметно, и часы склонялись к полуночи. Вскоре мимо прошли трое воинов с копьями на плече, и тот из них, что держал в руке светильник, осветил встречных путников и грубо окликнул:

— Что вы тут делаете, полуночники?

— Мы спешим навестить болящую тетку, — ответил Николай Калликл, как самый представительный из школяров.

— Кто же навещает теток в такой час?

— Мы направляемся к ней в надежде, что она сегодня ночью помрет и оставит нам в наследство все свое достояние.

Услышав о такой возможности, стражи почувствовали уважение к юношам и стали выражать им всякие пожелания, может быть рассчитывая на подачку. Они даже предложили проводить друзей до того дома, в котором якобы умирала благочестивая женщина, но Калликл поблагодарил их и сказал, что в этом нет никакой нужды.

### XIII

Не все дни у Олега были заполнены пирами. Иногда являлся вестник с сообщением, что русского архонта требует к себе логофет дрома. Это означало для князя и Халкидония томительные часы ожидания в приемной, среди всякого рода просителей и вызванных из отдаленных провинций чинов, пока наконец не раздавался скрипучий голос:

— Здравствуй, архонт!

Логофет стоял посреди палаты, сложив руки на животе, болезненный и щедедушный человек, перед которым все трепетали, как робкие агнцы трепещут перед кровожадным львом.

Во время таких бесед Олегу задавались лукавые вопросы. Больше всего евнуха интересовали торговые пути богатой Руси и ее военные возможности; ему хотелось знать численность княжеских дружин и быть посвященным в отношения киевских правителей с половецкими ханами, так как в его голове не угасала надежда сделать Киев подвластным василевсу. Олег неоднократно убеждался, что у этого человека необычайная память. Логофет все помнил и ничего не забывал. Никифор был наделен ясным умом, но порой чувствовалась в его рассуждениях какая-то старческая медлительность, точно логофет понимал несоответствие своих грандиозных планов и действительности.

Во время последней встречи Никифор почему-то особенно расхваливал душевные и телесные качества Феофании Музалон, и Халкидоний подобострастно переводил его похвалы:

— Исполнена страха божия, скромна, почтительна к родителям... Еще следует отметить ее прилежание...

Олег слушал и вспоминал ангелоподобное лицо Феофании. Приличия и хорошее воспитание требовали, чтобы девушка опускала взоры, если на нее смотрит мужчина, и Феофания, едва притрагиваясь к пище, молчала во время обедов, на которых присутствовал русский архонт, но порой она не выдерживала и вскидывала на Олега сияющие любовью глаза в трепете длинных ресниц. Князь начинал горделиво разглаживать золотистые усы, поднимал одно плечо, и все видели, как под голубой рубахой с золотым оплечьем выпирала высокая грудь, крепкая, как камень. Впрочем, Феофания не возбуждала в нем страсти. Девушка была слишком бесплотной для этого любителя пышных женщин.

По предложению логофета Халкидоний советовал Олегу носить греческое одеяние, так как василевс пожаловал князю чин спафарокандидата, но пленник предпочитал скарамангиям русские рубахи и княжеское корзно. На уговоры переводчика он хмуро отвечал:

— Не привычен к длинным одеждам. Вы как попы.

Однажды Олег случайно встретил Феофанию с матерью на улице. Их сопровождала служанка, бережно неся в руках только что приобретенную вещь, может быть ароматы или курения, так как встреча состоялась недалеко от того места, где краснобородые восточные купцы продают всякого рода благовония. Дородная супруга магистра, нарумяненная, но в приличном для ее возраста темном одеянии, шествовала с полным сознанием своего соб-

ственного достоинства. Говорили, что в ее жилах несколько капель царской крови. Ради ее родственной близости к Священному дворцу на ней и женился Феодор, из знатного, хотя и обедневшего, рода Музалонов, в те дни еще скромный спафарий, надеявшийся, что такой брак поможет его возвышению. Он не ошибся и благодаря домогательствам Стефаниды несколько поднялся на иерархической лестнице. Но василевсы так часто менялись на троне ромейского государства, что особенного благополучия Феодор не достиг. Слава тоже не пожелала озарить его деяния, хотя честолюбивый Музалон мечтал отличиться при взятии какого-нибудь сарацинского города или в морской битве, когда неприятельские корабли пылают, как костры, зажженные страшным греческим огнем. Увы, ему не удалось сделаться ни великим домстиком, ни друнгарием царского флота, а пришлось корпеть в дворцовых секретарях на второстепенных должностях, пока, уже на склоне своих лет, он не получил, по ходатайству супруги, почетное звание магистра.

Женщины прошли мимо. Стефанида смотрела прямо перед собою и сделала вид, что не заметила архонта. Но маленькая Феофания зажгла свои очи, как два лучезарных солнца. С юной непосредственностью она оглянулась на красивого варвара и подарила его улыбкой, а вслед за нею сверкнула лукавыми глазами и служанка, может быть посвященная в девические тайны молодой своей госпожи или просто потому, что умела оценить мужскую внешность и силу.

Иногда Олег встречал магистра Феодора Музалона на ристалище. Старик неизменно приветствовал его любезной улыбкой. Этот суетливый человек еще не потерял надежды возвыситься над толпою дворцовых чинов, хотя его недолюбливали при дворе. Но магистр рассчитывал выгодно выдать замуж единственную дочь и прислушивался к тому, что говорили о планах василевса относительно русского архонта Олега, которого прочили на киевский престол. Во время бессонницы, почесываясь и вздыхая, Феодор размышлял о том, что судьба человеческая подобна игре в кости: с божьей помощью да с молитвою и, конечно, не без некоторой ловкости, можно достичь больших высот, а можно и низринуться в бездну. Поэт Продром, бродивший часто поблизости его дома в надежде увидеть Феофанию, так отзывался о магистре:

— И подумать только, что дочь этой лисы подобна розе!

Юноша уже сочинил стихи в честь Феофании, в которых сравнивал ее с утренней зарей, голубкой и всеми цветами на земле. Но, на его беду, девушке больше нравился грубый архонт. Да и не ей одной. Иногда Олег получал записки, которые совали ему в руку тайком бойкие рабыни. Халкидоний — сначала не без любопытства, а потом со скукой — и при таких обстоятельствах выполнял роль переводчика. Иногда незнакомки назначали князю свидания. Одна из таких горожанок оказалась молодой женой престарелого синклита, другая же богатой и сластолюбивой старухой, сведшей в могилу трех мужей. Олег наслаждался любовью юной супруги члена синклита, а ненасытную вдову, к великому ее возмущению, покинул среди ночи, разглядев ее жалкие прелести. По приказу госпожи два сильных раба даже пытались тогда побить дерзкого скифа, но, лишившись в схватке нескольких зубов, прекратили преследование.

Встречи с молодой любовницей происходили украдкой, в доме ее родственницы, трепетавшей перед гневом влиятельного вельможи, и неизвестно по какой причине вскоре прекратились. Видимо, старик стал о чем-то догадываться и увез плачущую жену в свое отдаленное имение, хотя она объясняла слезы и рыдания исключительно любовью к соседней церкви св. Фомы, где так редко бывал ее супруг, одолеваемый всякими старческими недугами.

Были у Олега и другие приключения. Но самой таинственной оказалась встреча с рыжеволосой красавицей.

Однажды князь получил записку, принесенную, по словам Борея, каким-то скопцом. Переводя ее, Халкидоний заметил:

— Похоже на то, что пишет образованная женщина. Отличный слог! Любопытно, кто бы это могла быть?

— Что там написано? — спрашивал нетерпеливый Олег.

— А вот что... Уверяет, что перси ее оценили в высших сферах мироздания, а глаза сравнивают с небесными звездами... Даже приводит известные стихи Феодора Продрома...

Олег уже предвкушал очередное приключение.

— Сейчас тебе переведу... Мол, лучше было бы ей обрабатывать сад, беседовать с гиацинтами, голодать с миртом, петь с соловьями, спать с цветущими грушевыми деревьями, чем ложиться в постель с золотым ничтожеством... Хорошие стихи! Гм... Кто бы это могла написать!

Видя, что Олег не в состоянии оценить эти изысканные поэтические выражения, он прибавил:

— Ну, и так далее...

— Что же ей надо?

Олег смотрел в корень вещей.

— Что ей надо? А вот сейчас узнаем. Просит, чтобы ты пришел ровно в полночь на площадь, где стоит столп Константина. Знаешь это место в городе?

— Знаю.

— Там ты якобы встретишь некоего человека, — разбирал письмо Халкидоний, — который и поведет тебя куда нужно. Везет же таким повесам, как ты!

Спафарию уже надоело сопровождать Олега в его любовных похождениях, проводить ночь напролет вместе со служителем в вонючей подворотне, под дождем или на холодном ветру, кутаясь в мокрый плащ с куколем и нетерпеливо ожидая, когда же наконец порозовеет восток и застучат по каменным плитам подковки зеленых княжеских сапог.

— Еще она просит, чтобы ты явился один, без сопровождающих.

Халкидоний стал раздумывать. Не ловушка ли это? Но если князю устраивали западню, то лишь по указанию из дворца. Следовательно, он не будет нести ответственность, если с Олегом случится что-нибудь. Впрочем, тогда его предупредили бы, чтобы и он способствовал... Скорее дело выглядело так, что еще одна скупающая развратница искала и жаждала телесных наслаждений.

Спафарию было страшновато отпускать архонта одного на это ночное приключение. Но Халкидоний уже имел случай убедиться, что Олег не помышляет о бегстве. Да и куда он мог бежать, не обладая для этого никакими средствами? Поэтому соглядастая в конце концов убедил самого себя, что на этот раз может со спокойной совестью отправиться к своей добродетельной, но тем не менее уже соскучившейся супруге и провести ночь под домашним кровом. А когда время приблизилось к полуночи, Олег накинул на плечи княжеское корзно, уже несколько потрепанное в жизненных передрягах, и поспешил на условленное место.

На улицах стояла кромешная тьма. Давно погасли светильники в лавках торговцев шелком и ароматами. Почти никого на своем пути князь не встретил в этот поздний час. Но вскоре над городскими зданиями поднялся серебряный серп луны и тускло озарил мрамор домов и аркады. Посреди обширной и безлюдной площади Константина возвышался столп красного



гранита. Равноапостольный царь держал на огромной высоте блистающий крест, вознесенный над всем христианским миром. Действительно, как и было написано в любовном послании, к Олегу тотчас подошел какой-то человек. Князь заглянул ему в лицо. Нетрудно было догадаться, что он скопец. Безбородый, с куколом плаща на маленькой головке, незнакомец что-то тихо говорил, улыбаясь беззубым ртом. Но, убедившись, что его не понимают, знаками стал показывать, чтобы Олег следовал за ним. Князь кивнул головой и даже похлопал евнуха по спине, отчего тот поежился. Серебряные подковки гулко застучали о камень мостовой, и провожатый, сам в мягких башмаках из черной материи, несколько раз с видимым неудовольствием оборачивался и бросал сердитые взгляды на варварскую обувь, производившую слишком много шума.

Так они шли вдвоем некоторое время. Поскольку князь уже знал немного город, он понял, что его ведут куда-то в сторону царских садов. Догадка оправдалась. Миновав розоватую громаду Софии, евнух свернул к ограде Священного дворца. Приблизившись к стене, он подошел к малоприметной калитке, выкованной из железа и едва различимой за грудой каменных плит, привезенных сюда в предвиденье какого-то нового строительства, и, пошарив в складках длинной одежды, вынул медный ключ. Скопец переступил порог и несколько раз позвал Олега манием руки. Вдруг князь почувствовал, что находится среди черной прохлады ночного сада, и на него пахло ароматом цветов. Он уже знал, что этот удивительный цветок называется роза. Теперь под его ногами не звенел камень мостовой, а хрустели камушки, какими в Царьграде имеют обыкновение усыпать садовые дорожки. Старичок уверенно вел его среди деревьев, и вскоре они очутились перед молчаливым домом; Олегу пришлось подняться по мраморным ступенькам. Наверху бесшумно отворилась еще одна железная дверь. Евнух приложил палец к губам и исчез за нею. Спустя некоторое время на пороге появилась служанка, заглянула с женским любопытством в самые глаза Олегу и, взяв его пальцы горячей рукой, повела князя по темному переходу. В другом его конце находилась винтовая лесенка. Все было как во сне. Потом рабыня отворила дверцу, едва сдерживая вздохи, выражавшие, очевидно, страх служанки перед последствиями того, в чем она принимает невольное участие. Она легонько втокнула Олега в полутемную горницу...

Князь очутился в опочивальне, как об этом свидетельствовало широкое и низкое ложе под парчовым теремом на четырех столбиках. Спальня слабо озарялась единственным светильником. Но все-таки можно было рассмотреть, что на постели, заложив нагие руки за голову, лежала молодая женщина с распущенными на зеленой подушке рыжими волосами и, видимо, с большим волнением смотрела на вошедшего князя. Рядом стоял стол. На нем поблескивали две позолоченные чаши и кувшин с вином. Тут же лежали в кошнице румяные яблоки и еще какие-то плоды. Вздвонованному Олегу было не до того, чтобы разглядывать все это. Он постоял немного у закрывшейся тихо двери. Но князь не отличался нерешительностью в таких случаях и, подойдя к ложу, отвел руки женщины, которыми она закрыла лицо при его приближении. Глядя на князя как на своего мучителя, красавица произнесла несколько слов по-гречески. Олег ничего не понял, но, сам не зная почему, рассмеялся. Она знаками дала понять, что нужно погасить светильник...

Так повторялось несколько ночей подряд. Олег получал записки, таинственным образом проникавшие в дом с мраморным орлом над воротами, и к полуночному часу отправлялся на указанное место — то на площадь Быка, то к св. Софии, то на площадь, где сердитый медный старик поднимал над вылитыми из такого же металла конями золотой трезубец, а на конские

скользкие спины в изобилии лилась вода шумного водомета. Потом, удостоверившись, что никто не следует за ним, евнух вел князя все к той же железной калитке в стене обширного царского сада. Молодой князь был захвачен этой женской страстью; никогда ему еще не приходилось испытывать, чтобы любовница отдавалась с таким пламенным желанием и в то же время с целомудренной стыдливостью. Она была как жена, а не потаскушка. Впрочем, удовлетворив свою плоть, Олег засыпал и храпел до первых признаков зари, не подозревая, что женщина часами смотрела на него, подняв над головой возлюбленного светильник, как Психея над спящим Эротом. Олег даже не знал, как ее зовут. Когда же приходило время расставания, она будила Олега осторожными прикосновениями для последних поцелуев. За дверью уже поджидала князя служанка, чтобы вывести его из сада... Покидал он царские цветники другой дорогой, проходя не в калитку, а через огромный дворцовый двор, так как в первом часу дня, то есть на рассвете, служители уже отпирали все ворота и двери, всюду взад и вперед ходили люди и никому в голову не приходило спросить у князя, откуда он возвращается в такое раннее время...

Неожиданное приглашение во дворец заставило Олега позабыть даже о приятных ночных свиданиях и всколыхнуло в его душе великие надежды. Халкидоний, как мог, объяснил князю, что так приглашают не на торжественный выход василевса, а для личной беседы, чего удостоиваются только владетельные особы или самые избранные люди. Обычно после такого приема царь приглашает счастливца к своему столу.

Халкидоний задумчиво перебирал жесткие волоски бороды, напоминая своим цветом адскую смолу. Что означало подобное приглашение, спрашивал он самого себя. Кто знает, может быть, в самом деле звезда нового владыки руссов уже восходит на небосклоне? В таком случае достигнет благополучия и мало чем примечательный переводчик, которому вместо высокой награды, вместо звания протоспафария только выдали из царской сокровищницы десять золотых.

В тот знаменательный день дворцовые служители церемонно поклонились Олегу и просили следовать за собою. Покой был тихий, даже таинственный. Никифор Вотаниат принял русского князя, восседая на малом троне и без диадемы, в одном скарамангии из мягкой серебристой ткани с широкой золотой каймой по подолу. Олег вскинул на него глаза и убедился, что вблизи, без фимиама и роскошных одеяний, осыпанных драгоценными камнями, царь мало чем отличается от обыкновенных людей. Перед ним сидел немолодой человек с широким одутловатым лицом, на котором прежде всего обращал на себя внимание крупный мясистый нос. Редкая седеющая борода неопределенного цвета росла на этом бледном лице таким образом, что оставляла целиком не покрытыми растительностью щеки и подбородок с ямочкой. У царя были скучающие глаза. Все существо Никифора, его поза и улыбка передавали привычку терпеливо выполнять свои царские обязанности и в то же время полную уверенность в важности этого священнодействия для всего мира. Впрочем, такие подробности отметил бы наблюдательный глаз какого-нибудь историографа вроде Михаила Пселла или вдумчивого стихотворца, как Феодор Продром. Олега же больше всего поразили царские пурпурные туфли, вышитые жемчужными крестиками, как у богородиц на иконах.

Трон был с прямой спинкой, обитый серебряной парчой. Его украшали наверху два павлина, искусно отлитые из серебра. По правую руку царя стоял логофет, по левую — еще один евнух, толстый и взиравший перед собою с широко открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. Позади трона

выстроились в ряд шесть или семь царедворцев в красных и белых хламидах, с присвоенными их званию золотыми украшениями. Все, за исключением логофета, знавшего себе цену и давно уже привыкшего ко всякого рода церемониям, с любопытством смотрели на архонта. Несмотря на некоторое свое смущение, так как Олег увереннее чувствовал себя на коне в половецких степях, чем в этих душных палатах, он тем не менее принял независимый вид, напоминая всем, что он не последний князь на Руси и родственник Бориса и Глеба, предстоящих у престола всевышнего, а ведь не у каждого были свойственниками святые. По своему легкомыслию он по дороге во дворец успел выпить вина, хотя Халкидоний упрощивал его не делать этого.

Олег низко поклонился царю, как его учили. Чтобы избежать затруднений в отношениях с упрямыми скифами, в константинопольских дворцах во время царских приемов не требовали от них коленопреклонений и земных поклонов, ибо это только создавало вечные пререкания и замешательство во время церемоний. Василевс молчаливым кивком головы ответил на приветствие. Олег снова уставился на него и, не зная, куда девать руки, уцепился за свой пояс с золотыми звездочками. Он ждал вопросов, как ему было сказано перед приемом. Халкидоний не был допущен в тайную палату и остался вместе с другими низшими чинами в переднем покое. Его обязанности исполнял на этот раз толстый евнух, стоявший у трона с заранее открытым ртом.

Впрочем, беседа была краткой и незначительной. Собственно говоря, все уже логофет предрешил заранее, и прием только освящал принятое решение, чтобы отметить его на пергамене и получить подпись русского архонта в торжественной обстановке. Решение же заключалось в том, что василевс обещал русскому архонту звание куропалата и помощь в борьбе за киевский престол, а тот в свою очередь признавал себя в подчинении царю во всех важных государственных вопросах.

Сердце у Олега стучало, когда он подписывал это обязательство, спрашивая себя, не предатель ли он своей земли. Но все было так смутно вокруг. Греки улыбались ему. Князю также сообщили, что осуществление этого благочестивого предприятия откладывается до более благоприятного времени и что царю хотелось бы, чтобы он скрепил соглашение браком с Феофанией Музалон. Это делалось для того, чтобы еще ближе приобщить князя к греческому делу, а более подходящей невесты найти не удалось. Вот почему среди стоящих за тронем царедворцев Олег увидел и Феодора Музалона, сившего от счастья, что наконец-то и он очутился среди немногих избранных.

Со скучающим видом, но любезно улыбаясь, царь задал архонту еще ряд мудрых вопросов. В частности, спросил, что ему больше всего понравилось в Константинополе. Олег ответил, что особенно произвела на него впечатление церковь Софии. Василевс вежливо кивал головой. Спросил также, видел ли архонт в своих пределах ту огромную гору, за которой по ночам прятается солнце, а утром снова выходит на небо, чтобы освещать вселенную, и был крайне удивлен, что Олег никогда не видел такой горы. Наконец логофет поднялся на кончики пальцев, прикрыл рот рукой и что-то шепнул царю. Тот кивком головы отпустил архонта, не решаясь протянуть ему руку для поцелуя, ибо знал, что этот надменный воин отказывается лобызать руку даже епископам. Все это, конечно, произвело неблагоприятное впечатление на присутствующих, но царедворцы утешали себя тем, что с варварами вообще трудно соблюдать правила ромейского церемониала. Однако русский князь был нужен для выполнения грандиозного государственного плана, и поэтому с ним возились, как с избалованным ребенком. Во всяком случае, Олег вздохнул с облегчением, когда прием закончился и препозит, похожий в своем придворном одеянии на епископа и закрывавший глаза от сознания важности

того, что он говорил, сообщил князю об особом расположении к нему царя. Переводчик пересказал его слова:

— Благочестивый приглашает тебя к своей царской трапезе.

Олега повели в ту палату, где предстоял обед в присутствии царя. Князь с удивлением рассматривал обширные залы, где в течение многих лет были собраны редкие сокровища. Над головой висели тяжкие серебряные паникадила, на стенах переливались всеми цветами радуги мозаики, колонны были то розовые, то зеленые. Повсюду сияло золото. У дверей стояли в прекрасных кольчугах рослые варяги. От переводчика князь узнал, что многие из них родом с того самого туманного острова, откуда приехала на Русь зеленоглазая супруга Мономаха.

Стол для царской трапезы был устроен в виде буквы Покой. Его покрыли парчою, а поверх положили льняное белое покрывало, чтобы предохранить драгоценную ткань от жирных пятен и пролитого вина. В палате уже теснились приглашенные и какой-то дворцовый чин со списком в руках, в который он время от времени озабоченно заглядывал и что-то отмечал на нем ногтем. Этот человек указывал всем на отведенные им места с настойчивыми просьбами не садиться за стол до появления василевса. Олег посмотрел вокруг себя. Его место оказалось не из последних, за главным столом, видимо не очень далеко от царя. На столах уже стояли серебряные чаши и румяные пшеничные хлебцы в плетеных корзинах. Царя и царицу ожидали седалища наподобие тронов, прочих — низкие сиденья, без спинок, но с мягкими парчовыми подушками. В ожидании выхода царя гости тихо переговаривались между собой, обсуждая подробности приема или последние дворцовые новости. Видимо, многие завидовали Феодору Музалону, а он уже принимал высокомерный тон в разговорах с собеседниками. Слуги суетились с другой стороны стола, ставили на него блюда, натыкались один на другого в этой тесноте и спешке, и ими руководил тот румяный чернобородый человек, который указывал места. Это был начальник пира.

Олег кое-кого знал из присутствовавших. Переводчик, не отстававший от него ни на один шаг, охотно показывал князю прославленных царедворцев.

— Видишь, стоят два молодых воина? Это братья Алексей и Исаак из рода Комнинов. Первый из них совсем еще юноша, у него борода не успела как следует вырасти на подбородке, а он уже одержал многие победы над врагами и ныне назначен великим domestиком.

Олег кивал головой. Алексей показался ему представительным человеком, не очень высокого роста, но соразмерной полноты. Глаза у Алексея огибали черные брови. Он смотрел из-под них одновременно и строго и кротко. Горделиво, не поворачивая головы, великий domestик кидал взоры то направо, то налево, улыбался сдержанно и таил в себе какие-то мысли.

Евнух шептал Олегу:

— На коне он еще более величествен, чем пеший.

— А другой брат?

— Он старше его, но уступает Алексею в разуме и воинской доблести.

Исаак действительно не обладал таким выразительным лицом, как его младший брат, был менее уверен в себе и молча ждал со склоненной на плечо головой, когда начнется обед.

Рядом с Олегом находились еще два знатных мужа. Оказалось, что они родом из славянских земель и говорят на понятном языке, что очень обрадовало русского князя. Он узнал, что одного зовут Борил, другого — Герман и что оба всемогущие любимцы царя. Как и все остальные, они были в длинных греческих одеяниях, без плащей, и Олег заметил, что многие с любопытством рассматривали его красную рубаху с золотым оплечьем.

Наконец огромные двери растворились словно сами собою, хотя створки толкали невидимые руки приставленных к этому людей, и в палате появились силенциарии, на обязанности которых восстанавливать тишину перед появлением священных особ. Они постучали серебряными жезлами о мраморный пол, и тотчас все разговоры смолкли.

— Преклоните главы ваши! Се грядет благочестивый! — крикнул один из силенциариев.

Склонясь, присутствующие обратили взоры в сторону царя и царицы. Незримый хор возгласил многолетие. За царственной четой двигались попарно приближенные женщины царицы и евнухи.

Равнодушно окинув взглядом собравшихся, Никифор направился к своему месту. На нем был все тот же серебряный скарамангий, из-под которого виднелись пурпуровые башмаки. Царица носила одеяние из голубой ткани с золотом. Эта высокая и стройная женщина отличалась большой и редкой красотой, с очень белым и как бы посыпанным мукою лицом. Она милостиво улыбалась. Те, на кого она обращала свои взоры, тоже невольно расплывались в улыбках. Но Олегу показалось, что царица особенно внимательно и даже с какой-то нежностью посмотрела на Алексея, юного domestica, и тот едва заметное склонил голову. Вслед за царем и все остальные стали поспешно занимать свои места, и тотчас после положенных молитв слуги начали предлагать яства, а виночерпий следил за тем, чтобы чаши не оставались пустыми. Вино здесь разбавляли теплой водою из серебряных сосудов, и Олег мысленно обругал греков за этот обычай.

По правую руку от царя сидели вельможи, по левую, со стороны царицы, — приближенные женщины. За спинами у приглашенных стояли служители и евнухи, а на пустом пространстве, образованном тремя столами, суетились слуги, передавая из рук в руки яства. Олег с любопытством наблюдал, как двое из них принесли на огромном блюде розоватую рыбину, украшенную всяким овощем, и тот, что шел впереди и двигался спиной вперед, все время со страхом оборачивался, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Но больше всего, конечно, привлекала внимание князя царская чета, хотя он ничего не мог обнаружить, кроме того, что у царя по-прежнему был вид скучающего человека, а царице тоже, по-видимому, надоели подобные трапезы, и она почти не прикасалась к пище. Но Олег опять заметил, что она бросила быстрый взгляд в сторону Алексея и улыбнулась, склонившись над серебряной чашей, а он опустил глаза, и румянец вспыхнул у него на щеках.

Сидевший рядом с Олегом царедворец по имени Борил тихо задавал ему вопросы о том, что творится на Руси. Потом князь в свою очередь спросил:

— Алексей, знатный воин, что сидит рядом с царем...

Но Борил даже не дал Олегу договорить и перебил его:

— Картавый?

Услышав речь молодого красавца, князь убедился, что сосед не лжет.

— Что ты хотел спросить?

— Говорят, он царского рода?

— Царского рода? Все они придумывают такое. Но верно, что он близок к царскому дому и к нему благоволит царица. Что ты хочешь? Наш царь уже в летах, а она цветет. Впрочем, порой и старцев утешает на склоне лет нежная любовь...

Борил что-то недоговаривал, он хмуро косился на Алексея.

Стоявший за спиной Олега евнух, тот самый, что выполнял на приеме обязанности переводчика, может быть, услышал слова Борила, и они ему сказали более, чем князю, потому что поспешил перевести беседу на другую тему и шепнул архонту:

— А не приходилось ли тебе видеть сына царицы Константина?

Олег сказал, что не приходилось.

— Жаль! Если бы ты видел его! Красавчик! На днях ему исполнилось семь лет. Весь в мать: по цвету волос — белокур и так же румян, белолиц. Он точно распустившийся розан. Голубые глазки Константина сияют точно из золотой оправы. Так изображали древние Эроты...

Олег не знал, кем был Эрот, и постеснялся спрашивать объяснений.

Борил вздохнул:

— Но что ждет этого младенца?

Вдруг Олег встретился глазами с одной из приближенных женщин, сидевших по другую сторону, за третьим столом. Она отличалась от других благородством осанки, милой улыбкой, никому в частности не предназначенной, маленькими белыми руками, которыми она пыталась закрыть свое лицо, якобы поправляя непокорную прядь рыжеватых волос. Перед нею лежал хлебец и на серебряной тарелке кусок рыбы. Но молодая женщина не притрагивалась к еде. Ее что-то так взволновало, что ей было не до этого, и самое удивительное для Олега заключалось в том, что это была не кто иная, как его пламенная любовница, которую он еще вчера посетил в царских садах, ушел от нее на утренней заре, едва вырвавшись из жарких объятий. Вероятно, рыжеволосая красавица уже давно увидела за столом Олега и никак не ожидала встретить его здесь, потому что взор ее блуждал растерянно, а щеки то пылали внутренним жаром, то бледнели как снег. Она кусала губы, и один раз василевс даже подозрительно посмотрел на нее, не понимая, почему эта женщина, всегда такая сдержанная, так волнуется. Даже кусает губы. Но в конце концов она справилась со своим волнением и стала тихо разговаривать с соседкой.

Василевс окинул хмурым взглядом столы. Хотя он сделал это неизвестно по какой причине, но гости подумали, что ему докучают разговоры, и умолкли. Наступила тишина, и тогда еще слышнее затарахтели ложки. Царская трапеза была скорее символической, чем насыщающей человека, который любит покушать. Посреди стола лежала та самая рыба, которую с трудом принесли два служителя. Сам начальник пира отрезал от нее куски, и слуги разносили их указанному ножом гостю. Ее заменили корзины с яблоками. В заключение подали сладкое: в сосудах, которые обносили по столам, благоухало медом хитроумное варево из орехов, сушеного винограда, смокв и вина, сдобренного имбирем и гвоздикой. Олег видел, как его возлюбленная, уже несколько успокоившаяся, положила себе на тарелку немного этой смеси и, склонив трогательно голову, ела ее без большой охоты золотой ложечкой. На красавице было пышное одеяние, почти такое же, как у царицы, — так называемое одеяние препоясанной патрикии, с лором, или узкой парчовой полосой, сложно обвивавшей ее стан, грудь и плечи. Она теперь не смотрела больше в сторону Олега.

Прикрывая рот рукою и невольно косясь на царя, князь спросил шепотом склонившегося к нему евнуха:

— Кто эта женщина?

— Какая?

— Та, что в зеленом одеянии. Рыжая.

— Евдокия.

Олег поопасался расспрашивать здесь о дальнейшем.

Обед пришел к концу. Царь и царица встали и, поклонившись, покинули трапезную палату. Отодвигая сиденья, гости тоже вставали из-за стола. Олег торопился это сделать, чтобы успеть поближе подойти к своей рыжеволосой возлюбленной. Он уже знал несколько греческих слов и хотел с нежностью

приветствовать ее. Такая любовь облагораживает даже злых и жестоких. Но женщина вместе с другими ушла за царицей во внутренние покои, не обернувшись на него.

Возвращаясь домой вместе с поджидавшим князя у дворцовых ворот Халкидонием, Олег спросил:

— Скажи мне, кто такая Евдокия?

— Евдокия? Вероятно, ты говоришь о патрикии, что могла сегодня сидеть за царским столом?

— О ней.

Спафарий стал задумчиво ковырять в носу.

— Разве ты не знаешь? Возлюбленная царя.

От изумления Олег остановился.

— Что с тобой? — в свою очередь спросил Халкидоний князя.

— Но ведь царица прекрасна лицом!

— Кто знает, может быть, у другой есть такие качества, каких нет у царицы.

Они направились в сторону церкви св. Фомы.

— Да,— продолжал спафарий,— дочь простого садовника, а вот куда вознесла Евдокию женская судьба. Благочестивый оковал ее, как драгоценную жемчужину, в золото и серебро, оградил от простых смертных. Только изредка видим мы ее на Ипподроме. Но расскажи, что происходило на приеме и в трапезной палате...

#### XIV

В конце концов, встреча Олега с Евдокией на царском обеде ничего не изменила бы в их тайных свиданиях, даже могла бы еще больше разжечь пламя страсти, но произошли некоторые события. Во дворце считали, что случившееся в дальнейшем было явным упущением Халкидония, за что он и понес заслуженное наказание. Однако можно сказать, что и городской эпарх, как в Константинополе называют градоначальников, на обязанности которого лежит наблюдение за порядком и особенно за поведением временно проживающих в столице чужестранцев, оказался в данном случае не на должной высоте. Он отлично знал о любовных похождениях Олега, так как Халкидоний ежедневно докладывал ему о каждом шаге русского архонта; тем более что сам князь любил за чашей вина похвастать своими победами и без большого стеснения описывал достоинства любовниц, иногда принадлежащих к высшему обществу. Однако с государственной точки зрения эти ночные приключения знатного пленника казались малопредосудительными проказами, и когда спафарий докладывал о них эпарху, тот равнодушно зевал. Видя безучастное отношение со стороны высших властей к своим донесениям и почему-то считая, что новое знакомство Олега тоже не имеет большого значения, спафарий не спешил сообщить об этом градоначальнику и даже не сопровождал более князя в ночных прогулках, а сам Олег теперь стал помалкивать о своих подвигах, и казалось, что тут его успехи невелики. Одним словом, все это уже достаточно надоело Халкидонию. Но кто же мог предполагать, что священное ложе василевса осквернит та, которую он осыпал не только жемчугом, но и всеми знаками царственного внимания, какие только могут излиться на дочь простого садовника. Евдокия получила высокое придворное звание, ей предоставили право присутствовать на приемах императрицы. Кроме того, к ней определили учителем образованного евнуха, и он приохотил красавицу к чтению поэтов. Наконец, эту красавицу, ока-

завшуюся столь неблагодарной, поселили в самом дворце, отвели для нее мраморный дом в тех самых царских садах, где она в ранней юности полела цветники и где однажды увидел ее василевс, совершая утреннюю прогулку. Впрочем, во время личных докладов императору эпарх намекал, склоняя мощную шею и поводя выпуклыми глазами в розовых жилках, что как будто не все обстоит благополучно в самой ограде Священного дворца. Большого он не смел сказать. Соглядатаи доносили, что какие-то тени проскальзывают порой во мрак и тишину царских садов, но никого до сих пор не удалось схватить, и у эпарха не было в руках никаких доказательств. Поэтому он выражался довольно туманно во время докладов, чтобы не сказать лишнего и не ошибиться и в то же время оправдаться в случае каких-нибудь непредвиденных открытий. Мол, обо всем было доложено своевременно. Но когда благочестивый спрашивал эпарха, не заметил ли он крамолы в городе, тот отводил взор в сторону и бубнил:

— Ничего не оставляю без внимания, и если что-либо открою, незамедлительно доложу твоей святости. Разве можно быть уверенным в преданности даже осыпанных твоими благодеяниями.

— Тебе известно что-нибудь? — настаивался василевс.

Но эпарх уклонялся от прямого ответа.

— Твоя святость может спать не опасаясь. Как пес, я охраняю твой покой.

Василевс двигал олимпийскими бровями. Это считалось признаком, что благочестивый недоволен. Но сказать ему все, не имея в своем распоряжении ничего определенного, эпарх опасался. Он как бы плясал на вулкане, по собственному опыту зная, что красивая женщина легко может уверить влюбленного в своей невиновности и вообще в чем угодно. Слабому полу дана огромная власть. Она заключается в дурмане любовных ласк. Недаром жену называют исчадием ада. Как змея, она способна соблазнить любого добродетельного старца. Когда же раскрывается обман, то, даже пойманная на месте преступления, она лепечет первое, что ей приходит в голову, и если супруг не в силах устоять против бесовских чар, то самый мудрый верит словам обманщицы, как последний глупец.

Эпарх шептал:

— Мои глаза и уши повсюду. Обещаю удвоить бдительность и еще яростнее разоблачать козни твоих врагов и недоброжелателей.

Он надеялся, что не сегодня завтра у него будут существенные доказательства измены той, которая так вознеслась и взошла такой прекрасной звездой на ромейском небосклоне.

Очередную записку Олег получил вскоре после памятного дворцового обеда, и опять Халкидоний, переводя послание, не высказал никакого опасения. Встреча же обещала быть еще более заманчивой. Теперь нетрудно было догадаться Олегу, что подобные развлечения грозили смертью или ослеплением. Но упрямый князь не хотел ни о чем задумываться и с нетерпением ждал наступления темноты. На этот раз местом встречи с евнухом был указан глухой переулочек за Ипподромом. Никогда еще князя не звали прямо к железной калитке, очевидно опасаясь, что он не будет достаточно осторожен.

Когда повеяло ночной прохладой, Олег вышел за ворота. Над городом восходила луна. Как обычно, к архонту подошел теперь уже знакомый ему евнух, прятавшийся где-то в тени, и повел взволнованного любовника к садовой калитке, все время оглядываясь по сторонам и порой даже увлекая Олега за рукав в темный уголок. Каждый раз они шли к царским садам новой дорогой, и перед калиткой старичок долго проверял, нет ли кого-нибудь поблизости.



Вот и знакомая калитка... У Олега сильнее застучало сердце... Но едва евнух отворил железную дверь и перешагнул через порог одной ногою, как вдруг остановился, не осмеливаясь войти в сад, и стал прислушиваться. Потом быстро повернул нетерпеливого князя лицом к городу и стал шептать, чтобы тот немедленно уходил. Так можно было понять по его искаженному от страха лицу. Между тем Олег уловил в тишине сада какое-то движение.

— Беги! Беги! — казалось, говорил евнух и захлопнул калитку перед самым носом князя.

Олег остался в одиночестве. А со стороны Софии уже слышался топот ног. Оттуда бежали воины, и один из них высоко над головой держал смолистый факел. При его свете блеснуло оружие.

— Лови его, лови! — донеслись крики.

Олег бросился в противоположную сторону. К счастью, в это мгновение черное облако закрыло луну, и, пользуясь темнотой, князь побежал как олень, преследуемый псами. Молодые ноги в несколько минут донесли его до пристани. Там он присел за вытащенную на берег ладью и выжидал некоторое время. Вдали слышались грубые голоса. Очевидно, его искали около садов. Но так как Олег уже несколько ознакомился с расположением улиц в этой части города, то мог без особенного затруднения в ночное время найти дорогу к своему дому. Он поднялся от пристани по узкому переулку и, далеко обогнув опасные царские сады с противоположной стороны, никого не встретив на своем пути, кроме пьяных корабельщиков, благополучно добрался до церкви св. Фомы. У ворот, как всегда, его поджидал Борей.

Уже некоторое время тому назад беглый холоп явился в дом с мраморным орлом над воротами и просил господина взять его к себе, видимо надеясь, что с помощью князя ему будет легче вернуться в русские пределы. Олег мог уплатить родственникам убитого боярина возмещение или просто прекратить судебное преследование. По просьбе князя Халкидоний устроил Борей в доме архонта, и новый слуга сменил свои отрепья на чистую белую рубаху и штаны. Последнюю принадлежность мужской одежды подарил ему Олег, вместе со старыми сапогами из желтой кожи. Отныне Борей поручили охранять вход в княжеское жилище, и он стал выполнять всякого рода поручения, довольный, что может теперь объясняться на русском языке. Олег, считавший равными себе только людей княжеской крови и на смердов смотревший почти как на бессловесный скот, был до такой степени потрясен случившимся с ним в эту ночь, что опустился на каменную скамью рядом с холопом, не обратив внимания, что Борей даже не потрудился снять шапку с головы. Князь не знал, что такое страх, хотя порой и спасал свою жизнь бегством с поля сражения. Не очень беспокоила его и участь Евдокии. Ведь женщины легко выворачиваются из беды и, как кошки, всегда падают на ноги. Его огорчало лишь то, что он лишился огненных ласк. Не склонный разбираться в запутанных житейских обстоятельствах, князь все-таки задумался, как ему поступить теперь. Он спросил:

— Никто не искал меня?

— Никто.

Борей почел приличным продолжать разговор.

— Теплая ночь,— сказал он, глядя на луну.

— Теплая,— согласился князь и вытер рукою пот со лба.

— Дождь будет.

Олег ничего не ответил.

— В такую ночь на Руси грибы растут в дубравах.

Но князь ушел спать.

Уже наутро, в первом часу дня, то есть как только стало светать, о событи-

ях в царском саду доложили василевсу, хотя эпарх вынужден был сообщить со страхом, что, к сожалению, нарушитель священной тишины скрылся под покровом ночного мрака.

— Его ищут и, наверное, найдут мои люди. Кроме того, в эти минуты палачи допрашивают внуха Елизара,— уверял царя градоначальник.

Во всяком случае, сомнений в измене любимицы быть не могло, и гневу благочестивого не было предела. Он чувствовал себя оскорбленным в лучших своих чувствах. Кому же доставляет удовольствие, что над твоей любовью надсмеялись самым постыдным образом. Вскоре евнух, приставленный блюсти чистоту царской наложницы и презревший повеление василевса из-за чрезмерного сребролюбия, признался под пыткой огнем и выдал не только свою госпожу, но и ее любовника, каким оказался русский архонт, тоже осыпанный милостями царя.

В первые мгновения василевс решил прибегнуть к самым жестоким наказаниям — сослать неверную на отдаленный остров, заковать в цепи соблазителя, оскопить или на всю жизнь сделать гребцом на галере. Вероятно, он не переживал бы так свое несчастье, даже если бы виновницей оказалась сама императрица. Его разум помутился на некоторое время от красоты Евдокии. Но воспоминание о греховном теле ее взяло верх над всеми грозными решениями. Никифор захотел выслушать оправдания изменницы. Так утопающий цепляется за соломинку. Когда же он явился к Евдокии, еще нежившейся в постели после ночных волнений, стал горько упрекать ее и нечаянно прикоснулся к ее ногам, любовь овладела царским сердцем с новой силой. Что касается аронта, то логофет начал издали доказывать василевсу, уже несколько успокоенному поцелуями любовницы, что исключительно важные интересы ромейского государства требуют в данном случае особенной осмотрительности. Евнух вздыхал, но настаивал на своем. Необходимо было, по его словам, довести до конца грандиозный план овладения огромными скифскими пространствами. Первый шаг для этого — брак аронта с Феофанией Музалон.

Лежа рядом с искренне раскаявшейся возлюбленной, Никифор подумал, что такое решение было бы самым чувствительным наказанием для обманщицы за его погнанную любовь. Кроме того, помешало бы ей предпринять попытки снова встретиться с ненавистным ему скифом. Василевс повелел принять необходимые меры для совершения этого брака, и логофет брал на себя устроить все самым естественным образом. Впрочем, Олегу ничего не оставалось при данных обстоятельствах, как дать свое согласие. Магистр Феодор Музалон ликовал, узнав об открывшейся перед ним блестящей будущности, а у маленькой Феофании ноги подкашивались от волнения. Бедняжка знала о том, что послужило причиной ее счастья, но закрывала уши от всех материнских предостережений. Наделенная большим жизненным опытом, Стефанида страшилась за судьбу дочери, попавшей в круговорот таких опасных событий.

К счастью, никаких церковных осложнений с подобным браком не предвиделось, и свадьбу отпраздновали на другой же день, как этого пожелал император, и молодых супругов повенчал сам патриарх, что вполне соответствовало будущей роли русского архонта и обещанного ему звания. Но опасения матери оправдались. Когда василевсу стало известно, что охваченная отчаяньем Евдокия не выдержала любовных мук и послала свою рабыню к Олегу и записку ее, составленную в самых нежных и страстных выражениях, перехватили, то припадок царского гнева повторился с еще большей силой. На этот раз несчастную действительно отправили в отдаленный монастырь. Крутые меры повелели принять и по отношению к архон-

ту, хотя в данном случае он был ни при чем. Олега вырвали из объятий молодой супруги на третью ночь их брачной жизни, но Феофания цеплялась за возлюбленного мужа, и их увезли вдвоем, потому что она решительно отказалась оставить его, несмотря на уговоры матери. Халкидония послали на армянскую границу начальствовать над войсками одинокой полуразрушенной башни, запиравшей горный проход, на тысячу стадиев от которой не было ни церкви, ни харчевни, ни человеческого жилья, если не считать немногих пастушьих хижин. Эпарха лишили занимаемой должности и всех царских милостей. Но эти кары не коснулись Борея, и он умудрился сопровождать своего князя в ссылку, успев за эти дни привязаться к Феофании, всегда с ласковой улыбкой обращавшейся к огромному скифу. Тяжелый черный дромон загрохотал якорной цепью, паруса его наполнились ветром, по данному знаку гребцы налегли на весла, и быстроходный военный корабль понес молодую чету в изгнание. Только в последнюю минуту им стало известно, что дромон направляется на остров Родос. Олег понимал, что он бессилён предпринять что-либо для своего освобождения. Для Феофании же самым важным было не разлучаться с супругом. В порыве любви она прижималась к нему и лепетала что-то, простив легкомысленному красавцу все его грехи и утешая в постигших его испытаниях, благодарная за открытый ей мир страсти.

Василевс постарел за эти дни на несколько лет и временно передал бразды правления внуку. В доме Музалонов царило уныние. Напрасно магистр Феодор обивал пороги всевозможных секретов, пытаясь смягчить участь зятя или хотя бы возвратить под отеческий кров ни в чем не повинную Феофанию. Неудачливому честолюбцу отвечали уклончиво, что логофет дрома в ближайшее время чрезвычайно занят, и просили наведаться в ближайшее время, но в назначенный день и час для приема оказывалось, что всеильный царский советник только что отбыл в свой загородный дворец, чтобы отдохнуть там от государственных трудов, или придумывали какую-нибудь нелепую отговорку. Магистр плелся домой, чтобы выслушивать упреки и плач убитой горем супруги.

В то время Олег и Феофания уже приплыли на Родос. Следует сказать здесь, что остров уже давно растерял свою древнюю славу: морские пути, тянувшиеся раньше сюда со всех сторон, потеряли прежнее значение. Торговля его приморских городов замерла. Корабли не наполняли больше его некогда шумные гавани. Кроме того, островитяне жили в вечной тревоге перед сарацинскими набегами. Но по-прежнему родосский климат напоминал о рае, всюду здесь росли лавр и мирт и благоухали травы.

Этот остров весьма горист и весь изрезан руслами рек, наполненных водою и бурных только в период зимних дождей, в остальное же время превращающихся в ручейки, что быстро текут по белым камням. Среди голых скал и камней зеленеют роши морских дубов и цветут плодородные равнины. Жители разводили в те времена тонкорунных овец и коз и возделывали на солнечных холмах виноградную лозу,— вино, выжатое из этих тяжелых пурпурных гроздей, отличалось превосходным вкусом и ароматом. В большом количестве произрастали здесь оливковые деревья и смоковницы.

Олегу с женой и его спутникам было назначено жить в городе с одноименным острову названием, в старом монастыре, расположенном на склоне горы св. Стефана, обращенной более или менее отлогим скатом к морскому берегу. Наверху высились развалины языческого храма, и несколько его колонн еще возвышались на синеве небес, а внизу раскинулся тихий городок с белыми домами под черепичными крышами, и туда вела из монастыря

приятная тропинка. Еще ниже виднелась пристань, в которой стояли два или три корабля, пришедшие из Константинополя, а дальше уже простиралось необозримое морское пространство, и голова кружилась от этой бесконечности у Феофании, когда она спускалась, молодая и влюбленная, по горной тропе в город.

Городок жил неторопливо, люди занимались маленькими делишками и, вероятно, почитали бы себя счастливейшими из смертных, если бы не тревога перед сарацинами и не усердие царских податных сборщиков, всеми средствами выжимавших налоги и пошлины. На узких улицах едва могли разойтись два встречных осла, нагруженных корзинами со смоквами или амфорами с прохладной водой горного источника. На местном базаре продавали розовых рыб, всякие морские раковины, козий сыр и виноград. Вместо хлеба жители пекли лепешки, и этого было вполне достаточно, чтобы поддержать человеческое существование.

В монастыре, уже давно превращенном в маленькую крепость и оставленном монахами, ютились три десятка воинов под начальством однорукого сотника Мелетия, пьянчужки, совершенно равнодушного к воинской славе ромея. Все эти доблестные сыны Ареса по большей части проводили время на городском базаре или в таверне под громким названием «Звезда Камира», так как ее толстопузый хозяин был родом из этого селения, расположенного на северном берегу острова. Вместе с воинами в крепости обитали их крикливые и хозяйственные жены, и бывшие монашеские келии были полны черномазых и полуголых детей.

Олегу отвели полуразрушенный дом, в котором раньше жил настоятель. В его пустынных палатах еще виднелись кое-где на стенах остатки облупившейся росписи.

Вместе с князем в ссылке очутился и неунывающий Борей, а бедного Халкидония заменил новый соглядатай и переводчик, по имени Иоанникий, родом болгарин. Он стоял на самой низшей ступени иерархической лестницы, состоял в звании кандидата, но носил титул не без гордости. Он тоже был большим поклонником Бахуса, как говорили о пьяницах языческие поэты, но считался начитанным человеком, так как некоторое время служил у знаменитого патриарха Кируллария.

Жизнь на острове для Олега и его молодой супруги была не лишена приятности благодаря обилию земных плодов, но не без огорчений. Русскому архонту полагалось известное содержание из Священной сокровищницы, но корабли из Константинополя приходили редко и в неопределенные сроки, поэтому деньги доставлялись с запозданием. Кроме того, переходя из рук в руки, эти и без того довольно скромные суммы таинственным образом еще больше уменьшались, а между тем на них нужно кормить Борей и двух рабынь, так как вместе с Феофанией в изгнание отправилась и две ее прислужницы. Впрочем, одна из них, та самая, что однажды сопровождала госпожу в городе, когда Олег встретил Феофанию с матерью, вскоре убежала с каким-то отчаянным корабельщиком, а старая Дула осталась. Приходилось благодарить небеса, что неизменно теплая погода на острове не заставляла думать о меховых покрывалах или о дровах для очага, а варить пищу удавалось с помощью хвороста, кедровых шишек и скорлупы от орехов. Но в зимние месяцы, когда в течение многих дней подряд шумел дождь и по ночам завывал ветер в дымоходе, в старом доме с черными провалинами окон становилось неуютно и горницы наполнялись сыростью и глетом.

Хлеб, овощи, баранину и козий сыр Дула покупала на базаре, и на это не всегда находились средства. Иногда необходимость заставляла отдавать

в заклад лихоимцам драгоценности Феофании. Она ничуть не жалела их и говорила с улыбкой своему легкомысленному супругу:

— У тебя нет денег? Так возьми мое ожерелье и продай его. К чему мне оно?

И смеялась, сияющая от женского счастья. Олег уже научился немного понимать детский лепет жены, относился к ней с любовью и не мог не оценить эту нежность, но по ночам в его памяти вставали греховные часы в царских садах.

Борей завел знакомство с местными рыбаками и уходил с ними в море, на рыбную ловлю. По возвращении из лунной ночи эти бедные, но честные люди неизменно выделяли ему часть улова.

## XV

На острове длинной чередой тянулись наполненные зноем и скукой медленные дни. Пели цикады. Благоухал лавр. Когда Олег смотрел на зеленое море, или на розоватые скалы, или на голубеющие к вечеру холмы, покрытые темными рощами, князю казалось, что ему снится тот самый рай, о котором рассказывает Библия. Стоило только поднять взор — и вдруг открывалась зрению все еще непривычная красота гор, манили серебристые оливы, зеленые виноградники. Достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать вкусный плод — смокву или гранатовое яблоко — и утолить голод и жажду. Но с моря веял солоноватый ветер, ласкал теплым дыханием волосы, раздувая русскую рубаху, напоминая, что все это не сонное видение, а земная жизнь. По береговому песку проворно бежали крабы. На горных склонах мирно паслись быки, и среди нагретых солнцем камней всюду извивались и шипели ядовитые змеи.

Внизу, под сенью колонн разрушенного храма, в котором некогда почитали ложных богов, в залитом солнечным светом городке, в домах побогаче жили нотариусы, сборщики налогов и торговцы, а в хижинах, кое-как сложенных из камней, — ремесленники всякого рода, виноградары и рыбаки. Один из местных резчиков по камню сделал для молодой княгини печатку. Он искусно вырезал на сердолике: «Да поможет господь русской архонтисе Феофании Музалон». Этот пышный титул несколько утешал ее, попавшую из беззаботной жизни родительского дома на позабытый богом и василевсом остров. Даже церкви здесь были скромных размеров и бедны священными сосудами.

Жизнь в городе Родосе текла сонливо и медленно. Лишь порой на базаре слышался шум ссоры, если покупатель и продавец не сходились в цене на барана или сосуд с вином. Только изредка улицы наполнялись волнением, когда проходил очередной константинопольский корабль. Люди выбегали из домов и спускались к пристани, чтобы посмотреть на мореходов, приплывших из столицы, и узнать, что они привезли. И тогда они узнали от корабельщиков о смерти василевса.

Олег получил повеление ни под каким видом не покидать отведенный ему для жительства монастырь. За его стены он имел право выходить только в сопровождении вооруженных стражей. Но однорукий сотник часто пил с архонтом вино и, пользуясь его попустительством, а также тем обстоятельством, что в крепости порой не оставалось ни единого воина, так как все они занимались торговыми делишками на базаре, Олег спускался в город и разгуливал в одиночестве везде, где ему нравилось. Странно было смотреть на

ушастых ослов, развозивших по городу воду в узкогорлых кувшинах, подвешенных по обеим сторонам хребта. Иногда такой осел вдруг начинал кричать и наполнял ужасным ревом все пространство от языческого храма до пристани. По рассказам стражей, в глубине острова, в дубовых рощах, водились вепри, лисицы и даже олени. Но куда бы князь ни шел, всюду на его пути валялись среди ароматических трав обломки мрамора и шипели ехидны, и все это не походило на Черниговскую землю и половецкие поля.

Зимой, когда Русь засыпало снегом, на острове начинали идти проливные дожди и продолжались до февраля, и тогда звонкие горные ручьи превращались в бурные потоки. Вскоре долины покрывались пестрыми цветами. Феофания плела из них венки, тихо напевая греческую песенку. Не верилось, что в этот час русские дубы покрыты инеем, а люди в Чернигове ходят в медвежьих шубах и ездят на скрипучих санях.

Борей тосковал:

— Не по-нашему здесь живут. Ни ржаного хлеба, ни пенного меда!

С наступлением на острове дождливых дней все спешили спрятаться под благодетельной крышей, а мулов и ослов загоняли под навес. В такую погоду Олег и Феофания проводили время в мрачных покоях монастырского дома. Вероятно, прежние обитатели этого жилища не отличались большой склонностью к постам и воздержанию и соорудили огромный очаг в углу для приготовления пищи. Когда Олег уходил с воинами на охоту и ему удавалось убить вепря, Борей разводил огонь, насаживал на железный прут кровавые куски мяса, и вскоре все помещение наполнялось едким дымком, смешанным с раздражающим запахом жареной свинины. Сидя на корточках у очага, конюх усердно поворачивал ручку вертела и время от времени поливал жаркое жиром, стекавшим в подставленный медный сосуд.

В ожидании ужина Олег лежал на ковре, подложив под голову шелковую подушку. Так научила его нежиться Феофания. Она сидела рядом и по-прежнему не сводила глаз с любимого. Поблизости от огня разлеглись на красном глинобитном полу две прилудных собаки. Положив морды между лапами, они порой глубоко вздыхали, терпеливо поджидая, когда будет готова пища, люди утолят свой голод и бросят им вкусные кости.

Как только из монастырского дома начинали плыть во все стороны приятные ароматы, однорукий начальник стражи выходил из своей кельи на заросший колючими травами двор и нюхал воздух, стараясь определить, в какой стороне пахнет жареным. Догадываясь, что это пекут вепря, счастливый княжеский трофей сегодняшней охоты, он кричал от удовольствия, предвкушая угощение, и направлялся к дому, в полной уверенности, что получит приглашение к столу.

Мелетий был внушительной наружности воин, но уже полукалека и чрезвычайно ленивый человек. В течение тридцати лет он служил многим василевсам, участвовал в десятках сражений, неоднократно проливал свою кровь, а под Антиохией даже потерял руку и только чудом выжил после ранения, но дослужился только до звания кандидата и был послан на Родос, где ему выпало на долю стеречь русского архонта.

Когда на каменной лестнице раздавались шаги старого воина, собаки вскакивали с пола — сначала одна, за ней другая, — и шерсть у них на хребтах поднималась дыбом. Они с оглушительным лаем и рычанием бросались, чтобы разорвать посетителя, а затем возвращались, помахивая хвостами, и с сознанием исполненного долга ложились перед соблазнительным зрелищем. Так собачий лай и запах псины придавали привычную обыденность странной судьбе Олега.

Мелетий опускался на скамью и сообщал самые обыкновенные вещи, — например, рассказывал о том, что на базаре сегодня продавали рыбу по недорогой цене. Сидевший рядом с ним Иоанникий переводил его слова. Потом воин начинал хохотать, глядя на огонь, даже придерживая руками колыхающийся живот.

— Чему он смеется? — спрашивал Олег переводчика.

— Он смеется тому, что ты проколол вепря копьем, а он возвращается на вертеле, как живой.

Иоанникий, тоже обычно являвшийся сюда к ужину, был другого склада человек. От него частенько пахивало вином, и в этом отношении он мало чем отличался от Мелетия, но он был начинен всякими историями, как сладкий пирог сливами, любил сочинять всякие небылицы и тем снискал любовь Борея. Если бы, например, Иоанникий рассказывал о рыбе, продаваемой на базаре, то оказалось бы, что ее купил повар стратига и, вспоров ей брюхо, нашел во внутренностях номисму или даже написанную на табличке жалобу бедняка на несправедливого судью. Стратиг, не желавший раньше выслушать обиженного, вынужден был теперь прочитать прошение и восстанавливал на земле попорченную справедливость.

Иоанникий тоже с притворным равнодушием ждал, когда ему предложат ломоть хлеба с куском сочного мяса, отдающего желудевой горечью и дымком пахучих трав, обильно посыпанного крупной солью. Челюсти у переводчика приходили в движение, у него развязывался язык, и, запивая пищу густым местным вином, он начинал какую-нибудь занятную повесть. Обильная еда вызывала мысли о голодных. На этот раз история происходила в стране, которую посетил голод.

— Это случилось в селении, где саранча пожрала все посевы. Некий человек сказал своему сыну: «Чадю! Видишь, как мы оскудели? Всем нам грозит голодная смерть. Позволь, я продам тебя. И ты останешься жив, и мы спасемся от гибели». Сын ответил: «Поступи как знаешь». Отец привел отрока к вельможе, и тот, взглянув на красивого мальчика, подумал, что тот будет прилично прислуживать ему за столом, и уплатил за раба что полагалось.

Олег и Борей слушали рассказ с затаенным вниманием. Все это вполне соответствовало истине. Когда случался неурожай, бедняки часто были вынуждены продавать своих детей в рабство. Феофания не понимала языка руссов, но она думала о своем, бледнела от волнения при мысли, что скоро наступит ночь и она останется наедине с супругом в опочивальне. Мелетий тоже не знал русского языка, хотя и смеялся порой без всякой видимой причины. Однако все давно к этому привыкли.

— Отдавая сына вельможе, старец завещал отроку молиться в каждой церкви, которую он встретит на своем пути. И вот что произошло. Однажды молодой слуга увидел, что госпожа творит блуд с другим рабом. Он никому ничего не сказал, но ужаснулся. А госпожа опасалась, что он донесет на нее, и стала так уговаривать мужа: «Этот новый раб злоумышляет против тебя. Не подсыпал ли он яда в твою чашу, когда ты пил вино перед охотой? Разве не почувствовал ты тогда резь в желудке?» Супруг, вернувшийся с лова совсем больным, поверил жене. А она шептала на ложе: «Судья — друг тебе. Попроси его, чтобы он казнил того, кто принесет ему от тебя какую-нибудь вещь, — например, красный плат. Условившись так, пошли с таким даром к судье нового слугу. Потом мы отправим другого раба, чтобы он принес нам голову казненного. Этот вполне достоин твоей награды. Он трудится днем и ночью и всегда готов доставить мне удовольствие».

Олег слушал не без увлечения, но сохранял княжеское достоинство. Зато

Борей весь превратился в слух и даже забыл о своих обязанностях повара. Он перестал вращать вертел, и мясо стало подгорать. Олег крикнул:

— Не пренебрегай работой, кухарь!

Борей спохватился, и железный прут снова стал поскрипывать на подпорках.

— Господин послушался злой жены и послал молодого раба к судье, вручив ему красный плат. Но отрок зашел, по своему обыкновению, в церковь, что стояла на его пути, и задержался там на молитве. Между тем уже отправили второго раба за головой того, кого почитали казненным. Этот посланец зашел не в церковь, а в кабак. Там собутыльники сообщили ему, что отрок молится. Раб подумал, что, наверное, получит награду от судьи, если сам отнесет плат, и стал уговаривать юношу: «Ты помолись, а я отнесу судье подарок, а позднее и ты придешь к нему, и мы вместе возвратимся в дом нашего господина». Молодой слуга охотно согласился, и судья велел отрубить голову тому, кто принес платок, как было условлено. А когда явился отрок, ему вручил голову несчастного, завернутую в тряпицу, и он принес ее госпоже, даже не подозревая о том, что несет, и господин с женою были поражены ужасом...

Борей покачал головой. Подобные вещи могут происходить на земле, где все полно случайностей, и ничего чудесного в этом событии не было. Он радовался, что услышал такую поучительную притчу, так как страшная история заставляла подумать о собственной судьбе, а потом снова принимался за свой кусок мяса. Иоанникий, с удовольствием обсасывая пальцы, рассказывал:

— Сегодня я прогуливался в городе и видел, как люди рыли яму, чтобы заложить основание для нового дома. Представьте себе, они нашли в земле мраморную статую какого-то древнего мудреца или законодателя. Это напомнило мне о том, что я прочел в одном сочинении. Якобы в прежние времена на острове стояла огромная статуя языческого бога. Она была так велика, что один палец ее равнялся по величине человеку. Будто бы на отливку этого истукана пошло пятьсот талантов меди и столько же обыкновенного железа. Его соорудили двенадцать лет. За высоту статуи ее называли Колосс. Правая нога идола стояла на одной стороне входа в корабельное пристанище, а левая на другой, и между ними свободно могли проходить большие морские корабли. Но однажды на острове произошло землетрясение и статуя упала на землю. Когда сарацины временно захватили остров, их военачальник Моавия разбил истукана на куски и переправил металл в Сирию. Там выставленную для продажи на базаре медь приобрел иудейский купец и нагрузил ее на девяносто верблюдов...

Словоохотливый Иоанникий готов был рассказывать и другие истории, не менее занимательные, но ужин приходил к концу, все вино выпили, и старая Дула уже готовила на ночь постели. Феофания уверяла, что она утомлена и хочет поскорее прилечь. Кандидат и разговорчивый переводчик уходили восвояси, а супруги отправлялись в опочивальню. С некоторых пор положение в этом доме улучшилось, потому что родители Феофании нашли способы помогать несчастной дочери и присылали ей необходимое. Олег спал теперь на пуховой перине. Из окна было видно зеленоватое море. Сладко пахнул лавр. Князю казалось, что он с утра до вечера ест мед.

Так прошел еще один год, и наступил третий. Никто не знал, о чем шепчутся на ночном ложе Олег и Феофания, мешая русские и греческие слова, но в монастыре стали появляться подозрительные странники. Они вели какие-то переговоры с Феофанией и снова покидали монастырь. Все это



В одну темную ночь, обманув Боспоре бдительность царских стражей, мимо спящего



Константинополя, проскользнул черный корабль и вышел в Черное море.

давно заметили кумушки, занимавшиеся стиркой и пересудами на монастырском дворе, но ни кандидат, ни Иоанникий ничего не замечали, благодушествуя в таверне «Звезда Камира», у старого Киклофора; Мелетий вспоминал свои подвиги, а переводчик рассказывал всем, кто хотел его слушать, неисчерпаемые истории о чудесах и превращениях. Потом неожиданно исчез Борей. Когда удивленный этим обстоятельством Иоанникий спросил архонта о его слуге, ему ответили уклончиво.

— Куда уехал твой слуга? — допытывался соглядатай, и стоявший рядом с ним озабоченный начальник стражи смотрел то на одного, то на другого.

Олег презрительно скривил губы.

— Откуда мне знать? Разве не обычное дело, что рабы убегают от своего господина?

Кандидат и Иоанникий переглянулись и отправились в таверну, чтобы обсудить этот вопрос за кувшином вина. В конце концов, может быть, и не было причин волноваться? Сосланный архонт спокойно проживал в монастыре и не делал никаких попыток к бегству, за что пришлось бы ответить наблюдающим перед высшей властью. Однако в харчевне передавали о странных слухах. Некоторые из посетителей, в том числе таможенные надсмотрщики, утверждали, что прошлой ночью к берегу подошел какой-то черный корабль, долго стоял при лунном освещении, а потом поднял парус и ушел в море, едва лишь занялась заря.

— Сарацины? — с тревогой спрашивал надсмотрщиков Мелетий.

— Или морские разбойники, — объяснял старый Киклофор. — Уже было так раньше. В царствование блаженной памяти Константина, помню, тоже приходил разбойнический корабль и пограбил Камир. Тогда они убили стратега Леонтия.

Но вокруг было так спокойно и тихо, так сияло солнце, что не хотелось утруждать себя излишней мыслительной работой...

Однако спустя некоторое время снова появился в монастыре Борей, так же неожиданно, как и исчез. Иоанникий и Мелетий хотели допросить его с применением пыток, но Олег сказал, что слуга бежал и вернулся, раскаившись в своем поступке, и поэтому нет никаких оснований наказывать беглеца, и даже пригрозил начальнику стражи и соглядатаю, что Феофания напишет в Константинополь о неприятностях, какие ему чинят на острове, и царь строго накажет притеснителей. Иоанникий было известно, что в столице считаются с русским пленником и даже неизменно справляются о его здоровье, и поэтому он поопасался поступить с Бореем сурово, как в данном случае требовал закон, а ограничился тем, что обо всем доложил стратегу острова. Но, очевидно, здешний райский климат не располагал служителей василевса к большому служебному рвению. Стратиг был еще более ленив и равнодушен к государственной пользе, чем Иоанникий. Разговор длился недолго. Стратиг, ковыряя костяной зубочисткой в зубах, спросил:

— Разве архонт уже покинул остров?

— Не покинул.

— О чем же ты хлопочешь?

— А если он исчезнет как дым?

— Тогда мы и примем соответствующие меры.

— Увы, уже будет поздно.

— Однако не следует и предвирать события.

На обед стратегу подавали сегодня мидии, отваренные с чесноком и пахучими травами, и чудесную похлебку из морских рыб. Он совсем не собирался портить себе пищеварение всякими пустяками. Это во-первых.

Кроме того, ведь всегда можно найти объяснение любому упущению и составить по этому поводу доклад логофету.

Соглядатай поплелся домой. Но по пути встретил на базаре Борея и опять приступил к допросу.

— Где же ты пропадал столько дней, нечестивец? — спрашивал он, подозрительно осматривая скифа.

Борей неопределенно махнул рукой.

— Там.

— Где там? В Камире?

— В Камире, — охотно согласился Борей, у которого не хватало воображения придумать что-нибудь более правдоподобное.

— Но знаешь ли ты, что стратиг может пытаться тебя огнем и железом, чтобы ты открыл истину?

— Не боюсь тебя.

— Князь посылал тебя куда-нибудь?

— Не посылал.

— Ты лжешь. В харчевне говорят, что ты в пьяном состоянии рассказывал, будто путешествовал в Таматарху.

— Ничего не знаю.

— В город, из которого приехал князь Олег.

Впрочем, всем было известно в городке, что Феофания ждет ребенка. Это обстоятельство успокаивало и кандидата и соглядатая. Разве возможно предпринимать что-либо при таких обстоятельствах? Всякое существо на этом острове блистающих звезд и лазури, как любили называть Родос в своих произведениях стихотворцы, мирно занималось своим делом. Даже стражи не столько думали о выполнении служебного долга, сколько о том, чтобы рыбная ловля оказалась удачной и жуток не пожрал виноградные лозы. Все было спокойно вокруг. До заката звенели цикады. В ночном мраке слышнее стрекотали кузнечики. О сарацинах никто ничего не слышал. А между тем начальник стражи и Иоанникий уже находились на склоне своих дней и имели право на отдых после всего, что им пришлось пережить и испытать на жизненном пути.

Возвращаясь с базара в монастырь, Иоанникий заглянул по дороге в таверну старого Киклофора. Там уже сидел Мелетий, предводитель малого воинства, разомлевший от жары. Час обеда еще не наступил, хотя хлопотливая жена, наверное, уже приступила к его приготовлению, переругиваясь с соседками. Подниматься по тропинке в монастырь с каждым днем становилось тяжелее. К чему спешить? Хотелось поговорить о чем-нибудь возвышенном, рассказать еще одну историю, и соглядатай присоединился к одному-единственному приятелю. Киклофор принес кувшин с холодной, хрустальной водой. Она ценилась здесь чуть не дороже вина.

— Из горного источника, — похвастал старик.

— Что нового на базаре? — осведомился начальник стражи.

— Продают множество куропаток по недорогой цене.

— Почему?

— Обол за пару.

— А рыба?

— Есть и рыба. А о чем говорят в городе?

— Будто бы опять видели черный корабль...

Но в такой жаркий день не хотелось беспокоить себя неприятными предположениями.

Дорога, по которой Мономах ехал в Переяславль, выползла на снежную равнину. Изгибаясь как змея, конный отряд стал медленно спускаться по отлогому берегу к скованной льдом реке. Здесь в летнее время действовал перевоз, устроенный по повелению великого князя, а сейчас сама зима построила ледяной мост. Стало холоднее на ветру, и Мономах лучше запахнул шубу. Он постарел за последние годы, — может быть, под тяжким бременем государственных забот? Впрочем, немало было у него затруднений и в начале княжения. Когда он сидел в Чернигове, а Олег скитался где-то в греческой земле или обитал на далеком острове, где однажды его видели два монаха из Печерского монастыря, совершавшие паломничество в Иерусалим, страну постигли великие бедствия. Половцы осадили Стародуб. Восстало непокорное племя вятичей. Пришлось усмирять мятежников и гоняться за кочевниками в степях. В одном из этих сражений, вспоминал князь, подремывая в овчинном тепле, он взял в плен двух знаменитых ханов — Асиня и Сакзя, завладел половецкими вежами, взял богатую добычу, коней, верблюдов и рабов. Но опасность не уменьшалась и каждый час можно было ожидать нападения со стороны степи. Отец послал его укреплять Переяславль, где беззаботный Ростислав не желал заниматься скучными земляными работами, больше надеясь на острую саблю. Пришлось много трудов положить, чтобы насыпать вокруг города высокие валы, укрепить их частоколом, вырыть ров, срубить грозные бревенчатые башни. Тогда же в городе закончили строительство каменной церкви св. Михаила. Приходилось бороться не только с половцами, но и с бесом. Еще крепко держались в народе языческие предания, всякое суеверие и власть косматых волхвов. Днем как будто все было спокойно на берегах тихих русских рек, где клонились к воде плакучие ивы и трепетали над раkitами синие и зеленые стрекозы, когда же наступала лунная ночь, там, говорят, появлялись зеленоволосые русалки, тревожили ночь серебряным смехом, плескались в речных струях и манили путников в черные омуты. Смерды тайно молились в дымных овинах, целовали сияние месяца на воде, а жены обмывались в корыте и эту воду давали пить своим мужьям, чтобы приворожить их.

Еще один князь погиб от руки убийцы по дьявольскому наущению. Это был Ярополк, сын Изяслава, испытывавший на своем веку не менее всяких несчастий, чем его отец. Он тоже скитался по чужим землям и видел Рим. Когда у него вспыхнула вражда с великим князем, Ярополк бежал в Польшу, оставив в Луцке мать и красивую жену, княгиню Ирину, изображенную в греческом наряде на трепнике, который приказала написать для себя Гертруда, и в Киеве сохранявшая латинскую веру. Мономах захватил обеих женщин вместе с имуществом и привез в киевский дворец. По прошествии некоторого времени Ярополк помирился с Всеволодом. Наступили мирные дни. Но однажды этот молодой князь ехал на повозке в Звенигород, и его пронзил саблей, спящего, дружинник по имени Нерадец. Князь поднялся, вырвал оружие из раны и воскликнул громким голосом:

— Ох, поймал меня враг...

Но не успел сказать, кого он подразумевает.

Проклятый убийца бежал в Перемышль, а Ярополковы отроки Редко и Вонкина взяли тело своего князя и повезли перед собою на коне во Владимир Волынский, а оттуда в Киев, и навстречу им вышел великий князь со множеством народа. Ярополка похоронили в мраморной гробнице, в церкви святого Петра, которую покойный сам начал строить. Так покинул сей суетный и мятежный свет князь Ярополк, омыв кровью свои грехи.

Страшные небесные знамения устрашали тогда людей. В месяце мае, в 21-й день, солнце сделалось как полумесяц и уже его совсем мало осталось на небе, а потом снова засияло во всей красоте. В тот же год Всеволод и Владимир охотились с дружиной за Вышгородом, в заповедной княжеской дубраве. Едва были закинута тенета и кличане кликнули, чтобы загонять зверя, как вдруг с небес упал огненный змей, и все ужаснулись, спрашивая друг друга, не настал ли уже конец мира. Тогда многие слышали, как земля поколебалась под ногами. Потом в Ростове объявился волхв, но в ту же ночь исчез бесследно, а в древнем городе Полоцке стало твориться невиданное сатанинское наваждение. По ночам на улицах начинался топот и свист, бесы рыскали, словно люди. Жители выходили из своих домов посмотреть, что происходит, и погибали, поражаемые язвами, и другие уже не осмеливались покидать жилище, а лишь смотрели из оконцев. Были еще иные знаменья. Солнце стояло в огромном круге на небе, и случилась такая засуха, что земля совершенно выгорела, а леса и болота загорались сами собою. От этих пожаров на ночном небосклоне стояло зловещее зарево, и от огня погибало множество зверей и птиц. В довершение несчастья пришли половцы и взяли три города — Песочен, Переволок и Прилуки. В самом Киеве много людей умирало от мора. Продавцы гробов говорили, что только от Филиппова поста до мясопуста они продали семь тысяч домовин.

Вскоре умер и великий князь Всеволод Ярославич. Это произошло на страстной неделе, в четверг. В последние свои годы князь много хворал, совсем ослабел, и, пользуясь его недугами, молодые дружинники обижали и грабили народ, а старый князь делал вид, что ничего не знает об этом. Когда он окончательно разболелся, то послал в Чернигов за Мономахом, любимым сыном, и в Переяславль за Ростиславом. Владимир тотчас приехал и заплакал, увидев, что отец при последнем издыхании. Когда он скончался, тело великого князя положили под сводами св. Софии, как было завещано Ярославом, и епископ горячо восхвалял христианские добродетели усопшего: — Сей благоверный князь был с детства боголюбив, оделял бедных и убогих, воздерживался от питания и похоти...

Он еще много говорил об усопшем, и другой епископский голос хвалебно звучал под гулками сводами:

— Он был отличаем отцом своим князем Ярославом, возлюбившим его более прочих детей и повелевшим положить сына рядом с собою...

По зрелом размышлении Владимир решил, что недальновидно садиться на киевский стол, — хотя возможно было это сделать, — жил и здравствовал Святополк, имевший более прав на Киев, который принадлежал его отцу, князю Изяславу, старшему Ярославичу. Поэтому Мономах послал епископа в Туров, где сидел Святополк, чтобы звать его на великое княжение, а сам ушел с молодой супругой в Чернигов. Узнав о смерти старого Всеволода, от руки которого они всегда встречали достойный отпор, половецкие ханы, недовольные, что русские стали преграждать им путь крепостями и нанимать на службу торков и печенегов, снова, как волки, бросились на Русь и обложили со всех сторон Торческ.

Святополк, ободренный прежними победами, решил, что он достаточно силен со своими восьмьюстами отроками, чтобы сразиться с кочевниками. Его дружинники жаждали славы и добычи. Однако бояре посоветовали самонадеянному князю обратиться за помощью к другим городам. Он послушался и послал за Владимиром Мономахом, и тот тотчас пришел на зов со своими воинами. Из Переяславля прибыл с дружиной быстрый на сборы Ростислав.

Эти два брата во многом отличались друг от друга. У них были разные

матери и различное воспитание. Владимир вырос среди образованных греческих женщин, не чуждых книжному чтению. В доме Всеволода было много книг, часто приходили послания из Царьграда. После смерти отца Владимир открыл окованный железом ларь, в котором хранились грамоты, стал рыться в нем и читать письма. В одном из них царь Михаил Дука писал киевскому князю:

«Слыша от многих, близко знакомых с твоим образом мышления, что ты основание своей власти положил прежде всего в благочестии и управляешь своей страной в духе правосудия и святости и что ты не любишь кровопролитные брани, а предпочитаешь разрешать все вопросы мирным путем...»

Царь не ошибался... Владимир положил письмо на место и еще раз задумался об отцовских делах. Но что еще писал василевс?

«Я восхищался твоим характером и поставил себе в задачу упрочить с тобою дружбу и сделать тебя своим сродником, соединив в брачном союзе одну из твоих прекрасных дочерей с моим братом киром Константином...»

Речь шла о выдаче замуж сестры Мономаха Янки. Ему было приятно, что цари обращались к его отцу с такими лестными предложениями, хотя нетрудно было догадаться о причинах, заставивших Михаила написать эти выпренные слова: тогда болгары разгромили царское войско и Корсунь отложились от Греческой державы. Царь оказался вынужденным прислать на Русь очередного патрикия с дарами и просить помощи против мятежников. За такие услуги Константинополь платил царевнами и пышными титулами. Всеволод, по соглашению со своим братом Святославом, сидевшим тогда на киевском столе, отправил Владимира вместе с молодым племянником Глебом Святославичем в корсунские пределы. Но вскоре Святослав разболелся и умер. Скончался и царь Михаил, с кем заключили договор. Всеволод к тому же нуждался в присутствии сына и велел ему вернуться на Русь. Мономах выполнил отцовский приказ, а Глеб ушел в Тмутаракань. Именно тогда любознательный князь мерил по льду море от этого города до Корчева, и камнерезец выбил на памятной плите число саженей, обозначающих расстояние. После смерти царя Михаила его брат, жених Янки, был насильственно пострижен в монахи, и сестре не пришлось стать греческой царицей. Обманутая в своих надеждах невеста ушла добровольно в монастырь, построенный для нее отцом, и, собрав немногих девиц, обучала их чтению и всяким искусствам. Спустя три года Янка бесстрашно отправилась в Царьград, где ее с почетом принимали при дворе царя Алексея Комнина, и, вернувшись оттуда, привезла на Русь нового митрополита, скопца Иоанна. Когда он явился в Киев, все подумали, что из Греческой земли приплыл мертвец. Иоанн оказался человеком недалекого ума, недейтельным и не сильным в священном писании, но сестра, поджмая губы, выразительно смотрела на отца, и оба понимали друг друга. Именно такого митрополита и хотел иметь в Киеве великий князь. Дело святителя — рукополагать русских епископов, а не вмешиваться в государственное управление.

Воспоминание о том, как он впервые увидел синее море, как побывал в Корсуне и в Каффе, и это путешествие Янки в Царьград отвлекли мысли Мономаха от событий, что произошли после смерти отца. Разве он не убеждал тогда Святополка заключить мир с половцами? Однако киевский князь упрямо стоял на своем, и русские дружины двинулись на Треполье. В походе Святополк сокрушался не по своей княгине, а об оставленной в Киеве наложнице, красавице родом из Хазарии. Он был так влюблен в нее, что не мог без слез разлучаться со своей любимой даже на самое краткое время и во всем покорялся ей, за что ему приходилось выслушивать укоры и поношение от

князей. Во время похода великий князь был мрачнее тучи и, кусая губы, жаловался Мономаху:

— Вот уже вторую ночь я не лобзаю ее, мою лилию!

Владимиру казалось странным, что зрелый возрастом и умом человек способен убиваться так по любовнице, бывшей рабыне, но, зная слабость человеческой плоти, молчал.

Святополк плакался:

— Верна ли мне она? Подарил ей жемчужное ожерелье. Тысячу сребреников заплатил греческому торговцу...

Киевский князь отличался неимоверной скупостью, водил дружбу с ростовщиками, сам, говорят, отдавал деньги в рост через вторые руки, и если потратился на такие деньги, то, значит, очень увлекался этой женщиной. Он был высокого роста, худощав, с черными прямыми волосами и длинной, но узкой бородой. Он любил читать книги, запоминал все почерпнутое в них, так как обладал необыкновенной памятью, однако, несмотря на чтение при свете свечи, сохранил острое зрение. Из-за своих недугов ел он мало, пил редко и только по необходимости, когда нужно было принять участие в торжественном пире.

Владимир вздохнул, вспоминая эту печальную войну. Он и в пути уговаривал князей возвратиться домой или подарками купить мир. Но его не послушали. Пылкий Ростислав рвался в бой, красуясь драгоценным оружием и тяжелой франкской кольчугой.

Перед битвой они отправились с братом в Печерский монастырь. Это была весьма почитаемая обитель, где насчитывалось немало образованных монахов, знавших греческий и латинский языки или даже еврейский. Здесь усердно переписывали книги. Некоторые из иноков стали епископами, славились духовными подвигами, хотя были и такие, что обрели в монастырской келии приятное житие.

Мономах и Ростислав ехали верхами по берегу Днепра, в сопровождении нескольких отроков. Молодые воины беззаботно смеялись чему-то, а они с братом разговаривали. Владимир вспомнил, что беседовал с иноками, которые звали старца Еремию, помнившего еще крещение Руси. Ростислав слушал его рассеянно.

Разгоралось раннее утро, полное росистой свежести. Дорога шла недалеко от воды, но пролежала достаточно высоко, чтобы с нее можно было увидеть реку, дуплистые ивы и противоположный берег в голубоватой дымке.

Мономах часто бывал в монастыре и хорошо знал его жизнь.

— Спасался в пещерах еще один иннок, по имени Матфей, прозорливец. Однажды старец стоял в церкви на своем месте и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться в благочестивых помыслах, а когда вновь открыл вежды, то увидел, к своему ужасу, что дьявол, одетый как лях, обходил иноков, певших на обоих клиросах, и бросал в них цветками, которые называются лепки. Если эти колючки прилипали к кому-нибудь, тот расслаблялся духом и покидал церковь под каким-нибудь благовидным предлогом, те же, к кому они не прицеплялись, отстояли утрению до конца. Однажды Матфей покинул церковь последним, очень устал во время стояния и присел отдохнуть у била. Вдруг он заметил, что кто-то едет верхом на свинье от монастырских ворот, и за нею бежит толпа людей. Это бес ехал за Михалем Тольбековичем. Был такой монах в монастыре. Матфей полюбопытствовал у келейника, что случилось с этим иноком, и тот объяснил ему, что Михал вчера перескочил через монастырскую ограду и убежал...

Светило яркое солнце, и было не страшно рассказывать о бесах.

— В другой раз он видел осла, сидевшего на игуменском месте...

— Не люблю монахов,— поморщился Ростислав.— Лучше бы они ниву пахали. А то проводят время в ничегонеделании.

— Они молятся,— пробовал защищать Мономах монашеское сословие.

— Ибо не хотят работать. Видел, какие они упитанные. Им со всех сторон несут дары, мед и брашно.

— Не все. Был в Печерском монастыре инок, купец, родом торопчанин. В миру его звали Чернь, а в обители нарекли Исаакий. Этот роздал все свое имущество и вел подвижническую жизнь. Купил козла, содрал с него шкуру и надел на себя, чтобы она прилипла к телу, и так ходил. Обитал он в малой кельице, размером в четыре локтя. Туда ему просовывали в окошечко немного пищи. Но однажды его искушали бесы.

— В образе блудницы?

— Нет. Исаакию явились два блистающих ангела, так что всю пещеру наполнил необычайный свет. Они сказали монаху, чтобы он поклонился Христу, который идет за ними, но это был не Христос, а дьявол. Когда же Исаакий поклонился, не ведая, что творит, они возликовали, и вся келия наполнилась нечистыми духами. Бесы грянули в сопели, бубны и органы, требуя, чтобы монах пустился в пляс, и он плясал до тех пор, пока не упал на землю. Утром бесы покинули Исаакия едва живого, и после этой ночи он долго хворал...

— Бездельники...— ворчал Ростислав.

Не в пример богомольным гречанкам, брата окружали в детстве женщины, приехавшие из половецких степей, любившие сласти и мягкие подушки, проводившие время не в благочестивых беседах с митрополитом, а в веселой болтовне. Так и возмужал Ростислав, имея перед глазами дурной пример.

Братья уже приближались к монастырю. За дубами послышался звон била, созывающего монахов на молитву. Мономах снял парчовую шапку. Ростислава мало трогали молитвенные настроения. В его груди билось горячее сердце, он жаждал прославить себя на полях сражений.

В тот день на монастырской поварне осквернился деревянный сосуд. В него попала мышь, и настоятель послал одного монаха на реку, чтобы он тщательно вымыл кадушку. Инока звали Григорий. Это был трудолюбивый человек, собиратель книг, а кроме того, он посадил несколько яблонь на своем огороде, плоды с которых часто похищали тати. Монах стоял в воде и возился с кадушкой, и как раз в это время мимо проезжали на конях два брата — Мономах и Ростислав. Владимир хотел успеть к обедне и тотчас поднялся на гору, а Ростислав остановил своего жеребца и стал насмехаться над Григорием. Отроки его уже хлебнули с утра меда и тоже не скупилась на безумные слова. Началась перебранка. Старец, по колено в воде, осуждал насмехающихся:

— Вы идете на войну, вам надлежало бы иметь умиление в сердцах, а не злословие на языке. Может быть, некоторые из вас погибнут под половецкими саблями, в реках потонут...

Ростислав смеялся в ответ:

— Я плаваю как рыба.

По наущению молодого князя, отроки соскочили с коней, и столкнули вышедшего на берег монаха в воду, и хохотали до боли в животе, видя, в каком жалком обличье он предстал перед ними. Когда же Григорий стал проклинать их, безумцы привязали несчастному камень на шею и утопили монаха, и деревянная кадка, печально накренившись набок, все быстрее и быстрее уплывала по течению воды.

Мономах чрезвычайно разгневался, когда Ростислав рассказал ему о происшествии, и укорял брата, что тот не помешал глупцам совершить



убийство невинного человека. Но в конце концов, мученик принял царство небесное, как со смехом уверял его молодой князь.

Между тем войско выступило в поход и вскоре очутилось на реке Стугне. Князья собрали старых дружинников на совет. Владимир, и без того расстроенный недавним разговором с братом, был не в духе. Он предлагал:

— Пока мы еще стоим за рекой во всей своей грозе, заключим мир с половцами.

Но киевские дружинники шумно возражали:

— Хотим биться с половцами, перейдем на тот берег!

Такие слова понравились Святополку и особенно Ростиславу, и войско переправилось через Стугну, сильно вздувшуюся от весенних дождей. Очувтившись на той стороне, князья построили войско в боевой порядок; на правом крыле стал со своим полком Святополк, на левом — Владимир, а посредине повел воинов Ростислав. В таком построении миновали Треполье. Но половцы первыми напали на русских, выслав вперед множество стрелков из лука. Затем их конница обрушилась на дружину Святополка, и его воины побежали. Жестокий бой произошел и в середине строя. Вскоре обратился в бегство и отряд Ростислава. Мономах велел своим отходить к реке, однако потом и он побежал со своими отроками перед иноплеменными, торопясь перейти Стугну вброд. Это ему удалось. Ростислав пытался спастись вслед за ним, но стал тонуть на глазах у Владимира, упав с коня. Мономах хотел было броситься к брату на помощь, однако у того была слишком тяжелая кольчуга, а бурное течение грозило унести его самого. В конце концов Мономах не без труда выбрался на берег и потом поспешно переправился с остатками дружины через Днепр. Сотни тогда пали на поле битвы или утонули. Мономах заплакал по утонувшему брату и с великой печалью возвратился в Чернигов. Многие считали, что это случилось по молитве Григория, за грехи веселых дружинников Ростислава. Недаром полководцы, словно неразумные дети, допустили роковые ошибки: чело и крылья стояли без должной связи, не было оставлено конной дружины на случай прорыва.

Это произошло в день Вознесения. На другой день, когда половцы ушли под Торческ, отроки стали искать тело молодого князя в Стугне и принесли его на плаще в город, мать горько рыдала над сыном. Жалели Ростислава ради его молодости.

Спустя немного времени, на память Бориса и Глеба, произошла другая битва с половцами под городом Желанью, и снова русские потерпели жестокое поражение. Святополк вернулся в Киев сам-третий, и Владимир вспомнил слова пророка Амоса: «Обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши — в плач...»

Лукавые сыны Измаиловы рассыпались по всей Переяславской земле, жгли амбары и топтали нивы. Одних они убивали, других уводили в рабство. Города и села опустели, поля заросли сорными травами и стали жилищем диких зверей.

## XVII

Дорога извивалась, как прихотливая человеческая судьба. Отряд уже переправился по льду на другой берег и снова совершал свой путь среди дубов и снежных полей, направляясь в Переяславль...

Потом всюду разнеслась весть, что в Тмутаракани появился Олег. Это случилось подобно неожиданно налетевшей буре, и никто толком не знал, как он вернулся на Русь из греческой земли. Разрешившись от бремени мертвым

младенцем, Феофания умерла в Родосе от родильной горячки. Ребенка принимала неопытная повивальная бабка, и молодая мать истекла кровью. Пальцы ее, сжимавшие руку князя, слабели с каждым часом. Но и умирая она не спускала своих прекрасных глаз с возлюбленного супруга.

— Поцелуй меня в последний раз,— тихо сказала она по-гречески.

Олег научился от нее многим словам. Он понял и склонился к бескровному лицу. Феофания закрыла глаза, почувствовав еще раз знакомый запах милых русых волос.

К вечеру бедняжка испустила последнее дыхание. Архонтису похоронили в одном гробу с младенцем на солнечном щебнистом кладбище за виноградниками, и Олег, как было принято, пролил слезу над ее могилой.

Теперь уже ничего не удерживало князя от решительных действий. В одну темную ночь, обманув в Боспоре бдительность царских стражей, мимо спящего Константинополя проскользнул черный корабль и вышел в Черное море. Возможно, впрочем, что кое-кто знал о происходящем, но закрывал глаза. Во всяком случае, это входило в планы василевса. Спустя несколько дней корабль, на котором плыли Олег и Борей, нанявший знакомых корабельщиков, подошел к русским берегам, но остановился не у тмутараканских причалов, а у пустынного берега, где его уже поджидали пришедшие на условленное место половцы. Олег ворвался с ними в город, схватил сидевших там Давида Игоревича и Володаря Ростиславича и связал сонных хазар. Князей Олег отпустил, а хазар велел предать смерти, и отроки расстреляли их стрелами. Так сын Святослава стал снова княжить в Тмутаракани.

Святополк незадолго до того взял себе в жены дочь Тугоркана, могущественного половецкого предводителя, молодую и красивую половецанку. На Руси наступило некоторое затишье. Но вскоре Олег пришел со своими половецкими войсками из Тмутаракани и осадил Чернигов. Владимир Мономах затворился в городе. Подступив к самому валу, половцы стали жечь вокруг монастыри и села, и снова пролилась христианская кровь.

Мономах перебирал в памяти год за годом. В Чернигове с ним делила радость и горе молодая жена. При них находилась небольшая дружина. Восемь дней он бился за невысоким городским валом, не пуская врагов в острог. Затем, пожалев людей и город, решил сдать Чернигов. Он велел передать Олегу:

— Пусть язычники не радуются нашей вражде...

Война закончилась миром. Владимир отдал Олегу Чернигов, наследие его отца, а сам ушел в Переяславль, город Всеволода. Это произошло в день Бориса и Глеба. Владимир выходил из черниговских ворот в тесном конном строю, оберегая посреди женщин, детей и возы. До самого вечера пришлось ехать мимо половецких станций. Всего с ним удалилось из города около ста испытанных в бою воинов. Половцы облизывались, как волки, стоя у перевоза и на соседних горах, но не смели нарушить клятву. Так он благополучно привел свою семью в отцовский город.

В Переяславле Мономах и Гита провели с детьми три лета и три зимы, терпя жестокие лишения от голода и войн. В довершение всех бедствий на Переяславскую землю налетела невиданная до тех пор саранча и пожрала траву и жито.

Гита много натерпелась за эти годы. Правда, Переяславль показался ей красивым городом. Он был окружен величественными дубравами. Мономах не жалел средств, чтобы сделать его еще более великолепным. Много потрудился для городского украшения епископ Ефрем, высокий ростом скопец, человек большого ума и вкуса, понимавший толк в строительном деле и в богословии. Он возвел в Переяславле огромную церковь св. Михаила, не

уступавшую Десятинной, пристроил к ней приделы, как в св. Софии в Киеве, украсил храм, одарил золотыми сосудами. Кроме того, этот неутомимый строитель обнес внутренний княжеский город стенами и на его воротах поставил церковь св. Феодора, а неподалеку еще одну церковь, во имя апостола Андрея. Он построил также каменное банное здание, чего никогда еще не было на Руси, странноприимный дом и больницу, где каждый мог получать безвозмездно лечебную помощь, подобно тому как он раньше устроил это в своем родном городе Мелитине, откуда вынужден был удалиться в русские пределы, когда безбожные турки наводнили всю Сирию. Несколько позже Владимир Мономах выстроил еще одну церковь, во имя богородицы, и сделал этот храм семейной усыпальницей, где суждено было лежать и Гите. Но этим не исчислялись в городе каменные строения.

Город был сильно укреплен валами. Одно время посадником в нем состоял знаменитый Ратибор. А вокруг лежали многочисленные селения: у самого жерла реки Супоя — Дубница, откуда был родом Илья Дубец, за нею — Остер, а на Десне — Городок и у Днепра — Устье, с каменным храмом и загородным княжеским теремом. В нескольких верстах от города протянулся большой защитный вал и за ним — малый. О них в народе говорили, что эти укрепления — борозды от чудовищного плуга, которым вскопал здесь землю сказочный змей.

С годами переяславским жителям становилось тесно в городских стенах, и слободы вылезали за валы, поближе к огородам и капустникам. Здесь было много торговцев, русских и иноземных, ремесленников, искусных кузнецов. Обилие лесов давало возможность строить ладьи. Для этой цели с большим терпением выдалбливали колоды огромных деревьев, преимущественно лип или верб, у которых мягкая и удобная для обработки древесина, потом устанавливали мачты, прилаживали борты, уключины и все необходимое для плавания по морю, а нос украшали причудливой резьбой. Такая ладья стоила три гривны.

Были в городе также звероловы, продававшие купцам драгоценные меха, и пчеловоды, разводившие пчел или занимавшиеся бортничеством в дубравах. Мед и воск тоже находили хороший сбыт.

Мономах с удовольствием подумал, что богатый и благоустроенный город оставил своему сыну Ярополку. Но из тьмы прошлого доносились вопли избиваемых половецких послов. Сколько раз на ночном ложе, в часы одиноких раздумий верхом на коне эти крики беспокоили его совесть. Все происходило на дворе у Ратибора, но эти крики доносились даже до княжеского дворца. Боже милосердный! Сколько раз убеждал он себя, что не собственной корысти ради он решился на такое дело. И все-таки внутренний голос укорял его и говорил: «Разве не в свою сокровищницу ты собираешь дань?»

Как все это случилось? В Переяславскую землю явились ханы Итларь и Китан, уверяя, что хотят мириться с русским князем. Им, очевидно, хотелось получить подарки от Мономаха, который предпочитал откупаться от кочевников, чем воевать с ними. Ханы привели с собой множество всадников. Китан остался с ними за далекими валами, и Владимир дал ему в заложники своего маленького сына Святослава, а Итларь, в полной уверенности, что теперь ему не грозит никакая опасность, вошел с немногими знатными воинами в городские ворота и остановился на дворе у посадника Ратибора.

Босые и полуголые, не привыкшие к теплу русских домов, половцы сидели, скрестив ноги, на коврах, ели мясо, выбирая на серебряном блюде куски пожирнее, и Итларь втайне надеялся, что боярин подарит ему блюдо, когда они станут покидать город, чтобы вернуться в степи. В боярских яствах

рот приятно обжигали приправы с перцем, и еду надо было запивать хмельным напитком, приготовленным из пчелиного меда.

Насытившись, воины молча сидели кружком и глядели друг на друга. Посадник разговаривал с Итларем, и хан с удовольствием поддерживал беседу, так как Ратибор знал немного их язык. Ратибор, старая лиса, хорошо знал половецкие повадки. Язычники почитали звезды, верили, что небесные светила влияют на судьбу человека. Они хоронили мертвецов, насыпая над ними высокие курганы и поставив наверху каменную бабу с чашей в руках, и всегда ее лицо обращалось к востоку. Вместе с ханами зарывали их коней и любимых рабынь. Это было еще не все. Кочевники не трудились на нивах, а предпочитали добывать все необходимое для жизни не только от своих многочисленных стад, но и войной, отчего было вечное беспокойство для их соседей. Поэтому хлебопашец ненавидел половца как природного врага, а половцы презирали неповоротливых хлебопашцев.

Когда Ратибор покинул гостей, Ехир, молодой сын Китана, сказал, прищипывая губами:

— Хорошо живут оросы!

Это был первый его поход, он выглядел еще совсем мальчиком.

Итларь, не поворачивая головы, с насмешкой посмотрел на Ехира.

— Что ты понимаешь? Ты — половец, свободный всадник на коне, а завидуешь оросам?

Ехир видел сегодня впервые каменные здания, большие церкви, полные непривычных вещей, каким-то чудом державшиеся в воздухе тяжкие своды, тогда как самый маленький камешек, подброшенный вверх, немедленно падает на землю. Русский пленник, приставленный к ханскому сыну, чтобы обучать его языку врагов, рассказывал ему, что существуют книги, в которых написано о том, как были созданы земля, солнце и звезды...

Спорить со старшими неприлично даже для сына хана, однако он не выдержал и возразил с мальчишеским упрямством:

— Сегодня я вошел туда, где молятся оросы. И увидел там на стенах изображения старцев и крылатых юношей. Они смотрели на меня со всех сторон зрячими глазами, и нигде нельзя было скрыться от их взоров. Если я отходил направо, они смотрели на меня, налево — они тоже не спускали с меня глаз. Как бы живые люди. Но если подойдешь к стене, то убедишься, что это лишь краски.

Итларь, все так же презрительно скосив глаза на отрока, стал журить его:

— Ехир, ты неразумный жеребенок и прыгаешь по полям жизни, задрав хвост своей глупости. Ты еще не зарубил ни одного врага, не привел на аркане ни одного пленника, а смеешь рассуждать пред старыми воинами, будто ты умудренный опытом старец. Не твое дело болтать о подобных вещах. Каждому свое. Оросы спят в теплых избах, мы — в кибитках или под открытым небом. Они пахут нивы, мы скитаемся свободно по всей земле. Но враги строят крепости на наших путях, взрывают оралом почву, на которой назначено расти диким злакам для коней и верблюдов, поэтому если ты воин и любишь славу, то должен убивать врагов и жечь их города, чтобы стало больше простора для половецких табунов...

Он окинул взором сидящих вокруг, кивавших головами в знак одобрения, и прибавил:

— ...а не удивляться каменным зданиям и крылатым юношам. Вот побываешь в Судаке или в Каффе и там тоже увидишь другое. Однако не забывай, что твой мир не имеет пределов и напоен запахом полыни.

Мальчик, покрасневший от этого выговора до корней волос, пробормотал себе под нос:

— Разве мы не пришли сюда, чтобы мириться с оросами?

— Зачем мы пришли сюда,— бросил взгляд хан на дверь,— знают старшие. Твой отец и я. Дело юношей — молча исполнять то, что им прикажут.

Молодой Ехир умолк и не возражал более. Самый старший из воинов, по имени Шекри, похвалил Итларя:

— Ты хорошо сказал, мудрый хан. И справедливо!

Итларь ничего не ответил, так как не нуждался в подтверждении своих мнений. Другие тоже молчали, переваривая пищу.

На землю спускался ранний вечер. В такой час в степи распрягают кибитки и поят животных. В горнице было душно под низким деревянным потолком. Пришли слуги и ловко убрали со стола остатки пищи, унесли серебряное блюдо, и Итларь проводил его взглядом, мысленно определяя вес серебра и его цену. Он был уверен, что рано или поздно эта вещь будет лежать в его повозке. Половец привык терпеливо ждать, сидя вот так на ковре, или на простой конской попоне, или верхом на коне, в долгих переходах среди солончаков.

В тот вечер в Переяславль прискакал с каким-то тайным поручением от великого князя Святополка боярин Славята. Узнав о его прибытии, Мономах вышел из опочивальни, закрыв Псалтирь, которую по обыкновению читал перед сном. Гита спросила тревожно:

— Куда ты? Куда ты?

— Спи, спи...— прикрыл ее одеялом Владимир.— Мне надо поговорить с Славятой. Боярин Славята приехал из Киева.

Гита села на постели.

— Боже, когда все кончится и Святослав вернется ко мне?

— Успокойся, ему ничего не грозит.

— А если его убьют половцы?

— Ни один волос не упадет с его головы.

— Мне страшно,— цеплялась она за мужа.

Он сказал какие-то слова метавшейся на постели супруге, не сомкнувшей глаз в ту ночь, и вышел в сени. Там стоял крепко сбитый человек среднего роста. Золотистые усы свивались у него по обеим сторонам с такой же светлой бородой. Голубые глаза поблескивали. Славята был родом новгородец и, как многие новгородские мужи, отличался предприимчивостью и быстрым умом.

Князь долго совещался с посланцем, поднял среди ночи Ратибора и старших дружинников, и Славята убеждал Мономаха на совете, что ныне представился удобный случай расправиться с ненавистными врагами. Царь только что дал знать в Киев, что по полученным от греческих купцов сведениям, вполне достоверным, Итларь и Китан замыслили обмануть русских князей, и поэтому советовал действовать решительно. Князь Святополк тотчас послал боярина в Переяславль. Но так ли это? Владимир рассуждал сам с собою. Не хочет ли царь поссорить его с половцами? Какая польза грекам, если он схватит послов? Ему и раньше было не до сна, а теперь он позабыл совсем, что близится полночь. Страшно нарушить клятву, даже данную врагам. За это грозили вечные муки в аду. И в сей жизни нет пощады за клятвенное нарушение. Ни от своей собственной вести, ни от суда людей. Однажды отец Гиты нарушил данное слово. И что же он принял? Ужасную смерть...

Но Славята убеждал проникновенным голосом:

— Князь, в этом нет для тебя греха. Разве половцы, дав клятву, не нарушают ее в тот же день? Клянутся, а потом разоряют нашу землю и про-

ливают христианскую кровь. Но греческий царь знает, что говорит. Неужели ты хочешь, чтобы снова русских людей уводили в рабство?

Старый Ратибор поддерживал его.

В конце концов, опустив голову, Мономах тихо промолвил:

— Пусть будет так, как вы хотите...

На дворе уже давно стояла звездная ночь, и скоро стали петь в городских птичниках первые петухи. Итларь и его люди храпели на дворе Ратибора. Половцы не привыкли спать под крышей и перебрались поближе к своим коням и там устроились под навесом на потниках, завернувшись в русские овчины. У хана был чуткий сон. Вскоре он проснулся и прислушался. Где-то в отдалении прогремел конский топот. Ему даже показалось — вдруг заскрипели городские ворота. Или, может быть, это запел журавль на колодце? Впрочем, кто же ночью черпает воду? На миг в его сердце зародилось сомнение. Но мед и обильная пища сделали свое. Хан повернулся на другой бок, натянул на голову овчину, и к нему опять сошел сладостный на морозе сон.

Славята выехал в поле с небольшой отборной дружиной и преданными торками, ненавидевшими половцев, и направился к валам, где стоял станом Китан. Его всадники беззаботно спали у потухших костров. Расседланные кони бродили по полю, выбивая копытами клочки травы из-под снега. Сам хан тоже почивал в своем шатре, отдыхая после ненасытной любви с молодой наложницей.

Китана убили прежде, чем он успел схватить саблю, лежавшую подле ложа. Русская пленница сидела на постели и, ломая руки, умоляла:

— Возьмите меня отсюда!

— Замолчи, разбудишь других! Где княжич? — тряс ее за нагое плечо Славята с окровавленной саблей в руке.

Девушка указала, где стоит шатер, в котором сторожили Святослава. У входа в вежу сидели два стража. Они погрузились в приятную дремоту и не заметили даже, как подкралась к ним смерть. Только раздался краткий хрип, когда нож черных торков перерезал им горло. То было жестокое время, когда никто не давал пощады врагу, чтобы самому не быть убитым. Ни в степи, ни на Руси, ни в империи ромеев не знали, что такое милосердие...

На становище завязалась недолгая битва. Сонные половцы падали сотнями под саблями торков. Победители хватали коней, разбежавшихся по широкой равнине и ржанием призывавших своих хозяев. Оставшиеся в живых поспешно уходили на юг.

Наутро к Итларю явился отрок по имени Биндюк. Золотоволосый юноша, прислонившись лениво к притолоке низенькой двери, говорил, переглядываясь с Ехиром:

— Светлый князь зовет вас к себе. Он так велел сказать: «Пусть сходят в баню, а потом позавтракают у Ратибора. После этого будет совет у меня».

Скрестив ноги, Итларь сидел на полу. Его ночные страхи рассеялись. Уже давно затопленная баня наполнилась приятным паром. Лишь только половцы, посмеиваясь и предвкушая удовольствие хорошо помыться, разделись и нагие вошли в мойню, как отроки тут же заперли дверь. Они тотчас разобрали крышу, и Ольбер Ратиборович, воин, у которого сердце обросло шерстью, натянул тугую тетиву.

Когда половцы увидели среди клубов пара его перекошенное от напряжения лицо и стрелу, направленную в них, они завывали, как волки, в предсмертном ужасе. Дверь сотрясалась под их ударами, но, подпертая прочным бревном, не уступала их усилиям, а в банное оконце едва пролезала рука.

Коротко прошумела первая стрела и поразила Итларя в сердце. Одна за другой они слетали с крыши, вонзаясь в нагие тела. Когда наступила тишина,

нарушаемая только стенами умирающих, в баню вошли отроки с обнаженными саблями, чтобы прикончить раненых.

Славяты уже доставил в город Святослава. В ту ночь ребенок устал от слез, не понимая, почему его отняли от матери и отдали этим страшным людям. Наконец он уснул, прижимаясь к дядьке, и удивился, разбуженный шумом сражения. Боярин взял его на руки, укутал в бобровую шубу, посадил перед собой на седло и помчался в Переяславль. За конем побежал, крича, спотыкаясь и падая в снег, позабытый в суматохе дядька...

Это произошло в субботу на сыропустной неделе, в первом часу дня. Так бедственно погибли ханы Итларь и Китан, но никому не дано теперь узнать, то ли замышляли они в самом деле вытоптать на земле все нивы, чтобы сделать одно необозримое пастбище от реки Дона до самых Карпат, то ли искали прочного мира с русскими князьями.

## XVIII

Невозможно вырвать из сердца стрелы горестных событий. Воспоминания прилепляются к душе, как колючки цветов, которые дьявол в образе ляха бросал в сонных монахов. Ничего нельзя изменить в прошлом, и время не смывает горечи клятвоступления. Грех твой — всегда с тобой, и страх — простит ли его господь...

Вскоре после убийства Итларя и Китана пришли половцы и сожгли Юрьев. Годы шли. Изяслав, третий сын Мономаха, занял с согласия горожан лесной Муром. Молодой князь схватил посадника, присланного в этот город Олегом, и приступил к собиранию дани. Все произошло в то самое лето, когда неведомо откуда на Русь налетела саранча и покрыла землю, так что страшно было смотреть, как она шла на полночь, поедая жито. Наступили трудные времена. Половцы делались с каждым днем более дерзкими и подступали под самые валы русских городов. Надлежало решиться на крайние меры, чтобы не дать окончательно погибнуть христианам.

Видя, что дары уже не оказывают должного действия на половцев, Владимир Мономах обнажил меч, сражался с кочевниками и еще при жизни отца одержал над ними двенадцать побед. Олег, напротив, водил с половцами дружбу и подолгу гостил у ханов в степи. В прежнее время он держал у себя в Чернигове заложником сына Итларя. Святополк потребовал его выдачи. Святославич отказался, не желая нарушить клятву. Но теперь положение сделалось угрожающим, и Святополк и Владимир решили обратиться к черниговскому князю с призывом явиться в Киев и заключить перед епископами и городскими старцами договор о совместной защите Русской земли. Олег с пренебрежением ответил:

— Не пристало судить меня епископу, или игумену, или смерду!

Владимир был вне себя от гнева, что редко случалось с ним. На совещании он выступил против гордеца:

— Видно, Олег не хочет воевать с половцами. Должно быть, он злоумышляет против князей. Тогда пусть бог рассудит нас.

Вскоре разыгрались памятные события под Стародубом. На княжеском совете вынесли решение — наказать непокорного. Святополк и Владимир Мономах подступили к Чернигову, но Олег бежал на север и заперся в Стародубе. Князья осаждали его в этом городе тридцать три дня, однако горожане храбро оборонялись, хотя изнемогали от голода. В конце концов Олег признал себя побежденным, отворил ворота и вышел из города. Он просил мира, и с ним помирились. Владимир сказал:

— Иди к брату своему Давиду и явись с ним в Киев. Это старейший город в нашей земле, и достойно сойтись в нем всем нам, чтобы заключить мир.

Олег обещал явиться в указанное время и целовал крест. Но, придя к брату в Смоленск, взял у него дружину и вместо того, чтобы направиться в Киев, пошел в Муром, имея намерение отнять этот город у молодого Изяслава. Услышав, что Олег идет против него, княжич послал за воинами в Суздаль, в Ростов и на Белоозеро. Вскоре от Святославиича прибыл посол с такими словами:

— Изяслав, иди в Ростов, в свою волость, а Муром — волость моего отца. Только здесь я соглашусь заключить договор с тобою и твоим отцом. Ведь это он изгнал меня из Чернигова, а теперь и ты хочешь лишить меня моего хлеба?

Князья смотрели на русские города как на свое достояние, считали, что смердам назначено провидением работать на княжеских нивах, платить оброки и проявлять во всем покорность и смирение. Так учило священное писание. Многие думали, что, борясь за Муром, Олег борется за правду, добывая принадлежащее своему роду, хотя от княжеской правоты не легче делалось смердам, чье жито топтала конница.

Изяслав не послушал Олега, понадеявшись на многочисленность своих воинов. В жестокой битве молодой князь был убит на глазах Олега. Это произошло в сентябре месяце, когда уже поспели красные ягоды на рябинах. Изяслав упал с коня, и его воины побежали — кто в лес, кто в город. Вслед за ними ворвался в Муром Святославиич, горожане приняли его, надеясь, что на этом прекратится кровопролитие. Тело же молодого Изяслава нашли на поле сражения и временно положили в монастыре св. Спаса, а потом перевезли в Новгород, к брату Мстиславу, и тот похоронил его в св. Софии.

Возгордившись своей победой, Олег стал хватать ростовцев и заковывать в цепи. Затем устремился в Суздаль. Горожане сдались ему. Здесь он тоже схватил своих противников, одних изгнал, у других отнял имущество. Так же он вел себя и в Ростове. Посадив в этих городах верных людей, князь стал собирать в тамошних диких землях богатую дань.

В Новгороде сидел посадником старший сын Мономаха Мстислав. Он написал Олегу:

«Уходи из Суздаля в Муром, не сиди в чужом городе. Я пошлю боярина к отцу и буду просить его, чтобы он помирился с тобой, хотя ты убил в сражении моего брата».

Олег получил послание в глухом погосте, куда лесные жители свозили ему дань. На дворе тиуна лежали кучи мехов, кадушки с медом и бочки со смолою. Погост был расположен на опушке черного леса. С полсотни курных изб раскинулись в беспорядке на отлогом холме; к ним вела песчаная ухабистая дорога. Одна из хижин отличалась от прочих величиной и затейливой резьбой коньков на крыше. В ней жил тиун, а в дни, когда на погост приезжали княжеские мечники, они ночевали здесь, спали на лавках, и каждому из них полагалось по две курицы на день, не считая печеных хлебов, проса, солода и остального довольствия.

На этот раз в избе остановился князь Олег. Когда глаза привыкли к полумраку, можно было разглядеть при мутном свете единственного окошка, затянутаго бычьим пузырем, очаг в углу, скамьи вдоль закопченных стен, прочно сбитый стол. На деревянных крюках висели, поблескивая медными бляхами, конские уздечки, а на одном князь повесил свой меч в ножнах из черного скарлата. В низкой избе пахло дымом, кожей, овчинами, железом оружия.



Олег, в голубой рубахе с золотым оплечьем, сидел за столом. Он хлебал деревянной ложкой горох со свиной. Время наступило уже не обеденное, и солнце высоко стояло на небе, но князь только что вернулся из далекой поездки и проголодался. Пища после большого перехода верхом на коне казалась ему слаще царьградских яств, и все-таки он хмурился. На дворе стояла осенняя погода, шел мелкий дождь, из леса тянуло запахом хвои и грибной прели.

Муром, Ростов, Суздаль... Все богатые города с каменными церквями, укравшиеся за бревенчатые стены. Полные всякого пушного зверья леса. Правда, далеко от великих торговых путей. Но князь знал, что по Волге и Оке лежит прямая дорога в Хвалынское море, в заманчивую Персиду. И вот можно снова выронить из рук все эти богатства по проискам врагов.

На лавке в числе других дружинников сидели Иванко Чудинович, бывший вышгородский посадник, и Борей, старший конюх, княжеский любимец. Все молча наблюдали за тем, как князь ест.

— Что слышали? — спросил Олег, повернув голову в сторону сидящих на лавке, но не отрываясь от еды и глядя угрюмо на земляной пол.

— Слух есть, что к князю Мстиславу новгородцы пришли, — ответил невеселым голосом Иванко. — Только кто знает, правда ли это?

— И ростовцы, — добавил Борей.

Олег, держа кусок мяса в ложке, а в другой руке кусок хлеба, сердито посмотрел на дружинников:

— Устрашились?

Иванко Чудинович, старый боярин с седеющей бородой, вздохнул и ответил за всех:

— Разве мы оставляли тебя одного на поле битвы? Не боимся смерти. Но много воинов у князя Мстислава. О тебе помышляем.

— Что обо мне помышлять?

— Голову свою потерять можешь.

— Горько голове без плеч. У других волости, полные лари серебра. А у меня что? Плохо вы трудитесь на своего князя.

Бояре закашлялись. Олег перестал есть и в сердцах бросил ложку на стол.

— Не укоряй нас, князь, — продолжал Иванко, — мы все делим с тобой, труды и раны. А неудача преследует нас, как злой пес.

В это время на дворе раздался топот конских копыт, послышались голоса. Князь нахмурился и стал прислушиваться, повернув лицо к двери, скосив глаза в противоположную сторону. Борей проворно встал с лавки.

— Пойду посмотрю.

— Иди, — сказал Олег.

Он жил в вечной тревоге. Всего можно было ожидать. Вскоре низенькая дверь снова со скрипом отворилась, и старший конюх вернулся в избу, видимо чем-то взволнованный.

— Князь, вестник к тебе от князя Владимира Всеволодовича.

Олег встрепенулся:

— Какой вестник?

— Поп. Верхом на коне прискакал.

— Что ему надо?

— Грамоту привез. С ним княжеский отрок. Молоко на губах не обсохло.

Борей ждал, что скажет князь. Олег невольно пригладил непокорные кудри, подбоченился и приказал:

— Позови их.

Нагибая голову в двери, в избу вошел рослый человек, пресвитер, судя по его черной одежде под серяком, наброшенным на плечи от дождя. Вперед

лезла широкая рыжая борода, и в глаза бросался румянец деревенского лица. За священником перешагнул порог совсем еще юный отрок, тонкий, как девушка, с большими синими глазами. Он был в нарядном синем плаще на красной подкладке, с серебряной запонкой на плече и в розовой шапке, опущенной белым мехом, при мече, слишком тяжелом для его чресел, в серебряных парчовых ножнах. Вероятно, сын какого-нибудь знатного дружинника. Видя, что князь стоит, опираясь обеими руками о стол, Олеговы люди неуложке встали один за другим, гремя оружием.

Олег мрачно смотрел на послов. Иерей снял лиловую скуфью, и тогда открылся чистый пробор посреди рыжей головы. Отрок остался в шапке. В глазах его светилось мальчишеское любопытство, играла щенячья радость жизни.

Князь, неоднократно наблюдавший преклонение младших перед сильными мира сего, пристально посмотрел на отрока и спросил:

— Как звать тебя?

— Семен.

— Ты чей?

— Сын боярина Славяты.

Олег усмехнулся:

— Боярина Славяты? Или уже не учат вас в Новгороде перед князьями шапку снимать?

— Сниму,— покраснев, по-детски улыбаясь, ответил Семен.

По той неторопливости, с какой отрок стянул с головы розовую шапку, Олег понял, что у Мстислава собрана против него большая сила.

Молодой отрок хотел еще что-то сказать, но священник бросил ему через плечо:

— Умолкни, чадо!

Снова обратившись к князю, он торжественно произнес:

— Прими послов, княже. От князя Владимира Всеволодовича и сына его Мстислава.

Князь рванул правый ус тонкими пальцами. На одном из них сверкал драгоценный перстень. Память о Феофании.

— Послов всегда принимал с честью. Но скоро брат Владимир будет ко мне младенцев слать.

Отрок опять покраснел, стыдясь своей молодости.

— Семена отправили со мной в путь, чтобы боярскому делу научился,— объяснил иерей.

— С чем приехал? — спросил, нахмурившись, Олег священника.

— Эпистолия к тебе от светлого князя Владимира.

Поп подошел поближе и, видя, что Олег не хочет протянуть руку, чтобы принять сложенное в трубку письмо, положил его на стол.

Князь морщился, глядя на послание.

— Все ныне пишут. Будто не князья, а монахи,— зло сказал он, беря пергамен.— Иванко! Накормить надо пресвитера. И этого отрока тоже. Издалека приехали люди.

Боярин пошел искать жену тиуна.

— А остальные пусть пойдут на коней посмотреть,— приказал князь.

Дружинники полезли один за другим в низенькую дверь.

— Отдохните с дороги,— обратился Олег к послам, и пресвитер уселся на лавку. Отрок продолжал стоять около него, видимо накопив в своем сердце княжеские обиды. Но тоже смотрел на Олега, в ожидании, как он будет обращаться с грамотой.

Олег сорвал печать красного воска и с шорохом развернул длинный

свиток. Насупив брови и едва сдерживая гнев и желчь, он стал читать, беззвучно шевеля губами:

«Послание князю Олегу Святославичу. Будь здоров! О я многострадальный и печальный! Много борется душа моя с сердцем, но оно одолевает, ибо все мы тленны, и потому со страхом помышляю о том, как бы не предстать предо страшным судьей без покаяния и не примирившись с тобою...»

Дальше были выписаны из священных книг изречения о прощении прегрешений и всякие слова о миролюбии старшего сына Мстислава. Олег не любил псалмов. От них князя охватывала скука. Точно вдруг переставало светить солнце и женские глаза потухали. Но Мономах пространно писал о грехах и смертном часе.

«Сегодня мы живы, а завтра — мертвецы, сегодня в славе и почестях, а наутро во гробе и преданы забвенью. И другие разделяют собранное нами...»

Олег всегда с недоверием относился к человеческому смирению. Ему в благостных словах чудились западни и обман. Удачливые люди другим проповедуют покорность воле божьей, сами же присваивают себе лучшие области и богатые города; они обладают серебряными сосудами, табунами коней, каменными палатами. А что разделят после его смерти? Два десятка коней да отцовский меч? Да долги киевским жидовинам?

Олег рассуждал так в сердцах. В действительности у него оставалось еще достаточно серебра и мехов, чтобы заплатить жадным половцам. Он снова уткнулся в послание.

«Посмотри, брат, на отцов наших. Взяли они с собою накопленное, покидая землю? На что им теперь пышные одежды? Теперь то осталось при них, что они сотворили для души своей. С подобными словами надлежало бы, брат, и тебе обратиться ко мне. Ведь когда перед тобою убило мое, да и твое дитя, разве не следовало бы тебе, увидев кровь и тело его, увядшее подобно только что распустившемуся цветку, когда он упал, как агнец закланный, сказать, стоя над ним и вдумываясь в помыслы своей души: «Увы, что сделал!»...»

Олег опустил в руках послание... Мое и твое дитя... Думал ли он, когда держал при крещении на своих руках розовое тельце плакавшего младенца Изяслава, что ему будто суждено узреть и его смерть? Бог свидетель, что не он поразил княжича! Хотя близко находился от того места, где неразумный юноша сражался один против многих врагов. Олег видел, как один из половцев наотмашь ударил молодого князя саблей. У Изяслава, ради щегольства и красования, даже не было в тот день железного шлема на голове, а только парчовая шапка. Княжич склонился на шею коня, уронил меч. Несмотря на суматоху битвы, Олег даже заметил, как он цеплялся за гриву коня, падая на землю вверх ногами и обагрывая ее кровью. Подскакав к поляне, где происходила схватка, Олег склонился над поверженным. Княжич лежал с закрытыми глазами, но еще дышал, и вдруг закрыл рукою лицо. Из-под пальцев по щеке потекла струйка крови. За шумом сражения никто не слышал предсмертного вздоха княжича.

Изяславовы воины беспорядочно убегали в сторону леса, и битва превратилась в безжалостное избиение беглецов. Потом победители стали раздевать трупы, чтобы поживиться оружием и одеждой убитых. Но Олег запретил обнажать юное тело Изяслава. Непристойно лежать княжескому пенцу нагим среди смердов. Они с ним из одного гнезда. Павшего на поле битвы положили под соседним дубом. Княжич покоился в окровавленной белой рубахе, со сложенными на груди руками. Олег сам закрыл ему глаза. Кровь уже перестала течь из раны и казалась теперь черной, как смола. Наступал

вечер. Впрочем, красный плащ княжича все-таки исчез в суме какого-то проворного половца. Когда же смятение битвы несколько успокоилось, княжича повезли в монастырь св. Спаса. Прочих закопали в общей могиле, там, где они пролили кровь. Олег велел сделать так, чтобы не кормить человеческим мясом диких зверей. Половцы похоронили своих и насыпали над могилой высокий курган. Так погиб Изяслав и многие воины вместе с ним. Но ведь Муром не был его волостью!

Князь снова погрузился в чтение письма. Занятие это было для него не из привычных. Легче верхом на коне через ямы перелетать, чем над буквами корпеть. Опять о покаянии? Нет, Мономах обращался к нему с просьбой, убеждал прислать сноху свою, жену убитого.

«Чтобы, обняв ее, я оплакал сына и свадьбу его вместо песен: ибо за грехи свои мне не пришлось видеть ни первых радостей их, ни венчания. Ради бога, отпусти ее ко мне поскорее, с первым же посланцем, чтобы, поплакав с нею, я поселил печальную в своем доме. И села бы она, горя, как горлица на сухом дереве, а я утешился бы в боге...»

Олег вспомнил обезумевшие от горя серые женские глаза. Его распалая похоть, когда он смотрел на молодую вдовицу. Но он знал, что ему не будет пощады от Мономаха, если прикоснется к вдове его сына...

«Ведь таким путем шли наши отцы и деды. Значит, настал и для моего сына час суда от бога, а не от тебя. Но если бы ты тогда сделал то, что хотел, то есть занял бы Муром, а Ростова не занимал и послал ко мне кого-нибудь, то мы уладились бы с тобою. Подумай сам: кому было пристойно отправить посла, тебе или мне?..»

Олег даже скрипнул зубами. Все отняли, всего лишили. А теперь Мономах пишет, что отдал бы Муром. Но судьбу правителей решают не послания, а меч. Ныне он господин и в Муроме, и в Ростове, и в Суздалье. Что враги могут поделаться с ним? Видно, Мономах понял, что не осилит его, и написал это жалобное письмо...

«Что странного в том, что воин пал на поле битвы! Так умирали лучшие из наших предков. Я знаю, что моему сыну не следовало искать чужого достоинства и вводить меня в печаль. Но его уговорили на это дело слуги, чтобы самим именоваться добычей, а получили для него злую участь. И если ты покаешься перед богом и ко мне будешь добр сердцем, послав епископа или посла, то напиши правдивую грамоту, тогда и волость получишь и наше сердце обратишь к себе, и мы будем жить лучше, чем прежде. Ведь я не враг тебе и не мститель, и не хотел же я видеть твою кровь под Стародубом...»

Князь Олег не послушал Мономаха, ни его сына и даже возмечтал захватить богатый Новгород. Мстислав с благословения отца начал военные действия. Посоветовавшись с новгородскими мужами, он послал впереди себя опытного воеводу Добрыню Рагуиловича. Навстречу этому боярину Олег направил своего брата Ярослава. Добрыня стал хватать Олеговых сборщиков дани, и когда обо всем узнал Ярослав, стоявший на Медведице, он в ту же ночь поскакал к старшему брату и дал ему знать, что приближается новгородское войско. Мстислав действительно вскоре пришел на Волгу и, услышав, что враги повернули к Ростову, погнался за ними. Уходя от преследования, Олег велел зажечь Суздаль, и весь город превратился в пепел, все дома сгорели, кроме Печерского монастыря и каменной церкви св. Дмитрия, построенной епископом Ефремом, великим строителем. Олег побежал в Муром, и Мстислав послал вдогонку письмо, в котором убеждал беспокойного князя прекратить сопротивление.

Он писал в нем:

«Я моложе тебя, но вот что посоветую тебе. Отправь послов к моему отцу

и верни захваченных тобою дружинников, и я буду во всем послушен тебе...»

Видя, что Мстислав не жаждет его крови, Олег стал притворно просить о мире, и молодой князь поверил, распустил свою дружину по селам. Но едва настала Федорова неделя великого поста, как пришла весть, что беспокойный князь уже в Клязьме. Доверчивый сын Мономаха сидел за обедом и веселился, когда к нему пришли люди и сообщили о внезапном появлении врагов в окрестностях, а он даже не позаботился об обычной охране. Олег надеялся, что Мстислав устрашится его неожиданного прибытия и убежит. Но на помощь к своему князю явились новгородцы, а несколько позже пришли ростовцы и белоозерцы, и оба князя стали один против другого, построив полки в боевом порядке. На пятый день стало известно, что на поддержку спешит к Мстиславу его брат Вячеслав с нанятыми половцами. Он прибыл в четверг, а в пятницу Олег решил начать сражение. В этой битве Мстислав дал стяг своего отца половчанину Куную, и когда вдруг широко развернулось на ветру знакомое всем голубое знамя с изображением крылатого архангела, на воинов Олега напал такой страх, что они побежали. Олег снова помчался в Муром, оставил там брата Ярослава защищать город, а сам ушел в Рязань. Однако и в Рязани Мстислав настиг его и велел сказать незадачливому князю:

— Не беги никуда! Лучше проси своих братьев не лишать тебя доли в Русской земле.

Олег обещал сделать так, как советовал Мстислав, и тогда сын Мономаха прекратил войну по просьбе епископа Никиты и возвратился в Новгород.

## XIX

На другом берегу реки дорога снова поднималась в гору, но сани легко скользили по сухому снегу. Мономах подумал, что на днях Изяславу исполнилось бы ровно сорок лет. Он снял меховую рукавицу с левой руки и вытер стариковские слезы на глазах...

Еще одно страшное преступление совершилось тогда на Руси, которое невозможно забыть до смертного часа. Коварно и жестоко поступили с любезным Васильком. Этот князь был сыном Ростислава, тоже предательски умерщвленного в Тмутаракани царским катепаном, и, должно быть, от отца унаследовал он пламенное сердце и мужество. В царствование Алексея Комнина молодой князь неожиданно для самого себя очутился в греческой земле. Мономах узнал о том, как он воевал там, со слов самого Василька, любившего за чашей вина вспоминать прошлое.

Где происходила та вечерняя беседа? Да, в Смоленске... Однажды они долго сидели вдвоём в теплой горнице. Поднимая к жестоким небесам свои навеки загубленные очи, слепец брал на ощупь чашу на столе и осторожно подносил к устам, чтобы не расплескать вино. Владимир, с жалостью глядя на Василька, вкладывал ему в руку кусок пирога. Поев и успокоившись немного, ослепленный князь стал рассказывать о том, что произошло в те волнующие дни, еще залитые солнечным светом.

Речь шла о событиях в окрестностях Константинополя. Когда прекратилась грозная борьба стихий и смягчился гнев бурного моря, как изысканно выражалась в своей книге об отце Анна Комнина, дочь императора Алексея, описывая конец зимы и наступление весны 1091 года, под самыми стенами столицы появились неведомо откуда пришедшие дикие печенежские орды. Империя оказалась на краю гибели. В довершение всех несчастий, выпавших

на долю ромейского государства, Корсунь, которую греки называли Херсоном, перестала признавать власть царя, и константинопольская торговля терпела от этого немалый ущерб. Кроме того, василевс лишился великолепно-го наблюдательного поста, чтобы следить за тем, что происходит в далекой Скифии и в соседних с нею странах. Враги угрожали со всех сторон. Успокоившееся с окончанием зимы море благоприятствовало планам турецкого предводителя Чахи, который готовил корабли, чтобы высадиться в Солуни и соединиться с печенегами. Он был настолько уверен в успехе своего предприятия, что уже стал называть себя царем и велел изготовить пурпуровые башмаки. Разорив окрестности Константинополя, печенеги повернули назад и пошли на запад, в долину реки Марицы, чтобы там соединиться с турками. Так, по крайней мере, думал император Алексей, сменивший на престоле Никифора, и со всей энергией предпринимал решительные меры для спасения ромеев.

По повелению василевса кесарь Никифор Мелиссин объявил набор ратников, вооружив их копьями и всем, что нашлось под руками. Для предотвращения опасности, нависшей, как черная туча, над Константинополем, были подняты болгары Вардара и Струмы. Эти пахари, дровосеки и пастухи считались отличными воинами. Немедленно вызвали из Никомидии отряд фландрских рыцарей, состоявших на императорской службе. Сам Алексей поплыл на корабле на запад и высадился в Эносе. Здесь на него обрушились орды печенегов.

Лагерь был устроен по всем требованиям военного искусства, как это предписывает в своем стратегическом трактате император Никифор Фока. Но сердца ромейских воинов не пылали доблестью, и они с тревогой взирали на неприятеля. Печенежский стан находился в немногих стадиях от греческих укреплений, и с часу на час ожидали внезапного нападения. Каков был ужас греков, когда на четвертый день вдали показались новые полчища. Судя по поднятой на дороге пыли, они пришли в большом количестве. К счастью для василевса, эти всадники оказались союзниками, хотя и не очень надежными. То явились на помощь Алексею половцы, вызванные логофетом в последнюю минуту. Их привели два прославленных хана — Тугоркан и Боняк, два хищника с волчьими сердцами. С ханами пришел и пятитысячный отряд карпатских горцев, вооруженных секирами. В своем сочинении Анна называет их подобными Аресу. Эти мужественные воины жили на далекой окраине Руси, но никогда не забывали, что они русские по крови и вере. Ими предводительствовал князь Василько.

Непроглядная черная ночь со всех сторон окружала несчастного князя, ослепленного по проискам злых людей, и все-таки, когда он рассказывал о прошлом, в его представлении вновь светило солнце, вставали голубые горы, текли серебряные реки и плескалось синее море, возникал из мрака царский шатер, украшенный позолоченными щитами воинов. Слепец говорил и говорил, потому что редко можно было встретить такого внимательного слушателя, как Владимир Мономах.

— Царь позвал нас всех на пир, якобы для дружеской беседы. Ему долго пришлось ждать половцев. Долее всех заставил беспокоиться о себе дерзкий хан Боняк.

— Шелудивый?

— Так прозвали его на Руси за его болячки на лице. Но надо сказать, что редко я видел более храбрых воинов, чем этот хан. И гордыни необычайной. На первое приглашение царя он отвечал отказом. Потом все-таки согласился приехать. Ты ведь знаешь, половец двух шагов не сделает пешком. Боняк

подъехал к царскому шатру на великолепном скакуне в богатой греческой сбруе. Алексей кусал губы. Я видел, как лик царя побледнел.

— А 'ты?

— Я тоже находился среди позванных, увидел всю роскошь греков. Стол ломился от яств, каких я нигде раньше не видел.

Алексей красив, вроде нашего Романа. Он сидел рядом с пожирателями сырого мяса и был весьма любезен с ними. Но все заметили, что он ни одного часа не оставался спокоен. За приветливыми царскими словами скрывались душевная тревога и коварство. За столом нам обильно наливали в стеклянные чаши золотистое вино. Такого питья я больше не попробую. Говорили, что этот сок выжимают из виноградных лоз, произрастающих на каком-то далеком острове...

— На острове Хиосе. Мне говорил митрополит.

— Не знаю. Но это вино пахнет немного фимиамом, и от него приятно кружится голова. После обеда царь лобызал нас и раздавал всем подарки.

— Что же ты получил из рук царя?

— Меч.

— Тот, что носишь на бедре?

Слепой пошарил руками по стене, нащупал меч, повешенный на крюк, с удовольствием погладил его.

— Видишь, как искусно украшены ножны серебром? Царь сказал мне с улыбкой: «Всем известно, что больше всего русские любят красивое оружие!» И протянул мне подарок.

— Разве ты знаешь греческий язык? — удивился Мономах.

Василько не без гордости ответил:

— Знаю.

Владимир спросил, желая испытать Василька:

— Как по-гречески хлеб?

— Псоми, — без запинки ответил слепой князь.

— А небо?

— Небо? Это будет... — замялся он.

— Битва как будет по-гречески?

— Махи. Но там при царе находился человек, который переводил все его слова на наш язык.

— А ханы что получили?

— Золотые и серебряные сосуды. Даже Боняк, что сопел за столом, как вепрь, и тот смягчил свою гордость.

— Ханы упивались вином?

— Все много пили.

— Боняка тоже ласкал царь?

— Лобызал.

Хан уверял, что все сделает для нового друга. Тогда царь взял со всех нас клятву, что мы не покинем его до конца своих дней.

— И ты клялся?

— И я.

Владимир знал раньше эти глаза, полные жизни и мужества, а теперь вместо них на обезображенном лице зияли два гнойных рубца. Василько продолжал рассказ:

— Боняк едва держался на ногах. В опьянении хлопал царя по спине и обещал отдать ему половину своей добычи. Я ведь знаю также некоторые половецкие слова. Боняк, помню, кричал, что за три дня изрубит всех печенегов.

— Велика ли оказалась добыча?

— Что можно взять у печенега? Нам достались кони, челядь, рабыни.

— Что же потом было?

— Еще три дня прошло. Половцы проспались, и царь стал снова опасаться худшего. На лице его опять появилось беспокойство. Я все тебе расскажу, брат. Греческий воевода Никифор послал на помощь Алексею ратников, кое-как вооруженных поселян. Они двигались пешком, а припасы везли на повозках, запряженных волами. Греки увидели это издали и пришли в смятение. Им показалось, что идет еще одна орда. Однако, узнав, в чем дело, успокоились и укрепились духом. Даже вступили в бой с печенегами и одержали над ними победу. Но мне хорошо было известно, что печенеги шлют послов к половцам, чтобы переманить их на свою сторону. Так же они и к царю посылали людей с предложением мира. Он же оттягивал переговоры, чтобы выиграть время.

— Почему медлил? Страшился сразиться?

— Так и я полагаю. А другие говорили, что ждал войско из Италии.

— Из Италии...— протянул Мономах.

— Оттуда, где Рим.

Владимир доходил до Чехии, видел Корсунь и Каффу, а другие князья скитались по всей Европе. Изяслав, сын Ярослава Мудрого, побывал в Польше и в Майнце, а убитый Нерадцем Ярополк ездил в Рим. Сам Василько стоял под стенами Царьграда.

— Где некогда Август правил,— продолжал он определять местоположение Итальянской земли.

— Знаю. Там ныне папа служит обедни на латинском языке.

Василько не очень разбирался в церковных делах, но был наделен любопытством к жизни, хотел повидать многие страны и вот лишился самого ценного для человека — способности обозревать мироздание.

— Когда же произошла битва? — спросил Мономах.

— Половецких ханов не прельщали предложения печенегов. У них были свои планы. Но медлительность царя им тоже не нравилась. Боняк грозил Алексею: «До каких пор будешь откладывать битву? Знай, что мы не хотим ждать более. Завтра с восходом солнца будем или волчье мясо есть, или баранье».

— Волчье мясо — это печенеги?

— Печенеги. А баранье — царские воины. Алексей боялся половцев не менее, чем печенегов, и обещал, что наутро начнет битву. Но это мы тогда спасли его.

— Как вы могли спасти царя?

— А вот так. Накануне сражения мы покинули половцев и перешли в лагерь греков, чтобы стоять рядом с христианами.

Владимир внимательно смотрел на собеседника, принимавшего участие в таких знаменательных событиях.

— Греки обнимали нас, говорили, что мы их избавители от гибели. Помню, половина той ночи прошла в молитве. При свете зажженных смоляных факелов войско распевало псалмы. Кто мог, украсил свое копьё лампадой или свечой, и весь греческий стан сиял огнями, как звездное небо в полночь. Воинам дали самый краткий отдых, и с рассветом началась битва. Половцы устремились на печенегов, как волки, и те не выдержали, поспешили укрыться за повозками. Они привезли в них жен и детей.

Владимиру Мономаху все это было хорошо знакомо. В случае неудачного нападения кочевники поворачивают коней и мчатся в узкие проходы, оставленные между возами, чтобы перестроиться под их защитой и снова вылететь в бой.



...Извение печенегов прекратилось  
только на закате солнца...



Дленников оказалось множество.  
Настоялво велико было количество  
пленных, что...

— Печенежские ханы соглашались прекратить сопротивление, просили половцев помирить их с царем, обещали уйти. Но опытные военачальники не упускают случая уничтожить врагов до последнего человека, если это в их власти. Алексей опасался, что переговоры охладят пыл Тугоркана и Боняка, и велел своему знаменосцу идти впереди половцев. Тогда ханы снова ринулись на печенегов. Началось невиданное избиение.

— А ты где стоял со своими воинами?

— В те часы мы охраняли от опасности шатры царя. Уже взошло солнце и осветило гибель печенежской орды. Руки победителей устали убивать. Тогда царь приказал доставить из соседних деревень сосуды с холодной водой. Утолив жажду, воины снова подняли мечи и копья.

Писательница Анна Комнина отметила по поводу этих событий: «В тот день произошло нечто необычайное: погиб целый народ, вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не десять тысяч человек, а выражалась в огромных цифрах».

В Константинополе по случаю кровавой победы сложили песенку с таким жестоким припевом:

Лишь один денечек  
не дождался скифы мая...

Битва произошла 29 апреля 1091 года.

Василько не мог остановиться в своем повествовании.

— Избиение печенегов прекратилось только на закате солнца. Те, что уцелели, попали в плен. Пленников оказалось множество. Настолько велико было количество плененных, что греки опасались возмущения, когда те придут в себя, и решили истребить всех до единого человека. Я сидел за столом царя. Тут же находились Тугоркан и Боняк. Явился Синесий. Так зовут одного из царских вельмож. Он предложил царю перерезать пленных печенегов, чтобы не осталось никакого повода для беспокойства.

— Что же ответил царь?

— Со мной сидел какой-то человек, говоривший на нашем языке. Он восхищался великодушием царя. Алексей ответил царедворцу с возмущением: «Хоть они и язычники, но все же люди. Враги тоже достойны жалости...» Царь в гневе отослал искусителя, приказав лишь отобрать у печенегов оружие и приставить к пленникам усиленную стражу. Когда пир кончился, он отошел ко сну.

Василько рассказывал со спокойствием человека, который много перевидал на своем веку:

— А ночью греческие военачальники велели воинам перебить печенегов. Даже половцы были приведены в ужас таким поступком христиан. Опасаясь, что и с ними могут поступить так же, они ночью тайно снялись и побежали в сторону Дуная, не помышляя об обещанной награде. Царю пришлось снарядить за ними погоню, чтобы вручить им подарки и тем расположить ханов к себе на будущее время.

— А ты?

— Я остался со своими ратниками. Нас угощали три дня, а когда мои воины, все простые люди, проспались, нам вручили дары. Мы тоже поспешили уйти. Вокруг была мерзость. Трупное зловоние стояло над полями. Взор отворачивался от мертвецов, усеявших равнину. Боняк и Тугоркан уже перепра-

вились через Дунай. Мы распрощались с царем и покинули Греческую землю, но в пути на нас напали угры и многих убили. С остальными я возвратился на Русь.

Василько поник головой, вспоминая волнующие дни своей жизни. Владимир тоже вздыхал, сам не зная почему. Из Царьграда приезжали греки. Туда ездили русские купцы и монахи. Они рассказывали о том, что видели, однако повесть слепого князя была особенно страшной и поучительной. По просьбе Мономаха, Василько рассказал также о том, что случилось с царевичем Константином...

На Руси верили, что этот человек был подлинным сыном императора Романа Диогена, смелого воина, ставшего жертвой дворцовых интриг, заговоров и коварства Михаила Пселла. Роман попал в плен к туркам, и его не стали выкупать, а, напротив, объявили низложенным. Он вырвался из плена, но греки осадили его в крепости Адане, и он сдался своему противнику Андронику, обещав, что откажется от престола и пострижется в монахи. Его тут же постригли, посадили на деревенскую телегу и повезли в Константинополь. Затем остановили повозку в Котиее, ожидая указаний из столицы. Оттуда последовал приказ ослепить Диогена. Напрасно он ссылался на епископов, клятвенно ручавшихся за его безопасность. Несчастного потащили в какой-то чулан, и палач, связав императору ноги и руки, придавив ему живот щитом четырежды погружал железо в глаза, пока тот не перестал видеть. Глаза вытекли. Страдальца посадили на ту же повозку и повезли дальше. Лицо у него распухло, он скорее напоминал разлагавшийся труп, чем живого человека. Спустя несколько дней Роман умер на берегах Пропонтиды. Но, может быть, самое ужасное в этой драме — письмо Пселла, которое он послал ослепленному, хотя известно, что, во всяком случае, этот писатель не захотел помешать казни. Зная, что Диоген будет и его считать виновником своего несчастья, Пселл писал: «Я в полном недоумении, благороднейший и восхитительнейший господин, оплакивать ли мне тебя как самого несчастного человека или восхищаться, как самым славным мучеником?..»

Прошли годы, и в Константинополе появился человек, выдававший себя за сына Романа Диогена. Кто он был? Царевич? Или, может быть, безвестный бродяга и обманщик, а настоящий сын Романа пал в сражении с турками под Антиохией и там погребен? Но претендент на престол василевсов утверждал, что он лишь попал в плен к туркам и счастливым образом спасся из неволи. Нашлись многие жители столицы, которые хотели верить ему. Сначала он собирал своих приверженцев тайно, в частных домах, а затем выступил открыто на площадях и в общественных местах. Император не обращал на него большого внимания, считая своего соперника безумцем. Когда рассказы о появлении самозванца достигли слуха вдовы Константина, кончавшей свои дни в одном из константинопольских монастырей, она не признала в нем своего супруга. Тем не менее обманщик упорствовал. Алексей приказал схватить его вместе с приверженцами и назначил для них унижительную казнь: им обрили головы и бороды и поставили у позорных столбов на людной площади, а самого самозванца привязали к виселице. Прохожие мрачно смотрели на злодеев, однако неизвестно было, о чем они думали, созерцая это зрелище,— может быть, о собственных бедах. Затем жецаревича сослали в Корсунь и заточили в темницу для государственных преступников. Однако узник нашел способы войти в сношения с половцами, являвшимися в этот город по торговым делам. Они помогли узнику бежать, и Константин очутился в половецких степях. Весть об этом скоро достигла Киева и Переяславля. Степные вожди, в том числе хитрый Тугоркан, тоже отлично понимали, какую выгоду можно извлечь из создавшегося по-

ложения, и решили помочь своему гостю завладеть греческим престолом.

Шел 1095 год. В Константинополе царило страшное волнение в связи с переходом половцами Дуная. Был созван синклит. Как обычно, умудренные житейским опытом старцы высказались в пользу осторожных действий, считая, что оборона более разумна в данном случае, чем опрометчивое наступление. Но, окрыленный недавней победой над печенегами, император Алексей рвался в бой. Чтобы испытать волю небес, прибегли к гаданию и положили две запечатанных таблички на престол св. Софии. На одной стояло: «Жди», на другой: «Иди навстречу». По окончании литургии патриарх распечатал одну из них. На этой табличке он прочел призыв идти на куманов. Тотчас во все концы империи помчались вестники.

Главной преградой на пути куманской орды к Константинополю считался Адрианополь, прославленный своими крепкими стенами. Василевс увещевал жителей этого города не верить самозванцу и не жалеть стрел для отражения врагов. Был отдан приказ об усиленной охране горных перевалов. Однако половцы без большого затруднения очутились в греческих пределах. Многие крепости охотно открывали ворота Константину, так как народ надеялся на улучшение своего положения при грядущих переменах. Поощренный успехом, царевич повел свое войско на Анхиал, где в то время находился император Алексей. Но эта крепость оказалась неприступной для кочевников, непривычных к осадным действиям.

Три дня претендент на диадему василевсов стоял под стенами Анхиала, затем повернул на запад и двинулся назад к Адрианополю. Там начальствовал над войсками Никифор Вриенний, старый и опытный стратиг, не пожелавший сдаться тому, кого он считал самозванцем. Константин вызвал его для объяснения на городскую стену. Никифор заявил, что ему точно известно о гибели подлинного царевича под Антиохией и что он даже видел его в гробу.

Здесь половцы тоже ничего не могли предпринять против мощных укреплений и напрасно простояли под городом семь недель. Осажденные производили удачные вылазки и наносили врагу большой ущерб. Во время одной из стычек знатный молодой воин едва не убил самого Тугоркана. Во всяком случае, ему удалось ударить бичом самозванца, облаченного в царские одежды и пурпуровые башмаки, а такой удар, как известно, везде считается позорным.

В конце концов император решил избавиться от опасного соперника. К самозванцу подослали предателя. Человек явился к Константину с обритой головой и уверял, что так поступили с ним по повелению царя. Он даже изувечил себе лицо, уверяя, что это следы пыток, и тем вошел в доверие к самозванцу. Теперь оставалось только заманить претендента в какую-нибудь глухую пограничную крепость. Стратиг одного из таких укреплений сделал вид, что перешел на сторону мятежника, и принял у себя Константина с царскими почестями. По этому поводу был устроен пир, оказавшийся концом всего великого мятежа. Когда, опьянев, Константин уснул, с него сняли красные башмаки и заковали в цепи, а его спутников безжалостно перебили. Затем Алексей велел ослепить его. В происшедшей вскоре после этого кровопролитной битве императору Алексею удалось разбить половцев, возможно — с помощью тех же печенегов, которые были взяты в плен при Эносе, а впоследствии служили в греческой коннице и оказали немало услуг империи. В этом сражении семь тысяч половцев остались на поле, три тысячи попали в плен. С остатками своих орд Тугоркан возвратился в степи и опять появился в русских пределах...

Теребовльский князь Василько больше не принимал никакого участия в греческих событиях, но он мог еще о многом другом рассказать во время той беседы, и Мономах заплакал, вспоминая печальную повесть об ослеплении братьями молодого князя. Ее написал в назидание потомкам поп Василий, и Владимир изумлялся его умению владеть пером. О некоторых подробностях страшного дела он узнал от самого Василька, когда они беседовали в Смоленске.

Половцы все чаще и чаще приходили на Русь, и пока Святополк и Мономах осаждали Стародуб, хан Боняк пробрался, как лисица в птичник, под самый Киев и сжег в Берестовом княжестве летний дворец. Потом хан Куря воевал под Перемышлем и завладел многочисленными табунами коней. Наконец, сам Тугоркан появился в Переяславской земле. Жители заперлись в городе, а Святополк и Владимир незаметно подошли к половецкому стану и так тихо переправились через Трубеж, что враги ничего не заметили и только в последнюю минуту построили свой полк. Но было уже поздно. Не дожидаясь приказа, русские дружины бросились на врагов. В этой битве были зарублены Тугоркан и его сын. Из уважения к жене, Тугоркановой дочери, Святополк привез тело тестя в Берестово и похоронил его между берестовской дорогой и той, что идет к монастырю. Но безбожный Боняк снова пришел к Киеву и в первом часу зажег Стефанов монастырь. Затем приступил к Печерской обители, когда монахи еще сидели по кельям после заутрени. Разбив ворота, половцы подожгли монастырские строения и ворвались в церковь, где стоял гроб Феодосия. Услыхав крики степняков, подобные волчьему вою, некоторые иноки бежали из монастыря, а другие укрылись на хорах, и там враги убили их. После этого половцы рассеялись по келиям и уносили все, что имело хоть малую ценность.

Святополк, Владимир Мономах, Давид Игоревич и Давид Святославич с братом своим Олегом, а также Василько Ростиславич собрались на княжеском совете в городе Любече, чтобы решить, как — себя не ущемив — устанавливать мир и тишину на Руси. Красно говорил Мономах, увещевая князей:

— Пока мы в распрях губим Русскую землю, приходят половцы и разоряют наши области, радуясь, что между нами вражда. А между тем у нас нет причин ссориться. Поэтому объединимся и будем блюсти Русь от врагов. Пусть каждый владеет своей отчиной: Святополк — Киевом, я — достоянием моего отца, а Давид, Олег и Ярослав — тем, что принадлежало их отцу Святославу. Остальные пусть владеют городами, которые дал им мой отец: Давид Игоревич — Владимиром, Володарь — Перемышлем, Василько — Теребовлем.

Теребовль был незначительный городок в верховьях реки Серета. Там проходили пути к Дунаю и в Греческую землю, близко жили ляхи, угры, в воздухе чувствовалось вечное беспокойство, и дружинники спали, не расставаясь с оружием.

На съезде князья договорились о мире, целовали на том крест и, распрощавшись, разъехались по своим городам. На прощание Мономах, уже сидя на коне, сказал:

— А если отныне кто пойдет войной на брата, то пусть будет против него вся Русь и святой крест.

Великий князь Святополк вернулся в Киев, и все люди радовались, узнав о том, что было решено на княжеском съезде. Но известно, что дьявол не любит мира и согласия между людьми. На этот раз сатана действовал в обра-

зе некоего царского патрикия, приехавшего в те дни на Русь с дарами и с тайным поручением к Святополку. Царедворец вкрадчиво говорил Давиду Игоревичу, прижимая к сердцу белую руку с перстнями на тонких и длинных пальцах:

— Уверяю тебя, что при первом же удобном случае Владимир соединится с Васильком против тебя и князя Святополка.

Давид охотно верил лживым словам, и в душе у него зарождалось сомнение. Он стал в свою очередь нашептывать Святополку, тараща злые глаза:

— Кто убил Ярополка, твоего любимого брата?

— Говорят, Нерадец, — ответил великий князь.

— А кто вложил ему саблю в руку?

— Откуда мне знать?

— Подумай-ка об этом хорошенько.

— Василько?

— Воистину он.

— Не верится этому.

— Не верится? Скоро узнаешь и другое. Теперь он и против тебя замышляет и хочет соединиться с Владимиром, этим святошей и лицемером. Позаботься же о том, чтобы у тебя голова осталась на плечах.

Святополк был встревожен до глубины души.

— Истина это или ложь? — спрашивал он. — Если правда то, что ты говоришь, пусть бог будет тебе свидетель, а если ложь, пусть будет он судьей для тебя.

Поглаживая в волнении длинную бороду, великий князь перебирал в памяти события. Да, смерть брата, случившаяся так неожиданно. А ведь он мог сесть после него на киевский золотой стол. Еще внимание, какое Мономах всегда оказывал князю Васильку. Любовь теребовльского князя к переменам. В самом деле, по чьему наущению Нерадец заколол Ярополка?

Давид шептал, склоняясь к самому уху великого князя:

— Если мы не схватим Василька, то знай, что ни тебе княжить в Киеве, ни мне во Владимире Волынском.

Святополк хмурился все больше и больше, сверкая острыми очами. Всякий человек цепляется обеими руками за свое достоинство, а он, в накоплении серебра видевший смысл жизни, не забыл, что скитался, как бездомный пёс, по чужим странам.

Шел месяц, который в языческой древности называли грудень, а у христиан зовется ноябрь. Возвращаясь из Любеча, Василько направился в свое далекое княжество. Он переправился через Днепр у Выдобичей и поднялся в Михайлов монастырь, чтобы поужинать с монахами, беседуя с ними о небесной и земной жизни. Свой обоз теребовльский князь оставил на Руднице и, когда наступил вечер, вернулся к отрокам, чтобы переночевать там.

На другое утро к нему явился посланец от Святополка и передал приглашение своего господина:

— Великий князь просит тебя не уходить от его имени.

Но Василько торопился вернуться к себе домой.

— Скажи великому князю, что не могу остаться. Боюсь, как бы не случилась у нас война. За Теребовлем беспокойные соседи.

Позднее прискакал сам Давид Игоревич и тоже стал уговаривать молодого князя:

— Не уходи. Не добро послушаться старшего брата.

Однако Василько стоял на своем, и Давид уехал назад ни с чем.

— Вот видишь, — нашептывал он Святополку, — почему-то Василько не

хочет остаться, не слушается тебя. Значит, замышляет нечто, хотя ездит по твоей земле. Что же будет, когда он вернется в свою область? Вот увидишь, займет твои города.

— Какие города?

— Туров, и Пинск, и другие. Ты еще вспомнишь мои слова, но будет уже поздно.— Давид постучал золотым перстнем по столу.

— Как же мне поступить? — недоумевал Святополк.

— Как поступить... Позови его, пока есть время...

— А потом?

— Схвати его и выдай мне.

— А крестное целование?

— Разве он не нарушает его первым?

Святополк внял соблазнительным речам и снова послал сказать Васильку:

— Если не можешь остаться до моих именин, то хоть побывай ко мне на короткое время, и мы побеседуем с тобой вместе с Давидом.

Не догадываясь о предательстве, Василько обещал приехать в Киев. Он сел на коня, взял с собой малую дружину и направился к великому князю в гости. Стояло чудесное солнечное утро. Лужицы сковывал легкий мороз. Было приятно дышать прохладным воздухом, от которого розовели щеки у встречных девушек. Красногрудые снегири бойко клевали сладкие ягоды на придорожных рябинах. Князь с удовольствием смотрел по сторонам — на птиц, на величественные дубы, на город, вздымавшийся на горе к голубым небесам.

Вдруг на дороге появился за поворотом верный отрок, бывший в Киеве и скакавший, чтобы предупредить своего князя о грозившей ему опасности. Он схватил княжеского коня за узду и, тяжело дыша, умолял:

— Не едь туда, князь! Враги хотят убить тебя!

Не поверил Василько. Уставив свой взор вдаль, он размышлял вслух:

— Как они могут убить меня? Разве не целовали мы крест на верность друг другу?

— Не едь! — настаивал отрок.— Погибнешь во цвете лет.

Впрочем, он ничего не мог сообщить в подтверждение своих опасений, кроме слуха, пущенного в то утро на торжище.

Василько снял парчовую шапку, перекрестился и сказал:

— Да будет на все воля господня.

Вскоре он въехал со своими отроками на великокняжеский двор. Все вокруг казалось спокойным. Перед князем возвышался каменный дворец.

Святополк спустился навстречу гостю по огромным плитам лестницы, покоившейся на толстых столпах, и повел его в горницу, где уже с утра затопили зеленую изразцовую печь. Вслед за ними вошел туда и Давид Игоревич, и все трое уселись за стол. Однако Давид сидел как немой.

Святополк стал опять уговаривать Василька остаться на праздник в Киеве.

Теребовльский князь упорно отказывался:

— Не могу, брат. Я уже велел обозу идти вперед. Нагоню своих в дороге. Надо торопиться.

— Хоть пообедай у меня,— упрашивал великий князь.

Василько согласился, хотя его удивляло крайнее беспокойство Святополка и упорное молчание Давида Игоревича. Великий князь то разглаживал бороду, то потирал руки. То вставал, то снова садился. Давид же сидел с таким видом, точно замышлял злое. Но легкомысленный Василько уже забыл

о предостережениях отрока, встреченного в пути под старым дубом, и чувствовал себя превосходно. Он находился у своих братьев.

Наконец Святополк встал и нерешительным голосом произнес:

— Посидите тут. Я сейчас.

Великий князь быстрыми шагами направился к двери, в страхе оглядываясь на Василька. Лицо у него перекошилось от волнения. Молодой князь и тут ничего не заметил и благодушно разговаривал с Давидом. Тот отвечал невпопад, видимо тоже объятый ужасом при мысли о злодействе, какое они, нарушая крестное целование, задумали со Святополком против брата. В сердце Давида гнезвился обман, и поэтому у него не было ни голоса, ни слуха.

Посидевши немного, Давид Игоревич вытер рукою пот, выступивший у него на лбу.

— Что с тобою? — спросил его Василько.

— Жарко.

Теребовльский князь кинул взор на печь и полюбовался ее каменной красотой.

— Что-то не возвращается Святополк, — с деланным удивлением заметил Давид.

Василько посмотрел на дверь.

— Отроки! — крикнул Давид Игоревич.

Тотчас явились два отрока, что стояли на страже при дверях.

— Где великий князь? — спросил их Давид.

— Стоит в сенях.

Предатель похлопал Василька по плечу.

— Ты посиди тут немного, а я пойду позову его.

Давид поспешно вышел вон. Как только он перешагнул через порог, отроки по его приказу заперли дверь. Когда Василько убедился в этом, то не знал, что ему и думать. Напрасно князь стучал в дубовые створки, дверь не отпиралась. Оконца оказались слишком малыми, чтобы пролезть в них крупному человеку. Князь стал кричать, в надежде, что его голос услышат теребовльские отроки, приехавшие с ним. Но в горницу уже вбежали Святополковы конюхи, схватили несчастного князя и заковали его в железа. Меча у него не оказалось под рукою: он оставил оружие в сенях, чтобы удобнее сесть за стол.

Наутро Святополк созвал чуть свет своих бояр и других советников и рассказал им все, о чем узнал от Давида Игоревича.

— Брата моего злодейски убили, а теперь и на меня замышляют, — закончил он свою речь.

Склонив головы и перебирая пальцами шелковистые бороды, сидевшие на совете бояре думали. Потом один из них, самый старый и важный, сказал под устремленными на него со всех сторон взглядами:

— Если князь Давид сказал правду, то следует, конечно, наказать Василька за его злоумышление. А если солгал, то пусть сам Давид примет наказание от бога и отвечает перед ним на страшном судилище...

Участвавшие в совете игумены стали просить за теребовльского князя. Смягчившись, Святополк ответил им:

— Это Давид Игоревич все замыслил.

Узнав о том, что происходило на совещании, Давид стал подговаривать Святополка на ослепление Василька. Царский патрикий рассказал ему, что так часто поступают в Греческой земле, чтобы избежать пролития христианской крови. Святополк долго не соглашался и хотел отпустить Василька. Однако Давид не позволил ему поступить так, опасаясь Ростиславичей, и в ту же ночь, тайно, под покровом темноты, Василька повезли на телеге в Белго-



род, древний город, расположенный от Киева в двадцати поприщах. По приезде туда князя стащили с повозки и повели в небольшую горницу. Сидя там, Василько рассмотрел торчина, точившего нож у печки, и понял, что его ждет. Он возопил с великим плачем, когда увидел, как в избу вошли другие палачи — Сновид, конюх Святополка, и Дмитр, конюх Давида, доверенные люди князей. Они начали расстилать на полу ковер, потом схватили князя и пытались повалить его, но Василько так яростно защищался, что злодеи не могли справиться с ним и позвали на помощь других людей. Пришли еще конюхи, связали сопротивлявшегося изо всех сил князя, бросили на ковер и, сняв с печки доску, положили ему на грудь. На ее концы уселись Сновид и Дмитр, но не в состоянии были удержать бившегося на полу князя. В предвидении того страшного, что ожидало его, он напрягал железные мышцы: он не хотел лишиться зрения, божественного дара небес. Конюхи сняли тогда еще одну печную доску и так сильно придавили грудь князю, что у него затрещали кости. И вот торчин по имени Берендей, овчар Святополка, приступил к Васильку с ножом в руках. Он намеревался ударить его в зеницу и вынуть внутреннюю частицу ока, но промахнулся и только поранил князю щеку. Этот рубец остался на лице у слепца до конца его дней. Вторым ударом Берендей выколол правый глаз, а третьим — левый. Василько потерял сознание и лежал как мертвец, и белая рубаха его вся была залита кровью. Мучители подняли князя вместе с ковром, положили на телегу и повезли во Владимир-на-Волыни, где тогда княжил Давид Игоревич. Когда повозка переехала реку по Воздвиженскому мосту, конюхи свернули на городское торжище и остановились там на дворе у местного священника. Они стащили с князя окровавленную рубашку и отдали постирать попадье. Добрая женщина сделала так, как ей сказали, оплакивая молодого князя, как мертвого. Он очнулся, услышав плач, и спросил:

— Где я?

— В городе Воздвиженске, — ответила сквозь слезы попадьа.

Василько попросил, чтобы ему дали напиток. Кто-то принес немного воды в деревянном ковше. Князь сделал несколько глотков и окончательно пришел в себя. Он заплакал, укоряя бога и людей:

— Зачем вы сняли с меня кровавую рубаху? Лучше бы я смерть принял в ней...

Пришли Давидовы отроки, опять положили князя на повозку, и она загрохотала по неровному пути. Стоял мороз, и комья земли на дороге сделались как камни, поэтому телега колыхалась, как корабль, и это причиняло ослепленному невыразимые страдания.

Во Владимир приехали только на шестой день. Явился в свой город и торжествовавший Давид, точно он собрал богатую жатву в житницы. Несчастного Василька поселили на дворе у некоего Вакея, приставив стеречь его тридцать человек и двух княжеских отроков. Их звали Улан и Колча.

Все это священник Василий описал со слов Василька, но писатель и сам был наделен острым зрением и, например, не забыл упомянуть о замерзших комьях земли на дороге. Когда о случившемся узнал от него Мономах, то не мог сдержать слез и сказал, закрывая руками лицо:

— Такого злодеяния никогда еще не было на Руси, ни при дедах наших, ни при отцах. Брат ослепил брата!

Владимир тотчас послал вестников к Олегу и Давиду Святославичам с такими словами:

— Нашего брата ослепили. Смотрите, что сотворил Игоревич. Поэтому приходите скорее в Городец. Нельзя оставить такое зло без наказания. Если мы будем губить друг друга, то Русская земля пропадет от иноплемennых.

Давид Святославич весьма опечалился. Вместе с братом, собрав воинов, поспешил он к Мономаху, чтобы общими силами наказать Святополка и Игоревича. Владимир Мономах стоял со своей дружиной в дубраве, когда князья нашли его. По совещании все трое отправили своих мужей в Киев. Послы укоряли великого князя:

— Как ты решился на такое злодеяние и посмел ослепить своего брата! Если опасался ты князя Василька, то надлежало тебе обвинить его перед другими князьями и сперва судить, а потом уж наказывать, только после доказательства вины. Но хоть теперь скажи нам, в чем ты считаешь его виновным?

Святополк, мрачный, как ночь, заявил:

— Я узнал от Давида Игоревича, что это по наущению Василька убили моего брата Ярополка и что он и меня замыслил убить, желая завладеть моими областями.

— Какими областями?

— Хотел захватить Туров, Пинск и Берестье. Всю область Погорину, что лежит на реке Горынь. Что он целовал крест с Мономахом, чтобы тому сесть в Киеве, а Васильку — на Волыни. Поневоле мне пришлось подумать о том, как уберечь себя. Но ведь не я ослепил князя, а Давид Игоревич.

Мужи, посланные Владимиром и Святославичами, возразили ему:

— Не говори так. И не сваливай всю вину на одного Давида. Ведь Василько был схвачен и ослеплен не в Давидовом городе, а в твоём.

Сказав великому князю все, что им поручили, послы удалились.

На следующее утро три князя стали готовиться к переходу через Днепр, чтобы покарать Святополка. Он уже собрался бежать из Киева, но горожане не позволили ему покинуть город и остановили коня на улице около Золотых ворот. К Мономаху отправились вдова князя Всеволода, проживавшая в одном из монастырей, и митрополит Николай. Они пришли к разгневанному Владимиру и на коленях умоляли не губить Русскую землю. Князь опять пустил слезу и склонился к просьбам княгини, второй жены отца, которую почитал как родную мать.

Княгиня и митрополит возвратились в Киев и принесли весть о том, что мир не будет нарушен. Три князя, стоявшие на другом берегу, требовали, чтобы Святополк очистился от вины, своей рукой наказав Давида Игоревича за их общее преступление.

Позднее поп Василий рассказывал Мономаху о подробностях ужасного злодеяния и о том, что произошло вслед за тем на Волыни.

— Уже когда Василько был во Владимире, жил на дворе у Вакея, — говорил священник, — мне тоже случилось приехать в этот город. Приблизился великий пост. Князь Давид однажды прислал за мной среди ночи. Я пошел. У князя дружина сидела на совете. Он усадил меня и спрашивал, склоняясь ко мне: «Скажи, не говорил ли князь Василько, что если я захочу, то он будет просить Владимира вернуться и тот воротится и не пойдет дальше? Теперь намерен я послать тебя, Василий, с отроками к Мономаху, но сперва передай князю Васильку вот что. Если он может уговорить Владимира, то пусть берет себе город, какой ему люб. Хочет — Шеполь, а не хочет — Перемышль на реке Стыре». Я пошел к ослепленному и передал ему все, что предлагает Давид. Князь огорчился и очень удивлялся, что ему дают любой город, а его милый Тереволь не хочет вернуть.

— Что еще говорил Василько? — любопытствовал Мономах, которого всегда волновала судьба несчастного князя.

— Он тогда велел сказать Давиду, что хочет послать к тебе Кульмея. Но этого человека не оказалось во Владимире в те дни. Тогда Василько сказал,

чтобы слуга вышел вон, а сам сел поближе и зашептал: «Слышал я другое. Будто бы Давид хочет меня выдать польскому королю. Я ему в молодости немало вреда причинил, и он на меня зубы точит. Я знаю, Давид еще не насытился моей кровью. Что же, если придется мне умереть, то я не утрашусь смерти. Понял я теперь, что все это бог послал мне за мою гордость неимоверную.— И стал говорить еще тише, чтобы никто не мог подслушать: — Я тогда получил весть, что ко мне идут торки, берендеи и печенеги. Кочевники хорошо знали меня и верили, что если поведу их куда-нибудь, то они возвратятся с богатой добычей. А что нужно печенегу или торку? Я же хотел вести их на Дунай или просить Святополка, чтобы отпустил меня на половцев. Я хотел либо одержать великую победу, либо голову свою сложить за Русскую землю. Но клянусь тебе головой, что никакого зла не умышлял ни против Святополка, ни против Игоревича. А казнь я получил за свое высокомерие. За то, что веселилось сердце у меня и радовался ум мой, когда пришло ко мне множество всадников. И вот смирил бог мою гордыню...»

Владимир на всю жизнь запомнил каждое слово из рассказа священника Василия. Неоднократно перечитывал он и его повесть, написанную с таким редким книжным даром. Каждый раз, когда Мономах доходил до того места, где описывается борьба молодого князя с конюхами, сердце у Владимира наполнялось ужасом. Это было хуже смерти. В одно мгновение солнечный свет погас, как задутая свеча, и весь мир погрузился во мрак. Все померкло: голубые небеса, зеленые дубравы, цветы на лужайках, красота жен. Ничего не осталось, кроме черной ночи. Никогда уже Василько не будет воином, не увидит земной прелести. Но зато он может духовным взором устремиться в небесные сферы, приближаясь к всевышнему.

Мономах следил за жизнью Василька, знал о его дальнейшей участи. Слепленный князь жил во тьме и молчании. Наступила Пасха. Давиду пришлось на ум захватить область Василька, но ему преградил путь Володарь, брат слепца. У них произошел короткий разговор.

— Почему ты не покаешься, сотворив зло? Вспомни: что сделал? — спрашивал Володарь.

Но Давид Игоревич стал валить вину на Святополка:

— Разве это произошло в моем городе? Я сам опасался, что меня схватят и погубят.

— Пусть бог будет тебе свидетелем,— сказал Володарь,— о том, что ты совершил. Но теперь отпусти моего брата, и я помирюсь с тобой.

Давиду ничего не оставалось, как отпустить Василька, и тот снова сел в своем Теревовле. Но когда наступила весна, Василько и Володарь пошли войной на Давида, и он затворился во Владимире. Братья потребовали, чтобы Давид выдал тех бояр, которые подговаривали его ослепить теревовльского князя. После долгих пререканий им выдали Василия и Лазаря. Третий боярин, по имени Туряк, успел бежать в Киев. В воскресенье заключили мир. На другое утро, на рассвете, отроки Василька повесили Василия и Лазаря на дерево и расстреляли их стрелами.

Мономах вздохнул. Он и теперь считал, что этим поступком Ростиславичи запятнали себя, ибо только совету князей принадлежало право отмщения. Однако смута на Волыни не прекращалась. В борьбу вмешался польский король Владислав. Он взял пятьдесят золотых гривен с Давида и столько же со Святополка, который скрипел зубами, выплачивая эти деньги, но ляхи никому не помогли у Дорогобужа, где встретились Давид и Святополк, победивший в этом сражении. Давид убежал в Польшу, Святополк же пожелал после победы взять себе области Василька и Володаря, но братья вышли против великого князя, и слепой Василько, верхом на коне впереди своих

отроков, был страшен для врагов, когда вздымал над головой серебряный крест, тот самый, на котором Святополк давал целованье иметь мир и любовь с братьями.

Битва произошла недалеко от Звенигорода Галицкого. Все слышали, как Василько кричал через поле своему врагу, высоко поднимая крест:

— Ты лобызал его, а потом отнял у меня свет! Теперь хочешь и душу мою взять?

Полки тошлись, гремя оружием. Но Святополк не выдержал и побежал во Владимир, и за ним последовали его сыновья и два сына Ярополка, а также князь Святоша, сын Давида Святославича, богомольный и начитанный человек. Святополк посадил во Владимире сына Мстислава, которого имел от наложницы, а Ярослава отправил к уграм, чтобы привел иноплеменное войско против Володаря, и тот вскоре вернулся вместе с королем Коломаном и двумя епископами. Угры стали около Перемышля, на реке Вагре, а Володар затворился в городе.

## XXI

Появившийся под стенами Перемышля Коломан считался умным правителем, не знал жалости к людям, ни перед чем не останавливался в достижении своих целей и за всю жизнь не построил ни одной церкви, хотя по слабости здоровья его предназначали к духовному званию. В борьбе за власть он ослепил не только своего брата Альму, но и пятилетнего сына его. Своей внешностью он мог пугать детей — был хром, горбат, крив на левый глаз и, кроме того, шепелявил, — и тем не менее стал не епископом, а королем.

Вместе с Коломаном пришла многочисленная конница. Но за это время Давид Игоревич уже успел помириться с Володарем и, оставив на его попечение свою жену, поспешил к половцам, чтобы призвать их на помощь против угров. В степи он случайно встретил хана Боняка, которого хорошо знали на Руси, и предложил ему пойти с князьями против Коломана. Тот охотно согласился, в надежде на обильную военную добычу.

Однажды, когда новые союзники остановились по пути к Перемышлю на ночлег, Боняк встал, сел на коня, отъехал от стана далеко в поле, озаренное мутным светом луны, и стал выть по-волчьи. Тотчас откликнулся вдали какой-то одинокий волк, а потом послышалось завывание множества голодных зверей.

Вернувшись, Боняк радостно заявил Давиду:

— Слышал, как волки выли? Победа будет у нас наутро над Коломаном.

Когда взошло солнце, на равнине сверкнуло оружие нарядных угорских полков. Между тем у Боняка было едва триста всадников, а в дружине Давида — сто. Угров же насчитывалось много тысяч. Но опытный в военном деле хан разделил эти небольшие воинские силы на три отряда и вышел врагу навстречу. Впереди он пустил храбрейшего из храбрых, молодого хана Алтунопу, с пятьюдесятью воинами на злых степных конях. Давида поставил он под главным стягом, а своих всадников отвел в укромные места по обеим сторонам дороги.

Отряд Алтунопы, как это в обычае у половцев, вихрем подлетел к неприятельскому строю; всадники выпустили по стреле и тотчас повернули лошадей. Угры кинулись за ними в погоню. На всем скаку они промчались мимо Боняка, и хитрый степняк ударил на них справа и слева, а воины Алтунопы вернулись, и дружина Давида бросилась в бой. Все это создавало впечатление множества воинов. Давид и Боняк сбили угрских всадников в одну кучу,

как сокол сбивает галок, и в этом смятении, не разбирая, с какой стороны нападает неприятель, угры побежали, и многие из них утонули в Вагре и Сане. Они мчались вдоль рек и сталкивали друг друга в воду, а Давид и Боняк гнались за ними два дня и рубили. Говорят, что в этой битве погибло много тысяч угров и среди них епископ Купан и некоторые приближенные короля.

После победы под Перемышлем Давид осадил Мстислава, сына Святополка, во Владимире Вольинском и часто ходил на приступ. Но владимирцы мужественно отбивались на стенах, и стрелы летели как дождь. Однажды Мстислав стоял на забрале, наблюдая за действиями врагов. В это время вражеская стрела влетела в щель между бревнами и вонзилась князю в пазуху. Раненого свели под руки вниз, и в ту же ночь он умер. Смерть князя три дня скрывали от горожан, чтобы не упали они духом, и лишь на четвертый сообщили о его гибели на вече. Осажденные решили послать вестника к Святополку. Гонец пробрался в Киев и заявил великому князю:

— Твой сын убит, а мы изнемогаем от голода. Если не поможешь нам, люди сдадутся.

Святополк послал во Владимир воеводу Путятю и князя Святошу. Быстрыми переходами они добрались до стана осаждающих. Это произошло в полдень. Давид спал. Дружина Путяты набросилась на его воинов и стала рубить их, и спросонок князю с большим трудом удалось спастись. Путятя и Святоша вошли в город и посадили в нем воеводой Василя.

Борьба за города и области продолжалась еще три года, напоминая переменным счастьем шахматную игру, когда за доской сидят два упорных противника. Один князь прогонял другого, потом побежденный брал верх, и все одинаково приводили иноплемеников, жгли села смердов, а затем бежали — кто в Польшу, кто в половецкие степи. В конце концов неугомонного Давида Игоревича посадили в Дорогобуже, где он и нашел свой конец. В тот же год видели все люди знаменье на небе. Три дня подряд на полуденной и полуночной стороне небосклона при восходе солнца и ночью стоял свет, подобный зареву пожара, и казался сильнее сияния полной луны. Потом солнце окружили три дуги, хребтами одна к другой, и никто не знал, к добру ли подобные предзнаменования или к несчастью.

Но у некоторых князей еще теплился государственный смысл в уме, и они все ясней понимали, что только общими силами возможно бороться с кочевниками. К тому времени Владимир Мономах уже приобрел большой опыт в военном деле и хорошо изучил половецкие способы ведения войны. Половцы были страшны неожиданностью нападения. Как удар грома среди ясной погоды, они появлялись там, где их меньше всего ждали, налетали как вихрь, выпускали стрелы и, если враг стоял твердо, обращались в бегство и исчезали в облаках поднятой пыли, чтобы в благоприятный час и в самом удобном для себя месте снова ударить на неприятельский строй. Особенно страдала от их нашествий Переяславская земля, где сидел Мономах, и в его интересах было предпринимать общие походы для разгрома половецких орд в далеких кочевьях.

Гоняться за конницей в степях не легко. Владимир Мономах и другие русские князья применяли иной способ борьбы с половцами. Не вступая в бой с ними, они старались отрезать путь врагу, когда кочевники возвращались в свои становища, отягощенные добычей и пленниками, и делались менее подвижными, чем обычно. Впрочем, к тому времени и княжеские дружины значительно уменьшились в числе; их заменили конные и пешие рати, поставляемые боярами из своих смердов. И само княжеское войско тоже стало неповоротливым, так как воины не добывали теперь пропитание и все необходимое грабежом, не считаясь с нуждами местного населения, а возили

припасы на телегах. Таким образом, при полках образовывался громоздкий обоз, и это обстоятельство стесняло их передвижение. Такие изменения в военной обстановке не упускал из виду при проведении своего грандиозного плана Владимир Мономах, стремясь к полному разгрому кочевников, чтобы навсегда освободить русские области от нападений.

Не без труда Мономаху удалось собрать князей на совещание в Долобске. Летописец записал об этом событии: «Вложил бог Владимиру мысль понудить брата его Святополка пойти на поганых весною... И пришел Владимир, и встретились на Долобске, и расположились в одном шатре. Святополк со своею дружиною, а Владимир со своею...»

Но бояре великого князя были против весеннего похода:

— Кони нужны весной на пашне.

Мономах горестно убеждал недальновидных, опасавшихся, что нивы останутся невозделанными и нельзя будет собрать урожай в боярские житницы:

— Странно мне, что вы жалеете коней, которыми пашут, а не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд, но придет половчанин, застрелит его стрелою и лошадь заберет. А потом, приехав на село, возьмет жену и детей и все имение поселянина. Коня вам жаль, а человека вы не жалеете?

Дружинники Святополка, блюдя свою выгоду, угрюмо молчали.

Владимир снова обращался к ним:

— Надо предпринимать походы на половцев ранней весной, когда их кони ослабели от зимнего голодания. Где половчанину взять корм? У него нет запасов. Половецкий конь разбивает копытом лед и траву ищет под снегом. А много ли он находит там пропитания?

— Отцы наши не ходили далеко в степь, а обороняли свою землю на рубежах,— возражал киевский князь.

— Теперь другое время настало. Надо нам самим ходить на половцев и предупреждать их нападения,— настаивал Владимир.

Греческий вельможа, случайно присутствовавший на совещании, улыбался:

— Для врагов надо строить золотые мосты.

Все вопросительно посмотрели на него.

— Действовать подкупом. Это лучше, чем проливать христианскую кровь.

Мономах ответил:

— Согласен с тобою. Сам предпочитал всегда мир войне. Но я предупреждал ханов. Пусть теперь пеняют на самих себя.

Среди дружинников на совете сидел Илья Дубец. Каждый поход являлся для него событием. Он надеялся, что рано или поздно столкнется на узкой тропе с тем ханом, который отнял у него жену. Прошло немало лет с тех пор, однако он узнал бы его под любыми морщинами и рубцами и среди тысяч людей. Ему было известно имя хана.

По-видимому, слова Мономаха убедили даже медлительного Святополка, потому что он поднялся во весь свой огромный рост и, по привычке поглаживая длинную бороду, окинул острым взором собрание.

— Ты хорошо сказал, брат Владимир. Я готов идти за тобой.

— Великое дело сделаешь ты для всей Русской земли,— обрадовался Мономах.

После совещания послали к Олегу и Давиду Святославичам. Давид немедленно откликнулся на зов и изъявил согласие принять участие в походе. Олег же ответил:

— Мне нездоровится...

В далекий поход, кроме Святополка и Владимира Мономаха, вышли многие другие князья. Среди них оказались Давид Святославич, Давид Всеславич, Мстислав, внук Игоря, Вячеслав Ярополчич, Ярополк Владимирович. Русское войско двинулось на конях и в ладьях, спустилось по Днепру ниже порогов и разбило свой стан у острова Хортицы. Половцы узнали о передвижениях князей, но подумали, что те идут на Корсунь, и не предприняли никаких мер для обороны, а русская конница и пешие воины уже шли на них через поле, построившись в походе в боевой порядок тремя полками. При таком построении кочевники лишились преимущества внезапного нападения, так как везде их мог встретить лес копий. Мономах, потерпевший единственное поражение на Стугне, надолго сохранивший печальную славу у русских певцов, извлек большую пользу из этого кровавого урока. Кроме того, он тоже завел у себя искусных стрелков из лука, и многие воины заменили тяжелые обоюдоострые мечи более удобными в конных сражениях кривыми саблями.

Илья Дубец ехал впереди конной дружины, рядом с Фомой и Ольбером Ратиборовичами. Он не отрываясь смотрел вдаль. Прошло много лет с тех пор, как он навеки разлучился со Светой. Христианину не надлежит жить во блуде, и он женился вторично. Его дочери и сын подрастали в Переяславле. Но из тьмы далекого прошлого сияли синие заплаканные глаза Светы, порой он слышал вновь ее призывы, видел, как она вырывалась из рук насильников и ее нагие плечи сияли в лохмотьях рубахи. Света погибла, а он остался жить.

Как это произошло?.. Наступила ночь, и половцы остановились в степи на ночлег, зажгли костры, так как научились у русских есть жареное мясо и уже не вляли его больше под седлами, нарезав тонкими кусками. Выпояняя строгий приказ хана, двое стражей стерегли пленника, за которого можно было взять на рынке рабов двойную цену. Но в тот вечер они выпили по ковшу хмельного напитка, приготавливаемого оросами из меда и найденного в большом количестве в монастырском погребе. Поэтому их одолел сон. Надеясь на прочность веревки, которой был связан пленник, воины уснули. Впрочем, куда он мог убежать? Вокруг становища ездил взад и вперед сторожевые всадники с луками в руках. Смерть грозила тому, кто пытался хотя бы на несколько шагов отойти в сторону. Тотчас его настигала оперенная стрела, и в степи оставался еще один труп, на добычу диким зверям.

Дубец лежал на спине между двумя сладко храпевшими половцами и даже не имел возможности пошевелиться. Ноги у него тоже были связаны и затекли. Но когда он сделал усилие и повернулся на бок, то мог шевелить пальцами и постепенно ослабил веревку на запястьях. Если человек хочет чего-нибудь со всем пылом души, то достигает своей цели. Дубец с волнением чувствовал, что мало-помалу пути уступают его упрямству. Когда уже стояла полночь и в кибитках хрипло пропели обалдевшие от скуки одинокие петухи, которых половцы возили в степи с единственной целью распределять по их голосам часы ночной стражи, руки у Ильи оказались свободными. Не много потребовалось времени для того, чтобы развязать и ремень на ногах. Дубец повернулся к одному из стражей и осторожно вынул у него саблю из ножен. Для пущей безопасности он обезоружил и другого половца. Потом с божьей помощью расправился с врагами. На несколько мгновений храп перешел в хлюпанье, когда лезвие перерезало горло, и все затихло. Это приснился воинам последний страшный сон.

Дубец лежал с окровавленной саблей в руках и не знал в этом переполохе, как ему поступить дальше. Он находился со своими стражами несколько в стороне от других пленников. Где же была Света? Как найти ее в становище, когда вокруг тысяча вооруженных до зубов половцев? Было бы безумием

встать и открыто идти по полю. Вдруг ему пришла в голову мысль надеть на себя половецкую одежду. Поминутно оглядываясь по сторонам и со страхом ожидая, что другие половцы, спавшие неподалеку, могут проснуться и обратить внимание на его движения, Дубец стащил с того мертвеца, который на глаз казался побольше, халат, напялил на свои широкие плечи, а на голову надел широкую лисью шапку. Оставалось только опоясаться саблей. Уже не думая об осторожности, Илья зашагал через спящих к тому месту, где, как скот, спали согнанные в кучу пленники и пленницы. Какой-то половец, попавший под ноги, проснулся, стал кричать, возможно выругался, и, не дожидаясь ответа, опять повалился на попону. Конный страж бросил на Дубца мимолетный взгляд, может быть соображая в ночном мраке, где он видел такого рослого сородича, но тотчас затянул унылую песню, чтобы не услыть на коне:

Кулай самый храбрый воин в улусе,  
добыл своей милой жене золотой платок.  
Вот какой Кулай храбрый воин...

Спать во время стражи не полагалось. За побег рабов, доверенных ему, хан мог покарать смертью. Кто осмелится противостоять ему?

Кулай самый храбрый воин в улусе,  
добыл своей милой жене золотой платок...

Дубец пробрался к соотечественникам и присел на корточки. Даже в своем ужасном положении, натерпевшись всяких страданий, несчастные спали, измученные долгоми переходами. Только один пленник, полуголый и с вздымавшейся высоко от дыхания грудью, лежал с открытыми глазами. Увидев склонившегося к нему половца, как естественно было предположить при виде лисьей шапки, человек, возможно умирающий, поднял изможденное лицо. Борода его была в запекшейся крови.

— Откуда ты? — тихо спросил Дубец.

Пленник с изумлением посмотрел на него.

— Дай мне напиток...

— Нет у меня воды.

— Половчанин, а говоришь по-нашему...

— Я не половчанин.

— На тебе половецкая шапка.

— С убитого снял. Сейчас двух язычников зарезал. Скажи, ты не из Переяславской земли? Не видел кого-нибудь из Дубницы?

— Не видел. Но как тебе удалось такое? Помогли и мне, брат.

— Трудно помочь. Наступит рассвет, и меня самого зарубят или стрелой убьют. Пока хочу найти, кто из Дубницы. Жену ищу. Не знаешь ее?

— Откуда мне знать твою жену. Я из Песочена. Многих женщин половецкие тащили в шатры к ханам. Может быть, и она там.

Дубец вспомнил все то, что произошло утром, и заскрежетал зубами от гнева. Всякий другой на его месте покорился бы неизбежному, он же решил, что сделает все, чтобы узнать об участии Светы и покарать за ее позор.

Кулай самый храбрый воин в улусе,  
добыл своей милой жене золотой платок...

Косматый всадник на этот раз проехал совсем близко, так, что донесся запах конского пота. Когда половец снова удалился в темноту, Илья прошептал:

— Есть ли правда на земле?



Незнакомец из Песочена дышал все чаще и чаще, и грудь его судорожно вздымалась при каждом вздохе. У него нашлось силы сказать:

— Нет правды на земле. Покинул нас христианский бог.

— Не знаешь ли, как найти мне кого-нибудь из Дубницы? — не теряя надежды Илья узнать что-нибудь о Свете.

— Как могу знать людей из другой веси?

— Куда гонят нас?

— В рабство. Еще горшие муки примешь впереди, если не умрешь, как я. А мне уже настал час умереть.

Снова медленно проехал всадник. Он вдруг перестал петь и остановил коня, затем, точно в сомнении, подъехал поближе. Даже в темноте можно было разглядеть, что лицо его выражало изумление. Вдруг он завыл, как волк, призывая к себе других стражей. Очевидно, он успел разглядеть своими зоркими глазами обман. Дубец вскочил на ноги. Но половец уже обнажил со зловещим лязгом саблю и, бросив коня рывком повода вперед, очутился около пленника и так широко занес клинок для удара, что кисть его руки очутилась за левым ухом.

Дубец не размышлял ни одного мгновения. Воистину за храбрых воинов думают их ангелы-хранители. Половецкая сабля просвистела над самой головой Ильи, но он спасся, уклонившись от удара. Во второй раз половец уже не имел времени поднять оружие — Дубец сам ударил его снизу под подбородок. Всадник вскрикнул и, как мешок, стал сползать с седла, обливаясь кровью. Сабля со звоном упала на землю. Илья схватил коня за уздечку и решил сесть на него. Злой жеребец не давался, не слушался чужого человека, крутился на одном месте, но в конце концов железная рука Дубца добилась своего. Подчиняясь жестоким ударам сабли плашмя по крупу, конь помчался туда, куда его направил всадник, безжалостно разрывавший конские нежные губы.

Уже смятение охватило все становье, хотя еще никто толком не знал, в чем дело. Позади слышались крики и топот погони. Половецкие всадники натыкались один на другого, спрашивая, что случилось, и даже осыпали друг друга бранью. Пленники проснулись, и стражи кричали на них, угрожая копьями. Просвистела стрела, догоняя какого-то беглеца, пытавшегося скрыться в ночном мраке, пользуясь суматохой...

## XXII

Когда половцы примчались на место события и увидели, что тут только что произошло смертоубийство и возмущение, Дубец уже ускакал во мрак ночи, не зная, что творится у него за спиной. Ветер свистел в ушах. Илья ушел в пахучую ночную степь, спустился в первый попавшийся на пути овраг, поросший кустарником, где он мог сломать ноги своему коню, повернул направо, чтобы обмануть преследователей, уже догонявших его с волчьим воем, и полетел дальше, благодаря судьбу за саблю, сжатую крепко в руке.

Шум погони затихал вдали. Илья понял, что на этот раз он спас свою жизнь, и остановил коня. Успокоившись немного и все время прислушиваясь, не гонятся ли за ним, беглец стал соображать, как поступить дальше. Конь по-прежнему не слушался Илью, вставал на дыбы, норовил даже укусить своего нового хозяина за ляжку. Но Дубец догадался, как справиться с конским норовом, — не слезая с седла, выломал гибкий прут и стал хлестать непокорного по ушам. Это был не его конь, а половецкий, и его не хотелось пожалеть,

как свою сивую кобылу. Потом он с силой натягивал поводья, и наконец жеребец смирился.

Но где в этот час томилась Света? Может быть, рыдала в шатре толстопузого хана? От пленников он узнал, что его звали Урусоба, и навеки запомнил это имя. Впервые в жизни Илья заплакал.

Дубец посмотрел на небо. Русь лежала в той стороне, где поблескивала Полночная звезда. Следуя за нею, нельзя сбиться с пути даже в бескрайней пустыне. Но невыразимая сила любви, что сильнее привязывает человека к человеку, чем железные цепи, влекла его в другую сторону. Света осталась там, где уже начинался едва заметный рассвет.

Это было бессмысленно и безнадежно, но три дня и три ночи без пищи и почти без питья, с трудом разжевывая порой горькие ягоды рябины или какой-нибудь знакомый с детства кисловатый листок, Дубец кружил по степи, следуя на далеком расстоянии за ордой, то прячась в оврагах, то скрываясь в зарослях тростника на берегу высохшего степного потока, отлично понимая, что приближение к половецкому стану означает смерть. Конь стал бржать, почуяв своих, и это выдало бы беглеца врагам. Не книги, а жизнь учила этого человека, труд хлебопашца заставлял его думать и размышлять о мире, о признаках хорошей и дурной погоды, с твердостью переносить несчастья и бедствия, что выпадают на долю земледельца. Суждения его были здравы, как пословицы, он знал, что надежды нет. Но этого сильного человека влекла нежность и заставляла забывать об опасности.

Орда стремительно шла на юг, в город Судак, где уже поджидали добычу работорговцы, доставив сюда для обмена на молодых невольниц и невольников греческие ткани, серебряные чаши и амфоры с вином, любезным для каждого храброго воина. Хлопали бичи. Пронзительно скрипели огромные колеса, грубо сколоченные из досок, сплошные, как днища бочек, без спиц, с деревянными осями. Не разбирая дороги, неуклюжие повозки двигались безостановочно к морю. Между двумя рядами телег гнали беспорядочным стадом пленников, и путь был усеян мертвыми телами тех из них, кто падал от усталости или истощения. Нагие тела оставлялись на съедение степным волком. Они следовали за ордой, поджигая хвосты, и низко в небесах летели стаи черных воронов, отяжелевших от обильной пищи.

Дубец тоже неотступно следовал за половцами, надеясь, что в поле вдруг появятся княжеские дружины и преградят путь врагам или каким-нибудь чудом удастся пробраться во время ночлега к пленникам. Когда же орда уходила дальше, Илья осматривал оставленное становье, тлеющие костры, от которых низко стлался дым по земле, и порой находил около них баранью кость. Нож старательно срезал с нее почти все мясо, но ее еще можно грызть, чтобы умерить муки голода.

Прошел четвертый день, и наступил пятый. Понимая, что уже ни на что нельзя больше надеяться, Илья все-таки продвигался на полдень, пока еще хватало силы сидеть на коне, то готовый разделить рабство со Светой, то ужасаясь при мысли, что она умерла для него навеки на ложе хана. На шестой день измученный жеребец отказался идти дальше, не слушался ни понуканий, ни ударов, и бока его тяжело раздувались. Тогда Дубец разумом, а не каким-то темным чувством, таящимся в глубине души, постиг, что надо остановиться. Он стреножил коня своим поясом и пустил пастись, а сам улегся в первой попавшейся яме, обнажив на всякий случай половецкую саблю.

Весь день он спал как убитый и затем всю ночь напролет; наутро, проснувшись на заре, когда в степи уже закудахтали перепела, увидел, что конь мирно пасется на том же месте и даже повернул голову к человеку, заржал, может быть просясь на водопой. Дубец прежде всего посмотрел в ту сторону,

куда ушла орда, но уже покорился своей участи. Взяв жеребца за повод, он повел его в соседний овраг, надеясь найти там воду, оставшуюся от последнего дождя. Надежда не обманула Илью. На дне длинного оврага поблескивала лужица. Человек и конь напились из нее, утолив огненную жажду.

Голод не очень сильно терзал Дубца. Все же кровь наполняла стукот уши, порой перед глазами появлялись красные круги и наступала темнота. Под вечер он увидел далеко в степи отставшего по какой-то причине от орды всадника, спешившего через необозримое поле к своим. Половец доверчиво подскакал к Дубцу, приняв по одежде за сородича. Но, поняв ошибку, с размаху остановил коня и вытаращил изумленные глаза, разглядывая встречного и медленно сдвигая шапку на затылок. Он даже не успел сообразить, что тут произошло, как Илья убил его и, поймав коня, хотел уже зарезать животное, чтобы напиться кровью, но заметил, что у седла привязана торба. Трясущимися руками он стал развязывать ремешок, страшась, что найдет в суме серебро или какие-нибудь другие бесполезные вещи. К счастью, в ней оказался ячмень. Дубец брал зерно горстями, сыпал в пересохший рот и жадно жевал...

С тех пор прошло немало лет. Дубец участвовал во многих походах с князем Владимиром Мономахом и теперь еще раз собирался сразиться с половцами.

Смятение воцарилось в половецких кочевьях, когда ханы узнали о появлении оросов, идущих не в Корсунь, а в степи. Орда кочевала далеко за Доном. Услышав о приближении врагов, ханы совещались. Урусоба безучастно говорил старому половецу, прискакавшему на заре с сообщением, что русские уже в дневном переходе от улуса:

— Скажи, Асуп, ты смотрел, как шли оросы? Что же ты видел?

— Сначала я видел горящие костры.

— Еще что ты видел?

— Множество воинов, конных и пеших.

— Слышите? — обратился Урусоба к ханам. — Почему оросы пришли к нам? Потому, что чувствуют свою силу. Такого никогда не было раньше. Мы много причинили им зла. Теперь они будут биться с нами до самой смерти. Оросы — как медведи. Если их не трогать, можно в безопасности ходить по лесным тропинкам. Но горе охотнику, если он ранит этого зверя. Полагаю, что нет большой выгоды для нас сражаться с оросами.

— Что же ты хочешь? — нетерпеливо спросил Алтунопа, самый храбрый из ханов.

— Лучше уйти подальше в степи, пока не поздно. Или будем просить мира у оросов?

Скрестив ноги, старый Урусоба сидел на войлочной попоне, на почетном месте, как самый старый. На ногах у него виднелись зеленые сапоги, снятые после какого-то боя с убитого русского боярина. Прищуренные глаза уверенно смотрели на мир. Человек рождается, живет, умирает. Пахарь сеет и жнет, кочевник пасет скот и с оружием в руках добывает все необходимое для пропитания своих детей. В мире царит порядок, выгодный для Урусобы. Но враг силен. Не лучше ли отложить битву до более благоприятного времени?

Урусоба обвел взглядом собравшихся в его шатре.

Алтунопа, нарушая обычай почитания старших, стал спорить, даже не спросив позволения говорить у старого хана. Пререкаясь с ним, храбрец спрашивал:

— С каких пор ты стал уклоняться от битв? Не боишься ли русского князя, которого зовут Мономах?

— Я не боюсь Мономаха, — отвечал Урусоба. — Ты брешешь, как вонючая лисица.

— А ты отяжелел, как старый верблюд.

— Я еще крепко держу саблю в руках.

Алтунопа в свою очередь оглядел старых воинов, позванных на совещание.

— Тогда веди нас на оросов. Или у тебя болит брюхо от кумыса?

Некоторые улыбались, пряча веселье в морщинках около глаз. Этот Алтунопа всегда скажет что-нибудь смешное. Урусоба молчал, презрительно пожевывая губами. Но молодой хан не оставлял его в покое:

— Если ты страшишься врагов, то мы никого не боимся. Уничтожим тех оросов, что пришли к нам, а потом пойдем в их землю и завладеем женами и богатством врагов.

— Глупец! Наши кони отощали за зиму, едва стоят на ногах.

— Отощали и не годятся для дальнего похода, а короткий бой выдержат. Когда же они наберут сил, мы двинемся на Русь.

Старый хан помолчал еще некоторое время. В голове у него текли невеселые мысли. Настал конец всему, если молодой половец не уважает старика. Это был плохой признак.

Потом Урусоба бросил:

— Пусть будет так, как вы хотите.

Воины бодро поднялись с попон и ковров. Все это были ловкие всадники, с кривыми ногами от многолетней верховой езды, но стройные и с легкой походкой.

— Седлайте коней! — приказал Урусоба. — Ты, Алтунопа, разведашь силы врагов и то, что они замышляют против нас.

Он снова стал непререкаемым владыкой, с того самого часа, как удовлетворил желание молодых воинов. Прошло столько времени, сколько требуется для того, чтобы обуться, повязать себя саблех, оседлать коня и, склоняясь с седла, потрепать по нежной щеке молоденькую жену. Рабы поспешно запрягли в повозки верблюдов. Орда снялась с места и грозно двинулась навстречу русским дружинам...

В христианском стане воины молились и давали благочестивые обеты. Один обещал вклад в монастырь, другой — милостыню убогим, третий — кутью. Мономах всем своим существом чувствовал приближение грозы и послал Илью Дубца с немногими отроками разузнать о намерениях неприятеля. На заре малая дружина ушла в степь, набухшую от весенней влаги. Кони не без труда передвигались по вязкой земле, но дул восточный ветер, сушил почву, и с восходом солнца пение жаворонков рассыпалось в небесах серебряным горохом.

Вскорме Дубец и его отроки увидели вдаль всадников, а сами оставались невидимыми для врагов, так как укрылись в кустах, на которых уже набухли весенние почки. Потом они убедились, что это вышел на разведку прославленный своей храбростью молодой хан. Опрометчивость помешала ему разглядеть опасность, нависшую над его головой.

Алтунопа считался во всем улусе лучшим наездником. Преимущество Ильи над этим стремительным всадником заключалось даже не в том, что он был выше его на голову, тяжелее и потому сильнее, а в страшном спокойствии при нанесении удара мечом. Он мог промахнуться, как всякий воин в суматохе конной стычки, но если меч опускался на голову противника, это означало смерть. Очень мало насчитывалось среди половцев, кто мог бы похвастать, что ему удалось уцелеть в поединке с богатырем. Только краткое время, равное мгновению ока или взмаху птичьего крыла, жил Алтунопа, когда его

поразило русское железо. Пальцы хана разжались и выронили саблю, и сам он, еще цепляясь за гриву, упал к ногам вражеского коня. Потеряв всадника, конь умчался в степь, высоко выбрасывая копытами задних ног комья земли, и, поворачивая голову, косил обезумевшим глазом в ту сторону, где остался лежать на земле его господин.

Ни один из половцев алтунопского отряда не вернулся в свое кочевье. Урусоба оказался прав — русские кони без труда настигали противника. Когда в гибели Алтунопы не приходилось больше сомневаться, старый хан покачал головой, размышляя над неразумием молодости:

— Жил храбрец, и нет его больше на свете.

Теперь для половцев не оставалось выбора. Русское войско неумолимо двигалось на них сплошным строем, с развевающимися знаменами. Ханы понимали, что уже поздно искать спасения в бегстве, — в таком случае пришлось бы бросить вежи, и весь скот достался бы русским. Надеясь на численное превосходство, кочевники решили принять бой. Два строя сошлись, и грохот сражения наполнил широкое поле.

Дубец орудовал мечом там, где рубилась конная княжеская дружина. Уже один половец свалился от его удара, второй получил удар в грудь и рухнул, широко раскинув руки. Вдруг перед Ильей появился, точно из далекого сновидения выплыл, толстый хан в зеленых сапогах, малиново-желтом полосатом халате, украшенном золотым позументом и со следами бараньего жира на драгоценной материи. Несмотря на свою толщину, старик еще крепко бился на саблях, и, только изловчившись с особенным проворством, Дубец обрушил на хана свой меч. Удар пришелся поперек груди. Урусоба осел в седле, и голова у него запрокинулась. Перед Ильей блеснули белки закатившихся глаз...

По окончании битвы Дубец долго рассматривал лицо убитого. Успел ли хан в последнее мгновение своей жизни подумать о том, что пришел его конец, что все останется на земле, как и было, — золото и радость победы, ласки молодых рабынь, а его уже не будет, и даже над его трупом побежденные половцы не насыпят памятный курган? Сегодня ты победитель, а завтра сам лежишь во прахе и твое достояние досталось врагам.

Кто-то уже снял с убитого хана пестрое одеяние и стянул с ног зеленые сапоги. Вспоминал ли он иногда, пока был жив, ту молодую женщину? Как билась она, не желая покориться его вожделению, когда рабы со смехом привели ее в шатер и оставили наедине со сладострастным ханом. Не знал Дубец, что она пыталась удавиться и тогда хан оставил пленницу и продал вместе с другими рабынями в Судак.

В том кровопролитном сражении кроме Урусобы и Алтунопы погибли еще двадцать других ханов. Страшного хана Бельдюза взяли в плен. Когда после окончания битвы русские князья совещались в шатре у Святополка, как поступить теперь, преследовать ли остатки в степях или возвращаться на Русь, Дубец привел к ним половецкого вождя.

На совете старшим считался Святополк. Хан со связанными за спиной руками стал умолять его:

— Подари мне жизнь — и я дам тебе сколько хочешь золота и коней!

Но Святополк отослал хана к Мономаху, у которого были свои особые счеты с этим жестоким волком. Это он убивал в Песочене младенцев. Отроки стали искать князя Владимира. Он объезжал поле битвы. Когда к нему приволокли Бельдюза, пленный хан стал опять умолять о пощаде. Мономах остался непреклонен. Он сказал:

— Теперь ты просишь о жизни. А сколько раз я отпускал тебя и ты давал мне клятву на обнаженной сабле, что больше не поднимешь оружие на хри-

стиан? Ты думаешь, мне не печально смотреть на моих воинов, погибших далеко от своей земли? Завтра по ним заплачут русские матери, когда узнают о смерти милых сыновей. Почему же ты сам нарушил обещание и своих не научил быть верными данному слову?

Во имя миролюбия князь махнул рукой, и отроки зарубили хана.

Приехав затем на княжеский совет, удрученный кровопролитием, но радуясь победе, Владимир опустился на ковер и произнес, снимая шлем с головы:

— Возвеселимся в этот день, в который бог сокрушил под своей пятой змеинные главы!

Победа была блестящая. Слух о ней прошел по всей земле и до самого Рима. Князя взяли тогда огромное количество челяди, коней, всякого скота и верблюдов, захватили половецкие вежи и взяли много добычи. Они возвратились в свои города с великой славой.

### XXIII

Санный путь, скрип полозьев на снегу... Это напоминало Мономаху о смерти, о том последнем часе, когда он закроет глаза и, по древнему обычаю, его повезут на санях в св. Софию, чтобы положить там, невзирая на все его прегрешения, в мраморной гробнице, рядом с возлюбленным отцом. Но эти печальные мысли уже не вызывали в душе страха, как бывало прежде, на полях битв или опасных ловах, в страшные минуты, когда ему грозила гибель и все существо его, полное жизненных сил, сопротивлялось врагам или дикому зверю. Жизнь человеческую можно сравнить с величественной бурей. Она бушует и ломает дубы, мечет молнии страстей, а потом вдруг затихает — и наступает успокоение и тишина.

Это сравнение, может быть вычитанное в какой-нибудь душеполезной книге, вызвало в памяти образ несчастной сестры Евпраксии, скончавшейся недавно и погребенной в Печерском монастыре. Вот уж чью душу воистину потрясали ужасные бури, пока она не укрылась от мирских соблазнов за монастырской стеной, подобно кораблю, приплывшему к пристани с разорванными ветрилами и сломанным кормилом.

Евпраксию еще двенадцатилетней девочкой предназначили выдать замуж за саксонского графа. Она родилась от второй жены Всеволода, половчанки Анны. С приездом молодой ханши в великокняжеском доме стало несколько меньше пахнуть церковным фимиамом. Две ее дочери, Евпраксия и Екатерина, белотелые и рыжеволосые красавицы, не любили ходить к утреням и вечерням, а предпочитали нежиться в пуховых постелях и болтать с любимыми рабынями о красивых княжичах. Их брат Ростислав, позднее утонувший в реке Стугне, тоже не отличался благочестием и вечно ссорился с монахами.

Дядя Евпраксии, князь Святослав, великий книголюб и собиратель серебряных сосудов, был женат на саксонке Оде, дочери графа Литпольда Штаденского и графини Иды Эльсторп, племянницы по отцу императора Генриха III, а с материнской стороны — папы Льва X. Но когда князь умер, Ода возвратилась с малолетним сыном Ярославом в Саксонию, закопав в землю до лучших дней сокровища мужа. Очутившись снова в Саксонии, вдова завела знакомство с одним своим родственником, маркграфом Уданом Штаденским. Однако вскоре этот властитель умер, и его марку унаследовал сын Удана Генрих, по прозванию Длинный. За него-то и собиралась Ода

выдать прелестную Евпраксию, о которой гуслиры и скальды слагали песни на Руси.

Великий князь Всеволод, дальновидный правитель и человек широких взглядов на жизнь, ничего против такого брака не имел. Одну из своих дочерей, он уже выдал за греческого царевича Леона, другую, по имени Янка, девицу с предприимчивым характером, что совершила позднее трудное путешествие в Царьград, просватал за царского брата Константина Дуку. Родство с германским кесарем тоже обещало важные связи. Запад мог пригодиться для отпора греческим домогательствам.

Евпраксии было двенадцать лет, когда ее отправили с приближенными женщинами и караваном верблюдов, нагруженным греческими тканями, парчой, ценными русскими мехами, в Саксонскую землю, где она очутилась в непривычной обстановке. В холодных каменных церквях звенели непонятные латинские молитвы. Люди здесь носили странные одежды и следовали незнакомым обычаям, хотя графы и епископы с такой же жадностью пожирали на пирах мясо, заправленное перцем, как и киевские бояре, и так же много пили вина и меда. Евпраксии надлежало изучить язык будущего мужа и его страну.

Саксонские графы жили в хорошо укрепленных замках, построенных из камня и дубовых бревен, а пахари — в жалких хижинах. Когда Евпраксия выезжала на охоту с соколами, она проносилась порой на коне мимо этих хибарок, на пороге которых стояли простодушные женщины с кучей ребят, цеплявшихся ручонками за материнское платье. Молодая княжна посвящала свое время не только развлечениям. Она прилежно изучала немецкий язык и латынь. Занятия происходили в школе Кведлинбургского монастыря, где аббатисой состояла сестра самого императора, по имени Адельгейда, образованная женщина, одна из тех, что читали не только Псалтирь, а и стихи Вергилия и Горация.

Молодой маркграф Генрих Длинный вскоре умер. Евпраксия уже собиралась возвратиться в родные пределы и так бы, вероятно, и поступила, если бы кведлинбургская аббатиса не удержала ее возле себя, лелея какие-то тайные планы. Постепенно западный воздух и всеобщее преклонение отравили молодую женщину. Она осталась в Германии, под покровительством Адельгейды, в монастыре, где она имела случай встретиться однажды кесарем Генрихом IV. Император стоял в рефектории, облаченный в черное бархатное одеяние, с тяжелой золотой цепью на груди, и за его спиной теснились придворные и епископы. Адельгейда уже успела наговорить ей об уме брата, о древности его рода и величественных предприятиях. Евпраксия успела рассмотреть, что это был человек невысокого роста, но стройный, с огненными глазами и красиво подстриженной черной бородой. Она видела порой императора, когда он выезжал на охоту в сопровождении своих графов и сокольничих или появлялся перед народом во время рыцарских состязаний, верхом на коне. Красная мантия Генриха, так называемая славоника, была такой длины, что закрывала круп белого императорского коня, а на ногах у кесаря поблескивали позолоченные шпоры. Евпраксии еще не приходило в голову, что за этой торжественностью таилась душевная растерянность и судорожная борьба за власть, основанная на призрачных правах. Империя была непрочна, как сон, хотя люди, свободно изъяснявшиеся по-латыни, и убеждали Генриха, что он является центром мироздания и хранит божественный римский закон среди варварской тьмы. Кесарь охотно верил им, хотя его царство могло рухнуть каждый час, как дом, построенный на песке.

Видимо, император оценил своеобразную красоту молодой вдовы — ее

рыжеватые косы, нежный румянец на щеках, миндалеобразные, как бы слегка поднятые к вискам глаза и свежий маленький рот.

— Кто эта женщина? — спросил он у сестры, когда увидел впервые маркграфиню.

— Вдова маркграфа Генриха.

— Благочестивая чужестранка?

— Она прибыла к нам из русской страны.

— Как же она намерена теперь поступить?

— Помышляет о том, чтобы вернуться на родину. Но я не хочу расставаться с таким сокровищем. Выдам ее замуж за какого-нибудь не очень молодого графа.

Евпраксия заметила, что ее рассматривают. Император милостиво улыбался вдове.

— Ты права, — сказал он со смехом, — это весьма редкая жемчужина. Береги ее.

— Она могла бы украсить даже императорскую корону, — ответила ему сестра. — Поговори с ней — и ты убедишься в ее природном уме и начитанности.

Аббатиса поманила Евпраксию пальцем. Та приблизилась и от смущения потупила глаза. На ней было узкое голубое платье, обтягивающее грудь.

— Ты греческой веры, дочь моя? — спросил ее Генрих.

Она вскинула на него прекрасные серые глаза.

— Люди исповедуют разные веры, но бог один в небесах, — прошептала она, опять опуская долу глаза под пронизывающим взглядом императора.

Адельгейда многозначительно посмотрела на брата и сказала:

— Ты слышал? Что я тебе говорила...

Он тоже покачал головой, удивляясь быстрому ответу Евпраксии и еще более — восточной красоте. И, уже не в силах сдержать себя, стал в лицо восхищаться прелестью маркграфини.

Евпраксия снова вскинула глаза на императора, осмелев посмотреть на него в упор. Тот день был полон для нее огромного волнения, и она не могла забыть о нем до конца своих дней. Ей казалось тогда, что на земле возможно счастье. Все наперебой высказывали ей похвалы. За столом император посадил Евпраксию рядом с собой и любезно угощал вином.

Как известно, недавно скончалась императрица Берта, супруга кесаря. Но, видимо, Генрих не очень-то скорбел по усопшей, если судить по его поведению на том пиру. Во всяком случае, он не сводил глаз с Евпраксии, то и дело поднимал чашу за ее красоту, и тогда все вставали, с грохотом отодвигая скамьи, и громкими криками приветствовали маркграфиню. Император сидел вполоборота к своей соседке, и колени их касались под столом.

— Ты придешь сегодня в мою опочивальню? — тихо прошептал он, склоняясь к доблестительной красавице.

Евпраксия вспыхнула, как копна сухих снопов, зажженная молнией на холме. Вскочив со своего места и устремив взоры к небесам, где искала защиты, так как вокруг были чужие и неприятные лица, она спросила:

— Разве я не достойна твоего уважения?

Глаза ее наполнились слезами.

— Почему ты плачешь? — удивился Генрих, не привыкший к тому, чтобы ему отказывали.

— Я плачу от оскорбления.

Видя происходящее, сидевшие за столом графы умолкли и смотрели во все глаза на императора и его соседку. Он нахмурился и махнул рукой на любопытных. Тогда зеваки опустили глаза в свои кубки.



- Ты не хочешь любить меня? — спросил он Евпраксию снова.
- Почему ты спрашиваешь меня о любви?
- Я хочу, чтобы ты была моей этой ночью.
- Я только тогда буду твоей, если наш союз благословит епископ.
- О, мне тяжело ждать так долго, пылая страстью к тебе.
- Это не страсть, а похоть.

Императору казалось, — может быть, под влиянием выпитого вина, — что он влюблен, как юный оруженосец, и он черпал в этом не испытанном никогда чувстве неизъяснимую сладость. Он не разгневался и не посягнул на Евпраксию. Его сердце подобрело, и какие-то новые пути открывались в неожиданно вспыхнувшей любви к молодой вдове.

Вскоре Кведлинбург осадили восставшие на императора рыцари. В аббатство, где под опекой Адельгейды проживала Евпраксия, доносился шум перебранок, которые горожане затевали на городских стенах с пьяными рыцарями. Иногда глухо бил о камень медный таран. В такие минуты воздух был насыщен тревогой. Казалось, что вот рухнет башня и тогда произойдет что-то страшное. Генрих часто появлялся в монастыре. Еще более бледный, чем всегда, он часами просиживал в кресле, о чем-то размышляя. О чем он думал? Евпраксия страшилась оставаться с ним наедине, хотя придворные уже называли ее в глаза и за глаза невестой императора. Действительно, императорские войска освободили крепость от осады, Генрих обвенчался с маркграфиней и издал манифест, в котором предписывал молиться во всех церквях за новую императрицу, — а ей тогда едва ли исполнилось двадцать лет.

В те дни в Киеве пас Христово стадо греческий митрополит Иоанн Продром, ученый муж и красноречивый оратор, дядя Феодора Продрома, небезызвестного стихотворца и автора «Комментариев к канонам Иоанна Дамаскина», того самого, что был так пламенно влюблен в Феофанию, дочь магистра Музалона. Поэт не мог позабыть ее и после того, как она стала супругой князя Олега и удалилась на остров Родос, ни в самые благополучные свои дни, наполненные царскими милостями, когда он пользовался покровительством императрицы Ирины, богомольной супруги Алексея, и считался в Константинополе самым любимым поэтом, ни в самые горестные, хотя бы во время этой ужасной болезни, когда он заразился оспой, потерял все свои волосы и стал совершенно рябым, или когда его обвиняли повсюду, что он не верит в бога, за что стихотворец и был уволен из школы св. Павла. Может быть, только в припадке зубной боли, — так как надо сказать, что Продром очень страдал зубами, и до такой степени, что незначительного роста зубодер, хотя и вооруженный щипцами, какими можно было бы вырвать даже клыки у вепря, казался ему Гераклом, — этот человек забывал о той, кому тайно посвящал свои стихи. Однако, выйдя от врача на улицу, он уже снова вспоминал о ней, держась за щеку и вызывая смех у прохожих своим искривленным ликом...

Но все то, что имеет отношение к жизнеописанию его дяди, митрополита Иоанна, связано только с высокими помыслами. На Руси этого иерарха звали пророком Христа, и у него учился литературному мастерству черноризец Иаков, автор жития Бориса и Глеба, один из тех, кто украшал свой слог метафорами и привычные для слуха название города Новгорода заменял выражением «полуночные страны» или чем-нибудь подобным. По поводу брака Евпраксии с саксонским графом митрополит написал небольшое сочинение, в котором осуждал совершающих литургию на опресноках и увещевал русских князей не отдавать своих дочерей в западные страны. Впрочем, некавшеный хлеб, на котором совершали евхаристию, был только пред-

логом. Здесь в борьбу вступали два разных мира, два разных мировоззрения.

Владимир Мономах с неизменной почитательностью выслушивал советы митрополитов, а поступал всегда так, как считал нужным. Так же действовал и его отец, великий князь Всеволод. Как бы там ни было, но Евпраксия очутилась в самой гуще мировых событий. Как раз тогда Константинополь порвал с Генрихом IV и его ставленником папой Климентом (его называли в Италии «антипапой») и завязал переговоры с папой Урбаном II. Последний преуспел в борьбе за обладание Римом и торжественно вступил в Вечный город. Антипапа вынужден был удалиться в тихую Равенну. Энергичному Урбану даже удалось посредством брака герцога Вельфа с Матильдой Тосканской объединить военные силы Южной Германии и Северной Италии. Чтобы пресечь эти козни, император Генрих IV поспешил со своими рыцарями перейти через Альпы. Его местопребыванием сделался небольшой городок Верона. Несколько позднее туда явилась по вызову супруга и императрица Евпраксия и впервые в жизни увидела южное небо, голубеющие холмы Италии, розовые миндальные деревья в цвету, лазурное море...

Но все это было заманчиво только в поэмах итальянских стихотворцев или даже в латинских сочинениях, а в действительности жизнь Евпраксии напоминала ад. Надменность императора вызывала общее недовольство. Его обвиняли даже в том, что он совратился в ересь николаитов и не только принимал участие в мессах, на которых взывали к Вельзевулу, но и вынуждал к этому свою невинную и юную супругу.

Уже много лет спустя, когда истерзанная и опозоренная на весь мир, от киевского торжища до Рима, Евпраксия возвратилась в отчий дом и сестра Янка приняла ее в свой монастырь, она рассказала обо всем в порыве покаяния. Властная, не знающая снисхождения к человеческим слабостям и грехам, считающая, что всякая христианка имеет полную возможность оградить себя от козней дьявола, прибегая к посту и молитве, Янка испытывала Евпраксию, заставив сестру вывернуть наизнанку всю свою потрясенную женскую душу.

Жилищем для Янки служила бревенчатая келия, и эта маленькая избушка под яблоней не походила на прочные каменные дома в Кведлинбургском аббатстве. Вместо черного распятия в углу горела розовая лампада перед печальной греческой богородицей. Сердце Янки можно было бы сравнить с неуступчивым резцу мрамором. В черном одеянии, с неподвижным восковым лицом и пухлыми руками, игуменья торжественно восседала в кресле, как имела обыкновение делать, когда читала наставления какой-нибудь провинившейся монахини. Евпраксия устроилась напротив, на неудобной деревянной скамье у самой стены, и смотрела через голову Янки на икону, страшась неумолимых глаз сестры. Монахиня расспрашивала ее без всякой пощады, безжалостно касаясь самых болезненных душевных ран.

Речь шла о ночных бдениях в мрачной веронской церкви, сложенной из грубого камня и древних римских плит, куда собирались в великой тайне император и некоторые приближенные графы, а вместе с ними и простые конюхи и грубые воины, совращенные в новую веру. В этих мессах принимал участие даже один толстый епископ, осмелившийся заглянуть в самые глубины преисподней.

Евпраксия на всю жизнь запомнила те страшные ночи. В низенькой, сыроватой и освещенной только немногими тусклыми светильниками церкви люди переходили с места на место, как тени. Даже эти безумцы не осмеливались совершать подобные дела при солнечном свете. Они стояли перед алтарем в черных плащах, опустив на лица куколки, точно стыдились друг друга. Так это и было. У Евпраксии сильно и глухо билось сердце. Все вокруг

казалось страшным и соблазнительным. Любое нечаянное прикосновение к телу вызывало дрожь, озноб, желание закричать. Незримо среди этого греховного наваждения присутствовал сатана. Не преобразился ли он в облик кесаря?

— Что ты видела там? — допытывалась Янка, спустив одну ногу в черном башмаке со скамеечки на пол и вцепившись обеими руками в подлокотники. — Что ты творила там?

— Стыд не позволяет мне говорить об этом.

— А тогда ты не стыдилась?

— Я поступала так по принуждению, слабое существо.

— Мучениц тоже принуждали. Но они предпочитали претерпевать великие мучения, чем отречься от Христовой веры. К чему принуждали тебя?

Евпраксия закрыла лицо руками и зарыдала. Она была еще в светском одеянии. На ней жалко висело красное платье иноземного покроя, донашиваемое в Киеве.

Монахине стало жаль эту несчастную женщину, которая была ее родной сестрой, находившуюся в каком-то ином мире.

— Плачь! Плачь! — сказала она горестно. — Слезы очищают душу. Когда ты расскажешь мне, что сотворила, покаешься в своих грехах, то облегчишь свои плечи от тяжелой ноши. Я сестра твоя, желающая тебе добра.

Вытирая платком слезы, Евпраксия, за эти десять лет превратившаяся в старую женщину, начала перед Янкой свою печальную повесть, спотыкаясь на каждом слове:

— Эти обидни служили не богу, а сатане... Я не знаю, кто первый помыслил о подобном. Может быть, сам кесарь. Или его соблазнил тот епископ, что держал в руке не крест, а ногу козла с черным копытцем и ею благословлял нас...

От этого рассказа Янка отпрянула, как от страшного видения, и схватилась рукою за сердце, точно со своей неприступной и благостной высоты заглянула в некую черную пропасть, где гнездились ехидны и василиски.

Такие же чувства испытывала и ее сестра.

— Я ужасалась так, как если бы спустилась в преисподнюю, где царствует дьявол. Все во мне трепетало от страха, и в этом ужасе я испытывала неизъяснимую сладость. В церкви было почти темно. Люди тихо пели. Я не постигала смысла слов, плохо зная латынь. Мне сказали, что это были христианские молитвы, которые произносились наоборот. Начиная с последнего слова и кончая первым.

— Не молитвы, а заклятья, — прошипела в изнеможении Янка.

— Не знаю... Меня поили вином из причастной чаши. Должно быть, в него были примешаны ароматические снадобья. От них у меня кружилась голова. Помню лик кесаря. У него глаза горели адским огнем. Он сказал мне с сатанинской улыбкой: «Пей! Ты ведь любишь меня!» Губы у него дрожали. И борода. Как у дьявола...

Евпраксия уже не могла остановиться и рассказывала о своем падении в бездну. Перед ней пылали очи Генриха. Их нельзя было забыть. Потом издали донесся дьявольский смех жирного, розовощекого епископа, осмелившегося, в полном облачении и в золотой митре на голове, коснуться ее с похотливым желанием.

— Когда я очнулась, то увидела, что лежу на алтаре. Епископ, который помогал моему мужу возложить меня на алтарный мрамор, шептал мне, что я вечерняя жертва...

— Что еще было? — шепотом спросила Янка.

— Меня вынуждали к разврату. Однажды в день пятидесятницы Генрих привел в мою опочивальню молодых людей и требовал, чтобы я отдавалась им. И еще худшие мерзости испытала я. Это был сам дьявол в образе человека. О кесаре рассказывали...

— Что рассказывали о кесаре?

— Не знаю, истина это или клевета. Будто бы когда некий граф совершил насилие над его сестрой, то Генрих помогал ему в этом преступлении... Грехи его так велики, что обо всех невозможно рассказать тебе... Но пощади меня! Пощади!

С этими словами Евпраксия упала на колени и обнимала ноги сестры, умоляя ее о жалости. Янка гладила рыжеватые волосы грешницы. В этом золоте уже было много белых нитей. Монахиня сама стала всхлипывать. Слишком страшной оказалась та бездна, в которую она должна была заглянуть. А что же переживали люди, побывавшие там? Будет ли прощение за подобные страсти?

Все осталось так далеко. Кведлинбург... Майнц... Келья... Потом блаженные небеса Италии... Верона... Замок Монтевoglio... Каносса... Неприличные названия ничего не говорили Янке, но Евпраксии они напоминали о потрясающих переживаниях, о чудовищных муках, о поправленном женском стыде. И в то же время ее жизнь на единый миг озарилась небесной любовью. Горше срама, который она испытала, ничего не может быть на земле. Но что осветило эту мерзость? Улыбка Конрада, прекрасного сына императора, хотя краткое счастье этой встречи запятнали грязные помыслы кесаря. Однажды он потребовал, чтоб Евпраксия отдалась Конраду на его глазах. Влюбленный тогда в императрицу, чистый юноша не посмел осквернить ложе отца. Генрих кричал ему в исступлении:

— Ты не сын мой! Ты отродье того швабского графа, с которым спала Берта, пока я воевал с саксонцами...

## XXIV

Евпраксия считала бы, что человеческая жизнь сплошной ад, если бы не было тех сладостных поделуев. Ей всегда казалось странным, что нежная душа Конрада могла родиться в стенах королевского дворца, неуклюже сложенных из грубых камней, среди едких запахов конюшни и вони, доносившейся порой из подвальной темницы. Она в первую же встречу отличила его от тысячи других рыцарей. Кажется, граф Конрад был единственным среди них, кто даже в отсутствие кесаря не кидал на нее похотливых взглядов. Кроме того, граф с большим чувством играл на виоле и любил говорить о необыденных вещах и уже тем одним не походил на остальных людей.

Впервые молодая императрица увидела Конрада на пиру. Генрих в тот день сидел за столом в мрачном расположении духа и хмуро грыз куриную ножку. Место Евпраксии всегда было рядом с ним. Напротив, по другую сторону стола, белокурый Конрад ел вареные яйца, очищая их тонкими пальцами от скорлупы и макая в солонку. За вторым, более длинным, столом насыщались графы и епископы. Дело происходило в одном из замков, где, кроме императрицы, не было ни одной знатной женщины.

Вдруг двое из присутствующих затеяли ссору. Они сидели на дальнем конце большого стола, и Евпраксия не слышала, с чего все началось. Один из споривших был граф Мейссенский, другой барон Карл. Генрих перестал есть и с интересом следил за перебранкой, но не остановил крикунов. Видимо, он даже испытывал тайное удовольствие оттого, что рыцари готовы сцепиться

друг другу в космы, надавать один другому оплеух. Это предвещало, что завтра оба придут к нему с жалобами и тогда можно будет узнать любопытные подробности о том, как эти люди относятся к своему императору и что замышляют против него. Но ссора зашла на этот раз слишком далеко и превратилась в драку. Краснорожий граф разорвал барону рубашку на груди, повалил старика на пол и стал бить его оловянным кубком по голове. Тот вопил. Все это за одно какое-то глупое слово, показавшееся обидным гордому саксонцу. Император смеялся, глядя на эту картину, и все вторили ему громким ржанием, потому что лежавший на полу барон продолжал кричать, смешно задирая тощие ноги. Конрад вскочил, его красивое лицо потемнело от гнева, и, сжимая кулаки, он бросился на помощь избиваемому.

Евпраксия перепугалась, когда началась драка. Ей казалось, что рыцари схватятся за мечи, висевшие на стене за их головами, и с волнением смотрела на Конрада. Действительно, юноша совсем не походил на кесаря. Может быть, от матери унаследовал он эти льняные волосы, падавшие длинными волнистыми локонами на узкие плечи? Евпраксия услышала его голос:

— Остановись, граф! Неужели тебе не стыдно поднять руку на старика?

Она подумала, что Конрад был единственным человеком за столом, который понял, что поступать так недостойно, и прекратил избивание. Барон Карл поднялся, вытирая пальцем кровь на разбитой губе. Потом стал приводить в порядок одежду, сердито оглядывая врага и заодно всех сидевших за столом. Но что он мог поделать с этим саксонским великаном, способным побороться с быком? А теперь у него уже не было сыновей, которые защитили бы его.

Конрад помог барону подняться с земли и сказал:

— Сядь на скамью и выпей меду, это подкрепит тебя.

Обращаясь к тяжело отдувавшемуся графу, он прибавил:

— Разве не стыдно тебе обижать человека, у которого три сына погибли в сражениях за своего императора?

Граф Мейссенский отвернулся.

Между тем старик уже отдышался и снова как ни в чем не бывало тянулся за пищей. Кесарь нахмурился. Вероятно, ему стало стыдно, что не он прекратил нелепую ссору и упустил случай показать свое благородство. У него были на то особые соображения, а этот молокосос осмелился наводить порядок в его присутствии! Генрих не знал, что сказать сыну, чтобы поставить его на место, однако он понял, что много потерял в глазах Евпраксии. В ее глазах он прочел благоволение к Конраду и едва скрытое презрение к себе самому. Как бы то ни было, трапеза продолжалась. Слуги поспешили принести еще несколько кувшинов вина.

На другой день, неожиданно услышав грохот подков, Евпраксия выглянула из окна на глубокий замковый двор. Внизу, у широко распахнутых ворот конюшни, откуда вечно долетал запах навоза, на белом жеребце сидел Конрад, в скромном сером плаще, без шляпы. За спиной у него висела на широком ремне знакомая ей виола. Два молодых рыцаря только что вывели коней, и те волновались, прядали на задние ноги, быстро перебирая передними, в нетерпении от предстоящей поездки. Она знала обоих. Одного звали Сигизмунд, другого — Рудольф. Первый, с рыбьими глазами, длинноносый, был и молчалив как рыба, второй любил рассказывать на пирах про монахов и монахинь легкомысленные притчи. Он и теперь рассказывал что-то смешное, размахивая одной рукой, пока конюх укрощал его коня, и пятнадцатилетний паж Лоренцо, родом итальянец, звонко смеялся.

Евпраксия не выдержала и крикнула, приложив руку ко рту:

— Конрад!

Граф поднял изумленные глаза, и то же сделали остальные. Ослепитель-но сияли белоснежные зубы на смуглом лице паж.

— Милый Конрад! Куда ты собрался? — спросила она.

Прежде чем ответить императрице, он весь просиял в улыбке, и ей показалось, что среди этих унылых каменных стен и круглых башен с черными бойницами вдруг стало светлее, повеяло чем-то чистым, точно на тесный замковый двор прилетел ветер с горных лугов, где уже распустились весенние цветы.

— Мы отправляемся на прогулку. Не желаешь ли поехать с нами?

Приближался вечер, жара спала. От слов, долетевших до нее, у Евпраксии потеплело на сердце. Как приятно подышать свежим воздухом! Но что скажут люди? Кесарь был в Вероне и не мог вернуться раньше завтрашнего утра, и представилось, что она имеет право совершить прогулку верхом на коне, когда весна расцвела на зеленых лужайках. Как девчонка оглядываясь по сторонам, как будто бы императрица могла спрятаться от любопытствующих взглядов, со всех сторон следящих за каждым ее движением, она крикнула:

— Подожди меня!

— Я сам оседлаю твою лошадь! — ответил радостно Конрад.

Евпраксия кивнула ему головой и побежала, вся раскрасневшаяся от волнения, к ларю, где хранились ее платья.

— Эльза! Эльза! — звала она служанку, но та не откликнулась.

Наконец послышались шаги прислужницы.

— Где ты пропала?

Выбрасывая на пол разноцветным ворохом ненужные одежды, Евпраксия выбрала самое любимое свое платье, из красной материи с золотыми украшениями на поясе. В таком трудно было сидеть на коне. Но ведь она отправлялась не на охоту, где требуется свобода движений.

Переодевшись, императрица быстро сбежала по лестнице, с такой поспешностью, что за нею едва успевала следовать служанка, а старая графиня Эльвира, делившая ее одиночество в замке, всплеснула руками от изумления.

— Вот и я, — сказала она, глядя на одного Конрада.

Граф склонился, скрестил пальцы... Евпраксия поставила на них ногу в зеленом башмачке, и он помог ей вскочить на лошадь. Чувствуя ногами теплый бок гнедой кобылицы, молодая женщина с удовольствием покачивалась в седле. Рядом с нею ехал Конрад. Они переговаривались о незначительных вещах — о хорошей погоде, о том, что жеребец графа перестал хромать, благодарение богу. За ними двинулись в путь рыцари и смешливый итальянский паж. С железным скрежетом и в лязге цепей опустился подъемный мост и тяжело лег над пропастью крепостного рва. Подковы четко простучали по деревянному настилу. Упираясь кулаками в бока, конюхи с удовольствием смотрели на коней, на богатую сбрую, на ловких наездников.

От замковых ворот по холму змеей извивалась дорога. Вскоре всадники спустились по ней в долину и переехали через другой мост, каменный и горбатый, еще от римских времен перекинутый над горным потоком. Дальше серебрились оливы. Евпраксия оглянулась на замок. Он молчаливо и грозно стоял на возвышенном месте.

За оливковой рощей, проезжая улицей бедного селения, мимо жалких хижин, крытых тростником, Евпраксия увидела, что около деревенской капеллы собралась толпа людей. Мужчины и женщины были одинаково скромно одеты, в домотканом полотне и овчинах. Первые — в коротких коричневых штанах и некогда белых рубахах, вторые — в серых и зеленых платьях, с красными платками на головах. Тут же шныряли под ногами

у взрослых стайки полуголых детей с перепачканными рожицами. Бритый старый монах с розоватым гуменцом на седой голове и в черной одежде, подпоясанной ремешком, отдавал распоряжения землекопам, что трудились, как муравьи, в яме с кирками и лопатами в руках.

— Что они делают? — спросила Евпраксия у Конрада.

— Может быть, строят новую капеллу? — ответил он вопросом. — Но я спрошу.

Он крикнул по-итальянски, обращаясь к монаху:

— Отец, над чем вы трудитесь здесь?

Только тогда люди, занятые работой, обернулись и увидели нарядных всадников и среди них супругу императора.

Монах, кланяясь, непрестанно твердил:

— Мы производим земляные работы, чтобы положить основание нового храма.

Из любопытства Евпраксия направила лошадь в толпу и подъехала ближе к яме, вырытой около капеллы. Поселяне расступились перед императрицей, и женщины улыбались ее великолепию. Монах продолжал униженно кланяться.

Она увидела под ногами кобылицы глубокий ров, очевидно приготовленный для того, чтобы укрепить в нем краеугольный камень здания. Но двое землекопов с трудом вытаскивали из земли беломраморную статую, изображавшую нагую женщину. Несколько веков, проведенных в крошечной тьме, в сырости и вместе с червями, нисколько не угасили сияние ее тела и томную улыбку на устах.

Монах воскликнул, всплеснув руками:

— Венера!

Все с изумлением взирали на это вдруг появившееся из праха чудесное творение художника.

— Венера на месте построения святого храма! — негодовал монах.

Послышались непристойные шутки и женский смех. Суровый монашеский голос приказал:

— Джулио, разбей киркой непотребную девку!

Молодой поселянин, белокурый, нагой до пояса, один из тех, что только что вытащил статую на дневной свет, взглянул на монаха веселыми глазами и, поплевав на руки, ударил киркой по мрамору.

— Еще! Еще! — требовал монах.

Землекоп вошел в раж. Мраморная голова с волнистыми волосами отлетела в сторону, все так же храня блаженную улыбку на чувственных губах. Женщины, видимо, одобряли гнев монаха. Перед их взорами лежала бесстыдно обнаженная женщина. Евпраксия тоже узнала в ней свои ноги, бедра, грудь, чрево и все свое женское существо. Ни она, ни Конрад не нашли нужным остановить уничтожение статуи. Ведь ее нашли на том месте, которое предназначено для построения храма. Это создание дьявола было великим соблазном для христиан. Но ей почему-то стало грустно, когда кирка окончательно уничтожила статую и все увидели, что красота превратилась в обломки обыкновенного камня. Переглянувшись с Конрадом, они поехали дальше. Уже вдали начали голубеть вечерние холмы.

Евпраксия чувствовала, что молодой граф не презирает свою мачеху, несмотря на всю мерзость, в какую ввергли ее люди. Императрица видела это по его почтительным взглядам. Когда они остались вдвоем на дороге, потому что итальянский паж стал осматривать ногу своего споткнувшегося коня и оба рыцаря тоже слезли со своих жеребцов, чтобы достойным образом обсудить этот интересный случай, она тихо спросила спутника:

— Конрад, что ты думаешь обо мне?

Граф ответил не сразу,— очевидно, не хотел отделаться пустячной фразой. Он окинул долгим взглядом голубые холмы на краю неба и замок на горе, уже ставший розоватым от лучей солнца, приближающегося к закату. Может быть, вспоминая какие-нибудь примеры из священного писания, он вдруг ответил по-книжному:

— Жертва вечерняя...

Она не поняла, что он хочет сказать, и переспросила:

— Не презираешь ли ты меня?

Из женской стыдливости и гордости Евпраксия никому не рассказывала о том, что ей приходится переживать по воле своего безумного супруга. Только значительно позднее, уже будучи не в силах нести в одиночестве страшное бремя, императрица открылась на исповеди духовнику в непотребстве своей жизни. Однако она страшилась, что многим известно — ведь людей нельзя заставить молчать,— в каких ужасных пороках она невольно принимала участие. Должен был слышать об этом и Конрад.

— Не презираю,— наконец промолвил он.— Как брошу в тебя камень, когда, может быть, и я нахожусь во власти сатаны? В императора вселился бес. Я говорю тебе, как нежно любимой сестре: беги из этого ада, или ты погубишь свою душу навеки.

— А ты?

— Он отец мне. Куда мне бежать от него? Я наследую престол.

— Мне тоже некуда бежать.

— Беги куда угодно, лишь бы спастись от греха. Вернись в свою страну.

— Разве это так просто? Меня схватят на дороге и обвинят в измене.

Конрад поник головой.

— Я знаю, что это не легко. Но моим отцом все больше и больше овладевает безумие.

Холмы сделались совсем голубыми. Сигизмунд и Рудольф вздумали состязаться в быстроте боевых коней и умчались в далекие поля, усыпанные белыми и розовыми цветами. За ними увязался маленький паж, горланя во всю глотку.

— Конрад, пожалей меня!

Он впервые заглянул ей в глаза.

— Если не пожалеешь, я удавлюсь.

— Императрица, это великий грех! — взволнованно зашептал принц.— Обещай мне, что никогда не посягнешь на свою жизнь. Я буду помогать тебе во всем, не щадя сил. Но разве позволено поднять руку на отца?

— Кто говорит тебе об этом?

— Меня толкают на отцеубийство. Я знаю. Вся Германия шатается, как ярмарочный плясун на канате. Вот-вот все рухнет и распадется. Людям становится страшно жить на земле.

Евпраксия никогда не поднималась до такой высоты, откуда становятся ясными государственные соображения. Ей просто хотелось ощутить тепло человеческого участия в своей страшной судьбе.

Конрад мечтательно смотрел вдаль. Точно отчаявшись в возможности разрешить земные противоречия в этой греховной жизни, он произнес со вздохом:

— О, если бы мир был другим!

— Что ты говоришь? — не поняла императрица.

— Если бы мы все стали бесплотными...

Она расширила глаза и, глядя прямо перед собой, не поворачивая к Конраду лицо, спросила:



— Как ангелы?  
— Подобно ангелам.  
— Разве это возможно?  
— Если бы мы сделались бесплотными, у нас не было бы нужды принимать пищу, утолять жажду, испытывать греховные страсти.  
— Но такой мир обрек бы себя на гибель.  
— Немногого стоит этот мир с его грехами и проклятьем в поте лица добывать свой хлеб! — воскликнул граф.

Евпраксия подумала, что это не соответствует истине. Тысячи крестьян трудились на нивах, чтобы пропитать семью императора и его двор, прихлебателей, шутов и слуг. Но ей не хотелось осуждать Конрада, искать неправду в его словах или уличать его в ошибках. Лицо молодого графа светилось редкой красотой. Белый высокий лоб, прямой нос, хорошо очерченный рот. И эти льняные волнистые волосы, падавшие на самые плечи. Он вздыхал о бесплотности людей. А юная императрица всем своим женским существом тянулась к нему. Она не привыкла размышлять о первопричинах, зато явно чувствовала, что без своей плоти не могла бы испытать того сладостного волнения, что наполняло всю ее душу в эти мгновения.

— Конрад! Конрад!

Евпраксия закрыла руками лицо и бурно расплакалась.

Но Конрад только говорил, что хотел быть бесплотным. Придвинув своего коня вплотную к кобылице Евпраксии, он стал отнимать ее руки от лица. Слезы текли по ее щекам, как алмазы. Уже не отдавая себе отчета в том, что делает, граф обнял спутницу и с волнением почувствовал в своих объятиях горячее женское тело. Конрад приник к устам императрицы...

Уже ночной мрак спустился на землю. Там была росистая лужайка, покрытая цветами. Конрад разостлал свой серый плащ. Издали долетали голоса Сигизмунда и Рудольфа, разыскивавших в темноте исчезнувших спутников. Но самым звонким был голос итальянского пажа. Видимо, он кричал, приложив руки корабликом ко рту...

Все снова встретились у замковых ворот около полуночи. Воины, несшие стражу, держали в руках зажженные смоляные факелы. Лоренцо испытующе вглядывался в лицо императрицы. Конрад объяснил рыцарям, что они заблудились в ночных полях.

Ту ночь император вынужден был провести в Вероне, где происходило важное совещание с некоторыми итальянскими графами. Весь день Генрих советовался с ними, под каким предлогом снова начать борьбу с Матильдой. Он устал от этого непрерывного напряжения и не имел достаточно сил, чтобы до наступления ночной темноты вернуться в свою резиденцию. Но наутро, увидев припухшие губы императрицы, язвительно спросил:

— Что с твоим ртом? Не укусила ли тебя золотая пчелка?

Снова началась прежняя жизнь. К счастью, императрица забеременела. Ей хотелось, чтобы ребенок был от Конрада и походил на него глазами, локонами, ростом, нежными руками. Однако даже появление на свет младенца не избавило Евпраксию от унижений. Кесарь так грубо издевался над нею, что монахи и поэты не осмеливались записывать в своих хрониках и поэмах, в которых воспевали красоту императрицы и оплакивали ее участь, его ругательства, а ограничивались стыдливими намеками, страшась сатаны. Когда же ребенок умер вскоре после рождения и его похоронили, Евпраксия решила бежать от дьявола, каким ей представлялся теперь супруг, страшный человек в черном одеянии до пят и с золотой цепью на впалой груди. Служанки донесли о ее планах, и Генрих заточил императрицу в замковую башню.

Почти три года Евпраксия томила в высокой каменной башне как бы между небом и землей, поблизости от облаков и в лазури, где скользили легкие ласточки и не было слышно человеческих голосов. В узкую бойницу она могла видеть извилистую дорогу, спускавшуюся с холма. Порой по ней двигалась деревенская повозка на двух высоких колесах, проезжали всадники с поджарыми охотничьими псами, шел одинокий путник с посохом в руках. Но окошко во двор не выходило, и узница не знала, что там творится. А между тем сюда часто приезжал Конрад. Два или три раза Евпраксия узнавала его на дороге, и у нее начинало сильнее биться сердце. Ему никогда не удавалось подняться по лестнице на башню, передать заключенной записку с утешительными словами. У дверей днем и ночью стояли на страже преданные кесарю, неподкупные воины.

Генрих одерживал победу за победой, и Евпраксия уже оставила всякую надежду на освобождение. Пала неприступная Мантуя, оплот Матильды, и папа Климент вновь занял Рим. Но на этом и закончились успехи германского императора. В довершение всего Конрад, его нелюбимый сын, уже будучи не в силах переносить грубые насилия над своей совестью, перешел на сторону тосканской герцогини.

Генрих удалился в один из своих неприступных замков и проводил там время в полном бездействии, жил как во сне, порой помышляя о том, чтобы покончить все расчеты с жизнью. Она сделалась безрадостной и одинокой, император нес ее теперь как тяжелое бремя. У него не оставалось даже желания бороться за власть.

Между тем, когда стали производить расследование по делу об измене Конрада, допрашивая под пыткой конюхов и служанок, монахов и всех, кто попадался под руку, выяснились его подозрительные связи с супругой кесаря. Тогда ее тоже подвергли тщательному допросу.

Императорский нотариус добивался от Евпраксии:

— Скажи всю истину — и всемилостивый господин наш простит тебя, так как обладает благородным сердцем и справедливостью.

— Мне нечего сказать, — отвечала измученная узница.

Но опытный в подобных делах нотариус, бритый, преждевременно польсевший, курносый, провел не один год в застенках и судилищах, поэтому не прекращал допроса, надеясь добиться своей цели. Он был в длинной темно-зеленой мантии и маленькой черной шапочке, едва прикрывавшей розовую лысину, и представлялось невозможным вообразить его в другом наряде.

— Скажи, не прелюбодействовала ли ты с графом Конрадом? — допытывался нотариус.

Евпраксия молчала, опустив голову. Краткие встречи с сыном кесаря остались для нее единственным светлым воспоминанием в страшной жизни, и она не хотела запятнать эти мгновения признанием перед палачами.

— Скажи, не посещал ли тебя граф Конрад в твоей опочивальне?

— Не посещал.

— Не прикасался ли он к тебе в какой-нибудь иной горнице?

Ответа опять не последовало.

— Почему же ты молчишь? Может быть, ты откроешь нам, что тебе было известно о намерении графа бежать и изменить своему отцу и государю?

— Я ничего не знала о намерениях Конрада, — чистосердечно ответила Евпраксия.

— Странно, странно... — тянул нотариус, поглаживая бритый подбородок и не спуская с допрашиваемой маленьких оловянных глаз.

Во всяком случае, стражу у дверей башни, в которой сидела в заключении

императрица, усилили. Она все-таки нашла возможность войти в сношения с Матильдой и обратилась к ней с просьбой о помощи. Никто не знал, каким образом Евпраксии удалось переслать письмо. Однако для честолюбивой тосканской правительницы обращение Евпраксии было большим козырем в этой игре не на жизнь, а на смерть. Оно давало ей возможность окончательно опозорить кесаря и показать всему миру его грязную душу. После соответствующей подготовки, разведав обо всем, что касалось охраны заключенной, граф Вельф отправился с отрядом испытанных воинов на выручку несчастной и освободил ее. Евпраксия благополучно прибыла в Каноссу.

Мономах был прав, когда сравнивал жизнь сестры с бурей или с челном в житейском море. Подобные сравнения использовали и те поэты, что сочиняли целые поэмы о супруге безумного императора. Но разве думала она, покидая в слезах милый Киев, что ей назначено судьбой носить императорскую корону и вместе с тем стать притчей во языцех всей Европы, принимать участие во всех мерзостях кесаря и в конце концов послужить причиной его гибели?

Евпраксию встретили в стане Матильды как мученицу и оказали ей императорские почести. Авторы латинских хроник называли тосканскую герцогиню новой Деборой, сравнивали ее военные успехи с победами Израиля над амалекитянами. Во всяком случае, это была очень деятельная женщина. Она решила воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы нанести Генриху последний удар. В Констанце и Пьяченце были созваны соборы, на которых обсуждались жалобы Евпраксии. Уже не щадя себя, императрица поведала о всех гнусных пороках, в каких против своей воли принимала участие. Ей верили. Настолько необычной казалась судьба этой женщины, что на Евпраксию даже не наложили епитимии, посчитав, что она только уступала насилию. Публичные признания ее окончательно подорвали у Генриха возможность оказывать сопротивление папе. Все было использовано, чтобы растоптать кесаря. Он вызывал теперь у всех благомыслящих людей гнев и отвращение. Так слабая женщина отомстила ему за поругание души и тела.

Генрих все-таки попытался вымолить прощение у папы и отправился в покаянное паломничество под стены неприступной Каноссы. Стояла зима, и в горах выпал снег. Босой, в одежде кающегося грешника, кесарь смиренно просил прощения, замерзая под молчаливыми стенами, за которыми схоронилась и его бывшая супруга. Но напрасно он ждал примирения. Папа Урбан даже не потрудился взглянуть на него с высоты каносской твердыни. Только Евпраксия, закутавшись в мужской плащ с копушоном и в сопровождении верной прислужницы, взойшла на башню. Скоро ее глаза привыкли к темноте и стали различать отдельные предметы. Она увидела на снегу одинокую человеческую фигуру. Это стоял, в черном плаще, император Генрих, ее муж. Евпраксия прошептала:

— Зачем я встретилась с тобою?

Еще раз перед нею возникли белые своды кведлинбургского рефектория. Император милостиво улыбался ей, одетый в черное одеяние, с золотой цепью на груди...

Порвав с кесарем, Евпраксия поселилась во дворце Конрада. Он и его супруга, нормандская принцесса Констанция, приняли самое теплое участие в судьбе изгнанницы. Но кто узнает, о чем она думала в одинокие итальянские вечера, когда перебирала в памяти все пережитое и старалась позабыть обо всем? Душа ее стала как ночь. Королева исподтишка смотрела на Конрада, спрашивая его недоуменными взглядами, как поступить с несчастной императрицей. Когда о ней заходила речь, мужчины ухмылялись,

кумушки перешептывались, указывая пальцами на эту увядшую красавицу, когда она тихо брела в церковь или по делам благотворительности, чтобы замолить свои грехи. Даже священники приходили в ужас в часы ее покаяния. Ей уже ничего не оставалось, как похоронить себя в монастыре.

Вскоре она покинула прекрасную Италию и перебралась к своей тетке Анастасии Ярославне, бывшей королеве угров. Однако в те дни в Венгрии произошла смута, король Соломон, сын Анастасии, укрыл свою мать и жену в замке Агмунд, и там старуха закончила свои земные дни. На престол взошел Коломан. К нему однажды прибыло посольство с Руси, и Евпраксия, воспользовавшись этим случаем, возвратилась на родину.

Связь между Русью и Венгрией в те годы была довольно оживленной. Все время из угорской земли приходили в Киев торговцы, странники, порой послы, и рассказы о том, что произошло с Евпраксией на чужбине, проникли в русские хоромы, докатились до торжища, даже до кабаков, где потешали народ скоморохи. Когда пронесся слух, что кесарь Генрих IV умер, его вдова постриглась в монастыре Янки. Два года спустя скончалась и Евпраксия и была погребена в Печерском монастыре. Над гробом своей сестры Владимир Мономах воздвиг великолепный терем, зная о ее высоком звании. Но простым людям, не книжным, молившимся у часовни, не приходило на ум, что в этой гробнице лежит императрица Священной римской империи.

## XXV

Дубы уплывали в зимнюю мглу и таяли, сливаясь с голубоватым туманом, постепенно наполнявшим солнечный день. По-стариковски помогая себе руками, Мономах повернулся в санях и поманил красной рукавицей Дубца. Дружинник тотчас подъехал и склонился с коня, вопросительно глядя на старого князя.

— Не вспомнишь, какой был день, когда убили Урусобу? — спросил Владимир, проверяя свои мысли.

Илья Дубец на всю жизнь сохранил в памяти ту битву.

— Апреля в четвертый день, князь.

В подтверждение того, что это именно так, Мономах молча закивал головой, как бы говоря:

«Совершенно верно, апреля в четвертый день».

Войско двинулось в путь на второй неделе великого поста и в пятницу уже очутилось на Суле, а в субботу на Хороле, где бросили ненужные больше сани, так как началась распутица. В воскресенье пришли на Псел, а оттуда направились к реке Ворскле и там со слезами целовали крест на том, что все готовы испить смертную чашу.

Как всегда, Илья находился при князе Владимире, в его конной дружине. Но знатные воины еще не забыли, что Дубец родом из простых смердов и только по милости князя носит меч на бедре, и поэтому порой смотрели на него с пренебрежением, особенно на пирах, хотя никто не затевал с ним ссор, зная тяжкую руку дружинника, ни перед кем не потуплявшего своих очей. Впрочем, когда дружина выходила в поле и начинала петь перед битвой серебряная труба, лица у всех обращались к нему. Мономах говорил про Дубца:

— За его спиной могут спать без заботы.

Когда княжеский конный полк строился клином, чтобы врезаться в полчища врагов, Дубец неизменно занимал в нем краеугольное место, и меч его не знал пошады.

На этот раз князья решили пойти северным путем, и реки переходили в верховьях.

Во вторник на шестой неделе поста русские перешли по льду Ворсклу и приблизились к Северному Донцу. Дальше уже лежало Дикое поле. Мономах надеялся, что найдет половцев среди зимних становищ, прежде чем они успеют откочевать на юг, на свои весенние пастбища в солончаках на берегу моря.

Подобно многим другим воинам, Дубец, видевший немало испытаний на своем пути, закалился в борьбе и привык терпеливо переносить стужу и голод, раны и болезни. Как и князь Владимир, он отличался умеренностью в еде и не предавался похоти.

Илья вышел в поход с деловитым спокойствием, сам осмотрел оружие и коней, позаботился, чтобы ни в чем не оказалось изъяну, проверил каждый ремень на сбруе, провел пальцем по обоим лезвиям своего меча. Однако и от холопов Дубец требовал, чтобы все в его хозяйстве содержалось в полном порядке, и в этом отношении тоже походил на своего князя. Время настало трудное, и приходилось быть строгим к самому себе и другим. Каждый час могли появиться половцы, а за всякое упущение приходилось платить христианской кровью.

На берегу Северного Донца князья построили войско в боевой порядок, и в таком построении полки направились через степь, к таинственному городу Шаруканю. Вскоре воины увидели среди ровной местности поселение, обнесенное невысоким валом и укрепленное частоколом. Над двумя воротами возвышались приземистые бревенчатые башни. Город точно вымер. Но чувствовалось, что за оградой стоят люди и наблюдают прибытие русского войска.

Князья остановились, выехав вперед живописной кучкой всадников, на разномастных конях и все в красивых корэзах, в парчовых шапках, опушенных мехом, и тоже смотрели на странный город. Дубец, бывший с ними, слышал, как они переговаривались между собою:

— Там живут половцы, принявшие христианскую веру,— говорил Святополк.

— Не половцы, а беглецы, ушедшие от бояр,— спорил с ним другой князь.

— Не половцы и не беглецы,— утверждал третий,— а живут в Шарукане пленники, знающие какое-нибудь ремесло, нужное для половецких ханов.

Было известно, что город раньше назывался Асенева, по имени того хана, на дочери которого Мономах женил своего сына Юрия. Вероятно, обитали там и пленники, и беглецы от боярского гнета, и также половцы, может быть действительно принявшие христианскую веру.

Илья Дубец думал, что город придется брать приступом. Но у Мономаха родился в уме другой план. Он велел попам и монахам, сопровождавшим войско в походе, выйти вперед с крестами в руках и петь тропари. К удивлению русских воинов, городские ворота вдруг растворились и оттуда вышли жители, неся князьям на вышитых полотенцах рыбу и вино.

К сожалению, не так благоприятно обошлось со вторым городом, попавшимся на пути. Он назывался Сугров, по имени другого прославленного хана, взятого однажды русскими в плен во время набега половцев на Переяславскую землю и отпущенного за большой выкуп. Жители Сугрова отказались отворить ворота. Князья вопросительно смотрели на Владимира Мономаха, который считался начальником всех воинских сил.

Князь долго не мог успокоить плясавшего коня. Наконец, натянув поводья, с искривленным от усилия ртом, и не отрывая глаз от безмолвных

валов, на которых замечалось какое-то движение людей, проговорил хмуро:

— Дорог каждый день. Не можем долго стоять под городом.

— Как же нам поступить? — спросил Святополк.

— Возьмем на щит.

Город был взят приступом и сожжен, в наказание за то, что стал на пути к русской победе.

Войско по-прежнему двигалось вперед в боевом порядке, развернутым широко строем, тремя полками. Такое построение замедляло поход, но князья могли при нем легче отразить неожиданные наскоки половцев. Откуда бы они ни появились, всюду их ждал отпор.

Дубец слышал, как ехавший на сивой кобыле пожилой монах, от не привычки к верховой езде вцепившийся в гриву, объяснял любителю разговоров о божественном и странном Мстиславу Владимировичу:

— Половцы вышли вместе с другими племенами из Етравинской пустыни между востоком солнца и полуночью. Таились там четыре колена. Одно из них и есть половцы. Так свидетельствует Мефодий Патарский.

— Мефодий Патарский...— видимо, не без удовольствия, повторил князь Мстислав, первенец Мономаха.

Ехавшие поблизости дружинники слушали рассказ монаха тоже с почтительным вниманием. Но в это время труба подала знак остановиться на ночлег. Всадники легко спрыгнули с коней, с удовольствием разминая ноги. Монах неуклюже сполз на животе с коня и отдал лошадь княжескому конюху, радуясь, что избавился от нее. Началась обычная суета, как бывает при устройстве стана. Воины ставили шатры для князей, прилаживая коновязи, перекликаясь между собою и ссорясь из-за места; другие повели коней на водопой; третьи стали собирать все, что годилось для огня, чтобы развести костры. Монах присел у одного из них, где на ковре полулежал князь Мстислав, еще молодой человек. Ему хотелось возобновить книжную беседу. Инок не заставил просить себя дважды.

— Неправильно утверждают некоторые, — поводит он перстом в воздухе, — будто половцы — сыны Амона. Болгары, живущие на Волге, и хвалисы — те родились от дочери Лота, зачавших от отца своего. Сарацины же происходят от Измаила, рожденного от рабыни, хотя и выдают себя за детей Сары и поэтому называют себя так. Ведь это значит: мы Сарины сыновья.

Мстислав чувствовал, что он следит за ходом мировых событий и сам участвует в них. Вот завтра он обнажит свой меч и будет сражаться с теми, о ком писал Мефодий Патарский!

— А половцы? — спросил он.

— От них и половцы. Однако после этих четырех колен выйдут при конце мира еще многие другие племена, заклепанные Александром Македонским в горе.

Дубец слушал этого тщедушного человека, такого жалкого верхом на кобыле, но обладающего великими познаниями о народах, стараясь не проронить ни одного слова. Перед книжником были открыты все тайны мира. Таких людей надлежало хранить как зеницу ока. Впервые Илья пожалел, что книжная премудрость недоступна для него. Он сказал монаху:

— Отче, сядь поближе к огню. Ночь сыра.

Костер разгорался, и от него шло приятное тепло. Зажав в руке мочальную бороденку, поглядывая на жарящееся на углях мясо, инок, которого звали Поликарп, уселся поудобнее на конской попоне рядом с Ильей.

Мстислав мечтательно смотрел на огонь. О чем думал этот женолюб и читатель книг? Вспоминал о своей последней победе? Кто мог устоять

перед его красотой, княжеским положением, богатством? Сколько раз он перелезал через частокол боярского двора, а преданный отрок ждал его всю ночь с конями в темном переулке. Псы в такие ночи предусмотрительно сажались на цепь, а сторож спал, упившись медом. Но, может быть, завтра его поразит половецкая сабля и уже ничего не будет, ни пламенных лобзаний, ни соловьиной песни в саду, ни шелеста книжных страниц?

— Не готово ли брашно? — с деланным равнодушием спросил Поликарп. В походе, на свежем воздухе, святой отец проголодался и хотел разрешить себе вкушение запретной для монахов мясной пищи.

Один воин поспешил потыкать ножом в кусок конины. Княжеские отроки убили вчера дикую лошадь стрелами.

— Еще не готово, — ответил воин.

В ожидании ужина монах продолжал свои захватывающие рассказы о племенах и коленах.

— Что еще написано в книгах о наших временах? — вздохнул Дубец. — Когда же выйдут эти народы из горы?

— Никто не знает ни часа, ни дня.

— И тогда наступит конец мира?

— Небо свернется, как свиток, а землю пожрет огонь.

Дубец тоже чувствовал с трепетом, что прикасается к страшным тайнам мироздания.

Монах отличался словоохотливостью.

— Могу еще рассказать о том, что сам слышал из уст новгородца Гюряты Роговича. Он так говорил мне: «Послал я своего отрока в Печеру, к людям, дающим дань Новгороду. Отрок пробыл там некоторое время, а потом направился в землю Югры. Язык этого народа непонятен для нас. Соседствует Югра с самоядью, что обитает в дальних полуночных странах. Ловцы сообщили там отроку о странном чуде. Будто бы это началось три года тому назад. В тех странах стоят высокие горы, заходящие за морскую луку; и в них слышен глухой говор. Какие-то люди секут камень секирами, желая выйти из горы. Они уже прорубили малое оконце и что-то кричат оттуда и машут руками, показывая на железо. Если кто им дает нож или топор, тому они дарят драгоценные меха».

Дубец подумал, что немало всяких чудес на земле, и сказал со вздохом:

— Хотел бы и я посмотреть на такое.

Монах покачал головой.

— Путь в те страны преграждают снег, пропасти и тернии. Так меня уверял Гюрята. Но полагаю, что это и суть люди, заклепанные македонским царем.

И он многозначительно поднял перст.

Илья слышал, что был некогда царь, завоевавший весь мир и собравший огромные богатства, но завидовавший бедняку, которому жилищем служила бочка. Об этом рассказывал однажды на княжеском пиру один воин, проживший много лет в Греческой земле и научившийся там языку греков.

Но инока занимали и земные дела.

— Теперь уже испеклось, — заметил он, с некоторым нетерпением поглядывая на пламеневшие уголья.

— Еще надо попечь немного, — вежливо возразил ратник, занимавшийся приготовлением ужина и приученный жизнью к терпению.

— По какой причине заклепаны эти народы в горе? — спросил Мстислав, оторвавшись от приятных воспоминаний.

Монах стал объяснять:

— Александр Македонский дошел в своих походах до восточных пределов земли и там встретил нечистых людей из племени Иафета. Они пожирали всякую скверну. Комаров и мух, кошек и змей. Мертвецов те люди не погребали, а питались трупами. Увидев это, царь Александр устрасился, что подобные человеки могут размножиться на земле и осквернить ее, поэтому загнал их в отдаленнейшие страны. По божьему повелению горы сдвинулись со своих мест и сошлись так, что заперли эти народы, как в темнице. Остался только проход шириной в двенадцать локтей. Царь велел поставить там медные ворота и помазать их синклитом...

— Синклитом? — повторил с почтением Илья.

— Синклитом. Свойство его таково: если помочить этим снадобьем что-либо, то такую вещь невозможно ни огнем сжечь, ни железом уничтожить.

— Ныне эти скотоподобные люди сидят за медными воротами? — удивлялся старый дружинник. — Почему же они не ломают их?

— Столпы воротные необыкновенной прочности.

— Не перелезут через них или не откроют запоры?

— Полагаю, что сделать это невозможно, ибо все предусмотрел царь. Может быть, нельзя прикоснуться к тому, что помазано синклитом?

Монах потянул длинным носом воздух.

— Теперь уже готово, — сказал он в предвкушении вкусной еды.

Дружинники, молчавшие во время беседы, пока речь шла о трудных для них явлениях, теперь засуетились. Один из воинов вынул копьем обуглившееся, но сохранившее свой сок мясо; другой ловко отрезал от него кусок и прежде всего протянул князю Мстиславу на ломте хлеба. Второй достался монаху, из уважения к книжной учености.

— Тебе, отче, — сказал воин.

Проголодавшиеся дружинники вонзили крепкие зубы в пахнущую дымком конину. Соль заменял пепел, прилипший к мясу. Меду в обозе уже не оставалось. Впрочем, это был не пир, а походный ужин для подкрепления сил. Приходилось торопиться с едой, чтобы отдохнуть немного, а на заре снова выступить в путь. Ночь уже давно покрыла мраком безмолвные поля. Звонко журчал в соседнем овраге весенний ручей. Под ногами хлопала лужи. Сотня всадников, вытянувшись гуськом, ушла в ночное охранение. Оставшиеся в стане воины перед тем, как прилечь на часок, говорили о самых обыденных вещах. Чему быть, того не миновать, и цари в битвах погибают. Один из ратников просил друга:

— Жив не буду — побереги, Иване, мою овчину.

И тот смеялся в ответ:

— А если я не вернусь, скажешь в Переяславле, что жил на земле воин Лыко и нет его больше на свете.

Где-то далеко по ту сторону степи, стояли половецкие вежи. Слухи о походе русских князей уже пронеслись с быстротою оленя из одного улуса в другой. Но какая-то сонливость охватила половецких ханов, и они все не могли принять окончательного решения: уходить ли поскорее к морю или выступить против оросов? Уже многих отважных воинов не насчитывалось в половецком станове. Погиб Алтунопа, храбрейший из храбрых, пал Урусоба. Много других ханов полегли в степи под русскими мечами. Только хан Боняк еще лелеял в своем сердце злую месть князю Владимиру Мономаху.

Как и во время первого разгрома половцев, Мономах использовал все благоприятные обстоятельства: зима была на исходе, половецкие кони ото-



шали. Но у Боняка билось в груди горячее сердце, ему не терпелось отомстить за гибель братьев. Хан сидел в своем шатре, с удовольствием расположившись на приятных подушках. Нет ничего хуже для воина, как мягкое ложе, шелковые одежды, обильная пища. А рядом сидела на ковре молодая ханша, которую он отыскал, как жемчужину в навозе, в дальнем становье. Лицо Зелги было белее снега, глаза полны огня, а лобзания ее слаще меда. За спиной любимицы стояли другие жены, некоторые с детьми на руках; сыновья приехали в тот день в шатер отца, молчаливо расположились на ковре. Посреди вежи, как положено от древних предков, тлел огонь в очаге, сложенном из полевых камней. Его поддерживали верблюжьим навозом, смешанным с прошлогодними злаками, и синий дымок поднимался к отверстию, проделанному вверху юрты.

Повторилось все то, что было в прошлый раз. Всадники примчались на взмысленных конях, чтобы сообщить потрясающую новость. Один из них, старик с морщинистым лицом, сидел перед ханом. Щуря глаза на огонь, он рассказывал:

— Я ехал день и ночь и еще полдня. Я молил звезды, чтобы они помогли мне разыскать прославленного хана. Ибо нет более знаменитых воинов на земле, чем хан Боняк и его сыны. О них знают даже в том городе, где живет патриарх. И звезды привели меня к твоему шатру, великий хан.

— Что еще расскажешь, старая лисица? — улыбался Боняк, польщенный хвалебными словами. Он был доволен, что в тот день все собрались вокруг него — сыновья и жены, старые и молодые, весь род, все потомство, которое прославит его подвигами и завоеваниями.

Хан, уже молодой человек, с лицом до того обветренным степными выюгами, что оно стало цвета меди, еще сохранил силу и мужество. На лбу и щеках у него виднелись болячки, от которых его не могли излечить самые старые знахари.

— Я насчитал много, много оросов, — докладывал старый половчанин. — Остановившись у одного водооя, я слышал от торков, что князь Владимир ведет огромное войско. Они видели ночью зарево от вражеских костров. Много крови прольется на земле.

Боняк помрачнел. Подтверждались степные слухи, бежавшие, подобно зайцам, из улуса в улус.

— Что еще говорили тебе эти собаки? — спросил он, презируя торков, как своих рабов.

— Говорили, что у оросов сильные кони и множество пеших воинов.

— Но правда ли это? — удивлялся хан. — Оросы всегда ходят с западной стороны.

— На этот раз они идут с восточной. Будь бдительным, великий хан!

Боняк задумался. Мономах хочет отрезать его от моря? Этот князь окидывает орлиным взором течение рек и пространство между ними и выбирает ту дорогу, которая нужна ему. В глубине души хану не хотелось еще раз садиться на коня. На очаге варился вкусный рис, доставленный в степь на верблюдах из той далекой страны, где водятся зеленые птицы, по рассказам купцов. Там плещется теплое море. Но есть своеобразная сладость и в степной жизни. Вежа полна мягких подушек. Зелга шуршит шелком при каждом своем томном движении, и ее золотые серьги слегка покачиваются в маленьких розоватых ушах, когда она смеется. Поистине она подобна редкостному цветку. Один путешественник, проезжавший степью в страну серов, самых справедливых людей на земле, почитающих законы, рассказывал хану, что красоту половецких женщин воспевают персидские поэты, сравнивая их

с нежными розами Ширази, а очи половчанок с глазами газели. Если бы они видели его Зелгу, эти стихотворцы, они, наверное, сложили бы в ее честь не одну песню.

Боняк задумался о своей жизни. У него было все, что только может пожелать человек. Власть и богатство, здоровье, — ведь от болячек его обещали исцелить, — наконец, молодая жена, осветившая его жизненный путь своею утренней зарей. Он владеет табунами горячих коней, стадами скота, верблюдами и рабами. Всем известно, что повелитель степей свободен, как птица, может передвигаться от высоких гор, из-за которых восходит солнце, до богатых рыбью русских рек. На эти берега половцев манили тучные пастбища, обилие воды, множество всякого зверя и возможность врасплох нападать на богатые города.

Зелга улыбалась ему, шелк женственно обтягивал ее бедра. Сердце хана наполняла до краев старческая нежность. Ему казалось, что никого на земле не любил он так, как Зелгу. За одно прикосновение к ее телу он готов пойти на смерть. Он льстил себя надеждой, что и маленькая ханша любит его, хотя бы за славу и богатство. Ну что ж! Пусть она знает, что ее повелитель еще в состоянии держать саблю в руке и вести конницу к победам. Этот проклятый князь всюду настроил бревенчатые остроги, насыпал валы, устроил сторожевые вышки. Стоит только появиться вблизи от русских пределов, как дымы начинают подниматься с них к небесам и уже русские кони наполняют топотом степь. Теперь он покажет ему, что нельзя безнаказанно приходить в половецкие степи. Старый Боняк еще раз победит врагов и тогда подарит Зелге новых рабынь, а на деньги, вырученные от продажи военной добычи, купит для нее у греческих купцов еще больше шелковых одежд и золотых запястий, обует ее маленькие ноги в башмачки из зеленого сафьяна. Надо платить за краткое человеческое счастье...

Русские лазутчики, выехавшие ночью далеко в степь и приблизившиеся к половецкому становью на опасное расстояние, слышали, как вдали закрипели колеса, заржали кони и закричали верблюды. Очевидно, это поднялась с насиженных зимних становищ половецкая орда. Дубец жадно втягивал ноздрями воздух. Ему показалось, что он чувствует запах дыма. Значит, враги близки и только что затоптали свои костры. Каждая минута промедления могла быть роковой. Необходимо было тотчас повернуть коней и предупредить князя. Вместе с Илей выехали в ночное поле несколько храбрых отроков. Разбрызгивая лужи, всадники понеслись по направлению к русскому стану.

Жестокая битва произошла в марте месяце, в 24-й день, в пятницу, на речке Дегее. За всю свою жизнь Дубец не видел более кровопролитного сражения. Вновь половцы потерпели страшный разгром. Тысячи их легли на поле. Целые табуны гривастых коней носились по степи, призывая тревожным ржанием своих мертвых хозяев. Многие половцы пытались бежать пешими, оставив на произвол судьбы вежи, но беглецов достигали на сытых конях княжеские отроки, рубили их или вязали и приводили пленниками в свой стан.

В полном отчаянии, направо и налево хлеща плетью и опасаясь, что враги могут захватить вежи с женщинами и детьми, а вместе с ними и его Зелгу, Боняк еще раз собрал всю свою конницу и сам повел ее на русских. Он надеялся на численное превосходство орды, и когда сошлись два строя, раздался грохот, подобный небесному грому.

Половцы, как черные тучи, обложили со всех сторон русские полки, но воины не дрогнули и стойко выдержали удар. В это время на агарян с обеих сторон ударила княжеская конница и стала рубить их на реке Сальнице, пока

В этот день светлый князь Владимир,  
по прозванию Мономах,



сын Всеволода, внук Ярослава  
великую победу одержал над врагами"

у отроков не устали руки. Их кони были откормлены тучным ячменем, а половецкие не имели силы в ногах, и монах Поликарп даже утверждал, когда миновала всякая опасность и он снова вылез на свет божий, что своими собственными глазами видел, как ангелы принимали участие в битве и поражали врагов огненными мечами.

Немало и русских воинов легло в этом сражении. Увидев такое множество бездыханных тел, Мономах снял с головы позолоченный шлем и помолился о душах убиенных.

В тот день русские захватили половецкие вежи, и Зелга досталась Мстиславу. Боняк едва спас свою жизнь, скитался где-то, оплакивая бедственную судьбу побежденных.

Слушая рассказы Ильи Дубца об этой битве, Злат сложил песню о ней. Он пел ее на княжеских пирах, перебирая золотые струны:

В тот день светлый князь Владимир,  
по прозванию Мономах,  
сын Всеволода, внук Ярослава,  
великую победу одержал над врагами,  
множество скота захватил,  
коней и верблюдов,  
и половецкие вежи взял  
с большим богатством,  
тысячи пленников привел на Русь  
и возвратился с победой,  
и слава, подобно грому,  
по всей земле о нем гремела,  
до самого Рима...

## XXVI

Каждый думал о своем в этом долгом зимнем пути под заиндевевшими дубами — кто о славе, а кто о горячей гороховой похлебке с солониной. Перед глазами Злата вдруг предстал боярский двор. Но странно. Вспомнилась не пламенная боярыня, а девушка, несшая два ведра на коромысле. Он радовался, надеясь скоро увидеть старую кузницу у Епископских ворот. Что пожелает Лада, то и будет с человеком. Так сказал ему старый волхв, встреченный однажды на лесной муромской дороге.

Князь Ярополк послал тогда Злата и еще одного отрока, которого звали Никола, в Муром, к своему отцу князю Мономаху, пребывавшему там временно, чтобы обсудить с местными пресвитерами строительство каменной церкви. Отправили отроков со спешным извещением, что в Переяславле представился епископ Сильвестр, прославленный летописатель. Вокруг пахло смолистой хвоей. Синие мухи летали в зеленоватой лесной полутьме. Юноши ехали верхами, не очень сокрушаясь о смерти иерарха, по узкой дороге в глухом лесу. О чем убиваться? Такая участь людям: старикам умирать, молодым жить. Вдруг, уже недалеко от города, попался им на тропе странного вида человек преклонных лет. Это был старец с длинной и уже позеленевшей бородой, одетый в домотканую рубаху до колен и порты, босой. В руке он держал узловатую палку. Путник сошел с дороги, чтобы уступить проезд богато одетым юношам, которых он, может быть, принял за княжичей, и смотрел на них из-под косматых седых бровей. Никола рассмеялся:

— А ведь ты колдун. Вот убьем тебя, и греха нам за это не будет.

Но Злат сказал:

— Зачем убивать старца? Что он сделал тебе?

И, обратившись к лесному жителю, попросил:

— Если ты действительно волхв, то лучше открой нам: что станет с нами завтра и потом?

Старик медленно поднял костлявую руку, когтистую, как орлиная лапа, отчего у отроков, несмотря на летний день, мурашки забегали по спине, и произнес глухим и как бы загробным голосом, обращаясь к Злату:

— С тобой будет, что Лада пожелает...

— Что Лада пожелает?

— Будешь много чад иметь.

— Добрый тебе путь, человек,— поблагодарил гусляр за благоприятное предсказание.

— А со мной что будет? — самоуверенно спросил Никола, долговязый и прыщавый сын знатного боярина и толстой надменной боярыни, считавшей, что все лучшее на свете должно принадлежать ее бестолковому отпрыску.

— Тебе голову отсечет секира...— тихо проговорил волхв, все так же сумрачно глядя из-под кустистых страшных бровей.

Эти слова привели отрока Николу в негодование.

— Вот я тебя сейчас самого мечом проколю,— вскрикнул в сердцах обиженный в лучших своих чувствах дружинник, хватаясь за оружие,— убью тебя, как старого пса!

— Не убьешь,— возразил волхв и безбоязненно смотрел на разгневанного отрока.

— Кто мне помешает сделать так?

— Еще не пришел мой час.

Никола был вне себя. Если бы не Злат, удержавший его руку, то, наверное, старец закончил бы свои дни в тот час на глухой лесной дороге от железа. Но гусляр сказал приятелю:

— Не видишь разве, что человек уже ума лишился от старости? Велика честь — старца безоружного поразить мечом.

Ругая на чем свет стоит колдуна, Никола вложил оружие в ножны с красивым медным наконечником и поехал дальше, оглядываясь со злобой на старика. Тот тоже долго смотрел им вслед, опираясь на посох. Этот человек водил знакомство с бесами, знал, что предстоит завтра людям, какая погода и какой урожай будет, и лучше было бы Николе не сердить его. Злат и сам тогда еще не знал, что белоzubая девчонка с двумя ведрами на коромысле спустя два года обратится в красавицу.

Любава видела, что на заре мимо кузницы проехали дружинники, направляясь на полночь по черниговской дороге, и успела рассмотреть среди них того самого отрока, с которым она разговаривала на боярском дворе. Тот же белый полушубок, подпоясанный ремешком с серебряными украшениями, и сабля на бедре. Молодой воин красовался на коне, как сокол на горделиво поднятой рукавице ловчего. Всякий раз, когда девушка приходила на тот двор за водою, она вспоминала встречу с отроком и сегодня все ждала, не поедут ли всадники в обратный путь, возвращаясь в свой город. Беспокойная жизнь была у этого гусляра! Кому он пел песни? Кому играл на звонких струнах? При этой мысли на сердце у Любавы делалось так грустно и в то же время так сладко, что она возвращалась домой с улыбкой, мерно ступая под тяжестью ведер, до краев наполненных водою.

— Чему радуешься? — спрашивали ее недоуменно встречные на улице.

— Как же мне не радоваться,— отвечала она,— вот весна стучится уже в наши ворота.

А сама думала, что весна — это тот золотокудрый отрок, с которым она говорила на боярском дворе, отрок с гусями за плечами, в красном корзне, на сером коне в яблоках.

Люди только покачивали головами. Кто разгадает, что у пятнадцатилетней девицы на уме? Но улыбка освещала не только девическое лицо, а и все, что попадалось на пути Любаве, весь мир. А вернувшись в хижину, она ставила ведра на земляную скамью и долго глядела в воду, рассматривая свое отражение на черной глади, колеблемой при всяком движении деревянного сосуда. Малейшая зыбь искажала ее черты. Когда водная поверхность успокаивалась, Любава видела там, как в заманчивом страшном омуте, свою красоту.

— Вот я какая...— шептала она.

Любава жила с отцом и матерью, другие ее сестры умерли во время мора. Мать, суровая и богомольная, если видела убогого или странника, выносила ему с молитвой из хижины кусок каравая. Отец Любавы был прославленный на весь город кузнец. Он не только подковывал лошадей и чинил повозки, но и ковал мечи и мог выполнять всякое медное и даже серебряное художество. Этот сильный и бесстрашный человек, сын Сварога, как его называл поп Серапион от святого Михаила, обличавший кузнеца во многих прегрешениях, любил веселие и порой приходил в свою хижину с песнями, хлебнув меда в корчме, которую держал на черниговской дороге странный человек родом не то из Сурожа, не то из Персиды и, по словам того же священника, знакомый с волшебством. Возвращаясь однажды домой со свадебного пира у боярина Фомы, но увлеченный дьявольским наваждением за городские ворота, случайно не запертые в тот поздний час, Серапион явственно видел, как из двери корчмы вырвалось зеленое пламя с дымом и мохнатый бес омерзительного вида, быстро перебирая в воздухе копытцами, помчался в город и проскользнул в воротную щель, оставив после себя легкий запах серы. Серапион побежал за чертом, надеясь молитвой обратить его в ничто, но тот исчез по направлению епископского двора. По правде говоря, у корчмаря было такое темное лицо и глаза так напоминали адские уголья, что некоторые его самого принимали за исчадие преисподней.

В праздничные дни Любава ходила с матерью в храм, где покоилась в мраморной гробнице княгиня, о которой рассказывали, что она приехала на Русь из-за моря. Девушка надевала свой нарядный сарафан, голубой, с серебряным позументом и медными пуговичками в виде бубенчиков. Когда она шла по улице, шарики звенели едва слышно и напоминали людям о ее молодости и нежности. Мать, отправляясь к обедне, обвязывала голову красным повоем, а дочь украшала свои волосы цвета спелого ореха широким серебряным обручем с подвесками из сребреников и витых колец. Отец говорил, чтобы они шли и что он вот-вот догонит их по дороге, но часто сворачивал назад к Епископским воротам и направлялся к корчме Сахира, где его уже поджидали приятели — отрок Даниил, простого происхождения, хотя и весьма начитанный человек и любитель всяких греческих басен, и гончары из соседнего посада. Пока кузнец проводил время греховным образом, хотя ему за это попадало от сварливой жены, Любава с матерью слушала божественное служение. Держа в руках какой-нибудь благоуханный цветок, она стояла в прохладном храме, и ее душу охватывала странная церковная красота, какой не было в обыденной, ежедневной жизни. Высоко над головой повисли легкие как дым своды; оттуда на нее смотрели огромные глаза богоматери, ей улыбались ангелы в розовых и голубых одеждах, с широкими лебедиными

крылами, строго взирали седобородые пророки с развернутыми свитками в руках, и казалось, что пройдет еще мгновение — и все они оживут и заговорят с нею, а голоса певчих рассыпались бисером в гулком воздухе. Впереди стояли нарядные горожанки, позади — жены бедных людей. Но никогда Любава не встречала в церкви молодого гусяря.

Злат часто появлялся у кузницы. Иногда он подъезжал к навесу и просил подковать своего серого коня в яблоках. Кузнец Коста хорошо знал свое ремесло, с большим удовольствием ковал мечи или серебряные водолен и крепко прибывал подковы. Но у гусяря то и дело терялось железо. Однажды Любава даже слышала, как отец спросил у отрока:

— Часто теряет твой конь подковы. По каким горам едешь?

Отрок беззаботно тряхнул кудрями:

— Я потеряю — другие найдут.

— Всякому хочется найти подкову на дороге.

— Пусть радуется путник своей находке.

— А ты разоришься.

— Зачем беречь богатство? Оно как дым.

— Не напасешься на тебя железа.

— Скоро серебряными подковами буду коня подковывать...

Кузнец выпустил из черных рук крепкую, но обтянутую нежной, гладкой кожей конскую ногу и задумчиво посмотрел вдаль. Только гусярям дан дар говорить так красиво. Из таких слов они складывают свои песни.

Любава, сидевшая в своей избушке за прялкой, слышала весь разговор настороженным ухом, притаясь за оконцем и улыбаясь сама себе. Необоримая сила толкала ее встать и посмотреть на молодого отрока. Она положила веретено на скамью и потянулась, зарумянившаяся как заря. Но мать строго окликнула ее:

— Почему работу покинула?

Любава прядла волну для торгового человека, что раздавал шерсть по домам.

— Хочу на улицу посмотреть.

— На улице все как было. Пряди прилежнее.

Любава вздохнула, и снова ее ловкие пальцы стали крутить послушное пряслице. В утешение себе она запела тихим голоском:

Крутись, крутись, мое веретено,  
тянись, тянись, волна.  
Длинной будет моя нить,  
девичья судьба...

Ей только украдкой удавалось иногда поговорить с гусярем, и то лишь в присутствии подружки Настаси, дочери другого кузнеца. Настася завидовала Любаве:

— У твоего гусяря голубая рубаха и корзно, как у княжича. Он зеленые сапоги носит, и сабля у него на бедре.

— Разве он мой?

— Захочет судьба — и будет.

— А ты?

— Мне быть с кузнецом, дышать кузнечным дымом.

— Твой Дмитр бьет молотом по железу. Он тебе большое счастье скует.

— Кто знает, где найдем счастье.

Порой мать говорила Любаве:

— Чего ты смотришь в оконце? Кого ждешь?

- Хотела бы я птицей быть.
- Зачем тебе пернатой стать?
- Чтобы далеко лететь.

Мать покачивала головой в ответ на неразумные речи дочери.

- Не даны крылья человекам.
- А хорошо птицам. Летят куда пожелают.
- Но придет стрелец, выпустит стрелу и убьет летунью.

Любава останавливала бег веретена и опять украдкой бросала взоры в скудное оконце. Зимой отверстие затягивали бычьим пузырем, а летом отсюда была видна часть дороги и люди, проезжавшие верхом или на повозках, путники, шедшие в дальние страны с сумой и посохом в руках. Она ждала, что опять застучат копыта серого коня и гуслиар крикнет веселым голосом:

«Кузнец, опять я потерял подкову!»

Но гуслиар не появлялся.

Пришла весна и вновь осыпала лужайки желтыми цветами. В соседних дубравах за городскими воротами соловьи всю ночь рассыпали голосистый жемчуг. В ту весну Владимир Мономах посылал Фому Ратиборовича в Корсунь. В греческих пределах русский купеческий корабль подвергся разбойному нападению, торговцы пострадали, лишившись своего достоинства, и едва спасли жизнь. В прежнее время князь за подобные поступки карал вооруженной рукой. На Руси еще не забыли, как он ходил с Глебом Святославичем на Корсунь, когда жители этого города отложились от царя и творили бесчинства над чужестранными купцами. Но с годами Мономах пришел к убеждению, что обо всем можно договориться мирным путем, без пролития крови, и ныне он отправил своего боярина в далекое плавание на трех больших ладьях, чтобы тот говорил с царским катепаном о том, как охранять торговые пути, а также получил возмещение за разграбленные товары. Так как князь был рачительным хозяином, то на тех же ладьях он отправил на продажу меха, собранные в Муромской земле, и запасы меда и воска в липовых долбленых сосудах.

До самых порогов ладьи сопровождала конная дружина, а когда их перетасили в том месте посуху на катках и снова столкнули в воду, конница возвратилась восвояси. Но гуслиар Злат упросил Фому взять и его с собою:

— Хочу посмотреть на синее море.

Боярин взглянул вопрошающе на Илью Дубца, тоже отправленного в поездку. Тот погладил бороду и пожалел своего любимца:

— У молодости крылья за плечами — охота летать. Возьмем его с собою.

— Ладно, возьмем тебя, — сказал Фома отроку.

Злат многое увидел в этом плавании. Как вода бурлит на порогах, наполняя воздух грохотом и радужной пылью, вселяя в сердце веселую тревогу; как странные птицы с огромными зобами гнездятся среди скал и питаются рыбой, в изобилии водящейся в реке; как по вечерам костры дымят на берегу и плещутся рыбины, хватая мошек. Было суетливо и шумно в пути. Потом в одно прекрасное утро боярин Фома сказал:

— Вот и море перед нами!

Злат посмотрел в ту сторону, куда показывал рукой воевода, и увидел блеснувшую за камышами морскую синеву. Он лыл на первой ладье, вместе с Фомой. Когда корабли очутились на широкой воде и пошли на Корсунь, трудно было оторвать взоры от моря и берегов. Там росли невиданные деревья, тянувшиеся к небесам, как черные свечи, порой белели развалины и возвышались мраморные столпы. Наконец показался странный город. Сначала Злат увидел башню, сложенную из желтоватого камня. За ней



другую, третью и еще. Они медленно подплывали. Вдруг открылся вход в тихую пристань, в которой стояло несколько кораблей с высокими мачтами. Злат рассмотрел также, что из городских ворот к воде спускается широкая мраморная лестница. Каменные стены в некоторых местах то поднимались, то опускались по холмам. На берегу, как муравьи, суетились люди. Одни поднимали тюки по ступеням, уже поврежденным временем, другие разгружали глиняные сосуды с кораблей, все одинаковой величины и формы, с узкими горлышками и двумя ручками по бокам. Некоторые просто глазели на трудившихся. Какой-то восторг охватил Злата, он взял гусли, и слова песни сами полились над морем:

В Корсунь мы приплыли по синему морю,  
а в Переяславе кузница стоит за воротами,  
и тяжкий молот бьет о наковальню.  
Там я любовь свою оставил...

Заплаканная Любава говорила в те дни Настасе:

— Почему княжеским отрокам не сидится на месте? Вечно они скитаются по чужим странам. На ладьях плавают, на конях куда-то едут. А ты сиди и жди, когда твой милый вернется!

Фома Ратиборович привез послание к корсунскому катепану. В этом городе и в его окрестностях давно не соблюдалось порядка, морские разбойники грабили купцов, и у греков не было достаточно сил, чтобы положить конец этому беззаконию. Поэтому прибытие русских людей вызвало у местных жителей большое волнение. Толпы народа сбегали по лестнице, спеша увидеть северных воинов и их товары. Даже на киевском торжище Злат не наблюдал такой суеты и оживления, различия языков и одежд. Тут были люди из многих стран — хазары и половцы, греки и жидовины, сарацины и латынiane. Они все одинаково спорили и размахивали руками, взвешивали на ручных весах сребреники. Но когда появились русские корабли, некоторые из наиболее предприимчивых тотчас пытались разузнать, какие товары привезли из Руси, и приценивались к ним или сами назначали обидные цены. Однако Фома знал обычай. Его гребцы спокойно стояли на ладьях, скрестив на груди руки, и терпеливо ждали прибытия катепана.

Вскоре появился градоначальник. Протоспафарий Лев оказался весьма дородным человеком, с одышкой и свистящим дыханием. Он был в коротком красном плаще, передняя пола которого свисала острым клином. Вокруг его желтоватого и широкого, как луна, лица росла редкая черная борода. За катепаном следовал еще один греческий чин, с медной чернильницей, привешенной у пояса. Этот человек, наоборот, отличался крайней худобой, глазки у него бегали как мыши, и он носил длинное черное одеяние, напоминавшее монашескую одежду. Но так как самое важное отличие каждого мужа борода, то следует сказать, что у нотариия, каково было его звание, она росла только на подбородке и напоминала клочок мочалы.

Некоторые из сопровождавших Фому торговых людей знали немного язык греков, и катепан тоже изъяснялся, хотя и не без труда, по-русски. Однако для большей верности люди прибегали к знакам на пальцах, когда дело дошло до пересчитывания и проверки товаров. Меха лежали кучами на помосте, мед — в липовых сосудах, воск — пудовыми кусками. Он очень ценился в Греческой земле, где много церквей и каменных палат, освещаемых множеством свечей. Катепан самолично осматривал товары, иногда поднимая на вытянутой руке какую-нибудь черно-бурую лису и любуясь ее мехом или поглаживая пушистые волоски, с удовольствием чувствуя под пальцами дикую нежность зверя.

— Добро, добро...— говорил он, показывая мелкие зубы.

— Тысяча лис, тысяча бобров...— объяснял ему Фома.

— Добро, добро...

Но, потирая большой палец об указательный, протоспафарий с трудом подыскивал нужные слова.

— По договору...

Фома спокойно смотрел ему в лицо.

— Пошлина...

Боярин помахал перстом перед самым носом у катепана.

— По договору не платим пошлин... Мы клялись, и греки клялись...

— Добро...— грустно повторял одно и то же хорошо знакомое слово протоспафарий, видя, что эти люди знают обычаи и законы.

Старый торговый человек жаловался Злату:

— Бди каждый час, или обманут катепаны. У них за все плати пошлину. За прибытие в городское затишие — пошлина, за стоянку корабля — пошлина, за товары...

Нотарий с мышиными глазами уже обмакнул заостренный тростник в чернильницу и, примостившись на носу ладьи, вырезанном в виде огромной птичьей головы с устрашающими красно-зелеными глазами, приготовился писать, сколько мехов привезли, сколько сосудов с медом и прочее. Это требовалось для отчетности, доставляемой в определенные сроки в Константинополь вместе с сушеной рыбой и другими товарами.

Злат впервые в жизни посещал греческий город. Каменные дома в Корсуни тянулись в улицах сплошными стенами, вперемежку с бедными хижинами, сплетенными из глины, смешанной с соломой, или построенными из необожженного кирпича. Кое-где стояли обветшалые церкви с выщербленными мраморными полами, некогда богатой, но почерневшей от кадильного дыма и свечей росписью, с медными светильниками под сводами. Стены были кое-где прорезаны скупыми оконцами в железных решетках. На площадях виднелись покалеченные мраморные статуи, порой даже изображавшие женщин, постыдно показывающих прохожим свою наготу, к которой все давно уже пригляделись. Дубец плюнул от негодования на землю. Но катепан объяснял:

— Греческое искусство... Стоит много сребреников.

Злат смотрел на все с любопытством, на церкви и на статуи, и эти женские изображения пробуждали в нем смутный восторг перед многообразием бытия, хотя не было у него ни слов, ни мыслей, чтобы постичь все это с ясностью. С тем же ощущением любовался он с городской стены великолепием моря, залитого солнечными блестками. С Понта веял приятный ветерок, и от всего увиденного сердце наполнялось необъяснимой грустью. Где-то Любава? Прядет волну в черной избушке или ходит с ведрами за водой на боярский двор?

Отрок Даниил как-то говорил ему:

— Тебя боярин Дубец любит, князь отличает. Подожди, когда у боярина дочка подрастет. А ты у кузницы крутишься. Или думаешь дочь кузнеца соблазнить? Светлоглазую девчонку?

Злат ничего ему не ответил. Разве легко самому себе объяснить, что у тебя в сердце? Светлоглазая и босая. А вот тянет — как в омут...

Отроки целый день бродили по городским улицам, ошупывали материи, прицениваясь к другим товарам в многочисленных, но не очень богатых лавках. Один из торговцев, знавший язык, на котором говорят на Руси, разводил руками и жаловался:

— Худо в Корсуни стало... Товаров мало, серебра мало.

Потом Злат пил с отроками вино в грязной харчевне и спьяну затеял драку с прохожими. Это были латыняне, что ходят в короткой одежде и причащаются опресноками. Нарушение общественного спокойствия случайно обнаружил писец с медной чернильницей у пояса, явившийся на ладьи с катепаном. Он некоторое время неодобрительно смотрел на препиравшихся, а затем, опасаясь, что дело может дойти до кровопролития, побежал предупредить русского военачальника. Оглядываясь на вступивших в драку чужеземцев, одной рукой поднимая полы длинного одеяния, так что стали видны голые волосатые ноги, а другой придерживая чернильницу, нотариус помчался по улице. Но когда Фома и Илья Дубец явились на место событий, драчуны уже помирились, клялись друг другу в дружбе — каждый на своем языке — и обнимались по-братски. Все кончилось тем, что они вместе с Фомой и Дубцом ввалились снова в харчевню, где разошедшийся Злат метал на стол серебряники.

По прошествии некоторого времени Фома Ратиборович, Илья Дубец и еще несколько отроков, а в их числе, конечно, Злат, которого всюду брал с собой старый дружинник, пировали у катепана, занимавшего с семьей тот самый дворец, где, по словам старцев, хранивших в памяти городские предания, некогда жил русский князь Владимир, когда завоевывал Корсунь. Не без некоторого смущения гусяр вступил в этот новый для него мир, с любопытством разглядывая повисшие над головой голубые своды с золотыми, хотя и потускневшими, звездами, на толстые каменные столпы, в возглавиях которых хитро переплелись кресты, птицы и цветы, на медные курильницы, поблескивавшие на мраморном полу. Служитель приподнял крышку одной из них, бросил на тлеющие уголья горсточку фимиама, и тотчас из прорезей сосуда стал подниматься струйками голубоватый дым и наполнил палату церковным благоуханием.

У дальней стены находился длинный стол, покрытый серебряной парчой, а вдоль двух других стен выстроились слуги в длинных одеждах и держали в руках кто блюда с мясом или рыбой, кто корзины с хлебцами, кто глиняные кувшины с вином. Сами катепан и его супруга стояли за столом, и протоспарфарий кланялся и руками показывал, что приглашает гостей садиться. Место Фоме и Дубцу он указал около себя. Гусяр очутился напротив хозяйна и хозяйки. На столе поблескивали начищенные песком невысокие серебряные чаши, вероятно очень давно находившиеся в употреблении — они покривились и погнулись.

Катепан весьма любезно принимал русских, но, видимо, тревожился, таил какие-то задние мысли, временами криво улыбался и вздыхал, и вообще у него был такой вид, точно он чувствовал себя неуверенно в собственном своем доме. Рядом с ним сидела его супруга, очень наделенная и нарумяненная женщина, красивая и с большими огненными глазами. На ней шумел от малейшего движения греческий наряд из синего шелка. Злат рассмотрел, что ее шею опутывал длинный золотой плат, обвивавший грудь и проходивший за спину. Конец его был перекинут через руку. Он с удивлением наблюдал, как ловко эта красавица обращается с такой неудобной одеждой. В ушах у нее покачивались жемчужные подвески. Заметив, что молодой русский воин не сводит с нее глаз, супруга катепана улыбнулась ему. Ее звали Елена.

Катепан тоже нарядился в неудобное дворцовое одеяние, в присвоенный его званию плащ, и обливался потом, то и дело вытирая голубым платком лысый лоб. Он разговаривал с Фомой о торговых делах. Злат слышал, как грек жаловался, точно сговорившись с человеком, которого они встретили на торжище:

— Кораблей мало... Серебра мало...

Это был точно припев какой-то очень печальной песни.

Елена пила вино и протягивала Злату то кусок мяса побольше, то розоватую жареную рыбу с мертвыми глазами, то горсть сушеных смоков. Улыбаясь, она тут же вытирала руки о полотенце, которое ей подавал раб. Жена катепа-на не знала языка руссов, обращалась к отроку по-гречески и смеялась, когда он вскидывал недоуменные глаза в ответ на ее любезные слова. Протоспафарий Лев, очевидно привыкший к вольному обращению своей супруги с мужчинами, не обращал никакого внимания на ее заигрывания с молодым скифом и деловито продолжал разговор с Фомой. Иногда до рассеянного слуха гусяра доносилось:

— Серебра мало и царских милостей мало. А что может поделаться катепан?

Согласно договору, заключенному еще в прежние времена, на русские ладьи доставили положенное иждивение: хлеба, мясо, рыбы, вино, различное зелье, соль, а также корабельные снасти и принадлежности. Все это служители принесли под наблюдением самого катепана. Пришла взглянуть на скифские корабли и его супруга в сопровождении дочери, облезлого сивого евнуха и двух молодых слуганок.

Елена была в том же синем одеянии, но золотой узкий плат заменила парчовой повязкой на голове. Жемчужные серьги все так же трепетали при каждом взрыве звонкого смеха. Она искала глазами Злата.

Дочь катепана, в розовой шелковой одежде и в черных башмачках и тоже нарумяненная, хотя ей едва ли минуло четырнадцать лет, наоборот, смотрела на все с полным равнодушием. Ее бледное личико с розами румян на щеках и завитые волосы, падавшие черными локонами на худенькие плечи, напоминали об ангелах, что изображаются на церковных столпах; в этих глазах не замечалось никакого оживления, и безвольный детский рот никому не улыбался, когда мужчины косились на ее призрачную красоту, девушка опускала ресницы, как того требовало константинопольское воспитание, полученное в доме дальней родственницы Елены, выпросившей для своего мужа этот почтенный, но беспоконный пост корсунского катепана.

Смеясь и притворно вскрикивая от страха, стараясь уравновесить тяжесть своего тела широко раскинутыми руками, Елена поднялась по зыбкой доске на ладью. Ее подхватил в свои объятия сильный Злат. По-видимому, она была в восторге и не спешила найти точку опоры на помосте. Другой отрок помог дочери, закрывшей от страха глаза. Старый евнух не чаял, что останется жив после перехода над этой страшной бездной. Но служанки уже рылись с восторженными восклицаниями в куче мехов, выбирая лучшие для своей госпожи, и Фома предлагал катепану:

— Возьми, что люблю.

Тот просиял и твердил одно и то же:

— Добро, добро...

Тем не менее возмещения, которое требовал русский князь от греков в пользу пострадавших купцов, пока добиться боярину не удалось. Протоспафарий объяснял, что удовлетворение подобных требований может последовать только с позволения логофета и что он уже уведомил самым подробным образом всемогущего вельможу, а тот в свою очередь сообщит обо всем царю. Катепан уверял, что прискорбный случай будет рассмотрен своевременно и вопрос о возмещении получит, ко всеобщему удовольствию, достойное разрешение.

Переговоры велись в той самой палате с голубыми сводами, где за три дня до того был устроен пир. Фома и Дубец сидели за столом с катепаном, а

остальные воины стояли позади старших дружинников, скрестив на груди руки, и это, по-видимому, беспокоило протоспафария. Елена тоже присутствовала на совещании, красивая, как царица, рядом со своим сопящим супругом и тщедушным нотарием. Казалось, не они, а она правит городом и прилежащей областью, приемлет дары и награждает.

## XXVII

Злат ходил как в тумане, иногда сам не замечал, как оказывался около палат катепана, и однажды видел, что Елена смотрела из окна и смеялась. Он остановился как очарованный, позабыв обо всем на свете, а потом побрел дальше. Но Фоме требовалось выполнить еще одно поручение великого князя. Оно заключалось в том, чтобы приобрести для любимого княжеского монастыря на реке Альте драгоценные церковные сосуды. В Корсуни не оказалось подобных золотых изделий, и протоспафарий Лев со вздохом посоветовал Фоме отправиться в Каффу, где хозяйничали теперь итальянские купцы. Он ворчал по своему обыкновению:

— Каффа торгует и радуется, а мы плачем горькими слезами.

Было решено побывать в Каффе. Новый город, выросший на развалинах древнего поселения, расцветал с каждым годом и сделался соперником некогда богатой Корсуни. Сюда доставлялись товары со всего Востока — из Багдада и Александрии и даже из далекой страны серов. Кроме того, здесь открылся большой рынок невольников. Мономах велел Фоме узнать, много ли томится христиан и возможно ли выкупить их.

В Каффу поплыл только один корабль, на котором пустились в путь Фома Ратиборович, Илья Дубец, Злат и тридцать самых сильных гребцов. Погода стояла безветренная, и море радостно сияло. Мерно нагибались и откидывались мускулистые нагие спины, и длинные весла бурно пенили воду. Злат сидел на корме и любовался мимо плывущими берегами. Кое-где виднелись каменные башни, столпы языческих храмов, стада белых овец на дальних холмах. Было приятно и печально смотреть на все это. Один из гребцов обернулся и сказал:

— Гусяр, спой песню!

Злат взял гусли, положил на колени и тронул пальцами поблескивавшие на солнце струны. Он запел:

С синего моря приходила буря,  
мачты ломала, ветрила разрывала,  
червлёный корабль топила.  
На бреге стоит каменный город,  
там ни царя нет, ни патриарха,  
а правит греческая царица,  
берет с кораблей пошлину.  
Корабль ветрила опускает — плати пошлину,  
корабль якорь бросит — плати пошлину,  
корабль к пристани прнстает — плати пошлину!..

Никакой бури не было и не предвиделось. Море блистало тихое и радостное, а слева тянулись мирные берега. Но у Злата камень лежал на сердце, и ему хотелось воспеть морскую бурю, перемены своей жизни, чтобы удивлять всех такой песней на переяславских пирах, где и князь, и его молодая жена, и княжеский отрок Даниил хвалили его искусство.

В Каффу прибыли благополучно. Уже приплывая к пристани, можно было рассмотреть, что в этом городе царит не меньшая суета, чем в Корсуни.

У берега стояли высокие латинские корабли с вырезными кормами и позолоченными светильниками. Всюду громоздились токи и бочки. Когда отроки сошли на берег, оставив при себе мечи под плащами, то увидели, что на узких вонючих улицах толкается множество народу, а в полутемных лавках продаются самые различные товары. Всюду пахло соленой рыбой, дубленой кожей, специями. Глаза у русских людей разбегались, и сам Злат не знал, на что смотреть — на великолепную зеленую юфть или на диковинные орехи, величиной с баранью голову, на парчу или на ценное оружие с серебряными украшениями. Привязчивые купцы с оживлением предлагали красивые седла с красными и желтыми кистями, уздечки с бирюзой, сабли. Но Фома искал золотой потир.

Церковных сосудов и здесь не нашлось. На помощь пришел какой-то незнакомый человек в восточном длинном одеянии, с накрученной на голове зеленой тряпицей. Одежда его была грязная и ветхая, кое-где в заплатках, да и сам он тоже не отличался цветущим видом, и все вместе взятое служило доказательством, что дела этого торговца далеко не блестящи. Зато он мог объясниться с русскими на их языке. По его словам, Аскандер, как звали нового знакомого, был родом не то из Трапезунда, не то из Амастриды и очень много потерпел от злых людей. Названия упомянутых в разговоре городов ничего не говорили русским воинам. Им хотелось узнать, какой человек веры, но и тут они узнали не больше и махнули рукой, озабоченные приобретением потира.

Аскандер крутил завитки черной бороды и недоуменно спрашивал:

— Для чего служит подобная вещь?

Когда Фома соответствующими жестами объяснил, что это чаша, из которой причащаются христиане, он радостно закивал головой:

— Понимаю. У меня нет такого сосуда. Однако я знаю купца, у которого вы, наверное, найдете то, что вам нужно.

Он поманил спутников обеими руками, предлагая им следовать за собой, и все углубились в лабиринт кривых и запутанных улиц. На каждом шагу толкались прохожие. Некоторые ехали на лошадях или на осликах. Здесь говорили на многих языках и торговали самыми разнообразными товарами. Опять запахло пряностями, потом кожей. Торговец восточными ароматами поставил у порога своей лавчонки медную курильницу, чтобы запахом фимиама привлечь покупателей, и спокойно сидел на коврике, очевидно зная по опыту, что благовония покупают люди с тонкой душой, которых нельзя тащить за полу. Борода у купца была ярко-красного цвета. Рядом другой человек, продававший перец и еще какие-то приправы, пробовал на зубах, хорошего ли качества ему дал покупатель монету. Еще дальше два половца держали в руках вонючие лисьи шкурки. Увидев русских и узнав в них своих врагов, они исподлобья посмотрели на них, но ничем другим не проявили своих чувств. Поблескивая выразительно глазами, провожатый останавливался иногда на мгновение, чтобы обменяться с встречными двумя-тремя словами, показывая большим пальцем на своих спутников. Его знакомцы с любопытством оглядывали русских воинов, причмокивали языком, как бы поздравляя Аскандера с хорошим уловом, или с завистью покачивали головами.

Наконец провожатый привел Фому и его товарищей в грязную харчевню, где в медном котле варился рис с кусочками баранины и с чесноком, а на прилавке лежали куски белого сыра и вареная тибуха, над которой кружились рои черных мух. За единственным столом сидели посетители и, придерживая из опрятности широкие рукава, брали руками из глиняной миски рис и горстями клали пищу в рот, запрокинув голову. Полногрудая женщина

резала мясо на мраморной доске, на которой еще виднелись два младенца с крылышками как у бабочек. Множество других предметов возникало перед глазами Злата, и он наблюдал все это с удовольствием, будучи наделен любопытством к жизни и острым зрением. Ему казалось, что он очутился в каком-то подводном царстве, где все такое непривычное, что напоминает странный сон.

Аскандер стал переговариваться с хозяином харчевни, о чем-то расспрашивал его на непонятном языке, а женщина, в полосатом черно-голубом одеянии и с серебряными запястьями на полных руках, перестала резать мясо, подошла к воинам и предложила им выпить вина, показывая это красноречивыми и всем понятными жестами. Но Фома и Дубец, опытные люди, понимали, что покупка золотого потира очень важное дело, а человеку, находящемуся в опьянении, легко могут всучить медный, ярко начищенный сосуд, и за это потом придется отвечать перед князем, который не прощал таких проступков. От вина отказались.

Впрочем, провожатый уже куда-то звал русских дальше.

— Скоро ли конец нашим плутаниям? — сердито спросил Фома, чувствующий себя в этих закоулках хуже, чем в лесу.

— Теперь уже скоро, — ответил Аскандер. — Я все узнал, что мне нужно, и теперь мы направимся к продавцу. Не забудь тогда, господин, твоего слугу!

Вскоре все очутились на улице, где весело постукивали молоточки медников. В одной из лавок молчаливый человек болезненного вида изготавливал серебряные водолеи, светильники и всякого рода сосуды. Проводник поговорил с ним, и тот встал, направился в заднее темное помещение и наконец вынес оттуда сосуд, завернутый в белую тряпицу. Когда медник развернул плат, в нем оказался блистающий металлом золотой потир необыкновенной красоты, на высокой ножке и украшенный на кованых стенках драгоценными камнями. Вынув сосуд из тряпицы, он высоко поднял его перед покупателями и стал вращать, все так же грустно улыбаясь. Лицо у проводника тоже засияло, как луна. Аскандер смотрел то на чашу, то на воинов, с волнением наблюдая, какое впечатление производит на них эта великолепная вещь.

— Чудная работа! — сказал он и сложил указательные и большие пальцы на обеих руках.

Продавец продолжал поворачивать потир и вдруг сказал на понятном языке:

— Такой чаши вы не найдете и в Константинополе!

Злат уже привык ничему не удивляться в этом путешествии, принимая как должное даже разговор с чужестранцами на своем языке, и все-таки не выдержал:

— Такой чаши не видано на Руси!

Фома, более знакомый с торговыми обычаями и приготовившийся торговаться за этот сосуд, бросил на него недовольный взгляд. Зачем хвалить еще не приобретенную вещь?

Охватив подбородок рукой, он спросил:

— Сколько же весу в этой чаше?

— Восемьдесят два золотника с половиной. Но разве дело в весе? Посмотри на эти изображения!

Он опять стал вращать чашу. На ней были прикреплены среди красных и голубых камней четыре медальона с фигурами евангелистов, выполненных эмалью, и их четыре символа, вырезанные с большим искусством на розовой раковине, — тонкая работа какого-то художника. Телец, овен, лев и орел —

знаки евангелистов — были сделаны со всем правдоподобием, с замечательно вырезанной шерстью или оперением.

Фома взял чашу у продавца и, взвешивая ее в руках, старался определить вес и цену, но продающий с грустной улыбкой нарушил его расчеты необыкновенным рассказом:

— Эта золотая чаша стояла на престоле знаменитого константинопольского храма. Из нее некогда причащались царь и патриарх. Нечестивые воры похитили сосуд и были пойманы на месте преступления. Им лили в горло расплавленное олово за святотатство, а потом отрубили головы. Однако, вместо того чтобы возвратить чашу по принадлежности, судья утаил ее. Когда однажды он вез эту вещь в свой загородный дом, на него напали разбойники, изранили его, а чашу отняли и продали ее за гроши в Амастриду, какому-то скупщику краденого. Там ее приобрел богатый человек, истративший на покупку значительную часть своего состояния, чтобы пожертвовать сосуд в монастырь святого Саввы в Иерусалиме, с условием, что монахи будут молиться о спасении его души. Но это еще не все. Преданный раб, посланный туда с сокровищем, соблазнился красотой вещи и бежал с нею в армянские пределы. Там он закопал чашу в укромном месте в землю, опасаясь, что люди будут допытываться у него, откуда он взял такую драгоценность. Но конец своей жизни он провел как праведник. Когда и для него наступил последний час, он послал за мною, так как мы часто проводили вместе время за душеспасительными беседами, и открыл мне свою тайну со словами: «Пойди в город Каффу и займись там своим ремеслом. Вскоре к тебе явятся благородные воины из полуночной страны. Продай им сосуд, который ты откапашь по моим указаниям, за тысячу сребреников». Сказав так, он умер. Я пошел в дикое место, где водятся львы, нашел в земле чашу и переселился в этот город. Видите, несмотря на продолжительное лежание в земле, она не утратила своего первоначального блеска, что говорит о чистоте металла, без всякой примеси...

Воины слушали развесив уши. Наконец Фома, почесав затылок, с некоторым сомнением спросил:

— Но не слишком ли высокую цену назначил за сосуд этот праведный человек?

— Он точно знал, сколько стоит священная чаша. И разве не удивительно, что старец провидел все перед своей смертью? Такие вещи случаются не каждый день на земле.

— Все это достойно удивления,— согласился Фома,— но не перепутал ли ты чего-нибудь? Наверное, он назначил цену в пятьсот сребреников.

Начался торг. Воевода обратился к своим спутникам за помощью, однако они оказались плохими советниками в таком деле. Злат не знал цены ни золоту, ни серебру. Когда его награждали князья или бояре за песни, он тут же щедро раздавал пенязи всем, кто протягивал руку, расходовал вознаграждение на вино, покупал оружие или рубаху с серебряным оплечьем. Однако повесть о том, как чаша чудесным образом переходила из рук в руки, чтобы к концу концов очутиться в Каффе и попасть им в руки, взволновала его. Это сокровище действительно было связано с великой тайной. Подобная вещь не имеет цены.

После продолжительного торга потир был приобретен вместе с другими серебряными сосудами, найденными в лавке медника. Правда, они во многом уступали чаше с евангелистами, тем не менее все это представляло собою полновесное серебро. Фома бережно завернул потир в тряпицу, а Злат и отроки положили другие сосуды в мешок, довольные, что под плащами у них висели мечи, на тот случай, если бы злые люди попытались в одной из этих



подозрительных улиц завладеть таким богатством. Все обошлось вполне благополучно, проводник доставил их на пристань, получил изрядную мзду, которую он потребовал за услугу, так как, по его словам, русские никогда бы не купили такую чашу без его помощи, и обещал на другой день сводить Фома на невольничий рынок. Но там была тишина и безлюдье. Торговцы рабами жаловались, что нет войны и им нечем торговать, и этот застой вызывал у них уныние.

Теперь уже ничто не мешало возвращению на Русь. Однако, когда стали считать гребцов, двух из них не оказалось. Фома остался еще на один день. Воины как сквозь землю провалились. Озабоченный воевода смотрел на Илью. Старый дружинник отвечал:

— Кто знает? Может быть, бежали воины в поисках лучшей участи или их убили в ссоре за какую-нибудь блудницу?

На третий день Фома велел поставить в гнездо мачту, закрепить ее и готовиться к отплытию. В тот вечер на пристань явилась какая-то сгорбленная старуха в черном дырявом покрывале, босая, с седыми космами. Она стояла в отдалении и жалостливо смотрела на горделивый русский корабль, приплывший из полуночной страны.

В это время мимо проходил Злат вместе с другим отроком, возвращаясь из города, где приобрели на остатки денег по куску серского шелка и по амфоре вина, а кроме того, набили карманы штанов греческими орехами. Отроки переговаривались между собою, и, услышав русскую речь, старая женщина уцепилась за рукав Злата и спросила, шамкая беззубым ртом:

— Не воины ли вы с русской ладьи?

— И ты говоришь по-нашему! — удивился гусяр. — Да, мы с Руси.

— С Руси...

Второй отрок равнодушно оглядел убогую и пошел дальше — мало ли старух на свете, — а Злат остановился. Ему стало жаль нищенку. Он вынул из кармана горсть орехов, потому что у него уже не осталось ни одного сребреника.

Старуха покачала головой:

— Не надо мне.

— Что же тебе нужно от меня? — спросил Злат.

Почувствовав в его голосе жалость, она опять уцепилась за его руку.

— Откуда ты, отрок?

— Из Переяславля Русского, что стоит на Трубеже.

— И я в той стороне родилась.

— Значит, ты полонянка?

— Не по своей воле пришла сюда.

— Половцы увели?

— Одних убили, других увели.

Злат горестно вспомнил:

— Много горя было тогда на Руси.

— Земля кровью и слезами поливалась.

— И муж у тебя был, и детей родила?

Старуха поникла головой, судорожно перебирая костлявыми пальцами край покрывала.

— Мужа моего давно на земле нет. И дитя мое не долго жило на свете. Лежат его косточки в чертополохе Дикого поля. Их дожди моют, ветер сушит. Некому поплакать над ними.

— Послушай, убогая! — обратился к ней Злат. — Не хочешь ли с нами на Русь пойти?

— Как сделаю это?

— Мы тебя на ладье спрячем.  
— Куда я понесу свой позор?  
— Будешь в монастыре грехи замаливать.  
— В монастыре вклад нужен. Нет, видно, такая мне судьба — умереть на чужбине.

— Чей тут хлеб ешь? — полюбопытствовал Злат.  
— У правителя Каффы раньше детей выхаживала, а теперь на поварне горшки мою.

Отрок вздохнул:

— Плохо тебе, старая!

Она промолвила, вытирая краем черного платя слезы:

— Услышала, господин говорил, что русская ладья приплыла, и захотелось в последний раз посмотреть. Завтра мне умирать.

— Смерть за всеми приходит.

Рабыня еще посмотрела немного на отрока, на ладью и сказала:

— Будь здоров, сын.

— Будь здорова и ты.

Злат видел, как старуха побрела в сторону города и потом исчезла на многолюдной пристани, где было много суеты. Его занимали свои дела и заботы, и вскоре он забыл об этой печальной встрече. Каффой правил консул латинской веры. В его доме, очевидно, и трудилась эта старая рабыня, у которой уже ничего не осталось в душе, кроме равнодушного ожидания смерти. В ней она, может быть, видела освобождение от своих мучений.

Поднявшись на ладью, отрок рассказал о том, что он встретил старую женщину родом из их земли.

Дубец хмуро заметил:

— Немало их было в Судаке, и в Царьграде, и в других местах, а тысячи умерли. Князья ссорились из-за маленькой выгоды, а половцы угоняли людей.

## XXVIII

Фома вернулся на Русь уже под осень, когда молотили жито на гумнах, и благополучно привез князю драгоценный потир и другие церковные сосуды. Вместе с ним вернулся и Злат. Перед его мысленным взором за дубами, мимо которых ехали всадники, плескалось синее море и вставал тот солнечный день, когда он смотрел с городской стены на морские пространства. Красивая, как голубая церковь в позолоте, по каменной лестнице из города спускалась белолицая супруга катепана. Печально было тогда, что по ночам греческие дома на заборе и у дворца стоит стража, а теперь все растаяло, как дым или как наваждение. Дорога опять извивалась змеей среди дубов в серебристом инее. Огромные деревья выплывали из тумана и снова таяли в голубоватой мгле по мере того, как продвигался обоз. Уже недалеко было до Переяславля.

Очутившись вскоре после поездки в Корсунь на Трубеже, Злат по своему обыкновению побывал у кузнеца Косты и еще раз уплатил за подкову.

— Где же ты ее потерял? — спрашивал кузнец.

— На черниговской дороге, — ответил отрок, чтобы сказать что-нибудь. Тревожно поводя глазом, серый конь в яблоках терпеливо стоял у навеса, чуя привычный кузнечный дымок.

Любавы не было дома. Она ушла с подружками в дальние дубравы собирать грибы. Но в первое же воскресенье Злат стоял у церкви Богороди-

ды, так как ему стало известно, что дочка кузнеца ходит с матерью в эту церковь, где служит поп Серапион. Однако в тот день кузнечиха занемогла, и Любава отправилась к утрени с Настасей, обе в пышных сарафанах, одна в синем, другая в красном, с серебряными подвесками на голове. Должно быть, Злат уродился удачником. Строгая мать охала дома у очага, а девушки, вольные, как птицы, стояли впереди гусляра, перешептывались и с лукавыми взглядами оборачивались на отрока, что красовался в церкви в новой розовой рубашке с серебряным оплечьем, подпоясанный тонким ремешком, на котором висел костяной гребень затейливой работы.

На хорах, где молились знатные люди, Злат рассмотрел также знакомую боярыню, супругу посадника Гордея. Стоявший рядом с ним Даниил толкнул его локтем:

— Смотри! Горделивая, как башня, увешанная золотыми щитами, о которой сказано в священном писании!

На Анастасии было два платья, нижнее — желтое, верхнее — красное, покороचे, и много золота на шее и на голове. Она вскоре покинула хоры, спустилась вниз по каменной лесенке и покинула храм, пройдя близко мимо Злата и даже не заметив его. На лице ее была печаль. Но разве узнаешь, что творится в женском сердце? Да и страшно, казалось, заговорить с такой после того, что случилось. Не колдунья ли она?

Серапион поднял перед народом ту самую чашу, которую они привезли с Фомой из Каффы. Сосуд еще не отправили на реку Альту. Осеннее солнце прорезывало косыми лучами из узких окон купола дымок фимиама.

Когда обедня отошла и женщины пестрой толпой вышли из церкви на зеленую лужайку, гусляр увидел, что смешливые подруги, все так же оглядываясь на него, повернули на Княжескую улицу, направляясь к каменным воротам, над которыми стояла белая церковь св. Феодора, увенчанная золотым куполом, чтобы Переяславль был не хуже Киева. Злат поспешил за ними. В длинном воротном проходе теплоту тела приятно охладил под шелковой рубашкой прохладный сквозной ветерок, но за воротами снова пригрело солнце, жаркое не по-осеннему. Сразу же открылся вид на поля и рощи. Среди них знакомая дорога бежала на полдень. По ней можно было доехать до самой Тмутаракани, если в пути путника пощадит половецкая сабля. На желтом жнивье особенно ярко зеленели дубы. В прозрачном воздухе с полей летели липкие паутинки. Пчелы гудели над последними цветами. Синий и красный сарафаны уже мелькали в дубраве, и отрок помчался туда. Но девушки заметили преследование и, быстро оглянувшись еще раз, побежали. Беглянкам мешала длинная одежда, и скоро гусляр нагнал их под дубами. Испуганно улыбаясь и тяжело дыша, Любава припала к вековому дереву, словно ища у него защиты, а Настася бросилась на траву и сидела, опираясь обеими руками о землю, исподлобья глядя на отрока.

Злат остановился перед ними и горделиво подбоченился:

— Бегают, как зайцы. Не догнать.

Девушки смотрели на него и переглядывались, но молчали, и он, не зная, с чего начать разговор, стал расчесывать белым гребнем свои золотые кудри.

— Зачем пугаешь нас? — сказала Настася, не опуская перед отроком смелых глаз.

— Он был красив, в розовой рубашке с широкой серебряной вышивкой на плечах, вокруг шеи и с таким же шитьем на рукавах повыше локтей.

— Вас двое, а я один. Чего вам страшиться?

— Ты ястреб, а мы бедные птицы.

— Зачем по дубравам бродите? Волков не боитесь?

— Мы к реке шли.

— Миновало время купания. Уже олень в воде золотые рога омочил. Любава молчала, кусая белыми зубами сухую былинку. Потом вдруг спросила:

— Вернулся? Где же лучше, за морем или в Переяславле?

— За морем греческие орехи растут.

Злат вынул горсть орехов и потом другую, протянул девушкам. Любава не взяла, в смущении. Но Настася завладела ими и спрятала в плат, снятый с головы.

— Расскажи, каких ты там царевен встретил? — смеялась она.

Злат тряхнул кудрями:

— Расскажу, если будете слушать.

— Будем.

Настася лукаво блеснула глазами. Любава же опустила в тревоге ресницы. Лицо ее стало как неживое. Девушка тихо спросила:

— По морю плавал?

— По синему морю плыл.

— В Корсуни бывал?

— И этот город видел.

— А еще что ты встретил на пути?

— Когда по морю плыл, буря на нем поднялась. Наш корабль как щепку бросало. Морские пучины под ним как страшные бездны разверзались. Тридцать дней бушевала погода. Волны выше этих дубов вздымались.

Он поднял руку, чтобы показать величие бури, и глаза Любавы широко раскрылись от страха за своего возлюбленного.

— А потом еще что видел?

— Когда буря утихла, мы поплыли в Корсунь. Там день и ночь море тихо плещется о брег, и большой белый город стоит на горе. По каменной лестнице царица спускалась к нам в голубом одеянии и золотом венце. За нею шли прислужницы с опахалами из перьев стрикуса.

— Царица... — прижала руку Любава к доверчивому девичьему сердцу, что вдруг забилось чаще.

— На лбу у нее сиял серебряный полумесяц, а глаза ее были как звезды.

— Что ты рассказываешь? — встрепенулась Настася. — Царица не в Корсуни живет, а в Царьграде. Она венец носит. Это все знают.

Злат смутился. Пойманный на слове, он делал вид, что ничего не слышит, смотрел, прищурившись, на белые облака, медленно плывшие по счастливому небу.

— Что же ты молчишь? — приставала к нему бойкая девица.

— Царица... Это чтобы песня была красивой... Если бы я вам все рассказал, что от нее услышал!

— Что же она тебе говорила?

— Она меня в палату звала, за свой стол усадила, вкусными яствами угощала с серебряного блюда, и чашник мне сладкое вино цедил.

— А потом?

— Потом загадала три гаданья.

Злат уже лежал на блеклой осенней траве, лениво подбирая слова, выдумывая свой мир, в котором все было по-другому, чем наяву. В одно мгновение веселая женщина превратилась у него в царицу, а грязная Корсунь, где пахнет соленой рыбой, в сказочный град с золотыми главами церквей и серебряными петушками на башнях.

— Какие гаданья? — полюбопытствовала Настася.

— Царица меня хотела своей любовью подарить, если отгадаю. Или голову отрубить, если ума не хватит отгадать.

— Жестокое сердце у той царицы!— всплеснула руками Любава.

— Какие же были загадки? — смеялась недоверчивая Настася.

Злат окинул взглядом дубы, посмотрел на небо, как бы в поисках вдохновения. Птица выдумки уже понесла его на своих легких крылах. Все преобразилось в мире, и обыкновенный камень стал алмазом.

— Наутро собрались в палате патрикии и стратилаты, а у двери стали воины в золоченых бронях. Царица сидела...

— Царица... — насмешливо пожала плечом Настася.

— Не все ли тебе равно? — оправдывался Злат.

Любава потянула подружку за белый рукав рубашки:

— Молчи, молчи...

— Царица сидела на престоле. Над нею серебряные птицы пели райскими голосами. Я стал перед повелительницей...

Слушательницы застыли в напряженном внимании.

— Царица посмотрела на меня...

— Какое же было первое гаданье? — не вытерпела Настася.

— Первое гаданье? Много ли времени надо, чтобы всю землю от востока до запада обойти?

Девушки ждали ответа, что это значит.

Злат рассмеялся:

— Один день.

Настася не понимала и переглядывалась с Любовью. Та же была во власти своей любви, в сладком тумане своего чувства. Оно наполняло не только ее душу, но и весь мир, эти рощи и дубравы, поля и жнивье. А как выразить это словами?

Злат объяснил:

— Небесное светило всю землю с утра до вечера обходит, а потом опускается в океан и прячется за высокой горой на полуночной стороне вселенной.

Он слышал об этом круговращении солнца от Даниила, читавшего по ночам книгу, в которой рассказывается о тайнах мироздания. Ее написал человек по имени Индикоплов.

Любава качала головой, изумляясь человеческой хитрости.

— А второе гаданье? — спросила она.

— Чего десятая часть за день убывает, а ночью на десятую часть прибавляется?

Девушки молчали.

— Не знаете? А не трудно отгадать.

Злат самодовольно улыбнулся, гордясь своим умом, хотя эти загадки не сам придумал, а услышал от того же отрока Даниила.

— Вода,— сказал он.

Это было непонятно.

— Вода за день из моря и рек на десятую часть от солнца высыхает, а ночью, когда солнце спит, снова на столько же прибавляется. Поэтому и не уменьшаются реки, питаемые дождями, и море не убывает в глубине и не отходит от своих берегов.

Подружки опять переглянулись, пораженные догадливостью и книжной мудростью этого человека, который столько видел на земле.

— Теперь скажи нам третье гаданье,— попросила Настася.

— Царица спросила меня, что слаще всего на свете.

— Мед? — в один голос ответили подружки.

— Так и я сказал. Но царица нахмурила соболиные брови и сказала, что я не отгадал.

— Что же слаще всего на свете? — спросила Любава.

— Любовь. Царица велела, чтобы мне голову отрубили. Меня схватили ее слуги и бросили в темницу.

Любава от волнения закрыла рот рукою, точно хотела удержать крик своей души. Все это была сказка, и в то же время ее любимый ходил как на острие ножа.

— Темница в Корсуни — высокая каменная башня. Только одно оконце в ней за железной решеткой.

— Невозможно убежать оттуда? — волновалась Любава.

— Мышь не может ускользнуть из этой башни, так стерегут ее греческие воины. Там я томился семь дней и семь ночей. На восьмой день взял гусли и запел печально. В тот час мимо темницы проходила дочь царицы, красивая как ангел. Она услышала мое пение, сжалилась надо мною и подкупила стражу. Мне передали веревку. Когда уже луна взошла над спящим городом и все уснули, я выломал в оконце решетку и спустился с огромной высоты на землю. Здесь ожидала меня царевна с волосами как лен, с глазами как бирюза на мече у князя Ярополка.

Обнимая одна другую, девушки ждали продолжения. Но Злат сам не знал, как теперь выбраться из дебрей запутанного повествования. Он забрался слишком далеко.

— Что же случилось потом? — добивалась Любава.

— Что случилось...

— Как ты поступил с царевной?

— Я взял ее на руки и понес на свой корабль, а царица послала против нас половцев, и тогда была кровопролитная битва. Я убил половецкого хана.

— А после битвы что было?

— Что же было дальше...

Злат заложил руки за голову и, глядя на облака, старался придумать что-нибудь.

— Я заманил хитростью царицу на корабль, сказав ей, что она может выбрать любые меха. Она явилась со своими вельможами. Тогда я велел поднять парус и увез ее в море.

— А царевну?

Злат подумал немного и ответил:

— Царевну? Ее я отпустил.

— Что же с царицей случилось?

К счастью для отрока, у которого окончательно иссяк источник вдохновения, а руки тянулись к Любаве, в роще послышалось гнусавое пение. До слуха донеслось:

Течет огненная река Иордан  
от востока на запад солнца,  
пожрет она землю и камешье,  
древеса, зверей и птиц пернатых.

Голоса приближались и делались более устрашающими:

Тогда солнце и месяц померкнут  
от великого страха и гнева,  
и с неба упадут звезды,  
как листья с осенних деревьев,  
и вся земля поколеблется...

Теперь можно было рассмотреть, что среди деревьев идут три странника в монашеском одеянии, с посохами в руках. Когда они подошли поближе, по их красным носам стало отчетливо видно, что все трое любители греческого

вина и не очень соблюдают монашеские посты. Один был высокий, двое других пониже. У всех трех на головах виднелись черные скуфейки. Приблизившись, странники остановились, и тот, что казался повыше других, дороже и, видимо, даже почитался двумя остальными за наставника, произнес:

— Благословен господь!

Девушки смотрели на монахов со страхом и почтением.

— Куда направяете стопы, святые отцы? — спросил Злат.

— В град Иерусалим, — ответил высокий инок.

Злат удивился:

— Откуда же вы шествуете?

— Из Воиня, на реке Суле.

— Давно ли вы идете в святой град?

— Второе лето, — отвечали хором странники. — Второе лето.

Злат почесал в затылке.

— По этой дороге вы никогда не дойдете до Иерусалима.

— Почему так? — недоумевал высокий.

— Вы идете на полночь, а Иерусалим лежит на полдень. Поверните вспять и тогда достигнете своей цели. Или попросите купцов, чтобы вас в ладье до моря доставили. В Корсуни вы сядете на морской корабль и поплывете в Царьград. Но Иерусалим стоит еще дальше, за великим морем.

Так говорил гусяру Даниил, любимый отрок князя Ярополка.

Очевидно, такой путь в настоящее время монахов не устраивал. Те двое, что были пониже, помалкивали, но высокий ответил:

— Мы в Переяславль пришли, чтобы благословение взять у епископа и путевую грамоту к патриарху.

— Тогда ваш путь правильный. А что за рекой Сулой слышно?

— За Сулой торки шумят, хотят реку перейти.

— Какие торки?

— Что на княжеской службе.

Злат встрепенулся и вскочил на ноги.

— Сидит в Воине бездельный воевода и только пироги ест, а вести о том, что там творится, не подает. Важную новость вы принесли, отцы.

— Всюду ходим, и если увидим что, замечаем, — ответил один из монахов, опираясь на посох.

— Пойдемте к посаднику. Расскажите ему обо всем.

Монахи изобразили на лицах неудовольствие.

— Нам к епископу дорога, а не к посаднику.

— Сначала к посаднику. Большие дела творятся на Суле. Как зовут тебя, отец?

— Лаврентий.

— Пойдем, отец.

Злат ушел, и за ним поплелись монахи. Когда все они скрылись за деревьями, Любава закрыла лицо рукавом белой рубашки и расплакалась.

— Что с тобой? — удивилась верная подруга.

— Царицу на корабль заманил...

Но Настася всплеснула руками:

— Не плачь, глупая. Ничего этого не было. Разве ты не знаешь, что люди, играющие на гусях, первые лгуны на свете?

Последний дуб у дороги, сто лет тому назад, еще при великом князе Владимире Святославиче, искалеченный страшной бурей и обожженный молниями Перуна, но все еще полный величия в своем зимнем уборе, медленно уплыл во мглу. Время приближалось к вечеру. Мономах подумал, что еще немного часов — и он будет в теплой горнице, увидит сына и молодую сноху, попробует горячей пищи. Но на ум по-прежнему приходили печальные мысли, и прошлое никак не хотело оставить его душу в покое.

В Киеве в то время правил великий князь Святополк. Его не любили в народе. Всем было известно, что великий князь не только покровительствовал киевским ростовщикам, но и сам отдавал деньги в рост через посредство своих приближенных и за мзду оказывал злодеям всякие милости. Своей жадностью и сребролюбием он отталкивал даже близких.

Незадолго до смерти великого князя, когда в Галицком княжестве происходили военные действия (Святополк в те дни пошел с Володаром и Васильком на Давида Игоревича, чтобы покарать его за ослепление тербовльского князя), на киевском торжище не стало соли. Ее привозили раньше на волах из Галича и Перемышля, но теперь воюющие убивали мирных животных стрелами, и купцы не решались на такое путешествие. Подвоз соли прекратился, и этим воспользовались торговцы, припрятавшие соляные запасы, и стали продавать свой товар втридорога. Даже великий князь не удержался от того, чтобы не нажиться на торговле солью, и захватил ее склад в Печерском монастыре. Была тогда большая скудость на Руси, и бедные люди, не имевшие возможности платить огромные деньги за эту необходимую приправу, стали ходить в монастырь, к иноку Прохору, который раздавал им пепел, прибавляя в него немного соли, может быть для того, чтобы его доброта походила на христианское чудо. Однако это вызвало неудовольствие торговцев, и сам великий князь разгневался, потому что хотели разжиться на народном бедствии.

Мономах хорошо знал этого старца. Вспоминая в санях прошлое, он подумал и о нем. Прохор был родом из Смоленска, его прозвали Лебедником. Инок не ел хлеба, не питался просфорами, как это делали многие монахи, а действительно отличался воздержанием среди других печерских иноков, не отказывавшихся обычно от обильных боярских приношений. Он питался только лебедою, собирая горький злак на полях. Монах растирал его на ручном жернове, потом пек некое подобие хлебов, и таким образом жито росло для него как бы на непаханой ниве. Прохор даже делал для себя запасы лебеды на зиму и жил так, не приобретая ни весей, ни имения, подобно тем птицам небесным, о которых в Евангелии сказано, что они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Подражая им, он каждый день отправлялся туда, где в изобилии росла лебеда, и приносил ее, как на крыльях, в келию. Когда в Киеве наступил голод, бедняки увидели монаха за таким занятием и тоже стали собирать лебеду, хотя испеченные из нее лепешки отличаются горьким вкусом.

Мономах вспомнил, как однажды беседовал с этим монахом. Игумен Иоанн смело обличал великого князя Святополка, и разгневанный правитель велел отвезти его в Туров и там заточить в погреб. Только благодаря вмешательству Владимира старца освободили и вернули в монастырь. В связи с этим Мономах посетил тогда обитель и встретился с Прохором. Когда он вошел в келию, перед ним сидел на скамье пожилой инок с веселыми глазами.

— Правда ли, что ты не ищешь никакого богатства? — спросил князь, так как слышал уже рассказы о его нестяжании и о том, что якобы



пепел чудесным образом превращается в руках монаха в драгоценную соль.

Прохор, поблескивая беззаботно глазами, ответил:

— Для чего мне оно? Я даже лебеду собираю только на одну зиму. Вот прилетят в эту ночь ангелы и возьмут мою душу. К чему же мне тогда запасы? Кому достанется приготовленное мною?

Князь дивился подобному отношению к жизни, но подумал, что хорошо так поступать человеку, у которого за плечами нет никакой ответственности. У него единственная забота — спасти свою душу. К таким радость приходит после печали. Как сказано в Псалтири: «Вечером водворяется плач, а наутро радость». А сколько всяких обязанностей у человека, который живет в миру и устраивает государство...

Все проходит на земле. Не было больше ни игумена Иоанна, ни Прохора. Вскоре после них скончался и сам Святополк.

Мономах не забыл, как все это произошло. Однажды под утро в Переяславль, где он тогда княжил, прискакал переодетый в крестьянское платье сын боярина Путяты и со страхом в глазах, а не с печалью сообщил о горестном событии. Около Успенской церкви пономарь звонил в било, созывая христиан к ранней утрени, и поп Серапион шел в ризницу облачаться, когда мимо проскакал киевский отрок. Взмыленный конь его выглядел так, точно на нем возили бочку с водой в гору. Всадник тоже был не в лучшем состоянии. Священник узнал вестника в лицо и понял, что в Киеве не тихо.

Переяславский князь уже заседал с дружиной. В тот день решались важные судебные дела, и предстояло договориться с боярами об очередном большом лове. Во время совета в палату вошел на носках желтых сапог сокольничий Иван и шепнул князю на ухо, что к нему прискакал из стольного города отрок с важным известием, стоит в сенях. Мономах, сказав боярам, чтобы обсуждали дело о краже княжеского перевеса без него, покинул палату. В жарко натопленных сенях он увидел сына Путяты. У отрока был взволнованный вид, он вытирал шапкой потное лицо.

— Что с тобою, отрок? — спросил удивленный Владимир, разглядывая странное одеяние юноши.

— Горе, князь... Великий князь преставился, и народ возмутился, — со слезами в голосе отвечал сын Путяты.

— Помер Святополк Святославич?

Мономах стал креститься.

— Помер!

— Как же это случилось? — воздел горестно руки князь.

— Когда приспел праздник Пасхи, великий князь казался совсем здоровым, но вскоре разболелся. Вчера он преставился в Вышгороде, апреля шестнадцатого дня, пятидесяти четырех лет от роду. Тогда его тело положили на сани и привезли в Киев, и отец мой послал меня к тебе. Люди вышли на улицы, и совершилось великое смертоубийство на торгу.

Мономах заплакал не потому, что сильно любил Святополка, а по давно утвердившейся привычке слезами провожать усопших. А может быть, потому, что сердце становилось слабее к старости и все чаще думалось о собственной кончине. Поплакав, однако ж вернулся к делам, ибо необходимо было что-то предпринять, если в Киеве началось возмущение.

— Что же теперь в городе? — спросил князь.

— Большая смута, князь. Народ разграбил двор моего отца и других бояр, пожег дома многих ростовщиков. Кричат, что, мол, жиды да бояре во всем виноваты — и град от них, и засуха. Если ты не придешь тотчас в Киев, то немало людей погибнет, не одни только ростовщики, но и бояре и даже

митрополит. Народ против всех поднял руку. Некоторые из чужеземцев уже бегут из города, и их убивают на дорогах, никому не давая пощады, а имение берут себе. Так велел сказать тебе отец.

Надо было спешить, а князь все не мог принять решения. Оттягивая время, спросил:

— Как же посетила смерть великого князя? Болел ли он?

— Не болел. Правда, случилось у него огненное жжение. Но и это прошло. А вчера ночью великий князь схватился рукой за сердце и помер. Недаром все видели зимою небесное знаменье. Солнце остановилось, как серп месяца, рогами книзу. Теперь понятно, что это смерть правителю предвещало.

— Как тать в ноши...— прошептал Мономах, представляя себе образ Святополка в гробу, с закрытыми глазами, бездыханного, бессловесного.

— Что решили бояре с митрополитом? — опять спросил князь.

Отрок махнул рукой в отчаянии.

— Бояре по своим дворам заперлись, холопам сабли раздали. Но разве холоп защитник боярской чести? А люди грозятся всех истребить, забыли божий страх.

— Что же митрополит думает?

— Тоже укрылся на митрополичьем дворе и молчит. Что может сделать грек?

Мономах обдумывал создавшееся положение. В Киеве находилось в те дни много чужестранцев — венецианские и генуэзские гости, греки, сарацины. Если смута продлится, торговые люди в страхе за свои товары покинут Русь и от этого произойдет большой ущерб для всей земли. Кому тогда он сам станет продавать запасенные меха?

Князь велел накормить отрока и вернулся в совет, и тогда все тридцать бород, седых, рыжих или светлых, повернулись к нему вопросительно. Бояре хотели прочесть на лице у князя, какое известие он получил из Киева, о войне или о мире. Тут сидели все старые дружинники, знаменитый Ратибор и оба его сына — Фома и Ольбер, а также переяславский тысяцкий Станислав, по прозванию Добрый, по отцу Тудкович, и боярин Нажир, а рядом с ним Илья Дубец, боярин Мирослав и другие советники.

Мономах не сел на свое место, а, вытирая пальцами слезы на глазах, обвел присутствующих взором и сказал:

— Бояре, великий князь Святополк Святославич вчера в Киеве преставился... В стольном городе не тихо. Вот какую новость мне сообщил отрок, прискакавший оттуда.

В палате пронесся шелест голосов. Некоторые стали креститься.

— Ратибор,— обратился Мономах к своему старому сподвижнику,— тотчас собирайся в Киев. Возьми кого хочешь и установи там тишину. Особенно береги митрополита. Иначе в Царьграде скажут, что мы злодеи.

Пока князь рассказывал о том, что происходит в стольном городе, и отдавал распоряжения, бояре перешептывались между собою. У некоторых дружинников помрачнели лица, косматые брови насупились, выдавая тайные страхи. У других шевелились бороды. Эти шептали молитвы, поминая новопреставленного великого князя, с которым имели денежные дела.

Ратибор слушал, кивая седою головой, запоминая княжеские приказы. Мономах не хотел сам ехать в Киев, дальновидно соображая, что легче восстановить в городе спокойствие вооруженной рукой, нежели удержать власть на продолжительное время. Необходимо было предварительно погасить народное неудовольствие и потом уже думать о господстве над стольным городом.

Спустя некоторое время после этого в Переяславль стали прибывать другие посланцы из Киева, от митрополита и от бояр, с просьбой занять киевский золотой стол. Собравшись в св. Софии и надеясь, что взбунтовавшийся народ согласится с этим приглашением, они выбрали Владимира, как самого деятельного русского князя. Слава о его подвигах и победах гремела до краев земли, и бояре расписывали его разумную распорядительность и готовность ради Русской земли не щадить своего живота. Горожанам в Киеве, где в последние годы хозяйничали наушники князя Святополка, и в числе их боярин Путята Вышатич, а его легкомысленная дочь, которую скоморохи прозвали Забавой, прославилась на весь город своими любовными похождениями, Владимир Мономах внезапно представился праведным правителем, защитником бедных и угнетенных.

Ратибор въехал в притихший Киев с большой конной дружиной. Все хорошо знали, что Мономах не любит шутить и не зря прислал в стольный город своего воеводу. Жители не без страха смотрели на седого боярина, по старинному обычаю носившего длинные усы. Он ехал впереди отряда на тяжелом рыжем жеребце, важно поведившем лоснящимся крупом, на котором тяжело легли черные ремни сбруи, украшенные серебряными бляхами. На боярских плечах перекосилось красное корзно. На голове виднелась соболья шапка, подаренная ему Мономахом, на груди поблескивала золотая гривна на цепи. Позади воеводы старый торчин Кунгуй держал развернутое княжеское знамя — голубое, широкое, с крылатым архангелом Михаилом в легких греческих сапожках и с огненным красно-желтым мечом в руке. Этот стяг был свидетелем многих русских побед на половецких полях и на Дунае, под Корсунью и в других местах, вплоть до немецкой земли. За знаменем ехали, бряцая уздечками и саблями, многочисленные отроки, поглядывавшие на горожан с высоты своих коней. В первом ряду — Илья Дубец и молодой Злат, гуслар. Видя такое воинство, все чувствовали, что в Киеве восстановилась твердая власть, только не всем было ясно, кому это выгодно. Во всяком случае, довольны были чужестранцы, опасавшиеся на Подоле за свои товары и весы, за кожаные и парчовые кошель с серебром.

Заняв вооруженными силами Киев, Мономах созвал в Берестовском загородном дворце совещание, в котором приняла участие самые знатные бояре, в том числе белгородский тысяцкий Прокопий и представитель князя Олега Святославича боярин Иванко Чудинович, человек, богатый жизненным опытом. Как всегда на таких советах, было немало споров, и оказалось нелегко склонить бояр к мысли о государственной пользе, так как каждый представлял ее по-своему. Но в конце концов Мономах убедил этих упрямцев, что для них же выгоднее принять то, что переяславский князь считал полезным для государства. Советовал Мономах затереть смердов, не доводить до разорения, до грозного мятежа. Затем зашла речь о резании, или о ростовщичестве. Уже устав от препирания, Мономах говорил, простирая вперед руки, в одной из которых был зажат красный шелковый платок:

— Десять кун в лето от гривны — это справедливые резы. Но ведь некоторые требуют пятьдесят! И так люди, платящие долги, изнемогают, ведь среди них немало достойных.

Постановили, что должник, уже уплативший дважды по пятьдесят кун резов, то есть тот, кто в действительности выплатил свой долг займодавцу, не должен платить прирост в третий раз.

Мономах старался беречь купцов:

— Неправильно, что люди обращают должников в рабов, даже не спросив их, в чем заключается причина, что те не возвращают взятое. Надо разбираться в каждом случае. Бывает так, что на купца нападают разбойники

или тати похитят товары его. Случается пожар от злого умышления или корабль потонет с ценным грузом во время ужасной бури. Мало ли чего бывает... В таких случаях следует подождать, пока потерпевший придет в силу и будет в состоянии возратить свой долг. Другое дело, если торговец пропьет доверенное ему, или проиграет в кости, или по легкомыслию утерять порученные ему деньги и товар. Такого нужно сдать в рабство, ибо он заслужил это.

— Или обратимся к другому вопросу,— продолжал князь,— разве все смерды в состоянии приобрести боевого коня? Откуда ему взять средства для этого? Так пусть же сражаются пешими.

— Если смерда жалеть, князь,— ворчал старый боярин Воронич,— то скоро нами рабы повелевать будут. Еще скажешь, что и бить смерда нельзя?

— Бить можно, но за дело,— поддержал его один из участвовавших в совете, боярин Мирослав, благочестивый человек, любитель священного писания.— Сказано: исправляй раба твоего жезлом!

— Кто же докажет, когда бьют за дело, а когда по пустой злобе? — спросил Мономах, повернувшись к нему в кресле.

— Это решит судья,— сказал за Мирослава Иванко Чудинович.

Раздался гул одобрения. Бояре знали, что судить будут они сами, а не смерды бояр.

### XXX

На Киевском торжище уже стало известно, что князь Владимир составлял с советниками новые законы. Событие обсуждалось оживленно иноземными купцами, считавшими, что от этого может быть большая польза для торговли. Народ же присмирел, не ожидая ничего доброго. Впрочем, все равно податься бедным людям было некуда, со всех сторон угрожали им нужда, бедность, разорение, рабство. Бедняки приходили в Киев из дальних селений и внимательно слушали, о чем говорят на торгу. Им рассказывали, что новый великий князь станет заботиться о нищих и убогих. Что ж, этот правитель, которого им приходилось видеть порой на ловах в крестьянской одежде, был ближе им, чем красавец в парчовых корзнах, с золотыми ожерельями, с саблями и позолоченными шпорами, как у угрских вельмож. Злат слышал однажды в детстве, как простолюдины говорили:

— Будто немного легче стало нам дышать на земле.

Другие подтверждали:

— Ныне и мы можем найти суд на богатых.

Но те, что не верили в хорошие перемены, горько смеялись:

— А где ты видел праведного и неподкупного судью?

— Иди к самому Мономаху с жалобой.

— К Мономаху? Он скажет тебе доброе слово и горе твое пожалеет, а вернешься в свою весь — и тиун с тебя все сторицею возьмет. Нет правды на земле для бедных.

Торговец, только что купивший у зверолова по дешевке заячьи шкурки, убеждал его:

— Вот ты уловяешь силками зайцев...

— Что тебе до того?

— Приблуди на эти деньги наконечник для копья. Враг придет — чем будешь защищать своего князя?

Зверолов, обросший весь волосами, без шапки и босой, мрачно отвечал:

— Что мне до князя? Даст он мне хлеба из своей житницы, когда голод настанет? Так пусть за него борются дети бояр.

И все-таки хлебопашцы теперь с большей уверенностью сеяли жито, в надежде, что, страшась Мономаха, половецкая конница не будет больше топтать русские нивы, как в прежние времена. На всей земле как будто бы стало тише. На дорогах спокойнее поскрипывали возы торговцев. На них везли греческие ткани, меха, мед, соль, перец, сушеные плоды из предела Симова...

Лесной житель, продавший шкурки, положил сребреник за щеку, чтобы не потерять свое богатство, и направился в ту сторону, где стояли медуши. Рядом виднелись харчевни. Над одной из них висел на шесте ячменный сноп, в знак того, что здесь можно поспать на соломе в холодную ночь.

Здесь, на Подолии, находились за дубовым тыном подворья иноземных торговых гостей, лавки менял, притоны всякого рода, избышки и землянки бедняков. Здесь было больше шума, чем в половецком становище, сюда стекались со всех сторон беглые холопы и беднота, здесь рядом с нарядным торговцем из латинской страны встречались полунагие люди, возле боярина в бобровой шапке — монах в отрепьях, здесь происходили кражи и смертоубийства, и княжеские бирючи ходили сюда с мечами под полой. В расположенных около торжища корчмах ютились пьяницы и игроки в кости, и можно было купить краденный у боярина мех или нож, чтобы спрятать его за пазуху. Сюда приходили крадучись люди из далеких лесов и даже волхвы.

Злат пришел тогда в Киев со своим дедом, веселым человеком, любителем всяких басен и притчей, к родственникам. Но они все за эти годы померли, и пришлось искать приюта в корчме, где десятилетний мальчик насмотрелся и наслушался всего.

Лохматый пьянчужка, в длинной разорванной рубашке, с выдранной в драке бородой, держа в обеих руках деревянный ковш с черным медом, уверял своих слушателей:

— Это все знают в Киеве. Есть остров на синем море. На нем стоит торговый город Леденец. Оттуда приехал к нам гость по прозванию Соловей Будимирович. С ним забавляется молодая вдова Евпраксия Путятишна. Недаром ее зовут в народе Забава.

— Забава... — смеялись окружающие. — Если знаешь что, Расскажи. У тебя длинный язык.

— Что могу рассказать? По боярскому повелению разорял вороньи гнезда на деревьях и с высоты в оконце смотрел...

Мужем Евпраксии был Алеша Попович, один из старых дружинников Мономаха, сын ростовского попа, красавец собою в молодости и храбрый воин на ловах и на поле брани. Однажды во время отсутствия князя он отстоял Киев от неожиданно появившихся половцев и получил от Мономаха золотую гривну на шею, стал, как некоторые другие, вельможей в его палате. Но вскоре он умер, и молодая его вдовица, красивая как церковь в позолоте, стала притчей на языках у всех киевлянок.

— Что же ты увидел в оконце? — приставали к пьянчужке слушатели.

— Увидел, как Забава в горнице нагая стояла и в ручное зеркало смотрелась. Белая вся как снег, с распущенными волосами как золото.

— А кто еще там был?

— Соловей. Заморский гость.

— Почему так прозвали?

— Когда песни поет, люди плачут. Такой у него голос.

— Целовал Забаву?

— Вино пил из стеклянной чаши, а через нее весь свет виден. Потом на кифаре играл.

— А еще что видел?

Пьяница захохотал.

— Надо мною воронье кружилось и каркало. Я с дерева упал на землю. Ничего больше не видел, а если видел, то мне еще жизнь мила, пока мед есть в медуше.

В корчме сидел старый гусяр, забредший сюда после того, как его прогнал священник от церкви. Пьяница сказал ему:

— Вот сыграй нам на гусях!

Но другой махнул на старика рукой:

— Они боярам любят услаждать слух.

Кто-то спросил:

— О чем же он поет, старик?

— О правде.

Сидевший рядом с гусяром на обрубке дерева княжеский отрок Даниил, любитель всяких повестей, вечно слонявшийся по торжищам и людным местам, слушая всюду, о чем говорит народ, сказал:

— Правда ныне как бисер в кале. Не мечите его перед свиньями.

— А тебе что надо здесь? — грозно обратился к нему пьяница. — Твое место в палатах, а не в корчме, где бедняки собрались.

Отрок примирительно ответил:

— Что расшумелся? Гневающийся человек подобен корабельщику, который в печали мечет все свое достояние в море, а когда утихает буря, жалеет то, что бросил в пучину. Так и ты. Что тебе надо от меня?

— В боярских корзинах ходите! — ворчал пьянчужка.

Но в это время кто-то стал с волнением рассказывать:

— Чудо великое совершилось в Киеве.

— Какое чудо? — слышались вопросы. — Что сотворилось?

— Никола совершил чудесное явление.

— Может, монахи придумали?

— Разве я знаю.

— А что говорят?

— Будто некто плыл в ладье из Вышгорода в Киев, а жена того человека держала на руках младенца, но утомилась в пути, уснула и уронила дитя в воду, и оно утонуло. Тогда отец стал укорять Николу. Он выговаривал, что не только ему зло причинил, а и себе: кто же теперь его будет считать чудотворцем?

— И что же случилось?

— А вот что: дитя нашли в святой Софии, и вся икона Николы была мокрая от днепровской воды! Сейчас об этом объявляли на торгу, и муж прибежал к жене. Она его при всех бранила, что не верил в святого.

Но за ковшом меда беседа клонилась к веселию. Людям хотелось позабыть о своей бедности. Дед, веселый человек, обнимая внука, сказал ему:

— Спой нам про Моревну.

Соседи удивились:

— Так мал — и поет про Моревну?

— Голос ему дан, как соловью.

— Тогда спой, отрок!

Злату тогда было едва десять лет. Он смущался среди чужих. Но дед попросил опять:

— Спой про Моревну.

Злат запел, глядя в небеса, которыми в корчме был закопченный потолок из бревен:

Моревна — это цветы на поле,  
звезды на небесах,  
соловьиное пение.  
Моревна жила за синим морем,  
замуж за царевича вышла.  
Была она воевательница, Моревна,  
но, уходя на войну, просила:  
«Муж, ходи по всем палатам,  
только в одну клеть не спускайся!  
Там Кошей к стене прикован  
на двенадцать цепей!»  
Царевич забрел и в клеть от скуки,  
и упросил его враг,  
чтобы дал напиток воды.  
И тогда Кошей  
разорвал все цепи  
и Моревну похитил,  
унес в подземное царство.  
А там — сон, зима, оцепененье.  
Но царевич отправился в путь,  
искать Моревну по свету.  
Он в подземное царство спустился,  
разбудил там Моревну  
звоном золотых гуслей  
и вернул ее к людям, на землю.  
Так весна возвратилась,  
усыпая лужайки цветами.  
Перун, Сварожич!  
Молии — твои стрелы,  
радуга — лук,  
тучи — одежды,  
громы — глагол,  
ветры и бури — дыханье...

Все ссоры затихли, люди слушали древнюю песню. Злат научился петь ее у старого деда. Седоусый гуслир перебирал струны. Наверху жил митрополит и стояли церкви, а здесь, на Подолии, еще хранилась память о древних богах.

Потом гуслир сказал:

— Великий ты будешь певец и прославишь Русскую землю!

Отрок Даниил погладил Злата по голове:

— Горазд ты петь. Не знал, что у нас в Переяславле такой певец растет.

Ты чей?

Дед за него ответил:

— Мы с Княжеской улицы. Знаешь плотника Вокшу?

— Вспомнил. Видел тебя с внуком в церкви Михаила. Надо будет князю о тебе сказать.

Отрок пил с дедом мед из одного ковша. Вспоминая песню, Даниил, любитель книжных изречений, сказал:

— Весна есть дева, украшенная цветами, сладостна для зрения.

— А лето? — спросил дед.

— Лето? Муж богатый и трудолюбивый, питающий плодами рук своих и прилежный во всякой работе. Он без лености встает завтра и трудится до вечера, не зная покоя. Осень же подобна многочадной жене, то радующейся от обилия, то печальщейся и сетующей на скудость земных плодов.

— А зима — лютая мачеха, — прибавил пьяница, уже примирившийся с отроком и растроганный песней.

К нему обращались:

— Расскажи еще что-нибудь про Забаву.

— Слышали, что случилось с серебряной чашей?

— Не слышали.

— Вот что случилось,— вытер мокрые усы пьянчужка.— Однажды остановились у нас на дворе калики, шедшие в Иерусалим. Но среди них был один молодой, редкой приятности юноша, по имени Касьян...

Вскоре это стало известно всему Киеву. Странники шли в Иерусалим, питаясь в пути христианским подаванием. Среди этих людей почтенного возраста оказался и Касьян, совсем юный монашек, похожий на архангела со своими длинными кудрями. Проходя городом, они очутились на дворе у Путьятишны. По обычаю, их кормили рыбной похлебкой и пирогами в черной избе, когда молодая вдова, бродившая от скуки по всему дому, неожиданно спустилась на поварню и увидела странников. По большей части это были монахи, изгнанные из разных монастырей за пьянство и блуд. Но ее глаза приметили среди них красивого юношу в смешно сидевшем на нем монашеском одеянии. Такому носить бы корзно и парчовую шапку с бобровой опушкой!

Боярыня была в шелковой одежде, голубой с золотом, с запястьями на руках, в маленьких башмачках из зеленого сафьяна. Она слушала, как странники пели после трапезы:

Течет огненная река Иордан,  
от востока на запад солнца  
пожрет она землю и камень,  
древеса, зверей и птиц пернатых!  
Тогда солнце и месяц померкнут  
от великого страха и гнева,  
и с небес упадут звезды,  
как листья с осенних деревьев,  
и вся земля поколеблется...

В громком хоре грубых монашеских голосов Касьян пел как серебряная труба. Его зубы особенно ярко блестели на лице, покрытом ровным загаром.

Боярыня слушала пение по-женски, подпирая рукой щеку.

— Юноша,— сказала Евпраксия,— чудно поешь ты! Слушать тебя большая радость для людей.

И она ушла прочь с поварни, оглядываясь на его красоту.

В двери вдова остановилась и поманила пальцем стряпуху Цветку. Вытирая на ходу руки грязной тряпичей, та проворно побежала к боярыне. Они о чем-то зашептались за порогом. Потом повариха вернулась, красная, как мак. Присев на кончик скамьи к странникам, она уговаривала их, жирная, как свинья:

— Куда вам спешить? Иерусалим еще тысячу лет будет стоять на своем месте. Отдохните получше на нашем дворе. У нас много душистого сена. Для всех найдется место.

Улучив час, когда Касьян, имевший привычку молиться на сон грядущий, удалился от остальных, толстая баба пробралась к нему и стала искушать, как сатана, юного инока:

— А когда настанет ночь, поднимись к боярыне. Покажу в сенях лесенку. Сладко тебе будет с нею, как в раю. Заделует тебя до смерти...

Но юноша чист был помыслами и девственник. Боярыня напрасно ждала, что вот-вот скрипнет ступенька на лестнице. На пуховой перине было жарко, сердце колотилось в груди, боярыню томила женская пламенная любовь. И вот уже заря занялась на востоке...



Накинув на себя кое-какую одежду, разгневанная Евпраксия спустилась на поварню и разбудила стряпуху. В руке она держала серебряную чашу, из которой в свое время любил пить вино ее покойный муж Алеша Попович.

— Где странники? — спросила боярыня.

Протирая руками глаза, повариха не знала спросонья, что отвечать.

— Где странники, спрашиваю тебя? — еще больше рассердилась Евпраксия Путятишна, тряся повариху за пухлое плечо.

— Странники... — едва соображала та.

— Проснись же, глупая!

— Странники сейчас отправятся в путь. Кормить их буду.

— Послушай меня. Возьмешь эту чашу и сунешь ее в суму молодого монаха. Поняла ты меня?

— Поняла, госпожа.

— Положи ее в самый низ, а поверх наложишь куски хлеба, чтобы не было видно. Сделай все так, как я тебе сказала.

Цветка ничего не понимала. Такой подарок ничтожному монаху? На что ему чаша? Вот он не захотел прийти к госпоже, а ее ласк домогались сыновья бояр и даже княжичи. Этот глупец проспал всю ночь на сене, вместо того чтобы утонуть в лебяжьей перине! Недаром гневалась боярыня.

Путятишна смотрела из высокого оконца, как монахи ушли со двора и направились по улице в сторону Южных ворот. Но спустя полчаса вдогонку им помчались три конных отрока. Они нагнали монахов уже за городом, на дороге, проходившей тенистой дубовой рощей. Иноки посторонились, желая дать проезд конным людям, с мечами на бедре, в развевающихся плащах. Но отроки остановили горячих коней перед ними, и один из них крикнул:

— Стой!

Странники с удивлением задрали бороды, глядя на всадников. Касьян тоже с улыбкой смотрел на старшего из отроков, у которого нос был как целая репа.

— Кто похитил у боярыни серебряную чашу? — со злобой в голосе спросил отрок. — Разве так поступают люди, идущие в Святую землю? Теперь мы знаем, кто вы такие! Вы не калики, а воры!

Монахи загалдели, обиженные в лучших своих чувствах. Случалось, что порой они похищали поросенка или какую-нибудь другую живность, или жбан меда могли украсть. Или что-нибудь другое нужное для путника. Но серебряных чаш никогда не воровали.

Высокий монах, у которого был такой вид, что он здесь настоятель, бранился и плевался:

— Мы не воры, а странники божии...

— Обыскать всех! — приказал старший отрок.

Двое других ловко соскочили с коней и приступили к монахам:

— Показывайте ваши сумы!

Те охотно сняли заплечные мешки.

— Смотрите! — предлагал высокий иннок, покрасневший, как вареный рак.

И вдруг в руке того отрока, что рылся в суме Касьяна, блеснул серебряный сосуд, сверкнуло на солнце его позолоченное донышко.

— Вот она, чаша! — крикнул старший отрок. — Разве вы не тати?

Монахи остолбенели и со страхом смотрели на Касьяна. Юноша побледнел и стоял, как истукан, с разведенными руками и открытым ртом.

— Касьян! Ты ли это?! Как ты посмел?! — сыпались на него со всех сторон упреки.

Отрок, нашедший сосуд, ударил чашей молодого монаха по голове. По лицу побежала тонкая струйка крови.

— Так тебе и надо! — гневался высокий монах, по имени Лаврентий.

Он сам ударил юношу кулаком. Еще один монах с искаженным от злобы и негодования лицом замахнулся на Касьяна посохом. Тот закрывал голову руками и плакал:

— Не повинен я в похищении серебряной чаши! Пусть сам бог будет мне свидетелем!

Но теперь удары обрушились на него как град. У людей все больше разгорался гнев на похитителя, и никто не хотел слушать его жалких оправданий.

Старший отрок тупо смотрел с коня на избиваемого несчастного. Касьян кричал и молил о пощаде. Потом упал на дорогу, и его били уже лежащего... Прошло еще некоторое время. Юноша затих. На дороге остался лежать окровавленный труп. Монахи тяжело дышали, смотрели друг на друга и на свои окровавленные руки, как бы спрашивая молча друг друга:

«Что мы сотворили, братья?»

Старший отрок снял шапку и перекрестился. У него задрожала нижняя челюсть.

— А ведь боярыня велела нам его живым доставить, чтобы он получил от нее заслуженное наказание за покражу... — проговорил он.

Когда отроки вернулись в город, привезли серебряную чашу госпоже и рассказали ей обо всем, что случилось на дороге в дубраве, она всплеснула руками, как безумная, и закричала на весь терем:

— Что вы сотворили! Что вы сотворили с ним!

Она рвала волосы на себе, упала на пол, билась, как в трясовице.

— Прости меня, боярыня, — повторил многократно старший отрок, вертя в руках красную шапку.

Немного успокоившись, Путятишна спросила его:

— Где же калики?

— Ушли в Иерусалим.

— А тело его?

— Зарыли в роще.

Боярыня снова забилась в рыданиях на постели. Откуда-то из загробного мира до нее долетал серебряный голос:

Тогда солнце и месяц померкнут  
от великого страха и гнева,  
и с небес упадут звезды...

— Касьян! Касьян! — шептала она, кусая руки.

...как листья с осенних деревьев,  
и вся земля поколеблется...

### XXXI

Когда страсти в Киеве успокоились, Владимир Мономах, мудро выждав время в Переяславле, с большим торжеством и при звуках серебряных труб въехал в город. У Золотых ворот нового великого князя встретил митрополит Никифор с пресвитерами, державшими зажженные свечи в руках, при пении псалмов. Но, несмотря на всю эту пышность и богатые одежды, вид у Мономаха был озабоченный. Что сулило ему великое княжение? На звуки трубы

сбегался народ, и все смотрели на князя. Только что шитое корзно топорщилось на его плечах, как церковная риза. Он поглядывал на горожан из-под наспуленных бровей. На Большой улице, что шла от ворот св. Софии, теснилось множество людей, с волнением, страхом и надеждой смотревших на великого князя. Над толпою как бы плыло красное корзно с черными орлами в золотых кругах, чередовавшихся с зелеными крестами. Весело цокали подковы о камень. За князем ехали рядами отроки, румяные, золотокудрые, счастливые оттого, что вступали в стольный город.

В великокняжеских палатах, пустовавших после смерти Святополка, было страшно и тихо. Слуги бродили по покоям и переходам, прижимаясь к стене, страшась расправы за разворованное имущество. Все знали, что князь Владимир суров и требователен.

Вскоре по прибытии в Киев Мономах посетил митрополита и тем доставил честолюбивому греку большое удовольствие. Князь был уверен, что Никифор при каждом удобном случае пишет в Царьград донесения не только патриарху, но и царю, и поэтому обдумывал каждое слово во время беседы в митрополичьих покоях, чтобы не портить отношений с константинопольскими властями. К сожалению, митрополит не говорил по-русски, и это затрудняло беседу. Великий князь и иерарх сидели в тяжелых креслах, а между ними стоял переводчик, монах из Печерского монастыря, знавший не только греческий язык, но даже латынь и язык евреев. Завистники говорили о нем, что его обучили этому бесы. Мономах тоже понимал по-гречески, но многое забыл и стеснялся объясняться на этом наречии. Инок, вытирая вспотевшую от волнения лысину неопрятным красным платком со следами елеса, старательно переводил вопросы и ответы.

Беседа носила отвлеченный и богословский характер. По константинопольскому обычаю, черноглазые прислужники в монашеском одеянии приносили на серебряном подносе различные сласти и вино в плоских серебряных чашах, разбавленное теплой водой. Митрополит улыбался всем своим лицом светлому гостю. Глаза его излучали медовую ласковость. Когда Никифор хотел что-нибудь сказать, он тянул за рукав переводчика, весьма смущенного тем, что он находится в обществе таких важных особ. Это случалось не каждый день.

Чтобы доставить удовольствие митрополиту и расположить его к себе, Мономах заговорил о нарушении латынскими христианской веры. Обращаясь к переводчику, князь только слегка поднимал палец.

Никифор, снова потрепав монаха за рясу, объяснял:

— Прегрешения эти велики и многообразны. Во-первых, они совершают таинство причащения на опресноках и тем самым уподобляются иудеям, вкушающим пресный хлеб на Пасху. Тебе это известно. В то время как апостолы совершали Тайную вечерю...

Князя для большей торжественности сопровождали на митрополичье подворье два боярина — Ратибор и Мирослав. Оба сидели в нарядных плащах. Им тотчас стало жарко. Но приличие требовало, чтобы они оставались в невыносимо пышном одеянии. Только князь сбросил свое корзно в передней горнице и остался в красной широкой рубахе с золотым оплечьем. Старым дружинникам не очень-то было удобно сидеть на жесткой скамье, держа в одной руке за коротенькую ручку серебряную чашу с теплым вином, какое дают после причастия, а в другой — орех, сваренный в меду. На лове или в походе, верхом на коне, эти воины чувствовали себя значительно увереннее и свободнее. Там все было привычно и движения на связаны непонятными греческими обычаями. Даже на княжеском совете разрешалось вставать с места, ударять кулаком в ладонь или вздеть руки. А здесь

они очутились совсем в ином мире, да и речь шла о возвышенных вещах.

Загибая белые пальцы опрятных рук с коротко остриженными розоватыми ногтями, митрополит продолжал пересчитывать грехи латынян:

— Во-вторых, они едят давлению, что возбраняется апостольскими постановлениями. В-третьих, бреют головы и бороды, что тоже запрещено даже Моисеевым законом.

Все так же вытирая потное лицо, ученый монах переводил, спотыкаясь порой от непривычки и невольно волнуясь в присутствии великого князя, а Никифор вызывал в памяти все новые и новые латинские прегрешения:

— Пост соблюдают в субботу... Чернецы едят свиное сало, что при коже, и мясо запрещенных животных. Сыплют соль в рот крещаемым и крестят в единое погружение, как ариане. Еще епископы у них ходят на войну и оскверняют руки человеческой кровью...

Митрополит говорил также об исхождении духа от сына, и Мономах вежливо слушал. Подобные разговоры возвышали его в собственных глазах: он беседовал о церковных тонкостях с образованным греком.

Позади Никифора поместились два греческих священника и какой-то царский чин, явившийся из Царьграда. Он был в коротком плаще придворного покроя, с нелепой острой полой спереди, предназначенной не столько для того, чтобы согреть человеческое тело, сколько указывать звание чиновника. Вельможа делал вид, что тоже не понимает язык руссов, хотя Мономах отлично знал, что в Киев не присылают таких, и уклонялся от вопросов Никифора, старавшегося свести беседу к мыслям о значении царя ромеев. Митрополит намекал на зависимость всех христиан от власти василевса. Но Владимир в душе посмеивался: какая может быть зависимость от власти, которая не располагает достаточными средствами, чтобы заставить повиноваться даже своих собственных людей.

Так как в своей речи митрополит употребил слово «истина», то Мономах спросил, подражая Пилату:

— Как же человек может определить, что истина, а что ложь?

Никифор, посвящавший свои досуги в этой скифской глуши философским размышлениям, с удовольствием приготовился ответить на этот вопрос.

— Ты спрашиваешь, как человек может отличить истину от лжи? Но ведь всем в жизни руководит разум или душа, являющаяся у нас духовным началом, в отличие от плоти. Она состоит из трех проявлений.

Владимир внимательно слушал перевод.

— Ее выражают ум, чувство и воля. Что такое ум? Он управляет нашими поступками, если мы желаем идти по пути праведных. Но не следует человеку возноситься своим умом паче меры. Мы знаем, что однажды случилось так. Ангел денницы, сиявший божественным светом, возгордился и захотел стать равным богу. И что же произошло? Его лик стал темен, как у эфиопа, и как бы озарился адским пламенем. Многие другие, слепо доверявшиеся разуму, дошли до того, что начали поклоняться козлищам, крокодилам или змею.

Сидевший в глубоком молчании константинопольский грек, оказавшийся родственником митрополита и некогда посещавший школу св. Павла, знакомый с тем же Италом и Феодором Продромом, известным стихотворцем, ничего особенного в этих высказываниях не видел. Но для Мономаха, занятого ловами и походами на половцев, что отвлекало его от книжного чтения, подобные слова казались настоящим откровением. Они объясняли ему сущность жизни и отношение к мирозданию, вводили в прекрасный мир философии.

— Как видишь, благородный князь, еще недостаточно разума, чтобы человек мог получить вечное блаженство и стать совершенным в своих поступках. К счастью, кроме разума человеку даны его чувства. Да будет тебе известно, что в нашем теле обитают и правитель и его слуги. Первый — душа, она витает в главе.

Митрополит даже постучал слегка пальцами по лбу.

— Душа — как светлое око. Она руководит нашим телом и наполняет его жизнью до кончиков пальцев. Вот так и ты, благородный князь, сидишь в своей палате и приказываешь слугам, и они тотчас выполняют твои повеления. Душа говорит ногам: «Идите!» И они идут.

Князь взволнованно кивал головой в знак того, что понимает эти важные мысли.

— Или, скажем...

Никифор прикрыл рот рукою и с озабоченным видом нужный ему пример стал искать где-то у зеленых сапог Ратибора. Потом вдруг поднял с удовлетворением перст:

— Да, вот... Не знаем ли мы все, что огонь жжет и опалает, причиняя боль человеку? Но разуму нашему известно это свойство пламени, и он удерживает наши руки от прикосновения к раскаленному железу или к горящей свече. Не так ли? Ведь и ты не велишь своему отроку ехать в неприятельский лагерь, зная, что там могут убить его стрелой. Так мы воспринимаем весь мир, и для этого в распоряжении души пять верных слуг. А служители эти: очи, слух...

Митрополит соответственно своим словам трогал пальцами глаза, или уши, или нос. Он у него был мясистый и в красноватых жилках.

— Обоняние. При посредстве ноздрей. Вкус и осязание... Но обрати внимание на следующее. Зрение никогда не обманывает нас. Все то, что мы видим, в действительности существует и осязаемо. Другое дело — слух.

Мономах настрожился. Митрополит объяснял ему:

— Иногда слух сообщает нам истину, иногда же обманывает нас злобно. Почему это так, я сам недоумеваю. Вероятно, потому, что глаза видят только то, что находится перед нами, и поэтому ты всегда можешь проверить обман, а слух воспринимает и слова... — Никифор опять поднял многозначительно перст, — ...и слова, порой нащептанные нам человеком, стоящим позади. Ты слушаешь его. Но не верь всему, о чем он вопиет, если не проверишь предварительно сказанное испытанием. А бывает и так, что ты внимаешь другим и в слух твой вонзается стрела...

Мономаху показалось, что митрополит намекает на обыкновение правителей слушать доносы. Однако как же обойтись без них в государственных делах?

— А что тебе известно об обонянии? — спросил князь, чтобы снова перевести разговор на отвлеченные предметы.

Никифор, сияя глазами от радости, что в данном случае может дать самый любезный ответ на подобный вопрос, широко развел руки.

— Что мне говорить о благоухании такому князю, который чаще спит на земле, завернувшись в вонючую овчину, чем в мягкой постели и среди фицима, и не любит проводить время в украшенных палатах, а предпочитает бродить по лесам, выслеживая зверя на ловах или собирая законную дань? Ведь ты носишь часто простую одежду и, только въезжая в город, надеваешь рави, величия власти светлые ризы. Как полагается правителю. Благовония же предоставим изнеженным женщинам...

Митрополит тихо смеялся в кулак, вспоминая накрашенных константинопольских красавиц.

Но Никифору опять пришло на ум воспользоваться случаем и сказать князю еще что-нибудь приятное. Он даже подался вперед в своем кресле.

— Или вкус! О, мы все хорошо знаем, что когда ты устраиваешь пир, то угощаешь одинаково радушно званых и незваных и не гнушаешься служить другим, а сам даже не притрагиваешься к вкусным яствам. Ты охотно раздашь золото и серебро, но сокровищница твоя от этого не скудеет...

Мономах понял, куда клонит митрополит. Ну что ж! Он согласен и впредь оделять митрополита и епископов. Пусть молятся о его грешной душе.

Ратибор относился к подобным беседам с полнейшим равнодушием, и ему уже надоело держать неудобную чашу. Он не знал, что это один из приемов греческого воспитания. Человек, имеющий в руках какой-нибудь предмет, тем самым лишается возможности размахивать ими, как в уличной драке, поэтому его движения тем самым становятся изящными, и вместе с ними так же пристойно развивается его мысль. Кроме того, митрополит считал, что ни к чему напрасно расходовать деньги на угощение людей, и без того ежедневно обжираться мясом. Не лучше ли эти средства потратить на бедных, сирот и вдов? Хотя что-то никто не замечал, чтобы бедняки получали много милостыни на митрополичьем дворе. Но ведь на иерархе лежали более высокие и ответственные обязанности: вести свою паству к небесному спасению. Во всяком случае, угощение у митрополита неизменно ограничивалось чашей красного вина, разбавленного водой и сваренного с пряностями, и горстью грецких орехов в меду или сушеных смокв.

Не в пример Ратибору, боярин Мирослав, наоборот, ценил подобные посещения. Отпивая крошечными глотками вино, чтобы показать митрополиту всю свою благопристойность, он с удовольствием слушал беседу о душе, хотя мало что постигал в ней. Ему доставляло удовольствие уже одно то, что он переступил во время этого разговора порог, за который могут ступать только избранные, не такие грубые мужи, как какой-нибудь Ольбер Ратиборович или даже его брат Фома.

Настало время прощания. Мономах спросил:

— Еще хотелось бы мне знать...

— Слушаю тебя, благородный князь.

— Что есть рай мысленный? Есть ли в нем сады, а на их деревьях плоды, которые можно вкушать?

Никифор задумался на минуту.

— Существует книга. Она называется «Диоптра». Это плач и рыдания одного странного инока. Она написана неким Филиппом, а предисловие к ней составил не кто иной, как сам Михаил Пселл. Я пришлю тебе эту книгу. Ты почерпнешь в ней и ответ на твой вопрос и многое другое узнаешь о своей душе. У этого писателя плоть называет душу своей владычицей, а себя — рабыней души. Очень занимательная книга в вопросах и ответах...

Князь благодарил.

— И не забудь, благородный,— прощая до дверей высокого гостя, говорил митрополит,— что только смерть льет воду в печь наших воспаленных желаний.

Перед самым расставанием, уже на лестнице, Никифор спросил Мирослава, желая и этому гостю сказать что-нибудь приятное:

— Слышал, ты на свои средства отправил инока Дионисия в Иерусалим?

Этот вопрос действительно пощекотал самолюбие тщеславного боярина. Ему доставила удовольствие мысль, что о его благочестивой затее знает и митрополит, а может быть, известно даже в Царьграде. Дионисий привез ему кусок камня от гроба Христа.

— Какая цель руководила тобой? — дружески расспрашивал Никифор.

Боярин потирал руки.

— Сам я уже не в том возрасте, чтобы пуститься в такое далекое путешествие, и поэтому мне пришлось на ум отправить кого-нибудь, чтобы этот человек все увидел своими глазами и, возвратясь в свое отечество, рассказал мне обо всем как очевидец...

— Умно, умно...— одобрял митрополит.

Владимир Мономах прибавил с улыбкой:

— Боярин намерен и в Царьград послать другого инока. Писец Григорий сделал для него Евангелие, и теперь требуется переплести его достойным образом, а в Греческой земле умеют оковывать книги в серебро.

— Умно и это,— повторял Никифор.— Ты там найдешь прекрасных художников, которые выполнят твое желание.

На дворе отроки уже держали под уздцы коней, плясавших от нетерпения, вызывая восхищенные взгляды греческих монахов.

## XXXII

Позади последний дуб растаял в зимней мгле. Тесно перебирая ногами, так что было видно, как на его лядвях напрягались железные мышцы, огромный конь втащил сани на косогор. Отсюда к Переяславлю спускалась уже прямая и ровная дорога. Город виднелся вдали. Мономах прикрыл рукой глаза и еще раз увидел места, где столько пережил и передумал. Слева раскинулись в беспорядке хижины слободы, кузницы и гумна. Справа, по обоим берегам Альты, что впадала здесь в Трубуж, голубела дубовая роща. Город был расположен дальше, и его окружали высокие валы с частоколом. Мономаху показалось, что он узнает вдали приземистую башню над Епископскими воротами, с нахлобученной снежной шапкой.

Князь усмехнулся: в Царьграде хорошо знали этот крепкий русский орех. В языческие времена, когда предки еще клялись Перуном и Велесом и приносили клятву на своих обнаженных мечах, в договорах с греками неизменно требовалась часть добычи и на Переяславскую землю. Потом Владимир вздохнул при мысли, что едва ли патриарх причтет его к сонму святых после тех неприятностей, какие он причинил царям в последние годы, невзирая на знаменитое прозвище и мономахову кровь в своих жилах. Там хорошо знали, как вел себя переяславский князь, когда Алексей Комнин пытался использовать Олега в своих дальновидных целях. Ничего из этих попыток не вышло, так как Мономах тоже внимательно следил за игрой хитроумных вельмож. Все переплелось и перемешалось в этих событиях: установленные вселенскими соборами церковные догматы, и притязания греческих царей на всемирное руководство, торговля мехами, шелком или пурпуром, а в то же время — судьба тысяч людей, которых никогда не следует доводить до отчаяния.

В те дни купцы, приходившие из греков, рассказывали, что там происходит большая смута. Никифор Вотаниат не сумел расположить к себе константинопольский народ, легкомысленно опустошал государственную сокровищницу, щедро раздавал награды своим приверженцам и любовницам, но этим только возбуждал неудовольствие у тех, кому ничего не досталось. Супруга царя Мария благоволила к великому domestiку Алексею Комнину, глаза которого, по словам Анны, не жалевшей красок в своей книге для портрета отца, блистали, как звезды, когда он победоносно крутил шелковистые усы. Этот блистательный воин победил Вриенния, носившегося на коне, подобно новому Аресу, возвышавшегося головой над другими людьми на целый локоть. Когда, закованные с ног до головы в железо отборные воины —

катафракты — побежали без оглядки перед дружиной Вриенния, Алексей остановил их мощной рукой и одержал победу. Другой опасный мятежник, по имени Василаки, едва не убил великого domestика. Однажды Василаки уже ворвался в его шатер, но нашел там только трепещущего от страха инок Иоанникия, всюду сопровождавшего Алексея по настойчивой просьбе его матери. В горячей схватке каппадокиец по имени Гул ударил предводителя мятежников мечом по голове, однако потерпел, как пишет Анна Комнина, ту же самую неудачу, что и Менелай с Парисом. Если перевести эту пышную метафору на обыкновенный язык, каким описываются битвы, то у Гула попросту сломался клинок. С Василаки domestик сражался с таким же упорством, с каким лев борется против дикого кабана, вооруженного смертоносными клыками. Победленного мятежника немедленно ослепили. За эти подвиги Алексей получил звание севаста, а его брата Исаака сделали дукой Антиохии, совершенно неприступной крепости. Царь Никифор прижимал обоих к своей груди, и Борил и Герман, двое всесильных временщиков, скрипели зубами от зависти. Описывая события тех лет, греческая писательница презрительно называет этих царедворцев рабами.

Но назревали события. Никифору приближался к концу своих дней и имел намерение передать престол сыну царицы Марии. Однажды Алексей и Исаак явились к ней, чтобы условиться о том, как поступить при таких обстоятельствах. Царица не дала определенного ответа, хотя братья намекали, что предлагают свои услуги. Следуя придворному ритуалу, они отступили назад и, не произнося ни одного слова, но опустив глаза долу и сложив руки на груди, что тоже требовалось сложным ромейским церемониалом, постояли некоторое время в задумчивости и потом, сделав обычный глубокий поклон, удалились почтительно, но с тревожным чувством в душе. Однако у них уже созрел в уме тайный план, который они пока никому не открывали, опасаясь, подобно рыбакам, выходящим в море на ловитву, спугнуть добычу. С тех пор они всячески старались приобрести расположение царицы Марии. Между тем Борил донес боленному царю, что великий domestик ведет себя крайне подозрительно и стягивает к Константинополю значительные воинские силы. Теперь Комнинам нужно было действовать быстро и решительно. Алексей, человек очень щедрый, во всяком случае не из тех, кто скупится, по константинопольской поговорке, на тмин в похлебку, привлек на свою сторону многих знатных людей.

Наступила ночь сырного воскресенья. Едва пропели первые петухи, братья Комнины, захватив боевых жеребцов на императорской конюшне, покинули вместе с другими заговорщиками спящую столицу. Потом об этой знаменательной ночи в Константинополе сложили веселую песенку:

В эту сырную субботу  
догадался Алексей,  
он из клетки золоченой,  
словно сокол, улетел...

Среди других на сторону Комнинов стал могущественный вельможа Георгий Палеолог и кесарь Иоанн Дука. Алексей, как умный человек, притворно отказывался принять царскую власть, но Исаак насильно надел на брата пурпуровые сапожки. Никифор Вотаниат, всеми оставленный и уже сделавшийся робким в старости, пытался сговориться с мятежниками, предлагая сделать Алексея своим соправителем, но в конце концов вынужден был сменить царский пурпур на монашеские одежды. Его спросили:

— Не тяжело ли переносить подобную перемену судьбы?

Низложенный царь хмуро ответил:



— Меня только огорчает теперь воздержание от мяса.

Такие слова говорят о том, каким ничтожным являлся этот человек во всей пышности своего положения.

На престол вступил Алексей Комнин и положил начало блистательной династии. Впрочем, немало трудов и огорчений было у Алексея Комнина. Лицо Востока к тому времени претерпело большие изменения. В Багдаде, в Египте и даже в далекой Испании халифы постепенно утратили воинственный пыл Магометовой веры и предпочли вкушать мудрый покой под шорох прохладных фонтанов, перечитывая астрономические альманахи. Они уже забыли, что такое упоение конной битвы и блеск мечей под зелеными знаменами пророка. В Багдадской земле царило разделение. Эмиры ссорились друг с другом, как горшечники на базаре или продавцы баранов. На исторической сцене появилась новая сила. Это были турки-сельджуки, принявшие к тому времени ислам. Уже в 1071 году турецкий султан Алп-Арслан разгромил греческое войско и взял в плен самого императора Романа Диогена, так трагически закончившего свои земные дни.

Почти вся христианская земля от Иерусалима до Мелитины подверглась разграблению. Двести турецких кораблей бороздили Пропонтиду во всех направлениях. Их влекли к себе богатства св. Софии, с жемчугами и золотом которой могли поспорить только сокровища храма Соломона.

А между тем Алексей потерпел страшное поражение от печенегов и спасся только в постыдном бегстве. Константинополю угрожал турецкий пират Чаха. Алексей находился порой на краю бездны и переживал настоящее отчаянье.

В жестокой борьбе за Константинополь, которому уже угрожала непосредственная опасность, Алексей вынужден был изъять из храмов священные сосуды, чтобы иметь возможность заплатить наемникам и приобрести оружие. Когда его обвиняли в святотатстве, образованный император с горечью отвечал:

— Я нашел царство ромеев, окруженное со всех сторон варварами, и, не имея ничего для борьбы с приближавшимися врагами, без всяких средств и без оружия в хранилищах, я использовал взятое в церквах на самые необходимые расходы. Так поступил в свое время Перикл в минуту опасности для Эллады и сам царь Давид, разрешивший своим воинам вкушать от священных хлебов, когда они взалкали после битвы...

Чтобы выйти из трудного положения, император стал выпускать вместо золотой монеты медную, едва покрывая ее золотым слоем. Но и это не помогло восстановить расстроенные средства государства.

Тем временем в Западной Европе все более настойчиво возникала идея крестового похода. Одни хотели освободить гроб господень в Иерусалиме от насильников — мусульман, другие мечтали о плодородных землях в далекой Сирии, третьи хотели прибрать к рукам богатые торговые города Востока. Говорили, будто сам Алексей Комнин просил о помощи западных рыцарей, — но на самом деле василевс не знал, как ему избавиться от полчищ незваных помощников, когда они — кто морем, кто посуху — внезапно появились у стен греческой столицы.

### XXXIII

Уже предчувствуя тепло конюшни и вкусный ячмень на зубах, белый жеребец, везущий княжеские сани, екая селезенкой, бодро шел рысью по ровной дороге, потряхивая на спине возницу. Далеко впереди и за санями гарцевали отроки, раздумывавшиеся на легком морозе во время этого дли-

тельного перехода. Наступали сумерки. Справа, над деревьями дубовой рощи, кружилось черное воронье, устраниваясь на ночлег. Мирный город тоже готовился отойти ко сну, и Любава заплетала на ночь при свете масляного светильника золотистую косу.

Родом из Переяславля были и те двое юношей — имена их не сохранились для потомства, — что отправились однажды со странниками на поклонение гробу Христа и, захваченные в Сирии событиями, взяли в руки оружие, чтобы сражаться в христианских рядах; они пали где-то под Антиохией, в безводной пустыне, в то время как их соотечественники сражались в степях с половцами. Весь Восток был залит тогда кровью.

Владимир Мономах только в общих чертах мог иметь представление о том, что происходит в его дни в Западной Европе, когда там началось движение, известное в истории под названием Первого крестового похода. Но ему, конечно, было известно, что тысячи христиан двинулись на Восток и после кровопролитных битв освободили Иерусалим от агарян.

Пилигримы, ходившие на поклонение христианским святыням в Палестину, возвращаясь на родину, если им удавалось возвратиться из этого опасного путешествия, приносили с собой не только увядшие пальмовые ветви или иорданские камушки, но и восторженные рассказы о богатых восточных городах, обильных товарами и торговой суетой базарах, великолепных дворцах, фонтанах и прочих чудесах сарацинской жизни. В Сирии в изобилии росли пальмы, виноградная лоза, хлопок, оливковые деревья, смоковницы, персики, миндаль, лимоны, бананы и великолепная пшеница. Эти сады и огороды орошались дождевой водой, которой в период зимних ливней предусмотрительно наполнялись вместительные цистерны. Торговля в сирийских и палестинских городах процветала. Приморские поселения являлись портами, из которых вывозились шелковые ткани, сухие плоды, стеклянные изделия, оружие, а также скот и пшеница. Здесь строились корабли и добывались металлы и мрамор. Все это происходило на глазах у паломников.

В ноябре 1095 года был созван Клермонский собор. Он происходил под открытым небом, так как во всем городе не нашлось такого обширного помещения, чтобы вместить под своей крышей толпы его участников. Папа Урбан произносил зажигательные речи, призывая христиан отправиться в Палестину, на освобождение гроба Христа. Кроме вечного блаженства погибшим за святое предприятие, он обещал живым:

— Кто здесь беден, там будет богатым!

Тысячи людей, влачивших в европейских странах жалкое существование, мечтали о лучшей доле, поэтому не приходится удивляться тому, что многие поселяне бросили свои хижины, подковали мирных волов, как это делали рыцари с боевыми конями, погрузили на повозки детей и скудное свое имущество и, нашив на лохмотья красные кресты, двинулись на Восток. Перед каждым большим городом они останавливались и спрашивали встречных, указывая корявыми пальцами на незнакомые башни и церкви:

— Не Иерусалим ли это?

Трудно себе представить, на что они могли надеяться, так как у них не было ни организации, ни оружия, а человек, который вел их на верную гибель, Петр Пустынный, оказался беспочвенным мечтателем и бросил несчастных в трудную минуту. В пути эти люди вынуждены были жить грабежом, поэтому жители стран и областей, по которым они проходили, безжалостно уничтожали нежелательных бродяг. В Трире, Майнце и Вормсе они в свой черед избивали евреев, считая, что мстят за распятие Христа. В Венгрии их поджидал на границе король Коломан и потребовал, чтобы они не грабили его землю. В Чехии большой отряд крестьянских крестоносцев был

уничтожен войсками князя Брячислава. В конце концов так же поступил с ними и венгерский король.

Но все-таки около двухсот тысяч человек добралось до Константинополя. Эти безоружные люди представляли собою жалкий и никому не нужный сброд. Император Алексей, опытный воин, по собственному опыту знавший, какой страшный враг ждет крестоносцев в Азии, уговаривал Петра Пустытника не торопиться с переправой на другой берег. Крестьяне послушались совета и весьма удивлялись богатству Константинополя, а потом начали грабить лавки, что вызвало вмешательство местных властей. В конце концов, чтобы избавиться от этих беспокойных гостей, греки переправили их через Босфор. Это произошло в октябре 1096 года. Увы, вскоре почти все принявшие участие в походе были перебиты турками или обращены в рабство. Но в это время уже двинулись в путь рыцарские ополчения.

Во главе воинственного нормандского рыцарства стал герцог Роберт, родной брат Вильгельма Завоевателя; из Лотарингии рыцарей повел Готфрид Бульонский, из Южной Франции — граф Раймунд Тулузский, из Италии — Боэмунд Тарентский. Эти могущественные феодалы надеялись возместить свои потери в Европе новыми завоеваниями в восточных богатых странах. Так, например, рассуждал Готфрид, заложивший свои владения епископу города Льежа, чтобы иметь возможность нанять семьдесят тысяч воинов и предпринять этот рискованный поход. С ним двинулись также два брата — Евстафий и Балдуин, впоследствии ставший королем иерусалимским. Французских рыцарей возглавил граф Гуго Вермандуа, брат короля Филиппа I, сын Анны Ярославны. Этот рыцарь очень гордился своим происхождением. Менестрели называли его вторым Роландом.

Все эти закованные в железо воины двинулись через Италию, и граф Гуго Вермандуа получил из рук папы Урбана священную хоругвь. Были своевременно уведомлены о приближении рыцарей и в Константинополе. На тамошних рынках о них говорили:

— Латынтян больше, чем звезд на небе, они многочисленнее песка на морском берегу.

Во всяком случае, Алексей Комнин решил принять соответствующие меры. Первый из крестоносцев, с кем познакомился император, и был граф Гуго. Он написал Алексею еще из Италии. Но встреча Алексея с братом французского короля произошла при неблагоприятных обстоятельствах и без всякой пышности. Дело в том, что корабль, на котором плыл Гуго, попал в жестокую бурю и потерпел крушение. Волны выбросили его на греческий берег. Здесь графа и нашла в самом жалком состоянии береговая стража. Знатного рыцаря немедленно доставили в столицу и поселили в роскошном дворце. Император был очень любезен с ним. Однако само собою разумеется, что за каждым шагом Гуго следили особо приставленные для этой цели люди и обо всем доносили кому следует. Поэтому даже распространились слухи, что граф содержится в качестве пленника, и Готфрид Бульонский стал разорять Грецию, требуя освобождения брата французского короля.

Между тем наступила зима, и, как писала с обычной склонностью своей к пышности слога Анна Комнина, солнце уже стало склоняться к северным кругам. По ее словам, греческий император честно выполнял взятые на себя обязательства, поставляя рыцарским войскам обещанные съестные припасы. Но он, конечно, сделал все, что было в его силах, чтобы поскорее переправить неприятных пришельцев в Азию и там использовать их оружие в собственных целях. Поэтому он просил графа Гуго переговорить с Готфридом Бульонским, не согласен ли тот выступать на театре военных действий как

подчиненный ромейскому императору. Готфрид, оттопырив нижнюю губу, презрительно спросил:

— Ты сам стал рабом и меня хочешь сделать таким же, как ты?

Тем не менее Готфриду, очутившемуся в затруднительном положении, пришлось коленопреклоненно принести присягу в ленной верности схизматике. Алексей позолотил пилюлю тем, что льстиво поговорил с каждым влиятельным рыцарем и восхваляя доблесть и знатность их предков. Нашлись среди гостей и грубияны. Например, один из рыцарей бесцеремонно уселся на императорский трон, и когда Балдуин потянул его за рукав, призывая к порядку, то он упирался и, бросая сердитые взгляды в сторону царя, бранился:

— А он воспитанный человек? Сидит развалившись, когда благородные рыцари стоят!

Наконец крестоносцы благополучно переправились на азиатский берег. Всего там оказалось около трехсот тысяч вооруженных воинов и почти столько же слуг, женщин и вообще всякого рода людей, сопровождающих войска в походе. Турецкий султан находился в древней Никее, его владения простирались до самого Евфрата, однако на этой территории насчитывалось больше христиан, чем мусульман, и все эти сирийцы и греки, сохранившие верность христианскому учению, само собой разумеется, ждали крестоносцев как освободителей. Но когда Никея была взята, в нее вошел отряд императорских войск. Латыняне протестовали. Тогда греческий стратиг напомнил им о ленной присяге: согласно заключенному договору с крестоносцами и во исполнение данных клятв, все взятые ими города переходили во власть императора и не должны были подвергаться разграблению. Готфрид Бульонский и на этот раз подчинился царю.

После взятия Никей крестоносное воинство разделилось: часть рыцарей пошла к Тарсу, остальные направились к Антиохии. На берегу Средиземного моря с последними соединились армянские отряды. В ноябре 1097 года крестоносцы подступили к Антиохии, чудовищно укрепленному городу, на стенах которого могла свободно проезжать повозка, запряженная четверкой лошадей. Достаточно сказать, что число городских башен достигало четырехсот пятидесяти. Распоряжался теперь в рыцарском войске на правах полновластного начальника Боэмунд, и когда греческий стратиг Татикий бежал, он потребовал, чтобы его признали верховным вождем.

Началась осада Антиохии. Но благодаря измене одного из военачальников турецкой армии, армянина Фируза, крепость была взята. Увы, вскоре победители сами оказались в осаде, которую повел против города эмир Кербога, пришедший с большим турецким войском. Для поддержания духа у крестоносцев придумали рассказ о чудесном сневидении. Некий монах уверял, что ему явился во сне апостол Андрей и повелел найти копье, которым был прободен Христос на кресте. Копье это якобы находилось в городе. Начались поиски священной реликвии. Разумеется, в указанном месте нашли старую, заржавленную пику и решили, что это и есть бесценная христианская святыня. Как раз в это время в лагере осаждающих начались ужасные раздоры. Крестоносцы воспользовались этим, сделали удачную вылазку и разгромили табор Кербоги. Конечно, все было приписано божественной помощи.

Впрочем, и у самих крестоносцев начинались споры о власти. Раймунд Тулузский требовал, чтобы во исполнение данной клятвы город был передан греческому царю. Для переговоров с ним послали Гуго Вермандуа. Но граф не вернулся в Антиохию, а сел на корабль и отплыл в милую Францию. В это время император Алексей находился со своими мощными осадными машинами совсем недалеко от антиохийских пределов, однако, по-видимому, не имел

большого желания помогать крестоносцам, а, пользуясь тем, что они оттягивают силы турок, без особенных усилий занимал прибрежные города, среди которых были Эфес и Милет.

В Антиохии начался мор, во время которого умер папский легат. Простые воины стали роптать и требовали идти дальше. Вождям пришлось уступить, и крестоносная армия пошла под стены Иерусалима. Город решили взять штурмом. Наконец 15 июля 1099 года священный град пал, после отчаянного сопротивления мусульман. Существенную помощь оказали крестоносцам пизанцы и генуэзцы, доставившие лесные материалы, необходимые для сооружения стенобитных машин. Взяв город, рыцари залили его кровью. Хронисты не без удовольствия рассказывают о лужах крови, по которым ходили воины. Не было пощады ни женщинам, ни младенцам.

Затем в Иерусалиме устроили королевство. Возглавил его Готфрид Бульонский, отказавшийся от титула короля, а назвавший себя только «защитником гроба господня». В его распоряжении осталось всего двести рыцарей и две тысячи простых воинов. Зато у Боэмунда в войске насчитывалось около двадцати тысяч человек. Этот граф ненавидел императора Алексея и, едва освободившись из плена, в который попал во время сражения с турками, поспешил в Европу за новыми подкреплениями. Узнав о его возвращении, греки приложили все усилия, чтобы захватить его корабль, и существует легенда, что Боэмунд велел положить себя в гроб и обманул бдительность императорских соглядатаев, искусно притворившись мертвецом. Весною 1107 года ему, во всяком случае, удалось собрать в Италии еще тридцать тысяч воинов. Папа Пасхалий вручил графу благословительные грамоты, а король Франции выдал за него свою дочь Констанцию.

В это время, невзирая на все свои недуги, император Алексей деятельно продолжал борьбу с турками. Однако, кроме болезней, последние годы его царствования омрачались семейными огорчениями. Царь считал, что наследовать ему должен старший сын Иоанн. Между тем многие предпочитали бы видеть на троне образованную дочь Анну и ее мужа. Алексей знал об этих интригах, в которых была замешана и императрица. В молодые годы часто изменявший своей прелестной супруге, теперь он всюду возил ее за собой, может быть опасаясь, что в его отсутствие она может устроить дворцовый переворот, а царь великолепно знал, что это делается в Священном дворце без особых затруднений. В 1118 году, присутствуя во время какой-то торжественной церемонии на Ипподроме, Алексей почувствовал себя плохо, и его унесли в Большой дворец, а потом в Манганы, вероятно считая, что там, на берегу моря, где веют зефиры, больному будет лучше. Лечил царя медик Николай Калликл, к тому же отличный стихотворец. Но, несмотря на самый внимательный уход, император скончался. На престол вступил Иоанн...

О Балдуине, который сделался царем в Иерусалиме, с симпатией рассказывал Владимиру Мономаху игумен Даниил. Когда однажды король отправлялся в поход на Дамаск, ему сказали, что его хочет видеть русский монах. Балдуин спустился из своего дворца по каменной лестнице, чтобы сесть на коня, которого уже держал под уздцы один из оруженосцев, и к нему подвели одетого на греческий образец священника. Он вспомнил, что где-то видел этого монаха.

Король, высокий человек со светлой бородой, подстриженной по константинопольской моде, был уже в кольчуге, но поверх нее носил, как делали это и все другие рыцари, чтобы предохранить железо брони от раскаленных лучей солнца, длинное полотняное одеяние, до самых пят, с красным крестом на груди. На голове у Балдуина поблескивала серебристая кольчужка, оставшаяся открытым только лицо. Тяжелый его шлем нес молодой оруженосец

с черной челкой на лбу. Такие шлемы только начали входить тогда в употребление и представляли собой нечто вроде ведра с узкими прорезями для глаз. Шлем короля завершали резная золотая корона и три страусовых пера — розовое, белое и голубое.

Балдуин до конца своих дней оставался человеком, лишенным преувеличенной гордыни, свойственной многим знатым рыцарям того времени. Лицо его как будто бы даже выражало некоторое удивление, что он царствует и живет во дворце, окруженный вельможами и слугами, хотя ничем не отличается от любого из знатных воинов. С таким несколько удивленным выражением глаз король спускался и по лестнице, кидая растерянные взоры направо и налево, и вдруг улыбнулся, увидев, что внизу стоит русский аббат, окруженный своими спутниками. Балдуин остановился перед ним. Даниил, за год пребывания в монастыре св. Саввы немного освоившийся с местными обычаями и с этой латинской жизнью, столь непохожей на черниговские нравы, приблизился к королю с поклоном.

— Что ты хочешь, русский игумен? — спросил его король на плохом греческом языке.

Рядом с Даниилом стояли люди, пришедшие сюда из Новгорода и Киева, богатые купцы Седеслав Иванович и Горислав Михалкович, также два брата Кашкичи и некоторые другие паломники. Обязанности переводчика во время странствований Даниила по достопримечательным местам исполнял обычно один монах из монастыря св. Саввы, где проживал черниговский игумен. Но этот человек, пришедший сюда из славянской страны, хорошо говорил только по-гречески, а языка латыня не знал. Поэтому объясняться с королем Балдуином было затруднительно. Балдуин понял, что аббат имеет намерение отправиться вместе со своими спутниками в Галилею и просит позволения совершить этот небезопасный путь под защитой королевского войска. Король разрешил Даниилу и его спутникам это предприятие, поручив пажам всячески заботиться о нуждах русских путешественников. Отдав эти распоряжения на странно звучащем для слуха черниговца наречии, Балдуин протянул руки к шлему, чтобы надеть его на голову. Другой паж тотчас подвел боевого коня под длинным, до самых бабок, покрывалом из красной шелковой ткани, с вышитым на боку геральдическим сухопарым львом, вставшим на дыбы и высунувшим волнообразно длинный язык. Для большой конской головы в покрывале был искусно выкроен особый мешок с двумя широкими отверстиями для глаз, непривычными для русских. Король не без труда влез на седло с помощью оруженосцев и, еще раз улыбнувшись Даниилу, тронулся в путь. Он очень уважал русского аббата за его скромность и умение держаться с достоинством. В такт конскому шагу мерно покачивались страусовые перья на королевском шлеме. Розовое, белое и голубое.

Так как король велел предоставить монаху выносливого мула, а его спутникам коней, то оруженосец повел Даниила на конюшню, ласково предлагая, чтобы он выбрал там животное по своему вкусу. Надо было торопиться, потому что передовые части королевского войска выступили уже на заре и двинулись по щебнистой дороге вдоль берега Иордана на север.

Русские паломники хотели побывать в Тивериаде, Назарете и подняться на гору Фавор, чтобы потом рассказать об этом на Руси. Путешествие из Иерусалима в Галилею продолжалось три дня. Путь в Галилею часто проходил среди каменистых гор, в безлюдной и безводной местности, и русские люди с любопытством, смешанным отчасти со страхом перед непривычностью этого зрелища, взирали на страшные кручи. Кое-где попадались становища с населением, имевшим разбойничий вид, но войска Балдуина служили зало-

гом безопасности. Поселяне придорожных деревень смотрели на проходившее войско без большой нежности и предусмотрительно прятали своих коз и ослов в укромных местах. Наконец среди бесплодных и как бы лунных гор блеснуло Генисаретское озеро, синее, как сапфир, и из груди у путников вырвался тогда вздох восхищения. Король Балдуин тоже остановил коня, чтобы полюбоваться открывшимся зрелищем...

Даниилу уже не в первый раз приходилось пользоваться любезностью иерусалимского короля. Он являлся для Балдуина представителем той таинственной страны, родом из которой была Анна — мать Филиппа и Гуго. Граф Вермандуа неожиданно покинул Палестину и отправился во Францию. Но когда его обвинили в трусости, он вторично вернулся в Святую землю, был ранен при осаде Антиохии и умер от полученных увечий в Тарсе, где и был похоронен, как подобает рыцарю и брату французского короля.

Однажды Даниил явился к королю. Как всегда, у дверей дворца стояла вооруженная стража, а в переднем покое, где надо было подождать, когда позвонят к королю, толпились рыцари, пришедшие сюда с жалобами и просьбами о вознаграждении.

— Что тебе надобно, русский игумен? — по своему обыкновению спросил Балдуин.

Даниил любил свою землю и не мог забыть о ней на чужбине.

— Господин, — сказал он, — я пришел к тебе от имени русских князей, чтобы ты позволил поставить на гроб Христа лампаду за Русскую землю и всех ее христиан...

Король охотно разрешил. Он всегда был особенно любезен с этим аббатом, пришедшим из далекой страны.

Игумен Даниил спешно отправился на городской базар, в то место, где находились лавки медников и продавцов стеклянных изделий, с денежной помощью своих богатых спутников приобрел в одной из греческих лавок большую стеклянную лампаду и наполнил ее чистым елеем, без примеси воды. Король послал с игуменом одного из своих рыцарей к эконому храма Воскресения, наблюдавшему за христианскими святынями, и тот, попросив, чтобы Даниил и его сопровождающие сняли калиты, повел всех в священную пещеру.

Черниговский монах рассказывал об этом по возвращении на Русь Владимиру Мономаху:

— Это случилось уже к вечеру. Я принес лампаду в церковь и своими грешными руками поставил ее в ногах гроба. В изголовье уже стояла греческая лампада, а посреди — от монастыря святого Саввы. Латинские же светильники висят на цепочках над гробом.

Подперев голову рукой, князь слушал рассказ о далеком Иерусалиме, где находится пуп земли и другие чудеса.

— Наутро перед храмом собралось множество народу, так как наступила Пасха. Пришли сюда не только местные жители, но и из далеких стран. Из Греческой земли и Египта, из Вавилона и Антиохии. Сделалась такая теснота, что сам король не имел возможности войти в церковь, и его отроки вынуждены были расталкивать людей. Тогда он прошел как бы по живой улице, и вместе с ним шел я, а позади нас двигалась его дружина. Король стал на предоставленном ему месте и прослезился, ибо даже человек с каменным сердцем не может удержаться от слез в этом месте. Меня он поставил наверху, откуда я мог все видеть...

Дальше следовал рассказ, как таинственным образом зажглись светильники и горели огнем, подобным киновари. Мономах знал, что в иерусалимских церквах на великой ектении поминается и его имя.

Мономах совершил путь из Чернигова в Переяславль совершенно неожиданно, просто потому, что вдруг у него родилось желание побывать в этом городе. Он сказал:

— Хочу навестить милого сына Ярополка и молодую сноху, поклониться гробницам близких своих...

Князь велел свернуть с дороги, что вела в Киев, на переяславскую, и вот уже путешествие приближалось к концу, а никто не встречал старого князя у городских ворот, ибо не получили уведомления.

В тихий и богоспасаемый город на реке Трубеже прибыли, когда на снежные поля уже опустились голубые сумерки и вечерняя заря угасла за белыми дубами. С этой стороны въезжали в Переяславль через древние Епископские ворота. Все тут было знакомо Мономаху с юных лет. Слобода гончаров вдоль оврага, где они брали глину для горшков и мисок. Хижины еврейских ремесленников. Иудейское кладбище. Слева от дороги черные кузницы, и одна из них — Косты. Но час наступил поздний, и в горах уже потушили огонь. Впереди зияли чернотой ворота приземистой дубовой башни. С обеих ее сторон тянулись засыпанные снегом валы с дубовым частоклом наверху. Над городом летало шумное воронье...

Люди уже вечеряли, и на пути не попадалось встречных. Сам князь Ярополк ничего не знал о приезде отца, веселился в палате со своей супругой, а не вылетел из ворот навстречу родителю, на склонившемся набок от быстрого хода коне, шибко выбрасывающем комья снега подковами задних ног. Не ожидая никаких событий, на склоне дня, епископ Лазарь тоже спокойно читал в теплой горнице увлекательную книгу под названием «Зерцало, или Плачеве и рыдания странного и грешного инока». Хлебал деревянной ложкой щи с курятиной тысяцкий Станислав. При распахнутых настежь воротах никого не оказалось.

Передовые отроки, прихорашиваясь и поправляя шапки, уже въезжали в город.

— Где вратные стражи? — сердито спросил Мономах ехавшего рядом с санями Илью Дубца. — Никого не вижу.

Илья огляделся, но стражей тоже не обнаружил.

— Бросили ворота, псы, — проворчал он. — Но вот идет кто-то, спрошу его.

Действительно, со стороны города в ворота вошел человек в черной медвежьей шубе и в такой же косматой шапке. Увидев, что приехали на откормленных конях вооруженные люди, прохожий понял, что это явился какой-нибудь важный боярин или князь, и прижался к бревенчатой стене воротного проезда.

— Ты кто? — спросил его с коня Илья.

— Гончар.

— Как звать тебя?

— Лепок.

— Ты воротный страж?

— Не я.

Старый князь тоже сурово посмотрел на гончара, от смущения даже не снявшего перед ним шапку, на что Мономах большого внимания не обратил, но сам стал производить допрос:

— Почему нет никого у башни и ворота не заперты, а близок уже ночной час?

— Стражи сегодня Козьма и Коста. Кузнецы.



Гончар бесстрашно смотрел в лицо князю.

— Где же они?

— Козьма в Устье уехал. Это я знаю. А где Коста...

По своему обыкновению Мономах входил во всякую малость, все хотел знать, иметь полное представление о том, что творится в каждом городе, в каждой веси.

— Зачем этот человек поехал в Устье?

— Сапоги покупать у богородицкого дьяка.

— Далеко поехал за сапогами.

— Услышал, что дьяк дешево продает.

— Значит, есть деньги у кузнеца, — сказал князь.

— Говорят, гривну на дороге нашел.

— Гривну? На какой дороге?

— На киевской.

— О потере кто-нибудь на торге заявлял?

— Не слышали.

Мономах остался недоволен сторожевой службой в Переяславле и уже грозился в душе, что строго взыщет с тысяцкого и от сына Ярополка потребует отчета.

— А другой кузнец где? — спросил он.

Прохожий почесал за ухом.

— Другой кузнец — Коста. Он тут должен быть.

— Почему же он не при воротах?

Злат навострил уши, чтобы лучше слышать, что будут говорить о кузнеце Косте.

Ежедневно к каждым городским воротам назначались из жителей по два стража. Они должны были охранять въезд в город, а с наступлением темноты запирали дубовые створки на железные запоры. Но в последние годы в Переяславской земле стояла тишина, люди забыли об опасности и стали пренебрегать сторожевой службой.

Мономах подумал опять, что непременно взыщет с тысяцкого, на обязанности которого лежало наблюдать за всеми военными делами. Но в это время из корчмы вышел кузнец Коста. Он постоял мгновение на пороге и бросился к башне, увидев, что там столпились конные отроки, судя по знакомым коням и одежде. Прохожий, что носил медвежью шубу, указал на него перстом:

— Вот спешит Коста!

Кузнец пробрался между конями к воротам и очутился лицом к лицу со старым князем.

— Ты страж при воротах? Почему свое место покинул? — строго спросил Владимир.

Коста снял заячью шапку и тут же придумал оправдание для себя:

— Вот прибежал ворота запиравать. А ходил домой за куском пирога на ночь. Да твоя дружина всю дорогу загородила. Едва пробрался между лошадиных боков.

Мономах сделал вид, что поверил.

— Ты кузнец? — спросил он.

— Кузнец.

— Не ты ли мне меч ковал?

— Я, князь.

— Починишь мое оружие. Что-то рукоять расшаталась.

— Починю, княже.

— Придешь завтра на княжеский двор.

Так они смотрели друг на друга, два человека, один уверенный в силе своих рук, привыкший к тяжкому молоту, другой во всей крепости своей души, повелевая всей Русской землей. Наконец князь нахмурил брови и произнес:

— Приехали на ночь глядя. Чего ждешь? Пора запирать ворота!

Румяный возница на коне, с наслаждением слушавший разговор князя с горожанами про сапоги и о том, что Коста должен меч чинить, встрепенулся и понял, что надо ехать дальше. Он тронул коня, и весь обоз стал въезжать в город. Сани снова заскрипели на снегу.

Позабыв о голоде, возница переживал историю с найденной гривной. Чего не наслушаешься, когда возишь старого князя!

Когда последний конь, помахивая хвостом, точно радуясь, что скоро он отдохнет в теплой конюшне, очутился за воротами, кузнец Коста, упершись в дубовые створки, затворил скрипучие ворота и задвинул скрежещущие железные запоры, пристроенные еще Владимиром Мономахом. Потом снял рукавицу и очистил нос. Теперь горожане могли спокойно спать до третьих петухов.

Конный отряд, вызывая тревогу в темных хижинах, проехал по Большой улице, направляясь к княжескому двору. В палатах не ждали приезда дорогого гостя. Ярополк и молодая княгиня, смугловатая, с лукавыми черными глазами, только что встали из-за стола и, потягиваясь, собирались лечь в постель. Наутро князь должен был ехать на медвежий лов. Вдруг на дворе послышались голоса, раздался топот ног по лестницам. Приезд отца расстроил все намерения князя, и началась радостная суета. Слуги уже вносили в горницу длинный ларь с оружием Мономаха и его торжественными одеждами и другой, обитый запотевшей с мороза медью, где хранились любимые книги старого князя, с которыми он не расставался даже в путешествиях, и всякие принадлежности для писания. Улыбаясь и вытирая красным платком усы и бороду после поцелуев, он сам вошел в горницу, сопровождаемый Ярополком и молодой княгиней, всячески старавшейся показаться приятной старику. От зеленой изразцовой печи в углу шло тепло. Князь приложил к ней озябшие руки и спросил:

— Как живешь, милый сын? И ты, красавица?

Княгиня вся расцвела в улыбке.

Мономах поговорил некоторое время со своими и, отказавшись от еды, лег в прохладную постель, так как устал с дороги и разомлел от крепкого зимнего воздуха. Помолившись и по привычке подумав о том, что сделал за день и что предстоит совершить наутро, князь повздыхал немного о том, как обманчиво все в этой суетной жизни и что все земное преходяще и протекает как вода. Не лучше ли последовать примеру князя Святоши, оставившего княжение и славу и власть и ушедшего в монастырь? Три года он пробыл на поварне, своими руками колот дрова и сам носил их с берега, хотя братья, Изяслав и Всеволод, удерживали его от подобного занятия. Но здравый смысл, притаившийся где-то в глубине, говорил, что он правильно провел свою жизнь, посвящая время не только молитвам, а и защите своей земли от врагов и устройению государства. Он поохал еще немного, и тотчас сон охватил его душу. Однако ночью, когда еще не пропели вторые петухи, князь проснулся и кликнул слугу, имевшего обыкновение спать перед дверью княжеской опочивальни на старой овчине, где бы великий князь ни находился. Мономах трижды позвал:

— Кунгуй!

Это был старый раб, торчин родом, преданный, как пес. Но Мономах не знал, что все нуждавшиеся в благоприятном решении своего дела или тяжбы

давали этому человеку деньги, приносили ему тайно подарки, чтобы с помощью сребролюбца добиться своей цели. Когда Кунгуй одевал господина или просто снимал вечером сапоги с его ног, он говорил тихим голосом все то, чего хотели бояре или епископ, и таким образом князь порой выполнял их желания, думая, что творит суд по своему разумению. Торчин готов был умереть за своего князя, но это не мешало ему хранить в укромном месте кожаный кошель, в котором он копил серебряные монеты, перстни и прочие сокровища, полученные за услуги, оказанные просителям.

— Кунгуй!

Слуга отворил дверь и появился на пороге, приводя в порядок одежду.

— Вот я, господин!

Старый слуга смотрел на князя с тревогой. Он страшился, что скоро настанет день, когда его господин покинет земной мир, и тогда он сам лишится возможности обогащаться и класть в кошель серебро. О своей собственной смерти торчин не помышлял. Может быть, потому, что каждый человек надеется жить долго, или боясь подумать о том, что рано или поздно придется расстаться с накопленным богатством.

— Вот я пришел,— повторил торчин, прикрывая тайком зевок, хотя в горнице было темно.

Мономах приподнялся на ложе, опираясь о него обеими руками.

— Зажги свечу!

Кунгуй стал высекать кресалом огонь, раздул трут и запалил клочок пакли. Потом зажег толстую восковую свечу, одну из тех, что князь всегда возил с собою, и поставил серебряный светильник на стол. Лампады в горнице не было.

Князь сказал:

— Открой ларь с книгами.

Торчин исполнил и это приказание, поставил ларь у постели и стоял так в ожидании новых повелений. Но Мономах отпустил слугу мановением руки:

— Теперь иди спать, еще далеко до рассвета.

Оставшись один, старик тяжело опустился на колени перед ларем,— в белой рубахе и таких же портах, босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, как он ходил дома и спал, чтобы не портишь и не мять дорогие одежды,— и начал перебирать свои книжные сокровища.

Первой ему попала в руки «Палея». В этой книге можно было найти самые волнующие выборки из Ветхого завета. Мономах стал перелистывать ее, отыскивая то место, которое очень любил читать,— где праотец Иуда рассказывает о своем мужестве и крепости мышц. Князь шепотом перечел еще раз:

— «Лия, мать моя, назвала меня Иудой... В юности своей я был быстр на движения, имел мужество в персях и быстроту в ногах и множество воинов убивал своей десницей, разрушая твердыни городов, не покорявшихся мне...»

Мономах с увлечением шептал знакомые строки:

— «Настигая лань, я ловил ее и готовил обед для моего отца. Я охотился также на серн и на всех зверей, что находились в полях, а диких кобылиц ловил и укрощал, и однажды убил льва, вырвав из его пасти козленка, медведя ухватил за ногу и сбросил с берега, и так расправлялся со всяким зверем, что нападал на меня, разрывая его, как пса. В другой раз я загнал дикого вепря и свалил его. В Хевроне рысь вскочила на моего пса, но я взял ее за шею и ударил о землю. В пределе Газском я убил дикого буйвола, ядущего ниву. Взяв его за рога, я закрутил животное, поверг на землю и зарезал...»

Когда Мономаху впервые попались на глаза подобные строчки, он поразился. Ему показалось, что все это написано о нем самом, — настолько его жизнь была похожа на жизнь Иуды, одного из библейских патриархов. Но в ту ночь Владимир искал в ядре свои собственные записи — небольшую книжицу, величиной немного более ладони, сшитую из листов желтоватого пергамента, на которых уже порыхтели от времени чернила прежних писаний.

Двадцать лет тому назад... Старый князь хорошо помнил, как в день великомученика Феодора Стратилата и Феодора Тирона, в первую неделю великого поста, он очутился в большом погосте, расположенном на левом берегу Волги, недалеко от города Ростова, готовясь к тому, чтобы собирать там дань мехами, медом и воском. Погост был древний и богатый, с деревянной церковью, в которую он сам пожертвовал золотую чашу. Селение основал, по рассказам стариков, хранивших в уме предания, псковитянин Ян, брат княгини Ольги, ставивший здесь некогда перевесы. В этих лесах наводила порядки и сама просветительница язычников и определяла заботливо границы княжеских ловов. Неподалеку проходила старинная дорога, на которой однажды споткнулся конь княжича Глеба, когда он спешил к своему умирающему отцу, святому князю Владимиру, в Киев.

Мономах припомнил, что на том погосте его застиг великий пост и он захотел очистить душу покаянием. Но вдруг явились послы от князя Святополка с предложением пойти вместе с Олегом и Давидом Святославичами против Рюрика, Володаря и Василька, молодых сыновей князя Ростислава Тмутараканского, чтобы без больших усилий захватить их области и поделить богатую добычу.

Олег... Он однажды поручился за этого легкомысленного бродягу перед великим князем, своим блаженной памяти отцом, и внес в виде обеспечения триста золотых гривен. Это являлось огромным богатством для русского князя. Но Олег на третий же день праздника сбежал, предоставив Мономаху расплачиваться за него своим достоянием. Жаль было не потерянного золота. Нет, рана в сердце осталась навеки от предательства друга и брата, от человеческого обмана. Князь постыдно надсмехался над ним, а Мономаху тогда едва исполнилось двадцать пять лет, и он еще верил в княжескую честность и благородство, и этот презренный поступок Олега оскорбил в нем самые лучшие чувства.

Мономах отослал послов ни с чем, не желая нарушить крестное целование, и, когда они покинули погост, гневаясь, что должны везти отказ своему князю. Владимир, в большой печали, развернул Псалтирь и стал читать священную книгу, в надежде, что небо укажет ему путь, по которому следует идти, чтобы не стыдиться своей совести и не потерять уважение к самому себе. Так он делал иногда, как бы гадая по прочитанным наугад строкам. На этот раз глаза остановились на следующем месте:

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?»

Именно в тот день, намереваясь оставить после своей смерти поучение для сыновей, как это неоднократно уже делали многие прославленные мужи, он и начал вести эти записи. Но государственные дела и житейская суета часто отвлекали его от книжных занятий. Сегодня, приехав в Переяславль и уже чувствуя, что бессонница помешает ему уснуть до утра, князь решил закончить грамоту, раз невозможно смежить вежды.

Мономах взял книжицу в руки, сел на постели и прочел при свете свечи начало своего повествования:

«Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным и славным, наре-

ченный в крещении Василием, а русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов...»

Но едва он прочел эти строки, как воспоминания снова закружились перед ним. Время летит, как оперенная стрела. Ни единого мгновения невозможно вернуть из того, что кануло в вечность, и никого из любимых нельзя воскресить ни на один час, чтобы сказать то, чего не успел выразить им при жизни, о своей любви или хотя бы улыбнуться с нежностью.

Мономах стал читать дальше:

«Что такое человек, как думаешь о нем?»

В своей юности он, как Иуда Маккавей, отличался необыкновенной силой и все-таки чувствовал себя тростью, ветром колеблемой, перед этим величием мироздания, перед дубравами и бурными реками, ночными звездами и грозными, как одеяния Перуна, облаками. Его жизнь была так заполнена трудами, что в продолжение долгих лет некогда было подумать о небесах. Но на склоне жизненного пути его душу снова охватывали благочестивые настроения. Вдыхая, Мономах взял в руку гусиное перо, омакнул его в глиняную чернильницу и стал медленно писать. Искривленные возрастом пальцы уже не очень слушались старого князя, и однако он старательно выводил букву за буквой, и строки заполняли желтоватую страницу.

«Взгляните, как небо устроено, или солнце, или луна, или звезды! Тьма и свет! И земля положена на водах, господи, твоим промыслом! Звери различные, птицы и рыбы украшены твоим промыслом! Подивимся и такому чуду, что из праха сотворен человек и что разнообразны человеческие лица: если собрать всех людей, то не один облик у них, а у каждого свой особенный. Подивимся также тому, как небесные птицы приходят из рая и прежде всего попадают в наши руки. Они не поселяются в одной стране, а разлетаются, слабые и сильные, по всем землям, по божьему повелению, чтобы наполнились рощи и поля...»

Князю вспомнилось, как сладостно шелкал соловей в ночной дубраве, когда они ехали однажды вдвоем с Гитой из Смоленска, в ту душную ночь, когда перестал идти дождь. Сегодня сороки летали среди белых деревьев...

Мономах чувствовал, что наступают его последние дни. Ну что ж! Он оставял своим сыновьям сильное государство, простирающееся от половецких степей до Карпат. Никто не посмеет посягнуть на Русь. Во всех княжеских конюшнях стоят огненные боевые кони. Разбойные племена далеко загнаны в степи, рассеяны, как листья, которые гонит в полях осенний ветер. Но сколько это стоило трудов, крови и сколько золота! Он мог бы умереть спокойно, если бы знал, что князья будут слушаться его старшего сына. Мстислав достоин того, чтобы водить полки к победам, но надо также, чтобы в сердце у него были чистые помышления. Злоба, ненависть и низкие чувства никогда не приводят ни к чему доброму, и завоевания, достигнутые ими, непрочны. Сколько ханов приходило на Русь, однако от них не осталось даже земной славы среди людей и самые имена их предаются забвению.

Мономах опять омакнул перо и писал:

«Всего же более убогих не забывайте, но поскольку можете, кормите их и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте, не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убивать. Если даже будет повинен смерти, и тогда не губите никакую христианскую душу...»

А сколько он сам пролил крови на своем веку в горячности или в ожесточении битвы в те годы, когда враги считали, что могут безнаказанно разорять Русскую землю. В то же время как приходилось лукавить и скрывать свои

подлинные чувства, чтобы достичь цели без кровопролития. Немало проявлено предусмотрительности в беседах с митрополитами.

Перед Мономахом возникли блестящие глаза Никифора. Одной рукой прижимая к столу пергамен, а другой держа в воздухе гусиное перо, он задумался на мгновение, спрашивая себя, не надо ли упомянуть о нем, и решил, что этого не следует делать. Митрополиты были по большей части чужие люди, полные высокомерия и учености, но не заботившиеся о судьбе народа, а высматривавшие, как соглядатын, во всем пользу греческих царей. Сколько в нем самом пылало гордыни, когда он возвращался с победой и богатой добычей в свои пределы! А между тем какая цена бренной славе?

Снова стало поскрипывать перо:

«Паче же всего гордости не имейте в своем сердце и уме, но скажите себе: «Все мы смертны, сегодня живы, а завтра в гробу и все, что ты дал нам, это — не наше, но твое, лишь порученное нам на мало дней». И в земле ничего не сохраняйте, ибо это великий грех...»

Он хорошо знал, что некоторые бояре и даже торговые люди, подобные нерадивым евангельским рабам, вместо того чтобы использовать свое богатство на благо людям, строить на эти деньги прочные палаты, церкви или заказывать переписчикам книги, закапывают золото и серебряные сосуды в землю, опасаясь татей или пожара. Однако часто случается так, что человек, закопавший сокровища, неожиданно умирает и уносит с собою тайну того места, где в темное, глухое время рыл ямы глухонемой раб или посланный потом на верную смерть, чтобы замести все следы, и вот все это богатство пропадает втуне.

Мономах смотрел на пламя свечи и искал, о чем он еще должен написать. Ему приятно было подумать, что он оставляет после себя на земле многих сыновей. Хотелось бы, чтобы дети его оказались такими же трудолюбивыми, как и он сам.

«В дому своем не ленитесь, но за всем смотрите, не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; не потворствуйте ни питью, ни еде, ни сну; сторожевую охрану сами наряжайте, и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано вставайте; а орудия снимать с себя не торопитесь, не оглядевшись, из-за лености внезапно ведь человек погибает...»

На несколько мгновений перед его глазами возникла знакомая картина ночного лагеря. Дымок костров, запах примятой травы, ржание коней в поле, легкий тревожный сон перед битвой под ночными звездами...

«Лжи остерегайся, и пьянства и блуда, оттого ведь от них душа погибает и тело. Куда бы вы ни шли походом по своим землям, не давайте отрокам, ни своим, ни чужим, причинять вред ни жилищам, ни посевам, чтобы не стали вас проклинать...»

Мономаху хотелось думать, что всякое его приказание будет тотчас исполнено. Стоит ему повелеть — и воины в любой час дня и ночи возьмут оружие в руки и пойдут туда, куда он укажет. Когда его не станет на свете, приказывать будет Мстислав. Так решено на княжеском совете, и все братья клялись повиноваться ему как отцу.

Размышляя о сыновьях, он писал: «Не забывайте того хорошего, что вы умеете, а чего не умеете, тому учитесь. Как отец мой, дома сидя, научился пяти языкам, отсюда ведь честь от других стран. Леность ведь — всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится...»

Теперь, когда силы уже на исходе, казалось удивления достойным, что

молодые и здоровые отроки могут предаваться безделью. Мономах особенно старательно выписывал буквы:

«Пусть не застанет вас солнце в постели...»

Как приятно проснуться среди росистого поля, когда первая птица запоет в роще, или, лежа под деревом, к которому привязан твой конь, смотреть, как звезды угасают в небесах и веет предутренний ветерок. И вдруг раздается чистый голос серебряной трубы!

«Так поступал отец мой...»

Об отце он не мог вспоминать без слез, и в мыслях о смерти утешало сознание, что и его прах будет лежать рядом с отцовским гробом, под сводами Софии.

Но рука уже устала писать. Мономах опустил перо в чернильницу. Ночь приближалась к концу...

## XXXVI

Наутро Мономах выразил желание слушать утреню в церкви Успения, где в прошлом году с ужасающим грохотом рухнул купол. Строители уже вновь возвели его осенью. Для того чтобы попасть в храм, надо было только перейти через широкий княжеский двор по протоптанной в снегу дорожке. Но когда старый князь вышел по нужде из палаты, то почувствовал себя совсем больным. Вдруг его охватил озноб, и вода, принесенная Кунгуем для утреннего умывания, показалась необычайно студеной. Мономах снова прилег, укрывшись потеплее, и так дремал, слыша сквозь полусон, как торчин шептался с какими-то людьми за дверью. Когда слуга сказал, что это явился тысяцкий, князь не пожелал его видеть и промолвил со старческим кашлем:

— Пусть помедлит немного...

Плоть стала немощной. Мономах вспомнил, как немало лет тому назад, когда был значительно моложе, он простудился однажды под проливным дождем, во время длительной осады Минска. Ему пришлось даже распорядиться, чтобы срубили избу, так как больному трудно было проводить холодные осенние ночи в полевом шатре, где гулял ветер.

Опять появился в дверях Кунгуй и доложил, что пришел кузнец Коста. Князь оживился и велел позвать его в горницу. Этот сильный и спокойный человек понравился ему. Тем более что князь не видел, что Коста прибежал к воротам из корчмы, не знал, что кузнец любит мед и всякие небылицы.

Коста стоял в дверях и исподлобья оглядывал княжеское помещение, зеленую изразцовую печь, ковры и серебряные сосуды на столе. Мономах приподнялся на локте и приказал Кунгую:

— Достань меч.

Торчин опустился на колени перед длинным ларем, откинул его горбатую крышку, и тогда кузнец увидел внутри княжеское оружие — тяжелый меч в ножнах из лилового скарлата, с серебряными украшениями и позолоченной рукояткой, а рядом с ним великолепный боевой топор с чернью, иверийский нож, половецкую саблю, снятую некогда с пленного хана Асадука, после счастливого сражения.

— Поддай-ка мне его, — сказал князь, протягивая руку к мечу, и поштал рукоять с поперечиной. Ему пришло на ум, что, вероятно, уже не придется обнажить этот клинок в битве с врагами, но оружие полагается хранить в хорошем состоянии, чтобы в надлежащем виде передать сыну. Кому он вручит его? Мстиславу? Юрию?

— Вот посмотри,— протянул Мономах меч кузнецу,— рукоять ослабла. Надо закрепить.

Коста взял оружие из рук князя, и лицо его сразу стало серьезным, потому что дело касалось работы. Он обнажил наполовину клинок и, поворачивая меч, чтобы рассмотреть с обеих сторон, оценил холодную синеву стали.

— Сделаю, как велишь,— проговорил кузнец.— Такой меч еще сто лет служить будет.

До полудня Мономах лежал, скорбя, что не может пойти в церковь, а когда настало время обеда, поел горячей ухи и читал псалмы. Жена Ярополка поила его горячей водой с медом, и от этого врачевания князю стало легче. Он накинул на плечи полушубок и снова присел к столу, чтобы продолжать свое писание при дневном свете.

«А теперь я поведаю вам, дети мои, о своих трудах, о том, как я трудился в разъездах и на ловах с тринадцати лет. Первый мой путь был сквозь землю вятичей к Ростову. Отец послал меня туда, а сам пошел в Курск...»

Вдруг снова встали шумные и пахучие леса вятичской области, появились под сенью деревьев люди, еще не просвещенные христианским учением и со злобой смотревшие на княжеское красное корзно, на пахнувший медью крест в руках испуганного священника...

Потом была поездка со Ставком Гордятичем в Смоленск, а из этого города во Владимир Волинский. Так вспоминались путешествие за путешествием, лов за ловом, град за градом. В том же году он ходил в Берестье, сожженное ляхами, и на пожарище правил утишенным городом. Оттуда на Пасху поспешил к отцу в милый Переяславль, а после праздников снова очутился в Волинской земле и заключил в Сутейске мир с ляхами. Вскоре после этого — далекий поход в Чешский лес, когда он взял тысячу гривен дани, а потом снова поездки: из Турова в Переяславль, из него — в Новгород, в Смоленск. Верхом, по лесным тропам, под дождем, а в зимнюю стужу — на санях, на которых по снегу везде можно проехать.

Отец стал княжить в Чернигове. Он тоже приехал туда в гости и угощал проживавшего в Чернигове Олега вкусными обедами на Красном дворе. Тогда-то он и дал отцу в залог за неверного князя те самые триста золотых гривен. Тогда же, зимою, половцы пожгли Стародуб, и он во главе черниговцев и союзных половцев взял на Десне в плен двух ханов, Асадука и Саука, а воинов их перебил до единого человека.

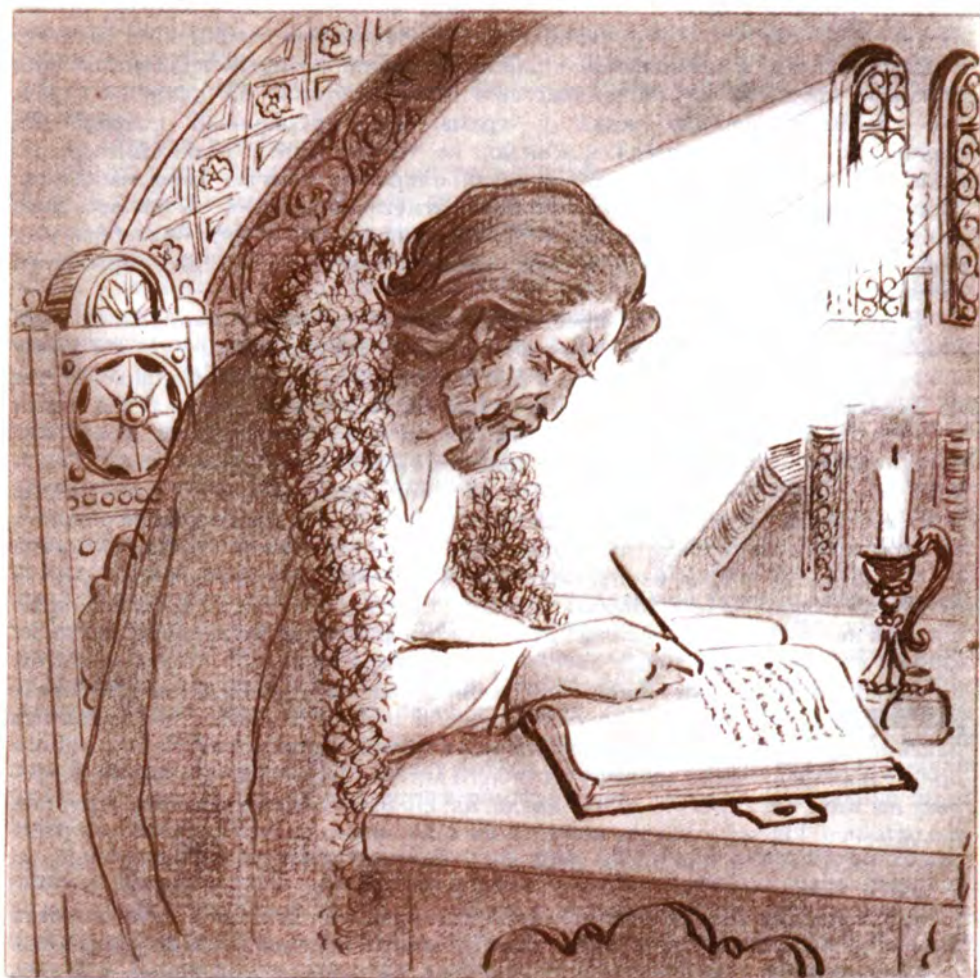
Глядя в темный потолок, старый Мономах вспоминал прежние походы и все, что случалось во время поездок и схваток с врагами, во время погони за половцами в беспредельных степях. Все перемешалось в его воспоминаниях: дым и шум половецких становищ, заплаканные пленницы, чудовищные верблюды, а над всем этим — пушистые ночные звезды. Битвы под Стародубом и Ростовом. Сражения с половецкими ханами. Боняк, Урусоба, Аепа, Тугоркан. Снова походы и ловы. Двадцать раз без одного он заключал мир с половцами, двести ханов изрубил, предал смерти или потопил в реках, а некоторых отпускал из оков за большой выкуп. Еще походы — на Дон и за Супой, не считая поездок к отцу в Киев, которые он проделывал за один день, до вечерни. Всего таких путей было сто.

Во время этих путей и трудов, в походах и на ловах, Мономах никогда не давал себе отдыха и покоя. Не полагаясь на посадников и бирючей, он сам всюду устанавливал порядок, в доме и у конюхов, заботился о ястребах и соколах и самолично наблюдал за церковными службами.

И на третий день недуг не оставил старого князя. С утра пошел мелкий снег, на дворе, широком, как поле, крутилась метель, и Мономах поопасался выходить из теплой горницы. Ярополк и сноха ухаживали за болящим, угова-



А теперь я поведаю вам, дети мои, о своих  
трудах, о том, как я трудился в разбегах...



И на ловах о тринадцатилет. Первый  
мой путь был сквозь землю Ватичей...

ривали поесть того или другого, предлагали самые вкусные яства. Но князь, прикрывшись по воинской привычке стареньким полушубком, лежал в постели и от всего отказывался, как это делают псы, когда болеют. Еще раз он оказался прав — на четвертый день недуг оставил его, и, одевшись потеплее, Мономах взял в руки высокий жезл из черного дерева с серебряным шаром, спустился по каменным ступеням крыльца. Посох гулко стучал по полу, на лестнице звук его стал другим...

Ярополк последовал за отцом и вместе с ним некоторые бояре, желая оказать старому князю честь. Но Мономах не оглядываясь махнул на них рукой в красной меховой рукавице, требуя, чтобы они оставили его одного, и прошествовал в одиночестве к храму Успения, который воздвиг на собственные средства. Озабоченный сын остался стоять на дворе и видел, как старик терпеливо ждал у храма, пока церковный сторож без шапки, не то из почтения к князю, не то в спешке, и в длинной рубахе, без полушубка, звенел ключами, открывая обитую железом дверь. Мономах снял бобровую шапку и, перешагнув через порог, исчез во мраке притвора, а привратник побежал к воротам княжеского двора, может быть за священником Серапионом или предупредить епископа Лазаря о прибытии великого князя в церковь.

В Успенской церкви за престолом находилась икона, написанная прославленным художником Алимпом, еще в детстве отданным учиться этому искусству у греческих зографов, в дни князя Всеволода пришедших на Русь из Царьграда при печерском игумене Никоне. При этом настоятеле Алимпий и очутился в монастыре еще отроком. Когда греки расписывали монастырскую церковь, он растирал для них краски на мраморной доске и внимательно наблюдал, как трудятся иконописцы, но вскоре превзошел в этом деле своих учителей, и все в Киеве удивлялись красоте его икон. Алимпий горел желанием изобразить на доске тот небесный мир, какой таился в его душе. Так, взяв в руку кисть, он создал икону, похожую на печальный и прекрасный сон. На ней можно было видеть Марию, лежащую на одре, и вокруг лежа склонившихся к ней со скрещенными на груди руками апостолов и пророков. Выше их витали в небесах крылатые ангелы. Богородица лежала в белых одеждах, в голубом мафории на голове, окруженная как бы тройной, желто-зелено-розовой радугой, а над нею склонялось в печали дерево с пурпуровыми райскими цветами. Иконы Алимпия были полны такой прелести, что людям представлялось, будто их пишут для него ангелы. Мономах приобрел некоторые из них, за дорогую цену, когда на Подоле сгорела церковь, где они находились. Иконы удалось вынести из огня, и Владимир одну послал в недавно построенную каменную церковь в Ростове, другую — в храм Успения в Переяславле.

Об Алимпии ходили удивительные рассказы. По-видимому, этот человек был не от мира сего. Порой более ловкие монахи пользовались его простотой и обманывали художника, беря деньги у мирян якобы с тем, чтобы уплатить Алимпию за труд, а на самом деле присваивая их себе и даже требуя, чтобы заказчик дал еще более серебра. Однако все раскрылось, и эти обманщики и пьянчужки были с позором изгнаны из монастыря.

Был такой случай. Однажды в Печерскую церковь залетел голубь и метался под сводами, ища выхода. Он то бился за алтарной преградой, то, изнемогая от безумного хлопанья крыльев, садился где-нибудь, а потом снова порхал под самым куполом. Монахи принесли лестницу, чтобы поймать птицу, и кричали, взбираясь по перекладинам:

— Ловите его! Ловите!

Но голубь в конце концов улетел в открытое окно и скрылся, но после

этого в монастыре распространился слух, что этот голубь вылетел из уст Христа, нарисованного Алимпием.

Мономах прошел за ограду алтаря и полюбовался на икону. Она все так же была полна странного очарования, хотя за эти годы несколько потемнела от свечной копоти. Мономах смотрел на произведение художника и удивлялся способности человека создавать при помощи кисти и красок подобные картины, и у него обильно потекли слезы из глаз.

Однажды он имел случай разговаривать с Алимпием. Художник оказался монахом довольно необычного вида, с растерянной улыбкой, с довольно нелепой бородой, с глазами, устремленными куда-то вдаль, через голову собеседника. Князь спросил тогда, глядя на незаконченную икону, на которой уже рождались смутные образы людей, розовых зданий и темно-зеленых деревьев:

— Откуда у тебя все это?

Монах в одной руке держал кисть, в другой — горшочек с киноварью. На лице у него светилась какая-то детская радость. Он проговорил:

— А я не знаю. Сам не могу постичь.

Алимпий поставил глиняный горшочек на стол и положил руку на то место у себя на груди, где бьется человеческое беспокойное сердце, и Мономах подумал, что, может быть, в нем и заключены те сокровища, какие иконописец выражает в светлых красках, а певец, под звон золотых струн, в стихах о Перуне и его голубых молниях.

Старый князь явился в церковь с другим намерением на уме и быстро прошел в левой яридел. Там можно было спуститься по каменной лесенке в усыпальницу. Заботами епископа Ефрема в храме устроили печи, чтобы согреть воздух, но когда Мономах прикоснулся к мраморной гробнице Гиты и погладил гладкую поверхность камня, он пронзил его руку смертным холодком. Под этой великолепной тяжестью лежала женщина, любившая его и целовавшая в соловьиные переяславские ночи. Что же ныне осталось от нее? Может быть, жалкая горсть праха, пожелтевший череп с оскаленными зубами, пепел одежд и красные шарики любимого ожерелья, с которым Гита присила похоронить ее. Он подарил эту вещь своей невесте в первый день знакомства, когда она приплыла из Новгорода под охраной князя Глеба, которого тоже давно уже не было в живых. Где теперь красота княгини, горячее дыхание и радостный голос? Только в воспоминаниях других людей, еще живущих на земле. Перестанет биться его сердце, и тогда погаснет навеки и то, что осталось от ее прелести в памяти мужа. Странно и печально было думать об этом.

Когда молодая супруга выезжала с ним зимою на ловы или в какой-нибудь далекий путь, она носила розовую шубку с горностаевой опушкой и шапку из серебряной парчи. Такой он и вспоминал Гиту всегда, размянившуюся на морозе, с белыми зубами. Все казалось милым ему в молодой супруге. Даже то, как она ела хлеб, макая его в миску с медом.

Мономах постоял еще долгое время у гробницы, вспоминая сладостное прошлое, потом вздохнул и подошел к тому месту, где был похоронен под каменной плитой сын Святослав, чтобы поклониться и его праху. Совсем ребенком он отдал этого сына заложником половецким ханам. Славята убили Китана и привез Святослава, закутанного в красный плащ, в Переяславль, а Ольбер застрелил стрелой Итларя. В глазах мальчика застыл ужас от всего, что ему пришлось увидеть в ту страшную ночь. С тех пор он рос болезненным и слабым и преждевременно покинул землю. Мономах пожалел, что и другой сын, убитый в сражении под Муромом, не лежит здесь, а покоится в далеком Новгороде, в Софии, с левой стороны. Лучше бы и ему

самому лечь рядом с Гитой и всей семьей ждать, когда раздастся звук архангельской трубы. Но обычай требовал, чтобы его, великого князя, хоронили в киевской Софии.

У дверей храма уже собралось много народа. Ярополк беспокоился, почему так долго не выходил отец из церкви, и священник Серапион заглядывал в темноту здания, прикрывая ладонью глаза, но не осмеливаясь переступить порог. Вдруг явился епископ Лазарь, предупрежденный о посещении великим князем церкви Успения. Под соболиной шубой иерарх носил мантию василькового цвета. Так называемые «источники» на ней были вышиты белым и желтым шелком, а первосвященнические скрижали на груди сделаны из красного scarлата с серебряными украшениями. На голове у Лазаря епископская шапка из малиновой шелковой ткани с золотыми херувимами и белой меховой опушкой. По сравнению с этим пышным одеянием простой полушубок Мономаха и его старенькая шапка из потертого меха казались одеждой смерда. Епископ получил мантию в наследство от своего знаменитого предшественника Сильвестра, скончавшегося два года тому назад. Это он прославлял Мономаха в летописном своде, который читался от Тмутаракани до Ладоги, где были вдохновенно описаны деяния князя и судьбы русских людей.

Сбросив шубу на руки пономаря, епископ Лазарь вошел в церковь и, постукивая посохом, спустился в усыпальницу. Мономах поднял голову, услышав шорох шелковой мантии. Епископ благословил его со слезами на глазах, точно предчувствуя, что приближается расставание с этим великим человеком, которого книжники дерзали называть царем. Но взор князя непрестанно обращался во время тихой беседы к гробнице, где покоилась супруга, и когда Лазарь умолк, он спросил его:

— Поистине ли мы все восстанем из гробов? Увидим ли мы ушедших ранее нас?

Епископ отпрянул, пораженный таким сомнением.

— Мы все восстанем из праха...

Князь вздохнул и стал подниматься по лесенке. Ничего другого ему и не мог сказать епископ. Об этом он сам читал в разных книгах. Однако ему приходилось читать о людях, которые думали, что участь всякого человека подобна участи подошедшего пса и ничем не отлична от нее. Еретики они или невежды? На сердце лежал тяжелый камень. На одно бы только мгновение увидеть Гиту, чтобы сказать ей:

«Я не забыл о тебе, помню и все храню в памяти».

Он сказал бы ей еще:

«Вот и я пришел к тебе!»

«Что же делается у вас на земле?» — спросила бы она, простирая к нему руки с супружеским целомудрием.

«Все по-прежнему на земле».

«Светит ли солнце?»

«Светит».

«И все так же серебряные реки текут?»

«И серебряные реки текут».

«И птицы поют в дубравах?»

«И птицы поют».

«Приди же ко мне», — сказала бы она, обнимая его седую голову нежными руками, ибо покинула землю молодой.

Но разве это возможно?

Мономах смахнул слезу рукой и с лестницы посмотрел в темный провал, где осталась лежать Гита под холодным мрамором. Он видел в битвах рассе-

ченные на части тела, отрубленные саблѣй человеческие головы, белые людские кости в степи, омытые дождями. Все это восстанет в день страшного судилища? Или воскреснут только христиане, а половцы останутся лежать в бурьяне до скончания века? Почему же епископ отворачивает свой лик, говоря с уверенностью о воскресении?

Мономах вышел из церкви и огляделся по сторонам. Снег после церковного мрака резал глаза белизной. Надо было бы осмотреть и проверить клетки и погребя, медуши и конюшни, чтобы убедиться, хорошо ли ведет хозяйство его сын Ярополк, и в случае надобности помочь ему советом или даже отеческим внушением. Но как будто бы все находилось в порядке. На прочных дверях висели тяжелые железные замки. Всюду бежали тропы по снегу, и это говорило, что здесь не лентяют. У ворот княжеского двора стоял страж в медвежьей шубе. Созерцание Алимпиевой иконы и час, проведенный у гробницы супруги, наполнили душу князя печальным умилением, и не хотелось расточать сердце на пустые житейские заботы.

### XXXVII

Это произошло во время возвращения из далекой поездки в древлянские дубри. Как почти все дороги на Руси, путь в Киев проходил через лес. Они торопились домой с княгиней, потому что из Переяславля приходили тревожные вести. Гита чувствовала себя больной, жаловалась на сильную головную боль. Стояла поздняя осень. Ночь выдалась такая темная, что отроки не видели наконечников своих копий. Не переставая шел дождь. Мономах и его спутники ехали верхами, и он изредка обменивался несколькими словами с продрогшей до мозга костей женою. Душа князя была полна тревоги.

На ночлег остановились в большом селении, куда прибыли из-за плохой дороги в полночь. Люди спали в бревенчатых, вросших в землю хижинах. Скучно лаяли собаки. Когда отроки стали стучать кулаками в двери в поисках подходящего ночлега для князя и его супруги, повсюду началась суета. Жители спросонья думали, что неприятель пришел на Русь. В конце концов удалось кое-как устроиться в избушке, более приглядной, чем остальные. Княгиню уложили поскорее посреди низкого помещения, отроки принесли для постели охапки душистой соломы. Гита, как ребенок, прижалась к мужу, но стонала, жалуясь на боли в голове, порой страдальчески сжимала ее руками.

Мономах послал одного из отроков поискать в селении какую-нибудь знахарку, за неимением ничего лучшего. Потому что найти в этой глуши ученого сирийского врача не представлялось никакой возможности. Спустя некоторое время в избу привели среди ночи страшную старуху. Седые косматые волосы свешивались ей на морщинистое лицо. При свете зажженной свечи среди этих морщин мелькал в острых глазах странный огонек. Было в этой женщине что-то птичье: когтистые пальцы, привычка смотреть одним глазом — правым в одну сторону, левым в другую.

«Колдунья...» — подумал князь.

Но разве может помочь даже ведьма, если недуг гнездится где-то в самом существе человека, в его непонятных внутренностях? Старуха пошептала над деревянным корцом воды и дала пить болящей, отстраняя рукой князя, у которого на груди висела на золотой цепочке гривна с изображением крылатого архангела. Знахарка, видимо, опасалась, что церковное изображение может лишить ее снадобье врачебной силы. Змеевик привезла с собою его

мать, гречанка Мария, одинаково верившая в троицу и в заклинания, и он носил эту драгоценность как память о своей родительнице, хотя не любил украшать себя ожерельями и перстнями.

Гита сама вешала этот талисман на шею мужу, надеясь, что он уберезет Владимира от вражеской стрелы и всякого злого умышления. Три года спустя он потерял гривну, когда охотился на реке Белоусе, недалеко от Чернигова. Все поиски пропавшей вещи не привели ни к чему, гривна осталась лежать под каким-то кустом на вечные времена.

Мономах склонялся к больной жене, надеясь прочитатъ на ее лице, что недуг не представляет смертельной опасности, и тогда гривна свешивалась на цепи. На одной стороне круглого талисмана был изображен архангел, державший в руке лабарум, или древнее римское знамя, а в другой — яблоко, увенчанное крестом. Вокруг шла греческая надпись. Мономах достаточно знал по-гречески, чтобы прочитатъ ее, эти несколько слов молитвы. На обороте златокузнец выбил таинственное женское существо. Женщина была нагая. Вместо рук у нее росли ушастые змеиные головы, а ноги закручивались как змеиные хвосты. Ученый митрополит Никифор объяснил князю, по его просьбе, что она является символом страшного внутреннего недуга, который поражает то печень, то чрево, когда все гниет в человеке. Носящий подобную гривну будет навеки избавлен от болезней. Вокруг страшного чудовища виднелась славянская молитвенная надпись, и ее охватывала греческая, заключавшая в себе заклятие человеческого нутра, его сокровенных тайн. В древней бессмысленности заклятия чувствовалось предупреждение, угроза, нечто сатанинское, и в то же время к кому он мог обратитъ среди этой древланской тьмы? Казалось, что христианский бог не имел власти в затерянной среди лесов деревне. Мономах снял цепь с себя и надел на Гиту, приподняв рукою ее горячую, пышущую жаром голову.

Косматая старуха шептала древние слова на том языке, на каком в этих лесных местах говорили во времена князя Мала, о котором книжник писал, как он погубил Игоря, хотел женитъся на княгине Ольге и как она обманула его, умертвив древланских послов в ладье, а город Искоростень предав огню с помощью домашних голубей. Знахарка обеими руками сжимала почерневший от времени корец, и опять ее пальцы напоминали когтистые, птичьи лапы.

— Пей! — сказала она хриплым голосом больной княгине.

Гите стало страшно. Она застонала и потянулась к Владимиру, потому что в этой тьме, на краю христианской земли, в запахе соломы и в дыму лучины муж был единственным прибежищем. Он сам хотел напоить жену, но колдунья зашипела на него, как змея.

Мономах привез жену в Переяславль совсем разболевшейся. Тотчас поскакал отрок в Киев, держа на поводу еще одного жеребца, чтобы немедленно доставить того сирийского врача, который лечил князя Святошу. Его звали Петр. Гита металась на постели, раскинув пышные волосы на подушке, и что-то говорила на своем языке. Она сама уже позабыла его, а теперь вдруг вспомнила в жару. Порой она приходила в себя, с плачем обнимала мужа, когда он присаживался к ней на кровать, как будто цепляясь за земное существование.

Гита умирала... Между тем с часу на час ждали прибытия врача. На дворе стояла глубокая осень, дороги стали непроезжими, дождевые потоки сносили мосты, перевозы перестали действовать. Но Мономах надеялся, что на коне врач приедет скорее, чем в тяжелой ладье, и послал за ним конного человека. И вот он опаздывал, а жизнь уже угасала в молодом и прекрасном теле супруги. Истекали ее последние часы на земле. Пальцы Гиты, сжимавшие руку мужа, уже слабели с каждой минутой.

— Как ты останешься без меня?.. — тихо прошептала она.

Мономах склонился к умирающей, все еще не веря, что она покидает его навеки, прижался губами к раскаленным, как пустыня, устам.

Но дыхание Гиты становилось трудным, и сознание покидало ее. Как во сне она увидела близко от себя золотую чашу. Лязгнула лжица... Священник Серапион произносил какие-то слова... Последняя мысль была о том, чтобы поскорее, пока не поздно, найти руку Владимира.

— Супруг мой!

Перед вечерней она испустила последний свой вздох, и голова бессильно упала на плечо. Тогда этот мужественный человек зарыдал, как ребенок. В горницу торопливо вошел епископ в васильковой мантии и остановился, увидев, что он опоздал со своим желанием прочитать напутственные молитвы. Как раз в это время врач ворвался в городские ворота и, вцепившись в гриву разъяренного жеребца, топча всех на узкой улице, помчался к княжескому двору, и взволнованные люди бежали вслед за ним, размахивая руками и крича, чтобы он торопился, хотя Петр и без того знал, что дорого каждое мгновение. Еще не слыша женского рыдания, наполнившего весь дом, сириец взбежал по ступеням, провожаемый взглядом отрока, уводившего коней, покрытых пеной от быстрого бега.

— Приехал, светлый наш князь, — сказал врач, тяжело переводя дыхание.

Мономах, вытирая красным платком слезы, которые невозможно было остановить, с горечью сказал:

— Теперь уже поздно! Ее нет больше с нами!

Он смотрел в оконце, за которым шел дождь. Потом прибавил:

— Почему ты так замедлил?

Около усопшей княгини пристойно суетились женщины, убирая ее холодеющее тело. Они зажгли свечи, и пресвитер Серапион уже читал глухим голосом Псалтирь:

— «Начальнику хора... Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, боже!»

Князь опустился на колени у одра смерти и смотрел на мертвенно-бледное лицо, такое близкое и в то же время такое далекое, уже пребывающее в ином мире. Ему казалось, что все это только снится. Не может быть, чтобы нить, связывающая их, порвалась безвозвратно. Вот губы Гиты снова зашевелились, раскроются в улыбке, затрепещут ресницы, блеснут зеленым морем глаза... Но все оставалось мертвым и беззвучным, как камень. На дворе долбили дубовую колоду, чтобы приготовить для умершей княгини достойную домовину. Ее не могли разбудить даже эти печальные и мерные удары секиры.

Всю ночь однообразно звенела секира. Наутро Мономах своими сильными руками положил легкое тело супруги во гроб, чтобы сделать из нее еще одно платье, но нашедшей другое применение. И все даже в последнем жилище умершей любовались ее чертами, а Мономах не отходил от нее ни на один шаг, то гладил волосы усопшей, украшенные константинопольской жемчужной диадемой, извлеченной для такого печального случая из таинственного ларя, то поправлял складки ее платья.

Наступил второй вечер после смерти Гиты, солнце уже склонялось к закату. Палата была наполнена фимиамным дымом. Даже не сняв мокрое от дождевых капель корзно, сквозь толпу молящихся пробирался Ольбер Ратиборович, и лицо у него было озабоченным, но не смертью княгини, а по какой-то другой причине. Этот человек равнодушно относился к тому, что люди умирают, хотя перекрестился перед гробом. Он стоял около князя, мял лисью

шапку в нетерпении, видимо торопясь сообщить нечто чрезвычайно важное.

Мономах заметил это и шепотом спросил:

— Что надобно тебе от меня, Ольбер?

Воевода зашептал, из почтения к усопшей прикрывая рот шапкой:

— Плохие вести привез тебе, князь!

Теперь сам епископ в васильковой мантии читал нараспев:

— «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами...»

Мономах с перекосившимся лицом преклонил ухо к словам дружинника.

— Половцы Сулу перешли.

Князю показалось, что небеса обрушили на него все земные несчастья. Половцы перешли Сулу!

Он шепнул:

— Как могло случиться такое? Река разлилась от осенних вод.

— Половецкие кони плавают, как рыбы. Сам знаешь.

Мономах обдумывал положение, прикидывал в уме расстояния и длительность конных переходов, оторвавшись на минуту от своего горя. Потом тихо сказал, беря дружинника за рукав:

— Возьми немедля отроков...

Но Ольбер в крайнем волнении не дал даже ему закончить свою речь:

— Не хотят отроки без тебя идти.

— Как! Разве не знают они, какое горе меня посетило и в какой печали нахожусь в этот час?

Мономах нахмурил брови, и глаза его метнули грозную молнию. Неповиновение воинское надо жестоко покарать...

— Они говорят...— зашептал Ольбер Ратиборович.

— Что говорят?

— Они говорят: «Нас сотни, а половцев тысячи. Надо, чтобы князь с нами выступил. Хотим умирать у него на глазах».

— А где Дубец?

— Дубец эту весть передал.

— Был на Суле?

— Говорит, на добрых конях идут. Уже Кснятин загорелся.

— Откуда приближаются?

— От Псела, минуя Хорол. Надо навстречу врагам идти, пока они еще не за Супоем.

Князь ясно представил себе, что случится, если пропустить половцев за эту реку. Тогда опять запыхают многочисленные русские селения. Враги рассыплются по Переяславской земле, и тогда уже не отразить их.

Ольбер торопил:

— Нельзя, князь, медлить. Что велишь сказать отрокам?

Мономах сам понимал, что дорог каждый час. Но как покинуть умершую, оставить этот гроб? Он сказал, поникнув головой:

— Разве можно расстаться мне с нею?

Ольбер шептал ему на ухо:

— Всем известна твоя горесть. Нет для человека более печали, чем потерять навеки любимую супругу. Но дружина ждет тебя, прежде чем обнажить сабли. Или половцы наутро Супой...

Мономах молчал, хмуясь.

— Когда хоронить будешь княгиню? — спросил Ольбер, бросая украдкой взоры на лежащую в гробу.— Если сегодня совершить погребение, то



в ночь можно выступить и еще будет время встретить половцев в поле за Супоем.

Ольбер ждал ответа.

Но князь медленно покачал головой и сказал, едва сдерживая рыдание:  
— Не подобает хоронить мертвых после захода солнца.

Ольбер понимал толк в конях и в оружии, без промаха бил стрелой врага в самое сердце, но не был сведущ в христианских обычаях. Он не знал, почему нельзя хоронить мертвецов в любое время. Это явно отражалось у него на лице. Князь с печалью объяснил ему:

— Если мы опустим покойницу в могилу в ночном мраке, то она уже не увидит свет солнца до воскресения мертвых.

Воевода вздохнул не без досады.

— Вели выступать без тебя, князь!

— Выступай! Скажи Илье и отрокам, что завтра нагоню дружину на Супое,— сказал Мономах, вытирая слезы на глазах.

Ольбер, сжав зубы, потому что страшное время подходило, и прижимая шапку к груди, стараясь не греметь мечом, бившимся у бедра, на носках покинул палату.

Это было единственный раз, когда дух князя не выдержал испытания и он преклонился перед постигшим его горем. Никогда еще не случалось, чтобы Мономах уклонялся от воинского долга ради человеческой слабости.

## XXXVIII

Немало лет прошло с тех пор, как скончалась первая супруга Мономаха. Не желая предаваться блуду с наложницами и рабынями, князь женился вторично и был примерным мужем, но, пережив и эту жену, взял третью, которая тоже умерла раньше его. Гита покоилась в княжеской усыпальнице, в мраморной гробнице из плит, доставленных с великим трудом из Корсуни, она давно умерла, а в древнем городе Переяславле росли другие красавицы. Одна из них была не в княжеской парче, а в простом сарафане с серебряными пуговичками. Ее звали Любава. Даже равнодушные ко всему люди, продававшие на торжище петухов или жито, покачивали головами, когда говорили о дочери кузнеца от Епископских ворот, и казалось, что это утешает их во многих горестях. Хотя ни один человек на земле не мог объяснить толком, в чем заключается секрет женской красоты.

Еще туманная роса лежала на цветах и былинках, и розовое солнце едва поднялось над голубеющей дубравой, когда Любава вышла из своей хижины. Шумно ворковали городские голуби, под соломенными крышами драчливо чирикали воробьи, пчелы вылетели за медовой добычей. Светлородный страж, сладко выпавшийся за ночь в теплой овчине, отпирал ворота. Подбоденясь, он крикнул девушке:

— Не спится? Вместе с солнцем встала?

Но, не слушая его, чтобы до слуха не донеслось что-нибудь грубое в такое целомудренное утро, она побежала по пыльной дороге, босая и легконогая. Слева тянулась слобода, где обитали гончары, пленные яхи и еврейские торговцы, по другую сторону дороги стояли могильные камни старого кладбища, на которых были выбиты непонятные письмены и шестиконечные звезды или семисвечники. Хижины гончаров спускались к длинному оврагу. Потом дорога разветвлялась надвое: направо бежала до самого Чернигова, налево уходила к монастырю Бориса и Глеба на реке Альте. Недалеко от разветвления торчала, слегка покосившись, угрюмая корчма Сахира. Она

представляла собою такую же бревенчатую избушку, как и жилища других обитателей слободы, но вытянулась в длину наподобие гумна, и вместо бычьего пузыря в ее единственном окошке поблескивали стеклянные кругляшки, что бывают в боярских хоробах. Корчмарь, странный человек, пришедший откуда-то из дальних стран, с мощной выей и черной бородой, стоял у двери своего заведения и молча смотрел на дочь кузнеца, когда она пробегала мимо. В быстроте стройных и легких ног чувствовалась сама жизнь, что торопится к счастью и радости.

Любава направилась не по черниговской дороге и не свернула к монастырю, а побежала еще левее, по тропе, спускавшейся мимо оврага к реке, а потом уходившей в дубраву. Здесь уже начинались первые дубы рощи, прежде густой и служившей жилищем зверям, а теперь поредевшей под неумолимым топором человека.

Девушка бежала среди дубов, по росистым лужайкам, держа в руках лепешку с творогом, завернутую в чистый убрбус, и железный крюк от котла. Отец сварил его вчера в горниле и велел отнести ворожее, что жила в ветхой избушке за дубравой. Некогда она обитала в городе, но епископ разгневался на старуху за ее языческие шептания над болящими и изгнал из городской ограды.

Знахарка была такой старой, что ее имя все забыли. Она родилась с горбом на спине. Мать знахарки считалась у добрых людей колдуньей, могла, вынудив след в земле, погубить любого человека, ездила всю ночь на конях из чужой конюшни; а к утру они опять стояли на месте, измученные, все в мыле, и желтая пена падала у них с мягких губ на солому. Дочь научилась у нее собирать полевые травы, которыми можно окрашивать волну и льняное или конопляное полотно в различные цвета. Эти сухие злаки покупали у старухи жительницы города и приносили ей за это пироги или давали горшок молока. Но, собирая растения, она узнала не только их красящие свойства, а и целебную силу и стала лечить людей от болезней. Мать шептала ей, что лучше всего собирать такие травы на заре, после того, как пропоют петухи и отгонят ночной мрак. В такие часы лекарственные былинки приобретают особенный запах. Еще маленькой девочкой она видела, как мать ложилась на землю и молила ее, кормилицу всего сущего и растительницу всякого зелья, чтобы целебные растения и корни сохранили свои свойства. Она пела глухим голосом:

Ты зелие народила,  
всякий злак соком напитала,  
дала травам целебную силу...

Так и она стала ворожеей, научилась тем заклятиям, что передаются от матери к дочери, от отца к сыну из глубины века, и уже ее считали в народе колдуньей, говорили, будто бы она тоже способна за одну ночь доскакать на взмыленном коне по воздуху до Тмутаракани и вернуться в Переяславль до заутрени, обратиться в серого волка или навеять бурю. Но никто не видел, чтобы она причинила зло, и люди стали сомневаться в этих рассказах, хотя и не без страха носили ей лепешки и горшки с молоком.

Солнце поднималось все выше и выше, заливая весь мир золотым сиянием. В упоении от своего божественного труда все громче гудели пчелы и шмели. Цветы любовно раскрывали им нежные чашечки, полные сладости. На все голоса заливались в роще птицы. Любава бежала по тропе и не заметила, что за деревьями ехал Злат, возвращавшийся из монастыря, куда князь Ярополк посылал его с посланием игумену. Но зоркие глаза отрока увидели красный плат на девичьей голове. Гусляр удивился, повстречав девушку

в такую рань среди леса, и свернул с дороги в рощу, чтобы проверить, какие ягоды она собирает.

Красивая дочь кузнеца пела песенку:

Не разливайся, синий Дунай,  
не зайей зеленые луга.  
В тех лугах олень ходит  
с золотыми рогами...

Голос ее не обладал большой силой, но был чист, как весенний ручеек. Злат слушал песню и усмехался. Он соскочил с коня и повел его на поводу, чтобы удобнее следовать за дочерью кузнеца. Впрочем, она пела, как птица, и ничего не замечала вокруг себя.

Но каково было удивление гусляра, когда он за дубами увидел покрывшуюся избушку. Ему приходилось слышать, что где-то в дубраве обитает колдунья, но он забыл об этом, хотя не раз проезжал в здешних местах, направляясь с другими княжескими отроками на ловы. Хижина вся почернела от дыма, и кривая дверца висела на одной петле, а вокруг стоял косой плетень и на высоких столбах торчали две зубастые лошадиные головы, побелевшие от солнца и дождей. Однако девица смело направилась к избушке, и Злат в недоумении сдвинул на затылок красную шапку. Он остановился и решил посмотреть, что будет дальше. Девушка, нагнувшись в дверце, с кем-то говорила.

Когда Любава заглянула в хижину, она после солнечного света с трудом рассмотрела, что ворожея сидит на колченогой скамейке, опираясь о нее руками, и смотрит на молодую гостью. В темном углу сверкнули страшной желтизной глаза черной кошки. Ни за какие сокровища не пришла бы сюда ни одна девушка ночью. Но сейчас светило яркое солнце, и Любаве очень хотелось узнать о своей судьбе. Придерживая рукой стремительно бившееся сердце после бега по лесной тропе, она даже не догадалась приветствовать горбунью.

Та проговорила, шамкая беззубым ртом:

— Уже давно поджидаю тебя.

Хотя в этом ничего не было удивительного и ворожея знала, что ей принесут кряк, но девушке стало не по себе от такого предвидения.

— Возьми,— протянула она железо.— А это тебе лепешка с творогом.

Седые космы колдуньи давно не знали гребня. Она никогда не чесала их, вероятно для того, чтобы люди еще больше трепетали перед нею, хотя лицо ворожеи, сморщенное, как прошлогоднее яблоко, и без этого могло испугать простодушного человека. Изо рта у нее торчал наподобие клыка один нижний зуб, и крючковатый нос почти сходилась с острым, покрытым волосами подбородком. Другого лика и не могло быть у нее, и такими описывают колдуний в сказках, и Любава со страхом смотрела на нее. Она и раньше бывала здесь, но всегда вместе с Настасей, когда они покупали у знахарки сухие травы.

— Починил...— пробормотала старуха, разглядывая кряк.

Любава уселась на пороге и обняла колени руками. Так она была поближе к солнечному миру и спокойнее могла наблюдать, как старуха прилаживала кряк и подвесила котел над очагом, сложенным из камней. В этом чугуне, покрытом адской копотью, старуха варила пищу и, может быть, всякие свои снадобья. Вокруг стояли тихие дубы. За одним из них прятался Злат.

Повозившись немного у очага с неуклюжестью, с какой все делают горбуньи, и устроив, что ей было нужно, ворожея криво, страшно, но ласково улыбнулась девушке, и вдруг Любава поняла, что и в этом жалком теле живет человеческая душа. Когда она приходила сюда с подругой, знахарка всегда

улыбалась ей так, может быть чувствуя любовь к дочери кузнеца. Девушка не знала, что колдунья с радостью передала бы ей все свои тайны и умение врачевать людей, чтобы облегчить себе смертный час, но понимала, что эта светлоглазая девица не создана для жизни, какую ведут чародейки. Судьба ей — радоваться, детей рожать, потомство после себя оставить, мирную кончину принять. А пока ее не обожгла любовь и она еще не вкусила полынную горечь бытия.

Девушка попросила тихо:

— Прореки мне, ворожея!

— Что тебе прореку?

— Что будет со мною.

— Добро будет.

Знахарка склонилась над очагом и стала ворошить крючковатым перстом золу, что-то бормоча себе под нос.

— Добро будет,— повторила она и, отломив кусок лепешки, принялась жевать, глядя на свою посетительницу.

Но это еще было не все. Утолив утренний голод, ворожея взяла в руку горсть пепла, отошла в другой угол и зашептала над ним, порой оглядываясь зорко на девушку. До слуха доносились отдельные слова:

На дубу серебряные листья,  
золотые желуди.  
На дубу черный ворон сидит...

Она знала, что старуха совершает перед нею таинственное и запретное. Не будь солнечного света вокруг, Любава убежала бы домой и никогда бы не явилась сюда, где уже находишься на грани того мира, в котором живут и действуют ведьмы и упыри, сосущие по ночам кровь младенцев. Но ей так хотелось узнать свою судьбу, что это желание превозмогло детский страх перед неизвестным.

Ворожея перестала шептать и, сверкнув по-птичьи глазами, сказала с хриплым смехом:

— Жди теперь своего ладу! Скоро он явится к тебе.

Злату надоело оставаться в неведении, и он решил подойти поближе к избушке, чтобы сказать что-нибудь смешное девице, подшутить над нею. Ведя за повод серого в яблоках коня, отрок вышел из-за дубов и направился через лужайку к избушке. Отрок не мог понять, почему вдруг Любава поднялась с порога и смотрела на него изумленными глазами.

— Привела...— прошептала она.

— Что с тобой?

— Плоть ты или видение? — спросила Любава, и руки у нее дрожали.

Она даже схватилась за сердце.

— Как ты попал сюда?

— Мимо ехал, тебя увидел за дубами.

Любава вздохнула с недоверием.

В это время на пороге появилась и горбунья, услышавшая разговор, и с любопытством посмотрела на отрока. Красное корзно, красная шапка на голове, желтые сапоги...

Вид ворожея был столь необычен для случайного человека, что Злат умолк. Не говоря ни слова, он вскочил в седло и поехал, оглядываясь на горбунью и уже не имея желаний пошутить с милой Любавой. Никогда он не имел дела с ведьмами, однако знал от Даниила, что подобные горбунии могут заморозить и в волка обратить встречного и еще всякие другие напасти и беды навлечь. В гридне рассказывали, что один отрок князя Святополка семь

лет пробыв в волчьей шкуре, бегал в полях и жалобно выл, пока поп не прочел над ним особую молитву, которую знает только митрополит. Поп Серапион тоже неоднократно говорил о чаровницах и бесах. Однажды он сам ехал по берегу реки в лунную ночь и слышал, как смеялись в воде русалки, манили его к себе, и конь тогда храпел и поводил ушами от страха. Ворожея или человек с недобрым взглядом посмотрят из-под густых бровей на дерево — и оно засохнет, на свинью с поросятами — и она их съест, на птицу — и она околеет. От таких болезни и убытки, даже смерть может приключиться. Лучше подалее от них.

Проводив всадника тяжелым взглядом из-под руки, старуха опять вернулась к очагу и ворчала, может быть жалуясь на свою горькую участь, на страшный горб, на одиночество в прокуренной дымом хижине, где холодно и темно зимой.

Она стала перебирать какие-то сухие, неприятно шуршащие травы, пучки которых висели под низким закопченным потолком, и потом сказала:

— Вот еще одно лето пришло... Прошла зима, медведи проснулись в берлогах. Сегодня заря ясно светилась, быть красным дням...

Ворожея раздула огонь в очаге, сунула туда несколько сучьев, положила кусок сухого дерева, и девушка должна была отойти от двери, когда в нее повалил едкий дым.

— Знаешь гаданье? — спросила горбунья.

— Не знаю.

— Отгадай... Стоит дуб без корней, без ветвей, на нем птица вран, пришел старец без ног, взял птицу без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов...

Любава даже не пыталась отгадать загадку. Старуха сидела, задумавшись о чем-то, уже позабыв о своем гаданье, и заговорила о другом:

— Вот умру — кто меня в землю зароет? Только дикие звери будут выть в дубраве.

Девушка спросила горбуню:

— Давно ли ты живешь на свете?

Старуха пожевала страшным ртом, вспоминая свою долгую, как вечность, жизнь.

— Много лет на земле живу. Еще правил Русью старый Ярослав, когда я родилась. Его дочери у моей матери судьбу свою спрашивали. Она всем троем прорекла королевами быть в заморских странах. Так и было. Давно моя мать жила. Тогда свадьбы справляли не в церквах, а под дубами, прятались от попов в священных дубовых божницах. Ныне уже не стало тех перуновых дерев. Там Перун свою волю говорил людям. Тогда урожаи были обильнее и ловы богаче.

Любава подумала, что пора возвращаться домой. Греховные слова произносила ворожея. Если бы услышала мать, то забрала бы, а поп Серапион заставил бы поклоны класть в церкви, на посмеяние всем христианам.

— Прощай! — сказала она старухе и опять пожалела ее, оставляя одну в этой полуразвалившейся избушке, обросшей грибами.

— Прощай! — ответила ворожея.

Девушка еще раз оглянулась на горбуню, предсказавшую ей счастье, и побежала скорее по еле намеченной среди дубов тропке, надеясь, что, может быть, она еще догонит отрока или что он поджидает ее где-нибудь у дороги. Когда, вся покрасневшись, Любава поравнялась с корчмой, то увидела, что к железному кольцу на дворе привязан знакомый серый конь в яблоках. Злат уже успел очутиться в этом недобром пристанище, — вероятно, пил мед со всякими злодеями, что приходили по дороге неизвестно откуда и опять ухо-

дили в далекие страны. С такими отец свою душу губил, по словам матери.

Заплетая распустившуюся косу и уставив взор не на дверь корчмы, где ничего не было видно, а на желтолапых серых гусей, переходивших с глупой важностью дорогу, девушка прислушалась: не звенят ли под крышей гусли? Нет, струны молчали. Она подождала, в надежде, что Злат увидит ее в оконце и выйдет на порог, но в дверях показался не отрок, а Сахир, черный, как преисподняя. Любава вскрикнула и побежала домой.

### XXXIX

Всякий раз, когда Злат проезжал мимо корчмы у Епископских ворот, он неизменно слезал с коня и тщательно привязывал его к столбу, врытому в землю посреди Сахирова двора. У этого веселого гусяря всегда была надежда встретить в корчемном полумраке иноземного гостя, или благочестивого путника, побывавшего в Иерусалиме, или усатого варяга, который охотно рассказывал слушателям о том, как он воевал на далеком острове в Сицилии. В корчме искали приюта и ночлега на соломе все те, у кого не было знакомцев в городе, кто любил мед, игру в зернь. Сюда приходил кузнец Коста, спасшийся от доброй, но ворчливой жены. Тут бывал княжеский отрок Даниил, потешавший всех своими баснями и притчами. Жена у него славилась не только ворчливостью, а и злобным нравом, старая косая дочь боярина Станислава, принесшая ему немало серебра и почет в княжеской дружине.

Злат вошел в корчму, где на него пахнуло запахом перебродившего меда и дымом из очага, и оглядел сидевших за столом. К его удивлению, тут бражничали те три монаха, которых он видел однажды в роще. С ними сидел кузнец Коста. Тут же оказался и отрок Даниил. Хозяин с кувшином стоял рядом.

Даниил, увидев Злата, развел руками:

— Вот и гусярь! Добро! Сыграй нам на золотых струнах.

— Гусли дома оставил, в монастырь ездил.

— Это худо. Гусли строятся перстами, корабль правится кормилом, а человеку дан ум, чтобы разумно жить. Но без песни — хуже смерти нам, пьяницам и скоморохам.

Кузнец мрачно посмотрел на гусяря. Ему было не по душе, что этот легкомысленный отрок, у которого только веселье на уме да нарумяненные боярыни, переглядывается с его дочерью. Он хотел бы выдать ее замуж за кузнеца Орешу, немолодого уже человека, но богатого, как епископ, обладателя лучшей кузницы у Кузнечных ворот, с другой стороны города.

Даниил уже освободил место на скамье для Злата.

— Садись, гусярь. Почему печаль во взоре?

— Забот много.

— Золото плавится огнем, а человек заботами. Хорошо перемолотая пшеница дает чистый хлеб. Так и мы. Человек только в печали приобретает ум, а без горестей он как ветер в поле. Какая польза от него? — сыпал притчи Даниил, как бисер.

— От заботы болит у человека сердце.

— Это верно. Тля одежду ест, а печаль сердце грызет. Выпей мед, и легче будет. Я сам от своей жены в корчму убежал, жирные пироги бросил. Нет ничего на свете хуже злой женщины.

Злат прислушался. Разговор за столом шел о каком-то дубе. Очевидно, об этом расспрашивали монахи, потому что Сахир, отвечая им, говорил:

— Откуда мне знать? Когда я пришел в сей город, многие древние дубы порубили уже секирой. Но знающие люди говорили в корчме, что был раньше такой дуб в роще около Епископских ворот.

— Где же он стоял? — спросил монах. Поседевшая борода у него напоминала жито, побитое градом, нос же его походил на зрелую сливу.

Сахир сделал рукой неопределенный знак:

— Там, в роще. Его срубили, чтобы сделать гроб, когда умерла супруга князя Владимира. Того, что теперь великий князь в Киеве. Шесть человек долбили его всю ночь на княжеском дворе. Я тогда проживал в городе и торговал мехами. Потом купил у старого Мардохая эту корчму. Да вкушает он вечный сон в раю сладости. Но для чего понадобился вам этот уже никому не нужный дуб? Вы всех расспрашиваете о нем, так скажите — какая от него польза людям?

— Надоели со своим дубом, — проворчал Даниил. — Сахир, нацеди нам с гусляром меду. Вот твоя забота.

— А кто мне заплатит за питье? — обвел корчмарь взглядом сидевших за столом.

Злат бросил на грязную столешницу сребреник. Хозяин тотчас сгреб его, попробовал серебро на зуб и спрятал в кошеле из красной кожи.

— Теперь нацеду вам меду, — сказал он.

По лицам было видно, что всем стало веселее. Пока Сахир спускался в погреб за медом, кузнец тоже спросил у монахов:

— Поистине — для чего вам этот дуб, опаленный молнией?

Монахи переглядывались, видимо раскаиваясь, что их языки болтали лишнее.

— Какая вам нужда в нем? — приставал Коста.

— Мы странники, ничего не знаем, — попробовал отделаться от него тот монах, что был всех толще, с красным лицом.

— Знаете вы, но не говорите.

Сахир уже принес пенный мед, и в корчме еще сильнее запахло пчельником. Даниил глотнул хмельного напитка и, по своей привычке забавлять людей, весело спросил:

— А знаете ли вы, как черт мед создал? Вот послушайте меня.

Даже Сахир подошел поближе, чтобы послушать басню, оставив на очаге горшок с гороховым варевом. Кузнец же, больше всего на свете любивший подобные повести, уже заранее улыбался.

Даниил, поблескивая глазами, стал рассказывать:

— Бес нанялся к смерду в рабы. Но ведь сатанинское отродье заранее знает, какая будет погода. В сухой год он посеял для него жито на журавлином болоте. У всех выгорели нивы, а у того смерда великий урожай. Предвидел бес, что дождливое настанет лето. Он гору засеял. У всех вымокли посевы, а у смерда обилие. Некуда хлеб было девать. Но сатана делал это для того, чтобы погубить христианскую душу. Он научил его пиво варить.

— Ты же про мед начал говорить? — спросил кузнец.

— Сначала черти научили смерда пиво варить, а потом и мед, когда он разбогател и борти покупать стал. Но в мед он три крови подмешал.

— Три крови!

Коста даже пальцы растопырил.

— Какие крови?

— Лисью, волчью и свинячью.

Все смотрели на него с недоумением.

— Истинно так. Мало человек выпьет — у него глаза делаются ласковы-

ми и хитрыми, как у лисы. Много выпьет — свирепый нрав человек проявляет. Без меры напьется — как свинья в луже валяется.

Корчму потряс хохот.

— Еще что-нибудь скажи,— просил Коста.

— Что тебе скажу?

— Развесели меня. С сердитой женой двадцать лет в кузнице живу.

— У меня тоже житие не мед. Злая и старая жена хуже горькой полыни. Но ты не покоряйся. Сказано в мирской притче: «Не скот в скотах коза, не зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак. Подобно тому и муж, если над ним жена повелевает».

— Это верно,— согласился кузнец.

— Лучше бурого вола в дом ввести, чем злую жену. Вол не говорит и зла не замышляет, а сварливая жена в бедности злословит, а в богатстве гордой становится.

Даниил совсем поник головой. Может быть, каялся в душе, что взял старую дочь посадника, чтобы в княжескую дружину войти и честь себе добыть. Но, худая и беззубая, косая на один глаз, она не привлекала его. Не потому ли он и на молодую княгиню засматривался?

Злат не вытерпел и сказал кузнецу:

— Вот говоришь — злая жена, а видел, как она пироги убогим выносит.

— Это она делает для спасения души. Мне же денег жалеет дать на мед.

Даниил, охмелев, обнял Злата и просил его:

— Спой нам про синее море!

Мед развязывал языки, отуманивал головы. Монах с житной бородой, по имени Лаврентий, тоже обнимал Злата и бубнил ему:

— Престарелый воин умер в Тмутаракани...

Но отрока тревожило воспоминание о горбунье. Его занимало, зачем Любава ворожею посещала. Не осмеливаясь рассказать все кузнецу, он начал издадека:

— Ныне ехал я дубравой...

Коста поднял на него глаза, повеселевшие от хмеля.

— Видел избушку малую. На пороге стояла старуха страшного вида. Не знал я, что там колдунья живет.

Кузнец рассмеялся.

— Не колдунья она, а ворожея. Травы и коренья собирает, недуги лечит. Нет от нее никакого зла людям.

— Так и живет в дубраве?

— А где ей жить? К старухе девушки ходят, сухие травы у нее за лепешки выменивают, чтобы волну красить, про свою судьбу узнают и милого себе ворожат. В этом тоже нет ничего худого.

Не подозревая ничего, кузнец лил молодому отроку масло на раны. Злат улыбался счастливо.

— Чему смеешься? — удивлялся Коста.

— Радуюсь.

Но Даниил, непрестанно читавший книги и выражавшийся высокопарно, заметил:

— Не верьте ворожеям. Искони бес Еву прельстил от древа познания добра и зла, а она соблазнила Адама. С тех пор жены чародействуют и волхвуют над отравой и вредят всякими бесовскими кознями роду человеческому. Лучше бы мне одному в поле с саблей против тысячи половцев выйти, чем с колдуньей встретиться или ночью за гумно идти, где бес живет...

Злат знал, что отрок не отличался храбростью и на полях битв, только был боек на язык, но в хмельном тумане чувствовал добро в сердце ко всем



людям. Он не знал, кого слушать. Пьяный монах Лаврентий шептал ему на ухо:

— Тот престарелый воин, что в Тмутаракани скончался...

— Что тебе надобно от меня? — удивлялся Злат.

— Помышляя о спасении души... сказал нам перед смертью...

Если бы эти слова долетели до слуха кузнеца, или Сахира, или всякого другого человека, которые помышляют о земном, они бы навострили уши. Тогда бы опаленный молнией дуб выплыл перед ними. Но Злат внимал монаху рассеянно, помышляя о другом. Мед наполнил его голову сладостным туманом, и он видел не дуб, а Любаву...

А Лаврентий продолжал бубнить, вспоминая последние мгновения старого воина:

— Сказал... Пойдите в город, называемый Переяславль Русский, и обрящете там дуб, опаленный издревле молниями. Тридцать три шага от того древа на полночь...

Однако другие два инока, не столь хмельные, уже обратили внимание на глупую болтовню Лаврентия. Тот из монахов, что был тщедушен, но более наделен разумом, чем двое других, полез через стол к приятелю. Его звали Власий. Он кричал:

— Глупец! Вот уж подлинно свинячей крови упился! Не слушайте же, христиане, этого безумца!

Но Лаврентий, упившись медом, упрямо повторял:

— Тридцать три...

Благоразумный инок не удержался и стал бить пьяницу по голове сухонькими кулачками. Тот выставил вперед огромные ручищи, защищаясь от неожиданного нападения. Власий кричал:

— Вот я тебе ужо...

Все вокруг смеялись, глядя на это единоборство Давида с Голиафом, в котором еще раз был посрамлен великан, потому что вдруг понял, что сказал лишнее, и чувствовал свою вину перед товарищами. Странно было смотреть на этого слабого телом человека, который беспощадно колотил богатыря, а тот только икал. Наконец Власий потащил его из харчевни за рукав, и Лаврентий покорно шел, не упираясь.

Кузнец держался за бока, не в силах справиться со своим бурным смехом. Злат расплылся в улыбке, глядя на эту уморительную картину. Только Даниил, охмелев больше меры, ни на что не обращал внимания и говорил сам себе под нос:

— Не море топит корабли, а ветер... Не огонь раскаляет железо, но поддувание мехами. Так и князь не сам впадает в сомнение, ибо советники вводят его в неправду. Так скажу князю...

Никто не знал, о чем он думал в этот час.

Однако Злат даже сквозь хмельной туман стал соображать, что неспроста монахи ищут обугленный молниями дуб. Теперь все становилось понятным, когда он вспомнил пьяный шепот монаха. Странники искали зарытое в земле серебро. Какую-то тайну открыл им престарелый воин... Тридцать три шага на полночь... Должно быть, поручил им найти свое сокровище. Чтобы монахи молились о спасении его души...

Иноков уже не было в корчме. Вспоминая слово за словом шепот Лаврентия, гусяр позвал приятеля:

— Даниил, не знаешь ли, что это за люди?

Оторвавшись от каких-то своих тайных мыслей, отрок повернулся к нему:

— Какие люди?

— Странники, что мед пили, про дуб спрашивали.

Даниил пренебрежительно махнул рукой:

— Они некогда в Печерском монастыре жили. Но не мало лет, как их изгнали.

Кузнец находился в блаженном состоянии. Он тихо пел песенку, повторяя одни и те же слова:

Дунай мой, Дунай,  
тихий Дунай...

— За что их выгнали? — спрашивал Злат отрока.

— Писал там иконы некий художник по имени Алимпий, бессребреник великий. Богатый боярин поставил церковь в Киеве, на Подоле, и захотел украсить ее иконами. Он дал серебро и три доски печерским монахам, чтобы они уговорились с иконописцем. Монахи плату взяли у мирянина, но Алимпию ничего не сказали. Когда боярин пришел за своим заказом, монахи ему сказали, что художник еще требует денег, и тот увеличил плату без всякого сожаления, зная чудесный дар Алимпия... Неужели ты не знаешь об этом?

— Не знаю.

— Всем это известно. Мирянин пожаловался игумену Никону, и тот изгнал обманщиков из монастыря. Теперь они бродят из города в город, чего-то ищут... В последнее время в Тмутаракани обретались.

— Они сокровище ищут.

— Не верь им. Они известные лгуны. Какая польза человеку от сокровища, если у него ума нет?

— Вот нам найти бы серебро в земле, Даниил! Новые корзны купили бы, как у Ратиборовичей.

— К чему мне корзны, когда скоро голова моя упадет с плеч.

— Опомнись!

— Истинно так.

Не обратив большого внимания на слова гусяра о серебре, зарытом в земле, потому что почел это за пустое мечтание, Даниил опять заговорил о злых женах. Злат и все прочие знали, что у него сварливая жена, жалующаяся ежечасно на мужа князю. Злату приходилось видеть, что молодая княгиня бросала украдкой взоры на статного тридцатилетнего отрока с красивыми карими глазами, смеялась от всей души, когда он рассказывал что-нибудь забавное и блистал своей книжностью и умом. Но этот человек отличался скрытностью и обо всем говорил намеками, изречениями из священного писания.

Даниил бормотал, опустив голову на грудь:

— Что злее льва среди четвероногих и лютее змеи среди пресмыкающихся по земле? Говорю вам: злая жена! И нет ничего на свете ужаснее женской злобы. Из-за чего праотец наш Адам из рая был изгнан? Из-за жены. Из-за супруги Пентефрия Иосиф Прекрасный был в темницу ввержен. А ведь всякая соблазнительница говорит своему мужу, обольщенному ее красотой, или любовнику своему: «Господин мой, я и взглянуть не могу на тебя без волнения! Когда ты говоришь со мною, я вся обмираю, слабеют члены моего тела, и я опускаюсь на землю...»

Отрок с грустью умолк, переживая неведомые Злату чувства.

Кузнец напевал:

Дунай мой, Дунай,  
тихий Дунай...

Потом вдруг опомнился, что-то вспоминая, и сказал:

— А ведь Злат истину молвил. Они про сокровище говорили, зарытое под дубом.

— Кто говорил? — спросил Даниил.

— Монахи.

Коста не слышал всего, что нашептывал Лаврентий гусяру, но кое-что, очевидно, уловил его слух, и теперь он тоже загорелся жадностью к серебру.

— Вот найти бы это сокровище!

Даниил, уже вернувшийся из своего мысленного мира в общество людей и понимая, что речь идет о кладе, заметил:

— Для этого надо знать заклатье.

В представлении Косты всякий клад — большие сосуды, наполненные золотом и серебром. Он размечтался:

— Из этого серебра я сделал бы светильник для церкви на множество свечей, изогнул бы ветви его, как лебединые шеи, и украсил бы всякой красотой! Его подвесили бы на цепях под самым куполом, и он освещал бы христианский мир! Видели ли вы серебряный терем над гробами Бориса и Глеба в Вышгороде? Или божницу над княгиней Евпраксией? Подобной красоте удивляются даже чужестранцы и говорят, что ничего такого не видели ни в одной стране. И мне хотелось бы сотворить нечто похожее на это, чтобы люди вспоминали мое имя до скончания веков... Пусть этот светильник озарял бы радостную жизнь...

Все слушали кузнеца раскрыв рты. Никогда еще он не был таким красноречивым. Вот что делает мед с простым подковывателем коней.

— А тебе велено судьбой подковы ковать, — рассмеялся Даниил, — да мечи.

— Без подковы не поедешь на коне, — утешил Злат.

Даниил с присущей ему витиеватостью прибавил:

— Меч в деснице господина — прибежище для вдов и сирот. Но говорю тебе, что невозможно добыть сокровище, зарытое в земле, если не знает человек заклатье. Начнешь копать, а ларь или сосуд с сребрениками будет все ниже и глубже опускаться в земные недра. До самой преисподней, и ты только душу свою лишишь вечного блаженства.

Завязалась беседа о зарытых в земле сокровищах. Ничего нельзя было найти увлекательнее для разговора в таком месте, как корчма, где мед будит печаль по лучшей жизни. Как всегда, Даниил считал себя знатоком и в этом деле.

— На том месте, — рассказывал он, — где зарыто серебро, по ночам горит голубой огонек, подобно малой зажженной свече. Там и надо копать. Но огонь обманывает, переходит с одного места на другое, и в это время бесы творят всякие ночные страхи.

— Если днем копать, они не имеют силы, — предложил Коста.

— Разве при свете солнца добудешь сокровище? Днем огонь над ним не горит, и нет пути к нему. Злато зарывают недобрые люди, колдуны или человекоубийцы.

Кузнец был в восторге от подобной беседы.

— А еще что? — спросил он, думая не столько об обогащении, сколько о заманчивости рассказов о кладах.

Злат тоже слушал Даниила с удовольствием, представляя себе пахучую черную ночь, когда тайные силы открывают свое бытие человеку и голубые огоньки мерцают в папоротниках. А сокровище? Пенязи текли у него, как вода между пальцами.

— Будто бы надо держать в руке цветок папоротника,— рассказывал самоуверенно Даниил.— Он в ту ночь расцветает, когда костры жгут на Ивана Купалу. Иди в лес, туда, где папоротник растет во множестве, очерти ножом круг около себя и смотри недреманным глазом. Уснешь — гибель тебе. Но ровно в полночь, перед тем, как петухи пропоют, появится огненное цветение. Надо сорвать его цветок и тотчас спастись. Бесовская нечисть погонится за тобою, и если ты оглянешься, конец всему! С подобным цветком можно искать зарытые сокровища. Однако и тут охраняют клад заклятья. Возьмешь в руки лопату, а она тебе помелом покажется. Или сова как младенец закричит на древе. Или рогатое чудовище приснится тебе, с хвостом и рогами.

— Страшно,— поежился кузнец, у которого от таких рассказов хмель несколько улетучился из головы.

— Или владыка тех богатств появится летающим нетопырем, чтобы кровь твою пить, если уснешь среди ночного мрака от утомления,— продолжал пугать людей отрок.— Или тебя обуяет такой страх, что ты позабудешь о всех богатствах и прибежишь, как безумный, домой и будешь у жены своей искать убежища в постели.

В тот день приятели засиделись за медопитием довольно поздно. Уже сумрак спустился на землю, и в корчме стало совсем темно. Беседовали о всяких вещах, о боярынях, которые падки на молодых отроков, и о прочем. Потом опять заговорили о сокровищах. Сам Даниил стал испытывать тревогу с наступлением ночи, но еще удивлял слушателей своей ученостью:

— Рассказывают, что иногда на месте клада вдруг появится сверкающий золотой петух или свинка с серебряной щетинкой, и если убить их, то они рассыплются перед вами золотниками и сребрениками. Бывает, что это не петух, а подобие агнца.

Наступила черная ночь, потому что все небо обволокло тучами. Огни в слободе погасли, настал час возвращаться в свои дома. Даниилу предстояло бурное объяснение с супругой.

— Боюсь, что закрыли ворота,— проворчал он.— Кто страж ныне?

— Кузнец Ореша. Он отопрет ворота для вас.

— Разве я не княжеский отрок? — поднял нос Даниил.

Сахир получил еще один сребреник. Выпроводив запоздалых гостей, он запер дверь и отправился к своей болящей жене, которую звали Мариам.

Отроки и кузнец очутились среди кромешной тьмы.

— Ушей своего коня не увидишь,— бранился Даниил.

Но с конем был только Злат. Он отвязал повод застоявшегося серого жеребца, и все двинулись в путь, решив для сокращения дороги идти через еврейское кладбище. Оно раскинулось недалеко от корчмы, наполовину заброшенное, заросшее молодыми рябинками, без ограды. Здесь старая Мариам пасла своих коз. Но еще оставались повсюду могильные камни. Самый большой из них покосился над могилой Мардохая, бывшего владельца корчмы и ученого человека, с которым поп Серапион спорил в молодости о вере. Довольно жутко было пробираться среди этого запустения. Найдя в темноте тропинку, что шла через кладбище к Епископским воротам, приятели направились туда гуськом, натываясь на памятники. До одурения пахло сладковатым цветом рябины. За гончарной слободой, на болоте, оглушительного квакала лягушки. Вокруг стоял непроницаемый мрак.

— Кажется, надо правее взять,— послышался голос кузнеца, который не очень-то уверенно вел друзей. Позади всех Злат плелся со своим конем.

— Куда ты нас завел, Коста? — сердился Даниил.

Он споткнулся о камень. Ощупав его руками, отрок понял, что это и есть тот самый памятник над могилой Мардохая. О старом корчмаре говорили,

что он выходит по ночам из земли и всюду ищет свою дочь, красавицу Лию, любившую пламенной любовью молодого варяга Ульфа. Она утопилась в реке, когда ее возлюбленного зарубили касоги в битве под Лиственном.

— Лучше нам по тропе к дороге спуститься, — сказал кузнец.

Все стали пробираться сквозь рябиновые кусты. Неприятно находиться в такой час на кладбище, где царят загробные силы. Правда, у отроков были крестики под рубахой. У Даниила даже золотой, с частицей мощей мученика Феодора Стратилата. Его надела на шею красивому отроку чья-то маленькая женская рука, никогда не знавшая домашней работы. Вообще этот Даниил... Недаром говорили о нем, что не сносить ему своей головы.

— Злат! Веди сюда коня! — раздался из темноты радостный голос кузнеца. — Вот и дорога!

Потом послышалась песенка:

Дунай мой, Дунай,  
тихий Дунай...

Действительно, под ногами оказалась мягкая от пыли дорога, что шла к Епископским воротам.

— Куда же идти? Направо или налево? — спросил Даниил, у которого настроение совсем упало в предвидении неприятного разговора с супругой.

— Направо — корчма, а в город путь лежит налево, — ответил Коста. — Вот пьют, как волю, а потом домой попасть не могут.

Злату было приятно жить в этот ночной час. Сейчас будет черная кузница с навесом, а за нею бревенчатая избушка. Там спит и видит счастливые сны Любава.

Не думая о том, что Орина не спит в эту душную ночь, а поджидает беспутного мужа, чтобы задать ему добрую трепку, кузнец еще громче запел:

Дунай мой, Дунай,  
тихий Дунай...

Даниил сказал Злату:

— Слышал я от отца своего, а он — от деда, тот же — от других далеких предков, что некогда жил наш народ на Дунае. Потому и вспоминаем мы эту реку в песнях.

Впереди уже выростала из ночного мрака темная громада Епископской башни.

Даниил крикнул:

— Эй, стражи! Княжеские отроки возвращаются в город по неотложному делу!

На башенном забрале кто-то заворошился, потом послышались шаги на деревянной лестнице. Спустя несколько мгновений медленно, со скрипом отворилась дубовая створка ворот...

## XL

Мономах провел некоторое время в Переяславле и оставался там до весны, а затем, поплакав в последний раз у мраморной гробницы, решил, что пора возвращаться в Киев, но захотел совершить это путешествие не в ладье, а на повозке, чтобы по пути побывать в монастыре Бориса и Глеба, расположен-

ном на реке Альте, и взглянуть на милую ему церковь. В дорогу тронулись весьма рано, когда в соседних дубравах еще не угомонились утренние птицы. Слуги положили побольше сена в возок, старательно умяли его руками и прикрыли ковром, чтобы старому князю удобнее было сидеть. По преклонности лет он уже не садился на коня. Рядом с великим князем устроился епископ Лазарь, пожелавший проводить важного путешественника до обители. Несмотря на теплую погоду, Мономах носил еще бараний тулупчик и старенькую шапку из потускневшей парчи, с бобровой опушкой. Борода у князя за эту зиму стала совсем белой.

Возок на четырех колесах тащили сильные кони, серые, с огромными головами, все в сбруйных украшениях. По обыкновению возница сидел верхом — молодой раб в белой рубахе, в кожаной обуви, с копной светлых волос на голове. Ноги у него были обмотаны чистыми тряпицами и ремнями. За возком ехали: справа — князь Ярополк, слева — воевода Фома Ратиборович и Илья Дубец; позади следовали отроки. Как всегда, следом везли на двух телегах все необходимое для князя, а также дары в монастырь.

Когда проезжали по длинной и кривой улице, называвшейся Княжеской, Мономах с печалью оглядывал знакомые виды, точно прощался с любимым городом. Он знал здесь каждую хижину, всякий плетень. Правда, многое погорело за эти годы или развалилось от ветхости, и кое-где на пустырях уже выросли новые боярские хоромы или порой пахучие щепы устилали землю, и вдали, около Иоанновского монастыря, бойко стучали секиры плотников.

Многие люди выходили из своих жилищ на улицу, чтобы приветствовать великого князя, посетившего город, и епископ со строгостью взирал на них, когда они снимали колпаки перед сильными мира сего. Казалось, глядя на радостные лица встречающих, Лазарь читал в человеческих душах греховные помышления, видел отсутствие ревности к христианской вере, и женские лукавые улыбки на румяных лицах неизменно представлялись ему чем-то бесовским. Он готовил в уме очередное обличение. По его мнению, все жители в городе были прелюбодеи, тати, резоишцы и лжецы, и надлежало искоренить все пороки и огнем сжечь плевелы. Другие спутники князя не утруждали себя скорбными мыслями, потому что стояло пригожее утро и всем божьим созданиям следовало радоваться весне.

Стало еще светлее и радостнее, когда обоз выехал за Епископские ворота. Проезжая мимо кузниц, Мономах увидел, что около одной из них, самой старой и черной, стоит кузнец с молотом в руках, вышедший на дорогу, чтобы посмотреть на княжеский поезд. Старый князь сделал нетерпеливое движение рукой, требуя, чтобы возница остановил коня. Конюх не видел княжеской руки в набухших синеватых жилах, со скрюченными и непослушными от старости пальцами, но князь Ярополк крикнул рабу, и повозка тотчас остановилась, проехав немного за кузницу. Опираясь обеими руками о колени, Мономах посмотрел из-под седых косматых бровей на человека с молотом в руках и сказал:

— Ты — кузнец Коста...

Тот стянул с головы красный колпак, почерневший от дыма кузнечного горнила.

— Я, князь! Счастливый тебе путь!

Мономах вспоминал что-то.

— Ты ведь мне меч чинил зимой.

— Рукоять, — уже приветливее ответил кузнец, потому что всегда приятно поговорить о работе, сделанной на похвалу. Он некогда ковал этот меч, час за часом выбивал на серебряном наконечнике красивый узор, а на рукояти изобразил двух зверей, вцепившихся один в другого, с извивающимися

хвостами. Они и составляли рукоять. С тех пор прошло немало времени, Мономах стал стариком, да и у него самого поседела голова. За работу его тогда похвалили. Но в Переяславле жили другие сереброкузнецы, и у них было из чего делать водолеи или женские украшения, а он имел только много силы в руках, чтобы бить молотом о наковальню, и мечтание в сердце о прекрасном светильнике. Ему теперь приходилось лишь коней подковывать у всадников, ехавших по черниговской дороге. Не потому ли его тянуло в корчму, где путники рассказывали о всяких чудесах на земле?

Фома Ратиборович склонился с коня к старому князю и с кривой усмешкой доложил:

— Ведь наш Коста по дубравам ходит и сокровища ищет!

Кузнец нахмурил брови. Но это была истина. С того самого дня, как в корчме говорили о кладе, он не мог успокоиться и все разыскивал тот опаленный молнией дуб, от которого нужно мерить тридцать три шага на полночь. Однако не правду ли сказал Сахир, что много дубов срубил с тех пор секира? А серебро и золото манили своей легкой ковкостью. Из них можно делать все, что пожелает душа. И богатым хотелось быть каждому бедняку. Орина выговаривала:

— Вот другие хоромы строят, а ты только в корчме сидишь.

Коста вспомнил тогда о ворожее. Даниил был прав, страшные заклятья стерегут всякое сокровище, зарытое в земле, и нужна помощь колдуна, чтобы она разверзлась перед человеком, раскрыла свои тайны. Боязливо поглядывая на хижину гончаров, он отправился в дубраву к страшной старухе.

Горбуныя сидела на пороге своей совсем уже покосившейся хижины. Голубоватый дымок шел из двери и таял в воздухе. Когда кузнец подошел поближе, ворожея посмотрела на него уставшими глазами и спросила:

— Какая немощь привела тебя сюда?

Она привыкла, что люди являются к ней за лечебными травами и кореньями. Чаще всего женщины. У одной в огневице сгорал младенец, у другой очи болели, третья просила приворотное зелье, чтобы вернуть любовь и хотение мужа. За это ей несли пироги, вареные яйца или какое другое яство во всякое время года.

— Не немощь, — ответил мрачно кузнец.

— Что же тогда? Не полюбил ли ты жену попа на старости лет?

Жена Серапиона славилась на весь город своей толщиной.

Коста отрицательно покачал головой.

— Что же тебе надобно от меня? Починил крюк — отплачу за него.

Кузнец скосил глаза на дверь, черневшую, как нора в зверином логове. На крюке висел черный котел, и в нем что-то варилось.

— Дай мне ту траву, что клады в земле открывает, — осмелился наконец попросить Коста.

Старуха хрипло рассмеялась.

— Что клады открывает...

— За это награжу тебя.

— Что мне в твоей награде?

— Во вретнице ходишь, и хижина твоя развалилась. Настанет опять зима, как ты жить будешь в ней? Починю тебе твой дом.

— Зимой уже не будет меня на свете.

— Почему так говоришь?

— Кукушка сосчитала мои годы. Спросила птицу, и она единый раз прокуковала.

— Сжался надо мною, — молил Коста и даже шапку снял, как перед боярыней.

Горбунья поднялась и засуетилась около очага, мешая свое варево. Потом снова подошла к двери и зашамкала:

— Сокровища глубоко в земле лежат. Найти их не легко. Вот настанет Купала, тогда придешь.

— Купала далеко, долго ждать.

— Ныне не имею силы помочь тебе.

Старая горбунья видела немало людей на своем долгом веку, приходивших к ней за всякой помощью и советом, и научилась думать за них. Но если не показывать человеку свою власть над зверями и травами, кто принесет тебе пирог? Хотя порой она уже сама верила, что способна творить страшное в человеческой жизни.

Она усмехнулась:

— Сокровище ищешь, хочешь богатым быть?

Кузнец опасался рассказать старухе о том, что они со Златом услышали в корчме от монахов. Ворожея могла сама завладеть богатством или еще глуже спрятать его под землю. Он промолчал.

Вдруг горбунья забормотала:

— Берег поднимается, море волнуется, ветры мокрые веют от синего моря...

— Что ты говоришь? — в страхе спросил Коста.

— Гром гремит, буря бушует, леса шумят...

Кузнец даже отступил подальше от порога, чувствуя, что слова это не простые, а имеющие какое-то тайное значение. Старуха продолжала бормотать и вскрикивать:

— Волки в дубраве воют, белка с дерева на дерево скачет, зори на землю смотрят с небес...

Было непонятно, к чему старуха говорит все эти речения. Но, может быть, она заклинала?

— Что с тобой? Что с тобой? — спросил он.

Старуха оборотилась к нему и прошептала:

— Волчий вой и обилие белок — к войне и пленению.

— Не сули нам горе!

— Не я сулю, а божественная сила.

— Твои боги — Перун и Мокошь. Скажи им, чтобы они мне сокровище открыли.

Но горбунья, точно озирая грядущее, грозила ему перстом и повторяла:

— Иди, иди... Черный вран сидит на древе...

Теперь она стала бормотать уже совсем непонятное, размахивала руками, точно хотела устроить кузнеца. Коста пошел прочь, с тревогой в сердце. Что шептала колдунья о черном вороне? Или намекала о чем-то? Надо искать дуб, на котором ворон сидит?

Как нарочно, в те дни кузнецу не попадались на глаза черные вороны. Но однажды он нашел в роще пень таких огромных размеров, что, наверное, здесь рос раньше какой-то особенный дуб. Не мог пройти мимо него человек, зарывающий свои сокровища втайне. Коста отмерил тридцать три шага на север, и когда сделал последний шаг, то очутился на месте, которое показалось подходящим для хранения сокровищ в земле. Здесь возвышался небольшой холмик. Вокруг уже росли молодые дубки, но виделось немало и пней от поваленных бурей или порубленных секирой. Место было глухим и в те времена, когда еще зеленело могучее древо. Но копать клады полагалось ночью. Днем могли увидеть люди, завладеть богатством, а его убить. И ведь только ночью раскрывались земные недра. Так говорил Даниил, а он читал это в книгах...



Только что наступила темнота в роще, когда Коста пришел на отмеченное место, где он заломил ветку на дубе. Вокруг уже стояла вечерняя тишина. Кузнец принес деревянное рыльце, обитое по краю железом, и мотыгу. Хотя все было заранее примерено при дневном свете, но приступил он к работе, когда уже спустилась черная ночь. Коста поплевал на руки, огляделся по сторонам и, сжимая крепко мотыгу в сильных руках, стал копать. Как будто бы земля легко уступала железу. Потом он сменил мотыгу на лопату. В это время сова залилась на весь лес страшным младенческим плачем, и у него мурашки побежали по спине. Но что в том странного? Разве не обитают совы в рощах и не кричат по ночам?

Кузнец прислушался. Снова в дубраве наступила мертвая тишина. Он опять взял в руки лопату. Под нею оказалось полусгнившее дерево, с которым пришлось немало повозиться. Однако было ясно, что тут копали некогда, и сердце кузнеца забилося в горячей надежде. Он стал копать еще усерднее, обливаясь потом. Но весенняя ночь коротка. Наступал бледный рассвет. Коста перестал копать и прислушался. Приближался конский топот. Потом посылались веселые голоса. Кто-то ехал дубравой. Надо было притаяться. Вскоре он увидел всадника за деревьями и присел, чтобы скрыться от его взоров. Однако и его увидели. Потому что он услышал встревоженный оклик:

— Кто там? За дубом хоронится?

Тяжело дыша, Коста ничего не ответил. Тогда всадник направился в его сторону. Конская грудь с шумом раздвигала кусты. Перед раскопанной ямой появился княжеский отрок, судя по одежде и мечу на бедре.

— Что творишь тут? — спросил он, скаля зубы от молодой глупости, весь наполненный радостью жить на земле.

Мрак таял, просыпался уже лесной мир. Первая птица защebetала на ветке. Отрок бессмысленно улыбался.

— Что творишь тут? — спрашивал он.

— Уходи прочь! — грозно сказал кузнец, схватив мотыгу и замахнувшись ею, как топором.

— Не оставлю тебя.

— Княжеский пес!

— Скажи, что творишь?

Больше всего хотелось отроку знать, что делает этот человек в такой недобрый час. Но уже приближались другие всадники. Услышав разговор, они тоже повернули коней в эту сторону. У некоторых были копыта в руках. Еще один отрок подъехал поближе и с удивлением смотрел на разрытую яму, на валяющуюся лопату, на кузнеца с мотыгой в руках. Он зло сверкнул темными торкскими глазами.

— Яму копает, — сказал ему первый отрок, румяный, как девушка.

— Почему в такой час копаешь? — спросил торчин.

Коста угрюмо молчал, надеясь, что эти зубоскалы уедут, когда им надоест пререкаться с ним.

Но темноглазый отрок взвизгнул:

— Отвечай, или я тебя проткну, как вепря!

Кузнец увидел перед лицом холодный блеск железного острия. Белокурый уже махал рукой и звал кого-то из дубравы приблизиться.

— Господин, тут недобрый человек землю копает.

С такими словами он обращался к воеводе. Тотчас появился боярин. Кузнец увидел, что это Фома Ратиборович, очевидно ехавший с отроками в этот ранний час на лов в заповедную княжескую рощу.

Фома тоже окинул взором Косту и вырытую яму.

— Ты кузнец от Епископских ворот,— сказал он.— Знаю тебя. Кого хоронишь?

— Пса хороню,— дерзко ответил кузнец.

— Он сокровище в земле копает! — догадался румяный отрок.

Боярин поднял густые брови и еще больше вознегодовал на кузнеца:

— Кто позволил тебе копать сокровище в княжеской дубраве?

Коста опустил голову, понимая с яростью в сердце, что теперь пропали его мечтания о серебряном светильнике. Он бросил в гнев мотыгу на землю.

— Что молчишь? — опять спросил боярин.

Кузнец молча смотрел на боярского коня, что бил в нетерпении копытом о землю, грыз удила с железным скрежетом.

— Отроки, посмотрите, что в яме,— приказал Фома.

Белокурый соскочил с коня и, нагибаясь, осмотрел выкопанную довольно глубоко яму.

— Похоже, что тут есть что-то...— говорил он.— Не сокровище ли закопали тут?

— Возьми рыльце и копай,— приказал Фома кузнецу.

— Не буду,— отвечал Коста.

— Не будешь?

Опять копье уперлось ему в грудь.

— Рой, или смерть тебе!

Коста поднял лопату и в сердцах вонзил ее в землю. Всадники стояли вокруг него и смотрели, как он трудится. Что он мог поделывать? Отроки были одни с копьями, другие при мечях, как дружинники ездят на охоты. Впрочем, в нем самом горело любопытство к тому, что зарыто здесь. Теперь уже явно было видно, что это нечто вроде могилы. Кузнец ожидал, что вот-вот лопата ударится о глиняный сосуд и со звоном рассыплются златники.

Но он уже устал и время от времени прекращал работу, вытирая пот со лба рукавом рубахи. Заметив это, боярин распорядился:

— Кемелай, возьми рыльце и рой!

Смуглый торчин слез с коня и стал копать землю мотыгой. Белокурый отрок тоже взял лопату из рук Косты. Теперь земля шибко полетела комьями во все стороны. Двое копали, остальные смотрели на них, ожидая увидеть в земле что-нибудь необычайное.

Вдруг лопата отрока выбросила вместе с глиной желтый человеческий череп с оскаленными зубами...

Воевода трепетной рукой ухватился за ладанку, висевшую у него на груди под красной рубахой. От неожиданности отроки тоже широко раскрыли глаза. Кузнец заглянул в яму. Вместо серебра там лежали кости. Это была древняя могила.

Когда все немного успокоились, Фома велел копать глубже. Иногда, зарывая сокровище, убивали человека, чтобы его дух охранял закопанное золото. Отроки с новым рвением взялись за лопату и мотыгу, позабыв о лове. Теперь уже сам боярин слез с коня и, опираясь руками о колена, следил за работой. Так копали некоторое время, однако ничего не нашли, кроме полуистлевших человеческих костей.

Уже над дубравой всходило солнце. Обсудив с отроками положение, боярин сердито сказал Косте:

— Вводишь людей в искушение, мертвецов выкапываешь из могил!

Как будто бы кузнец был виноват, что Фоме не удалось поживиться серебром, зарытым неведомо кем и когда.

— Садитесь на коней! — приказал он отрокам.— Столько времени потеряли тщетно!

Боярин плюнул на землю.

Всадники скоро скрылись в роще, переговариваясь между собою. Оставшись в одиночестве, Коста еще раз обследовал могилу. В яме не было никаких признаков клада. Он собрал разбросанные повсюду человеческие останки, сбросил в яму и снова кое-как засыпал землей. Потом положил на плечо рыльце и мотыгу и ушел прочь, досадуя на весь мир.

О найденной могиле много говорили в городе, и поп Серапион прибежал посмотреть на нее, чтобы допытаться, не покоился ли в ней какой-нибудь мученик или отшельник, но никаких благочестивых преданий с этим местом не было связано, и священник так и изложил все епископу. Все это произошло, когда Мономах еще гостил в Переяславле, и ему тоже доложили о случившемся, но старый князь тут же забыл об этом, хотя ранее имел обыкновение входить во все мелочи и всюду тщился навести порядок.

Когда Фома Ратиборович, склоняясь с коня, сказал ему про кузнеца, великий князь спросил:

— Какое сокровище?

— Ехал на лов с отроками. И что увидел? Кузнец яму в дубраве копает, а в ней человеческие кости.

— Слышал, слышал...— закивал князь.

— Он искал серебро, а нашел мертвеца,— ехидничал боярин, забывая, что сам принимал участие в раскопках.— Оказалось, что там человек в далекие времена похоронен.

Князь не обратил особенного внимания на рассказ. Мало ли людей лежит в земле? Но полюбозыствовал:

— Как же поступили с могилой?

— Поп Серапион над ней положенные молитвы прочел.

— Добро.

Мономах, уже в некотором удалении от суетного мира, не потребовал дальнейших объяснений и молча смотрел на угрюмого Косту, которому немало досталось от супруги за его ночное похождение. Однако епископ Лазарь, тоже слышавший об этом случае, протягивая к кузнецу указующий перст, поучал его:

— Христианину подобает не в земле искать сокровище, а на небесах. Подобное богатство ни тати не похитят, ни огонь не спалит, ни тля не пожрет...

Мономах одобрительно закивал головой. Но его взгляд упал на Любаву, на ее озаренное волнением лицо. Было в девушке нечто такое, что напомнило о Гите. Большие зеленоватые глаза? Или длинная золотистая коса? Или юные перси под полотном сельской рубашки? Князь вдруг почувствовал в своем сердце слезливую теплоту, смешанную с великой печалью, какую рождает у старых людей созерцание девической красоты. Он вздохнул и спросил кузнеца:

— Дочь твоя?

Кузнец улыбнулся в бороду.

— Зовут ее Любава. Выросла, а замуж никто не берет.

Заметив всеобщее внимание, Любава в крайнем смущении отвернула лицо и закрыла его рукавом рубахи. Даже ее маленькие босые ноги передавали внутреннее волнение и как бы топтали одна другую.

Князь Ярополк, расположенный к молодому дружиннику и любивший слушать его песни о синем море, сказал отцу с добродушной усмешкой:

— Наш гусяр хочет вести дочь кузнеца, а он не дает свое позволение.

Мономах снова обратил взор на Косту:

— Почему не хочешь?

Кузнец потупился и не давал ответа.

— Почему не хочешь? — повторил князь.

Но кузнец молчал.

— Почему не отвечаешь великому князю? — набросился на кузнеца боярин Фома.

Отвернувшись, Коста стал объяснять:

— Мы бедные люди, а отрок красное корзно носит...

— Что из того? — спросил Мономах.

— Нашей бедностью потом попрекать будет.

Мономах нахмурил брови.

— Дело не в богатстве. Юноша и девица должны любить друг друга и плодиться. Так повелел нам апостол.

Кузнец проговорил:

— Если так велишь, то твоя воля...

— Добро.

Злат сидел на коне, опустив глаза. Он никогда ничего не говорил о Любаве князю Ярополку. Значит, Даниил рассказал обо всем. Но какой нашел повод для этого?

Любава уже не могла выдержать более. Она стояла, закрывая лицо руками, и казалось, что через пальцы брызжет ее счастье. Потом повернулась и убежала, чтобы спрятаться на огороде от мужских дерзких взглядов. Старый князь проводил ее отеческим взором.

— Прощай, кузнец, — сказал он Косте. И добавил почему-то: — Вот еду помолиться в монастырь, где пролилась невинная кровь мученика...

## ХЛІ

Проводив старого отца до Борисоглебского монастыря и устроив его в одной из избушек, Ярополк тотчас стал собираться, чтобы возвратиться в Переяславль. Вместе с ним должны были сесть на коней княжеские отроки, в том числе и Злат. Но все поехали восвояси, как и положено благоразумным людям, по прямой дороге, ибо для этого и проложены земные пути и построенные мосты через реки, — а гусяр по своей привычке ходит окольными тропами пробираясь через дубравы, слушая пение птиц. Он с любопытством спрашивал себя, глядя на скачущих с ветки на ветку белок: чем же питаются эти лесные звери, пока еще не поспели орешки и ягоды? Так он ехал, по-свистывая и радуясь земным запахам, смешанным с крепким конским потом, и, как всегда, его мысли о житейских делах, — ведь следовало бы новые сапоги приобрести, и хотелось носить красивое голубое корзно, что продавал Даниил, проигравшийся в пух и прах, когда метал кости в корчме с проезжим варягом, — постепенно обращались к другим предметам. Вот он проявит мужество в сражении, и князь наденет ему на шею золотое ожерелье, повелит храброму отроку быть вельможей в княжеской палате. Или Злат споет на пиру такую песню, что прославится навеки по всей Руси. Потом он женится на Любаве, и они будут жить в боярских хоромах с веселыми петушками на оконных наличниках и разноцветными стекляшками. Случалось же подобное с другими отроками. Ведь переяславский житель Кожемяка победил печенега в единоборстве и стал великим человеком. Или Илья Дубец, спасший князя от смерти и получивший золотую гривну из княжеских рук. Еще Злат думал о том, что прошла зима и цветы распустились на зеленых лужайках, а в дубравах снова защелкали по ночам соловьи. Остановив коня, он прислушался. Недалеко стонала любовно лесная горлянка. Потом кукушка прокуковала

три раза и умолкла. Вся лужайка перед ним была, как жемчугом, усыпана ландышами. Хотелось как можно глубже вдыхать этот запах, что казался слаще греческих ароматов и фимиамного дыма. Потом Злату пришло на ум, что скоро он будет проезжать мимо кузниц и, может быть, увидит Любаву. Теперь он уже получил княжеское позволение, чтобы не бояться ни отца ее, ни матери. Но только что он подумал о Любаве, как понял, что очутился на той самой поляне, где стояла под дубами избушка горбатой колдуньи.

После кузнецовых слов, что ворожея творит добро, излечивая людские недуги, ему не было так жутко, как в первый раз. И все же здесь текла иная жизнь, чем в гридне, наполненной смехом и песнями отроков, или в любом христианском доме. По-прежнему на высоких шестах белели лошадиные черепа, из дымницы валил голубой дымок, отворенная дверка все так же висела на одной петле. Ничего странного в своем приключении он не увидел: что удивительного было в том, что он ехал дубравой близ дороги, направляясь в Переяславль с полуночной стороны, и вновь очутился около избушки ворожей?

Злат постоял немного и уже собирался поворотить коня, чтобы поскорее выехать на проезжую дорогу, как вдруг на пороге показалась горбунья. Прикрывая глаза от солнца рукой, она смотрела на всадника. Но чего ему было страшиться? Разве не излечила ворожея жену попа Серапиона от живота? Старуха поманила его рукой, чтобы он приблизился к хижине. Не понимая, зачем он понадобился ей, Злат тронул коня и спустя несколько мгновений очутился около избушки.

— Ты гусяр? — спросила горбунья.

— Гусяр.

— Все по дубравам бродишь? Мало тебе дорог? То монахи ходят, псалмы поют, то гусяры. Покоя мне нет.

— Какие монахи? — спросил Злат.

— Три монаха проходили здесь, угрожали мне вечным огнем. Так грешники будут гореть.

Отрок понял, что это были те самые иноки, с которыми он беседовал немного дней тому назад в корчме, когда Лаврентий шептал ему о престарелом воине, скончавшемся в Тмутаракани.

— Они сокровище ищут, — засмеялся Злат.

— Ищут, а не находят... — пробормотала старуха. — И кузнец землю копает.

— Знаю.

Коста сам рассказывал ему про неудачную попытку найти серебро.

— А ты что ищешь, отрок? Или тебе только бы на золотых струнах бренчать?

— Я тоже искал бы сокровище, да заклатья не знаю.

— Заклатья... — ворчала горбунья. — А если открою тебе тайные слова?

Злат открыл рот от удивления. Он спрыгнул с коня на землю и еще ближе подошел к старухе.

— Что тебе сделал, что заклатья хочешь мне открыть? — опять рассмеялся отрок.

Горбунья вцепилась когтистыми пальцами в старенький посох. Сквозь лохмотья ее рубахи виднелось черное тело, напоминавшее общипанную птицу. Она пристально посмотрела на юношу, на его залитые румянцем щеки, поросшие золотистым пушком. Но больше всего ее внимание привлекло красное корзно. Такое, какие обычно носят дружинники; застегнутое на правом плече серебряной запонкой, оно почему-то напоминало старухе эпизод далекого прошлого.

Тогда ворожея еще была девочкой, помогала матери собирать целебные травы. Однажды она бродила в одиночестве на заре в этой самой дубраве. Нужно было взобраться на дуб, чтобы сорвать на его вершине дикое растение с белыми ягодами, от которых у людей бывают счастливые сны. Калека, как белка, поднималась с ветки на ветку, а когда очутилась наверху, то увидела невдалеке от этого места странное зрелище. Два человека усердно копали яму, на траве лежало рядом такое же красное корзно, как у гусяра. Девочка притаилась и смотрела, радуясь, что ее не заметили, когда она влезала на дуб. Очевидно, звон лопат заглушил ее легкие шаги. Пришельцы копали землю на другом берегу ручья, струившегося по белым камушкам под деревьями. Из страха, что эти люди могут причинить ей зло, она замерла, обнимая сук. Дерево казалось живым существом, его ветви были наполнены жизненными соками...

Внизу люди закапывали что-то, но маленькая горбунья не могла рассмотреть, что они клали в яму. Потом тот, кого можно было принять по одежде за раба, стал собирать сухие ветки и засыпал ими холмик, где они только что рыли землю. Теперь уже никто не догадался бы, что здесь свежевскопанная почва. Воин препоясался мечом, накинул на плечи корзно и смотрел, как его слуга трудился. Девочка даже услышала, как он громко сказал рабу:

— Скоро будет тебе великая награда!

Обрадованный раб закончил трудную работу, взглянул еще раз на дело рук своих и, положив на плечо лопаты, пошел прочь. Вслед за ним воин тоже перешел ручей, направляясь в глубь дубравы. Повернув голову за ними, она рассматривала, что невдалеке к одному из деревьев привязаны два коня.

Уже начинало светать. Горбунье хорошо было видно с высокого дуба, как все произошло. Шедший позади воин вдруг выхватил меч. Очевидно, клинок заскрежетал в ножнах, потому что раб с любопытством оглянулся на этот звук. Видимо, несчастный понял по лицу господина, что пришла к нему смерть, и, уронив лопату, простер руки с ужасным криком и умолял о пощаде. Но воин тотчас ударил его мечом. И еще раз, и еще... Обливаясь кровью, человек упал. Маленькой свидетельнице показалось на мгновение, что у нее сердечко выпрыгнет из груди. Зубы у нее стучали, как в огневице. Она боялась пошевелиться и ждала, прижавшись к дереву, что будет дальше. Воин снова сбросил с себя корзно и стал копать яму. Он долго трудился, оглядываясь порой по сторонам, хотя в этой глуши никто не мог ему помешать. Когда могила была готова, воин втащил в нее за ноги убитого раба и закопал его. Потом сел на коня и, держа другого на поводу, оставив без внимания лопаты, ускакал в чащу. Почему этот боярин не бросил просто труп в лесу, где его пожрали бы волки и всякие другие звери? Но в ту пору она не задавала себе никаких вопросов, а поскорее спустилась с дерева и поспешила к матери в город.

Тогда она была совсем еще ребенком и только путано могла объяснить и рассказать, что с нею случилось. Мать или не поняла ничего из прерываемого плачем рассказа, или не пожелала завладеть сокровищем, может быть из страха, что ворожею легко обвинят в похищении драгоценных сосудов или сребреников, когда увидят богатство в ее руках. С тех пор прошло много лет, и она сама забыла о виденном, и только красное корзно гусяра внезапно напомнило ей о страшном событии и все воскресило в памяти. Теперь ворожея понимала, что воин убил раба, чтобы избавиться от человека, который знал слишком много. Этот жестокий боярин думал, что никто не проникнет в его тайну. Но он ошибался. Если бы мать захотела, они могли бы взять это сокровище и уйти в Ладогу, откуда происходили родом, и там жить в большом и теплом доме, как живут те боярины, к которым ее звали порой, чтобы

помочь им в любовных страданиях. Теперь ей уже ничего не нужно. Однако разве нельзя открыть местоположение клада хотя бы этому юноше, который любит Любаву, часто приносящую ей пироги. Сколько дней и ночей одинокая ворожея провела среди полей и лесов, слушая, как произрастают злаки. С возрастом горб ее стал огромным. Уродство придавило ее к земле, закрыло своей тяжестью все радости женской жизни. Но горбунья находила утешение в священных рощах. Великолепные дубы наполняли душу волнением, и ей казалось, что в их шуме во время бурь она слышит глагол божества.

Из Греческой земли явился новый бог, которому кадят в церквах фимиамом. От этого запаха стесняется дыхание и хочется чихать, уйти поскорее в просторную дубраву. Мать рассказывала ей со слезами, как Перуна, деревянного идола с серебряной головой и золотыми усами, княжеские отроки ввергли в Днепр и отталкивали его шестами от берега. Вскоре пришли дровосеки в рощу, которую прежде люди считали божницей, и срубили секирой священное дерево, под которым совершалось веселие свадеб, и всполошили черных воронов, предвещавших своим карканьем судьбу девам и воинам. Ныне Перун царит на земле только во время страшных бурь, когда он мечет молнии и поражает огненными стрелами неугодных себе. В такие часы даже почитающие Христа страшатся древнего бога и темноты овинов. Люди как дети. Они боятся крика ночной птицы или вида несчастной горбуньи, а не опасаются злодеев, живущих среди них.

## XLII

Ворожея окинула отрока пронзительным взглядом. Он тихо стоял перед нею, обнимая за шею жеребца. Видно было, что нет жадности в душе этого человека. Любава говорила ей, что поп Серапион бранил гусяра за грешные песни. Вознаградить его счастьем? Пусть будет он вспоминать до конца своих дней страшную горбунью...

Старуха прошептала, ухватившись цепкими пальцами за рукав красной рубахи:

— Хочешь, помогу тебе найти сокровище? Будешь богатым, как Ратибор.

Злат по своей привычке легко относиться ко всему, что встречал на жизненном пути, весело рассмеялся. Какая польза в богатстве! Стоит ему пропеть красивую песню — и княжеское серебро сыплется на него, как из колчана. Он и без пенязей чувствовал себя богачом. Певцу принадлежит весь мир, который он видит перед собой, и он способен летать как на крыльях до самого синего моря, в жребий Симов и даже в пределы Рима. Золотые струны обладают властью делать людей счастливыми или печальными, в чем не властен и греческий царь. И все-таки отрок сказал:

— Что же! Сделай меня богатым, старуха!

— Пойдем за мной, — поманила его ворожея сухой ручкой и заковыляла в ту сторону, где за дубами бисером рассыпался и звенел ручей.

Ведя коня на поводу, Злат покорно шел за горбуньей, невольно отвращая взор от ее уродства. Так они довольно далеко брели по берегу ручья. Потом старуха остановилась и стала что-то высматривать. В этом месте было больше пней, чем зеленых деревьев, однако горбунья хорошо помнила, что именно здесь рос тот дуб, с вершины которого она смотрела, как убили раба. Потом это дерево опалила молния. Вот его огромный пень.

Злат, бродивший поблизости, наткнулся на свежевскопанную землю. Он догадался, что здесь кузнец клад искал, и крикнул ворожею:

— Тут кузнец кости мертвеца нашел?

— Какого мертвеца? — не поняла старуха.

Гусляр рассказал ей о том, над чем потешался весь Переяславль.

Значит, ее не обманывает память. Если здесь был зарыт убитый раб, то сокровище закопали недалеко отсюда. Горбунья уже узнавала местность. Вот здесь она сидела на дереве, умирая от страха. Воин, снявший красное корзно, и раб копали по ту сторону от ручья. Она постучала костылем по гнилушке, что осталась от дуба:

— Придешь сюда ночью. А копать будешь за ручьем. Около орешины.

На другом берегу потока берег вздымался немного, и на нем росли ореховые кусты. Глядя на них, Злат ужасался. Все было как во сне. Неужели в этой земле лежит сокровище? Но надо было проверить расстояние.

Он прошептал:

— От дуба на полночь тридцать три шага...

— Что ты говоришь? — не расслышала старуха.

— Один монах открыл мне... Тридцать три шага...

— Скольких шагов, не знаю.

Злат прикинул мысленно, где полночь, и когда сделал тридцать третий шаг, то оказался уже за ручьем, на том месте около орешины, которое указала ему ворожея. Он повернулся к ней лицом:

— Так и монах сказал...

Все это было волнительно и странно. Он подошел опять к ворожее.

— Завтра днем приду сюда с лопатой.

Но она покачала головой:

— Днем нельзя, люди увидят.

Чтобы не расставаться со своей властью над людьми, старуха прибавила:

— Скажу тебе заклятье.

Злат почесал голову. Ему все еще не верилось, что это не снится, а происходит наяву. Неужели он в самом деле может сделаться богатым и построить хоромы, как Фома Ратиборович? А еще завести угорских коней, купить серебряное оружие...

Его мечтания прервал шепот горбуньи:

— Придешь сюда в полночь.

Ему стало вдруг жутко.

— Я друга приведу, княжеского отрока.

Но ворожея видела, как из-за сокровища человек убивал другого человека, не поделив богатства. Она слишком часто копалась в человеческих чувствах и убедилась, что порой опасен бывает друг, даже брат.

— Нельзя,— сказала она.— Приди один. Или земля не откроется.

Старуха с материнской печалью смотрела на отрока. Она теперь знала о нем довольно. Сирота. Родителей половцы погубили. Жил с дедом, а когда дед умер, очутился на княжеской гриднице, куда его отрок Даниил привел. Так рассказывала ей вчера прибежавшая сюда с пирогом Любава. Пусть этот отрок возьмет Любаву. Их дети будут знать, что богатство в семье от горбатой колдуньи. Хе-хе! Так легче ей будет покидать земную жизнь и отправиться туда, где обитают души умерших, плыть в бесшумной ладье среди кромешной ночи смерти. Там страшно и темно, если так русалки плачут по ночам, тоскуя по земной жизни, где светит солнце днем и поют птицы. Она тяжело вздохнула.

— Что же ты умолкла? — спросил Злат.— Какое же твое заклятье?

Старуха пошевелила беззубым ртом:

— Слушай! Скажешь три раза...

Она проговорила другим голосом:



Иду на высокую гору,  
по водам и облакам.  
На горе серебряный дуб стоит,  
на нем золотые желуди растут.  
На горе заря сияет.  
Заря, заря, освети мне дорогу,  
земля, разверзись предо мною...

В этих условиях не было ничего необыкновенного, но ему стало страшно, когда ворожея сказала:

— Теперь повтори...

Он повторил.

— Запомнишь?

— Запомню.

Злат привык запоминать песни и притчи. Отвязывая коня, еще раз повторил в уме заклятье.

— Теперь иди с миром, — сказала старуха.

Гусляр вскочил в седло.

В тот день Даниил допытывался у него:

— Почему ты такой ныне смутный? Разве не оказал тебе милость старый князь? Почему не радуешься? Теперь он тебя не забудет своими щедротами. Но женишься — и прощай тогда воля. Нет, лучше чужих жен любить.

Помня завет старухи, Злат не открыл отроку свою тайну.

Даниил был старше Злата и прочел множество книг, собирая в них, как пчелы собирают медовую сладость с цветов, книжную мудрость. Он знал философов, что жили некогда в Афинах. Князь Ярополк ценил его начитанность. Злат не любил книжное чтение. Он черпал слова для своих песен в том, что видел вокруг себя собственными глазами. Даниил говорил ему в тот вечер:

— Женись, женись! Добро, если жена окажется милой для твоего сердца. Хорошая жена — венец для своего мужа и беспечальная жизнь. А злая — лютое горе. Червь дерево точит, а злая жена дома своего мужа. Лучше в дырявой ладье плыть, чем болтливой жене тайну доверить. Но куда спешить? Не к своей ли красавице на огород?

Когда Злат, пряча под корзном железную лопату, взятую тайно на княжеском дворе, приехал верхом под эти сказочные дубы, у него сжалось сердце от волнения. Деревья устрашали теперь даже своим молчанием. Некоторое время ушло на то, чтобы найти нужное место. Вот пень... Когда глаза привыкли к темноте, он различил у ручья орешину... Отрок посмотрел на небо. Там сияли звезды. Вокруг неприметной звезды, которую Даниил называл Приколом, как некий вол на привязи, вращалось все мироздание. Широко двигалась в небесных полях Колесница, запряженная звездными конями. Четыре колеса и три коня. Ниже сияло золотыми яйцами Утиное гнездо. Стрелец натягивал тетиву своего лука, целя в Лебедя. Небо сияло, как божья риза, усыпанная жемчугом...

В ту ночь на земле еще не отцвели рябины. Злат вспомнил, как Даниил рассказывал, что там, где зарыто серебро, по ночам горит огонек или некое подобие свечи. Но только звезды озаряли землю своим мерцанием. Гусляр привязал тщательно коня к дубку и взял в руки лопату. Под сапогами хрустнули белые камушки в ручье. Вот берег, вот ореховый куст, здесь и надо копать. Еще днем он точно отмерил тридцать три шага и на том месте воткнул сухую ветку. Вспомнились иноки. Но зачем им богатство? Оно только мешает им в спасении души. Он и сам сделает вклад в Печерский монастырь.

Кроме звезд, ничего не было. Не кричала сова, не выли волки, в которых

часто преображаются бесы. Все-таки холод бежал по спине. Еще надо прочитывать заклятье...

Иду на высокую гору,  
по водам и облакам.  
На горе серебряный дуб стоит,  
на нем золотые желуди растут.  
На горе заря сияет.  
Заря, заря, освети мне дорогу,  
земля, разверзись предо мною...

Теперь эти слова казались полными таинственного значения, они вселили веру в его сердце, и, прочитав заклятье, Злат стал усердно копать не очень податливую под лопатой землю. Только на мгновение он порой прерывал работу, чтобы перевести дыхание и вытереть рукавом пот со лба. Потом ему стало жарко, Злат снял рубаху, прислушиваясь, не крадется ли из мрака злой человек. Но все было тихо в дубраве, и меч лежал рядом...

После полуночи звезды погасли, закрылись тяжкими облаками. Стало душно в мире. Теплый грозовой ветер прилетел с заката солнца. Наступила настоящая воробьиная ночь. Прошло еще немного времени и разразилась гроза, полил дождь, первая голубая молния сверкнула среди деревьев, озарив их мгновенным светом и наполнив дубраву грохотом грома. Еще молния — и вновь раскаты в небесах. Но, щедро политый дождем, Злат не переставал копать. Яма углублялась с каждым ударом лопаты. И вот она ударила о большой глиняный сосуд...

Злату хотелось плясать.

— Не обманула... — прошептал он.

Сосудов оказалось два. В одном были серебряные чаши, гривны, запястья и другие женские украшения, в другом — сребреники и золотой пояс. Злат высыпал их в суму, которая вдруг наполнилась приятной тяжестью. Прочее богатство, оглядываясь по сторонам, уложил в захваченный догадливо мешок из коноплянины, а пояс надел на себя. Его золотые бляхи сияли даже среди ночи. Потом, засыпав кое-как яму, он направился к коню. На земле остался лежать один уроненный сребреник...

Гроза уже пронеслась с грохотом в иные края. Дождь постепенно переставал. Уже занималась заря на востоке, слышалось приближение дня в шепоте деревьев. Сердце у Злата ликовало. Такое случается с человеком один раз за весь век жизни и только со счастливыми. В одну ночь он стал богачом, не беднее другого боярина. Гроза утихла вдали. Нахохлившиеся птицы, встряхиваясь от дождевой влаги, запели утреннюю хвалу солнцу. Оно всходило над дубравами.

Уже проснулась слобода гончаров. Сахир стоял у порога своей корчмы и внимательно смотрел на отрока, который вез какой-то мешок.

— Что везешь, Злат? — крикнул он.

— Сребреники, — простодушно ответил отрок.

Но корчмарь подумал, что гусяр не сказал бы так, если бы действительно в мешке было серебро, и ломал голову над загадкой, что же нашел Злат на дороге.

Когда Злат подъехал к кузнице, Коста уже раздул горн и бил молотом по наковальне, превращая кусок грубого железа в красиво изогнутую подкову. Отрок прыгнул с коня, вошел с мешком в руках, огляделся, не видит ли их кто-нибудь из любопытных, ибо богатство уже за одну ночь научило отрока осторожности, и бросил на земляной пол, среди всякого железного хлама, свою добычу. Серебряные чаши жалобно зазвенели. Он сказал, улыбаясь:

— Вот мое вено за Любаву!

Не понимая, в чем дело, кузнец недоверчиво развязал мешок, и тогда перед его глазами блеснуло благородное древнее серебро. Он вынимал из ряднины чаши и сосуды, взвешивая в руке их ценную тяжесть.

— Нашел! — восхищался кузнец. — А что тебе осталось?

— Будет и на мою долю.

— Добро.

Отрок рассмеялся и вышел из кузницы. Сегодня он чувствовал себя добрым и щедрым царем. На огороде стояла за плетнем Любава, свежая, как ветка калины, омытая утренней росой. Она держала в обеих руках глиняную миску с творогом.

— Здравствуй! — приветствовал гусяр девушку.

Прежде такая смелая, она теперь притихла и застыдилась, чувствуя, что уже приближается время, когда будет расплата за все ее усмешки и колючие слова.

— Здравствуй, — пролепетала она чуть слышно.

Этот человек скоро станет ее господином, и она снимет с него обувь, как требовал древний обычай. Но она готова всю жизнь служить ему рабой, только бы он любил ее, как она его любит.

Кузнец тоже показался на пороге, сияющий, как праздник, и посмотрел на дочь, покрасневшую ярче зари.

— Подойди ко мне, Любава, — сказал он.

Прижимая к бедру миску, девушка смотрела на отца непонимающими глазами, но покорно вышла из-за плетня и остановилась посреди двора, смущаясь.

— Подойди ко мне, — повторил Коста.

Любава молча приблизилась к отцу, может быть, ожидая, что он накажет ее за глупости в голове. Но кузнец взял ее за руку и подвел к отроку, горделиво сидевшему на коне. Девушка отвернулась, не смея взглянуть на Злата, а ведь он был тем, кого она полюбила с первой встречи. Гусяр же почему-то подумал в эти мгновения о синем море.

— Вот твоя лада, — сказал кузнец отроку.

— Будешь со мной? — спросил Злат свою невесту, склоняясь к ней с седла.

Любава еще больше отвернула лицо, страшась своей сладкой судьбы.

— Будешь со мной?

— Буду, — прошептала она.

Кузнец весело смотрел на обоих.

В это время на двор вышла из хижины хворая мать и стала бранить мужа:

— Вот уже день настал, а ты напрасно тратишь время на беседы, не куешь подкову...

Любава, все так же придерживая миску с белым творогом у прелестно изогнутого бедра, положила другую руку на теплый бок коня, а щекой прижалась к колену Злата.

Кузнец крикнул Орине:

— Смотри, как они любятся!

Старуха уже покорилась тому, что решил за них старый князь, но, увидев нежно припавшую к отроку Любаву, заворчала:

— Бесстыдница! Когда я молодой была, я кротко по земле ходила и очи долу опускала...

Кузнец, взволнованный событиями, горел желанием расспросить Злата о том, как он нашел серебро. Ему хотелось бросить подкову и пойти на радостях в корчму. Однако час еще был ранний. В такое время к Сахиру ходят только пьяницы и чужестранцы.

Злат еще ниже склонился к Любаве:

— Будешь моей?

— Буду,— ответила она.

Все было залито солнцем. Черная кузница, желтые одуванчики на дворе, пыль на дороге.

### XLIII

Весна бурлила, в деревьях текли сладкие и горьковатые соки, злаки произрастали из земли, цвели яблони. Еще раз природа совершала свой благостный круг творения. В этом водовороте жизни Любава плыла навстречу своей судьбе, как те былинки, что несутся в многоводной реке, подхваченные течением. Каждый вечер они встречались теперь со Златом у плетня и тихо разговаривали там. Никто не слышал, какие сказки рассказывал ей гусляр. Так птицы поют, воркуют голуби.

На монастырском огороде, на реке Альте, яблони тоже стояли в цвету. Рядом с ними особенно черными казались одеяния монахов, проходивших мимо деревьев с лопатами в руках, чтобы сажать репу. Старый князь, задержавшийся на несколько дней в обители, выходил иногда из бревенчатой избушки, чтобы полюбоваться на весеннюю красоту. Но чаще всего он сидел в трапезной, которую ему предоставили, чтобы беседовать там с боярами о делах государства. Из Киева к великому князю приезжали вельможи и докладывали о том, что творится в стольном городе. По их словам, все было в порядке, торжище шумело от множества народа, еще больше чужестранцев прибывало по торговым делам, и меха поднимались в цене.

Мономах знал, что готовность отразить врага в случае внезапного нападения — самая первая забота правителя. Стоит только усыпить себя приятными мыслями о своем собственном могуществе, как неприятель уже стоит под городскими стенами и стрелы начинают бороздить воздух. Но у многих бояр были свои заботы. Боярин Мирослав, посылавший монаха Дионисия в Иерусалим за камнем от гроба Христа, все время возвращался к мыслям о собственном добре. Это был жадный до серебра и не очень мудрый человек. Он говорил:

— Как поступить, если смерды из соседней веси мою между запашут, нарушив все божеские и человеческие законы? Кто возместит ущерб, нанесенный моему имению?

Боярин стучал костяшками по столу:

— Я знаю, там гнездо разбойников и татей. Они только и ждут случая, чтобы расхитить мое достояние и пожечь боярские хоромы. Страшно жить на земле в такое время.

Переяславский тысяцкий Станислав, хорошо знавший хозяйственные дела Мирослава, ехидно заметил:

— Страшно, боярин? Но на твоём дворе самые высокие частоколы. Кто посягнет на тебя?

— А ночное спокойствие?

— Спи спокойно за своими запорами, под лай сторожевых псов.

— Собак злодеи удавить хотят.

— Тогда набери побольше холопов.

— А разве не могут они предать своего господина?

Боярин вытирал широкий лоб красным шелковым платком, весь охваченный душевным беспокойством.

Епископ Лазарь, присутствовавший на совете, поучительным голосом произнес:

— Все это наказание божье за наши прегрешения. Поэтому и страшное смятение в людях. Ныне мир наполнился смрадом человеконенавистничества.

Мономах, умудренный жизненным опытом, привыкший хитрить с греческими митрополитами и с русскими боярами, увещевал боярина Мирослава:

— Верно сказал епископ. Ныне все как бы колеблется на земле, а впрочем — раньше лучше ли было? Думай о спасении души и частицу своего богатства удели церквам и нищим. Дать голодному кусок хлеба — и у него засохнет злоба на тебя, и он будет еще лучше трудиться для твоего блага. Не следует доводить человека до крайности, потому что в гневе он способен поднять руку на своего господина, и тогда может совершиться непоправимое. Читайте прилежно писание и в нем найдете ответы на всякое недоумение. Так и мне поможете мудрыми советами и свое богатство сохраните.

Иногда из Переяславля приезжал Фома Ратиборович. Печально понурившись, великий князь сидел в кресле, которое уступил ему игумен, а усатый воевода — на скамье, подбоченясь, выставив вперед ногу в остроносом зеленом сапоге, точно уже он предчувствовал, что скоро придет другая власть и здесь незачем теперь умалять свою гордыню. У него были законные основания задирать нос и, широко расставив локти, поглаживать седеющие усы.

Впервые Фома прославился, когда еще был посадником в Червене.

В те дни князь Владимир находился с супругой в Смоленске, разбирая в этом городе всякие судебные дела и тяжбы. Воспользовавшись тем, что внимание Мономаха было отвлечено мирным устроением земли, Ярославец, сын Святополка, привел с собой шесть тысяч воинов, набранных на границе, и решил занять Волынь. Но прежде он пошел на Червень, где у Фомы едва насчитывалась тысяча способных носить оружие. Враги обступили город, вызывая жителей на вылазку, но посадник запретил своим выходить за валы, чтобы неприятельские воеводы считали, будто тут и обороняться некому. Когда же наступила ночь, Фома оставил в предградии большие запасы вина и меда, а сам заперся в бревенчатом граде. Наутро неприятели пришли, чтобы зажечь Червень. Они увидели множество сосудов с медом и все взяли себе, а дома зажгли. На другую ночь Фома послал к Ярославцу отрока Василия Бора и велел передать князю, что, мол, Фома бежал из города, а горожане в смущении, негодуют на посадника и готовы сдаться, не видя помощи от Владимира. Ярославец был легкомысленным человеком и охотно поверил отроку. Он распустил половину своего войска по селам, а с остальными до полуночи веселился, пируя с наемниками, пришедшими из соседних стран. Все упились медом и забыли поставить стражу. Когда Василий Бор увидел, что творится в неприятельском стане, он поспешно возвратился в город и обо всем рассказал Фоме Ратиборовичу. Посадник вышел с пятьюстами воинами в тыл врагам, а остальные тоже сделали вылазку. Ярославец подумал, что уже пришел из Владимира Андрей, сын Мономаха, и бежал со своими союзниками. В этом сражении Фома изрубил более тысячи человек и многих пленил, и когда Мономах узнал о его военной хитрости, сделал боярина тысяцким во Владимире-на-Волыни и прислал ему гривну на золотой цепи.

В монастыре Мономах опять стал похварывать. Узнав о его немощи, из Юрьева явился епископ Даниил, совершивший некогда путешествие в Иерусалим. Владимир с удовольствием слушал в десятый раз, как епископ рассказывал о своих странствиях. По случаю приезда почтенного гостя в монастырской трапезной устроили постный, но обильный обед. Как всегда, Мономах, воздержанный в еде и питье, почти не прикасался к яствам, но радушно угощал епископа и других гостей, предлагая им лучшие куски. За столом присутствовал князь Мстислав, приехавший из Вышгорода, чтобы

навестить больного отца. На обед позвали также Фому Ратиборовича, Илью Дубца и еще некоторых бояр. У дверей стояли, скрестив руки на груди, в самых непринужденных позах молодые отроки, готовые по первому знаку прислуживать знатым вельможам за столом. Суетились и перешептывались хлопотливые, как пчелы, монахи, приносявшие из поварни то рыб, то гороховое сочиво с елеем, то пчелиные соты на деревянном блюде. В нарушение монастырских правил, требовавших, чтобы во время трапезы царила благопристойная тишина или читались жития прославленных мучеников, на этот раз за обедом происходила оживленная беседа. Вернее, епископ рассказывал о своих странствиях Мстиславу, не имевшему раньше случая поговорить с ним и теперь жаждавшему узнать от знаменитого паломника некоторые подробности о Иерусалиме, и все слушали Даниила.

Приподнявшись не без труда со своего места, чтобы тем еще более выразить свое почтение человеку, удостоившемуся видеть многие земные чудеса, старый князь взял кусок пирога с блюда и протянул епископу. Даниил, вероятно еще раз переживая свои путевые волнения, говорил:

— Велик путь, ведущий в Иерусалим. От Царьграда до Великого моря на корабле по лукоморью — триста поприщ, а до острова Петала — еще сто. Оттуда до острова Крита двадцать поприщ, и там раздвояется. Налево корабли плывут в Иерусалим, направо — в Рим. На пути, чтобы не забыть, видел я каменный берег. Мне говорили знающие люди, что на нем некогда стоял город Илион. Один грек, плывший со мною на том корабле и знавший наш язык, рассказывал, что жил некогда слепой певец, прославленный на весь мир, и воспел войну, во время которой город этот сгорел и превратился в прах и пепел.

Мономах и Мстислав кивали головами в знак того, что все это известно им. Бояре усердно жевали, но и они не без удовольствия слушали благочестивое повествование, особенно Мирослав, известный своею ревностью к христианской вере.

— Мы приплыли на остров, который греки называют Хиос. На нем произрастают масличные деревья, всякие овощи, и люди выжимают из виноградных гроздей доброе вино. Я тоже, грешный, вкусил его. Потом мы посетили город Эфес, где находится гробница Иоанна Богослова. Там я видел также пещеру, в коей покоятся семь отроков, спавших триста лет, а потом восставших от сна при царе Феодосии и рассказывавших о том, что они зрели в сновидениях. Затем мы поплыли дальше, до острова Самоса, где ловят множество всяких рыб. Пришлось мне повидать и остров Родос, где томился русский князь Олег. Но потом я очутился в горной местности, которая называется Миры и где на деревьях родится фимиам. Имя тому дереву — зигия, а образом оно как наша ольха. Есть еще другое дерево. В нем живет малый червь, точащий древесину, и эта червоточина падает наподобие пшеничных отрубей. Жители смешивают ее с мезгой фимиамного дерева, варят в котле и получают церковный ладан. Они его продают по большой цене купцам, торгующим благовониями и везущим ароматы на верблюдах в далекие страны. От острова Кипра — прямой путь в Яффу. Четыреста поприщ. Этот город стоит на берегу, и в нем есть удобная пристань для кораблей. Отсюда уже недалеко до Иерусалима. Но идти туда нужно по пустынной равнине, выжженной солнцем, среди страшных гор. Этот путь не безопасен. Из города Аккона выбегают сарадины и убивают путников, а некоторых уводят в рабство.

Позабыв о еде, держа в руке кусок пирога с печеной рыбой, но мысленными очами созерцая свои путешествия, Даниил рассказывал о Иерусалиме:

— Этот град расположен среди дебрей и высоких каменных гор.

Они теперь действительно уже представлялись епископу огромными, вздымающимися до облаков. И в то же время вспоминались масляные деревья на берегах Кедронского потока, розоватые стены Иерусалима, овенные нестерпимым зноем...

— Там я видел Елеонскую гору. Она расположена в одном поприще от города. Когда путники прибывают туда, все сходят с коней и далее уже идут пешком, и всякий христианин радуется, увидев перед собой с этой возвышенности святой город, и многие даже проливают слезы. А когда войдешь в Иерусалим, то вскоре увидишь храм, где находится гроб Христа. Церковь эта круглая, как башня, и вся вымощена мраморными плитами, гроб же как малая пещерка, высеченная в камне. Дверь в нее так мала, что входить нужно на коленях. Там висят пять больших неугасимых лампад, наполненных елеем, а сверху устроен золотой терем.

О башне, где царь Давид играл на кифаре и сочинил Псалтирь, епископ рассказывал так:

— Еще я видел башню Давидову, огромную, четырехугольную, наполненную житом на случай войны. В нее никого не пускают из чужестранцев, и тогда тоже не разрешили путника подняться по ступеням, а мне и Издеславу Ивановичу все показали...

В те дни в Палестине происходили сражения между латынцами и сарацинами, но Даниила хранил бог, и ему не сделали вреда ни король Балдуин, ни сарацинские эмиры.

Паломник рассказывал также о Голгофе, о страшной дороге к Иордану, где разбойники нападают на беззащитных путников и снимают с них одежды. В той области лежит Мертвое море, в воде которого не может жить никакая рыба, и далеко простирается пустыня, раскаленная, как пещь огненная. Люди пользуются там дождевою водой.

Мстислав, любитель книжного чтения, выразил сожаление, что ему не пришлось увидеть все это своими собственными глазами. Но Даниил утешил его:

— В Иерусалиме я поставил лампаду за всех русских князей и Русскую землю...

После обеда Мономах беседовал со своим старшим сыном Мстиславом. Уже было решено, что он примет стольный град и будет братьям вместо отца. Но Мстислав был печален.

— Не предавайся скорби, — сказал ему Мономах, — все люди смертны.

Он видел, что сын с грустью смотрит на его изможденные черты.

Но у Мстислава были и другие огорчения. На днях, когда он вернулся с охоты на вепря, евнух стал шептать ему, что молодая княгиня, пользуясь отсутствием супруга, принимает у себя тиуна Прохора Васильевича и проводит с ним время наедине.

Князь кусал губы. Первая жена его, по имени Христина, уже давно умерла. Потом князь женился на дочери новгородского тысяцкого. Эта молодая женщина была полна любовного огня и любопытства к жизни.

Евнух соблазнял его, как сатана:

— Если поднимешься тотчас в терем, то сам увидишь и убедишься, что я не лгу тебе.

Мстислав сказал ему в гневе:

— Молчи, раб! Разве ты не помнишь, как мы жили в совершенной любви с княгиней Христиной? Я тогда был молод и нередко посещал чужих жен. И все-таки она любезно принимала их, делая вид, что ей ничего не известно, и тем сыскала у меня еще большую любовь. Ныне же я старею, и попечение о государстве не позволяет мне думать о любовных утехах. Княгиня же моло-

да, ей хочется повеселиться, и женщина всегда может допустить неблаго-<sup>д</sup>видное, если выпьет вина. Но мне ли остерегать ее от греха? Довольно и того, что никто об этом не знает и не говорит. Советую и тебе держать язык за зубами, если не хочешь, чтобы княгиня погубила тебя. Теперь ступай от меня!

Евнух ушел с обидой в сердце.

Впрочем, впоследствии он узнал, что Мстислав, обвинив бедного Прохора в грабеже людей, подлежавших его суду, все-таки сослал его в Полоцк, где этот красавец и умер в заточении, вспоминая пламенные ласки молодой княгини.

В тот день Мономах обсуждал с Мстиславом также греческие дела.

Мономах знал, что русского князя не любят в царьградских дворцах, невзирая на то, что в его жилах течет царская кровь. Мстислав не раз говорил ему с веселой улыбкой:

— Ты правду говоришь, что патриарх не объявит тебя святым.

Мономах лицемерно отмахивался обеими руками, хотя в душе считал, что лестно было бы получить венец святости. Но какие мучения он претерпел?

— Как быть мне святым с моими прегрешениями! — вздохнул старый князь.

Впрочем, главная задача заключалась в том, чтобы обдумать, как впредь поступать в греческом вопросе и чего держаться в переговорах с ними. Беседа была тайная, никто не присутствовал на ней, кроме Мономаха и его сына, а у дверей стоял на страже Кунгуй.

Старый князь имел возможность побеседовать в те дни и с одним иверийским монахом, от которого получил весьма ценные сведения о том, что происходит в жребии Симове. Положив руки на подлокотники, Мономах мысленным взором окидывал огромные пространства своих земель. На Руси стояла тишина. Как будто бы нигде на границах непосредственной опасности уже не грозило. С Литвой и ляхами установилась дружба после всяких нелепых недоразумений. Он предпочитал жить с соседями в мире и не проливать напрасно драгоценную христианскую кровь. Что можно доказать мечом? Только то, что одно войско сильнее другого, но во время войн обильно льются материнские слезы и погибают нивы, растоптанные вражескими конями. Половецкая степь тоже не грозила страшными бедствиями, как часто случилось в прежние года. Мономах загнал хана Атрока за Железные врата, а его брат Сырчан перешел на мирную жизнь и благодушно ловил рыбу в тихом Дону, не помышляя больше о набегах на Русь. Он знал, что стоит только ему появиться на путях, ведущих в Переяславскую землю, — и тотчас перед ним, как буря, вырастет русская конница, брядая оружием. Лучше ловить щук в донских затоках и по вечерам слушать певца Орева, прославившего победы предков, чем подставлять свою голову под страшный русский меч...

В Иверии в те дни правил царь Давид, прозванный за свою деятельность Строителем. Он женился на добродетельной Гурандухт, дочери половецкого хана Атрока, и все внимание направил на борьбу с сельджуками, наводнившими страну. Зная о воинских достоинствах кипчаков, как иверийцы называли половцев, он позвал всю их орду, во главе со своим тестем, к себе на службу. Необходимо было устроить так, чтобы половцев пропустили беспрепятственно через свои земли воинственные осетины. Для этого сам Давид отправился в Осетию. Атрок и осетинские князья обменялись заложниками, и таким образом были открыты для орды все горные перевалы. По этой безопасной дороге Давид привел в Иверию многочисленную кипчакскую конницу. По словам книжников, всего пришло, не считая женщин и детей, сорок тысяч человек. Каждый воин получил коня, оружие и надел земли. Из



кипчаков был также составлен отряд царских телохранителей в количестве пяти тысяч всадников.

Мономаху уже сообщали об этом в свое время. Но он сказал:

— Что мне до того? Знаю, что Давид никогда не пошлет половцев против меня, а я не пошлю своих воинов против него...

Так как старый князь очень любил беседовать с чужестранцами и путниками, приходившими в русские пределы, то он обрадовался, когда узнал, что в монастыре случайно оказался, на пути из Чернигова в Переяславль, некий иверийский монах, и тотчас послал за ним, чтобы послушать о подвигах Давида и о судьбе хана Атрока.

## XLIV

Владимир Мономах в день приезда в монастырь опять почувствовал себя плохо и с печальной улыбкой отвечал на приветствие игумена и монахов:

— Благодарю твое благоумие и вас, братия!

Душой его овладевало постепенно стариковское равнодушие. Как будто бы и не было в его жизни ни встреч с женщинами, ни конных сражений в далеких половецких полях, ни удачных ловов, когда бодрые крики кличан наполняли шумом благоуханные дубравы. Только при воспоминании о Гите его сердце сжималось. Иногда он выходил из келии и смотрел на монастырскую церковь. Они строили ее вместе с Гитой. Из Новгорода приехал зодчий Петр, строитель многих новгородских монастырей и храмов, уже старик, но еще обладавший ясным умом и даром воображения. У молодой княгини блистали глаза, когда он широкими движениями рук рисовал в воздухе своды и купол здания. Дочери короля, воздвигшего на английской земле Вальтам, было приятно, что и она оставит после себя храм, который на много лет переживет ее.

Строитель Петр явился с двумя своими учениками. Все трое оказались новгородцами, хотя по внешнему виду и одежде ничем не отличались от киевлян или переяславцев. Тот же пробор посреди головы, подстриженные по-христиански бороды — у Петра седая, у его учеников русые; у всех трех длинные рубахи, кожаные сапоги. Но после первых же слов Мономаху стало ясно, что это не обычные люди, с какими встречаешься на торжище или даже в церкви, а знающие строительную тайну. Иногда строители говорили между собой на понятном только для них языке.

Мономах хорошо запомнил то раннее утро, когда они приехали с Гитой в монастырь. У ворот дубовой ограды их уже поджидали зодчие и монахи.

— Приступим, — радостно сказал молодой князь, счастливый любовью жены, здоровьем, солнечным утром и возбужденный недавней верховой ездой по красивой дороге мимо переяславских дубов. Был месяц май. Как и теперь. Когда они проезжали росистой дубравой на заре, там еще щелкал какой-то неугомонный соловей, хотя уже совсем рассвело... Казалось, что не будет конца этой жизни и этому счастью, и вот ныне все приближается к концу.

— Приступим, — повторил Петр, и по всему было видно, что строитель чувствует себя в центре событий и понимает свое превосходство над людьми, даже если они носят на голове княжескую шапку из парчи.

Согбенный годами, но еще полный быстроты в движениях, строитель прошел мелкими шажками на монастырский двор, и все толпой двинулись за ним, понимая важность этого часа. В одном месте старик остановился и показал рукой на землю:

— Здесь надлежит выровнять долину для церкви.

— Почему ты избрал это место? — полюбопытствовал князь.

— Здесь удобное и возвышенное местоположение. Тут не ложится в изобилии утренняя роса, и почва благоприятна для того, чтобы копать корение.

Мономах знал, что корением называется основа здания.

— Пусть будет так! — сказал он.

Может быть, впервые в жизни служба в бревенчатой церкви казалась ему в тот день слишком долгой. Наконец богослужение закончилось, и можно было приступить к обмеру долины.

В руках у Петра он увидел деревянное мерило. Строитель с важностью объяснил ему:

— Длина его — четыре локтя. Это мерная сажень. Но есть еще косая, а также морская и сажень без чети... Ими мы пользуемся, чтобы сообразовать отдельные части здания. Для этого мы чертим план, или вавилон. Имея его в руках, не нужно ни вычислять, ни утруждать себя измерением отдельных частей...

Мономах и Гита слушали зодчего с растерянной улыбкой. Так улыбаются люди, если не понимают чего-нибудь.

— Вавилон? — осмелился спросить Мономах.

Петр чувствовал себя среди этих непонятных вещей как рыба в воде.

— Вавилон — каменная плита. На ней чертится четырехугольник, а внутри его еще один, малый, и разделяется крестообразно. Мы получаем тогда как бы образец для всех наших вычислений.

Мономах задавал другие вопросы. Но зодчий отвечал на них без большого желания, очевидно не имея намерения открывать свои строительные тайны. Он все-таки объяснил:

— Начертим на земле четырехугольник... — и не торопясь изобразил концом деревянного мерила четыре линии на пыльной площадке двора...

— Чему равна мерная сажень? Ты видел. Моему мерилу. Но если в четырехугольнике проведешь линию из одного угла в другой, то получишь косую сажень.

Мономаху впервые открывалось таинственное соотношение частей и линий в четырехугольнике. В волнении он только кивал головой.

— Еще разделим вавилон крестом... — продолжал Петр.

Опять пошел в ход жезл мерила.

— Зачем тебе требуется столько различных мер? — спросил князь.

— Потому, что каждая мера соответствует тому, что мы ею измеряем. При вычитании одной сажени из другой остаток показывает нам, какую толщину следует придать стенам здания, чтобы обеспечить им прочность и чтобы они были в состоянии выдержать непомерную тяжесть сводов и купол, как бы висящий в воздухе без всякой опоры, но тоже требующий основание для своей легкости... Благодаря вавилону все это измеряется без участия человеческого ума.

Строитель, очевидно, понимал, что не так-то легко постичь все это непосвященному. Он как бы выискивал более доступный пример.

— Начертим треугольник...

На песке появилась фигура с тремя углами.

— Вот что достойно удивления. Если стороны треугольника равны мерной сажени, высота его равняется половине косой сажени, и никакая сила в мире не в состоянии изменить подобные отношения...

— Все в руке божьей... — заметил стоявший рядом игумен, не проронивший до сих пор ни одного слова, так как ему казалось, что он в этом благочестивом деле храмостроения касается чего-то бесовского.

Мономах посмотрел внимательно на новгородского строителя. Неужели существуют вещи, изменить которые или нарушить не может даже сам бог? Действительно, что-то сатанинское было в этой улыбке зодчего, спрятанной в седой бороде.

После этого монахи приступили к выравниванию долины, на которой должен был стоять храм. Строитель ходил между ними, показывал, где надо копать, или брал в руку ком земли и растирал его между пальцами. Только на второй день начали чертить план церкви на долине и сделали так называемое очертание, в котором уже были отмечены отдельные части здания. Гита неизменно сопровождала Владимира на место строительства и с любопытством наблюдала работу каменщиков.

Петр, не выпуская из рук жезл мерила, вспоминал различные случаи строительства:

— Размеры Печерской церкви измеряли по длине золотого пояса, что подарил Феодосию варяг Шимон. Мы же будем пользоваться здесь прямой и косой саженьями.

Затем наступил знаменательный час. Петр пошел на выровненную площадку и наметил восточную сторону здания. Он определил восток еще на заре, заметив, в каком месте поднимается солнце в тот день, когда решили заложить церковь.

— Теперь проведем осевую линию,— сказал он.

Примерно в середине площади, предназначенной для храма, строитель начертил четырехугольник, которому наверху должен был соответствовать купол и расстояние между столбами.

Петр говорил:

— Я как бы черчу на долине скинию завета. Ищу пуп ее и, водрузив там жезл, строю вокруг еще один прямоугольник. Здесь стоял ковчег завета, а тут — медная купель, наполненная водою.

Так новгородский строитель наметил на земле все части будущего здания, алтарь и корабль, ризницу и хоры, и Мономах морщил лоб, стремясь постигнуть смысл этих линий и пересечений, однако должен был признаться, что все остается для него полным тайны.

Петр пытался помочь ему:

— На начертанное надлежит смотреть не телесным оком, а умозрительным и умом постичь то, чего нельзя изобразить на песке выпуклым. Ведь все нарисованное на нем или на коже кажется как бы лежащим на земле. Начертанные мною стены не стоят отвесно, как они будут в здании, а будто бы простерты ниц...

Петр отсчитал в алтаре шесть мерных саженьей на восток и шесть косых на полночь и полдень.

— Какова же толщина стен? — спросил Мономах, знавший, что искусство строителя заключается в том, чтобы определить толщину стен без излишнего расходования кирпичей.

Опять Петр давал путанные объяснения.

— Но почему ты все меришь двумя разными саженьями? Ведь косая длиннее прямой? — спросила Гита и покраснела, что вмешивается в важное мужское дело.

Новгородец ответил ей ласково, любуясь чужеземной красотой княгини:

— Так учил меня великий человек, построивший Софийский собор в Новгороде. Когда я еще рос малым отроком, он объяснял мне, что всякое здание, измеренное двумя разными саженьями, лишается чрезмерной сухости линий. Его стены приобретают в таком случае нечто приятное для зрения...

Увы, все это почти ускользало от понимания, но Мономах и Гита постига-

ли науку Петра сердцем и радовались каждому кирпичу, положенному каменщиком. Церковь как бы росла из земли, задуманная высоким воображением строителя, и теперь люди могли не только предвидеть ее размеры, но и каменную красоту здания.

С тех пор прошло немало лет. Храм все так же нерушимо стоял посреди монастырской ограды, а Гиты уже не было на земле. Но Мономаху хотелось думать, что немного от ее жизни осталось в этой розовой церкви, что какая-то частица ее души продолжала существовать в безмолвном камне. Разве не выполнил строитель некоторые пожелания заказчицы, когда украшал вход в храм высеченными из мрамора украшениями ангелов? В их смутных улыбках что-то напоминало о молодой княгине.

Полюбовавшись церковью, старый князь обычно возвращался в свою избушку, чтобы полежать немного на деревянном монашеском ложе. Укрываясь овчиной, он вспомнил о другом строителе...

Епископ Ефрем первоначально жил в Мелитине и уже там отличался любовью к зодчеству. Но этот город захватили безбожные агаряне, и с тех пор Ефрем сделался бездомным скитальцем. Судьба забросила его в холодную Скифию, и некоторое время он состоял хранителем сокровищницы у князя Изяслава. Потом его посвятили в епископы. Он пришел в Переяславль и сделался советником Владимира Мономаха. Это он украсил город многочисленными церквями и каменными зданиями.

Как многие скопцы, этот молчаливый худощавый человек с лицом, лишенным всякой растительности, и глазами, глубоко затаившими большую печаль, отличался замечательным умом и пониманием красивых вещей.

Очевидно, старый князь задремал, потому что вдруг снова увидел себя на княжеском дворе в Переяславле. Вот собор Михаила, церковь Успения с сияющей красками иконой Алимпия, вот еще одна церковь, каменные палаты и построенное по замыслу Ефрема банное здание, каких никогда еще не видели на Руси. Весь город вставал в сонном видении! Церковь Андрея вздымалась на городских воротах, другие храмы выплывали среди деревянных строений. Печально улыбаясь, потому что много претерпел в своей жизни и был изувечен по козням врагов, навстречу князю шел епископ. На нем шумела синяя шелковая мантия, в руках он держал серебряный посох...

С прибытием в Переяславль этого деятельного иерарха город наполнился стуком секир и веселыми голосами каменщиков, запахами свежесрубленного дерева, стружек, извести. Тогда и возникла на черниговской дороге гончарная слобода, где делатели кирпичей сушили их на солнце и по ним бегали псы и козы, оставляя отпечатки своих лап и копытцев на мягкой еще глине. Гита покачала головой. Но епископ Ефрем улыбнулся:

— Это не вредит кирпичной прочности.

Мономах отлично помнил, как строили из этих кирпичей банное здание. Ефрем показывал рукой на него и говорил:

— Такие бани существуют в греческих городах. Люди совершают в них омовение ради телесного и душевного здоровья.

Гита стояла рядом и смотрела то на этого странного человека, то на новое здание. Из высокой трубы поднимался белый дымок.

Потом они вошли в строение. Еще слышался издали мягкий и тихий голос епископа:

— Здесь моющиеся снимают свои одежды...

Мономах увидел, что вдоль стен устроены широкие скамьи, чтобы люди могли раздеваться.

— За этой дверью устроена мыльня и купели для омовения...

Это вызывало удивление! Велика человеческая хитрость!

— Там топка. Оттуда в мыльню доставляется по глиняным трубам горячая вода и теплый воздух для обогрева...

Трубы проходили под полом, а дым выходил в каменную дымницу.

Епископ Ефрем построил также много других зданий. Это он устроил в Переяславле больницу и дом для врачевания, куда каждый мог приходиться безвозмездно лечиться и получать лекарства...

## XLV

Жизнь приближалась к концу. Старый князь лежал на неудобном деревянном одре и предавался горестным размышлениям. Он представлял себе, как люди будут говорить с печалью, когда волы повезут его прах на саних в святую Софию:

«Вот последний путь Владимира Мономаха!»

В такие минуты князь находил утешение в книжном чтении. Он раскрыл лежавшую на столе книгу и прочел в ней наугад:

«Кратковременность жизни, малая продолжительность земных радостей и благоденствия нашли у пророка удачные уподобления. Ныне человек цветет телесно, утучненный от удовольствий, и сообразно со своим юным возрастом имеет на щеках свежий румянец; он бодр, ловок в движениях и неутомим в достижении богатства, а наутро вдруг становится жалким и увядает от какой-нибудь болезни или беспощадного времени. Иной обращает на себя внимание изобилием своих сокровищ, и вокруг него теснятся льстецы; если прибавить к этому еще гражданскую власть, или почести от царя, или участие в управлении, или начальствование над войсками, что дает человеку право иметь вестника, громогласно взывающего перед своим господином, чтобы люди уступали ему дорогу, или жезлоносцев, вселяющих во встречных трепет и напоминающих о том, что у этого вельможи власть схватить любого жителя, взять его под стражу или заточить в темницу, то одна мысль о подобном могуществе вызывает у нас ужас. Но разве не может приключиться с таким человеком что-нибудь неожиданное? Одна ночь в горячке, или боль в боку, или воспаление легких могут в один час похитить его из среды живущих, низвести с высокого позорища, и тогда место действия этого правителя становится опустевшим, а слава — не чем иным, как кратким сновидением...»

Сегодня Мономаху захотелось — точно он предчувствовал приближение смерти — еще раз окинуть умственным взором тот мир, который создали ему книги и беседы с мудрыми епископами.

Митрополит Никифор говорил ему неоднократно:

— Помни, что в этом мире ты только путник на временном и кратком ночлеге в далеком путешествии...

Неуверенной рукой он снова раскрыл «Шестоднев», с таким изяществом написанный болгарским экзархом Иоанном. На глаза попались случайно те строки, которые всегда с особенной силой волновали его. Здесь говорилось о тщетности геометрии и всей легкомысленной суете человеческого ума... Но в голову приходили соблазнительные мысли. Разве ум этот не постигает великие тайны и не поднимает тяжкие камни на необыкновенную высоту, когда строят городскую башню или храм? Если бы не было книг, написанных мудрецами, он много бы не знал и бродил бы во мраке, как жалкий слепец. Теперь же ему стало известно, что в мире существует птица Феникс. Когда ей исполняется пятьсот лет, она летит в кедры ливанские и извещает о своем появлении священнослужителей города Гелиополя, затем опускается на жертвенник, украшенный плющом, и тогда огонь пожирает ее. Однако уже

наутро в жертвенном пепле появляется червь, превращающийся спустя некоторое время в птенца, а из него вырастает впоследствии ширококрылая птица...

Мономах любил раскрыть так какую-нибудь книгу на том месте, где пришлось, и, прочитав несколько строк, размышлять над ними. За книжным чтением, хотя бы на короткое время отрываясь от государственных забот и хозяйственных дел, он взирал на раскрывавшееся перед его глазами мироздание, прекрасное, как некое огромное сновидение. Только книги могли дать ответ на волновавшие его вопросы.

В маленькое оконце келии вливался утренний свет, приятнее которого трудно представить себе что-либо. Мономах, лежавший поблизости от окошка, видел кусочек голубого неба и несколько цветущих яблонь. Но он знал, что за бревенчатой стенкой лежит не только монастырский огород, но и вся огромная земля, омываемая с четырех сторон океаном, в котором плавают необыкновенные рыбы и морские чудовища, как, например, киты. Рассказ о них, прочитанный в книге, поражал Мономаха своим содержанием. Исходящее из кита благоволие привлекает к нему множество мелких рыбешек, которых он и поглощает. Мореплаватели часто принимают огромное тело этого чудовища за остров и погибают, расположившись на нем беззаботно, как на суше. Благоухание же кита напоминает блудницу. Из ее уст сочится мед, становящийся позднее горше желчи и страшнее обоюдоострого меча.

Много другого удивительного он узнал из книг. Существует еще одна птица, называемая селевкид, или розовый скворец, созданная для того, чтобы пожирать саранчу, потому что наделена необычайной прожорливостью. В другой раз он прочел о слонах. Эти животные спят, прислонившись к дереву, так как ноги у них не сгибаются и они не могут с удобством прилечь на траву, и когда являются охотники, то срубают дерево, слон падает и делается их легкой добычей, если на помощь к нему не приходят другие слоны.

Но не только в книгах может человек черпать познание о мире. Он сам удивлялся, видя неоднократно, как благодаря своей чрезмерно длинной шее лебедь отлично достает пищу со дна болота или как рыба, избегая бушевания северных ветров, укрывается в тихих заводях. Однако если неразумная тварь поступает так в попечении о своем благе, то что же можно сказать о человеке, наделенном разумом? И тем не менее люди часто поступают неразумно, побуждаемые гневом и жадностью. Как большая рыба пожирает малых, так и они губят своих ближних. Но бойся, безумец, возмездия. Смотри, чтобы и тебя не постиг один конец с уловленной рыбой: уда, верша или сеть!

Иногда эту ясную и стройную картину божественного плана нарушали человеческие сомнения. Так, в книге, написанной Плавателем в Индию, он прочел об эллинах, которые, не считаясь с пророками, утверждали, что земля имеет вид шара и находится в состоянии вечного вращения и как бы подвешена в воздухе. Но в таком случае это означало бы, что ноги находящихся под нами вроде как упираются в потолок и люди эти стоят вниз головой. Поистине такое представление о земле достойно смеха.

Почувствовав необоримую усталость, старый князь бережно отложил книгу и прилег на деревянной скамье, с кряхтеньем устраивая старое тело на неудобном и жестком ложе. Его незаметно охватывала дремота. Сквозь сонные туманы, наплывавшие теплой волной, мелькали знакомые лики. Печально улыбалась Гита, как будто бы звала к себе... Фома Ратиборович горделиво выставил ногу в зеленом сапоге и разглаживал пушистые усы... Хан Бельдюз молил о пощаде... Когда Мономах видел эти образы прошлого, у него рождалось желание рассказать обо всем, с чем встретился на своем жизненном пути, и у него рождалось чувство, напоминавшее зависть к тем,

кто с таким искусством пишет книги. Он написал бы о Гите и даже о дочери кузнеца, потому что и черная кузница у Епископских ворот и все живущие в ней тоже входили в жизнь Русской страны. У навеса стояла девица в красном платке.

К вечеру Мономах позвал к себе боярина Фому Ратиборовича, ужинавшего с игуменом наваристой ухой из жирных ершей, и просил его послать за сыновьями. Бросив ложку на стол, воевода кликнул отроков. В одно мгновение монастырь наполнился тревожным шепотом:

— Великому князю стало плохо...

Дрожащими руками игумен облачился в пресвитерские ризы и взял на престоле золотую чашу. На ней, среди сияющих красных и зеленых самоцветов, были изображены четыре евангелиста и их знаменья: вол, овен, лев и орел. Илья Дубец и Злат, стоявшие у келии и видевшие, как пронесли священный сосуд, вспомнили, как они добывали его в Каффе. Опять на кривых улочках запахло кожей и вонючими мехами, рыбным чадом харчевен... Блеснуло зеленоватое море...

Продавец, поворачивая потир, говорил:

— Эта золотая чаша стояла на престоле знаменитого константинопольского храма...

Какой путь проделала она, прежде чем попасть в этот тихий монастырь! Константинополь, Амастрида, Армения, Каффа. Может быть, еще другие города и страны... Названия их казались странными для слуха, но в памяти остался рассказ о том, как эту чашу похищали тати, утаил несправедливый судья, отнимали разбойники и зарывал в землю неверный раб.

Игумен вошел в избушку, и Кунгуй затворил за ним дверь. Великий князь исповедовался, каляся в своих грехах...

Вышедший из трапезной Фома Ратиборович, очень озабоченный и мрачный, сказал Злату:

— А тебе скакать в Переяславль. Скажешь князю и княгине, что страшимся худшего...

Старый князь умирал. Но пока Злат еще не доскакал до городских ворот, в Переяславле ничего не знали об этом. С утра кузнец Коста хлопотал над своим сокровищем. Звенели в его руках серебряные сосуды. Он лишился сна, ходил теперь черным не от кузнечной копоти, а от бессонницы и душевного волнения, размышляя днем и ночью, какой образ придать своему светильнику. Хотелось сделать эту вещь огромных и прекрасных размеров, но металла не хватало на его великолепные замыслы. Требовалось устроить так, чтобы ответвления или рога с чашечками были полыми. Однако это вызывало большие затруднения с литьем серебра...

Были и другие заботы. Орина ворчала:

— К чему столько бесполезного беспокойства? Вот послала тебе в руки судьба богатство — и пользуйся им в свое удовольствие. Продай сосуды боярам — и приобретешь себе дом с дымницей и все, что нужно нам, и новую кузницу построишь. Обеспечишь род наш до скончания жизни...

Чтобы не слышать упреков жены, Коста взял в руки топор и отправился в дубраву. Он решил, что надо поправить хижину ворожей в благодарность за ее доброту и покровительство. Глядишь, и зима приблизится. Как будет тогда жить там старуха в морозные дни?

Проходя мимо огорода, он увидел Любаву. Девушка беззаботно пела свадебную песенку, помышляя о своем близком счастье:

Перун и Лада  
на горе купались.  
Где Перун купался,

там берег сотрясался,  
где Лада купалась,  
там цветы расцветали...

Коста покрутил головой, но ничего не сказал и вышел на пыльную дорогу. Сахир стоял на пороге корчмы и спросил:

— В рошу идешь?

Он подозревал — что-то произошло в кузнечной слободке, и об этом многие в корчме говорили, но толком не знал, в чем дело, а знать хотелось смертельно.

Кузнец весело ответил:

— Хочу дуб срубить.

Корчмарь не поверил и еще с большей подозрительностью смотрел ему вслед. Вчера гончар Олеша рассказывал:

— Чудные дела творятся у нас в Переяславле. Кузнец Коста не хочет коней подковывать, а богат серебром. Все-таки нашел он клад или с нечистой силой ведет знакомство. Вчера шел ночью мимо кузницы. Слышу, как будто чаши звенят. В окошечке свет. Заглянул туда, а светильник погас, и вдруг козел заблеял в хлеву. Страшно мне стало, как в черном овине. Прибежал домой...

Когда Коста пришел на знакомую поляну, он остановился как вкопанный. По-прежнему две лошадиных головы белели на шестах, но избушки не было. Вместо нее виднелась куча углей и пепла. Пожар пожрал все. Кузнец бросился вперед, чтобы посмотреть, что тут произошло. Ничего не осталось на пепелище, кроме золы и головешек. Прах был еще теплым. Значит, пожар случился в прошлую ночь. Когда сегодня пропели петухи, он выходил на двор, и ему показалось, что над рощей стоит зарево, но подумал, что мерещится ему. Куда же девалась ворожея? Коста порылся в углях секирой, но никаких человеческих костей не обнаружил. Сгорела горбунья, как сухая трава? Вовремя ушла и бродит теперь где-нибудь под дубами, лишенная крова? Или улетела вместе с дымом в свое страшное колдовское царство?

Постояв немного, кузнец срубил шесты, на которых торчали лошадиные головы, и черепа со стуком обрушились на землю. Он тогда пошел прочь с большой печалью в сердце. Дома сказал Любава:

— Избушка в дубраве сгорела, и остался от ворожеи только прах!

Любава, услышав это, закрыла лицо руками и расплакалась. Недаром она видела сегодня во сне черную кошку. Орина же, стоявшая возле кузницы, заворчала:

— Это архангел покарал горбунью за ее шептания.

День прошел как в тумане. Под вечер Любава увидела, что по дороге, поднимая пыль, скачет Злат. Остановившись около кузницы и сдерживая взмыленного коня, он крикнул:

— Великий князь умирает...

На одно лишь мгновение улыбнувшись невесте, стоявшей у плетня, помчался в город с печальным известием.

Другие вестники мчались в Вышгород, Киев, Смоленск... Услышав о том, что отец с часу на час ожидает кончины, сыновья Мономаха поспешили к одру больного. Раньше всех явился в монастырь из расположенного поблизости Переяслава князь Ярополк и с ним молодая супруга. Из Вышгорода прискакал заплаканный Мстислав. Старый князь перевел его недавно из Новгорода в этот город, поближе к себе, чтобы иметь всегда в нем поддержку и утешение. Своей красотой старший сын напоминал мать, у него были такие же зеленые глаза, за что его любили боярыни больше, чем своих законных мужей. С Ярополком вернулся Злат и приехали многие другие отроки.



На третий день из Турова прибыл князь Вячеслав, видевший Дунай и греческие города, а из лесного Суздаля разумянившийся от конского бега Юрий, самый молодой из сыновей. Позднее всех явились Роман из Смоленска и Андрей из Владимира, что на Воыни. У владимирского посадника женою тоже была половецкая красавица, внучка прославленного хана Тугоркана. Но она осталась во Владимире, потому что носила тогда в чреве младенца. Князь поскакал один с отроками, оглядываясь беспрестанно на высокое оконце, где женская рука махала ему голубым платком. Андрей торопился всячески, страшась, что не застанет отца в живых, потому что путь был долог. Еще длиннее дорога была для Юрия.

Но Мономах точно собрал воедино все свои силы, чтобы дождаться сыновей и благословить их. Когда Юрий, последний из приехавших, вбежал, не снимая корзны, в трапезную, куда перенесли больного, чтобы оказалось достаточно места для всех желающих проститься с великим князем, все уже были в сборе. Молодой князь увидел, что отец лежит на полу, на перине, видимо доставленной из Переяславля. У стола стоял знакомый белобородый и большеглазый врач по имени Петр, родом сириец. Он мешал деревянной ложкой какое-то снадобье в глиняном сосуде, приготовляемое для болящего. Утреннее солнце наполняло горницу через скудные оконца розоватым светом. На лавке у стены сидели в один ряд Ярополк, Мстислав, Андрей, Роман и Вячеслав.

Как только Юрий показался на пороге трапезной, Мстислав поднялся и сказал:

— Вот и ты приехал, милый брат. Теперь все мы собрались. Нет только Изяслава с нами...

Юрий улыбнулся старшему брату, но глаза его уже встретились с потухающим взором отца. Старый князь тяжело дышал, но в его мутнеющих глазах мелькнула радость, когда Юрий подошел и опустился перед ним на колени.

— Отец и господин...

Мономах немного повернул голову в его сторону.

— Я сын твой Юрий. Видишь ли ты меня?

Старик чуть слышно проговорил:

— Вижу тебя, сын... И как бы свет над твоей головой... Великая тебе судьба предстоит...

— И я здесь, отец, — произнес Андрей, приехавший в монастырь, когда старый Мономах находился в забытии, и поэтому еще не приветствовавший отца, и тоже опустился на колени у ложа.

Тогда к умирающему приблизились прочие сыновья. Отец имел достаточно сил, чтобы оглядеть их всех, и, сберегая трудное дыхание, шептал:

— Как теперь будете жить без меня?.. Страшно, что Ольговичи Владимир захватят... Тмутаракань...

Мстислав за всех ответил:

— Не страшись, отец, не распадется хранина нашего государства.

Другие сыновья утешали старца:

— Русская земля едина...

Слушая эти мужественные голоса, Мономах вздохнул с облегчением. Но потом еще хотел что-то сказать:

— Бояре...

Однако у него не хватило дыхания, и он умолк. Потом прибавил, обращаясь к Юрию:

— Ты в лесах живешь... Они тебя от врагов охраняют...

В глубине души старый князь знал, что хотя сыны говорят ему успокои-

тельные слова, но не всегда относятся друг к другу с любовью, завидуя лучшим и богатым городам. Всегда могли найтись у них советники, которые из корыстолюбивых и ничтожных побуждений стремятся к власти в одном каком-нибудь захолустном городке, для того, чтобы удовлетворить свое жалкое честолюбие. Немудрено, что книжники и певцы, черпающие поучительные примеры в прошлом, призывают к единству...

В дверь заглядывали встревоженные монахи. Один из них, молодой, с любопытствующими глазами, исполнявший в монастыре обязанности звонаря, дернул Злата за рукав и показал перстом на лари, стоявшие в трапезной у противоположной стены:

— Что в них? Серебро князя?

Отрок посмотрел на него свысока.

— Ты глупец... В одном ларе князь возит с собою повсюду книги для чтения, в другом — оружие, в третьем хранятся дары, что прислал ему греческий царь.

— Дары?

— Золотой венец, хламида, драгоценный пояс, именуемый лор...

Звонарь смотрел теперь на лари с почтением. Они заключали в себе удивительные сокровища. Злат тоже связывал с ними в своем представлении величие Царьграда, пышность царских дворцов и шумные ристания.

Старый монах, с пальцами в чернилах, потому что едва оставил свое летописание, стал шепотом объяснять звонарю:

— Царь воевал тогда с латынянами и персами и решил отправить посольство в Киев. Из Азии явились митрополит Эфесский Неофит и два епископа, стратиг Антиохийский, игумен Евстафий, а также многие благородные патрикии. Царь снял со своей выи крест, сделанный из того древа, на котором был распят Христос, с главы — венец и велел принести сердоликовую чашу, из которой пил, веселясь на пирах, кесарь Август. Царь снял также ожерелье, кованное из аравийского золота, и велел митрополиту наречь нашего князя Мономахом и царем всея Руси...

Монашек слушал с открытым ртом.

Стоя у двери, Злат с волнением смотрел на умирающего. Но его заслонили многочисленные князья и бояре. В этой скромной горнице с бревенчатыми стенами великая слава превращалась в прах. Ровно в полночь, окруженный сыновьями и вельможами, побеседовав с ними перед смертью, Владимир Мономах, сын Всеволода, внук великого Ярослава, испустил дух. Зажегши свечи, монахи запели положенный псалом, и тогда трапезная наполнилась рыданием. На монастырской колокольнице звонарь ударил в медный колокол, и его певучий звук возвестил окрестным полям и дубравам о смерти великого князя. Весть об этом быстро распространилась по Руси, а затем достигла Константинополя. В Священном дворце состоялось совещание синклита. Император, красивый человек в диадеме, с выразительными глазами, был встревожен. В константинопольских залах, где встречались люди, имевшие отношение к управлению государством, происходили одни и те же разговоры.

— Как здоровье супруги? — спрашивал один.

— Благодарю, она в добром здравии, — кланялся другой.

— Ты слышал?

— О чем ты изволишь говорить?

— Умер русский архонт.

— Конечно, я слышал об этом. Но кто наследует ему?

Подобные же беседы происходили на Ипподроме, в церквях и просто на улицах. Недалеко от церкви св. Фомы стояли два влиятельных человека.

Один из них был Стефан Скилица, некогда высокий сановник церкви, а ныне находившийся в забвении, другой — известный врач и стихотворец Николай Калликл, оба уже в годах. Скилица убеждал лекаря:

— Бог, или, если говорить философским языком, единое, не самобытно, ибо мы не говорим, что оно довлеет только для собственного бытия. Ведь это означало бы, что божество — самодовлеющее начало, а таково недостаточно для передачи своей силы другим. Следовательно, бог не самодовлеющее и не избыточествующее, но преизбыточествующее. Поэтому из него, как из переполненной до краев чаши, истекают потоки добра...

В это время в конце улицы показался поэт Феодор Продром. Уже прошло немало лет с тех пор, как он, достигший высших ступеней славы, осыпанный милостями царей, а потом снова впавший в ничтожество и лишившийся всех своих шести слуг, женился на Евдокии, вздорной и невежественной женщине, которая прельстила стихотворца своей соблазнительной походкой. Теперь это была мать четырех детей, с большим животом, с испорченными зубами. Да и сам он... Когда-то он подсмеивался в своих стихах над лысыми старичками. А теперь? Заболев оспой, он сам потерял волосы, и лицо его сделалось щербатым, как поле, изрытое конскими копытами. Злой завистник обвинил его в том, что поэт неправильно выражается о святой троице, и чуть ли не в неверии в бога. Потом этот доносчик смеялся и говорил, что поступил так под влиянием хиосского вина, выпитого в излишнем количестве. Но тем не менее преподавательского-то места в школе св. Павла Феодор лишился! Меньше учеников стало и на дому. Сейчас жена послала его на базар и к булочнику, и таким образом он нос к носу встретился со своими друзьями.

— Смотрите, идет знаменитый стихотворец! — воскликнул Калликл, позабыв о богословских тонкостях Скилицы. — Как ты живешь, приятель?

Феодор Продром грустно вздохнул. Заикаясь почти на каждом слове, он стал жаловаться на свои житейские невзгоды:

— Когда я еще был ребенком, дорогой мой отец пригласил меня однажды в свой покой и сказал мне со слезами на глазах: «Сын мой! Ты еще дитя и не в состоянии отличить добро от зла, а у меня обширный жизненный опыт, я много путешествовал и немало пережил на суше и на море. Еще больше я прочел в книгах. Поэтому обрати внимание на то, что я тебе сейчас скажу. Различны пути, по которым ходит человек. Имеют и сражения свою прелесть, так как они прославляют доблестного мужа и дают повод пользоваться щедротами василевса. Однако твои плечи слишком слабы, чтобы носить тяжелое вооружение, а ноги не в состоянии выдержать длительные и утомительные переходы. Тем не менее ты не должен выбирать и какое-нибудь спокойное, но малопочтенное и недостойное тебя ремесло, вроде башмачника или торговца. Это было бы позором для моего звания. Поэтому не лучше ли тебе, сын мой, обратиться к наукам и предаться, например, изучению риторики? Подобное занятие сделает тебя счастливым и полезным для общества». Что же? С того дня я посвятил себя книгам, стал писать стихи, можно сказать, прославился до Антиохии. Но что это дало мне, кроме неприятностей?

Калликл, вполне обеспеченный человек, пытался утешить стихотворца:

— Ты не должен жаловаться. Было и у тебя приятное в жизни.

— Что же, например?

— Ты воспевал победы ромеев, ты водил дружбу с такими людьми, как Михаил Пселл или Иоанн Итал. Не отличала ли тебя и твои стихи царица Ирина?

— Итал? — с возмущением подхватил Продром. — А вы знаете, что он ответил, когда я просил его о помощи?

Приятели сказали, что не знают.

— Он мне ответил: «Зачем я буду посылать тебе посылки? Ведь мы с тобою составляем одно целое, и это означало бы посылать себе самому. Когда я ем жирного зайца или тучного фазана, то я, так сказать, жую, а ты глотаешь. Зачем тебе теплые покрывала из македонской шерсти? Если одеяла есть у меня, то, значит, они греют и тебя...»

В глазах у приятелей поэт, если бы не был так раздражен и обижен, прочел бы искорки смеха.

— Кстати,— сказал Скилица,— известно ли вам, до чего довел Итал своей эллинской проповедью Сервилия?

Собеседники вопросительно посмотрели на него.

— Представьте себе, этот чудак взобрался на высокую скалу и со словами: «Прими меня, Посейдон!» — низвергнулся в пучину!

— Какой ужас! — воскликнул Калликл.

— Что вы хотите! — продолжал возмущаться Скилица.— Этот человек уже не одного отравил своим ядом. Признает платоновские идеи. Куда же идти дальше?

Так поэт Феодор Продром приятно проводил время с приятелями, позабыв о поручении сварливой жены. Он еще о многом хотел бы рассказать, но вдруг наверху, в окне одного из ближайших домов, показалась женщина, которую всякий хоть немного знакомый с классической поэзией принял бы за мегеру, услышав ее пронзительный голос и увидев растрепанные волосы. Она кричала, потрясая поварешкой и явно обращаясь к стихотворцу:

— Посмотрите на этого безумца! Отправился, чтобы попросить в долг у лавочника соленой рыбы, и вот уже целый час болтает на улице о всяких пустяках, вместо того чтобы заниматься делом и зарабатывать деньги честным трудом...

— Ну, будьте здоровы,— поспешил расстаться с друзьями Феодор Продром и, ускорив шаги, пошел по своему делу, а приятели смотрели ему вслед, улыбаясь. Какое им дело до несчастий и неприятностей другого человека...

Бедняга спешил к рыбному торговцу, и над его главой витало прелестное видение Феофании, которую поэт не мог никогда забыть. Порой Продром сидел за столом, уронив голову на руки и вспоминая свою жизнь, и ему казалось, что единственным светлым лучом в ней были те дни, когда он находился поблизости от этого ангельского существа. Но позади подгонял мерзкий голос Евдокии:

— Тебе следовало бы жениться не на дочери почтенного спафария, если ты не в состоянии прокормить семью, а на какой-нибудь толстухе самого низкого происхождения. У него в нетопленной конуре ждут обеда четверо детей, а он вечно разглагольствует об Аристотеле или пишет никому не нужные стихи. Посмей только вернуться домой без рыбы и ячменных лепешек, и я покажу тебе, что такое риторика!

Что означает пустой гнев неумной женщины? Только то, что человеку не повезло в жизни. Но ведь так случилось и с самим великим Сократом, и если стоило привести в главе, в которой описывается смерть Мономаха, эту смешную и в то же время грустную уличную сценку, то лишь для того, чтобы показать, как трагические события перемешиваются с житейскими пустяками. Продром размышлял, что не будь на земле Мономаха, может быть, архонт Олег не появился бы в Константинополе, не победил бы нежное сердце Феофании, и поэт сделался бы счастливейшим человеком из смертных, а дочь магистра не лежала бы на острове Родосе, на щебнистом кладбище за виноградником. Феодор Продром считался замечательным поэтом, на его долю выпала высокая честь преподавать риторику самой Анне, багряно-

родной писательнице, а дома он находился под башмаком злой жены, и только воспоминание о красоте Феофании несколько освещало его невеселую жизнь...

Каждое событие мирового значения — как круги на воде. Весть о нем постепенно достигает отдаленных пределов земли. Вскоре о смерти Мономаха стало известно и в половецких полях, на берегах Дона.

Наступал тихий и пахучий вечер. От реки доносился запах сырости. Хан Сырчан лежал у своего шатра на ветхой попоне, терпеливо ожидая, когда женщины сварят похлебку из рыб, пойманных в удачно закинутую сеть. От костров поднимались голубоватые дымки. Невдалеке пахлись кони. Хан подпирал рукою голову и думал о самых обыденных вещах, уже позабыв о том, что такое радость победы и жгучее удовольствие при виде лежащих во прахе врагов и богатой добычи. Около хана сидел певец Орев, деливший его мирные рыболовные занятия и улаждавший половцев песнями о прежних походах на Русь...

Вдруг из степи примчался всадник:

— Хан, умер Мономах!

Умер Мономах! Сырчан воспрянул духом. Он знал, что теперь всюду на берегах Сулы, Ворсклы и Псела стоят русские крепости и преграждают путь коннице. Но страшного князя больше не было в живых. Может быть, его преемники не будут такими бдительными?

Хан сказал певцу Ореву:

— Лишь только займется завтра заря на востоке, ты оседлаешь коня и отправишься в страну иверов, где в роскоши и неге живет хан Атрок, мой брат и господин. Ты скажешь ему, что Владимир Мономах умер и что теперь беглецы могут вернуться в родные степи. Пой ему половецкие песни, и он послушается твоего призыва. А если не захочет возвратиться, то дай ему понюхать пучок степной полыни.

На заре Орев оседлал самого быстрого коня и поскакал на полдень. Прошло очень много дней, и певцу приходилось взбираться на кручи и переходить горные потоки, прежде чем он нашел старого хана в богатом дворце, среди ковров и подушек, и сообщил ему о том, что произошло на Руси. Но Атрок, окруженный молоденькими наложницами, располневший от сидячего образа жизни и обленившийся в шелковых одеждах, с равнодушием отнесся к известию и отрицательно покачал головой в ответ на приглашение брата. Орев стал петь ему половецкие песни. Однако рабыни смеялись над этими странными на их вкус напевами. Тогда певец вынул из чистой тряпицы пучок полыни и протянул хану.

Атрок понюхал степную траву, заплакал и сказал:

— Лучше лечь костями в своей земле, чем прославленному жить на чужбине.

Москва, 20 декабря 1960 г.



**А. П. ЛАДИНСКИЙ**  
(1896—1961)

Говорят, что книги имеют свою судьбу. Судьба книг Антонина Петровича Ладинского тесно связана с его жизнью, неожиданно и в то же время закономерно переплетается с его сложной биографией, полной драматических событий и перемен. Долгие годы находясь вдали от родины, тоскуя и постоянно стремясь в Россию, писатель обращается к ее истории периода становления и расцвета древнерусского государства, которая становится главной темой его творчества.

Вернувшись на родину почти в конце жизни, А. П. Ладинский как бы подводит своеобразный итог своим многолетним научным и литературным поискам, облачая их в художественную форму панорамных исторических полотен. Одна за другой появляются в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов его книги: «Когда пал Херсонес...», «Анна Ярославна — королева Франции», «В дни Каракаллы», «Последний путь Владимира Мономаха», — которые сразу же привлекли внимание литературной общественности к творчеству писателя, принесли ему признание, а советской литературе дали глубокообразованного исторического романиста, прекрасного стилиста.

К сожалению, жизненный путь Ант. Ладинского рано оборвался, остались незавершенными многие его работы и планы, но все же и то, что он успел сделать, прочно вошло в читательскую память, заняло достойное место в советской исторической прозе.

\* \* \*

Родился Антонин Петрович Ладинский 19 января (с. ст.) 1896 года в селе Общее Поле на Псковщине, в семье служащего. Вскоре его родители переезжают в Псков, где проходят первые годы писателя, где он учится сначала в обыкновенной народной школе, затем в Псковской гимназии. Всю жизнь он сохранял самые теплые воспоминания об этом древнем русском городе. В 1947 году, будучи во Франции, он пишет стихотворение «Памятник», проникнутое грустью и мягкой иронией, в котором мысленно связывает свою жизнь — ее начало и итог — именно с Псковом, городом своего детства.

Все может быть! На заседание чинном  
Мне памятник потомки вознесут  
И переулочек в городке старинном  
В честь бедного поэта назовут.

Так — скромный бюст, подобье человека,  
В наминанье стихотворных дел, —  
В том скверике, где на углу аптека,  
Где некогда я с книжкою сидел.

.....

Прочтет прохожий. «Антонин Ладинский»...  
И пустит мне в лицо табачный дым,  
И буду я с улыбкою латинской  
Смотреть на мир, завидуя живым.

В 1915 году А. П. Ладинский поступает на юридический факультет Петербургского университета, но уже через год его мобилизуют в армию и направляют в Петергофскую школу прапорщиков. Февральская революция застала его в 97-м западном полку в Симбирске, где он был избран в Совет солдатских и офицерских депутатов. К сожалению, прапорщик Ладинский не смог разобраться в происходящих событиях, найти свое место в круто меняющемся мире. Он пытается переждать, отстраниться, но «круговерть мятежных дней» захватывает, и начинаются метания, приведшие его в конце концов в армию Деникина. Однако в белом движении Ладинский участвует недолго, ибо уже в августе 1919-го получает тяжелое ранение, напоминавшее о себе всю жизнь. В начале 1920 года на госпитальном судне его эвакуируют из Новороссийска в Салонки, а затем в Александрию.

Так резко меняется судьба Ант. Ладинского и начинается нелегкая жизнь человека, лишившегося родины. Оправившись, Ладинский поступает писцом в Международный суд в Александрии, где делопроизводство велось на французском языке. Собрав немного денег, он решает продолжить образование и перебирается в Париж, намереваясь учиться в Сорбонне.

В Париже Ладинский ведет аскетический образ жизни; чтобы иметь средства к существованию, работает оклейщиком обоев и только иногда позволяет себе посещать поэтические собрания в кафе «Ла Болле» в Латинском квартале, у площади Св. Михаила. Когда-то в этом кафе бывали Поль Верлен, Оскар Уайльд, теперь здесь собирается французская богема, русские литераторы-эмигранты. Ант. Ладинский тоже пробует свои силы на литературном поприще и в 1925 году публикует в газете свое первое стихотворение, оно было замечено, затем последовали другие, и вскоре о своеобразном таланте нового русского поэта заговорили, его отметил такие мастера, как Марина Цветаева.

Тематика поэтического творчества А. П. Ладинского многообразна, но уже с первых стихотворений стало очевидным пристрастие его к историческим сюжетам, интерес к вечным ценностям культуры, к проблемам преемственности и связи времен, к знакомому не по книгам экзотическому миру Кавказа, Греции, Египта.

Поэтическая родословная Ант. Ладинского достаточно сложна. В ней угадывается влияние монументальных просветительских идей борьбы за самобытность русской культуры Ломоносова и Державина, драматически обостренное, контрастное видение мира, свойственное романтической поэзии Лермонтова, пристальное внимание к истории мировой культуры, присущее гоэтическому наследию Тютчева и Мандельштама, эстетические принципы «мирискусников».

Особым было отношение к Пушкину, к его творческому наследию. Для Ладинского пушкинская поэзия была не просто совершенным созданием русского гения, а прежде всего глубоко-патриотическим воплощением народного духа, выражением неразрывных связей русского человека, где бы он ни находился, со своей родиной (в этом конечно же сказались особенности мировоззрения поэта-эмигранта). В 1947 году в стихотворении «Пушкину» Ант. Ладинский писал:

Он сделал гордым наш язык, а нас  
Он научил быть верными в разлуке.

В 1931 году во Франции Ант. Ладинский выпустил свой первый сборник стихов «Черное и голубое», за которым последовали «Северное сердце» (1931), «Стихи о Европе» (1937), «Пять чувств» (1938), «Роза и чума». Последний, правда, появился в 1950 году, когда поэт уже покинул Францию.

Примечательно, что в сборнике «Стихи о Европе», написанном в тридцатые годы, когда над миром уже нависла зловещая тень фашизма, трагически мощно прозвучала тема гибели Европы, ее многовековой культуры. Поэтически трансформируя свои размышления о наиболее важных, переломных моментах истории, поэт в давню ушедшем ищет отражения настоящего времени. Обращение к сюжетам далекого прошлого свидетельствовало не об уходе от современных проблем, но означало для Ладинского стремление как можно более объективно разобраться в настоящем, оценив его с точки зрения многовекового опыта человечества, с позиций самой истории. В этом сказался историзм его поэтического мышления.

Не случайно именно в тридцатые годы он работает над романом «XV легион» — об одном из самых свирепых римских императоров Марке-Аврелии Антонине, который вошел в историю под именем Каракаллы. Впоследствии «XV легион» и неопубликованное произведение «Парфянская война» стали основой романа «В дни Каракаллы», увидевшего свет в Москве в 1961 году.

Совмещая работу в газете «Последние новости» с литературной деятельностью, А. П. Ладинский занялся и темой нового христианского мира, пришедшего на смену Риму времен упадка. Византия и Древняя Русь X—XI веков — вот круг его писательских интересов тридцатых годов, определивший проблематику творчества на долгое время.

В 1938 году вышел новый роман Ант. Ладинского «Голубь над Понтом», который позднее писатель переработал и выпустил под названием «Когда пал Херсонес...». Это произведение стало первой частью трилогии, посвященной Киевской Руси. Поскольку расцвет древнерусского государства совпал с началом упадка Византии, писатель склонен был рассматривать историю Византии как предысторию Руси. Название романа «Голубь над Понтом» представляло собой поэтическую метафору, символизирующую перемещение центра культуры из Византии на север, где поднималась «одетая в овчину» Русь и где разгоралась заря нового могущественного государства. Такова, видимо, была особенность и глубина национального чувства художника, который не мог представить своего творчества без благодатной, питавшей его русской почвы — ее языка, истории, культуры.

В романах Ант. Ладинского тридцатых годов «XV легион» и «Голубь над Понтом» просматриваются художественно-исторические поиски писателя, стремившегося через аналогии с прошлым найти в современности высокогуманистический идеал, противостоящий звериной сущности фашизма. Помыслы и надежды его обращены на восток. Как бы протнвопоставляя молодую, полную бурлящей жизни Русь упадническому Риму, писатель видит в образе Русской земли силу, способную остановить завоевателей, вызвать к себе уважение государств и народов.

В судьбе же страшного и неумного братоубийцы Каракаллы, пресмыкающегося перед германскими воинами, Ладинский символически показывает закономерный итог — крах исторически обреченных фашиствующих варваров двадцатого века.

Антонин Петрович Ладинский объездил много стран — европейских и ближневосточных: Польшу, Италию, Чехословакию, Бельгию, Турцию, Сирию, Палестину. Он шутил, что оказался вторым русским писателем в Палестине. Первым был в XII веке черниговский игумен Даниил, оставивший потомкам описание своего хождения в Святую землю, которое послужило образцом для всех последующих описаний хождений русских в чужие земли. Мир, который потом органически войдет в его творчество, Ладинский видел воочию, дышал его воздухом, впитывал ароматы, наслаждался красками.

Обладая большим чувством юмора, Ладинский во время своих путешествий составлял забавные дневники-альбомчики, в которые заносил самые разные сведения, полученные в том или ином городе, — от счета в ресторане до неоценимых для последующей работы деталей: мимолетных поэтических зарисовок, планов городских улиц и площадей, кратких описаний архитектурных ансамблей и исторических памятников, руин. Его собственные рисунки и фотографии запечатлевали мир, похожий на тот, в котором когда-то жили герои его будущих книг.

Необыкновенная эрудиция, не переставшая удивлять специалистов-историков, поэтическое восприятие мира, глубокая гуманистическая направленность его творчества в сочетании с богатством жизненных впечатлений и создавали «эффект присутствия», «дар достоверности», восхищавший его читателей. У вдовы писателя Тамары Артуровны Ладинской сохранилось письмо Веры Инбер. Прочитав роман «В дни Каракаллы», она писала Ладинскому в 1961 году: «Вам дан «дар достоверности». Безоговорочно верю всему, написанному Вами. Мне, напр [имер], даже кажется, что я жила в дни Каракаллы и была свидетельницей этих дней. [...] Хочу отблагодарить Вас за радость, доставленную мне Вашей книгой. Желаю ей большого успеха, в котором ни минуты не сомневаюсь». И подобных писем в архиве писателя немало.



Говоря об особенностях литературного пути Антонина Петровича Ладинского, нельзя не отметить тот факт, что эволюция его как художника, становление в тридцатые годы его творческих интересов были сходны с художественными поисками многих советских исторических писателей того времени. И это не случайно. Ладинский постоянно следил за происходящими в СССР событиями, особенный интерес проявлял к советской литературе.

Отвечая на вопросы анкеты французской «Новой газеты», он назвал лучшими произведениями литературного пятилетия 1926—1930 годов только произведения советских писателей: «Вор» Л. Леонова, «Петр I» А. Толстого. Читая стихи Ладинского той поры, нельзя не отметить, что его поэтические мотивы были близки тогдашней поэзии Н. Тихонова, Э. Багрянцова. А последующий интерес к жанру исторического романа совпал с бурным его развитием в то время в советской литературе — в творчестве А. Толстого, О. Форш, Ю. Тынянова, С. Сергеева-Ценского, С. Бородина, В. Яца и других.

В творческом багаже Ант. Ладинского в тридцатые годы было уже два исторических романа, публицистическая книга о Палестине, печатались в периодике его рассказы. Один из них, опубликованный в «Современных записках», читал М. Горькому в Сорренто И. С. Ремезов, редактор-издатель журнала «La Patrie» («Родина»). Однако для окружающих его людей он оставался прежде всего поэтом. Что тут сказалося — очарование ли его стихов или неуверенность самого писателя в своих прозаических работах? Он давал им поначалу самые разные жанровые определения. «Взирая на лилии» — исторический этюд, «Владимир Мономах» — биография. «Анна Ярославна и ее мир» — опыт литературно-исторической биографии. А может быть, тут сказывался самый стиль его работы, совмещающей кропотливый исследовательский труд ученого с образным мышлением художника. И вновь хочется подчеркнуть, что такая манера была свойственна многим советским писателям, например, Василию Григорьевичу Яну (Янчевецкому), который был не только писателем, но и высокообразованным историком-ориенталистом, знал несколько европейских и восточных языков.

Кстати говоря, этих двух художников сближает и избранный ими характер исторического повествования: не образы героев прошлых эпох, не движение народных масс (как у А. Чапыгина и А. Толстого) прежде всего интересуют их, но судьбы целых государств и культур в их историческом развитии.

Крупным историком-исследователем мог бы стать и Ант. Ладинский, пойдя он другим путем. Когда листаешь страницы авторизованной машинописи «Анна Ярославна и ее мир», датированной 1942 годом, прежде всего поражаешься колоссальному научному аппарату, который сопровождает это литературно-историческое исследование, — от работ ученого-иезуита Менестрие до последних данных исторической науки начала сороковых годов. (Не этот ли экземпляр читал И. А. Бунин, «верный ценитель... прекрасного таланта»<sup>1</sup> Ладинского, писавший ему в 1948 году: «...я очень люблю Вас и как поэта и как прозаика (с великим удовольствием читал... про Анну Ярославну), люблю и как человека...»<sup>2</sup>)

Собственно, изучение научных материалов Ладинский не прекращал всю жизнь — работал ли он в Парижской национальной библиотеке, или в скриптории и библиотеке Ватикана, куда ему помог попасть известный русский поэт Вяч. Иванов, или в Исторической библиотеке в Москве. Такая тщательная подготовка историка была залогом его писательского успеха как художника. Дар художника помогал ему видеть историю прежде всего в поэтических образах, которые, по убеждению писателя, порою отражают эпоху вернее, чем документы.

Остановимся подробнее на работе Ант. Ладинского над романом «Анна Ярославна — королева Франции», чтобы представить себе яснее его творческие методы, превращающие сухие исторические факты, мимолетные упоминания в живые картины ушедших эпох.

Роман, «в котором нет ни одного вымышленного персонажа и ни одного придуманного диалога и положения», Ладинский определяет в предисловии к рукописи как «лабораторию романа и его проекцию на историческую действительность»<sup>3</sup>. Писатель уверен, что вывести

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 2254, оп. 1, ед. хр. 56, л. 10.

<sup>2</sup> «Литературное наследство», т. 84, кн. первая, с. 688.

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 2254, оп. 1, ед. хр. 10, л. 5.

роман из лабораторного состояния, воспроизвести реальность во всем ее многообразии, показать историю в цвете и звуках, индивидуальной неповторимости каждого ее мгновения может только художественный вымысел.

«Может быть,— пишет Ладинский,— попытку написать о киевской принцессе можно рассматривать как безрассудное литературное мероприятие. Но трудное плавание в огромном море истории, кропотливые поиски в библиотечных материалах, скудость эпохи и необходимость умозрительных построений имеют особое очарование. Трудности вдохновляют на труд. В этих условиях только поэтическое чутье в состоянии довести корабль в тихую гавань финала»<sup>1</sup>.

Вот это поэтическое чутье, основанное на блестящей исторической эрудиции, руководило писателем в работе над романом о дочери Ярослава Мудрого — Анне, ставшей королевой Франции и родоначальницей династии французских королей вплоть до Людовика XIV.

Об Анне Ярославне русские летописи не сообщают ничего, во французских исторических документах она упоминается не менее сорока раз. В Парижской национальной библиотеке сохранилась хартия, подписанная Анной в 1063 году кириллицей, а также письма к ней папы римского. До сих пор в Санлисе, в шестидесяти километрах от Парижа, существует построенное Анной аббатство Св. Викентия, где установлен ей памятник с выбитой по-французски надписью: «Анна Русская, королева Франции».

Но нет ее портрета, если не считать условной фигуры на фреске Софийского собора в Киеве, где она изображена вместе со своими сестрами Елизаветой и Анастасией и матерью. Нет свидетельств о ее характере, наклонностях, пристрастиях. И Ладинский, осторожно и скрупулезно извлекая из документов малейшие намеки на своеобразие ее внутреннего мира, делает предположения, тонкие и романтические.

Известно:

что в 1040 году овдовевший французский король Генрих Капет I отправил на Русь посольство с матримониальными целями, которое кроме того должно было разузнать о гробнице и мощах папы Климента под Херсонесом,— об этом есть запись в тревнике реймского прево Ольдарика;

что Анна была первой женщиной, которая короновалась и была помазана миром, что присягала она на славянском евангелии, на котором потом по традиции присягали французские короли; что носила до конца дней своих «мономашку» — шапку русских князей;

что до Анны в синодиках французских королей не было имени Филипп, но зато это имя часто встречается в скандинавских сагах, а при дворе Ярослава было много скандинавов, поскольку мать Анны — Ингигерда — была дочерью короля свевов;

что после смерти короля Генриха I Анна вышла замуж за Рауля де Валуа, причем при романтических обстоятельствах была им похищена с охоты, хотя, как считали средневековые французские историки, в этом не было необходимости: королева вдовствовала, а подобный поворот событий вызвал европейский скандал, и папа признал этот брак недействительным.

Ант. Ладинский, опираясь на немногочисленные эти факты, лепит свой образ Ярославны, лоратной патрицианки, гордой тем, что ее близкие родственники (Борис и Глеб) — канонизированные святые, что в сундуках ее отца много византийского золота, а при Генрихе I во Франции чекалили только серебряную монету. Писатель рисует ее упрямой, своенравной, обладающей незаурядным женским обаянием и, в отличие от европейских аристократок того времени, образованной, любительницей книг, которых было много при дворе ее отца. Летописец свидетельствует, что Ярослав «насея книжными словесы сердца верных людей» и «собра писцы многи и переключаше от грек на словенско писмо».

Ант. Ладинский предполагает, что Анна могла, в частности, знать и переводной византийский роман «Девгениево деяние», где нетерпеливые возлюбленные дважды крадут своих избранниц. Этот сюжет мог повлиять на ее романтическую душу и послужить примером уже для самой Анны и Рауля де Валуа, известного своим небрежением светскими и церковными условностями.

Так, создавая литературио-историческую биографию русской княжны, впоследствии — королевы Франции, Ладинский подготавливал фабулу будущего романа и обосновывал гумани-

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 2254, оп. 1, ед. хр. 10, л. 3.

стическую мысль, ставшую главной темой его творчества: спасение человечества, мира, культуры — в единении людей, ведь земные границы так условны, что лучшей их защитой должны быть не войны, а глубокие дружеские и культурные связи.

Писатель размышлял над судьбой Анны Русской, а Париж был оккупирован немцами. Газету, в которой работал Ладинский, закрыли как антигитлеровскую, и писатель, не желавший работать на фашистов, находился в крайне трудном материальном положении, перебиваясь случайными заработками сторожа, посыльного. Но и в этих условиях, отдавая все свои духовные силы литературному творчеству, писатель стремится быть хоть как-то причастным к той справедливой и жестокой борьбе народов Европы, и прежде всего советского народа, с немецко-фашистскими захватчиками. Не случайно в круг его интересов в это время входит личность Владимира Всеволодовича Мономаха, при котором укрепился международный авторитет русского государства, прекратились набеги половцев, испытавших на себе силу непобедимого оружия Мономаховых дружин.

Вполне закономерным был и последующий выбор Ант. Ладинского, который после освобождения Парижа от оккупантов начинает работать в газете «Русский патриот» (впоследствии «Советский патриот»), становится членом Союза советских граждан во Франции и одним из первых получает по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1946 года советское гражданство. Следует отметить, что заявление о возвращении на родину Ладинский подал еще накануне войны — 21 июня 1941 года.

Сотрудничать в газете «Русский патриот» А. П. Ладинский приглашал и И. А. Бунина, с которым его связывали давние дружеские отношения, но тот ответил отказом, мотивируя его нежеланием участвовать в политической деятельности. «Получил номер Вашей газеты, взял предыдущие номера у Зурова, — писал И. А. Бунина, — и еще раз убедился, что газета ярко политическая, а я уже давно потерял всякую охоту к какой бы то ни было политике; горячо радуясь победам России и союзников, но ведь это не политика. Посему, при всей моей нелюбви отказывать людям и особенно друзьям, приятелям, никак не могу — по крайней мере в данное время — участвовать даже в литературном отделе «Русского патриота». Вы говорите: «Поддержите нас». Но ведь это есть поддержка газеты, органа политического и боевого, участие в известной политической деятельности. Не сетуйте, дорогой мой, на меня [...], но эту Вашу просьбу вынужден отклонить, сердечно благодаря, конечно, за внимание»<sup>1</sup>.

Письмо И. А. Бунина еще раз свидетельствует о том, что деятельность Ладинского в то время носила ярко выраженный политический характер и свои патриотические чувства он проявлял в самой активной общественной форме.

После войны Ант. Ладинский работает в прогрессивной печати, помогает корреспондентам «Правды», «Обозрения сторонников мира», участвует в качестве переводчика в работе Конгресса сторонников мира, выпускает книгу стихов. Так продолжается вплоть до 7 сентября 1950 года, когда французские власти выслали его из Франции. Несколько лет он живет и работает в Дрездене. И только в 1955 году его давняя мечта вернуться на родину наконец становится реальностью.

В Москве Антонин Петрович Ладинский всецело отдается литературному труду, работает в Исторической библиотеке, пишет статьи, литературные воспоминания о своих парижских встречах, осуществляет давний замысел — написать роман «Люди без родины» о никчемности существования оторванной от своего народа эмиграции. По свидетельству вдовы писателя Т. А. Ладинской, он работал за машинкой каждый день с восьми утра до семи вечера, отвлекаясь только на часовую прогулку по Москве.

Для советского читателя имя Антонина Ладинского прозвучало впервые в 1955 году, когда он выступил в «Литературной газете» со статьей о последних годах И. А. Бунина. Затем стали появляться статьи о Дрездене, об Анне Ярославле, вышел в его переводе роман Бурже «Ученик». Но писательская известность приходит к нему лишь в 1959 году после выхода романа

<sup>1</sup> «Литературное наследство», т. 84, кн. первая, с. 688.

«Когда пал Херсонес...», получившего многочисленные отклики в печати. Имя Ладинского обретает заслуженную популярность, его принимают в Союз писателей СССР. В рекомендации Г. А. Жукова, известного журналиста и писателя, было написано: «...Талантливый писатель-историк, человек большой эрудиции, А. П. Ладинский будет полезным членом Союза писателей СССР, примером творческого трудолюбия для нашей молодежи».

И это было действительно так. Трудолюбие, настойчивость, выработанные в течение сложной жизни, неодолимая жажда ко все новому и большему знанию, подхлестнутая горьким чувством скоротечности жизни и боязнь не успеть, мобилизовывали его волю до предела. Выходили книги «В дни Каракаллы», «Анна Ярославна...», а он уже работал над новыми — по истории родного Пскова, над романом об Юстиниане, над биографией Андрея Рублева, продолжая исследование русского национального характера.

Как бы предчувствуя свой конец, за несколько дней до трагического инфаркта, Ант. Ладинский написал очень грустное стихотворение о том, что в мире ином не будет ничего, все остается здесь, все, даже грусть и печаль. 4 июня 1961 года Антонина Петровна Ладинского не стало. Писатель так и не увидел опубликованным свой роман «Последний путь Владимира Мономаха», завершающий историческую трилогию о Киевской Руси (он вышел в свет только в 1966 году).

Не стало интересного писателя, обаятельного человека, но осталась память о нем, остался архив, который еще ждет своих исследователей, остались книги, овеянные романтической влюбленностью их автора в свою Родину, проникнутые глубоким гуманистическим пафосом, высококорривственным чувством патриотизма, верой в торжество светлого и доброго в человеке — лучшем создании природы, — сумеем сохранить культуру, мир, человечество.

\* \* \*

Романы Антонина Петровича Ладинского — «Когда пал Херсонес...», «Анна Ярославна — королева Франции», «Последний путь Владимира Мономаха», — собранные под обложкой этой книги, объединяются в трилогию, посвященную истории Киевской Руси конца X — начала XII века. Повествование в них начинается княжением Владимира I (980—1015), известного в русском фольклоре под именем Владимира Красное Солнышко, включает правление его сына Ярослава Мудрого (1036—1054) и завершается смертью внука Ярослава — Владимира II Мономаха (1054—1125).

В центре внимания писателя наиболее важные моменты истории древнерусского государства: крещение Руси при Владимире, объединение феодальных княжеств вокруг киевского стола, укрепление границ и возрастание международного авторитета Киевской Руси при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе.

Борьба за расширение и укрепление границ Русского государства при Владимире Святославиче была столь успешной, что уже очень скоро и западные, и восточные соседи, и даже могущественная Византия, почувствовали изменение сложившегося прежде соотношения сил на политической арене. Изменение настолько веское, что византийский император Василий II Болгаробойца, терпя многочисленные военные неудачи, стал искать союзника в лице русского князя Владимира, хотя отношения между Царьградом и Русью были традиционно враждебными. Владимир помогает василевсу подавить восстание под предводительством Варды Фоки, но затем осаждает греческий город-крепость Херсонес (Корсунь) и после нескольких месяцев упорного сопротивления херсонесцев берет его. Василий II вынужден был откупиться от Владимира, заплатив за Херсонес браком своей порфирородной сестры византийской царевны Анны с русским князем. Это было в 989 году.

Знаменательность этого события подчеркивается тем, что родственные связи с византийским домом были очень почетны в Европе. Достаточно вспомнить, что даже в XV веке, когда слава Византии была в прошлом, племянница последнего византийского императора Софья Палеолог, будучи женой Ивана III, подписывалась не как царица русская, а как царица византийская. Поэтому всякие попытки породниться с царем ромеев рассматривались в Константинополе как нелепые и немедленно отклонялись. Так, было отказано, например, германскому императору Оттону I. А ведь Владимир был сыном Святослава от Малуши, княжны его мате-

ри княгини Ольги, из-за чего даже Рогиеда, дочь полоцкого князя Рогволода, не захотела идти за Владимира, не желая «разуть сына рабыни».

Этот факт позволяет судить, как изменились времена и выросла сила северного соседа, которая стала настолько очевидной и опасной, что после потери Херсонеса Василий II вынужден был посадить заливающуюся слезами царевну Анну на корабль и немедленно отправить в страну руссов.

Летописец рассказывает о том, что перед бракосочетанием Анна потребовала от князя креститься, и в этом, вероятно, заключалась еще одна попытка Византии подчинить себе Русь, теперь уже при помощи церковной власти.

Крещение — важное событие в русской истории. Князь Владимир давно уже выбирал новую религию, которая помогла бы управлять своим государством. Ему были ведомы религиозные принципы различных вероисповеданий — ислама, иудаизма, западного христианства, он специально отправлял послов для изучения христианства восточного, византийского. В конце концов князь останавливает свой выбор на византийской вере.

Принятие христианства на Руси способствовало, как известно, укреплению русского государства, упрочению единовластия киевского князя, стало к тому же действенным средством удержания в узде народных масс. Возрос и международный авторитет крещеной Руси в глазах христианской Европы. Вместе с церковными книгами и предметами культа на север стала проникать высокая византийская культура, давшая в очень скором времени самобытные всходы на русской почве в области литературного, живописного и архитектурного искусства.

Значительный вклад в развитие русского государства внес сын Владимира I — Ярослав Мудрый. У Владимира было много сыновей, одного из них — Святополка — он не любил. Дело в том, что Владимир в борьбе за киевский стол убил своего брата Ярополка и взял себе его беременную жену, «грекину», в прошлом черницу: «От злого корня зол плод бывает», — отзывался о Святополке летописец. После смерти Владимира Святополк, желая княжить в Киеве, решил избавиться от возможных претендентов, убив сначала Святослава, а потом Бориса и Глеба. За каяновы дела народ прозвал его Окаянным.

Ярослав, одержав нелегкую победу над Святополком, по призыву киевских горожан сел в Киеве и приложил много труда для восстановления былого могущества Киевской Руси. Он добивается причисления погибших братьев к лику святых и затем уделяет большое внимание культуре Бориса и Глеба, которые приняли мученическую смерть, но не подняли руки на старшего брата. Этот культ способствовал усилению централизованной власти на Руси, выделяя киевского князя на роль старшего среди всех удельных князей.

Меры по укреплению мощи и авторитета Киевской Руси Ярослав подкрепил многочисленными браками членов своей семьи с представителями европейских правящих домов. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля, его сестра Мария Доброгнева была женою короля польского Казимира. Его сын Всеволод, отец Владимира Мономаха, женился на византийской царевне, Изяслав — на сестре польского короля, Святослав — на сестре трирского епископа Бурхарта, Вячеслав и Игорь взяли себе в жены дочерей: один — графа Штадского, другой — маркиграфа Оттона.

Три дочери Ярослава стали королевами: Елизавета вышла замуж за норвежского короля Гаральда, Анастасия — за венгерского короля Андрея I. Анну отец сватал германскому императору Генриху IV, но его посольство вернулось из Германии ни с чем. Впоследствии Анна стала французской королевой. Внук Ярослава, Владимир Всеволодович Мономах, был женат на Гите — дочери последнего англосаксонского короля Гарольда, а Евпраксия, сестра Мономаха, стала во втором браке императрицей Священной римской империи. Только в «Повести временных лет» упоминается около двадцати брачных союзов Киевского княжеского рода с европейскими дворами, укрепляющих международный авторитет Киевской Руси и еще раз свидетельствующих о том, что Русь в XI веке была одним из самых крупных и сильных феодальных государств в Европе.

Особенную славу принесла Ярославу его просветительская деятельность. При нем были переведены на древнерусский язык «Псалтирь», Хроника Георгия Амартола, «Христианская топография» Кузьмы Индикоплова, латинские и греческие романы, «История иудейской войны»

Иосифа Флавия. Появились и самобытные, оригинальные русские произведения, как, например, «Слово о Законе и Благодати» первого русского митрополита Илариона, «Житие Бориса и Глеба», созданные на материале русской жизни и отличающиеся высокой художественной культурой.

Таков вкратце исторический фон, на котором развивается действие трилогии Ант. Ладинского.

Однако писатель не замыкает идейно-нравственные проблемы своих романов сферой узконациональных интересов. Он видит Русь как часть человечества, рассматривает ее культурные завоевания как часть мировой культуры. Подобно древнерусским художникам слова, оставившим прекрасные литературные образцы, проникнутые высоким гуманизмом и обостренным историческим чувством, писатель очень широко смотрит на мир, воспринимая его с рационализмом бесстрастного историка и с неподдельной живостью художника, воссоздавшего былые в поэтических образах.

Широка география романов Ант. Ладинского: от суровых северных морей, омывающих скандинавские берега и туманные Британские острова, до экзотических стран Ближнего Востока, от тмугараканских степей до сумрачных лесов средневековой Франции. Мы узнаем в его произведениях о гибели англосаксонского короля Гарольда и ратных подвигов его внука киевского князя Мстислава Великого, о династических распрях в раздробленной феодальной Европе и покаянном хождении в Каноссу германского короля и императора Священной римской империи Генриха IV — крайне безнравственного мужа русской княжны Евпраксии, о литературных спорах византийских историков и философов Михаила Пселла и Иоанна Итала, о роскошных дворцах и базиликах Царьграда, о жестокой расправе византийских василевсов Василия и Константина с болгарами и многих-многих других исторических событиях.

Как из тысячи разноцветных кусочков складывается великолепие древних мозаик, так из совокупности отдельных исторических эпизодов создает Ант. Ладинский цельную художественную картину жизни средневековой Европы.

Глубокое знание материала в сочетании с поэтическим взглядом на прошлое дает писателю возможность с необычайной легкостью и убедительностью строить фабулу, конструировать сюжет, проследившая судьбы главных героев. При невероятной информационной насыщенности, многособытийности его романов, содержание их не подавляет внимание читающего, а заставляет с неослабным интересом следовать за повествованием. Не нарочитостью авантюрного сюжета, а изящным построением сквозного действия, безыскусностью языка, не переходящего в стилизацию, а передающего колорит эпохи лишь некоторыми деталями, восполняя отсутствие фактов работой воображения, придумывая ситуации, каких не было на самом деле, но, по словам Алексея Толстого, могли бы быть, писатель будоражит наше сознание, позволяя глубже понять и осмыслить изображенную им цепь исторических событий.

Используя живые голоса эпохи, сохранившиеся в литературных памятниках, документах, уцелевших письмах, отражающие в основном жизнь высшего сословия, Ант. Ладинский никогда не забывает и о судьбе простого народа — будь то русский смерд, французские сервы или городские низы Византии. На их плечах лежали основные тяготы военных действий, феодальных распрей, налоговых обложений, но в то же время именно в них, утверждает писатель, заключена та колоссальная созидательная сила, которая и вершит судьбой своего государства.

Д. С. Лихачев, говоря об ансамблевом построении древнерусской литературы, замечал: «...когда литература претендует говорить только о действительном, называть только исторически существовавшие факты и рассказывать только о действительно живших героях, то в такой литературе нет замкнутости сюжетов. Эта литература едина единством человеческой истории»<sup>1</sup>. В романах Ант. Ладинского конечно же есть и вымышленные герои, и выдуманные ситуации, и поэтически вольно выстроенные биографии, но его романам также свойственна ансамблевость идейно-художественного построения, обусловленная единством и целостностью созданного

<sup>1</sup> Л и х а ч е в Д. С. Величие древнерусской литературы. — В кн.: Памятники древнерусской литературы. XI — начало XII веков. М., 1978, с. 13.

писателем мира. Такое единство, основанное на общности и взаимозависимости народов и государств, является главным принципом эстетической системы Ладинского.

В мировоззрении Ант. Ладинского сплелись и традиционность литературно-исторического взгляда древнерусского летописца, и гуманистическая, отвечающая актуальным проблемам времени убежденность современного писателя в плодотворности идеи борьбы с разобщением человечества, которая красной нитью проходит через его творчество. Недаром все его главные герои — Владимир, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Алексей I Комнин — стремятся к консолидации всех внутренних сил в государстве, а также к расширению и укреплению межгосударственных связей.

Историческим романам Ладинского свойственны разные типы художественного повествования; динамику их развития можно определить как путь от хроники — подробного, замедленного рассказа о множестве событий — к широкому историческому полотну с почти авантурным сюжетом, роману, основанному на глубоком психологическом анализе внутреннего мира героев.

Ант. Ладинский создает полнокровные живые образы, полные жизненной силы, увлекающие глубокой мудростью размышлений, покоряющие добротой и искренностью своих чувств. Могучие в своей неисчерпаемой, бьющей через край чувственной жизни, сполна использующие отпущенную человеку радость бытия, Владимир и Олег «Гориславич», прозванный так автором «Слова о полку Игореве» за то, что сотворил много зла русской земле, разобщая русских князей; властная и романтическая Анна Ярославна, неотразимая в своей женской прелести; постоянно стремящийся к миру и справедливости Владимир Мономах, хотя и ему пришлось пролить немало крови, не раз черпать золотым шоломом воду в половецких реках, — такими представляет нам автор главных персонажей своих романов, переводя изображение из традиционного героико-исторического в историко-бытовой план.

Ант. Ладинский не ставил своей главной целью раскрытие с максимальной полнотой политической роли своих героев в жизни государства. В общих чертах наметив историческую канву эпохи, он занимается не столько социальным анализом общественной деятельности тех или иных исторических лиц, сколько выяснением общечеловеческих свойств их личности, их внутреннего мира. Он мог повторить вслед за Фейхтвангером: «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой».

Проецируя на историю современную ему жизнь и актуальные проблемы дня сегодняшнего, писатель еще и еще раз искал в ней подтверждения своей мысли о том, что в самые суровые и жестокие времена, подвергающие человечество невероятным испытаниям, последнее слово оставалось за нетленными завоеваниями культуры, за мирной и счастливой жизнью без войн. «Может быть, — говорит герой романа «Когда пал Херсонес...» — мои дни пресекутся задолго до этого счастливого времени, но настанет день, когда люди перекуют мечи на орала и народы станут жить между собой в мире».

Главная тема Ладинского выростала не только на проблемах глобальной важности и значимости, но носила и глубоко личный характер. Для художника, надолго оторванного от своей родины, своего народа, мотив объединения приобрел дополнительное драматическое звучание, заставляя по-иному воспринимать его рассказ о давно минувших временах.

Придирчивый читатель сможет найти некоторые отклонения от исторических фактов в произведениях Ант. Ладинского, использование устаревших данных. И это будет верно. Но не следует при этом забывать, что перед нами не научное исследование, а исторические романы, жанр которых позволяет их автору иногда отойти от правды фактической ради большей художественной убедительности и общегуманистического пафоса книги.

Перевернув последнюю страницу книги, вспомните ее заключительную фразу: «Лучше костями лечь в своей земле, чем прославленному жить на чужбине». Так, поэтически мощно прозвучал финал последнего исторического романа писателя, вышедшего в свет уже после его смерти, как бы логически завершив жизненный путь Антонина Петровича Ладинского, обретшего наконец покой и признание на своей родине.

*Ирина Ковалева*

## СЛОВАРЬ МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РОМАНАХ

*Абсида* — полукруглая пристройка в церковном здании.

*Августа* — титул византийской императрицы.

*Автократор* — самодержец.

*Агаряне* — библейское название арабов, ведущих свое происхождение от Агари, рабыни Авраама.

*Агора* — в греческих городах главная площадь.

*Акант* — южное растение, широкий лист которого используется в качестве архитектурного орнамента.

*Аквилон* — сильный северный ветер.

*Аксиос* — церемониальный возглас, означающий «достоин».

*Архонт* — в древней Греции высокая выборная должность, позднее титул, соответствующий владетельному князю.

*Баллистриарий* — воин, обслуживающий баллисту, метательную машину.

*Богомилы* — секта, названная по имени ее основателя, болгарского священника Богомила.

*Борей* — северный ветер.

*Василевс* — титул византийского императора.

*Василики* — название византийского сборника законов.

*Вирник* — судебный чин Древней Руси.

*Гетериарх* — см. этериарх.

*Гетерии* — см. этерия.

*Гинекей* — часть византийского дома, отведенная для женщин.

*Дивитиссий* — верхняя парадная одежда византийских императоров.

*Доместик* — военачальник.

*Драконорици* — знаменосцы; византийские знамена имели иногда вид дракона.

*Дромон* — военный корабль.

*Друнгарий* — командующий византийским флотом.

*Индикт* — период в пятнадцать лет в византийском летосчислении.

*Камара* — зала небольших размеров.

*Кампагии* — башмаки пурпурного цвета, которые мог носить только император.

*Кандидат* — низшее придворное звание.

*Карруха* — повозка.

*Квады* — германское племя, с которым воевал Марк Аврелий.

*Кератий* — мелкая монета.

*Киновия* — скит, монастырь небольших размеров.

*Комит* — первоначально — сопровождающий, позднее — византийский придворный чин.

*Корзано* — плащ знатных людей в Древней Руси.

*Куропалат* — высокое придворное звание.

*Лавзиак* — один из залов Большого константинопольского дворца.

*Легаторий* — византийский чиновник, выполнявший полицейские обязанности в Константинополе.

*Логофет дрома* — высший чин, ведающий иностранными делами.

*Лор* — облачение в виде длинной и узкой пелены, цветного плата; принадлежность одежды высших византийских чинов.



*Магистр* — высокое придворное звание в Византии.

*Манихеи* — религиозная секта, ведущая свое начало от Манеса, жившего в III веке нашей эры.

*Медимн* — мера веса, около 50 килограммов.

*Миллариссий* — серебряная монета.

*Модий* — мера веса, около 8 килограммов.

*Нимфей* — место, посвященное нимфам, обычно фонтан, украшенный статуями.

*Новелла* — название законов, изданных императором Юстинианом.

*Номисма* — золотая монета.

*Онопод* — один из залов Большого дворца.

*Палестра* — общественное место для гимнастических упражнений в древнее время.

*Павликиане* — христианская дуалистическая секта.

*Паллий* — верхнее облачение патриарха.

*Парики* — крепостные в византийскую эпоху.

*Патрикий* — высокое придворное звание.

*Патрикианка лоратная* — патрикианка, имевшая право носить лор.

*Паракимомен* — спальник, потом — министр двора.

*Пифос* — большой глиняный кувшин.

*Поручи* — принадлежность императорского и священнического облачения, чтобы придерживать широкие рукава.

*Порфиrogenит* — рожденный в Порфире, то есть в зале дворца Константина I, из красного порфира.

*Презопит* — высокая должность в византийской администрации.

*Протасикрит* — начальник императорской канцелярии.

*Прохирон* — название византийского сборника законов.

*Ромеи* — римляне в греческом произношении. В официальном языке и в литературе византийские греки называли себя римлянами.

*Серикарии* — ремесленники шелковой промышленности. Серика — Китай.

*Силентий* — тайное заседание сената.

*Силенциарий* — церемониймейстер, на обязанности которого было поддержание тишины во время церемоний.

*Синклит* — сенат.

*Скарамангий* — длинное парадное одеяние византийских чиновников, особенно пышный скарамангий носил император.

*Скийфы* — древний народ, обитавший на северном берегу Черного моря; византийцы обычно так называли русских.

*Солид* — золотая монета.

*Спафарий* — придворное звание.

*Спафарокандидат* — придворное звание.

*Схоларици* — воины схол (гвардейских частей).

*Тиун* — управитель княжеского имения.

*Тувици* — узкие штаны.

*Фема* — область и ее ополчение в Византии, заменившие прежний римский легион.

*Фибула* — застежка.

*Фолл* — мелкая медная монета.

*Хеладдия* — военный корабль.

*Хиротония* — посвящение.

*Эпарх* — губернатор Константинополя.

*Этериарх* — начальник этерии.

*Этерия* — отряд дворцовой гвардии.

*Эскувиторы* — воины отборных воинских частей.

*Ярл* — скандинавский титул, соответствующий графу.

## СОДЕРЖАНИЕ

КОГДА ПАЛ ХЕРСОНЕС... . . . . .	5
АННА ЯРОСЛАВНА — КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ . . . . .	157
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА . . . . .	423
А. П. Ладинский. <i>Послесловие И. Ковалевой</i> . . . . .	692

**Ладинский А. П.**

Л 15 Когда пал Херсонес... Анна Ярославна — королева Франции. Последний путь Владимира Мономаха: Исторические романы.— М.: Советский писатель, 1984.— 704 с.

Антонин Петрович Ладинский (1896—1961) — русский советский писатель, посвятивший свое творчество истории Византии и Киевской Руси.

В центре писательского внимания А. П. Ладинского образ одаренной, исключительной для своего времени исторической личности.

Л  $\frac{4702010200-379}{083(02)-84}$  76—84

ББК 84.Р7

---

### Антонин Петрович Ладинский ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

М., «Советский писатель», 1984, 704 стр  
План выпуска 1984 г. № 76

Редактор *И. Ю. Ковалева*

Редактор послесловия *И. В. Скачков*

Худож. редактор *В. В. Медведев*

Техн. редактор *С. А. Шереметьева*

Корректоры: *Л. Н. Морозова* и *И. Ф. Сологуб*

ИБ № 4279

Сдано в набор 23.05.84. Подписано к печати 18.10.84. А 02557. Бумага офсетная. Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Академическая гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 57.2. Уч.-изд. л. 62,45. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1451. Цена 4 р. 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069. Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград. П-136, Чкаловский пр., 15.





Ант.  
Ладинокий  
ИСТО-  
РИЧЕС-  
КИЕ  
РОМА-  
НЫ

